Иммануил Валлерстайн

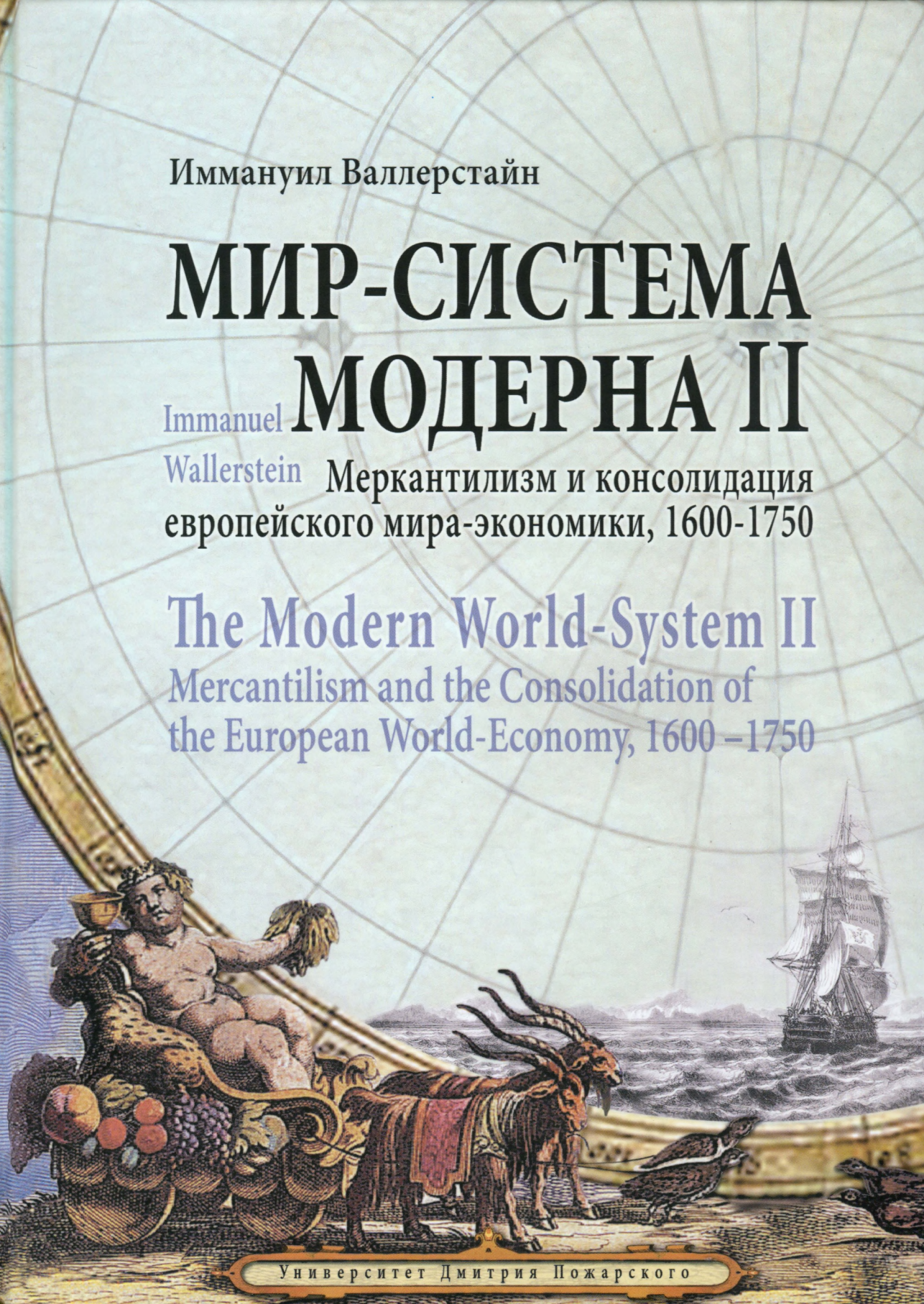
МИР-СИСТЕМА МОДЕРНА II

Immanuel Wallerstein

Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600-1750

The Modern World-System II

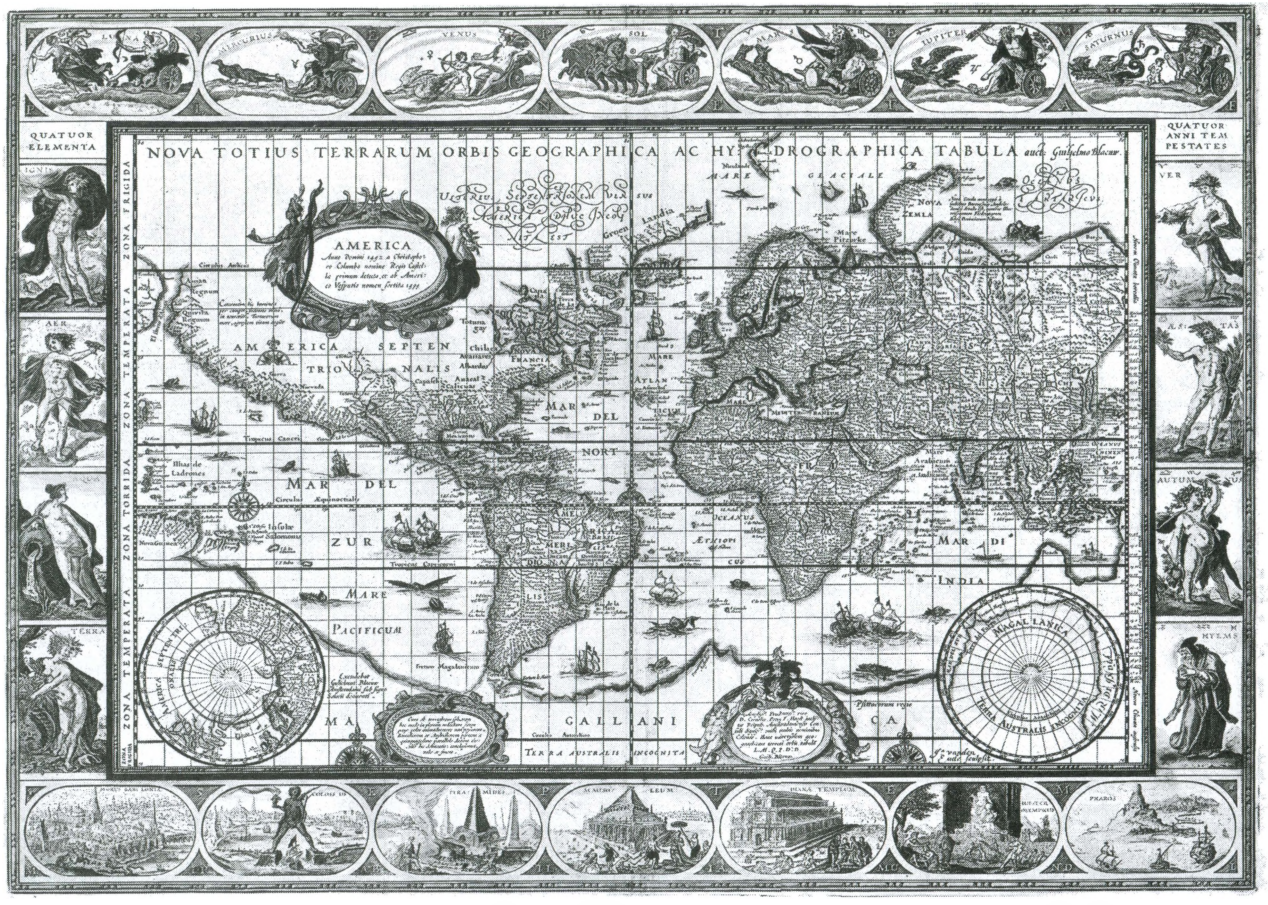
Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600 –1750



Университет Дмитрия Пожарского

МИР-СИСТЕМА МОДЕРНА II

Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750



Карта мира Джоана Блау из *Atlas Major* [Большого атласа — *лат.*], 1638 год. Джоан Блау и его отец Виллем были наиболее уважаемыми картографами своего времени. Их карты требовались всем голландским кораблям, участвовавшим в торговле с Индиями. Атласы шли на смену отдельным листовым картам как основной картографической форме XVII века. В 1670 году Джоан Блау был назначен картографом на постоянной службе в Голландской Ост-Индской компании

Университет Дмитрия Пожарского

Иммануил Валлерстайн

МИР-СИСТЕМА МОДЕРНА II

Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750

The Modern World-System II

Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750

МОСКВА
Университет Дмитрия Пожарского
2016

Печатается по решению
Ученого совета Университета Дмитрия Пожарского

Рецензент:
проф. Г. М. Дерлугьян

Валлерстайн И.

В15 Мир-система Модерна. Том II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600-1750 гг. / Пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. — 528 с.

Перевод выполнен с издания: *Wallerstein, Immanuel*, The Modern World System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy (1600–1750). Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco, 2011. First published in 1980. — 370 pp.

ISBN 978-5-91244-097-7

Второй том капитального труда Иммануила Валлерстайна «Мир-система Модерна» посвящен ключевым вехам в истории капиталистического мира-экономики XVII — первой трети XVIII веков: кратковременной голландской гегемонии, первым этапам борьбы за гегемонию между Англией и Францией, появлению новых восходящих полупериферийных держав (Швеции, Пруссии, России). Вопреки сложившемуся представлению о «долгом» XVII веке как периоде «рефеодализации» и «сеньориальной реакции», автор демонстрирует, что в действительности «кризис XVII века» был временем консолидации и упрочения капиталистических сил, что подготовило последующий этап новой масштабной экспансии капитализма на рубеже XVIII–XIX веков. Перевод выполнен по переизданию 2011 года, содержащему новое предисловие, в котором Валлерстайн предлагает краткое теоретическое резюме мир-системного подхода сквозь призму понятия «гегемония».

© Валлерстайн И., текст, 2011
© Проценко Н., пер., комм., 2015
© Григоренко М. В., дизайн макета, 2015
© Русский фонд содействия образованию и науке, 2015

ISBN 978-5-91244-097-7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Благодарности ix
Предисловие к изданию 2011 года xi

Введение. А был ли кризис семнадцатого века? 1
1. Фаза B 13
2. Голландская гегемония в мире-экономике 41
3. Борьба в центре — фаза I: 1651–1689 87
4. Периферии в эпоху медленного роста 153
5. Полупериферии на перепутье 213
6. Борьба в центре — фаза II: 1689–1763 295

Комментарии переводчика 353

Библиография 399
Указатель 462

Посвящается
Фернану Броделю

БЛАГОДАРНОСТИ

Одну или несколько глав рукописи этого тома прочли и любезно предоставили мне по их поводу свои детальные комментарии и/или возражения Перри Андерсон, Свен-Эрик Острём, Николь Бюске, Стюарт Бручи, Альдо де Маддалена, Эмилиано Фернандес де Пинедо, Андре Гундер Франк, Уолтер Голдфранк, Теренс К. Хопкинс, Херманн Келленбенц, Э.Х. Коссманн, Витольд Куля и его коллеги, Ханс Медик, Биргитта Оден и Ч.Х. Уилсон. Я признателен им всем.

Первоначальные версии следующих глав были опубликованы в других изданиях: введение и глава 1 в *Annales E.S.C.* (1979) на французском языке, глава 2 — в Maurice Aymard, ed., *Capitalisme hollandaise et capitalism mondiale*, часть главы 4 — в *Caribbean Yearbook of International Relations* (1978).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 2011 ГОДА

Настоящий том начинается с рассмотрения вопроса о том, каким образом следует описывать происходившее в Европе в течение XVII века. Масштабная дискуссия 1950–1960-х годов о «кризисе» XVII века делала значительный упор на его «феодальный» характер, и большинство авторов интерпретировали этот кризис в смысле происходившей в Европе «рефеодализации». Второй том моей книги представляет собой попытку опровергнуть данные характеристики и вновь заявить, что европейский мир-экономика определенно стал капиталистическим уже в ходе «долгого» XVI века. Во многих отношениях именно этот том является ключевым для всей моей книги в целом, поскольку он обосновывает необходимость определенного видения и определения капитализма как исторической системы.

Для многих читателей оказалось наиболее трудным принять именно этот аспект моей работы. Таким образом, не лишено смысла вновь попытаться сформулировать данный тезис в более теоретическом ключе и продемонстрировать, почему я уверен, что явление, именуемое европейским феодализмом позднего Средневековья, фундаментально отличается от так называемого второго издания феодализма времен раннего Модерна.

Второй новой и важной темой, которая развивается в настоящем томе, является гегемония. И здесь многие — даже те, кто с симпатией отнесся к усилиям, предпринятым мир-системным анализом, — неправильно поняли мою аргументацию относительно данного понятия. Поэтому, возможно, окажется полезным попробовать вновь изложить в точности, что я подразумеваю под гегемонией, и почему я думаю, что это ключевой концепт для понимания того, как функционирует мир-система.

Была ли Европа миром-экономикой в промежутке 1450–1750 годов?

Теоретический вопрос формулируется следующим образом: можно ли утверждать, что в период 1450–1750 годов существовал европейский мир-экономика, который при этом являлся капиталистическим миром-экономикой?

На деле здесь присутствуют два вопроса, а не один: составляла ли Европа (или какая-то ее часть) в этот период единую хозяйственную целостность с единым осевым разделением труда? (1) И можно ли описывать данную целостность как капиталистическую? (2)

Наше рассуждение начинается с предпосылки, которая одновременно и теоретическая, и эмпирическая. Она заключается в том, что существуют определенные феномены, известные как «логистические структуры» (logistics), по определению Рондо Кэмерона, которые во французских источниках чаще именуются как *trends séculaires* [вековые тренды — *фр.*]. Предположительно, они представляют собой очень долгие циклы, состоящие из инфляционной фазы A и дефляционной фазы B. Существование данных логистических структур принимается без доказательств широким кругом европейских историков экономики (хотя и не всеми) в работах, посвященных как позднему Средневековью, так и Европе раннего Модерна. Фактическая датировка, наиболее часто обнаруживаемая в литературе, такова:

	Фаза A	Фаза B
Позднее Средневековье	1000 (1100)–1250	1250 (1300)–1450
Ранний Модерн	1450–1600 (1650)	1600 (1650)–1700 (1750)

Я намерен принять существование указанной логистической структуры и приведенные даты именно в таком виде.

Логика аргументации, по существу, следующая. Существуют определенные базовые подобия между логистическими структурами Средневековья и раннего Модерна, что позволяет нам назвать их логистическими структурами с фазами A и B. Однако их внимательное сравнение определенно продемонстрирует существенные качественные различия, из которых можно сделать вывод, что осевое разделение труда присутствовало в Европе в последующий, но не в предшествующий период.

Базовая логистическая модель включает, как минимум, три вида расширения и сжатия: населения, экономической деятельности и цен. Предполагается, что они демонстрируют долгосрочные устойчивые спады и подъемы, причем все три указанные сферы движутся в унисон; краткосрочные колебания в данном случае не принимаются во внимание. По поводу того, какая из трех перечисленных составляющих является главной доминантой расширения и сжатия, шла значительная дискуссия, но я считаю этот спор в основном бесполезным.

Конечно, каждое из указанных явлений, в свою очередь, представляет собой комплекс факторов. Так, цены не составляют простую общую последовательность. В пределах той структуры, которой была Европа с ее попрежнему преобладающим сельским хозяйством, ведущим ценовым рядом

считалась цена на пшеницу. Однако это не означает лишь то, что цены на пшеницу росли и падали в абсолютном эквиваленте, — это происходило относительно цен на другие зерновые культуры. А цены на зерно как отдельная ценовая группа росли и падали сопоставимо с ценами на пастбищную и промышленную продукцию. Кроме того, существовали такие виды цен, которые теперь именуются рентами и заработными платами. Цена заработной платы (т. е. реальная заработная плата) находилась в обратном отношении к другим ценовым рядам.

Понятие экономической деятельности также является многоаспектным — оно включает такие переменные, как количество коммерческих транзакций, общий объем производства, количество используемой земли, коэффициент доходности и денежная масса. Последние близко соотносились с такими факторами социальной структуры, как технология сельского хозяйства, модели землевладения, уровень урбанизации и сила гильдий.

Существенным моментом для подобных логистических структур является предположение о достаточно систематической корреляции циклических движений названных переменных — большинство из них находятся в прямой корреляции друг с другом, но некоторые — в обратной корреляции с большинством.

Тем не менее, большинство исследований историков экономики не содержит общего представления о том, как с этой схемой соотносятся «политические» и «культурные» факторы, то есть имеются ли в наличии некоторые дальнейшие системные корреляции. Думаю, что данное упущение является ошибкой, поскольку я не уверен, что мы можем понять, как функционировала система в целом, без рассмотрения глубинных взаимоотношений всех сфер социального действия.

Европа позднего средневековья, 1000 (1100)–1450 годы

Описывая этот период, мы говорим о «феодальной системе». Я с сомнением отношусь к слову *система*, поскольку феодальная Европа не была ни миром-экономикой, ни миром-империей. В качестве «системы» она самое большее может быть описана как останки дезинтеграции недолго жившего мираимперии Каролингов. Возможно, лучше называть феодальную Европу «цивилизацией», имея в виду, что это был ряд небольших систем (или разделений труда), в определенной степени связанных общей религиозной структурой и в ограниченных пределах — общим языком (lingua franca).

География феодальной Европы включала множество манориальных структур, каждая из которых представляла собой центр небольшого разделения труда с прилегающей зоной; эти образования были различным образом встроены во множество более или менее широких политических структур. Многие из этих локальных зон были также включены в сети торговли на дальние расстояния. Однако можно ли утверждать, что эти локальные зоны были частью

более крупного экономического единства, некоторого единого разделения труда? Мало кто осмелится заявить об этом.

В то же время эти отдельные зоны, похоже, откликались на одни и те же колебания, почему мы и говорим о логистической структуре. В XI–XII веках повсеместно, в большей или меньшей степени, начало расти население. Расширялось европейское сельскохозяйственное производство, поскольку в него вовлекалось все больше людей и увеличивался спрос на его продукцию. Каждая локальная зона/деревня рекультивировала пустоши по своим окраинам (лес, болото, торфяник, фен, топь) — логично предположить, что это была менее плодородная земля, чем та, что обрабатывалась ранее. Описываемая экспансия происходила не только по краям каждой локальной зоны, но и на фронтирах «христианской Европы» в целом: Крестовые походы, начало Реконкисты на Пиренейском полуострове, захват у мусульманских правителей островов на западе Средиземноморья, «германская» колонизация «Востока», скандинавский натиск на север, английский — в западном и северном направлении, в глубь кельтских земель.

Поскольку существовал высокий спрос на зерновые, делавший их выращивание прибыльным занятием, происходила не только рекультивация «пустошей», но и переход от пастбища к пахотному земледелию и от более «бедных» злаков к более «богатым» (во-первых, пшеница, а во-вторых, рожь). Появился смысл во вложениях в удобрение почвы и усовершенствованные технологии, а урожаи росли, несмотря на снижение среднего качества обрабатываемой земли.

Учитывая всеобщие процессы экспансии и инфляции, системы землевладения, предполагавшие денежную ренту в пользу землевладельца, рассматривались последним как менее желательные, поскольку фиксированные ренты отставали от инфляции. Следовательно, землевладельцы стремились сократить длительность вре́менного держания, а еще выгоднее для них было превратить денежные ренты в трудовые (крепостничество) и тем самым обеспечить себе запас рабочей силы на расширяющемся рынке. Этот труд всегда мог быть прибыльно использован. С другой стороны, даже мелкие производственные единицы могли демонстрировать положительную рентабельность, так что все больше и больше лиц «входили» на рынок в качестве производителей зерновых, умножая численность экономических акторов и «деконцентрируя» производство. Именно сохранение этой деконцентрации в действительности было одним из мотивов институционализации крепостничества.

Общее расширение хозяйства включало также соответствующее увеличение промышленного сектора (в первую очередь производства тканей и металлических изделий) и его концентрацию в городских зонах (что сокращало транзакционные издержки). Городская локализация сделала возможным появление довольно сильной цеховой структуры. В целом нарастала специализация экономической деятельности, расширялись локальные разделения труда.

Несмотря на то, что последние могли создать поле для определенной торговли предметами роскоши на дальние расстояния, непохоже, что

существовало значительное разделение труда на средних дистанциях, — этому препятствовала высокая стоимость транспортировки. В любом случае локальные зоны в целом не зависели от подобных «региональных» (т.е. располагавшихся на средней дистанции) источников предложения и не полагались на них.

Политическая сфера феодальной цивилизации представляла собой, по существу, локальную политику, где землевладелец/сеньор стремился удвоить свое экономическое превосходство в собственной округе с помощью политического доминирования — так происходило даже в тех многочисленных случаях, когда землевладелец представлял церковь. Короли, герцоги и графы были, в первую очередь, могущественными землевладельцами/сеньорами, напрямую владевшими своей земельной собственностью, с которой они получали доходы, а во-вторых, военными вождями, формировавшими свои армии из собственной вассальной знати/прочих землевладельцев. В период экономической экспансии все землевладельцы усиливали свою политическую власть над крестьянским населением, прежде всего путем институционализации и расширения крепостного права, а также увеличивая собственную клиентелу (retainers). В то же самое время, пока росла власть землевладельца над прямыми производителями в его округе, сила «правителей» более высокого ранга (королей, герцогов, графов) превзошла силу локального нобилитета. «Владения» таких властителей росли в размерах, появлялись небольшие бюрократические группы. «Внешняя» экспансия Европы тоже была делом этих правителей, позволив им, как следствие, стать еще сильнее. Однако здесь не следует преувеличивать: действительно сильных государств тогда не существовало, а знать наносила ответные удары (например, английская Великая хартия вольностей 1215 года). Однако достижением этого периода был вообще сам факт наличия «государств».

В культурной сфере это был период расцвета: для этого имелись и материальная база, и духовная убежденность. «Внешняя» экспансия Европы вела к принятию новых культурных течений, которые в этот момент, впрочем, хорошо встраивались в существующее Weltanschauung [мировоззрение — *нем.*]. Именно таким подведением итогов была *Summa Theologica* [«Сумма теологии»] Фомы Аквинского.

Общий рост населения, урбанизация промышленности и расширение политической и культурной сфер — все это означало рост количества и размера городов. Это позволило возникнуть небольшой группе интеллектуалов, были основаны первые университеты.

Примерно в 1250–1300 годах экспансия завершилась, наступил долговременный спад. По сути дела, все, что росло, стало падать. «Внешние» границы отступали. Крестоносцы были изгнаны, византийцы отвоевали Константинополь, мавры объединили Гранаду (по крайней мере, на какое-то время), монголы вторглись из азиатских степей.

Население сокращалось — наиболее заметно из-за Черной чумы. Вместо введения в обработку новых земель происходил обратный процесс (*Wüstungen* [брошенные земли — *нем.*]). В определенной степени это были

как раз те земли, что были включены в оборот двумя столетиями раньше. Сокращение обрабатываемых территорий происходило отчасти из-за уменьшения населения (эпидемии, голод и локальные войны), отчасти из соображений безопасности, отчасти — из-за огораживаний и захватов землевладельцами.

Инфляция цен повернулась в обратном направлении. Ренты снижались. Стоимость пшеницы — тоже. В использовании земли происходило смещение от зерновых к пастбищам либо виноградникам (в зависимости от климатической зоны) — как потому, что зерновых теперь требовалось меньше, так и потому, что для их производства было необходимо больше рабочей силы. «Знатные» злаки уступили более «бедным». Меньше вкладывалось в технологии и удобрение почвы, а значит, урожаи были ниже.

Натиск на сеньориальные ренты стал еще сильнее из-за сокращения населения, что усиливало позиции прямого производителя в его переговорах с землевладельцем. В результате крепостничество пошло на спад и в конечном итоге в основном исчезло. С другой стороны, землевладельцы стремились компенсировать сокращение своих доходов путем присвоения и огораживания земель, результатом чего стала их определенная реконцентрация. Это сочетание произвело на свет экономически ослабленных землевладельцев, располагавших слишком малым количеством рабочей силы, и усилившуюся прослойку хозяев-«кулаков» ("kulak" farmers) с владениями, которые включали много семей и поколений. Капитал переставал вкладываться землю.

Рынок промышленных товаров, конечно, тоже падал. Реальные заработные платы росли. В стремлении сократить производственные издержки промышленность демонстрировала тенденцию к перемещению в сельские территории, в первую очередь с целью снижения стоимости труда — это соображение теперь было приоритетным в сравнении с поддержанием низких транзакционных издержек, поскольку количество транзакций снижалось.

В политической сфере результатом описанных событий было уменьшение локальной власти землевладельца/сеньора над прямым производителем в прилегающей округе. Более крупные правители понесли похожий ущерб. «Государства» стали распадаться, правители теряли свою власть над землевладельцами/нобилитетом. Результатом «кризиса сеньориальных доходов» стал существенный рост насилия *внутри* «Европы» по сравнению с насилием на ее внешних рубежах. Происходило множество восстаний крестьянства, которое воспользовалось ослаблением политической власти. Сражения правителей и знати в поисках роста доходов распространились на более широкую территорию и стали более интенсивны. Взаимное кровопускание верхних страт еще более ослабило их позиции в противостоянии с прямыми производителями.

В культурном отношении это была эпоха оспаривания авторитетов, иконоборчества и беспокойства. Центральная власть папства была ослаблена. Распространилось много новых христианских религиозных движений эгалитаристской направленности и квазиеретического характера. Культурный «центр» не сохранялся, и интеллектуалы становились более независимыми.

Обобщая описанную логистическую структуру, следует отметить ее симметрию. Экономические показатели сначала шли вверх, а затем вниз. Социальные структуры изменялись сначала в одном направлении, а затем в другом. Политические иерархии (землевладельцы над прямыми производителями, правители над нобилями) сначала становились сильнее, а затем ослабевали. Централизованная культура сначала утверждалась, а затем оказалась под вопросом. Кроме того, такая же симметрия существовала не просто для феодальной цивилизации вообще, но для различных локальных сообществ. В целом перечисленные темы не слишком варьировались в разных частях «Европы», как если бы каждая локальная зона воспроизводила общую модель. Феодальная Европа представляется моделью того, что Эмиль Дюркгейм описывал как механическую солидарность.

Европа раннего Модерна, 1450–1750 годы

Сущностным изменением в логистической структуре Европы раннего Модерна была утрата рассматриваемой моделью значительной части ее симметрии — как между фазами A и B, так и географической. Здесь вновь происходила экспансия, за которой последовало сжатие, однако модель каждой фазы была более сложной. Перед нами вновь предстает корреляция между политическим и культурным развитием, но и тут модель оказывается более сложной. Последнее не означает, что эту модель невозможно разглядеть, однако чтобы наполнить ее смыслом, мы должны ввести в нее пространственные рамки, или противопоставление «центр-периферия».

Кроме того, существует различие в природе фазы B этих двух периодов. Если в средневековой логистической структуре фаза B отличалась сокращением населения, производственной активности и цен, то в период раннего Модерна фаза B в европейском масштабе была не спадом, но стагнацией, или замедлением темпа экспансии. Это вполне можно увидеть по демографическим показателям. Большой восходящий рывок 1450–1600 годов в 1600–1750 годах стал более ровной кривой. Не случилось и чего-то равного Черной чуме. Более того, существовали географические вариации. В Северо-Западной Европе не было значительного спада демографического роста, хотя в Центральной Европе (в первую очередь в результате Тридцатилетней войны) имел место нисходящий тренд, а в Восточной и Южной Европе — выравнивание демографической кривой.

Опять же, происходило расширение используемой земли — не только внутри Европы, но и на ее внешних границах. Фаза A была периодом Великих географических открытий и включения части Американского континента в производственную карту Европы. Фаза B, по контрасту, отличалась замедлением дальнейшего включения новых территорий, но это не было отступлением.

Если посмотреть на модели использования земли, то вновь окажется, что в фазе A происходил сдвиг в сторону пахотного производства, а в фазе

В — обратный процесс. Однако при детальном рассмотрении происходившее во времена раннего Модерна выглядело вполне отличным от того, что было в позднем Средневековье. По мере изменения модели использования земли Северо-Западная Европа шла в направлении взаимодополняющих пахотного/пастбищного производств (травопольное хозяйство и *Koppelwirtschaft** в фазе А и еще более интенсивное плодопеременное хозяйство фазы В). В европейских масштабах это компенсировалось сохранением в периферийных зонах специализаций либо на пахотном производстве, либо на животноводстве в сочетании с широким экспортом из этих территорий соответствующей продукции для потребления в городских центрах Северо-Западной Европы. Соответственно, это предполагало повсеместное формирование более крупных производственных единиц — воссоздание крупных имений в Северо-Западной Европе путем более широких огораживаний и/или нового установления «феодальных» прав, а также через учреждение *Gutswirtschaften* [помещичьих хозяйств — *нем.*] и плантаций в периферийных зонах.

С одной стороны, в Европе существенно сократились разрывы в товарных ценах. Если во времена позднего Средневековья здесь существовали по меньшей мере три различных ценовых зоны, то между 1500 и 1800 годами разрыв между ними сократился с пропорции 6:1 до 2:1. Однако, с другой стороны, между разными частями Европы осуществлялось больше торговых операций, и это зависело от значительной разницы в стоимости труда. Поэтому, в то время как ценовые разрывы сокращались, разрывы в благосостоянии начинали расти. Как и в Средневековье, период А был временем растущей специализации, а период В — временем ее сокращения, однако структурная единица, в рамках которой можно оценить этот процесс, изменилась. В позднем Средневековье речь идет о специализации внутри сравнительно небольших географических зон — в Европе раннего Модерна мы говорим о специализации в рамках очень большой территории.

Нечто подобное происходило и в промышленности. Период А был временем урбанизированной индустрии, а для периода В в большей степени была характерна деревенская локализация промышленности (а именно — то, что описывалось как «протоиндустриализация»). Конечно, в позднем Средневековье существовал определенный уровень территориальной концентрации промышленности в старом становом хребте Европы [Нидерланды — южная Германия — северная Италия], однако эта концентрация была незначительна в сравнении с той степенью, в которой в Европе раннего Модерна произошла концентрация промышленности в северо-западной части континента. Кроме того, когда в начале фазы В периода раннего Модерна в периферийных зонах происходила определенная деспециализация из-за нового возникновения сельской промышленности, этот процесс имел место прежде всего в производстве самых дешевых тканей. Производство более прибыльных тканей с высокой стоимостью оставалось в основном в центральных зонах.

---

* Слова, помеченные звездочкой, см. в разделе **Комментарии переводчика.**

Географически неравномерная модель вновь обнаруживается в способах контроля над трудом. Если в логистической структуре позднего Средневековья период А, по существу, означал институционализацию крепостного права, а период В — его более или менее повсеместный демонтаж, то в аналогичной структуре раннего Модерна перед нами очень четкие географические вариации. Центральная зона, с ее более специализированным сельским хозяйством, двигалась не обратно к крепостничеству, а скорее в направлении тройственной модели: землевладелец — *fermier* [арендатор — *фр.*] — субарендатор, он же прямой производитель. Это стало еще более выраженным в период В с «исчезновением» мелких землевладельцев (yeoman farmer). Бóльшая часть сельскохозяйственной продукции размещалась на рынке для продажи.

На периферии же возникли крупномасштабные земельные единицы с принудительным трудом на рынок — крепостные в *Gutswirtschaften* [помещичьих хозяйствах — *нем.*] Восточной Европы, рабы и (на некоторое время) законтрактованные рабочие в Карибском регионе (в расширенном его понимании); также следует отметить последовательный ряд схем принуждения коренных народов к труду в американских рудниках. Значительная часть производившейся на периферии продукции предназначалась для рынка — для продажи в центральных зонах в период А и на «региональных» рынках в период В, когда рынки центральной зоны были «закрыты» для этой продукции. Периферийные территории также осуществляли производство для собственных нужд.

Когда в период В прибыльность крупных имений в периферийных зонах снизилась, их владельцы компенсировали это ростом эксплуатации рабочей силы. Следует отметить, что неуклонно растущее давление на рабочую силу происходило, возможно, с самого момента возникновения капиталистического мира-экономики. При этом средневековая норма труда от восхода солнца до полудня двигалась в сторону работы в течение полного дня — модели, характерной для раннего Модерна, а в периферийных зонах в период В де-факто произошло дальнейшее увеличение рабочего времени.

Кроме того, когда специализация переместилась с внутреннего уровня локальных зон на внутриевропейский уровень, стало возможным наличие более чем двух зон. Фактически произошло появление третьей зоны — полупериферии, с ее собственными отличительными моделями. К таковым относятся преобладание испольщины, функция территории-посредника в торговых схемах мира-экономики, сочетание видов экономической деятельности, характерных для центра и периферии, государственные структуры и уровень заработных плат (в долгосрочной перспективе), промежуточные между моделями центральных и периферийных регионов.

В экономическом ландшафте логистической структуры раннего Модерна существовало одно главное отличие от соответствующей структуры Средневековья. Вспомним важнейший сюжет Фернана Броделя — монополистические многоотраслевые предприятия (enterprises), проникающие сквозь политические границы. В качестве ключевых экономических акторов они возникли именно в период раннего Модерна, став основным фокусом накопления капитала.

Политическая сфера капиталистического мира-экономики вполне отличалась от политической сферы феодальной цивилизации. Ключевой единицей политической организации стали государства, а не локальные образования, центром которых было феодальное поместье (*manor*). Государства начали принимать современную форму. Первой проблемой здесь было создание масштабных бюрократий — и гражданской, и военной, с тем чтобы правители больше не зависели в первую очередь от доходов со своих персональных землевладений, но вместо этого опирались на налогооблагаемую базу. В качестве составной части перехода от феодальной системы хозяйства правителя к полностью развитой бюрократической системе того типа, что описан Максом Вебером, европейские государства раннего Модерна изобрели посредническую систему, где бюрократы выступали как частично независимые предприниматели, входящие в «долю» с государством. К таким системам относились продажа должностей и налоговые откупы — в качестве переходных механизмов они оказались замечательно живучими и успешными.

Государства располагались в рамках нового института — межгосударственной системы и ограничивались ею. Эта система была незаметно вызвана к жизни в XVI веке, но лишь в 1648 году, вместе с Вестфальским миром, была канонизирована. Теоретически все государства внутри данной системы были суверенны, независимы и равны. На практике же существовала иерархия мощи государств, которая имела тенденцию совпадать с положением определенного государства в мир-системе. Это сочетание большей значимости государств и создания межгосударственной системы серьезно модифицировало воздействие каждой из двух фаз логистической структуры на распределение власти.

В средневековой логистической структуре в рамках периода A происходил рост власти сеньоров над прямыми производителями и власти правителей над нобилитетом, а в период B — соответствующий спад. В логистической структуре раннего Модерна рост власти правителя над нобилитетом происходил в центральных зонах (абсолютизм), но на периферии шло последовательное сокращение этой власти (например, громадное увеличение власти польского сейма), а в полупериферийных государствах была промежуточная ситуация. В данном случае перед нами нечто отличное по сравнению с отношениями сеньора/клиента. В то время как сила сеньоров явным образом росла на периферии, особенно в период B, в центральных зонах сохранялась более сбалансированная ситуация, когда правители стремились к установлению прямого политического контроля над своими подданными и получения от них еще большей доли денежных выплат. Для достижения этого правителям приходилось *пытаться* уменьшить политическую власть сеньоров над прямыми производителями. Если в фазе A это был последовательный процесс, то в фазе B он замедлился. Тем не менее, можно утверждать, что в целом отношения сеньор/клиент эволюционировали в направлении уменьшения власти сеньора. Этот процесс даст плоды только в XIX веке, когда гражданин наконец полностью перейдет под прямой контроль государства без каких-либо значимых локальных посредников. Однако этого не происходило в периферийных зонах — и не происходит даже по сей день.

Следует отметить еще одно политическое отличие. Очевидно, что развитие капиталистической системы принесло с собой растущую группу (sector) буржуазии. Опять же, она не распространялась по всему европейскому мире-экономике равномерно. Буржуазия непропорционально концентрировалась в центральных зонах и фактически была устранена в периферийных (по крайней мере, буржуазия местного происхождения). Кроме того, в итоге соответствующим образом изменялась национальная политика в каждой из этих зон.

Наконец, коротко скажем о культурной сфере, где можно отметить те же пространственные различия. Если феодальная Европа была в определенной степени культурно гомогенной (по крайней мере, в плане доминирующего культурного организма — церкви), то в Европе раннего Модерна произошел крупный религиозный раскол, который со временем станет в высокой степени, хотя и не абсолютно, совпадать с базовым экономическим расколом. Представляется, что это совпадение неслучайно.

Логистическая структура раннего Модерна не повторяет себя. Конечно, существуют определенные процессы развития системы — пространственная экспансия и включение новых зон в рамки мира-экономики, повторяющиеся процессы демонополизации и поиска новых технологий, на которых могут базироваться новые монополии, последовательные процессы урбанизации, пролетаризации и политических кооптаций. Кажется, что перечисленные процессы изменяют свою форму, однако в действительности они не меняют базовую, пространственно асимметричную, неэгалитарную структуру мир-системы.

Поэтому основным отличием между двумя логистическими структурами оказывается различие между симметрией и асимметрией, множественными локальными разделениями труда и единым разделением труда в масштабах мира-экономики, фазами A/B в виде «подъем-спад» и в ступенчатой форме (эффект храпового механизма). Именно это Дюркгейм называет различием между механической и органической солидарностью. Конечно, ключевой спорный вопрос касается того, в какой степени, сравнительно небольшие различия внутри Европы в начале «долгого» XVI века (а следовательно, и внутри географически расширяющегося капиталистического мира-экономики) стали куда более широким разрывом к XX веку. Одни утверждают, что это верно лишь отчасти, поскольку количественное различие недостаточно велико. Мне, впрочем, представляется, что подобную позицию трудно обосновать. Другие, впрочем, полагают, что это различие стало действительным лишь в XIX, а то и в XX веке. Разумеется, можно делать и такой вывод, поскольку поляризация была нарастающей и увеличивающейся в темпе. Однако едва ли следует датировать жизнь организма начиная только с его наиболее зрелой стадии — с той точки, где он находится почти при смерти. У молодости свои требования к действительности.

Понятие гегемонии в мире-экономике

Одна из ключевых идей мир-системного анализа постулирует, что существуют два разных типа мир-систем, известных миру вплоть до настоящего времени, — мир-экономика и мир-империя. Мир-империя определяется как система (structure), имеющая единую общую политическую структуру (structure) и единое общее разделение труда. Два хороших примера мира-империи — Ханьский Китай и Римская империя. Понятие же гегемонии относится к отличительному признаку, который определенное государство может иметь в межгосударственной системе мира-экономики.

Держава-гегемон — это нечто совсем иное, чем мир-империя. Политическая надстройка мира-экономики — это не бюрократическая империя, а межгосударственная система, состоящая из будто бы (allegedly) суверенных государств. А государство-гегемон — это не просто сильное государство и даже не просто единственное сильнейшее государство в рамках межгосударственной системы, но государство, которое значительно сильнее других сильных (именно сильных, а не слабых) государств. Подобная ситуация повторялась, но не вполне непрерывно. Иными словами, существуют как периоды, когда держава-гегемон существует в рамках межгосударственной системы мира-экономики, так и промежутки, когда держава-гегемон отсутствует, а имеется скорее «баланс сил» среди многочисленных сильных государств.

Что означает утверждение о существовании державы-гегемона? Оно означает, что одно государство способно навязывать собственный набор правил межгосударственной системе и тем самым создавать такой мировой политический порядок, который оно считает разумным. В данной ситуации держава-гегемон располагает определенными дополнительными преимуществами для предприятий, расположенных в его пределах или защищаемых им, причем эти преимущества не определяются «рынком», но приобретаются в результате политического давления.

Я полагаю, что гегемонию стоит мыслить не как структуру, а как процесс во времени. Кроме того, я думаю, что это процесс, имеющий не всего только два момента во времени (подъем и упадок), но, по аналогии с шумпетеровским представлением о кондратьевских циклах, четыре момента. При наличии некоей бесспорной державы-гегемона первый из этих моментов возникает непосредственно после ее появления. Это момент медленного заката существующей державы-гегемона, в ходе которого появляются две державы, оспаривающие ее наследство. После этого наступает момент, когда закат уже стал выраженным. Этот второй момент можно рассматривать как точку, для которой характерно наличие «баланса сил» в мир-системе. В этот момент два претендента на гегемонию борются за то, чтобы обеспечить себе геополитическое и мир-экономическое преимущество. Третий момент наступает, когда борьба становится настолько острой, что порядок рушится и происходит «тридцатилетняя война» соперников за гегемонию. А четвертый момент — тот, когда один из них окончательно выигрывает и в результате сам оказывается способен установить подлинную гегемонию — конечно, до тех пор, пока не начнется его собственный медленный закат.

До настоящего времени в истории мир-системы Модерна существовало три державы-гегемона. Соединенные Провинции оказались в этой роли на короткий промежуток в середине XVII века, с 1648 года по 1660-е. Соединенное Королевство было державой-гегемоном немногим более длительное время в XIX веке, с 1815 по 1848 годы, хотя, возможно, его гегемония продолжалась несколько дольше. Соединенные Штаты были державой-гегемоном в середине XX века, с 1945 по 1967/1973 годы.

После голландской гегемонии двумя державами, которые соперничали за преемственность, были Англия и Франция. После британской гегемонии следующими двумя державами были Соединенные Штаты и Германия. После гегемонии США это структура, возникающая в Северо-Восточной Азии (Япония-Корея-Китай), и лишь частично устойчивый Европейский Союз.

Медленный, но неизбежный закат державы-гегемона

Закат держав-гегемонов происходит потому, что они не могут вечно удерживать свою квазимонополию на мировую геополитическую власть, поскольку, осуществляя свои экономические интересы, они фактически подрывают свои экономические преимущества. А обеспечивая поддержание своей военно-политической мощи, они на самом деле ее разрушают.

Двусмысленность отношений державы-гегемона и ее союзников наиболее четко прослеживается в экономической сфере. С одной стороны, державе-гегемону нужны рынки, а также союзники — достаточно сильные, чтобы помогать ей держать «врага» загнанным в угол. Оба эти требования с неизбежностью ведут к экономическому усилению ее союзников. Тем самым превосходство державы-гегемона над другими сильными державами в производственной сфере исчезает или, по меньшей мере, значительно сокращается.

Таким образом, гегемония неизбежно подрывает себя, в первую очередь экономически — это закат, напрямую вызванный экономическим усилением ее союзников. В этот период клонящаяся к закату держава-гегемон вынуждена использовать свои политико-идеологические ухищрения для сохранения дополнительного экономического преимущества — она может делать нечто подобное поначалу, однако по прошествии времени это становится все труднее, особенно по мере того, как «враг» представляется менее опасным. Легитимность упомянутого дополнительного преимущества оказывается под вопросом, и державе-гегемону приходится прибегать к утверждению правильности своей идеологии, причем сам факт этого не только служит доказательством упадка гегемона, но и производит дальнейшее негативное воздействие на его призывы.

Кроме того, в качестве части своих усилий по сохранению установленного ею миропорядка держава-гегемон начинает вкладывать много средств в военные структуры. Использование военной силы является дорогостоящим и отвлекает финансовые ресурсы от экономических инвестиций.

Конечно, в этот период держава-гегемон все еще является громадной военной силой. Однако в период реальной гегемонии ей редко требуется ее использовать, поскольку присутствие и превосходство этой державы ощущает каждый. В период же заката гегемонии возникает необходимость применения силы, и даже если гегемон побеждает в военной борьбе, само использование военной силы подрывает его эффективность в долгосрочной перспективе. Это значит, что державе-гегемону осмеливаются бросить военный вызов другие державы, и одна дерзость влечет за собой другую.

Баланс сил

Похоже, что существуют определенные модели того, что происходит, когда два претендента на наследие гегемона становятся сильнее и самоувереннее. В каждом случае вплоть до сегодняшнего дня один из претендентов базируется прежде всего на суше, а другой — на море (или же, как сегодня, на море/в воздухе). Причем в двух первых циклах гегемонии сухопутная держава стремилась добыть превосходство путем трансформации мира-экономики в мир-империю: Наполеон пытался завоевать всю Европу, а Гитлер — весь мир. В ответ на это морская держава стремилась стать не имперской державой, а державой-гегемоном.

С этой целью морские державы формировали масштабные альянсы, причем в первую очередь с прежними державами-гегемонами: Англия — с Соединенными Провинциями, а Соединенные Штаты — с Великобританией. По аналогии можно ожидать, что упомянутая выше азиатская структура будет искать союза с Соединенными Штатами. В двух предшествующих случаях бывшая держава-гегемон уже становилась младшим партнером восходящей морской (или морской/воздушной) державы.

Вначале последняя стремилась не обладать значительной наземной армией — таковая будет создана только на более поздней стадии. Отсутствие армии на этой ранней стадии имело одно явное преимущество — это позволяло экономить значительное количество денег, которые вместо армии инвестировались в экономическую инфраструктуру страны, позволяя ей выиграть принципиальную борьбу за то, чтобы быть самой конкурентоспособной державой в сфере производства для мирового рынка.

В двух предшествующих примерах преимущества в сфере производства вели к коммерческим преимуществам, которые, в свою очередь, приводили к преимуществам финансовым. Это была точка, где восходящая держава располагала всеми тремя преимуществами, которые соответствуют моменту подлинной гегемонии. В настоящем томе данная последовательность рассматривается применительно к голландской гегемонии. Также верно — в случае, описанном по отношению к голландцам, а затем и к британцам, что упадок гегемонии воспроизводит один и тот же порядок: клонящаяся к закату держава-гегемон сначала теряет свое преимущество в производстве, а затем и коммерческое преимущество, дольше всего охраняя свое преимущество в финансовой сфере.

Закат гегемонии не является бедствием для прежней державы-гегемона. Длительное время она остается сильнейшей страной со всем тем престижем, который выпал на ее долю в таковом качестве. Как правило, она остается чрезвычайно богатой страной, даже если ее богатство сравнительно меньше, чем ранее. В ее национальном богатстве все еще много накопленного жира, позволяющего ее постоянным жителям вести очень комфортное существование. Закат гегемонии — это поначалу очень медленный процесс, и здесь, конечно же, присутствуют попытки отрицать его реальность, обращенные к другим и даже к себе самим. Но на самом деле закат берет свое.

Этот период заката не является временем слабости предыдущей державы-гегемона — совсем напротив. Она еще долго остается самой мощной страной в мире в политическом и военном отношении (хотя и не в экономическом), но больше не является гегемоном. Этот промежуток медленного, но последовательного заката можно рассматривать и как период медленной, но последовательной дезинтеграции мирового порядка — предшествующего порядка.

Именно в этот период «баланса сил» клонящаяся к закату держава-гегемон начинала осуществлять масштабные вложения в экономическую деятельность восходящей державы, которая являлась ее союзником в качестве младшего партнера. Тем самым на некоторое время сохранялась сила державы-гегемона в финансовой сфере и обнаруживалась продуктивная точка приложения ее избыточного капитала.

Но беспорядок в мир-системе постепенно нарастает. Прежняя держава-гегемон оказывается не в состоянии обеспечить порядок. Два соперника за регалии гегемона становятся все более решительными в своих попытках обеспечить собственное превосходство путем заключения подходящих геополитических альянсов и попыток создать основания для новой лидирующей продукции, благодаря которой они смогли бы сформировать могущественный монопольный производственный сектор. «Баланс сил» становится неприемлем для обоих соперников, после чего порядок окончательно рушится.

«Тридцатилетняя война»

Итак, мы подошли к моменту тотального беспорядка, к моменту «мировой войны», или, как я предпочитаю его определять, к моменту «тридцатилетней войны». Собственно Тридцатилетняя война продолжалась с 1618 по 1648 годы, и державой-гегемоном из нее вышли Соединенные Провинции. Второй такой войной были Революционные/Наполеоновские войны 1792–1815 годов, благодаря которым гегемоном стало Соединенное Королевство. И третьим аналогичным эпизодом был период 1914–1945 годов, породивший гегемонию Соединенных Штатов.

Эти три «тридцатилетние войны» обладали сравнительно общей моделью. Каждая из них предполагала военные действия на большей части

сравнительно хорошо развитых территорий мира-экономики своего времени, и каждая из них наносила громадный ущерб физической инфраструктуре и населению этих земель. Однако эти «мировые войны» не были чем-то связным — они велись, если угодно, урывками.

Каждая из «тридцатилетних войн» была двусмысленной в идеологическом отношении. Голландцы объединялись с католическими державами, Великобритания — с самыми автократическими державами Европы, а Соединенные Штаты объединялись с Советским Союзом. В ходе каждой из «тридцатилетних войн» акцент делался не на идеологической чистоте, а на том, чтобы разгромить другого претендента на гегемонию. В каждом случае фактическая держава-гегемон формировала в ходе мировой войны сильную наземную армию, и к концу войны эта армия побеждающего соперника становилась значимым элементом в его военной победе. В каждом случае прежний претендент терпел окончательное поражение и терял свою силу (по крайней мере, на какое-то время) — как военную, так и экономическую, равно как и, разумеется, политическую.

Наконец, в каждом случае победителю в борьбе за гегемонию в ходе войны в основном удавалось избегать физических разрушений на своей территории. Сочетание последнего фактора с развитием в ходе войны экономической инфраструктуры означало, что в конце мировой войны держава-гегемон располагала громадным экономическим преимуществом над всеми прочими крупными державами. Она могла производить наиболее прибыльную для своей эпохи продукцию более эффективно, чем все остальные — не только производители в периферийных зонах, но и производители в других, прежних или будущих, центральных зонах.

Подлинная гегемония

Конец мировой войны становился сигналом начала реальной гегемонии — последнего, или же первого, этапа в цикле. Устав от войны, от распада порядка, от политической неопределенности, мир приветствовал — или так казалось — «лидерство» новой державы-гегемона. Последняя предлагала собственное видение мира. Голландцы предлагали религиозную терпимость (*cuius regio, eius religio* [чья власть, того и вера — *лат.*]), уважение к национальному суверенитету (Вестфальская система) и *mare liberum* [свободное мореплавание — *лат.*]. Британцы предлагали видение либерального государства в Европе, основанное на конституционном парламентском порядке, инкорпорации в политическую систему «опасных классов», золотом стандарте и прекращении рабства. Соединенные Штаты предлагали многопартийные выборы, права человека, (умеренную) деколонизацию и свободное перемещение капитала.

Эти доктрины были идеологиями, но не обязательно практиками. Как в 1663 году сказал сэр Джордж Даунинг о голландской доктрине, «это *mare liberum* в британских морях, но *mare clausum* [закрытое море — *лат.*] на берегу

Африки и Ост-Индии»[1] (то есть там, где голландцы обладали преимуществом). Держава-гегемон никогда не позволяла идеологии вмешиваться в осуществление своих интересов. Тем не менее, данные представления были тем, на основании чего держава-гегемон предъявляла претензии на легитимность своего положения в качестве гегемона, и эти представления, несомненно, играли главную роль в ее способности поддерживать мировой порядок.

В период подлинной гегемонии для державы-гегемона было существенным создавать как «врага» своего видения мира, так и сеть альянсов. Последние формировались в меньшей степени для сражения с врагом — скорее сам враг создавался с целью контроля над союзниками. Держава-гегемон стремилась обеспечить такое положение дел, при котором союзники подчиняли свои непосредственные экономические интересы ее интересам, создавая те самые «дополнительные» преимущества, которые являются целью и необходимым условием гегемонии.

Голландцы учредили протестантский альянс с Англией против французов. Британцы после 1815 года — Сердечное согласие с Францией против авторитарного трио России, Австрии и Пруссии. А Соединенные Штаты создали НАТО (а также американо-японский договор об обороне) против Советского Союза и коммунистического блока. В каждом случае альянс создавал для союзников экономические препятствия — по крайней мере, до момента заката державы-гегемона (а в некоторой степени и даже тогда).

Лидерство, которое предлагала держава-гегемон, было не только политико-экономическим, но и в равной степени культурным, причем не только в искусствах, но и, что более важно, в структурах знания. Это было верно для голландцев, которые на долгое время создали центр притяжения, куда могли стекаться интеллектуалы, насильно высланные из собственных стран. То, как британцы, а затем американцы изобрели определенную версию структур знания, является одной из тем, которым уделено много места в четвертом томе моей книги. Этот контроль над культурной сферой, наряду с контролем в сфере финансовой, является последним бастионом превосходства гегемона. Но и он исчезает с течением времени.

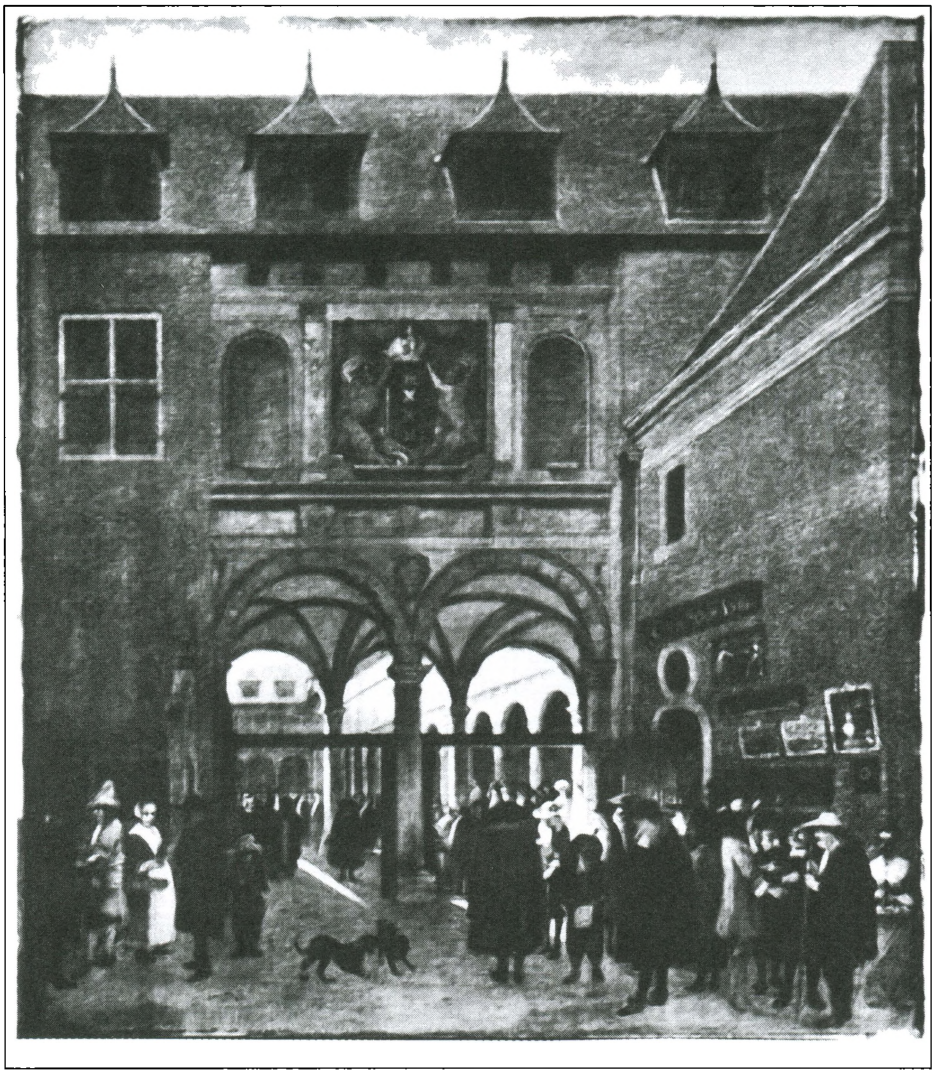
Гегемония является принципиальным механизмом для функционирования мир-системы Модерна. Циклы гегемонии — это ключевые маркеры в циклических ритмах капиталистического мира-экономики. В некотором смысле именно взлеты и закаты держав-гегемонов предотвратили трансформацию мира-экономики в мир-империю — то, что регулярно происходило до создания мир-системы Модерна. Механизм гегемонии позволил последней стать первым миром-экономикой в истории человечества, которому удалось выжить, расцвести и распространиться, чтобы в конечном итоге охватить собой весь земной шар. Без этого капитализм как историческая система был бы не способен выжить и тем самым изменить мир.

---

[1] Цит. по: *Geyl, Pieter.* The Netherlands in the Seventeenth Century, vol. 2, 1648–1715 (London: Ernst Benn, 1964), 85.

Введение

А БЫЛ ЛИ КРИЗИС СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА?



Адрианс Иоб Беркхейде́ из Харлема, **«Старая биржа в Амстердаме»**.
Вот как описывал эту сцену в 1747 году Шарль-Луи Пёльниц¨:

«Я отправился поглядеть на площадь, где купцы собираются по своим торговым делам с полудня до половины второго. Эту вытянутую в длину площадь окружает большая открытая галерея, или коридор на каменных опорах, которая служит укрытием на случай дождя. Само это место называется биржей, и здесь вы увидите торговцев любой национальности, а разнообразие их одежд и языков радует не меньше, чем обаяние самого места. В конце концов, нет ничего более интересного, чем наблюдать за суетой людей, что зовутся брокерами, каковых крупные торговцы нанимают для торговли векселями или совершения других операций, видя, как те снуют по площади из одной ее части в другую, так что кто угодно решит, будто они сошли с ума»

В наследство от историков, изучавших тренды европейских цен в промежутке между двумя мировыми войнами,[1] и от разработанной Франсуа Симианом[2] теории вековых экономических циклов (тренды подъемов и спадов длиной примерно 250 лет с фазами A и B) мы получили тот вывод относительно европейской истории периода раннего Модерна, который многие, похоже, по-прежнему разделяют. Согласно этому представлению, в XVI веке происходила экспансия (фаза A), а в XVII столетии — сжатие, депрессия или же «кризис» (фаза B). Пограничные даты двух этих фаз, природа происходивших изменений (даже если ограничить дискуссию экономическими вопросами), их региональные вариации и, прежде всего, причины и следствия данных процессов — все это предмет значительных споров, однако указанное обобщение остается неизменным.

В 1953 году вышла большая книга Ролана Мунье, посвященная этим двум столетиям, которая с тех пор выдержала четыре дополненных издания. Та часть книги, которая посвящена XVII веку (для Мунье это промежуток между 1598 и 1715 годами), открывается в трепетно-драматическом тоне:

> «Семнадцатый век является эпохой, повлиявшей на человека во всей его полноте, во всех видах его деятельности — экономических, социальных, политических, религиозных, научных, художественных, на все человеческое бытие вплоть до глубочайшего уровня жизненных сил, чувств и воли людей. Можно сказать, что это был продолжительный кризис, с жестокими взлетами и падениями»[3].

Год спустя в журнале *Past and Present* [«Прошлое и настоящее»] была опубликована статья Эрика Дж. Хобсбаума, открывшая важную ученую дискуссию. Основной тезис Хобсбаума заключался в том, что «в XVII веке европейская экономика прошла сквозь "общий кризис" — последнюю фазу общего перехода от феодального хозяйства к капиталистическому».[4]

---

[1] См. библиографию в: *Braudel and Spooner* (1967, 605–615). Оформление ссылок на используемую литературу во втором томе существенно отличается от первого и воспроизводится в русском издании без изменений — *прим. пер.*

[2] См. *Simiand* (1932b).

[3] *Mousnier* (1967, 161).

[4] *Hobsbawm* (1965, 5).

Такую же тему мы обнаруживаем в масштабных обзорных работах Вильгельма Абеля и Б.Х. Слихер ван Бата о европейском сельском хозяйстве. Согласно Абелю, «в европейских ценах второй половины XVII — первой половины XVIII веков доминировала нисходящая тенденция».[5] Правда, Слихер ван Бат не решается употреблять слово «*кризис*», утверждая, что период 1650–1750 годов «более справедливо называть необычайно длительной депрессией»,[6] однако так ли велико отличие между двумя терминами? Как бы то ни было, Слихер ван Бат не опровергает положение Абеля о том, что рассматриваемый период представлял собой «разворот векового тренда».[7] Если же брать еще более осторожную терминологию, то этот ученый консенсус можно проследить и далее. Так, Пьер Вилар говорит об «относительном откате (retreat, *recul*) XVII века»,[8] а Пьер Шоню определяет различие между периодами A и B не как «подъем / спад (decline, *décroissance*)», а как «рост / меньший рост».[9] Менее прочих склонен видеть здесь какой-либо кризис Рене Баэрель, но даже он принимает это определение для довольно кратковременного периода 1690–1730 годов.[10] Поскольку определения становятся все слабее и слабее, а определяемый ими промежуток все короче и короче, можно задаться вопросом, много ли мы имеем в остатке. Иво Шёффер начинает свою статью о рассматриваемом периоде с ноты сомнения:

---

[5] *Abel* (1973, 221). Первое немецкое издание книги Абеля вышло в 1935 году, второе — расширенное и в новой редакции — в 1966 году. Абель утверждает, что во втором издании «общая концепция была сохранена», однако «спады (depressions) XIV–XV и XVI–XVII веков трактуются как промежутки замедления роста и делятся на максимально возможное число подпериодов» (*Abel*, 1973, 6). Вероятно, Абель убежден, что между двумя указанными спадами происходил подъем.

[6] *Slicher van Bath* (1963a, 206). Авторы двух более поздних обзоров (*Cipolla*, 1974, 12; *Davis*, 1973b, 108) с заметным нежеланием употребляют слово «кризис», хотя, как утверждает Чиполла, «в основе любого упрощения всегда лежит зерно истины».

[7] Данное определение появляется в названии второй части пятой главы книги Абеля (*Abel*, 1973, 206). Пьер Шоню в заголовке своей статьи о XVII веке использует аналогичную формулировку: «разворот главной тенденции в ценах и в видах деятельности» (*Chaunu*, 1962b).

[8] Вилар определяет начало данного периода промежутком между 1598 и 1630 годами, а окончание — между 1680 и 1725 годами (*Vilar*, 1974, 46).

[9] *Chaunu* (1962b, 224). Такое определение сближается с исходным описанием фазы B у Симиана: «не разворот общего направления фазы A, но <...> незначительный рост или стабилизация, а непрерывного подъема больше не происходит» (*Simiand*, 1932b, 649).

[10] Подобно Шоню, Баэрель (*Baehrel*, 1961, 29) отмечает, что фаза B не обязательно представляет собой спад и может быть просто периодом более медленного роста (1961, 51). Другие исследователи согласны с тем, что выделенный Баэрелем период был особенно суров. Например, Эммануэль Ле Руа Ладюри отдельно выделяет «два или три последних десятилетия [XVII] века» (*Le Roy Ladurie*, 1973, 431). Жан Жакар датирует этот «суровый» период промежутком 1680–1710 годов (*Jacquart*, 1978a, 385).

> «Иной раз кажется, что XVII век, втиснутый между XVI и XVIII столетиями, не имеет собственных черт. Имея с одного бока Ренессанс и Реформацию, а с другого — век Просвещения и Революции, применительно к XVII веку мы оказываемся перед пустыми терминами типа "переход" или "изменение"».[11]

Возможно, всё это лишь потому, что, как еще в 1944 году утверждал Жан Мёвре, «мы располагаем гораздо меньшей информацией» о промежутке между двумя моментами явного роста цен.[12] Раз так, то не стоит ли воздержаться от какой-либо характеристики данного периода, позволив ему раствориться в хитросплетениях невнятных и порой сбивающих с толку данных? Или же вслед за Шёффером можно утверждать, что, «допуская возможный упрек в традиционализме, мы, за неимением лучшей оценки, просто должны дать XVII веку его собственное место — ведь именно это нужно нашему воображению»?[13]

Можно было бы оставить подобное решение на прихоть литературной моды, если бы за этим спором о словах не стояли важные теоретические проблемы. Прежде всего остается открытым вопрос, существует ли вообще такая вещь, как «вековые тренды» в экономике,[14] и если да, то как они соотносятся с политикой и культурой. Если «вековые тренды» существуют, то отражает ли каждая последующая пара фаз (от Средневековья до настоящего времени) отдельный вид хозяйства, как утверждает Гастон Имбер?[15] Или же они являются составными частями единого длительного

Впрочем, Мишель Морино обнаруживает между 1660 и 1700 годами «значительное количество позитивных (positive, *de bon allant*) признаков» (*Morineau*, 1978f, 523).

[11] *Schöffer* (1966, 82). Пустые термины всегда можно отбросить как выразительные виньетки историков. «Основательной ремаркой к приверженности историков понятию "изменения" является то, что практически каждый исторический промежуток в то или иное время можно определить как "переходный период"» (*Supple*, 1959, 135).

[12] *Meuvret* (1944, 110). Аналогичное недовольство существующим положением дел открывает книгу Мёрдо Маклеода о Центральной Америке испанского периода: «Некоторое время назад XVII век характеризовали как "забытое столетие Латинской Америки"» (*MacLeod*, 1973, xi). Это высказывание отсылает к статье Лесли Бойда Симпсона «Забытое столетие Мексики» (*Simpson*, 1953). В том же русле Йозеф В. Полишенский отмечает, что историков «социальной, экономической и марксистской школ в первую очередь волновали "более революционные" XVI и XVIII столетия, а на XVII век они пролили меньше света» (*Polišenský*, 1971, 2). Вильям Бувсма утверждает, что XVII век «в историографическом отношении <...> остается недоразвитым пограничьем между двумя сверхразвитыми территориями» (*Bouwsma*, 1970, 1).

[13] *Schöffer* (1966, 83).

[14] Еще в 1971 году Франсуа Крузе указывал на «обветшавшие понятия типа симиановских фаз A и B» (*Crouzet*, 1971, 147). Аналогичную атаку, на сей раз с левого фланга, предпринял Жиль Постель-Винэ: «Фазы A и B <...> оказались верным способом игнорировать реальные проблемы, возникшие в ходе анализа земельной ренты» (*Postel-Vinay*, 1974, 78).

[15] В своей книге о длинных волнах Гастон Имбер выделяет четыре вековых тренда, каждый из которых соотносится с определенным экономическим укладом:

периода «опосредованного сельскохозяйственного потребления», который, по Слихер ван Бату, длится в промежутке примерно 1150–1850 годов?[16] Или же где-то посередине существует некий переломный разрыв? — а если так, то перед нами возникает дополнительный вопрос, когда именно он возникает.

По последней проблеме существует несколько известных точек зрения. Одна из них заключается в том, что этот фундаментальный перелом, или же значимый разрыв происходит вместе с Промышленной революцией* в конце XVIII века. По мнению Карло Чиполлы, данное «событие», наряду с сельскохозяйственной [Неолитической] революцией VIII тысячелетия до нашей эры, представляют собой «глубокие разломы в непрерывности исторического процесса».[17] То же самое иными словами утверждает Дональд К. Коулмен, полагая, что для экономического развития Европы 1500–1750 годов более характерна преемственность, нежели изменение: «Там, где можно пролить свет на вопрос о состоянии технологий в промежутке 1500–1750 годов, выясняется, что в целом оно было более статичным, чем мобильным».[18] К тому же выводу относительно хронологических рамок данного разрыва приходит целая школа в рамках марксистской мысли, настаивая, как это делает Этьен Балибар, что период 1500–1750 годов является временем «перехода к капитализму», и только период после

1250 — средневековое хозяйство;

1507/1510 — меркантилистское хозяйство;

1733/1743 — капиталистическое хозяйство;

1896 — плановое (planned) хозяйство (*Imbert*, 1959).

[16] *Slicher van Bath* (1963a, pt. III).

[17] *Cipolla* (1964, 31).

[18] *Coleman* (1959, 506). В доказательство своей гипотезы Коулмен апеллирует к третьему тому «Истории технологий»**, обзор которого дан в его статье. См. тж. *Le Roy Ladurie* (1977) о «неподвижной истории» в период между 1300–1320 и 1720–1730 годами.

[19] Многие марксисты подобную периодизацию предполагают по умолчанию. Однако Балибар осознанно делает теоретическое разграничение между «переходным периодом» и периодом, когда тот или иной способ производства преобладает или является «господствующим» (*Balibar*, 1968, 217–226).

Дискуссия между марксистами по вопросу о периодизации отчетливо возникла на страницах *Labour Monthly* в 1940–1941 годах и вращалась вокруг одной из самых ранних работ Кристофера Хилла об Английской революции. С критикой утверждения Хилла, что до 1640 года Англия «оставалась, по существу, феодальной», выступил Питер Филд. По его мнению, Маркс вполне внятно высказался об Англии XVI века как об «определенно буржуазной, то есть капиталистической» стране, «в чем был прав: общество XVI века – это буржуазное общество». В самом деле, королева Елизавета была «самым выдающимся капиталистом в этом капиталистическом буржуазном обществе — примерно как король Леопольд в Бельгии»*** (*Field*, 1940a, 558). Дуглас Гармен отвечает на это, что Филд «смешивает курицу и яйцо» и что если буржуазная революция в Англии уже произошла до 1640 года, «то остается лишь спросить — когда?» (*Garman*, 1940, 652). Г-н Гармен, парирует Филд, «забывает, что зачатие и рождение — это не одно и то же»: «становление

1750 года является собственно капитализмом.[19] В том же духе Джордж Н. Кларк разграничивает «ранний капитализм» позднего Средневековья и «полностью развитый капитализм» XIX века: первый заключен в рамки «от Макиавелли до Бёрка**, от Колумба до Уоррена Хейстингса***, от

буржуазного общества началось с войны Алой и Белой розы — этого массового самоубийства феодалов, использованного буржуазией, чтобы прочно укорениться в социуме, [и] продолжилось в ходе крестьянских мятежей, конфискации церковных земель, Благодатного паломничества [и] восстания северных графов»* (*Field*, 1940b, 654–655).

В связи с этим Дона Торр принялась ломать голову над построением очень детализированной теории стадий перехода от одной формации к другой. По ее словам, ошибка Филда состоит в допущении, что общество напрямую переходит от феодализма к капитализму, — тем самым «не принимаются в расчет промежуточные этапы мелкотоварного производства, существенные для развития капитализма». Торр утверждает, что «свою окончательную форму капиталистическое общество» приобретает лишь с Промышленной революцией, 400 лет спустя «уничтожения» английского манориального хозяйства в XIV веке (*Torr*, 1941, 90).

Морис Добб, писавший о той же самой проблеме, что и Дона Торр, занимает промежуточную позицию. С одной стороны, он не согласен с Торр, что капитализм начинается с Промышленной революцией. Если так, считает Добб, то «как можно рассматривать схватку XVII века в качестве буржуазно-демократической революции, если до подъема капиталистического производства остается еще полтора столетия?» Более того, по его мнению, утверждать, что «тюдоровско-стюартовский период истории Англии был эпохой “торгового капитализма”, в отличие от более позднего “промышленного капитализма”, значит уклоняться от сути дела». В качестве решения проблемы Добб предлагает считать, что в то время «производственные отношения, [можно сказать, изменились], даже если производительные силы сохраняли средневековое обличье». Следовательно, Англию XVI века корректно охарактеризовать как страну, где «способ производства уже находился в процессе трансформации в капиталистический» (*Dobb*, 1941, 92). И хотя в такой формулировке удается избежать той элементарной ловушки, в которой неизбежно оказывается рассуждение в духе Доны Торр, данная теория в конечном итоге ничем от не отличается от ее построений, как выясняется в последующей работе самого же Добба.

Несколько лет спустя Кристофер Хилл опубликовал статью о взглядах Маркса и Энгельса на Английскую революцию. По утверждению Хилла, «марксистское понятие буржуазной революции» предполагает, что «феодальное государство было свергнуто средним классом, который вырастает внутри этого государства, а новое государство создается как инструмент правления буржуазии». В качестве примеров революций (как успешных, так и неудачных) Хилл приводит Реформацию в Германии («первое заклание буржуазного духа на алтарь старого порядка»), Нидерландскую революцию («первую успешную буржуазную революцию национального масштаба»), Английскую революцию 1640 года, безуспешную революцию 1848 года в Германии и русские революции 1905 и февраля 1917 годов (*Hill*, 1948, 135). В его статье делается акцент на политических манифестациях и проблеме власти, при этом Хилл избегает прямого описания экономических процессов. Поэтому его концепции удается избежать конфликта с позицией, заявленной у Филда.

Фуггеров до заката Амстердама, от Джотто до Тьеполо*. Этот период заканчивается незадолго до Адама Смита, Джеймса Уатта, Ротшильдов, Наполеона, Роберта Оуэна».[20]

Для другого теоретического направления указанный разрыв связан не с Промышленной революцией, а с европейской экспансией, созданием мирового рынка и возникновением капитализма — все это в той или иной степени происходит в XVI веке. Например, Симиан отмечает, что в XVI столетии начинается период «длинных волн».[21] Пол Суизи критикует марксистскую традицию в лице Этьена Балибара, полагая, что для Маркса «собственно мануфактурный период» (1500–1750) и «период современной (modern) промышленности» были не «двумя различными социальными системами, а скорее двумя фазами капитализма»,[22] и поэтому пресловутый разрыв наступает в XVI столетии. Аналогичную позицию, в сущности, занимает Фернан Бродель, при этом, правда, увеличивая временну́ю протяженность периода:

> «В самом деле, очевидно, что с экономической точки зрения промежуток с XIII по XVII столетия в той или иной степени составляет период европейской и мировой истории, когда был явственно брошен вызов [*met en cause*] природе хозяйственного *Ancien Régime* [старого порядка — *фр.*]».[23]

Третья группа исследователей полагает, что рассматриваемый разрыв пролегает между периодом, который символизируют Промышленная и Французская революции, с одной стороны, и «долгим» XVI веком, с другой, так что для этой группы середина XVII века оказывается переломным моментом для эпохи Модерна (modernity). Похоже, что именно к этому лагерю принадлежит Хобсбаум, а Пьер Шоню фактически заявляет данную позицию основной темой своей обобщающей работы о «классической Европе»**. В предисловии к этой книге он посвящает отдельное место опровержению позиции тех ученых, которые не в состоянии увидеть, что «интеллектуальные истоки Французской революции» следует искать у Спинозы, и забывают, что «количественная и пространственная экспансия» XVI века не была подлинно глубоким изменением, но лишь «окончательным итогом революции, начавшейся в XII веке». По мнению Шоню, «наиболее значимые количественные изменения произошли в XVII веке», и первым среди них оказывается «математизация мира».[24] Что же касается марксистов, то их можно обнаружить на любой стороне дискуссии по любому вопросу, доказательством чего является наличие среди сторонников последней, третьей точки зрения на переломный момент советского академика Е.М. Жукова. На Стокгольмской ассамблее по всемирной истории в 1960 году он заявлял:

---

[20] *G.N. Clark* (1960, 10–11).

[21] *Simiand* (1932a, 3).

[22] *Sweezy* (1972a, 129).

[23] *Braudel* (1974, 6).

[24] *Chaunu* (1966a, 20–21).

> «По мнению советской исторической науки, традиционным и окончательным рубежом эпохи Средневековья является середина XVII века, поскольку к этому времени феодализм уже изжил себя экономически и стал помехой для развития производительных сил».[25]

Итак, перед нами три точки разрыва (примерно 1500, 1650 и 1800 годы) и три (или даже больше) теоретических подхода к истории. Если брать за переломный момент 1800 год, то ключевым изменением оказывается акцент на индустриализме. 1650 год означает упор либо на момент возникновения первых «капиталистических» государств (Британии и Нидерландов), либо на появление, по-видимому, ключевых «модерных» ("modern") идей философии Декарта, Лейбница, Спинозы, Ньютона и Локка. Что касается 1500 года, то здесь делается акцент на создании капиталистической *мир*-системы, отличной от других форм хозяйствования. Следовательно, искомый ответ на вопрос «А был ли кризис XVII века?» является производным от того, что понимать под современным (modern) миром. Понятие «*кризис*» не нужно низводить до простого синонима выражения «*циклическое смещение*» (shift) — его следует закрепить за временами резких столкновений эпох, которые выходят за рамки конъюнктурных изменений и свидетельствуют о переломных моментах в структурах *longue durée* [долгой длительности — *фр.*].

Поэтому под кризисом мы будем понимать такие редкие моменты истории, когда привычные компенсаторные механизмы в рамках социальной системы оказываются настолько неэффективны с точки зрения столь большого числа значимых социальных акторов, что начинает происходить масштабная реструктуризация хозяйства (а не просто перераспределение выгод внутри существующей системы) — и уже позднее, в ретроспективе, эта реструктуризация воспринимается как неизбежность. Разумеется, некоторый кризис исходно не является воистину неотвратимым, однако альтернативой ему оказывается коллапс прежней системы, что многие (или же большинство?) социальных акторов расценивают как еще более травматичный или нежелательный вариант развития событий, чем та структурная революция, которая имела место в действительности. Именно при таком понимании кризиса вопрос, вынесенный нами в заглавие этой главы, оказывается важной теоретической проблемой. В данной перспективе ответить на вопрос «А был ли кризис XVII века?» в действительности означает выяснить, когда и как произошел всемирно-исторический «переход от феодализма к капитализму». Ответ предполагает определение капитализма как социальной системы, способа производства и в равной степени как цивилизации. Выбирая дату переходного момента, мы выбираем и ту или иную систему сходств и различий.

Основным положением настоящей работы является утверждение, что мир-система Модерна приняла форму капиталистического мира-экономики,

---

[25] *Zhukov* (1960, 85). Жуков отдельно указывает, что ряд марксистов считают переходным моментом Французскую революцию, заявляя, что русские исследователи не согласны с этой точкой зрения.

возникшего в Европе в ходе «долгого» XVI века. Это предполагало *трансформацию* особого — перераспределительного, или основанного на дани (tributary), способа производства, который был характерен для феодальной Европы (или, по Броделю, «экономического *Ancien Régime*»), в качественно иную социальную систему. Начиная с этого времени капиталистический мир-экономика:

(*a*) географически распространился в пределах всего земного шара,

(*b*) продемонстрировал действие циклической модели расширения и сжатия (фазы А и В, по Симиану), а также перемещение географической локализации экономических функций (восхождение и падение гегемоний, восходящие и нисходящие перемещения отдельных зон центра, полупериферии и периферии)

и (*c*) пережил процесс вековой трансформации, включавшей технологический прогресс, индустриализацию, пролетаризацию и возникновение структур политического сопротивления самой системе, — трансформации, которая все еще происходит и сегодня.

В подобной перспективе XVII век, если понимать под ним период, длившийся примерно с 1600 по 1750 годы, в первую очередь представляет собой пример действия циклической модели расширения и сжатия. С точки зрения географического масштаба мир-системы, ее границы, сформировавшиеся около 1500 года, до 1750 года не претерпели существенных изменений. Что же касается длительных вековых изменений, то в промежутке между 1600 и 1750 годами мы не наблюдаем каких-либо качественных скачков. Поэтому мы утверждаем, что между «долгими» XVI и XVII столетиями существует сущностная *преемственность* (*continuity*), но с одним значительным различием — между расширением (фаза А) и сжатием (фаза В), или между ростом и менее интенсивным ростом. Что может послужить подтверждением такого обобщающего подхода к действительности? На одном из уровней объяснения ответ вполне прост. Речь идет о том, что мы постараемся определить эмпирические различия между расширением и сжатием, для того чтобы сформулировать предположение, почему имеет место данная циклическая модель, а также чтобы очертить последствия этого в разрезе формирования классов, политической борьбы и различных форм восприятия поворота колеса экономической фортуны в культурной сфере. Исходя из этого эмпирического описания, мы постараемся более четко сформулировать теорию капиталистического развития в качестве части более масштабной теории общественно-исторического изменения.

Мы полагаем, что, несмотря на указанную неизменность пределов мира-экономики в промежутке 1500–1750 годов, существует различие между периодами 1450 (1500)–1650 и 1600–1750 годов (их наложение друг на друга не случайно) в плане распределения ресурсов, экономических функций, бедности и богатства, а также территориального размещения наемного труда и промышленного производства. Продемонстрировать это утверждение непросто: для убедительного доказательства требуется конструирование ряда совершенно новых экономических показателей, что само по себе сложно, а с внешней

точки зрения, пожалуй, выглядит невозможным. Для этого нам понадобился бы последовательный набор синхронных карт, которые с интервалом в 25 лет демонстрировали бы объемы, общую стоимость и направления торговли как предметами роскоши, так и товарами повседневного спроса, а также «сводных» карт для промежутков 1500–1650 и 1600–1750 годов. Если наши предположения верны, то эти карты, судя по всему, продемонстрировали бы, что европейская торговля (в первую очередь товарами основного спроса, а не предметами роскоши) происходила в пределах, очерченных по одну сторону Восточной Европой, а по другую — Россией и покоренными турками Балканами, а также рубежом между христианской и мусульманской частями Средиземноморья. Кроме того, в эти пределы входили бы обе Америки, но Африка и Азия оставались бы за их рамками.

Самое главное, что эти карты не должны продемонстрировать существенных различий между моделями мира-экономики в 1500–1650 и 1600–1750 годах с точки зрения его внешних рубежей, за исключением, как мы увидим, вхождения в его рамки Карибского бассейна. С другой стороны, с точки зрения экономических, политических и культурных моделей *внутри* европейского мира-экономики между двумя периодами должны обнаружиться определенные существенные различия. Разными (или, по меньшей мере, в процессе изменения) должны быть размещение и концентрация промышленных производств, то же самое можно утверждать об условиях торговли между промышленностью и сельским хозяйством, о доле наемного труда в разных зонах мира-экономики и о реальных заработных платах наемных работников. Различные государственные аппараты должны становиться сильнее и слабее, а темпы роста в сельскохозяйственном и промышленном производстве, а также демографического прироста должны изменяться. Территории, которые оказались центром, полупериферией и периферией мира-экономики, должны претерпеть некоторые изменения, а самое главное, — относительная доля мирового прибавочного продукта, присваиваемая каждой из этих зон, также должна измениться.

Но еще до выявления ожидаемых в соответствии с нашей теорией капиталистического развития направлений изменения читатель должен уяснить, что необходимые нам количественные показатели скудны — в лучшем случае они частичны и рассеянны. Особенно не хватает данных для мира-экономики, которые позволили бы делать *соотносительные* заключения. Если же вы еще мечтаете о достоверных утверждениях касательно изменений социальной структуры, то здесь дело обстоит еще хуже. Кроме того, нам необходимо установить, каким образом между двумя периодами (1500–1650 и 1600–1750 годы) сдвигались модели классообразования и менялись определения этнонациональных границ, причем в рамках мира-экономики в целом, а не в пределах отдельных государств — и здесь информации у нас еще меньше. Все, что мы можем сделать в данный момент, это анализировать разрозненные свидетельства, описывая то, что представляется более или менее убедительным, проверяя объяснительные модели, которые включают в себя эти данные, предлагая теоретические объяснения и приходя к определенному

представлению об имеющихся лакунах эмпирической информации и теоретических головоломках. Именно в таком духе мы будем рассматривать то, что в исторической литературе подразумевалось под «кризисом», «относительным откатом» и «более медленным ростом» XVII века.

1

ФАЗА В

«Селянин», картина довольно популярного парижского гравера Николя Герара (1648–1710), который видел в крестьянине человека, «рожденного для страданий»

С точки зрения Слихер ван Бата, фундаментальными характеристиками, отличающими периоды *сельскохозяйственного* расширения и сжатия в Европе начиная с эпохи Каролингов, являются рост и падение цен на зерновые относительно прочих товаров и заработных плат — это зависело от условий торговли зерном, благоприятных или неблагоприятных. Промежуток между 1600 (или 1650) и 1750 годами ван Бат рассматривает как период сокращения производства зерновых, имея в виду *неблагоприятные условия торговли*.[1] Важно подчеркнуть подобное определение сжатия, потому что относительное падение хлебных цен, уверен ван Бат, куда более значимо, чем их падение, выраженное в абсолютных единицах. Рука об руку с изменением условий торговли (воздержимся пока от любых предположений о причинно-следственной взаимосвязи) около 1650 года наступает, по определению К. Гламанна, поворотный момент в «масштабной хлебной торговле между Востоком и Западом». Очевидно, этот момент настал вследствие того, что «Южная и Западная Европа, [похоже], стали в большей степени самостоятельно удовлетворять свои потребности в зерне».[3] Последнее приписывается «росту производства продовольствия в Западной Европе во второй

---

[1] *Slicher van Bath* (1965a, 38). В более поздней работе ван Бат добавляет: «Это обстоятельство отнюдь не препятствовало успехам в других отраслях хозяйства в данный период: процветающим пивоварению, винокурению, текстильным и табачным производствам» (*Slicher van Bath*, 1977, 53).

[2] «Более важными представляются изменяющиеся в длительной перспективе соотношения между ценами на зерновые и продукцию животного происхождения (например, масло, сыр, шерсть). Большое значение имеет и соотношение цен на пшеницу с ценами на такую продукцию сельскохозяйственного производства, как лён, капуста, табак и др., а также с ценами на вино, и соотношение между пшеницей и промышленным сырьем типа текстиля или кирпича; в конечном итоге, необходимо рассматривать соотношение между ценами на пшеницу и размером ренты» (*Slicher van Bath*, 1965b, 144). В этой связи см. категоричный ответ Перри Андерсона на нежелание Жоржа Дюби признать кризисной европейскую экономику позднего Средневековья. В некоторых регионах Дюби видит определенные признаки продолжительного экономического прогресса, однако Андерсон замечает, что «это значит смешивать понятия "кризис" и "упадок" (retrogression)» (*P. Anderson*, 1974b, 197).

[3] *Glamann* (1974, 464).

половине XVII века, совпавшему с общей демографической стагнацией»,[4] следствием чего, предположительно, было превышение предложения над спросом. Однако Гламанн также отмечает, что в то же самое время «Европа была завалена перцем».[5]

Но можно ли допускать гипотезу об избыточном предложении, если основной проблемой эпохи было, предположительно, слишком малое количество продовольствия? Шёффер говорит о таких «перманентных, порой скрытых, структурных явлениях» в Европе, «начиная от бедствий XIV века и вплоть до значительной части XVIII столетия», как прежде всего «постоянная напряженность между производством и распределением продовольствия, с одной стороны, и потребностями населения в пище, с другой». В результате «плохое питание приобрело эндемический характер, а голод — зачастую эпидемический».[6] Доменико Селла считает, что благосостояние в ранний период эпохи Модерна зависело от того, «соответствовали запасы продовольствия размерам населения или нет»,[7] однако другие исследователи говорят, что производство росло быстрее, чем население. Очевидно, мы имеем дело с аномалией, разрешить которую можно лишь при наличии более четкого представления о причинно-следственных связях между событиями. Поэтому для начала необходимо рассмотреть, что еще происходило в это время.

Источники свидетельствуют об определенных сдвигах в сельском хозяйстве XVII века: процесс мелиорации земель, по меньшей мере, замедлился, а скорее всего, вообще остановился и даже, быть может, повернулся в обратном направлении. В отличие от XVI и XVIII столетий, когда, по меткому выражению Шоню, «земля изобреталась», XVII век, особенно после 1650 года, был периодом «консолидации», однако консолидации «без выгоды».[8] Вдобавок к прекращению расширения обрабатываемых земель, в

---

[4] *Glamann* (1974, 465). См. тж. *Slicher van Bath* (1963a, 208). О последовавшем общем спаде производства зерновых см. в: *Jacquart* (1978a, 352, 360). Жакар указывает (p. 378), что возможны лишь три причины общего спада производства: изменения производственных издержек, изменения уровня урожайности, изменения рыночной стоимости продукции. Жакар отвергает первое объяснение как недостоверное для данного периода — соответственно, остаются два последних фактора, и главным из них Жакар считает снижавшуюся урожайность. Однако Слихер ван Бат в качестве существенного объяснения падения урожайности приводит климатические аргументы: «Если бы все остальные факторы оставались неизменными *ceteris paribus* [при прочих равных — *лат.*], то в этот период цены на зерно должны были демонстрировать тенденцию к росту. В действительности же в большинстве стран они вели себя противоположным образом. Следовательно, должны были происходить данные [климатические — *И.В.*] изменения, которые повлияли на спрос» *(Slicher van Bath, 1977, 63)*.

[5] *Glamann* (1974, 485).

[6] *Schöffer* (1966, 90).

[7] *Sella* (1974, 366).

[8] *Chaunu* (1966a, 272). См. тж. *Slicher van Bath* (1963b, 18). Брошенные деревни в XVII веке обнаруживаются не только в таких разоренных войной регионах, как Богемия, германские государства, Польша и Бургундия, но и за пределами основных театров

1600–1699 годах в Европе снижалась средняя урожайность зерновых, причем в большей степени это было характерно для ячменя и овса, чем для пшеницы и ржи; в центре, на севере и на востоке континента этот процесс был более резко выражен, чем в Западной Европе.[9] Де Маддалена называет это «примечательным явлением».[10] Еще один значительный сдвиг в сельском хозяйстве был связан с изменением ассортимента выращиваемой продукции. Во-первых, имел место переход от использования земли под зерновые к ее использованию под пастбища в более холодных зонах и под виноградники в более теплых.[11] Во-вторых, переход от зерновых к увеличению производства фуражных культур, овощей, требующих интенсивного труда, и технических культур (лён, конопля, хмель, рапс, марена и вайда**).[12] В-третьих, переход от дорогих злаков (рожь и пшеница) к зерновым с низкой стоимостью (ячмень, овес и гречиха),[13] а также сокращение закупок удобрений (перегноя и мергеля) для производства зерновых.[14]

Наряду с собственно сельскохозяйственными изменениями, происходило значительное число перемен в социальной организации аграрного производства. Де Маддалена говорит об общей «деградации крестьянского класса»[15] в XVII веке, на протяжении которого «землевладельцы под предлогом *urgens et improvisa necessitas* [неотложной и внезапной надобности — *лат.*] осуществляли конфискации хозяйств, прежде принадлежавших крестьянам».[16] Де Маддалена также указывает на факт «экспроприации, а более точно, скорее, узурпации, трети общинной собственности (отсюда возникло понятие

военных действий, например, в итальянских Кампанье и Тоскане, в испанской Саламанке. См. *Slicher van Bath* (1977, 68).

[9] См. *Slicher van Bath* (1963b, 17). См. тж. *Jacquart* (1978a, 363–368).

[10] *De Maddalena* (1974a, 343). Слихер ван Бат утверждает, что существует необходимая взаимосвязь между урожайностью и ценами на зерновые. «Рост использования удобрений вел к увеличению закупок навоза и, в свою очередь, к росту урожаев. Однако удобрение почвы наращивали лишь в том случае, если производство зерновых было выгодно» (*Slicher van Bath*, 1965a, 32). Очевидно, в последнем ван Бат не уверен, поскольку он также утверждает, что «сокращение количества или качества используемого навоза, возможно, объясняет плавное снижение доли зерновых в 1600–1750 годах в большинстве стран Европы, для которых имеются соответствующие свидетельства» (*Slicher van Bath*, 1977, 95).

[11] *Romano* (1962, 512-513). Слихер ван Бат (*Slicher van Bath*, 1965a, 33–34) перечисляет следующие регионы, где между 1650 и 1750 годами происходит переход от земледелия к пастбищному хозяйству: Кастилия, Шверин, Форарльберг, Альгой, Брегенцервальд, Пеи д'Эно, Эмменталь, Савойя, Юра, Грюйер, Пеи д'Эрве, Бургундия, Тьераш, Пеи д'Ож, Бессен, Котентен, Мидлендс, Ирландия. Новыми зонами виноделия между 1630 и 1771 годами стали Ланды, Перигор, Сет, Монпелье, Эльзас, Каталония, Во, Халлвиль', кантон Цюриха.

[12] Слихер ван Бат (*Slicher van Bath*, 1965a, 33, 39) отмечает подобные сдвиги в Мозеле, Гарце, Эрфурте и Нидерландах.

[13] *Slicher van Bath* (1965a, 39).

[14] *Slicher van Bath* (1965a, 15, 39).

[15] *De Maddalena* (1974a, 288), срв. *Jacquart* (1978a, 346; 1978b, 427–428; 1978c, 462).

[16] *De Maddalena* (1974a, 292), срв. *Jacquart* (1978b, 391–392).

"триаж"")», которая затронула крестьян в результате сокращения площади угодий, где те имели право пасти скот и собирать дрова.[17] Слихер ван Бат согласен с тем, что сельское население в большинстве своем страдало от невзгод эпохи больше, чем городское, однако в структуре сельского населения он различает, с одной стороны, мелких фермеров и батраков (cottagers), а с другой, чернорабочих (laborers) и надомных работников — первым «приходилось еще хуже», чем последним двум группам, которые зарабатывали на жизнь наемным трудом.[18] Мёвре находит этому вполне очевидное объяснение:

> «Всякий земледелец, который владеет землей или арендует ее (*laboureur*), жалуется на небольшой доход из-за цены на пшеницу. Но сколько на каждого такого земледельца приходится разнорабочих (*manœuvriers*) или ремесленников, которые радуются более низкой цене в те редкие моменты, когда они должны ее закупать».[19]

В целом Слихер ван Бат полагает, что неблагоприятное финансовое положение крестьян, владевших землей, и арендаторов (*fermiers-propritaiéres*) имело место наряду с сокращением земель, сдаваемых в аренду (*fermages*), и в особенности с уменьшением численности мелких фермеров-арендаторов (*petits fermiers*).[20] Одновременно с двумя последними процессами происходило общее увеличение среднего размера аграрного хозяйства (agricultural unit, *exploitation agricole*).[21] Однако, несмотря на данное обстоятельство и более высокую стоимость труда, в XVII веке сельскохозяйственный инвентарь претерпел меньше изменений, чем в предыдущем столетии, хотя в инструментарии животноводства новшеств было больше (например, усовершенствование конструкции маслобойни).[22]

Считается, что в XVII веке промышленность, как и сельское хозяйство, также утратила свою «силу ускорения», хотя и несколько позже.[23] Правда, непонятно, что значит данное утверждение в отношении

---

[17] *De Maddalena* (1974a, 294).

[18] *Slicher van Bath* (1965b, 147). В немецком языке этим терминам соответствуют понятия *Kleinbauern* [мелкие крестьяне], *Kätner* [крестьянин-бедняк] и *Häusler* [безземельный крестьянин], с одной стороны, и *Knechte* [наемные работники у крестьянина] и *Magde* [домашние работники]. Жакар также подчеркивает относительный упадок «среднего крестьянства», к которому он относит лиц, «владеющих небольшим семейным наделом или использующих его»; по мнению Жакара, в ходе кризиса эта группа подвергалась «пролетаризации» (*Jacquart*, 1978c, 466).

[19] *Meuvret* (1944, 116).

[20] *Slicher van Bath* (1965a, 38).

[21] *Slicher van Bath* (1965a, 37–38).

[22] *Slicher van Bath* (1965a, 15, 34, 39).

[23] *Romano* (1962, 520). Резюмируя содержание этой работы в более поздней статье, Романо утверждал: «Первый, наиболее важный, решающий слом — слом сельского хозяйства — наступает в конце XVI века; распад торговли и промышленности происходит позже, в 1619–1622 годах, в том смысле, что после непродолжительного кризиса, пришедшегося на этот промежуток, торговая и "промышленная" деятельность вступают в более продолжительный кризис» (*Romano*, 1974, 196).

совокупного объема европейского производства. Селла утверждает, что отклонения были сравнительно невелики, поскольку в XVI веке благодаря росту населения происходило снижение реальных заработков, а стало быть, «положение дел в основном оставалось прежним». Когда же после 1650 года начинается рост душевых доходов, рост индивидуального спроса «мог [на мировом уровне] частично компенсироваться демографическим спадом».[24] О неопределенности подобного рода рассуждений прямо говорит Хобсбаум: «Что происходило с производством? Мы об этом попросту не знаем».[25]

Что представляется действительно известным, это изменение локализации (location) промышленности. Как отмечает Слихер ван Бат, «хорошо известно, что в периоды сжатия в сельском хозяйстве, такие как конец Средневековья и XVII век, на сцене появляется сельская промышленность, в особенности текстильная».[26] Утверждается, что это происходит в силу дешевизны и привлекательности для промышленности труда частично занятых деревенских работников. Поскольку подобная индустрия — по меньшей мере, до середины XVIII века — была основана на низкой доле основных фондов в структуре производства, Романо утверждает, что «ликвидировать предприятие, изъяв из него капитал, было чрезвычайно легко».[27] Подобное утверждение может быть справедливо применительно к текстильной промышленности, однако нелегко представить, чтобы такое положение дел было свойственно еще двум из трех (согласно списку, приводимому самим Романо) основных отраслей промышленности той эпохи — добыче полезных ископаемых и кораблестроению.[28] Перемещение текстильного производства в сельскую местность сочеталось со становлением нескольких новых значимых отраслей (причем все они были основаны на переработке зерновых) — пивоварения, производства крепкого алкоголя и изготовления мучных изделий.[29]

Очевидно, что обратной стороной снижения цен на хлеб был рост реальных заработных плат. «Во второй половине XVII века, <...> когда цены на продовольствие демонстрировали тенденцию к снижению, <...> ставки заработных плат оставались неизменными либо им не удавалось снизиться пропорционально продуктовым ценам».[30] Разумеется, перед нами процесс, обратный тому, что имел место в «долгом» XVI веке.[31] Предположительно, отчасти он стал следствием сравнительной «негибкости» заработков, но в еще большей степени — результатом «выраженной

[24] *Sella* (1974, 366–367).

[25] *Hobsbawm* (1965, 9).

[26] Слихер ван Бат перечисляет следующие территории, затронутые этим процессом: Ирландия, Шотландия, Мен (Франция), Фландрия, Твенте, Вестфалия, окрестности Мюнстера, Саксония и Силезия (*Slicher van Bath*, 1965a, 37).

[27] *Romano* (1962, 520).

[28] *Romano* (1962, 500).

[29] *Slicher van Bath* (1965a, 39).

[30] *Sella* (1974, 366), см. тж. *Vigo* (1974, 390).

[31] Об этом см. в первом томе настоящей работы: *Валлерстайн, Иммануил.* Мир-система Модерна I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. Москва, Университет Дмитрия Пожарского, 2015 *(Валлерстайн,* 2015a), с. 89–99 (здесь и далее ссылки на первый том приводятся по русскому изданию).

нехватки рабочих рук, повсеместной в Европе в период 1620–1750 годов».[32] Но если так, то как можно совместить это с тем фактом, что XVII век считался эпохой сравнительно высокой безработицы и неполной занятости? Как отмечает Гламанн,

> «наемный работник мог получить некоторый рост реальных заработков. Однако это предполагает, что данный работник имел полную занятость, что невозможно допустить в эпоху, для которой был характерен нарушенный экономический баланс. Многие писатели-экономисты XVII века в любом случае исходили из того, что в их обществах преобладала крупномасштабная неполная занятость».[33]

Фактор отношения номинальных цен к «металлическим» (bullion) вносит особую путаницу в любое рассмотрение цен (а также зерновых или наемного труда) в данный период.[34] Ролан Мунье называет общепринятым положением то, что «для многих стран спад оказывается сильнее, чем кажется первоначально, если вместо того, чтобы брать в расчет лишь номинальные цены, выраженные в счетных денежных единицах (money of account), цены рассчитываются в соответствующем последним металлическом эквиваленте».[35] Поэтому, по словам Вилара, если мы рассматриваем «металлические» цены, то обнаруживается «один достоверный факт: во всем мире цены в серебряном эквиваленте сжимались примерно в 1660 году, в 1680 году пробив первый нижний рубеж, а около 1720–1721 годов, несомненно, и второй».[36] Падение «металлических» цен необходимо рассматривать как процесс, который шел следом за снижением количества драгоценных металлов в обращении.

---

[32] *Abel* (1973, 225).

[33] *Glamann* (1974, 431). Аналогичные наблюдения обнаруживаются у Пьера Леона: «В XVII веке рост реальных заработков был прерван кризисом сельского хозяйства, который породил резкие и сильные скачки цен на хлеб, сокрушительный рост стоимости жизни и серьезные промышленные спады, провоцировавшие длительную и тяжелую безработицу. Так что для большей части рабочего класса это была катастрофическая эпоха» (*Léon*, 1970e, 674).

[34] См. краткое рассмотрение данной проблемы в первом томе: *Валлерстайн* (2015a, 336).

[35] *Mousnier* (1967, 167). Убедительный аргумент в пользу металлического эквивалента приводит Ле Руа Ладюри, указывая на обратную постановку вопроса у Рене Баэреля: «Не может существовать единственно верной меры денежной стоимости (monetary value). Почему же нам следует считать, что ею должен быть грамм серебра?» (*Baehrel*, 1961). И вот ответ Ле Руа Ладюри: «Так и есть. Но *a fortiori* [тем более – *лат.*] почему нам следует считать, что этой мерой должен быть *livre tournois* [турский ливр* – *фр.*], добавляющий к относительности металлического эквивалента дополнительный фактор нестабильности счетных денег? <...> Во имя бесспорной относительности универсума можно ставить под сомнение эталон метра в виде куска иридия**. Но стоит ли менять его на кусок резины метровой длины — длины, которая окажется относительной, но в то же время удручающе эластичной?» (*Le Roy Ladurie*, 1964, 83).

[36] *Vilar* (1974, 246). Однако Вилар добавляет, что, «за исключением Франции, сложно отрицать подъем кривой цен между 1683–1689 и 1701–1710 годами».

Джеффри Паркер резюмирует ситуацию в целом:

> «В итоге представляется обоснованным утверждение, что чистый объем драгоценных металлов в Европе между 1500 и 1580 годами увеличивался умеренными темпами, затем, между 1580 и 1620 годами, быстро рос и, *возможно, снижался, начиная с 1620-х годов* (когда добыча серебра в Европе сошла на нет, а поставки американского серебра резко сократились) и вплоть до появления бразильского золота после 1700 года.
> Безусловно, увеличение объема доступных Европе денег было чрезвычайно важным фактором. Европейская торговля 1700 года явно не могла вестись при наличии лишь скудных денежных ресурсов 1500 года. Но при этом остается главный вопрос: было ли этого достаточно? Было ли увеличение европейской денежной массы — увеличение, конечно же, существенное — адекватным резко возрастающему спросу на платежные средства? Существует ряд указаний на то, что этого увеличения было недостаточно, *в особенности после 1600 года*».[37]

Нехватка ощущалась не только в области денежной массы — ей соответствовала нехватка кредитных средств, так что, по меньшей мере, полстолетия, с 1630 по 1680 годы, как отмечает Фрэнк Спунер, совокупного объема доступных «серебра, меди, золота и кредита [вместе взятых] едва хватало. В результате финансовая жизнь стала беспокойной и убогой, что было как отражением, так и следствием общего замедления материальной жизни мира».[38] Отсюда и поток фальшивых денег — «всеобщая язва XVII века».[39] Но что означал этот ценовой сдвиг для мировой торговли *в количественном смысле*? Как и в случае с европейским промышленным производством, фактические данные на сей счет в мировом масштабе также отсутствуют.

Сконструированная Фредериком Моро модель межконтинентальных торговых отношений делит мир на пять зон: Европу, Африку, Америку умеренного пояса, тропическую Америку и Азию. В нашей терминологии это не вполне верные географические категории, поскольку Африка и Азия являлись внешней сферой капиталистического мира-экономики, в то время как обе Америки представляли собой его периферийную зону. Кроме того, Моро объединяет в одну категорию центральные и периферийные зоны Европы, что приводит к потере принципиальных данных.[40] Тем не менее, его оценка довольно полезна и отражена ниже в таблице 1 (расположение ячеек изменено с целью внесения большей ясности). Допуская, что в этой таблице приведены корректные сравнения, отметим, что торговля Европы и с Европой шла параллельным курсом с торговлей в мировом масштабе, и XVII век для обоих указанных торговых потоков оказывается промежутком стабильности, в отличие от предшествующего и последующего периодов экспансии.

---

[37] *Parker* (1974a, 529–530). Курсив добавлен.

[38] *Spooner* (1956, 8).

[39] *Spooner* (1956, 35–36).

[40] См. *Mauro* (1961a, особенно 16–17). Критику подхода Моро к Европе как единому целому см. в: *Mata and Valério* (1978, особенно pp. 118–120).

Таблица 1.
Сравнение масштабов двусторонней межконтинентальной торговли пяти разных зон и мира в целом в соотношении с предшествующим столетием:

	Век		
Зона	XVI	XVII	XVIII
Европа	Рост	Б/изм	Рост
Африка	Б/изм	Рост	Рост
Америка умеренного пояса	(почти нет)	Рост	Рост
Тропическая Америка	Рост	Б/изм	Б/изм
Азия	Рост	Спад	Спад
Мир в целом	Рост	Б/изм	Рост

Источник: *Mauro*, 1961a.

Теперь остается рассмотреть последнюю значимую переменную — население. Обращаясь к ней, мы обнаруживаем, что в целом оценки демографов различаются не слишком значительно. Марсель Рейнар и Арман Арменго характеризуют XVII век с точки зрения демографии как «стагнацию, если не <...> плавный спад (decline, *recul*)», но *не* как «катастрофический [кризис] наподобие того, что случился в XIV столетии».[41] Рожер Мольс считает, что, «невзирая на расколовшие столетие ужасные кризисы, в XVII веке, похоже, происходил незначительный прирост населения».[42] Как бы это ни называть — плавный спад или незначительный прирост, — демографическая кривая вышла на плато.

Обзор общих показателей европейской экономики с 1600 по 1750 годы (фаза B) в сравнении с промежутком с 1450 или 1500 по 1650 годы (фаза A), а на деле и с периодом после 1750 года тоже демонстрирует картину экономического плато. Иными словами, это было время передышки, решения накопившихся проблем и перегруппировки сил. Но был ли это «кризис» в том же смысле, в каком мы говорим о «кризисе феодализма» с 1300 по 1450 годы?[43] Представляется, что нет, ведь, несмотря на то, что «его основные

[41] *Reinhard and Armengaud* (1961, 114).

[42] *Mols* (1974, 39). Жан де Ври рассчитывает демографический индекс для 1700 года в 106 пунктов, принимая 1600 год за 100 (для 1750 года индекс оказывается равен 123); при этом, правда, не берется в расчет Восточная Европа, где индекс определенно должен был продолжать снижаться (*De Vries*, 1976, 5, таблица 1).

[43] См. соответствующее рассмотрение в: *Валлерстайн* (2015a, гл. 1).

симптомы были те же самые», в промежутке 1650–1750 годов «депрессия была куда более мягкой, чем серьезный экономический спад позднего Средневековья».[44] А раз так, то именно это и необходимо объяснить — и наша гипотеза заключается в том, что сжатие 1600–1750 годов, в отличие от аналогичных процессов 1300–1450 годов, *не* было «кризисом», поскольку перевал был пройден и поворот остался позади — кризис феодализма был уже в целом разрешен. Сжатие XVII века — это процесс, происходивший *внутри* функционирующего и развивающегося капиталистического мира-экономики. Это был первый из того множества всемирных спадов, или депрессий, которые этой системе предстоит пережить, но сама система уже была в существенных чертах отстроена в интересах политически доминирующих групп (strata) в рамках мира-экономики. При этом энергия данных групп была коллективно направлена *grosso modo* [в общих чертах — *лат.*] не на демонтаж системы, а, напротив, на выявление тех средств, при помощи которых они могли заставить систему работать для своей выгоды — даже (или, скорее, в особенности) в условиях экономического сжатия.

В XVII веке капиталистические группы были слишком разнородны, едва ли представляя собой единое классовое образование, — совершенно определенно, что они не были классом с полностью оформленным самосознанием и уверенным в своем праве на власть — в «праве править», править в той же степени, что и обогащаться. Тем не менее, эти группы проявляли исключительную способность извлекать прибыль даже в чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах. Как говорит Пьер Жаннен о купцах из Данцига, объясняя некоторые из наиболее сложных операций, к которым им приходилось прибегать около 1600 года, «используемая ими система расчетов демонстрирует, что купцы понимали механизмы образования прибыли. Они вели торговлю таким образом, что в самом деле можно утверждать: купцы имели представление об "условиях [внешней] торговли"* (terms of trade) в наиболее конкретном значении этого термина».[45] Рассмотрение того, как прибыль может быть извлечена из изменения условий торговли, ведет нас к основному объяснению особенностей экономического поведения в изучаемый период. Как предполагает Вилар, следует сосредоточиться не столько на подъемах и спадах цен, сколько на «несоразмерности их движения».[46]

Данные несоразмерности включают как временны*е* ряды, так и географические локации, и значение их состоит не просто в тех доходах, которые можно было извлечь, но в их воздействии на систему в целом. По мнению Ежи Топольского, рассматриваемое сжатие представляло собой не «общий экономический кризис в смысле стагнации, временного затишья или рецессии, вызванных ослаблением экономической активности», — скорее это был период, отмеченный «нарастанием неравномерности»[47] внутри системы в целом. Это нарастание неравномерности не есть нечто

---

[44] *Slicher van Bath* (1963a, 206).

[45] *Jeannin* (1974, 495).

[46] *Vilar* (1961, 114).

противоположное сжатию: неравномерность в период сжатия в действительности оказывается одним из ключевых капиталистических механизмов, одним из факторов, обуславливающих концентрацию и рост накопления капитала. Вилар дает этому хорошее объяснение: «Разные страны по-разному отвечают на каждое общее для всех стечение обстоятельств (conjuncture) — отсюда и неравномерности развития, которые в конечном итоге делают историю».[48]

Обратимся теперь к тому, что Селла называет «впечатляющими сдвигами в географическом распределении экономической деятельности»,[49] однако не будем делать это в духе привычной ученой безысходности, в соответствии с которой нужно «избегать обобщений».[50] Скорее нам следует помнить уточнение Фернана Броделя, что «не существует единственной точки стечения обстоятельств (single conjuncture) — поэтому необходимо отчетливо представлять ряд налагающихся друг на друга историй, которые развиваются одновременно».[51] По основным различениям географического характера среди исследователей существует общая договоренность, хотя в деталях здесь достаточно места для ученого педантизма. Хобсбаум, рассматривая «общий кризис», отмечает «сравнительный иммунитет к

[47] *Topolski* (1974a, 140). Ральф Дэвис фактически говорит о том же самом: «Куда более поразительно, что общий экономический спад оказался траекторией расхождения направлений развития» (*Davis*, 1973b, 108). Можно сравнить отказ Топольского от использования термина «стагнация» с аналогичным подходом Руджеро Романо: «Что такое семнадцатый век? <...> При всем обилии имеющихся определений их можно свести к одному: это век "экономической стагнации". Пусть это будет утверждение на интуитивном уровне, но я твердо убежден, что за подобным легковесным определением скрывается лишь один конкретный показатель, а именно — история цен <...> Но является ли этот критерий основательным? Я в этом не уверен» (*Romano*, 1962, 481–482).

[48] *Vilar* (1974, 52). Именно поэтому я не могу согласиться со стремлением Морино доказать общую несостоятельность понятия «фаза B» применительно к XVII веку. Вот аргументация Морино: «Сомнения в росте*? Так называется этот [коллективный] труд. В нем много теоретических постулатов и пустых идей. Он демонстрирует приверженность его авторов представлению об экономическом росте в духе Ростоу — представлению, предполагающему оптимистический взгляд на XVI век и однообразно пессимистический — на XVII столетие. <...> Но если вы голландец или англичанин, а не испанец или португалец, то географический рост Европы после 1598 года вполне очевиден. Стало быть, перед нами вопрос пересдачи карт» (*Morineau*, 1978g, 575). Однако же, если не поддаваться общему пессимизму относительно XVII столетия, если *допустить*, что фаза B представляет собой *именно* подобное перераспределение, и если отстаивать теорию, обратную доктринам экономического роста в духе Ростоу, — тогда мы в меньшей степени подвержены воздействию данного возражения.

[49] *Sella* (1974, 390).

[50] *De Maddalena* (1974a, 274).

[51] *Braudel* (1973, **II**, 892). Подобная особенность протекания процессов, как мне кажется, объясняет уверенный тон Шоню в следующем фрагменте: «Спад, как правило, не происходит сразу — для этого требуются два, три, четыре момента, которые являются эпизодами циклического кризиса. <...> Везде в Европе хронология подобных кризи-

кризисным явлениям тех государств, которые прошли через "буржуазную революцию"»,[52] имея в виду Соединенные Провинции и Англию. Однако в другом месте Хобсбаум делит «европейскую экономику» на четыре зоны, три из которых, по его мнению, в определенном смысле переживали экономический спад (при этом не делается попытка ранжировать их между собой). К данным зонам Хобсбаум относит «старые "развитые" экономики Средневековья — Средиземноморье и юго-запад Германии», «заморские колонии», «прибалтийский хинтерланд» и «новые "развитые" территории». В числе последних, где экономическая ситуация была «более сложной», обнаруживаются не только Голландия и Англия, но и Франция.[53]

У Романо географическая схема более детальна:

> «На Англию и Нидерланды кризис имел избавительное воздействие; во Франции он не высвободил энергию, но определенно посеял то, что принесет свои плоды несколько позже; для остальной Европы он означал лишь наступление регресса (involution). В последнюю группу стран также, безусловно, должна быть включена Италия».[54]

Карло Чиполла добавляет следующий нюанс в схему Романо: «XVII век был "черным" столетием для Испании, Италии и Германии и, по меньшей мере, "серым" для Франции. Однако для Голландии это был ее золотой век, а для Англии если не золотой, то уж точно серебряный».[55] Топольский проводит территориальные разграничения несколько иначе, выделяя зоны высокой динамики (Англия и Соединенные Провинции), зоны менее быстрого развития (Франция, Скандинавия, Богемия и другие страны Центральной и Восточной Европы, за исключением Польши) и зоны стагнации, или регресса (Испания, Португалия, Италия и Польша).[56] Приведенные географические классификации в общих чертах не противоречат друг другу, несмотря на различия в деталях.

Теперь перейдем к временно́й классификации, где наблюдается большее замешательство. Для разных стран различаются даты сжатия, а также присутствуют различия в номинальных и «серебряных» ценах, причем разногласия исследователей присутствуют, как видно, даже для отдельных стран и отдельных видов цен. Бродель и Спунер в своем обзоре данных по ценам предлагают простую главную мысль: «Конец XVI века так же сложно зафиксировать, как и его начало».[57] Для «металлических» цен они обнаруживают разворот

сов в той или иной степени одинакова: кризис отнимает, или же на кризис отводится, два или три года. Однако сравнительная важность и значение данных кризисов варьируются в разных местах» (*Chaunu*, 1962b, 231).

[52] *Hobsbawm* (1965, 13).

[53] *Hobsbawm* (1958, 63).

[54] *Romano* (1974, 194).

[55] *Cipolla* (1974, 12). Шёффер говорит о нежелании голландских историков участвовать в разработке теории общеевропейского кризиса: «Как совместить этот общий кризис с золотым веком Голландии?» (*Schöffer*, 1966, 86).

[56] Приводится по изложению в: *Geremek* (1963).

восходящего тренда «на Юге между 1590 и 1600 годами, на Севере — между 1620 и 1630, а то и, возможно, к 1650 году». Однако применительно к номинальным ценам Бродель и Спунер выявляют вполне отличающуюся модель, состоящую из трех последовательных движений: 1) в районе 1620-х годов в Германии, 2) в середине столетия — для таких различных городов, как Сиена, Эксетер, Рагуза (Дубровник), Неаполь, Амстердам, Данциг и Париж, 3) 1678 год — для Кастилии, которая «очень сильно выбивается из общего ряда». Как утверждают Бродель и Спунер, «номинальные цены в точности следовали за "серебряными" лишь в случае Англии и находились очень близко от них в случае Голландии». Отметим, что перед нами вновь появляется эта пара стран. Для остальных же стран мы видим разрыв — от десятилетия до столь значительного промежутка, как три четверти столетия, в случае с Кастилией. «Последовательные волны инфляции <...> — вот что не давало снижаться номинальным ценам в разных странах».[58]

И здесь перед нами появляется драгоценная путеводная нить. Может ли инфляция быть одним из проявлений сравнительного спада в процессе сжатия мира-экономики? Можно ли утверждать, что уровень номинальной инфляции, в особенности взятый в сопоставлении с «металлическими» ценами, является мерой сравнительного спада? Данный вопрос следует иметь в виду при последующем рассмотрении различных датировок, критерии установления которых часто не приведены. Согласно Слихер ван Бату, в Испании депрессия началась около 1600 года, в Италии и в части Центральной Европы — около 1619 года, во Франции и частично в Германии — в 1630 году, в Англии и Соединенных Провинциях — в 1650 году. Спад достиг низшей точки в Центральной Европе в 1640–1680 годах, в Соединенных Провинциях — между 1720 и 1740 годами. В Англии и Франции он кончился в 1730 году, в Германии — в 1750 году, в Соединенных Провинциях — в 1755 году. «Территории, более развитые экономически, такие как Англия и Голландия, могли оказывать сопротивление дольше. Но производители первичной продукции (применительно к XVII веку речь идет о зернопроизводящих территориях Балтийской зоны) были практически полностью беззащитны».[59]

Вилар, используя «серебряные» цены, обнаруживает две основные модели: первую — в Испании и Португалии, где спад начался раньше (между 1600 и 1610 годами), но раньше и кончился (между 1680 и 1690 годами), а вторую — в Северной Европе (начало между 1650 и 1660 годами — конец между 1730 и 1735 годами). Франция при таком подходе предстает расколотой надвое страной, где Окситания (Миди) «благодаря Марселю и Средиземноморью была ближе к Испании, чем северо-восток страны (Бовези)».[60] Шоню также усматривает две аналогичные модели: «преждевременный тренд Средиземноморья и Испаноамерики и запоздалый тренд

[57] *Braudel and Spooner* (1967, 404).

[58] *Braudel and Spooner* (1967, 405).

[59] *Slicher van Bath* (1965b, 136). Аналогичный период времени депрессии в Балтийской зоне устанавливается в работе *Mączak and Samsonowicz* (1965, 82), где приводятся даты 1620-е–1760-е годы.

Севера и Балтики, с которым довольно парадоксальным образом связаны Бразилия и Индийский океан».[61]

Однако Абель предлагает несколько иную классификацию на основании средневзвешенных 25-летних цен на зерно в серебре, которые в целом демонстрировали нисходящий тренд «в течение второй половины XVII и первой половины XVIII столетий».[62] Это, как утверждает Абель, оказывается верным для Англии, Испанских Нидерландов, Франции, севера Италии, Соединенных Провинций, Дании и Польши, в отличие от Германии и Австрии, где «начиная с последней четверти XVII века кривые цен идут вверх».[63] В самом деле, пристальный взгляд на приведенный Абелем список демонстрирует более сложную картину, в рамках которой выделяются два обстоятельства. Во-первых, можно заметить, что наибольший разрыв в ценах приходится на 1650 год, когда в Польше цены были выраженно высокими, а в Германии — выраженно низкими. Во-вторых, для Польши характерен наиболее широкий диапазон цен во времени между 1650 (наиболее высокие цены) и 1725 (наиболее низкие цены) годами. Этот примечательный размах польских цен не следует терять из виду при разработке общей теоретической концепции, однако для начала нужно обратиться к Германии, поскольку существует значительная литература по вопросу о роли Тридцатилетней войны в ее «упадке».

В своем обозрении этой литературы по состоянию на 1962 год Теодор Рэбб описал две сложившиеся здесь теоретические школы — концепцию «разрушительной войны» и доктрину «более раннего упадка» (для второй из них Тридцатилетняя война была для Германии лишь последним ударом).[64] Характерным представителем первого направления является Фридрих Лютге, считающий, что между 1560 и 1620 годами экономика Германии процветала: Германия участвовала в заморской торговле, широко распространились и приносили прибыль мануфактуры. После 1620 года все это прекратилось, из чего Лютге делает вывод, что Тридцатилетняя война была здесь ключевым действующим фактором.[65] Вот типичный ответ на данную точку зрения со стороны Слихер ван Бата: «Тридцатилетняя война ни в чем не виновата, поскольку упадок Германии начался уже во второй половине XVI века».[66] Было предпринято несколько попыток разрешить этот спор. К примеру, Ф.Л. Карстен подвергает сомнению тезис об упадке Германии до войны:

«Даже если исходить из того, что большинство германских городов клонились к

---

[60] *Vilar* (1974, 303). Тем самым Вилар стремится совместить аргументы Баэреля (Baehrel, 1961) с общими представлениями о Франции – в противном случае данные аргументы им противоречат.

[61] *Chaunu* (1962b, 251–252).

[62] *Abel* (1973, 221).

[63] *Abel* (1973, 222, 223, график 37).

[64] *Rabb* (1962b, 40) 65.

[65] См. *Lütge* (1968, 26–28).

[66] *Slicher van Bath* (1963b, 18). Такой же аргумент приводит Абель (*Abel*, 1967, 261).

закату еще до 1618 года, то из этого не обязательно следует, что имел место общий упадок, поскольку экономическая деятельность могла перемещаться из городов в сельскую местность. В самом деле, именно так и происходило в северо-западной Германии, для которой XVI век стал периодом мира и процветания, временем увеличения экспорта зерновых и быстро растущих цен на хлеб».[67]

Таким образом, упадок городов не обязательно следует рассматривать как плохой экономический признак. Конечно, нет! — ибо это знак периферизации.[68] Помимо этого, Карстен обнаруживает, что до 1608 года подробно исследованная им Верхняя Бавария переживала «время медленно растущего процветания», в связи с чем Карстен советует делать выводы с осторожностью, пока не появятся «более детальные изыскания и исследования».[69] Если Карстен занимает промежуточную позицию, апеллируя к отсутствию общепризнанных выводов, то Теодор Рэбб оказывается в таком же положении, настаивая, что имеющееся у нас общее знание «демонстрирует как абсолютное процветание, так и упадок Германии [в преддверии Тридцатилетней войны], причем часто одно и другое идут рука об руку». Вывод, который делает Рэбб, также содержит долю предостережения:

«Тот факт, что территории, где наблюдался спад, были в бесспорном меньшинстве, <...> не позволяет сделать вывод, что до 1618 года борьба была чем-либо хуже разнообразия. <...> В лучшем случае Тридцатилетняя война стала началом общего спада, которого не было раньше, — в худшем в результате войны на смену процветанию пришли несчастья».[70]

Третий вариант промежуточного решения предлагает Генри Кеймен, признающий, что «не может быть никаких сомнений в бедственном характере войны для большинства германоязычных земель». Однако при этом Кеймен утверждает, что «в данном случае противоречие в некотором смысле оказывается ложным», поскольку «в то время не было единой экономической или политической единицы под названием "Германия"», поэтому «разграничить довоенный спад и тот, что начался в ходе войны, зачастую нереально».[71]

Все эти национальные «экономические» измерения упускают из прямого поля зрения то, в какой степени Тридцатилетняя война сама по себе была и политическим следствием, и признаком общего экономического сжатия в Европе в целом. Единственную значительную попытку рассмотреть эту войну в общеевропейском контексте предпринял Йозеф В. Полишенский. По его мнению, Тридцатилетнюю войну следует

«рассматривать как пример идеологического конфликта двух цивилизаций. Столкновение одной концепции, выросшей из наследия гуманизма,

---

[67] *Carsten* (1956, 241).

[68] Хотя Карстен и не использует данную терминологию, смысл этого ему хорошо понятен. Карстен говорит о «подъеме земельной знати и ее прямой торговле с иностранными купцами, которая уничтожила многие мелкие города» (*Carsten*, 1956, 241).

[69] *Carsten* (1956, 241).

[70] *Rabb* (1962b, 51).

[71] *Kamen* (1968, 44, 45, 48).

получившей оттенок протестантизма и взявшей за образец Соединенные Нидерланды, с другой, католико-гуманистической, следовавшей примеру Испании, становится, таким образом, точкой отсчета для формирования политических фронтов и силовых коалиций».[72]

Поэтому данную общеевропейскую войну можно считать первой мировой войной в рамках капиталистического мира-экономики. Именно так полагает Полишенский, хотя и формулирует это более осторожным языком:

«Необходимым условием для приобретения конфликтом всеобщего характера было наличие в Европе начала XVII века если не экономического единства, то, по меньшей мере, единой структуры обмена и первых признаков мирового рынка, центром тяжести которого была вся территория между Балтикой, Атлантикой и Средиземноморьем».[73]

Центральным утверждением Полишенского является неоспоримость тезиса О.Л. Вайнштейна* о том, что «Тридцатилетняя война нерасторжимо принадлежит истории Нидерландской революции и движению за освобождение от испанского владычества». К этому Полишенский добавляет: «Нам необходимо знать, каким именно образом эта внутренняя революция во главе с буржуазией смогла стать жупелом для ее противников во всей Европе».[74] По его мнению, в генерализации конфликта ключевую роль сыграл не только «голландский фактор» — наиболее значимым результатом Нидерландской революции в действительности оказалась победа голландцев в общеевропейском масштабе. Полишенский замечает, что война завершилась как раз в тот момент, когда голландцы оказались впереди:

«В 1645 году голландский флот впервые установил контроль над Зундом и торговыми путями Балтики. Купеческий патрициат провинции Голландия и города Амстердама более не видел причин для продолжения войны с Испанией, победить в которой могла лишь Франция. <...>

---

[72] *Polišenský* (1971, 9). Похожим образом Паркер предлагает аналогию с Первой мировой войной (*Parker*, 1976a, 72), однако обратим внимание, что буквально в следующей фразе Полишенский предостерегает от неверной интерпретации: «Было бы грубым упрощением утверждать, что Тридцатилетняя война была столкновением между лидером капиталистического развития и буржуазией, с одной стороны, и силами, представляющими "старый порядок" и феодальную аристократию, с другой».

[73] *Polišenský* (1971, 258). Поэтому отсюда следует, что «война выступила в качестве катализатора, ускорившего социально-экономические изменения, которые происходили еще перед ее началом» (p. 259). Тридцатилетняя война не была поворотным моментом – «она акцентировала *уже существующее* неравенство в экономическом развитии. Она не изменила направление основных торговых маршрутов или интенсивность торговых контактов» (p. 260, курсив добавлен). Мирослав Грох также рассматривает Тридцатилетнюю войну как результат противоречия между «развивающимися производительными силами и стагнирующими производственными отношениями», что, в свою очередь, стало следствием развития производства товаров для «общеевропейского рынка» (*Hroch*, 1963, 542). Однако Грох считает этот конфликт столкновением «внутри феодального класса» (p. 541).

[74] *Polišenský* (1971, 264).

> Сепаратный мир [Соединенных Провинций с Испанией в январе 1648 года] был в конечном итоге триумфом Нидерландской республики над Испанией и триумфом Голландии над принцем Оранским* и остальными провинциями Нидерландов. В равной степени этот мир можно рассматривать как полную победу Амстердама над интересами всей остальной Голландии, а окончание войны подтвердило привилегии всё той же городской олигархии, которую Мориц Оранский подавил тридцатью годами ранее**».[75]

Здесь возникает ключевой вопрос для объяснения того, почему Нидерландская революция, или война за независимость Голландии, которая началась еще в 1566 году, не превратилась в общеевропейский пожар до 1621 года, когда стартовал, согласно Полишенскому, «Голландский период войны»*** (1621—1625).[76] Не связано ли это каким-либо образом с отмеченным Романо кризисом 1619—1622 годов?[77] Более чем вероятно, ведь общеевропейское экономическое сжатие, о наступлении которого сигнализировал острый кризис этих лет,[78] означало, что ставки в политическом контроле повысились, а стоимость ущерба от военных разрушений участникам игры представлялась ниже, чем потенциальные убытки от слабого положения в торговле в момент сжатия. В этом смысле Соединенные Провинции рискнули и победили — в особенности потому, что многие военные убытки в плане понесенных разрушений на деле оплатили Германия и — не будем забывать об этом — Богемия.[79] Таким образом, Кеймен прав, рассматривая указанные выше противоречия относительно Германии как «ложные». Вопрос состоит не в том, произошел бы упадок Германии или нет, если бы не вмешалась Тридцатилетняя война, — по большому счету, это бессмысленное гипотетическое предположение. Вмешательство войны было одним из ответов на разворот тренда в мире-экономике — соответственно, война стала одним из способов происходивших перегруппировки экономических функций и усиления экономических диспропорций.

Обобщая различные исследования и компиляции, мы получаем следующую картину. В промежутке между примерно 1600 и 1650 годами (по аналогии с периодом 1300–1350 годов) период экономической экспансии, похоже, завершился. Описания этой экспансии в первую очередь в разрезе движения цен и сам подход, применявшийся историками цен межвоенного периода, не являются ошибкой, однако они сильно сбивают с правильного пути, поскольку цены по определению относительны. Некая цена имеет значение лишь в контексте всего синхронного ряда цен на данном рынке. Цены никогда не растут и не падают в целом: одни цены идут вверх, а это значит, что другие идут вниз. Тот факт, что несколько рядов экспансии подходили к концу, не определялся лишь эфемерным критерием номинальных цен — речь шла о реальных материальных продуктах. Первым и,

---

[75] *Polišenský* (1971, 236–237).

[76] Так называется пятая глава работы Полишенского (*Polišenský*, 1971).

[77] См. *Romano* (1962).

[78] См. мое рассмотрение этого вопроса в: *Валлерстайн* (2015а, 334–339).

[79] «Масштаб [экономической] трагедии [Богемии] очевиден» (*Polišenský*, 1971, 294). В той же степени это верно применительно к Швейцарии, см. рассмотрение этого вопроса в: *Kamen* (1968, 60).

возможно, центральным из этих рядов экспансии было увеличение производства зерновых — как в плане повышения удельной урожайности на единицу площади, так и с точки зрения роста общей площади земельных угодий под зерновыми культурами. Последнее было достигнуто путем рекультивации (*bonification*) земли, а также перехода от пастбищ и виноградарства к использованию земли под зерновые. Все это, конечно, происходило потому, что условия торговли зерном становились более выгодными, нежели условия торговли другими продуктами.

Кроме того, экспансия происходила в еще, по крайней мере, четырех реальных секторах. (1) Население, рост которого в ту эпоху не мог продолжаться долго без соответствующего изменения в предложении продовольствия. (2) *Городская* «промышленность», сравнительно монетизированная в пределах своих связей как с передовыми, так и с отсталыми отраслями. Она формировала высокий уровень вовлеченности в наемный труд и поэтому никогда не стояла далеко в стороне от сравнительно низких или, по меньшей мере, падающих реальных заработков. (3) Денежная масса в ее разнообразных формах (металлической, бумажной, кредитной). (4) Количество *пограничных* предпринимателей, сельских и городских. Все это предполагало рост (expansions) в смысле расширения масштабов экономики в целом, но перечисленные направления экспансии никогда не принимают одну и ту же форму в рамках множества сегментов хозяйства. Поэтому попытка оценить значение этих параметров в границах определенных политических образований, а не в пределах глобальных рынков даст лишь частичную картину, экономический смысл которой останется невнятным. Политические последствия также останутся невыявленными до тех пор, пока в расчет не будет принято более крупное целое.

Около 1300/1350 и 1600/1650 годов описанные экспансии подошли к концу — в целом по сходным причинам. Однако системные ответы на конец экспансии в каждом из двух случаев значительно отличались. С количественной точки зрения увидеть эту разницу вполне легко. В 1300–1450 годах происходило *падение* различных показателей, приблизительно сопоставимое с предшествующим ростом, в то время как промежуток с 1600 по 1750 годы представлял собой период *стабилизации* показателей. Кривая, описывающая 1450–1750 годы, выглядит скорее как ступень, нежели как горный пик в случае с кривой 1150–1450 годов. Однако это лишь внешняя сторона структурного различия. Если рецессия 1300–1450 годов вела к кризису социальной структуры, то есть к кризису европейского феодализма, то рецессия 1600–1750 годов — к «периоду отвердения и организации»,[80] по словам Шёффера, или периоду, который Шоню назвал «концом легкого роста и началом плодотворных трудностей».[81] Однако с чем соотносятся эти «отвердение» и «плодотворные трудности»? Единственный достоверный ответ — это капиталистический мир-экономика как система.

Отметим некоторые системно-конструктивные особенности процесса сжатия в промежутке 1600–1750 годов. Прежде всего — и данное обстоятельство сложно переоценить — это был период усиления государственных структур (по крайней мере, в государствах центра и возникающей полупериферии мира-экономики) в

[80] *Schöffer* (1966, 106).

[81] *Chaunu* (1967, 263).

качестве ответа на сжатие. Сопоставимое сжатие 1300–1450 годов, наоборот, вело к обострению междоусобных войн земельной знати, которые стали подлинным *Götterdammerung* [сумерками богов — *нем.*] феодальной Европы. Нельзя сказать, что XVII веку не были знакомы войны и разрушения — совсем напротив! Однако эти войны для правящих страт не приобрели характер массового кровопускания, как это было в позднем Средневековье. Изменились сами методы ведения войны, широко распространилось использование наемных армий, а главное, баталии XVII века велись между государствами, а не между баронами, и это обстоятельство могло служить укреплению чьей-то экономической мощи. Как выразился Дж.Х. Эллиотт в своем рассмотрении так называемого кризиса, «в XVI–XVII веках текстура европейской жизни действительно существенно изменилась, но эти изменения происходили в эластичных рамках аристократического монархического государства».[82] Именно эластичность и есть то качество, благодаря которому сжатия не стали кризисами.

Во-вторых, в некоторых территориях происходила постоянная экономическая деятельность — деятельность, которая при тщательном рассмотрении выглядит как признак процветания. Назову вскользь лишь самые очевидные примеры: «золотой век» Голландии, подъем Германии с конца XVII века, постоянное усовершенствование земледелия в Англии — короче говоря, «на протяжении этого мрачного и тяжелого XVII века идет накопление бесчисленного множества мелких улучшений».[83] Среди этих феноменов, о которых говорят не так часто, — тот факт, что мелиорация земли на самом деле никогда не прекращалась, о чем напоминает Романо:

> «Мелиорация (*bonifiche*)? Она по-прежнему продолжалась в XVII веке, просто теперь она не оплачивалась деньгами, а скорее осуществлялась за счет труда крепостных, повинностей, принудительных изъятий земли и прочих злоупотреблений (*soprusi*) и т.д. Именно в этом смысле вполне можно утверждать, что, "в отличие от других отраслей, сельскохозяйственное производство в XVII веке едва ли сократилось"».[84]

Нас не должно удивлять, что многие предприниматели XVII века не представляли себе «безопасных и продуктивных объектов для инвестирования»,[85] — в конечном итоге, именно это и является одним из смыслов «сжатия». Описывая XVII век как время, когда «прибыль отдыхает, а <...> рента победно празднует триумф»,[86] Шоню лишь вводит нас в заблуждение: на самом деле он описывает сдвиг в *сторону* сельскохозяйственных инвестиций в странах *центра* капиталистического мира-экономики.

Хобсбаум обнаруживает следующее парадоксальное явление в истории капитализма: ,

---

[82] *Elliott* (1969, 55).

[83] *Chaunu* (1967, 265).

[84] *Romano* (1962, 512). Романо цитирует фрагмент из *Bulferetti* (1953, 44, n. 77).

[85] *Minchinton* (1974, 160).

[86] *Chaunu* (1967, 264). Спунер указывает, что земля в ту эпоху была лишь одним из возможных объектов для коммерческого успеха. Помимо этого, он говорит о таких возможностях, как Тридцатилетняя война, государства, крупные компании и новые технологии (*Spooner*, 1970, 100–103).

> «Итак, мы столкнулись с тем парадоксом, что капитализм может развиваться лишь в рамках такой экономики, которая уже по сути своей является капиталистической, поскольку в любой другой экономике капиталистические силы будут стремиться адаптироваться к предшествующим им хозяйству и обществу и поэтому не будут достаточно революционны».[87]

Но действительно ли есть парадокс в том, что преимущественно *индустриальный* капиталистический мир-экономика может возникнуть лишь из уже существующего капиталистического мира-экономики? — а ведь именно это и произошло. То, каким образом капиталистический мир-экономика установился и стабилизировался между 1600 и 1750 годами, было невозможно в промежутке между 1300 и 1450 годами как раз потому, что экспансия 1150–1300 годов пока не разбила узы феодальной структуры Европы. Именно по этой причине XVII век смог открыть дорогу для рывка так называемой Промышленной революции — в экономическом, политическом, интеллектуальном и социальном аспектах.[88]

К примеру, нельзя упускать из виду революцию нравов — процесс, которому не обнаруживается соответствия в позднем Средневековье: в XVI–XVIII столетиях постепенно возникает аскетическая сексуальная мораль, оказывающая влияние на семейные структуры с целью приспособления их к капиталистическому миру. В следующем фрагменте Шоню, несмотря на свою обычную увлеченность возвышенной образностью, приводит вполне справедливую аргументацию:

> «С точки зрения морали XVII век — это великое и, возможно, единственное революционное столетие по сравнению с традиционной цивилизацией, это иконоборческий век *par excellence* [по преимуществу – *лат.*]! Тем самым он парадоксальным образом достиг одного из необходимых условий мальтузианской революции».[89]

И вновь спросим: в чем же тут парадокс? В самом деле, можно поставить вопрос и так: не происходила ли промышленная революция уже в XVII веке? На подобное предположение отваживается Чарльз Уилсон:

> «Существует ли принципиальная разница между экономическим развитием Голландии XVII века и экономическим развитием более позднего периода так называемой промышленной революции? Большинство историков, наверное, скажут, что существует. Но можно ли быть настолько в этом уверенным? <...> С точки зрения современной терминологии, голландское кораблестроение было само по себе такой же отраслью тяжелой промышленности, каким транспортному машиностроению суждено стать в XIX столетии».[90]

---

[87] *Hobsbawm* (1960, 104).

[88] Достижение данного периода в сравнении с предыдущим зафиксировано у Шоню: «Используя набор инструментов, наиболее совершенные из которых появились начиная с XIII столетия, европейский человек XVI века закинул сеть первой глобальной экономики. Но парадокс в другом – не в том ли, что между 1550 и 1750 годами, до транспортной революции середины XVIII века, классической Европе удалось сохранить эту столь удивительную вещь?» (*Chaunu*, 1966a, 277–278).

[89] *Chaunu* (1966a, 209).

Не будем забывать, что в промежутке между 1600 и 1750 годами *продолжился* и *продвинулся дальше* один из ключевых процессов для мира-экономики: постепенная ликвидация ценовых различий в трёх основных ценовых зонах Европы. Этот процесс демонстрирует обзорное исследование Броделя и Спунера:

> «Несомненное сокращение разрыва [между максимальными и минимальными ценами] начиная с первых лет XVIII века показывает, насколько стали сближаться цены по всей Европе <...> Сверхэксплуатация <...> ценовых дифференциалов была вкладом торговых капиталистов в постепенное выравнивание цен, в создание каналов коммуникации и, в свою очередь, в разнообразие интересов к поиску иных мест с более благоприятными условиями».[91]

Как раз в этом и заключается суть дела. Именно капиталистический процесс, длившийся с XVI по XVIII век, сделал возможным индустриальный рывок, а выравнивание цен было существенным элементом в этом процессе.

Мне представляется, что остается одно принципиальное отличие между двумя периодами двумя периодами — 1450–1750 годов, когда был создан капиталистический мир-экономика и последовательно устранены иные возможности исторического развития, и 1150–1450 годов, когда, можно утверждать, была предпринята аналогичная попытка, кончившаяся неудачей, поскольку политическая связность феодальной экономики еще не распалась из-за ее внутренних противоречий. Это ключевое различие следует искать в разных моделях распределения доходов в рамках экономической системы в целом.

Главным пунктом книги Вильгельма Абеля о массовой бедности в доиндустриальной Германии было безоговорочное опровержение известного утверждения Фридриха Энгельса в его «Положении рабочего класса в Англии в 1844 году», что условия жизни рабочих ухудшались по мере индустриализации. По мнению Абеля, цитирующего работу Бруно Гильдебранда, «[в Германии] наибольшая бедность была как раз в тех регионах, где не было промышленности».[92] В действительности, утверждает Абель, массовая бедность предшествовала индустриальной эпохе, уходя корнями в XVI век:

> «Самый резкий спад [реальных заработных плат] произошел в XVI веке. Впоследствии заработки в Германии стали расти вскоре после Тридцатилетней войны, а в других местах — начиная с XVIII века. Тем не менее, эти заработки <...> ненамного превосходили заработки второй половины XVI века и были значительно ниже заработков XV столетия. Эпоха нищеты (1791–1850) завершает этот ряд новым снижением заработков, однако в наименьшей степени это было характерно для Англии раннеиндустриального периода».[93]

---

[90] *Wilson* (1973, 331).

[91] *Braudel and Spooner* (1967, 395). Вальтер Ахиллес утверждает, что амстердамская цена на пшеницу стала «стандартом для всей Европы» (*Achilles*, 1959, 52).

[92] *Abel* (1972, 7).

[93] *Abel* (1972, 63). Абель иллюстрирует данный тезис графиком, показывающим реальную заработную плату каменщика в пересчете на килограммы пшеницы (используемой для хлеба) для Англии, Страсбурга, Вены и Лейпцига.

Главная идея книги Абеля заключается в утверждении, что промышленная революция означала повышение уровня жизни рабочих классов. Этот вопрос находится за рамками настоящего рассмотрения, хотя обращение Абеля к промежутку между 1791 и 1850 годами демонстрирует, что для мира-экономики в целом это могло быть и не так. Но для нашего исследования существенно утверждение Абеля, что между 1450 и 1800 годами происходило общее снижение доходов низших страт. Это положение подтверждается и другими исследованиями. Минчинтон, рассматривая промежуток 1500–1750 годов, отважился на некоторые обобщения относительно «структуры спроса» в Европе: «в 1750 году быть богатым было лучше, чем в 1500-м», а «пропасть между богатыми и бедными увеличивалась».[94] Бродель и Спунер на основании данных о ценах приходят к аналогичному заключению:

> «Начиная с конца XV столетия и примерно до начала XVIII века уровень жизни в Европе последовательно падал. Было бы интересно там, где это возможно, провести соответствующий анализ применительно к предшествующей эпохе, то есть для XIV–XV веков. Если говорить в целом, то уровень жизни в этот период был выше. Не было ли это время, как утверждали многие выдающиеся историки, золотым веком для труда в преддверии отмеченных нами неоднократных жестоких потрясений?»[95]

В таблице, которую я составил на основании данных Слихер ван Бата, реальные заработные платы английского плотника в промежутке 1251–1850[96] годов демонстрируют *последовательный рост с 1251 по 1450 годы*, удваиваясь в течение этого периода, и *более или менее стабильный спад после 1450* года с интервалом исключительно низких заработков (1601–1650), возвращаясь к 1850 году к исходной точке. Для интерпретации этих данных мы вновь должны обратиться к так называемому кризису феодализма. Как верно заметил Перри Андерсон, «полная убежденность в динамичном характере феодального способа производства стала одним из наиболее важных достижений историографии Средневековья последних десятилетий». Поэтому кризис феодализма возник не в результате неудачи этого способа производства, а благодаря его достижениям, как результат «всеобщего выдающегося прогресса в экономике и социальной сфере, который олицетворял собой [феодализм]».[97] Однако к XIII веку, вслед за тремя-четырьмя столетиями непрерывной экспансии, эту систему охватил кризис.

Я уже объяснял[98] причины своей уверенности в том, что все это стало результатом сочетания циклического спада в экономике, климатических изменений и

---

[94] *Minchinton* (1974, 168).

[95] *Braudel and Spooner* (1967, 429). О «депекорации» (нарастающем отсутствии мясной пищи [от *лат.* pecus, pecoris – «скот»]) в Европе в промежутке между поздним Средневековьем и 1800 годом см. тж.: *Teuteberg* (1975, 64–65).

[96] См. *Валлерстайн* (2015a, 93, таблица 1). Ле Руа Ладюри ссылается на данные М. Болара, согласно которым наибольшее жалованье парижского рабочего между XV и XVIII столетиями пришлось на 1440–1498 годы (*Le Roy Ladurie*, 1973, 134). Фанфани утверждает, что реальные заработные платы в Италии в XVI веке снизились на 50% (*Fanfani*, 1959, 345).

[97] *P. Anderson* (1974b, 182).

[98] См.*Валлерстайн* (2015a, 23–43).

векового обострения базовых противоречий феодальной структуры. В последующем, несколько более детальном исследовании данной исторической конъюнктуры у Перри Андерсона главный акцент сделан на том обстоятельстве, что «основной движитель феодальной системы, толкавший вперед всё феодальное хозяйство на протяжении трех столетий, а именно усовершенствование деревенского уклада жизни, очевидно достиг своих объективных пределов с точки зрения как почвенных, так и социальных структур».[99] Подчеркивая фактор, так сказать, социально-экономического истощения системы, Андерсон критикует выдвинутое у Мориса Добба и Е.А. Косминского «эмпирически спорное и теоретически редукционистское» объяснение кризиса, согласно которому последний стал следствием «постепенного усиления феодальной эксплуатации». По мнению Андерсона, это «представляется несоответствующим общей тенденции рентных отношений в данную эпоху».[100]

Разбору этой коллизии стоит посвятить некоторое время. Определенные эмпирические свидетельства в пользу отвергаемой Андерсоном гипотезы последовательного усиления эксплуатации на самом деле обнаруживаются и в его собственной работе, где он, к примеру, отмечает, что средний размер крестьянского надела в средневековой Европе падал «примерно от 100 акров в IX веке до 20–30 акров в XIII веке*».[101] Андерсон указывает также, что прослойка мелкой знати и правительственных посредников между крупными феодалами (magnates) и крестьянством «на протяжении всего периода Средневековья демонстрировала тенденцию к неуклонному росту [своей социальной и экономической значимости]».[102] Предположительно, это должно было означать, что всё бóльшая доля экономического прибавочного продукта доставалась работникам, занятым в непроизводственной сфере, а значит, действительно происходило постепенное усиление феодальной эксплуатации. В таком случае именно сочетание постепенного социально-экономического истощения и возраставшей эксплуатации (усиленных, как я уже заметил, иными факторами)

---

[99] P. *Anderson* (1974b, 197). Этот кризис, по мнению Андерсона, не был исключительно аграрным: «В то же самое время городская экономика столкнулась с определенными критичными для ее развития препятствиями… Имела место повсеместная нехватка денег, что неизбежно влияло на банковскую деятельность и торговлю». Андерсон объясняет эту нехватку наличием «технического барьера» в горном деле (*P. Anderson*, 1974b, 199).

[100] *P. Anderson* (1974b, 198). Похоже, что я сам оказываюсь в этом же лагере, поскольку в первом томе настоящей книги я присоединился к данной гипотезе в версии Р.Г. Хилтона, см.: *Валлерстайн* (2015a, 25–27).

[101] *P. Anderson* (1974b, 186). В личной беседе Андерсон предположил, что к этому могли привести разделы земли при ее наследовании, а не усиление эксплуатации.

[102] *P. Anderson* (1974b, 185). Опять-таки, Андерсон утверждает, что виной тому общее увеличение объема производства, а не усиление эксплуатации. Однако приведем данные выполненного Дэвидом Херлихи тщательного прикладного исследования сельской местности Пистойи в XIII веке. В опровержение мальтузианского объяснения демографического спада в XIV веке Херлихи указывает, что в XIII столетии сами крестьяне «поддерживали ошеломляющий уровень рент». Чтобы добыть капитал, крестьяне продавали инвесторам вечные ренты на свои земли, а после 1250 года «одновременно с девальвацией монеты и резко растущими ценами на хлеб подскочила и стоимость данных рент, достигнув пика в 1280-х годах». Помимо этого, «в сельской местности Пистойи сохранялись налоги вшестеро большие, чем те, что платил город» (*Herlihy*, 1965, 238, 240, 242).

дали в результате пресловутый кризис сеньориальных доходов, ставший следствием «расширяющихся ножниц между городскими и сельскохозяйственными ценами».[103] И не вело ли истощение хозяйства к росту эксплуатации, отчасти в качестве способа уравновесить индивидуальные доходы членов верхних страт?

Одним из последствий действия этих «ножниц» было общее изменение рентных отношений, которое происходит именно в период экономического спада. Как утверждает Андерсон,

> «общий кризис феодального способа производства отнюдь не ухудшил состояние непосредственных деревенских производителей, в результате кончившись их освобождением и улучшением их жизни. В действительности этот кризис оказался переломным моментом в исчезновении крепостного права на Западе».[104]

Отсюда складывается впечатление, что экономические «ножницы» породили ответную реакцию феодалов, а за ней, в свою очередь, последовало сравнительно успешное сопротивление крестьян, результатом которого стало исчезновение крепостного права. «Поместье, возделываемое трудом крепостных, к 1450 году во Франции, Англии, западной Германии, северной Италии и большей части Испании стало анахронизмом».[105] На мой взгляд, последовательность была несколько иной. Социально-экономический кризис ослабил знать, поэтому доля крестьян при распределении прибавочного продукта с 1250 по 1450 или 1500 годы последовательно увеличивалась. Это утверждение верно применительно ко *всей* Европе — и Западной, и Восточной.[106] Не предшествующее состояние «истощения», а именно улучшение условий жизни низших страт, стремившихся к сравнительному равенству доходов со стратами высшими, представляло для последних настоящий кризис и проблему, с которой им пришлось оказаться лицом к лицу.

Выхода из кризиса не существовало без решительного социального изменения. Этот выход, как я утверждал в первом томе, заключался в создании капиталистической мир-системы, новой формы присвоения прибавочного продукта.[107] Вытеснение феодального способа [производства] капиталистическим — такова была суть сеньориальной реакции; это было мощное социально-политическое устремление правящих групп к сохранению своих коллективных привилегий, даже если для этого приходилось соглашаться на фундаментальную реорганизацию хозяйства и признать все вытекающие отсюда угрозы для привычных типов стратификации. Понятно, что некоторые семейства от этих перемен проиграют, однако многие, напротив, получат

---

[103] *P. Anderson* (1974b, 200–209). Эмпирическое описание последствий этого у Андерсона выполнено с точностью и восхитительной ясностью.

[104] *P. Anderson* (1974b, 204).

[105] *P. Anderson* (1974b, 209).

[106] Несмотря на то, что одна из главных тем двух известных книг Перри Андерсона* – это расхождение путей Западной и Восточной Европы, даже он признает, что «сравнительное воздействие [кризиса феодализма] было, возможно, даже бóльшим» на востоке континента. Разумеется, Андерсон настаивает на том, что причина кризиса на западе и востоке Европы была разной (*P. Anderson*, 1974b, 246–248). Однако проявления кризиса были аналогичными, как и его благоприятные последствия для крестьянства.

[107] См.: *Валлерстайн* (2015a, 41–43).

от этого преимущества.[108] Кроме того, и это самое важное, сам принцип стратификации был не просто сохранен — ему было еще и суждено укрепиться.

Несмотря на то, что промежуток с 1500 до, по меньшей мере, 1800 года включал в себя как экспансию (фаза А), так и сжатие (фаза В), не демонстрирует ли выявленное снижение уровня жизни низших страт в Европе то, насколько успешной оказалась эта, если можно так выразиться, стратегия экономической трансформации? Следует заметить, что эмпирический аргумент в пользу снижения доходов низших страт выдвинут *не* критиком капитализма, но *в поправках* Абеля к работе Энгельса. (Ошибочная убежденность Абеля в том, что данное снижение приостановилось после 1800 года, показывает лишь то, что в силу ряда причин Абелю не удалось произвести расчеты для соответствующего периода в рамках верной единицы анализа — капиталистического мира-экономики в целом, чьи внешние пределы расширились именно около 1800 года).

Вернемся к нашей интерпретации сжатия 1600–1750 годов. Если рассматривать весь период 1450–1750 годов как один длительный «переход» от феодализма к капитализму, то мы рискуем материализовать само понятие перехода, поскольку тем самым последовательно сокращаются промежутки «чистого» феодализма и «чистого» капитализма, в итоге рано или поздно сводясь к нулю, то есть не останется ничего, кроме перехода. Рассматривать всё как переход весьма привлекательно, однако если мы распространяем часть на целое, то тем самым просто устраняем суть дела терминологическим приемом. Однако нам по-прежнему нужно знать, *когда, как* и *почему* произошли крупные изменения социальных структур. Идеологические самоописания самой системы никогда не являются истинными: найти по всей Европе предполагаемые примеры «некапиталистического» поведения в капиталистическом мире не составит труда не только в 1650 или 1750 годах, но и в 1850-м и 1950-м. В рамках капиталистического мира-экономики сочетание подобного «некапиталистического» поведения, «некапиталистических» предприятий и государств с «капиталистическим» поведением, «капиталистическими» предприятиями или (самая неудачная формулировка из всех возможных) «капиталистическими» государствами не является ни аномалией, ни переходным явлением. Данное сочетание представляет собой сущность капиталистической системы как способа производства, и эта же особенность объясняет, каким образом капиталистический мир-экономика исторически повлиял на цивилизации, с которыми он сосуществовал в социальном пространстве.

Я уже сказал, что капитализм представлял собой способ разрешения кризиса феодализма. Однако те или иные решения являются результатом выбора, который сплачивает большинство, преодолевающее сопротивление лиц и групп, которые оказались бы в положении проигравших при любом предлагаемом исходе. Поскольку проигравшие многочисленны и разношерстны, в данном процессе возможны неожиданные альянсы, а сам процесс затягивается и теряет четкие очертания. К тому же

[108] Сам Перри Андерсон выделяет один из способов снижения риска или же замедления темпа циркуляции элит. Андерсон называет этот способ рестрикционизмом (*vincolismo*), под которым подразумеваются различные юридические ухищрения, появившиеся в конце XVII–XVIII столетиях для сохранения крупной земельной собственности в кругу определенных семейств «в противовес дезинтегрирующему давлению и превратностям капиталистического рынка» (*P. Anderson*, 1974a, 56).

могут быть опробованы и другие «решения». Карл V попытался воссоздать всемирную монархию, но ему этого не удалось.[109] Низшие страты могли воспользоваться открывавшимися для них преимуществами циклического спада 1600–1750 годов, посеяв панику внутри системы и тем самым добившись существенного перераспределения еще более возросшего абсолютного прибавочного продукта, однако этого не случилось из-за мощи государственных аппаратов новоявленных стран центра капиталистического мира-экономики. Пытаясь примирить противоборствующие силы с помощью сложных комбинаций, в долгосрочной перспективе эти страны смогли выжить и процветать лишь в той степени, в какой они обеспечивали интересы доминирующих экономических групп мира-экономики в целом. По словам Андерсона, «абсолютизм по сути своей был… *перегруппировкой и перезагрузкой аппарата феодального господства*, направленными на оттеснение крестьянских масс обратно к их традиционному месту в обществе, несмотря на те достижения, которых им удалось добиться благодаря замене повинностей денежной рентой, и вопреки этому фактору».[110]

Я мог бы принять определение Андерсона целиком, если опустить в нем определение «*феодальный*». На мой взгляд, упомянутая в этом определении перегруппировка предполагала как раз замену феодального владычества на власть капитала, какой бы ни была внешняя оболочка публично декларируемой терминологии. Даже сам Андерсон признает наличие «очевидного парадокса абсолютизма»: несмотря на то, что абсолютизм защищал «аристократическую собственность и привилегии», он, по словам Андерсона, «мог *одновременно* обеспечивать первоочередные интересы зарождающихся торгового и промышленного (manufacturing) классов». Для объяснения этого парадокса Андерсон апеллирует к тому, что в эпоху «домашинного производства» (т.е. до 1800 года) «торговый и промышленный (machine) капитал» не нуждались в «массовом» рынке, а стало быть, могли избегать «радикального разрыва с феодальным аграрным порядком».[111] Это верно, однако в рамках мира-экономики в целом то же самое остается справедливым и для XX века. Иными словами, «потребность» в массовом рынке по-прежнему менее значима, чем совокупная численность населения мира.

Из вышесказанного становится понятно, почему не все абсолютные монархии были сильными государствами и почему не все сильные государства были абсолютными монархиями. Ключевым элементом здесь является уровень силы государства, а не то, насколько абсолютной была форма государственного правления. Конечно, необходимо объяснить и саму эту форму, однако в дальнейшем мы увидим, что в XVII веке *сильнейшими* государствами были те, что доминировали *экономически*: во-первых, Соединенные Провинции, во-вторых, Англия и лишь на третьем месте Франция. Английская революция укрепила английское государство, в то время как заявление Людовика XIV *l'Etat c'est moi* [государство — это я — *фр.*] было знаком относительной слабости его государства.

Сжатие XVII века не было кризисом системы — совсем наоборот, это был период ее консолидации. Шёффер проницательно предполагает, что в снижении

---

[109] См.: *Валлерстайн* (2015a, 201–221). См. тж. *Yates* (1975).

[110] *P. Anderson* (1974a, 18). Далее Андерсон дает другую формулировку того же утверждения: «Власть абсолютистского государства представляла собой власть феодальной знати в эпоху перехода к капитализму» (*P. Anderson*, 1974a, 42).

[111] *P. Anderson* (1974a, 40).

объемов поставок серебра из Испанской Америки в конце XVI века была своя положительная сторона. По его мнению, в результате этого в XVII веке «*средний уровень* цен в целом оставался неизменным», что было «стабилизирующим фактором для хозяйства, разоренного более чем чрезмерной инфляцией».[112]

Долгий шестнадцатый век был не просто эпохой инфляции. Это был период структурной революции, и не последней составляющей этого процесса было желание больших групп людей принять новые и радикальные идеи. Идеи гуманизма и Реформации были для них слишком опрометчивы и грозили выходом из-под контроля — таким образом, XVII век оказался временем успокоения и охлаждения страстей. Как и абсолютизм, классицизм представлял собой не описание действительности, но программу — программу возвращения политических и культурных начинаний к высшим стратам, в лучшем случае для того, чтобы смириться с тем фундаментальным изменением социума, которое представляло собой возникновение капиталистического мира-экономики. Вильям Бувсма характеризует главную интеллектуальную тенденцию XVII века как

> «повсеместное *восстановление* духа системности, который покоился на положительной оценке человеческого интеллекта — оценки, крайне отличной от взглядов, лежавших в основе движения секуляризации, и настойчиво сводящей все аспекты человеческого опыта к центральному ядру — универсальной и потому абстрактной истине».[113]

В политическом и культурном отношении XVII век представлял собой поиск стабильности форм и структур, что соответствовало моменту замедления темпа развития мира-экономики. Однако без этого периода замедления был бы невозможен следующий качественный скачок. В таком случае XVII век оказывается не «кризисом», а необходимым переключением скорости, не бедствием, а сущностным элементом в дальнейшем распространении интересов тех, кто получал от капиталистической системы больше всего благ.[114] Поскольку период 1600–1750 годов был столь значим для *консолидации* европейского мира-экономики, необходимо провести тщательное исследование, почему она произошла. Это позволит нам понять, какие механизмы капиталистические страты используют для преодоления повторяющихся периодов сжатия мира-экономики.

---

[112] *Schöffer* (1966, 97).

[113] *Bouwsma* (1970, 10, курсив добавлен). В свою очередь, эта забота о «систематической рациональности универсума», считает Бувсма, восходит к «материальным условиям эпохи: депрессии длиной в столетие, дезорганизации общества, войнам и революциям» (p. 14).

[114] Рэбб говорит о «колоссальных размерах, масштабном полотнище» интеллектуальных систем, построенных между 1610 и 1660 годами (Бэкон, Декарт, Спиноза Гоббс), которые он рассматривает именно как реакцию на кризис. «После того, как подобные устремления начиная с 1660-х годов утратили для европейской культуры центральное место, можно вновь утверждать, что неизвестность, а значит, и "кризис", остались позади» (*Rabb*, 1975, 58–59).

2

ГОЛЛАНДСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ В МИРЕ-ЭКОНОМИКЕ

Рембрандт ван Рейн, **«Ян Уйтенбогарт, генеральный откупщик».** Гравюра 1639 года, более известная как «Мужчина, взвешивающий золото». Портрет выполнен в богато-торжественном, почти сакральном стиле — сравните с портретами менял у художников XVI века, которые изображали их с крючковатыми носами и суровыми лицами

На Севере феномен наподобие Рубенса <...> был немыслим.

Питер Гейл[1]

К 1600 году центр европейского мира-экономики твердо закрепился в северо-западной Европе, то есть в Голландии и Зеландии, в Лондоне, окрестных графствах (the Home Counties) и Восточной Англии, а также в северной и западной Франции.[2] Политические единицы, в пределах которых располагались эти центральные зоны, достаточно сильно различались с точки зрения размера, формы и в собственно политическом отношении, к тому же в течение следующих полутора столетий они претерпели существенные изменения; однако в экономическом отношении между данными территориями было больше сходств, чем различий. Как было показано в предыдущей главе, промежуток между 1600 и 1750 годами был временем консолидации, в ходе которого произошло замедление темпа развития мира-экономики. Это утверждение верно в целом, однако особенность капиталистической экономической системы заключается в том, что общая магистральная тенденция представляет собой сочетание разительно различающихся трендов в формирующих ее секторах. Процессы замедления и консолидации вынуждают принимать непростые экономические решения, что, в свою очередь, способствует извилистым политическим (а также культурным) траекториям. Нигде это не проявилось так ярко, как в странах центра мира-экономики в XVII веке, когда среди их предпринимательских групп шла острая борьба за выживание в условиях, при которых одни должны были исчезнуть, чтобы другим осталось достаточно прибыли.

В книгах по истории промежуток 1600–1750 годов именуется эпохой *меркантилизма*. Здесь я не намерен производить обзор ни многочисленных значений, которыми наделяется данное понятие, ни дефиниций, определяющих его «сущность».[3] Дискуссия о меркантилизме главным образом затрагивает

[1] *Geyl* (1961, 37–38).

[2] Дж.Р. Джоунс выделяет данные территории для сравнения между Британией и Соединенными Провинциями (см. *J.R. Jones*, 1966, 40).

[3] Хороший обзор этой дискуссии см. в: *Coleman* (1969). Однако я не могу согласиться с точкой зрения Коулмена, что, будучи «ложной нитью историографии» в качестве своего рода ярлыка для определенного вида политики, термин «меркантилизм» полезен в смысле описания экономических теорий (*Coleman*, 1957, 24). Я склонен думать, что на

наличие подлинной ценности у аргументов, выдвинутых теоретиками XVII столетия. Очевидно, что данные аргументы некоторым образом отражали реальность и в какой-то мере создавались для того, чтобы на нее воздействовать, хотя это верно применительно к любой теории. Однако в контексте настоящего исследования нас интересуют актуальные государственные практики тех времен, каким бы ни было их идеологическое обоснование. Эти практики не были уникальны для своей эпохи, однако они использовались *некоторыми* государствами почти в любой момент истории капиталистического мира-экономики, хотя их идеологическое обоснование различалось. При наличии значительной путаницы в объяснениях меркантилизма XVII века два аспекта данного понятия признают практически все. Меркантилизм, во-первых, предполагал государственную политику экономического национализма и, во-вторых, ставил во главу угла вопрос обращения товаров — как в смысле оборота драгоценных металлов, так и в плане формирования балансов торговли (двусторонних или многосторонних). Что конкретно считать подлинным соотношением «прибыли и могущества» — это и есть предмет дискуссии как между людьми того времени, так и между сегодняшними исследователями.

Утверждать, что экономический национализм является государственной политикой более слабых в отношении более сильных, а также конкурентов в отношении друг друга, значит просто принимать ортодоксальную точку зрения. В этой книге будет представлено, возможно, несколько иное утверждение, согласно которому успех в меркантилистской конкуренции был в первую очередь результатом производственной эффективности, а *средне*срочной целью всех меркантилистских государственных мер было увеличение общей эффективности производственной сферы. Наше изложение следует начать с Соединенных Провинций, поскольку эта «куча песка и грязи, оставшихся от эпохи ледникового периода»,[4] с непрочным и, похоже, неэффективным государственным аппаратом, по меньшей мере, часть XVII столетия была державой-гегемоном в капиталистическом мире-экономике. Соединенные Провинции (или же следует говорить о Голландии?) были первой из таких сил после краха попытки Карла V превратить мир-экономику в мир-империю. Гегемония — это редкое состояние: на сегодняшний день в роли державы-гегемона в капиталистическом мире-экономике выступали лишь Голландия, Англия и Соединенные Штаты, и каждая из этих стран сохраняла данное положение в течение сравнительно короткого периода. Причем Голландия удерживала его менее всего — очевидно, потому, что она в наименьшей степени была военным гигантом своего времени.

Гегемония предполагает нечто большее, чем обладание статусом центра. Гегемонию можно определить как такое положение, при котором продукция определенного государства центра производится столь эффективно, что эта продукция оказывается в целом конкурентоспособной даже в других странах

самом деле все было наоборот: теории были непоследовательными, поскольку они представляли собой апологии, но государства в определенных условиях стремились осуществлять ту политику, которую мы называем меркантилизмом.

[4] *van Veen* (1950, 11). Хорошее краткое описание геологических условий Нидерландов до их изменения в результате человеческого вмешательства см. в: *Schöffer* (1973, 9–13).

центра, в связи с чем данное государство-гегемон оказывается основным получателем выгод от максимально свободного мирового рынка. Очевидно, что для получения преимущества от первенства в производстве подобное государство должно быть достаточно сильным, чтобы предотвращать или минимизировать сооружение внутренних и внешних барьеров на пути свободного обращения факторов производства, причем для сохранения своего однажды достигнутого преимущества доминирующие экономические силы обнаруживают целесообразным стимулировать определенные интеллектуальные направления, движения и идеологии. Проблема гегемонии, как мы увидим, состоит в том, что она преходяща. Как только некоторое государство становится подлинным гегемоном, начинается его закат, поскольку государство прекращает быть гегемоном не из-за того, что теряет силу (для этого должно пройти еще, по меньшей мере, длительное время), а потому, что получают преимущество другие. Быть на вершине — значит быть уверенным, что будущее не будет вашим в той же мере, в какой вам принадлежит настоящее — но сладостно и это ощущение. Модель гегемонии представляется удивительно простой. Зримое превосходство в эффективности аграрно-индустриального производства ведет к преобладанию в сфере коммерческого распределения в мировой торговле, наряду с одновременным накоплением доходов от статуса перевалочного пункта для большей части мировой торговли и от контроля над «невидимыми» сферами транспорта, коммуникаций и страхования. В свою очередь, коммерческое первенство ведет к контролю над финансовыми секторами — банковской сферой (обмен, депозиты и кредит) и инвестициями (прямыми и портфельными).

Данные виды превосходства возникают последовательно, но при этом они накладываются друг на друга во времени. Аналогичным образом представляется, что *утрата* преимущества происходит в том же порядке (от производства к торговле и далее к финансам) и также является, по большей части, последовательным процессом. Следовательно, существует, возможно, лишь короткий промежуток времени, когда некоторая держава центра может *одновременно* демонстрировать производственное, коммерческое и финансовое превосходство *над всеми прочими державами центра*. Именно этот краткосрочный пик мы называем гегемонией. В случае с Голландией, или с Соединенными Провинциями, этот момент примерно приходится на промежуток между 1625 и 1675 годами. Эффективность в производстве была впервые достигнута голландцами в исторически старейшей форме производства продовольствия, а именно в собирательстве — речь идет о рыбе, особенно о соленой сельди (но не только о ней), «голландской золотой жиле».[5]

[5] См. *Wilson* (1941, 3). Чарльз М. Эндрюс прослеживает этот феномен вплоть до провозглашения Генеральных Штатов 19 июля 1624 года, см. *Andrews* (1915, 541). Некто Мейнерт Семейнс писал в 1639 году: «Голландцы ловят больше сельди и заготавливают ее лучше, чем это когда-либо удастся любой другой нации, и Бог посредством сельди сделал Голландию биржей и ярмаркой для всей Европы. Сельдь удерживает на ходу голландскую торговлю, а голландская торговля держит на плаву мир». См. Corte beschryvinge over de Haring vischerye in Hollandt, цит по: *Beaujon* (1884, 60–61). Французский исследователь Жан Лузак˙ писал в 1778 году, что рыбная ловля была «колыбелью [голландской] коммерции» (*Luaze*, I, 19).

Истоки этой эффективности следует искать в изобретении около 1400 года *харингбёйса*, или бусса[6] — рыболовецкой лодки с высоким коэффициентом отношения длины к ширине, что обеспечивало «бóльшую маневренность, лучшие мореходные качества и скорость без крупных потерь в грузоподъемности».[7] Два огромных преимущества бусса заключались в том, что его конструкция позволяла использовать большую сеть для ловли сельди (впервые отмечена в Хорне, западная Фрисландия, в 1516 году),[8] а более широкие палубы этого судна давали возможность обрабатывать рыбу прямо на борту. Новая технология заготовки рыбы была разработана в XIII веке и предполагала потрошение и соление рыбы сразу после вылова, что обеспечивало ее сохранность.[9] Появление бусса — этого «судна-фабрики»[10] — позволило кораблям уходить далеко от берегов Голландии, оставаясь в плавании от 6 до 8 недель. Буссы доставляли рыбу на борт *вентйагеров*, или «охотников за солью» — быстроходных кораблей, которые с партией товара возвращались к берегам.[11]

Голландцы доминировали не только в ловле сельди в Северном море (в так называемой «великой ловле»),[12] но и в равной степени в ловле исландской трески, а также в китобойном промысле на Шпицбергене.[13] На китов в действительности охотились не ради пищи, но в промышленных целях: китовая ворвань использовалась в производстве мыла и в качестве топлива для светильников, а китовая кость — в производстве одежды.[14] Рыболовецкая отрасль была важна не только благодаря подобным передовым связям, но и тем, что обеспечивала связь

---

[6] См. *H.P.H. Jansen* (1978, 13). Р.У. Унгер приводит более точную дату первого появления этого типа корабля в Хорне — 1415 год, см. *Unger* (1978, 30).

[7] *Unger* (1978, 30). Изначально это соотношение составляло 2,5:1. К 1570 году оно равнялось 4,5:1, то есть было «заметно больше, чем даже у торговых кораблей, имевших наиболее передовую конструкцию». Однако существовал и технический предел для этого соотношения: «натяжение сети не могло быть слишком сильным».

[8] См. *Unger* (1978, 29–30).

[9] См. *Schöffer* (1973, 72–73). Сельдь портилась в промежутке 24–48 часов. См. *Michell* (1977, 142).

[10] А.Р. Мичелл отмечает, что это судно «принадлежало к виду кораблей, лишь недавно появившихся в рыболовстве» (*Michell*, 1977, 142). На нем находились три вида рабочих: потрошители, удалявшие рыбьи внутренности, заготовщики, добавлявшие в рыбу соль, и собственно рыбаки.

[11] См. *Parry* (1967, 172).

[12] Тем самым голландцы могли использовать все три подходящих для ловли сельди сезона: первый (в июне и июле) — вокруг Оркнейских и Шетландских островов и севера Шотландии, второй (в августе) — от Данбара* в Шотландии до Йоркшира и третий (с сентября по ноябрь) — начиная от Ярмута**. См. *Michell* (1977, 139). Сельдь была известна как «котлета бедняков». В Голландии и западной Фрисландии «первая сельдь в сезоне устремлялась во внутренние районы на повозках, обгоняющих друг друга, чтобы успеть на рынок раньше других» (*Michell*, 1977, 180).

[13] См. *Parry* (1967, 167–173).

[14] На это указывает Мичелл, утверждая, что «направление развития китобойного промысла поэтому должно быть отражением промышленной, а не демографической истории Европы. Интересно, что англичанам не удалось достичь уровня самообеспечения (не говоря уже об избытке) продуктами этого промысла на пике своего торгового

с такими архаичными видами деятельности, как плетение сетей, тем самым формируя «уникальную для Европы» ситуацию с точки зрения доли населения, «вовлеченного в рыбную ловлю по меньшей мере косвенно».[15] В XVII веке англичан «раздражало»,[16] что голландцы могли вылавливать рыбу у их берегов и продавать ее в английских портах, конкурируя с местными торговцами, и это преимущество позволяло голландцам выстраивать свою «материнскую торговлю» на Балтийском море. Англичане в то время прекрасно это осознавали. Сэр Джордж Даунинг писал Кларендону** 8 июля 1661 года: «[Голландская] торговля сельдью — это основание для торговли солью, а торговля сельдью и солью есть причина того, что эта страна в некотором смысле полностью поглотила торговлю на Балтийском море, поскольку у них имеются эти большегрузные товары, чтобы отправлять их туда на своих кораблях».[17] Именно контроль над балтийской торговлей был одним из факторов, которые внесли свою лепту в эффективность голландского кораблестроения, поэтому на какое-то время голландцы попали в благоприятную ситуацию эффекта спирали, обеспечившего расширяющееся укрепление их превосходства.

Вопреки сэру Джорджу Даунингу, селедкой нельзя объяснять все. Голландцы демонстрировали такое же первенство и в сельском хозяйстве — самой главной производственной отрасли того времени. Это обстоятельство было удивительным достижением как с точки зрения широты его последствий,[18] так и по масштабу затраченных усилий, поскольку в геологическом отношении Нидерланды были не вполне подходящей территорией ни для выращивания зерновых,[19] ни для большинства других видов сельского хозяйства. Однако слабость превратилась в силу двумя способами. Во-первых, дренажные работы с целью создания пригодной для обработки земли (польдеринг) вели к изобретению водяных мельниц и расцвету инженерной науки, так что Голландия во многом стала «центром деревянной механической эпохи».[20] Польдеринг был известен с 1250 года, однако высшая точка использования этой технологии приходится на 1600–1625 годы, когда произошел внезапный количественный рывок; этот высокий уровень повсеместно сохранялся в промежутке 1625–1675 годов.[21] Отсюда и неуместная

превосходства, в то время как голландцы сохранили здесь свои позиции, несмотря на общий экономический спад» (*Michell*, 1977, 171).

[15] *Michell* (1977, 180).

[16] *Wilson* (1968, 64). Ответом на это было, как отмечает Каннингем* в 1887 году, «сознательное подражание голландцам» — именно эта фраза послужила заглавием второй главы пятой книги первого издания его «Роста английской промышленности и торговли», цит. по: *Clark* (1960, 15).

[17] Цит. по: *Wilson* (1957a, 3).

[18] «Как можно игнорировать связь между выдающимся развитием голландского сельского хозяйства и превосходством Нидерландов в экономической сфере XVII века?» (*De Maddalena*, 1974a, 313). Действительно, как можно?

[19] См. *E.L. Jones* (1967, 47).

[20] *van Veen* (1950, 145).

[21] См. список в: *van Veen* (1950, 65). Слихер ван Бат прослеживает положительную корреляцию между сельскохозяйственными ценами и созданием польдеров. «Вполне очевидно, что после 1664 года продолжительный период создания польдеров подошел к

насмешка Эндрю Марвелла* в «Характере Голландии»: «Итак, среди утопленников правит тот, кто осушает почву». Второй результат сложных природных условий был, возможно, еще более важен. Необходимость толкала голландцев к занятию интенсифицированным сельским хозяйством — сначала около 1300 года, когда первые тяжелые времена и низкие цены стимулировали изобретательность, а затем между 1620 и 1750 годами, когда происходит более значительная экспансия интенсивного сельского хозяйства.[22]

Поскольку земля была особенно неподходящей для пахотного сельского хозяйства,[23] увеличения производительности можно было легче всего достичь путем перехода к выращиванию технических культур (таких как лен, конопля, хмель), садоводству, выращиванию фруктов, а также к чрезвычайно важным красящим культурам. В последнем случае голландцы в XVI–XVII веках были «наиболее передовыми производителями, встречавшими незначительную конкуренцию».[24] Наряду с садоводством и растениеводством, произошел значительный рост животноводческого хозяйства.[25] Отчасти подобная концентрация промышленных объемов в сельском хозяйстве стала возможной благодаря крупномасштабному импорту зерна, который в данном случае не был малозначимым фактором. По оценке Жана де Ври, в середине XVII века половина жителей провинций Голландия, Утрехт, Фрисландия и Гронинген питались привозным хлебом.[26] Другим влиятельным фактором

концу, и в это же самое время цены на зерно пошли вниз, а общая экономическая ситуация ухудшалась», см. *Slicher van Bath* (1977, 69, тж. 70, таблица 4).

[22] См. *Davis* (1973b, 112–115), *Slicher van Bath* (1960, 153) и *Wilson* (1977a, 23–24). По мнению Слихер ван Бата, интенсификация была «необходимостью дать пропитание выросшему и компактно расположенному населению в период сравнительно низких цен на зерно». Но почему другие не смогли добиться таких же результатов? Дэвис предлагает следующий аргумент. Англия и Франция не достигли уровня Голландии, поскольку в XV–XVI веках, когда к ним проникли голландские усовершенствования XIII–XIV столетий, Европа находилась в фазе экспансии и была менее расположена к принятию технологий интенсификации — в особенности потому, что между 1450 и 1650 годами крестьяне обладали наибольшим контролем над обрабатываемой землей и пастбищами, будучи классом, наименее открытым для инноваций. Дэвис утверждает, что Англия и Франция в XVII веке не были в том же исходном состоянии, что и Голландия.

[23] Земля была негодной для сельского хозяйства, за исключением «нескольких благоприятных районов, где почва была сравнительно возвышенной и сухой, например, на защищенном дюнами побережье Голландии, на некоторых островах к югу от Мааса и в прибрежных глиноземах Фрисландии» (*J. de Vries*, 1974, 71).

[24] *Gibbs* (1957, 693).

[25] *J. de Vries* (1974, 136–144).

[26] *J. de Vries* (1974, 172). Это был прежде всего вопрос оптимизации прибыли: «В порядке гипотезы можно сделать вывод, что рост торговли снижал цену на зерно, которое в Северных Нидерландах можно было производить лишь с высокой себестоимостью. Но если так, то региональное хозяйство получало существенную экономию в виде сравнительно низких цен на зерно, что с учетом важности хлеба для любой экономики того периода высвобождало средства для других целей» (p. 182). См. тж. утверждение Херманна ван дер Вее, что растущий тренд производительности в Северных Нидерландах между 1500 и 1670 годами «был в первую очередь результатом выраженной специализации. Зерно импортировалось *en masse* [в больших количествах — *фр.*] с Балтики,

было усовершенствование сельскохозяйственных технологий: исчезновение земель под паром,[27] связанное с этим выращивание фуражных культур, обработка клумб и грядок, использование простых и недорогих инструментов и получение высоких урожаев благодаря усиленному удобрению почвы и более тщательному труду на небольших площадях.[28] Посевы травяных культур и систематическое удобрение почвы также обусловили большее поголовье скота и более высокие надои.[29] Все это интенсифицировало сельское хозяйство, которому способствовал и благоприятствовал рост урбанизации и индустриализации. «К середине XVII века в большинстве городов существовали лица, обладавшие привилегией собирать [промышленные] отходы [такие, как зола] и затем продавать и доставлять их фермерам».[30] Неудивительно, что Романо называет период 1590–1670 годов «голландским сельскохозяйственным веком», сопоставимым с XVI столетием европейского сельского хозяйства.[31] Разрыв усиливался по мере того, как голландцы становились еще более эффективными, а в остальной Европе сельскохозяйственные технологии оставались сравнительно неподвижными.

Соединенные Провинции были не только ведущим сельскохозяйственным производителем той эпохи — одновременно они выступали лидером и в производстве индустриальной продукции. Так много чернил было истрачено на то, чтобы объяснить, почему в Голландии не произошла индустриализация, что мы рискуем проглядеть тот факт, что на самом деле индустриализация была. К чести Чарльза Уилсона, он регулярно настаивал на этой точке зрения во всем корпусе своих работ о Нидерландах.[32] Индустриальный прогресс прежде всего следует отметить в текстильной промышленности — традиционно лидирующей отрасли. В

в связи с чем прибрежные территории могли сосредоточиться на продукции животноводства, садоводстве и производстве технических культур для резко увеличивающегося, прибывающего населения растущих городов» (*Van der Wee*, 1978, 15).

Гламанн вносит скептическую ноту по поводу значимости балтийской торговли исходя из соображений торговли с хинтерландом, определяемым, правда, как Рейн, Фландрия, север Франции и Англия (*sic!*) (*Glamann*, 1977, 231–232).

[27] *Slicher van Bath* (1955, 181).

[28] *Slicher van Bath* (1960, 132, 147–148; 1955, 176–178).

[29] *J. de Vries* (1974, 142–144)

[30] *J. de Vries* (1974, 150)

[31] *Romano* (1962, 519).

[32] См., к примеру, такое обобщающее высказывание Уилсона: «Порой делаются предположения, что [Голландская республика] имела чисто коммерческую экономику, которой в силу каких-то причин не удалось перейти в индустриальную фазу. <...> Применительно к условиям XVII века это преувеличение. <...> Значительное число технологий <...> было рациональным образом сосредоточено на экономически высокоприбыльных процессах конечной выделки, или переработки сырьевых материалов, или производстве полуфабрикатов; все это стимулировало поток товаров, шедший через склады и рынки» (*Wilson*, 1968, 30).

Для современников это было очевидным. Й.Й. Бехер, экономический советник императора Леопольда I в Вене, защищая стимулирование мануфактур, писал в 1673 году: «Голландцы производят шелк, однако же он не растет в их стране; они покупают лен и коноплю у иностранцев и производят кружева и прекрасное полотно, которые

1560-х годах Северные Нидерланды стали получать прибыль от бегства на север изгнанников в процессе Нидерландской революции. Текстильное производство концентрировалось в Лейдене,[33] где началось производство «новых тканей» (шерстяной пряжи, саржи, камлота, фланели и т.д.), которыми стала знаменита Англия. Более чем столетие индустриальное производство прорывалось вперед, достигнув пика в 1660-х годах (его индекс, рассчитанный для 1664 года, составляет 545 пунктов в сравнении с 100 для 1584 года и 108 для 1795 года).[34] Производство не просто расширялось количественно — до 1660-х годов английские «новые ткани», главный промышленный конкурент Лейдена в текстильной отрасли, «были вынуждены вести тяжелую борьбу».[35] В поисках истока голландской мощи в балтийской торговле XVII века Свен-Эрик Острём приводит эффективность текстильного производства в качестве *первого* объяснения, а посредничество голландцев в торговле английскими тканями (и южноевропейской солью) в качестве *второго*.[36] Иными словами, на первом месте оказывается преимущество в производстве, а

они вновь экспортируют; из иностранной шерсти они делают ткань, которую экспортируют; они производят кожу из привозного сырья и экспортируют ее» (Politischer Discours, 2nd ed., Frankfurt, 1673, p. 173, цит. по: *Klima*, 1965, 97).

[33] Лейден был важным центром экспортного производства текстиля начиная с 1350 года. См. *H.P.H. Jansen* (1978, 11). Янсен полагает, что основополагающий подъем в промышленных отраслях Голландии произошел в промежутке 1350–1400 годов. Менее затронутая депопуляцией в силу меньшего воздействия Черной смерти, Голландия «могла лучше конкурировать с окружающими ее территориями, где население скосила эпидемия и где порой были враждебные цеховые организации» (p. 17).

[34] *Faber et al.* (1974, 7).

[35] *Wilson* (1965, 55). Гламанн рассматривает ситуацию в большей степени с точки зрения разделения труда: «Взгляд на период 1620–1700 годов демонстрирует, что, в то время как в Англии шерстяная отрасль была в упадке, а камвольная процветала, в Лейдене была прямо противоположная картина. Шерстяные ткани Лейдена, известные как лакены, отлично конкурировали с английской продукцией, а Англия лидировала среди камвольных тканей» (*Glamann*, 1974, 505). Отметим, однако, что у Уилсона речь идет о промежутке приблизительно 1570–1670 годов.

С окончанием Двенадцатилетнего перемирия в 1621 году территории, контролируемые Испанией, оказались отрезаны в качестве рынков для голландского текстиля. Джонатан Ирвин Израэль рассматривает это событие как очевидное препятствие для голландского производства дешевых, легких тканей. «Лейдену удалось компенсировать убытки путем расширения производства "старых тканей": знаменитые лакены больше подходили для североевропейских рынков. Однако, несмотря на то, что общая стоимость текстиля, произведенного в Лейдене между 1621 и 1648 годами, несомненно, увеличилась ("старые" ткани были дороже новых), с точки зрения количества произведенной ткани и необходимого для этого труда Лейден на самом деле клонился к упадку» (*Israel*, 1977, 61). По мнению Дейона, этот сдвиг, который он датирует периодом после 1650 года, стал следствием конкуренции с Тилбургом, Вервье и Буа-ле-Дюком*, по сравнению с которыми Лейден находился в проигрышном положении из-за высокой стоимости жизни и высоких заработков. Лейден «отказался от наиболее трудозатратных мануфактур <...> [и] вновь обратился к производству предметов роскоши — толстых тканей, камлотов на основе кожи коз и верблюдов» (*Deyon*, 1978d, 267).

[36] *Åström* (1963, 61). Третий из перечисленных факторов — это «колониальная продукция».

на втором — следующем за первым и стимулируемым им — коммерческое превосходство.

Это преимущество четко продемонстрировала история с проектом олдермена Кокейна, при помощи которого Англия стремилась принципиально изменить то положение дел, когда неокрашенные и неотделанные английские ткани отправлялись в Голландию для завершения производственного процесса. В 1614 году Иаков I запретил экспорт ткани «в белом виде», в ответ голландцы запретили импорт готовой продукции — английский король парировал запретом экспорта шерсти. Это была, по словам Саппла, «гигантская игра»,[37] которая кончилась ужасным поражением: за три года английский экспорт упал на треть, и проект Кокейна почил в 1617 году. Ставки были высоки: согласно подсчетам Уилсона, 47% добавленной стоимости английских тканей составляла окраска, которая осуществлялась в Голландии.[38] Причина, почему Англия не могла победить в этой игре, совершенно очевидна: мы уже отметили огромное преимущество, которое Голландия в это время имела в области производства красителей и, соответственно, в себестоимости окрашивания. Поэтому в первой половине XVII века английская конкуренция с Соединенными Провинциями и в торговле тканями, и в рыбной ловле была отражением «несбыточных меркантилистских надежд».[39]

Второй крупной отраслью промышленности раннего Модерна было кораблестроение, и здесь лидерство Соединенных Провинций также общеизвестно.[40] Менее широко известно то, что голландская судостроительная промышленность обладала «современными параметрами, с сильной тенденцией к стандартизованным, воспроизводимым методикам»,[41] однако этот факт является существенным для полноты исследования. Судостроение было высокомеханизированной отраслью, которая использовала много экономивших труд устройств. Ветряные лесопилки, которые приводили в действие подающие механизмы пил, блок и тали, огромные краны для перемещения тяжелых бревен — все это повышало производительность.[42] Поразительна связка судостроения с индустриально-коммерческим комплексом. В Амстердаме существовал ряд вспомогательных предприятий по производству веревок, сухарей, корабельных свеч, а также навигационного инструмента и морских карт.[43] Для самого строительства кораблей требовался лес — много леса.

---

[37] *Supple* (1959, 34).

[38] *Wilson* (1965, 71). В общем, утверждает Уилсон, «наибольшая доля прибыли» была заложена в «усовершенствованной технологии окраски и доводки ткани, что, [в свою очередь], давало ключ к контролю над рынками» (*Wilson*, 1968, 29).

[39] *Wilson* (1957a, 40).

[40] См. *Kellenbenz* (1977a, 531).

[41] *Wilson* (1973, 329). См. тж. *Michell* (1977, 152): «Настоящее достижение голландцев состояло не в строительстве больших кораблей, а в получении устойчивого качества продукции».

[42] См. *R.W. Unger* (1978, 7) и *Kindleberger* (1975, 618).

[43] См. *van Klaveren* (1969a, 183).

[44] См. *Naish* (1957, 493), см. тж. *Sella* (1974, 392–394). Виолетта Барбур приписывает более низкую себестоимость голландского судостроения (по сравнению с английским)

Строительство одного военного корабля оценивается в 2000 дубовых стволов — для этого требовалось, чтобы лес рос столетие, причем такое дерево было не так-то просто колоть на части, а для 2000 деревьев в то время было необходимо 50 акров леса.[44] Одним из главных источников этого леса была Балтика, а одной из главных причин того, почему голландцы овладевали этой торговлей, была эффективность их текстильного производства. Следствием этого, разумеется, была эффективность судостроения, что, как мы увидим, и было основным объяснением того, что голландцы могли доминировать в мировой торговле. Более того, поскольку другие отрасли голландской промышленности, помимо судостроения, «полностью зависели» от поставок по воде, корабли «необходимо рассматривать как подлинный фактор *производства*».[45] Соответственно, кораблестроение было производством средств производства.

Текстильное производство и кораблестроение были не единственными значимыми отраслями промышленности. По меньшей мере, до 1660 года Голландия была ведущим центром производства сахара,[46] а вскоре после 1600 года начался «мощный бум» крепкоалкогольного производства, длившийся все XVII столетие. Другими отраслями были бумажная промышленность, лесопилка, производство кирпича и извести, которое стало расширяться около 1500 года и было «вполне процветающим» еще в XVIII веке, гончарное производство, табачные и трубочные фабрики, очень крупные кожевенные производства, ориентированные на экспорт, особенно в XVII веке, пивоварни, достигшие пика своего развития на закате этого столетия, производства масла и мыла, величайший расцвет которых пришелся на середину века, и, конечно же, химическая промышленность, основной функцией которой было производство красящих веществ;[47] кроме того, не забудем о производстве боеприпасов.[48] Стимулируемый Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войнами, импорт военной продукции поощрялся государством, поэтому ее производство последовательно расширялось. К концу XVI века существовала значительная экспортная торговля; к 1600 году в структуре производства место ремесленных гильдий заняли мануфактура и раздаточная система.

Нельзя сказать, что на протяжении столетия между 1575 и 1675 годами Соединенные Провинции преуспели в любой отрасли промышленности либо

тому обстоятельству, что англичане не могли дешево импортировать лес и другие кораблестроительные товары — стоимость материалов в судостроении была в 8 раз выше, чем стоимость труда. Преимущество голландцев заключалось в «низкой стоимости закупок, дешевом фрахте и незначительных пошлинах» (*Barbour*, 1954, 238).

[45] *Wilson* (1977a, 39).

[46] В 1661 году в Амстердаме было 60 рафинадных производств. Вплоть до английского Навигационного акта 1660 года и аналогичных ограничений, введенных Кольбером, здесь перерабатывалась бóльшая часть сахара из английских и французских колоний. См. *Masefield* (1967, 293).

[47] См. *Faber et al.* (1974, 4–10); *Deyon* (1978d, 289); *Supple* (1977, 429). О производстве книг см. *Hazard* (1964, 112), где указано, что не позднее 1699 года 5 из 10 главных центров книгопечатания находились в Голландии, причем в одном только Амстердаме было 400 печатных станков.

[48] См. *Klein* (1966, 195–197) и *Barbour* (1963, 35–41).

не встречали действенной конкуренции. Однако если утверждать, подобно Дж.Д. Норту и Р.П. Томасу, что Нидерланды были «первой страной, достигшей состояния самоподдерживающего роста»,[49] то в первую очередь это произошло потому, что ни одна другая страна не могла продемонстрировать такого же связного, сплоченного и интегрированного аграрно-индустриального производственного комплекса, какой сложился в Нидерландах, несмотря на экономические сложности восьмидесяти лет войны за независимость.[50] В XVII веке не было более внимательных наблюдателей происходившего на голландской сцене, чем англичане. В опубликованных в 1673 году «Наблюдениях за Соединенными Провинциями» английский посол сэр Уильям Темпл утверждал:

> «Я полагаю, что истинные происхождение и основа торговли заключаются в огромных множествах людей, заполняющих небольшой отрезок суши, где все необходимое для жизни обходится дорого, так что все обладающие собственностью вынуждены быть бережливыми, а тем, кто не имеет ничего, приходится заниматься предпринимательством или трудиться. Сильные телом становятся рабочими, но не таковы те, кто отмечен какими-либо изобретательностью или мастерством. Данные качества первым делом возникают из необходимости и со временем усиливаются, становясь в этой стране привычным делом».[51]

Сэр Уильям желал, чтобы именно так можно было говорить об Англии.

Подтверждение этой жизнестойкости можно обнаружить в данных о движении населения и урбанизации. Хорошо известно, что в конце XVI века происходила крупная миграция населения с юга на север Нидерландов, в особенности ремесленников и жителей вольных городов, прежде всего из Антверпена[52] в Амстердам и Лейден.[53] В 1622 году 60% населения Соединенных Провинций были горожанами, а три четверти из них жили в городах с населением более 10 тысяч

---

[49] *North and Thomas* (1973, 145). Говоря об обстоятельствах XX века, Стефен Хаймер и Стефен Ресник утверждают: «С нашей точки зрения, главным изменением, случившимся в процессе экономического развития, было не вытеснение отдыха или праздности трудом, а скорее сдвиг от примитивных методик домашнего производства к передовым методикам, основанным на специализации и обмене» (*Hymer and Resnick*, 1969, 503). Не является ли это высказывание хорошим обобщением событий, происходивших в Соединенных Провинциях в рассматриваемый период?

[50] Джеффри Паркер, пытаясь оценить позитивные и негативные экономические воздействия Нидерландской революции, приходит к выводу, что в целом последняя принесла больше ущерба, чем выгоды, хотя этот перевес и был незначителен (*Parker*, 1974b, 11–15). С другой стороны, Уилсон утверждает, что «никогда еще глубинная экономическая мощь Северных Нидерландов не была значительнее, чем в момент перемирия 1609 года, после сорока лет войны» (*Wilson*, 1968, 22). Две этих оценки не обязательно противоречат друг другу, если высказывание Уилсона рассматривать в качестве оценки относительной позиции Голландии в мире-экономике.

[51] Издано в Лондоне в 1673 году (p. 187), цит. по: *Furniss* (1957, 102).

[52] См. рассмотрение этапов упадка Антверпена в: *van Houtte* (1962, 707–712).

[53] См. примечательную карту в: *Mols* (1974, 63). См. тж. *Jeannin* (1969, 71).

[54] См. *Helleiner* (1967, 46).

[55] *Kossmann* (1970, 366).

человек.[54] Население Амстердама с 1600 до 1650 года выросло в 4 раза — с 50 до 200 тысяч человек;[55] Амстердам выступал «плавильным котлом», превращавшим фламандцев, валлонов, немцев, португальцев, германских евреев и французских гугенотов в «истинных голландцев».[56] Большинство исследователей сосредоточены на эмигрировавших торговых и ремесленных стратах, однако не менее важно рассмотреть рост (особенно в Лейдене, хотя и не только там) массы городского пролетариата, обитавшего в трущобах, причем среди трудящихся было много женщин и детей. Как чрезвычайно метко выразился Жаннен, «эти социальная напряженность и конфликты имели современный (modern) резонанс».[57] Безусловно, это так, поскольку перед нами индустриальный капитализм. В качестве резюме можно сказать, что в конце XVI века Северные Нидерланды твердо стали на путь производственной эффективности, которая позволила Соединенным Провинциям примерно в 1600 году пережить расцвет в качестве главного (хотя, конечно, и не единственного) производственного центра европейского мира-экономики. В сельскохозяйственном секторе Соединенные Провинции специализировались на продукции, требовавшей высоких производственных навыков, и получали высокие прибыли,[58] а в индустриальном секторе Голландия захватила командные высоты в текстильной промышленности и кораблестроении — двух основных отраслях той эпохи — и в равной степени играла главную, а иногда и доминирующую роль в прочих отраслях промышленности. Именно на базе данной производственной эффективности Соединенные Провинции смогли построить свою торговую сеть и утвердиться в качестве «мирового склада».[59] К этой, уже в чем-то более знакомой истории мы теперь и перейдем.

Голландский флот доминировал в мировой морской торговле XVII века. С 1500 по 1700 года он вырос в 10 раз. По состоянию на 1670 год голландцы владели флотом, который втрое превышал тоннаж английского и был больше, чем тоннаж флотов Англии, Франции, Португалии, Испании и германских

---

[56] *Verlinden* (1964, 329). О привлекательности Голландии для представителей низших слоев Вестфалии, искавших здесь своего счастья, см. *Beutin* (1939, 131–132); о том же применительно ко всей северо-западной Германии см. *Kuske* (1956, 255).

[57] *Jeannin* (1969, 75). В качестве реакции на конфликты мы рассматриваем даже городскую планировку, аналогичную планировкам XX века. Между 1585 и 1622 годами были построены три главных канала Амстердама — Хееренграхт, Кайзерграхт и Принсенграхт. Тем самым в центре города оказались под запретом «грязные» производства — пивоварни, металлургические предприятия, красильни, стекольные заводы, мыловаренные и рафинадные заводы. «Данные производства были ограничены рабочим кварталом Йордаан к западу от центра города, где спекулянты построили небольшие низкие дома для иммигрантов и где агентство общественной взаимопомощи (*prévoyance*) Регентства создало несколько благотворительных учреждений. Это был первый пример систематического, жестко сегрегационистского и буржуазного, зонирования территории» (*Deyon*, 1978e, 299).

[58] Даже в производстве зерновых, которые были сравнительно менее значимой сельскохозяйственной продукцией Голландии, в XVII веке происходил сдвиг от ячменя к пшенице — «культуре с более притязательными требованиями к производственному процессу» (*J. de Vries*, 1974, 148).

[59] Это свидетельство своего времени приводится в: *Clark* (1960, 14).

государств вместе взятых. Доля кораблей, построенных в Голландии, была еще больше. В действительности же голландское судоходство достигло вершины лишь во второй половине XVII века, когда голландцы воспользовались ситуацией гражданской войны в Англии, для того чтобы утвердить свое «неоспоримое превосходство в мировой морской торговле». В то время как голландские корабли перевозили голландский текстиль, английским кораблям, несмотря на действие монополий и наличие привилегированных компаний, приходилось делить перевозку английских тканей с голландцами, причем англичанам на деле доставалась меньшая часть.[60] Еще в 1728 году Даниэль Дефо указывал, что голландцы являются «всемирными перевозчиками, посредниками в торговле, агентами и брокерами Европы».[61] Что впечатляет в случае с голландцами XVII века, так это их «вездесущесть»[62] — они появились в Ост-Индии, Средиземноморье, Африке и Карибском бассейне, при этом голландцы по-прежнему держали в руках балтийскую (восточную) торговлю, увеличили свою долю в торговле Северо-Западной Европы и захватили речную торговлю на путях, ведущих в глубь континента.

История Ост-Индской торговли — это, конечно же, история Голландской Ост-Индской компании (*Veerenigde Oost-Indische Compagnie*, VOC). Она представляла собой образец торговой капиталистической компании, будучи отчасти спекулятивным предприятием, отчасти долгосрочным вложением средств, отчасти колонизаторским начинанием.[63] У нее имелись хладнокровный совет директоров в Амстердаме, или «семнадцать джентльменов» (*De Heeren Zeventien*), и трудно контролируемые проконсулы в Батавии, первым из которых был Ян Питерзон Коен*.[64] В определенном смысле голландцы вошли в ост-индскую торговлю незапланированным образом. Когда в 1585 году Антверпен перешел в руки испанцев, европейский рынок пряностей переместился в Амстердам. Однако, поскольку Испания аннексировала Португалию в 1580 году, а европейским портом прибытия пряностей был именно Лиссабон, голландцы стремились обойти испанцев.[65] Поэтому в 1592 году с миссией в Индию был отправлен Корнелис де Хутман**, первые торговые флотилии отплыли в 1598 году, а к 1602 году Генеральные Штаты предоставили привилегии Ост-Индской компании. Это было сделано отчасти с целью прекращения разрушительной конкуренции среди самих голландцев,

[60] Цитата из: *Lipson* (1956, **II**, liii). См. тж. *Lipson* (1956, **III**, 10–11), *Parry* (1967, 176, 210), *Glamann* (1974, 452) и *Minchinton* (1974, 164). Фрэнсис Дж. Боумен утверждает, что в 1650 году из 20 тысяч кораблей морской торговой флотилии всего мира 15–16 тысяч были голландскими (*Bowman*, 1936, 338).

[61] Цитата из: A Man of the English Commerce, p. 192, цит. по: *Wilson* (1941, 4).

[62] *Coornaert* (1967, 244).

[63] Описание правовой структуры компании см. в: *Rabe* (1962, 351–366).

[64] Вопреки утверждению Вернера Зомбарта и внешнему сходству имен, Коен (Coen) не был Когеном (Cohen), то есть не был евреем. Рассуждение о том, почему его отец сменил фамилию с ван Твиск на Коен, см. в: *Masselman* (1963, 229–230).

[65] Голландцы обойдут испанцев и португальцев, оставив в стороне не только Лиссабон, но и Индию, поскольку в качестве отправной точки торговли они предпочтут Индонезию. См. *Parry* (1967, 195).

отчасти для создания стабильного торгового предприятия для мелких инвесторов, отчасти для появления экономического и политического орудия против Испании и, наконец, отчасти просто для того, чтобы добыть больше специй, чем в то время было доступно в Европе.[66]

Это и правда был хороший момент для вхождения в заморскую торговлю пряностями: наиболее масштабная блокада наземной торговли через Левант имела место не между 1450 и 1500 годами, как часто утверждается, а скорее в промежутке между 1590 и 1630 годами.[67] Поэтому возможности открывались огромные, и голландцы ими овладели. Главные маршруты навигации сместились из северной части Индийского океана (Красное море и Персидский залив) в его южную часть (путь через мыс Доброй Надежды). Голландцы оказались в состоянии использовать эту возможность, поскольку у них были необходимые для этого технологии: по словам Дж.Х. Парри, «квадратный парус восторжествовал над латинским, пассат — над муссоном».[68] Однако, как только голландцы оказались внутри этого процесса, они столкнулись с основной проблемой торговли с внешней сферой мира-экономики. Это была торговля предметами роскоши, а не товарами первой необходимости, поэтому прибыли здесь были высокими, а конкуренция острой. Но и рынок при этом был по природе своей небольшим, так что чрезвычайно вероятным вариантом развития событий было его насыщение — таким образом, входившие на этот рынок оказывались между Сциллой и Харибдой.[69] Существовало лишь два способа разрешить эту дилемму. Либо трансформировать природу торговли путем включения «Индий» в капиталистический мир-экономику в качестве периферийной зоны — либо вынужденно прибегнуть к «администрируемой» коммерции в духе традиционной торговли на длинные расстояния между мирами-империями. По какому из этих путей пойти — этот вопрос и был на самом деле предметом разногласий между Коеном и советом директоров Ост-Индской компании (De Heeren Zeventien). Коен, будучи «сторонником твердой руки в Азии»,[70] проталкивал первый сценарий, а его начальство в Амстердаме стояло за второй.

---

[66] См. *Masselman* (1963, в особенности pp. 62–66 и 141–179). Морино подчеркивает, что в Европе существовала нехватка пряностей с соответствующе высокими ценами (*Morineau*, 1978c, 133).

[67] См. *Duncan* (1975, 512); см. тж. *Glamann* (1974, 477): «Победа "атлантического" перца [над "средиземноморским"] была столь убедительной, что его даже реэкспортировали в Левант». Рассмотрение более раннего периода см. в: *Валлерстайн* (2015a, 266–268, 400–401).

[68] *Parry* (1967, 199).

[69] Данную метафору использует Гламанн, подчеркивая ограниченный спрос на пряности в Европе (*Glamann*, 1974, 483). Э.Э. Рич указывает на аналогичную проблему по ту сторону океана: «Торговля специями ограничивалась очень низкой потребностью Островов пряностей [Молуккских островов] в европейской продукции, за исключением огнестрельного оружия. <…> Здесь голландцы столкнулись с той же проблемой, которая ожидала их торговцев мехом в Северной Америке. Жители островов становились безразличны к торговле, как только их непосредственные потребности были удовлетворены» (*Rich*, 1967, 368). Майлинк-Рёлофс аналогично утверждает, что «в Азии едва ли существовал какой-либо спрос на европейскую продукцию» (*Meilink-Roelofsz*, 1968, 66).

Коен утверждал, что превращение Ост-Индий в периферию потребует политики колонизации в двух смыслах. Во-первых, установление политического контроля с целью сдерживания сравнительно сильных азиатских властителей и реорганизации системы производства, а во-вторых, завоз группы белых поселенцев как для помощи в надзоре за товарным производством, так и для обеспечения надежного внутреннего рынка для иного европейского экспорта, помимо драгоценных металлов. Коен считал, что подобная политика несовместима с администрируемой торговлей, и требовал включения в действие рыночного принципа. Терминология, в рамках которой шла дискуссия, часто несколько вводящим в заблуждение образом определяется как «свободная торговля против монополии».[71] Однако в действительности ни Коен не был противником того, чтобы компания занимала монопольную позицию на рынке (причем время от времени — фактически с осмотрительной помощью грубой силы), ни совет директоров не осознавал пределы собственной возможности по ограничению доступа к своей администрируемой торговле на столь значительных расстояниях.[72] Дело тут заключалось в том, что именно составляло наибольший смысл для капиталистических предпринимателей в короткой

[70] *Morineau* (1978e, 170).

[71] См. рассмотрение этого вопроса в: *Masselman* (1963, 433–442).

[72] В письме к «семнадцати джентльменам» Коен утверждал: «Ничто в мире не дает лучшее право, чем власть и сила, добавленные к праву», цит. по: *Boxer* (1965, 98–99). По оценке Гейла, Голландская Ост-Индская компания в самом деле выступала «в роли власти клинка в Индийском мире» (*Geyl*, 1961, 188). Что касается «семнадцати джентльменов», то они, как указывает Боксер, «явственно осознавали» существование трех категорий торговли: (1) (немногочисленных) зон, где они имели территориальный контроль, (2) территорий, где они имели монопольные контракты, и (3) зон «свободной торговли». Последние, отмечает Боксер, «почти всегда были наиболее важны» (*Boxer*, 1965, 94). Парри указывает, что, за исключением «дальнемагистральной торговли», голландцы сталкивались с активной конкуренцией китайцев, малайцев, арабов и иных европейских торговцев (*Parry*, 1967, 197).

Одна из причин, по которой англичане могли конкурировать с голландцами именно в индийской (но не в балтийской) торговле, была связана как раз с противоположной природой двух типов торговли — «богатой» торговли предметами роскоши ("rich" trades) и торговли крупногабаритными товарами массового спроса ("bulk" trades). В последнем случае большее значение имела стоимость постройки кораблей, в связи с чем англичане в то время писали об этом виде коммерции как о «потерянной торговле». В «Индиях» (и в Средиземноморье) товары, бывшие предметом торговли, как правило, обладали небольшим размером и весом относительно их стоимости, а вооружение кораблей значило больше, чем их скорость и оперативность. А в этой области конкурентные преимущества голландцев были менее выражены (*Barbour*, 1954, 230–231). В самом деле, Р.У. Унгер говорит, что у англичан было «сравнительное преимущество в опасных видах торговли» (причем не только на Дальнем Востоке), поскольку они использовали «сильные и хорошо вооруженные торговые суда» (*Unger*, 1978, 110). В Средиземноморье каперство было настолько распространенным способом заработка, что в начале XVII века оно стало «обширной <...> отраслью, отчасти крупномасштабной и организованной богатыми купцами наподобие делового предприятия» (*Davis*, 1961, 127). В 1618 году флотилии корсаров были сильнее, чем флоты всех средиземноморских держав вместе взятых.

перспективе — прибыли от эксплуатации или прибыли от спекуляции.[73] В короткой перспективе преобладали те, кто стоял на стороне спекуляции, однако в длительной перспективе, как мы уже утверждали ранее,[74] прибыли от производственной эксплуатации являются единственным солидным основанием, на котором можно остаться во главе капиталистического мира-экономики. Силы его центра (не только Нидерланды, но также Британия и Франция) в XVIII веке запустили процесс превращения области Индийского океана в периферийную зону — процесс, который по-настоящему осуществится после 1750 года.[75]

Была ли политика Ост-Индской компании в XVII веке «недальновидной», как утверждает Джордж Массельман?[76] Я так не считаю, поскольку следует рассматривать имевшиеся альтернативы. Можно ли было получить больше эксплуататорского дохода в других местах, в особенности если учесть, что это была эпоха относительно всеобщей стагнации мира-

---

[73] Как отмечает Гламанн, «способность перца делиться на части в сочетании с его стойкостью при хранении <...> способствовала превращению перца в великолепный предмет для спекуляций. Перец можно было хранить долго: известны случаи, когда он лежал на складе более 30 лет, что, конечно же, на самом деле влияло на его качество, однако его можно было улучшить, добавив свежего перца» (*Glamann*, 1974, 475). С другой стороны, Кляйн утверждает то же самое, делая большее обобщение: «Успех реальной голландской торговли в XVII веке частично обязан искусным спекуляциям богатых купцов, игравших с рынком посредством своих партий товаров» (*Klein*, 1970, 33).

[74] См. *Валлерстайн* (2015a).

[75] Эмиль Корнарт отмечает нежелание европейцев XVII века создавать «континентальные предприятия». Лишь к концу этого периода и в течение XVIII столетия «голландская, английская и французская империи станут обретать форму» (*Coornaert*, 1967, 265). Аналогичным образом Шёффер говорит, что «коренное население было первоначально слабо затронуто влиянием Ост-Индской компании». До XIX века, утверждает Шёффер, голландское присутствие означало прежде всего то, что голландские купцы и управляющие приходили на смену арабским и китайским торговцам (*Schöffer*, 1973, 75). Это, разумеется, в целом совпадает с ролью португальцев в Азии XVI века, описанной в: *Валлерстайн* (2015a, гл. 6). То же самое отмечает Ж.П. Пацх, см. *Pach* (1973, 60–61). Действительно, после 1680 года имело место ограниченное использование голландских «кофейных приставов»*, руководивших в заморских землях местными земледельцами, однако это было именно ограниченное явление. См. *Rich* (1967, 370).

Ф. Гастра отмечает изменение моделей торговли в XVIII веке в связи с оттоком драгоценных металлов, однако в то же время происходил и сдвиг в структуре импорта в сторону тканей, чая и колониальной продукции (*Gaastra*, 1976, 18–19). Парадоксальным образом именно сокращение голландского участия во внутриазиатской торговле объясняет увеличение оттока драгоценных металлов. В действительности это был признак периферизации, поскольку рост оттока драгоценных металлов был результатом увеличившейся потребности в них как в деньгах, а не в роскошных украшениях.

[76] *Masselman* (1963, 460). Аргумент Массельмана заключается в том, что монополии предполагали нечто вроде грабежа, убивавшего торговлю: «Лишенные двух источников былого процветания — выращивания пряностей и свободного мореплавания, знаменитые средневековые княжества Тернате, Тидоре, Мачан и Бачан** опустились до уровня, чуть превышающего самообеспечение. Таково было наказание за обладание ценным продуктом, которого вожделели решительные европейские предприниматели...

экономики? Ответ на этот вопрос определенно утвердительный: это можно было делать в балтийской (Eastland) торговле, в самóй Северо-Западной Европе, на Американском континенте — даже ближе, чем может показаться. Зачем же вообще было утруждать себя Ост-Индией? Остается догадываться, не скрывался ли за совокупным отрицательным балансом Ост-Индской компании за сто лет гигантский процесс внутреннего перемещения прибыли от мелких инвесторов к крупным и концентрации капитала в руках последних *в пределах* Соединенных Провинций.[77] Если это так, то можно утверждать, что Ост-Индская компания функционировала как своего рода фондовая биржа, весьма полезная для тех, кто обладал исключительным доступом к информации, к каковым относились сами «семнадцать джентльменов». Однако в таком случае история Ост-Индской компании — по крайней мере, до начала XVIII века — относится в большей степени к финансовой стороне дела, нежели к коммерции и дистрибуции. Тем не менее, эта история является хорошей иллюстрацией того, как господство в одной области связано с господством в другой.

Ост-Индская торговля — это, возможно, наиболее выразительное и даже наиболее эффектное направление голландской коммерческой экспансии XVII века, но не самое важное и к тому же не объясняющее голландскую гегемонию, ведь к тому времени, как голландские торговцы появились в Индийском океане, они уже бороздили Средиземноморье. Представляется, что переломный момент произошел вскоре после голландско-испанского перемирия 1609 года.[78] Однако следует различать две торговые зоны. Прежде всего, это торговля с христианским Средиземноморьем в целом и северной Италией в частности, где на повестке стоял вопрос поставок зерна, в котором существовала хроническая нужда. Однако теперь зерновые поставки стали еще более скудными в силу плохих урожаев в Италии, эпидемий и политической изоляции от Леванта, причем одновременно промышленность севера Италии была

К концу XVII века местное население столь обеднело, что не могло больше позволить себе покупать [ситец, и] стало заниматься ткачеством самостоятельно» (p. 461).

[77] Массельман указывает, что пряности продавались с прибылью, составлявшей от двух с половиной до трех их стоимостей, а годовые дивиденды для акционеров в XVII веке составляли в среднем 18,7%. Несмотря на это, спустя 90 лет Ост-Индская компания имела долгов на 4 миллиона гульденов. По мнению Массельмана, это «подчеркивает, что, за исключением части валовой прибыли, всё поглощалось стоимостью поддержания монополии» (*Masselman*, 1963, 466). Это справедливо с точки зрения компании в целом, однако так ли это было для ее крупных инвесторов? В увлекательной статье Морино (*Morineau*, 1975) о так называемом неблагоприятном балансе торговли с удаленными странами предполагается, что «один идет за два», то есть купцы просто удваивали стоимость обратного плавания, в связи с чем драгоценные металлы не расходовались в тех количествах, которые нам представляются. В действительности это было внутреннее перемещение прибыли в Европе.

[78] См. *Parry* (1967, 189) и *Israel* (1977, 37). Романо относит переломный момент скорее к 1611–1612 годам, недаром что консул в Сирии, Палестине, Кипре и Египте был впервые упомянут в 1611 году* (*Romano*, 1962, 489–1491). Парри рассматривает 1612 год в качестве момента, когда голландская торговля была «полностью узаконена» в результате того, что голландцы заключили «капитуляцию» с турками. Романо отмечает, что к

подрезана на корню посредством экспорта тканей в этот некогда экспортировавший текстиль регион, а венецианская торговля подверглась вытеснению.[79] В конце XVI — начале XVII веков за средиземноморскую торговлю, наряду с голландцами, боролись все: англичане, французы и ганзейцы, однако именно голландцам удалось получить в ней наибольшую долю, в первую очередь благодаря их превосходству в «технических вопросах проектирования кораблей и торговой организации».[80] Последние факторы давали им двойное преимущество, позволявшее доставлять зерно (и другую продукцию) из Северной Европы в Средиземноморье и обеспечить зерну первое место в балтийской (Eastland) торговле.

После того, как голландцы получили в свои руки бóльшую часть торговли с Северной Италией, «им оставалось захватить значительную часть [второй сферы коммерции] — "богатой торговли" [торговли предметами роскоши — *И.В.*], также сопровождая свои торговые предприятия актами насилия, столь же эффективными, сколь и безжалостными».[81] Одно вытекало из другого, поскольку «богатая торговля» в Средиземноморье не была в новинку. По сути дела, голландцы перехватили у Венеции ее традиционную роль в этом виде торговли с Левантом. В рассматриваемую эпоху Левант был готов импортировать из Северо-Западной Европы больше реальных товаров (а не драгоценных металлов в качестве предметов роскоши), чем Ост-Индия. Однако в промежутке 1600–1750 годов Левант, возможно, и экспортировал больше предметов роскоши, чем регион Индийского океана, где с течением указанного времени происходил рост экспорта чая, кофе, ситца и другой продукции, которые фактически становились товарами основного спроса, а не роскошью. Был ли Левант по-прежнему внешней сферой мира-экономики? Едва ли так можно утверждать: переход этого региона к статусу периферии начался, но, скорее всего, полная реализация этого процесса будет отложена до конца XVIII века.

Атлантическая торговля — как с Западным полушарием, так и с Западной Африкой, выступавшей в качестве придатка последнего, — еще сильнее

1612 году тоннаж голландской средиземноморской торговли был выше, чем аналогичный показатель Ост-Индской компании.

[79] См. *Rapp* (1975). См. тж. *Parry* (1967, 188). Парри указывает, что 73 из 219 кораблей, прибывавших в Ливорно в 1593 году, были нагружены зерном. Если задаться вопросом, что именно Италия отдавала взамен импортируемой продукции, то ответ таким — это накопленный в предшествующие времена капитал. Поэтому хлебный импорт имел в то время принципиально разное значение для Венеции и для Амстердама. Для Амстердама это означало отсутствие трудозатрат для производства зерна, в то время как можно было более прибыльно производить ткани, корабли и другую сельскохозяйственную продукцию, тем самым пожиная плоды неравноценного обмена. Для Венеции же это означало в основном проедание капитала на текущее потребление — вот хорошее рабочее определение «упадка».

[80] *Parry* (1967, 189) и *Davis* (1975, 10, 14). Рапп, рассматривая успех Голландии (а также Англии) в вытеснении Венеции из Средиземноморской торговли, указывает, что державы Севера не привнесли в торговые практики ничего нового, что могло бы объяснить этот успех. Все, что они предлагали, — это их конкурентное преимущество в промышленном производстве, с помощью которого они могли навязать «упадок» Венеции (*Rapp*, 1975, 499–501).

приближает нас к сердцевине голландской торговой сети. О различии между двумя крупными голландскими компаниями — Ост-Индской и «гораздо более поздней и менее успешной» Вест-Индской — было сказано немало.[82] С одной стороны, они имели разную поддерживавшую их социальную базу. Ост-Индская компания (VOC) контролировалась амстердамскими купцами-ремонстрантами*, сторонниками мира.[83] Что же касается Вест-Индской компании, то она в значительной степени была плодом усилий их оппонентов — «партии» оранжистов, кальвинистов, зеландцев и эмигрантов из Южных Нидерландов, осевших на севере и бывших гомаристами**, то есть сторонниками колонизации и войны.[84] Она была основана 3 июня 1621 года, через несколько недель после окончания Двенадцатилетнего перемирия, и амстердамский капитал также принял в ней участие; при этом идея «миссионерско-колонизаторской корпорации» стала трансформироваться в «каперское учреждение».[85] Внутри Вест-Индской компании шла борьба между различными группами интересов, в основном между экономически более слабыми зеландцами, полагавшимися на монополию компании в области каперства, и амстердамскими купцами, которые хотели покончить с этим занятием со стороны любого голландского предпринимателя.[86]

Таким образом, Вест-Индская компания представляла собой «воинственное сочетание торговли и религии», и, следовательно, ее история, как утверждается, была «мрачной повестью о неразберихе и балансировании на грани банкротства».[87] Безусловно, так и было, однако это предположительно политическое предприятие в действительности заложило основу одного из главных столпов капиталистической торговли XVII–XVIII веков. Речь идет о так называемой трехсторонней торговле, обеспечивавшей Европу хлопком, сахаром и табаком, которые выращивались, разумеется, руками африканских рабов, а

[81] *Parry* (1967, 189).

[82] *Wilson* (1968, 206). В данной работе Уилсон рассматривает разницу между двумя компаниями в гл. 12, pp. 206–229.

[83] Однако следует помнить, что, несмотря на «традиционно миролюбивую политику Амстердама, <...> в тех случаях, когда под угрозой оказывались интересы бизнеса, как это было в 1645, 1657 и 1668 годах, или когда на кону стояло само существование государства (а стало быть, и его торговли)**, как в 1672 году, могущественный Амстердам не оставался в стороне и выступал за проведение волевой и агрессивной политики» (*Franken*, 1968, 6–7).

[84] См. *Chaunu* (1961, 1200–1202). Корнелис Гослинга утверждает, что Вест-Индская компания «рассматривалась как твердыня кальвинизма и Контрремонстрации», а в 1629 году городской совет Амстердама «жаловался, что северяне оказались принесены в жертву брабантцам, то есть беглецам с юга» (*Goslinga*, 1971, 287).

[85] *Goslinga* (1971, 39).

[86] См. *Wansink* (1971, 146) и *Goslinga* (1971, 109).

[87] *Wilson* (1968, 210). Дж.Р. Джоунс называет Вест-Индскую компанию «агрессивной и полупиратской структурой», возлагая на ее счет порядочную долю ответственности за три англо-голландские войны (*J.R. Jones*, 1968, 44–45). Голландские историки также акцентируют политическую природу компании. В.Й. ван Хобокен утверждает, что «в конечном итоге удачи [голландской Вест-Индской] компании, ее подъем и упадок в значительной степени определялись политическими факторами» (*van Hoboken*, 1960, 42). Гослинга подчеркивает, что эти две компании просто использовали разные способы извлечения прибыли: «На Востоке прибыль искали в торговле, которая при

также серебром, с помощью которого Европа получала пряности и чай из Ост-Индий.[88] Голландцы были первопроходцами в этой схеме, и если прибыли от нее достались в основном англичанам и французам, то в первую очередь потому, что для ее создания исходно требовались огромные и поглощающие время «социальные инвестиции», которые, говоря бухгалтерским языком, и взяли на себя голландцы. А прибыль уже после окончания голландской гегемонии в 1670-х годах были готовы пожать шедшие следом и более эффективные в производстве англичане (а также в некоторой степени французы).

Суть происходившего просто заключалась в том, что после основания Вест-Индской компании в 1621 году голландцы в ходе последующей четверти века стремились осуществлять атлантическую экспансию. Они основали Новый Амстердам, завоевали северо-восток Бразилии* отняв его у португальцев (испанцев), а затем попытались захватить Эльмину** в Западной Африке и Луанду*** в Анголе. Однако в ходе первой англо-голландской войны (1652–1654) португальцы, освободившиеся от испанского владычества, отвоевали Бразилию, а во время Второй англо-голландской войны**** голландцы потеряли Новый Амстердам и некоторые форты в Западной Африке. Какие же процессы происходили в течение этого краткого периода, совпавшего с голландской мировой гегемонией? Во-первых, голландцы загнали испанцев в угол на Американском континенте, сформировав «морской заслон»,[89] по ту сторону которого англичане (а также шотландцы) и французы создавали свои колонии и поселения. Во-вторых, в Америке (а именно в Бразилии) началось выращивание сахара, переместившееся после изгнания оттуда голландцев на Барбадос***** — первую крупную плантационную колонию Англии. В-третьих, голландцы впервые стали вести крупномасштабную работорговлю для обеспечения человеческих ресурсов на сахарных плантациях; утратив последние, голландцы попытались остаться в сфере производства сахара в качестве работорговцев, однако к 1675 году голландское превосходство здесь завершилось, уступив место вновь созданной английской Королевской африканской компании******.[90]

Атлантическая эпоха Голландии, несомненно, стала огромным вкладом в рост европейского мира-экономики, однако насколько велико было ее значение для самих голландцев? Определенно, оно было не столь же существенным, как значение балтийской торговли, которая уже в XVI веке была их «торговлей-матерью», когда на голландские корабли приходилось примерно 60% ее объема. В XVII веке — по меньшей мере, до 1660 года — голландцы по-прежнему удерживали это превосходство,[91] несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые

необходимости сопровождалась силой, на Западе же доход извлекался из каперства» (*Goslinga*, 1971, 91).

[88] Спунер подчеркивает, что одним из преимуществ, которыми голландцы располагали перед англичанами в Ост-Индии, было то, что они контролировали более необходимое [для экономики] серебро, в то время как англичане могли предлагать рынку только золото (*Spooner*, 1956, 68).

[89] *Parry* (1967, 204). Энгель Слёйтер (*Sluiter*, 1948), в сущности, утверждает то же самое. См. рассмотрение подоплеки этого процесса в: *Валлерстайн* (2015a, 422,сн. 197).

[90] См. *Emmer* (1972) и *Rich* (1967, 333).

англичанами для прорыва на этот рынок. Иными словами, здесь перед нами свидетельство голландского торгового превосходства. В той ключевой сфере, где не только англичане и голландцы, но и французы (не говоря уже о странах Северной Европы) рассматривали контроль над мореплаванием как важное и прибыльное дело, лишь голландцы захватили львиную долю.[92] Подробно рассматривая влияние начинавшейся стагнации мира-экономики на англо-голландскую конкуренцию на Балтике, Саппл и Хинтон объясняют голландское преимущество двумя факторами: низкой стоимостью фрахта и контролем над существенным объемом серебра, предназначенного на экспорт.[93] Морино, вдобавок к этому, связывает преимущество голландцев с их стремлением покупать больше зерна, чем закупала Восточная компания*.[94] Не исключено, что возможность голландцев продавать рыбу по низким, фактически демпинговым ценам также сыграла свою роль.[95]

Наличие серебра для экспорта было преимуществом голландцев, полученным благодаря производственной эффективности в мореплавании и текстильной отрасли, что открыло возможность получения серебра от испанцев и прочих. Почему наличие серебра в балтийской торговле было преимуществом? — потому, что экономическое сжатие и Тридцатилетняя война привели к тому явлению, которое англичане называли «разрастанием денег» (а немцы — словосочетанием *Kipper- und Wipperzeit*"), что сопровождалось обесцениванием мелких металлических денег по отношению к серебру. Риксдальдер"' (rixdollar) — разрешенная к перевозке серебряная монета, содержание серебра в которой оставалось постоянным, — в 1600 году стоил 37 гро́шей"", а в 1630-м — уже 90 грошей; наибольший скачок — с 45 до 75 грошей — наблюдался между 1618 и 1621 годами. Эти изменения происходили путем сокращения содержания серебра в гроше при одновременном объявлении о снижении его стоимости в отношении риксдальдера.[96] Вопрос заключается в том, почему последствия этого процесса для голландцев отличались от его последствий для англичан. Предположительно, и те, и другие могли теперь получать балтийскую продукцию по низкой цене в серебряном эквиваленте, однако для этого необходимо было иметь «готовые деньги», которые можно было вывезти, — такие деньги у голландцев были, а у англичан — нет. Кроме того, в момент общего упадка торговли наличие просто дешевого импорта значило меньше, чем наличие более дешевого импорта.

Для англичан основная проблема состояла в том, что голландские купцы могли продавать балтийские товары *в Англии* дешевле, чем это были в

[91] См. *W.S. Unger* (1959, 206). Относительное превосходство голландцев с 1600 по 1660 годы в действительности выросло, а прибыль увеличилась, соответственно, с 100 до 200–300%. См. *Bogucka* (1973, 439).

[92] Пока английские корабли перевозили только английские товары, голландские суда курсировали между всеми странами Западной Европы от Испании до Балтики. См. *Dunsdorfs* (1947, 20).

[93] *Supple* (1959, 83) и *Hinton* (1959, 19). Хинтон добавляет третий фактор — голландские «махинации», которые, возможно, и сыграли некоторую роль, но с тем же успехом могли быть просто неким образом, который англичане использовали для рационального объяснения голландского успеха.

[94] *Morineau* (1978d, 144–145). «Зерно представляло собой, несомненно, наиболее значимый отдельный товар, торговля которым шла между голландцами и Балтикой» (*Faber*, 1966, 115).

состоянии делать английские купцы.[97] Те английские купцы, которые торговали с Северо-Восточной Европой, полагали, что выход мог заключаться в получении разрешения на реэкспорт балтийской пшеницы в Средиземноморье, как это делали голландцы. Однако сторонники этой инициативы натолкнулись на серьезное противостояние английских торговцев пшеницей, которые успешно держали запрет на экспорт зерна, даже когда цена на него в каком-либо месте превосходила довольно низкую цену в Англии, — причиной тому было опасение, что английское зерно было недостаточно конкурентоспособным на международном рынке.[98] В результате англичане не могли получать в Средиземноморье серебро, которое можно было бы использовать для обретения преимущества в виде низких цен на Балтике, что, в свою очередь, позволило бы англичанам получать продукцию для извлечения из нее нового серебра и так далее. Поэтому девальвация в балтийском регионе была более прибыльна для голландцев, чем для англичан, в смысле доминирования голландцев в балтийской, а тем самым и в средиземноморской торговле; кроме того, это позволило голландцам начать «вторжение в торговлю английских купцов в самой Англии».[99]

Последним штрихом картины оказывается внутренняя речная торговля, которую до Нидерландской революции контролировал Антверпен. Когда голландцы перекрыли устье Шельды, торговля пошла через Амстердам, после чего существовало два пути ее возвращения в Антверпен: либо включение его в состав Соединенных Провинций, либо заключение мира и свободная торговля. Первое так никогда и не произошло. Й.В. Смит подозревает, что, вопреки целям, заявляемым Соединенными Провинциями, и реальным намерениям оранжистов и кальвинистов, это не удалось сделать из-за недостаточных усилий: «Голландия не хотела воссоединения с южными провинциями, поскольку это сопровождалось бы риском возвращения торговли в освобожденный Антверпен».[100] Когда в 1648 году мир наконец состоится, в текст договора будут внесены запретительные тарифы на любую торговлю в направлении Антверпена через эстуарий Шельды.[101] Столь значительные политические усилия были следствием важности перевалочной торговли в целом. Можно подумать, что к 1648 году Амстердам обезопасит себя от возрождения Антверпена, однако существовал один ключевой необходимый для производства пункт, относительно которого невозможно было идти на риск, — речь идет о торфе. Последний изначально добывался для рынков Антверпена и Брабанта*, но после 1570-х годов его поставки были переориентированы на собственно голландскую территорию между Рейном и Эем.

---

[95] См. *Michell* (1977, 177).

[96] См. *Hinton* (1959, 14–16).

[97] См. *Supple* (1959, 86). Уилсон утверждает, что период *Kipper- und Wipperzeit* стал для английских купцов лишь «кратковременной решаемой проблемой» — «большей» проблемой была голландская конкуренция (*Wilson*, 1965, 55).

[98] См. *Hinton* (1959, 29–30).

[99] *Hinton* (1959, 9–10).

[100] *Smit* (1968, 21).

[101] См. *Schöffer* (1973, 89). Шёффер отмечает, что «это оставит у Фландрии вечную обиду на север». См. тж. *Boxer* (1965, 92). Шельда оставалась закрытой в течение XVII–

Использование торфа было ключевым фактором эффективности городской промышленности в Голландии и «имело воздействие на экономику, сопоставимое с воздействием угля в Европе XIX века».[102] Кроме того, посредством речной торговли вывозились городские нечистоты, что позволило достигнуть «исключительно высоких урожаев голландского зернового хозяйства».[103]

Начиная с 1580-х годов регулярная транспортная сеть на базе усовершенствованной системы каналов связала города Голландии между собой и с внутренними областями (hinterland) других провинций, в том числе Брабанта — все эти пути сходились именно в Голландии. Начиная с 1632 года происходило дальнейшее технологическое усовершенствование этой системы, связанное с созданием первого *трекварта* — прямого канала для пассажирских лодок с прибрежной пешеходной дорогой, что требовало больших капиталовложений.[104] Голландские кораблестроители создавали суда, способные чрезвычайно быстро распределять и собирать грузы как в проточной воде, так и на озерах.[105] В результате возникла наиболее эффективная европейская сеть внутреннего транспорта, достигшая пика товарооборота в 1660-х годах. Если собрать все эти факты в единую картину, то можно сделать вывод, что наиболее дальние торговые маршруты — Ост-Индия, Левант и даже христианское Средиземноморье и атлантическая торговля — были, конечно, важны, но все же имели вторичное значение. Ключевым моментом голландской торговой гегемонии в европейском мире-экономике начиная с 1620-х (а возможно и даже с 1590-х) и вплоть до 1660-х годов «оставалась старинная торговля между Северной и Западной Европой»,[106] а причина, по которой голландцы могли достичь коммерческого превосходства, была связана с их предшествующей аграрно-индустриальной эффективностью. Последняя была обращена в коммерческую эффективность главным образом благодаря ставкам фрахта, расходам на страхование и общим административным расходам.

Почему голландские ставки фрахта были столь низки? Важнейшим фактором была невысокая стоимость судостроения. Парри перечисляет шесть

XVIII веков. О множестве переговоров по данному вопросу см. *Hubert* (1909, 641–646). Ограничения были окончательно сняты Гаагским договором 16 мая 1795 года.

[102] *J. de Vries* (1974, 204) и *Kuske* (1956, 232–233). Й.В. Де Зеув указывает, что доступность торфа была геологической случайностью, поскольку торф залегал «очень близко к поверхности воды, отчасти даже прямо под ней», что произошло в результате «повышения уровня моря в эпоху голоцена» (*De Zeeuw*, 1978, 5). Торф обеспечивал голландцам «дешевое горючее», на котором «работали отрасли, основанные на термических процессах», тем самым «можно было производить товары, обладавшие хорошей конкурентоспособностью на международном рынке» (p. 23). Снижение мировой конкурентоспособности голландцев было напрямую связано с последующими событиями. Во-первых, торф стал более дорог в результате выработки месторождений в легкодоступных районах, в связи с чем возникла необходимость в его добыче в более удаленных зонах путем более глубокого дренирования и расширения подходных каналов. Во-вторых, доставка торфа затруднилась из-за заиливания причалов и рек (p. 25).

[103] *Wilson* (1977a, 24).

[104] См. *J. de Vries* (1974, 202–209) и (1978).

[105] См. *R.W. Unger* (1978, 52).

преимуществ, дававших выигрыш в стоимости: навыки голландских кораблестроителей, экономия в использовании материалов, трудосберегающие механизмы, крупномасштабное стандартизированное производство, крупные объемы закупок материалов и дешевая их транспортировка на голландских кораблях. В результате в середине XVII века общая себестоимость производства оказывалась на 40–50% меньше, чем у англичан — ближайших конкурентов голландцев.[107] Первые три из этих преимуществ можно рассматривать как технологические достижения голландцев, последние — как преимущества, накопленные в результате первенства в первых трех. Помимо более экономичной стоимости постройки, конструкция голландских кораблей требовала меньшей команды — как правило, 18 рук вместо 26–30, использовавшихся на кораблях других стран.[108] Это позволяло голландцам обеспечивать своим экипажам хорошее питание — возможно, лучшее в сравнении с мореходами других стран,[109] — тем самым голландцы, предположительно, достигали большей производительности при меньших совокупных издержках на заработную плату. Бóльшую продуктивность можно было наблюдать как на море, так и в портах. «Бóльшие прочность и скорость» голландских кораблей были производным фактором от их «регулярного обслуживания»,[110] равно как и от проектных характеристик. Более того, сам факт, что голландские корабли были «чище, дешевле и безопаснее»,[111] имел эффект спирали: более дешевый фрахт вел к контролю над балтийской торговлей, что позволяло получать лес по более низким ценам, а это приводило к удешевлению стоимости кораблестроения, а значит, к более низкой стоимости фрахта. Более чистые, более дешевые и более безопасные корабли, кроме того, предполагали общий рост судоходства, что делало возможным более низкие ставки страхования — отчасти они являлись производной от значительных масштабов отрасли, отчасти — результатом более эффективной финансовой структуры,[112] которую мы вкратце еще обсудим. Низкие страховые тарифы также обеспечивали кумулятивный эффект: они вели к более низким фрахтовым тарифам, что позволяло увеличивать объемы перевозок и повышать

---

[106] *Wilson* (1957a, 2).

[107] См. *Parry* (1967, 211).

[108] *Wilson* (1941, 6).

[109] Морино относится к этому скептически, полагая, что моряки южной Франции питались столь же хорошо (*Morineau*, 1970b, 118). Рассмотрение затрат на высококалорийное питание, которое в XVII веке предоставлялось на голландских кораблях, см. в *Morineau* (1970a, 114). Боксер, тем не менее, указывает на низкие заработки голландских моряков как фактор, объясняющий низкие ставки фрахта (*Boxer*, 1965, 66–67).

[110] *R. W. Unger* (1978, 4, см. тж. p. 183, сн. 7).

[111] *Wilson* (1957a, 42).

[112] По меньшей мере, можно утверждать, что в Амстердаме XVII века «страхование осуществлялось более профессионально, чем в иных местах» (*Barbour*, 1929, 580). Виолетта Барбур сообщает, что в XVII веке английские корабли, как правило, приобретали страховку в Голландии, «невзирая на то, что ставки страхования здесь были в обычном случае выше, чем те, что можно было получить в Лондоне» (p. 581). На первый взгляд, это загадочный факт. Если эмпирически Барбур права, то, должно быть, номинальные и реальные ставки различались, что можно объяснить большей эффективностью органи-

навыки проведения операций, что, в свою очередь, вело к еще более низкой стоимости страхования.

В «основании [голландской] торговли лежало мореплавание»,[113] а наибольшие прибыли делались посредством торговли и оптовых сделок (marketing and stapling)[114] на огромном перевалочном рынке Амстердама, успех которого был обязан превосходству голландского типа организации коммерции. По словам Эли Ф. Хекшера, «величайшей особенностью» Нидерландов XVII века была «способность <...> довольствоваться *меньшим количеством* и *более простыми* коммерческими структурами» в сравнении с другими странами.[115] Что это означало? Во-первых, слияние накоплений в систему партнерств,[116] которую, конечно же, придумали не голландцы, однако они расширили ее таким образом, что она, наряду с незначительной прослойкой коммерческой аристократии, охватила и более мелких торговцев.[117] Во-вторых, создание системы резервных запасов, значительно сокращавшей как риски для торгового предприятия (в особенности потому, что оно было организовано монополистическим образом), так и зависимость оптового рынка от колебаний предложения (а также издержек), что позволяло купцам извлекать из продаж спекулятивные прибыли.[118] В-третьих, сеть комиссионных агентов, которые разыскивали

зации голландской торговли — в целом, как мы вскоре увидим, это было существенным фактором. В любом случае Барбур позже пишет о привлекательности голландского морского страхования для Европы в целом (см. *Barbour*, 1963, 33–35).

[113] *Wilson* (1967, 518).

[114] *Wilson* (1941, 10). Это так, утверждают Норт и Томас, поскольку «рынок, или транзакционный сектор, <...> был единственной сферой, в которой в то время можно было достичь наибольших преимуществ в эффективности» (*North and Thomas*, 1973, 135).

[115] *Hecksher* (1935, **I**, 352).

[116] По мнению Доменико Селла, именно благодаря мореходным товариществам (*reederij*) «стал возможен впечатляющий десятикратный рост голландского торгового флота с 1500 до 1700 года» (*Sella*, 1974, 411).

[117] Гламанн говорит о «массовом характере» участия «обычных купцов» в «голландской торговой экспансии XVII века», упоминая, в частности, их роль в торговле зерном, солью, сельдью, лесом и кирпичом (*Glamann*, 1974, 519). Кроме того, в стране, где не хватало земли, кораблестроение было особенно подходящей сферой для мелких инвесторов. Дж.В. Скэммелл утверждает об Англии: «В условиях огромной конкуренции за землю в XVI и начале XVII столетий *по аналогии с происходившим в Голландии* корабль, или, скорее, лодка, мог быть единственной точкой приложения для того капитала, которым располагали непритязательные и темные собственники» (*Scammell*, 1972, 404, курсив добавлен).

[118] Петер В. Кляйн уверен, что данная система «внесла существенный вклад в рост голландской экономики» XVII века. Он утверждает, что именно внедрение монополистических практик («горизонтальных и вертикальных ценовых соглашений, внутренних или иностранных монопольных концессий») сделало возможным появление такого «рискованного начинания», как значительные резервные запасы. В противном случае «успешное торговое предприятие [оказалось бы] легкой мишенью для охочих до прибыли конкурентов» (*Klein*, 1966, 188–189). Эти монополии были эффективны. Применительно к зерну Гламанн отмечает, что «в самом деле не будет преувеличением утверждать, что в XVII–XVIII веках знаменитая зерновая биржа голландской столицы [устанавливала] европейские цены на хлеб» (*Glamann*, 1974, 457). Свидетельство того, как цены в Льеже между 1630 и 1738 годами зависели от цен в Амстердаме, см. в *Ruwet* (1957, 101).

покупателей для производителей, получали товары по консигнации* и свою комиссию на основании счетов, которые покупатель оплачивал продавцу.[119] Таким образом, голландская перевалочная торговля развивалась вслед за голландским мореплаванием, которое само было продуктом голландской промышленной эффективности.[120] Вновь перед нами эффект спирали: мощь голландской перевалочной торговли «стремилась разрушить»[121] английское мореплавание. Разумеется, статус перевалочного пункта формировал значительное количество постоянных рабочих мест,[122] что поддерживало внутренний спрос на голландскую продукцию, особенно в XVII веке.

Выше было сказано, что последовательность голландского превосходства в мире-экономике была следующей: производство — дистрибуция — финансы. Если первая часть этой последовательности противоречива, то вторая представляет собой общепринятую точку зрения. Однако зачастую это представляется как нечто несколько постыдное, как превращение честного, аскетичного (торгового) предпринимателя в низменного, любящего роскошь рантье, как предательство протестантской этики в самом Сионе и как объяснение того, почему Голландия оказалась изгнанной из Эдемского сада. В последние годы уже раздались здравые возражения против подобной чепухи, однако я намерен пойти еще дальше. Поворот к финансовой сфере — это *не* знак заката, не говоря уже об упадке; на самом деле то, что амстердамскую фондовую биржу можно рассматривать как «Уолл-стрит XVII века»,[123] является знаком

---

[119] В XVIII веке система консигнаций изменится таким образом, что агент будет выплачивать продавцу три четверти вероятной цены (по низкой оценке), но при этом будет получать умеренный процент на свою предоплату до того момента, как товар будет продан. Уилсон видит в этом «скользкий путь». По мере того, как агенты переходили от собственно заработка на комиссии к занятию морскими перевозками и отправкой грузов и к предложению краткосрочных кредитов, они уходили от собственно банковского дела в сторону спекуляций и рыночной игры. «Поскольку комиссионная торговля все больше переставала быть прямой, в ней усиливался элемент неопределенности и мошенничества» (*Wilson*, 1941, 12).

[120] Дэвис отмечает, что в Нидерландах XVII–XVIII веков «было действительно трудно разграничить торговый и промышленный капитал» (*Davis*, 1973b, 232), однако, как указывает Саппл, «для торговых предпринимателей было совершенно нормальной и предсказуемой практикой инвестировать в мануфактурные предприятия и управлять ими» (*Supple*, 1977, 424).

[121] Выражение Хинтона, который рассматривает голландскую перевалочную торговлю как «наиболее значимый единичный фактор в формировании английской экономической политики XVII века» (*Hinton*, 1959, 10–11).

[122] Гламанн говорит, что торговля зерном распространялась как «крути по воде». Зерно не только погружали и разгружали — наличие системы резервных запасов способствовало созданию складов, примерно три четверти которых было отведено для хранения зерна. В дальнейшем рабочие места создавались в силу необходимости постоянно перемешивать зерно «во избежание проращивания и спонтанного возгорания» (*Glamann*, 1974, 461). Бриггс указывает, что, исходя из потребностей мореплавания и хранения товаров, Амстердам в 1610 году запустил «примечательную и амбициозную схему концентрического расширения**, которая… увеличила обитаемую территорию города в четыре раза» (*Briggs*, 1957, 294).

[123] *Goubert* (1970c, 27).

капиталистической мощи. Каково было происхождение этой мощи? Она стала результатом трех последовательных этапов. 1) Производственная и коммерческая мощь в рамках мира-экономики сформировали базу для солидных государственных финансов. 2) Последние в сочетании с всемирной торговой сетью позволили Амстердаму стать средоточием (locus) всемирной системы расчетов и денежным рынком, в особенности в условиях замедления мира-экономики и, следовательно, финансовой нестабильности. 3) Производственная и коммерческая мощь в сочетании с контролем над международным денежным рынком обусловили *экспорт* голландского капитала, что принесло с собой денежные перечисления, позволившие голландцам жить за счет гораздо больших производственных излишков, нежели создавали они сами, причем еще много после той эпохи, на которую приходился их собственный основной вклад в производство.

В условиях замедлявшегося расширения мира-экономики тот факт, что Соединенные Провинции «всегда выполняли платежные обязательства»[124] (причем в XVII веке на фоне «зловещей последовательности дефолтов»[125] это было серьезное исключение из правил), был и причиной, и следствием их общей экономической гегемонии. Следствием — постольку, поскольку для формирования положительного баланса торговли было достаточно лишь коммерческих преимуществ в морском фрахте и страховании;[126] причиной — потому, что надежная финансовая репутация позволяла голландскому правительству делать более дешевые займы,[127] великолепное состояние государственного кредита Голландии определяло «значительную часть [ее] военных успехов»,[128] а стало быть, Голландия могла с наибольшей вероятностью привлекать существенные финансовые потоки в качестве безопасного места их размещения, что позволяло Соединенным Провинциям иметь переоцененную валюту. Последнее преимущество означало, что Соединенные Провинции могли уравновешивать дефицит текущего счета входящими финансовыми потоками.[129] Однако устойчивые финансы — это лишь предпосылка для того уровня общего капиталистического доверия, который необходим для эффективного осуществления финансовых операций. Стабильные

[124] *Carsten* (1961, 13). Сравним это с французским бюджетом, который между 1610 годом и Французской революцией был в плюсе только одно десятилетие, между 1662 и 1671 годами. См. *Parker* (1974a, 575).

[125] *Homer* (1963, 98).

[126] См. *Vilar* (1974, 249).

[127] См. *Parker* (1974a, 573). Единственным государством, которое «на некоторое время» все еще оставалось состоятельным в этом отношении, была Генуя.

[128] *Homer* (1963, 124). Омер, между прочим, предполагает, что «при наличии хорошего кредита можно было нанимать германских наемников для защиты суши» (p. 125).

[129] Это предварительное предположение высказано в: *Grantham* (1975, 65). Ван дер Вее предлагает иную мотивировку: «Голландская республика [намеренно переоценивала] серебро в XVII веке, для того чтобы насытить великий амстердамский рынок драгоценных металлов этим белым металлом, который был крайне необходим для экспорта на Балтику и Дальний Восток» (*van der Wee*, 1977, 297).

финансы позволяют осуществлять кредитные операции под низкие проценты и делают возможным получение высокого валового дохода, который формируют низкодоходные финансовые операции.

В год подписания Двенадцатилетнего перемирия (1609) был основан Обменный банк Амстердама* (*De Wisselbank van Amsterdam*), который быстро стал крупным депозитным и обменным центром Европы, поскольку «обеспечивал безопасность и удобство — редкие достоинства в анналах банковского дела XVII века». На протяжении этого столетия объем депозитов в банке вырос с менее чем 1 до более чем 16 миллионов флоринов,[130] и банк стал убежищем для владельцев капитала, опасавшихся за безопасность своих богатств.[131] Как только на депозитах банка появилось достаточно драгоценных металлов и звонкой монеты, у Амстердама в руках оказался «ключ к, так сказать, международной системе расчетов Европы».[132] Храня деньги в основном в сейфах, Амстердам развивал систему переводных векселей, которая позволяла расширять многосторонние расчеты. Конечно, формирование доверия и финансовых потоков заняло время, однако самое позднее к 1660 году Амстердам играл неоспоримо центральную роль в многосторонних платежах и сохранит ее как минимум до 1710 года.[133] Что касается ограничений на экспорт драгоценных металлов, то среди государств эпохи меркантилизма Соединенные Провинции были значимым исключением: металлы могли столь же легко утекать оттуда, как и направляться обратно. Именно поэтому Соединенные Провинции испытали такой значительный их приток,[134] и подобная политика была, конечно же, единственно возможной, когда приток металлов и в самом деле происходил. Как и во многих

[130] *Barbour* (1963, 44–45).

[131] См. *Barbour* (1963, 46). Барбур указывает, что в ходе обоих политических кризисов в Англии XVII века частные лица переводили свои фонды в Нидерланды. Аналогичным образом Альваро Кастильо отмечает «любопытное событие» 1649 года, когда в Амстердам прибыли 4 судна с более чем 3 миллионами дукатов в неотчеканенном виде (en barras y piñas, т.е. в брусках и кучках). Кастильо утверждает, что это, скорее всего, были деньги марранов, выводивших средства за границу в связи с банкротством Испании 1648 года. «Когда на кону стоят важные интересы, капитализм знает, как игнорировать идеологии и границы» (*Castillo*, 1964, 314). Раймонд де Ровер Ровер полагает, что «во второй половине XVII века Амстердам вытеснил Геную в качестве мирового рынка драгоценных металлов» (*De Roover*, 1974b, 227).

[132] *Glamann* (1974, 510).

[133] *Parker* (1974a, 550–551). Таблица, приведенная Паркером, показывает явное превосходство Амстердама над Лондоном в качестве обменного центра около 1700 года. Пьер Вилар полагает, что такая ситуация сохранялась до 1763 года (*Vilar*, 1974, 257). См. тж. *Homer* (1963, 174) и *Glamann* (1977, 261). О всеобщем доверии, а значит, и о всеобщей ликвидности, говорит тот факт, что до 1763 года Амстердам был единственным финансовым центром, где купцы могли выписывать и принимать переводные векселя из России. См. *Knoppers* (1977a, 13–14).

[134] См. *Deyon* (1969, 38). См. тж. у Вилара: «Драгоценные металлы были для голландцев таким же товаром, как и прочие товары, "экспорт-импорт" которых был прибыльным делом» (*Vilar*, 1974, 251). Морино, однако, указывает, что, как только эта система установилась, на деле нужно было экспортировать весьма небольшое

других случаях, это был спиралевидный феномен, в котором каждый отдельный шаг становился вкладом в бóльшую возможность следующего — до тех пор, пока в конечном счете не достигался пик.

Надежность в сферах депозита и обмена обеспечила возможность осуществления кредитной функции, которую Обменный банк стал выполнять в 1683 году. Первоначально это были «авансы» для владельцев депозитов, а затем «акцептные кредиты», то есть операции, более не связанные с выполняемой Амстердамом функцией перевалочного пункта и бывшие, по сути, кредитами на осуществление операций в удаленных центрах.[135] Голландцы развивали кредит, основанный на целевых вкладах, который был «непривычно стабилен», поскольку «стоимость возврата средств по переводным векселям партией драгоценных металлов в любой желаемой монете была значительно снижена»,[136] ведь Обменный банк как раз и являлся хранилищем этих металлов. Наконец, стабильность голландской валюты обусловила «гарантированное качество» голландской расчетной монеты (*negotiepenningen*)* — как золотой, так и серебряной, так что она стала предпочтительным средством расчетов в мировой торговле, оставившим свой отпечаток даже на испанских песо (*reales de ocho*)**.[137] Финансовые потоки, в свою очередь, сформировали и поддерживали низкие процентные ставки, привлекавшие очередные потоки. В течение XVII века ставка в Голландии упала более чем наполовину, вынуждая снижение ставок в Англии, Франции и даже Швеции, однако в этих странах ставка никогда не оказывалась настолько низкой, чтобы эффективно конкурировать с голландской.[138] Низкие процентные ставки логично ведут нас к теме

количество драгоценных металлов — по крайней мере, в периферийные зоны мира-экономики, такие как Балтика, а не в его внешние сферы, например, в Ост-Индию и Левант. «В последнем исследовании мы действительно должны вернуться именно к экономическому [в отличие от финансового — *И.В.*] функционированию хозяйства (economy) Соединенных Провинций — как во внешних аспектах, так и во внутренних» (*Morineau*, 1972, 4).

[135] См. *Van Dillen* (1974b, 179–185) и *Klein* (1970, 39–40). См. тж. *Barbour* (1963, 53): «Свобода экспорта монетных металлов, в XVII веке повсеместно ставших редкостью, способствовала стабилизации амстердамских обменных ставок и тем самым стимулировала оборот переводных векселей в качестве ликвидного кредитного инструмента; их дисконтирование и продажа стали в Амстердаме популярным бизнесом». Ключевое положение Амстердама в операциях с переводными векселями не только ускорило торговлю в целом, но и оказалось высокоприбыльной банковской деятельностью. Мария Богуцка указывает, что перечисление голландскими банкирами крупных сумм в адрес гданьских купцов по переводным векселям «не только представляло собой способ отправки денег, но и породило рост независимых спекулятивных операций (т.н. арбитраж), которые <...> в первой половине XVII века давали за несколько недель прибыль на инвестированный капитал до 6,5–8, а иногда и 10–12%. В это время процентная ставка в Голландии едва достигала 3–4%» (*Bogucka*, 1972, 10).

[136] *Van der Wee* (1977, 342).

[137] *Van der Wee* (1977, 340).

[138] См. *Klein* (1970, 38) и *Homer* (1963, 137, 179). Омер сравнивает голландские, английские и французские ставки в первой и второй половине XVII века по трем видам займов: годовой ценз, закладные и прочие долгосрочные долговые обязательства; крат-

инвестиций — еще одного источника финансовой прибыли. Будучи главным финансовым рынком Европы и главным торговым перевалочным пунктом, Амстердам мог существенно снижать издержки по поиску заемного капитала, обсуждению условий займов и их осуществлению, тем самым стимулируя инвестиции в целом.[139] Будучи в технологическом отношении наиболее передовым обществом того времени, Соединенные Провинции могли также экспортировать свои технологии, что было еще одним аспектом обеспечения притока финансов в страну.[140]

Расширение внутренних и внешних инвестиций было прибыльным для голландских капиталистов и поддерживало платежный баланс государства, однако можно ли то же самое сказать о его экономике в целом? В последние годы состоялась одна любопытная, с оттенком меркантилизма дискуссия, в ходе которой предполагалось, что «закат» Голландии некоторым образом обязан размещению инвестиций за пределами Соединенных Провинций, в особенности в Англии. Тем самым пренебрегался факт, что заботой инвестора является максимизация прибыли, а не поддержка государства.[141] Мы вновь вернемся к этой теме при обсуждении подъема английских финансов, а в данный момент достаточно напоминания ван Диллена, что созидание капитала имело «огромную важность <...> для политического и экономического положения Республики — стоит лишь вспомнить о приобретении союзников посредством субсидий»,[142] что было формой государственного инвестирования, которая стимулировала инвестиции частных групп. В самом деле, мы не можем завершить разговор о голландской гегемонии без непосредственного рассмотрения роли государства. В XVII веке, посреди преобладания меркантилистской идеологии, Соединенные Провинции представляются значительным

косрочные коммерческие займы; краткосрочные депозиты. В пяти из шести сравнений опубликованная голландская ставка является наиболее низкой, в одном случае она незначительно выше английской. Д.Р. Рингроуз предполагает, что низкие процентные ставки были следствием «гигантской концентрации в Нидерландах ликвидного капитала в военных целях» в 1566–1648 годах (*Ringrose*, 1973, 291).

[139] См. *North and Thomas* (1973, 139, 142) и *Reed* (1973, 182–183). См. *Klein* (1969, 14) об инвестициях в резервные фонды. Обзор голландских займов и зарубежных инвестиций см. в *Barbour* (1963, 104–129). Об инвестициях в растущие долги европейских стран в XVIII веке см. *Wilson* (1977a, 27): деньги направлялись «прежде всего [в] Англию, где настойчивость голландских инвесторов была столь велика, что стала важным предметом рассмотрения для череды первых лордов казначейства».

[140] Уже в 1628 году Корнелиус Вермёйден заключил соглашение с Карлом I об осушении Хэтфилд-Чейза*. См. *Cunningham* (1897, 209–210). А.Дж. Диккенс говорит о голландской «технологической колонизации Англии» в XVII веке (*Dickens*, 1976, 8). Об экспорте технологий осушения почвы, кораблестроения и сельского хозяйства см. тж. *Wilson* (1968, 77–91). Об осушении и рекламации земли см. *L.E. Harris* (1957), где утверждается, что лишь к концу XVII века «осушение [английских] фенов <...> перестало быть прерогативой нидерландцев» (p. 322).

[141] Маркс, описывая внешние голландские инвестиции в XVIII веке как следствие утраты торгового превосходства, говорил, что «их отечество теперь стало находиться там, где платили лучший процент на их капитал» (*Marx*, 1969, 93).

[142] *Van Dillen* (1974a, 207).

исключением, и из этого факта многие делают курьезное заключение, что голландское государство было слабым. Мне же представляется, что все было как раз наоборот: в XVII веке голландское государство было *единственным* государством в Европе, располагавшим достаточной внутренней и внешней мощью, так что его потребность в меркантилистских мерах была минимальной.

Вкратце рассмотрим природу идеологии и практик, а затем обратимся к указанным внутренним и внешним силам Соединенных Провинций. На предшествующих исторических этапах Амстердам, конечно, энергично следовал протекционистской линии,[143] которая на уровне городов полностью не исчезла даже в XVII веке.[144] Более того, многие даже выдвигали возражения против недостаточных протекционистских мер на уровне федерации. С течением столетия аграрно-индустриальные сектора теряли свое преимущество и просили о введении протекционистских тарифов, хотя и с ограниченным успехом.[145] Да и Генеральным Штатам было не чуждо тарифное возмездие в их борьбе с Англией и Францией.[146] Роль государства была очевидной в других вопросах, нежели протекция: государство создавало условия для успеха частных предприятий. К примеру, как только в Нидерландах появилось автономное правительство, «рыболовы пришли к нему за самым настоятельным попечением».[147] С целью контроля за качеством Вильгельм Оранский в 1575 году собрал вместе представителей пяти рыболовецких портов и посредством ряда статутов 1580–1582 годов создал коллегиальную организацию для контроля за производством сельди.[148] Еще более важным было создание голландской Ост-Индской компании, что в значительной степени представляло собой реакцию на анархию свободного мирового рынка колониальных товаров и на вытекавший из этого состояния демпинг. Э. Столз утверждал, что ключевое значение Ост- и Вест-Индской компаний состояло во «вмешательстве государства в торговлю и экономику», а создание этих двух компаний «можно "*avant la lettre*" [анахронично — *фр.*] назвать почти что национализацией», то есть своего рода стремлением объединить прежде интернациональную торговлю в рамках одной национальной монополии.[149]

---

[143] См. *Glamann* (1974, 457).

[144] «Города защищали и субсидировали промышленность. Прекрасным примером этого является кораблестроение. Создание кораблестроительных мощностей было одной из форм субсидии. Регулирование гильдий корабельных плотников предполагало ряд других форм» (*R.W. Unger*, 1978, 114).

[145] Тем не менее, их интересам следовало способствовать. В 1681 году, в момент экономических трудностей, был достигнут компромисс между амстердамскими торговцами зерном и сельскохозяйственными производителями Зеландии. Первые добились отмены экспортных и реэкспортных пошлин, а вторые — увеличения импортных пошлин. См. *Jeannin* (1969, 74). Как сообщил мне сам Жаннен, в двух статьях Й.Г. ван Диллена на голландском языке (*van Dillen*, 1917 и 1923) приведены детали этого конфликта и достижения политического компромисса. Заметим также, что «в XVII–XVIII столетиях периодически попадал под запрет экспорт корабельного сырья, например, веревок и мачт» (*R.W. Unger*, 1978, 115).

[146] См. *Deyon* (1969, 38).

[147] *Beaujon* (1984, 30).

[148] *Michell* (1977, 148).

[149] *Stols* (1976, 39).

Голландское государство защищало интересы своих предпринимателей, и в этом процессе его мало беспокоила идеологическая последовательность. Идеология голландской гегемонии формулировалась как *mare liberum* [свободное мореплавание — *лат.*] и была наиболее убедительно изложена в книге Гроция*, вышедшей в год Двенадцатилетнего перемирия (1609). Однако сэр Джордж Даунинг с горечью писал лорду Кларендону 20 ноября 1663 года: «Это *mare liberum* в Британских морях, но на берегу Африки и в Ост-Индиях это *mare clausum*» [закрытое море — *лат.*],[150] и в этом нет ничего удивительного.[151] Соединенным Провинциям принадлежало господство, а «либерализм вполне подобает господствующим экономикам»,[152] однако всякий раз, когда либерализм вступает в конфликт с возможностью продолжения господства, у него нет шансов на продолжение. Вот почему «либеральная» децентрализованная структура голландского государства может быть рассмотрена в качестве индикатора силы, а не слабости. Но это не значит, что децентрализованные структуры всегда являются признаком силы. Например, в такой периферийной зоне, как Польша, подъем местных сеймиков и магнатов был именно критерием превращения Польши в периферию. Однако для державы-*гегемона* подобная структура является знаком силы *по отношению к другим центральным державам*, которым как раз и необходимо усилить административную централизацию, дабы предпринять попытку превзойти экономические преимущества державы-гегемона.

[150] Цит. по: *Geyl* (1964, II, 85). См. *Meilink-Roelofsz* (1968, 71). См. *Goslinga* (1971, xiv) о Карибском бассейне: «Голландская колониальная империя, построенная в первой половине XVII века, началась с метлы на мачте**, то есть с принципа открытого моря. Однако, как только море было очищено — иными словами, когда испанская морская мощь перестала представлять реальную опасность для голландцев, последние утратили интерес к высоким принципам, выраженным их прекраснейшим философом, и без зазрения совести приняли пиренейский принцип *mare clausum* [в отношении англичан]».

[151] Хекшера, тем не менее, это удивляет. «В таком случае возникает парадоксальная ситуация, когда Нидерланды, хотя они и являлись идеалом для всех меркантилистов, в то же самое время были меньше, чем большинство других стран, затронуты меркантилистскими тенденциями. Единственное объяснение этого: Нидерланды были идеализированы» (*Heckscher*, 1935, I, 359). Разумеется, это единственное объяснение в том случае, если надеть идеологические шоры экономического либерализма и отказаться мыслить в соотносительных, а не в субстанциональных (attributive) категориях. Сравним позицию Хекшера с точкой зрения Густава Шмоллера: «Героическая борьба голландцев за свободу религии и за освобождение от испанского ига при непредвзятом рассмотрении оказывается, по сути своей, столетней войной за завоевание колоний Ост-Индии и столь же длительной каперской атакой на перевозившие серебро флотилии и испано-американскую торговлю. Эти голландцы, столь восхваляемые наивным адептом фритредерства наших дней из-за низких таможенных пошлин на их начальном этапе, изначально были самыми стойкими и воинственными из монополистов, следовавшими монополизму, как никто и никогда» (*Schmoller*, 1897, 65).

[152] *Deyon* (1969, 40). Гламанн называет либерализм «пассивным отношением» государства, а «поскольку государственная политика в экономическом процессе никогда не является нейтральной», очевидно, что «это пассивное отношение абсолютно точно совпадало с ростом оптово-экспортного рынка Амстердама» (*Glamann*, 1977, 273–274).

Какова была структура Соединенных Провинций? Ее детали менялись в промежутке от времени Утрехтской унии 1579 года до падения децентрализованного государства и создания Батавской республики в 1795 году, однако подлинная сущность каждой из следовавших друг за другом вариаций не слишком различалась. Уже в 1576 году семь штатов (или провинций): Гельдерланд (Гельдерн), Голландия, Зеландия, Утрехт, Фрисландия, Оверэйсел' и Гронинген — договорились делегировать своих представителей в Генеральные Штаты, где каждая провинция имела один голос, а решения должны были приниматься единогласным голосованием. Кроме того, существовал довольно слабый исполнительный орган — Государственный Совет. Флот — ключевой военный институт — находился под постоянным руководством пяти отдельных Адмиралтейских коллегий. Наиболее важная провинция — Голландия — располагала громоздкой структурой правительства; ее центральный законодательный орган — Штаты Голландии — состоял из 18 представителей различных городов и одного представителя от всего дворянства. В Соединенных Провинциях не было монарха — его ближайшим эквивалентом был статхаудер, официальное лицо провинций. Принцы Оранские обычно выступали в роли статхаудеров нескольких (но не всех) провинций сразу, за исключением, разумеется, двух «бесстатхаудерных периодов»". Нужно было оказаться в слишком затруднительном положении, чтобы изобрести подобную структуру, казалось бы, наименее способную действовать эффективно, если вообще способную работать.

На самом же деле она работала вполне неплохо, хотя и не без разногласий и насилия (на уровне конкретных событий мало что в то время можно сопоставить с линчеванием Яна де Витта в Гааге в 1672 году, известном в голландской истории как «год бедствий»). Впрочем, если сравнить внутренние трения в Соединенных Провинциях с Англией и Францией, то ни один здравый исследователь не сможет не заметить, что Нидерланды были менее беспокойны, чем два последних государства: внутренние разногласия правящих страт раздирали нидерландское общество куда меньше, а его низшие страты были не такими мятежными. Для объяснения этого прежде всего отметим, что формальная структура правительства маскировала (причем лишь слегка) другую — реальную — структуру. В финансовом отношении Голландия несла почти 60% государственных расходов, а на Амстердам приходилась половина этой части. Главным провинциальным административным чиновником Штатов Голландии был так называемый земский адвокат. Позже эта должность стала называться «советник-пенсионарий», а иностранцы называли ее «великий пенсионарий»; этот чиновник и был подлинным премьер-министром всех Соединенных Провинций, выступая в качестве президента в «бесстатхаудерные периоды».[153]

[153] См. *Kossmann* (1970, 362–365), *van Hoboken* (1960, 46), *Renier* (1944, 52), *Burke* (1974, 44) и *Wansink* (1971). «Парадоксальным образом Голландия сильно поддерживала федеральное правительство, однако на практике это значило, что Голландия в значительной степени может управлять всей республикой сложным полуцентрализованным путем» (*Schöffer*, 1973, 92).

Власть этой фигуры проистекала из следующих обстоятельств. Во-первых, Генеральные Штаты и Штаты Голландии собирались в одном и том же здании в Гааге. Во-вторых, существовала необычная практика, при которой великий пенсионарий оставался в Генеральных Штатах из года в год, что обеспечивало непрерывность его работы. В-третьих, Голландия была экономическим и культурным центром для всех происходивших в Нидерландах процессов. Наконец, Амстердам контролировал импорт зерна, которое кормило почти половину населения.[154] Если в начале XVII века и было какое-либо сомнение в превосходстве Амстердама, то оно полностью исчезло в первый «бесстатхаудерный период» 1650–1672 годов, когда господство Голландии стало «цементом, скреплявшим государство», а внешняя политика «стала подчиняться интересам торговли»,[155] как и подобает державе-гегемону. Амстердам заправлял всем, и особенно в этот период он «ощущал себя наделенным правом задавать тон».[156] Зачем же тогда беспокоиться о централизации государства, если и без этого получаешь все, что хочешь? То, что Г.Й. Реньер и вслед за ним Уилсон называли «социальной диктатурой высшего среднего класса»,[157] время от времени, несомненно, отвергалось его внутренними оппонентами — так было в случае с противостоянием контрремонстрантов и ремонстрантов, оранжистов и левестейнеров*. Эта диктатура была, вполне возможно, подорвана медленным процессом «аристократизации»,[158] хотя социально более консервативная высшая аристократия (peers) никогда реально не угрожала интересам правящей страты. Как верно подметил Коссманн, «принцы Оранские редко стремились сместить голландскую плутократию и никогда не могли этого сделать».[159]

Снизу этой страте также ничего реально не угрожало: ее члены оплачивали стоимость общественного согласия. Голландское социальное благосостояние, в особенности благосостояние Амстердама, вызывало «решительное восхищение» иностранных посетителей страны, которые, скорее всего, не осознавали, что источником

[154] « Амстердам обладал огромной силой в те годы, когда в стране была нехватка хлеба», например, в 1628–1630 годах (*van Dillen*, 1964, 145).

[155] *Franken* (1968, 2, 4). См. тж. *Burke* (1974, 42–43), *Carter* (1975a, 1) и *Riemersma* (1950, 39). Напротив, о пределах возможностей Амстердама и Голландии предопределять политику см. *Rowen* (1974).

[156] *Boxer* (1965, 90). Этот тон был очень прибыльным делом для Амстердама. Й. Альберс отмечает, что после 1650 года «торговля со Средиземноморьем и Балтикой стала все больше концентрироваться в Амстердаме, пока в конечном счете город ее не монополизировал» (*Albers*, 1977, 86).

[157] *Renier* (1944, 16–24) и *Wilson* (1968, 47). Чарльз У. Боксер отдельно выражает согласие с Реньером по этому вопросу (*Boxer*, 1965, 11).

[158] См. рассмотрение этого в: *Roorda* (1964, 119 и 1967, 196–197). Х. ван Дейк и Рорда предупреждают, что не следует переоценивать этот феномен: «До конца XVIII века на повестке дня не стоял вопрос последовательной аристократизации, препятствующей всяческой социальной мобильности» (*van Dijk and Roorda*, 1976, 101–102).

[159] *Kossmann* (1970, 365). К.Х.Д. Хейли также отмечает, что, хотя борьба оранжистов с «плутократией» привлекала поддержку низших городских слоев и тем самым обладала «всеми необходимыми качествами гражданской войны и социальной революции», оранжисты в итоге отступили. «В конечном счете, сами они были аристократами и приверженцами существующего социального порядка» (*Haley*, 1972, 83).

доброй части этих денег была конфискованная собственность Римско-католической церкви.[160] Неважно, что другие страны в XVII–XVIII веках также проводили конфискацию церковной собственности, причем даже «не обеспечив бедных настолько полно»,[161] — относительно социальной реальности голландского государства благосостояния именно так: «государства благосостояния», это устоявшийся термин не следует питать иллюзий. Валовые прибыли голландского капитализма «едва ли приносили пользу большинству». Реальные заработки, которые сначала чаще всего слегка росли, в течение XVII века снижались;[162] процветание нации шло рука об руку с «еще большей бедностью многих групп работников», а примерно половина населения Амстердама жила в «убогих задворках, подвалах и цокольных этажах».[163]

И все же, каким образом удавалось обеспечивать это относительное общественное согласие? Одним из главных факторов было то, что для некоторых лиц падающие реальные доходы уравновешивались выплатами социальных пособий, которые были *выше, чем в других* государствах центра.[164] Вторым фактором была репутация Амстердама, известного своими преимуществами, что сделало его «путеводной звездой для безработных и частично занятых из соседних стран». В более позднюю эпоху этот секрет был вновь открыт Нью-Йорком. Едва было допущено распространение поверья, будто «улицы Амстердама вымощены золотом»,[165] как работники стали мигрировать туда отовсюду, и этого было вполне достаточно для ухудшения ситуации на рынке труда для трудящихся жителей города-светила, чтобы обладавшие лишней крупицей чтили это, а каждый новоприбывший сосредотачивался на возможностях личного продвижения. Все, что было необходимо, — это власть, процветание, немного щедрости и *soupçon* [видимость — *фр.*] социальной мобильности — короче говоря, речь идет о типичной социальной политике державы-гегемона.

Сила у себя дома сопровождалась силой за его пределами. В первой половине XVII века голландский флот правил морями — в той степени, в какой флот вообще на это способен.[166] Предшествующей морской силой была, конечно же, Испания. Голландцы помогли англичанам положить конец ее «непобедимости» в 1588 году, однако еще в 1600 году испанская военная мощь по-прежнему

---

[160] *Boxer* (1965, 55).

[161] *Wilson* (1968, 53).

[162] *Klein* (1969, 9), см. тж. *J. de Vries* (1978, 303).

[163] *Boxer* (1965, 54–55).

[164] См. *Klein* (1969, 9).

[165] *Boxer* (1965, 58).

[166] В частной беседе недавно покинувший нас Стайн Роккан выдвинул предположение о главном факторе неспособности трансформации европейского мира-экономики в мир-империю: европейский мир-экономика был создан вокруг моря, а не суши, а моря по их природе труднее покорять, чем сухопутные массивы. На данный момент я оставляю полную ответственность за это интересное суждение за самим Рокканом. По этому поводу см. оценку Перри Андерсоном английского спектра возможностей: «Несмотря на более высокую стоимость единицы продукции, общие издержки при строительстве и обслуживании флота были гораздо ниже, чем издержки создания регулярной армии. <...> А результаты этого выбора в течение последующих столетий окажутся еще более значительными» (*P. Anderson*, 1974a, 135).

превосходила голландскую и английскую вместе взятые.[167] Череда морских побед изменила эту ситуацию. Упомянутый ранее «морской заслон» в Карибском бассейне был закреплен в 1634 году, когда голландцы захватили Кюрасао. В 1645 году голландский флот впервые установил контроль над Зундом.[168] Именно поэтому «Соединенные Провинции были обязаны значительностью и силой своему богатству и своим флотилиям»,[169] как писал великий теоретик морской мощи адмирал Мэхэн*. Эта сила, конечно же, испытала вызов — в промежутке между 1651 и 1678 годами, на пике голландской гегемонии, и уже ко времени войн начала XVIII века голландцы стали второстепенной военной державой в сравнении с Францией и Англией. Однако подобная ситуация как раз и была следствием голландской экономической гегемонии. В середине XVII века возник момент, когда накопленное экономическое преимущество голландцев казалось настолько невозможным подорвать, что Англия и Франция решили, что «голландцев надо вывести со сцены силой».[170] В действительности, конечно, даже с точки зрения чистого экономикса гегемония в рамках капиталистической системы не может длиться долго; однако и Англию с Францией нельзя обвинять в том, что они рвались в бой. Поэтому мы утверждаем, что государство было необходимым инструментом, используемым голландской буржуазией для консолидации экономической гегемонии, которой она изначально добилась в сфере производства, а затем распространила ее на торговлю и финансы. Государства, представлявшие конкурирующие силы центра и полупериферии, в равной степени окажутся необходимыми инструментами в последующем процессе разрушения этой гегемонии.

А что происходило в культурной сфере? Оставалось ли место для идей, ценностей, науки, искусства, религии, языка, чувства и цвета? Конечно, место для них было, ведь культуры — это одежды, в которые человечество облекает свои политико-экономические интересы и стремления, дабы их выразить или утаить, распространить во времени и пространстве и сохранить память о них.

[167] См. *Cooper* (1970, 227). К 1659 году и в Атлантике, и в Средиземноморье испанский флот был слабее, чем флот как Соединенных Провинций, так и Англии (а вскоре оказался слабее и французского флота).

[168] *Polišenský* (1971, 236).

[169] *Mahan* (1889, 97). М.А.М. Фрэнкен вслед за ним утверждает, что это был единственный возможный путь к мощи: «Понятно также, что финансовые резервы были не столь велики, чтобы вдобавок к флоту, охраняющему побережье и длинные торговые маршруты, оплачивать и армию, которая в длительной перспективе была бы необходима для проведения активной наземной политики» (*Franken*, 1968, 6). Однако о голландской армии также не следует забывать. В период Двенадцатилетнего мира (1609–1621) растущее благосостояние позволило голландцам в дополнение к самому большому в мире флоту сформировать постоянную армию — единственную в Европе, отдаленно сопоставимую по силе с испанской» (*Israel*, 1977, 38). Это было следствием реформ Морица Нассауского, предполагавших лучшее использование человеческих ресурсов, уменьшение размера войсковых подразделений и новшества в осадной войне. Майкл Робертс указывает, что у этих реформ было две предпосылки: «Первая из них заключалась в том, что голландским армиям надо было хорошо — и прежде всего пунктуально — платить. <...> Вторая — в эффективной системе обучения и муштры». Современникам казалось, что голландские реформы «трансформировали военное искусство» (*Roberts*, 1958, 185, 187).

Наши культуры — это наши жизни, наше самое глубинное «я», но в то же время и самое внешнее «я», наши личные и коллективные индивидуальности. Как же тогда обойтись без выражения гегемонии в культуре? Однако подобное выражение не всегда окажется культурным доминированием. Державы центра часто доминируют над периферийными зонами, навязывая людям ощущение неполноценности в отношении их собственной культуры, однако непохоже, чтобы держава-гегемон была способна сделать то же самое с другими державами центра. В последнем случае культура державы-гегемона чаще всего может выступать в качестве модели,[171] в особенности технологической; однако именно культура является той сферой, где возникает сопротивление гегемонии, где взывают к историческим ценностям устоявшихся «цивилизаций» против вре́менных превосходств рынка. Это верно сегодня и было столь же верно в XVII веке.

С другой стороны, державы-гегемоны действительно стремятся сиять на культурном небосводе, а их критики нередко исходят из принципа «видит око, да зуб неймет». Прежде всего, у держав-гегемонов существуют материальная потребность и соответствующие средства быть продуктивными в научном отношении, и эта продуктивность перемещается в сферу искусства. Во-вторых, политика либерализма является питательной средой для культурного бума, тем более потому, что следующая из принципов либерализма политика открытых дверей часто ведет к прибытию из других мест лиц, представляющих сферу культуры. В-третьих, богатство плодит роскошь, которая получает удовольствие от культурных артефактов, даже когда это подрывает его материальную базу. Очевидно, что в Голландии в центре внимания находилась прикладная наука. Технологические преимущества предыдущих столетий определенно были одним из ключевых факторов голландской аграрно-индустриальной эффективности. В самом деле, в XVII веке голландцы деловито экспортировали свои технологии, и мы уже упоминали этот трансфер технологий как источник притока в Голландию финансовых средств. Это, конечно, был и знак культурного влияния. Везде в европейском мире — в Англии, Франции, Италии, Дании, Пруссии, Польше — существовали «голландрии», то есть деревни голландских эмигрантов, работавших на строительстве плотин и осушении болот.[172] Поскольку голландцы экспортировали свои наработки в сельском хозяйстве, они тратили много сил на улучшение технологии мореплавания, стремясь к снижению издержек, особенно путем усовершенствования навигационной техники.[173]

Описывая то, как английские правители стимулировали иммиграцию квалифицированных ремесленников в промежутке между 1669 и 1750 годами,

---

[170] *Andrews* (1915, 542).

[171] «Однако осмотрительные господа правители могли бы заметить то обстоятельство, что к 1621 году Соединенные Провинции оказались великой силой, поразительной моделью цивилизации, которая самим фактом своего существования стала идеалом для десятков тысяч мыслящих людей по всей Европе» (*Polišenský*, 1971, 162).

[172] См. карту в: *van Veen* (1950, 56).

[173] Уилсон указывает, что данная задача требовала одновременных достижений во многих областях технологии, собирая воедино «таланты математиков, граверов, печатников, картографов, приборостроителей и шлифовщиков линз» (*Wilson*, 1968, 92).

Дж.Н. Кларк утверждает, что одной из причин того, почему голландцы уезжали из своей страны, было столкновение с сильной конкуренцией аристократии, которая представлялась неблагоприятным фактором в сравнении с «более выгодными возможностями отсталой страны» наподобие Англии. Ведь в XVII веке положение дел был таким, что, «какой бы непонятной ни была работа, если она требовала мастерства, <...> не приходится удивляться, что здесь обнаруживаются голландцы».[174] И если вдуматься, то не удивляет и существование «особых отношений» с Шотландией.[175] Коммерческие связи стимулировались религиозным родством, в результате чего несколько поколений шотландцев отправлялись в Нидерланды получать университетское образование. Это еще одно звено в цепи, объясняющее возникновение шотландского Просвещения конца XVIII века, которое само по себе стало ключевым фактором в британском индустриальном рывке. Научный успех не зависит от интеллектуальной свободы, однако определенно является одним из способов ее воспитания — способом, конгениальным державам-гегемонам. Однако любопытный парадокс состоит в том, что интеллектуальный либерализм всегда имеет опасную сторону, причем в особенности внутреннего характера. Логика либерализма может не испытывать уважения к политическим компромиссам среди фракций правящих групп, а лозунги либерализма могут вдохновлять на бунт низшие страты. Поэтому путь держав-гегемонов заключается в том, чтобы поощрять культуру свободы, одновременно сдерживая ее, обозначая ее пределы (в особенности внутренние), воздвигая неприкосновенные идеологические бастионы с целью собрать воедино политические и экономические преимущества, чтобы обеспечивать господство доминирующих интересов, не пожав при этом бурю.

Рассмотрим, что это означало для Соединенных Провинций. С одной стороны, Голландия была «гаванью для философов»,[176] в том числе Декарта, Спинозы и Локка — этих трех великих светочей мысли XVII века. Декарт нашел в Голландии покой и стабильность, которые были недоступны ему во Франции. Спиноза в силу отлучения от церкви переместился из *Йоденбреестраата* — квартала евреев-сефардов в более дружественные районы голландских бюргеров. Локк искал в Голландии убежище от ярости Иакова II до той счастливой поры, когда на английском троне оказался голландец*. Разумеется, было много и других преследуемых интеллектуалов, например, Коменский, Журьё, Бейль**, которые восхваляли существование Амстердама и Роттердама.[177] Голландия, конечно же, была землей изгнания и для французских гугенотов, хотя в силу своего либерализма голландцы привечали и гугенотов, и янсенистов, а также пуритан, роялистов и

---

[174] *Clark* (1960, 16). Гламанн указывает, что от трети до половины населения городов наподобие Норвича и Колчестера, специализировавшихся в производстве «новых тканей», были «нидерландцами по происхождению» (*Glamann*, 1977, 253). Определенно верно утверждение Уилсона, что «экономические инновации неизбежно живут недолго, их фатально легко сымитировать» (*Wilson*, 1968, 39), однако суть дела в том, кто производит эти инновации.

[175] *Wilson* (1968, 178).

[176] *Wilson* (1968, 165–177).

[177] О различной реакции Журьё и Бейля на изгнание см. *E. Labrousse* (1967).

вигов и даже польских социниан*. Все они испытали на себе благотворное действие голландской коммерческой аксиомы: «запрещать как можно меньше, принимать приходящее отовсюду».[178] Но подобное отношение не было выражением и просто безвозмездной оценкой голландцами высокой культуры — это был хороший бизнес, причем для всех, кто в нем участвовал. С одной стороны, Голландия привлекала интеллектуалов «большими жалованьями и хорошими условиями для работы»[179] — утечку мозгов придумали не вчера.[180] С другой стороны, для множественных национальных оппозиций в пределах европейского мира-экономики свобода печатать в Голландии[181] все что угодно означало, что регенты «осознавали, какие экономические преимущества последуют от продажи книг и памфлетов»;[182] таким образом, «благоприятный альтернативный способ выражения»[183] для одних оборачивался коммерческой прибылью для других.

Была, впрочем, и обратная сторона медали. В 1592 году, как раз в момент начала перехода Соединенных Провинций к положению мировой державы, разразилась так называемая первая арминианская дискуссия**. На пике протестантской теологии, когда все было благодатью и все было спасением, Якобу Арминию случилось ухватиться за самый противоречивый раздел кальвинистской логики — так называемую паралогику[184] (или психо-логику) предопределения, или учение о позитивной репробации***. Арминий отвергал точку зрения, что благодать есть спасение, то есть позицию, поддержанную его главным оппонентом Франсуа Гомаром. В качестве альтернативы Арминий выдвинул положение, что благодать является обязательным условием спасения, его необходимым инструментом. Для саркастичных людей XX века это ничтожное различие, однако в Голландии, а возможно, и во всей христианской

---

[178] *Jeannin* (1969, 103).

[179] *Jeannin* (1969, 102)

[180] «Политика полуневмешательства (semi-laissez-faire) Голландской республики [наряду с политикой свободной иммиграции] <...> привела к живительному притоку в новое "государство" навыков в мануфактурном производстве, торговле и финансах, сети личных деловых связей и масштабное прибавление капитала и кораблей. <...> Без этого прогресс голландцев был бы более медленным и менее масштабным» (*Wilson*, 1977a, 18).

[181] Людвиг Бёйтин утверждает, что в XVIII веке Голландия была единственным местом в Европе с «относительно свободной прессой» (*Beutin*, 1939, 110).

[182] *Haley* (1972, 124).

[183] *Wilson* (1968, 163). Как утверждает Вилар, «дух свободы выражал голландское превосходство в торговых делах того времени» (*Vilar*, 1974, 251). Потребуется значительно отклониться от темы нашей работы, чтобы продемонстрировать отношения между периодом расцвета голландского искусства, ориентированностью на средний класс ("middle-classness") и «натурализмом» его стиля и преобладающими условиями среды. Достаточно помнить сугубо материальный аспект этой ситуации, который акцентирует Уилсон: «Что способствовало развитию [художественной] профессии, так это постоянное наличие спроса, а не какие-либо ожидания высоких наград» (*Wilson*, 1968, 124).

[184] Это высказывание принадлежит Пьеру Шоню. См. его рассмотрение «Дордрехта — величайшего дела столетия» в: *Chaunu* (1966a, 470–474). "*Tout va se jouer en Hollande*" [Все будет разыграно в Голландии — *фр.*].

Европе XVII века оно привело к величайшему теологическому спору.[185] Несмотря на ту поддержку, которую арминиане первоначально имели в политических и экономических кругах Голландии, они вскоре проиграли, когда на Дордрехтском синоде 1619 года контрремонстранты (гомаристы) одержали верх над ремонстрантами (арминианами), которые были изгнаны из страны. Но в долгосрочной перспективе арминиане, конечно же, не проиграли.

Вот какова полная история.

Что было предметом этого спора? Согласно голландскому историку Г.Й. Реньеру, арминианская формулировка предполагала, что отдельный человек может пронести с собой благодать либо утратить ее, а стало быть, «у ремонстрантов сохранялась частица человеческой свободы и достоинства — они были подлинными детьми гуманизма». Возможно, это так, но кто поддерживал гуманизм?[186] Арминиане определенно были социальным меньшинством, однако меньшинством могущественным, поскольку их политическая база была результатом социальных связей с купеческим патрициатом.[187] На другом конце дискуссии находились ортодоксальные пуританские проповедники [*predikants*], выходцы из скромных семейств, которые в консисториях опирались на мелкую буржуазию, а в городах — на возбужденные толпы при поддержке принца Морица и лагеря оранжистов.[188] Гомаристы обвиняли арминиан в «мягкости» по

[185] На мой взгляд, Шоню вполне прав, утверждая, что этот спор (по крайней мере, в XVII веке) является более фундаментальным, чем спор католиков и протестантов. Как напоминает Шоню, спору между арминианами и гомаристами соответствовала полемика молинистов и янсенистов* внутри католической церкви. Шоню также прав, называя арминиан «предшественниками либеральной ереси XIX века» (*Chaunu*, 1962a, 119).

[186] *Renier* (1944, 46). См. изложение Питером Гейлом точки зрения арминианского литератора из Амстердама Сэмюэла Костера**: «Костер развивает чисто ремонстрантскую теорию отношений государства и церкви с помощью следующей притчи. Мир — это норовистая лошадь, управляемая властью и сдерживаемая плетью закона и уздой религии; вложите узду в руки духовного (secular) наездника, Церкви, и лошадь ускачет. Эта теория обращалась ко всем образованным людям Европы, чей страх перед неразумной толпой и ее чрезмерным религиозным рвением повсеместно способствовал призывам к абсолютной власти, выдвинутой из светских правителей — в Голландии под ними подразумевались Штаты, в других местах — монархи» (*Geyl*, 1961, 70).

[187] Данное утверждение относится к моменту исходного противостояния, однако социальный раскол оставался неизменным в течение всего столетия. Как утверждает Жаннен, «в Амстердаме в 1672 году жаловались на то, что арминиане — со временем этот термин стал более политическим, нежели религиозным — составляли большинство в мировых судах, хотя они представляли менее 5% населения» (*Jeannin*, 1969, 111). Однако насколько серьезны были эти жалобы? Д.Й. Рорда отмечает, что в период голландской гегемонии был достигнут компромисс в виде медленной «аристократизации» клира. «Церковь открылась миру и ассимилировалась с сильными мира сего. <...> Регенты также стали более церковными. [К 1672 году] самый горячий конфликт между церковью и государством стал достоянием прошлого» (*Roorda*, 1967, 201).

[188] Шоню дает следующее описание социального раскола: «Социальная оппозиция: регенты Голландии, с одной стороны, составляли арминианскую партию; земельная знать востока страны, средние классы и меньшинство недавно прибывшей крупной буржуазии, с другой стороны, — ряды гомаристской партии. Гомаристы — шесть провинций, за исключением Голландии, в особенности недавно завоеванные сельскохозяй-

отношению к католицизму, что, возможно, дало арминианам некоторую поддержку со стороны католиков, однако последние подвергались преследованиям и, будучи «низшей стратой общества»,[189] мало что могли предложить в плане политической силы.

Данное распределение социальных групп по двум лагерям является приблизительным, но при этом не ошибочным. Что это говорит о смысле спора? Во-первых, необходимо рассмотреть, почему дискуссия вращалась именно вокруг арминиан. В 1602 году началась вторая арминианская дискуссия*, достигшая пика к 1608 году. Она породила гораздо большую шумиху, нежели первая, хотя и главные действующие лица, и теологические проблемы были теми же. Но изменилась *политическая* ситуация. Принципы, которые в конечном итоге воплотятся в перемирие 1609 года, оказались предметом дискуссии между лагерями сторонников продолжения войны и подписания мира. К первым относились оранжисты, желавшие еще более усилить героя-статхаудера и прославиться, протестанты-прозелиты, по-прежнему надеявшиеся присоединить Южные Нидерланды и искоренить католицизм, ряд купцов, промышлявших каперством, и отдельные группы низов, которых привлекали благоприятные возможности и ксенофобия. Партию мира возглавлял земский адвокат Голландии Ян ван Олденбарневельт, говоривший от лица тех, кто видел возможности гегемонии. Их точку зрения подытожил в дальнейшем Вильям Барэл, писавший духовному наследнику Олденбарневельта Якобу де Витту** 18 декабря 1654 года: «Наилучшей максимой из возможных, желанной для суверенной республики, представляется мне мир в наше время и мир везде, поскольку наша торговля распространяется повсеместно».[190]

30 октября 1608 года, когда политические дебаты о мире находились на «пике напряжения»,[191] Арминий представил свое «Заявление мнений», и обе дискуссии стали неразрывно переплетены. Олденбарневельт получил свое Двенадцатилетнее перемирие, но Гомару еще предстоит его Дордрехтский синод. Стоило ли одно другого? Безусловно, верно то, что, по предположению Боксера, регентский класс оказался способен удерживать кальвинистских фанатиков от «жертвы выгодой в пользу благочестия». Поскольку арминианское отношение к религиозной терпимости было, «в сущности, утилитарным и

ственные регионы; гомаристы — новообращенные по ту сторону границы 1590 года. Арминиане — буржуазия прибрежных городов Голландии, с показательным исключением Амстердама, сравнительно недавно ставшего протестантским в сравнении с той частью Голландии, что лежит по ту сторону дюн» (*Chaunu*, 1966a, 128–129).

[189] *Roorda* (1967, 204). Реньер допускает тайные симпатии к католицизму, несмотря на внешнее «безразличие» (*Renier*, 1944, 49). Э.Х. Коссманн в личной беседе поделился сомнениями насчет того, что в начале XVII века католики могли принадлежать к низшим стратам общества, поскольку католиками по-прежнему оставались многие представители патрициата.

[190] Цит. по: *Franken* (1968, 5).

[191] *Bangs* (1970, 481). Статья Бэнгса представляет собой великолепный анализ взаимоотношений между теологическими, экономическими и политическими явлениями. См. тж. *Geyl* (1961, 13–14).

[192] *Boxer* (1965, 131).

своекорыстным»,[192] тот факт, что нескольких арминиан в свое время обрекли на гибель, не мог не представляться разумной ценой — если не для самого Олденбарневельта, казненного в год Дордрехтского синода (1619), то, по меньшей мере, для других представителей его класса.[193] Этот особенно драматичный сюжет является известным сценарием для мир-системы Модерна. Культурная толерантность имела свои пределы, в особенности внутренние: нельзя было допустить не только распространения подрывной деятельности, но даже возникновения фундаментального раскола среди правящих страт. Декарта и Локка приняли, но Гроций получил пожизненное заключение. На главные работы Спинозы был наложен запрет — Спиноза оказался во внутренней эмиграции, хотя ему было позволено жить и работать, а когда он умер, его похороны сопровождали «шесть экипажей и значительное число состоятельных людей».[194] Не просто либерализм, но либеральность.

В 1618 году один венецианец заметил, что Амстердам был «зеркальным подобием ранних дней Венеции».[195] К 1672 году с тех времен минула целая жизнь. Результатом гегемонии стал «закат», однако этот процесс, вопреки возможным ожиданиям, не стал болезненным, поскольку после достижения пика он еще долго едва ли осознавался. Можно спорить о том, когда начинался закат гегемонии в последующие столетия — в рассматриваемое же время англичане и французы, равно как и сами голландцы, видели в Голландии центральное звено, и по меньшей мере до 1763 года, если не до Французской революции, быть голландским бюргером в материальном плане было крайне удовлетворительно, да и в моральном, несомненно, тоже. Этот закат можно исследовать лишь как подъем — подъем новых элементов в рамках эффективности использования прибыли. Для продолжения начатой дискуссии о пределах гегемонии мы должны перейти от обсуждения данной проблемы в фокусе Голландии в настоящей главе к систематическому рассмотрению того, что параллельно происходило в других местах, и к взаимоотношениям между Соединенными Провинциями, Англией и Францией.

---

[193] С этим мнением согласен Хейли: «[Регенты] склонялись к толерантным взглядам и были бы крайне недовольны оказаться просто светской дланью нетерпимой церкви. Однако их основной заботой было успокоить разногласия в интересах мира и гармонии» (*Haley*, 1972, 104). Соответственно, как указывает Рорда, простым людям статхаудер из Оранского дома на деле был готов предложить ограниченную защиту от «злоупотреблений аристократии», и «действия статхаудера лишь изредка соответствовали ожиданиям нижних слоев среднего класса оранжистов» (*Roorda*, 1967, 189).

Партия «договора» в это время также начинала обнаруживать все меньше достоинств в продолжении перемирия. В 1621 году Филипп III выдвинул три условия его дальнейшего действия: свобода католического богослужения, открытие Шельды, уход голландцев из Ост- и Вест-Индии. Оранжисты и амстердамские купцы вновь обнаружили согласие своих интересов (см. *Geyl*, 1961, 84). Вероятно, всё, что испанцы выиграли за 26 последующих лет войны, были католические Южные Нидерланды, однако голландские экономические интересы одержали победу (см. *Parker*, 1972, 263). Соответственно, в длительной перспективе пуританские проповедники (*predikants*) не получили того, чего они хотели.

[194] *Haley* (1972, 128).

[195] *Visconti* (1958, 301).

Положение дел стало меняться в середине века. Окончились и Тридцатилетняя, и Восьмидесятилетняя войны. Соединенные Провинции наконец стали чувствовать действие экономического сжатия, которое другие государства ощущали уже 30–50 лет. Закончилась Гражданская война в Англии — не полностью, но все же закончилась. Почти завершился столетний период острой внутренней распри во Франции. Битвы между реформаторами и контрреформаторами, между «пуританской» и «протолиберальной» (или «толерантной») версиями христианства были приостановлены в публичной плоскости и в основном стали частным делом. Государства вновь задышали, и главной заботой правителей смогло сделаться государственное управление .[196]

В некотором смысле мы покидаем эпоху, когда разрывы были в первую очередь *внутри*государственными — время после Като-Камбрезийского мира, когда в европейских войнах и политике произошел поворот вовнутрь, и переходим к эпохе, когда разрывы вновь стали межгосударственными. Этот период открывается 1651 годом, когда началась Первая англо-голландская война, и длится до 1763 года, когда завершилась Семилетняя война. В некотором смысле различия между меж- и внутригосударственными разрывами являются произвольными и запутанными, однако они могут оказаться полезны для того, чтобы выделить преобладающее настроение эпохи. Классовые сражения в капиталистическом мире-экономике — это комплексное явление, которое сложным образом предстает во множестве обличий. Представляется, что период, ведущий к доминированию державы-гегемона, благоприятствует внутригосударственной форме классовых баталий, поскольку те, кто добивается классового превосходства на рынке, стремятся к устранению *внутренних* политических преград, оставшихся от предыдущих эпох. Напротив, периоду заката гегемонии представляется соответствующей межгосударственная форма, поскольку те, кто добиваются классового превосходства на рынке, стремятся к устранению *межгосударственных* политических преград, оставшихся от предыдущих эпох.[197]

К середине XVII века стало ясно, что Англия и Франция заинтересованы в силовом устранении определенных голландских преимуществ и замене их собственными. Для прояснения ситуации потребовалось больше столетия, поскольку рыночное превосходство Англии над Францией было не так четко очерчено, а голландцы оставались очень сильны, а также потому, что растущие полупериферийные силы, такие как Пруссия, Швеция и Австрия, стремились извлечь выгоду из отсутствия государства, имеющего военный перевес. К 1763 году превосходство англичан над французами (и голландцами) станет очевидным, и Британия сможет сделать шаг вперед к тому, чтобы стать следующей державой-гегемоном. К тому же 1763 году будет очевиден и определенный успех

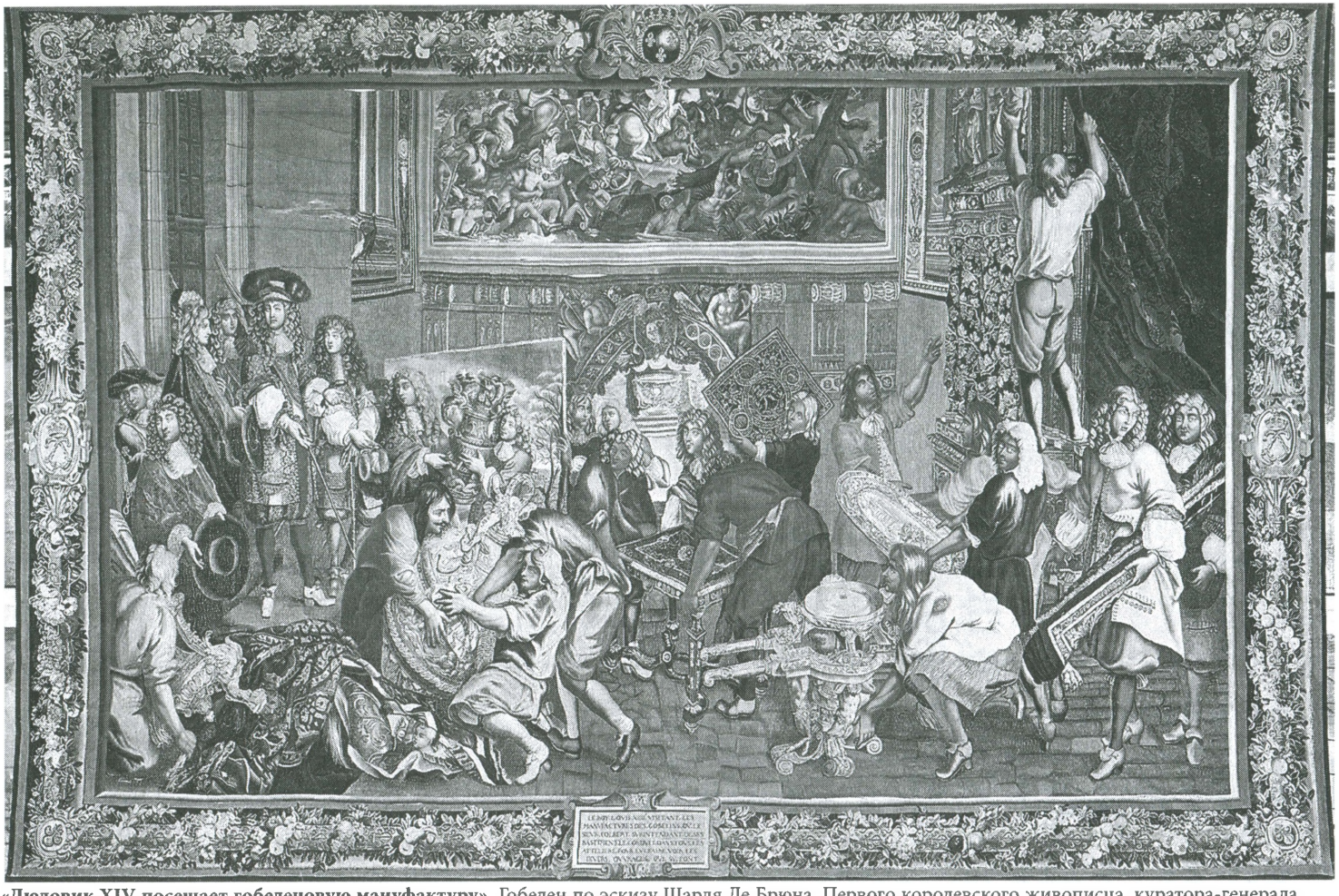
[196] Э. Баркер начинает историю современного государственного управления с 1660 года — «несколько произвольно, но при этом с определенными разумными основаниями» (*Barker*, 1966, 1).

[197] Аналогичные комментарии см. у П. Андерсона: «Если XVII век является зенитом беспорядка и расстройства в отношениях между классом и Государством в рамках общей системы политической власти аристократии, то XVIII век в сравнении с ним предстает золотым вечером ее спокойствия и примирения» (*P. Anderson*, 1974a, 55).

Пруссии в полупериферийной игре, направленной на продвижение в лидеры, что предопределит будущее направление центральноевропейской политики; сжатие и реорганизация периферии будут завершены, и мир-экономика окажется готов к дальнейшему географическому и экономическому расширению.

3

БОРЬБА В ЦЕНТРЕ — ФАЗА I: 1651–1689



«Людовик XIV посещает гобеленовую мануфактуру». Гобелен по эскизу Шарля Ле Брюна, Первого королевского живописца, куратора-генерала художеств и директора гобеленовой мануфактуры. Гобелен изображает визит на предприятие Людовика XIV в 1677 году в сопровождении молодого герцога Энгиенского и принца Конде. За королем находится Кольбер

Когда на кону стоит торговля, это ваш последний рубеж, и вы должны защитить его или погибнуть.

Уильям Питт Старший[1]

Первый настоящий вызов голландской гегемонии был брошен в 1651 году. Почему только тогда? Определенно не потому, что Англия и Франция не хотели сделать этого раньше — скорее потому, что они были слишком заняты своими внутренними проблемами, чтобы осуществить «какое-либо действенное усилие, направленное на разрушение голландской гегемонии».[2]

Вторая половина XVII столетия по всей Европе была лишь периодом остановки роста населения — благодаря как спаду, так и выравниванию демографической кривой, однако к концу столетия последняя вновь стала подниматься вверх. Несомненно, это можно объяснить сочетанием разорений Тридцатилетней войны, экологической напряженности, которая в ряде территорий вела к локальному дефициту ресурсов (а значит, к эпидемиям), и перепроизводства зерновых в рамках мира-экономики *в целом*, что вело к падению *мировых* цен.[4] Однако более подходящим объяснением являются региональные

[1] Цит. по: *Plumb* (1950, 71).

[2] *Geyl* (1961, 161–162). Далее Гейл утверждает: «Временами Ришелье мог испытывать раздражение, однако дело его жизни — привести гугенотов и знать к порядку и объединить силы Франции против Габсбургов <...> — не оставляло ему свободы действий».

[3] См. диаграмму у Шоню с сопоставлением кривых по разным регионам (*Chaunu*, 1966a, 181).

[4] Гарри К. Пентлэнд убедительно доказывает, что причинно-следственная связь в целом направлена от благоприятной экономической конъюнктуры к росту населения, а не наоборот, однако данная зависимость применима к началу векового восходящего тренда. В другие периоды времени «сам по себе рост населения в отсутствии других линий поддержки порождает нищету и безысходность» (*Pentland*, 1972, 179). Например, рассматривая рост населения Англии в XVIII веке, Пентлэнд переворачивает привычную схему анализа, утверждая, что этот процесс «стагнировал в первой половине столетия, потому что продовольствия было слишком много и сельское хозяйство слабело, а затем имел место рост, поскольку, помимо всего прочего, сельскохозяйственные цены были выше, а деревенское население стало более процветающим» (*Pentland*, 1972, 180). См. тж. *van der Woude* (1972), где выдвинута та же гипотеза.

вариации. Довольно удивительно, что в начале XVII века территории с наиболее высокой плотностью населения имели тенденцию располагаться в первую очередь вдоль старого станового хребта Европы (от Фландрии к Северной Италии) и в новых центральных зонах европейского мира-экономики (западная часть Соединенных Провинций, юго-восточная Англия, северо-восток и запад Франции).[5] Основным воздействием Тридцатилетней и Восьмидесятилетней войн, а также эпидемий начала XVII века станет станет выраженное сокращение населения старого «станового хребта», а также северной и центральной Испании, где прежде была зона средней плотности населения.[6]

Напротив, в новых государствах центра имел место небольшой демографический спад. В Соединенных Провинциях ситуация была противоречивой с 1650 по 1680 годы, а далее — в целом стабильной вплоть до того момента, когда около 1750 года не начался восходящий тренд.[7] В северной Франции наблюдалось «отсутствие крупных катастроф».[8] Ситуация в Англии считается «неясной» и «все еще малоизвестной»,[9] однако и там в описываемое время мог иметь место «скромный» рост населения.[10]

Учитывая эту взаимосвязь между центральным положением в рамках мира-экономики и устойчивостью к спаду населения, вполне понятно, что в XVII веке должны были преобладать «оптимистические» демографические взгляды, то есть убежденность, что многолюдность государства ведет к национальной мощи, в то время как редкая населенность некой страны означает, что эта страна «непременно бедная и слабая».[11] Как усилить свою страну в сравнении с другими — вот что занимало государства центра. Именно депрессия 1622 года вдохновила сэра Томаса Мана* на создание классического меркантилистского трактата «Английское богатство от

---

[5] Составленная Шоню карта плотности населения на 1620 год делает это чрезвычайно наглядным (*Chaunu*, 1966a, карта 23).

[6] См. *Reinhard and Armengaud* (1961, 141–142, 144–146), где рассматривается «катастрофа» Германии (включая Чехию) и «медленный, но длительный упадок» Южной Европы в XVII веке. Кроме того, как указывает Шоню, голод усиливал перемещение людей, что вело к увеличению силы эпидемий. «Всякая нехватка продовольствия воссоздавала *mutatis mutandis* [с необходимыми уточнениями – *лат.*] условия завоевания [*Conquista*] Америки» (*Chaunu*, 1966a, 233).

[7] См. *van der Woude and Mentink* (1966, 1189).

[8] *Le Roy Ladurie* (1975a, 360).

[9] *Slicher van Bath* (1965b, 145).

[10] *Reinhard and Armengaud* (1961, 147). Тем не менее, население Лондона неуклонно росло — от 200 тысяч человек в 1600 году до 400 тысяч в 1650 году и 575 тысяч в 1700 году. Население Парижа выросло лишь с 400 тысяч в 1600 году до 500 тысяч в 1700 году. См. *Wrigley* (1967, 44).

[11] Хатчисон (*Hutchison*, 1967, 94) рассматривает сами эти идеи (гл. 5), их происхождение и распространение (гл. 3), отмечая при этом одновременное становление «политической арифметики» — предшественницы современной демографии. Относительно связи между центральным статусом в мире-экономике и плотностью населения необходимо сделать одну общую оговорку. Как отмечает Х.Дж. Хабаккук, «до XIX века наше знание о движениях населения частично проистекает из экономических свидетельств, то есть из поведения заработных плат, цен и рент, для объяснения которых далее привлекается демографическая динамика» (*Habakkuk*, 1965, 148–149).

международной торговли».[12] Разумеется, меркантилизм не был для Англии чем-то новым. У.Д. Грэмп относит его возникновение к 1500 году*,[13] а Джордж Ануин описывает широкое протекционистское движение при Иакове I;[14] однако лишь когда в Англию и Францию пришли тяжелые времена, меркантилистские меры стали приниматься с «большей силой и последовательностью».[15] Тем не менее, как мы уже видели ранее, проект олдермена Кокейна оказался преждевременным шагом. Что же изменилось к середине столетия, что сделало возможным успех меркантилистской политики? Что в действительности обеспечило ее *непременный* успех?[16]

Затравкой в этой острой борьбе в центре мира-экономики стал английский Навигационный акт 1651 года***. Что ускорило его принятие? В 1648 году закончилась Тридцатилетняя война и произошло окончательное признание Испанией независимости Голландии. В 1649 году в Англии была провозглашена республика (Содружество)****, а в 1651 году в Соединенных Провинциях начался период без статхаудера. С точки зрения великой религиозной борьбы в Европе, пределы Реформации и Контрреформации были более или менее достигнуты (за исключением грядущего изгнания французских гугенотов). Так что в Европе установился мир, но в то же время были и войны — точнее, в действительности шла длительная «холодная война», которая время от времени перемежалась эпизодами вооруженной борьбы, оттенявшими «нездоровую торговлю-соперничество» держав центра.[17] Окончание различных войн на континенте не было преимуществом для Англии — совсем напротив, поскольку во время войн английское мореплавание получало выгоды от нейтрального статуса страны, а «наступление мира означало восстановление голландского транзита».[18] Кроме того, после 1632 года в

---

[12] Датировка этого памфлета, который еще долго не распространялся публично, некогда считалась неопределенной, однако теперь вполне устоявшимся представляется мнение, что он был создан в 1620-х годах (см. *Gould*, 1955a, b; *Supple*, 1954).

[13] *Grampp* (1952, 465).

[14] *Unwin* (1904, 172–195). Это движение встретило масштабную оппозицию, подлинные источники которой были предметом оживленных споров, развернувшихся в английском парламенте в 1604 году вокруг дебатов о свободной торговле**. См. *Rabb* (1964 и 1968), *Ashton* (1967 и 1969) и *Croft* (1975).

[15] *Deyon* (1969, 31). Р.У.К. Хинтон напоминает, что, хотя меркантилисты «не верили в Прогресс, <...> их противоположная идея, Вырождение (*Degeneration*), была столь же мощным стимулом к действию» (*Hinton*, 1955, 286).

[16] См. *Deyon* (1969, 43). Дейон утверждает, что «в тяжелые для мира 1650–1750 годы, когда стагнация спроса и цен ожесточала конкуренцию, процветание владельцев мануфактур *предполагало* строгий тарифный протекционизм, а стало быть, и наличие политической мощи, способной противостоять давлению иностранных дипломатов и купцов» (курсив добавлен).

[17] Эта современная терминология используется применительно к голландско-британским отношениям в: *Franken* (1968, 8). Уилсон также подчеркивает нездоровый характер противостояния: «В промежутке между снижающейся опасностью испанской гегемонии и более поздним восхождением французской англичане позволили себе роскошь кратковременной, но жестокой кампании против голландцев» (*Wilson*, 1965, 41).

[18] В работе *H. Taylor* (1972, 260) утверждается, что «совпадение кризиса после 1648 года и Навигационного акта 1651 года представляется слишком близким, чтобы быть чистой случайностью».

связи с небезопасностью военного времени испанские *asentistas* [поставщики — *исп.*] использовали английские корабли для перевозки драгоценных металлов во Фландрию. Это обстоятельство имело то чрезвычайно важное для англичан побочное преимущество, что по условиям соглашения две трети этих металлов выгружалось в Дувре и перед дальнейшей отправкой чеканилось на монетном дворе Лондона. Это обеспечивало государству существенный доход, полезный Карлу I, а позднее Долгому парламенту.[19]

С голландской стороны за окончанием военных действий в 1650 году последовал Выкупной договор* между голландцами и датчанами, позволивший первым собирать зундские пошлины на своих собственных кораблях по фиксированной ежегодной ставке, — это экономило деньги и, «что не менее важно»,[20] время. 7 апреля 1652 года Ян ван Рибек основал первый голландский форпост на мысе Доброй Надежды**, который господствовал над маршрутом в Ост-Индию. В целом процветание голландцев подбиралось к новому пику, а положение Англии, напротив, «было плохим как никогда».[21] В 1649 году зерновые цены достигли своего максимума для XVII века, французы запрещали английский импорт. Издержки Гражданской войны ложились на купцов как дома (через налогообложение), так и за границей (в силу отсутствия дипломатического корпуса и занятости военно-морского флота решением прибрежных задач). Именно в этих обстоятельствах ультрапротестантскому режиму Содружества суждено было сломать исторически сложившуюся модель тесно взаимосвязанных протестантизма и патриотизма.[22] В самом деле, Джордж Лихтхайм видит в Кромвеле человека, который совершил «решительный прорыв» в истории британской заморской экспансии. Он придал светский характер внешней политике точно так же, как «национализировал» пуритан.[23]

Поскольку гегемония в действительности принадлежала голландцам, существовало лишь два возможных пути усиления английской торговли: государственная помощь английским купцам либо государственное сдерживание иностранных купцов. В 1621 году англичане, опасаясь противостоять голландцам путем принятия последней меры, предпочли первый вариант в форме регулируемых компаний.[24] Самим этим компаниям такая политика сослужила хорошую службу, чего не скажешь об английской буржуазии в целом. Вопреки возражениям регулируемых компаний,[25] но в рамках курса «устремленного вперед марша экономических сил в целом»[26] англичане прямо

[19] См. *Kepler* (1972); см. тж. *H. Taylor* (1972, 240) об этой функции поставщика для испанцев во Фландрии — «нового динамичного побега» английской торговли в 1630-х годах.

[20] *Hinton* (1959, 85).

[21] *J.R. Jones* (1966, 21).

[22] См. рассмотрение этого в: *C. Hill* (1969, 42). См. тж. работу Робертса (*Roberts*, 1961, 405), утверждающего, что Кромвель не подчинял английскую торговлю протестантским интересам, а его политика на Балтике, «даже если она испытывала влияние религиозных соображений, [была] верной с точки зрения последовательного секуляризма».

[23] *Lichtheim* (1974, 24).

[24] См. *Hinton* (1959, 63).

[25] См. *Hinton* (1959, 165); см. тж. *M.P. Ashley* (1934, 19–20, 163) об отношении к Навигационному акту различных групп английского купечества.

[26] *Wilson* (1965, 184).

выступили против голландцев, введя в 1651 году ограничения на импорт. Навигационный акт 1651 года постановил, что товары, ввозимые в Англию, должны доставляться либо на английских кораблях, либо на кораблях страны их производства (определяемой как страна, из порта которой товар был впервые отправлен). Данные меры были разработаны именно «с целью нанести урон перевалочной торговле голландцев».[27] В таком случае следует ли выбирать между интерпретацией Адама Смита, полагавшего, что Навигационный акт был результатом деятельности заинтересованной в нем группы купцов, и объяснением Шмоллера, видевшего в нем один из аспектов государственного строительства?[28] Не совсем так, поскольку в данном случае интерес купцов (точнее, некоторых купцов) и производителей (manufacturers) составляло как раз усиление государства в тех направлениях, которые могли помочь им нарастить объемы не только в торговле на Балтике, но также и в трансатлантической торговле. Последняя стояла на пороге расширения и в конечном итоге являлась более важной.[29]

Сложно представить, каким образом в подобных условиях можно было избежать военной проверки сил. Этот вызов голландцам был слишком значим, даже если англичане полагали, что они защищены. В начале 1651 года голландцы отвергли предложенный им договор, и их отношения с англичанами резко ухудшились.[30] Начавшаяся в 1652 году война быстро обернулась против голландцев — главным образом потому, что их флот был в удивительно плохом состоянии.[31] Одна война

---

[27] *Harper* (1939b, 49). Это хорошо иллюстрирует один из побочных результатов нового английского устремления. В 1597 году голландские Генеральные Штаты издали новую хартию в пользу «португальской нации, проживающей в этих [т.е. голландских — *прим. пер.*] землях». Под португальской нацией подразумевались как новообращенные христиане, так и те, кто исповедовал иудаизм. Мотивом для этого было привлечение финансовых ресурсов евреев, которые, как утверждает Сало У. Барон, «принц Оранский и его приближенные чрезвычайно переоценивали» (*Baron*, 1973, 20; 3–73, *passim*). Вскоре после издания Навигационного акта 1651 года Оливер Кромвель начал впоследствии увенчавшиеся успехом переговоры с амстердамскими евреями-сефардами об их возвращении в Англию (откуда евреи были изгнаны Эдуардом I в 1290 году). С точки зрения еврейских предпринимателей, возвращение означало, что «разрушительные намерения Навигационного акта можно обойти». С точки зрения Кромвеля, это был «небольшой элемент в общей политике расширения заморской торговли: разрешение еврейским купцам селиться в Лондоне усиливало Англию в ее торговом соперничестве с Голландией» (*Endelman*, 1979, 15, 17).

[28] См. рассмотрение этих двух интерпретаций в: *Farnell* (1964, 439–440).

[29] *Davis* (1962, 297).

[30] См. *Geyl* (1964, 25–28). Хинтон указывает, что голландцы исходно хотели экономического союза, который был бы для них преимуществом, а англичане предпочитали политический союз, который давал бы преимущество им (*Hinton*, 1959, 88). Можно заметить, как быстро стороны конфликта, исходя из столь противоположных позиций, смогли перейти от обсуждения союза к «развязыванию розни» (*P. de Vries*, 1950, 46). Прообразом политической дискуссии послужило предложение рассмотреть возможность объединения голландской и английской Ост-Индских компаний. Эта инициатива имела место между 1610 и 1618 годами и потерпела провал, поскольку англичане посчитали голландские требования непомерными. См. *Dermigny* (1970b, 453).

[31] Адмирал Мэхэн объяснял это тем, что «голландское правительство, не склонное к расходам, не военное по своему настрою и беспечное благодаря долгим и легким

в некотором смысле вела к другой. Английские «шовинисты» ждали «еще одного шанса против голландцев».[32] И их шанс придет — спустя годы, причем на сей раз в виде вполне открытой агрессии. Если «Кромвель желал защитить себя от голландцев, то Карл II стремился сделаться их повелителем».[33] Однако ко времени Карла II голландский флот, усвоив предшествующий урок, был усовершенствован, а моральный дух англичан не находился на подъеме (в силу управленческой некомпетентности и чумы в Лондоне), так что дело кончилось патовой ситуацией и миром.

Бредское соглашение 1667 года* стало в некотором смысле победой голландцев или, по меньшей мере, компромиссом. Голландцы обменяли Новый Амстердам — эту «дорогостоящую обязанность» — на Суринам и Пуло Рун в Ост-Индии.[34] Англичане согласились с тем, что товары из естественного хинтерланда Соединенных Провинций (такие, как германские ткани, обработанные или штабелированные в Голландии) будут считаться голландскими. Поскольку данные товары составляли бóльшую часть голландского экспорта в Англию, они частично сводили на нет суть Навигационного акта.[35] Тем не менее, Уилсон рассматривает Бреду как «реальный поворотный момент в англо-голландских отношениях», а Картер — как «закат процветания Голландской Республики».[36] Очевидно, за внешней сценой политического процесса должно было скрываться нечто большее, чем простое преимущество англичан, полученное благодаря приобретению Нового Амстердама, которое заколачивало главную контрабандную брешь голландцев в английских меркантилистских ограничениях.[37] Не уживалась ли в действительности ненависть англичан к голландцам с «вынужденным восхищением

победам над деградировавшим военным флотом Испании, позволило своей флотилии превратиться в простое сборище вооруженных торговых кораблей. Во времена Кромвеля положение дел у голландцев было наихудшим» (*Mahan*, 1889, 126). Одно из недавних исследований подтверждает данное суждение, см. *Wilson* (1975a, 65). Уилсон утверждает, что «в ходе длительного периода сухопутных боевых действий Тридцатилетней войны голландский флот оказался в относительном небрежении». Краткое описание самой войны см. в: *Wilson* (1968, 190–94). Уилсон делает вывод, что «война, тем не менее, обнаружила критические слабости голландской экономики, которая сформировалась в условиях экономической эффективности, мира и течения дел своим чередом».

[32] *Wilson* (1968, 194).

[33] *Hinton* (1959, 145). Хейли согласен, что все три англо-голландские войны были «неблагоприятны для голландцев». Он утверждает, что «первые две войны произошли в отведенное им время главным образом потому, что ревнивые английские коммерческие круги были на тот конкретный момент в состоянии оказать на правительство давление с целью атаковать голландские торговые и морские силы и сломить их» (Haley, 1972, 177). Эта точка зрения оказывается достоверной благодаря тому, что «одна из трех главных директив адмирала Блейка в начале первой войны в 1652 году предполагала уничтожение голландского рыболовного флота, который сосредотачивался в шотландских водах» (*Michell*, 1977, 179).

[34] См. *Carter* (1975a, 6).

[35] См. *Wilson* (1941, 6).

[36] *Wilson* (1957a, 154); см. тж. *Farnie* (1962, 206) и *Carter* (1975a, 6).

[37] См. *Wilson* (1968, 213–214); см. тж. *Williamson* (1929, 252).

их экономическими навыками»[38] и «желанием подражать им»?[39] Не происходили ли тогда важные изменения в аграрно-индустриальных компетенциях англичан, благодаря которым неудача в Бреде становилась, по сути, малозначимым обстоятельством, а Голландия превращалась в младшего партнера Англии?

Несомненно, вступление в боевые действия Франции было и следствием этого сдвига, и фактором, который ему способствовал. Французское вторжение в Испанские Нидерланды в 1667 году* было «ключевым событием»,[40] которое ускорило подписание мира в Бреде и быстро привело к созданию Тройственного альянса Англии, Соединенных Провинций и Швеции — на тот момент четвертой значимой военной силой в Европе. Людовику XIV пришлось отступить, а голландцы «в 1668 году вполне обоснованно хвалились, что являются арбитром Европы и подчинили пятерых королей». Неудивительно, что Людовиком овладеет «навязчивая голландская идея».[41]

В 1672 году ситуация вступила в решающую стадию. Голландцы оказались в состоянии одновременной войны с англичанами и французами. Третья (морская) англо-голландская война оказалась сравнительно безрезультатной, хотя англичанам удалось добиться решения вопроса о символическом салюте** их кораблям.[42] Французская сухопутная кампания, напротив, выглядела впечатляюще успешной — по крайней мере, поначалу. В Год бедствий (1672) вся Голландия была почти что завоевана французами; в последовавшей политической смуте Ян де Витт был казнен, а режим Голландской республики уничтожен. Однако близкая победа обернулась поражением, отсюда и другое голландское наименование 1672-го — Год чуда. Голландская система торговли вовсе не перешла в руки французам, и Неймегенский мир 1678 года*** наконец завершил эту длинную и в итоге безрезультатную войну, потребовав от французов отменить тариф 1664 года.[43]

Реальное значение 1672 года состоит в том, что начиная с 1651 года и вплоть до этого момента и англичане, и французы рассматривали голландцев как значимого соперника. Теперь же они повернулись в первую очередь друг к другу, а голландцы внезапно оказались второстепенным фактором, несмотря на то, что экономически они по-прежнему были сильны.[44] В некотором смысле происходившие

---

[38] Подобное отношение Уилсон приписывает сэру Джорджу Даунингу, «архитектору» системы английского меркантилизма (*Wilson*, 1965, 168).

[39] *Hinton* (1959, 106).

[40] *J.R. Jones* (1966, 75).

[41] *Goubert* (1970b, 112), см тж. *J.R. Jones* (1966, 60–61). О голландском стремлении «поддерживать статус-кво» см. *Franken* (1968, 7).

[42] Некоторое время англичане требовали, чтобы другие корабли в море салютовали их судам. Это застарелое требование было принудительно возобновлено в 1672 году. Дж.Р. Джоунс отмечает, что для голландцев, скандинавов, ганзейцев и французов «это означало создание того, что современники называли Соединенной Монархией на море», и рассматривалось в качестве параллели претензиям Людовика XIV на суше (*J.R. Jones*, 1968, 48).

[43] См. *Wilson* (1968, 202–204).

[44] До этого Людовик XIV рассматривал Англию как «слабую профранцузскую страну». Подобное суждение, утверждает Губер, «было допустимо в 1661-м — но, к несчастью,

события являли собой постоянный рост стоимости войны. Несмотря на то, что в период раннего Модерна технология оружейного производства в основе своей останется прежней, роль кавалерии[45] и осадной войны, в которой голландцы были превосходны,[46] непрерывно падала. К концу XVI века демографические последствия разделения старинного Бургундского государства стали приносить свои военные плоды. Несмотря на свое богатство, Соединенные Провинции «были слишком малы, чтобы неопределенное время нести невыносимую ношу военной и морской защиты, которую им приходилось терпеть».[47] Английский флот в конечном итоге превзошел голландский — главным образом потому, что Англия «распоряжалась бóльшим количеством ресурсов».[48] То же самое, конечно, можно сказать и о Франции, но она использовала свои ресурсы на суше, а не на море, и в длительной перспективе получила меньше результатов от своих военных вложений.[49]

Людовик произнес его в 1670-м» (*Goubert*, 1970d, 72–73). Джон Рул также говорит, что Людовик «недооценил мощь Англии». Несомненно, это частично объясняет то, почему Голландская война оказалась «загадкой для французских государственных мужей» (*Rule*, 1969, 59).

Что касается Англии, то смещение перспективы было предметом политического спора. Кристофер Хилл утверждает, что к 1674 году именно «виги и денежные круги рассматривали Францию в качестве главного конкурента Англии в мировой торговле и власти над миром» (*C. Hill*, 1969, 163). Тори испытывали меньшую решимость, и лишь после 1689 года Англия охотно примет роль сверхдержавы. До этого, полагает Дэвид Б. Хорн, появления Англии на континенте в этой роли «обычно были недобровольными, краткосрочными и неэффективными» (*Horn*, 1967, 2). Не уверен, что соглашусь с определением «недобровольный», но два других представляются довольно верными. В качестве основного индикатора Хорн предлагает то обстоятельство, что лишь после 1689 года англичане перестали быть получателями ссуд и сами стали их предоставлять, как это уже делали голландцы и французы.

[45] См. *A.R. Hall* (1957a, 347, 349). Отсутствие существенного изменения в технологии производства оружия не должно вести к отрицанию «значительного усовершенствования организации вооруженных сил и серьезного увеличения их размеров». Об изменениях в структуре армий, в отличие от их вооружения, см. *Finer* (1975, 99–102). Сомнения относительно масштабов случившейся военной революции приводятся в: *Parker* (1976b). Холл относит время упадка кавалерии к периоду после середины XVII века. Коррелли Барнетт указывает, что два изобретения, случившиеся в промежутке между 1660 и 1714 годами, — байонет и кремневый мушкет — способствовали «большей эффективности пехоты» (*Barnett*, 1974, 129).

[46] «Со времен принца Морица Нассауского у голландцев была особенная репутация в сфере осадной войны, позволявшая им применять свои разнообразные таланты в инженерии, минировании и контрминировании, баллистике, взрывном деле и т.д.» (*Wilson*, 1968, 100).

[47] *Wilson* (1970, 125).

[48] *Fischer and Lundgreen* (1975, 541).

[49] По мнению Губера, 1672 год был «великим поворотным моментом в правлении» Людовика XIV в том плане, что франко-голландская война стала знаком победы Лувуа над Кольбером и концом финансовой стабильности. «[К] 1673 году король остался без денег, а здание, сооруженное Кольбером, стало обваливаться со всех сторон» (*Goubert*, 1970a, 140).

Стоит ли говорить, что тех же взглядов придерживался адмирал Альфред Тайер Мэхэн: «Из всех великих держав одна [Франция] имела свободный выбор [между сушей и морем]. В 1672 году она определенно выбрала сухопутную экспансию. Почему же [в

Растущая военная мощь Англии и Франции коренилась в значительных изменениях в экономической базе. Одна из проблем сравнительного рассмотрения эффективности аграрно-индустриального производства в державах центра мира-экономики в промежутке между 1650 и 1750 годами (в особенности сравнение между Англией/Британией и Францией) состоит в том, что почти все исследования выполняются в рамках национальных границ. Подобные работы нередко содержат сравнительные положения, которые довольно часто демонстрируют предрассудки, а не здравые оценки. Ученые всего мира, в том числе и французские, склонны усматривать различия XIX века и в более раннем периоде, тем самым предпринимая старательные усилия по объяснению фактов, которые еще не верифицированы эмпирически. У меня же есть стойкое подозрение, что в рассматриваемый период между Англией и Францией было гораздо меньше различий в реальной аграрно-индустриальной эффективности, нежели мы склонны полагать. Небольшие различия, которые возникли к 1763 году, усилились *политическим образом* и стали значительными столетие спустя, будучи к тому времени институционализированными экономически. Такова первая часть аргументации, которую мы теперь постараемся очертить.

Одна из основных проблем сравнения состоит в том, какие территории надо сравнивать. Франция как политическая единица вчетверо превосходила Англию в размере и населении (и в общем приближении соответствующим образом и в плотности населения). Если добавить к Англии Уэльс и Шотландию, чтобы в качестве единицы сравнения использовать Великобританию, то это даст не более чем удвоение территории и сократит соотношение населения. Если же брать в расчет только пять «Больших откупов»** Франции, которые представляли собой объединенную тарифную зону, мы получаем, грубо говоря, ту же самую территорию, что и Великобритания. Если бы у нас была информация, четко разделенная по этим различным единицам (то есть информация, которой мы не имеем), то мы бы пришли к различным результатам в зависимости от наших предпочтений. Внешние политические рубежи довольно значимы для оценки военных возможностей и определения территорий, в границах которых правительственная политика может влиять на экономическую жизнь, хотя в каждой из трех главных держав мира-экономики центральное правительство было различным образом ограничено природой своей конституционной структуры (не говоря уже о его внутренней политике).

Как утверждает Жакар, в XVII веке сельское хозяйство для Франции было, «безусловно, наиболее важным источником богатства».[50] Не столь ли верно это и

1715 году] Франция была в нищете и истощении, в то время как Англия веселилась и процветала? Почему Англия диктовала условия мира, а Франция их приняла? Причина, очевидно, состояла в различии богатства и кредита». Мэхэн цитирует работу Кэмпбелла «Биографии адмиралов»* об английских успехах в морской войне и торговле: «Таковы были плоды роста нашей морской силы и того способа, каковым она использовалась». «Что еще к этому добавить?» — комментирует Мэхэн [*Mahan*, 1889, 226–227, 229].

[50] *Jacquart* (1973, 172).

для Англии? В период экономической стагнации часть пахотных земель в Англии использовалась в животноводстве, а во Франции — под виноградники: в обоих случаях это был возврат к использованию земли, характерному для периода, предшествовавшего экспансии XVI века. Разный ответ на кризис в этих двух странах был в первую очередь производной от климата и особенностей почв. Губер рисует мрачную картину французского сельского хозяйства XVII века в сравнении с английским, голландским, а также с рядом других частей Европы. Однако Ле Руа Ладюри полагает, что французская сельскохозяйственная экспансия — по меньшей мере, на самом севере страны (там, где наилучшие пахотные земли) — началась как раз одновременно с английской — в 1690 году. Третью позицию занимает Жан Имбер, утверждающий, что производство зерновых во Франции улучшилось лишь незначительно, а виноделие — гораздо сильнее.[51]

С 1650 по 1750 годы вековое падение цен на зерно происходило во всех трех державах центра. Цены на другую сельскохозяйственную продукцию также падали, но не всегда тем же темпом.[52] В каждой из указанных стран ответной мерой становилась попытка сохранения уровня прибыли путем обращения к другим деловым предприятиям или снижения издержек производства через повышение его эффективности и организационную реструктуризацию. Во главе сельскохозяйственной диверсификации долгое время были голландцы. Другим теперь предстояло подражать им.[53] По мнению Джорджа Фасселла, «наиболее важным нововведением» в Англии было внедрение в севооборот репы и клевера, а по словам Джоунса, «ключевые новшества относились к поставкам фуража». Уилсон подчеркивает роль расчистки земли под пашню — «процесс отвоевания новых угодий у старой бесхозной земли и пустошей», тогда как Хабаккук полагает, что дело в меньшей степени было в использовании новых технологий, нежели в «распространении лучших из уже существующих».[54] Какой бы из этих четырех акцентов ни был верен, примечательны два факта. Упомянутые «усовершенствования» сделали принципиально возможными обработку земель, которые ранее были малопродуктивны либо вообще не использовались;[55] кроме того, эти меры были прямым ответом на слабость зернового рынка, поскольку для поддержания уровня доходов сельскохозяйственным производителям приходилось захватывать более крупную долю сравнительно инертного рынка[56] либо переходить к выращиванию другой продукции.

---

[51] См. *Goubert* (1970f, 150), *Le Roy Ladurie* (1975a, 416) и *J. Imbert* (1965, 339).

[52] Данные по Соединенным Провинциям см. в: *van der Woude* (1975, 240), по Англии — *Thirsk* (1970, 149); по Франции — *Goubert* (1970g, 334, 338–340).

[53] «Англичане XVII века очень рано стали убеждаться, что во многих аспектах социальной организации голландцы были далеко впереди. Памфлеты того времени стали указывать на голландские практики, которые следовало имитировать англичанам, либо на голландские преимущества, которые англичане должны были оспорить» (*Clark*, 1960, 14).

[54] См. *Fussell* (1959, 613–614), *E.L. Jones* (1967, 7), *Wilson* (1965, 33) и *Habakkuk* (1965d, 328). «Примерно с 1630 года в Англии <...> соединялись новые кормовые культуры с целью создания смешанных систем хозяйства» (*Jones and Woolf*, 1969, 7).

[55] См. *Chambers* (1960, 21) и *Darby* (1973, 330–344).

[56] См. *E.L. Jones* (1965, 14). Джоунс противоречит собственной точке зрения, утверждая (р. 1), что между 1660 и 1750 годами «технологическая трансформация [ан-

История усовершенствований в английском сельском хозяйстве в этот период является предметом обширного круга литературы — столь внушительного, что это может привести нас к утрате основной линии изложения. Де Ври напоминает, что, по меньшей мере, в XVII веке улучшения в английском сельском хозяйстве «служили главным образом тому, чтобы довести его до стандарта, который уже был достигнут в Нидерландах и Северной Италии, а не для того, чтобы оставить их далеко позади».[57] Рихард Рёль в своем несколько дерзком (с учетом сомнений даже французских ученых[58]) суждении настаивает, что

> «современные [сельскохозяйственные] технологии были внедрены во Франции *в то же время, что и в других местах*. В частности, территория к западу от Парижа в направлении Ла-Манша и к северу в сторону Фландрии структурно и климатически вполне схожа с лучшими сельскохозяйственными регионами Англии. Поэтому не представляется удивительным, что "сельскохозяйственная революция", которая по своему распространению была во Франции столь же неравномерна, как и в Англии, началась в обеих странах в аграрных регионах аналогичного типа и долгое время ими в основном и ограничивалась».[59]

Что мы в действительности знаем о росте производительности? Слихер ван Бат помещает Англию, Нидерланды и Францию *вместе взятые* в свою фазу C (средняя урожайность на одно зерно 6,3–7,0), определяя границы этого периода для Англии и Нидерландов как 1500–1699 годы и для Франции как 1500–1820 годы, то есть начальная дата для трех стран одна и та же, а конечные различаются. Для Англии и Нидерландов он рассчитывает переход к фазе D (средняя урожайность выше 10,0) примерно 1750-м годом (при этом нам неизвестно, что, по его мнению, происходило между 1700 и 1750 годами).[60] Уильям Дж. Хоскинс не усматривает какого-либо заметного роста урожайности в Англии с 1680 года до конца XVIII века, а Ф.Дж. Ригли оценивает рост урожайности на душу населения с 1650 по 1750 годы в 10%. Однако Фишер утверждает,

---

глийского сельского хозяйства была] несоразмерна сравнительно ограниченному расширению соответствующего рынка». Каково точное соотношение этих параметров? И на какой момент времени оно приходится? Когда рынки *расширяются*, зачастую наиболее прибыльным является сохранение существующих технологий, а не издержки по их усовершенствованию.

[57] *J. de Vries* (1975, 82).

[58] Ле Руа Ладюри, к примеру, говорит об английском «росчерке гения» в деле адаптации к крупномасштабному сельскому хозяйству фламандских методов, разработанных для небольших ферм. Он утверждает, что во Франции аналогичные попытки применительно к открытым полям между Соммой и Луарой преуспели лишь частично и довольно поздно (*Le Roy Ladurie*, 1975a, 416–417).

[59] *Roehl* (1976, 262, курсив добавлен). Далее Рёль уточняет: «В севообороте оказались новые культуры, особенно завезенные из Северной Америки — картофель, клевер и другие фуражные культуры, маис, сахарная свёкла. Они одновременно способствовали "очистке" и отдыху почвы и давали возможность не держать землю под паром. Результатом этого также стало выращивание скота в стойлах и последующее расширение запашки». Рёль ссылается на Марка Блока (*Bloch*, 1966, 213–219), однако отмечает, что Морино (*Morineau*, 1968) предлагает противоположную точку зрения.

[60] *Slicher van Bath* (1963b, 16).

что в конце правления Карла II (предположительно около 1680 года) «динамика аграрного производства станет такой высокой, что будет причинять людям все ужасы перепроизводства».[61] Что касается Шотландии, то коммерциализация сельского хозяйства (пахотного и пастбищного) была здесь одной из «самых ярких характеристик XVII века».[62] Во Франции производительность по зерновым оставалась стабильной начиная с XV века до 1840 года — в исчислении соотношения выращенного зерна к посаженному или в урожайности с гектара,[63] но не в отношении продолжительности рабочего дня или рабочего года — оба эти показателя увеличивались.[64]

Если мы станем рассматривать производство зерновых в отдельности, то отчасти упустим главное, поскольку «решающим моментом в усовершенствовании сельского хозяйства было *сочетание* животноводства и земледелия».[65] Именно эту комбинацию обеспечивали новые злаки — табак, люцерна, клевер. Именно это англичане и усвоили от голландцев,[66] и именно это позволило заместить рабочую силу пространством, дав возможность развития высокопродуктивного пастбищного животноводства без кочевничества.[67] В момент, когда это имело место в Англии, во Франции происходил похожий расцвет виноделия. В XVII веке, с некоторым аскетизмом замечает Шоню, Запад стал нагонять Восток «на пути искусственных удовольствий».[68]

Если же рассматривать европейский мир-экономику между 1650 и 1750 годами в целом, то следует отметить впечатляющий сдвиг фокуса производства зерновых от периферии к центру. Подробно мы рассмотрим этот процесс, когда обратимся к происходившему на восточноевропейской периферии; тем не менее, поскольку бóльшая часть южной половины Франции фактически относилась к полупериферии, а то и к периферии, там имело место то же самое.

Возможно, происходившее нужно изображать следующим образом. В тот период Англия и северная Франция в качестве территорий центра нарастили свою долю производства зерновых в общемировом объеме, однако

---

[61] *Hoskins* (1968, 27), *Wrigley* (1967, 57) и *F.J. Fisher* (1961, 4).

[62] *Smout and Fenton* (1965, 78). Однако эти авторы полагают, что инновации (известкование кислых грунтов) и рекламация почв в Шотландии замедлились к 1650 году из-за «слабой власти центрального правительства» и сокращения доходности в связи с низкими ценами (pp. 56–87). Это отличается от процессов, предположительно, происходивших в Англии, и, возможно, может объясняться следующим образом. Несмотря на то, что политически Шотландия находилась внутри державы центра (хотя на деле до 1707 года лишь частично), в экономическом отношении она располагалась на периферии. Поэтому, рассматривая воздействие экономического сжатия, мы можем видеть бóльшую схожесть между производителями Шотландии и Польши, нежели между производителями Шотландии и Англии.

[63] См. *Morineau* (1968, 326). Ле Руа Ладюри уточняет, что это верно «для крестьянского мира» (*Le Roy Ladurie*, 1973, 425).

[64] Однако Ле Руа Ладюри указывает лишь на Лангедок (*Le Roy Ladurie*, 1968, 83).

[65] *Wilson* (1965, 143).

[66] См. *Fussell* (1968, 33–34).

[67] См. *Meuvret* (1968, 17).

[68] *Chaunu* (1966a, 310).

в случае Англии этот новый избыток экспортировался за пределы страны,[69] тогда как в случае северной Франции этот новый прибавочный продукт формировал внутренний «экспорт».[70] Если это рассуждение верно в широком смысле, то объяснение последующих различий между Англией и Францией следует искать не в разном уровне сельскохозяйственной производительности в XVII веке — скорее их, видимо, следует поместить в области разной организации аграрного производства. Для того чтобы предпринять внятное сравнение развития английского и французского землевладения в данный период, мы должны иметь в виду, что и там, и там было два основных способа использования земли, но лишь один из них был общим — а именно выращивание зерновых. Для Англии вторым способом было животноводство, которое более способствовало экономии за счет роста производства, нежели

[69] Значимый рост зернового экспорта начался около 1700 года, а это, утверждает Пауль Байрох, свидетельствует, что данный процесс стартовал, возможно, «четвертью века ранее» (*Bairoch*, 1973, 459). Эта предполагаемая дата совпадает с моментом, когда начались изменения в государственной политике. Акт 1673 года инициировал зерновые премии*, которые не просто позволили экспортировать зерно, но и стимулировали этот процесс (см. *Lipson*, 1956, **II**, lxx–lxxii, 451–452). Вполне возможно, что Соединенные Провинции тоже нарастили свою долю в мировом производстве зерновых, однако, поскольку эта доля изначально была невелика, прирост был также менее заметен. См., например, ответ Фрэнкена на предположение Эрика Л. Джоунса, что рост производства зерновых во время низких цен был «уникальной английской особенностью» (*E.L. Jones*, 1967, 159). Это нонсенс, полагает Янсен: то же самое происходило в Лимбурге и других местах. Фрэнкен приписывает это увеличение производства давлению со стороны городов, утверждая, что это вело к истощению почв (*Franken*, 1971, 165). Однако вопрос состоит в том, почему — особенно с учетом факторов окружающей среды — зерно не завозили издалека. Для объяснения этого следует рассмотреть вопрос о возможностях получения прибыли.

[70] Жакар утверждает, что «основная масса сельскохозяйственной продукции во Франции XVII века предназначалась для внутреннего потребления или перерабатывалась на месте» (*Jacquart*, 1974, 181–182). Хотя прочая сельскохозяйственная продукция экспортировалась, «торговля зерном обычно запрещалась, если урожай не был хорош». Например, как раз в тот момент, когда Англия инициировала зерновые премии, *Conseil du Roi* [Королевский совет — *фр.*] выпускал строгие эдикты против экспорта — более 30 подобных документов в промежутке 1675–1683 годов. Эбботт Ашер в своем классическом трактате о зерновой торговле оценил проблему иначе (*Usher*, 1973, 273, 294). Единственный оригинальный элемент в отношении Кольбера к зерновой торговле» Ашер усматривал в том, что это была свободная торговля, утверждая, что Кольбер руководствовался принципом «запрета во время нехватки зерна и разрешения в случае его избытка». Ашер указывает, что при этом предполагалось *два muna* свободы — экспортной торговли и торговли между провинциями. Что же произошло с относительной свободой последней разновидности торговли между 1675 и 1683 годами?

Возможно, в связи с этим следует отметить, что в регионах Басс-Прованс и Лангедок производство зерновых продолжало увеличиваться примерно до 1680 года. Это объясняется по-разному, однако следствием этого процесса стало то, что он восполнил некоторые слабости других регионов. Шоню объясняет эту «аномалию» продолжительного роста в нецентральной зоне «значительным объемом прежде необрабатываемой земли (*l'incult*)», что предполагало «некий предел, который был достигнут позднее», чем в других местах (*Chaunu*, 1963b, 354). См. тж. *Goubert* (1970c, 49–54). Ле Руа Ладюри ви-

виноделие — вторая главная аграрная отрасль Франции; кроме того, животноводство требовало больше капитальных инвестиций. Этот простой экономический факт может дать больше объяснений различиям в развитии землевладения, нежели законы, традиции, нравы, предшествующая классовая структура или гипотетическое наследие «феодальных» прав.

Как в Англии, так и во Франции сложное переплетение юриспруденции, политики и колебаний рынка создали подлинный калейдоскоп земельных отношений. Прорваться сквозь эту сложность можно, представив себе четыре основные группы с точки зрения главных источников их дохода: 1) лендлорды — обычно крупные, зачастую знатные землевладельцы, которые получали рентные платежи от производителей; 2) преуспевающие производители, довольно часто «арендаторы», контролировавшие средние или крупные участки и использовавшие наемных работников; 3) неуспешные производители, располагавшие небольшими наделами, причем порой это были собственники, которым часто требовалось работать по найму, чтобы поддерживать уровень своих доходов; 4) безземельные (или почти безземельные) труженики. Как правило, столь удивительно двусмысленные термины, как «крестьяне» или «мелкие землевладельцы» (yeomen farmers) характеризуют главным образом вторую из этих групп, а зачастую в равной степени и третью. Когда пишут об исчезновении йоменов в Англии и сохранении крестьянства во Франции, похоже, что речь идет именно о третьей группе. Что же на самом деле произошло в XVII веке в Англии и Франции? Мы увидим картину наиболее ясно, если будем рассматривать эти группы одну за другой.

Одним из базовых феноменов современного капитализма является медленный, но последовательный рост крупного землевладения (estate), то есть процесс нарастающей концентрации земель.[71] Основным ее способом были огораживания общинных земель, масштаб которых в рассматриваемый период, похоже, не уменьшился.[72] Для появления таких имений в эти сложные времена требовались деньги и усилия. Путем продажи земля все больше и больше переходила в руки незнатных владельцев, хотя во Франции данный факт менее заметен в ретроспективе,

---

дит в Лангедоке в промежутке 1655–1675 годов лишь «кратковременный подъем» (*Le Roy Ladurie*, 1974a, 149).

Конечно в Англии тоже присутствовал «внутренний» экспорт, особенно в Лондоне (см. *Everitt*, 1968, 64). Суть в том, чтобы рассматривать лимиты внешней торговли в качестве меры производственных процессов — данную точку зрения акцентировал Морино (*Morineau*, 1965, 171). Соединенные Провинции, Англия и Франция следуют друг за другом по размеру территории. Чем меньше страна, тем большая перед ней маячит доля экспортной торговли в общем торговом обороте при прочих равных условиях.

[71] См. *F.M.L. Thompson* (1966, 512); *Goubert* (1970e, 102); *Le Roy Ladurie* (1975b, 1412) и *Jacquart* (1968, 66). Последний подчеркивает, что рост крупного землевладения во Франции происходил только к северу от долины Луары.

[72] Хоскинс говорит о «значительном числе прежде невиданных огораживаний» на неогороженных землях в Англии XVII века (*Hoskins*, 1955, 220). См. тж. *Darby* (1973, 321). Во Франции XVII века крупными равнинными участками земли сеньоры завладели раньше других, так что для крестьянина иметь даже небольшое пастбище было «благословением небес» (*Goubert*, 1970e, 102). Блок сообщает о широкомасштабных огораживаниях на западе и в центре Франции к 1700 году (см. *Bloch*, 1930, 332).

поскольку то же самое богатство, которое позволяло недворянину приобретать землю, давало ему и возможность покупать благородный титул (с существенно большей легкостью, чем в Англии). Отчасти эти крупные поместья собирались воедино по кусочкам, так что в определенной степени концентрация собственности была просто «бухгалтерской централизацией».[73] Подобная концентрация по определению влекла за собой нарастание абсентеизма. Кроме того, в условиях падения цен на зерно прямая обработка земли давала все меньше преимуществ, зато делала более перспективной сдачу земли в аренду.[74] Постепенный подъем государства делал жизнь в столице привлекательной для все большего числа лендлордов. Независимо от того, оставались они придворными или включались в финансовый рынок, их физическое расстояние от сельскохозяйственного производства увеличивалось.[75]

Для сохранения крупных поместий их владельцам приходилось быть умелыми предпринимателями; для подобных талантов было достаточно места, однако семьи стремились обезопасить себя от бездарности отдельных наследников. В Англии это привело к становлению новой юридической формы — семейной собственности, переходящей по наследству по мужской линии (*strict settlement*).[76] Это была полезная мера, равно как и снижавшиеся процентные ставки, благодаря которым обременение долгами становилось более допустимым; стимулом для подобных ставок выступали ограничения на заемные операции, которые подразумевались данным институтом наследования.[77] Во Франции же семейное наследование столкнулось с дополнительной проблемой принудительного раздробления имений на части. Однако владельцы французских поместий были столь же проницательны, как англичане, и использовали законную лазейку — так называемые ренты с капитала (*rentes constituées*), которые могли передаваться наследникам, в отличие от поземельных рент (*rentes foncières*)*. Французские землевладельцы стремились к установлению низких процентных ставок, а не к окупаемости капиталовложений ради создания непрерывной линии наследования собственности. Ключевой формой подобных инвестиций оказывалась продажа должностей.[78]

---

[73] *Meuvret* (1960, 346). Виктор-Люсьен Тапье утверждает, что многие крупные сеньоры во Франции XVII века «стали чем-то вроде капиталистических предпринимателей, причем их владения были распылены и управлялись дворецкими или арендаторами» (*Tapié*, 1959, 138).

[74] *Roebuck* (1973, 15). Однако Слихер ван Бат утверждает, что после 1665 года «положение дел для арендодателей ухудшилось» (*Slicher van Bath*, 1977, 107).

[75] Данное явление широко отмечается применительно к Франции, однако то же самое происходило и в Англии. См. *Roebuck* (1973, 11–14). К этому расстоянию добавлялось привлечение на условиях полной занятости лиц, которые специализировались на управлении поместьями. См. *Mingay* (1963, 59).

[76] Данная форма наследования представляла собой механизм, при помощи которого наследник поместья был ограничен законом в своих возможностях продать или заложить имение (см. *Habakkuk*, 1967b, 2–3). Эта система заставляла семьи нуворишей рассматривать мелких джентри, фригольдеров и копигольдеров в качестве продавцов земли, что, в свою очередь, способствовало дальнейшей концентрации собственности. См. *Mingay* (1968, 28).

[77] См. *Mingay* (1960, 375–376) и *Habakkuk* (1960, 160–165).

[78] Эта очень сложная система полностью обрисована в: *Giesey* (1975). Губер утверждает, что процентные ставки по рентам с капитала во Франции XVII века в

Две следующие группы — преуспевшие и неуспешные производители — часто смешиваются, поскольку, несмотря на то, что некоторые из них были землевладельцами, большинство их все же являлись арендаторами, а также потому, что некоторые арендаторы де-юре были собственниками де-факто.[79] Данное различение собственников и арендаторов не соотносилось с разделением на группы по экономической мощи, социальному положению или политическому облику. Возможно, во время экономических трудностей на уровне ниже крупных землевладельцев лучше было оставаться арендатором, чем быть собственником.[80] Эволюцию двух этих групп следует рассматривать как двухступенчатый процесс. В первой половине XVII века ренты по-прежнему росли, стали расти и налоги, однако доходы от производства пшеницы уже снижались,[81] и это начало давить на мелких производителей зерновых. Многим независимым производителям пришлось утратить соответствующий статус[82] — именно так поступили *мелкие* фермеры-арендаторы.[83]

действительности не были низкими в сравнении с другими источниками дохода (см. *Goubert* 1970g, 343–345).

[79] Мёвре утверждает, что цензива* — вечная аренда наподобие английского копигольда — представляла собой «фактическую собственность», владелец которой мог «сдавать ее в аренду, менять, продавать или использовать совместно» все то время, что он выплачивал сеньориальные повинности, «представлявшие собой разновидность системы налогообложения» (*Meuvret*, 1960, 343). Однако Губер указывает, что на практике привилегия собственности могла быть весьма дорогостоящим налогом (*Goubert*, 1970f, 130). Эрик Керридж делает аналогичное утверждение применительно к Англии, утверждая, что копигольдер с пожизненной арендой являлся фригольдером в отношении земли, хотя и не по закону (*Kerridge*, 1969, 60).

[80] Например, Дж. Мингей вполне корректно указывает, что термин «йомен» в том значении, в котором его употреблял Адам Смит, был «просто знаком социального статуса». Йомен был фермером со статусом выше, чем домовладелец (*husbandman*), но ниже, чем более крупные фермеры — однако вне зависимости от этого он мог быть фригольдером, копигольдером или лизгольдером (*Mingay*, 1963, 88). Слихер ван Бат соглашается с тем, что в целом статус собственника не всегда означал наличие преимуществ. «Плотно населенные и более плодородные регионы обрабатывались арендаторами — более преуспевающими, чем бедной руки землевладельцы, ведущие хозяйство на собственной земле. Владение землей и богатство далеко не всегда шли рука об руку» (*Slicher van Bath*, 1977, 109).

[81] Для Франции переломным моментом представляется 1660 год. Он знаменует конец периода «бездействия и катастроф», по названию главы о сельской Франции между 1550 и 1660 годами в книге Жакара (*Jacquart*, 1975). Однако Ле Руа Ладюри утверждает, что земельная рента увеличивалась до 1675 года (*Le Roy Ladurie*, 1973, 430).

[82] «Во второй половине [XVII] столетия «независимому мелкому фермеру (*laboreur*), гордившемуся своими счетными книгами, несколькими акрами земли (*arpents*) и относительной независимостью, пришлось признать свое поражение. В регионах с крупномасштабным производством (*grande culture*) его земля присоединяется к тем или иным большим арендуемым участкам (*quelque grosse ferme*), и он счастлив, если ему удается отстоять свое прежнее владение на правах аренды» (*Jacquart*, 1975, 264). См. тж. *Dupâquier* (1973, 171) и *C.E. Labrousse* (1970, 703).

[83] Лоуренс Стоун пишет, что «*в начале* XVII века ренты росли быстрее цен, так что доходы возвращались к лендлорду, утекая от арендатора» (*Stone*, 1972, 68, курсив

Следствием этого, как представляется, был рост преуспевающих фермеров-земледельцев в последующий период стагнации, происходивший за счет неуспешных производителей — как владельцев земли, так и ее арендаторов. Это в равной степени имело место и в Англии,[84] и в северной Франции.[85] В некоторой степени это утверждение также справедливо применительно к животноводству — другому основному виду деятельности в сельском хозяйстве этих территорий.[86] Одной из причин подъема преуспевающих фермеров-арендаторов был как раз рост крупного поместья — капиталистической структуры, которая нуждалась в посредниках для наблюдения за прямыми производителями — работниками или субарендаторами.[87] Найти таких посредников было непросто, и период низких цен на хлеб позволял им получать от землевладельцев более выгодные условия. Эти условия могли заключаться

добавлен). Должно быть, прежде всего имелся в виду мелкий арендатор, поскольку, как утверждает Стоун, данное обстоятельство вкупе с концентрацией земель объясняет трехчастную модель последующего периода: землевладелец, *преуспевающий фермер-арендатор* и безземельный работник. Хабаккук склоняется к подтверждению этой гипотезы, выдвигая общий объем капитала в качестве ключевого фактора при объяснении упадка мелкого крестьянства. Богатый землевладелец в этот напряженный период «располагал резервом [капитала], который мог использовать всякий раз, когда поблизости выставлялись для продажи крестьянские товары» (*Habakkuk*, 1965a, 660). Хабаккук четко отличает этот период (1660–1740) от предыдущего (1540–1640), когда для продажи чаще предназначались *крупные* поместья. Об упадке мелкого землевладения в Англии XVII века в связи с нехваткой капитала см. *Thirsk* (1970, 157).

Жакар говорит о банкротствах мелких производителей после 1675 года — как независимых (laboreur), так и арендаторов (*fermier*) (*Jacquart*, 1975, 210–211). В другой работе он указывает на то, что в северной Франции между 1680 и 1700 годами исчезло «значительное количество семейств торговцев-земледельцев (*laboreurs*)» (*Jacquart*, 1978c, 467).

[84] Мингей говорит о «выраженном» упадке малых собственников-земледельцев в промежутке 1660–1750 годов (*Mingay*, 1968, 14–15, 31). В тот же самый период, утверждает Мингей, группа «состоятельных помещиков» (*squires*) — средняя между мелкими собственниками, ведущими хозяйство на своей земле, и владельцами крупных поместий — «сохранила свои позиции» (*Mingay*, 1960, 375). В.М. Лавровский относит упадок мелкого землевладения и крестьянского фермерского хозяйства к «XVIII веку вслед за буржуазной революцией XVII столетия» (*Lavrovsky*, 1960, 354).

[85] Ж. Дюпакье описывает эту влиятельную на уровне деревни социальную группу как состоящую из крупных фермеров-арендаторов (*gros fermiers*), средней руки «владельцев» (*grand laboreurs*), а также торговцев (*Dupâquier*, 1973, 169). Герцог Сюлли в начале XVII века любил повторять, что «хлебопашество (*labourage*) и пастбищное животноводство — это две груди, которыми кормится Франция, ее подлинные рудники и сокровища Перу» (цит. по: *Larraz*, 1943, 201). Мёвре указывает на особенно острое воздействие продовольственных кризисов «в богатой сельской местности, где велось производство зерновых», после 1660 года (*Meuvret*, 1971b, 122).

[86] Фасселл описывает феномен «сдачи в аренду животноводческих хозяйств» в различных частях Западной Европы в XVII веке (*Fussell*, 1968, 31–32).

[87] См. у Мёвре об экономической роли откупщиков (*fermiers généraux*) и арендодателей (*amodiateurs*) (*Meuvret*, 1960, 347–349). Ле Руа Ладюри сообщает, что 39% земельных владений во всей Франции (но сколько из них — в северной Франции?) были «крупными поместьями» (*Le Roy Ladurie*, 1975a, 421).

в сокращении реальных рент[88] или в той доле расходов на усовершенствование хозяйства, которую землевладелец брал на себя.[89]

В целом признается, что в период 1660–1750 годов в Англии исчезали мелкие крестьяне, или фермеры-йомены, или «землевладельцы-земледельцы» — но выживали ли они во Франции? Мы предположили, что в очень общем приближении на этот вопрос можно дать отрицательный ответ применительно к северной Франции (или, по меньшей мере, столь же отрицательный, как в случае с Англией), но утвердительный в применении к южной Франции. Какого рода свидетельства существуют здесь относительно Франции? Начнем с терминологии. Ближайший к понятию «мелкий (*yeoman*) фермер» французский термин — это слово *laboureur* [земледелец], которое подразумевало не владение землей, а характер имеющихся производственных фондов. Понятие *laboureur*, утверждает Губер, «обыкновенно обозначает некое лицо [в восточной и северной Франции], которое обладает сельскохозяйственным приспособлением, известным как великий северный струг (*charrue*)».[90] Теперь нам следует установить отличие этого струга от сохи (*araire*), хотя на английский язык оба термина часто переводятся одним и тем же словом «плуг» (*plow*).[91] Во Франции XVII–XVIII веков струг был куда более тяжелым инструментом, чем соха, вспахивавшим землю глубже и содержавшим больше железа. Соответственно, для него требовались лошади или быки. Поэтому *laboureur* был «довольно крупным землевладельцем или лицом, контролирующим землю (*exploitant*), который выделялся из среды сельского населения весомостью своих технических средств и количеством людей, которых он мог нанимать».

Двигаясь дальше на юг, где присутствовала только соха, вместо *laboureurs* мы обнаруживаем более мелких и более слабых фермеров, именуемых терминами *métayers* [испольщики — *фр.*] и *closiers*.[92] Согласно вычислениям Дюпакье и Жакара, между 1685 и 1789 годами в «старой Франции» (*Vexin français*), т.е. в северной части страны, доля населения, принадлежавшего к

---

[88] В тяжелые времена лендлорды списывали задолженности по рентам и всякий раз брали на себя земельные налоги, чтобы конкурировать за подходящих арендаторов. См. *E.L. Jones* (1965, 8).

[89] См. *Mingay* (1960, 378–379). Инициатива в этих усовершенствованиях, похоже, по большей части исходила от фермеров-арендаторов и в целом от групп лиц, контролировавших наделы среднего размера (см. *Habakkuk*, 1965d, 327, 330 и *Mingay*, 1963, 166), однако в этот период на землевладельцев можно было воздействовать, с тем чтобы они несли бóльшую часть расходов на это.

[90] *Goubert* (1973, 135).

[91] См., например, работу *Quencez* (1968, 118–119) — технический словарь, где французское *charrue* переводится как «плуг», а *araire* как «плуг для неглубокой вспашки, примитивный плуг». Та же сложность возникает применительно к немецкому (*Pflug* и *Hakenpflug*), итальянскому (*aratro u aratro di legno*), испанскому (*arado de labor profunda u arado, или arado primitivo*) и голландскому (*ploeg u primitive ploeg*) языкам.

Андре Одрикур и Мариэль Деламар (*Haudricourt and Delamarre*, 1955) посвящают, по сути дела, целую книгу в 506 страниц объяснению не просто различий между *charrue* и *araire* в масштабах всего мира с древних времен до сегодняшнего дня, но и невероятным ошибкам, которые случались из-за смешения этих терминов и неправильных переводов.

[92] *Goubert* (1973, 135–136).

мелким земледельцам (*petits laboureurs*), именуемым терминами *haricotiers* или *sossons*, сократилась с 9,9 до 3,0%, в то время как доля более богатых фермеров-земледельцев (*fermiers laboureurs*) снизилась с 10,2% всего до 8,4%. По контрасту с этой картиной мы обнаруживаем, что в винодельческой части страны «отчетливо доминирует мелкая крестьянская собственность», будучи в 5 раз более значимой, чем на северных территориях крупномасштабного земледелия.[93] По мере вытеснения указанных мелких земледельцев (*petits laboureurs*), многие из них пересекали границу между социальными группами, становясь прежде всего разнорабочими (*manoeuvriers,* laborers). Я согласен с предположением Ле Руа Ладюри, что не следует переоценивать это разграничение даже применительно к XVI веку, поскольку действительная граница проходила между двумя этими группами вместе взятыми и так называемыми *gros fermier* — крупными фермерами-арендаторами,[94] что также верно и для Англии. Однако суть происходившего в период стагнации состояла в том, что если в Англии эта граница стала в социальном и политическом отношении более отчетливой, то в областях сельской Франции, где не выращивались зерновые, положение дел было менее определенным.

Как в таком случае быть с аргументом, выдвинутым Бреннером (и не только им)? Он заключается в том, что именно «преобладание мелкой собственности во Франции периода раннего Модерна обусловило долгосрочное отставание страны в сельскохозяйственной сфере». Мы уже выразили скептическое отношение к обоим предположениям — и к преобладанию мелкой собственности (это не так в случае с северной Францией), и к сельскохозяйственной отсталости Франции по сравнению с Англией (сомнительно, что это верно для северной Франции — по меньшей мере, до 1750 года). Бреннер утверждает, что в Англии аграрный прогресс был возможен, поскольку «лендлорды могли поглощать, консолидировать и огораживать земли для создания крупных хозяйств с целью сдачи их капиталистическим арендаторам, которые могли позволить себе делать капиталистические инвестиции».[95]

---

[93] *Dupâquier and Jacquart* (1973, 171). Авторы определяют *haricotier* как «земледельца (*laboureurs*) с плохой лошадью», а *sosson* как «крестьянина, владеющего только одной упряжкой». По оценке Жакара, три четверти французских крестьян не обладали достаточным имуществом для обеспечения своих базовых потребностей. Жакар рассматривает стабильный рост среднего землевладения в XVII веке, понимая под таковым надел как минимум в 30 гектаров (*Jacquart*, 1966, 22–26). Жорж Дюран определяет южную винодельню с ее владельцем-крестьянином как «место чрезвычайно тяжелого труда и бескрайней бедности» — ее доходы уходили в первую очередь торговцам и (через налогообложение) государственной бюрократии (*G. Durand*, 1977, 133).

[94] *Le Roy Ladurie* (1975b, 1405–1407).

[95] *Brenner* (1976, 43, 63). Патрисия Крут и Дэвид Паркер относятся к этому скептически: «Крестьянин отнюдь не был препятствием для экономического развития — он действительно мог обеспечивать импульс для этого развития путем внедрения новых практик хозяйствования или новых культур, или же просто демонстрируя землевладельцу те доходы, которые может принести хорошее ведение хозяйства» (*Croot and Parker*, 1978, 39).

Описывая изменения в северной Франции, происходившие по мере того, как старые семейства начинали продавать свои земли во «втором» XVI веке, Жакар утверждает:[96]

> «Суть происходившего <...> — в поведении новых лиц, контролирующих землю (*maîtres du sol*). Люди буржуазного происхождения, они сохранили нечто от устойчивых представлений о доходах (profit mentality) своих предков-торговцев, даже если стремились забыть о последних. Они понимали ключевую роль запасов в сеньориальном доходе, преимущество сконцентрированного крупного поместья, понимали, что леса и луга обеспечивают больше доходов. Это была целая сознательная политика, на протяжении поколений предполагавшая приобретение земель, их улучшение и развитие (*mise en valeur*)».

Одно за другим, замечает Жакар, развивались также рыночно ориентированные фермы среднего размера площадью 15–50 гектаров, представлявшие собой типичные *скромные буржуазные инвестиции* — «жизнеспособные и доходные». Этот рост как крупных, так и средних владений включал «медленный процесс экспроприации крестьян», результатом которого стала «настоящая пауперизация сельских масс». Есть ли тут реальное отличие от Англии?

Бреннер признает, что французские землевладельцы могли желать «консолидации владений» в той же степени, что и их английские сотоварищи (*confrères*). Но они, увы, не могли этого сделать! — поскольку, в отличие от Англии, где законы позволяли лендлордам «повышать ренты или комиссии до запретительного уровня и тем самым сгонять с земли мелких арендаторов», во Франции землевладельцы взамен этого могли лишь «*скупать* бесчисленные мелкие крестьянские хозяйства, дабы укрупнить их в консолидированное поместье». И это, подводит нас к заключению Бреннер, было непосильной ношей для французских протокапиталистических землевладельцев. Однако мы видели, что скупка земель, будучи далеко не невероятным делом, была приоритетным способом концентрации *и в Англии, и во Франции*. В самом деле, Бреннер исходно предполагает этот момент, утверждая, что во Франции «в период раннего Модерна многие крестьяне действительно глубоко погрязли в долгах и в конечном итоге были вынуждены продавать свои наделы».[97] Но если так, то кто покупал эти земли? Бреннер делает вывод, что во Франции в конце XVII века «около 40–50% обрабатываемой земли все еще находилось в руках крестьян», однако в Англии этот показатель составлял «не более 25–30%». А какова была эта доля в *северной* Франции?

---

[96] *Jacquart* (1973, 273–275).

[97] *Brenner* (1975, 72–73). В любом случае среди английских лендлордов было широко распространено увеличение объемов земли путем ее скупки. См. *T.S. Ashton* (1969, 36). Крут и Паркер утверждают: «Подобно тому, как профессор Бреннер обходит молчанием вклад английского крестьянина и минимизирует его независимость, он преувеличивает независимость французского крестьянства» (*Croot and Parker*, 1978, 41). Жакар также полагает, что способы приобретения земли у крестьян крупными землевладельцами на континенте были теми же, что и в Англии (см. *Jacquart*, 1978b, 409).

Наша точка зрения заключается в том, что между 1650 и 1750 годами различия между Англией и северной Францией в сферах земельной организации и сельскохозяйственной производительности были сравнительно небольшими. Если рассматривать эти две территории с точки зрения капиталистического мира-экономики в целом, то между ними оказывается более сходства, чем различия. *Оба региона* в годы стагнации наращивали долю в мировом производстве зерновых с целью сохранения общего уровня доходов — и это позволило им частично перехватить у Голландии ее чистое превосходство. Что касается индустриального сектора, то XVII век был временем, когда защита промышленности была главной заботой как английского, так и французского государства. Эфраим Липсон полагает, что эта защита стала одним из трех столпов английского меркантилизма, наряду с Навигационным актом и Хлебными законами; «эпоха меркантилизма», утверждает Липсон, была «эпохой промышленного предприятия (enterprise)».[98] Во Франции же одним из главных феноменов своего времени становится «кольбертизм», хотя в действительности протекционистское вмешательство приобретает значимость уже в дни Ришелье.[99]

Усилия по защите промышленности (или, возможно, лучше сказать, по ее стимулированию) были сосредоточены прежде всего в текстильной отрасли. Рассмотрим сначала результаты этого, а затем — объяснения. Французские текстильные производства размещались главным образом на крайнем севере страны и в меньшей степени в ее центральной части.[100] «Примечательный рост» в XVII веке получила традиционная шелковая промышленность Лиона.[101] Хуже обстояло дело с шерстью и хлопком — их производство достигло пика между 1625 и 1635 годами, затем пошло на спад, далее «стагнировало на низком уровне»[102] при Кольбере (и несмотря на его усилия?) и в конечном итоге восстановилось и частично вернулось в прежнее состояние между 1680 и 1705 годами[103] (благодаря Кольберу?). Последний процесс предполагал существенную «рурализацию» промышленности.[104] Кризис текстильной отрасли в Англии

---

[98] *Lipson* (1956, **II**, lxxxix, cxliv). Насколько важна была патентная защита — центральная мера английского правительства XVII века? Мнения по этому поводу разделяются. Норт рассматривает ее в качестве шага «первоочередной важности» (*North*, 1973, 228), стимулирующего новшества. По мнению Кларка, «сомнительно», чтобы это стимулировало значительное число изобретателей, поскольку слишком многие из них были обманом лишены доходов от своих изобретений (*Clark*, 1936, 152).

[99] Вслед за коллапсом текстильного производства в Реймсе, Амьене и Бове тариф от 15 июня 1644 года удвоил таможенную пошлину на голландский и английский текстиль. См. *Deyon* (1969, 77; 1966, 54).

[100] См. карту с данными за 1703–1705 годы в: *Léon* (1970b, 236).

[101] *Deyon* (1966, 60).

[102] *Goubert* (1970g, 336).

[103] «[Мы] без колебаний утверждаем, что прогресс, временно достигнутый [в производстве *sayetterie* (ткани из расчесанной шерсти с применением других волокон — *прим. пер.*) в Амьене] между 1680 и 1705 годами, подготовил возможность для действительно начавшегося стремительного роста первой половины XVIII века» (*Deyon*, 1963, 955).

[104] См. *Deyon* (1963, 952) и *Kellenbenz* (1965, 389–390).

начался раньше и, возможно, был и преодолен раньше вместе с подъемом производства «новых» тканей. С 1660 по 1700 годы производство тканей росло, экспорт удвоился, увеличивалось и разнообразие текстильной продукции.[105] Здесь текстильное производство также перемещалось в сельскую местность — возможно, «более преждевременно и более радикально, чем в континентальной Европе».[106]

Голландская текстильная индустрия в сравнении с Англией и даже с Францией во второй половине XVII века оказывалась в неприятном положении. С одной стороны, она размещалась в городах, где стоимость труда была высокой.[107] Поэтому у голландцев шел спад во всех видах камвольных тканей, за исключением камлотовых (*greinen*), но в шерстяных тканях спад не наблюдался. В камлотовых и шерстяных тканях голландцы сохраняли преимущество привилегированного доступа к необходимому сырью — испанской шерсти и турецким материалам, необходимым для производства камлота, а также преимущество в технологиях окраски при помощи индиго и кошенили. Эти камлотовые и шерстяные ткани представляли собой товары высокой ценности и высокого качества, однако они *не* были предназначены для массового рынка. Такое смещение рыночной ориентации было следствием «в целом более слабого положения»,[108] в связи с чем вполне объяснимо, что во второй половине XVII века голландский капитал перемещался из инвестиций в промышленность в сферу торговых предприятий, где норма прибыли была выше.[109]

В других отраслях промышленности событий было меньше. Однако английское кораблестроение действительно росло «более или менее стремительно, возможно, около 1670 года»[110] — в тот самый момент, когда соответствующая отрасль в Голландии сокращалась в объеме.[111] Что действительно необходимо держать в центре внимания, так это то, что спрос в мире-экономике в целом был вялым. Даже в тех секторах, где спрос расширялся, он не мог идти нога в ногу с аграрно-индустриальными усилиями Соединенных Провинций и их меркантилистских соперников — Англии и Франции. Основной заботой последних было *найти* применение своим работникам, а для Соединенных

---

[105] См. *Wilson* (1965, 185).

[106] Это точка зрения Дейона (*Deyon*, 1972, 31), однако обзор Херманна Келленбенца (*Kellenbenz*, 1965) явно этого не демонстрирует.

[107] См. *Glamann* (1974, 506) и *Wilson* (1977a, 26–27).

[108] *Wilson* (1960a, 221).

[109] См. *Smit* (1975, 62).

[110] *Hinton* (1959, 101).

[111] См. *Romano* (1962, 519). Романо относит это сокращение объемов голландского кораблестроения к промежутку 1671–1701 годов. См. тж. *Faber et al.* (1965, 108). Р.У. Унгер отмечает, что лидерство голландцев в области проектирования кораблей — уже редкое явление к 1630-м годам — к 1670-м склонилось к закату, а к XVIII веку голландские верфи сократились или исчезли. Унгер предлагает много факторов, объясняющих это: французский протекционизм; войны, из-за которых в Голландии росли налоговое бремя и государственный долг; сокращающийся внутренний рынок; общий упадок пиратства; более долгий жизненный цикл кораблей (см. *Unger*, 1978, 109–110).

Провинций — *удержать* их.[112] Как утверждает Пэйрс, до тех пор, пока меркантилист мог создавать подобное приложение рабочей силы, он был «безразличен к производительности труда, обеспеченного таким образом».[113]

Эта борьба держав центра за экспорт безработицы друг к другу является повторяющимся феноменом капиталистического мира-экономики в моменты его стагнации. Она еще более обострилась в период между 1660 и 1763 годами, когда Англия и Франция вдобавок столкнулись с «хронической проблемой бедности», затрагивавшей от четверти до половины их населения, включая не только собственно бедняков (paupers), но и большое (причем растущее) число работников с частичной занятостью. Уилсон утверждает, что в Англии имелась «армия рабочих, частично или полностью зависящих от масштабной, но нестабильной экспортной мануфактурной промышленности».[114] То же самое было верно и для Франции, только, возможно, с меньшим акцентом на экспорт. Таким образом, вопрос состоял в том, как максимизировать желаемую занятость, и здесь шла острая полемика относительно роли заработков. С одной стороны, как утверждается сейчас и утверждалось в то время, невыгодным моментом для голландцев были высокие зарплаты, которые «одни только противостояли масштабной эрозии покупательной способности, происходившей в других местах».[115] Это может быть связано с размещением промышленности в городах и, соответственно, с объединительной силой рабочих, что вело к политике социального благосостояния со стороны властей, будучи одним из объяснений высоких налогов. Высокие зарплаты и высокие налоги, предположительно, делали голландскую продукцию относительно менее конкурентоспособной, чем и объясняется сравнительный спад.

Однако в действительности заработки могли расти и в Англии, и во Франции — соответствующее предположение для Франции существует как для сельского хозяйства, так и для промышленности.[116] С другой стороны, для того чтобы узнать истинное положение дел, нам необходимо получить большее

---

[112] Барри Саппл утверждает об Англии начала XVII века: «Самым критичным элементом нестабильности, которым было обеспокоено правительство, являлась проблема хронической безработицы» (*Supple*, 1959, 234). Применительно к началу XVIII века Д. Джордж утверждает: «Существует убежденность, что нерегулярное трудоустройство — это современный недуг. В действительности это далеко не так» (*D. George*, 1953, 53).

[113] *Pares* (1937, 120). Фёрнисс полагает, что торговые связи оценивались не только с точки зрения их вклада в баланс торговли, но также по «той степени, в которой от обсуждаемой торговли зависело обеспечение работой тружеников страны» (*Furniss*, 1957, 52).

[114] *Wilson* (1969a, 125).

[115] *J. de Vries* (1974, 183). По оценке Яна Ромейна, на 1690 год заработные платы в Голландии были на 16% выше, чем в Англии (цит. в: *Wilson*, 1969b, 118).

[116] Жакар говорит о нехватке сельскохозяйственных рабочих в период после Фронды, когда заработки сельских тружеников росли (*Jacquart*, 1973, 178), см. тж. *Goubert* (1970d, 64). В промышленности в промежутке между 1665 и 1688 годами, несмотря на рецессию, «ставка заработной платы (сдельной и поденной), похоже, оставалась стабильной и в городе, и в сельской местности» (*Goubert*, 1970g, 348). Это говорит о сравнительном росте. См. тж. *C.E. Labrousse* (1970, 370). Леон указывает, что «с 1660 по 1750 годы происходило подлинное вторжение гильдий», что объясняет как рост ставок

представление о производительности труда и доле денежных заработков в их общем объеме. Кр. Хилл утверждает, что в XVII веке «английская лень была для иностранцев притчей во языцех»[117] — главным предметом для сравнения здесь, предположительно, были голландцы. Липсон говорит, что в эти тяжелые времена ремесленники часто должны были либо забирать часть своего заработка в натуральном эквиваленте по переоцененной ставке, либо имела место отсрочка заработной платы в форме долговых обязательств, а затем работник искал возможность трансформировать их в наличные деньги путем их продажи с дисконтом.[118] Последнее обстоятельство представляет отдельный интерес, поскольку это означает, что рост заработных плат, будучи реальной издержкой для работодателя, шел во благо не рабочему, а некоему мелкому банкиру.

Таким образом, мы приходим к противоречащим друг другу потребностям меркантилистских держав центра, боровшихся в период сжатия с державой-гегемоном. С одной стороны, им приходилось быть конкурентоспособными по цене, с другой — определять местонахождение спроса на их продукцию. Необходимость в конкурентоспособности по цене вело к давлению на рабочих в плане ужесточения трудовой дисциплины. Фёрнисс описывает становление последнего понятия в Англии в контексте идей об «обязанности трудиться», которые считались коррелятом «права на занятость».[119] Томпсон говорит об образе часового механизма, который распространялся в течение XVII века, «пока у Ньютона он <...> не поглотил Вселенную».[120] Неф отмечает, что в этот же период работники шотландских угольных шахт и соляных копей были «доведены до рабского состояния», ставшего результатом раннего индустриализма.[121] Мы

заработной платы в городе, так и растущее перемещение промышленности в сельские территории, где работников было «более чем достаточно, они были покорны и привыкли к низким заработкам» (*Léon*, 1970b, 251).

[117] *C. Hill* (1969, 98).

[118] *Lipson* (1956, **III**, 278).

[119] См. *Furniss* (1957, 76–78). Аналогичное давление существовало во Франции. См. *Martin Saint-Léon* (1976, 13, 501–504).

[120] *E.P. Thompson* (1967, 57). Томпсон отмечает (p. 64) и одновременный рост английской часовой промышленности.

[121] *Nef* (1968, 233). Бэрон Дакхем говорит об «угольном рабстве»: «В действительности ни один официальный документ не "порабощал" шахтеров. Однако нет ничего более ясного в социальной истории Шотландии этого периода, чем то, что большинство хозяев полагали, что работники в их шахтах являются крепостными в самом полном смысле, а практически все шахтеры принимали это положение» (*Duckham*, 1970, 243). Однако это не предотвращало периодические возникающие забастовки, которые были возможны, поскольку «квалифицированных забойщиков было немного» (*Hughes*, 1952, 253).

Руше и Кирххаймер отмечают, что именно в это время в Голландии, Англии и Франции наблюдается рост исправительных домов, которые в первую очередь служили «мануфактурами, выпускавшими продукцию с особенно низкими издержками благодаря дешевой рабочей силе» (*Rusche and Kirchheimer*, 1939, 50, см. тж. 24–52, *passim*). Кроме того, это была эпоха изобретения легального наказания каторжными работами — «самого рационального способа обеспечить рабочую силу для выполнения задач, для которых свободный труд никогда бы не нашелся, даже если бы экономические условия были наихудшими» (pp. 57–58).

настолько привыкли связывать рост свободного наемного труда с подъемом капитализма, особенно в центральной зоне, что слово *рабство* сильно удивляет и даже поражает. Но то же самое случилось на королевских мануфактурах Франции, где работники были фактически заключенными на своих рабочих местах, хотя и получали сравнительно высокие заработные платы.

Сопоставим все это с дискуссией о высоких зарплатах. Большинство меркантилистов, как и большинство капиталистических предпринимателей, выступали за *низкие* зарплаты как способ снижения конкурентных издержек. Однако наиболее мудрые меркантилисты были против этого. Джосия Чайльд в своей «Речи о торговле» 1668 года объяснял преимущества голландцев следующим образом: «Когда заработки высоки, в какой бы точке мира это ни было, это неопровержимое свидетельство богатств сей страны; а где плата за труд низка, это доказательство бедности соответствующего места».[122] Тем самым Джосия Чайльд за 300 лет предвосхитил аргумент Аргири Эммануэля.[123] Чайльд, конечно, не убедил всех, однако его воззрения отражали имевшиеся структурные ограничения.

Трудовая дисциплина и растущие заработки в период мировой экономической стагнации являются *дополняющими друг друга* тенденциями. Сочетаясь между собой, они повышают занятость вне зависимости от подлинной продуктивности хозяйственной единицы. Иными словами, трудовая дисциплина (даже включая почти рабский труд) представляет собой способ увеличения выпуска продукции (не была ли это реальная мотивация в случае с шотландскими угольными шахтами и парижскими *Gobelins* [королевской мануфактурой гобеленов]?), а также способ увеличения заработков для *квалифицированных* работников (опять же, как в случае с мануфактурой гобеленов) и способ расширения внутреннего рынка, а тем самым — расширения спроса. Система, в которой выросшие «заработки» перемещают доход к мелкому банкиру, а не к рабочему, могла сделать для увеличения спроса столь же много, а возможно, и больше, как и система, в которой работникам действительно хорошо платят. Однако слишком сильный рост трудовых издержек (вне зависимости от того, кто получал от этого выгоду) стал бы преждевременной угрозой в конкуренции с голландцами, поэтому нужно было достигать баланса.

Теперь мы можем оценить успешность усилий по стимулированию сельского хозяйства и промышленности, предпринятых в Англии и Франции во второй половине XVII века. Классическое для либеральной историографии сравнение делается между виговской Англией, двигавшейся в сторону контролируемых частными лицами массовых производств будущего, и бюрократической кольбертистской Францией, которая скатывалась в колею производства предметов роскоши. Утверждается, что вследствие этого Англия двигалась в сторону либерализма, парламентского контроля и прогресса, в то время как во Франции усиливались аристократия, «феодализм» и расточительство — короче говоря, речь идет об *Ancien Régime* [старом порядке — *фр.*]. Как и во

[122] Цит. в: *Wilson* (1969a, 122). См. тж. *Heckscher* (1935, II, 169), *Lipson* (1956, III, 273–274), *Coats* (1958, 35, 46) и *Wiles* (1968, 115, 118).

[123] *Emmanuel* (1972).

многих других исследованиях данного периода, современным *locus classicus* [общим местом — *лат.*] этих предрассудков являются работы Эли Ф. Хекшера:

> «В Англии не только не было собственного соответствия *établissements* [предприятиям — *фр.*] индустрии роскоши, находившимся в руках [французского] государства, но также — и это гораздо более важно — в Англии отсутствовали <...> многочисленные и масштабные частные *manufactures royales* [королевские мануфактуры — *фр.*], обеспеченные любыми возможными привилегиями. <...>
> *Эта разница является жизненно важной.* Ведь если бы, как это было в предыдущий период, технические изменения заключались в улучшении ловкости ручных операций, утонченном вкусе и артистической пластичности — иными словами, если бы эти изменения относились к той технической сфере, где производство определялось королевской семьей, двором, аристократией и другими состоятельными производителями, тогда Франция имела бы все перспективы стать лидирующей промышленной державой к северу от Альп. Однако ход вещей оказался иным. "Индустриализм", или "капитализм", означал массовое производство для массового потребления, и здесь производство предметов роскоши занимало всецело подчиненную позицию. Тем самым лидерство перешло к Англии».[124]

Первый вопрос, который следует задать по поводу этого объяснения Хекшера — насколько корректны приведенные факты? Пьер Леон, например, хотя и согласен с тем, что Кольбер поощрял некоторые производства предметов роскоши, сомневается в точности данной информации:

> «В действительности основной упор делался на массовые производства: шерстяные и полотняные ткани (Эльбёф*, Седан, Лангедок); сталь, основа оружейного производства (Валансьенн, Камбрэ); производство бумаги. Усилиями Кольбера было создано более 400 предприятий (endowments, *fondations*), в том числе 300 — в текстильной отрасли. Безусловно, некую "индустриальную базу" (которая уже существовала столетиями) сформировал не [Кольбер], однако он действительно пытался стимулировать и сконцентрировать ее. <...> Несомненно, что именно Королевские мануфактуры <...> первыми внедрили <...> "форму" фабрики будущего».[125]

Что же касается удушающего воздействия кольбертизма на капиталистическое производство, то мы не должны забывать, что, как и в случае с продажей должностей и наемными солдатами, кольбертизм представлял собой шаг в направлении хозяйственных форм XIX века, а не прочь от них. Кольбертизм берет начало от Ришелье, и Джон Неф утверждает, что следует отдать должное двум из его положительных результатов:

---

[124] *Heckscher* (1935, I, 221). Курсив добавлен.

[125] *Léon* (1970a, 113). Кроме того, государственные инвестиции в промышленность только между 1660 и 1789 годами составляли до 2 миллионов франков в год — «в действительности смехотворная цифра», поскольку индустриальные доходы Франции оценивались в 100 миллионов франков (*Léon*, 1970b, 225).

> «Во-первых, внутри системы экономические предприятия получили больше свободы, чем им обычно позволялось до эпохи Ришелье. <...> Во-вторых, меркантилистская система регулирования <...> действительно представляла собой шаг в направлении предоставления торговцам политического признания — того ранга, в котором, как настаивал Эон [церковник, чьи сочинения пользовались влиянием во времена Кольбера — *И.В.*], они так остро нуждались».[126]

Если между меркантилистскими усилиями Англии и Франции XVII века оказывается меньше различий, чем это часто утверждается, то почему Губер (равно как и многие другие) заявляет о «глобальном провале Кольбера»?[127] Почему говорится, что основным результатом тарифов Кольбера было просто «временное замедление» восходящего тренда английского текстильного производства?[128] Если обстановка была неблагоприятной, как предполагает Пьер Дейон,[129] то она была столь же неблагоприятной для Англии, сколь и для Франции. Уилсон намекает, что французы были *недостаточно* меркантилистами, что их меркантилизму, в отличие от английского, «суждено было остаться сравнительно бессвязным и несформулированным, даже во дни Кольбера», поскольку Франции не хватало «той комбинации расширяющегося коммерческого капитала и влияния правительства, которая была представлена осью Вестминстер — Сити в Лондоне».[130] Это предположение подводит нас к рассмотрению того, как группы интересов преследовали свои экономические цели внутри структуры двух меркантилистских государств центра — при этом следует помнить, что территориально Франция превосходила Англию вчетверо и содержала в своих пределах очень большие регионы, которые не относились к центральной зоне мира-экономики.[131]

Для адекватного сравнения двух стран мы прежде всего должны произвести обзор коммерческой и финансовой сфер, начав с общих оценок. В целом принято полагать, что промежуток с 1660 по 1700 годы был периодом английской

---

[126] *Nef* (1968, 215).

[127] *Goubert* (1970g, 354–356). Губер напоминает, что при подписании Неймегенского мира (1678) Кольберу под давлением голландцев и англичан пришлось пойти на уступки в своей политике высоких тарифов. Мёвре заявляет, что неудача созданных Кольбером компаний была более важна, чем провал тарифов и налога Фуке в 50 су на тонну для иностранных судов*, т.е. французского эквивалента Навигационного акта (*Meuvret*, 1971a, 32). См. тж. *Deyon* (1966, 55)

[128] *Priestly* (1951, 47).

[129] Усилиям Кольбера «с самого начала было предначертано стать нелегким предприятием» (*Deyon*, 1963, 951).

[130] *Wilson* (1965, 65).

[131] Наряду с утверждением, что Франция в некоторых отношениях была слишком велика, говорилось также, что перед Голландией стояла противоположная проблема. «Если бы все Нидерланды были объединены, дальнейшие этапы экономического прогресса, которым предстоит развиться в Англии, могли бы здесь иметь место раньше. Бельгийские сталь и уголь, жизненно важная энергия воды, доступная в Арденнах, могли обеспечить важнейшие элементы Промышленной революции, но у голландцев их недоставало» (*Plumb*, 1965, xxv).

«коммерческой революции»,[132] когда Англия впервые становилась «самодостаточным мировым перевалочным пунктом».[133] Относительно этого периода обычно подчеркивается та доля мировой торговли, которую Англия получила в сравнении с Голландией, что рассматривается как отражение успешных аспектов Навигационных актов.[134] А что же Франция? Согласно Крузе, «во Франции отсутствовал процесс, сопоставимый с быстрым и продолжительным ростом английской внешней торговли в течение XVII века [особенно после 1660 года]».[135] Однако Делюмо в своем обзоре целого столетия с 1590 по 1690 годы представляет довольно отличающуюся от этой точки зрения картину определенного усиления французской внешней торговли: «Прогресс <...> был медленным, неравномерным, прерываемый неудачами, но убедительным».[136] С этим согласен Рише, усматривая «абсолютный рост», имевший эффект «за пределами прибрежных регионов» и позволивший текстильным и другим производителям «в 1680–1690 годах достичь уровня, который им никогда не был известен даже в лучшие годы предыдущего столетия».[137]

Что объясняет провалы (если таковые действительно имели место) французских компаний и большее нежелание французских капиталистов инвестировать свои капиталы в сравнении с их английскими и голландскими визави? Объяснения этого «французским темпераментом и его изъянами»[138] или тем, что отпрыски французских купцов перестали быть бизнесменами,[139] я не могу считать слишком серьезными. Даже если оба эти объяснения более истинны, чем в каком-либо другом случае (что сомнительно), почему тогда произошло и то, и другое? Так или иначе инвестиционные модели отцов пресловутых отпрысков по-прежнему требуют объяснения. Возможно, происходившее прояснит более пристальный взгляд на мировую торговлю по ее секторам.

Начнем с расчетов общего тоннажа и стоимости английского грузооборота по географическим секторам, представленных в таблице 2 (к сожалению, мне неизвестны параллельные расчеты для Франции).

---

[132] См. *Davis* (1954, 161, 163). Однако Дэвис отмечает, что «единственный благоприятный для торговли период продолжается от восстановления после депрессии 1677 года до Славной революции 1688 года».

[133] *Wilson* (1965, xii). Тем не менее, Кляйн считает, что «примерно к 1670 году сырьевой рынок Амстердама уже был малозначим в качестве центрального мирового рынка» (*Klein*, 1966, 208–209).

[134] Лоуренс Харпер полагает, что эти акты имели «реальный результат в ограничении деятельности голландцев в роли перевозчиков-посредников» (*Harper*, 1939b, 300). Острём утверждает, что изменение в балтийской торговле между 1633 и 1685 годами было «существенным» (*Åström*, 1960, 7), хотя потери Голландии часто были выигрышем как для балтийских, так и для английских судовладельцев. Фрэнкен цитирует амстердамских отцов города, которые в 1684 году обращали внимание на то обстоятельство, что англичане «располагали более значительным коммерческим фондом в виде собственных урожаев и мануфактур», нежели Амстердам, чья торговля в сравнении с английской была «искусственной» (*Franken*, 1968, 10).

[135] *Crouzet* (1972, 62).

[136] *Delumeau* (1966, 105).

[137] *Richet* (1972, 205).

[138] *Meuvret* (1971a, 33).

[139] *Kulischer* (1931, 16–17).

Таблица 2. Внешние грузоперевозки Англии в 1700 году

Сектор	**Тоннаж**	**Миллионов фунтов**	**Фунтов на 1000 тонн**
Ост-Индия	5000	0,9	.180
Средиземноморье	71000	1,5	.046
Испания и Португалия		1,7	
Вест-Индия	43000	1,3	.030
Северная Америка	33000	0,7	.021
Северная Европа	218000	0,9	.004
Близлежащие европейские территории	224000	5,1	.023
Всего	594000	12,1	

Таблица составлена на основании данных в: *Wilson* (1965, 162). Уилсон базирует свою таблицу на работе Ральфа Дэвиса.

Из этой таблицы вычленяются три факта. На близлежащие к Англии территории Европы, которые в основном относились к державам центра, приходилось более трети тоннажа и около половины стоимости английской внешней торговли. Балтийская торговля составляла *еще* добрую треть тоннажа, если бы не крайне небольшая ее стоимость, что было хорошо для грузоперевозчиков, но не слишком важно для торговцев. Ост-Индское направление отличается очень небольшими объемом и общей стоимостью торговли, однако в пересчете на тонну стоимость для этой области намного выше (в то время как для балтийской торговли этот показатель самый низкий), а высокая стоимость в расчете на тонну означает высокую норму прибыли на один корабль. В случае с азиатской торговлей данные факты подразумевают, что, в то время как эта торговля была важна для Ост-Индской компании, для мираэкономики в целом она была еще не слишком значимой. Возможно, это объясняет способность Ост-Индской компании противостоять нападкам на нарушение ею меркантилистской логики из-за ее неблагоприятного торгового баланса.[140] Реальная стоимость убытков, которые приносила эта торговля, была ограниченной. Обратной стороной этого, конечно, было возлагавшееся на английское правительство ожидание Ост-Индской компании, что правительство «уж как-нибудь само позаботится о себе в Азии».[141]

[140] О «желчных» дискуссиях об ост-индской торговле в XVII веке см. *P.J. Thomas* (1963, 6). Относительно ее прибыльности см. высказывание Гламанна: «Прибыль от азиатской торговли голландцев была скромной в сравнении с их доходами от перевозок и торговли в Европе» (*Glamann*, 1958, 11); см. тж. *Morineau* (1978e, 175).

[141] *Bassett* (1968, 85).

Импорт увеличивался — с 1600 по 1700 годы он вырос с 240 до 861 тысячи кусков ситца, две трети из которых реэкспортировались.[142] Однако экспортный рынок для европейских товаров в Азии был по-прежнему столь ограниченным, что «любая попытка создать слишком большой запас товаров вела к радикальной нехватке спроса и падению цен».[143] В то время, когда спрос был главной коллективной заботой меркантилистских сил, Ост-Индская торговля не обеспечивала решения данной проблемы. В действительности, для того чтобы эта торговля стала «полезной», требовалась периферизация Индии, но при этом считалось, что данная задача не стоит усилий Англии, а в еще меньшей степени — Франции, — до тех пор, пока после 1750 года не начался восходящий тренд. Именно в это время начнется действительное политическое завоевание британцами Индии и ее экономическая периферизация.[144] Средиземноморская торговля во многих отношениях была посередине по всем параметрам, то есть по той степени, в которой Средиземноморье было периферией мира-экономики, а не его внешней сферой,[145] по количественной значимости торговли[146] и по ее решающему значению в аспекте англо-французского соперничества.[147]

---

[142] *Wilson* (1965, 170). Азиатские ткани в это время особенно ценились за их легкость, элегантность и тонкую текстуру. П.О. Томас напоминает, что в *Atlas Maritime* [Морском атласе – *лат.*] 1727 года утверждалось: «Индия и Китай были способны одеть целый мир с помощью своих мануфактур» (*P.O. Thomas*, 1963, 31).

[143] В работе *Chaudhuri* (1968, 486) добавлено, что к 1700 году «условия торговли для европейских товаров, похоже, ухудшились».

[144] Рамкришна Мухерджи датирует этот сдвиг 1730-ми годами, когда в связи с дезинтеграцией империи Моголов англо-французское соперничество могло принять форму «серьезного спора с перспективой контроля Индии ради максимальных "торговых" преимуществ одной компании за счет других» (*Mukherjee*, 1974, 110).

[145] В своем анализе английской торговли Дэвис приводит доводы в пользу периферизации (*Davis*, 1961, 125, 137). Применительно к Италии он утверждает, что к 1700 году она стала «еще одной страной, обменивавшей свою сельскохозяйственную продукцию на английские мануфактурные товары». Левантийскую торговлю Дэвис тоже описывает как «обмен английских мануфактурных товаров на иностранные сырьевые материалы», утверждая, что «фактически данная торговля может быть сведена к обмену шелковых тканей на шелковое сырье». Я согласен с подобной оценкой относительно Италии, но воздерживаюсь от суждения в случае с Левантом. Последовательный процесс нарастающего вовлечения Османской империи в капиталистический мир-экономику между 1600 и 1914 годами описан в работе *Issawi* (1974), однако неясно, когда произошло решающее изменение ситуации. Представляется, что Иссави рассматривает как переломную точку XVIII век.

[146] Ричард Тилден Рэпп утверждает, что подъем Англии в XVII веке «был основан на захвате южного рынка, а точнее, на устранении средиземноморских конкурентов в промышленности и торговле» (*Rapp*, 1975, 522–523). Мне представляется, что это определенная переоценка, несмотря на непосредственную выгоду для Англии (а также для Соединенных Провинций) от расширения торговли с христианским Средиземноморьем в начале XVII века. Факт состоит в том, что после 1660 года средиземноморская торговля играла еще меньшую роль в общем объеме, даже несмотря на то, что ее абсолютные показатели продолжали увеличиваться. Для Франции торговля с Левантом сокращалась с половины всего внешнеторгового оборота в конце XVI века до одной двадцатой доли в 1780-х годах. В случае с Англией спад торговли с Левантом был еще более резким: с пика

Говоря об англо-голландском соперничестве и подъеме Англии за счет Голландии, мы в первую очередь имеем в виду две вещи: английский внутренний рынок, на котором голландцы прежде играли значительную роль, и балтийские грузоперевозки, которые были голландской «материнской торговлей». Что может быть упущено, когда мы подчеркиваем то, под каким флагом были корабли, это природа грузов, которая радикально изменилась в течение XVII века. В ходе «долгого» XVI века балтийская торговля в первую очередь представляла собой поток зерна в западном направлении (здесь ключевым пунктом был Гданьск) и обратный поток тканей. Стагнация XVII века положила конец этой торговле, однако это происходило лишь в течение нескольких десятилетий середины столетия, когда наблюдалась подлинная «дезинтеграция балтийской зоны».[148] Спад зернового экспорта был следствием коллапса мировых цен и, в свою очередь, выпадения из мирового рынка зернопроизводящих территорий Польши и восточного Полабья. Это означало, далее, упадок рынка тканей именно в последних территориях, поскольку там стала менее доступна твердая валюта (вспомним о германском денежном кризисе (*Kipper- und Wipperzeit*)), а также из-за нового возникновения в Восточной Европе собственного ремесленного производства, посредством которого землевладельцы стремились восстановить некоторые свои потери после коллапса зерновых рынков.[149]

в 10% в середине XVII века до 1% в конце XVIII столетия. Кроме того, Левант потерял свою значимость как источник хлопка-сырца и рынка для тканей после того, как по этим направлениям появились альтернативы. См. *Issawi* (1974, 114–115).

[147] Парри утверждает, что позже XVIII век породит «этот невероятный парадокс — английское Средиземноморье» (*Parry*, 1967, 191). Пьер Леон и Шарль Карьер говорят, то в промежутке 1661–1789 годов средиземноморская торговля составляла 30% общего объема торговли Франции (*Léon and Carrière*, 1970, 194), а у Иссави сказано, что в 1780-х годах на Францию приходилось 50-60% османской торговли (*Issawi*, 1974, 114). Французской торговле принадлежала доминирующая роль в Барбарии (*Barbarie*), которая в той или иной степени соответствовала Тунису (*Léon and Carrière*, 1970, 193).

[148] *Åström* (1963, 29).

[149] Острём добавляет еще один фактор, утверждая, что социальными группами Балтийской зоны, которые покупали сукно (а не шелк и бархат), были мелкая знать и шляхта (gentry), клир, чиновники и бюргеры, причем их спрос оставался довольно постоянным. «Поэтому большие колебания в потреблении текстиля характеризовали только одну группу потребителей тканей — военных. Военные приготовления стимулировали спрос, в то время как демобилизация ограничивала его» (*Åström*, 1963, 71). «Временное затишье на Севере»* вслед за окончанием Тридцатилетней войны тем самым несло ответственность за резкий спад в потреблении текстиля.

Я сомневаюсь, достаточно ли этого объяснения. Прежде всего, я не уверен, что невоенный спрос был таким уж неизменным. Сам же Острём замечает, что англичане в этот период объясняли собственный кризис текстильного экспорта тремя факторами: «конкуренция голландцев, подъем ткацких мануфактур в Северной и Восточной Европе и сокращение покупательной способности польского рынка» (*Åström*, 1963, 69). Второй и третий факторы как раз предполагают непостоянство невоенного спроса. Первый фактор имеет отношение к Тридцатилетней войне — но не к военному спросу, а к тому факту, что из-за военных действий голландские корабли «исчезли из английской торговли» на Балтике с 1623 по 1649 годы (*Hinton*, 1959, 37).

Предельная производительность английской текстильной промышленности в сравнении с голландскими тканями и тканями местного производства была не так велика, чтобы она могла выжить в балтийской зоне, где спрос был ограниченным и «незначительным из-за несомненного снижения цен, которое, безусловно, имело место».[150] Восточная компания получила жизненно важную поддержку короны именно потому, что она экспортировала окрашенные и выделанные ткани, тем самым обеспечивая занятость.[151] Когда компания перенесла основную тяжесть своей деятельности с экспорта на импорт, это предрешило ее привилегированную роль, особенно потому, что Англия все больше и больше обращалась к реэкспорту и роли перевалочного пункта. Однако об импорте чего идет речь? Традиционный импорт — зерно — сжался. Поскольку стагнация мира-экономики — причина коллапса зерновой торговли — вела к острому торговому соперничеству трех держав центра, а это соперничество часто превращалось в войны (особенно морские), постольку вдвойне вырос спрос на то, что могла предложить балтийская зона, а именно на корабельные товары и железо.

Корабельные товары, конечно, импортировались с Балтики в течение долгого времени, однако «до 1650 года проблема предложения никогда не [была] острой».[152] Теперь же она была именно такой — по трем причинам: росли кораблестроение и строительство домов (особенно после Великого пожара в Лондоне), а предшествующее строительство настолько истощило ресурсы дерева в Англии (а к концу столетия и в Ирландии), что его нехватка «достигла <...> масштаба национального кризиса».[153] И здесь мы подходим к ключевому различию между Англией и Францией. Поскольку Франция была значительно больше по размеру, она определенно обладала бóльшим запасом леса и во времена Кольбера, похоже, прилично превосходила в этом отношении Англию.[154] Конечно, для нужд кораблестроения французский лес имел плохое качество в сравнении с высококачественным мачтовым лесом Северной Европы, однако лес у Франции все же был собственный. Вопрос для французов состоял в том, существенной ли была разница в качестве мачт для того, чтобы стоило затрачивать дополнительные усилия во времени, деньгах и военно-политических ресурсах для получения леса из других мест. Ответ на этот вопрос представляется главным образом

[150] *Hinton* (1959, 45).

[151] См. *Hinton* (1959, 59).

[152] *Hinton* (1959, 99).

[153] *Wilson* (1965, 80). Дарби говорит, что к моменту «Реставрации 1660 года объем лесных угодий значительно сократился» (*Darby*, 1975, 328). Одним из политических следствий этого стало то, что Адмиралтейский совет обеспокоился данной проблемой и начал консультации с Королевским обществом*. В своем докладе 1664 года Джон Ивлин** призвал джентри-землевладельцев сажать деревья. Этот совет получил широкий отклик и действительно имел результат в виде появления более значительного внутреннего ресурса древесины. Очевидно, что «деревья, посаженные в эти годы, созрели в тот момент, когда надо было поддержать британский флот во время войн XVIII века» (*Darby*, 1973, 329).

[154] См. *Bamford* (1956, 206–207).

отрицательным.[155] У англичан не было подобной роскоши выбора — им *приходилось* доставать лес извне. Соответственно, они предприняли значительное усилие на Балтике и *более значительное* усилие, чем Франция, в Северной Америке.

Более значительные внутренние ресурсы леса во Франции имели два важных побочных эффекта с далекой перспективой. В географическом отношении это обстоятельство продвигало балтийскую торговлю на восток — от Гданьска к Кёнигсбергу, затем к Риге, далее к Нарве, фактически начиная охватывать Россию и Финляндию через порты Стокгольма и Выборга.[156] Вторым, еще более долгосрочным последствием было то, что сложившаяся ситуация подталкивала Англию к разработке собственных угольных ресурсов. Согласно недавней консервативной оценке, производство угля в Англии в течение столетия выросло примерно на 60% и на 370% от низшей точки в 1650 году до высшей точки в 1680 году.[157] Первый импульс к замещению дров углем при отоплении и приготовлении пищи дал король Иаков I, который ввел это в моду, однако реальный толчок данный процесс получил в результате прекращения импорта в ходе англо-голландских войн. После этого промышленники приступили к поиску процессов, которые позволили

[155] «Нежелание французских предпринимателей вкладывать капитал в северные морские торговые предприятия и направлять туда свои корабли — нежелание, за которое их часто критиковали, — как представляется, было основано на реалистичной оценке пределов собственных возможностей и рисков, связанных с конкуренцией с грозными голландцами» (*Bamford*, 1954, 219). Бамфорд предполагает, что вторым, помимо цены, мотивом нежелания французов обеспечивать себя северным мачтовым лесом был страх «навлечь на себя серьезные стратегические затруднения, зависимость от которых проявлялась в военное время» (*Bamford*, 1956, 113). Торговля на Балтике в это время составляла лишь 7% от общего объема французской коммерции (см. *Léon and Carrière*, 1970, 194). Об усилиях Франции в Северной Америке Мамфорд пишет: «В Канаде мачтовый лес был дешев и в избыточном количестве, но его использование требовало привлечения местной рабочей силы, за труд которой приходилось платить непозволительно много» (*Bamford*, 1956, 120).

Важно отметить, что исходное нежелание французов (в сравнении с потребностью англичан) разыскивать запасы леса в Северной Америке самоукреплялось. Бамфорд указывает, что одним из аргументов французов в пользу полного отказа от импорта американских мачт в 1731 году было их плохое качество. Однако, говорит Бамфорд, это было результатом того, что деревья спиливали вблизи реки Св. Лаврентия, а не в более удаленной в глубь материка местности, и складывали на землю на два года или около того в ожидании погрузки. «Если бы французы вместо остановки импорта предприняли расширение освоения Канады, результаты определенно могли быть столь же плодотворными, сколь позднее рубка канадского леса оказалась полезной для англичан» (*Bamford*, 1956, 127–128).

[156] См. *Åström* (1963, 41–44). Это было верным не только в случае с поиском леса, но и в равной степени для пеньки, воска, смолы, дегтя и поташа.

[157] *Langton* (1972, 51). Лэнгтон предполагает, что это консервативный показатель в сравнении с 15-кратной оценкой роста у Дж.У. Нефа, делая заключение, что «никакой "революции" определенно не случилось». Каждая из двух точек зрения требовала собственной количественной характеристики, чтобы можно было говорить о революции!

бы использовать уголь, и уже к 1738 году французский наблюдатель писал, что уголь был «душой английских мануфактур».[158]

Помимо корабельных товаров, еще одним новым импортируемым с Балтики продуктом было железо. В начале XVII века оно составляло 2% от английского импорта с Балтики, а в конце столетия — 28%.[159] Железо поступало из Швеции и представляло собой индустриальную продукцию — результат переработки руды. Почему Швеция в то время играла столь важную роль в производстве железа? Следует вспомнить, что до конца XVIII века ключевым источником энергии при выплавке железа был древесный уголь. Поскольку и металл, и энергию было дорого транспортировать, оптимальным было иметь оба эти элемента в одном и том же месте (железо в действительности имелось в более широком доступе, чем лес, и даже в избытке). В Швеции же было и хорошего *качества* минеральное сырье, и большое *количество* древесного угля.[160] Значительная выплавка железа также производилась в Англии и во Франции — во Франции, возможно, в более крупных объемах, в первую очередь благодаря «меньшей нехватке горючего». В результате Англия стала главным импортером шведского железа для обеспечения собственного производства, в то время как Франция «ни импортировала, ни экспортировала этот металл».[161] Иными словами, Франция сама производила то, в чем нуждалась, и поэтому ей не «нужна» была балтийская торговля. Железо играло значительную роль в становлении Швеции как полупериферийной державы в мире-экономике, но об этом пойдет речь позднее, а в данный момент хотелось бы подчеркнуть последствия сравнительных размеров и ресурсов Англии и Франции для их моделей внешней торговли. Мануфактурное производство в обеих странах расширялось, требуя все больше и больше железа,[162] что, в свою

[158] Цит. по: *Minchinton* (1974, 151). О нехватке леса и росте использования угля в Англии см. *Wilson* (1965, 80–85). Уилсон дополняет это характерным предупреждением: «Успех, с которым уголь заменил дрова в качестве топлива, и растущий объем выпуска угольной промышленности не следует рассматривать как *deus ex machina* [«бога из машины», непредвиденного счастливого вмешательства – *лат.*], с помощью которого можно объяснять любое явление в английской индустрии в других отраслях, помимо текстильной». Тем не менее, Уилсон добавляет: «Возможно, это был наиболее благоприятный для экспансии фактор экономики начала XVII века».

[159] *Åström* (1963, 32).

[160] *Heckscher* (1932, 139). Хекшер утверждает, что «именно благодаря количеству [древесного угля] в большей степени, чем качеству [железа], [Швеции] принадлежало ее привилегированное положение.

[161] Леон подчеркивает растущую нехватку сырья для выплавки железа во Франции в течение XVIII века. Он утверждает, что уже в 1685 году Франция импортировала из Германии, России, Испании, а особенно из Англии и Швеции 8,5 миллионов фунтов в год (а в 1787 году — 42 миллиона). Леон говорит о растущих в XVIII веке жалобах «на угрозу исчезновения лесов и растущую стоимость топлива», упоминая крестьянский мятеж 1731 года во Франш-Конте против металлургов, которые опустошали леса (*Léon*, 1970b, 232).

[162] Флинн подвергает критике старую точку зрения, что между 1660 и 1760 годами железоделательные мануфактуры в Англии были стагнирующим производством. Он, напротив, уверен, что растущий импорт отражал растущий спрос в метрополии и колониях (*Flinn*, 1958, 145). Байрох показывает, что в то время, как собственное произ-

очередь, требовало больше топлива. Причина, по которой Англии пришлось обратиться к углю в качестве топлива и к импорту железа раньше, чем это сделала Франция,[163] заключалась в большей степени в различной экологической ситуации, нежели в разных уровнях индустриализации.

Возможно, что наиболее разительные и важные отличия между Англией и Францией сформировались именно в атлантической торговле. Объем трансатлантической торговли Англии был куда более значительным по сравнению с Францией. Кроме того, Англия развивала в Западном полушарии переселенческие колонии, в то время как французские поселения были сравнительно запоздалыми и безуспешными. В действительности два этих феномена взаимосвязаны. К 1700 году Англия была страной с «наибольшей долей в Атлантике».[164] Почему так произошло? Мы уже рассмотрели, каким образом голландцы доминировали в европейской торговле, причем для них представлялось более разумным проводить собственную сильную линию, нежели разрабатывать новые и трудные направления. Но почему французы, наряду с англичанами, не обратились к атлантической торговле? Или, точнее, почему в промежутке с 1660 по 1700 годы англичане сделали это гораздо лучше, чем французы? Последнее представляется очевидным. В XVII веке в Западном полушарии было основано 28 новых отдельных пунктов колонизации — 3 голландских, 8 французских и 17 английских; к 1700 году у Англии там было 350-400 тысяч подданных (включая рабов) против 70 тысяч у Франции, а в цветущих карибских колониях англичан было вдвое больше, чем французов.[165] Французская Канада и Луизиана не могли начать конкуренцию с британскими поселениями в Северной Америке в плане численности населения и объема выпуска продукции. Между 1660 и 1700 годами Англия развила крупный европейский *реэкспорт* колониальной продукции — новый масштабный и прибыльный вид перевалочной торговли.[166] В самом деле, одним из наиболее значимых результатов Навигационного акта был успех, достигнутый английскими перевозчиками в монополизации торговли со своими собственными колониями, к которому следует добавить их широкий успех в контрабанде в Испанской Америке.[167]

Французы, конечно же, доставляли табак и сахар через Атлантику так же, как это делали англичане, за тем исключением, что общее их количество было меньшим, а французский внутренний рынок в основном поглощал все, что импортировалось, оставляя гораздо меньше товара для реэкспорта. По сравнению с Англией, у Франции на Американском континенте было меньше

водство стали в Британии с 1660 по 1760 годы оставалось неизменным, импорт вырос на 130%. Байрох убежден, что основное применение это железо находило в сельском хозяйстве (*Bairoch*, 1966, 8–10).

[163] Параллельная экспансия во Франции фактически заставила ее вступить в «эпоху угля» около 1735 года (*Léon*, 1970b, 232).

[164] *K.G. Davies* (1974, 314).

[165] *K.G. Davies* (1974, 45, 80, 85). Конечно, количество отдельных единиц колонизации зависит от того, как определяется подобная единица. Дэвис приводит соответствующий список с его обоснованием.

[166] См. *Davis* (1954, 131) и *Wilson* (1965, 161).

[167] *Parry* (1967, 206).

производителей — колонистов, законтрактованных слуг и рабов; соответственно, и производили они меньше.[168] На вопрос, почему у французов было меньше производителей, ответить непросто. Известно, что две страны имели несколько разное отношение к эмиграции диссидентских религиозных групп. В результате британцы поощряли подобную эмиграцию или, по меньшей мере, не препятствовали ей, в то время как Людовик XIV запрещал гугенотам селиться в Америках, утверждая, что он «не для того сделал свою державу католической, чтобы предоставлять свои колонии еретикам».[169]

Похоже, что мы возвращаемся к обычному объяснению различий между двумя странами: Англия была конституционной и сравнительно либеральной, а Франция — абсолютистской и авторитарной. Однако здесь в дело вмешивается любопытный факт. В 1687–1688 годах, вскоре после отмены Нантского эдикта, король Франции *угрожал* гугенотам, пойманным при «бегстве» за границу (предположительно в другие европейские страны), депортацией в Миссисипи, Канаду, Мартинику или другие части Американского континента. Это был существенный риск, по мнению, как минимум, Сковилла, поскольку «угроза перемещения через Атлантику пугала гугенотов и новообращенных гораздо больше, чем возможность всю оставшуюся жизнь провести в цепях на галерах».[170] В свете этих фактов представляется, что от отправки большего количества переселенцев французов удерживали не религиозные соображения — возможно, Франция просто не была заинтересована в переселенческих колониях так же, как Англия.

Что является причиной интереса к переселенческим колониям? Здесь, я думаю, мы подходим к самой сложной части проблемы. Колонии в Америках преследовали две цели. Во-первых, они были источником так называемой тропической продукции — сахара, хлопка, табака, которым требовался климат, отсутствовавший в большей части Европы. Экологически для этого подходил Карибский регион в широком смысле (включая Бразилию и южную часть Северной Америки), поэтому Англия и Франция основывали там колонии с указанной целью. В этом отношении различия были довольно незначительны, хотя Англия, возможно, была здесь более успешна, чем Франция. Вторая, довольно отличающаяся от первой, функция колоний состояла в том, чтобы служить рынком для мануфактур и реэкспорта. Тропические колонии были слабым рынком именно потому, что они стремились использовать принудительный труд для сохранения низкой себестоимости производства. Это заставляло европейских поселенцев со сравнительно высоким уровнем жизни

[168] Англичане «более полно использовали механизм контрактного труда». К 1700 году 250 тысяч англичан и только 20 тысяч французов эмигрировали в Северную Америку (*K.G. Davies*, 1974, 80, 96). Оценка Филипа Д. Кёртина демонстрирует более значительное количество рабов в британских колониях, особенно до 1700 года (*Curtin*, 1969, гл. 3).

[169] *Dehio* (1962, 89). Гугеноты не обязательно сильно стремились уехать; как утверждает Дехайо, они «могли лишь рассчитывать на то, что обнаружат те же самые авторитарные формы социальной, политической и церковной жизни по ту сторону» Атлантики.

[170] *Scoville* (1960, 103)

создавать коллективный чистый доход, достаточно высокий для обеспечения этой функции.

Англия развивала такие колонии, а Франция нет. Заключается ли объяснение этого в том, что Франции меньше были нужны рынки или же что она находила свои рынки в других местах? Так мы вновь возвращаемся к фактору размера территории. Не была ли Франция способна продавать бóльшую часть своей продукции внутри страны?[171] Англии требовалась в качестве рынка Европа (на протяжении долгого времени — через Соединенные Провинции),[172] а также ей нужно было создавать собственные североамериканские колонии.[173] Все это относительные вещи. Перед лицом одной и той же проблемы сжатия в мировом масштабе ответом и Англии, и Франции стал меркантилизм, направленный сначала против Соединенных Провинций, а затем друг против друга. Однако в Англии весь ход событий подталкивал к определенной концентрации на внешней торговле. Этот процесс стимулировал сам себя: результатом потребности англичан в торговле стала потребность в кораблях, затем — в корабельных припасах, далее — в продукции, с помощью которой их

---

[171] «Не может быть сомнений, что в количественном отношении объем внутренней торговли [во Франции] наголову превосходил объем внешней торговли» (*Léon and Carrière*, 1970, 165).

В самом деле, в XVII веке мы наблюдаем разворот к внутренней части страны главного торгового порта Франции — то, что Морино называет «северизацией» Марселя, который «отсоединился от Средиземноморья». Морино поясняет, что в начале XVII века Марсель познал «внутреннюю экспансию», которая оказалась «более блестящей, чем экспансия XVI столетия» (*Morineau*, 1970b, 163, 169). Можно усомниться в том, что это вообще могло произойти, поскольку Марсель только что утратил свою прибыльную торговлю пряностями, перехваченную голландцами и далее перенаправленную по другим маршрутам. На этот вопрос Морино отвечает: Марсель выступал точкой входа для импорта кожи и особенно шелка-сырца, обеспечивая шелком мануфактуры Лиона, которые лишь в этот момент перехватывали рынки Франции, куда ранее поставлялась продукция из северной Италии. Какие именно это были рынки? Это были королевские рынки предметов роскоши, которые процветали, несмотря на всеобщий спад. Этот рынок формировали три источника: переориентация существующего спроса, увеличение сеньориальных доходов и увеличение доходов придворных в результате роста налогообложения. «Тем самым стимулировалась торговля предметами роскоши, которая соперничала с торговлей оружием и кожей, поскольку XVI век, не забудем, был вооруженным столетием. Марсель закачивал соки его развития во внутренние ресурсы Франции, которая благодаря этому могла избежать отзвуков сокращения предложения драгоценных металлов» (*Morineau*, 1970, 168–169).

[172] Несмотря на «эффектные колониальные предприятия Англии [в XVII веке], торговля [все еще] оставалась главным образом внутриевропейской» (*Supple*, 1959, 7). Однако торговля с Голландией сокращалась, в то время как торговля с колониями росла (*Wilson*, 1965, 271–272)

[173] См. *F.J. Fisher* (1950, 156). Жаннен утверждает, что между 1650 и 1750 годами двумя главными рынками для западноевропейских мануфактур были североамериканские колонисты и собственно различные государства (*Jeannin*, 1964, 338–339). Опять же, тот факт, что Франция по сравнению с Англией была более крупным государством с более широкими потребностями, означал, соответственно, меньшую нужду в североамериканском рынке.

покупать, потом — в колониальных покупателях растущих мануфактур. Количественным фактором можно даже объяснить то, почему англичане развивали трехстороннюю торговлю, а французы нет. Увеличение числа кораблей вело к росту проблем, связанных с их плаванием в одном направлении и неполным использованием флота, — решением этих проблем и была трехсторонняя торговля;[174] это, безусловно, делало переселенческие колонии еще более полезными. Наконец, более масштабная атлантическая торговля Британии вела к более объемной реэкспортной торговле, что породило в Англии значимое антимеркантилистское лобби;[175] возможно, это же обстоятельство объясняет иное развитие событий в XVIII веке.

Часто утверждается, что другим значительным фактором экономического продвижения Англии было сочетание отсутствия пошлин с улучшением внутренней транспортной системы (устранение запруд, укрепление берегов, дноуглубление, сооружение шлюзов и сокращение маршрутов путем прорытия каналов).[176] Несмотря на то, что внутренние сборы во Франции давали сравнительно небольшой рост издержек (и не будем забывать, что это верно применительно лишь к торговле за пределами пяти «Больших откупов»), в целом транспорт во Франции был дорогим, утверждают Леон и Карьер. Они озадачены тем, что «сложно утверждать что-либо большее об этом очень сложном вопросе».[177]

Не будет ли верным посмотреть на данную проблему следующим образом? Транспортные издержки внутри Англии могли не сильно отличаться от стоимости транспорта в пределах северной тарифной зоны во Франции. Поскольку выезжать из Англии нужно было по морю, а из северной тарифной зоны Франции, по меньшей мере (если не главным образом), по суше, и поскольку именно в это время морской транспорт становится значительно менее затратным, чем наземный, постольку английская проблема, связанная с отсутствием значительного рынка в границах страны, превращается в преимущество Англии.[178] Возможно, суть дела в том, что Франция экономически была *богаче*, чем Англия. У Франции было меньше потребностей, которые подталкивали бы ее хозяйство в направлении развития «заграничной» торговли. Последнее могло не составлять значимого различия в ходе длительного периода сжатия, однако могло стать тем, что лучше подготовило Британию — экономически, политически и в военном отношении — к захвату преимущества в процессе новой экономической экспансии середины XVIII века.[179]

[174] См. *Davis* (1956, 71).

[175] См. *Wilson* (1967, 513).

[176] См. *T.S. Ashton* (1969, 72–74).

[177] См. *Léon and Carrière* (1970, 178).

[178] См. предшествующее рассмотрение этого вопроса в: *Валлерстайн* (2015a, 328–330).

[179] Не будем забывать, что в длительный период сжатия внешняя торговля даже для Англии не была чем-то всеобъемлющим. Клайд Рид, например, утверждает, что «в снижении транзакционных издержек важен именно общий объем транзакций, вне зависимости от национального происхождения тех, кто участвует в торговле. В то время, как [английская] внешняя торговля [в XVII веке] расширялась, ее уровень был ниже уровня внутренней тор-

Теперь мы должны обратиться к вопросу, как Англия и Франция справлялись с проблемой финансирования процессов производства и торговли. Требуется рассмотреть три сложные проблемы: роль металлов в торговле в рассматриваемую эпоху (предположительно, это была главная забота меркантилистов), доступность и потоки металлов и, наконец, воздействие государственных финансов на функционирование системы в целом. Джеффри Паркер утверждает, что в период 1500–1730 годов происходила «финансовая революция», ставшая значимой прелюдией к Промышленной революции. В аспекте частных финансов это означало две вещи: концентрацию кредитных возможностей в нескольких центрах и «связанную с этим эволюцию международной системы многосторонних платежей».[180] За двусмысленным значением слова *эволюция*, которым обозначается некий процесс, лежит масштабная полемика. До какого предела платежи в самом деле были многосторонними? Или, возможно, следует сформулировать вопрос более аккуратно: когда многосторонность платежей стала существенно превалировать, с тем чтобы как торговцы, так и правительства стали полагаться на нее в своих расчетах?

Эта повестка была сформулирована в хорошо известном обмене мнениями, возникшем в связи с тем, что Чарльз Уилсон не был удовлетворен тем, как Эли Хекшер отделался от меркантилистской логики (хотя в действительности он имел на это все права). Поскольку сдвиг от двусторонней к многосторонней системе платежей произошел только в *XVIII* веке, утверждает Уилсон, забота меркантилистов *XVII* века о доступности металлических денег была рациональной.[181] Хекшер отвечает, что «многосторонняя торговля и арбитраж существовали уже в средние века, а возможно, и еще раньше», и что средства, «с помощью которых <...> осуществлялась эта многосторонняя торговля», являются «вопросом производного характера».[182] Оборот металлов был лишь одним из способов осуществления многосторонних расчетов, а кроме того, существовал оборот векселей, без «универсального использования» которых

говли, и нет свидетельств того, что она росла быстрее. Поэтому внутренняя торговля очень даже могла играть доминирующую роль» (*Reed*, 1973, 184). Суть дела здесь хорошо схвачена. Однако остается рассмотреть, действительно ли общий объем транзакций во Франции был меньше, чем в Англии, особенно учитывая значительно больший размер Франции.

Таким образом, мы могли бы рассмотреть не национальный объем транзакций, но их объем на конкретных рынках. Париж, разумеется, никогда не совмещал административные и экономические функции в том же смысле, что Лондон — опять же, в силу размера и соответствующей географической структуры Франции. Рост Лондона как города и рынка получил широкое рассмотрение в литературе (*Wrigley*, 1967, 63), и действительно, транзакционные издержки в Лондоне могли быть ниже, чем в Париже и других центрах Франции. Если правы Норт и Томас и в промежутке 1500–1700 годов технологическое изменение было слишком незначительным, чтобы объяснять рост производства, а единственно достоверным источником этого роста была «сниженная стоимость использования рынка» (*North and Thomas*, 1973, 150), то это, возможно, объяснит преимущество Англии над Францией, но не более того.

[180] *Parker* (1974a, 532).

[181] *Wilson* (1949).

[182] *Heckscher* (1950, 221–222).

многосторонняя торговля «не могла происходить». Уилсон отвечает следующим образом: конечно, существовали *определенная* многосторонняя торговля и *определенное* использование векселей, однако объем торговли зависел (особенно на Балтике) именно от «связки» в виде драгоценных металлов или пряностей, а без металлов торговля была бы «повторно сведена к более или менее двусторонним условиям».[183]

Комментируя этот спор, Джейкоб Прайс обвиняет обе его стороны в «исторической неточности» и в рассмотрении всего периода меркантилизма как статичного. Переводные векселя, утверждает Прайс, вышли из Средневековья не просто из соображений безопасности или простоты платежа, «но отчасти с целью компенсации относительной редкости платежных средств (*currency*)». Прайс полагает, что с середины XVI века до 1660 года мировое предложение серебра переживало бум, позволивший торговле расширяться, однако затем предложение серебра сократилось, что вело как к росту использования векселей, так и к расширению товарных потоков с целью «сбалансировать торговлю».[184] Поэтому Прайс предлагает разделить две разных позиции, отдав первую половину XVII века Уилсону, а вторую — Хекшеру, поскольку, по мнению Прайса, данная разница объясняется количеством доступного металла. Его поддерживает Дж. Сперлинг, соглашаясь, что ключевым моментом в рассматриваемом сдвиге является 1660 год, после которого возник амстердамско-лондонский международный клиринговый центр, «расширявший возможности по удовлетворению потребностей растущей системы мировой торговли»[185] и поэтому сделавший возможным Промышленную революцию. Рудольф Блитц добавляет к этой дискуссии полезное напоминание, что драгоценные металлы являются таким же товаром, как и валюта (currency):

> «Если некоторая страна не производит ничего, кроме золота, которое она экспортирует в остальную часть мира в обмен на потребительские товары и средства производства, то более разумно рассматривать этот экспорт золота как "золотой товарный экспорт", нежели как признак неблагоприятного платежного баланса».[186]

Это утверждение полностью верно, и поэтому вопрос, почему металлы в XVII веке в большей степени перемещались по одним каналам, чем по другим,

---

[183] *Wilson* (1951, 232). Уилсон настаивает, что это реальная дискуссия: «Согласие с тем, что использование драгоценных металлов в качестве средства международных платежей формирует один из видов многосторонних расчетов, надеюсь, сузит поле аргументации. Однако данные платежи не сводятся только к указанному типу, так как мне все еще кажется, что остается разница в представлении о стандартной модели международной торговли и платежах в эпоху меркантилизма. Мне представляется, что проф. Хекшер придает слишком малую роль металлам и слишком большую роль векселям. Действительно ли мир Томаса Мана был столь же похож на мир Альфреда Маршалла, как предполагает проф. Хекшер? Является ли финансирование международной торговли субъектом без истории? Я так не думаю. [Существовали] движения металлов явно иного масштаба, нежели "незначительные суммы" XIX и начала XX веков» (*Wilson*, 1951, 233).

[184] *J.M. Price* (1961a, 273–274).

[185] *Sperling* (1962, 468).

[186] *Blitz* (1967, 41).

столь же важен, как и вопрос, куда именно они направлялись. Рассматривая различные торговые зоны, мы отметили, что исходно полемика Уилсона и Хекшера была сосредоточена вокруг балтийской торговли. При этом Уилсон утверждал, что «Балтика была бездонной бочкой, где исчезло большинство американского серебра, которое Испания отдавала в залог Амстердаму за голландский экспорт».[187] Однако при ближайшем рассмотрении оказывается неверным, что балтийская торговля *в целом* требовала экспорта серебра. Хинтон обнаруживает три направления английской торговли, для которых около 1660 года требовался вывоз серебра: Ост-Индия, Турция и Норвегия, в то время как данное требование «не обязательно было верным для балтийской торговли».[188] Именно комментируя высказывания Уилсона о Балтике, Острём утверждает, что серебряная монета вывозилась в Норвегию и Россию, а вовсе не в территории с высоким торговым оборотом (в Прибалтику и собственно в Швецию) — или же она туда вывозилась, но в гораздо меньшем объеме.[189] Кроме того, Сперлинг настаивает, что существуют «избыточные свидетельства» использования на Балтике векселей, а Мирослав Грох и Кристоф Гламанн предполагают, что дефицит балтийской торговли мог быть компенсирован противоположным торговым балансом на сухопутном торговом пути с востока на запад.[190] Куда в таком случае направлялись металлы? Представляется, что они уходили в Норвегию и Россию, возможно, в Турцию и, что наиболее важно, в Ост-Индию и в еще одно место — в Голландию. Ост-Индия и Голландия — любопытная пара! Причем два эти потока металлов были довольно различны по форме и цели.

Дэйлз утверждает, что Уилсон прав, однако не в отношении Балтики — по его словам, аргументы Уилсона справедливы в первую очередь применительно к торговле между Европой и «Востоком».[191] Работа К.Н. Чодхури, похоже, оставляет мало сомнений в том, что между 1600 и 1750 годами имел место непрекращающийся отток металлов из Англии в Индию. Однако что это означало? О начале XVII века Чодхури говорит:

> «Поскольку [Ост-Индская] компания стала локальным трейдером на рынках Азии, можно утверждать, что денежный экспорт наполовину имел характер

---

[187] *Wilson* (1949, 154). Саппл поддерживает Уилсона против Хекшера (*Supple*, 1959, 86), цитируя работу 1641 года, написанную Льюисом Робертсом* и озаглавленную «Купеческая карта коммерции»: «Известно, что население Прибалтики имеет так мало золота и серебра, что, презирая все, что их касается [sic], они продают свои богатые товары… по низкой цене, особенно те, которые предназначены для повседневной пищи» (*Supple*, 1951, 176).

[188] *Hinton* (1959, 115).

[189] См. *Åström* (1963, 82).Хекшер также настаивал на «наличии, мягко говоря, немалого следа продолжительного притока серебра [в Швецию]» (*Heckscher*, 1950, 225). Однако Артур Эттмэн применительно к торговле с Россией утверждает, что, «по меньшей мере, ближе к середине XVII века каждой стране приходилось платить за свой торговый дефицит драгоценными металлами» (*Attman*, 1973, 160).

[190] *Sperling* (1962, 461). Некоторая часть серебра, приходившего на Балтику, тратилась поляками в Леванте в обмен на «восточные предметы роскоши» (*Mączak*, 1976b, 2, см. тж. *Mączak*, 1974, 507). См. тж. *Hroch* (1971, 26) и *Glamann* (1977, 262).

[191] *Dales* (1955, 142–143).

> экспорта капитала, каковой, будучи инвестированным в азиатские фактории компании, производил высокую прибыль, из которой могла делаться, по меньшей мере, часть закупок для Европы».[192]

Однако последующий импорт предполагал, что некоторые товары (в первую очередь пряности) будут дешево приобретены в Азии и дорого проданы в Европе. С точки зрения платежных средств, Чодхури обнаруживает «ключевую причину утечки драгоценных металлов <...> в выраженно широкой диспропорции в товарной стоимости золота и серебра на двух континентах».[193] Но откуда взялась именно такая диспропорция?

Приступая к анализу периода 1660–1720 годов,[194] Чодхури предполагает, что Ост-Индская торговля «по своему характеру также становилась многосторонней». Тем не менее, данные, которые он предоставляет, не демонстрируют существенный спад экспорта металлов — в действительности скорее наоборот. В целом, утверждает Чодхури, деньги продолжали составлять 70–90% общей годовой стоимости экспорта — отсюда можно предположить, что «основные экономические факторы, лежавшие в основе торговли между Европой и Индиями, в XVII и начале XVIII веков фундаментально не изменились». Что касается Голландии, то приводимые данные показывают, что с 1672 по 1695 годы она получала 70–90% всех драгоценных металлов и монет, экспортированных из Англии,[195] а с 1699 по 1719 годы на Голландию по-прежнему приходились «самые большие перемещения денег» из Англии.[196]

Следует дополнительно отметить еще одну деталь: под «драгоценными металлами» имеются в виду и золото, и серебро, а их перемещения имели отчетливые различия. Существовали соотношения золота к серебру, которые варьировались, однако есть ли у нас какие-то доступные для наблюдения схемы? Герберт Люты предлагает одну очень важную модель, в рамках которой и золото, и серебро прибывали из-за пределов собственно Европы — по крайней мере, по большей части. Затем Европа реэкспортировала свое в основном американское серебро в Азию, «почти полностью оперировавшую

---

[192] *Chaudhuri* (1963, 26), тж. см. Singh (1977, гл. VII). Об оттоке металлов из Испании на Филиппины см. *Chaunu* (1960b, 268–269), из Голландии в Ост-Индию — *Schöffer* (1966) и *Van der Wee* (1977, 310). Чодхури делает следующий вывод относительно голландского импорта в Коромандель: «Основные статьи импорта, помимо драгоценных металлов и монет, были по своему характеру предметами роскоши» (*Chaudhuri*, 1962, 197). Однако в случае с Голландией ее способность перехватывать внутриазиатскую морскую торговлю между Индией, Китаем и Японией «позволила [ей] сократить объем золотой и серебряной монеты, которому Запад позволял утекать на Восток, чтобы сбалансировать платежи. Поэтому вплоть до 1668 года японское серебро позволяло голландцам частично обходиться без испанских пиастров и давало им определенное преимущество перед английскими конкурентами» (*Deyon*, 1978b, 229).

[193] *Chaudhuri* (1963, 27).

[194] *Chaudhuri* (1968, 484, 495).

[195] См. *Åström* (1963, 82).

[196] *Chaudhuri* (1968, 496).

[197] *Lüthy* (1961, 34). Люты утверждает, что Азия «почти полностью оперировала одним металлом — серебром, но это не то же самое, что полностью». Чодхури отмечает,

одним металлом — серебром».[197] Золото же играло другую роль в европейском мире-экономике. Оно «прибывало в Европу и оставалось там, выступая прежде всего в качестве маневренной массы для крупномасштабных коммерческих расчетов и взаимных платежей в межгосударственных расчетах европейских стран».[198]

Теперь вернемся к различию между торговлей внутри капиталистического мира-экономики и торговлей между какой-либо отдельной мир-системой и ее внешней сферой. В рассматриваемом нами случае в качестве такой мир-системы выступает европейский мир-экономика, а в качестве внешней сферы — в первую очередь Ост-Индия, а также Норвегия, Россия и, возможно, Турция. Для облегчения обменов внутри системы требуются *деньги* (currency) (в случае с европейским миром-экономикой это серебро и медь в повседневных расчетах, опирающиеся на золото). Очевидно, что для этой цели также служат бумажные инструменты (переводные векселя). Мы можем рассчитывать, что подобные обмены в основном будут многосторонними и будут осуществляться в первую очередь при помощи бумаги с отдельными расчетами в золоте, которое переводится в международный финансовый центр (каковым в XVII веке был Амстердам). В обмене между двумя экономическими сферами, каждая из которых является внешней для другой, «деньги» не используются. Обмен оказывается сравнительно двусторонним и осуществляется в товарах, которые имеют взаимную ценность — в нашем случае европейское

что с 1662 по 1680 годы Ост-Индская торговля поглощала золото, которого требовал юго-восток Индии и которое затем оказывалось на переднем крае торговли. Однако «в 1676 году по некой причине, которая по-прежнему неясна, серебряный эквивалент золота на индийских рынках металлов внезапно рухнул» (*Chaudhuri*, 1968, 488).

[198] *Lüthy* (1961, 35). Конечно, серебро использовалось и в пределах Европы, но для рыночного обмена, а не для расчетов через счетные палаты (clearance). Люты добавляет следующее примечание лингвистического характера, которое проливает свет на проблему: «Если по-французски слово "серебро" (*argent*) стало термином, используемым для обозначения денег, то счетная денежная единица обозначалась как "золотая единица" (*point'or*)» (Люты использует во французском тексте английский термин «счетная денежная единица» (specie-point)).

Руис Мартин указывает на «превосходство» серебра над золотом на европейских финансовых рынках «с 1609 года <...> вплоть до XVIII века». Он утверждает, что это частично объясняется спросом со стороны Востока. «К примеру, голландцы и англичане в своих дипломатических контактах с алжирцами и персами постоянно слышали, что для капитуляций следует применять единые условия': платить в [серебряных] кастильских *реалах*» (*Martín*, 1970, 56). Однако Сперлинг, говоря о «серебряном кризисе», который пришелся примерно на 1680–1703 годы, задается вопросом, почему золото не заменило серебро в морской торговле с Ост-Индиями. «Серебро уходило на восток *не потому, что торговля зависела от него* в каком-либо абсолютном смысле, а потому, что это прибыльно. <...> Во-вторых, <...> золото, конечно, могло использоваться, но прибыль оказалась бы ниже, поскольку для европейцев ухудшились бы условия торговли» (*Sperling*, 1962, 466–467, курсив добавлен). Сперлинг отмечает, что в рассматриваемый период соотношение серебра к золоту составляло 17:1 в Испанской Америке, 15:1 в Европе, 12:1 в Индии и 9:1 в Японии. Но откуда бы еще взяться этим различным соотношениям, как не из различных оценок того, в каких целях использовались данные металлы?

серебро обменивалось сначала на пряности, а затем на набивной ситец Ост-Индии. Монеты или драгоценные металлы, которые доставлялись в Азию (а также в Россию), в основном использовались «для накопления и в качестве ювелирных украшений»,[199] а «баланс торговли» (если мы отказываемся рассматривать серебро как товар) был *продолжительно* неблагоприятным и в течение долгого промежутка времени оставался в основном двусторонним. Два этих факта и являются свидетельством того, что Ост-Индия оставалась для европейского мира-экономики *внешней сферой*. С другой стороны, тот факт, что торговля Западной Европы с Прибалтикой (а также Швецией) в основном регулировалась многосторонним образом и с помощью переводных векселей, является свидетельством того, что обе эти торговые зоны были частью одной экономической системы.

Производство золота и серебра в качестве товаров делало Американский континент периферийной зоной европейского мира-экономики в той мере, в какой эти товары были существенны для функционирования данного мира-экономики, причем это было существенно до того момента, пока они использовались в качестве *денег* (money). Если бы *весь объем* американских металлов утекал в Азию, обе Америки стали бы просто еще одной внешней сферой, а Европа оказалась бы лишь осью трех сфер — Америки, Европы и Азии, получающей азиатские предметы роскоши по цене товаров, которые отправлялись в Америку. Однако обе Америки не были заинтересованы в обмене своих металлов, а также определенно и в их добыче. Поэтому европейцы сначала захватили золото инков, затем разрабатывали рудники Потоси и мексиканское серебро в поисках все новых территорий добычи металлов, среди которых самым значимым вскоре окажется бразильское золото. Европейцы отправляли переселенцев с целью политического контроля территории Американского континента и импортировали туда рабочую силу. Короче говоря, европейцы включили обе Америки в свой мир-экономику в первую очередь потому, что им была необходима основательная денежная база для расширяющейся капиталистической системы, а во-вторых, для использования излишков драгоценных металлов в торговле с Азией. Не потому ли англичане в 1663 году отменили запрет на экспорт этих металлов на Балтику,[200] что этот регион уже был действительно надежно встроен в систему многосторонних платежей?

В таком случае существовало ли какое-либо обоснование для меркантилистской озабоченности оборотом драгоценных металлов? Да, существовало — поскольку оборот металлов в качестве *денег* (currency) был одним из механизмов, с помощью которого держава-гегемон обеспечивала себе дополнительное преимущество. Беспокоясь о движении металлов, не беспокоились ли английские (и в меньшей степени французские) меркантилисты о том, что

[199] *Sperling* (1962, 450).

[200] См. *Wilson* (1967, 509).

[201] Саппл утверждает, что реальной проблемой правительств было быстрое приспособление к изменениям оборота металлов, — иными словами, трудности с ликвидностью. «В этом свете "меркантилизм", как его обычно понимают, с большей готовностью принимает появление защитного механизма, нежели агрессивную, ошибочную и само-

деньги направлялись *в Голландию*, а потоки товаров — через Голландию?[201] Если серебро, утекающее в Ост-Индию, было реальной проблемой, то почему в таком случае никогда не предпринималось серьезной попытки препятствовать этому? Потоки металлов *внутри* европейского мира-экономики зависели, в свою очередь, не только от механизмов финансовых расчетов, но также от контроля над производством металлов как товара, равно как и от их общего доступного предложения. Именно в этом аспекте предстает перед нами проблема так называемой нехватки драгоценных металлов в XVII веке.

Утверждается, что в XVII веке мировое производство серебра падало, а производство золота стагнировало, в то время как импорт металлов из обеих Америк в Испанию круто снижался.[202] Переоценивая испанские потоки металлов, Морино скептически относится к полученным фактам и с еще большим сомнением — к интерпретациям, которые выстраиваются на основании этих фактов:

> «В любом случае <...> мы больше не можем рассматривать XVII век в смысле общего и универсального кризиса, а еще менее — в смысле острой нехватки золота и серебра как в отношении их источников в Америке, так и в их прибытии в Европу. Подлинные проблемы имеют иной характер». [203]

Морино не стремится отрицать снижение количества металлов, прибывавших в Испанию, хотя он уверен, что обычно используемые показатели преувеличены — однако он сомневается, что это было результатом долгосрочного тренда. Он утверждает, что причиной этого была серия случайных экономических факторов, еще больше сомневаясь в том, что экономическое сжатие европейского мира-экономики (в тех пределах, в которых Морино таковое признает) может быть объяснено изменением предложения драгоценных металлов.

Обе проблемы достойны обсуждения. Почему сокращался импорт металлов? Очевидно, это должно было происходить в результате падения либо спроса, либо предложения? Наиболее распространенное объяснение — это падение предложения: легкие источники металлов были истощены и чрезмерно эксплуатировались. Добыча благородных металлов теперь была более затратным делом, а для открытия их новых источников требовалось время. Одним из объяснений этого является указание, что экспансия XVI века израсходовала данный ключевой ресурс на определенном уровне технологии, а следовательно, возникли нехватка капитала и, соответственно, депрессия. На это Морино отвечает, что около 1620 года, «когда золото и серебро стали прибывать редко», существовали люди, действовавшие «сообща с <...> теми

разрушительную охоту за сокровищами. Обеспокоенные количественными и качественными потерями денег, власти вполне грамотно желали контролировать их отток, прежде чем он произведет хроническое расстройство экономики» (*Supple*, 1959, 194).

[202] См. обобщающее рассмотрение в: *Vilar* (1974, 237–244).

[203] *Morineau* (1969a, 346–347), тж. *Morineau* (1978b, 80–85).

[204] *Morineau* (1969a, 311). Например, при объяснении «пузыря» прибытий металлов в Испанию в последние два десятилетия XVI века Морино ссылается на тот

стихийными силами, которые создавали этот тренд».[204] Для Морино это был случай, когда люди, «возможно, следуют за стихиями», а не наоборот.

Драгоценные металлы, как и любой другой товар, имеют свою цену, а общая инфляция цен — главная финансовая характеристика XVI века — часто означает снижение цены металлов. Однако металлы в качестве денег есть лишь один из элементов реального обмена.[205] В рассматриваемое время импорт металлов замедлялся. Это был «эффект Дрейка» — по словам Морино, «"современная" версия дамоклова меча».[206] И даже если каперы перехватывали всего лишь несколько конвоев, это имело, по словам Морино, «более тонкий, более действенный, более пагубный» эффект: это провоцировало отсрочки платежей, что в конечном итоге приводило к банкротствам. К «эффекту Дрейка» конца XVI века в середине XVII столетия добавился «эффект Блейка»*, который «уничтожил испанскую *Карьеру*»».[207]

Однако эти военные грабежи попросту увеличивали стоимость металлов. Если потребность в последних была такой же, как раньше, то почему эти издержки нельзя было переложить на плечи потребителя? Почему не отправлялось больше кораблей? Не стоит игнорировать реалии сжатия — его первопричиной было не сокращение предложения металлов, а сокращение спроса для этого предложения. В начале XVII века сокращавшийся спрос был вполне на руку державе-гегемону, поскольку Голландия благодаря своему производственному и коммерческому превосходству могла привлекать уже существующие металлы в любых количествах.[208] И когда предложение действительно стало «коротким», металлы оказались основой системы прибыльных инвестиций. К середине столетия голландские купцы оставляли в Лондоне металлы, которые они получали в качестве платежей от своих

факт, что король забирал для метрополии больше американских металлов (которые, предположительно, были бы в любом случае добыты, но иначе не пересекли бы Атлантику), и на то, что он брал с индейцев и испанцев бóльшую долю (*Morineau*, 1969a, 334). Однако индейцы не получали плату металлами, а испанские поселенцы, предположительно, хотели бы потратить их на покупки в Испании, а стало быть, металлы в любом случае пересекли бы Атлантику. Дейон выражает столь же скептическое отношение, как и Морино: «Нельзя и мечтать о том, чтобы отрицать роль неожиданных открытий, однако нельзя и не проявить сдержанное отношение к интерпретации, которая хоронит судьбу Европы в глубинах американских рудников» (*Deyon*, 1967, 84).

[205] Используя исторические данные этого периода, Рене Баэрель утверждает, что металлы или деньги являются «вторичным феноменом» (*Baehrel*, 1953, 309). Я бы сформулировал иначе: это товар — такой же, как пшеница или ткани, и мы должны выяснить условия торговли всеми этими товарами в отношении друг друга.

[206] *Morineau* (1969a, 331–332). Морино добавляет, что «эффект Дрейка» был «прежде всего телом господним для страховых компаний». Об этом эффекте см. тж. *Parry* (1961, 127) и *Lynch* (1969, 190).

[207] *Morineau* (1969a, 346). Речь идет об английском адмирале Блейке, который в 1656 году атаковал 8 испанских галеонов в Кадисе, потопив два из них и захватив еще два.

[208] По утверждению Пьера Вилара, «к середине столетия капитал Голландской Республики определенно был, как минимум, равен капиталу всей остальной Европы» (*Vilar*, 1974, 241).

английских клиентов, и стали отдавать их в рост под 5–7%. Тем самым создавался механизм, «который в свое время облегчит давление на капитал в его "чистых" (solid) формах».[209]

Мы избрали окольный путь, чтобы прийти к предмету нашего обсуждения — доступности металлов во второй половине XVII века и его значению в аспекте англо-французского соперничества. Поскольку объем производства драгоценных металлов был ниже, чем у других товаров, металлы на протяжении столетия становились все более редкими. Эта нехватка стала ощущаться, что вело к возобновлению поиска золота и серебра.[210] Люты сомневается, что в эти годы нехватки металлов Франция выглядела сколько-нибудь хуже, чем другие страны, отмечая, что в годы мира у Франции был очень позитивный баланс торговли. Люты полагает, что в случае с Францией как государством и сферой финансового обмена ее денежный голод, в отличие от Голландии и Англии, «не был смягчен наличием какого-либо института, который с готовностью и в любых количествах мог бы мобилизовать иные средства обращения, или сбережения, или — не менее важно — накопленные богатства».[211]

Как обычно, подобное объяснение отбрасывает нас на шаг назад, поскольку становой хребет Европы обладал протяженными и развитыми банковскими структурами. В XVII веке этому примеру следовала Голландия, что было естественным следствием ее гегемонии. Почему в конце столетия Англия, более чем Франция, была способна пойти этим же путем? У меня нет четкого ответа, однако я могу предложить два наблюдения, идущих руку об руку. Во-первых, внутри европейского мира-экономики социальное использование трех денежных металлов было (и в действительности по-прежнему остается) более или менее следующим: золото предназначалось для международных расчетов и государственных дел (а также для накопления), серебро — для крупномасштабной внутренней торговли, а медь — для домохозяйств и мелких коммерческих нужд. Поскольку, как мы уже объяснили, французская продукция по большей части продавалась на французском же рынке, а английская (а также голландская) — в большей степени на экспортных рынках,

---

[209] *Wilson* (1949, 160). Стоун отмечает падение процентной ставки в Лондоне с 10 до 5% в период 1620–1650 годов, говоря, что ставки были одинаковы в любой стране Европы, за исключением Голландии. «Это впечатляющее сокращение процентных ставок было и причиной, и следствием роста ликвидного капитала и развития институциональных возможностей для его использования, таких как акционерные компании и депозитный банкинг с нотариусами и ювелирами» (*Stone*, 1972, 69). Если металлы, которыми владели голландцы, действительно стали причиной падения процентных ставок, не будет ли на самом деле лучшим объяснением этого сокращение глобального ликвидного капитала, который не выдерживал роста ликвидного капитала, доступного для займов через банки?

[210] «Прежде всего всегда необходимо помнить, что время очень низких цен на товары в целом является временем высокой покупательной способности драгоценных металлов, а значит, и стимулом к их поиску» (*Vilar*, 1974, 247).

[211] *Lüthy* (1959, 95). Люты сомневается в правильности использования понятия «нехватка денег» и предлагает говорить скорее о нехватке ликвидности, указывая, что в то время слово *reserrement* (сжатие) означало и накопление, и недостачу денег.

два наших соперника двигались в направлении «фактического монометаллизма» — к серебру в случае Франции и к золоту в случае Англии.[212]

Второе наблюдение имеет отношение к роли медной монеты или, скорее, к ее умножению — «кошмару этого столетия».[214] Спунер утверждает, что существовала обратная связь между тем, в какой степени обращались (а не накапливались) золото и серебро, и оборотом медной монеты и аккредитивов. С точки зрения мира-экономики, последние два инструмента шли рука об руку,[215] однако не являлись ли они альтернативами с точки зрения национальной политики? На протяжении XVII века французское государство стремилось во что бы то ни стало избегать девальвации *livre tournois* [турского ливра — *фр.*],[216] однако сравнительно преуспело в этом лишь в эпоху Кольбера. Не имеем ли мы в данном случае еще один пример того, как размер государства оказывается фактором в мире-экономике? Французское государство, экономически обращенное вовнутрь, а политически — вовне, ориентировалось на серебро, но сдерживать напоминавшее эпидемию распространение меди во времена нехватки серебра было невозможно, за исключением единственного момента, когда Франция пыталась изменить политико-экономический механизм, — а именно эпохи Кольбера. Английское государство, вынужденное экономически глядеть вовне, а политически глядевшее вовнутрь, ориентировалось на золото. Поэтому Англия была открыта для международной «золотой» банковской сети и была в состоянии использовать бумагу, а не медь.

В таком случае, какое же из государств было «сильным»? Обычно этот вопрос не вызывает сомнений. Разве Людовик XIV не был воплощенным абсолютным монархом? И разве не стали проблемы Франции результатом того, что государство и аристократия вместе душили буржуазные начинания? Однако ситуация видится мне несколько иначе. В начале рассматриваемого нами периода, в 1651 году, Соединенные Провинции были «сильным» государством. К концу этого отрезка, к 1689 году, и Англия, и Франция были «сильнее» Соединенных Провинций и примерно равны по отношению друг к другу. В XVIII веке Британия станет сильнее Франции, и именно слабость, а не сила французского государства приведет в движение революционеров 1789 года. Конечно, в центре данной аргументации находится представление о том, что именно понимать под силой государства.

В капиталистическом мире-экономике собственники-производители хотят от государства выполнения за его счет двух ключевых функций. Они

---

[212] *Lüthy* (1959, 97). Данный факт имел продолжительные последствия. Вилар указывает, что в первой половине XVIII века «Англия основывала свое денежное обращение на сношениях с Бразилией и Португалией, а стало быть, на золоте. Франция же концентрировалась на сношениях с Испанией и Карибским бассейном, а значит, рассчитывала на серебро как базис своей валюты» (*Vilar*, 1974, 324).

[213] *Vilar* (1974, 287).

[214] См. *Spooner* (1956, 3–4).

[215] См. *Pillorget* (1966, 129).

[216] См. *Lüthy* (1959, 98).

хотят, чтобы государство помогло им достичь преимущества на рынке или сохранить его путем ограничения или расширения «свободы» этого рынка за цену меньшую, чем увеличившийся доход, независимо от того, является данное вмешательство государства позитивным или негативным. Таков интерес одного собственника относительно других. Кроме того, собственники-производители хотят, чтобы государство помогло им извлечь более крупную долю прибавочного продукта, нежели они могли бы сделать это в ином случае — опять же, за цену меньшую, чем возникающий в результате рост дохода, и столь же безотносительно к тому, является ли здесь роль государства активной или пассивной. Соответственно, для собственника-производителя сильное государство — это не обязательно такое государство, которое обладает наиболее широким аппаратом либо максимально деспотично осуществляет процессы принятия решений. Довольно часто верно как раз обратное.

Не надо лишний раз говорить, что сила государства соотносится с экономической ролью собственников-производителей этого государства в мире-экономике; однако, чтобы данные утверждения не остались простой тавтологией, необходимо иметь определенные независимые *политические* критерии этой силы. Мы предлагаем пять подобных критериев. 1) Степень, в которой государственная политика может напрямую помочь собственникам-производителям конкурировать на мировом рынке (меркантилизм). 2) Степень, в которой государства могут влиять на конкурентоспособность других государств (военная сила). 3) Степень, в которой государство может мобилизовать свои ресурсы для осуществления данных конкурентных и военных задач при уровне издержек, не поглощающем доходы (государственные финансы). 4) Степень, в которой государства могут создавать административные органы, способные быстро принимать тактические решения (эффективная бюрократия). 5) Степень, в которой политические правила отражают баланс интересов собственников-производителей таким образом, что «гегемонистский блок» (используя выражение Антонио Грамши) формирует стабильный фундамент подобного государства. Последний элемент — политика классовой борьбы — является ключевым для остальных.

Все перечисленные критерии являются политическими, а не экономическими, поскольку это не критерии производственной эффективности. В конечном итоге, разумеется, политические и экономические критерии взаимосвязаны, поскольку производственная эффективность делает возможным укрепление государства, а это, в свою очередь, далее стимулирует эффективность через использование внерыночных средств. Государства, где сосредоточены *самые* эффективные производители, менее нуждаются в активном вмешательстве в мировой рынок, нежели государства, где размещены производители со скромной эффективностью. Поскольку эффективность производства связана со способностью государственного аппарата вмешиваться в мировой рынок, государства, где находятся наименее эффективные производители, не в состоянии быть «сильными». Роль государства на мировом рынке (который, конечно же, включает в себя и внутренний рынок) находится в *нелинейном* отношении к экономической роли собственников-производителей,

находящихся на территории государства. Государственный аппарат (the state) наиболее «активен» в государствах со скромной силой. Риторика силы ("l'Etat, c'est moi" [Государство — это я. — *фр.*]) часто является восполнением реального положение дел.

Виги в своей интерпретации истории рассматривают современность (modern times) как эпоху, содержащую единственную долгосрочную историческую задачу для слабого государства — задачу, которая рассматривается как тождественная продвижению человеческой свободы. Данная перспектива за малым не доходит до теоретически объемлющего анархизма, но и только. В той степени, в которой многие марксистские историки рассматривали Английскую революцию в таком же ракурсе, они разделяли эту же мистификацию.[217] Я же рассматриваю современную историю государства скорее как одну длительную задачу создания структур, достаточно *сильных* для защиты интересов одной группы собственников-производителей против других их групп, а в равной степени, конечно же, и против трудящихся.

В данном отношении одним из ключей к эффективности является военная мощь. Дж.Х. Пламб справедливо порицает тех голландских историков, которые при отсутствии централизованного государственного аппарата видят «чудо» в том, что голландская мощь нарастала в промежутке с 1580 по 1640 годы. Как очень точно замечает Пламб,

> «чудо заключается в том факте, что, несмотря на интенсивное соперничество между государством и городами и постоянное препятствие в виде отстаиваемых прав и привилегий, голландцы оказались способны собирать огромные флотилии и армии и платить за них главным образом за счет системы налогообложения. И это было достигнуто в основном благодаря самоотверженности кальвинистских олигархий, которые обладали сильным и жизненным чувством собственного предназначения как класса и как нации».[218]

О чуде можно говорить только в том случае, если рассматривать абсолютизм как оптимальный путь к сильному государству, а не как *pis aller* [последнее средство — *фр.*]. Самоуверенный и самонадеянный буржуазный класс может *пойти на* необходимые коллективные договоренности, для установления которых в ином месте потребовался бы сильный монарх, — буржуазный класс может пойти на это при отсутствии рисков последнего формата, когда сильный монарх мог обманывать себя возможностью воссоздания «универсальной монархии» в рамках капиталистического мира-экономики. Именно в этом грехе — в подражании Карлу V — Якоб Буркхардт обвинял Людовика XIV, а затем Наполеона:[219] из слабости вырастало безрассудство.

---

[217] Именно в этом Роберт Эштон обвиняет Кристофера Хилла: «Для него как для вига XVII век — это действительно великая героическая эпоха возникновения современного либерализма» (*Ashton*, 1965, 581).

[218] *Plumb* (1965, xxii). Дж.Р. Джоунс аналогичным образом утверждает, что до 1640 года бессилие Англии «по отношению к голландцам было критическим» (*J.R. Jones*, 1968, 41).

[219] См. *Burckhardt* (1965, 144–145, 152–153): «*Рост* собственной власти и собственных владений был для Людовика XIV прежде всего способом их *сохранения*».

Мы уже рассмотрели, как и почему три центральные державы повернулись друг против друга в результате экономических трудностей XVII века, а также то, как Англия спутала планы Соединенных Провинций на море, а Франция — на суше, как только Англия и Франция обратили свою энергию на усиление военных структур. Голландцы страдали от двух проблем. Они *защищали* преимущество, а не стремились к нему — по меньшей мере, для доброй части регентского класса это означало, что издержки военных приготовлений часто представлялись бóльшим злом, нежели потенциальные убытки от отсутствия этих приготовлений.[220] Такова вечная дилемма богатства в отношении перестраховочной политики, хотя в военных делах приходится бежать даже для того, чтобы оставаться на месте. Хуже того, именно рассматриваемый период был временем значимого увеличения размера военных соединений.[221] Это породило масштабную проблему обеспечения выросших армий, поскольку «количественный рост войск значительно превосходил прогресс средств производства».[222] Для Соединенных Провинций конкуренция с Англией и Францией стала требовать гораздо больше затрат в момент, когда голландцы, возможно, утрачивали свою энергию.

Помимо ранее рассмотренных соображений относительно причин, толкнувших Францию в континентальном (наземном) направлении, а Англию и Голландию — в морском, подобную военную ориентацию подтверждало чистое демографическое превосходство Франции — особенно с того момента, когда абсолютная численность армий стала расти по всей Европе. Данное сугубо военное соображение также объясняет неизбежность англо-голландского примирения за счет французов.[223] Похоже, что шок 1672 года привел голландцев к пониманию того, что главным их врагом была Франция,[224] а вступление Вильгельма III на английский трон в 1688 году окончательно примирило купцов Амстердама с ролью младших партнеров Англии.[225]

---

[220] Уилсон объясняет высокие ставки голландских налогов именно расходами на оборону. О периоде после достижения независимости он говорит: «Сражаться, защищая самого себя, — это могло нести большее удовлетворение, чем обладание бессильной преданностью династическому сюзерену. Но это было не сильно дешевле» (*Wilson*, 1968, 235). Смит указывает, что растущие военные издержки в последней четверти XVII века «превосходили возможности налоговой или демографической базы страны». Чтобы выдерживать конкуренцию, голландцам приходилось тратить «ошеломительные суммы <...> — и это в стране, уже имевшей высочайшую ставку налогообложения» (*Smit*, 1975, 62).

[221] Сэмюэл Файнер утверждает, что «этот резкий рост в любом случае начался после окончания Тридцатилетней войны в 1648 году» (*Finer*, 1975, 101).

[222] *Perjés* (1970, 3). Гламанн указывает, что в конце XVII века в британском флоте насчитывалось 20 тысяч человек в морской службе — «показатель, сопоставимый с современным населением таких городов, как Бристоль и Норвич» (*Glamann*, 1977, 200).

[223] Джон Карсуэлл утверждает, что в 1685 году английские и голландские вооруженные силы были «еще сопоставимы» по силе, но при этом зависели от «специального усилия по сбору» ресурсов для войны, в то время как Франция имела «значительные профессиональные вооруженные силы» (*Carswell*, 1969, 24).

[224] *Carter* (1975a, 12, 33).

[225] О сопротивлении амстердамских купцов в 1683 году и об изменении их взглядов в 1688 году см. *Smit* (1968, 33). Об англо-голландском «враждебном симбиозе», веду-

Кажущаяся военная сила Франции не выдержала испытания — Тапье утверждает, что она достигла своего апогея в 1679 году,[226] а Андре-Ж. Бурд, упрекая Людовика XIV в зацикленности на южной континентальной оси вместо заботы о северной морской, говорит о последовавшем за этим «провале Людовика XIV».[227] Поэтому, если мы хотим объяснить окончательное[228] военное поражение французов, необходимо обратиться к невоенным факторам — вопросу о меркантилизме и его превратностях.

Мунье утверждает, что со времен Генриха IV до эпохи Людовика XIV кольбертизм был перманентным свойством французской политики, цель которого была «прежде всего политической».[229] Что, предположительно, это может означать? Судя по всему, усиление государства рассматривается Мунье в качестве конечной цели в себе, в качестве результата, который суверен может преследовать на самом деле. Несомненно, он может это делать — в качестве аберрации, однако преуспеет ли он в этом на самом деле? Французским королям это определенно не удалось. В действительности и государство эпохи Реставрации в Англии, и кольберовская Франция сознательно и активно стремились поддерживать собственные производящие классы против иностранных конкурентов с целью создания торгового флота и выработки жизнеспособной модели раздела совокупного национального продукта между государством и собственниками-производителями. Леон и Карьер отмечают рост количества больших кораблей при Кольбере, но при этом говорят, что не следует приписывать это достижение одному лишь Кольберу, поскольку на самом деле оно было результатом «значимости войн».[230] Делюмо указывает на общее улучшение экономической ситуации при Кольбере, однако полагает, что это улучшение в меньшей степени обязано ему лично, нежели «политической стабилизации», ставшей следствием разгрома Фронды.[231] Короче говоря, указанные авторы предполагают, что намеренная политика небольшой группы не была здесь ключевым фактором, поэтому следует обратиться к лежащим в ее основе движущим силам (pressures). Я согласен с этим, но в таком случае мы могли бы использовать аналогичный ход рассуждения и применительно к Англии, где военные стимулы также воздействовали на кораблестроение, а после 1660 года произошло затихание политического насилия.

Уилсон предлагает объяснение *различия* между Англией и Францией в метафорической форме: «Вся разница между английским "меркантилизмом" и

щем к партнерству во главе с Англией, см. *Hobsbawm* (1960, 112). О том, что это обстоятельство на некоторое время заставило Людовика XIV расценивать Англию как страну, ставшую его «принципиальным соперником», см. *Bourde* (1960, 54).

[226] *Tapié* (1960, 12).

[227] *Bourde* (1960, 63).

[228] См. *Hobsbawm* (1960, 111, курсив добавлен): «Во Франции конца XVII века впечатляет не кольбертизм, а его относительный неуспех; не реформа монархии, а ее провал, *несмотря на куда более значительные ресурсы* для экономической конкуренции — *а следовательно, в конечном итоге, и для военной* — с ее морскими соперниками, и последовавший разгром с их стороны».

[229] *Mousnier* (1967, 269).

[230] *Léon and Carrière* (1970, 190).

кольбертизмом и его производными — это разница между костюмом, сделанным портным, и готовым платьем».[232] Рассмотрим эту метафору в ее возможном применении к системе государственных финансов и государственному управлению в целом. Для держав центра «институционализация войны»[233] в XVII веке означала значительно возросший уровень государственных расходов — для Голландской Республики они действительно оказались слишком велики. А что же Англия и Франция? Откуда-то нужно было брать большее количество денег, и этим «откуда-то» должны были выступить денежные классы. Причина была проста. Поскольку капитализм как система уже предполагал возросшее обложение продукции, произведенной рабочим, любой рост государственных налогов на работника в действительности означал меньший доход для денежных классов. Это могло происходить по двум причинам: либо потому, что последние не смогли бы получать прежние ренты за свою землю, либо потому, что им пришлось бы в результате платить более высокие заработные платы.[234]

Для государства существовала двойная проблема: получение денег и грамотное их расходование. Последнее означало не честное, а продуктивное расходование, с использованием в качестве критерия продуктивности того, в какой степени возросшие доходы национальной буржуазии на мировом рынке превосходили косвенные издержки буржуазии от подобных государственных трат. Проблема была той же самой и для английского, и для французского государства, и применительно к Реставрации в Англии и эпохе Кольбера во Франции неясно, существовало ли значительное различие в способности двух стран ответить на этот вызов.

Необходимо было не только достать денег — требовалось делать это быстро, что означало заимствование из каких-либо источников. Этот момент по-прежнему составлял преимущество Соединенных Провинций, где «здоровое состояние государственного кредита <...> было обусловлено тем, что государством руководили те же люди, что выступали главными инвесторами».[235] И Англия, и Франция в этот период искали пути, как справиться с необходимостью заимствований.

Февр говорит, что Кольбер был «алхимиком, который должен был искать золото для своего короля. А кто искал, тот никогда не прекращал

---

[231] *Delumeau* (1966, 94).

[232] *Wilson* (1965, 57). Не это ли имеет в виду Хинтон, говоря о таком качестве английской меркантилистской системы, как ее гибкость? См. *Wilson* (1959, 71–83); срв. с работой *Harper* (1939b), где идет речь о значимости роли административных решений в интерпретации навигационных актов.

[233] Выражение Минчинтона в: *Minchinton* (1974, 111). См. тж. *Parker* (1974a, 561).

[234] Эта реальность отношений между государственными финансами и частным доходом может быть рассмотрена в разрезе своих многосторонних последствий. Например, Альдо де Маддалена указывает, что во Франции и западной Германии концентрация собственности у новых землевладельцев-буржуа осуществлялась «осторожно, поскольку поглощение крестьянских хозяйств предполагало сопутствовавшие этим хозяйствам налоговые обязательства» (*de Maddalena*, 1974a, 293).

Именно поэтому Жакар может утверждать, что «в XVII веке подлинным получателем прибыли» оказалось государство (*Jacquart*, 1978b, 406).

[235] *Parker* (1974a, 572).

поиски».[236] Однако Кольбер ощущал, что государство и так заимствует слишком много в форме откупа налогов. Чтобы повысить совокупный доход, он уменьшил роль откупщиков (которые в действительности перекладывали на государство значительную долю крестьянских налогов) и одновременно сдерживал «непродуктивные» расходы государства (что сократило количество денежных поступлений от налогов, которые просто распределялись между теми же денежными классами), чтобы тратить эти сбережения на меркантилистские цели.[237]

Усилия Кольбера были умеренно успешны — возможно, он удвоил доходы короля.[238] Государство Людовика XIV было, видимо, единственным в свою эпоху, способным поддерживать крупные военные начинания без чрезмерных сложностей.[239] Однако кольберовский костюм в его ясности и зримости был, если угодно, готовым платьем: его принципы заключались в большем акценте на прямых налогах и в балансировании бюджета (то есть в более директивном перераспределении). Методы Кольбера не были популярны, но были претворены в жизнь, поскольку Франции по-прежнему светила затратная военная экспансия на континенте. Однако они не могли сохраняться долго.

Английский же костюм был скроен портным — речь идет о создании новых механизмов долгосрочных публичных займов, которые предусматривали менее ощутимое налогообложение, но в длительной перспективе оказывались для денежных классов не менее тяжелыми. Это встречало меньшее сопротивление, и именно такому механизму в XVIII веке суждено было суждено стать более продуктивным способом получения государством своих доходов, которые и тратились более эффективно. Несмотря на то, что еще в период Протектората методы государственного заимствования в Англии были «сравнительно отсталыми»[240] в сравнении не только с Соединенными Провинциями, но и с Францией, во время Реставрации была заложена база так называемой

[236] *Febvre* (1933, 270).

[237] О ненависти Кольбера к *traitans* [откупщикам — *фр.*] см. *Marsin* (1970, 269). Однако Люты отмечает, что *fermiers* [откупщики — *фр.*] и *traitans* были необходимым злом, поскольку они могли предоставлять государству его доходы авансом (*Lüthy*, 1959, 109). Меркантилистские цели не лежали исключительно в индустриальной сфере. См. у Ле Руа Ладюри: «Государство играло ту же самую роль доброго папочки в отношении крупных "сеньориальных" поместий капиталистического пошиба, как в других местах оно играло подобную роль в отношении кольберовских мануфактур» (*Le Roy Ladurie*, 1974b, 16). Даниэль Дессер и Жан-Луи Журне описывают так называемое «кольберовское лобби», представлявшее *financiers* [финансистов — *фр.*], которые с 1663 по 1687 год занимали пост *la Ferme générale* [королевских откупщиков — *фр.*], то есть снимали с земли налоговые сливки для своих промышленных и экспортно-импортных предприятий (*Dessert and Journet*, 1075). В этом смысле кольбертизм представлял собой перемещение ресурсов от малоактивных и непродуктивных *fermiers* и *traitans* к энергичным и эффективным лицам.

[238] См. *Rule* (1969, 32) и *Goubert* (1970f, 123).

[239] «Кольбер выполнил свою работу хорошо, и хотя французы определенно платили высокую цену, это, возможно, происходило потому, что они были в состоянии это делать» (*Goubert*, 1970f, 124).

[240] См. *M.P. Ashley* (1934, 97).

финансовой революции, случившейся после 1689 года. Начавшиеся в 1665 году эксперименты сэра Джорджа Даунинга, в том числе призывы к мелким индивидуальным инвесторам напрямую давать взаймы государству, продолжались лишь до 1672 года, однако они создали важный прецедент для доминирующего влияния Казначейства как контролирующего департамента финансов и подготовили появление более поздних финансовых техник.[241]

Более прямолинейный, если его можно так определить, подход французов распространялся на разные аспекты государственного управления. Еще раз повторим, что эффективное государственное управление не обязательно означает абсолютистское. К.У. Суорт утверждает, что голландское государство было неэффективным — «устаревшей, полусредневековой мешаниной», выступавшей препятствием для дальнейшего экономического прогресса. Но я присоединяюсь к мнению Смита, который категорически возражает на это высказывание:[242] «Именно децентрализация голландского государства в XVII веке делала его эффективным в сравнении с централизованными монархиями». В действительности признаки *снижения* административной эффективности следует искать в «аристократизации» голландских бюргеров, которая вела некоторых их сторонников к предложению для Голландской *Республики* абсолютистских политических теорий и породила рост жалоб на то, что регенты утратили интерес к заморской торговле.[243]

Французский путь к усилению государства хорошо известен — это централизация и единообразие. Действительно, в итоге этот путь стал считаться классическим. Конечно, централизация не только включала в себя простое создание центральной администрации *per se* [самой по себе — *лат.*], что было достигнуто в предшествующую эпоху, — она предполагала также создание прямых линий власти от центра к территориям (locality), или систему *интендантов*. Эта новая модель *местного* государственного управления была «подлинной абсолютистской революцией».[244] Можно сказать и так, однако Кольбер создал единый тариф только в пяти Больших откупах. Как утверждает Хекшер, это является «доказательством того, что он никогда не стремился к общей унификации».[245] Как это немилосердно! — я уверен, что более прав Мёвре, говоря, что, «возможно, было бы лучше, если бы Кольбер был лишь усердным и упорным администратором, а не смелым и оригинальным инноватором. Ни ситуация, ни настроения эпохи не допускали радикальных перемен».[246] Чтобы осознать, насколько непростую битву Кольбер вел за бюрократизацию

---

[241] См. *Roseveare* (1969, 61; 1976).

[242] *Swart* (1975, 45) и *Smit* (1975, 63).

[243] См. *Roorda* (1964, 126–127). Об абсолютистских политических теориях в Голландской Республике см. *Kossmann* (1976, 13–17) и *Bouwsma* (1970, 9).

[244] *E. Barker* (1966, 7).

[245] *Heckscher* (1935, I, 104).

[246] *Meuvret* (1971a, 29). Кроме того, абсурдно делать неблагоприятное сравнение в пользу Британии, чья единая тарифная зона была лишь немногим больше, чем пять Больших откупов. Как утверждает Крузе, британскую унификацию «не следует переоценивать» (*Crouzet*, 1972, 78).

государства, следует лишь взглянуть на сопротивление *gens de mer* [моряков — *фр.*] и морского офицерского корпуса стремлению Кольбера создать морской кадровый резерв, который во времена мира мог бы обслуживать торговый флот.[247] В тот же период (1670–80-е годы) «ядро [английского] правительства становилось более сильным и эффективным, несмотря на жестокие конфликты в политической жизни»,[248] однако с куда меньшими фанфарами и поэтому с гораздо меньшей оппозицией.

Почему Франция и Англия предпочли столь ощутимо разные направления в своем одновременном стремлении к сильному государству? Почему английский путь был более плодотворен? Ответ на эти вопросы мы найдем в *незначительных* вариациях классовой структуры. Необходимо начать с характеристик, общих для Англии и Франции. Обе страны были бурно растущими центрами сельскохозяйственного и промышленного производства в европейском мире-экономике того времени. В обеих странах феодальные аристократии в значительной мере превратились в капиталистических хозяев и играли большую роль в несельскохозяйственных видах деятельности. В обеих странах неаристократы также играли важную роль в качестве капиталистических предпринимателей в сельском хозяйстве, торговле и промышленности, и экономический успех этих буржуа-неаристократов рано или поздно вознаграждался доступом к более высокому статусу. Поскольку граница между знатью и простыми людьми во Франции была ниже, чем в Англии, лица, принадлежавшие к средне-высокому статусу, которые во Франции оказались бы среди знати (*noblesse de robe* [дворянство мантии — *фр.*]), в Англии формально относились к простолюдинам (джентри) — однако их социальный статус и социальные роли в действительности были сопоставимы. Поскольку французское государство исторически было *слабее* английского (в большей степени, чем что-либо другое, в силу своего размера, а также из-за следующих из этого центробежных экономических сил), дворянство мантии инкорпорировалось в политическую структуру в качестве национальных чиновников, а джентри чаще выступали местными чиновниками. Однако в обоих случаях эти новые роли свидетельствовали об их реальном, хотя и ограниченном, политическом участии в управлении.

Кроме того, обе страны были ареной фундаментального политического конфликта внутри верхних страт, который длился начиная с XVI века и, по меньшей мере, до XVIII, а то и до XIX столетия. Борьба шла между теми, кто имел высокий статус в рамках сохраняющихся правовых структур феодальных времен, и теми, кто стал более или менее успешным капиталистом. Ключом к этой борьбе является то обстоятельство, что в любой момент времени большинство членов каждой группы демонстрировало и традиционный статус, и высокие достижения в экономике, поэтому в зависимости от своих непосредственных интересов они могли выбирать, мыслить ли себя аристократами или

[247] См. *Asher* (1960, 48). Эшер объясняет недостаточной силой абсолютной монархии провал кольберовской системы морского призыва', которая была куда более справедлива, чем система принудительной вербовки.

[248] *Plumb* (1967, 13).

капиталистами. Если добавить к этому постоянный исторический процесс перевода рыночных достижений в социальный статус посредством «аристократизации», то мы обречены на множество двусмысленностей. Однако следует сказать, что люди того времени разбирались в этом и понимали реалии описанных баталий лучше, чем это в ретроспективе делают ученые более поздних времен.[249]

Еще раз повторим: во всем перечисленном между Англией и Францией не было значимой разницы в течение всего промежутка между примерно 1500 и 1800 годами. Р.Г. Тони приписывают такую шутку: «Буржуазная революция? Конечно, это была буржуазная революция. Проблема в том, что буржуазия в ней была с обеих сторон».[250] Однако это было верным и для Славной революции 1688–1689 годов, и для Английской революции 1640 года, а также в равной степени для Фронды и даже для Французской революции 1789 года. Это нисколько не отменяет их «революционный» характер, но это значит, что мы должны отбросить антиисторическую идею, будто буржуазия и аристократия были двумя радикально отличными группами, особенно в рассматриваемый период времени. Это были две во многом пересекающиеся социальные группы, которые принимали несколько иные очертания в зависимости от того, как определялась доминантная страта — с точки зрения социального статуса или социального класса. Использование того или иного определения создавало значительное различие. Социальная и политическая борьба были реальны, однако для правящих страт это был *внутренний* процесс.[251]

Подчеркнув черты сходства между Англией и Францией, мы должны отметить, что существовали и различия в деталях, которые следует проанализировать, чтобы понять расходящиеся пути двух стран в *девятнадцатом* веке. Ведь после 1763 года именно *небольшие* различия в предшествующий период позволили Англии значительно вырваться вперед по сравнению со своим соперником с точки зрения экономической продуктивности и господства.

---

[249] Например, Джеймс Харрингтон* в «*Республике Океании*» (1656) говорит: «*Знать* (nobility), под каковым именем <...> я понимаю также Джентри, как это делают французы со своим термином *Noblesse*» (цит. по: *Wilson*, 1965, 109). Было бы нечестно допускать, что никто из последующих ученых этого не осознавал. Хабаккук утверждает, что английская аристократия и джентри были «единым, хотя и не очень гомогенным, социальным классом» (*Habakkuk*, 1967, 2). См. тж. утверждение Лабрусса, что в классе собственников (*la classe propriétaire*), включающем нецикличный, некрестьянский мир знати, клира и состоятельной (*bonne*) буржуазии, «смущают эти три его сословия (order). Класс никоим образом не отрицает их существования. Класс в данном случае не противоречит сословию» (*Labrousse*, 1970, 474).

[250] Цит в: С. *Hill* (1975a, 281).

[251] «Реальное разделение в сообществе английских землевладельцев было не между старыми и новыми семьями собственников земли, а между теми владельцами крайне ограниченных владений и процентов на капитал, для которых мир оказался вывихнут**, а их недовольство оставалось без внимания, с одной стороны, и теми более предприимчивыми или удачливыми, кто нашел единственное преимущество в экономической экспансии и социальной мобильности, с другой» (*Mingay*, 1963, 107).

Теодор Рэбб в своей книге, предметом которой является идея политической стабильности, рисует картину, где Европа периода раннего Модерна после 1500 года политически в целом нестабильна. «Баланс» между королем и знатью, центральным правительством и регионами остается «изменчивым» до середины XVII века, «когда проблемы прекратили поляризовать общество более чем на сто лет». Рэбб утверждает, что, несмотря на «повторные толчки», следовавшие за серединой века, никто «фундаментально не ставил под вопрос <...> саму организацию политики. *Это* и было решающим изменением».[252] Резонно ли это описание политической реальности? — и если да, то что оно подразумевает применительно к борьбе между Англией и Францией? Сразу заметим, что приводимые Рэббом даты вчерне соответствуют долгосрочным экономическим трендам. На первый взгляд, перед нами классическая веберианская корреляция: экспансия и политическая нестабильность, стагнация и политическая стабильность.

Я не думаю, что Рэбб неправ — при условии более четкого определения того, о какого рода стабильности идет речь и какой временной промежуток мы выбираем. Я полагаю, суть происшедшего состояла в следующем: экономическая экспансия XVI века сделала возможным отчетливое возникновение буржуазии как социального класса с нечетким отношением к доминантной статусной группе. Пока уровень экспансии оставался высоким, данная ситуация не требовала прояснения. Но, как только стали заметны экономические границы экспансии, борьба за определение того, кто имеет право контролировать государственный аппарат, обострилась. Однако *продолжающиеся* экономические трудности вынудили фактический компромисс между двумя группировками во избежание выхода политической борьбы из-под контроля, а низшие страты (как городские, так и сельские) начали утверждаться не только энергично, но независимо и прямо. Соответственно, за этим последовал, как предполагает Рэбб, период относительной стабильности, в ходе которого *внутренние* конфликты господствующих страт были отложены или институционально сдерживались.

Здесь я не намерен анализировать сложную историю политической борьбы середины XVII века в Англии и Франции, однако вкратце очертим положение дел в момент, когда эти баталии закончились. Монархии был брошен вызов в обоих странах — в Англии, конечно, более выраженным образом. В конечном итоге во Франции была усмирена Фронда, а в Англии восстановлена монархия. Разумеется, существовала значительная системная разница в роли парламента, который в Англии был увеличен, а во Франции устранен. В Англии «административный абсолютизм короля» был заменен «законодательным всевластием парламента».[253] Но каково было *содержание* данного социального компромисса? Можно найти примечательно

[252] *Rabb* (1975, 71).

[253] *E. Barker* (1966, 31). Продолжение последовало в 1688 году. То, что казалось триумфом парламента, в XVIII веке в действительности окажется «ростом исполнительной власти, которая <...> достигла подчинения себе законодательной ветви, что часто пытались сделать Стюарты, но им это никогда не удавалось» (*Plumb*, 1967, 65).

различные резюмирующие высказывания относительно результата Английской революции, но достаточно лишь двух из них. Стоун: «Англия в 1660 году, в конце революции, едва ли отличалась от Англии в ее начале в 1640 году».[254] Хилл: «В 1660 году было восстановлено не старое государство, а только его внешние атрибуты».[255]

Я бы сказал, что ни одно из этих обобщений не является верным. Между 1660 и 1640 годами существовала реальная разница, однако, вопреки большинству аргументов, я уверен, что значение здесь имела *социальная* разница, а не *политическая*. Открытые боевые действия на социальном фронте кончились. Буржуазия как социальный класс добилась своего *droit de cité* [права гражданства — *фр.*], однако лидирующую позицию в этом классе в действительности надежно держали в своих руках старые семейства. Базой социального компромисса была выработка политики экономического национализма, которая могла бы служить бывшим кавалерам и круглоголовым следующим образом: «Нет ничего более типичного в этих поисках, чем правительственные комитеты и руководство торговых компаний времен Реставрации, где принцы и торговцы заседали бок-о-бок в тайном сговоре, который, как ожидалось, будет взаимовыгодным».[256] Нет лучшего доказательства, что именно такое решение было компромиссом, чем те мрачные дебри, в которых оказалась тема возвращения конфискованных земель*. Это была та «свинья», которую Карл II подложил парламенту, а парламент — комитетам, пока наконец проблема не была в основном разрешена путем частных договоренностей.[257]

Лоуренс Стоун предполагает, что репутация доиндустриальной Англии как «необычайно мобильного общества является в основном иллюзией»,[258] за исключением, возможно, периода с 1540 по 1640 годы. Не была ли компромиссным решением 1660 года договоренность остановить, *стабилизировать* беспокойную мобильность XVI века,

---

[254] *Stone* (1972, 49). Аналогичным образом Перес Сагорин утверждает, что «никакого значительного социального изменения не последовало» (*Zagorin*, 1959, 400).

[255] *C. Hill* (1969, 135). Помимо изменений в политической структуре, которые никто не отрицает, Хилл указывает на отмену феодальных повинностей и прекращение правительственных усилий по ограничению огораживаний. Хилл утверждает: «В торговле, колониальной и внешней политике окончание Средневековья в Англии произошло в 1650–51 годах, когда республиканское правительство оказалось свободным, чтобы обратить внимание вовне» (p. 155). Средневековье для Хилла — как водопроводный кран: оно как будто заканчивается в разные конкретные моменты при разных положениях смесителя: «В промышленности и внутренней торговле Средневековье <...> закончилось в 1641 году, когда центральное правительство утратило власть давать привилегии монополиям и контролировать управление помощью бедным» (p. 169). «В финансовой сфере Средневековье в Англии кончилось в 1643 году, когда были введены два новых современных налога — акциз и налог на землю» (p. 180).

[256] *Wilson* (1957a, 153).

[257] См. *Thirsk* (1954).

[258] *Stone* (1966, 51).

заморозить положение дел более или менее в том состоянии, в котором они пребывали?[259] Не было ли великим социальным изменением 1660 года соглашение между господствующими стратами о прекращении впредь внутреннего *социального* изменения и о том, что английское государство (не столь важно, в лице короля или парламента) будет концентрироваться на поддержке экономического развития за счет остального мира-экономики?[260] И не подтвердила ли это Славная революция 1688–1689 годов?[261] Не угрожали ли некоторые группы в 1680-х годах в силу целого ряда незначительных причин возродить вопросы, которые разрешила Реставрация? — Их заставили замолчать.

Если виги-марксисты рассматривали Английскую революцию как момент великого триумфа над «феодализмом», то Славная революция всегда была предпочтительным моментом для вигов-либералов. Как утверждает Джордж Маколей Тревельян, «лейтмотивом революционных соглашений* (Revolution Settlement) была личная свобода в рамках закона — как в религии, так и в политике. Самая консервативная из всех революций в истории была также и самой либеральной».[262] Не застало ли Тревельяна врасплох предположение, что революция была аристократической? Он утверждает, что это не так: «На нее повлияла вся нация, союз всех классов» — следует лишь принимать в расчет дополнительный фактор:

> «В обществе, которое оставалось главным образом аграрным, где экономическая и социальная структура наделяла лендлордов ролью естественных и признанных лидеров в сельской местности, знатные люди и сквайры наподобие тори Дэнби и Сеймура или вигов Девоншира и Шрусбери** захватили первенство, когда требовалось быстро организовать сопротивление правительству».

За риторикой союза всех классов скрывается реальность этих «естественных и признанных лидеров в сельской местности». Конечно, «деспотический» король был навсегда устранен со сцены, однако, как утверждает Люсиль Пинкхэм, принципиальное значение этого заключалось в том, что

> «королевские силы, которые монарх ранее мог использовать в интересах любой группы, которой он угождал, иногда даже — Боже, храни королевство — в

---

[259] После 1660 года «против социальной мобильности были воздвигнуты барьеры, которые несли на себе отличительные признаки контрреволюции» (*Thirsk*, 1976, xx).

[260] Саппл утверждает, что «сами свойства рыночного окружения, которые отличали положение Британии от положения других европейских стран, в значительной части были производны от действий государства». Тем не менее, Саппл добавляет, что данные действия носили косвенный характер. Первыми по списку для него стоят политическая стабильность и социальная гармония после гражданской борьбы XVII века (*Supple*, 1973, 314–316).

[261] «Революция [1688 года] продемонстрировала абсолютную солидарность наделенных собственностью классов» (*Hill*, 1961a, 276).

[262] *Trevelyan* (1963, 45).

интересах простолюдинов, эти силы теперь перешли под контроль земельной аристократии, способной контролировать парламент».[263]

Триумф земельной аристократии в действительности был триумфом капиталистических классов. Этот политический компромисс продержится до середины XIX века и сослужит Англии хорошую службу, поскольку позволит аристократу и сквайру объединиться с торговцем и финансистом, для того чтобы обогнать их французских соперников в гонке за эксплуатацию богатств европейского мира-экономики.

А в чем состояло отличие для Франции? Вновь мы возвращаемся к ее особенной географии. У Англии были собственные периферийные регионы, *a fortiori* [тем более — *лат.*]— у Великобритании. Эти периферийные регионы, расположенные внутри одного из государств центра, боялись двух тенденций: постепенного усиления этого англо-британского государства, которое угрожало им политически, и триумфа капиталистических элементов, которые угрожали им экономически. В Великобритании эти две угрозы были взаимосвязаны, и неудивительно, что периферийные зоны оказывались более враждебными к Английской революции[264] или что «революционные десятилетия завершили объединение Англии».[265] Как мы уже отмечали в первом томе,[266] во Франции ситуация была совсем иной. Там силы централизации и силы капиталистического производства не были, как в Англии, географически скоординированными, а силы центра оказывались перед лицом сопротивления (не обязательно скоординированного) со стороны зон как экономически периферийных, так и экономически центральных, но политически и в том, и в другом случае — периферийных. Это делало внутреннюю борьбу рамках господствующих страт гораздо более затяжной (начиная с Религиозных войн и до Фронды) и куда более неопределенной политически.

В то время, как Реставрация в Англии предполагала, если угодно, затихание напряженности, поскольку между двумя фракциями явно возникал компромисс, тот же самый период во Франции — эпоха Кольбера при Людовике XIV — был чем-то вроде навязанного перемирия. Последнее зависело от политической способности монархии сдерживать силы, все еще

[263] *Pinkham* (1963, 85). См. тж. у Дж.Р. Джоунса: «Тем не менее, попытка Иакова II заместить землевладельческие классы городскими средними классами должна заставить историков усомниться, прежде чем огульно описывать Славную революцию как буржуазную. Строго говоря, все было с точностью до наоборот» (*J.R. Jones*, 1972, 15).

[264] См. *Trevor-Roper* (1967, 710): «В Ирландии и Шотландии Карл I начал с воззвания к старым роялистским классам — светской и веротерпимой "служилой" аристократии и джентри, на чьей поддержке была основана уния при его отце. <…> Однако, поскольку этих партий оказалось недостаточно, и в Ирландии, и в Шотландии он обратился к кельтскому крылу и стал лидером "старых ирландцев" против английских плантаторов и шотландских горцев против оседлых жителей равнины». Позже эта связь с горцами проявится в форме якобитства.

[265] *C. Hill* (1968, 137).

[266] См. *Валлерстайн* (2015a, 364–368).

играющие по высоким ставкам или, так сказать, более, чем их английские визави, готовые и способные играть в опасные игры. Это обстоятельство отражала и политическая структура страны: запад, юг и северо-восточное пограничье Франции были юридически (и экономически) вне «центра». Эти территории затем не только были лишены преимуществ таможенной унии с остальными регионами, хотя в этом, конечно, были и недостатки, — они и более сурово облагались налогами.[267] Те буржуа, которые не являлись аристократами, получили доступ к высокому статусу в личном порядке, а не коллективно, что создавало для них постоянный дискомфорт и делало их потенциально склонными к сопротивлению.[269]

Противоречия обнаруживаются и во всем вопросе о гугенотах. Нантский эдикт был, предположительно, шагом к преодолению внутреннего раскола внутри правящих групп. Почему же он был отменен в 1685 году? В имеющейся литературе на этот вопрос нет подлинно внятного ответа. Гугеноты не были какими-то антироялистами[270] — так почему же королю следовало быть антигугенотом? Люты рассматривает отмену Нантского эдикта в качестве акции, которую Франция «посвятила культу государства» в ответ на унижения предшествующих гражданских войн.[271] Даниэль Робер видит в этом жест со стороны короля, ждавшего своего шанса, который представился после славного Неймегенского мира: «Этот громадный успех во внешней политике <...> убедил короля, что отселе он может предпринимать почти все, что угодно».[272] Ле Руа Ладюри рассматривает это как способ склонить наконец церковь на сторону трона: «Справедливый обмен (*donnant donnant*). Приходские священники, столь склонные к конфронтации во времена [Католической] Лиги и Фронды*, стали после этого, несмотря на янсенистские диспуты, столпами

[267] См. *Pillorget* (1975, 879). Конечно, экономически эти регионы часто будут оказываться в столь же проигрышном положении. О том, как это влияло, к примеру, на Страну басков, см. *Goyhenetche* (1975, 5–32).

[268] Это становится абсолютно ясно из ряда исследований политики Людовика XIV в отношении своего бюрократического штата. Идет ли речь о Государственном секретариате, военных офицерах или юридических чиновниках, очевидно, что состоятельных и компетентных лиц активно рекрутировали и вознаграждали повышением их персонального статуса. См. *Bluche* (1959, 18–22), *Corvisier* (1959, 45–46) и *Goubert* (1959, 73).

[269] Тем не менее, буржуазия оставалась <...> неудовлетворенной. Властью, которой она жаждала с таким рвением, она и обладала, и не обладала в одно и то же время. Большинство министров, начиная с Кольбера, имели более или менее отдаленно буржуазное происхождение, но в основном они не признавали этого происхождения, как только оказывались в правительственных советах и присоединялись к знати» (*Léon*, 1970d, 643).

[270] См. рассмотрение этой темы в: *Adams* (1974). Тем более, что некоторые современные протестанты утверждают, что отмена Нантского эдикта оказалась спасением французского протестантизма от его роялизма и конформности, вынудившим его вернуться к своим «изначальным характеристикам» (*Léonard*, 1940, 11).

[271] *Lüthy* (1959, 12).

[272] *Robert* (1967, 47).

[273] *Le Roy Ladurie* (1971, 28). Ле Руа Ладюри прямо сравнивает Англию и Францию: «Обновленная английская монархия заключила мир [1688 года] с бывшей оппозицией;

установленного порядка».[273] Ни одно из этих объяснений не является удовлетворительным. Возможно, как при бесцельном размене в шахматах, существовала надежда, что, сокращая количество фигур, можно улучшить свою позицию. Но в шахматах размен, если он не несет явных преимуществ, просто приближает пат. Французский король стремился усилить государство, но сделать это было труднее, чем в Англии. Отмена Нантского эдикта не помогла делу, но при этом и не могла повредить ему.

Есть и еще одно значимое свидетельство в пользу нашего общего объяснения стабилизации обстановки в Англии и Франции в середине XVII века. Несмотря на то, что в Англии эта стабилизация была более эффективной, чем во Франции, данный процесс, тем не менее, происходил в обеих странах, став результатом компромисса *внутри* правящих страт. Если это так, то необходимо увидеть изменение относительной позиции низших страт, поскольку благодаря расколу внутри правящих классов они получали пространство для действия, в то время как компромисс сжимал их политическое поле (margin) — и у нас есть определенные свидетельства этого. Об этом говорит спад частоты крестьянских восстаний, которые становились все более умеренными[274] Поскольку это время, предположительно, было периодом определенных экономических трудностей, возможное объяснение, похоже, заключается в политической сложности мятежа, а не в недостатке стимулов.

В предшествующий период крестьяне в ходе своих восстаний могли присоединяться к той или иной фракции господствующих страт — в конце XVII века такой возможности больше не было.[275] Насколько тяжелыми для крестьян и городских работников должны были оказаться эти масштабные компромиссы! Вспоминая Английскую революцию, чартисты в 1837 году говорили: «Для миллионов она не означала ничего».[276] Конечно, тогда имело место некое брожение, особенно в городах, где его было сложно подавить,[277]

точно так же поступил Людовик XIV с клиром, прежде поддерживавшим *Ligue* и *Fronde* [Католическую Лигу и Фронду — *фр.*]» (*Le Roy Ladurie*, 1975c, 36).

[274] См. *Jacquart* (1975, 344–345; 1978c, 492), *Le Roy Ladurie* (1974c, 8–9) и *C.S.L. Davies* (1973, 125–127).

[275] О «послушании» прованских нотаблей после 1661 года см. *Pillorget* (1975, 863-866). См. тж. *Busquet* et al. (1972, 79): «[Это послушание] есть доказательство — возможно, лучшее — успеха, достигнутого королевским правительством в деле унификации, за которую оно принялось».

[276] Цит. в: *C. Hill* (1975b, 204). Сам Хилл соглашается с этим утверждением: «Что же в конечном итоге большинство получило от революции? Акциз, право армии на постой, грабеж, воинскую повинность, нестабильность права копигольда, отмену титулов или же защиту промышленников от их работников». Как утверждает Дж.Р. Джоунс, обычные люди — активисты, воевавшие за революцию, «не оказались среди тех, кто от нее выиграл» (*J.R. Jones*, 1972, 16). Это было столь же верно в отношении мелких сельских джентри в Англии в 1688–1689 годах, как и в случае с кальвинистскими активистами, морскими гезами, городской беднотой и мелкой буржуазией после Нидерландской революции.

[277] См. *Léon* (1970e, 684).

но, как только компромисс в рядах буржуазии был достигнут, она стала сдерживать это беспокойство. Именно в это время два понятия — *трудящиеся классы* и *опасные классы* — стали связывать между собой, в результате чего «в умах правящих классов» начала возникать ассоциация «между бедностью и преступлением».[278]

Можно, если угодно, повторять старые присказки, что торговля несопоставима с абсолютизмом, поскольку торговец может «затмить короля-солнце».[279] Однако более подходящим оказывается дополнение Шумпетера: «[Феодальные] оковы не только мешали [буржуазии], но и служили ей прикрытием».[280] Так было в Англии — так было и во Франции,[281] однако в силу ряда причин, которые мы описали выше в общих чертах, в Англии эта политика оказалась несколько более успешной.

---

[278] *Léon* (1970e, 686).

[279] *Grassby* (1960, 38). Вовсе не будучи несопоставимой с королем, французская аристократия, как указывает Саппл, оказалась «в некотором смысле вынуждена [вкладывать] капитал и собственный престиж в акционерные предприятия XVII и XVIII веков» (*Supple*, 1977, 450).

[280] *Schumpeter* (1943, 135).

[281] Приводя как английские, так и французские примеры, Саппл утверждает, что «нигде предприятия аристократов <...> не были столь активны, как в горном деле и тяжелой промышленности» (*Supple*, 1977, 499). О роли аристократии во французских мануфактурах см. тж. *Deyon* (1978d, 277).

4

ПЕРИФЕРИИ В ЭПОХУ МЕДЛЕННОГО РОСТА

Джон Эсквемелин*, **«Нападение Моргана на Пуэрто дель Принсипе»**.
Опубликовано в *De Americaensche zee-rovers* [«Пиратах Америки» — *голл.*] в 1678 году, перепечатано в «Буканьерах Америки» в 1684 году. Неизвестно, был ли Эсквемелин французом, фламандцем или голландцем. Он шесть лет служил у буканьеров цирюльником-хирургом, и его книга остается главным источником информации о пиратах, а его описания подтверждаются государственными бумагами того времени

Периоды экспансии мира-экономики относительно легко обобщаемы. Производство расширяется в целом и в большинстве мест. Занятость широко распространена. Население растет. Признак таких времен — процветание. То, что реальные заработные платы большого числа работников в действительности могут снижаться, менее заметно на фоне устойчивой инфляции номинальных цен. Имеет место определенное общественное брожение, но это брожение, питаемое оптимизмом и даже дерзостью. Девизом дня оказывается индивидуальная мобильность. Даром провидения представляется прогресс.

Периоды спада гораздо сложнее. Прежде всего, визуально они существенно более неравномерны. Происходят регрессия, стагнация, откат назад, словом, наступают плохие времена — но плохие не для всех. Если брать мир-экономику как целое, то общий объем производства при определенном подсчете его совокупной стоимости или в душевом количественном эквиваленте может оставаться неизменным. Однако это может быть результатом происходящего на определенных территориях роста объема производства, или уровня производительности, или и того, и другого сразу — роста, сбалансированного падением на других территориях. Реальные заработки трудящихся могут расти, однако процент безработных также может увеличиваться.

Особенно неясную картину можно ожидать в периферийных зонах мира-экономики. В политическом отношении это слабейшие области. Вполне предсказуемо, что правящие группы в центральных и полупериферийных зонах будут стремиться к сохранению имеющегося в этих зонах уровня производительности и занятости именно за счет периферийных территорий. Но в то же время периферия не выпадает из мира-экономики полностью — по многим причинам. Во-первых, ее капиталистические кадры хотят остаться в мире-экономике и ведут за это борьбу. Во-вторых, соответствующие группы в центральной зоне должен заботить возможный циклический подъем мира-экономики в целом, для чего им потребуются физические территории и человеческие усилия, представленные землей и населением периферийных зон. В-третьих, странам центра даже в моменты спада продолжают быть необходимы определенные продукты периферии — отчасти потому, что в связи с экологическими обстоятельствами данную продукцию невозможно достать в другом месте, отчасти потому, что на периферии стоимость труда беспрецедентно ниже, чем в центре.

Что необходимо особенно подчеркнуть — спад является замедлением активности, а не ее остановкой. В экономических терминах он представляет собой набор препятствий на пути к прибыли, которые, если угодно, отделяют

капиталистических овец от козлищ. Сильные не только выживают — они зачастую бурно растут. Поэтому для периферий спад в мире-экономике вызывает и инволюцию, и эволюцию; и кажущееся снижение монетизации экономической деятельности, и появление новых предприятий; и отказ от определенных видов деятельности, и их реструктурирование или перемещение; и сокращение специализированной роли периферий в мире-экономике, и ее углубление. Чтобы оценить этот очевидный парадокс, мы должны начать с самого начала. Что становится причиной векового разворота трендов в мире-экономике? Капиталистическая система включает в себя рыночный механизм. Рынок не является свободным — далеко не свободным, поскольку на рынок действуют политические постановления и культурные сдержки и предпочтения. В то же время сложно говорить о капиталистической системе, если отсутствует хоть какая-нибудь рыночная реакция.

Известно, что рынок реагирует на изменения спроса и предложения. Конечно, существуют некие мистические силы, которые непредсказуемым образом встречаются на сцене. Спрос и предложение взаимно и институционально определены, однако, если между ними присутствует слишком большая диспропорция в течение слишком длительного времени, рынок это непременно заметит. В эпоху экспансии с течением времени возникает тенденция к превышению предложения над имеющимся спросом — по той простой причине, что предложение определяется лично предпринимателем (для которого в период экспансии рост производства предвещает хорошие перспективы прибыли), а спрос определяется коллективно (через политический механизм, которым устанавливается то или иное распределение доходов). Учитывая актуально существующее распределение доходов в мировом масштабе, недостаточный спрос на продукцию постоянно расширяющегося производства рано или поздно возникает по всему миру. Устранить данную диспропорцию могут две вещи. Расширение производства может быть повернуто в противоположную сторону, остановлено или — в совсем уж крайнем случае — замедлено, либо распределение доходов может быть пересмотрено таким образом, что возникает глобальный рост спроса, фактически обусловливающий новую экспансию.

В действительности имеет место и то, и другое, причем в следующем порядке: сначала стагнирует производство, а затем следует политическое перераспределение дохода. Таков социальный профиль эпохи спада, однако сразу же нужно внести уточнения. В большей степени, чем где-либо еще, производство стагнирует в старых периферийных зонах, а политическое перераспределение дохода более характерно для центральных и полупериферийных зон (или, по меньшей мере, для некоторых из них), чем для периферийных. Как мы увидим, именно это происходило в долгую эпоху спада XVII века, в промежутке 1600/1650 – 1750 годов. Существует еще одно уточнение данной модели, основанное на нехватке эффективного спроса. Мы отнесли начало рассматриваемого периода спада к промежутку между 1600 и 1650 годами. Подобная двусмысленность, которая обнаруживается на протяжении всей этой книги, является не примером недостоверного знания, а выражением нормального способа перехода от экспансии к спаду. Как правило, существует некий

длительный момент, в ходе которого экспансия продолжается, но и спад уже начался, в связи с чем этот момент является частью и той и другой эпохи.

Мы уже отметили, что рассматриваемый разворот вековых трендов, похоже, состоял из трех последовательных шоковых для торговли волн — первая из них произошла в 1590-х годах, вторая — в 1620-х и третья — в 1650-х.[1] В этот же период на европейский мир-экономику воздействовала финансовая нестабильность — подъем монетных систем на Балтике, инфляция медной монеты в Испании, внезапный спад в производстве драгоценных металлов на Американском континенте. Кроме того, это был момент различных демографических бедствий, причиненных войнами, эпидемиями и голодом, — и подобное сочетание не было случайным. Что делает производитель экспортных культур на периферии, когда рынок внезапно оказывается неблагоприятным? С его точки зрения, имеют смысл два ответа на этот вызов. Он может попытаться сохранить свой чистый доход путем расширения объема своего экспорта и/или путем сокращения производственных издержек. В краткосрочной перспективе один или оба из этих механизмов оказываются действенными для отдельного предпринимателя, однако в среднесрочной перспективе они ухудшают общее положение производителей на периферийной территории. Расширение производства экспортных товаров еще сильнее увеличивает глобальное производство на рынке, где спрос уже и так преувеличен. А снижение издержек производства истощает будущие производственные возможности, если оно достигается наиболее характерным для периферийных зон путем интенсификации эксплуатации природных и человеческих ресурсов.

Мы постараемся показать, что именно это и произошло в главных периферийных территориях мира-экономики XVII века. Слабые рынки 1590-х и 1620-х годов вели к росту объема производства и/или к росту степени эксплуатации ресурсов. К 1650-м годам, если не раньше, последствия первой из указанных тактик вынудили периферийных производителей обратиться к другой единственно разумной реакции — частичному выключению из производства для рынка (по меньшей мере, для той особенной части мирового рынка, где они нашли свою нишу в XVI веке).[2] Начнем с восточноевропейской периферии. Ее экспортная продукция падала в цене, в производительности и в общей стоимости и количестве товаров, экспортировавшихся в XVII веке — наиболее заметно это было в случае с польским зерном и венгерским скотом, хотя и не только здесь. История цен — это в данном случае наиболее известный эпизод, поскольку основной образ депрессии XVII века формируется именно на сломе тренда сельскохозяйственных цен. В 1615–1620 годах цены на польскую пшеницу падали, затем произошел временный подъем, за которым в середине столетия последовали «сильное падение и

[1] См. *Валлерстайн* (2015a, 333–337).

[2] Хорошее описание этой последовательности для Польши содержится в: *Wyczański* (1967). Дж.Д. Гулд по поводу первой части данного ряда указывает, что «существует множество исторических прецедентов, когда сельскохозяйственные производители реагировали на падение цен расширением, а не сокращением производства в попытке сохранить свои валовые доходы на условно приемлемом уровне» (*Gould*, 1962, 332).

долгосрочная ценовая депрессия».[3] Рост цен на венгерский скот замедлился в начале XVII века, чтобы лишь «после еще одного короткого бума в 1620-х годах совсем остановиться».[4] К середине столетия цена на венгерский скот в Вене «значительно»[5] упала. Для чешского сельского хозяйства столетие после 1650 года также было «веком стагнации».[6]

Цены на экспортные товары снижались не только в абсолютном эквиваленте — они могли падать и в относительном измерении, то есть для периферийных экспортеров условия торговли становились «все более невыгодными».[7] В то же время происходил «быстрый рост объемов импорта предметов роскоши», особенно во второй половине XVII века[8] — нечто вроде лебединой песни периферийных джентри. Сочетание снижающегося экспорта и растущего импорта (по меньшей мере, в переходный период) имело следствием впечатляющий сдвиг торгового баланса. Например, баланс польской торговли на Балтике изменился с профицита в 52% в 1565–1585 годах до 8% в 1624–1646 годах, а затем и вовсе до отрицательного баланса во второй половине столетия.[9] Мончак говорит о том, что пассивный торговый баланс Польши стал результатом «судьбоносного десятилетия — 1620-х годов».[10] Этот меняющийся торговый баланс был усугублен неспособностью слабо защищенных польских экономических предприятий противостоять негативным воздействиям финансовой нестабильности, которая была следствием инфляции цен. Голландские купцы требовали от гданьских принимать часть оплаты «слабыми» деньгами (например, лёвенталерами), наряду с более твердыми дукатами и талерами*. Конечно, политические власти могли создавать барьеры для таких денег, однако любые подобные меры вызывали значительное противостояние со стороны самих гданьских купцов. Они одновременно «боялись серьезных пертурбаций во внешней торговле»[11] и не находили подобную защиту существенной, поскольку могли миновать это всученное им голландцами обременение, переложив его «на плечи средней буржуазии, знати и крестьян».[12]

Урожайность зерновых в Восточной Европе оценивалась по-разному, однако присутствует общее согласие по поводу того, что в XVII веке определенно шло ее снижение. Насколько оно было значительным — предмет

---

[3] *Wyczański* (1967, 68–69).

[4] *Pach* (1970b, 254).

[5] *Zimányi* (1973, 327).

[6] *Matejek* (1968, 210).

[7] *Topolski* (1971, 62). См. таблицу 3, где приведена сделанная Витольдом Кулей спецификация уѣловий торговли для разных групп населения. Комментарии Кули к работе Топольского приведены в: *Kula* (1970, 164–165, n. 164). Даже Куля в целом принимает данную гипотезу для подпериода 1650–1700 годов.

[8] *Bogucka* (1972, 1).

[9] *Mączak and Bogucka*, цит. в: *Pach* (1970b, 258). См. тж. *Mączak* (1970, 139, таблица 16).

[10] *Mączak* (1975, 3).

[11] *Bogucka* (1972, 4). Местные менялы также противостояли этим мерам, поскольку они имели свою долю в прибыли международных спекулянтов.

[12] *Bogucka* (1972, 1).

определенного спора. Согласно более оптимистичной версии, урожайность просто оставалась неизменной, в то время как на северо-западе Европы она росла. Сторонники же менее оптимистичной точки зрения усматривают значительное сокращение.[13] Общее объяснение снижения урожайности пшеницы состоит в «преобладании товарного производства землевладельцев, максимально использующих принудительный труд»; аналогичное объяснение Пацх дает снижению экспорта скота из Венгрии.[14] Но почему это преобладание должно было вести к сокращению урожайности? Тому предлагаются две причины. Первая заключается в том, что нарастающая чрезмерность барщинного труда «заставляла многих крестьян отказываться держать рабочий скот и переходить в разряд батраков», а поскольку урожайность крестьянских хозяйств была в целом выше, чем в хозяйствах аристократии, совокупная урожайность снижалась.[15] Вторая причина: рост производительности достигался «отклонением от фундаментальных принципов севооборота»,[16] что с течением времени истощало почву. Истощение людей и земли поддерживало прежний уровень общей производительности в течение 50–60 лет, однако это был путь саморазрушения. Это видно из падения общего объема экспорта, вопреки всем усилиям по увеличению производства и снижению издержек. В конце XVI века из Гданьска ежегодно вывозилось морем 100 тысяч ластов пшеницы, в XVII веке — 30 тысяч, а в начале XVIII века — только 10 тысяч.[17] Абель называет переломной точкой 1620 год,[18] однако, как отмечает Жаннен, в зундских записях 1649 или

[13] Леонид Жыткович видит в целом «низкую урожайность сельского хозяйства» в Польше, Венгрии, Словакии и Богемии, но не существенно ниже в промежутке 1655–1750 годов, чем с 1500 по 1655 годы (*Żytkowicz*, 1971, 71). Слихер ван Бат в Восточной Европе XVII века усматривает «стагнацию или даже упадок». Для Чехословакии, Польши, Латвии, Эстонии и России он показывает падение показателей урожайности с 4,3 до 3,9 между отрезками 1600–1649 и 1650–1699 годов (*Slicher van Bath*, 1969, 175–176). Антони Мончак скептически относится к представленным Жытковичем низким показателям для XVI века (*Mączak*, 1976b, 23) и предполагает, что имело место действительное падение, «уже заметное в первой половине XVII века» (*Mączak*, 1968, 77). Анджей Вычаньский показывает падение для одного поместья (Корчин) с 4,8 в 1569 году до 4,1 в 1615-м, 4,4 в 1660-м и 3,2 в 1765-м (*Wyczański*, 1960, 589). Топольский говорит об общем падении урожайности примерно с 5 в конце XVI века до примерно 3-4 в конце XVIII столетия (*Topolski*, 1974a, 131). Войцех Щигельский дает наиболее контрастную картину, утверждая, что польские урожаи были одними из самых высоких в Европе в XV–XVI веках и одними из самых низких в XVII–XVIII столетиях (*Szczygielski*, 1967, 86–87).

[14] *Pach* (1970b, 262).

[15] *Mączak* (1968, 77). Мончак говорит, что «сжатие рыночного прибавочного продукта, вызванное сокращением хозяйств, едва ли можно ставить под вопрос» (p. 78).

[16] *Szczygielski* (1967, 94). Щигельский утверждает, что то же самое верно применительно к лесу: «В течение XVII века безжалостная эксплуатация лесов оставила на их месте пустыню».

[17] *Leśnodarski* (1963, 24).

[18] *Abel* (1973, 251, график 45). См. тж. *Slicher van Bath* (1977, 87), где сказано, что наивысший объем экспорта пришелся на 1617 год.

1650 год оказываются «рекордным, опережающим 1618 год». В связи с этим Жаннен предполагает, что переломным надо считать именно 1650 год, а не 1620-й.[19]

Та же самая история — с экспортом скота. Для Венгрии его «золотым веком» были 1550–1600 годы,[20] после чего начался упадок. Польская торговля скотом в Силезии, Саксонии и Рейнской области «утратила свою значимость» с началом Тридцатилетней войны из-за рисков при перегоне животных.[21] То же самое верно и применительно к датской торговле скотом, которая в данном контексте оказывается частью одной картины.[22] Пацх утверждает, что упадок торговли скотом был более суровым, чем упадок зерновой торговли, а Венгрия, соответственно, пострадала даже больше, чем Польша, поскольку если пшеница продавалась в «атлантический центр растущей международной торговли современного типа», то скот продавался в города южной Германии, которые «ощутили себя жертвой изменения международных торговых маршрутов».[23] Третьей из главных экспортных статей Восточной Европы в XVI веке была медь — здесь в 1620-х годах также происходил выраженный спад.[24] В каждом из трех случаев — пшеница, скот, медь — объяснение происходившего заключается в перепроизводстве в мировых масштабах. В случае пшеницы имел место рост (хотя и «незначительный») производства зерновых в Южной и Западной Европе, однако, по утверждению Й.А. Фабера, он был достаточно велик для объяснения «бедственного спада в голландской хлебной

---

[19] *Jeannin* (1964, 320, 322). Это предположение подтверждается на противоположном конце торгового процесса. Рассматривая импорт балтийского зерна в Шотландию, Т. Смаут и Александр Фентон обнаруживают «бесспорный» перелом в середине XVII века, то есть быстрый спад импорта данной продукции. Они объясняют это «частичным замещением балтийских [поставщиков] английскими и ирландскими». А в действительности, отмечают авторы, между 1675 и 1685 годами шотландское зерно «даже поставлялось на Балтику» (*Smout and Fenton*, 1965, 76).

[20] *Makkai* (1971, 483). См. тж. *Prickler* (1971, 143–144). Хайнц Визе использует тот же термин для европейской торговли скотом в целом «накануне начала Тридцатилетней войны» (*Wiese*, 1974, 454).

[21] *Mączak* (1972, 679). Мончак говорит о «гибельном сокращении поголовья скота, включая рабочих животных (в основном быков, а также лощадей)», с примерно 77 голов на 100 гектаров крестьянской земли в 1549 году до 53 голов в 1630 году с продолжительным понижательным трендом впоследствии (*Mączak*, 1976b, 23).

[22] Абель говорит об «ослаблении» экспорта датского скота в XVII веке (*Abel*, 1973, 249). См. тж. *Glamann* (1977, 236–237).

[23] *Pach*[1](1968, 316). Некоторое подтверждение аргументам Пацха обнаруживается в наблюдении Визе, согласно которому цены на мясо в германских государствах с 1640 по 1820 годы всегда были менее благоприятны, чем цены на рожь (см. *Wiese*, 1966, 105). Венгерский и польский скот направлялся в южногерманские города, в то время как датский — по большей части в Голландию (см. *Glamann*, 1977, 216, 233).

[24] См. *Pach* (1970b, 257).

[25] *Faber* (1966, 231). Топольский видит в упадке польского зернового экспорта в XVII веке результат снижения производительности, а следовательно, снижения «квазисравнительного» преимущества (*Topolski*, 1974c, 435). Мы говорим об обратном

торговле» во второй половине XVII века.[25] В случае со скотом это было «снижение спроса, которое тянуло цены вниз».[26] В случае с медью главным фактором был «избыток шведской меди, [которая] пришла на рынок».[27]

В каждом из этих случаев ситуацию ухудшали внутренние войны и разорения — но не они были причиной этого. В частности, речь идет о шведском вторжении в Польшу* (1655–1660), о столетии то возобновляющейся, то затухающей войны в Венгрии, начиная с Пятнадцатилетней войны** (1591–1606) и заканчивая войной за независимость Ракоци*** (1703–1711), и о датско-шведской войне**** 1643–1645 годов.[28] Однако военные разорения, предполагающие сокращение общего предложения, сами по себе не являются объяснением. Как напоминает Вера Жиманьи, «во всей Европе XVI век знал войны не менее разорительные, однако в ту эпоху они служили лишь стимулом для производства, создания благоприятной конъюнктуры и т.д., а следовательно, стимулом для роста цен».[29] Что же изменилось по сравнению с XVI веком? Европейский мир-экономика перешел из состояния нехватки предложения по сравнению со спросом в противоположное состояние. первом случае разрушение делало спрос более интенсивным, во втором — предлагало хорошее основание для сокращения совокупного производства.

Как распределялось это совокупное сокращение? Это ключевой момент, поскольку именно он определял, а точнее, реструктурировал социальные отношения в периферийных зонах. Мы уже видели, что в Восточной Европе принудительный труд на рынок (так называемое второе крепостное право) распространился в XVI веке в качестве механизма контроля над трудом в расширяющихся капиталистических поместьях. Теперь мы должны объяснить, почему спрос на крепостных стал *еще более интенсивным* в условиях сокращения экспортных рынков в XVII веке. Необходимо начать с того факта, что в XVI веке товарная продукция производилась как в сеньориальном поместье, так и на крестьянском участке приблизительно с равной степенью эффективности.[30] Тем не менее, XVII век отмечен определенной концентрацией земли во всей Восточной Европе, то есть в руках

соотношении — рост производства пшеницы в других местах косвенным образом стал причиной снижения производительности в Польше.

[26] *Zimányi* (1973, 330).

[27] *Kellenbenz* (1974, 262) и *Vlachovic* (1971, 626). Существовала также конкуренция со стороны японской и чилийской меди (*Pach*, 1970b, 257).

[28] О воздействии шведского вторжения на Польшу см. *Baranowski et al.* (1966, 79) и *Gieysztorowa* (1958); о Венгрии см. *Makkai* (1971, 493-494) и *Várkonyi* (1970, 272); о Дании см. *Jørgensen* (1963, 79).

[29] *Zimányi* (1973, 309).

[30] Жыткович преподносит это как собственный предварительный вывод на основании сравнения производительности крестьянских хозяйств и *фольварков* (поместий) Мазовии в XVII веке. «В любом случае главная причина появления этой [сеньориальной] системы состояла не в том, что она производила больше продовольствия, а в том, что она позволяла феодальному землевладельческому классу увеличивать свои доходы» (*Żytkowicz*, 1968, 118). Однако Ж. Кириль, исследуя производство зерновых в Венгрии, наблюдает «поворот» в первой половине XVIII века: «В отличие от предшествующих столетий, для пшеницы, выращенной на землях сеньоров, с этого момента характерна более высокая урожайность» (*Kirilly*, 1965, 621).

сеньоров находилось больше обрабатываемой земли и больше продукции, произведенной для рынка, а в руках крестьян — меньше. Об этом есть сообщения применительно к Польше,[31] Чехии[32] и Ливонии[33]. Действительно, для Польши Мончак отдельно противопоставляет XVI веку XVII и XVIII столетия, отмечая, что «небольшие группы процветающих мелких крестьянских производителей <...> полностью исчезли, <...> став непосредственной жертвой алчности землевладельцев».[34]

Выясним, что же происходило. Расширение общего объема обрабатываемой земли — это явление XVI века, ставшее ответом на благоприятные условия мирового рынка, — прекратилось, а отчасти даже начался обратный процесс. Однако растущая доля в общем объеме обрабатываемых земель удерживалась в личном резерве сеньоров. Это значит, что вызов расширения рыночного производства в Восточной Европе XVI века получил два ответа: обработка крупных поместий магнатов при помощи принудительного труда, а также некоторое развитие хозяйства богатых крестьян. «Однако к началу XVII века эта борьба закончилась победой линии *Gutsherr* [помещика — *нем.*], которая покоилась на использовании принудительного крепостного труда».[35]

---

[31] Топольский утверждает, что вслед за разрушительными войнами середины XVII века производительность земель резервного фонда действительно могла быть восстановлена на довоенном уровне, однако крестьянские участки давали лишь 60–65% прежней производительности (*Topolski*, 1967, 114). Для одного из регионов (Гнезно) он утверждает, что общая площадь резервов составляла 13% территории крестьянской земли в начале XVI века, 16% в его середине, 20% в конце и 25% в XVIII веке (*Topolski*, 1970, 90). Владислав Русиньский говорит о «сокращении средней площади крестьянского хозяйства (особенно в центральных и южных районах страны) как о процессе, начавшемся в XVI веке и усилившемся в XVII столетии, что вело к пауперизации» (*Rusiński*, 1972, 112–13).

В связи с войнами Ян Рутковский относит поворотную точку к середине XVII века: «Более крупные крестьянские (*laboureurs*) хозяйства исчезли, на смену им пришли более мелкие фермы <...> или участки земли, которые обрабатывали *closiers* [испольщики — *фр.*], "халупники" [*chałupnicy*] и поденные работники / арендаторы (*komornicy*)». Рутковский писал о процессе «пролетаризации деревенского населения» и «абсолютной концентрации сельскохозяйственного производства» (*Rutkowski*, 1927b, 119–120). Более поздние польские историки оспорили предложенные им объяснения (основанные на факторе войны), но не его наблюдения. См. различные работы, цитируемые в: *Gierowski* (1965, 244).

[32] Применительно к Чехии Антон Шпис относит этот момент к 1620 году, утверждая, что при этом в Моравии соотношение господской (помещичьей) и деревенской (крестьянской) земли оставалось примерно одинаковым (*Špiesz*, 1969, 43–44). Франтишек Лом отмечает возросшую «концентрацию земли» в Богемии с 1650 по 1750 годы и рост доли *Gutsherrschaften* [помещичьих владений — *нем.*] (*Lom*, 1971, 9–10). Квета Мейдрицка утверждает, что «наиболее значительное расширение крупных поместий, использующих барщинный труд, будет наблюдаться во второй половине XVII века» (*Mejdricka*, 1971, 394).

[33] Несмотря на то, что Эдгарс Дунсдорфс рассматривает это как процесс, особенно характерный для XVIII и XIX веков, «можно также продемонстрировать увеличение размеров сеньориальных резервов (*gutsherrlichen Wirtschaften* [помещичьих хозяйств — *нем.*]) в XVII веке» (*Dunsdorfs*, 1950, 115).

[34] *Mączak* (1972, 673). Влодимеж Дворжачек сообщает о постепенном приращении в этот же период земель магнатов поместьями мелкой знати (*Dworzaczek*, 1977, 159), в то время как относительно XVI века Русиньский отмечает «тенденцию к концентрации земли в руках более богатых крестьян, которые покупали ее у своих более бедных соседей» (*Rusiński*, 1972, 104). См. тж. *Małowist* (1972, 203–204) о роли зажиточных крестьян.

У крупных поместий было несколько преимуществ перед крестьянскими хозяйствами, а фактически — и перед поместьями средних размеров. Непредсказуемость урожаев создавала более благоприятные условия для более крупных земельных единиц, поскольку у них имелась своего рода внутренняя страховка от плохих урожаев в виде разнообразия земель, которые они контролировали.[36] Помимо этого преимущества в плане предложения, существовало и преимущество в плане спроса. В конечном итоге, доступ к рынку, который имелся у таких поместий, тот факт, что они могли сами, без посредников транспортировать свои товары к порту, был «определенной экономической привилегией», которая, уверен Куля, «частично несет ответственность» за процесс концентрации земли.[37] То, что данные преимущества все увеличивались по мере того, как времена становились все сложнее, становится ясно из примечательной таблицы (4.1), в которой Куля рассчитал условия торговли (покупательную силу продукции, которую они продавали, в отношении к той продукции, которую они покупали) для трех разных социальных групп Польши в продолжение определенного периода времени. Хотя и не стоит переоценивать столь шаткие данные,[38] использование двух разных дат, 1550 и 1600 годы, делает возможным некоторые пробные предположения. Период максимальной экспансии, 1550–1600 годы, был хорош не только для магнатов, но и для крестьян — для обеих групп, похоже, за счет шляхты шляхты (nobles), но как только наступили плохие времена, их главный удар ощутили на себе крестьяне — зато у шляхты и магнатов дела шли хорошо. Начиная с 1600 года очевидно, что шляхта на какое-то время (но не более того) почувствовала себя лучше, чем магнаты; из отметки 1550 года ясно также, что в абсолютных показателях магнаты всегда были впереди шляхты.

Таблица 3. Изменения в условиях торговли для разных социальных групп в Польше

	1500	1600	1650	1700	1750
Магнаты	100	276	385	333	855
Шляхта	100	80	144	152	145
Крестьяне	100	205	169	118	51
Магнаты		100	139	121	310
Шляхта		100	180	190	181
Крестьяне		100	82	58	25

Источник: *Kula* (1970, 94) с разрешения автора.

[35] *Pach* (1970b, 261). В Польше имелось несколько территорий, где сохранилась бессрочная аренда земли (*emphyteusis*). Относительно одной из таких земель близ города Эльблонг в Восточной Пруссии Жыткович утверждает, что данное исключение стало возможным благодаря «близости развитых рынков, сравнительной легкости, с которой на них могла размещаться прибавочная продукция, а также из-за низкой цены транспортировки на эти рынки» (*Żytkowicz*, 1974, 251).

[36] *Kula* (1961, 138) и *Żytkowicz* (1968, 109).

[37] *Kula* (1970, 91).

[38] Куля поясняет, каким образом он пришел к данным показателям, и признает, что «эти результаты определенно преувеличены» (*Kula*, 1970, 94).

Почему должно было происходить именно так? Я бы предложил довольно простой механизм. Когда наступают тяжелые времена, у производителя есть два способа максимизировать продажи — сократить издержки и устранить конкурентов. Магнаты (а также шляхта) стремились снизить издержки путем увеличения барщинного, а не наемного труда.[39] Это не только сокращало средний уровень издержек, но и *увеличивало* общий объем производства, то есть обеспечивало второй способ компенсации убытков, возникающих из снижения рыночных цен.[40] И, конечно же, возросшее производство на земле сеньора нашло свой рынок, сеньор выкупал земли у крестьян и даже у шляхты,[41] многие представители которой были готовы их продать, поскольку фактически были банкротами. Даже если сеньоры не вводили в производственный процесс новую землю, они как минимум не допускали того, чтобы та вступала в конкуренцию с их старой землей. Этот очень правдоподобно выглядящий процесс инвестирования в землю, даже если он не был направлен на то, чтобы получить немедленный доход от экспортных культур, без сомнения, был спровоцирован финансовым кризисом начала XVII века. Кризис подтолкнул магнатов к «психологически объяснимой гонке накопления имущества вопреки небезопасности денежного рынка».[42] Имущество, включая

[39] Но, конечно же, и противоположное тоже было верно. Когда урожаи были недостаточны, цены были высоки, а на барщинный труд был большой спрос. Мончак утверждает: «Подозреваю, что по меньшей мере в нескольких поместьях землевладельцы привыкли жестче давить на своих арендаторов в более "тощие" годы, даже если дело доходило до спасения утопающих. <...> Из [одного исследования некоего поместья между 1550 и 1695 годами] вытекает, что в "тощие" годы, когда цены были высокими, герцогские управляющие извлекали из крестьян сравнительно больше зерна» (*Mączak*, 1975, 16). Не могло ли здесь быть нелинейного соотношения? Когда цены были сравнительно высокими, требовалось больше барщинного труда, потому что необходимо было больше *труда* как такового, а крестьяне не откликнулись бы на предложение работать за заработную плату, поскольку предпочитали производить собственные товары для рынка с высокими ценами. А когда цены были сравнительно низкими, барщинный труд был необходим, потому что требовалось больше ненаемного труда. Между этими крайними ситуациями располагался самый низкий спрос на барщинный труд. Это чередование причин, которые вели к установлению барщины, может объяснить, почему она продолжала существовать в качестве метода производства на протяжении вековых подъемов и спадов.

[40] Куля: «Нет ничего абсурдного в том, что решение инвестировать [материалы и труд] исходило не из соображений улучшения рыночныхусловий, <...> а, напротив, из их ухудшения» (*Kula*, 1970, 35). Куля утверждает, что подобное поведение является некапиталистическим, однако не следуют ли иногда той же тактике в периоды стагнации мультинациональные корпорации XX века?

[41] Даже когда аристократы не были вынуждены напрямую продавать землю магнатам, общая нехватка наличности «превращала магнатов в помещичьих банкиров и давала им дополнительное превосходство, которое банкир часто имеет перед своим клиентом» (*Mączak*, 1968, 88).

[42] *Bogucka* (1975, 147). Богуцка говорит о накоплении ювелирных изделий, роскошных блюд, драгоценных металлов и твердой монеты. Однако в накоплении земли был тот же мотив — защита от острой инфляции. И то, и другое подтверждает заключение Богуцкой: «Это накопление, <...> несомненно, имело неблагоприятные последствия для экономики страны, поскольку оно на долгие годы замораживало значительные капиталы» (p. 148).

землю, представляло собой складируемые ценности, которые казались более безопасными, чем монеты, в случае если их «складированию» суждено было продолжаться долгий период времени.

Что произошло с этими землями, приобретенными ради того, чтобы вывести их из конкуренции? Они, безусловно, являли собой «сдвиг в сторону натурального хозяйства»[43] — если угодно, в сторону инволюции, однако это не было отрицанием капиталистического способа производства. Данные земли оказывались именно разумным приспособлением к рыночным условиям, став для капиталистических предпринимателей (магнатов и знати) способом оптимизировать прибыли (или минимизировать убытки) в условиях слабого рынка — при глобальном сокращении оборотного капитала и всеобщей стагнации производства. Крестьяне могли и не увеличивать или сокращать свои усилия в ответ на колебания мирового рынка, однако крестьяне не были предпринимателями — они были полупролетариями, чей трудовой вклад был в значительной степени производным от предпринимательского ответа на вызовы мирового рынка.[44]

Это обратное движение не означало, что капиталистическое производство было заброшено, — данный тезис подтверждается выживанием и даже процветанием региональных рынков, в отличие от упадка экспорта периферийной продукции в страны центра. Шпис указывает, что уже в XVI веке на территориях Центральной Европы велось производство для региональных рынков, и это определяет своеобразие их отличия от территорий Восточной Европы, экспортировавших продукцию в западную часть континента. Шпис называет производственные отношения в Центральной Европе (Богемия, Моравия, Словакия, Нижняя Силезия, Нижняя Лузация, Австрия (без Тироля), Саксония, Тюрингия и западная Венгрия) термином *Wirtschaftherrschaft* [господское хозяйство — *нем.*], отличая их от «второго издания крепостного права». Но даже в перечисленных землях положение крестьянства в XVII веке ухудшалось.[45] Однако следует отметить, что в XVII веке некоторые рыночные центры Польши, которые прежде обслуживали трансконтинентальную торговлю, такие как Краков и Познань, перестали выполнять эту функцию в связи с общим воздействием Тридцатилетней войны и войн со Швецией. Тем не менее, во второй половине столетия они процветали как региональные рыночные

[43] *Pach* (1962, 234).

[44] Поскольку крестьяне, предположительно, не реагируют на вызовы мирового рынка, Куля утверждает, что «методы капиталистического учета неприменимы к данному виду "предприятий"» (Kula, 1970, 27). Аналогичным образом Ахиллес скептически относится к тому, что сельскохозяйственное производство действительно было восприимчиво к ценам в XVI–XVII веках. Нет более точного различия между крупным землевладельцем, который является капиталистическим предпринимателем, и крестьянином / полупролетарием (*Achilles*, 1959, 51–52).

[45] *Špiesz* (1969, 61). Мейдрицка придерживается аналогичной точки зрения, что Богемия отличалась от Польши и северной Германии географическим масштабом своего рынка: «Рынок сельскохозяйственной продукции и сырьевых материалов в чешских землях был привязан к межрегиональному обмену внутри страны и до некоторой степени с соседними странами» (*Mejdricka*, 1971, 401).

центры.[46] Рост концентрации земли шел в ногу с увеличением числа дней барщинного труда. Очевидно, что если у сеньора был больший земельный резерв, то ему было нужно больше труда; а если у крестьянина было меньше земли, у него было больше времени на работу на барщине. Иными словами, крестьянин, предположительно, все еще занимался земледелием, чтобы прокормить себя,[47] но более не производил на своей собственной земле товарную продукцию. Имеются сообщения о *росте* объема барщинного труда в *XVII* веке в Польше,[48] восточном Полабье,[49] Венгрии,[50] Богемии,[51] Румынии[52] и Дании.[53]

Наконец, остается вопрос о производственных отношениях. Если в XVII веке рост барщинного труда был рациональным решением, то почему столь же высокий его уровень не был достигнут уже в предшествующем столетии? Одним из вариантов ответа может быть то, что это требовало времени.

---

[46] Краков «оказался куда более постоянным и весомым региональным, нежели трансконтинентальным рынком» (*Małecki*, 1970, 119, см. тж. *Malecki*, 1971, 151). «Во второй половине XVII века <...> торговля в Познани обрела новую жизнь, однако теперь она обслуживала исключительно региональный рынок» (*Grycz*, 1967, 55, см. тж. *Grycz*, 1971, 119).

[47] Мончак напоминает, что «Польша, будучи сама по себе бедной страной, предоставляла своим обитателям важные преимущества. В сравнении с другими странами периода раннего Модерна, Польша никогда не испытывала подлинно всеобщего голода» (*Mączak*, 1972, 678). Ласло Маккаи утверждает, что «крестьяне Восточной Европы питались лучше, чем наемные работники Франции, Германии и Италии, но хуже, чем работники тех восходящих западных стран, где восторжествовали буржуазные революции» (*Makkai*, 1974, 207). В последнем случае Маккаи указывает на Англию и Соединенные Провинции. Поскольку в случае с Францией он цитирует исключительно Ле Руа Ладюри, сказанное, возможно, верно применительно к южной Франции, однако северную часть этой страны нужно отнести к тем самым «восходящим западным странам». В терминологии нашей работы точка зрения Маккаи состоит в том, что сельские работники в полупериферийных регионах были в худшем положении, чем в периферийных, потому что в последних крестьяне сохраняли больший контроль над участками земли для собственного пропитания.

[48] См. *Mączak* (1972, 677) и *Rutkowski* (1927b, 122). Бенедикт Зинтара сообщает, что в XVII веке барщинный крестьянский труд внедрялся на крупных рудниках (см. *Zientara*, 1971, 284). Рутковский говорит, что в XVIII веке повинности (*redevances*) были не столь высоки, как в XVI столетии (*Rutkowski*, 1927a, 89). С другой стороны, Рутковский мог сделать некорректную оценку. Куля указывает, что одним из способов увеличения крестьянских повинностей было увеличение соответствующей им меры пшеницы. В Кракове бушель (*boisseau, korzec*) в XVI веке составлял 26,26 литра, а в XVIII веке — 43,7 литра; в Варшаве бушель был равен 52,5 литра в XVI веке и 64 литра в XIX веке (*Kula*, 1962, 279).

Польские аристократы демонстрировали умение тонко манипулировать капиталистическими механизмами. Они осознавали, что изменение мер веса шло им на пользу в качестве получателей ренты, а не продавцов. Поэтому они довольно рано установили, что «оптовая единица измерения (*ласт*), которая, в частности, использовалась при экспорте, должна быть стабилизирована и унифицирована, в то время как бушель, розничная единица измерения, которая использовалась при выплатах повинностей (*prestations*), постоянно увеличивалась. Это попросту означало, что со временем ласт насчитывал все меньше и меньше бушелей». Следует отметить, что подобная уловка также является способом удержать уровень доходов при падающей рыночной цене.

[49] См. *Lütge* (1963, 123–127).

[50] См. *Makkai* (1963, 41). Маккаи утверждает, что это верно в первую очередь для производства пшеницы, поскольку «в скотоводстве и виноделии барщинный труд

Другой вариант таков: *высокий* уровень барщинного труда был рационален во времена рыночного спада по различным привходящим причинам, однако его *средний* уровень оказывается более приемлем для времен рыночной экспансии, поскольку у высокого уровня барщины есть определенная негативная сторона. После прохождения определенной точки барщинный труд становился истощающим и снижал производительность. Русиньский ставит вопрос так: «В какой момент барщинный труд начинал демонстрировать экономически реакционные черты? <...> Одно из последних исследований позволяет зафиксировать этот момент с исключительной точностью». Он относится, утверждает Русиньский, к промежутку между 1580 и 1620 годами в центральной Польше и к немного более позднему времени в Силезии и Богемии.[54] Это возвращает нас к уже отмеченному переходному периоду (1600–1650).

Ситуацию можно подытожить следующим образом. В XVI веке барщинный труд был экономически продуктивен. Он предполагал тот же самый труд, в который крестьянин включился бы в любом случае, поскольку рынок был сильным, однако, вводя барщинный труд, сеньор присваивал себе часть крестьянского прибавочного продукта. Когда времена стали непростыми, требования сеньора к рабочему времени крестьянина выросли. В этот момент крестьянин начинал отдавать свой труд, который в ином случае он мог бы вовсе не затрачивать. В длительной перспективе этот чрезмерный объем работы будет истощать потенциал крестьянского труда и окажется контрпродуктивным; тем не менее, в среднесрочной перспективе он приведет к тому, что основная часть потерь от ослабления мирового рынка ляжет на крестьянина, а не на сеньора.

(*Fronarbeit*) по техническим причинам не может играть столь же большую роль». Однако в XVII веке в Венгрии имел место рост производства зерновых —возможно, потому, что в этой сфере прибегли к барщинному труду. См. *Kirilly and Kiss* (1968, 235).

[51] Маловист утверждает, что в Богемии происходила интенсификация барщины, «главным образом после победы Габсбургов у Белой Горы в 1620 году и разорений, которым Богемия подверглась в ходе Тридцатилетней войны» (*Małowist*, 1974, 344). См. тж. *Klima* (1957, 87), *Kavke* (1964, 58) и *Wright* (1966, 14).

[52] См. *Stefanescu et al.* (1962, 56). В данной работе рост числа барщинных дней относится к концу XVII века.

[53] См. *Nielsen* (1933, 153) и тж. *Tonnesson* (1971, **I**, 304; **II**, 719–720). Тоннессон настаивает, что приемлемо «рассматривать Данию как пример восточного типа» (*Tonnesson*, 1971, II, 719). Есть некоторая проблема с Норвегией, которая в то время была частью Дании, — большинство норвежских крестьян были освобождены в конце XVII века. См. *Johnsen* (1939, 392–393). Тоннессон объясняет это тем, что «в стране со слабой аристократией [датской короне] было важно сохранять лояльность крестьянской массы населения, для того чтобы быть в состоянии защищать страну от соседей-шведов» (*Tonnesson*, 1971, **I**, 311). Однако если так, то подобная логика должна была превалировать и в украинских землях Польши. Поляки должны были стремиться к сохранению устойчивости украинских крестьян к искушению перейти на сторону России, хотя мы знаем, что отношение поляков к украинцам было вовсе не таким. Возможно, разницу между отношением к крестьянам в Норвегии и Украине скорее объясняет отсутствие в Норвегии экспортных культур и перспектив, связанных с ними в предшествующий период.

[54] *Rusiński* (1974, 40–41).

Действительно, крестьянину эта ситуация не добавляла счастья. «Чем больше поместье, тем больше контраст между резервом сеньора и крестьянским участком (*Guts- und Bauernwirtschaft*)».[55] Результатом этого стали бегство крестьян и саботаж. Поэтому мы оказываемся перед другим кажущимся парадоксом: одновременно происходил рост и барщинного, и наемного труда. Этот парадокс несложно разрешить, если мы вспомним, что в действительности существовало *три* типа взаимоотношений восточноевропейских сеньоров с сельскими работниками: барщина, заработная плата и оброк (*ценз*). Именно последний тип отношений, а не первые два, был главной схемой в Восточной Европе XIV–XV веков. В XVI веке экспансия мира-экономики вела к новому введению и расширению барщинного труда вместо оброка. На деле в областях, близких к экспортным портам (например, в Восточной Пруссии, северной «Великой Польше»* и Куявии**), крестьяне в XVI веке лучше могли противостоять введению барщины и удерживать за собой больше рыночной прибыли, сохраняя систему оброка.[56] Предположительно, это происходило потому, что близость к портам делала для них сравнительно легким предложение своей продукции по конкурентным ценам. Однако в XVII веке, учитывая более плотный рынок, способность сохранившихся восточноевропейских хозяев-арендаторов противостоять давлению сеньоров рухнула, и оброчная система стала сокращаться дальше, чтобы теперь быть вытесненной *и* барщиной, *и* наемным трудом.[57]

С точки зрения сельского работника, наемный труд не обязательно был предпочтительнее системы барщинного труда. В действительности на господском резерве наемные работники были в основном либо слугами, либо поденщиками, а последние «оказывались в еще более зависимом положении», чем крестьяне, имеющие барщинную работу.[58] Крепостные не только были в более безопасном положении, чем поденные работники, в том смысле, что их не могли выгнать, но и обладали бóльшими статусом и реальными доходами. Это может показаться странным, но у них было больше альтернатив. Несмотря на действующие в их отношении правовые ограничения, «крепостные, чьи сеньоры возлагали на них слишком большие повинности, всегда могли сменить сеньора» благодаря слабости публичных властей.[59] В этом конфликте между сеньором и крестьянином, который в действительности был классовым конфликтом между буржуа и

---

[55] *Rusiński* (1960, 420).

[56] См. *Rusiński* (1972, 112).

[57] Рутковский утверждает, что в середине XVII века «наемный труд, наряду с барщинным, начинает играть в организации сеньориальных резервов более значимую роль, чем ранее» (*Rutkowski*, 1926, 473). С этим согласен Куля: после 1650 года «мобильность крестьянского населения, усиленная войной, увеличила предложение наемной рабочей силы (*main-d'oeuvre de louage*)» (*Kula*, 1970, 152).

[58] *Rutkowski* (1926, 503).

[59] *Rutkowski* (1926, 486). Рутковский утверждает, что «публичные власти того времени были неспособны ввести статус *adscriptus glebae*** [прикрепленных к земле — *лат.*], который был бы абсолютным и не имел частых исключений» (p. 485). Куля также

пролетарием, даже в эти тяжелые времена крестьянин не был полностью лишен возможности защищать собственные интересы. Поэтому сеньору / буржуа для извлечения прибавочного продукта приходилось искать иные дозволенные правовыми механизмами средства, помимо простого сокращения реальных заработков. Логичным образом сеньор обращался к промышленному производству, чтобы иметь отношения с крестьянином не только как с работником, но и в равной степени как с потребителем.

Но если в XVII веке происходила пауперизация крестьян, то что они могли покупать? К концу XVI века существовавшие ранее городские отрасли промышленности вымирали из-за «уже широко распространившегося обнищания основной массы населения».[60] Что в таком случае могли производить сеньоры, чтобы крестьяне могли позволить себе это потреблять? Время от времени это были простые ткани, определенные изделия из стекла и металла, а в «тощие» годы — зерно. В любом случае, похоже, имело место перемещение ремесленников из городов в крупные поместья для работы на тамошних мануфактурах.[61] Наиболее успешной индустрией была, вне сомнения, та, что давала вечную опору тем беднякам, которые становятся еще беднее, — алкоголь. Джин ассоциируется у нас с новыми городскими фабриками Англии в XVIII веке, а виски — с оторванным от корней коренным населением пограничных территорий XIX века. Тем же самым для обнищавшего крестьянства XVII века были водка и пиво в Польше и вино в Венгрии. Ключевой институт здесь носил название *пропинации** — «приглашения выпить», что в действительности означало монополию сеньора на производство и продажу алкогольных напитков.[62] В период с 1650 по 1750 годы пропинация* часто становилась основным источником доходов знати.[63]

говорит о «широко распространенных крестьянских бегствах и бессилии властей перед лицом этого явления» (*Kula*, 1961, 145).

[60] *Małowist* (1972, 215).

[61] «Замкнутый круг товаров и денег обеспечивал землевладельцу-монополисту существенные доходы. Он открывал в своих поместьях ремесленные мастерские, чтобы обеспечивать и себя, и своих крестьян» (*Mączak*, 1972, 672). Эмануэль Ростворовский указывает, что в результате латифундии оказывались государствами с меркантилистской политикой под управлением князей: «Магнат, имевший собственные транспортные средства и собственных брокеров, концентрировал в своих руках экспорт и импорт с большой сельскохозяйственной территории. Внутри этой территории существовал не либерализм, а скорее система принуждения и монополии. <...> Таковы были условия, которые вели к основанию мануфактур в латифундиях» (*Rostworowski*, 1968, 307). Данута Моленда сообщает, что контроль над свинцовыми рудниками в XVII веке перешел от краковских купцов к магнатам, которые могли плавить металл с низкими издержками благодаря налоговым привилегиям (см. *Molenda*, 1976, 169). Не могло ли это также происходить из-за более легкой доступности барщинного труда?

[62] О Польше см. *Szczygielski* (1967, 97) и *Kula* (1970, 102–103). О Венгрии см. *Pach* (1962, 262–263) и *Makkai* (1963, 41).

[63] *Żytkowicz* (1972, 149); см. тж. *Slicher van Bath* (1977, 116). Янина Лешкевич показывает, что в королевских поместьях в Польше доля дохода от алкогольных напитков

Чистый результат концентрации земли — дальнейшее сокращение оброчной системы вкупе с пропинацией — означал, что высшим стратам Восточной Европы удалось пережить рассматриваемый период в приемлемой форме, несмотря на слабый мировой рынок для экспортных культур с их земель и военные разрушения. Несомненно, эти страты могли быть не столь процветающими, как регентский класс Амстердама или сеньоры северной Франции, однако резкое сокращение чистых доходов в восточноевропейской периферии в первую очередь собрало свою жатву с низших страт.[64] Городские ремесленники и более богатые крестьяне разорялись, а бедные крестьяне становились еще беднее. По мере того, как социальный раскол становился еще более поляризованным, некоторые также повысили свой статус. Речь идет о придворной клиентеле — не столько королевской, как во Франции, сколько о клиентеле множества сеньориальных властителей.[65] Данный процесс получил название *рефеодализации*, однако Маккаи справедливо настаивает, что это неправильное употребление термина — это явление, по его словам, следует называть «инфляцией аристократии».[66]

В предыдущей главе мы изобразили тот социальный компромисс, который был достигнут в Англии и Франции между новыми капиталистами и старыми аристократами — двумя группами, пересекавшимися гораздо сильнее, чем это признается в современном представлении или же в представлении того времени. Однако это пересечение не было совершенным, что вызывало определенные трения в эпоху экспансии мира-экономики. Конфликт стал наиболее острым в переходный период — последний период инфляции, который шел рука об руку со снижением уровня всемирной экспансии. Однако между 1650 и 1750 годами реалии эпохи спада вынудили две пересекающиеся страты прийти к согласию, которое к концу

росла от 0,4% в 1661 году до 37,5% в 1764 году, в то время как доходы от сельскохозяйственной продукции падали с 59,6% до 38,2% (*Leśkiewicz*, 1960, 414, таблица III).

[64] Ростворовский, описывая ситуацию середины XVIII века, утверждает, что «польские магнаты считались самыми богатыми частными лицами Европы вслед за английскими аристократами» (*Rostworowski*, 1968, 291). Отчасти это происходило благодаря прибыльным синекурам, доступным при дворе во время саксонско-польской унии, но в XVII веке подобное утверждение могло и не соответствовать действительности — все-таки непохоже, что они внезапно выбились из грязи в князи.

[65] Маловист говорит о молодых аристократах, которые жили при дворах земельной и церковной знати, служа в первой половине XVII века «управляющими различной собственностью аристократии, а в особенности — в частных армиях, которые собирали крупные сеньоры» (*Małowist*, 1976, 15). Мончак предполагает, что «замечания Тревор-Роупера о чрезмерных тратах королевского двора можно также применить и ко дворам польских магнатов» (*Mączak*, 1975, 33, n. 16). Несомненно, именно это объясняет наблюдение Рутковского, что в XVII и XVIII веках происходил «определенный рост» количества знати, живущей в наиболее важных городах королевства (*Rutkowski*, 1927b, 153).

[66] *Makkai* (1974, 198). Мончак аналогичным образом утверждает, что это *не* является «продолжением средневекового пути. <...> Старые и новые представители высших страт землевладельцев <...> теперь нуждались в еще большем, чем когда-либо, числе знатных вассалов» (*Mączak*, 1975, 10). Ежи Ковецкий (*Kowecki*, 1972, 6) указывает на значительную численность польской и венгерской (равно как и испанской) знати в сравнении с Францией, приводя следующие данные: 8–10% в Польше (16% этнических поляков), 5% в Венгрии (больше, чем размер буржуазии), 0,7% во Франции (1% включая клир).

XVII века выкристаллизовалось в новые основополагающие договоренности (в широком смысле этого словосочетания). Случилось ли что-либо сопоставимое в восточноевропейской периферии? На периферии не было двух факторов, которые присутствовали в центре. Во-первых, для упомянутых страт центра перспективы капиталистической прибыли оставались в целом сравнительно лучше, а это должно было подсластить пилюлю взаимных уступок. В некотором смысле игра стоила свеч. Во-вторых, высшие страты центра извлекали если не индивидуальную, то коллективную выгоду от усиления государственного аппарата, а этот аппарат, в свою очередь, мог действовать в качестве институционального тормоза для внутренних конфликтов верхних страт.

В периферийных зонах не было ни экономических компенсаций, ни сильного государственного аппарата. В Польше монархия становилась все слабее. Венгрия была разделена на три части*, две из которых были под иностранным владычеством, а в конечном итоге под ним окажутся все три. Чешскими землями также правили иноземцы. На самом деле, за исключением Пруссии-Бранденбурга (этот особый случай мы обсудим в дальнейшем), в XVII веке исконных национальных властей в Восточной Европе стало еще меньше. Польское государство, единственное, которому суждено сохранить автохтонного правителя над своей этнической территорией, в действительности именовалось термином *Речь Посполитая* (*Rzeczpospolita*), образованным от латинского *Respublica*, которым обычно называли содружество шляхты (Commonwealth of the Gentry). Однако в избрание выборного короля постоянно вмешивались иностранные государства, так что зачастую монархом выбирали представителя непольской нации. Три лидера Венгрии XVII века (Бетлен Габор, Зриньи и Ференц Ракоци II**) стремились «создать венгерское государство, достаточно сильное, чтобы нести на себе бремя изменившейся европейской ситуации»,[67] пытаясь сформировать сильную армию и, как необходимое условие этого, собирать налоги.[68] Но это им не удалось из-за объединенной оппозиции венгерской аристократии и габсбургских монархов, которые после поражения войны за независимость Венгрии в 1711 году достигли взаимовыгодного и длительного соглашения. «Освобождение знати от налогов продлилось в Венгрии еще на столетие, торговля медью попала в руки голландцев, в то время как посреднические доходы инвестировались габсбургским государством в модернизацию австрийских рудников». [69]

В странах центра новые восходящие группы — джентри либо дворянство мантии (*noblesse de robe*) — могли рассчитывать на то, что государственный аппарат будет в состоянии сдерживать претензии старой аристократии, особенно

---

[67] *Várkonyi* (1970, 279).

[68] Агнеса Варконьи цитирует Зриньи: «Neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributis haberi queunt» [Не может быть ни покоя народов без оружия, ни оружия без платы, ни платы без налогов. — *лат.*] (*Várkonyi*, 1970, 281).

[69] Действительно, голландцы и прочие устанавливали цену в этой торговле на протяжении целого столетия после того, как из нее были выдавлены южногерманские капиталисты. Варконьи описывает роль первых западных «туристов», которые в XVII веке путешествовали с целью прощупывания местности в качестве «агентов-разведчиков западного капитализма» (*Várkonyi*, 1970, 275).

тех ее представителей, которые были неспособныуспешно действовать на рынке. Однако в Восточной Европе подобная возможность едва ли существовала. Высшие страты стремились заменить сильное государство «содружеством шляхты», то есть ограничением правовых и моральных границ равенства пределами верхних 5–10% населения, хотя в действительности *внутри* этой верхней группы были вполне выраженными и социальное и экономическое неравенство, и конфликт,[70] а экономические трудности того времени их усиливали.[71] Тем не менее, в Польше усилия средней шляхты достичь правосудия против злоупотреблений магнатов в трибуналах или установленного в законном порядке возмещения были тщетны. Магнаты подкупали суды и разгоняли сейм и местные сеймики всякий раз, когда те выходили из-под контроля[72] В Венгрии местные «джентри» пытались воевать и проиграли. В Польше шляхта переформулировала «сарматский миф», изначально просто имевший целью утверждать, что

---

[70] *Várkonyi* (1970, 299). Этот род иностранного вмешательства, который сегодня именуется империализмом, не был изолированным феноменом — Мончак описывает аналогичное явление, параллельно имевшее место в Польше. Точкой схождения путей польской внешней торговли был, конечно же, Гданьск, обладавший определенным автономным статусом, и в отношении короля «городское сообщество Гданьска играло ту же самую роль, что и магнаты» (*Mączak*, 1976b, 12). Владислав IV, придя к власти после Шведской войны (1626–1629) посреди «возгласов энтузиазма» (*Tazbir*, 1968a, 235), стремился усилить королевскую власть. Мончак описывает происходившее так: «После того, как в 1635 году был подписан польско-шведский Штумсдорфский мир˙, король Польши небезуспешно попытался присвоить часть таможенных доходов [Гданьска]. Продолжение этой демонстрации силы королем пресекли датские военные корабли, и таможенный суверенитет Гданьска остался в неприкосновенности» (*Mączak*, 1976b, 14).

[71] Рутковский описывает различия между высшей знатью, т.е. сеньорами (*панами*) (*panowie*) или магнатами (*magnaci*), средней (*szlachta czastkowa*, или «долевая» шляхта) и мелкой знатью (*drobna szlachta*). Последние не обладали крепостными — они самостоятельно обрабатывали свои земли и фактически представляли собой земледельцев, чей доход был сопоставим с доходами богатых крестьян. Существовала также небольшая группа мелкой знати, так называемая оброчная шляхта (*szlachta czynszowa*), которая арендовала землю у сеньоров, не имея собственных земель (*Rutkowski*, 1926, 498–499).

[72] «В XVII веке возродилось старинное различие между магнатами и шляхтой, всегда латентно существовавшее, но забытое в дни аграрного процветания и всеобщего равенства. В этом столетии произошел подъем обширных поместий в Литве и на Украине, что не только максимально укрепило положение владельцев этих латифундий, но и породило большое число мелких помещиков, готовых служить магнатам и помогать им разрушать старые институты, основанные на принципе равенства» (*Boswell*, 1967, 159). Иными словами, инфляция знати, связанная с феноменом клиентелы, о котором мы уже говорили, умножала численность мелкой знати, связанной с магнатами, тем самым создавая угрозу того, что средняя и более старая мелкая знать могли быть уравнены в правах с магнатами.

Имеются сведения об аналогичной ситуации в Венгрии. Во время Сатмарского мира¨ (1711) там насчитывалось примерно 200–300 магнатов и 25 тысяч мелких дворян (gentry), причем у каждой из групп имелась своя палата в парламенте. «Это был звездный час магнатов. Никогда прежде венгерская аристократия не имела таких возможностей — в плане не столько приобретения состояний (после того, как кончилось перераспределение), сколько их сохранения. <...> Значительная доля [магнатских латифундий] находилась на территориях, освобожденных от турок и свободных от повинностей. Их

этнически разнородное население польско-литовского государства происходило от общего протославянского предка — сарматов. Теперь же этот миф объяснял корни завоевательной знати, основателей правящего класса.[73] В этом смысле «шляхта (gentry), и только она, идентифицировалась с польской нацией, исключая из национального сообщества другие социальные классы, которым приписывалось иное происхождение».[74] Шляхта, защитница христианской веры и поборница ксенофобии, рьяно и в крайней форме[75] проталкивала эту доктрину и, без сомнения, была повинна в «мегаломании»[76] и «злостной мифомании».[77] Однако при невозможности Славной революции приходилось иметь дело с сарматизмом, даже если он нес с собой «культурную стагнацию и атрофию творческой интеллектуальной деятельности».[78]

В то время, когда мировой экономический спад вел страны центра по пути национализма (меркантилизма) и компромисса по поводу основополагающих принципов в пределах высших страт, следствием чего было снижение возможности бунта низших слоев, слабость восточноевропейских государств означала, что они не могли ни стремиться к преимуществам меркантилистской тактики, ни *гарантировать* какой-либо компромисс внутри высших страт. Это вело периферийные территории в направлении обостряющегося классового конфликта,[79] к росту регионализма и снижению национального

владельцы могли рассматривать их как "христову" землю, свободную от каких-либо обязательств в отношении государства. Поэтому их производственные издержки были крайне низкими — во всяком случае, достаточно низкими, чтобы стали возможны такие капитальные инвестиции, которые порой окупались десятикратно» (*Macartney*, 1967, 129).

[73] *Tazbir* (1968b, 259).

[74] *Tazbir* (1968b, 264). О необходимости языковой и религиозной «полонизации» литовских и рутенских (Ruthenian) магнатов см. *Kersten* (1977, 125-126).

[75] В XVII веке францисканец Войцех Деболецкий' провозгласил, что «поляки были прямыми и потомками Адама и Евы, а стало быть, он считал их старейшей нацией, предназначенной к правлению миром» (*Tazbir*, 1966, 20).

[76] *Tazbir* (1968b, 265).

[77] *P. Anderson* (1974a, 292).

[78] *Rostworowski* (1968, 302). После невиданного физического и культурного опустошения в результате шведского Потопа 1658 года Варшава была перестроена как «сарматский» город, произошла ее «ориентализация» — ее буржуазия была уничтожена (*Tomkiewicz*, 1967). Ростворовский крайне язвителен по поводу Варшавы: «Упадок капитала был особенно ужасен для культурной жизни. Варшава саксонского периода не только не выполняла роль патрона искусств и культуры, но даже не могла быть центром социальной жизни. <...> Польша стала одной большой провинцией, а культурная жизнь лениво дрейфовала местечковым курсом» (*Rostworowski*, 1968, 302).

Все кончилось, когда Август III перенес двор саксонско-польской унии в Дрезден. «Вплоть до этого времени монарх, несмотря на все ограничения его власти, оставался краеугольным камнем политической структуры Речи Посполитой, а королевский двор был важным институтом культурной жизни страны. После коллапса амбициозных планов Августа II польско-саксонская уния лишила Польшу этого основания» (*Rostworowski*, 1968, 275).

[79] «Одним из важных последствий финансовых проблем [Польши XVII века] было <...> возобновление классовой ненависти и антагонизма между различными

сознания,[80] поиску внутренних козлов отпущения[81] и острому беспокойству крестьянства.[82] *Mutatis mutandis* [с необходимыми уточнениями — *лат.*] далее мы увидим, что то же самое было верным и для старых периферийных территорий Южной Европы, и для Американского континента. Общий взгляд на христианское Средиземноморье демонстрирует, что в XVII веке, который характеризовался «деловой стагнацией», здесь преобладали те же самые схемы.[83] Цены на основные экспортные продукты падали. В Испании цены на пшеницу снижались после 1585 года и оставались неподвижными на протяжении всего XVII века, равно как и цены на вино, рис и масло.[84] В Сицилии падал экспорт

группами, которое переросло в безжалостную борьбу между разными частями общества» (*Bogucka*, 1975, 152). См. тж. *Slicher van Bath* (1977, 122): «Это был период частых крестьянских войн во всей Центральной и Восточной Европе».

[80] См. у Януша Тазбира: «В XVII веке концепция нации в качестве этнического единства была оттеснена ультрасубъективной идеей нации-аристократа (*nation-nobiliaire*), основанной на сарматском мифе. <...> Триумф Контрреформации в западных регионах (особенно в Силезии) принял форму не только практически исключительного использования латыни, но и выразился в прогрессе германизации, которому благоприятствовала церковь. <...> Победа идеи сарматской нации способствовала возрождению региональной специфики различных территорий Польши. В XVII веке Мазовия вновь открыла свою особость» (*Tazbir*, 1966, 14–15, 20).

Однако Ростворовский утверждает, что, «несмотря на паралич, или даже атрофию, центрального правительства, в Речи Посполитой не возникло регионального партикуляризма. Далеко идущая дифференциация между крестьянскими массами и бюргерами по-прежнему преобладала в многонациональном государстве, однако "шляхетская нация" становилась все более и более гомогенной в своем облике. Процесс полонизации рутенской знати был завершен (в 1697 году рутенский язык перестал фигурировать в юридических записях). Польская, литовская и рутенская шляхта, связанные тысячами семейных уз, были ассимилированы в одну большую семью братской знати» (*Rostworowski*, 1968, 297). Вопрос, однако, состоит в том, насколько *магнаты* поощряли это чувство польскости, а не региональный партикуляризм.

[81] Евреи, в Восточной Европе совершившие свое *entrée en masse* [вхождение в массы — *фр.*] в контексте экспансии XVI века, продемонстрировали свои неизменные достоинства, оказавшись в ходе рецессии XVII века подходящими козлами отпущения. См. Weinryb (1973, 185): «Значительное число этих евреев осело в [польской части] Украины <...> в XVI–XVII веках. <...> Порядочное количество этих евреев <...> выполняли экономические функции в качестве арендаторов деревень или целых городов, а также постоялых дворов, и сборщиков доходов для знати или королевского домена. Аренда (leasehold) часто сочеталась с осуществлением определенных властных полномочий, включая отправление правосудия для различных групп населения. Данные виды деятельности и властные прерогативы, так сказать, помещали евреев на место польских землевладельцев, так что зачастую евреи становились повелителями в отношении "подлых" (inferior) (как их называет хронист Хановер") украинцев. Тем самым евреев стали отождествлять с польской знатью». Бернард Вейнриб подробно излагает преследование евреев польской знатью после потерь в войнах со Швецией и конфискаций собственности, особенно в Кракове (*Weinryb*, 1973, 190–191).

Перри Андерсон отмечает, что этническая стратификация в восточной и северо-восточной Польше включала польских (или ассимилированных литовских) аристократов-землевладельцев и непольских крепостных, которые исповедовали пра-

шелка, а после 1640 года и экспорт пшеницы и вина. Впрочем, Морис Аймар отмечает, что сокращение экспорта компенсировалось продолжительным ростом населения, который увеличивал «внутреннее» потребление.[85] Но это же могло означать, что душевое потребление зерна падало — тот же самый феномен мы уже встречали в Восточной Европе.

Каково объяснение этого? Орасио Канчило говорит об «интенсивных работах по колонизации» Сицилии с 1573 по 1653 годы.[86] Как сообщает Хосе-Хентиль да Силва, в 1609–1610 годах некий обеспокоенный испанский автор отмечал, что злоупотребления умножаются, а трехпольной ротации более не происходит, тем самым производители «истощают поля».[87] Да Силва говорит, что в 1570–1630 годах подобная ситуация вела к поиску новых участков, которые затем точно так же истощались. Это «опустынивание» земли особенно ударило по мелким производителям[88] и вело к дальнейшей концентрации земель. В то время, как этот процесс истощения земли делал невозможным экспорт, концентрация земли, бывшая его результатом, вела к дальнейшей *монетизации* производственных отношений, поскольку «неспособность крестьян из городской округи (*contadini*) и селян обеспечивать себе пропитание, обрабатывая собственные земли, увеличивала внутренний рынок».[89] Аналогичную экспансию *региональных* рынков мы видели в Восточной Европе в момент, когда мировая торговля падала. Демография следовала тем же путем. Население Испании сокращалось — причиной тому эпидемии чумы последних лет

вославие и говорили по-белорусски или по-рутенски (а также, как мы только что увидели из работы Вейнриба, и евреев в качестве посредников). Как напоминает Андерсон, это классическая «колониальная» ситуация (*P. Anderson* , 1974a, 285). Следует добавить, что в тяжелые времена колониальные ситуации располагают к конфликтам между этническими группами.

[82] Тазбир говорит о реакции крестьян на рост числа барщинных дней. «Крестьяне отвечали массовой борьбой, отказом работать, а в некоторых частях страны даже вооруженным сопротивлением. Помимо крестьянского восстания 1651 года*, следует упомянуть волнения в королевских поместьях в юго-западной части Краковского воеводства (1669–1672), в Подгалье, в Курпском регионе (на границах герцогства Пруссия) и в поместье Сураз в Подляшье**» (*Tazbir*, 1968b, 258–259). Кроме того, существовал продолжительный «казачий вопрос» на Украине. См. *Tazbir* (1968a, 237–241).

В Венгрии, где происходила «националистическая» борьба против внешней силы, отчаявшиеся крестьяне были ввергнуты в битву местными джентри-буржуазией. С 1704 по 1706 годы Ракоци в своей борьбе против аристократии и Габсбургов искал поддержку в освобождении крепостных и их вооружении (*Várkonyi*, 1970, 292). Можно легко догадаться, что крестьяне не сложили оружие слишком быстро.

[83] *Braudel* (1956, 196).

[84] О Валенсии см. *Castillo* (1969, 251-252), об Андалусии и Кастилии см. *Ponsot* (1969, 105). Уиттмен (*Wittman*, 1965) сравнивает аграрный упадок Испании с аналогичным процессом в Венгрии.

[85] *Aymard* (1971b, 440).

[86] *Cancilo* (1969, 25).

[87] *Da Silva* (1964b, 244).

[88] *Da Silva* (1964b, 248).

[89] *Da Silva* (1964b, 250).

XVI века и изгнание морисков. С 1609 по 1638 годы население Валенсии сократилось на 35%, однако этот «жестокий демографический кризис» следовал за стагнацией, а не предшествовал ей.[90]

Что касается южной Италии, то здесь сокращение населения происходило в Неаполе. Сицилия, полагает Аймар, испытала только «замедление» (а не снижение) демографического роста. Однако Аймар добавляет, что данные по Сицилии скрывают «четкую региональную дифференциацию»: остров был расколот на две части, причем первая из них — север, северо-восток и центр Сицилии — стагнировала и более не была самодостаточна в обеспечении себя продовольствием.[91] Можно только догадываться, имело ли место, кроме того, определенное скрытое демографическое падение. Верлинден сообщает, что масштаб рабства в южной Италии и Сицилии в XVII столетии снизился по сравнению с пиковой точкой в XV–XVI веках, поскольку торговля африканскими рабами (которых прежде ввозили в Средиземноморье португальцы) была теперь обращена в сторону Американского континента, а поставки турецких и прочих мусульманских невольников были гораздо меньше.[92] Не предполагает ли это снижение совокупного населения, которое могло быть не отслежено другими статистическими подсчетами? «Несомненное сжатие» экономики, как утверждается, объясняет *рост локальных* мануфактур на протяжении от Аквилы до Салерно в Неаполитанском королевстве,[93] однако так было не только в Неаполе, но и во всей Италии, а в равной степени и в Лангедоке. Не могло ли это быть, спрашивает Бродель, «демонстрацией дискомфорта, рассеянной реакцией на недостаточность торговли»?[94] Воздействие данного сжатия на мелких сельских производителей, которые действительно оказались проигравшими в этот период регресса, вело к острому классовому конфликту. Говоря о крестьянских мятежах в Неаполе 1647–1648 годов**, Эмилио Серени пишет, что это был «ответ сельского населения на феодальное угнетение и злоупотребления, теперь усиленный меркантильной алчностью

[90] *Castillo* (1969, 242, 247, 273). Демографический спад также отражал репрессивные движения, которые прекратили иммиграционный поток из южной Франции. См. *Nadal and Giralt* (1960, 83–84, 198).

[91] *Aymard* (1968, 222), см. тж. *Aymard* (1971b, 427). О Неаполе см. *Petraccone* (1974, 40–41, 51).

[92] *Verlinden* (1963, 37). Кл. Ларкье сообщает об аналогичном упадке рабства в южной Испании во второй половине XVII века и его исчезновении в XVIII столетии, объясняя это следствием слабой экономической конъюнктуры: «В конечном итоге, коммерческие потоки постигла дезорганизация, а экономические трудности Испании повлияли на потребительские сообщества — мало-помалу они сократили свое стремление к роскоши» (*Larquié*, 1970, 55). Несмотря на то, что Ларкье говорит о рабах как о предмете роскоши, он отмечает, что многие из них являлись «королевскими невольниками», которых использовали как портовую обслугу, в рудниках Альмадена* и на галерах (p. 67). Едва ли это была роскошь. Не является ли более верным объяснением то, что во времена сжатия рабы в старой периферии оказались дорогой формой труда в сравнении с принудительным трудом? Этот вопрос будет рассмотрен далее в контексте вопроса о рабстве в Карибском бассейне.

[93] *Aymard* (1971a, 11).

[94] *Braudel* (1956, 194).

новых баронов». По словам Серени, «точнее было бы говорить не о "рефеодализации", а о коммерциализации феодального поместья».[95] Экономический регресс, возросшее давление на землю и рабочую силу, концентрация и дальнейшая коммерциализация земли и труда — все это в действительности шло рука об руку и в Южной и Восточной Европе.

Обратимся теперь к Испанской Америке, где «депрессия XVII века» долго была предметом масштабной полемики. Начнем с подъема асьенды как ключевого аграрного института этой периферийной сферы мира-экономики. Как следует определять и воспринимать асьенду? Когда она вышла на сцену? В контексте XVI века мы уже сталкивались со спором, описывать ли определенные земельные структуры как «феодальные»[96] или как «капиталистические». Можно утверждать, как это делает Фредерик Моро, что, в то время как в Испанской Америке XVI и XVIII веков, по меньшей мере, «выросла значимость спекулянтов, торговцев, владельцев рудников, городской буржуазии и <...> даже королевской бюрократии», XVII и XIX столетия представляли собой триумф «патриархального общества».[97] С этой точки зрения, капитализм и феодализм видятся как конкурирующие тенденции, связанные с очень длинными А- и В-циклами мира-экономики. Триумф самообеспечивающей

[95] *Sereni* (1961, 195). В любом случае в это время в южной Италии не было *adscriptus glebae* [крестьян, прикрепленных к земле — *лат.*]. Как и в Восточной Европе, рефеодализация здесь означала ослабление [испанского] государства по сравнению с усилением местных баронов-землевладельцев. См. *Villari* (1962, 260) и тж. *Villari* (1963 и 1965). См. тж. *Vivanti* (1974, 422).

[96] Объяснение Шарля Верлиндена состоит в том, что «феодальная» система землевладения внедрялась не только в Испанской Америке, но и в Бразилии, Французской Канаде и в голландской части Карибского бассейна из-за «нехватки ресурсов центральной метрополии», которая «не желала принимать на себя первоначальные риски» (*Verlinden*, 1971, 347). Верлинден связывает изменение ситуации только с белой колонизацией. Поэтому в Испанской Америке, несмотря на «теоретическую» отмену феодализма, «сеньориальный режим просуществовал до того момента, пока колонизация не стала настолько плотной, чтобы обеспечить существенный рост доходов государства для передачи ему всех сторон публичной власти» (p. 348).

[97] *Mauro* (1974, 249). Моро уточняет, что «единственное влияние, которое долгосрочная конъюнктура могла оказывать на закрытую экономику» типа Испанской Америки, — это «сделать ее более закрытой <...> или более открытой» (p. 245). Поскольку это «единственное» фактически означает «любое», можно лишь догадываться, почему Моро использовал именно это слово. Стоит отметить и еще одно различие, которое он делает применительно к XVII веку: если в связи со значимостью сахарного производства, «мы в общем и целом разделяем "капиталистический" тезис [применительно к Бразилии], то применительно к Испанской Америке мы открыто склоняемся к "феодальному" тезису» (p. 245). Используя данное противопоставление для объяснения политических различий в конце XVIII века, Моро утверждает, что в «феодальной» Испанской Америке (подобно Франции) можно было бы ожидать более бурного политического волнения, нежели в «капиталистической» Бразилии (которая напоминала Англию) (см. p. 251).

Упомянутое различие Моро применил к системе землевладения: «*Сесмария* [в Бразилии] не была крестьянским владением, это была уступка, сделанная со стороны [*донатария*] капиталистическому предпринимателю в расчете на экспортное сельское хозяйство. <...> Она не была направлена на создание закрытой экономики в духе ка-

«некапиталистической» асьенды является основной темой работы Франсуа Шевалье — триумф, который, как утверждается, был последствием сжатия мира-экономики:

> «В первые десятилетия XVII века серебряный пузырь сдувался, подавляя на своем пути первые шевеления едва народившегося капитализма. Единственным источником дохода стала земля. <...> Крупнейшие поместья были экономически самостоятельными. Крупное сахарное производство, плантация, животноводческое хозяйство и плавильня, наряду с подсобными хозяйствами, удовлетворяли практически все их нужды. <...> Нам часто представлялся случай вспомнить Средневековье. <...> [Владельцы асьенд] в действительности составляли аристократию, некоторые из них преуспели в добыче титулов. В конечном итоге, государство маркизов де Валье — это невзрачная копия герцогства Бургундского».[98]

Альтернативную точку зрения на мексиканскую асьенду в XVII веке чрезвычайно энергично выдвинул Андре Гундер Франк:

> «Рост латифундий в Мексике XVII века не являлся вызванным депрессией сокращением хозяйства до того формата, который стал называться феодальной *асьендой*. Напротив, в это время, как и в любое другое и в других местах Латинской Америки, асьенда росла и процветала, поскольку положение дел в любом сегменте национальной (а на деле и мировой) экономики делало производство латифундий высокоприбыльным».[99]

Оценить эти противоположные точки зрения нам поможет анализ некоторых исторических процессов в более мелких деталях. Первая проблема — датировка экономического спада. Линч утверждает, что пик производства серебра в Мексике пришелся на 1590-е годы, а «после него бум закончился».[100] Однако для торговли с Индиями в целом он принимает точку зрения Шоню, согласно которой явный «разворот главного тренда» случился между 1593 и 1622 годами,

---

ролингского поместья или *даже* мексиканской асьенды XVII века» (*Mauro*, 1971, 388). Это выделенное нами «*даже*» предполагает, что Моро все же видит *некоторое* различие между каролингским поместьем и мексиканской асьендой.

[98] *Chevalier* (1907, 309, 311, 313). Заметим, что этот псевдолирический стиль Шевалье касается крупнейших поместий. А что же менее крупные? Как они добывали продовольствие? Заметим также, что здесь нет указания на тот факт, что асьенда могла не только обеспечивать себя самостоятельно, но и производила прибавочный продукт, который затем приходилось где-то продавать. Что же потом происходило с доходами, полученными таким образом?

[99] *Frank* (1979a, 38). См. краткий обзор дискуссии Шевалье с Франком в: *Piel* (1975, 147–148). П.Дж. Бэйквелл, исследовавший роль серебряных рудников в мексиканском колониальном ландшафте, по существу, становится на сторону Франка: «Хозяйство Новой Испании в XVII веке во многих отношениях имело явно капиталистическую природу» (*P.J. Bakewell*, 1971, 225).

[100] *Lynch* (1969, **II**, 204). Бэйквелл критикует аналогичную датировку со ссылкой на Шевалье, который, по его словам, «относит упадок горного дела к первому десятилетию XVII века, то есть к слишком (на 20 лет) раннему моменту» (*P.J. Bakewell*, 1971, 117, n. 4).

а «великая депрессия» произошла между 1623 и 1650 годами.[101] В свою очередь, Мёрдо Дж. МакЛеод, говоря о Центральной Америке, называет промежуток между 1576 и 1635 годами «полувеком перехода» и относит даты депрессии к периоду примерно между 1635 и 1720 годами.[102] Жан-Пьер Берт усматривает глубокий кризис мексиканского сельского хозяйства между 1630 и 1680 годами.[103] Наконец, Роландо Мельяфе, говоря об Испанской Америке в целом и о Чили в частности, утверждает, что «*подлинный* кризис начинается после 1650 года», добавляя, что «падение Картахены в 1586 году было первым предупреждением той жестокой и разрушительной борьбы, которая продлится два столетия».[104]

Как обычно, школярская софистика по поводу датировок отражает сложность реальности, в которой спады, похоже, начинаются раньше, чем оканчиваются восходящие циклы. Представляется вполне очевидным, что в Испанской Америке имел место период совпадения (или перехода) циклов, который начался, возможно, не позднее 1570-х годов, однако более вероятно — в 1590-х годах, а кончился где-то между 1630 и 1650 годами. В подобный период мы закономерно ожидаем обнаружить кризис доходов в ведущих секторах и следующие из этого попытки крупных собственников и инвесторов восполнить убытки кратковременными действиями, которые на деле ухудшают ситуацию в долгосрочной перспективе. Именно так и случилось. Серебро, главная статья экспорта Испанской Америки в XVI веке, достигло плато между 1590 и 1630 годами, а затем имеющиеся данные показывают быстрый и внезапный спад. Официальная статистика в данном случае может вводить в заблуждение, поскольку существовала растущая контрабандная торговля. Тем не менее, записанные в горнодобывающих территориях свидетельства, похоже, демонстрируют, что «реальный спад производства»[105] действительно происходил. Почему это должно было произойти? Один из аргументов состоит в том, что причиной этого стала нехватка трудовых ресурсов. Однако,

---

[101] *Lynch* (1969, **II**, 184): «Промежуток 1592–1622 годов представляет собой плато между экспансией и сжатием — разумеется, это высокое плато, с продолжающимися признаками процветания, однако в равной степени и с различимыми чертами неустойчивости, которые сигнализируют о развороте предшествующего тренда» (p. 185). Линч называет Новую Испанию «больным трансатлантической экономики с 1620-х по 1650-е годы» (p. 189). См. тж. *Chaunu* (1959, **VIII**, 2/*bis*, *passim*). Шоню утверждает, что «в абсолютном соответствии [с] атлантическо-севильской [конъюнктурой]» мы обнаружим в это же самое время спад на Филиппинах, и этот спад является «масштабным переломным моментом 1630–1640 годов» (*Chaunu*, 1960b, 246, 250).

[102] *MacLeod* (1973, 208). Маклеод говорит о денежном кризисе, который достиг пика между 1655 и 1670 годами, когда порча монеты, банкротства и обесценивание денег «вредили экспорту, разрушали внутреннюю торговлю и даже ослабляли безопасность государственного порядка и доверие к нему» (p. 286).

[103] См. *Berthe* (1966, 103). Это совпадает с точкой зрения Шевалье, что конец первого экономического цикла мексиканского производства серебра пришелся примерно на 1630–1640 годы (*Chevalier*, 1970, 4).

[104] *Mellafe* (1959, 207–208, курсив добавлен).

[105] *Bakewell* (1976, 224) и *Davis* (1973b, 158). Дэвис называет данные свидетельства «обильными».

несмотря на снижение совокупной численности населения и некоторое увеличение стоимости труда, владельцы рудников, видимо, получали тот труд, в котором они нуждались. В Мексике они прибегали к наемному труду, а в Потоси они просто добывали рабочую силу с более дальних расстояний. Суть дела же в том, что производство сокращалось даже тогда, когда труд был доступен. Как утверждает Дэвис, «в середине XVII века многие рудники Потоси действительно принимали от индейцев денежную дань вместо *миты*[*] и принудительного труда, на который они имели право, предпочитая этот определенный доход каким-либо иным, которые могло принести горное дело».[106]

Далее, был ли связан спад с нехваткой ртути? Очевидно, что подобная ситуация имела место в промежутке 1630–1660-х годов, и Бэйквелл называет трудности с запасами ртути «единственным крупнейшим фактором колебаний производства [серебра]», однако Дэвис не уверен, что именно это было «решающим».[107] Вопрос заключается в том, почему ртуть была более доступна именно в 1660-х годах, чем в 1630-х. Ответ состоит в следующем: то, что было необходимо для получения ртути, должно было оказаться прибыльным в 1660-х годах, а не в 1630-х. Напомним еще раз: несмотря на то, что объем предложения драгоценных металлов был для той эпохи принципиальным фактором ценообразования, «золото и серебро тоже [имели] свою цену», а «деньги в целом (и особенно в рамках "металлической" системы) были ничем иным, как товаром — как и любой другой товар».[108] Андре Гундер Франк, соглашаясь с вышесказанным, видит в падении производства серебра долгосрочное *следствие* инфляции цен:

> «В таком случае не являлись ли фиксированные цены на серебро признаком падения доходов, даже если издержки также оставались фиксированными? Утверждение, что во время инфляции цены на товары и услуги выросли, означает, иными словами, что стоимость, или цена, денег снизилась. И не деньги ли владельцы рудников производили в своих шахтах, раз цена серебра была фиксированной? Смысл в том, что они столкнулись с ростом издержек и со снижением доходов — для любого капиталиста это достаточная причина, чтобы сократить выпуск продукции и, если это возможно, переместить свои деньги в какое-то другое предприятие».[109]

Спад в ведущем секторе экспорта — драгоценных металлах — влиял, в свою очередь, и на другие «экспортные культуры». Относительно производства индиго в

---

[106] *Davis* (1973b, 159).

[107] *Bakèwell* (1971, 88) и *Davis* (1973b, 159). М.Ф. Лэнг также отдает первое место нехватке ртути (*M.F. Lang*, 1968, 632).

[108] *Romano* (1970, 131, 140). См. тж. работу *Onody* (1971, 236, n. 2), где высказывается та же точка зрения относительно бразильского золота и цитируется документ бразильского министерства финансов XIX века: «В текущих обстоятельствах внутри империи мы должны рассматривать нашу национальную валюту подлинным видом товара, частью нашей прибрежной торговли или нашего каботажа».

[109] *Frank* (1979a, 54). Ральф Дэвис также высказывает созвучную точку зрения: «Однако в целом к растущим издержкам удалось приспособиться. Добыча серебра сдерживалась из-за падающей его стоимости, выраженной в количестве товаров, которые можно

Центральной Америке Маклеод утверждает, что состояние технологий морских перевозок в XVII веке обуславливало шаткость нормы прибыли для первичной продукции, которую доставляли через Атлантику: «В благоприятные времена индиго выживал рядом с золотом и серебром. В более тяжелые времена [индиго] оказывался слишком далеко от Европы, чтобы давать устойчивые доходы».[110] Данное замечание относительно индиго можно использовать и в более широком контексте.[111]

От падения экспортных цен непосредственно страдали две могущественные группы: испанцы, которые контролировали производственные предприятия, и государство, которое облагало этих испанцев налогами. Уровень налогообложения и так значительно вырос во второй половине XVI века,[112] однако начало экономических трудностей в Испании и ее империи совпало с периодом масштабной военной активности (Нидерландская революция, за которой последовала Тридцатилетняя война). Столкнувшись с увеличивающимся разрывом между сокращающимися доходами и растущими тратами, испанское королевство в начале XVII века прибегло к «необузданной чеканке биллона»,[113] а когда и этого стало недостаточно — попыталось «выжать последние капли» из своей империи.[114] Поэтому в Мексике и Перу испанское государство одновременно и повышало налоги, и стремилось более эффективно внедрять налогообложение.[115] В действительности это было самоубийством. Когда Филипп III в 1620 году конфисковал восьмую часть частных поставок драгоценных металлов (предложив вместо этого биллоны или *хурос***), он самым верным образом напрямую лишил

было за него купить. <...> [Фиксированная цена серебра вкупе с растущими ценами на импортные товары] делали покупательную способность серебра настолько низкой, что продолжать его производство при постоянных или растущих реальных издержках становилось невыгодным» (*Davis*, 1973b, 159). Конечно, далее мы можем задать вопрос, почему цена серебра была застрахована от роста, и Романо предлагает следующий ответ: «Американские рудники довольно легко сократили свое производство, поскольку европейская экономическая жизнь в фазе стагнации не нуждалась [в серебре] или, как минимум, ее потребности в нем сократились» (*Romano*, 1970, 140). Сократившиеся мировой спрос (или, в результате, мировое перепроизводство) и норма прибыли — это две стороны одной медали. Два объяснения сокращения производства — те же самые.

[110] *MacLeod* (1973, 382). Производство индиго стагнировало на протяжении XVII века, несмотря на низкие требования к рабочей силе и то, что его выращивание не требовало лучших почв.

[111] См. рассмотрение падения цены на мате — единственную связку Парагвая с миром-экономикой в XVII веке — в: *Lopez* (1974).

[112] Таблица в работе Хосе Ларраса (*Larraz*, 1943, 79) показывает, как индекс цен постоянно рос, утроившись между 1504 и 1596 годами, а индекс двух ключевых налогов, *алькабалы* и *мильонеса**, сначала шел вверх более медленно, затем, к 1575 году, определенно превзошел индекс цен и к 1596 году достиг значения 537.

[113] *E.J. Hamilton* (1947, 12). Морино предполагает, что в данном случае мы задаем «неприятный вопрос» Чарльза Уилсона: не являлся ли высокий уровень испанских налогов, «огромный и обладающий сомнительным превосходством в условиях XVI века, <...> причиной бедности и упадка Испании в XVII столетии?» (*Morineau*, 1978d, 158).

[114] *Lynch* (1969, II, 165).

[115] См. *Israel* (1974a, 40). Следовательно, утверждает Израэль, мы должны рассматривать высокий уровень налогов не в качестве «индекса экономической деятель-

купцов их капитала. Однако еще более важно, что вследствие этого купцам стало выгодно вообще отвозить свои металлы обратно в Америку (и это, несомненно, выступило еще одним фактором сокращения производства серебра). Как следствие, стал снижаться доход короны от аверии (*avería*)* — налога *ad valorem* [на стоимость — *лат.*], который выплачивался за стоимость охраны «серебряных флотов». Для сохранения этих флотилий короне пришлось сделать ставку данного налога еще выше, что было, по словам Джона Линча, «дальнейшим стимулом к мошенничеству» и обратило корону к «паразитической [жизни] за счет американской торговли и колоний». Корона также компенсировала это пожалованием испанским переселенцам бóльших *mercedes* [уступок — *лат.*]. Ситуация развивалась по спирали: «Грабеж и паразитизм сделали мошенничество и контрабанду образом жизни»[116] — последняя пара, как мы увидим, еще сильнее способствовала превращению Испании в полупериферию.

В то время, как некоторые креолы страдали от последствий экономических трудностей и искали спасения на государственной службе,[117] тем самым умножая паразитизм государственной бюрократии, другие в самом деле вполне неплохо адаптировались к превратностям мирового рынка. Производство драгоценных металлов, доселе являвшихся главным экспортным товаром Америки, падало, а производство зерновых росло — именно в этот момент и возникает путаница. Поскольку американское зерно (в отличие от восточноевропейского) не выступало экспортным продуктом периферии для центральных регионов, часто утверждается, что подобное производство было некапиталистическим. Однако Жан Базан утверждает, что все было совсем наоборот: «Крупномасштабное производство [пшеницы] было, несомненно, производством для рынка, причем использующим капитал». Хотя пеоны, употреблявшие в пищу черепах, не ели пшеницу, Базан напоминает, что «существовал, тем не менее, значительный рынок — белое городское население».[118] Кроме того, это производство требовало значительного капитала в форме мельниц, рабочего скота и пищи для работников.

Можно утверждать, что сказанное верно только для пшеницы, но не для кукурузы. Однако и здесь коммерциализация также выступала центральным аспектом:

ности» Испанской Америки, а как «индекс давления Испании» на ее колонии. Нужды испанского налогообложения в равной степени воздействовали на экономически выгодное производство и другими способами. Острая нехватка ртути в мексиканских рудниках после 1630 года была результатом решения короны, сократившего поставки наполовину. Как утверждают Д. Брейдинг и Гари Кросс, это решение короля «принималось, предположительно, [потому, что] вице-королевство [Перу] платило *quinto* [пятую часть — *исп.*], в то время как Мексика только *diezmo* [десятину — *исп.*]» (*Brading and Cross*, 1972, 574).

[116] *Lynch* (1969, **II**, 165–167).

[117] См. *MacLeod* (1973, 311) о государственной службе как «единственном прагматичном ответе», который мог предотвратить «падение в статусе» многих креолов и испанцев.

[118] *Bazant* (1950, 90). Базан добавляет, что «часть общего объема производства предназначалась для экспорта».

> «Работники (индейцы, мулаты, негры, метисы), равно как и мулы и лошади, приводившие в действие машины, — вся в совокупности рабочая сила, занятая в рудниках, зависела от кукурузы (маиса). Для обслуживания рудников вокруг них начиная с конца XVI века вырастал пояс сельскохозяйственных и животноводческих асьенд, специально предназначенных для их обеспечения».[119]

Все это не означает допущения, что данные асьенды не испытывали влияния экономической конъюнктуры; плохие времена для горнодобывающих территорий вели к «тяжелым годам, а иногда и к рецессии»,[120] которая часто обострялась появлением новых асьенд-конкурентов. Однако это дает основания предполагать, что у рынка был региональный лимит, выходить за рамки которого в период мирового экономического сжатия было невыгодно.[121] В этом, несомненно, заключается *конъюнктурное* происхождение классического описания *структурного* различия между асьендами, поставлявшими продукцию на рынки небольшого масштаба, и сахарными плантациями, которые обслуживали крупные рынки.[122] В региональных рамках производство асьенды было вполне прибыльным. Если угодно, это можно называть самообеспечением, однако мне представляется более правдоподобным, что это был, как утверждает Бэйквелл, «результат развития в Новом Свете формы диверсифицированной и, в современных терминах, капиталистической экономики европейского типа, а также использования этой экономики для эксплуатации обширных ресурсов Центральной Америки в ее же пользу».[123] Вытекавшие из этого преимущества не могли оказать влияния на абстрактное единство, именуемое Центральной Америкой, но действительно повлияли на конкретную социальную группу, которую составляли землевладельцы этого региона.

---

[119] *Florescano* (1969, 150). См. тж. *Bakewell* (1971, 64): «Возможно, наиболее поразительной чертой поставок зерна для Сакатекаса было то, насколько широко была закинута сеть. <...> Серебро из Сакатекаса* перевозили буквально в каждом направлении на возвращающихся обратно повозках и мулах, которые добирались с оплатой за зерно до Салтильо на севере и Пуэблы на юге». Это описание ситуации в Мексике соотносится с описанием Перу у Линча: «Крупнейшими рынками для продукции плантаций — сахара, вина и хлопка — были поселения при рудниках Верхнего Перу. В той или иной степени все Перу работало на Потоси и получало прибыль от его богатств» (*Lynch*, 1969, **II**, 217). Еще одно свидетельство этого можно обнаружить во влиянии перуанского землетрясения 1687 года, которое привело к «пшеничной лихорадке» в Чили, где производители уходили от пастбищ и виноградарства (*Romano*, 1969, 280), см. тж. *Carmagnani* (1973, 31–42, 265–266).

[120] *Florescano* (1969, 183).

[121] «[Все свидетельства] демонстрируют, что в сравнительно короткий промежуток времени крупная асьенда преуспела в удовлетворении региональных потребительских нужд. Однако, как только этот уровень был достигнут (прежде, чем асьенда приобрела свою максимальную производственную загрузку), региональная структура рынков, огромные расстояния, плохие дороги, высокая стоимость перевозки, торговая политика короны — все это сделало невозможным экспорт излишек продукции асьенды за пределы регионального рынка. После этого асьенда была вынуждена если не сокращать производство, то, по меньшей мере, удерживать его на стабильном уровне» (*Florescano*, 1969, 184).

[122] См. *Wolf and Mintz* (1957, 380).

[123] *Bakewell* (1971, 235), см. тж. *Morner* (1973, 191). Линч идет еще Линч идет еще дальше, называя это «первым освобождением Испанской Америки»: «Существует искушение

Однако, как и в Восточной Европе, замедление мира-экономики в целом требовало интенсификации использования базовых ресурсов (земли и труда) для сохранения уровня доходов. Резкое сокращение индейского населения во всех частях Испанской Америки — это уже вполне неплохо известный сюжет,[124] и роль в нем эпидемических заболеваний ясно установлена.[125] Это сокращение создало для испанских землевладельцев как благоприятную возможность, так и определенную проблему. Снижение численности индейских производителей путем физической смерти и выселения с земли, наряду с ростом количества испанцев и метисов в городских и горнодобывающих зонах, предоставили владельцам асьенд региональный рынок с его высокими ценами. С другой стороны, владельцы нуждались в работниках. Именно здесь мы сталкиваемся с основным вопросом борьбы за то, кто будет накапливать капитал. Факт замедления накопления капитала в мировых масштабах означал, что капиталистические сектора хозяйства Испанской Америки оказывались в состоянии острой конкуренции за уменьшавшийся экономический «пирог» с аналогичной сферой в Испании. Мы уже упомянули росшее налогообложение со стороны короны, которое отнимало прибавочный продукт у Американского континента. С точки зрения Новой Испании, некогда наиболее динамичного американского региона, наибольший ущерб причиняла попытка испанской короны сократить прямые связи Мексики с Перу и Филиппинами. Несомненно, там имела место широко распространенная контрабанда, однако столь же несомненно, что политика короны «имела серьезное неблагоприятное воздействие на город Мехико».[126]

Напряженная ситуация вокруг доходов проявлялась в спорах о контроле не только над торговыми маршрутами, но и над рабочей силой. Система *репартимьенто*, действовавшая с середины XVI века, с точки зрения крупных сельскохозяйственных производителей была весьма разорительной. Она была равносильной принудительному наемному труду, но при этом работники были временными

связать великую депрессию американской торговли со сжатием колониальных экономик. Однако эта депрессия была следствием экономического сдвига, а не сжатия. Если колонии больше не могли, как раньше, подпитывать торговлю, это главным образом происходило потому, что они задействовали свой капитал у себя дома, в публичных и частных инвестициях» (*Lynch*, 1969, **II**, 139). Жан Пиль переворачивает аргументацию далее, стремясь опровергнуть тех авторов (см. *Romano*, 1970), которые говорят о низком уровне оборота драгоценных металлов на основании снижения показателей трансатлантических перевозок: «Если трансокеанский денежный оборот сокращался, то является ли это признаком сокращения производства рудников или же, скорее, признаком того, что растущая доля драгоценных металлов получала локальное применение?» (*Piel*, 1975, 151).

[124] См., например, *Cook and Borah* (1971). Одновременно происходило сокращение (но не такое резкое) населения Филиппин. См. *Phelan* (1959, 194) и *Chaunu* (1960b, 74, таблица 1).

[125] Об оспе см. *Crosby* (1967). Регион Анд, похоже, избежал уровня смертности, характерного для Центральной Америки в XVI веке, но принял эстафету в конце XVII века (см. *Dobyns*, 1963, 514). О Чили см. *Mellafe* (1959, 226), о Центральной Америке — *MacLeod* (1973, 204–205).

[126] *Israel* (1974a, 39). Израэль указывает на «множество ожесточенных протестов в Мексике в 1630–1640-х годах». М.Ф. Лэнг уверен в очевидности того, «что стремление ограничить торговлю между Новой Испанией и Перу было главным мотивом нежелания короны обеспечить регулярные поставки из Уанкавелики*[ртути в мексиканские рудники]» (*M.F. Lang*, 1968, 639).

и постоянно возвращались к занятиям своей традиционной производственной деятельностью.[127] Посредником в вопросе о предоставляемом индейцами объеме рабочей силы была испанская бюрократия, в особенности в лице *коррехидоров*, при твердой поддержке монахов, которые выступали в пользу этой системы в качестве средства защиты индейцев от жадности испанцев. Однако подлинные интересы этих «защитников» были вполне прозрачны, как поясняет Израэль в контексте Мексики:

> Коррехидоры <...> регулярно делали большие состояния при помощи различных методов вымогательства, среди которых были принудительное приобретение по минимальным ценам выращенных индейцами урожаев для продажи в городах с огромной прибылью, принудительная продажа товаров по заоблачным ценам, сбор платы за благосклонность испанцев и хитрое использование системы репартимьенто. <...> Поэтому в результате индейцы поддерживали два различных хозяйства — испанских поселенцев, с одной стороны, и индейских территорий, с другой, действуя главным образом в интересах коррехидоров, монахов и индейской иерархии».[128]

Эта двойная ноша, лежавшая на индейцах, была, конечно же, составляющей частью сокращения их численности — фактором, который, несомненно, создал, помимо прочего, непосильное напряжение в политической системе, как только экономика затрещала по швам.[129]

В 1632 году корона окончательно отменила в Новой Испании *принудительный* наемный труд вне рудников. Поскольку напряженность при этом никуда не делась, данная мера попросту ускорила развивающуюся тактику испанских землевладельцев (теперь именуемых *hacendados*) по привлечению постоянных работников, известных как *gañanes* [батраки — *исп.*] или *naboríos* [индеец-слуга — *куб. исп.*]. Сначала коррехидоры отвечали тем, что не исключали этих *gañanes* из

[127] См. определение системы *репартимьенто* у Энрике Семо, которое, как он сам признает, сделано исследователем XX века и не обязательно было в ходу у современников этого явления: «Мы рассматриваем репартимьенто как систему упорядоченного, с периодическим чередованием труда на экономических предприятиях испанцев, которая распространялась на индейцев (как прикрепленных на основании энкомьенды, так и нет) и была выгодна для класса собственников, гораздо более широкого, нежели те, кто получал доходы от энкомьенды. К этому следует добавить, что, в отличие от индейцев при энкомьенде, переданных ее держателю в качестве награды за службу короне в целях, которые владелец сочтет удобными для себя, субъекты репартимьенто (*repartimientos*) чаще поручались для тщательно определенных *экономических* целей при запрете использовать индейцев в ином назначении. При этой новой системе порядок очередности в последней инстанции утверждался вице-королем. <...> Шкала приоритетов помещала производство серебра в число потребностей держателей энкомьенд (*encomenderos*)» (*Semo*, 1973, 222).

[128] *Israel* (1974a, 47). Ср. с ситуацией в Центральной Америке, описанной у Маклеода: «1630–1680 годы — это по преимуществу период действия *derrama* [дополнительного налога], когда мелкие правительственные чиновники, зачастую креолы, заставляли индейцев покупать невостребованные товары по растущим ценам или производить товары бесплатно или за гроши» (*MacLeod*, 1973, 384).

[129] Израэль посвящает целую статью разбору трений внутри правящих групп в Мексики между 1620 и 1664 годами с точки зрения конфликта за контроль над скудной рабочей силой.

системы репартимьенто, — де-факто это означало, что для ослабления креолов как страты коррехидоры заставляли индейца оставлять одного креола и переходить под контроль другого. А когда корона пыталась использовать альтернативную тактику полной отмены принуждения, индейцы оказывались перед возраставшей возможностью не работать совсем. В этот момент крупный сельскохозяйственный производитель прибегал к созданию системы долгового пеонажа как способа прикрепления труда к земле.[130] Экспроприация земли еще более стимулировала этот контроль[131] — так энкомьенда превращалась в асьенду,[132] а принудительный работник — в долгового пеона. С точки зрения заработной платы в расчете на единицу времени, положение работников, возможно, даже улучшилось. Нехватка трудовых ресурсов дала работнику некоторый задел для торга с работодателем,[133] но не платил ли работник за более высокий уровень вознаграждения возросшим общим рабочим временем, которое он был вынужден предлагать? Не было ли в действительности увеличения интенсивности труда и

---

[130] См. *Zavala* (1966, особенно p. 79), *Godinho* (1948) и *Chevalier* (1970, 285). Шевалье отмечает: «Долговой пеонаж медленно — и безвозвратно — прокрадывался во все больше и больше асьенд. К концу XVII или началу XVIII века общей практикой было рассматривать *gañanes* или *naborios* в качестве собственности поместья». См. тж. *Phelan* (1959, 191): «Прикрепление индейцев к асьенде через механизм долгового пеонажа имело несколько преимуществ над другими формами труда. Чернокожие рабы требовали значительных капитальных инвестиций. Труд по системе репартимьенто был неэффективен, поскольку при ней происходили еженедельные пересменки работников, а количество доступных индейцев постоянно сокращалось». В случае с трудом в рудниках их владельцы изначально пытались удерживать своих работников путем сочетания жалованья и премии в виде определенного объема добычи в качестве собственного дохода работников. В Мексике это называлось словом *pepena*, а в Перу — *dobla*. Однако то дополнительное серебро, которое добывалось индейцем, не могло перейти лично к нему — он должен был продавать его задешево владельцу рудника. В некоторых случаях работа за жалованье стала фактически трансформироваться в оплату натурой. Так или иначе, владельцы рудников использовали долговые механизмы для удержания работников на месте. См. *Romano* (1970, 132–133) и *Bakewell* (1971, 125–126). Дэвис рассматривает систему долговой крепости как ответ работодателя на *сильное положение* работника на свободном рынке, «поскольку ближе к концу XVI века численность населения достигла самых низких показателей» (*Davis*, 1973b, 167).

[131] «Лучшим способом получить *gañanes* и пеонов было забрать землю у индейских городов. <...> Монополизация земли — по существу, бесплатного ресурса — является одной из наиболее важных и общих причин (хотя и в основном неизученных) для роста и длительного существования латифундистской формы сельского хозяйства и связанной с ней неэффективности использования ресурсов (с социальной точки зрения, а не с позиции частной монополии)» (*Frank*, 1979a, 70–71). О промежутке 1580–1590 годов см. тж. *MacLeod* (1973, 221): «Сначала испанцы [в Центральной Америке] подбирали *tierras baldías* [пустые земли — *ucn.*] и *realengas* [земли, принадлежащие королю — *ucn.*], которые были оставлены умершими или "согнанными в кучу" индейцами. Теперь же начались первые серьезные вторжения на индейские земли».

[132] Локхарт довольно убедительно демонстрирует следующий тезис: какими бы ни были правовые различия, социологически преемственность между энкомьендой и асьендой велика. «Держатель энкомьенды, а затем владелец асьенды были слеплены из одного теста», хваленую самодостаточность асьенды «очень трудно отличить от диверсификации или интеграции коммерческого предприятия», а жизнь работников, что

возможного сокращения продолжительности жизни работника? Не происходило ли здесь, как и в Восточной Европе, поглощение капиталом самой рабочей силы с целью поддержания уровня производства?

Результат этого был, предположительно, следующим. Высокие цены и небольшой объем предложения сельскохозяйственной продукции в конце XVI века вели к присвоению земли и ускорению производства. Шевалье, например, говорит о том, что скотоводы в значительной мере стремились «пожертвовать большим количеством животных даже с риском истощения своих стад».[134] Владельцы рудников, горожане, бюрократия — короче говоря, все, кто составлял региональный рынок для сельскохозяйственной продукции, — пытались контролировать уровень дохода ее производителей, используя такой механизм ценового контроля, как *alhóndiga*, или муниципальные амбары с фиксированными ценами, которые, однако, не распространялись на индейскую продукцию.[135] Из-за сжатия мелкие испанские сельскохозяйственные производители постепенно опускались на дно, то же происходило и с производителями-метисами, многие из которых «были доведены до положения нищих крестьян».[136] Соответственно, крупные стали еще крупнее, расширяясь именно в момент снижения цен. Логику этого кажущегося недоразумения уловил Магнус Морнер:

> «Асьенды часто были вынуждены сокращать свое производство из-за ограничений рынка и резкого падения цен при обильных урожаях. Почему же их беспокоило расширение? Потому, что, лишая своих соседей их земель, владельцы асьенд устраняли с рынка конкурирующую продукцию или же заставляли ранее самодостаточных малых производителей становиться вместо этого потребителями продукции асьенды».[137]

наиболее важно, осталась той же самой. «Деревенские жители приходили работать в поместья (*estancias*), а затем асьенды сначала в силу обязательств по энкомьендам, далее путем механизма репартимьенто и, наконец, по индивидуальным соглашениям, однако это всегда были одни и те же люди, делавшие ту же самую работу» (*Lockhart*, 1969, 419, 425–426). См. тж. *R.G. Keith* (1971, 441) и *Piel* (1975, 161, 238).

Правовой основой асьенды были два указа (*cédulas*) испанской короны 1591 года, где она декларировала свое право на всю землю, в отношении которой не существовало права собственности. Это заставило землевладельцев выплачивать специальный сбор (*composición*) для установления права на те земли, о которых доносили как о *baldíos* (т.е. пустых или покинутых землях). См. *E.M. Barrett* (1973, 89–90) и *Lira and Muro* (1976, 143). К 1713 году корона оказалась в таком отчаянном финансовом положении, что в Перу она стремилась продавать подобные земли даже индейцам, когда у тех были деньги. См. *Piel* (1975, 191).

[133] См. *MacLeod* (1973, 227), где говорится о «незначительном (marginal) улучшении условий жизни некоторых представителей низших классов».

[134] *Chevalier* (1970, 107).

[135] См. *Bakewell* (1971, 75). Однако Бэйквелл отмечает, что «эффективность механизма *альондиги* в регулировании цен неизвестна» (p. 66). См. тж. *Guthrie* (1939, 105) и *Chevalier* (1970, 62–65).

[136] *MacLeod* (1973, 153). Конечно, это вызывало сопротивление. В работе *Osborn* (1973) указывается, что возможность индейцев Мексики противостоять присвоению земли в это время зависела от организационной силы их сообществ.

[137] *Morner* (1973, 192).

Крупная, так называемая самодостаточная асьенда была именно тем механизмом, который обеспечивал тонкое приспособление к рыночным силам. Она могла сокращать и расширять производство в зависимости от изменяющейся доходности и ускорять или замедлять использование ресурсов, тем самым поддерживая с течением времени связь между сельскохозяйственным производством и миром-экономикой. Кроме того, асьенда была фокусом нового текстильного производства. Ее появление было аналогом того, что в последующие столетия станет известно как импортозамещение — печально известное последствие всемирных экономических сжатий. Бэйквелл утверждает, что «торговля, возможно, в существенной степени сокращалась, поскольку Новой Испании больше не требовались импортные товары из Европы».[138] Он делает заключение, что «хозяйство Новой Испании, далекое от какого-либо упадка в начале XVII века, стало более здоровым»,[139] однако это неверное понимание ситуации. Не существует такой вещи, как хозяйство Новой Испании, которое может быть сопоставлено с хозяйством собственно Испании. Некоторые предприниматели в Испанской Америки *inter alia* [помимо прочего — *лат.*] перемещали инвестиции в текстильное производство в связи с изменением состояния рынка (рост численности испанцев и метисов, *спад* экспорта серебра, экономия на масштабах трудозатрат в системе асьенды) и тем самым наносили ущерб экспортному потенциалу испанских производителей текстиля.

Всемирное сжатие не подразумевало упадок капиталистической экономической деятельности — на самом деле сжатие, возможно, сигнализировало о возросшей силе местных буржуазных предприятий.[140] Более того, как и в случае с Европой, суть дела состояла не в том, что был какой-либо спад в общем объеме текстильного производства, но в том, что это производство перемещалось в сельскую местность, асьенды и индейские деревни, а «тонкие ткани производились по большей части в *obrajes*».[141] Причем текстильная индустрия была

[138] Bakewell (1971, 234).

[139] *Bakewell* (1971, 230). В сущности, такое же утверждение делает Джон Л. Филан: «Тезис Вудроу Бора о нехватке индейской рабочей силы неоспорим, однако именно это обстоятельство в XVII веке могло стать бóльшим вкладом в экономический рост, нежели в экономическую стагнацию. Слово "депрессия", как я полагаю, — это дезориентирующий термин в приложении к данному периоду в целом» (*Phelan*, 1970, 213).

[140] «Если возникновение крупной земельной собственности в Перу хронологически совпало с упадком денежного хозяйства и несельскохозяйственных предприятий — в горном деле, мануфактурах, коммерции, то как можно объяснить появление в XVII веке перуанских *obrajes*' [мастерских — *исп.*], объем производства которых превзойдет <...> аналогичный показатель в Испании в эту эпоху? Более того, как объяснить появление испанско-перуанской торговой буржуазии, способной в 1613 году вынудить Мадрид разделить между Перу и Испанией колониальную монополию на торговлю путем создания Торгового трибунала Лимы"?» (*Piel*, 1975, 150). О «нарастающей свободе» экономической элиты Новой Испании по сравнению с аналогичной группой в Севилье см. *Boyer* (1977, 457 и *passim*). О растущей силе по отношению к короне мексиканских *aviadores*, или розничных торговцев, которые могли заставить должников выплатить им долги прежде уплаты налогов, см. *Bakewell* (1976, 219).

[141] *Pohl* (1969, 448). Однако Дэвис подчеркивает, что «товары, которые Мексика производила в изобилии, были дешевле и низкого качества, в то время как высококаче-

не единственной растущей отраслью промышленности. В начале XVII века расширялись производства железа и бронзы, обеспечивая строительство «больших церквей с ренессансными решетками на дверях и окнах (*verjas y rejas* [оградах и решетках — *исп.*])».[142] Когда главные экспортные статьи Испанской Америки (особенно серебро) испытывали спад на мировом рынке, производители в этих старых периферийных зонах обратили внимание на другие способы получения прибыли. Они сосредоточили свои производственные усилия на растущих региональных рынках, которые с точки зрения трансатлантической торговли представляли собой относительное от нее отсоединение, однако это едва ли можно рассматривать как становление автаркии. Тем временем в пределах стран центра высокий уровень спроса создавал расширяющиеся рынки для экспорта сахара (и в меньшей степени — табака). В некотором смысле это означало включение в мир-экономику новых периферийных территорий — Карибских островов и их окружения, а также южных материковых колоний британской Северной Америки. Именно к этому сюжету мы должны обратиться для завершения картины.

До начала XVII века большинство Карибских островов не находились под контролем европейцев. Испанцы изначально захватили крупный остров Тринидад и так называемые Большие Антильские острова (Куба, Ямайка, Эспаньола, Пуэрто-Рико). Они занимались там каким-то скотоводством, выращивали ряд продовольственных культур, а также немного табака и сахара, однако основной заботой испанцев был простой контроль торговых путей к главным для них территориям Американского континента. Между 1604 и 1640 годами англичане, французы и голландцы внезапно вторглись в Карибский бассейн и захватили все мелкие острова. С 1625 по 1654 годы голландцы контролировали часть Бразилии. В 1655 году англичане отняли у испанцев Ямайку. В 1629 году несколько французских буканьеров высадились на Тортуге с Эспаньолы и к 1659 году определенно контролировали саму Эспаньолу, вскоре переместившись в ее западную часть, сегодня именуемую Гаити (хотя суверенитет Франции не был формально признан до 1697 года). Затем, с 1650-х до 1763 года, наступила относительная стабильность колониальных территорий. Почему же произошел внезапный всплеск вторжений сил северо-западной Европы в Карибский бассейн в широком смысле этого термина? Почему этот процесс остановился, в сущности, в нескольких шагах от захвата испанских и португальских территорий? И почему Карибские острова в XVII веке, особенно в 1660–1670-х годах, были гаванью пиратов и буканьеров, Диким Западом своей эпохи, «обещающим гораздо больше в плане очарования, восхищения, быстрого дохода и постоянной опасности, чем прозаические поселения» оставшейся части Американского континента?[143]

Пьер Шоню говорит, что где-то между 1619/1623 и 1680 годами («более точную дату искать бесполезно») произошло изменение самой природы

ственная шерсть, полотна и металлические изделия продолжали поступать из Европы» (*Davis*, 1973b, 161–162).

[142] *Bargalló* (1955, 251).

[143] *Dunn* (1972, 9–10).

испанской Карьеры. На смену гибким механизмам, характерным для триумфальной Карьеры XVI века, пришла бюрократическая жесткость. «Начиная со второй половины XVII века Атлантика Гвадалкивира стала единственной Атлантикой из нескольких».[144] Шоню приводит более позднюю датировку, чем та, что принадлежит ряду людей того времени. В 1619 году Санчо де Монкада, профессор Священного Писания в университете Толедо и испанский мыслитель-меркантилист, утверждал (несомненно, с некоторым преувеличением), что девять десятых торговли с Индиями были в руках иностранцев, «так что они владеют Индиями, а Ваше Величество — титулом».[145] По существу, он окажется прав. В XVII веке, веке меркантилизма, Испании и Португалии не удалось быть меркантилистскими державами — они были к этому неспособны, а потому трансформировались в полупериферийные государства, приводные ремни между державами центра и периферийными регионами. В следующей главе мы еще рассмотрим этот сюжет с точки зрения полупериферии, а сейчас к нему необходимо обратиться с точки зрения периферии.

В эпоху всеобщего сжатия некоторые сферы экономической деятельности должны сужаться. Стремясь минимизировать сжатие своей экономической активности, державы центра остро конкурируют между собой, отчасти пытаясь установить преимущественный контроль над периферийными зонами. Они как сами занимаются колонизацией, так и удерживают друг друга от колонизации, что ведет к серьезным колониальным войнам. Державы центра также стремятся сформировать мировой рынок в пользу более контролируемых территорий перед менее контролируемыми (обе Америки против Восточной и Южной Европы). Кроме того, они стремятся использовать в своих целях более слабые колониальные власти, когда оказывается слишком накладным открыто захватывать их территорию — именно таким в значительной мере был случай испанской и португальской империй.[146] Поэтому, когда началось мировое сжатие, англичане, французы и голландцы разом повернулись к Карибскому бассейну, чтобы завладеть им раньше других. Они колонизировали те зоны, которые было легко захватить, а затем путем захвата торговли стремились приобрести экономические преимущества, которые они имели бы при прямом колониальном правлении на тех территориях, что по-прежнему контролировались Испанией и Португалией. Главным механизмом достижения этого в XVII веке была контрабанда.

---

[144] *Chaunu* (1959, 1539).

[145] Цит. в: *Larraz* (1943, 90).

[146] Чарльз Боксер подводит следующий итог всемирной голландско-португальской борьбы первых двух третей XVII века: «Рискуя чрезмерным упрощением, можно утверждать, что эта затяжная колониальная война приняла форму борьбы за торговлю пряностями Азии, рабами Западной Африки и сахаром Бразилии. Можно попросту сказать, что окончательным результатом в итоге стала победа голландцев в Азии, ничья в Западной Африке и победа португальцев в Бразилии» (*Boxer*, 1961, 49). Можно ли так утверждать? В смысле *политического* контроля — да. А с точки зрения контроля *экономического* не было ли это победой голландцев (позднее вытесненных англичанами) во всех трех зонах? — победой, которая принимала различные формы в зависимости от того, происходила ли она во внешней сфере мира-экономики (Азия)

Чтобы понять, как работал этот механизм, мы должны сначала взглянуть на социальное происхождение буканьеров. В XVI веке по Центральной Америке и Карибским островам бродил скот — частично дикий, частично (хотя и все меньше по мере истечения столетия) контролируемый индейцами, а частично этот скот разводили испанцы. Мы уже описали демографические изменения в Латинской Америке — постоянное сокращение индейского населения при устойчивом росте численности не только креолов, но и двух других новых групп — мулатов и метисов. Сжатие XVII века в горнодобывающих территориях вызвало сужение возможностей в городских зонах как для более бедных креолов, так и для мулатов и метисов, выполнявших посреднические функции. Многие из них переселялись в сельские территории. Некоторые нашли себе место в растущей сети асьенд и ранчо — другие же нет. Тем представителям посреднических групп, которые не нашли себе занятие, грозила инфериоризация, то есть понижение их статуса до позиции простых возделывателей продовольственных культур. Однако в условиях фронтира у них была подлинная альтернатива — становиться пастухами (cowboys) диких животных, забивая скот, необходимый для пропитания. Благодаря беглецам с кораблей позиции этой группы стали усиливаться. Голландские капитаны начали торговать с ними шкурами скота, и это еще больше увеличило масштабы забоя. «Очевидно, что подобные практики были очень нерациональны (wasteful)».[147] С точки зрения оседлого населения, время от времени «этот ущерб заходил слишком далеко».[148]

Примерно в 1640 году испанские власти стали предпринимать попытки очистить острова и прибрежные территории Центральной Америки от этих *буканьеров*.[149] Один из путей, которым шли испанцы, заключался в том, чтобы самим убивать скот и тем самым осложнить пастухам жизнь. Один из путей, которым шли испанцы, заключался в том, чтобы самим убивать скот с целью затруднить жизнь пастухам. Англичане же вступили в эту игру, чтобы помешать испанцам. К этому моменту скот, о котором говорилось выше, фактически исчез (по крайней мере, на островах), и отчаявшиеся буканьеры превратились в морских пиратов. Однако, занимаясь пиратством, они бы никогда не

или на его периферии (Бразилия). Западная Африка же была территорией, которая в это время медленно трансформировалась из внешней сферы в периферию. Разница заключается в степени внедрения португальцев в процессы производства, и сам Боксер дает такую нить: «Португальцы, со всеми их недостатками, пустили глубокие корни [в Бразилии] в качестве колонистов, так что их, как правило, нельзя было убрать со сцены простым морским или военным разгромом или даже серией подобных поражений» (*Boxer*, 1961, 54).

[147] *MacLeod* (1973, 212).

[148] *Pares* (1960, 20).

[149] Происхождение слова «буканьеры» (*boucaniers*) связано с тем, что эти люди продавали мясо, закоптив его на железных решетках или противнях, которые в индейском языке назывались словом «букан» (*boucan*) (*Deschamps*, 1973, 40). Не то чтобы буканьеры не были известны до этого времени — скорее «примерно до 1650 года буканьерство в Вест-Индии по своему характеру было более или менее случайным и частным явлением» в сравнении с его «расцветом» в последующие годы (*Haring*, 1964, 249).

выжили, если бы голландцы в Кюрасао, французы в Сан-Доминго (западная Эспаньола) и особенно англичане на Ямайке «не предлагали им безопасных мест для сбыта награбленного». Ключевым пунктом здесь была Ямайка.[150] Этот остров был захвачен англичанами у испанцев при Кромвеле, а при Реставрации он станет столь значимой базой буканьеров, что один из них, Генри Морган, возвысится до звания лейтенанта-губернатора и будет возведен в рыцари. Лишь со Славной революцией пиратство действительно исчезнет полностью.

Целью Кромвеля было сломить испанскую монополию на торговлю с Вест-Индией. Сначала он пытался действовать дипломатическими методами, но безуспешно, поэтому пришлось прибегнуть к грабежу. Стронг пишет: «Наряду с Рэли, Гилбертом и Хаклюйтом*, Кромвель был человеком Елизаветинской эпохи. Елизаветинским был и весь облик вест-индской экспедиции».[151] Однако это была политика не только Кромвеля, поскольку поощрение «государственного пиратского предприятия» на Ямайке не ослабевалои при Карле II.[152] Теоретически по англо-испанскому договору 1670 года пиратство оказалось вне закона, однако на практике оно сохраняло внушительную силу по меньшей мере до 1685 года, а фактически — до землетрясения, разрушившего огромный буканьерский редут Порт-Ройял** в 1692 году, и было окончательно похоронено по условиям Рисвикского договора 1697 года. В тот момент на Ямайке нарастала дилемма между использованием острова в качестве сахарной колонии или же базы для грабежа и контрабанды. Однако еще более значимым было снижение потребности государств центра в пиратстве как способе первоначального накопления.

Модель контрабандной торговли была инициирована голландцами в последнем десятилетии XVI века в качестве очень практичного предприятия. Войны с Испанией отсекали голландские поставки на Пиренейский полуостров и тем самым были помехой для приобретения соли, столь необходимой в производстве сельди. Тогда голландцы стали незаконно приобретать соль в солеварнях Венесуэлы. Эта чрезвычайная мера стала постоянной практикой в силу базовой структуры мировых цен. Соединенные Провинции были гораздо более эффективным аграрно-индустриальным производителем, чем Испания. «Монополия Севильи не могла поставлять необходимые товары [в Испанскую Америку] по разумным ценам»[153] — а голландцы могли. Тем самым контрабанда

[150] *Davis* (1973b, 169). В начале XVII века голландские пираты были самыми «дерзкими и <...> настойчивыми <...> в преследовании испанских кораблей. <...> Само слово "голландец" стало синонимом слов "корсар" и "пират"» (*Peterson*, 1975, 250).

[151] *Strong* (1899, 233). Стронг добавляет: «Советники Карла II понимали, насколько далеко шли планы Кромвеля в области завоеваний и колонизации, и осознавали реальные мотивы его нападения на Вест-Индию. Некто А.В. в письме королю Испании от лица Карла II в январе 1656 года делает значительный акцент на том, что Кромвель собирался колонизировать Вест-Индию и с помощью своего флота перерезать испанскую торговлю. В самом деле, иные соображения для всего этого предприятия были бессмысленны. Было бы полным абсурдом предполагать, что после таких чрезмерных приготовлений и расходов лорд-протектор удовлетворится несколькими квадратными милями земли» (*Strong*, 1899, 244).

[152] *Pares* (1960, 20).

[153] *J. Lang* (1975, 55). Как следствие, утверждает Кларенс Генри Хэринг, «испанские купцы в итоге часто становились простыми посредниками, агентами или факторами на

стала образом жизни, связывавшим торговцев стран центра с производителями периферийных стран, которых они не контролировали напрямую.[154] Всякий раз, когда отношения Испанией с одной из держав центра были плохи, а более всего в периоды войны, новые колонии оказывались «отчасти приговоренными к тому, чтобы служить базами каперов», и это, указывает Пэйрс, в некоторой степени объясняет хронологию данного явления.[155] Это также дает объяснение, почему английских колоний было фактически больше, чем французских: Франция зачастую была *в альянсе* с Испанией против Англии.

Ямайка оказалась кульминацией контрабандной системы. Она стала центром контрабандной карибской торговли, которую «англичане не прекратили бы, <...> а испанцы не смогли бы прекратить».[156] Прежде всего этот процесс поддерживало существование пиратов, хотя, по большому счету, они не были настоящими пиратами, поскольку грабили только испанцев — причем часто с позволения собственного правительства.[157] Однако более важным занятием на Ямайке становилось выращивание сахара. Поэтому, когда в 1670 году испанцы окончательно отказались от своих старинных притязаний на исключительное

основе комиссии, причем они нередко предоставляли в аренду свои испанские имена, чтобы ускользнуть от закона». В конечном итоге, это означало, что «торговля Испании с Америкой становилась более или менее пассивным механизмом, устройством, посредством которого под королевским контролем направлялись по определенному руслу поставки товаров из остальной части Европы» (*Haring*, 1947, 314–315).

[154] Это была практика, которая перешагнула Карибский регион. Аналогичным образом голландцы рассматривали датскую «колонию» — Норвегию. См. *Lunde*, (1963, 38–39): «Контрабанда в целом признавалась значительной проблемой для власть предержащих в Копенгагене. То, что крупномасштабная контрабанда существует по всей Норвегии, было абсолютно ясно каждому. *Staatsloven* [вице-королевский совет] обвинял голландцев, характеризуя их как специалистов в этой профессии. Совет отмечал, что всякий раз, когда появлялись таможни, норвежским купцам приходилось заниматься контрабандой, и существовало лишь одно средство против этого оборота — снижение таможенных пошлин. Купцы стремились именно к этому, однако результаты были весьма скромными, и контрабанда продолжалась. <...> Сами купцы утверждали, что, будь они честными, их бы постиг крах. <...> Контрабанда была прямым следствием господствующей экономической системы и действовавшей в тот момент торговой политики Копенгагена».

[155] *Pares* (1960, 12).

[156] *Christelow* (1942, 312). Оценки, сделанные Ричардом Б. Шериданом,, четко показывают, почему контрабандная торговля продолжалась: «Примерно до 1763 года неформальная британская имперская торговля стоила, возможно, не меньше, чем торговля Британии со своей формальной империей» (*Sheridan*, 1969, 24). В качестве двух главных компонентов неформальной Британской империи Шеридан называет контрабандную торговлю через Ямайку и и транзитную торговлю через Кадис и Португалию. Не следует забывать и о контрабандной торговле через Буэнос-Айрес. «Его расположение вдали от центров испанской власти в Лиме и Вест-Индии, поблизости от португальцев в Бразилии, делало почти невозможным достаточный контроль над этой территорией. А поскольку порт был фактически закрыт в интересах галеонной торговли, существовало непреодолимое искушение подобными средствами достичь того, что было запрещено Испанией» (*Haring*, 1947, 329).

[157] См. *Deschamps* (1973, 44–45). Это разрешение, напоминает Хэринг, могло быть «реальным или мнимым» (*Haring*, 1964, 249).

право поселения на острове, буканьеры стали рассматриваться англичанами как обуза — особенно потому, что их становилось все больше, а их отчаяние нарастало, поскольку расширяющиеся ямайские плантации выдавливали белых бедняков с земли.[158] Так что в буканьерах больше не было необходимости, а производители Гондурасского залива были счастливы напрямую вести дела с ямайскими купцами, которые взяли на себя «большую часть риска контрабанды товаров в Центральную Америку».[159]

Буканьеры *занимались грабежом*.[160] Англичане (а также французы) теперь сами были готовы взяться за *контрабандную торговлю*, поскольку это предполагало то же самое перемещение прибавочного продукта, но одновременно гарантировало продолжение производства, в отличие от чистого грабежа буканьеров. Как только базы буканьеров были закрыты, «у испанских плантаторов снова появилась возможность для процветания на островах и вдоль прибрежных земель».[161] А для англичан и французов также стало возможным напрямую сотрудничать с испанцами в «законной» торговле рабами (т.н. *асьенто**).[162]

---

[158] См. *Floyd* (1967, 26–28). См. тж. *Farnie* (1962, 209): «Сахар свел скотоводство как форму хозяйства к второстепенной роли, тем самым завершив "буканьерскую" фазу карибской истории».

[159] *MacLeod* (1963, 367–368).

[160] *Davis* (1973b, 169). На деле существовало два вида грабежа. Одним из них был грабеж флотилий с сокровищами, другим — грабеж испанских городов Карибского бассейна и Мексиканского залива. В первом буканьеры реально никогда не участвовали — этим занимались только морские эскадры и то лишь три раза: в 1626 году голландцы и в 1656 и 1657 годах англичане (см. *Haring*, 1964, 235–247). А вот грабеж испанских городов был специализацией именно буканьеров. Между 1655 и 1671 годами опустошению подверглись 18 городов, и как раз эта форма грабежа оказалась решающей для трансформации модели трансатлантической торговли. «Фонтаны испано-американской торговли пересохли именно благодаря подобным мерам, вкупе с посреднической торговлей, а не из-за разгрома флотилий с серебром» (*Haring*, 1964, 250). В конце концов, говорит Гламанн, «пиратская экономика <...> [не] демонстрировала сколько-нибудь продуктивный рост <...> Военные корабли (неважно, под черным флагом или под каким-либо другим) были бесплодным инструментом торговли в сравнении с тяжело груженными зерновыми баржами или другими прибрежными судами с углем и кирпичами, бочками вина или солью и сушеной рыбой в их трюмах» (*Glamann*, 1977, 191).

[161] *Davis* (1973b, 169). См. тж. работу Ричарда Данна, где утверждается, что в конце XVII века англичане, французы и голландцы «по умолчанию согласились позволить Испании, этому "американскому больному", сохранить оставшуюся часть своей расползающейся, недоразвитой карибской империи. В самом деле, и английские, и французские власти видели больше выгоды в торговле с испанскими колонистами, чем в их грабеже, и начиная с 1680 года делали все возможное для подавления буканьеров» (*Dunn*, 1972, 22). После Неймегенского мира 1678 года голландцы фактически более не были «значительным фактором, который следовало принимать во внимание в Карибском бассейне» (*Goslinga*, 1971, 482). Данн видит в этом изменении политики еще один фактор — по крайней мере, для Англии. Он утверждает, что Славная революция представляла собой решающий поворотный момент, означавший победу для сахарных плантаторов, которые с этого момента «поддерживали компанейские отношения с короной», более не поглощавшей их доходы, как это было при Реставрации (*Dunn*, 1972, 162).

[162] См. рассмотрение данного сдвига в политике в: *Nettels* (1931b, 17–19).

Контрабанда в Испанской Америке была лишь небольшой деталью общей картины. Ее основную часть составлял сахар, который долгое время выступал одним из основных продуктов периферийных территорий. Сахарное производство постепенно перемещалось в западном направлении в связи с продолжавшимся процессом истощения почв,[163] в конце XVI века достигнув Бразилии (и в меньшей степени Мексики), а в следующем столетии ему суждено переместиться на Карибские острова. В отличие от пшеницы, скота и серебра, сахар в рамках мира-экономики около 1600 года не столкнулся с проблемой чрезмерного предложения, которая вызвала основное сжатие периферийного экспорта в зоны центра. Сахар больше напоминал лес — балтийский товар, продолжавший «рост». В обоих случаях вечной проблемой были экологическое истощение и необходимость искать нетронутые территории для их эксплуатации, но доходы при этом оставались устойчиво высокими.[164]

Что касается сахара, то в ходе XVII века абсолютный спрос на него рос благодаря появлению в странах центра продуктов питания с новым вкусом. В средние века потребность Европы в сахаросодержащей пище главным образом удовлетворялась мёдом и виноградным суслом (неферментированным виноградным соком), которые обладали природной сладостью. Теперь же были открыты новые напитки и десерты, которые для придания им приятного вкуса требовали добавления сахара.[165] Примерно к 1580 году производство сахара в значительной степени переместилось с островов Атлантики в Бразилию.[166] Когда в Испанской Америке стали проявляться признаки векового спада, в Бразилии, похоже, происходил подъем. Шоню поясняет, что в Бразилии этот «запоздалый перелом» произошел примерно

---

[163] См. *Валлерстайн* (2015a, 103, особенно сн. 70).

[164] Шевалье, говоря о Мексике, утверждает: «Владельцы поместий были единственными, кто слишком сильно стремился заместить пшеницу сахаром, едва лишь это позволял климат. <...> Пшеница, считавшаяся товаром первой необходимости, подчинялась [правительственному] ценовому максимуму и подпадала под реквизиции властей, которые часто оставляли производителям лишь малую толику прибыли. Сахар, напротив, был предметом роскоши, который продавался на открытом рынке и высоко ценился из-за растущего спроса» (*Chevalier*, 1970, 74).

Почему в таком случае крупным производителем сахара не стала Мексика? Берт находит объяснение этому в политически обоснованной разнице стоимости труда. «[Сахарные мельницы], на которые долгое время не распространялись благоприятные возможности системы репартимьенто (что было на руку асьендам, выращивавшим пшеницу), не могли вдобавок использовать лишь труд индейских наемных работников и вынуждены были по большей части прибегать к рабской силе, которая была ненадежна и дорога» (*Berthe*, 1966, 103). С другой стороны, Роберт К. Бэйти подчеркивает трудности сахарного производства в сравнении с производством табака и хлопка: оно требовало «крупных капитальных издержек, значительного количества рабочей силы и точного знания производственных процессов» (*Batie*, 1976, 13).

[165] «В течение XVII века привычка употреблять подслащенные напитки и есть сладкие пудинги и пироги стала более общепринятой» (*Forbes*, 1957, 7). См. тж. *Davis* (1973b, 168) и *Pares* (1960, 23).

[166] Боксер называет период с 1580 по 1680 годы бразильским «веком сахара» (*Boxer*, 1952, 388).

в 1630/1650 годах, а не в 1580-м, поскольку Бразилия, в отличие от Испанской Америки, «по-прежнему пользовалась преимуществами легкого роста юности».[167] Это утверждение представляется мне искусственным. Не легче ли объяснять данную экспансию рассмотренным выше отношением между довольно острым порогом экологического истощения и мировым спросом? Из этого следует вывод, что сахар в качестве продукта мира-экономики был менее подвержен вековым колебаниям, нежели пшеница и серебро. Спад 1630/1650 годов, который усматривает Шоню, в таком случае окажется именно фактором сократившейся производительности, который вновь самостоятельно вступает в игру.[168]

В любом случае именно голландские предприниматели привезли сахар на Барбадос в тот самый момент, когда голландский экспорт из Бразилии был в точке максимального подъема, причем *до* мятежа в Пернамбуку* 1645 года, который привел к изгнанию голландцев из Бразилии. Почему? Два обоснования этого предлагает Данн. Во-первых, страсть европейцев к сахару, предположительно, была «настолько велика, что стала оправданием расширения предложения путем присоединения Барбадоса к Бразилии». Во-вторых, голландцы могли зарабатывать на предоставлении посреднических услуг в тот момент, когда «английская заморская торговля была расстроена внутренней гражданской войной».[169] Возможно, так и происходило, но голландцы также могли быть в курсе дела относительно истощения плантаций сахарного тростника.[170] Тот факт, что они искали *оптимальных* условий, понятен из самого предпочтения

---

[167] *Chaunu* (1961, 1193–1194). Моро объясняет «особый случай» бразильского сахара в ситуации (conjuncture) XVII века расширением спроса в связи с переходом от использования сахара в качестве лекарства к употреблению его как пищевого продукта (*Mauro*, 1960, 223).

[168] См. *De Castro* (1976). Пэйрс, говоря о производстве сахара в более поздний момент времени (в Британской Вест-Индии XVIII века), утверждает: «Результаты истощения почвы при выращивании сахара очевидны. Каждое десятилетие сахар требовал всё больше рабов для производства того же самого количества продукции на той же площади, а там, где культивация была более передовой или где рос объем выпуска, это происходило лишь ценой дополнительного тяжелого труда» (*Pares*, 1960, 41). Дж.Б. Мэйзфилд говорит о «качелях успеха» сахарной промышленности, которые были следствием повторяющегося оскудения плодородности (*Masefield*, 1967, 291). Бэйти предполагает, что в случае с Бразилией дополнительным фактором спада была война с голландцами (1630–1641), которая «основательно разрушила» сахарные поместья (*Batie*, 1976, 15).

[169] *Dunn* (1972, 65–66). Шеридан утверждает, что в 1636 году английские производители табака столкнулись с кризисом перепроизводства, который вел к поискам альтернатив. В 1637 году появились голландцы с сахарным тростником, а вместе с ним шли технологии, капитал и чернокожие рабы (см. *Sheridan*, 1969, 11). С другой стороны, Сельсу Фуртаду утверждает, «что изменения, касавшиеся карибской экономики, происходили, возможно, гораздо медленнее, за исключением внешнего обстоятельства конца первой половины XVII века — окончательного изгнания голландских захватчиков из северной Бразилии» (*Furtado*, 1963, 25).

[170] Мэтью Эдель приписывает данный переход тому обстоятельству, что благодаря нетронутости почв и их высокому качеству издержки на Барбадосе были ниже, чем в Бра-

Барбадоса другим островам. Вообще говоря, Барбадос имел лучший климат и лучшие почвы, чем другие Карибские острова, а также лучшее географическое расположение с точки зрения защищенности от грабежей.[171] Как показывает Шеридан, подобные соображения в действительности применимы ко всем первым сахарным островам (среди которых Барбадос был лишь *primus inter pares* [первым среди равных — *лат.*]):[172]

> «При основании плантаций мелкие острова изначально имели преимущества перед крупными. С точки зрения издержек на транспорт и защиту, расстояние от Северной Европы было меньше; острова были более защищены с наветренной стороны, чем с подветренной, а высокий коэффициент отношения длины береговой линии к территории позволял большему количеству плантаций иметь прямой доступ к морским судам».

Кроме того, добавляет Шеридан, там было больше ветра для мельниц, не столь обессиливающий климат и меньше возможностей для мятежей и бегства рабов.

Когда производство сахара достигло Ямайки (а это очень большой остров), это остановило процесс территориальной экспансии — по меньшей мере, для Англии, поскольку Ямайка обеспечивала достаточную территорию для сахарных плантаций, а английские деловые круги в сахарной отрасли опасались, что «любые новые плантации тростника затоварят рынок и потянут цены вниз».[173] В этом смысле отсутствие дальнейшей экспансии

зилии. Поэтому «для голландских капиталистов, несмотря на имевшиеся у них интересы в Пернамбуку, было рациональным рассматривать Барбадос как площадку для новых инвестиций, даже не беря в расчет фактор непрочного контроля голландцев над северо-восточной Бразилией» (*Edel*, 1969, 42). Бэйти добавляет еще одно обстоятельство — преходящую конъюнктуру. После мятежа в Пернамбуку в 1645 году голландская Вест-Индская компания заказала своим агентам на Золотом Берегу продолжать отправку рабов в расчете на то, что сложившаяся ситуация не продлится долго. Когда эти рабы были доставлены, их отправили на Малые Антильские острова для продажи на «мягких кредитных условиях. Ближайшим к Ресифи из этих островов был Барбадос» (*Batie*, 1976, 21).

[171] О климате и почве см. *Dunn* (1972, 26–30). О безопасности см. *Pares* (1960, 10): «Исключительно спокойная история Барбадоса (с момента основания колонии он никогда, ни на один день, не менял подданство) обязана тому обстоятельству, что, находясь в нескольких милях к востоку от основной группы Карибских островов, Барбадос оставался за пределами маршрутов не только испанцев, но и самих обитателей архипелага». Бэйти утверждает, что безопасность была важным фактором в связи с большими инвестициями, которых требовал сахар: «Угроза вторжения особенно беспокоила богатых инвесторов, которые могли потерять состояние в виде рабов и оборудования даже при самом непродолжительном морском набеге» (*Batie*, 1976, 15).

[172] *Sheridan* (1969, 19). Одним из неблагоприятных факторов Бразилии было то, что внутренняя часть страны представляла собой территории, где могли выжить сообщества беглых рабов. Особенно это было заметно в случае с Кайру и Камаму в Баия. См. *Schwartz* (1970).

[173] *Dunn* (1972, 21). См. тж. *Davis* (1952b, 89): «Половина столетия вслед за захватом Ямайки в 1655 году характеризовалась не экспансией, а консолидацией английских интересов в Вест-Индии».

являлось выражением вновь обретенной меркантилистской силы. То же самое верно в отношении к экспансии французов после получения ими Санто-Доминго.[174] В экспансии за *испанский* счет больше не было необходимости, поскольку сахарных плантаций под властью англичан и французов вполне хватило бы еще на сто лет. Однако взаимное уничтожение чужой собственности оставалось для Англии и Франции главной целью в ходе трех взаимных войн в Карибском бассейне: 1666–1667, 1689–1697 и 1702–1713 годов. Лишь после 1713 года этот процесс прекратился — поскольку мировой спрос к этому времени достаточно расширился, чтобы удовлетворять галопирующие мощности сахарной промышленности в обеих странах. «В итоге сахарозаводчики открыли собственное Эльдорадо».[175]

Табак в определенном смысле всегда был бедным родственником сахара — он рано стартовал и рано потерял позиции. Ранний старт был связан с тем, что табак был культурой новичков, — он вырастал всего за год и требовал мало специального оборудования. Однако у него определенно были значительные отрицательные особенности — по крайней мере, в тот период, который мы рассматриваем. Табак «убивал почву»[176] даже больше, чем сахар. Его нужно было перемещать на новые участки каждые 25 лет или около того, поэтому единственным реально осуществимым вариантом было выращивать его на больших островах или на территориях, которые прирастали внутренними районами, таких как Вирджиния и Мэриленд.[177]

---

[174] См. *Dunn* (1972, 21).

[175] *Dunn* (1972, 23). Если взаимное опустошение во время этих войн не смогло сдержать темп роста сахарной промышленности (что является признаком устойчиво растущего спроса), то на социальную организацию производства это действительно повлияло. «На английских островах [долгая] война [1689–1713 годов], несомненно, ударила по крестьянским хозяйствам и принесла выгоду крупным плантаторам» (*Dunn*, 1972, 147). См. тж. *Sheridan* (1965, 299, таблица 3) о растущей концентрации земель на Ямайке с 1670 до 1754 годы.

[176] *Pares* (1960, 20).

[177] Ричард Пэйрс любопытным образом обращает этот недостаток в преимущество: «[И сахарные, и табачные] плантаторы страдали от истощения почвы. Однако табачные колонии — в меньшей степени, поскольку владелец утратившей плодородие плантации мог легко найти нетронутую землю (главным образом, в нескольких сотнях миль) и переместить туда своих рабов. <...> У сахарозаводчиков было меньше возможностей помочь себе — многие острова имели небольшой размер» (*Pares*, 1960, 41). Однако такое рассуждение ставит телегу впереди лошади. Почему сахар смещал табак с первого места на мелких островах и отступал на крупные острова и в Чесапикскую долину? Определенный переход от табака к сахару произошел к 1660-м годам, см. *Pares* (1960, 22) и тж. *Farnie* (1962, 210). Этот процесс имел место, несмотря на резкое падение цен на сахар между 1645 и 1680 годами, см. *Pares* (1960, 40). Как утверждает Пэйрс, преимущество новой культуры по отношению к истощению почвы имело один побочный эффект: «Сахарную плантацию было не так легко перенести, как табачную — в производстве сахара использовались более тяжелые машины, а в уже обрабатываемые площади было инвестировано больше капитала. По этим причинам сахарозаводчику часто приходилось оставаться на месте» (*Pares*, 1960, 41).

Кроме того, мировой рынок табака имел меньшие размеры и меньшую норму прибыли. Табак «не годился для легкой прибыли в сфере сельского хозяйства, в отличие от сахара, <...> где состояние можно было сколотить за десятилетие».[178] Как и сахар, табак считался культурой с терапевтическими свойствами, однако сахар перестал быть лекарством, превратившись в товар основного спроса где-то в начале XVII века, а с табаком это произойдет, похоже, только столетие спустя — а возможно, даже два столетия. Почему должно было произойти именно так, не вполне ясно, однако есть два очевидных факта. Сахар, в отличие от табака, обладает питательной ценностью, причем рост потребления сахара дополнял растущее потребление кофе, чая и какао.[179]

Более того, поскольку табак, в отличие от сахара, мог выращиваться в нетропическом климате, он открывал новую сельскохозяйственную возможность для большей части Европы. Производство сахарного тростника могло осуществляться только на островах Средиземноморья, которые уже «через это прошли». Поэтому, несмотря на причиняемое табаком быстрое разрушение почвы, мировое предложение в его производстве чаще превосходило мировой спрос. Ситуацию с табаком еще более усложняла политика большинства европейских правительств, которые воспользовались этим атрибутом роскоши как предметом, легко облагаемым налогом, что на практике выражалось в налоговых откупах через государственные монополии. Конечно, так было не везде. Соединенные Провинции, как и подобало главному мировому рынку табака, не облагали его налогом,[180] и внутренние производители табака там процветали, особенно в трудные годы для зерновых.[181] В дополнение к регулированию и налогообложению оборота табака большинство стран пытались запретить его внутреннее производство. В особенности это касалось Англии и Франции, причем наиболее вероятным мотивом здесь был фискальный контроль. «Легче было собирать пошлины на табак, который импортировался в Лондон или Ла-Рошель,

[178] *Land* (1965, 647).

[179] О том, что табак в течение этого периода рассматривался в первую очередь как физиотерапевтическое средство, см. *Ortiz* (1947, 242–245). Неф предлагает следующее объяснение роста аппетита к сахару: «В течение XVI и начала XVII веков у европейцев развился аппетит к сахару, которого прежде не было у цивилизованных народов. Отчасти это объясняется ростом материальной цивилизации на Севере. Северные фрукты и овощи были не такими сочными, как те, что росли на средиземноморской почве. Чтобы сделать их пригодными к пище, их нужно было подсластить» (*Nef*, 1968, 77).

[180] Единственной другой крупной территорией Европы, где импорт табака не облагался налогами, были Испанские Нидерланды. См. *Gray and Wyckoff* (1940, 4).

[181] См. *Roessingh* (1976, 500): «В долгосрочной перспективе рост выращивания табака можно интерпретировать как явление, сопровождавшее долгую сельскохозяйственную рецессию в промежутке между примерно 1650 и 1750 годами. Отношение цены на табак внутреннего производства к цене зерновых менялось в пользу первого, и аграрные производители отвечали на эти экономические изменения увеличением посевных площадей первой из названных культур».

чем [собирать] акцизы на продукцию, выращенную в Глочестершире или Гаскони».[182]

Поначалу государственное налогообложение причиняло ущерб табачной промышленности Американского континента. Главным результатом этого было «повышение цен и ограничение рынков»[183] — в особенности потому, что установление таможенных пошлин, в свою очередь, стимулировало внутриевропейское производство и тем самым усложняло «экономическую проблему, охватывавшую» производство в Западном полушарии, а именно «стоимость труда и транспортировки».[184] Однако к началу XVIII века специфическая комбинация факторов перевернула всю картину. Во-первых, государственное притеснение европейских производителей табака оказалось сравнительно успешным. Во-вторых, выделяясь среди всех производителей Западного полушария, английские колонии в Чесапикской долине перешли к производству превосходных сортов табака по более низкой цене. В-третьих, англичане развивали собственный *ре*экспорт различных тропических товаров (в том числе и табака) в качестве одного из главных видов своей экономической деятельности. Соответственно, англичане приблизились к тому, чтобы рассматривать табак в первую очередь как источник коммерческой, а не фискальной прибыли.[185] В то же время Франция взяла именно последний курс, превратив табачные пошлины в «крупную отрасль государственных доходов».[186] После 1720 года Франция при государственной поддержке стала крупнейшим единовременным покупателем табака из Вирджинии и Мэриленда, который реэкспортировался из Англии. Франция закупала сразу четверть общего объема этой продукции, что в значительной мере объясняло бум (в конечном итоге случившийся) и растущую концентрацию табачного производства и торговли.[187]

---

[182] *Pares* (1960, 26). Однако уничтожить европейское табачное производство было нелегко. Джордж Луис Биэр отмечает, что «первый запрет, направленный против английского табака, был издан в 1620 году, и <...> для того, чтобы искоренить это производство, потребовалось 70 лет более или менее постоянных усилий и энергичных мер» (*Beer*, 1912, 145). Для выращивания табака в Англии не было экологических препятствий. Джоан Тирск называет сельскохозяйственные условия в Англии «полностью подходящими» для этого, указывая, что конвейер сроков посева табака (timing) не вредит выращиванию других важных продовольственных культур (*Thirsk*, 1974, 89).

[183] *Gray and Wyckoff* (1940, 4). Однако Т.Х. Брин связывает «трансформацию Вирджинии <...> с ростом цен на табак после 1684 года» (*Breen*, 1973, 13).

[184] *K.G. Davies* (1974, 144).

[185] В 1723 году премьер-министр Роберт Уолпол стимулировал реэкспорт табака, освободив его от пошлины (и тем самым устранив ценовые преимущества голландского и немецкого табака). См. *J.M. Price* (1964, 504–505).

[186] *J.M. Price* (1964, 504). «В то время, как в 1700 году король Англии получал от табака вдвое больше, чем король Франции, к 1760-м последний имел от этого продукта примерно вчетверо больше, чем его британский кузен» (p. 503).

[187] Дж.М. Прайс напрямую относит это к «давлению французской монопсонии» (*J.M. Price*, 1964, 506).

В самые последние годы XVII века (возможно, между 1693 и 1695 годами) в Бразилии было «открыто» золото.[188] Это положило начало золотому экспортному буму — официальные данные показывают рост экспорта с 725 килограммов в 1699 году до 14500 килограммов в пиковом 1712 году. Однако, по оценке Чарльза Боксера, эти данные отражают лишь от одной десятой до одной трети реального экспорта — остальное приходилось на контрабанду.[189] Почему бразильское золото было «обнаружено» именно тогда? Вилар отмечает совпадение восходящего бразильского «золотого цикла» и монетарной инфляции в Англии, ставшей результатом войн 1689–1713 годов. Наиболее уместным является предположение Вилара, что английскую коммерческую экспансию и инфляцию объясняют не открытия, а скорее, наоборот: экспансия, «требующая эксплуатации новых рудников или благоприятствующая этому, объясняет наступление "золотого цикла"».[190] Данную точку зрения подкрепляет тот факт, что контрабандная торговля едва ли была тайной — скорее она систематически организовывалась для доставки бразильского золота в Англию, фактически полностью обходя стороной португальскую экономику.

> «И в военное, и в мирное время бразильское золото отправлялось в Англию на борту судов Королевского военного флота и еженедельным пакетботом Фалмут — Лиссабон. И военные корабли, и пакетботы были защищены от обыска со стороны португальской таможни и любых других чиновников. Действительно, купцы в Лиссабоне — как британские, так и прочие иностранные — предпочитали отправлять свое золото в Англию подобным образом, поскольку вывоз монеты и драгоценных металлов из Португалии был строго запрещен со времен Средневековья».[191]

Последующие события демонстрируют, что длительное сжатие 1600–1750 годов не предполагало простую инволюцию периферийных зон. Происходило перемещение некоторых ранее периферийных видов деятельности (особенно производства зерновых и пастбищного хозяйства) с периферии в центр, и это заставляло производство в Восточной Европе и Испанской Америке переориентироваться в направлении *региональных* рынков. Кроме того, появился новый периферийный регион, отчасти колонизированный напрямую и производящий только те товары, которые не могли изготовляться в странах центра. Этим новым периферийным регионом был

---

[188] *Boxer* (1969b, 35).

[189] *Boxer* (1969b, 59).

[190] *Vilar* (1974, 279). Возможно, существует и обратная сторона медали. Боксер указывает, что «вместе с падением цен на сахар в последней четверти XVII века многие лиссабонские купцы настаивали на оплате [за рабов] наличными деньгами, а не в натуре [сахаром или табаком], и возникший в результате этого вывоз монеты породил серьезный финансовый кризис в Бразилии» (*Boxer*, 1969b, 26). Это объяснило бы то, что у Бразилии был такой же стимул к «открытиям» золота, как и у англичан.

[191] *Boxer* (1969a, 460).

Карибский бассейн в широком понимании — от северо-востока Бразилии до Мэриленда, и тремя его главными продуктами были сахар, табак и золото. Экономические выгоды делили между собой три государства центра: Соединенные Провинции, Англия и Франция — до 1650 года больше доставалось голландцам, а затем и особенно после примерно 1690 года — англичанам.

Обратимся теперь к процессу классообразования в этой новой периферии, особенно к тем формам, которые приняли здесь буржуазия и пролетариат. Буржуазия периферийных регионов была в первую очередь пресловутым классическим дуэтом «торговцев и плантаторов». В XVII веке в «старых» периферии востока и крайнего юга Европы (Сицилия, а также южные части Италии, Испании и Португалии) и Испанской Америки преобладала инволюция, мануфактуры восстановили свою роль, а рыночная ориентация стала региональной. Поэтому представляется очевидным, что значимость торгового класса снижалась в сравнении с ролью предпринимателей из производственной сферы (то есть плантаторов), если использовать в качестве критерия долю общего капитала, сосредоточенного в руках некой группы, или норму прибыли в их деятельности, или их политическую независимость (как локальную, так и во всемирном масштабе). Прекращение большей части торговли на дальние расстояния должно было резко ударить по торговым группам, особенно по их силе в переговорах с землевладельцами, производившими товарную продукцию. Вся система *международного* долгового пеонажа (задолженности производителей сельскохозяйственной продукции перед торговцами) должна была прийти в упадок, в то время как *локальный* долговой пеонаж (задолженность крестьян перед землевладельцами) — расшириться.[192]

Что же можно сказать о «новой» периферии — «большом» Карибском бассейне? Не был ли он по преимуществу средой обитания «торгового капитализма»? Стоит обратить пристальное внимание на происходившее, начиная с вывода, который делает Ричард Пэйрс в своем детальном анализе инвестиций и потоков капитала между британской Вест-Индией и Англией в XVII–XVIII веках:

> «Таким образом, именно плантатор платил, так сказать, за свое порабощение. Доходы плантаций были тем источником, который подпитывал задолженность, записанную на самих плантаторов. В этом отношении Адам Смит был неправ: богатство британской Вест-Индии не целиком происходило от ее материнской страны. После нескольких первоначальных ссуд в самый ранний период, которые просто "накачали помпу", богатство Вест-Индии создавалось из ее же собственных доходов, причем при определенном содействии со стороны британского налогоплательщика большая часть этих доходов нашла постоянную прописку в Великобритании».[193]

---

[192] Рассмотрение того, как работала система международного долгового пеонажа в XVI веке, см. в: *Валлерстайн* (2015а, 146–148).

[193] *Pares* (1960, 50).

Как работала эта система? Следует четко указать, что в данном случае речь *не* идет о том, в какой мере эксплуатация труда в Карибском регионе вносила свою лепту в накопление капитала в Англии. Рассматриваемый вопрос заключается в том, каким образом внутренние конфликты в рамках буржуазных групп влияли на способы распределения между ними прибавочной стоимости и по каким каналам последняя в конечном счете перетекала с периферии в центр.

С конца XVII века и в течение всего XVIII столетия сахарный «интерес» перемещался в Англию. Однако Данн упускает один шаг. Согласно его замечанию, несмотря на то, что карибский сахарный плантатор был «крупным предпринимателем» и «сочетал черты фермера и мануфактурщика»,[194] к концу XVII века «абсентеизм собственников становился серьезной проблемой».[195] Первоначально обычной была схема, когда плантаторы с небольшими земельными владениями и ограниченным капиталом начинали дело в регионе, куда они эмигрировали. Необходимый инвестиционный капитал они получали от купцов в европейских портовых городах, таких как Лондон и Дьепп. Вместо предоставления беззалогового займа купец вступал с мелким плантатором в партнерство (товарищество, или по-французски *matelotage*). Плантатору выдавались проездные деньги для него самого и законтрактованных работников, а также деньги на инструменты и первоначальный провиант. Тем самым купец размещал свой капитал и получал доходы в натуре. Эта система, в отличие от прямого владения, где «плантатор» оказывается «агентом» торговца, имела огромное преимущество для купца, который «был частично защищен от недобросовестности агентов — главного риска колониальных предприятий — партнерством, дававшим плантатору подлинный интерес к процветанию бизнеса».[196]

Однако, как только плантации появлялись на тех или иных островах, происходила концентрация земель, поскольку крупные производители, оказавшись лицом к лицу с острой мировой конкуренцией, сопротивлялись ей более серьезно. По мере того, как размеры плантаций росли, увеличивалась и значимость плантатора по отношению к его партнеру-купцу, что можно увидеть на примере конфликтов вокруг навигационных актов. Меркантилистское законодательство защищает мануфактурщиков и торговцев-реэкспортеров, а для первичных периферийных производителей оно редко является полезным. В середине XVII века, когда британское сахарное производство на Карибских островах было сильнее аналогичных производств в других регионах, а внутреннее английское потребление было сравнительно невелико, мелкие плантаторы британской Вест-Индии делали все

[194] *Dunn* (1972, 194). Мануфактурная составляющая включала в себя наличие мельниц для выдавливания сока из тростника, цехов кипячения, где тростниковый сок выпаривался до кристаллов сахара, цехов консервирования для сушки сахара и осушения мелассы (черной патоки), перегонного производства для ее превращения в ром и складов для хранения сахара, разлитого в бочонки.

[195] *Dunn* (1972, 200).

[196] *Pares* (1960, 5).

возможное, чтобы обойти английских купцов, продавая сахар на континент через торговцев в Северной Америке, голландской и французской Вест-Индии и даже в Ирландии и Шотландии. К XVIII веку направление торговых путей развернулось вспять. Производство сахара распространилось на другие территории, цены на внутреннем английском рынке повышались из-за протекционистских мер, а английский спрос увеличивался благодаря растущему уровню жизни и росту населения. Теперь плантаторы из неанглийских территорий стремились проводить свои товары через купцов в британской Вест-Индии. Это ослабляло положение английских плантаторов и усиливало позиции лондонских купцов.[197]

Поэтому необходимо различать три фазы рассматриваемого процесса. На первой из них карибский плантатор имел небольшое хозяйство и был слабв сравнении с относительно крупным купцом. В результате концентрации производства плантаторы становились сильнее и крупнее, приобретая на островах локальную политическую силу.[198] Что еще более важно, возникла комиссионная система: уже не плантатор был «агентом» купца, а купец теперь становился «агентом» плантатора. Комиссионная система работала с целью устранения мелких купцов, которые базировались на островах (в отличие от крупных английских посредников).[199] Это имело производное преимущество в виде сокращения контрабандной торговли между островами. К 1707 году деловые круги Вест-Индии был достаточно сильны, чтобы сформировать «принудительный» рынок в Шотландии и, посредством печально известного Акта о патоке 1733 года*, в Ирландии и Британской Северной Америке.[200] Благодаря прямым сношениям между плантаторами Карибских островов и купцами в Англии комиссионная система устранила *периферийного* торговца-посредника, переместив локализацию основного рынка сахара из Карибского региона в Европу. Условия для комиссионной системы, которая впервые возникла в связке с производством сахара на Барбадосе, появились в силу действия двух факторов: силы плантаторов, растущей благодаря концентрации концентрации земель, и давления на них падающих цен, поскольку плантаторам требовалась бóльшая доля прибыли, чтобы сохранять тот же самый

[197] См. *Sheridan* (1957, 63–66).

[198] «К первым годам XVIII века богатым плантаторам принадлежало большинство мест в большей части островных представительных органов» (*Sheridan*, 1957, 67).

[199] «Местные купцы начали хиреть и даже исчезать как класс во многих колониях, хотя они выжили в ямайском Кингстоне, который был тесно связан с испанской империей, в барбадосском Бриджтауне, где делался большой бизнес на рабах, и на Мартинике, где *commissionnaires* [посредники — *фр.*] жирели на торговле с другими островами. В других же местах они сильно утратили свою значимость. Там были купцы, но они главным образом являлись простыми посредниками, продающими североамериканскую продукцию на условиях комиссии» (*Pares*, 1960, 33).

[200] «Плантаторы настолько преуспели в своих попытках увеличивать цены на сахар, что [в 1753 году] покупатели были вынуждены искать содействия парламента». Шеридан предлагает это в качестве главного объяснения периода «сверхдоходов» плантаторов с конца 1730-х до 1763 года (*Sheridan*, 1957, 81, 83).

уровень доходов.[201] Эта система распространялась на другие острова, и уже к 1690-м годам использовалась и в производстве табака.[202] Она перемещала фокус предпринимательских инвестиций от купца к производителю. «Плантатор отправлял свою продукцию домой, в Европу, чтобы она была продана на условиях комиссии его посредником-купцом, и этот же посредник закупал, опять же на условиях комиссии, плантационные товары по распоряжению плантатора».[203] Комиссионная система не была универсальной — ее использовали английские сахарные плантаторы, но не французские. В случае с виргинским табаком переход к этой системе был временным, и в 1730-х годах плантаторы вернулись к тому типу соглашений, которые они использовали ранее. Теперь необходимо ответить на три вопроса. Почему эта система появилась на английских, а не на французских островах? Почему виргинские табачные плантаторы от нее ушли? Как следует интерпретировать данный сдвиг с точки зрения фокуса прибыли?

Отвечая на вопрос, почему данная система использовалась англичанами и не использовалась французами, Пэйрс сначала напоминает о пояснении Дэвиса, что комиссионная система возникла, поскольку *крупным* плантаторам приходилось платить за своих рабов. В Лондоне для совершения этих платежей посредники могли использовать переводные векселя, которые оплачивались сахаром по накладной. Тем самым комиссионная система создавала кредит для крупного плантатора-предпринимателя. Но Пэйрс утверждает, что раз крупные французские плантаторы тоже нуждались в кредите на рабов, но не создали комиссионную систему, стало быть, действовал дополнительный фактор: то обстоятельство, что на английских островах абсентеизм владельцев плантаций появился раньше и был более распространен, чем на французских.[204] Однако о чем свидетельствует абсентеизм? Он возник потому, что успешные предприниматели зарабатывали на представившемся им счастливом случае, и это — свидетельство силы их предприятия. Роль этих предпринимателей менялась от прораба до финансового распорядителя, причем они могли позволить себе специализироваться именно на последней задаче благодаря уровню накопленного капитала (и одновременно посвящать больше личного времени проеданию своих доходов). Именно из-за более высокой прибыльности английских территорий и

---

[201] См. *K.G. Davies* (1952b, 101, 103–104): «Комиссионная система была в основе своей методом распоряжения сахаром, который производили крупные, интенсивно возделываемые, высококапитализированные поместья».

[202] См. *J.M. Price* (1954, 506).

[203] *Pares* (1960, 33).

[204] См. *K.G. Davies* (1952b) и *Pares* (1960, 33–34). Пэйрс добавляет: «Однако существует одно весомое возражение этому объяснению: в английских колониях не только отсутствующий в своем хозяйстве плантатор, но и почти всякий плантатор, живущий в своем имении, отписывал свой сахар обратно за свой счет». Я не вижу силы в этом возражении. Как только рассматриваемая модель была создана, более мелкие собственники впрыгнули в правильный вагон, обнаружив, что делать их бизнес хотят лондонские посредники.

сахара абсентеизм (а также возникшая в результате комиссионная система) появился именно на английских островах, а не на французских, причем в большей степени в связи с сахаром, а не с табаком.[205]

Таким образом, ответ на вопрос, почему виргинские табачные плантаторы вернулись к прежней системе, уже частично получен. Из-за появления французской монопсонии табачные плантаторы не могли столь же легко стать предпринимателями, отсутствующими в месте производства (*absentee entrepreneurs*). Те, кто осуществлял закупки для французского рынка, искали крупных поставщиков, и в этой роли предлагали себя фирмы с западного побережья Шотландии. Несмотря на то, что расстояние до французских портов для них было не меньшим, эти фирмы имели преимущество перед другими британскими торговыми группами в виде сравнительной близости Вирджинии и меньших трудовых издержек (в связи с полупериферийным статусом Глазго). Имея крупный рынок поставок, шотландские фирмы отправляли своих агентов в Чесапикскую долину, минуя крупных плантаторов, у которых были комиссионные агенты в Лондоне, и добираясь до мелких фермеров во внутренних территориях с кредитом, который мог быть возвращен в натуральном эквиваленте.[206] Поэтому в данном случае баланс сил в цепочке обмена перемещался обратно в сторону покупателя. Наконец, чтобы ответить на вопрос о смещении фокуса предпринимательского риска и прибыли, мы должны рассмотреть значение долга. Поскольку падение цен на сахар было одним из катализаторов этого сдвига, Пэйрс допускает, что «положение предпринимателя не было гордым и прибыльным, как в случае с плантатором, который отобрал подобную позицию у торговца, — это было скромное и неблагодарное положение, до которого предпринимателя довел торговец». В то же время роль предпринимателя явно не была скромной и неблагодарной, что отмечает и сам Пэйрс: «Живущие за пределами своих хозяйств сахарные плантаторы, наряду с набобами Ост-Индии, были наиболее примечательными богачами своего времени».[207]

Поместим этот факт рядом с другим — растущей в ходе XVIII века задолженностью английских плантаторов, причем с растущей долей английских

---

[205] Обри Лэнд указывает, что чесапикский табак не гарантировал таких же успехов, как сахар Вест-Индии. Следовательно, чесапикские плантаторы не возвращались "обратно домой", чтобы поразить публику своим богатством. На первых порах их доходы формировало производство табака, обеспечивавшее их определенными навыками, а затем уже предприятие, которое давало более крупную прибыль» (*Land*, 1965, 647). Другими словами, они не могли позволить себе «специализацию», им приходилось оставаться надсмотрщиками. Однако Дж.Р. Уорд скептически относится к тому, что в в *XVIII веке* существовала значительная разница в прибыльности между английскими и французскими островами (см. *R.J. Ward*, 1978, 208).

[206] См. *J.M. Price* (1964, 509): «Если купцу [из Глазго] нужно было больше табака, ему лишь требовалось увеличить кредитную линию своим партнерам — и дополнительный урожай табака был обеспечен. Таким образом, шотландские и прочие кредиты создавали собственное предложение табака гораздо более эффективно, чем это делал ценовой механизм. А за шотландским кредитом стоял французский покупатель».

[207] *Pares* (1960, 35, 38).

купцов. Не демонстрирует ли это вновь некое смещение, теперь — от плантатора к торговцу? Возможно, так и есть, но существует и другой путь интерпретации данных финансовых процедур. Подобная структура задолженности была полезна посредникам лишь до тех пор, пока сахарная промышленность процветала. Вместе с тем понятно, что плантаторы, обитавшие за пределами своих хозяйств, начинали жить не по своим текущим доходам. «Почти каждый крупный долг <...> начинался как обычная задолженность или текущий счет, а заканчивался залогом имущества. <...> В конечном итоге, <...> стоимость многих поместий Вест-Индии оказалась меньше, чем объем их залогов».[208] Известно, что сахар (и табак) истощают истощают сами себя. После начальной стадии предприятия, поддерживаемой торговцами, и второй стадии — концентрации земли и доминирования плантатора в получении прибыли — не наступает ли третья, когда плантациям, учитывая их неизбежный упадок, пускали кровь их отсутствующие владельцы, которым не удавалось поддерживать воспроизводство капитала на прежнем уровне? Конечно, эти владельцы делили подобные сверхдоходы со своими посредниками, однако такое соглашение является примером не доминирования торговцев в доиндустриальную эпоху, а формы прибыли в период, *следующий* за промежутком максимальной производительности и относительной эффективности.[209]

Теперь мы должны обратиться к другой части уравнения — количеству рабочей силы, которая обеспечивала рост эффективности производства. Утверждение, что сахар и рабство были «тесно связаны»,[210] действительно является трюизмом. При этом остается фактом, что первые попытки выращивать сахар и табак в Карибском бассейне были почти всегда основаны на использовании контрактного (indentured) труда, а не рабов. Рабы стали характерной для островов рабочей силой только ближе к концу XVII века, и только применительно к началу XVIII века можно утверждать, что такая же ситуация сложилась в южных материковых колониях Северной Америки.[211] Степень правовых различий между двумя этими статусами является предметом словесных поединков между учеными. Одни, как Ральф

---

[208] *Pares* (1960, 48–49).

[209] Шеридан: «Очевидно, что плантационная экономика Ямайки оказалась под управлением группы лондонских купцов и отсутствующих на месте производства плантаторов, а крупные семейные состояния были гораздо больше связаны с коммерцией и финансами, чем с тропическим сельским хозяйством» (*Sheridan*, 1965, 309–310). Но это утверждение правомерно применительно к более позднему позднему периоду, хотя Шеридан не может принять в расчет, что данная *более поздняя* стадия является возможной лишь благодаря более раннему периоду сравнительной эффективности производства.

[210] *Masefield* (1967, 290).

[211] *Davis* (1973b, 134). Однако Брин утверждает, что поворотной точкой для Вирджинии был 1680 год, когда «у английских компаний появились возможности для прямой доставки негров из Африки в континентальные колонии» (*Breen*, 1973, 14). Он также указывает, что в 1682 году Англия приняла новые правила найма контрактного персонала, требующие, чтобы все контракты имели подпись магистрата в Англии, а для детей до 14 лет имелось родительское согласие.

Дэвис,[212] подчеркивают, что контрактная служба была временным *рабством*, — другие, как К.Дж. Дэвис,[213] напоминают, что это было лишь *временное* рабство. Реальная проблема имеет экономический характер. Каковы были долговременные преимущества и недостатки каждой из этих форм? Легко увидеть, почему первые карибские предприниматели предпочитали контрактный труд рабам. Первой и, возможно, решающей причиной было то, что он требовал гораздо меньше первоначальных капитальных вложений. В рассматриваемое время на перевозку одного контрактного работника требовалось авансировать от 5 до 10 фунтов, в то время как на африканского раба затрачивалось 20–25 фунтов.[214] Даже если последующие расходы на одежду и питание для раба были меньше, а издержки на контрактного работника амортизировались только за три или четыре года, проблема изначальной капитальной ликвидности все равно существовала.

Конечно же, доступный ресурс рабочей силы должен был найтись. Кто на самом деле отправлялся в Западное полушарие в качестве контрактных работников (*engagés*)? В целом эти люди были довольно молоды, чаще всего в юном возрасте — дети наемных работников или представителей беднейших средних слоев. Если не брать тот случай, когда они вынужденно шли на службу, то зов незнакомых краев и привычный тяжелый труд привлекали их возможностью восходящей социальной мобильности через пожалование земли за их службу. Порой высказываются предположения, что эти люди обладали большими навыками, чем африканские рабы, однако это сомнительное утверждение, если принимать во внимание их возраст и опыт, — в действительности можно представить факты в доказательство противоположного. Подготовка эффективного работника отнимала несколько лет, а как только контрактные рабочие «приобретали некоторый навык»,[215] они покидали своих нанимателей. Зато африканские рабы останутся на месте после того, как их обучили. Не об этом ли идет речь в утверждении, что решение плантаторов Барбадоса использовать рабский труд объяснялось поиском «более оседлой, более зависимой рабочей силы»?[216]

Что именно сдвинуло равновесие факторов в сторону от их благоприятного сочетания для использования контрактного труда? Во-первых, кончилась[217] «хорошая неприсвоенная земля», наличие которой было основанием

[212] *Davis* (1973b, 130, курсив добавлен).

[213] См. *K.G. Davies* (1974, 107).

[214] См. *Pares* (1960, 19) См. тж. *Phelan* (1959, 191): «Чернокожие рабы требовали крупных капитальных инвестиций».

[215] *Pares* (1960, 19).

[216] *Dunn* (1972, 72). Габриэль Дебьен для объяснения данного перехода во французской части Антильских островов упоминает тот факт, что *engagés* [контрактные работники — *фр.*] были «непостоянной по численности группой населения» (*Debien*, 1942, 74).

[217] *Davis* (1973b, 131). Именно тот факт, что земельные ресурсы не кончались, и является причиной сохранения контрактного труда во французской части Канады, но не на французских Антильских островах. См. *Dermigny* (1950, 236).

для соглашений о найме на работу на плантациях. Это произошло благодаря сочетанию двух обстоятельств — севооборота, обусловленного истощением почвы, и растущей концентрации земель. Поэтому рабство пришло на сахарные плантации и в Вест-Индию раньше, чем на табачные плантации и в южную материковую часть Северной Америки.[218] А если контрактный работник не мог рассчитывать на вознаграждение, то зачем ему было терпеть суровый труд на плантации? Когда снижение количества доступного труда совпало с одновременным ростом спроса, рабству определенно суждено было стать принятым. Даже когда оно не было «обязательно наиболее дешевым или наиболее эффективным способом управления сахарными плантациями, <...> оно было *единственно доступным* в ситуации, когда привлечь белую обслугу более было невозможно».[219] Тогда нет ничего случайного, что *замещение* контрактных наемников рабами постоянно ассоциируется с периодами *бума*.[220] Итак, причины, по которым рабы вытесняли европейских контрактных работников, относительно очевидны. Но почему в качестве рабов использовались африканцы, а не индейцы? И почему система долгового пеонажа индейцев (и метисов) не применялась в «большом» Карибском бассейне, как это происходило в большей части Испанской Америки?

В действительности индейцев первоначально *использовали* в качестве рабов, однако имеется широкий круг свидетельств, что они «быстро

---

[218] В одном фрагменте Пэйрс предполагает, что табак был «культурой свободных людей», поскольку он требовал «точности навыка», а потому «не мог быть столь легко доверен монотонно трудящимся рабам». Однако далее он допускает, что «опыт Вирджинии показывает, что табак можно было выращивать и на плантациях с использованием рабского труда» (*Pares*, 1960, 21).

[219] *Davis* (1973b, 133, курсив добавлен). Теодор Аллен замечает, что между Заговорами слуг 1667 года и табачными мятежами 1682 года произошло десять мятежей или мятежных заговоров простонародья и работников решающим из которых было восстание Бэкона в апреле 1676 года*. Аллен утверждает, что плантаторы считали нужным разделять рабочий класс, придавая белым работникам иной статус. Соответственно, «после 1685 года произошел стремительный переход к африканской рабочей силе» (*Allen*, 1975, 49). Рассел Р. Менард указывает, что «в конце 1670-х годов стала расти стоимость контрактного труда» (*Menard*, 1978, 24). Около 1700 года растущий спрос на рабов вел к более высоким ценам на них, и чтобы снизить цены, последовал «рост доли более молодых рабов и женщин в общем объеме поставок невольников» (*Galenson*, 1979, 247).

[220] О воздействии сахарного бума 1640–1680 годов см. *Dunn* (1972, 59), о влиянии табачного бума 1680–1700 годов см. *Farnie* (1962, 208). В дополнение к сокращению предложения европейского труда и росту спроса на рабочую силу Кёртин предлагает третий фактор – разную восприимчивость к болезням. У африканцев было «огромное преимущество, поскольку их привозили из болезнетворной окружающей среды, где присутствовали и тропические заболевания, и широкий ряд общих афроазиатских болезней» (*Curtin*, 1971, 253). Кёртин предполагает, что соотношение уровня смертности европейских и африканских работников составляло 3:1, а в более ранней статье приводит пропорцию 4:1, основанную на допущении, что если «стоимость содержания [рабов и контрактного персонала] была примерно одинаковой, то рабы были примерно втрое предпочтительнее по цене, чем европейцы» (*Curtin*, 1968, 207).

умирали в неволе»,[221] демонстрируя «неспособность адаптироваться <...> к условиям жизни на сахарных производствах».[222] Их также поначалу использовали как рабов в рудниках Чили,[223] однако после 1589 года индейцев заместили африканские рабы, что, по утверждению Мельяфе, было «одним из фундаментальных факторов, обусловивших сохранение [испанской колонизации] в этой стране».[224] В тех территориях, где вместо труда индейцев использовали африканских рабов, индейские народы либо были прежде всего охотниками и собирателями (как на Малых Антильских островах), либо же сельское хозяйство у них еще не выработало четкую классовую структуру (как у араваков или таино* на Больших Антильских островах). Именно эти народности были «неадаптированы» к дисциплинированному труду и «вымирали».[225] Однако там, где существовали перераспределительные способы производства, индейское население подразделялось на классы и низшие страты уже производили прибавочный продукт, который присваивался иерархическим образом. Поэтому на них можно было относительно успешно оказывать давление с целью продолжения подобных отношений в модифицированной форме, от имени европейских экспроприаторов — в особенности если с последними сотрудничали прежние властители. Отсюда и репартимьенто, мита и фактическая эволюция долгового пеонажа, особенно в Новой Испании, Гватемале и Перу.[226]

Если африканские рабы замещали индейскую рабочую силу только там, где индейцев невозможно было успешно склонить к тому или иному виду принудительного труда, то рабство должно было стать *pis aller* [крайним средством — *фр.*]. А единственно возможное объяснение этого состоит в том, что использование принудительного труда на рынок (вне

---

[221] *Boxer* (1952, 223).

[222] *Viana* (1940, 11). На самом деле африканцы демонстрировали ту же «неспособность» и так же умирали. Стюарт Б. Шварц напоминает, что условия рабства в период бразильского сахарного бума (1570–1670) описывались словом «адский». В период уборки урожая нормой были четыре часа сна, а «преобладающий взгляд на управление рабами предполагал извлечение как можно большего количества труда за как можно меньшую цену» (*Schwartz*, 1970, 316).

[223] См. *Romano* (1970, 133).

[224] *Mellafe* (1959, 252–253).

[225] Применительно к ситуации на Эспаньоле Алекс Дюпюи утверждает: «Социальной формации и организации производства у араваков не были присущи эксплуатация и подчинение одного класса другому. Производственные отношения в обществе араваков характеризовались преобладанием потребительной стоимости и полным отсутствием меновой стоимости, т.е. товарного производства. <...> Поэтому для них было лучше умереть от голода в горах, чем под игом пришлых колонизаторов» (*Dupuy*, 1976, 22).

[226] См. *Romano* (1970, 130). Брэйдинг и Кросс указывают, что принудительный труд в рудниках дольше сохранялся в Перу (до 1812 года), чем в Мексике, где индейское население катастрофически сокращалось. Как следствие, к XVIII веку рабочие в мексиканских рудниках стали получать довольно высокие зарплаты и набирались из метисов, мулатов и ассимилированных индейцев. «Причины этого расхождения не вполне ясны, <...> однако <...> есть искушение усмотреть их в раздельном раз-

зависимости, в сельском хозяйстве, горном деле или промышленности) *обходилось дешевле*, чем использование рабов.[227] Как получается, что труд, который вознаграждался «заработной платой» лишь за часть выполненной работы (такой, как принудительный труд на рынок), стоит меньше, чем труд, вознаграждавшийся лишь в натуре, причем не щедро? Если бы дело было только в изначальных затратах со стороны нанимателя, то они могли амортизироваться с течением времени. Однако дело было еще и в том, что работники, принудительно трудившиеся на рынок, и их сородичи производили часть своих «заработков» в форме урожаев продовольствия на земле, неподконтрольной работодателю, и поэтому данная продукция вычиталась из его трудовых издержек. При использовании рабского труда общий объем постоянных трудовых издержек был *выше*, чем в том случае, если использовался принудительный труд на рынок.[228]

витии двух индейских народов и разном расположении основных мест, подходящих для оседлого населения» (*Brading and Cross*, 1972, 557). П.Дж. Бэйквелл заявляет, что уже в XVII веке «ключевой формой отношений <...> между испанцами и индейцами в Сакатекасе были <...> отношения нанимателя и работника» (*Bakewell*, 1976, 217). Напротив, Гильермо Сеспедес дель Кастильо говорит о «покорном коренном населении Перу» (*Céspedes*, 1947, 39).

[227] Именно это утверждает У. Оберем, сравнивая стоимость использования *conciertos*, или работников за долги, со стоимостью использования африканских рабов в Эквадоре. Он определяет *conciertos* как «квази-рабов», поскольку их можно было даже «покупать» (*Oberem*, 1967, 767–770).

[228] Именно по этой причине я не могу согласиться с Д. Холлом, который рассматривает рабов как «капитальное оборудование», утверждая, что по этой причине нельзя сравнивать издержки рабского и свободного труда, поскольку на самом деле это вопрос замещения труда и капитальных издержек (*D. Hall*, 1962, 309). Если бы дело было только в этом, то для табачных плантаторов Вирджинии использование рабов было бы нерациональным — об этом фактически и говорит Лэнд. По его словам, в XVII–XVIII веках плантаторы обладали «решающим преимуществом» — они могли увеличивать производство, применяя дополнительный рабский труд, а не проводя технологические усовершенствования — и тем самым «замедляя технологическое изменение» (*Land*, 1969, 75, 79). Это совпадает с замечанием У. Барретта по поводу сахарных плантаций в британской Вест-Индии «об отсутствии свидетельств того, <...> что там практиковалась экономия на масштабе» (*W. Barrett*, 1965, 167).

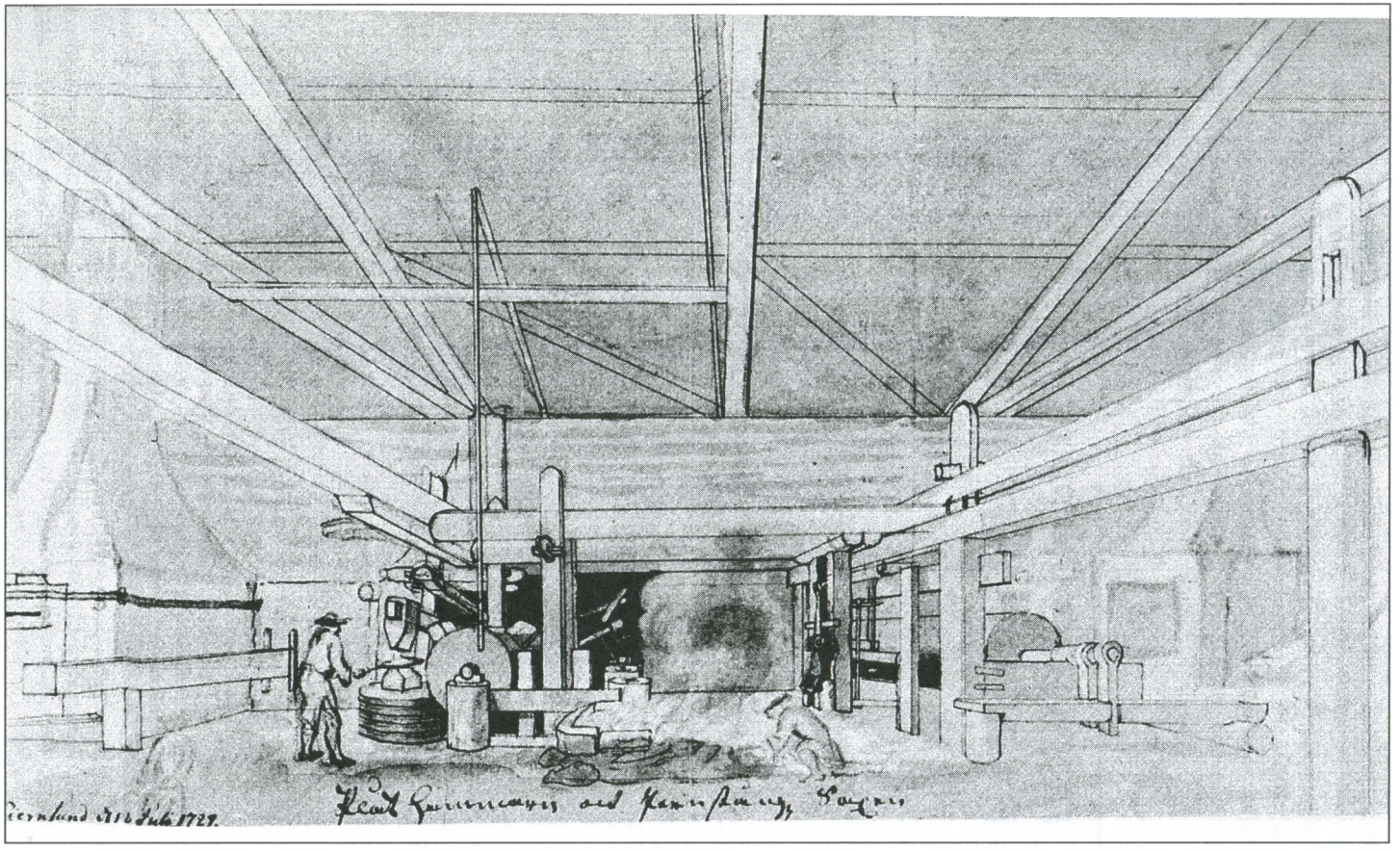
Однако в таком случае остается без объяснения указанное преимущество как таковое, что делает его «культурным», а стало быть, экономически иррациональным феноменом, и это поражает невозможностью анализа. В определенном смысле все трудовые издержки являются капитальными затратами. Всегда имеется выбор между оптимальной комбинацией технических приспособлений («мертвым» трудом) и «живым» трудом. Необходимо знать, в какой момент оптимально и политически возможно в краткосрочной перспективе использовать рабский труд в качестве альтернативы a) наемному труду, b) принудительному труду на рынок и c) дополнительным механизмам. Ответ еще более усложняется, если вспомнить, что во многих странах рабы могли участвовать в денежной экономике в качестве продавцов и накапливать капитал. Шварц (см. *Schwartz*, 1974, 628–629) задается вопросом, как еще бразильские рабы могли платить за свое освобождение? Сидни Минц указывает, что на Ямайке «к началу XVIII века рабы активно продавали и покупали собственную продукцию на рынках» (*Mintz*, 1964, 251).

Поэтому в «большом» Карибском бассейне, этой новой периферии эпохи 1600–1750 годов, основной формой[229] организации пролетарского труда было рабство, а не наемный труд, аренда или принудительный труд на рынок. С учетом политических условий эпохи рабство было экономически оптимальным для буржуазных производителей, которые через правовую систему, а в равной степени и через рыночные механизмы, формировали базовые производственные отношения в данном регионе.

[229] Базовая форма не является единственной. Общий пафос статьи Шварца о *lavradores de cana* [тружениках тростника — *прим.*] в сахаропроизводящих территориях Бразилии состоит в том, что их договоры найма или даже владения для крупных землевладельцев представляли собой альтернативную форму эксплуатации труда, использование которой варьировалось в соответствии с экономическими условиями. «В период экономической экспансии использование тех, кто выращивал сахарный тростник, <...> [было] способом снижения капитальных издержек и, возможно, обеспечения интенсивного надзора за сахарными мельницами (*engenho*)» (*Schwartz*, 1973, 193–194).

5

ПОЛУПЕРИФЕРИИ НА ПЕРЕПУТЬЕ



Шведский прокатный стан. Рисунок Карла Йохана Кронштадта (1709–1779), учившегося механике и геометрии в качестве подготовительной стадии для изучения архитектуры и ставшего самым знаменитым шведским архитектором своего времени

Одним из устойчивых элементов капиталистического мира-экономики является иерархическое (и при этом пространственно распределенное) разделение труда. Однако другой устойчивый элемент — перемещающееся расположение экономической деятельности и, следовательно, отдельных географических зон в рамках мир-системы. С точки зрения государственных аппаратов, регулярные, но непродолжительные чередования в относительной экономической мощи отдельных территорий, регионов и государств могут быть рассмотрены (а в действительности чаще всего так и происходит) в качестве разновидности восходящей и нисходящей «мобильности» государства как целого. Мера этого движения устанавливается в соотношении с другими государствами в рамках межгосударственной системы. В XX веке говорят о «развитости» государств, а в XVII веке говорили о «богатстве» державы, хотя люди этого столетия часто более ясно, чем мы сегодня, видели, что данный критерий имел порядковую, а не количественную природу (ordinal and not cardinal) — по крайней мере, в границах мир-системы Модерна. Изменения статуса территории в рамках мира-экономики особенно характерны для моментов всеобщего спада или стагнации. Для тех территорий, которые находятся в середине иерархического континуума, т.е. для полупериферии, это движение в первую очередь осуществляется государством и происходит под его воздействием. Полупериферийные государства — это нисходящие и восходящие государства.

Все это звучит волюнтаристски — и в некоторой степени так и обстоит дело. Без разумной государственной политики не обойтись, однако сразу же необходимо добавить две оговорки. Во-первых, государственная политика — это не движущая сила, а промежуточный процесс. Во-вторых, не всякий государственный аппарат может использовать любой имеющийся спектр политических мер с одним и тем же ожиданием удачного результата — в действительности все обстоит совсем наоборот. Многие могут пытаться существенно повысить ранг своего государства в мировом разделении труда, но лишь некоторые добиваются в этом успеха. Так происходит потому, что сам успех одного устраняет благоприятные возможности и альтернативы для другого. В XVII веке существовало много периферийных территорий, которые в тот момент утратили почву под ногами — Испания, Португалия, а также старинный «становой хребет» Европы, протянувшийся от Фландрии через западные и южные области Германии до северной Италии. Однако было и несколько территорий, которые обрели почву: в частности, Швеция, Бранденбург-Пруссия и «северные» колонии британской Северной Америки — Новая Англия и колонии средней части Атлантики. Первым пришлось испытать многие из тех процессов, которые мы уже описали применительно

к периферийным зонам, однако по разным причинам они сохраняли важные структурные отличия от этих территорий. Вторая группа в рассматриваемую эпоху только начала борьбу за то, чтобы войти в число центральных зон мира-экономики. Для входивших в нее структур достижением было даже само начало движения по этому пути, не говоря уже о том, чтобы обернуть всеобщие трудности мира-экономики к собственной выгоде, а не испытать еще большее отдаление от центральных зон, как это случилось с большинством периферийных и полупериферийных территорий.

В этом отношении наиболее показательным феноменом XVII века, очевидным даже людям того времени был «упадок» Испании. Как мы видели ранее, причины этого лежали глубоко внутри экономической и политической структуры этой страны, и в определенной степени ее относительная слабость имела место уже в XVI веке.[1] Отчасти эти слабости маскировались военной силой Испании и обильным запасом драгоценных металлов — однако экономические перемены во всем мире-экономике сорвали занавес с испанского фасада и продемонстрировали эти слабости и самим испанцам, и всему миру. Если требуется точная дата, то подойдет, видимо, 1596 год* — момент второго банкротства Филиппа II (впрочем, как и любой другой эпизод). Это банкротство «означало больше, чем конец финансового превосходства северной Кастилии, — оно означало также конец имперских мечтаний Филиппа II».[2] По мнению Эрла Дж. Хэмилтона, подобная картина является преувеличением, однако, добавляет он, XVII век был «одним из самых больших отливов в экономических анналах Испании».[3] Что известно об испанском сельскохозяйственном производстве в этот период? Не так много, как мы

---

[1] Рассмотрение испанской ситуации в XVI веке см. в: *Валлерстайн* (2015a, гл. 4). О собственном восприятии *decadencia* [упадка — *исп.*] испанскими мыслителями XVII века см.: *Elliott* (1977).

[2] *Elliott* (1966, 283). Руис Мартин датирует «столетие упадка» с 1586 до 1680 или 1690 года (*Martín*, 1970, 43). Однако иногда требуются дальнейшие события и еще полвека, чтобы убедить участников некоего процесса в реалиях упадка. «Разгром испанской пехоты при Рокруа** 19 мая 1643 года, похоже, символизировал крах военной системы, которая так долго обеспечивала испанскую мощь. Теперь у этой страны не было ни армий, ни лидеров, чтобы обернуть новое международное положение в свою пользу» (p. 345). По мнению Р. Стрэдлинга, только к 1668 году, «вместе с формальной уступкой независимости Португалии, была достигнута низшая точка унижений Испании. Тем самым мировая империя Филиппа II перестала существовать» (*Stradling*, 1979, 182). К концу XVII века, утверждает Ж. Дедевиз де Дезер, «испанская военная мощь была не более чем воспоминанием» (*Desdevises de Dézert*, 1927, 354). См. тж. *E.J. Hamilton* (1943, 192).

[3] *E.J. Hamilton* (1935, 111). Аналогичным образом Хосе Хентиль да Силва утверждает, что имел мѐсто «упадок», хотя это, может быть, «слишком простая» формулировка (*Gentil da Silva*, 1965, 175-179). Две недавние статьи бросают вызов этому традиционному мнению с противоположной точки зрения. Две недавние статьи бросают вызов этому традиционному мнению с противоположной точки зрения. По мнению Генри Кеймена, XVII столетие не было упадком, поскольку Испания была «зависимой» начиная еще с XV века и поэтому «сложно представить, как столь неразвитая страна могла "клониться к упадку", даже не став богатой» (*Kamen*, 1975, 35, 41). А по мнению Стрэдлинга, «испанская мощь и энергия [дожили] до 1660-х годов», и по меньшей мере до этого момента «ни один враг или вражеский альянс не были достаточно сильными и организованными, чтобы направить <...> смертельный удар» (*Stradling*, 1979, 167, 171). Здесь Стрэдлинг

могли бы знать.[4] XVII век стал временем «необрабатываемых и неорошаемых полей [и] острой нехватки скота».[5] В первой трети столетия велись большие споры относительно чрезмерной нагрузки на землю — речь шла о ежегодной посадке вместо трехпольной ротации и следующего за ней истощения почвы. Более грубые злаки — просо, сорго и ячмень, а также кукуруза — шли на смену пшенице,[6] что напоминает о происходившем в периферийных зонах. Расширение производства вина за счет зерновых, как и в южной Франции, было настолько распространенным явлением, что люди стали менять вино на хлеб.[7]

Наряду с изменением характера выращиваемых культур, шел количественный спад экспорта. В целом «роль Испании как экспортера сырья [в XVII веке] не была впечатляющей».[8] Однако столетием раньше Испания не являлась периферийной страной, чей экспорт был ограничен сырьевыми материалами. Испания была мануфактурным центром, и в данном секторе спад был еще более разительным. Наиболее резко он проявился в текстильной индустрии. С 1600 по 1620 годы центр производства испанского шелка и полотна в Толедо был фактически уничтожен,[9] то же самое происходило в Сеговии и Куэнке. Падала не только текстильная промышленность, но и металлургия и кораблестроение. Во всех трех указанных «индустриях роста» Европы раннего Модерна Испания «теряла свои экспортные рынки, [а] также значительную часть домашнего и колониального рынков — в пользу англичан, французов и голландцев».[10] Таким образом, в эпоху стагнации

повторяет суждение Анри Озера, который датирует «испанское превосходство» промежутком 1560–1660 годов.

[4] См. сетования на эту тему Дж.Х. Эллиотта, высказанные в 1961 году; их упоминание и отзвук содержатся в: *Weisser* (1973, 615).

[5] *E.J. Hamilton* (1935, 111). Графики индексов производства, составленные для Сеговии, «скорее подтверждают <…> понимание XVII века как столетия "упадка" или "стагнации"» (*Anes and Le Flem*, 1965, 16).

[6] См. *Da Silva* (1965, 156–158); см. тж. *Anes and Le Flem* (1965, 18–19) об относительном росте производства ржи и овса и чрезмерном использовании земли из-за истощения запасов гумуса и навоза. Эти же авторы указывают, что выращивание ржи требует меньше людских усилий.

[7] *Da Silva* (1965, 158–160).

[8] *Lynch* (1969, 153).

[9] Михаэль Вайссер стремится объяснить это не в терминологии Э.Дж. Хэмилтона как «значимость внешних факторов (т.е. [американских] сокровищ)», а через «внутренние экономические условия в Кастилии». Впрочем, тремя его внутренними факторами оказываются следующие. 1) «Отсутствие равновесия [между] конкурирующими требованиями самообеспечения и индустриального производства», которое впервые появилось около 1575 года и, в свою очередь, объяснялось «сокращением стад Месты* и разрывом торговых связей с севером страны, [что] вынудило Толедо более серьезно полагаться на промышленную мощь материковой части страны (*tierra*)». 2) «Появление иностранных которые <…> продавались оптом дешевле товаров местного производства». 3) Рост Мадрида**, вытягивавшего население из Толедо, депопуляция которого была результатом «имперских амбиций короны» (*Weisser*, 1973, 614–615, 637–640). Вайссер также связывает сокращение городского населения с изгнанием морисков (р. 632) – фактором, который упоминает и Александр Дж. Уорден (*Warden*, 1864, 261), объясняя почти полное исчезновение толедских полотняных мануфактур — с 50 предприятий в 1550 году до 13 в 1665-м.

[10] *Lynch* (1969, 152, тж. см. 149–151).

Испания переживала не только сельскохозяйственную инволюцию, характерную для периферийных зон, но и деиндустриализацию. Последствия этого были двоякими: с одной стороны, внутри Испании нарастали поляризация и региональные конфликты — с другой, чтобы выжить, Испании приходилось растрачивать свое колониальное наследие.

Уже в XVI веке Испания столкнулась с расширяющимся разрывом между Кастилией и другими регионами: «Как будто все сговорились, чтобы дать Кастилии огромное и растущее превосходство».[11] Экономические трудности в целом, вкупе с расходами, которых требовало глубокое погружение Испании в Тридцатилетнюю войну, вели к постоянному увеличению налогообложения. Конечно, Кастилия тянула это бремя так же, как и остальная часть Испании, а возможно, и еще больше. Однако, как отмечает Хайме Висенс Вивес, Кастилия имела «колоссальную компенсацию <...> в виде эксплуатации Американского континента, культурного и политического первенства в сердце Испании».[12] Возможно, указанный разрыв становился еще сильнее. В любом случае Каталония и Португалия, два основных региона, которые сохраняли относительный экономический паритет с Кастилией вплоть до начала XVII века, ощущали дыхание новых экономических ограничений в интересах Кастилии.[13] Поэтому, когда правительство в лице Оливареса хотело больше денег, для каталонцев, да и не только для них, — «было вполне логичным шагом недоверчиво укрываться за прочными бастионами автономного законодательства, данного им королем Фердинандом Католиком».[14] Антиналоговые восстания происходили в Опорту (1628) и Сантарене** (1629), в Стране басков в 1632 году случился «Соляной бунт», первопричиной которого были новые налоги — «последняя капля, переполнившая чашу терпения людей, уже истощенных другими формами эксплуатации».[15] Характерной особенностью Каталонии было не то, что народные настроения «вырвались наружу внезапно и взрывным образом»,[16] но то, что эти настроения сочетались

[11] *Elliott* (1963, 11). «Средневековые границы — делался ли на этом существенный акцент? — не стали, как можно предположить, слабее, а оказались на протяжении веков еще более выраженными» (*Vilar*, 1962b, **I**, 191).

[12] *Vicens Vives* (1970, 107).

[13] «Несмотря на успешные попытки графа-герцога [Оливареса] [в 1637 году] выжать из Кастилии больше денег, он как никто иной был убежден, что рано или поздно наступит момент, когда Кастилия будет выжата досуха. Это означало, что Союз оружия должен стать эффективным, а в особенности то, что Каталонию и Португалию, которые, *как считалось*, были двумя богатейшими державами полуострова, следовало вынудить играть роль, сопоставимую с их *предполагаемыми* ресурсами. Оба эти государства представлялись Оливаресу опасным образом "отделенными" от остальной части монархии» (*Elliott*, 1966, 333, курсив добавлен).

[14] *Vicens Vives* (1970, 107). См. тж. *Vilar* (1962b, **I**, 627): «Центральное правительство, будучи в значительном финансовом затруднении, положило глаз на ресурсы Каталонии, которые местные собрания ревностно защищали от податей».

[15] Эмилиано Фернандес де Пинедо цитирует этот фрагмент из работы Бориса Поршнева о Франции как в точности приложимый к Бискайе того времени (*de Pinedo*, 1974, 76).

[16] *Elliott* (1963, 463). Эллиотт идентифицирует эти народные настроения как «ненависть мелкого и безземельного крестьянства к богатым крестьянам и знати, горечь сельских безработных, жажду мести разбойничьих элементов тем, кто их угнетал, ста-

с «разочарованием буржуазии» и неопределенностью (ambivalence) «правящих классов Каталонии».[17] Именно это совпадение источников недовольства обусловило то, что каталонское восстание было таким затяжным и грозным.[18]

Именно в этот момент переориентации европейского мира-экономики от фазы экспансии и инфляции к фазе стагнации Португалия на законном основании стала частью Испании в рамках Пиренейской унии, которую португальцы позже назовут Шестидесятилетним пленением. Разрыв в наследовании правящей династии вкупе с военным поражением португальцев от марокканцев при Эль-Ксар-эль-Кебире* позволили испанскому королю Филиппу II войти в Португалию со своей армией и стать в 1580 году и португальским королем. Противостояние этому было слабым, поскольку уния имела для португальцев ряд ясных преимуществ. Одним из них была отмена таможенных границ на Пиренейском полуострове, что давало Португалии беспошлинный доступ к испанской пшенице.[19] Во-вторых, уния давала португальской буржуазии доступ к испанской империи, которая в 1580 году «достигла зенита и всеми силами взывала к португальской предприимчивости, привыкшей было к другим культурам и странным методам торговли, жаждущей распространить свои рынки повсеместно и как следует уверенной в том, что такие связи предоставляли ей огромные возможности».[20] С точки зрения испанцев, уния имела экономическое преимущество, поскольку открывала доступ к новым финансовым сетям в тот момент, когда государственная администрация Кастилии испытывала значительные денежные затруднения. Теперь же португальские банкиры могли войти в кастильские финансовые круги — официально с 1606 года, а неофициально еще раньше.

Португальцам покровительствовал Оливарес, стремившийся разрешить финансовые проблемы монархии. Португальские банкиры были связаны с амстердамской

ринную вражду города и деревни, беднейших горожан и муниципальных олигархов» (pp. 462–463).

[17] *Elliott* (1963, 127, 465).

[18] «Война принесет государству худшие из возможных зол, от которых кастильские владения будут страдать начиная с 1600 года: огромные государственные расходы, денежную инфляцию, паралич производства, депопуляцию вследствие ужасных эпидемий и, наконец, как итог международной борьбы, утрату части каталонских земель включая богатейшие равнины Русильона» (*Vilar*, 1962b, **I**, 633). Больше всего страдали мелкие независимые крестьяне, см. *Vilar* (1962a, 80–81), и здесь вновь отметим параллель с периферийными странами. Это, конечно, обостряло мятеж, заставляя его приобретать «социальные оттенки, которые грозили подчинить аристократию власти толпы» (*Elliott*, 1966, 349). По этой причине единство Каталонии распалось, и к 1652 году каталонцы были возвращены в лоно Испании.

[19] А.Х. де Оливейра Маркеш называет эту отмену таможенных пошлин «долго лелеемой мечтой, особенно среди португальцев» (*de Oliveira Marques*, 1976, **I**, 308).

[20] *Marques* (1976, **I**, 308). Португальцы получили достаточное преимущество. По оценке Израэля, к 1640 году они составляли 6% населения Новой Испании; аналогичные группы существовали на всей протяженности испанских Индий. Израэль говорит о «подлинно массовом исходе из Португалии, <...> [который] отражал перемещение населения из сельской местности и мелких городов, а также бегство предпринимателей из депрессивной Португалии, клонящейся к упадку Испании и уязвленной Италии» (*Israel*, 1974b, 32).

биржей и могли использовать голландские фонды[21] (фактически почти все они были марранами, то есть еврейскими *conversos* [обращенными — *исп.*]).[22] Более того, они были купцами-банкирами,[23] и доступ в Испанию был для них в равной степени доступом в Испанскую Америку — Буэнос-Айрес, Рио-де-ла-Плату, Терраферму и Антильские острова.[24] Помимо этого, португальцы могли получать доход от своей процветающей бразильской сахарной колонии[25] под защитой испанских флотилий.[26] Таким образом, отчасти благодаря преимуществам унии, португальцы защитили себя от первых ледяных порывов XVII века, однако так не могло продолжаться долго. С одной стороны, благоприятному положению португальцев стали противодействовать испанцы,[27] и эта реакция легко превратилась в антиеврейскую ксенофобию.[28] С другой стороны, у португальцев тоже начались неудачи, поскольку испанцы все больше оказывались не в состоянии предоставлять им ту защиту, в которой португальцы нуждались. Голландскую оккупацию Бразилии португальцы отчасти приписывали продолжающемуся

---

[21] См. рассмотрение этого в *Castillo* (1964, особенно pp. 311–314).

[22] Это было верно применительно и к другим некастильским территориям Пиренейского полуострова: «В окраинных зонах полуострова [Португалия, прибрежные территории Каталонии, Валенсия] <...> существовала высокая стпень совпадения между статусами буржуа и *converso*» (*Chaunu*, 1963a, 82). Это же отмечает Моро: «Португалия была не единственной страной XVII века, в которой одновременно будут представлены буржуазия и группа новых христиан. Однако от других стран ее отличало то, что там происходило фактическое смешение двух этих статусов» (*Mauro*, 1970, 34).

[23] См. описание этих купцов-банкиров у Моро: «Разграничение среди них невозможно провести технически. Оптовая торговля, мелкооптовая, розничная? Все они занимались всем этим. Торговля на дальние расстояния, национальная торговля, локальная торговля? Каждый из них они занимался всем этим. Торговля товарами, торговля деньгами? Они неотделимы» (*Mauro*, 1961c, 20).

[24] См. *Huguette and Pierre Chaunu* (1954, 53). И.С. Ревах указывает, что в этих регионах «само слово португальцы стало синонимом понятия "новые христиане", а зачастую –"тайные иудеи"» (*Revah*, 1959–1960, 37; cf. p. 48, n. 4). Однако см. тщательное разграничение у Дж. Израэля *judaizantes* [иудействующих – *порт.*], действительно ассимилированных *Cristãos novos* [новых христиан – *порт.*] и промежуточной группы, *conversos*, «которые не иудействовали, однако принадлежность к еврейству, тем не менее, сильно вторгалась в их карьеру» (*Israel*, 1974b, 24 и далее, 19–32).

[25] Моро напоминает, что не нужно «смешивать судьбы португальской и испанской империй [ближе к концу] XVI века, поскольку Бразилия с ее огромным сахарным производством представляет собой отличие, и немалое» (*Mauro*, 1959, 183).

[26] *Huguette and Pierre Chaunu* (1954, 52).

[27] См. предположение Эллиотта в его книге «Революции XVII века» (*Elliott*, 1958, 68). А.Р. Дисни, объясняя нежелание португальцев инвестировать в основанную в 1628 году португальскую Ост-Индскую компанию, добавляет еще один фактор: «Некоторые португальцы рассматривали это как коварную попытку Мадрида обойти административную независимость, пожалованную Португалии Филиппом II в 1580 году» (*Disney*, 1977, 252).

[28] *Huguette and Pierre Chaunu* (1954, 54). Авторы отмечают, что евреи стали мишенью, и говорят «об этих "Нантских эдиктах", которые принимают в фазе A, чтобы отменить их в фазе B». См. тж. *Chaunu* (1963d). Некоторые из этих новых христиан просто переместились в Гамбург, где играли важную роль в его коммерческой экспансии в XVIII веке. См. *Kellenbenz* (1958).

голландско-испанскому конфликту.[29] В любом случае португальско-атлантическая торговля, которая в промежутке 1600–1630 годов поддерживалась в гораздо лучшем состоянии, чем севильско-атлантическая торговля, стала клониться к упадку.[30] Сложности в Бразилии дополнялись утратой западноафриканской торговли золотом в пользу англичан и голландцев в 1638 году.[31]

Португальцы восстали в 1640 году одновременно с каталонцами, однако без характерных для последних внутренних классовых разделений, что «сделало [для португальской буржуазии] более легким принятие перехода от связи с Испанией к независимости».[32] Португалия восстановила независимость и двинулась по пути альянса с Англией. В начале XVII века Португалия уступила свою торговую империю в Азии голландцам — как утверждает Боксер, потому, что последние «значительно превосходили в актуальной и потенциальной мощи обедневшее португальское королевство».[33] Как мы видели, оно нашло некоторую компенсацию в унии с Испанией, однако давление спада в европейском мире-экономике обесценивало даже это. Для Броделя «большой вопрос, не была ли Португалия в экономическом смысле компаньоном для Испании, подходящим для хороших времен?»[34] Пока Испания подобным образом раздирала себя на части, получая мало материальной выгоды, она одновременно начинала терять колониальную кровь. Прежде всего, значительно снижался американский товарооборот с Испанией, Шоню датирует этот процесс 1622–1680 годами.[35] Во-вторых, развивалась

---

[29] Боксер называет эту оккупацию «одной из главных причин того, почему [португальцы] взбунтовались против испанской короны в 1640 году». При этом Боксер отмечает, что «они разочаровались в своей надежде на то, что голландцы прекратят агрессию против португальских *conquistas* [завоеваний — *ucn.*], как только португальцы и их метрополия порвут свою связь с Испанией. Наоборот!» (*Boxer*, 1961, 52).

[30] См. *Chaunu* (1961, 1194). Моро говорит о «блеске» португальской атлантической экономики вплоть до 1670 года (*Mauro*, 1960, 513), однако Шоню более осторожен: «В сравнении со сферой Севильи, где разворот столетнего тренда в начале XVII века заметен более, чем где бы то ни было, бразильская Атлантика полна темных мест и нюансов». Шоню также говорит о «более поздней поворотной точке в конце 1630-х годов, а возможно, и в 1650-х — скорее это замедление роста, чем крах». Не может ли португальский мятеж объяснить способность Бразилии к восстановлению, по меньшей мере, до 1670 года? Соответственно, как утверждает Эллиотт, это восстановление было «спасением Португалии», поскольку оно «помогло стимулировать иностранный [в особенности английский] интерес к сохранению Португалии как независимого государства» (*Elliott*, 1966, 351).

[31] См. *Godinho* (1950a, 34).

[32] *Elliott* (1963, 543).

[33] *Boxer* (1961, 53).

[34] *Braudel* (1956, 196).

[35] *Chaunu* (1959, **VIII**, *2bis*, 1568). См. тж. *Helmer* (1967, 405): «Начиная с 1630 года происходили многочисленные банкротства *cargadoras de Indias* [отправителей грузов в Индии — *ucn.*]». Шоню указывает, что этот период соотносится с инфляцией биллона, (правда, «не пытаясь решить деликатный вопрос о причинной последовательности данных процессов»), и отмечает: «Возможно, простое совпадение? Тем не менее, совпадение беспокоящее» (*Chaunu*, 1959, **VIII**, *2bis*, 1568–1569).

[36] В самом деле, Хайме Висенс Вивес задним числом отчитывает испанское правительство того времени: «Вместо того, чтобы ввязываться в беспокойные европейские

контрабанда как масштабный аспект европейско-американского обмена — сначала этим стали заниматься голландцы,[36] затем англичане и французы.[37] Постепенно в течение XVII века все пришло к тому, что прямые сношения государств центра с Испанской Америкой «обеспечивали наибольшую часть ее основных потребностей посредством контрабанды».[38]

Поэтому в ходе XVII века Испания оказалась в лучшем случае довольно пассивным приводным ремнем между странами центра и своими колониями. Из стран центра Испания импортировала ткани и сушеную рыбу Ньюфаундленда, потребляя и то, и другое у себя и отправляя дальше в колонии, когда контрабандная торговля полностью не обходила официальные каналы. Испания частично платила за это экспортом сырья с Пиренейского полуострова, частично — красителями из колоний, а прежде всего американскими металлами, «существенным привлекательным фактором торговли со старой Испанией».[39] Во времена финансового сжатия постоянные войны — с Соединенными Провинциями, Францией, Каталонией, Португалией — вели к последовательно инфляционной чеканке биллона, особенно резко — после 1650 года. Результатом этого к 1680-м годам стал «тотальный административный и экономический коллапс Кастилии».[40] В подобных обстоятельствах испанская монархия едва ли была в состоянии противостоять вторжениям и грабежам держав центра на Американском континенте и или даже постоянному росту продаж мануфактурных товаров из северо-западной Европы в самой Испании.[41] Гастон Рамбер подводит следующий итог: «В конце XVII века Испания занимала особое место

конфликты, где во всеоружии поджидали Франция и Голландия, Оливаресу следовало остановить кровь из первых ран империи, нанесенных ей голландцами в Карибском море, и перевести американские колонии на военное положение. Вместо того, чтобы использовать золото, поступающее в Андалусию, для подобной весомой политики, он оплачивал им военные операции Тридцатилетней войны. В результате будущее Испанской Америки было ликвидировано в Европе» (*Vives*, 1970, 106).

[37] Леон Виньольс указывает, что, хотя интенсивность трансатлантической контрабанды претерпевала изменения во времени, она всегда была больше, чем внутриевропейская, а также внутренняя контрабанда в любой стране Европы (*Vignols*, 1925, 240).

[38] *Larraz* (1943, 98). Контрабандная торговля поддерживалась и поощрялась коррумпированными испанскими чиновниками и испанскими колонистами. См. *Pantaleão* (1946, 127–129, 235–236).

[39] См. *McLachlan* (1940, 13); см. тж. *Christelow* (1941, 516).

[40] *Elliott* (1966, 360). По словам Эллиотта, коллапс Кастилии «сопровождался параличом ее культурной и интеллектуальной жизни» (p. 361). См. тж. *Larraz* (1943, 96). Кеймен в своем подробном описании кризиса между 1677 и 1686 годами называет инфляцию биллона «почти катастрофической» (*Kamen*, 1964, 75). Еще одним отражением сложностей было «постоянно растущая на протяжении XVII века сила» бандитизма, особенно в Валенсии (*Kamen*, 1974, 654).

[41] Делюмо говорит об этой торговле как о «великом провидении Франции» (*Delumeau*, 1966, 100). Ольга Панталеу утверждает, что «торговля с Испанской империей всецело интересовала Британскую империю» (*Pantaleão*, 1946, 272).

[42] *Rambert* (1959, 269).

[43] *Francis* (1966, 187).

в мировой экономике: это был обширный и фактически неосвоенный рынок, который сводил воедино все алчные европейские силы. <...> [Испания] жила в тесной зависимости [от более передовых стран]».[42]

Португалия в той или иной степени оказалась перед лицом такой же ситуации. Для английских тканей и Португалия, и Испания в период Реставрации «открывали перспективы обширных заморских рынков, хотя английские купцы могли торговать лишь с Южной Америкой, причем через посредников».[43] В действительности же череда англо-португальских договоров (1642, 1654 и 1661 годов) втянула Англию во взаимоотношения с Бразилией еще сильнее, чем с Испанской Америкой.[44] Английское включение в португальскую «трехстороннюю» торговлю (делавшее ее «четырехсторонней») превратит Португалию во «все более и более периферийную страну».[45] Когда временный экономический подъем, который около 1650 года начался в Европе в целом и в Португалии в частности, к 1670 году подошел к концу,[46] Португалия предприняла героическую попытку высвободиться из этой промежуточной позиции приводного ремня, приняв универсальное лекарство XVII века — меркантилизм, ставший открыто признаваемой политикой маркиза Фронтейры и герцога Эрисейры, государственных секретарей в 1675–1690 годах*. Они пригласили в Португалию французских специалистов, которые помогли бы создать здесь промышленность, способную конкурировать с английской и французской,[47] а

---

[44] См. *Pantaleão* (1946, 15). Кроме того, договор 1661 года, утвердивший помолвку Екатерины Брагансской и Карла II, передал Англии в качестве приданого Екатерины Бомбей и Танжер. Боксер объясняет это тем, что Португалия «в альянсе с Англией искала защиту» от голландцев (*Boxer*, 1961, 52).

[45] *Sideri* (1970, 21).

[46] Фредерик Моро датирует окончание кризиса 1680 годом (Mauro, 1975, 9), однако здесь он, похоже, вступает в противордатирует окончание кризиса 1680 годом (*Mauro*, 1975, 9), однако здесь он, похоже, вступает в противоречие с большинством других авторов. См. *Vilar* (1974, 280), где говорится о кризисе 1670–1703 годов; Виторину Магальяэш Годинью называет датами кризиса 1670–1690 годы (*Godinho*, 1974, 266; тж. *Godinho*, 1950b, 186); С. Сидери к констатирует «тяжелую экономическую ситуацию» применительно к 1670 году (*Sideri*, 1970, 26). В действительности кризис был ускорен сокращением импорта серебра и нарастающим устранением португальского колониального сахара и табака с голландского, английского и французского рынков. Кроме того, португальско-голландская конкуренция в Гвинейском заливе стала причиной роста цены на рабов, что сопровождалось частичным истощением запасов живого товара в Анголе. Все это началось примерно в 1670 году, что затрудняло для Португалии возможность выполнять функцию, присущую ей в предыдущей конфигурации торговли. Сегодня это назвали бы кризисом платежного баланса. См. *Godinho* (1950b, 184–185).

[47] Одним из последствий этого было превращение Франции в главного торгового партнера Португалии с 1670 по 1680 годы. Моро, стремясь объяснить, почему позднее это прекратилось, подчеркивает, насколько французская и португальская продукция конкурировали друг с другом на мировом рынке (*Mauro*, 1961b). Однако не является ли это следствием, а не причиной возобновления англо-португальского альянса?

[48] См. *Godinho* (1950b, 186–187). Их политика была небезуспешной. Например, о валютных операциях Годинью замечает: «Еще в 1688 году было невозможно управлять

также организовали торговую компанию для африканской работорговли, пытаясь овладеть испанской специализацией. В некоторый момент Фронтейра и Эрисейра подняли номинальную стоимость португальской валюты на 20% в расчете привлечь драгоценные металлы, особенно из Испании.[48]

Результатом кризиса 1670-х годов было также то, что Португалия вновь стала искать драгоценные металлы в Бразилии,[49] хотя существенные запасы золота не будут открыты фактически до 1693–1695 годов.[50] Кроме того, кризис вел к поиску новых экспортных возможностей, и именно в это время широкий внешний рынок открылся для мадеры. Англичане выяснили, что «мадера была лучшим вином для хранения и для перевозки в области с жарким климатом».[51] Англичане и в самом деле были столь хорошего мнения о мадере, что в Навигационном акте 1663 года вино, импортируемое с Мадейры и Азорских островов, было одним из трех исключений из требования переваливать через Англию европейскую продукцию, предназначенную для британских колоний в обеих Америках.[52] Крупными рынками для этих вин стремительно стали Британская Вест-Индия и Новая Англия,[53] и значимость виноделия в Португалии постоянно росла.[54] Но в 1690 году Эрисейра умер, и к 1692 году португальский меркантилизм постиг коллапс. Что же случилось? Годинью дает три объяснения.[55] Во-первых, в 1690 году окончился общий торговый кризис, повсеместно поднявший цены на сахар и табак, а вместе с этим было утрачено преимущество португальцев из-за временных трудностей голландцев. Во-вторых, шел постоянный рост продаж вин в Британскую Америку, стимулируемый тем, что в результате англо-французских войн Англия запретила импорт французских вин и обратилась взамен к португальским.[56] В-третьих, началась золотая лихорадка в Бразилии.[57]

платежами, но уже в 1689 году монета нормально обращалась в Лиссабоне. Следовательно, это была успешная мера».

[49] *Godinho* (1950b, 191); срв. *Vilar* (1974, 280–281).

[50] *Sideri* (1970, 40).

[51] *Francis* (1972, 64); см. тж. *Silbert* (1954, 413–419).

[52] См. *Andrews* (1929, I, 275); *Beer* (1912, I, 78–79).

[53] См. *T. Bentley Duncan* (1972, 46). Бентли Дункан отмечает: «Принимая во внимание небольшое население британских и португальских колоний, торговля мадерой, даже если она имела скромнейший по общеевропейским меркам характер, была для Американского континента важным предприятием» (*Bentley Duncan*, 1972, 48). Однако заметим также, что торговля вином с американским континентом «была всецело в руках английских купцов из Фуншала*, которые закупали партии вина на доходы, вырученные от продажи английских тканей и других импортируемых товаров (соленой рыбы, маринованной селедки, английских мануфактурных товаров, азорской пшеницы и т.д.)» (pp. 50–51).

[54] Годинью утверждает, что рост производства вина был «напрямую связан с расширением рынков в обеих Америках» (*Godinho*, 1953, 79).

[55] См. *Godinho* (1950b, 188–190).

[56] См. тж. замечание Боксера, что выросший спрос на португальские вина во время войны короля Вильгельма** сократил «неблагоприятный торговый баланс» Португалии и потому «сделал не столь остро необходимым замещение импортируемой английской текстильной продукции товарами национального производства» (*Boxer*, 1958, 34). В действительности англичане *не предпочитали* португальские вина француз-

Меркантилизм был принят Португалией в качестве политического ответа на острый торговый кризис,[58] однако внутренние антимеркантилистские силы были уже настолько сильно укоренены, что невозможно было предотвратить их новое политическое утверждение в момент, когда экономический климат был опять хоть немного благоприятен для их интересов.[59] В 1703 и 1713 годах португальцы заключили Метуэнские соглашения*, которые, по словам Годинью, «в сущности, подтвердили фактическое положение дел,[60] уже сложившееся в 1692 году и ставшее итогом всего развития событий в XVII веке. Эти знаменитые соглашения, ставшие моделью для теории Рикардо, которая благословляла международное разделение труда, не создали английские привилегии, но лишь *вос*создали те, что уже были заложены в соглашениях 1642, 1654 и 1661 годов.[61] Английский текстиль в обмен на португальские вина — этой схеме суждено было стать славным символом торговой политики вигов.[62]

Если период меркантилизма при Эрисейре (1675–1690) был коротким моментом сопротивления португальцев нарастанию подчиненной роли в мире-экономике той эпохи, то войну за Испанское наследство можно истолковать как параллельную — и одинаково опустошительную — попытку сопротивления со стороны испанцев. В течение XVII века испанское государство стало настолько слабым, что уже начиная с Рисвикского мира 1697 года Франция, Австрия, Англия и Соединенные Провинции вели торг по поводу раздела Испанской империи. К 1702 году Испания вместе с Францией бросила жребий всей остальной Европе включая Португалию, которая уже в следующем году подписала Метуэнский

ским — подтверждающие это данные приводит Сидери. Когда 1683 году французские вина были запрещены в Англии, англичане в тот же год импортировали 65 галлонов из Франции и 16772 — из Португалии. А когда в 1686 году этот запрет был снят, они ввезли всего 289 галлонов из Португалии и 12750 — из Франции (см. *Sideri*, 1970, 64).

[57] Мануэл Кардозу отмечает, что результатом золотой лихорадки был рост «нелегального вторжения в Бразилию иностранной продукции». Бразилия была «единственным рынком, который приносил [Португалии] какую-либо прибыль» (*Cardoso*, 1946, 146).

[58] «Лично я уверен в том, что данная политика стимулирования мануфактур может быть объяснена именно кризисом» (*Godinho*, 1953, 76). В конечном итоге, говорит Годинью, меркантилистский период был ничем иным, как «передаточным звеном» между циклом сахара, табака и соли и циклом бразильского золота, портвейна и мадеры (*Godinho*, 1950b, 190).

[59] «"Индустриалисты" уступили хозяевам виноделен» (*Godinho*, 1950b, 190). В дальнейшем это можно будет обосновать идеологически: «В последующие годы даже португальцы были склонны соглашаться, что именно англичане были в ответе за развитие виноделен в регионе Алту-Дору**, и верить, что до появления англичан там ничего не росло, кроме ракитника и дрока» (*Francis*, 1972, 109).

[60] *Godinho* (1950b, 188).

[61] См. *Macedo* (1963b, 53); *Sideri* (1970, 42).

[62] «Виги, которые в 1713 году голосовали [против оппозиции в лице тори] за торговлю с Португалией, а не с Францией, пришли к власти и оставались у нее долгое время. В первые годы их правления англо-португальская торговля достигла беспрецедентных размеров» (*Francis*, 1966, 185).

В частной беседе Э. Фернандес де Пинеду указал мне, что начиная с 1650 года голландцы и англичане, не желавшие, чтобы их направлявшиеся в Испанию корабли с тканями,

договор.[63] С британской точки зрения, французы долго владели слишком большим куском испанского пирога, а переход испанского наследства к Бурбонам угрожал дальнейшим сокращением британской доли — не столько на Американском континенте, где британцы уже обошли французов, сколько в самой Испании и в Средиземноморье в целом.[64] Война между Францией и Британией простиралась далеко за пределы Испании и представляла собой попытку взаимного разрушения торговых сетей, особенно путем каперства.[65] По словам Арсена Легреля, «история войны за Испанское наследство не [была] внутренней историей Испании».[66] Французы довольно быстро обнаружили, что главной заботой их испанских союзников было не продвижение интересов Франции, а выведение Испании из тех экономических рамок, в которых она оказалась.[67]

Мятеж в Каталонии необходимо рассматривать этом же контексте. В экономическом отношении после 1670 года Каталония пережила медленное восстановление — в основном потому, что «налоговое бремя было легче, а <...> экономическое изнеможение не таким полным», как в Кастилии.[68] Это умеренное благополучие Каталонии было основано на выполняемой ею функции торгового посредника. Меркантилистская

соленой рыбой и пшеницей возвращались пустыми, стимулировали производство бренди (*aguardiente*) в Каталонии и сушили виноград и миндаль неподалеку от побережья Малаги. Пинеду называет это «серебряным Метуэнским договором», обращая особое внимание, что торговый дефицит уравновешивался американскими драгоценными металлами.

[63] См. *Kamen* (1969, 1–5).

[64] См. *Temperley* (1940, ix-x); срв. *McLachlan* (1940, 30). Маклахлан сообщает, что английские купцы были против договоров 1698 и 1700 годов о расчленении империи', поскольку они понимали, что, будь такие договоры подписаны, Средиземное море «становилось бы французским озером». Эту точку зрения разделяет Кларк: «Если бы французы преуспели в этом, то голландцы и англичане, две выдающиеся морские державы, пережили бы потерю большей части своей торговли» (*Clark*, 1928, 262).

[65] Французы фактически проиграют эту битву в открытом море. «Англичане не только успешно сдерживали угрозу со стороны французских каперов — в этом виде военных действий они удачно действовали и как агрессоры» (*Clark*, 1928, 264)

[66] *Legrelle, Arsène.* La diplomatie française et la succession d'Espagne (Paris, 1888–1892), **III**, 332, цит. в: *Kamen* (1969, 9).

[67] Кеймен отмечает, что «для продвижения франко-испанской торговли [приходилось] держать низкие тарифы и запрещать торговлю с [англо-голландским] неприятелем. К своему раздражению, французы обнаружили, что было непросто гнуть свою линию в этих двух направлениях, угрожавших сократить ценность торговых привилегий, которыми они официально располагали» (*Kamen* (1969, 127). Французам эти привилегии по-прежнему принадлежали— именно они активизировали британцев, а французы были более заинтересованы в получении доступа в испанские Индии. Однако, «несмотря на французское превосходство на море, несмотря на асьенто, несмотря на те объемы нелегальной торговли, которая велась через Сен-Мало, для Франции все кончилось провалом. Людовику XIV так и не удалось вклиниться в монополию, которой Кадис обладал в отношении Индий» (*Kamen*, 1969, 155).

См *Rambert* (1959, 272): «Вероятно, испанские Бурбоны постоянно помнили о своем происхождении — с самого начала они, как минимум, производили впечатление стопроцентных испанцев».

[68] *Elliott* (1966, 365). Вилар думает, что это было нечто большее, чем медленное восстановление. Он утверждает, что «правление Карла II Испанского (1665–1700) было для

и централизованная Испания не пошла бы на пользу «этому развивающемуся классу, который <...> мечтал о "свободной торговле" и о том, чтобы стать еще одной Голландией».[69] Кроме того, «Франция как держава была врагом»,[70] захватившим каталонскую территорию по Пиренейскому договору в 1659 году*. Соответственно, каталонское движение — движение правящих групп, а не народный бунт, как в 1640 году, — «предлагало свои услуги англо-австрийским "союзникам" для отвоевания Пиренейского полуострова, присоединенного к Франции».[71] На сей раз это было в меньшей степени сепаратистское движение против Испании, нежели движение, которое стремилось сохранить экономические интересы каталонской буржуазии путем предотвращения прихода к власти в Испании групп меркантилистского толка.[72] Меркантилизм в данном контексте был прогрессивным, прагматичным направлением.[73]

Каким был результат войны за Испанское наследство? Испанию вынудили оставить ее территории за пределами Пиренейского полуострова. Что еще более важно, Испании пришлось подписать с Англией договор об асьенто, дававший Англии право (которое ранее принадлежало Франции) доставлять рабов (минимум 4800 в год) в Испанские Индии. Двумя отдельными пунктами, которые не входили в предыдущий аналогичный договор с французами, стали английское поселение на Рио-де-ла-Плата и ежегодный английский 500-тонный «дозволенный корабль», которому позволялось вести общую внешнюю торговлю в Испанской Америке.[74] Многочисленные договоры, завершившие войну, были «неоспоримой победой антифранцузской коалиции над Людовиком XIV»,[75] но в особенности победой Англии.[76]

Каталонии удачным временем. <...> Для богатых крестьян, торговцев, деловых людей всех сортов <...> последняя треть XVII века была периодом процветания. <...> Кризису 1700–1715 годов, в отличие от сецессии 1640 года, вовсе не предшествовали яростные атаки на корону» (*Vilar*, 1962a, 101).

[69] *Vilar* (1962a, 104).

[70] *Vilar* (1962a, 103).

[71] *Vilar* (1962b, **I**, 672). Некоторое время каталонское движение было чрезвычайно успешным. Как отмечает Кеймен, в отличие от кризиса 1640 года, «вместо кастильских войск, квартировавших в Лиссабоне и Барселоне, мы обнаруживаем португальские и каталонские войска, квартирующие в Мадриде» (*Kamen*, 1969, 248).

[72] См. *Vilar* (1962b, **I**, 678).

[73] Шоню отмечает культурные последствия этого экономического выбора: «Испании Филиппа V суждено было открыться, однако она могла делать это лишь медленно. <...> Что значило "открыться"? Это значило открыться Франции, Северу. <...> Германская партия, которая в конце правления Карла II вращалась вокруг королевы Марии-Анны Нейбургской, была, безусловно, партией итальянского влияния в искусстве, партией прошлого» (*Chaunu*, 1963c, 468–469). О роли испанских Бурбонов в качестве культурных «модернизаторов» после войны за Испанское наследство см. *Vicens Vives* (1970, 116–120).

[74] См. *Pitt* (1970, 475–476).

[75] *Veenendaal* (1970, 444). Именно в этом смысле Вилар рассматривает Утрехтский мир как поворотный пункт. Утрехт завершил «ликвидацию старой испанской империи в Европе, положил конец французской гегемонии и провозгласил английское превосходство в морском и колониальном мире, что, помимо прочего, символизировала оккупация Гибралтара» (*Vilar*, 1962a, 12).

[76] Дж.Н. Кларк указывает, что, несмотря на англо-голландский альянс, «общая природа мира <...> была такова, что британцы использовали свое политическое пре-

Однако внутри самой Испании каталонцев покинули их союзники, и Филипп V мог приступить к централизации страны. С провозглашением декретов *Нуэва Планта** в 1716 году Арагон и Каталония утратили свои привилегии,[77] а *фуры* Валенсии были отменены еще в 1707 году**.[78] Лишь Наварра и Страна басков, остававшиеся лояльными Филиппу V, сохранили свои *fueros* [своды законов — *ист.*] и впредь были известны как Исключительные провинции.[79] Но в контексте всеобщего межгосударственного примирения и договора об асьенто эта централизация Испании не могла завершить те цели, на которые она была направлена.[80] По условиям Утрехтского трактата Испании не позволялось изменять пошлины в убыток Великобритании. Кроме того, курс конвертации пошлин из серебряного эквивалента в оборотные деньги (биллон) был зафиксирован по ставке, действовавшей в 1700 году, в конце правления Карла II. Это «действенным образом устраняло поистине заградительные пошлины».[81]

Как подчеркивает Ромеро де Солис, триумф Бурбонов в войне за Испанское наследство, несомненно, «был триумфом средних классов и мелкой знати над церковью и сеньориальной аристократией».[82] Нет никакого сомнения и

восходство, чтобы утвердиться в преимущественном положении для конкуренции с голландской торговлей» (*G.N. Clark*, 1928, 279). См. тж. *A.W. Ward* (1908, 438): «Соединенные Провинции приобрели сильный барьер против любого возобновления французской агрессии, твердо укорененный на союзной территории. Но, хоть они и продолжали, помимо этого, сохранять благодаря заключению мира некоторые коммерческие преимущества, их политическое положение в качестве великой державы минуло навсегда, перейдя без какого-либо реального с их стороны сопротивления к державе, выступавшей их соперником. <...> Подобным же образом близилось к концу их торговое (mercantile) превосходство».

[77] *Elliott* (1966, 370–371). Хайме Висенс Вивес едко утверждает, что «каталонцы боролись против хода истории, а цена этого обычно очень высока» (*Vicens Vives*, 1970, 111).

[78] См. *Kamen* (1974, 687).

[79] См. *Vicens Vives* (1970, 114).

[80] Как утверждает Висенс Вивес, «мистика региональных хартий была просто замещена мистикой централизации любой ценой, <...> и в этом предприятии династия Бурбонов и ее подельники (подобно их предшественникам) потерпят неудачу» (*Vicens Vives*, 1970, 113).

[81] E.*J. Hamilton* (1935, 116).

[82] *Romero de Solís* (1973, 54). Ромеро де Солис говорит о «новом среднем классе, аграрных капиталистах и национальной буржуазии» (p. 66) и о сторонниках Филиппа V, принадлежавших к «средним сегментам земельной знати в процессе их трансформации в аграрных капиталистов, а также к национальной буржуазии и ее агентам (*servidores* [служащим — *ист.*]) — государственной буржуазии» (p. 67, n. 108). Однако Домингес Ортис утверждает, что «абсолютизм Бурбонов, хотя и противостоял любому ослаблению центральной власти, в действительности вступал в сделки с феодальными владениями (*señoríos*), стоило ему только лишить последние остатков их политической значимости, которая почти отсутствовала уже в последние дни правления Габсбургов» (*Ortiz*, 1955, 301). С этой позицией согласен Кеймен: «Следует подчеркнуть, что падение грандов, хотя и имело фундаментальную политическую и административную важность, для социальной истории Испании является менее значимым. Как и в предыдущие правления, за знатью оставались закрепленными привилегии и поместья» (*Kamen*, 1969, 115).

в том, что «в рамках, позволенных Утрехтским миром», Филипп V попытается покончить с полупериферийной ролью Испании.[83] Однако верно ли, как утверждает Кеймен, что «лишенная в Утрехте бремени Италии и Нидерландов, страна могла посвятить себя внутреннему восстановлению и внешнему возрождению»?[84] Несомненно, Бурбоны стремились это сделать, однако, как утверждает сам Кеймен, честь начальной попытки принадлежала еще Карлу II в 1680 году — в то же самое время, когда аналогичную попытку предприняла Португалия. «Филипп V принял Испанию уже, по существу, вышедшей из того состояния финансового хаоса, которое было ее клеймом на протяжении примерно столетия».[85] Очевидно, что, какими бы мужественными ни были усилия Бурбонов, Испания в XVIII веке не изменила бы по существу свою экономическую роль — а в действительности в ходе новой экспансии мира-экономики после 1750 года она утратит свою американскую империю. Не следует ли сравнивать то, что завершили Бурбоны, с тем, что они могли осуществить, если бы переговоры в Утрехте не кончились договором об асьенто, а способность Испании к реализации меркантилистской тактики не была устранена? Филиппу V может, *пожалуй*, принадлежать честь остановки дальнейшего упадка роли Испании в мире-экономике — по крайней мере, на какое-то время. Но едва ли можно утверждать, что он развернул общий тренд. Та степень, в которой Испания добилась некоторого успеха в новом развитии своей индустриальной базы, была достигнута за счет Франции, а не Англии.[86]

Асьенто — это и есть ключевая проблема. Конечно, англичане получали от работорговли огромные доходы. Кроме того, благодаря асьенто эту легальную торговлю стало возможным «использовать в качестве занавеса, за которым в испанские колонии ввозились запрещенные товары».[87] К 1730-м годам размах этой контрабандной торговли под эгидой Компании Южных морей стал колоссальным.[88] «Контрабандная торговля была составной частью всех операций компании»,[89] в 1740-х годах став главной причиной так называемой войны

[83] См. описание этих попыток в: *E.J. Hamilton* (1943, 206), см. тж. *La Force* (1964, 337–338).

[84] *Kamen* (1969, 391–392).

[85] *Kamen* (1969, 34).

[86] См. *Rambert* (1959, 270): «Непомерно осторожная таможенная политика Бурбонов [на протяжении XVIII века] мало-помалу достигнет успеха в сооружении барьеров, под укрытием которых национальная промышленность сможет расти, и страна отчасти освободится от иностранного контроля. Франция, долгое время возглавлявшая соревнование, станет главной жертвой этой эволюции».

[87] *Nelson* (1945, 55).

[88] Нельсон приводит данные, оценивающее ее стоимость в 3,5 миллиона фунтов с 1730 по 1789 годы, утверждая, что подобный размах был «настолько велик, что являлся реальной угрозой испанскому меркантилизму» (*Nelson*, 1945, 64).

[89] *V.L. Brown* (1928, 179). Нельсон указывает, что Компания Южных морей использовала любые возможные средства для участия в нелегальной торговле: секретность (возможную потому, что большинство коммуникаций не проходили через совет директоров, хотя у испанского правительства был свой представитель в его составе), подкуп испанских чиновников, работорговлю для отвода глаз, обман и силу, а защиту представляли британские военные корабли (см. *Nelson*, 1945, 56–60).

из-за уха Дженкинса*.[90] Контрабандная торговля осуществлялась в первую очередь с Ямайки, а также с Барбадоса и из Буэнос-Айреса,[91] и благодаря этим операциям товарооборот через Кадис существенно сократился.[92] Те преимущества, которые англичане не получали от прямой англо-испанской американской торговли,[93] они добывали посредством транзитной торговли через Кадис, в которой испанцы для покрытия платежного дефицита с Англией в конечном счете использовали американские металлы.[94] Утрата Испанией металлов сопровождалась хронически разбалансированным государственным бюджетом (причем это состояние нарастало), что было как раз следствием проведенной Бурбонами централизации, которая включала трехкратный рост расходов короны с 1701 по 1745 годы.[95] Французские попытки противостоять британцам в Испании и во всем мире дали Испании некоторую передышку, однако в конечном итоге, по окончанию Семилетней войны в 1763 году, когда французский «фактор в американской колониальной ситуации был практически устранен, Испания на два следующих десятилетия осталась одна лицом к лицу с английской угрозой».[96] В длинном цикле с 1600 до 1750 или 1763 года она оказалась неспособна сдерживать наступление того, что впоследствии станет известно как «декаданс» Испании.

На фоне процветающей легальной и нелегальной торговли с Испанией и Испанской Америкой английская торговля с Португалией и Бразилией (также легальная и нелегальная) была даже еще больше.[97] Метуэнский договор имел незамедлительные последствия: за одно десятилетие португальский импорт из Англии вырос более чем вдвое, однако экспорт — только на 40%. Договор уничтожил «младенческую» текстильную промышленность Португалии,[98] одновременно, с 1670 по 1710 годы, происходил пятикратный рост производства

[90] См. *Nelson* (1945, 55).

[91] См. *Christelow* (1941, 532); *Nelson* (1945, 57).

[92] *Godinho* (1948, 552).

[93] Список обмениваемых товаров см. в: *Nelson* (1945, 61) и *Godinho* (1948, 553).

[94] Годинью отмечает, что поток испано-американских металлов в это время не был таким масштабным, как из Минас-Жерайса в Бразилии, но «имел, тем не менее, огромную значимость в финансовой жизни Европы» (*Godinho*, 1948, 553). См. тж. *H.E.S. Fisher* (1971, 4–5). Легальная и нелегальная торговля с Испанской Америкой, возможно, приносила определенную выгоду двум разным группам англичан. Испанское государство пыталось использовать собственных посланцев из сферы легальной торговли для ограничения торговли нелегальной, однако не слишком успешно. См. *Godinho* (1948, 552).

[95] *E.J. Hamilton* (1949, 316).

[96] *V.L. Brown* (1928, 187); см. тж. *Christelow* (1941, 519–520) о периоде вплоть до 1763 года.

[97] С 1700 по 1750 годы Португалия была третьим по значимости потребителем английских товаров после Соединенных Провинций и германских государств, а доля английских морских поставок в Лиссабон никогда не падала ниже 50% в общем объеме грузов. См. *Maxwell* (1968, 612).

[98] См. *Sideri* (1970, 44–46). В работе *Macedo* (1963a) утверждается, что, несмотря на британское преимущество, конкуренция других иностранных мануфактур заставляла британские цены падать и делала монополию бессмысленной. Однако это отри-

португальского вина, «поглощавшего большинство имевшихся в Португалии капиталов и, что еще более важно, растущий объем португальской рабочей силы».[99] Для Англии преимущества португальских вин перед французскими состояли в том, что, хотя они и были дороже, за них не приходилось платить драгоценными металлами, как в случае с Францией, что объяснялось объемом текстильного экспорта из Англии в Португалию. Для английского потребителя португальские вина могли стоить больше, но интересы буржуазии, сосредоточенные в Англии, были еще дороже. В действительности же торговля вином не несла для Португалии особых преимуществ. Помимо ее негативного влияния на мануфактуры, эта торговля сама по себе «в основном контролировалась английскими кругами, которым доставалось большинство доходов».[101] Поэтому французский министр иностранных дел герцог Шуазёль в 1760 году не без основания скажет, что Португалия «должна рассматриваться как английская колония».[102]

К тому же в стоимостном выражении винá экспортировалось гораздо меньше, чем импортировалось тканей. Баланс торгового дефицита с Англией, еще в 1700 году ничтожный, рос примерно на миллион фунтов в год.[103] К счастью для Португалии, она все еще оставалась, как минимум, полупериферийной страной. У нее была собственная — и богатая — колония, Бразилия,[104] и именно бразильское золото позволило Португалии сбалансировать торговлю с Англией после 1710 года до середины столетия.[105] Португальский историк Ж.П. Оливейра Мартинш в 1908 году едко заметил: «Бразильское золото попросту протекало сквозь Португалию и бросало якорь в Англии, чтобы платить за муку и ткани,

---

цает Сидери, указывая на следующее противоречие в самом объяснении Маседу: «Голландские или французские ткани никогда бы не смогли нейтрализовать британские преимущества, поскольку продукция голландцев и французов не выигрывала от сети распространения и установленного влияния, которые стояли за английскими купцами» (*Macedo*, p. 51, цит. в: *Sideri*, p. 46). Фишер заявляет, что английские текстильные торговцы имели преимущество над своими французскими, голландскими и германскими конкурентами, поскольку они «больше специализировались <...> [на] легких шерстяных и камвольных тканях в ценовом сегменте от нижнего до среднего, а также могли «доставлять их <...> по более низким ценам» (*H.E.S. Fisher*, 1971, 36–37). При внимательном чтении работы Фишера оказывается, что перед нами замкнутый цикл, поскольку более дешевая доставка была производной от большего количественного объема торговли, а продажа тканей была производной от закупок вина, «так что английские купцы в Португалии контролировали и закупку, и доставку вин, отправляемых в Англию» (p. 36).

[99] *Sideri* (1970, 46).

[100] *Sideri* (1970, 41, 48); на с. 41 говорится, что отрицательный баланс английской торговли с Францией выражался в серебре, а на с. 48 — в золоте.

[101] *Sideri* (1970, 46).

[102] Цит. в: *Christelow* (1946, 27). Дж. Янг в 1917 году аналогичным образом заметил, что «портовый район Дору стал чем-то вроде внутренней территории (hinterland) для британской колонии». *G. Young.* Portugal Old and Young (Oxford, 1917, 185), цит. в: *Sideri* (1970, 56).

[103] *Sideri* (1970, 45).

[104] Боксер утверждает, что в XVIII веке «не может быть сомнений в том, что [Бразилия] в большинстве отношений была более процветающей, чем ее метрополия» (*Boxer*, 1969b, 323).

[105] См. *Francis* (1972, 179–180).

которыми Англия нас кормила и одевала. Наша же промышленность состояла из опер и молитв».[106] С другой стороны, Англия получала столь необходимое ей вливание драгоценных металлов, что позволяло ее денежному запасу быть адекватным ее растущей доле в совокупном производстве и торговле в рамках мира-экономики.[107] Кроме того, Англия тем самым получала нишу не только в легальной торговле золотом, но в равной степени и в контрабандной торговле металлами.[108] Английский историк Чарльз Боксер обнаруживает в подобной диспозиции одно утешение для Португалии: «Одним из преимуществ, которые Португалия действительно получала от своих заморских владений, было то, что с их помощью и благодаря их ресурсам она была способна избежать участи Шотландии или Каталонии».[109] С высоты XX века можно утверждать, что Португалия могла быть вполне состоятельной страной, если уж в XVII–XVIII веках она стала беднее из-за Бразилии. История же Шотландии и Каталонии сложна, и более позднее развитие промышленности в этих регионах находится за пределами нашего рассмотрения. Однако они могли и не страдать от того, что не имели собственной Бразилии, которая позволяла бы неравный обмен с Англией, выгодный для определенных групп в Португалии, чтобы обходиться без политических волнений внутри страны. Эту цену оплачивал непосредственный бразильский производитель, однако в результате в самой Португалии оказывалась меньше степень внутренней напряженности, вынуждавшей к поиску структурных изменений.

Итак, пиренейские государства, которые в XVI веке были прославленными колонизаторами и контролировали драгоценные металлы, в следующем столетии столь постыдно опускались до роли простых приводных ремней мануфактур северо-западной Европы. А что в таком случае можно сказать о территориях, бывших крупными промышленными центрами в XV и XVI веках? Становой хребет Европы — северная Италия, юг и запад Германии и Южные (Испанские) Нидерланды — также приходил в упадок, причем впечатляющий, но другим способом. Не имея колоний и потому не обладая источниками драгоценных металлов или подлинно тропических сырьевых материалов, с помощью которых приобретались импортные товары, они обладали лишь собственными промышленностью и сельским хозяйством, которые обеспечивали их выживание, и давно развитыми торговыми и финансовыми компетенциями.

---

[106] *J.P. Oliveira Martins.* História de Portugal (London, 1908), 2 т., pp. 149–151, цит. в: *Sideri* (1970, 67).

[107] См. *Sideri* (1970, 49). Это суждение стремится усилить Морино. Несмотря на то, что бразильское золото имело «ограниченное, но определенное влияние» на бразильский экспорт в Португалию, оно не было ни «важным», ни «незаменимым»; в целом, с точки зрения британского экономического роста в XVIII веке, «бразильское золото <…> не было ни единственным, ни сильнейшим агентом мощи» (*Morineau*, 1978h, 44, 47). Однако это напоминает борьбу с ветряными мельницами. В драгоценных металлах была необходимость, и в тот момент времени их действительно главным образом поставляли именно из Бразилии.

Ключом к их выживанию была раздаточная система (*Verlagssystem*), которая на базовом уровне определялась следующими характеристиками. Фактический производитель работал в своем домохозяйстве с помощью собственного оборудования, используя свой инвентарь. Он был либо мастером с несколькими подмастерьями, либо работал один или в рамках небольших семейных групп. Необходимое сырье для обработки ему выдавал купец-предприниматель (*Verleger*), который тем самым получал право «приобретать» полученную продукцию по фиксированной цене и брал на себя расходы по доставке этой продукции на рынок. Если производитель работал один или в небольшой семейной группе, он обычно трудился лишь часть своего времени и сочетал производственную деятельность с какой-либо иной экономической ролью. Зачастую функционирование подобной системы имело следствием хроническую задолженность производителя перед купцом-предпринимателем, напоминавшую состояние долговой крепости, которое преобладало в то время в различных видах сельскохозяйственного производства.

Раздаточная система была известна уже в Средневековье, однако впервые она получила значительное распространение в XVI веке, в первую очередь в городской промышленности.[110] Данная система часто отождествлялась с текстильной промышленностью, однако она использовалась почти в любом виде индустриального производства.[111] Во время стагнации XVII века раздаточная система распространилась еще сильнее, чем в XVI столетии, причем с одним важным изменением — везде в Европе раздаточная промышленность перемещалась в сельские территории. Главным мотивом здесь было увеличение доходов купца-предпринимателя. Как утверждает Бродель, «везде, где вводилась [раздаточная система], она наносила удар по гильдиям».[112] Однако до тех пор, пока производственный процесс оставался в городах, гильдии обладали политической возможностью сопротивляться *в рамках* самой

[108] А.Д. Фрэнсис отмечает, что «голландцы и гамбуржцы, которым также требовались благородные металлы, не имели тех возможностей, [что были у англичан], и получали свою долю [контрабандного золота] через Лондон» (*Francis*, 1966, 217).

[109] *Boxer* (1961, 90).

[110] См. *Braudel* (1972, **I**, 430–432).

[111] См., например, *Friedrichs* (1975, 32–33): «В Нюрнберге к началу XVI века раздаточная система была внедрена во многие отрасли металлургии, а также в производство кошельков, перчаток, метел, бумаги и книг, равно как полотна и фланели. Даже производство карандашей в Нюрнберге в конце XVII века было организовано на базе *Verlag* [раздачи — *нем.*]». То же самое утверждает Херманн Келленбенц, добавляя, что «в сфере добычи железных и прочих руд приобретение насосов, горнов и другого необходимого технического оборудования часто загоняло небольшую мастерскую в долги, поэтому ей требовалась помощь купца. В особенности это происходило тогда, когда лицо, регулярно покупавшее продукцию таких мастерских, было очевидным потенциальным источником кредита» (*Kellenbenz*, 1977a, 469).

[112] *Braudel* (1972, **I**, 431). Относительно Гента и Брюгге Ян Крайбекс указывает, что «в XVII веке связи с "гильдиями" стали слабее, особенно во второй половине столетия. Рабочий — "мастер" или "подмастерье" — знал, что его судьба находится в руках у

система представляла собой тот феномен, который известная формулировка Фрэнклина Мендельса определяет как протоиндустриализацию.[121] Тем не менее, я не думаю, что стоит рассматривать данную форму индустриализации в качестве «прото», поскольку такая формулировка подразумевает, что она не является чем-то реальным. По сравнению с фабричной системой раздаточная система была менее эффективной,[122] но, по сути, более эксплуатационной по отношению к труду, а значит, это была идеальная система для эпохи относительной стагнации.

Все старые отрасли промышленности на территории «станового хребта» в XVII веке испытали спад. Особенно впечатляющим он был в северной Италии, однако решающим образом это происходило в германских государствах и Южных Нидерландах. Руджеро Романо рассматривает ситуацию в северной Италии в мрачных тонах, сводя ее к четырем тенденциям: сокращению городского населения (но не общей численности населения); упадку индустриального производства, в особенности выпуска более дешевых тканей, в его классических центрах (Флоренция, Милан, Венеция, а также Неаполь); упадку розничной торговли; снижению цен и количества денег в обращении при явно неподвижных заработных платах. Результатом действия последнего фактора оказались безработица и посредством ее — рост числа нищих

Verlagssystem несравнима с фабричной системой с точки зрения управленческого контроля, она имела преимущество над *Kaufsystem* и тем самым повышала производительность, а доход от этого шел главным образом купцу-предпринимателю. В то время, как сдельный доход прямого производителя при *Verlagssystem* был меньше, чем при *Kaufsystem*, его годовой доход мог быть выше благодаря более постоянной занятости. См. *Schlumbohm* / Kriedte *et al.* (1977, 215–216, вкл. сн. 56).

[121] *Mendels* (1972). См. рассмотрение истоков данного понятия в историографии в: Kriedte *et al.* (1977, 13–35), где утверждается «стратегическая значимость» протоиндустриализации в определении подлинной экономической роли рассматриваемых территорий в мире-экономике (pp. 30–31, сн. 52). Клима и Мацурек приводят доводы в пользу рассмотрения мануфактуры, т.е. раздаточной системы, в качестве «трамплина [*jalon*] на эволюционном пути от системы гильдий через мануфактуру к крупномасштабному механизированному производству». Их объяснение, почему мануфактуру и фабричную систему следует рассматривать как переходные ступени эволюционного процесса, а не как противоположные края глубокой пропасти, состоит в том, что мануфактура «углубляла разделение труда» и «внедряла в производственный процесс значительное количество неквалифицированных или низкоквалифицированных работников» (*Klíma and Macůrek*, 1960, **IV**, 96–97). Милан Мышка, рассматривая централизованные железоделательные мануфактуры в чешских землях, утверждает в целом то же самое (см. *Myška*, 1979, 44–49 и *passim*). См. тж. *Redlich* (1955, 93–97).

[122] Ханс Медик дает отличное изложение того, как функционировала эта система, приходя к следующему выводу: «Логика семейного экономического производства стала эффективной прежде всего благодаря склонности бедных, безземельных тружеников прибегать к "самоэксплуатации" при производстве ремесленных товаров, когда возникала необходимость обеспечивать сложившийся уровень семейного потребления и хозяйственную самодостаточность». Результатом этого стал «дифференциал прибыли» для купца-предпринимателя, «превосходивший и доходы, которые можно было получить от отношений общественного производства внутри системы гильдий, и дохо-

и бродяг. Поэтому, утверждает Романо, между 1620 и 1740 годами городская экономика окажется в «крайне депрессивном состоянии». Кроме того, Романо говорит об «общей инволюции итальянской аграрной экономики»,[123] рассматривая Италию несомненно принадлежащей к той большей части Европы XVII века, которая, в отличие от Англии, Соединенных Провинций и в некоторой степени Франции, жила «под знаком инволюции».[124] По мнению Романо, Италия тем самым упустила «великую историческую возможность для обновления», подобно той, что имелась в XIV веке, поскольку у нее был «целый правящий класс, готовый противостоять» кризису и «пройти сквозь долгую ночь» ослабленным, но невредимым.[125] Однако Джулио Прокаччи критикует волюнтаристское допущение, содержащееся в понятии упущенной возможности,[126] а Доменико Селла — само эмпирическое описание у Романо, утверждая, что оно преувеличено. Селла уверен, что к концу XVII века промышленная сфера северной Италии была «далеко не пустырем», а мануфактурные товары по-прежнему занимали «заметное место» в экспортной торговле.[127] Кроме того, утверждает Селла, сельская местность (по крайней мере, в Ломбардии) все еще поживала неплохо — история XVII века была одним из примеров «примечательной выносливости, адаптации и стойкости» перед лицом превратностей судьбы.[128]

ды, которые можно было извлечь из наемных трудовых отношений на мануфактурах» (*Medick*, 1976, 299). Медика особенно интересует «символическое отношение семейной экономики и торгового капитала». Он утверждает, что «нормы и правила поведения традиционной семейной экономики самообеспечения» были более важны для возможности генезиса капитализма [я бы скорее сказал — его роста — *И.В.*], чем протестантская этика (*Medick*, 1976, 300).

[123] *Romano* (1974, 188–189).

[124] *Romano* (1971, 201).

[125] *Romano* (1974, 195).

[126] *Procacci* (1975, 28). Джорджио Прокаччи называет эту идею «слишком упрощенной и радикальной». Борелли приводит хороший пример того, почему дело было не просто в желании, отмечая усилия Венеции по сохранению своей шелковой промышленности при помощи запрета экспорта шелка-сырца в 1588 году. Поскольку данная мера вела к снижению цены на сырой шелк на внешнем рынке, это стимулировало контрабандный экспорт. К 1694 году две трети венецианского шелка-сырца экспортировалось нелегально (см. *Borelli*, 1974, 27–28). Этого было недостаточно для провозглашения меркантилистской политики — нужно было располагать достаточной политической силой, чтобы подкреплять эти меры. В данном же случае уровень конкуренции, задаваемый меркантилистскими мерами, был недостаточен для того, чтобы превзойти очень высокие издержки венецианского производства.

[127] *Sella* (1969, 244). Ричард Тилден Рэпп делает несколько иную оговорку относительно фактического положения дел. Он согласен, что Венеция двигалась от экспортно ориентированных производств к внутренним сервисным видам промышленности, и рассматривает это как попытку — в некоторой степени успешную — сохранить занятость и, следовательно, уровень благосостояния (см. *Rapp*, 1975, 523–524).

[128] *Sella* (1975, 12). Одной из форм этой стойкости фактически была возросшая экономическая связь между городом и окружавшей его сельской местностью, как в случае с Венецией и ее Террафермой. См. *Marino* (1978, 100): «Возросшее фискальное бремя

Похожие смешанные оценки мы обнаруживаем и в литературе о западной и южной Германии. Густав Шмоллер уже в XIX веке подчеркнул «безоговорочную зависимость» этих территорий от Голландии между 1600 и 1750 годами.[129] Людвиг Бёйтин цитирует источник 1770 года, где указано, что в то время Франкфурт был «не более чем крупным перевалочным пунктом, управляемым голландцами».[130] Перри Андерсон говорит о «расстроенной рейнской экономике»[131] как результате голландского контроля над ее выходами к морю. Бруно Куске начиная с конца XVI века усматривает «эпоху пассивности» в Рейнланде,[132] а Элен Либел описывает «опустошающее воздействие» войн XVII века на имперские города Швабии — Аугсбург, Ульм, Нюрнберг.[133] Герберт Киш говорит скорее о «факторе влияния соседней голландской жизненной энергии»,[134] видя в этом объяснение того, почему Рейнланд «избежал депрессии», ударившей по большинству регионов Германии в XVII веке.[135]

Обращаясь к Южным Нидерландам, мы обнаруживаем аналогичную дискуссию. Есть классическая точка зрения Анри Пиренна: экономический спад как результат закрытия устья Шельды и невозможности обеспечить протекционистские меры ни со стороны испанцев, ни со стороны австрийцев.[136] Эту точку зрения подкрепляет Э. Столс, утверждая, что в XVII веке фламандцы, если рассматривать их на фоне голландцев, были неспособны извлечь выгоду даже при сохранении связи с Испанией из-за подозрений испанцев в

на производство ее Террафермы, вложения в сельское хозяйство и региональный рынок превратили Венецию и ее внутренние земли в органическое единство. <...> Наиболее важным последствием кризиса [XVII века] было само возникновение интегрированной региональной экономики и координированной экономической политики».

[129] *Schmoller* (1897, 74). Хороший пример подобной зависимости приводит Жан де Ври. До 1650 года суконщики Харлема зависели от женщин-ткачих своей округи, однако после 1650 года соответствующая задача территориально переместилась вовне — в домашние хозяйства Вестфалии (а также Южных Нидерландов). «Харлем теперь выступал как фокусирующая точка в сети текстильных агентов, которые отправляли туда полотно для отбеливания и окончательной продажи» (*J. de Vries*, 1976, 97).

[130] Die Handlung von Holland (Frankfurt and Leipzig, 1770, 251–252), цит. в: *Beutin* (1939, 120). Бёйтин цитирует Фридриха Листа как сторонника данной точки зрения, о которой сам он говорит как о «несомненной» (*Beutin*, 1939, 127).

[131] *P. Anderson* (1974a, 249).

[132] *Kuske* (1922, 189).

[133] *Liebel* (1965a, 287). Столетний спад в этих городах начался, конечно, уже в XVI веке.

[134] *Kisch* (1968, 3).

[135] *Kisch* (1959, 555).

[136] См. *Pirenne* (1920, **V**, 65-69, 129–130, 193–201). Имеется, конечно, и одна меркантилистская интерлюдия, поучительная сама по себе. Жан де (Ян ван) Бруховен*, граф Бергейк, известный как «бельгийский Кольбер», в 1698 году смог уговорить губернатора Испанских Нидерландов, курфюрста Максимилиана Эммануила Баварского установить протекционистские тарифы, создать *Compagnie d'Ostende* [Остендскую компанию] для торговли в Индиях, запланировать усовершенствование внутренних водных путей, а в 1699 году даже запретить экспорт шерсти и ввоз иностранных тканей. Однако карательные меры голландцев и англичан в сочетании с взаимной ревностью провинций вынудили Максимилиана отступить (pp. 64–69).

их возможных проголландских настроениях.[137] С другой стороны, Вильфред Брюле настаивает, что в XVII веке ситуация в Антверпене была «не столь плоха, как мы были уверены доселе».[138] Брюле объясняет это исходя из сохранения Антверпеном роли *Dispositionhandel* [торгового распорядителя — *нем.*], принимавшего решения относительно европейской торговли и коммерческих дел, а фламандские купцы получали в Антверпене прибыль благодаря исторически приобретенным деловым связям.[139]

Поэтому следует внимательно рассмотреть все, что известно о реальных экономических структурах того времени в данных зонах. В центрах северной Италии упадок *городской* промышленности был действительно

Вслед за восшествием на трон Филиппа V Максимилиан был свергнут, а на место его войск пришли французы. Тогда Бергейку снова доверили провести его кольбертистские реформы — этот эпизод известен под названием «*régime anjouin*» [анжуйского режима' — *фр.*] (pp. 94–105). Но в 1706 году французские войска были разбиты герцогом Мальборо при Рамильи, и на смену французской оккупации пришла англо-голландская, после чего тарифы были незамедлительно отменены, а централизация управления прекратилась. «Так завершились последние последние остатки реформ, введенных, чтобы вырвать страну из неподвижного состояния, в которое она рухнула в конце XVII века, — и никто этого не заметил, — отмечает Пиренн. — Партикуляризм, противостоявший проектам Бергейка, теперь служил интересам Конференции [англо-голландских властей — *И.В.*]. Центрального правительства больше не было, каждая провинция была предоставлена самой себе и думала лишь о своих непосредственных интересах. Англии и Соединенным Провинциям больше ничего не оставалось, как не вмешиваться и самодовольно дать этому произойти. Они знали, что им не удержать Бельгию, как только настанет мир, и в этом случае лучше всего будет передать ее Карлу III [Австрийскому] в состоянии политического и экономического бессилия и покоя» (p. 114). См. тж. *Hasquin* (1971, 125–126).

Даже Ян Крайбекс, настаивающий на не меньшей эффективности производства в Южных Нидерландах в сравнении с англо-голландскими конкурентами в этот период, объясняет кризис конца XVII века с точки зрения общей понижательной конъюнктуры в Европе. Она «особенно остро ощущалась в Южных Нидерландах, которые были практически лишены средств для нового ответа на еще более фанатичный протекционизм соседних стран» (*Craeybeckx*, 1962, 465). Ван дер Вее утверждает, что возрождение Южных Нидерландов в XVII веке в действительности сопровождалось «явной деурбанизацией» и «возвратом к самообеспечивающему, *традиционному* сельскому хозяйству» (*van der Wee*, 1978, 14, 17).

[137] В особенности это было верно до 1648 года. Столс цитирует некоего иезуита из Брюгге, который, говоря в 1617 году об Испанской Америке, отмечал: «С этого момента доступ в Индию, похоже, стал затруднительным для фламандцев, и это случилось из-за предателей-голландцев» (цит. в: *Stols*, 1976, 40).

[138] *Brulez* (1967, 89). Данную точку зрения разделяет Крайбекс (*Craeybeckx*, 1962, 413–418), который, тем не менее, признает «смещение экономического центра тяжести в сельскую местность». См. *Kellenbenz* (1965, **II**, 393): «Утверждалось, что неудачи Испанских Нидерландов были успехом Льежа». См. тж. *Jeannin* (1969, 70).

[139] См. *Brulez* (1967, 94–99), *Craeybeckx* (1962, 416). Эта точка зрения усилена у Р. Баэтенса в его исследовании фламандского каперства, процветавшего в XVII веке вплоть до войны за Испанское наследство. Баэтенс говорит о его негативном влиянии на купеческое сообщество Антверпена, которое использовало голландские транспортные суда для своей масштабной торговли. Это был основной способ, при помощи которого фламандцы обходили правовые ограничения, наложенные на их экономику (см. *Baetens*, 1976, 74).

бесспорным. Какую дату следует брать за переломный момент — 1619 или 1636 год, — является предметом спора.[140] Однако в любом случае производство шерсти в Милане сократилось с 60-70 предприятий, по состоянию на 1619 год выпускавших 15 тысяч *панни* ежегодно, до 15 предприятий, выпускавших 3 тысячи *панни* на 1640 год, далее до 5 предприятий в 1682 году и до одного в 1709 году, выпускавшего 100 *панни*.[141] Бульферетти связывает этот упадок с французским меркантилизмом XVII века, который, как он считает, «нанес смертельный удар» и мануфактурам, и ремесленной деятельности в Ломбардии (а в равной степени и в Тоскане). Однако Бульферетти также ставит в вину рабочим сопротивление технологическим изменениям.[142] Де Маддалена добавляет, что включение Милана в Австрийскую империю, дефакто случившееся в 1706 году*, можно рассматривать как определенное «продолжение вековой понижательной тенденции».[143] Ломбардия, выйдя из-под испанского владычества, была «доведена до крайностей [*stremata*]».[144] То же самое было верно относительно шерстяной промышленности в Генуе[145] и промышленного сектора в Венеции.[146] Либел сообщает об аналогичном упадке ремесел в Вюртемберге — на момент Тридцатилетней войны «самой буржуазной территории Священной Римской империи», особенно в сферах шерстяного и полотняного ткачества.[147]

Отдельно остановимся на Швейцарии, которая, похоже, превратила необходимость в достоинство, трансформировав свою специфическую связь с Францией в механизм полупериферизации. Истоки этой связи лежат в XVI веке, когда швейцарцы выступали в роли поставщиков наемников. Эту роль швейцарские власти использовали, чтобы выторговывать для себя исключения из французских тарифных бастионов, и в результате французский рынок стал «главным стимулом для швейцарской промышленности».[148] Несмотря на то, что эта связь усиливала Швейцарию, в ходе Тридцатилетней войны

[140] Мёвре утверждает, что это был 1636 год (*Meuvret*, 1953, 216), а Чиполла — 1619-й (*Cipolla*, 1958, I, 392).

[141] *Cipolla* (1958, I, 392, 394).

[142] *Bulferetti* (1953, 53).

[143] *De Maddalena* (1974b, 77). «Миланская экономика бесспорно вступила в фазу неподвижности, в фазу стагнации» (p. 79).

[144] *Caizzi* (1968, 6).

[145] См. *Bulferetti and Constantini* (1966, 35).

[146] Рэпп утверждает, что ко второй половине XVII века общая занятость в экспортном секторе в абсолютном выражении снизилась до уровня 1539 года, то есть до уровня, «который предшествовал началу индустриального рывка» (*Rapp*, 1976, 104). Далее Рэпп указывает: «В процессе экономических трудностей XVII века венецианский порт не постиг коллапс, однако роль его изменилась: он перестал быть тем центром, вокруг которого вращалась мировая торговля, превратившись в порт регионального назначения» (p. 105). Фредерик Лейн указывает, что Венеция более не могла сдерживать доступ флотилий ее соперников на Адриатику или предотвращать рост конкурирующих портов (см. *Lane*, 1973, 417).

[147] *Liebel* (1965a, 295, 300).

[148] *Bürgin* (1969, 220). Бюргин утверждает, что к концу XVII века Швейцария «стала мировым центром» часовой промышленности (p. 227).

швейцарцы заложили основу своего классического состояния нейтралитета. Это позволило им «вытеснить Францию с рынка Германии»[149] и использовать данный момент в качестве базы для развития экспортной промышленности.[150] Однако, когда в 1678 году Франция поглотила Франш-Конте, зависимость швейцарской молочной промышленности от соли, импортируемой из этого региона, усилила *политическую* зависимость Швейцарии от Франции.[151] Приняв сочетание экономического антимеркантилизма[152] и политической протекции со стороны Франции и умело используя свою растущую надомную промышленность в сфере производства часов и молочных продуктов, Швейцария к концу XVIII века стала «самой индустриализированной территорией на европейском континенте».[153]

Как показывает предшествующее изложение, утверждать, что в XVII веке промышленность исчезла из «станового хребта» Европы, невозможно. Суть произошедшего была в том, что промышленность, особенно производство шерстяных и хлопковых тканей, переместилась в сельскую местность. Судя по имеющимся свидетельствам, это происходило повсеместно — в Венеции, Генуе, Ахене, Фландрии, Цюрихе, а в конце XVII века даже в Голландии.[154] В каждом случае в качестве ключевого мотива выдвигалось сокращение высоких издержек по заработной плате, которые были следствием силы городских гильдий. С другой стороны, *элитное* шелковое производство по-прежнему процветало в городах, где шелковые мануфактуры стали настоящими фабриками.[155] Еще одной городской «промышленностью» того же типа, которая расширялась в этот период,

---

[149] *Bürgin* (1969, 221).

[150] «Политической основой непрерывного развития экспортной торговли», равно как и торговли транзитной, «которая была очень важна в XVII и XVIII веках, был политический нейтралитет государства» (*Bodmer*, 1951, 574). Кроме того, нейтралитет Швейцарии позволял ей привлекать предпринимателей-беженцев (p. 598).

[151] «Французское правительство, верное принципу кольбертизма, поставило новообретенные полезные ископаемые [Франш-Конте] на службу своей политики силы и поставляло соль на выгодных для него условиях только тем, кто демонстрировал сговорчивость с его желаниями» (*Bodmer*, 1951, 576).

[152] «Именно столь явно парадоксальная для XVII–XVIII веков нехватка четко очерченной меркантилистской торговой политики помогла этой территории достичь положительного баланса торговли» (*Bodmer*, 1951, 575). Конечно, антимеркантилизм не исключал государственных займов предпринимателям, а отсутствию тарифов противостояли, к примеру, женевские гильдии (см. *Piuz*, 1970a, 9).

[153] *Bodmer* (1951, 598). Бодмер говорит, что Швейцария «экспортировала не только большие объемы промышленных товаров, но и определенную продукцию своего "высокогорного хозяйства" [*Alpwirtschaft*], в том числе сыр и говядину».

[154] О Венеции см. *Rapp* (1976, 159), о Генуе — *Bulferetti and Constantini* (1966, 48-50), об Ахене — *Kisch* (1964, 524), о Фландрии — *Mendels* (1975, 203) и о Цюрихе — *J. de Vries* (1976, 97). В Голландии ткани перемещались из Харлема и Лейдена в Твенте и северный Брабант, дельфтская керамика направлялась во Фрисландию, обжиг бисквитного фарфора уходил за пределы северной Голландии. А.М. ван дер Воуде называет это «рурализацией [голландской] торговли и промышленности» (*van der Woude*, 1975, 239).

[155] «В то время как производство шерсти падало, производство шелка росло» (*Borelli*, 1974, 25). См. тж. *Bulferetti and Constantini* (1966, 70) и *Rapp* (1976, 105–106). Анн-

стали производство и экспорт произведений искусства.[156] В сельской местности одновременно и в одних и тех же местах обнаруживается тенденция к увеличению эксплуатации крестьян и созданию раздаточных производств. В северной Италии в XVII веке происходил захват коммунальных земель.[157] Даниэль Бельтрами описывал аристократические имения в венецианской Терраферме как имеющие «впредь характер подлинной латифундии».[158] В 1633 году венецианский сенат открыто запретил крестьянам эмигрировать, даже без скота и орудий производства. «Как тут не подумать <...> о воскрешении в более современном обличье старого института прикрепления к земле?» — задается вопросом Джорджио Борелли.[159]

В течение XVII века, по мере того, как в Северной Италии усиливалась власть землевладельцев над крестьянством (результат «нисходящей» полупериферизации), а к востоку от Эльбы усиливалась власть государства (результат «восходящей» полупериферизации), социальные структуры двух этих территорий сближались. В итоге к началу XVIII века Пьемонт и Бранденбург-Пруссия — организующие единицы будущих итальянского и германского государств — демонстрировали некоторые примечательные черты сходства.[160] Представляется, что аналогичным образом происходило развитие событий в Южных Нидерландах (а также Льеже), где в XVII — начале XVIII веков росла сила крупных землевладельцев, а крестьяне утратили определенную степень независимости, превратившись из арендаторов в издольщиков.[161] В литературе, посвященной южной и западной Германии, часто подчеркивается та степень,

---

Мари Пиу говорит о росте «городской *Verlagssystem*» в женевском производстве шелка (*Piuz*, 1970a, 5). Киш отмечает сдвиг от полотна к шелку в Крефельде в начале XVIII века (*Kisch*, 1968, 28). Однако Джино Луццатто настаивает, что в производстве шелка не все было так хорошо, поскольку французский протекционизм наносил ущерб продажам — не только во Франции, но и в других местах Европы (см. *Luzzatto*, 1974, 161–162). О шелковых мануфактурах как фабриках см. *Poni* (1976, 490–496).

[156] *Haskell* (1959, 48). Обратной стороной экспорта искусства был импорт путешественников (tourists). Венеция в XVII веке стала, возможно, первым современным туристическим центром (см. *J. de Vries*, 1976, 27).

[157] См. *Romano* (1962, 510–513), *Borelli* (1974, 20) и *Sereni* (1961, 207). Наряду с этим, в северной и центральной Италии в промежутке 1600–1750 годов продолжалось распространение издольщины (*mezzadria*) (см. *Sereni*, 1961, 205).

[158] Цит. в: *Romano* (1968, 733).

[159] *Borelli* (1974, 15).

[160] Их перечисляет Стюарт Вулф: «В обеих странах реформаторская деятельность правителей (Виктора Амадея II и Карла Эммануила II, с одной стороны, и Великого курфюрста Фридриха Вильгельма I, с другой) была сознательно направлена против аристократии, которая рассматривалась как главное препятствие для создания централизованной абсолютистской монархии. Создавалась новая центральная администрация, велось наступление на налоговые привилегии аристократии, однако последняя в обоих случаях сохраняла существенный элемент своего налогового иммунитета, а ее контроль над местными администрациями оставался фактически неприкосновенным» (*Woolf*, 1964, 283).

[161] О растущей силе землевладельцев см. *Jeannin* (1969, 69), о росте издольщины в Льеже см. *Ruwet* (1957, 69).

в которой крестьяне сохраняли контроль над землей.[162] Тем не менее, нужно не проглядеть *изменения* в сельскохозяйственных структурах этих территорий, которые подвигли немецких ученых к изобретению нового термина — *Wirtschaftsherrschaft*, обозначающего новые структуры где-то посередине между традиционным *Grundherrschaft* [землевладение, феодальное поместье — *нем.*] и *Gutsherrschaft* [здесь: помещичье хозяйство капиталистического типа — *нем.*] к востоку от Эльбы.[163] Как было отмечено раньше, система *Wirtschaftsherrschaft* — преобладала в более полупериферийных зонах Центральной Европы.

Упадок той или иной территории обычно подразумевает, что держатели капитала на этой территории начинают перемещать фокус приложения своих инвестиций, так что этот общий упадок территории не означает упадка

[162] См., например, работу *Weis* (1970), где сравнивается положение дел в западной Германии (за исключением Рейнланда) и Франции — в частности, крестьянам принадлежало 35% земли во Франции и 90% в Германии к западу от Эльбы. Поэтому «экономическое, социальное, правовое и психологическое положение [французских крестьян] <...> в XVII и первой половине XVIII века [было] гораздо более неблагоприятным, <...> несмотря на бóльшую плодородность французской почвы и общий прогресс в методах сельского хозяйства» (p. 14). См. тж. *Blaschke* (1955, 116) о Саксонии.

[163] См. рассмотрение этого в: *Lütge* (1963, 139 и 1965, 685). Само понятие *Wirtschaftsherrschaft* было изобретено Альфредом Хоффманном, который открыто заявил о нем как о чем-то среднем между старым *Rentenherrschaft* [рентное помещичье хозяйство — *нем.*] и новым *Gutsherrschaft*, развивавшимся в XVI–XVII веках. Хоффманн определяет этот термин так: «В рамках данной формы подавляющее большинство пахотной земли остается, как и раньше, разделенным на индивидуальные, независимые хозяйства крестьянского типа [*bäuerlichen Wirtschaften*]. Однако благодаря более высокой централизации сбора налогов [*Abgaben*] и более существенной вовлеченности в оказание услуг хозяину крестьянские хозяйства оказываются связанными [друг с другом] в экономическую ассоциацию [*Verband*] более тесно, чем раньше. Подобная ассоциация охватывала не только чисто крестьянскую сельскохозяйственную экономическую деятельность, но в той же степени и ряд ремесленных видов деятельности, и была тесно связана с некоей структурой [firm, *selbstständingen Organisation*], ориентированной на экспортный рынок» (*Hoffmann*, 1952, 98). Хоффманн уверен, что этот сдвиг от *Rentenherrschaft* к более модерному и капиталистическому *Wirtschaftsherrschaft* «выразился в значительном росте доходности *grundherrlichen* [помещичьей — *нем.*] собственности» (pp. 166–167).

Т.М. Баркер утверждает, что понятие *Wirtschaftsherrschaft* означает «централизованное, в управленческом отношении рационализированное "хозяйское поместье" (manor), <...> которое сочетало поместное (demesne) сельское хозяйство и ремесленное производство с набором практик, обеспечивающих получение прибыли от выполнения домовладельцами частных работ» (*T.M. Barker*, 1974, 27). Как предполагает Маккаи, ключевая черта этого уклада состоит в том, что землевладелец «для увеличения своего дохода использовал свои монопольные права (таверна, мельницы, бойня и т.д.), а также участвовал в собственных коммерческих авантюрах» (*Makkai*, 1975, 230). Маккаи уверен в «несостоятельности» рассмотрения подобного уклада как некоего третьего типа экономической системы (p. 231). В той мере, в которой акцент делается на коммерческой деятельности землевладельца, он прав, и можно процитировать самого Альфреда Хоффманна, написавшего целую статью о *Grundherr* [помещике — *нем.*] как предпринимателе (*Hoffmann*, 1958). Однако в той мере, в которой *Wirtschaftsherrschaft* было «в управленческом отношении рационализированным», оно отличалось от традиционного *Grundwirtschaft* [земледельче-

отдельных лиц или семей. Существует две формы трансфера капитала: перемещение его в географическую зону с лучшими экономическими перспективами, что часто принимает форму физического движения капитала, и перемещение капитала в пределах той же самой зоны в направлении производственных единиц с более высокой нормой прибыли, зачастую вследствие более высокой степени эксплуатации. Во время стагнации XVII века перемещение капитала в рамках одной и той же зоны принимало форму инвестиций в землю. Капиталисты, находившиеся на территории «станового хребта» Европы, в это время были вовлечены в оба упомянутых вида перемещения капитала. Банковские операции постепенно перемещались из таких центров, как Генуя, в Амстердам,[164] а промышленные специалисты эмигрировали: фламандцы — в Англию, немцы — в Голландию, венецианцы — в Лион и т.д. Рэпп вполне прав, настаивая на том, что эти промышленные работники не искали более высокой оплаты труда, поскольку они все-таки эмигрировали из зон с высокими заработками. Это движение представляло собой «предпринимательский исход» мелких капиталистов, которые становились на рискованный путь эмиграции, чтобы «получить огромные доходы».[165]

Присущий этому периоду времени переход капитала из промышленности в землю наиболее широко изучен на материале северной Италии — возможно, потому, что там этот процесс происходил наиболее наглядно. Бульферетти называет это перемещением капитала во «спасение инвестиций в земле»,[166] однако я уверен, что это неверное представление. Стюарт Дж. Вулф напоминает, что свидетельства, имеющиеся для данного периода относительно Пьемонта, «вполне убедительно указывают на эффективные методы управления поместьями»[167] как новых, так и старых землевладельцев. Серени говорит об «относительной продолжительности» сельскохозяйственных усовершенствований в аграрной сфере Италии, указывая, что с XVI по XVIII век там происходило «коммерческое (mercantile) развитие сельского хозяйства, и экономическая депрессия [XVII века] была не настолько мощной, чтобы его прервать».[168] Очевидно, что капиталистическое сельское хозяйство северной

ского хозяйства — *нем.*]. Однако вполне могло быть и так, что в рассматриваемое время все поместья с системой *Grundwirtschaft* двигались в направлении *Wirtschaftsherrschaft*.

[164] Об упадке прежней финансовой роли Генуи как банкира Испании в 1620-х годах см. *van der Wee* (1977, 333, 375). О новой роли Генуи как банкира Европы благодаря вложениям в государственные обязательства (*titoli pubblici*), сначала Франции и Габсбургских государств, а затем Англии, Скандинавии, Саксонии и т.д., см. *Dermigny* (1974, 549). Дерминьи утверждает, что генуэзские финансовые инвестиции были столь карикатурны, что «лишь с небольшим преувеличением можно говорить о паразитизме — высшей стадии капитализма» (p. 562).

[165] *Rapp* (1976, 37). Аминторе Фанфани также отмечает, что в XVII веке происходил чистый эмиграционный отток из Италии (*Fanfani*, 1959, 130–131).

[166] *Bulferetti* (1953, 47).

[167] *Woolf* (1964, 283).

[168] *Sereni* (1961, 188, 210). То же самое утверждает Паскуале Вильяни: «В XVII веке [в сельскохозяйственном секторе Италии] происходил не регресс, а продолжение развития» (*Villani*, 1968, 124).

Италии было для предпринимателя понятным местом для вложения средств в тот момент, когда шерстяная промышленность прибывала в плохом состоянии. Бóльшая самообеспеченность северной Италии запасами продовольствия при помощи и поддержке «рисового марша»[169] (последний выращивали на землях, в ином случае оставшихся бы неиспользуемыми) была составной частью мирового перепроизводства основных продуктов питания, которое в XVII веке вело к впечатляющему спаду восточноевропейского зернового экспорта.

Североитальянский капитал нашел и другие способы самозащиты. Одним из них, особенно в производстве шелка в Тоскане, был рост комменды (*commenda*, или *commandite*) — разновидности партнерства с ограниченной ответственностью, которую, как утверждает да Силва, следует рассматривать как «форму централизации капитала».[170] Вторым путем был рост налоговых откупов (*appalti di gabelle*), связанных с государственными займами.[171] Некоторые считают, что увеличение государственных долгов в северной Италии в XVII–XVIII веках являлось «непрестанным вымыванием денег из производственной деятельности».[172] Возможно, и так, но в чьи руки «вымывались» эти деньги? — в руки предпринимателей, которые главным образом делали займы. Таким образом, перед нами не только коллективный упадок, но и одновременно индивидуальное выживание (и даже процветание) капиталистов.

Обратимся теперь к тем территориям за пределами центра мира-экономики, для которых долгая стагнация XVII века оказалась временем благоприятной возможности, а не упадка, — очевидно, что этот список возглавляет Швеция. В 1599 году, в момент, когда был низложен Сигизмунд Ваза*, а регентом стал герцог Карл Зюдерманландский (будущий Карл IX), это было небольшое государство, отсталое политически, экономически и культурно. Однако к 1697 году, в момент восшествия на трон Карла XII, Швеция стала в Европе великой военной силой и сравнительно важной промышленной державой. Каким образом произошла подобная трансформация?

В позднем Средневековье Стокгольм входил в список ганзейских городов, а в целом вплоть до XVI века Швеция «была близка к положению германской колонии».[173] Несмотря на то, что в правление Густава Вазы (1523–1560) подобное положение стало меняться, еще в 1612 году по-прежнему выдвигались политические требования исключить немцев с муниципальных должностей.[174] Однако обратной стороной медали было то, что в Швеции никогда не пускали корни гильдии, будучи «экзотическим растением, завезенным из Германии»,

---

[169] Серени рассматривает рис как «силу, ставшую решительным импульсом для развития капиталистического сельского хозяйства» (*Sereni*, 1961, 187). См. тж. *Glamann* (1977, 201), где в качестве одновременного явления рассматривается внедрение кукурузы на Пиренейском полуострове.

[170] *Da Silva* (1964a, 485), см. тж. pp. 490-491; *Carmona* (1964, 106–107).

[171] *Romano* (1968, 735).

[172] *Ventura* (1968, 719).

[173] *Roberts* (1958, **II**, 20).

[174] См. *Roberts* (1958, **II**, 21).

и если они все же в том или ином виде существовали, то были ограничены пределами Стокгольма.[175]

Где-то в середине XVI века начал расти объем шведской торговли. Германская монополия была сломлена, и на сцене появились голландцы и шотландцы. Расширялся импорт иностранных тканей.[176] Шведский экспорт также увеличивался, с особенным акцентом на полезные ископаемые.[177] Это напоминает процесс периферизации, однако результат отличался от того, что имел место в Восточной Европе.[178] Хорошо известно, что в Швеции было очень сильное в правовом отношении крестьянство. Сам термин для обозначения сословия, или палаты сословного представительства (*stånd*), впервые вошел в обиход в середине XVI века, во время правления Эрика XIV,[179] равно как и термин для обозначения парламента (*риксдаг*). Когда в 1617 году после длительных переговоров в *riksdagsordning* [акте о риксдаге — *шв.*] наконец были зафиксированы соглашения относительно палат парламента", в Швеции их оказалось уникальное количество — четыре, причем четвертой палатой были крестьяне, определяемые как владельцы собственного земельного хозяйства.[180] Ранее мы уже рассматривали эту любопытную особенность в качестве результата экономической слабости шведского сельского хозяйства в силу почвенных и климатических условий. Это означало, что аристократия усматривала сравнительно небольшую выгоду в «(ре)феодализации» земельных отношений в ходе экспансии европейского мира-экономики в XVI веке.[181] В итоге интересы аристократии не противостояли напрямую государствообразующей централизации династии Ваза, как это было в случае оппозиции крупных землевладельцев Восточной Европы их правителям.[182]

---

[175] *Roberts* (1958, **II**, 21).

[176] Карл-Густав Хильдебранд утверждает, что главным преимуществом, которым обладало импортное сукно над местной продукцией, были не стойкость или элегантность, а то, что «его качество было сравнительно единообразным» (*Hildebrand*, 1954, 101).

[177] См. *Roberts* (1958, **II**, 139–142).

[178] Ханс-Эдуард Роос ссылается на мое описание «опрокидывающего механизма» в первом томе настоящей работы' (*Валлерстайн*, 2015a, гл. 7), утверждая, что «оно не соответствует условиям Швеции. Несмотря на то, что государственные финансы на протяжении второй половины XVI века характеризовались значительным дефицитом, это не повлекло за собой "нисходящую спираль" с ослаблением государства и периферийным положением как следствием этого. Напротив, фундаментальный тезис данного очерка состоит в том, что эта проблема вывела Швецию на новые пути — пути, которые действительно вели к экспансии национального государства и новым формам национального хозяйства» (*Roos*, 1976, 65, n. 35).

[179] Этот термин, «как и очень многое другое, был заимствован у немцев для описания любой группы людей, обладающих общими привилегиями и обязанностями, общими требованиями к социуму и общими функциями в нем» (*Roberts*, 1953, **I**, 285).

[180] См. *Roberts* (1958, **II**, 139–142).

[181] См. *Валлерстайн* (2015a, 385–387). Перри Андерсон выдвигает похожий аргумент, утверждая, что «показатель коммерциализации [шведского] сельского хозяйства был, возможно, самым низким на европейском континенте» (*P. Anderson*, 1974a, 179).

[182] Действительно, Андерсон утверждает, что «реформация династии Ваза [экспроприация церкви Густавом Вазой под временным знаменем Реформации между 1527 и 1542 годами — *И.В.*] была, несомненно, наиболее успешной экономической опера-

Когда в XVII веке первые молнии экономического спада принялись наносить удары по Европе, столь сильный правитель, как Густав Адольф (1611–1632), смог использовать кризис для дальнейшего усиления шведского государства и запуска экономической трансформации. Густав Адольф мобилизовал ресурсы Швеции для ведения Тридцатилетней войны, увеличил налогообложение и ввел уплату налогов наличной монетой, установил институт налоговых откупов, выбил деньги из Пруссии (так называемые прусские лицензии*, или прусские пошлины, в портах) и создал королевские монополии, которые, правда, были безуспешны в торговле солью и зерном, но более или менее преуспели в области меди и железа. Короче говоря, как резюмирует Майкл Робертс,

> «то периферийное и примитивное положение, которое Швеция занимала при Густаве Вазе, <...> теперь было навсегда отброшено; при Густаве Адольфе экономические интересы Швеции стали общеевропейскими, а его экономическая политика соответствовала меркантилистским образцам той эпохи».[183]

Секретом этого во многом была медь — «золото бедняков»,[184] и тем бедняком, который больше всего нуждался в меди, был такой богач, как Испания, которая в основном монополизировала источники серебра в XVI веке. Финансовое напряжение Кастилии при попытке сохранить габсбургское владычество в Нидерландах привело главу правительства Филиппа III герцога Лерму** к разрешению в 1599 году чеканки биллона из плохой меди. Так началась великая испанская инфляция, порожденная тем, что «искушение делать деньги из денег оказалось слишком сильным для правительства, вечно несостоятельного в финансовом отношении».[185] Чеканка биллона начиналась и прекращалась на протяжении XVII века при продолжающихся девальвациях, пока инфляция не была окончательно остановлена в 1686 году.[186]

Испания была главной жертвой «медной» девальвации и поэтому обеспечивала основной стимул для роста мирового спроса на медь,[187] однако

цией подобного рода, осуществленной какой-либо из династий Европы» (*P. Anderson*, 1974a, 173). Андерсон подробно перечисляет экономические приобретения монархии, равно как и меры административной централизации, приходя к выводу, что эти меры, тем не менее, «не противостояли аристократии, которая в основном проявляла солидарность с режимом при правлении [Густава Вазы]» (p. 174).

[183] *Roberts* (1958, II, 120). Робертс дает общую картину экономической трансформации при Густаве Адольфе (гл. 2). В действительности имели место и более ранние монополии 1580-х годов, в которых важную роль играл Виллем ван Вейк**, однако они не удержались надолго.

[184] *Glamann* (1977, 242). О превосходстве меди над другими металлами (после серебра и золота) в XVII веке см. *Kellenbenz* (1977b, 290).

[185] *Elliott* (1966, 300). Одним из последствий этой инфляции, которая началась в XVI веке (хотя ее кульминация пришлась на XVII столетие), была резкая внутренняя концентрация капитала (см. *Ruiz Martin*, 1970, 60).

[186] См. *Elliott* (1966, 300, 329, 344, 352–353, 361, 365). Чеканка биллона в Кастилии прекратилась только в 1693 году.

[187] П. Андерсон, например, утверждает, что «именно чеканка Лермой нового медного биллона во время девальвации 1599 года создала головокружительный международный спрос на продукцию Коппарберга* в Фалуне» (*P. Anderson*, 1974a, 183). Неслу-

были и другие жертвы. В германских государствах в 1621–1623 годах[188] имел место монетный кризис (*Kipper- und Wipperzeit*), а во Франции широкая чеканка медной монеты шла в 1607–1621 годах. Швеция и сама прибегла к серебряно-медному стандарту в 1625 году.[189] Кроме того, чеканка монеты была не единственным назначением, для которого в это время использовалась медь. Она требовалась для котлов и медных изделий, производившихся в Голландии, а начиная с середины XV века медь использовалась для литья бронзовых орудий. Последние в течение XVII века уступили место железным орудиям, но еще в 1600 году были на пике своего использования.[190] В XVI веке основными источниками меди были Тироль, Верхняя Венгрия и Тюрингия. Неважно, наступил ли упадок этих источников из-за истощения или же они оказались в тени шведской продукции,[191] — так или иначе, Швеция быстро стала ведущим европейским производителем меди, а разработка медных рудников — ключевой экономической деятельностью страны.[192]

Принципиальным моментом для этого первого значительного рывка Швеции, который начался во время Густава Адольфа и продолжился под руководством Акселя Оксеншерны в правление королевы Кристины, была связь с голландцами. Можно утверждать вслед за де Ври, что экономическое развитие Швеции в основном (по крайней мере, вплоть до 1660 года) происходило «под эгидой Голландии»,[193] однако это несколько двусмысленно. Более точно это явление описывает Вильгельм Тройе: «Со всемирно-исторической точки зрения было очень важно, <...> что на стороне Швеции в разные годы ее борьбы

чайно, что именно в 1599 году произошло «изменение финансовой политики шведского правительства», которое в этот момент начало «выпускать аномальное количество биллонной монеты из чистой меди, [что] привело к внезапному росту цены на медь после 1600 года» (*Roberts*, 1958, **II**, 33).

[188] См. *Van der Wee* (1977, 299).

[189] Как полагает Хекшер, смысл этого состоял в том, чтобы как поднять цену на медь, так и сократить потребность в импорте серебра (*Heckscher*, 1954, 88–89).

[190] См. *Glamann* (1977, 243).

[191] Гламанн утверждает, что во второй половине XVI века выпуск продукции центральноевропейских рудников сокращался (*Glamann*, 1977, 189). Однако Робертс полагает, что именно Тридцатилетняя война отсекла рудники Венгрии и обессилила рудники Тюрингии (*Roberts*, 1958, **II**, 90). Келленбенц отвергает оба эти объяснения, рассматривая сокращение венгерского производства, а значит, и упадок рынка меди центральной Германии в качестве следствия «избытка шведской меди» (*Kellenbenz*, 1974, 262, см. тж. *Kellenbenz*, 1977b, 340).

[192] См. *Roberts* (1958, **II**, 90). См. *Heckscher* (1954, 85): «Медная промышленность была самой сильной связью между политической экспансией Швеции и ее экономическим развитием». На деле вызов Швеции бросит японская медь, которая впервые появилась на рынке Амстердама в 1623 году, однако была ли эта конкуренция значима до 1650 года — вопрос дискуссионный. См. ссылки на данную дискуссию в: *Roberts* (1958, **II**, 97, n. 3), см. тж. *Nordmann* (1964, 474–475).

[193] *J. de Vries* (1976, 21).

[194] *Treue* (1957, 28). См. *Polišenský* (1971, 175): «Гетеборг и другие города были просто голландскими форпостами на шведской земле, в то время как шведские медь и сталь оказались товарами, контролируемыми совместными голландско-шведскими предприятия-

за существование и превращение в великую державу были купцы и предприниматели Голландии и Гамбурга».[194] Именно Амстердам (а также Гамбург) покупал шведскую медь — как для реэкспорта в качестве материала для чеканки монет, так и для обеспечения «масштабной медной промышленности в городах Нидерландов».[195] При Густаве Адольфе мы видим начало иностранных инвестиций (главным образом голландских и фламандских) и существенное включение иностранцев в прямое управление в шведском горном деле и металлургии.[196] Обширные голландские займы предоставлялись на условии, что «возврат средств будет осуществляться медью»,[197] — так вступал в силу уже знакомый нам механизм международного долгового пеонажа.

Густав Адольф попытался устранить эту угрозу, создав в 1619 году для контроля над сбытом меди Шведскую торговую компанию.[198] Король стремился сочетать фискальные преимущества более высоких краткосрочных доходов и структурное изменение. Первоначальная хартия даровала компании монополию на том условии, что она в течение трех лет откроет в Швеции производство латуни и медеплавильные заводы. В этой компании будут приветствовать иностранный капитал, и его действительно удастся успешно привлечь. Компания пыталась противопоставить Гамбург амстердамским рынкам, однако мировой рынок меди внезапно рухнул, и к 1627 году компания исчезла. Могло ли это быть результатом манипуляций голландских капиталистов? В самом деле, известно, что фирма Трипа, главный инвестор в шведскую медь, имела также связи с Голландской Ост-Индской компанией, которая в 1624 году заказывала медь в Японии. Трип закупал весь объем японской меди, который импортировался компанией в 1626 и 1627 годах. Известно также, что после 1627 года Трипы предоставили Швеции новые займы, вновь выплачиваемые медью, а стало быть, воссоздали крупный амстердамский рынок этого металла.[199]

ми, которые представляли семьи наподобие Трипов и де Гееров'». См. тж. *Roberts* (1958, II, 122): «Рост нового Гетеборга, который начался после 1619 года, был видимым признаком смены ориентира [в западном направлении], поскольку вся торговля Гетеборга находилась за пределами Балтики. Наиболее значимым рынком для него был Амстердам, и голландские шкиперы оседали в Гетеборге, как и в Гамбурге, поскольку тем самым они могли свободно торговать с Испанией, пренебрегая запретом Генеральных Штатов».

[195] *Glamann* (1977, 244).

[196] См. *Roberts* (1958, II, 28). Имеется также пример более раннего (в 1580-х годах) участия в этом процессе Виллема ван Вейка.

[197] *Glamann* (1977, 245).

[198] Здесь присутствует хронологическая интрига. Компания была основана 24 июля 1619 года — именно в этом году произошли острый торговый кризис и политический кризис в Голландии. 23 апреля 1619 года синод в Дордрехте формально предъявил обвинение арминианским «пяти пунктам» (*Sententia Remonstrantium*), а 13 мая был казнен Олденбарневельт. Намеренно ли Густав Адольф стремился воспользоваться этим моментом политической слабости тех регентов, что были наиболее вовлечены в балтийскую торговлю и склонялись к лагерю Арминия, — слабости, дополненной общим торговым кризисом?

[199] См. рассмотрение этого в: *Roberts* (1958, II, 92–98) и *Glamann* (1977, 245–246).

[200] *Nordmann* (1972, 133).

Провал этой мнимой попытки обеспечить экономическую независимость Швеции от голландцев не будет выглядеть неправдоподобным, если вспомнить проект олдермена Кокейна — сопоставимую английскую неудачу, которая случилась примерно в это же время (1614–1617). В конечном итоге, речь ведь идет об эпохе голландской гегемонии. В усилиях Густава Адольфа примечательна не его неспособность взять верх над голландскими предпринимателями, но то, насколько успешными оказались его усилия по созданию шведского военного и промышленного могущества. Эти два процесса шли бок о бок, поскольку, как утверждает Клод Норман, в XVII веке Швеция была «вооруженной нацией, которая жила войной и сделала [войну] своей национальной промышленностью».[200] Густав Адольф был ведущим военным инноватором своего времени. Он взял организационные методы Морица Нассауского, улучшил их и создал модель для европейских армий, которая будет в ходу вплоть до Французской революции. Он сделал акцент на тренировке и дисциплине и провел тактические реформы, которые восстановили приоритетную значимость наступательных действий для всех родов войск. Возможно, наиболее важным новшеством Густава Адольфа было то, что его армия состояла из вооруженных крестьян. «Ее современность (modernity), — утверждает Нордманн, — заключалась в том, что это была национальная армия, а не армия наемников».[201]

Не будем забывать, что для XVI века использование наемников было крупным шагом вперед. Густав Адольф был не в состоянии обойтись без них совсем, но снизил их роль. Он мог строить свою армию исходя из слабости в Швеции феодальной традиции, а также на основании того, что в этой стране никогда не внедрялась тяжеловооруженная кавалерия средних веков, — отчасти в силу особенностей рельефа, отчасти из-за силы крестьян, которая также была частичным следствием почвенных характеристик Швеции.

> «Здесь более, чем где-либо еще в Европе, сохранилась первобытная германская военная традиция. Завоевателя, вторгавшегося в шведские леса, встречало *levée en masse* [народное ополчение — *фр.*], сражавшееся в основном в пешем строю, а на открытой местности собиравшееся в большие неорганизованные массы».[202]

Призывная армия Швеции базировалась на региональных полках (regiments), которые предпочитали брать в строй ремесленников и молодых крестьян и, в отличие от других армий того времени, отбраковывали «сброд». Были также созданы центральные склады обмундирования. Армии регулярно платили через децентрализованную систему ассигнования доходов от платящих налоги домохозяйств. Оружие и амуниция были стандартизованы, при этом огромный упор делался на артиллерию.

---

[201] *Nordmann* (1972, 133). Поэтому шведская армия была первой современной армией, которая не занималась мародерством (см. *Hutton*, 1968, 524).

[202] *Roberts* (1958, II, 189). Другой страной, которая сохранила эту пехотную традицию, была Швейцария.

Густав Адольф создавал и военную промышленность, в результате чего Швеция стала сама обеспечивать свои потребности в этой сфере.[203] Одной из ключевых характеристик, которые Густав Адольф добавил в свою военную организацию, был вынос значительной части издержек за пределы Швеции. Знаменитый пример — роль так называемых прусских лицензий в финансировании военного участия Швеции в Тридцатилетней войне. Эти лицензии были введены Альтмаркским перемирием*, подписанным Польшей и Швецией в 1629 году. Они позволили Швеции налагать собственные пошлины в портах Бранденбурга и Курляндии, а также (что было наиболее ценно) — в Гданьске. Выгода от этого была велика — она составляла примерно 20% зафиксированных военных расходов Швеции. Когда действие этих привилегий кончилось в 1635 году, их сменил Штумсдорфский договор** с правом для Швеции устанавливать пошлины в Ливонии.[204] По сути дела, Швеция получала свою долю прибавочной стоимости, перемещаемой из Восточной Европы в Северо-Западную, и использовала ее для обретения собственного полупериферийного статуса.

Ключевым инструментом этого восходящего полупериферийного государства была армия, однако последствием этого оказывалась индустриализация — и речь идет не только о меди. В течение XVII века медь уступала железу — средоточию шведского горного и промышленного производства. С одной стороны, на мировом рынке железо вытесняло медь как сырье — не

---

[203] Это описание основано на главе «Армия» из книги Робертса, см. тж. главу «Флот» (*Roberts*, 1958, **II**, гл. 3 и 4). С учетом этих достижений неудивительно, что шведская армия служила моделью для Кромвеля, прусского *Roi-Sergent* [«короля-фельдфебеля» — фр.], «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I и Петра Великого (см. *Nordmann*, 1972, 147).

[204] См. *Bowman* (1936, 343–344) и *Åström* (1973, 92–94). Военные издержки впечатляюще увеличились между 1630 и 1635 годами, в период действия этих лицензий. До 1630 года война обходилась Швеции в 500 тысяч рейхсталеров ежегодно, а затем — в 20–30 миллионов. Жаннен утверждает, что «существенным условием этого скачка [расходов] было то, что одна война питает другую войну» (*Jeannin*, 1969, 324). Он цитирует Густава Адольфа, писавшего в 1628 году: «Если мы не можем утверждать, что *bellum se ipsum alet* [война сама себя кормит — *лат.*], то я не вижу, как мы можем успешно завершить начатое». Ключевой вопрос состоит в том, обеспечили ли прусские лицензии для Швеции возможность реагировать на растущие независимо от этого военные издержки, или же Альтмаркский мир и последовавшие за ним прусские лицензии дали шведам возможность увеличивать военные расходы — собственные и чужие? Анализируя платежеспособность Швеции, достигнутую без продажи должностей, — достижение, которое нужно сравнивать с неспособностью Франции добиться того же самого, — Робертс отмечает: «Один из возможных ответов на это затруднение [слабость шведской налогооблагаемой базы — *И.В.*] заключается в следующем парадоксе: безопасность и платежеспособность можно обнаружить в том, что жертвы Швеции принимали за агрессию. Война могла вестись, чтобы сохранялось состояние войны, и могла, кроме того, приносить богатое вознаграждение: именно военная, а не мирная экономика соответствовала потребностям Швеции». Более того, когда позднее «ее армии перестали вселять страх в соседей, реальная нехватка ресурсов Швеции становилась все более заметной» (*Roberts*, 1973a, 12, 14).

только в артиллерии,[205] но и сфере домашней утвари.[206] Однако, с точки зрения преимущества для Швеции, различие между медью и железом состояло в том, что Швеция владела непропорционально высокой долей доступных тогда залежей медной руды, в то время как месторождения железа были широко распространены в Европе. Чтобы конкурировать в качестве производителя железа, Швеция не могла делать ставку лишь на почти монопольное обладание рудой и протекционистские технологии. Однако на деле Швеция вела очень эффективную конкуренцию — не без доли удачи, которая трансформировалась в социально-экономическое преимущество. Эта удача заключалась в том, что шведская железная руда обладала «необычайно высокой чистотой», что с учетом технологий того времени обеспечивало значительную разницу с другими рудами и придавало Швеции «чрезвычайно сильное окраинное положение».[207] «Акцент на качестве» продукции[208] был главным коммерческим аргументом для шведского железа на протяжении XVII–XVIII веков.

Добыча железа в Швеции восходит как минимум к XII веку — даже тогда прекрасное качество шведского ковкого железа (*осмунда*) было известно по всей Европе.[209] Первым, кто не потерпел того, что дешевый осмунд экспортировался в Германию для перековки в брусковое железо высокой стоимости, в первой половине XVI века был Густав Ваза. Чтобы прекратить утечку этого ресурса, он привез германских технологов и основал шведские кузни. Тем не менее, осмунда по-прежнему производилось больше, чем брускового железа, — осмунд составлял две трети объема производства до промежутка 1600–1650 годов, когда соотношение изменилось в сторону равенства двух видов продукции. В это время и была запущена стальная промышленность. Переход от добычи осмунда к ковке брускового железа требовал определенного объема капитальных инвестиций, значительную часть которых обеспечивал король. Эти вложения, в свою очередь, требовали расширения рудников и сопутствующей этому колонизации отдаленных территорий, где были крупные залежи руды, например, Вермланда*.[210] К этому моменту железоделательная промышленность уже приобрела существенную значимость, чтобы стать искушением для голландских предпринимателей. Еще в 1580-х годах Виллем ван Вейк приобрел право аренды королевских рудников в Уппланде** и долю в медной монополии. При

[205] «Шведский предприниматель Луи де Геер [в действительности голландец, который инвестировал в Швецию и жил там — *И.В.*] в 1644 году заявил, что железные пушки для военного флота можно производить за треть стоимости бронзовых. <...> В последующие десятилетия железная пушка, теперь усовершенствованная настолько, что она выдерживала сравнения со старыми орудиями даже с технической точки зрения, сделала повсеместные успехи» (*Glamann*, 1977, 243).

[206] «Можно обнаружить переход от изделий, произведенных из меди, к изделиям из железа. Отчасти причиной тому было удешевление стоимости железной продукции, однако в такой же мере это объясняется тем, что железные горшки и сковородки было легче чистить и они не портили вкус пищи» (*Glamann*, 1977, 203).

[207] *Samuelsson* (1968, 28).

[208] *Samuelsson* (1968, 30). См. тж. рассмотрение технологии добычи железной руды в Швеции (pp. 30–31).

[209] См. *Roberts* (1958, **II**, 29).

Густаве Адольфе государство вышло из прямого управления, и с подъемом оружейной промышленности еще больший интерес к Швеции стал проявлять иностранный капитал. В начале XVII века центральную роль здесь играл голландец Луи де Геер.[211] Пока фактический контроль над этой промышленностью перемещался туда-сюда между государством и иностранными предпринимателями, их отношение в большей степени было симбиозом, нежели конфликтом.

Нордманн говорит о взлете производства железа и «первой промышленной революции».[212] Государство поощряло это производство и было его главным потребителем, используя продукцию для своего военного оборудования. Роль традиционных мелких производителей железа — их участие в добыче железной руды и производстве доменного чугуна — сохранялась, в то время как иностранные предприниматели с крупными железоделательными производствами «получали монополию на аффинажные процессы и гарантированный доступ к дешевым сырьевым материалам и полуманufактурам».[213] Рабочая сила на этих крупных производствах главным образом состояла из лиц, завербованных в периферийных районах Швеции, — финнов и крестьян из тех регионов, где был дефицит зерна, а также из тех, кто стремился избежать военной службы, и беглецов от правосудия. Короче говоря, иностранные предприниматели были обеспечены дешевым трудом.[214] Роль, закрепленная за мелкими производителями железа, не означала, что для шведских предпринимателей останется место и дальше, — наоборот, это было доведение мелких производителей до полупролетарского положения через механизм раздаточной системы, посредством которого они оказывались в долгу перед иностранными

---

[210] Робертс приводит колонизацию Вермланда Карлом IX (1599–1611) в качестве «знаменитого примера истинности афоризма [шведского историка Эрика Густава — *И.В.*] Гейера о том, что "железо открывает страну" [*järnet bryter bygd*]» (*Roberts*, 1958, **II**, 36). Робертс также рассматривает историю государственного вмешательства в производство железа (29–31, 35–36).

[211] Здесь и выше, в сноске 205, де Геер назван голландцем, поскольку именно так его рассматривали в Швеции. Однако пример семейства де Геров иллюстрирует мобильность капитала. Из соображений политико-экономической выгоды льежская семья де Геров перенесла свою «штаб-квартиру» в Амстердам только в конце XVI века (см. *Yernaux*, 1939, 101, 120–124). См. тж. приведенное выше (с. 233–234) указание на голландские инвестиции в раздаточные отрасли промышленности в Центральной Европе и северной Италии. Кеймен заявляет, что этими инвесторами были фламандцы и валлоны, или бельгийцы, то есть жители Южных Нидерландов, — а может быть, и Льежа? (см. *Kamen*, 1972, 92–99). Это верно применительно ко второй половине XVI века — периоду, откуда Кеймен черпает свои отдельные примеры. Однако в ходе Нидерландской революции многие из этих фламандцев осели в Голландии и, следовательно, инвестировали в других местах, где в XVII веке их воспринимали как голландцев — и не только их «английские современники», которым Кеймен приписывает «подобное словоупотребление, <...> скрывавшее» тот факт, что они были фламандцами (*Kamen*, 1972, 95). Словоупотребление гораздо чаще открывает социальную реальность, а не прячет ее.

[212] *Nordmann* (1972, 137).

[213] *Samuelsson* (1968, 31).

[214] См. *Roberts* (1958, **II**, 37–38). В нашей частной переписке Биргитта Оден заметила, что она сомневается в этом, поскольку, за исключением обработки руды древесным углем, «рабочая сила имела высокий уровень навыка и была иерархически организована».

купцами. История шведского железа развивалась одновременно с общеевропейской историей текстильного производства:

> «Иностранные импортеры предоставляли авансы купцам-экспортерам в Стокгольме и Гетеборге, которые, в свою очередь, предоставляли кредит владельцам производств железа, а те в качестве последнего звена в цепи авансировали работников. <...> Все звенья этой цепи были привязаны к своим кредиторам. <...> Рабочие вообще получали свой кредит в форме товаров со склада хозяина. Этого едва ли можно было избежать, поскольку производства обычно располагались в изолированных местах в сельской местности».[215]

Можно усомниться в том, достойна ли похвалы обрисованная картина производства меди и железа, поскольку ее лейтмотивом представляется иностранное доминирование. Однако следует иметь в виду две вещи. Во-первых, для Швеции, в отличие, скажем, от Польши, XVII век был временем развития новых экспортных отраслей промышленности — в дополнение к экспорту дегтя и других корабельных товаров, которые более сопоставимы с польскими статьями экспорта — пшеницей и лесоматериалами.[216] Во-вторых, Швеция действительно могла «национализировать» эти виды промышленности путем возведения предпринимателей в ранг аристократов.[217] Ключевым элементом здесь было сознательное использование государственного аппарата. В результате шведское государство имело практически монопольное положение на трех рынках европейского мира-экономики XVII века — меди, высококачественного железа и дегтя. Связывая себя сначала с державой-гегемоном, а

---

[215] *Hecksher* (1954, 99). Исследование Хенрика Мунктелла (*Munktell*, 1934), к которому я получил доступ при содействии Джона Флинта, показывает, что рабочие участвовали и в добыче руды, и в первой стадии ее выплавки в своих бараках, а владельцы производств обеспечивали их в первую очередь деревом. Раздаточная система, именовавшаяся термином *utarbetningsträtt*, также широко использовалась в производстве меди. См. *Roos* (1976, 59) и *Boëthius* (1958, 148–149).

[216] См. *Samuelsson* (1968, 28–29). Зерновой экспорт в XVII веке скатился практически к нулевой отметке. См. *Åström* (1973, 67, таблица 5). Экспорт шведской древесины был урезан из-за норвежской конкуренции и правительственного эмбарго на вывоз дуба, который требовался для нужд шведского флота. См. *Samuelsson* (1968, 29).

[217] См. *Samuelsson* (1968, 41): «Развернувшуюся в XVII веке борьбу за "национальный" торговый флот, не говоря уже о других шведских усилиях, предпринятых за счет развития собственной промышленности и торговли в целом, можно сравнить с притязаниями бывшей колонии, которая, достигнув политической автономии, стремится сбросить и экономическое ярмо. Возможно, эту аналогию можно проводить и более уверенно. <...> Совсем как некоторые новообразованные государства Африки были озабочены сохранением бывших колониальных чиновников, которые помогли бы управлять их экономикой и осуществлять государственную администрацию, Швеция в течение XVII века заботилась о том, чтобы убедить бывших финансистов и других деловых людей из-за границы стать шведскими подданными. Идея состояла в "шведификации" их капитала и способностей путем их "усыновления"».

См. тж. *Hecksher* (1954, 107–108): «Ганзейцы рассматривали себя в качестве агентов более передовой цивилизации, а Швецию — как колониальную территорию; они тщательно сохраняли свою немецкость и никогда не ассимилировались. Однако чуже-

затем получая выгоду от соперничества между государствами центра и маневрируя между ними, шведский государственный аппарат проводил меркантилистскую политику, сопоставимую с аналогичными мерами, которые в то время предпринимали Англия и Франция.[218] В некотором смысле Швеция выступала в роли ОПЕК своей эпохи: она использовала три свои квазимонополии для создания такого положения, при котором можно было торговаться, находясь в сильной позиции, «без чего военно-политическая экспансия была бы недосягаема».[219] В свою очередь, эта экспансия делала возможным развитие перерабатывающих производств.

Густав Адольф заложил основу шведской военной мощи и дал возможность своим преемникам править, по выражению Андерсона, «молотом Востока»[220] — по меньшей мере, до того момента, пока Швеция не достигнет пределов своего могущества, признав в 1721 году свое поражение в Великой Северной войне. До тех пор, пока державой-гегемоном оставалась Голландия, дела у Швеции шли хорошо.[221] По Роскилльскому миру* 1658 года Швеция получила от Дании Сканию, которая была не только «ключом к Балтике», поскольку именно на ее побережье находится Зундский пролив (Эресунн), — столетие спустя Скания окажется хлебными закромами Швеции.[222] К середине столетия Швеция приобрела Эстонию, Ливонию, Ингрию и Кексгольм**, превратив эту зону восточной Балтики в «колонии шведско-финской родины»,[223] а также получила Бремен-Верден, Померанию, Халланд и Ёмтланд*** дальше к западу. Короче говоря, к 1650-м годам единственно возможным описанием шведской политики на Балтике является признание того, что это был «сознательный экономический

земцам XVII века даже не приходило в голову, что страна могла принадлежать им, так что они или, по крайней мере, их дети, ассимилировались с практически невероятной скоростью. Как правило, второе поколение уже было шведами и по языку, и по жизненному укладу. <...> Правительства XVII века также проводили целенаправленную политику ассимиляции (absorbing) иностранцев». Этой политикой стало пожалование аристократического статуса.

[218] См. *Deyon* (1969, 36–37). Тем не менее, Дейон также предполагает, что, в отличие от Англии и Франции, Швеция «была слишком привязана к экономике Соединенных Провинций», чтобы иметь последовательную экономическую политику (p. 22).

[219] *Samuelsson* (1968, 29). Фактически Самуэльссон называет эти три монополии «торговым господством», однако мне представляется, что это чрезмерное словоупотребление.

[220] *P. Anderson* (1974a, 198). Андерсон сравнивает военную роль Швеции в Восточной Европе XVII века с военной ролью Испании в Западной Европе в XVI столетии. Андерсон датирует период, когда Швеция была великой державой, промежутком 1630–1720 годов, а Робертс — начиная с захвата Риги Густавом Адольфом в 1621 году до Ништадского мира 1721 года, то есть «ровно столетие» (*Roberts*, 1973a, 1).

[221] Робертс датирует сравнительную «историю успеха» Швеции периодом вплоть до 1670-х годов, то есть в точности повторяя нашу датировку окончания эпохи голландской гегемонии. Это, конечно же, объясняет, почему «Швеция не полностью соответствует ни одному из обобщений, которые выдвигались для объяснения "кризиса XVII века"» (*Roberts*, 1962, 53).

[222] См. *Samuelsson* (1968, 75).

империализм».[224] Рука об руку с этой политико-коммерческой экспансией шли увеличение объемов и значимости шведского торгового мореплавания[225] и военно-морского флота[226] на Балтике.

Создание сравнительно сильного и эффективного шведского государственного аппарата зависело от ограничения мощи аристократии. Это было возможно благодаря классовой структуре Швеции того времени и ее функциям в международном разделении труда и межгосударственной системе. Стартовавшая в XVI веке политика «раздела имущества» (*avsöndring*) — владений короны и доходов аристократии — ускорилась в первой половине следующего столетия. Эта политика «охватывала довольно широкий спектр исторических явлений в разрезе государственных финансов».[227] Она включала процесс откупа налогов, запущенный Густавом Адольфом, равно как и отчуждение коронных земель и доходов от земель в свободном держании в пользу аристократии путем продажи и пожалования в обмен на гражданскую и военную службу*.[228] Это были способы быстрого получения ликвидных ресурсов для короны, а также увеличения монетизированного сектора шведской экономики. Однако эти преимущества для короны были куплены ценой роста политико-экономического

---

[223] *Åström* (1973, 68). Как отмечает Острём, имперская структура была стратифицирована: «Старинная шведская аристократия, организованная как рыцарская корпорация, была германской по языку и образу мыслей. Это же верно и применительно к бюргерам в наиболее важных торговых узлах — в стабильной Риге, стагнирующем Ревеле и процветающей Нарве. <...> Генерал-губернаторы и губернаторы с их малыми дворами и штатами чиновников и слуг из Швеции и Финляндии управляли герцогствами от лица шведской короны, а основу их власти формировали гарнизоны из Швеции и Финляндии. Эстонская и ливонская знать жила в своих поместьях в окружении закрепощенного крестьянства, говорившего на иных языках, нежели их хозяева». С точки зрения этих территорий восточной Балтики, XVII век представлял собой постоянную и не слишком успешную борьбу с вторжением иностранного капитала. См. *Soom* (1962, 458): «Несомненно, значительную роль [при этом] играла нехватка капитала, поскольку для успешной конкуренции с голландцами требовались очень крупные его размеры».

[224] *Roberts* (1973a, 4). Кроме того, Робертс утверждает, что попытка подобным образом обеспечить «постоянно стабильное финансовое положение» провалилась, однако «не может быть сомнений в экономической значимости империи для самой Швеции» (pp. 4,5,6). Свен Лундквист также рассматривает «торговые притязания» Швеции в ее империи на Балтике как неудачные, за исключением преимуществ, проистекавших из контроля над Ригой, и последовавшего за этим доступа к конопле и льну, которые выращивались в ее внутренних землях: «Статистика рижской торговли во второй половине XVII века демонстрирует безошибочный восходящий тренд, поэтому значимость этого города постоянно росла» (*Lundkvist*, 1973, 47). Эдгарс Дунсдорфс утверждает, что в XVII веке для торговли с пунктами за пределами Балтики существовало всего три значимых гавани: Данциг (Гданьск), Кёнигсберг и Рига (см. *Dunsdorfs*, 1947, 2). Йенш показывает рост прибытия кораблей в Рижскую гавань с 96 в 1600–1609 годах до 263 в 1650–1657 годах, причем количество голландских кораблей увеличилось с 65 до 221 (см. *Jensch*, 1930, 88).

[225] Соответственно, ко второй половине столетия ежегодное количество кораблей увеличилось с примерно 40 до 300. См. *Dunsdorfs* (1947, 6).

[226] См. *Jeannin* (1969, 95).

[227] *Ågren* (1973a, 9).

[228] См. *Carr* (1964, 20–21).

могущества высшей аристократии. Эта новая сила была официально закреплена в законе о занесении дворянства в матрикул (*ridderhusordningen*) 1626 года (переутвержден в 1644 году). Данный закон ограничил право голосования в дворянской палате, созданной Актом о риксдаге (*riksdagsordning*) 1617 года, матрикулярным списком из 126 фамилий — тем самым из голосования исключалось бедное мелкое дворянство (*knapar*). «По шведским меркам эта высокая аристократия была чрезвычайно богата и, возможно, становилась богаче, чем корона — и в абсолютном, и в относительном измерении».[229]

Однако сильным было и шведское крестьянство, также организованное как отдельная палата актом о риксдаге 1617 года. В действительности в Швеции существовало три разновидности крестьян: *kronobönder*, или крестьяне коронных земель, *frälsebönder*, или крестьяне на землях знати (т.н. фрельсовые крестьяне), и *skattebönder*, или свободные крестьяне, платящие налоги, то есть обладающие правом собственности на землю (freehold). Последние выплачивали в виде налогов приблизительно столько же, сколько коронные крестьяне платили в виде ренты, однако имели, конечно же, более уверенное правовое положение. Фрельсовые крестьяне были освобождены от государственного налогообложения и платили знати только половину того, что платили две другие категории крестьян, однако их положение было в высшей степени небезопасным. Их легко могли согнать с земли, они были подчинены власти хозяина и должны были 30 дней в году оказывать услуги аристократу.[230] Кроме того, когда была учреждена крестьянская палата, фрельсовые крестьяне не были допущены к членству в ней.[231] В целом, несмотря на то, что общая разница в экономических доходах трех перечисленных разновидностей крестьянства представлялась незначительной, как правило, признавалось, что небезопасность владения землей у фрельсовых крестьян была «существенным недостатком».[232] Результатом упомянутого процесса раздела земель (*avsöndring*) было превращение некоторых коронных крестьян во фрельсовых, а де-факто, если не де-юре, то же самое происходило со многими свободными крестьянами.[233] Имеются следующие показательные данные: к 1654 году объем земли, контролируемой знатью, вырос с 21,4 до

[229] *Roberts* (1958, **II**, 58, 59), тж. см. изложение на pp. 57-60. См. тж. *Samuelsson* (1968, 53–54).

[230] См. *Roberts* (1958, II, 50–52). См. тж. *Tonnesson* (1971, 307): «Именно среди арендаторов знати [*frälsebönder*] можно обнаружить значительное большинство тех, кто отбывал барщину. Последняя в XVII веке распространялась, становясь более обременительной вслед за созданием крупных сельскохозяйственных поместий [*exploitations*] вокруг замков аристократов, которые в этот период строились с новым великолепием». Тоннессон отмечает имевшиеся региональные различия. На севере Швеции подобных поместий было немного — несомненно, потому, что там было более затруднительно прибыльно вести товарное земледелие, зато к западу от Стокгольма и в бывших датских провинциях Скания* и Халланд они были сконцентрированы в высокой степени.

[231] См. *Carlsson* (1972, 575).

[232] *Dahlgren* (1973a, 109).

[233] См. *Roberts* (1958, **II**, 55–56).

63%.[234] Крестьянство противодействовало этому. В 1634 году крестьянская палата, опасаясь, что крестьяне находятся на пути к *servitus* [неволе (в юридическом смысле) — *лат.*], «настоятельно потребовала сокращения привилегий знати». В 1650 году крестьянский оратор заявлял: «Они знают, что в других землях простой люд находится в рабстве; они боятся подобной судьбы для себя, хотя они рождены свободными людьми».[235]

Проблема передачи на откуп налоговых поступлений с целью повышения государственных доходов заключается в том, что этот инструмент разрешает бюджетный кризис отдельно взятого года за счет усугубления таких же кризисов в последующие годы. Необходимо помнить, что в то время, когда меркантилистские усилия Швеции предполагали высокие военные расходы на постоянную экспансию,[236] она оставалась страной, бедной природными ресурсами (которые истощались) и небольшой по населению (примерно миллион шведов и полмиллиона финнов и других народностей в середине XVII века). Это вело к «напряженному состоянию» государственных финансов, преобладавшему в течение XVII века.[237] Необходимость финансирования войны с Польшей в 1655 году ускорила первую из так называемых *редукций* (*reduktion*), или возврата земель короне из-под контроля знати.[238] Редукция 1655 года была сравнительно небольшой. Бывшие коронные земли в так называемых неотчуждаемых зонах были изъяты обратно, и еще в точности четверть других земель, «пожалованных» начиная с 1632 года, были возвращены назад (*fjärdepartsräfsten*). Любая земля, розданная начиная с 1604 года в аллодиальное (т.е. безусловное) владение в нарушение решений сейма в Норчёпинге*, согласно которым пожалования могли производиться только на «феодальных» условиях, подлежала изменению своего статуса на держание на подобных «феодальных» условиях. Несмотря на то, что в 1655 году редукция не была массовой и не внедрялась энергичными мерами,[239] это было только начало. В сочетании с демографическим ростом в рядах аристократии этот процесс оказывал на нее давление, заставляя ее искать более существенную долю своих доходов на правительственной службе.[240]

---

[234] *Hatton* (1974, 4, n. 2). Тоннессон утверждает, что доля земель аристократов выросла с 15% в 1560 году до 60% в 1655 году (*Tonnesson*, 1971, 308). Эйно Ютиккала говорит, что с 1600 года до середины века доля этих земель в Швеции увеличилась с одной четверти до одной трети, а в Финляндии — с 5% до половины (*Jutikkala*, 1975, 159–160).

[235] *Roberts* (1958, **II**, 55–56). Это высказывание Робертс цитирует по источнику: *G. Wittrock* (1927).

[236] «Шведская империя в XVII веке могла продолжать свое существование лишь до тех пор, пока она продолжала расширяться» (*Dahlgren*, 1973b, 175).

[237] *Åström* (1973, 58, см. тж. 65–75).

[238] См. у Дальгрена, который убежден, что война была лишь непосредственным поводом: «На самом деле Карл X планировал редукцию еще до своего восшествия на трон [в 1654 году]. Он полагал, что это необходимая мера, вполне независимая от того, ведет Швеция войну или нет» (*Dahlgren*, 1973b, 178).

[239] См. *Ågren* (1973b, 240–241) и *Dahlgren* (1973a, 120).

[240] См. *Ågren* (1973a, 27 и тж. 1973b, 237–241). Это давление стало еще более резким после редукции 1680 года. См. *Dahlgren* (1973a, 126–131).

Мы уже упомянули роль прусских лицензий в поиске Швецией источников доходов. Однако эти лицензии прекратили действовать в 1635 году, и между 1637 и 1679 годами на смену им пришли так называемые французские субсидии*. Последние были столь значимы, что Острём называет Швецию этого периода «фактически французским сателлитом», а шведские армии — «прямым инструментом французской внешней политики в Центральной и Восточной Европе». Однако суммы французских субсидий были меньше тех, что поступали от прусских лицензий; несомненно, отмечает Острём, «наложение санкций (the mulcting) на балтийскую торговлю было предпочтительнее зависимости от французских субсидий»,[241] однако и это было больше, чем ничего. Конечно, французы, чья торговля на Балтике была минимальна,[242] в некоторой степени стремились к тому, чтобы сделать Швецию потенциальным торговым соперником голландцев и англичан. Эта зависимость от французских субсидий также служила интересам высшей знати, которая поддерживала свой «расточительный аристократический образ жизни» путем использования доходов от субсидий, а также от залога или продажи королевских земель. В результате высшая аристократия приобретала королевские земли и затем тратила доходы от них на себя, будучи в состоянии делать это в качестве членов государственного совета в периоды регентств, имевшие место де-юре и де-факто в середине и конце XVII века. Речь идет о более чем половине промежутка между смертью Густава Адольфа в 1632 году и фактическим получением власти Карлом XI в конце 1670-х годов.[243]

В 1680 году произошла так называемая «великая» редукция, и дать ей объяснение в экономических терминах не представляет сложности. Рост государственных расходов в период всеобщей стагнации,[244] усиление

---

[241] *Åström* (1973, 94). Острём отмечает, что Швеция также время от времени получала субсидии от Голландии, Англии, Испании и некоторых германских государств, но они имели «не слишком большую значимость». В целом Швеция пыталась направить западноевропейскую торговлю с Польшей и Россией через свои таможенные порты в Риге, Гетеборге и Стокгольме. См. *Åström* (1963, 50).

[242] См. *Bamford* (1954).

[243] См. *Åström* (1973, 73, 86–87). Цену этого захвата власти знатью в большей степени оплачивал не шведский крестьянин, а финский. Финляндия (вместе с Кексгольмом) была землей обетованной, поскольку пожалования вдоль берегов Ботнического залива и Ладожского озера открывали хороший транспортный доступ «для экспорта продукции крупных поместий высшего круга аристократии» (*Åström*, 1973, 87). Когда речь заходила об обеспечении воинского фуража, вклад Финляндии также был больше, чем ее доля. «Возможно, утверждение, что в начале эпохи [шведского] величия финская кавалерия представляла собой некий аналог казачества, прозвучит антиисторичной параллелью или эксцентричным преувеличением. Тем не менее, в этом есть истина» (*Åström*, 1973, 64).

[244] Нордманн напоминает о значимости общеевропейского ценового спада. В Швеции этот спад был «запоздалым» (после 1650 года), «но все же ощутимым» (*Nordmann*, 1971, 454). «Запоздалым» он был для Швеции в том же самом смысле, что и для Англии и Соединенных Провинций. См. *Jeannin* (1969, 95). Воздействие ценового спада на государственные доходы усугублялось тем обстоятельством, что вскоре после того, как начался умеренный рост цен (в 1672 году), Швеция вступила во франко-голландскую войну (в 1675 году). Йеркер Розен утверждает, что «под угрозой невыплаты субсидий Людовик XIV вынудил Швецию напасть на Бранденбург, союзника Соединен-

распределения государственных доходов в пользу аристократии[245] и прекращение французских субсидий[246] в совокупности вылились в финансовый кризис короны. Он был разрешен путем политического решения, ставшего возможным благодаря тому, что у короны было гораздо больше союзников, чем у высшей аристократии. Таковым решением были две успешные редукции. В 1680 году Сейм вновь постановил вернуться к типу поместий, установленному

ных Провинций, и в июне 1675 года шведская армия потерпела поражение под Фербеллином". Швеция была втянута в борьбу великих держав против своей. <...> Битва Битва при Фербеллине, малозначительное столкновение сторон, рассеяла тот ореол силы, который окружал шведскую армию ее со времен Тридцатилетней войны» (*Rosén*, 1961, 529). См. *Roberts* (1967, 230): «К 1679 году <...> держава, которая за 30 лет до этого ужасала и восхищала Европу, была определенно доведена до униженного положения. <...> Наследники Густава Адольфа стали вассалами Франции: французские и голландские дипломаты обсуждали судьбу шведских территорий в том же духе, что и владения Испании — в качестве территорий для грабежа или предметов обмена». Розен добавляет: «Точно так же, как война 1657–1660 годов дала толчок к установлению абсолютизма в Дании-Норвегии, война 1675–1679 годов вела к абсолютизму в Швеции» (*Rosén*, 1961, 531). См. тж. *Østerud* (1976, 8): «Абсолютная монархия была установлена в Швеции около 1680 года в ответ на острый финансовый и военный кризис».

[245] Дальгрен предполагает, что шведская знать находилась в определенно лучшем экономическом положении, чем аристократия в других местах Европы: «В других европейских странах, даже в такой близкой к Швеции стране, как Дания, зачастую именно землевладельческой знати приходилось испытать на себе острый экономический кризис. <...> Но если речь идет о шведской знати, то складывается отчетливое впечатление, что в период до 1680 года нет и следа подобного кризиса. Одно из обстоятельств, которое, как представляется, свидетельствует о ее довольно неплохом состоянии, заключается в том, что слишком многие представители знати, причем принадлежавшие не только к высшей аристократии, ухватились за те преимущества, которые предоставляли возможности инвестиций в разнообразные деловые предприятия, или в мореплавание, или в торговые компании. <...> Лишь после 1680 года шведская знать окажется лицом к лицу с кризисом, причем, когда этот кризис наступил, он оказался результатом политических решений, а не экономических факторов» (*Dahlgren*, 1973a, 124–125).

Не следует забывать, что описанный выше процесс *avsöndring* особенно благоприятствовал высшей аристократии (так называемым *högadel*, в отличие от *lögadel* [мелкой знати — *шв.*]) и что нарастающая зависимость аристократии от государственной службы за деньги до 1680 года была главным образом связана именно с *lögadel*. Одно из объяснений «великой» редукции состоит в том, что последние оказались перед фактом невыплаты своих жалований в ходе войны 1675–1679 годов и стремились обеспечить свои доходы путем увеличения доходов государства через конфискацию земель *högadel*. См. обзор теорических построений Розена и Хессдера в: *Ågren* (1976, 56–58, 79–80). Острём добавляет в дискуссию о расколе среди аристократии этнические соображения. Он указывает, что и королева Кристина, и даже Карл XI возвели в статус *högadel* многих прибалтийских немцев, а «фанатичными приверженцами» редукции были «люди из Финляндии, такие как Крёйцы, Флеминги' или Вреде, или люди из центральной Швеции, чьи семьи лишь недавно поднялись по социальной лестнице» (*Åström*, 1973, 77). В самой Финляндии «чемпионами» по редукции оказались те, чьи владения (*baronies*) «были расположены наименее благоприятно», то есть по берегам Ботнического залива и Ладожского озера (p. 87). Исследование Отто Лиива о ситуации в Эстонии скорее подтверждает позицию Острёма. В Лифляндии аристократия потеряла пять шестых своих земель, в Эстляндии — две пятых, на Сааремаа — почти треть. См. *Liiv* (1935, 35).

резолюциями сейма в Норчёпинге, владение которыми осуществлялось на пожалованных короной «феодальных» условиях (за исключением поместий, стоивших менее 600 серебряных талеров (*daler*), благодаря чему земли мелкой знати освобождались от редукции). В 1682 году Сейм также согласился с тем, что средневековый земельный закон давал королю власть не только создавать фьефы, но и отменять их — это давало королю карт-бланш на проведение редукций так, как он хотел.[247] Представляется почти несомненным, что в результате многие земли оказались у короны, которая стала богаче и получила преимущества, означавшие проигрыш для знати.[248] Кроме того, бóльшая часть этих земель позже была продана Карлом XII государственным чиновникам, буржуазии и знати — но на таких условиях, что эта земля стала налогооблагаемой.[249]

С другой стороны, не следует преувеличивать упадок аристократии, поскольку в период, предшествовавший редукции, произошло еще одно изменение, помимо постоянного роста доли земли во владении фрельсовой (*frälse**) знати за счет как короны, так и фригольдов. Фрельсовая земля подразделялась на два подвида. «Высшая» (*ypperligt*) фрельсовая земля относилась к поместному домашнему хозяйству (*säteri*) и его непосредственному окружению, отличаясь от «разбросанных» земель (*strögods*), которые обрабатывали фрельсовые крестьяне. Если второй тип земель имел ряд мелких обязательств перед короной, то первая категория таковых не имела вообще. В столетие, предшествовавшее редукции, доля «высших» фрельсовых земель увеличивалась, как и доля фрельсовых земель в целом, то есть концентрация земель аристократии нарастала.[250] В момент редукции знать имела право выбора, какие земли возвращать короне, и в целом аристократы предпочитали отдавать «разбросанные» земли и сохранять поместья — тем самым

---

[246] Франко-голландская война завершилась Неймегенскими договорами 1678–1679 годов. Людовик XIV фактически без каких-либо переговоров заключил от лица Швеции мир с ее противниками. <…> Отказ Людовика от консультаций с Карлом XI вызвал у того негодование. Франция также отказалась от данного при заключении альянса в 1672 году обещания не подписывать мир с Соединенными Провинциями до тех пор, пока Швеция не получит определенные уступки в вопросе с пошлинами. Кроме того, Франция включила в мирный договор с голландцами столь невыгодное для шведов торговое соглашение, что Карл XI отказался его ратифицировать (*Rosén*, 1961, 530). Рангхильда Хэттон рассматривает редукцию прежде всего как «в основном успешную попытку разрешить "проблему мира", избавить Швецию от альянсов и соглашений о субсидиях, которые ограничивали ее свободу выбора в европейских делах и препятствовали "политике балансирования"» (*Hatton*, 1968a, 74).

[247] См. *Ågren* (1973b, 243).

[248] *Ågren* (1973b, 257). Кроме того, как указывает Хекшер, этот переход земель обладал косвенным воздействием на сельскохозяйственную производительность: «Лишенные своих обширных земельных владений, аристократы стремились стать благородными фермерами, а не рантье (*rentiers*). <…> Они демонстрировали бóльшую производительность, <…> чем раньше» (*Heckscher*, 1954, 128).

[249] См. *Aspvall* (1966, 3–4).

[250] См. *Østerud* (1976, 13–14).

концентрация земель знати увеличивалась еще больше за счет фрельсовых крестьян.[251]

Тем не менее, государство получало от редукции больше, чем рост доходов в целом, а именно — более устойчивую основу для финансирования армии путем ревизии платежной системы 1682 года, известной как *indelningsverket* (система распределения налогов). Хозяйства во всей стране были теперь разделены на группы из трех-четырех ферм (*rote*), из доходов которых платили солдатам и на территории которых они квартировали в коттеджах (*soldattorp*). Офицеры размещались на земле, конфискованной у знати в ходе редукции. Более крупным хозяйствам (*rusthåll*) приходилось обеспечивать кавалеристов, а фермы на побережье должны были снабжать моряков (*båtsmän*). Система «замещения» воинского призыва предполагала, что солдаты, кавалеристы и моряки теперь рекрутировались не из крестьян-землевладельцев, а из лишенных собственности сельских тружеников, «с детства привыкших повиноваться своим светским и духовным повелителям». Офицеры же теперь

[251] См. *Rosén* (1961, 534), *Østerud* (1976, 13–14) и *Dahlgren* (1973a, 125). Дальнейшей концентрации земель способствовало то, что «некоторые из высших государственных служащих с целью приобретения для себя крупных поместий [использовали] падение цен на землю, ставшее последствием редукции» (*Dahlgren*, 1973a, 125). Курт Огрен соглашается, что знать спасала поместья, однако по поводу предполагаемого приобретения земли крупнейшими королевскими чиновниками он уточняет: «Принципиальное для всей данной линии аргументации утверждение, что происходило падение цен на землю, есть не более чем недоказанное предположение» (*Ågren*, 1973b, 256).

Ученая дискуссия относительно силы новой аристократии в сравнении со старой не следует игнорировать — в особенности потому, что «в 1680–1690-х годах пожалование дворянства происходило исключительно часто» (*Carlsson*, 1972, 580). Важным фактором является и нарастающий симбиоз крупного землевладельца и ненаследственного бюрократа. В 1700 году 25% крупных гражданских чиновников были аристократами по рождению, а 44% были возведены в дворянский статус. В ходе Великой Северной войны (1700–1721) Карл XII пожаловал дворянство многим офицерам своей армии, зачастую происходившим из иностранных знатных семейств (*Carlsson*, 1972, 586), а после войны многие гражданские чиновники получили дворянство вместо предоставления им особенных политических прав (p. 610). В то же время значительное место, зарезервированное в структуре государства за старой знатью, сохраняло ее лояльность короне в ходе войны, несмотря на редукцию. См. *Hatton* (1974, 4).

В целом это означало, что высшие страты, старые и новые, впрягались в одну упряжку во главе с государственным аппаратом. Около 1700 года относительная сила государства отразилась в поляризации классовой структуры — между знатью и простолюдинами было сделано «резкое разграничение». «Аристократы были *и* чиновниками, *и* землевладельцами, в то время как простолюдины были *либо* только чиновниками (клириками, гражданскими чиновниками, военными и морскими офицерами), *либо* только землевладельцами (крестьяне), либо только купцами или ремесленниками» (*Carlsson*, 1972, 608). См. работу *Ågren* (1973b, 244, 257–263), где отражен значительный скепсис шведской историографии XIX века относительно того, что путем редукции король намеревался спасти крестьян от угнетения знатью. Робертс, с другой стороны, доверяет подобной точке зрения: «Свобода крестьян больше никогда не окажется под угрозой» (*Roberts*, 1967, 249).

оказались «оплачиваемыми слугами короны, не имевшими какой-либо иной профессии, кроме армии».[252] Эта более рациональная система стала возможна благодаря редукции — до этого у короны не было достаточного количества хозяйств, чтобы сформировать основу подобной системы.[253]

По тому, в какой степени государственный аппарат последовательно усиливался в течение XVII века, шведское государство стоит особняком среди территорий, не входивших в центр мира-экономики. Оно создало армию, которую боялись, обуздало ненасытность землевладельческих классов и перевело их на государственную службу,[254] создало обладавшую определенной значимостью металлургическую промышленность и уважаемый торговый флот, предотвратило переход (по меньшей мере, непосредственный) всех привилегий на Балтике от клонящихся к закату Соединенных Провинций к Англии.[255] В сравнении с Испанией и Португалией, не говоря уже о Польше и Венгрии, шведское государство было сильным — во многих отношениях столь же сильным, как французское, хотя и значительно слабее, чем государство в Англии или Соединенных Провинциях. В действительности, с точки зрения последних двух стран, именно Швеция и Франция были двумя великими экспансионистскими военными державами XVII века. Однако, как только мощь Швеции, казалось, достигла своей высшей точки при Карле XII, она оказалась «колоссом на глиняных ногах».[256]

---

[252] *Aberg* (1972, 272). Универсальность этой системы пользовалась популярностью. Для сравнения, в ходе войны 1675–1679 годов «призыв в пехоту был особенно неприятен для большинства крестьян, поскольку слуги и арендаторы знати часто были от него освобождены» (*Stoye*, 1970b, 770).

[253] См. *Dahlgren* (1973a, 129). Огрен указывает, что эта рациональность распространялась за пределы армии: «Строго говоря, использование термина *indelningsverk* для описания чисто военной организации является слишком узким; в более широком смысле он предполагал, что каждая статья расходов была привязана к определенному источнику доходов, так что данная организация стала применяться не только к военным, но и к гражданским расходам» (*Ågren*, 1973b, 248n.).

[254] «С этого момента членами *Råd* (совета) станут министры — слуги короля или палат парламента (последнее также могло иметь место), — однако при всех своих горностаевых шляпах и бархатных мантиях, серьезном красноречии, невозмутимом хладнокровии и традиционном сенаторском достоинстве они никогда не достигнут того, чем они обладали во время малолетства Карла XI» (*Roberts*, 1967, 242–243).

[255] По мере того, как в XVII веке потребность Англии в зерне падала, а потребность в лесе увеличивалась, ее торговля все больше смещалась от Польши к Швеции, поскольку польский лес был слишком дорог. См. *Fedorowicz* (1976). Это смещение стало ярко выраженным после польско-шведской войны 1655–1656 годов (см. *Fedorowicz*, 1967, 377, рис. 1), однако Швеция была в состоянии предотвратить периферизацию, ставшую уделом Польши. «Вечной темой [английских] жалоб было сокращение свободы перемещения и торговли для иностранных агентов [внутри Швеции]» (*Åström*, 1962, 101). Англия была настолько расстроена способностью Швеции диктовать условия торговли, что в начале XVIII века, как мы увидим, примется энергично ниспровергать Швецию путем попыток создать (впрочем, без особенного успеха) конкурирующий источник корабельных товаров в Британской Северной Америке.

[256] *Samuelsson* (1968, 13).

По европейским стандартам Швеция имела довольно маленькое население, а стало быть, исходно небольшую финансовую базу для своего государственного аппарата. Как отмечает Лундквист, ресурсы шведской империи «были недостаточны для поддержания ее положения в долгосрочной перспективе».[257] В экономическом отношении Швеция *дорастала* до того положения, до которого Испания и Португалия *опускались*, — до положения посредника между периферией и центром. Швеция зарабатывала не просто на своем стратегическом положении на Балтике, но на *растущей* слабости периферийной зоны Восточной Европы в XVII веке. Глядя на Швецию с польской точки зрения, Мариан Маловист рассматривал ее как паразита:

> «В XVII веке Швеция получала выгоду от промышленной слабости своих соседей, а также от слабости их государственных аппаратов, ставшей следствием аномального роста мощи их аристократии. В конечном итоге, Швеция была чем-то вроде паразита, живущего за счет слабости своих соседей, и в значительной степени благодаря этой слабости она на столетие станет сильнейшей страной в Балтийском регионе. Но ей, в свою очередь, пришлось уступить России».[258]

России — и, необходимо добавить, Пруссии.

В 1696–1697 годах, перед началом Северной войны, Финляндия была опустошена голодом и потеряла, возможно, треть населения. Тем не менее, государство не обладало достаточной силой, чтобы предотвратить экспорт пшеницы бюргерами Скании.[259] Кроме того, функция Швеции как посредника впервые была атакована не державами центра, а Россией — противоположным концом товарных цепочек. В XVII веке Англия, Соединенные Провинции и Швеция достигли в лучшем случае ограниченного успеха в своих попытках включения России в европейский мир-экономику.[260] В 1695 году царь Петр I (Петр Великий) принял бразды правления в России* и начал свою масштабную кампанию реформ и «вестернизации», включавшую его визит («Великое посольство») в Западную Европу (где Петр сосредоточился на обучении кораблестроению), основание в 1703 году Санкт-Петербурга (который станет российским портом на Балтике) и вызов Швеции. С точки зрения мир-системы в целом, усилия Петра можно рассматривать как попытку полного участия в мире-экономике, но в качестве полупериферийной, а не периферийной зоны (каковой стала Польша). Для этого было необходимо, хотя и явно недостаточно, сокрушить посредническую функцию Швеции. Для последней это было

---

[257] *Lundkvist* (1973, 57).

[258] *Małowist* (1959, 189). См. тж. *Hatton* (1970, 648–650).

[259] См. *Jutikkala* (1955, 48–63).

[260] Однако Келленбенц рассматривает Россию XVII века как уже включенную в его структуру, см. *Kellenbenz* (1973). Точки зрения советских ученых относительно XVII века представлены в: *Cherepnin* (1964, особенно pp. 18–22). Острём уверен, что поворотный момент в экономических отношениях России с западными странами наступил только в «середине XVIII века, когда бóльшая часть английского импорта железа, конопли, льна, смолы, дегтя и поташа стала поступать из портов, которыми владела Россия» (*Åström*, 1962, 113).

столь же очевидно, как и для Петра: «Шведские завоевания в восточной Прибалтике с достаточным основанием рассматривались в качестве бастионов Швеции как великой державы, которые следовало защищать любой ценой».[261]

Великая Северная война началась в 1700 году с нападения на Ливонию польско-саксонского короля Августа II, затем к войне присоединился Петр. Стремясь воспользоваться случаем сломить русских, Швеция сопротивлялась попыткам закончить войну,[262] однако она и близко не была достаточно сильна для военного разгрома России. При отступлении Петр применял политику выжженной земли, которой суждено стать классической русской защитой от вторжения, — фактически к разгрому шведов под Полтавой в Украине в 1709 году привел логистический фактор вкупе с наступлением зимы.[263] Политический империализм Карла XII, утверждает Нордманн, «нарушил равновесие», установленное Карлом XI.[264] Что это было за равновесие? Чрезмерные внутренние издержки имперских устремлений Карла XII были неприемлемы для шведского народа — это было такое же равновесие, как и то, которое Карл V нарушил в Кастилии в предшествующем столетии. Система *indelningsverk* создала «неуничтожимую связь между источником доходов и проблемой расходов»,[265] и хотя это более или менее балансировало государственный бюджет, в ходе долгой войны поддерживать данную систему было сложно, особенно без иностранных субсидий и рекрутов. Во время Великой Северной войны 80-тысячную армию «приходилось в основном набирать из сердца империи», и как только русские по-настоящему мобилизовались, «у Швеции не было иного выбора, кроме как сдать игру».[266] Имеет ли смысл спорить, было ли продолжение войны плохим решением со стороны Карла XII? Или же это

[261] *Hatton* (1970, 648). Едва ли это была экономически иррациональная позиция — как указывает Арне Охберг, «тем самым можно утверждать, что существовало определенное реальное оправдание для формирования шведской торговой политики вдоль этих монополистических линий. Швеция как отдельная страна не обладала значительным капиталом и с имевшимися у ее граждан средствами не могла конкурировать за российский рынок с такими богатыми государствами, как Нидерланды и Англия. Однако если бы Швеции удалось добиться монопольного положения при помощи военных или политических средств, то она могла бы извлечь значительный финансовый доход из российского рынка» (*Ohberg*, 1955, 161). Конечно же, именно поэтому Англия и Нидерланды «во время войны 1690-х годов проводили общую политику на Балтике» (*Åström*, 1962, 45).

[262] «Морские державы, страстно желавшие закончить войну и тем самым использовать шведские войска в своей неизбежной борьбе с Францией [войне за Испанское наследство], в 1700 году предложили посредничество и Петру, и Карлу. Подобные предложения, неоднократно повторявшиеся в последующие годы, последовательно принимались царем и столь же последовательно отвергались королем Швеции, который был переполнен успехом и вдохновлен идеей праведного возмездия тем государствам, которые нападали на него» (*M.S. Anderson*, 1970, 734).

[263] См. *Chandler* (1970, 754).

[264] *Nordmann* (1972, 147).

[265] *Lundkvist* (1973, 26).

[266] *Åström* (1973, 100).

была наглая заносчивость, обернувшаяся бедствием? Едва ли, потому что выбор у Швеции был невелик.[267] В некотором смысле блеф был ее шансом, но как только этот блеф был распознан, положение Швеции было «перевернуто» (revolutionized).[268] В 1721 году Швеция уступила России большую часть восточной Балтики — Ливонию, Эстонию, Ингрию**, Карелию. Кроме того, она уступила Пруссии часть своих владений в Германии. Тем самым Швеция потеряла земли, население, государственный доход, контроль над своими «закромами»[269] — а главное, свое монопольное положение на Балтике.[270] Поскольку сила шведского колосса была основана на его квазимонополии, этот «германско-славянский толчок» оказался успешным в деле превращения Швеции во второстепенную державу.[271] Внутренние последствия этого для Швеции были впечатляющими. На вид казалось, что абсолютизм уступил парламентским свободам, — период 1718–1772 годов[272] известен в Швеции как *Frihetstiden*, Эпохой свобод. Принципиальный компромисс 1680–1682 годов заключался в сильном централизованном правительстве при политико-экономическом объединении старых аристократов, новой знати и буржуазии, и этот компромисс был завершен и реализован Эпохой свобод тем же самым образом, что Славная революция и эпоха Уолпола в Англии завершили и дополнили Английскую революцию. Единственной разницей было то, что в XVIII веке Англия стояла на пути к превращению в державу-гегемона, в то время как Швецию окружали проблемы, связанные с неудачной попыткой превращения в сильное полупериферийное государство с

[267] «Причины утраты Швецией своей громадной империи обсуждаются с самого 1721 года [когда был заключен Ништадский мир, формально завершивший войну]. Была ли это вина Карла XII, который отвергал мир, когда удача пребывала с ним? <...> С другой стороны, можно утверждать, что вместе с Карлом XII умерла единственная надежда на сохранение положения великой державы» (*Hatton*, 1970, 679).

[268] «Полтава, превратившая Карла XII из завоевателя в изгнанника, перевернула все положение дел. <...> Полтава необычайно усилила влияние Петра в Западной Европе, не говоря уже о получении того престижа, который может дать только военная победа. "Теперь, — писал Урбих* (русский министр в Вене) Лейбницу в августе 1709 года, — люди стали бояться царя так же, как раньше они боялись Швецию". Философ согласился с этим: "Все говорят, что царь станет угрозой для всей Европы и окажется чем-то вроде северного турка"» (*M.S. Anderson*, 1970, 735). Отметим сравнение с Турцией — как и Россия, в XVII веке она была миром-империей во внешней сфере европейского мира-экономики, которому *угрожали* поглощение и периферизация.

[269] В действительности «Ливония не стала настоящими "шведскими закромами" вплоть до ее включения [в состав] России в 1721 году» (*Samuelsson*, 1968, 76). Отдельный пункт договора 1721 года позволил Швеции беспошлинно вывозить зерно из ее бывших провинций в пределах 50 тысяч рублей в год. См. *Lundkvist* (1973, 56).

[270] «После 1720 года можно было напрямую получать из России возросшее количество той продукции, которая ранее была практически полностью шведской монополией, а именно железа, смолы и дегтя» (*Åström*, 1962, 106).

[271] *Nordmann* (1971, 455).

[272] Карл XII умер в 1718 году, не оставив наследников, и в ходе запутанной истории с наследованием престола*** «верх взяла антиабсолютистская партия — широкая группировка влиятельных землевладельцев, офицеров вооруженных сил

претензиями на подлинный статус государства центра. Соответственно, Англия наслаждалась стабильностью при де-факто однопартийном режиме, а Швеция публично демонстрировала внутрибуржуазные распри в условиях тончайшего двухпартийного разнообразия.

В первые годы Эпохи свобод ключевой проблемой Швеции было государственное банкротство. Граф Арвид Горн* возглавлял правительство, которое сосредоточилось на мире[273] и «умеренном меркантилизме».[274] В 1738 году в Швеции появилась сильная меркантилистская партия, известная как «партия шляп», которая свергла Горна, но, по существу, продолжила ту же политику.[275] «Шляпы» оставались у власти до 1765 года и были смещены в момент мирового триумфа Британии их оппонентами, «партией колпаков». В своей политике «шляпы» проводили профранцузские, меркантилистские и инфляционные принципы, представляя интересы крупных экспортеров, металлургов и текстильных мануфактур; их лозунг звучал как *Svensker man i svensk dräkt* («шведы в шведской одежде»). Политика «колпаков» была проанглийской, фритредерской и дефляционной. Они являли собой сектор импорта и мелких купцов и промышленников, представляя себя как радикальную партию тех, кто был лишен социальных привилегий.[276] Однако существовал ли реальный выбор за фасадом этой игры, которую Перри Андерсон называет «коррумпированным аристократическим парламентаризмом»?[277] — возможно, этот выбор был не бóльшим, чем в Испании Бурбонов. Великая Северная война оказалась для Швеции тем же, чем война за Испанское наследство стала для Испании, — попыткой сломить структурные ограничения, налагаемые на страну миром-экономикой, — попыткой сломить структурные ограничения, налагаемые на страну миром-экономикой. Ни одна из этих попыток не оказалась успешной, однако все они смогли предотвратить худшее развитие событий.

и администраторов». Они навязали принцессе Ульрике в преддверии ее коронации в мае 1719 года декларацию с обещанием «подписать и хранить конституцию, которую сформулирует сословное представительство» (*Hatton*, 1966, 351). Ульрика отказалась от этого и была принуждена отречься от престола, а ее наследник, Фредерик I, подписал конституцию 1720 года, которая, по сути дела, создавала конституционную монархию, управляемую кабинетом, фактически ответственным перед Сеймом (см. *Hatton*, 1966, 352–355).

[273] Самуэльссон сравнивает усилия Горна по «осознанию великого банкротства» с усилиями кардинала Флёри** при Людовике XV «примерно в это же время» (*Samuelsson*, 1968, 14). Хаттон указывает, что в годы, когда Горн был наиболее могущественным членом Королевского совета (*Råd*), «казалось, что Швеция вновь управляется группой олигархов в интересах земельной знати, высшей бюрократии и высшего духовенства» (*Hatton*, 1966, 356).

[274] *Hatton* (1966, 357).

[275] Их самоназвание «шляпы» было «намеком на военные головные уборы», а стало быть, подразумевало критику отсутствия у Горна военной закваски. Они называли своих оппонентов ночными колпаками, или просто колпаками, имея в виду, что они были «сонными трусами, стариками в ночных колпаках» (*Hatton*, 1966, 356).

[276] См. *Samuelsson* (1968, 107, 119–20), *Eagly* (1969, 748, 752; 1971, 13–14, 18–20), *Hovde* (1948, 23–25).

[277] *P. Anderson* (1974a, 190).

Пока не было полной ясности относительно того, кто победит в соперничестве между Англией и Францией (то есть до 1763 года), Швеция, как и Испания, все еще могла использовать свой ресурс маневра и достигнуть более значимой роли, нежели той, которую она могла удерживать.[278] Час расплаты для Швеции наступил позже, между 1763 и 1815 годами, когда Англия на последней стадии сопротивления Франции потребовала свои фишки обратно.

Швеция была настолько сильным государством, насколько это могла позволить ее экономика. То обстоятельство, что сила государственного аппарата имела здесь мало общего с формальными полномочиями короля, можно увидеть при сравнении Швеции с Данией. Последняя стала абсолютистской державой раньше, чем Швеция, и оставалась ею дольше, однако Дания была гораздо слабее, что отражало ее периферийную экономическую роль в сравнении с той полупериферийной функцией, которую позволила Швеции принять на себя проводимая ею политика. Дания часто считается неким «уникальным созвездием»,[279] не соответствующим ни одной общей схеме разделения труда в Европе раннего Модерна. В главе IV было предложено рассматривать Данию как часть периферии, ориентированной в первую очередь на экспорт товаров, производство которых предполагало низкий уровень заработной платы, — в случае Дании это был экспорт зерна и скота. Однако, в отличие от большинства

[278] Между «шляпами» и «колпаками» было мало настоящих споров на эту тему. Хаттон утверждает, что «иллюстрацией строгого меркантилизма. <...> 1720-х годов [был] "продуктплакат"' (*Produktplakatet*) 1724 года», «созданный по образцу английских навигационных актов [и] сильно ударивший по английскому и датскому мореплаванию на Балтике». Еще одним примером этого строгого меркантилизма, по утверждению Хаттона, были постановления об импорте 1726 года, в 1738 году возрожденные «шляпами», которые «усилили поддержку шведских промышленных предприятий и сопровождали ее еще более сильной защитой от иностранной конкуренции». Хаттон пишет: «В ретроспективе можно легко увидеть, что лишь доходы, получаемые от надежного шведского и финского экспорта, прежде всего от шведского железа, позволили "шляпам" столь долго проводить меркантилистские эксперименты с новыми мануфактурами. Однако до кризиса 1762–1763 годов (наступившего отчасти из-за шведского участия в Семилетней войне, отчасти от последствий международного финансового кризиса) "колпаки" не выражали сильного протеста против исповедуемой "шляпами" взглядов на экономическую политику и постоянно выступали с призывом к сдерживанию власти этой партии. Аналогичным образом две эти партии в определенной степени соглашались в вопросах сельскохозяйственной политики» (*Hatton*, 1966, 357).

Необходимое условие этой меркантилистской политики исчезало — причем не только потому, что росла сила Англии по отношению к Франции, а еще и в силу постоянного увеличения роли России — соперника Швеции в экспорте мануфактурных товаров из железа. Доля Швеции в их мировом производстве снизилась с 75–90% в начале XVIII века до примерно одной трети в 1760-х годах, когда объем российского производства превзошел шведский. Поскольку примерно в 1730–1745 годах продажи шведского металла падали в условиях депрессии, шведы ограничивали производство для поддержания цен. Самуэльссон рассматривает это не как глупость, а как «превращение необходимости в достоинство» (*Samuelsson*, 1968, 89). См. тж. *Heckscher* (1932, 134–135, 139), *Boëthius* (1958, 151–152), *Hildebrand* (1958, 13).

[279] *Østerud* (1976, 24). Это «уникальное созвездие» представляло собой «абсолютистское государство, которое возвышалось над социальным основанием в виде полукрепостного крестьянства и восходящих городов».

других периферийных территорий в XVII веке, Дания в 1660 году установила абсолютную монархию*. Поэтому теперь требуется объяснить, почему это политическое изменение не было достаточным для резкого перехода Дании в категорию полупериферийных стран наподобие Швеции и Бранденбурга-Пруссии и почему данное изменение вообще произошло.

Каким образом исследователи сравнивали экономические структуры Дании и Восточной Европы, с одной стороны, и Швеции, с другой? Э. Петерсен подчеркивает те преимущества, которые были у Дании над восточноевропейскими странами, поскольку она экспортировала *и* зерно, *и* скот, что определяло ее бóльшую гибкость в трудные времена.[280] Это может отчасти объяснять то, почему Дания в меньшей степени, чем страны Восточной Европы, была затронута первой фазой европейского спада (1600–1650) — в самом деле, 1630-е и начало 1640-х годов были «бабьим летом» датских доходов на мировом рынке.[281] В этот период исключительная закрытость датской знати вкупе с освобождением от налогов позволили ей последовательно увеличивать концентрацию земель в своих руках.[282] Однако и сам король был очень крупным землевладельцем,[283] и это, наряду с возможностью увеличивать зундские пошлины во время Тридцатилетней войны, обеспечивало его значительным государственным доходом.[284] В Швеции же экономическая система отличалась тем, что сельское хозяйство не было главным источником дохода, а основными статьями производства и экспорта были полезные ископаемые, которые, как мы видели, составляли основу шведской индустриальной мощи. Кроме того, обусловленная экологическими факторами слабость шведского сельского хозяйства усиливала социальную силу крестьянства и предотвращала появление чего-либо наподобие *Gutswirtschaft* [помещичье хозяйство — *нем.*].

С точки зрения сельской социальной структуры, Дания была противоположной крайностью. Организация датского сельского хозяйства включала крупные поместья, окруженные крестьянскими хозяйствами, обязательством которых перед владельцем поместья была не рента, а трудовая повинность. Численность групп, несших подобные повинности (*ugedagsbønder*, или «фермеры буднего дня»), росла, составляя к середине XVII века 40% всех *bønder* [крестьян — *dan.*]: «Дармовой труд [барщина] применялся не только на полях,

---

[280] См. *Petersen* (1967, 20–21 и 1968, 1249).

[281] *Petersen* (1967, 30). Конечно, как и в любой подобной ситуации, неудача конкурента является позитивным преимуществом для того, кто этим не затронут. Петерсен отмечает «сравнительно благоприятное положение Дании во время всеобщего военного бума» в смысле «безопасного снабжения». Он также утверждает, что «торговые и финансовые кризисы в Германии и Польше в 1617–1623 годах и политика Швеции на Балтике до 1630-х годов предоставили исключительно благоприятные возможности для датского сельского хозяйства. Военные операции Швеции и ее политика по ограничению зерновой торговли <...> вновь взвинтили цены на зерно на бирже Амстердама, тем самым позволив датским производителям возвращаться домой с исключительно высокой прибылью».

[282] См. *Petersen* (1967, 6–7) и *Østerud* (1976, 19).

[283] Короне принадлежало 56% непоместных земель. См. *Petersen* (1968, 1238).

[284] См. *C.E. Hill* (1926, 102–152) и *Roberts* (1970, 402–403).

но и в перевозках, строительстве, ремеслах и даже на погрузке и разгрузке в порту».[285] В этот же период кардинально уменьшалась роль датских купцов. Германские и голландские купцы вытесняли датчан из экспортной торговли, в особенности во время пресловутого «бабьего лета» 1630–1645 годов.[286] При заключении мира в Кристианопле в 1645 году* шведы в союзе с голландцами продавили снижение зундских пошлин, так что доходы датской короны от этого источника стали «незначительными остатками»[287] в сравнении с их былыми размерами. Поэтому, когда добрые времена Тридцатилетней войны подошли к концу,[288] Дания представляла собой саму модель периферийной территории — экспортно ориентированное поместное хозяйство с широко распространенной барщиной, торговлей в руках иностранцев, государственным аппаратом со слабой финансовой базой (богатейшие земли были освобождены от налогов, а зундские пошлины более не имели значения).

Датская корона предприняла попытку восстановить утраченное стратегическое преимущество в экономике, в 1657 году объявив войну Швеции, когда та уже была втянута в другие войны. Швеция рассчитывала на помощь со стороны Нидерландов, которую те не предоставили. Договор в Роскилле, завершивший войну со Швецией, ускорил политический кризис в Дании. Последняя была вынуждена уступить Швеции провинции Сканию, Халланд и Бохуслен**, то есть весь правый берег собственно Зунда и подступы к каждой из его сторон.[289] Однако чуть позже, в этом же году, когда шведский король Карл X возобновил войну и попытался включить всю Данию в состав Швеции, он быстро столкнулся с противостоянием голландцев, англичан и французов, которые объединились в так называемый Гаагский концерт (11 мая 1659 года), после чего три державы центра продиктовали мир враждующим сторонам и наложили вето на «закрытие Балтики для флотов государств, не владеющих территориями на ее побережье».[290] Дания была спасена от уничтожения, поскольку державы центра хотели сдержать Швецию и поэтому были

[285] *Jutikkala* (1975, 164). Все зависит от того, с какой стороны оценивать данный показатель. Очевидно, что Петерсен, обращая внимание на 60-процентную долю такого труда, стремится подчеркнуть, что датское сельское хозяйство было основано на *Grundherrschaft* [феодальном поместном землевладении — *нем.*] (см. *Petersen*, 1967, 23; 1968, 1251–1252). Петерсен действительно отмечает, что датская знать «радикально отличалась» от шведской (а также английской и французской) тем, в какой степени она была ограждена от мобильности со стороны буржуазии (*Petersen*, 1968, 1237).

[286] См. *Jørgensen* (1963, 78, 107), *Glamann* (1977, 240) и *Petersen* (1970, 84).

[287] *Reddaway* (1906, 573). Эстеруд говорит о «серьезном финансовом кризисе» (*Østerud*, 1978, 15).

[288] В 1650-х годах Дания была поражена эпидемиями, имевшими значительные демографические последствия. См. *Petersen* (1967, 31) и *Jørgensen* (1963, 79).

[289] По договору в Роскилле Швеции также были переданы район Тронхейма в Норвегии и остров Борнхольм в Балтийском море, однако по Копенгагенскому миру 1660 года они вернулись к Дании. См. *Rosén* (1961, 552), *C.E. Hill* (1926, 184) и карту в *Darby and Fullard* (1970, 36).

[290] *Reddaway* (1906, 588), см. тж. *C.E. Hill* (1926, 174–175). Датский успех был уже обеспечен при отправке голландского флота 29 октября 1658 года с целью вовлечь в сражение шведский флот в Зундском проливе, и, несмотря на тактическую затяжку,

заинтересованы в том, чтобы обеспечить Дании наличие налогооблагаемой базы для поддержания армии, достаточно сильной для выполнения этой геополитической роли, чего, очевидно, не случилось в 1657–1660 годах.

Кроме того, у Дании был значительный государственный долг. В 1660 году он составлял более 4 миллионов рейхсталеров (*rigsdaler*), 38% которых относилось к иностранным интересам — четверть у Генеральных Штатов Нидерландов, еще четверть у голландских торговых домов, а остальное у купеческих домов в Гамбурге и Любеке. Поэтому голландское государство и частные иностранные кредиторы имели значительный прямой и непосредственный интерес в том, чтобы датское государство было способно выбраться из своего крайне сложного финансового положения. Как отмечает Йохан Йоргенсен,

> «точную роль, которую играли кредиторы государства в конституционном мятеже 1660 года и непосредственно после него, определить сложно, <...> однако в краткосрочной перспективе этот фактор должен был иметь существенное отношение к политическим событиям. <...> Государственное банкротство Дании имело бы неприятные последствия для определенных кругов купеческого класса Северной Европы. <...> В действительности примирение было достигнуто в значительной степени благодаря передаче кредиторам надзора за коронными землями».[291]

Таковы были декорации кажущегося труднообъяснимым внезапного установления абсолютизма в Дании. Что в данном случае имеется в виду под абсолютизмом? То, что монархия становилась наследственной и «суверенной», а также подразумеваются административные реформы, предполагавшие создание тайного совета и более прямой контроль над местными бюрократическими структурами. Абсолютизм означал конец закрытости знати и рост налогообложения. Короче говоря, он означал, что государство способно играть определенную роль в выплате своих внешних долгов и сдерживании шведской экспансии.

Однако означало ли это, что изменились базовые экономические структуры? Именно это и нельзя утверждать в сколько-нибудь значимой степени. Датская аристократия по-прежнему была освобождена от налогов, хотя теперь от нее требовалось поддерживать государство в сборе налогов со свободных крестьян. Король отныне мог продавать собственные земли новоприбывшей германской служилой знати, которая немедленно переняла у

стратегическим триумфом датчан стало вступление в Копенгаген*. Кристофер Хилл отмечает, что этой эскадрой командовал де Вит** — «тот же адмирал, который форсировал Зунд в ходе кампании против [датского короля] Кристиана IV еще в 1645 году» (*C.E. Hill*, 1926, 170). На этой более ранней стадии Швеция при поддержке Голландии добилась исключительно благоприятных условий по договору в Брёмсебру, которые «четко обозначили ослабление первенства Дании на Севере» (*Reddaway*, 1906, 572). Этот договор вновь подтвердил старинное освобождение Швеции от зундских пошлин и, что более важно, распространил эти привилегии на новые провинции Швеции в восточной Балтике и Германии.

[291] *Jørgensen* (1963, 97–98). В то же время ценовой спад в ходе сельскохозяйственной депрессии в 1660 году был «тотальной катастрофой для датской аристократии в социальном, экономическом и демографическом смыслах» (*S.A. Hansen*, 1972, 101). Оче-

старой аристократии манеру создавать экспортно ориентированные поместные структуры. Уклон теперь приходился на монокультуру (зерно, а не скот), тем самым сокращалось предшествующее небольшое различие между экономическими структурами Дании и Восточной Европы.[292] За 30 лет объем земли, которой владела знать, увеличился — за счет и короны, и свободных крестьян.[293] С другой стороны, ухудшилось экономическое и правовое положение крестьян — кульминацией этого процесса стал декрет 1733 года, прикрепляющий их к земле.[294] Что касается государства, то оно, конечно, обладало большей покупательной способностью,[295] чем раньше, но если Швеция усиливала роль собственного войска (militia), то Дания отказалась от него в пользу расчета на наемников.[296] Предпринимались некоторые жалкие усилия в направлении меркантилистского законодательства,[297] однако сила датского государства была в основном показной и поддерживалась внешними интересами. Экономическая же роль Дании оставалась прежней — на деле Дания, если угодно, с 1650 по 1750 годы стала еще более периферийной.

В том, что Дания оставалась периферийной зоной, несмотря на формальное установление абсолютной монархии, в действительности нет ничего удивительного. Куда более удивительно то, что Бранденбург, незначительная периферийная территория, оказался способным сначала, к XVIII веку,[298] развиться в полупериферийную державу, Пруссию, а затем превзойти и фактически оставить позади гораздо более вероятных кандидатов на эту роль — Швецию на

видно, что это сделало аристократию менее способной к сопротивлению новым абсолютистским мерам.

[292] См. *Rosén* (1961, 523–526). О тенденции к монокультуре см. *Jensen* (1937, 41–42).

[293] См. *Rosén* (1961, 536) и *Jutikkala* (1975, 160).

[294] См. *Jensen* (1937, 45), *Rosén* (1961, 526), *Imhof* (1974, *passim*) и *Munk* (1977, *passim*).

[295] *Jørgensen* (1963, 96).

[296] См. *Rosén* (1961, 538).

[297] См. *Kent* (1973, 6–8).

[298] Этот процесс отражала эволюция государственного наименования. Курфюрст Бранденбурга (области вокруг Берлина) добавил к своим владениям несколько территориально не связанных с ним земель еще в XV–XVI веках и еще больше земель — в XVII столетии. Вместе с этими землями прибавлялись дополнительные титулы. Например, курфюрст Бранденбурга был герцогом Померании, Магдебурга и Клеве*, князем Хальберштадта и Миндена, графом Марк и Равенсберг. В 1618 году он стал герцогом Пруссии, но в данном случае имелась в виду только Восточная Пруссия, причем до 1657–1660 годов последняя оставалась под польским суверенитетом. В 1701 году курфюрст Бранденбурга был поименован королем *в* Пруссии, и только в 1772 году, вместе с первым разделом Польши, он приобрел Западную Пруссию и стал называться королем Пруссии. Несмотря на то, что с 1794 года в международной дипломатии это государство было известно как *la Prusse*, прусское земское право (*Allgemeines Landrecht*) было провозглашено для «прусских государств» ("the Prussian states"). Только в 1807 году, посреди Наполеоновских войн, этот процесс принял такую форму, что Пруссия стала названием монархии Гогенцоллернов в целом — конечно, до того момента, пока она не превратилась в Германию. Следует отметить, что и «земли дома Габсбургов» стали «Австрийской империей» лишь в 1804 году. См. *Rosenberg* (1958, 27–28); *Darby and Fullard* (1970, 138–144, 146).

севере и Саксонию и Австрию на юге. Этому нет разумного объяснения, если не принимать в расчет две вещи: постоянное взаимодействие в рамках межгосударственной системы как выражение экономических сил и набор экономических функций (впрочем, набор ограниченный), которые отдельные территории способны выполнять в те или иные моменты истории. Ключ к развитию Пруссии состоял в том, что с точки зрения держав центра в Центральной Европе было место для всего одной крупной полупериферийной державы. Когда дрогнула Швеция, подходящей для этой ниши оказалась Пруссия. Теперь необходимо рассмотреть, как и почему это случилось. Однако мы не сможем понять этот процесс, заранее не осознав, что *два* государства в одном и том же регионе одновременно не могли преуспеть в том, что сделала Пруссия.

В XVII веке германские земли к востоку от Эльбы претерпели большинство тех же самых процессов в организации сельскохозяйственного производства, что и Польша и другие регионы Восточной Европы. Это была зона *Gutswirtsschaft* и *Gutsherrschaft*, в отличие от *Grundherrschaft* (*и/или Wirtschaftherrschaft*) в западных и южных германских государствах.[299] В XVI веке в результате процесса масштабной скупки (зачастую принудительной)

[299] Точное определение понятия *Gutsherrschaft*, в отличие от *Grundherrschaft*, является предметом масштабного спора в имеющейся литературе. (Одним из возможных сближений с английской традицией может быть противопоставление поместного (demesne) [*Gut*] и манориального хозяйств). Достаточно трех определений.

Отто Гинце (*Hintze*, 1975a, 39): «Главной характеристикой [*Gutsherrschaft*] было то, что землевладелец сам занимался обработкой поместья, живя на доходы, получаемые от продажи его продукции на удаленных рынках и пользуясь услугами крепостных, которые тем самым были привязаны к земле. Поместье составляло правовую административную единицу (*Gutsbezirk*), а землевладелец обладал политической и юридической властью над крестьянами. <...> Основной чертой [*Grundherrschaft*] было то, что землевладелец занимался хозяйством поместья не сам, но жил на платежи в деньгах и в натуре, которые он получал от крестьян-арендаторов. Крестьяне, находясь под меньшим экономическим контролем со стороны своего хозяина, пользовались большей степенью свободы, чем при системе *Gutsherrschaft*».

Йоахим Фрайхерр фон Браун: «*Gutswirtsschaft* — это крупное сельскохозяйственное предприятие. Благодаря этому оно является независимым организмом, основанным на управленческой [managerial, *Betreibsleiters*] инициативе, и тем самым может управляться безотносительно к законам и косвенным обязательствам как производство, в максимальной степени ориентированное на рынок» (Zur ostdeutschen Agrargeschichte, 1960, 10).

Фридрих Лютге: «*Gutswirtsschaft* <...> — это экономический феномен [*Tatbestand*]. *Gut* [имение — *нем.*] принадлежит хозяину, который управляет им путем найма несемейных тружеников и назначения им работы. *Grundherrschaft* имеет две формы. Первой из них является *Rentengrundherrschaft* [поместье, приносящее ренты — *нем.*], где *Grundherr* [землевладелец — *нем.*] удерживает за собой только небольшой участок земли [*Eigenbetrieb*] и живет главным образом за счет рент и т.д. Другой формой является *Wirtschaftgrundherrschaft*, <...> при котором внутри структуры *grundherrlichen* [т.е. правовой системы, соответствующей *Grundherrschaft*] сохраняется более крупное *Gutswirtsschaft* (*Eigenwirtschaft*) [т.е. поместье под прямым контролем землевладельца]» (Zur ostdeutschen Agrargeschichte, 1960, 83).

Необходимо иметь в виду, что термин *herrschaft* [господство, власть — *нем.*] относится к политико-правовым структурам, а термин *wirtschaft* [хозяйство, экономи-

земель в сочетании с выселением крестьян с земли (*Bauernlegen*) к востоку от Эльбы появились крупные поместья.[300] После Тридцатилетней войны этот процесс существенно ускорился в Мекленбурге, Бранденбурге и Померании.[301] Масштабы барщины росли в среднем с двух-трех до шести дней в неделю.[302] Когда земля меняла владельца с крестьянина на знатного хозяина, она освобождалась от налогов, и это означало, что остававшиеся крестьяне «несли еще более тяжелую ношу».[303] В землях Габсбургов аналогичные процессы происходили в Венгрии и Богемии, но сама Австрия оставалась зоной *Grundherrschaft*.[304] Если сравнивать восточное Полабье с другими периферийными зонами Восточной Европы, то угнетение крестьянства было таким же, а на самом деле, пожалуй, и хуже.[305]

ка — *нем.*] — к социальным отношениям в сфере производства, а также то, что были возможны «смешанные» формы, как, например, в Нижней Саксонии, где преобладали *Grundherrschaft* и *Gutswirtsschaft*. См. дискуссию между Йоахимом Фрайхерром фон Брауном и Фридрихом Лютге (Schlesinger, Zur ostdeutschen Agrargeschichte, 1960, 84–85).

Здесь мы не приводим обзор вопроса, подробно рассмотренного в *Валлерстайн* (2015a), а именно является ли *Gutswirtsschaft* просто другой версией феодализма или же это капиталистический феномен. Укажем лишь на продолжительное обсуждение этой специфической темы в журнале *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft* (ГДР). В 1953 году Йоханнес Нихтвайсс утверждал, что, поскольку система *Gutswirtsschaft* предполагала крупномасштабное рыночно ориентированное производство, она отличалась от феодального хозяйства. Он также указывал, что «в случае феодальной вассал-экономики [*Fronwirtschaft*] типичным является прикрепление крестьянина к собственно *крестьянской земле*, а не к земле помещика [как в случае с *Gutswirtsschaft*]» (*Nichtweiss*, 1953, 705). За этим последовал ответ Юргена Кучинского (*Kuczynski*, 1954), а далее — целая серия статей: *Nichtweiss* (1954), *Manfred Hamann* (1954), *Gerhard Heitz* (1955), *Nichtweiss* (1956), *Willi Boelcke* (1956), *Heitz* (1957) и *Nichtweiss* (1957). Как указывает Нихтвайсс, позиция Кучинского по этому вопросу аналогична точке зрения Лютге (*Lütge*, 1957, 805). А.Дж.П. Тейлор высказывает мнение, сходное с позицией Нихтвайсса, сравнивая поместья юнкеров с «крупными капиталистическими хозяйствами американской прерии» (*A.J.P. Taylor*, 1946, 29).

[300] См. *Carsten* (1947, 145, 157); *Kuhn* (Zur ostdeutschen Agrargeschichte, 1960, 40–41); *Lütge* (1963, 101–102); *Slicher van Bath* (1977, 111–112). Система *Gutswirtsschaft* явно связана с *Wüstungen*, или пустыми землями (см. *Schlesinger* в: Zur ostdeutschen Agrargeschichte, 1960, 48), однако какова эта связь? Зигмунд Вольф утверждает, к появлению *Wüstungen* вел процесс *Bauernlegen* [захвата крестьянских земель помещиками — *нем.*], что делало возможным создание системы *Gutswirtsschaft*. См. *Wolf* (1957, 323–324). Однако Бертольд утверждает, что реакцией на возраставшую эксплуатацию было бегство крестьян (*Berthold*, 1964, 16, 19).

[301] См. *Treue* (1955, 413), *Barraclough* (1962, 394), *Harnisch* (1968, 130–31), *Slicher van Bath* (1977, 111).

[302] См. *Kulischer* (1932, 12).

[303] *Carsten* (1954, 198)

[304] См. *Tapié* (1971, 123–124). Действительно, Габсбурги прекратили предоставлять освобождение от налогов для господской (сеньориальной) земли, которой в 1654 году была придана форма деревенской (общинной) земли (*Tapié*, 1971, 120).

[305] С одной стороны, в восточном Полабье существовал дополнительный институт *Gesindezwangdienst*, представлявший собой требование, чтобы дети крепостных служили в качестве домашней обслуги в особняке хозяина от одного года до че-

Как же в таком случае возникла Пруссия XVIII века? Приведем одно из соображений. Несмотря на то, что в восточном Полабье угнетение крестьян было сильнее, чем в Польше, концентрация земли была меньшей. Это в большей степени была система *Gutsherrschaft*, чем *Gutswirtsschaft*. Лютге напоминает высказывание Г.Н. Кнаппа: «Хозяин [*Gutsherr*] не стал более состоятельным экономически [*begüterer*] — он стал более могущественным». Лютге делает вывод, что именно это обстоятельство было источником роста власти князя (*Fürstenmacht*).[306] Нехватка реальной концентрации земель, средний размер большинства поместий и вытекающее из этого отсутствие «страты крупных магнатов» составляли разительное отличие между восточным Полабьем и другими периферийными территориями включая бóльшую часть Европы.[307] Это означало, что в противостоянии с потенциальной центральной властью класс юнкеров в экономическом отношении был менее способен захватить политические бразды, нежели землевладельцы в других периферийных зонах Европы XVII века. Эта слабость землевладельцев — непременное условие подъема Пруссии — едва ли была достаточным основанием для данного процесса, однако она сочеталась с благоприятной геополитической конъюнктурой.

тырех лет. См. *Kulischer* (1932, 14), *Slicher van Bath* (1977, 115). Как указывает Рутковский, все это сопровождалось настолько плохим отношением, что крепостные «предпочитали проводить десять лет в тюрьме, чем два года в услужении» (*Rutkowski*, 1926, 496), несмотря на то, что за эту службу полагалось жалование (хотя, конечно, и низкое). Рутковский полагает, что общий объем повинностей (услуги плюс налоги) крестьянина в восточном Полабье был больше, чем у крестьянина в Польше (*Rutkowski*, 1927a, 97). Система *Gesindezwangdienst* существовала также в Богемии, Моравии и Силезии. См. *Špiesz* (1969, 53).

[306] *Lütge* (1963, 117). Процитированное высказывание Кнаппа — из его работы «Освобождение крестьян в Австрии и Пруссии», репринт в: Grundherrschaft und Rittergut (1897, **I**, 34). См. тж. *Görlitz* (1956, 86), где говорится о социальной трансформации в Бранденбурге-Пруссии в XVII–XVIII веках: «Крестьянин больше не являлся просто вассалом [*Untertan*] аристократа; в качестве сословия аристократы стоят наравне с княжеским двором — и аристократы, и двор становятся вассалами государя. Аристократия более не определяет границы сферы социального действия [*Lebenswelt*] — скорее она становится функциональной частью социума». Это совпадает с объяснением у Рутковского бедственного положения крестьянина в восточном Полабье. Он утверждает, что подъем промышленности и королевской *Bauernschutz* (защиты крестьян) к XVIII веку привели к затруднениям в поиске людей для занятия сельским хозяйством. Следовательно, условия *Gesidezwangdienst* ухудшались, поскольку землевладельцы могли выжить экономически лишь путем еще большей эксплуатации подконтрольных им крестьян. См. *Rutkowski* (1926, 496). Шпис утверждает, что в поместьях восточного Полабья барщина использовалась меньше, чем в других частях Восточной Европы, несмотря на данные законом возможности, а работа в этих поместьях была в большей степени основана на «наемном труде семей, трудоустроенных на базе принудительного или добровольного найма» (*Špiesz*, 1969, 53).

[307] *P. Anderson* (1974a, 262). Кроме того, их относительная сила была еще больше подорвана во время Тридцатилетней войны, которая «определенно обозначила решительную перемену [к худшему] в благосостоянии поместий во многих германских землях» (*Carsten*, 1959, 437).

До окончания Тридцатилетней войны курфюрст Бранденбурга был «едва ли чем-то большим, чем крупным помещиком (super-Junker)»[308] в своих разбросанных и беззащитных землях без значительных ресурсов или торгового богатства; к тому же в этих землях находились «некоторые из самых упрямых независимых городов и непокоренных аристократов Европы».[309] Тридцатилетняя война была одновременно и низшей точкой власти Гогенцоллернов, и их великой возможностью — отчасти благодаря чистой удаче.[310] Последняя заключалась в том, что курфюрст Бранденбурга унаследовал ряд земель по косвенной линии: в 1609 году — герцогство Клеве (территория которого примыкала к Соединенным Провинциям в северном течении Рейна), в 1625 году — Пруссию (расположенную на Балтике и примыкавшую к Польше, будучи фактически под ее сюзеренитетом), а в 1637 году — Померанию. Тем самым Бранденбург очутился на двух главных театрах военных действий — в Рейнской области и на Балтике, приобретя земли «громадной стратегической важности», которых «вожделели» различные европейские государства. Причем это было сделано «без каких-либо военных усилий» со стороны Бранденбурга, что в то время выглядело невозможным.[311] Более того, великие державы позволили Бранденбургу удержать эти вожделенные земли. К тому же Померания, которая была оккупирована Швецией в момент притязания на нее Бранденбурга в 1637 году, в результате поддержки Франции была признана его частью по Вестфальскому миру.[312] В этом отношении Бранденбург был одним из первых, кто получил выгоду от баланса сил в Европе. Другие страны поддерживали его расширение с целью сдерживания шведов, а для того, чтобы шведский король не смог положить конец этому счастливому для Бранденбурга положению дел, «великий курфюрст» Фридрих Вильгельм обратил свои мысли в направлении создания бюрократии и армии, которые могли бы поддерживать увеличившуюся территорию.[313]

В этот момент юнкеры могли не иметь достаточного экономического потенциала, чтобы создавать мини-армии, хотя их собратья, польские

---

[308] *Rosenberg* (1958, 31).

[309] *Howard* (1976, 67). См. тж. *Gesindezwangdienst Carsten* (1969, 544): «Одна из удивительных вещей германской истории заключается в том, что в конце XVII века на столь неблагоприятной почве внезапно выросло сильное централизованное государство, ведь Брандербургу, казалось, было суждено пойти по пути Польши или Мекленбурга».

[310] *Carsten* (1954, 179). Карстен утверждает, что война представила им «счастливые обстоятельства» (*Carsten*, 1950, 177).

[311] *Carsten* (1950, 178). Клеве и близлежащие Марк и Равенсбург до Тридцатилетней войны были, кроме того, территориями, имевшими серьезную промышленность.

[312] «Гогенцоллерны вышли из Тридцатилетней войны наиболее значимым немецким правящим домом после Габсбургов» (*Carsten*, 1969, 544), однако Передняя Померания отошла к Швеции.

[313] П. Андерсон делает особенный акцент на роль Швеции в качестве «восточного молота», который создал прусский абсолютизм как «прямой ответ на надвигающуюся шведскую угрозу» (*Anderson*, 1974a, 198–199).

магнаты, были в состоянии это делать. Однако не был силен и бранденбургский курфюрст, поэтому он выискивал налоги, чтобы создать армию, достаточно сильную для налогообложения юнкеров против их воли.[314] «Великое соглашение»* 1653 года было первым шагом в том гениальном компромиссе, в результате которого Великий курфюрст передал юнкерскому классу все доходы от их поместий (которые, напомним, были не так уж велики) плюс новые доходы от включения в государственную бюрократию в обмен на полномочия жестко притеснять крестьянство и городское население. Тем самым курфюрст обеспечил возможность создания сильной бюрократии и армии, которая обезопасила государство от внешних врагов и фактически позволила его наследникам проводить в стране политику промышленного роста (без того, чтобы юнкерский класс желал ее предотвратить или был способен это сделать). Подобный компромисс мог представляться для правителей разумным и в других странах — для короля Польши, Габсбургов в Австрии, Бурбонов в Испании. Почему же только Бранденбург смог его осуществить? Для ответа на этот вопрос рассмотрим дальнейший ход событий. Вплоть до 1653 года главным налогом в Бранденбурге была так называемая (военная) контрибуция — земельный налог, который не распространялся на знать. В сельских территориях один из ее представителей, назначенный другими, расписывал ставки этого налога между крестьянами, чтобы обеспечить валовый сбор налога по всей области. Доход, который таким способом получало государство, был весьма невелик.

В 1650 году курфюрст собрал сословия, надеясь убедить их позволить ему установить в подражание голландцам акцизный налог (т.е. косвенный налог на товары), от которого не был бы освобожден никто. Однако то, что могли делать государства центра, такие как Соединенные Провинции, оказывалось политически невозможным для периферийного государства, даже если его возглавлял разумный и амбициозный правитель. Аристократия отказалась проголосовать за акциз. Но в эти беспокойные времена по-прежнему представлялась очевидной необходимость в армии. Поэтому обе стороны сошлись на соглашении 1653 года, которое было обоюдным решением. Курфюрст получал дополнительно полмиллиона талеров в виде налогов в течение шести лет, но лишался акциза и при этом шел на определенную уступку юнкерам — на дальнейшую институционализацию крепостного права. Наиболее важным пунктом была правовая презумпция считать крестьян крепостными (*leibeigen*), если те не могли доказать обратного. Но если бы на этом все заканчивалось, то сегодня мы едва ли вспоминали бы о соглашении 1653 года — оно казалось бы очередной победой аристократии в очередном периферийном государстве XVII века. Однако это соглашение

[314] Франц Меринг утверждает это в емкой формулировке: «Если курфюрст Фридрих Вильгельм <...> вообще был намерен и дальше оставаться государем после Тридцатилетней войны, ему, очевидно, нужна была армия. Однако не менее очевидно, что без юнкеров он не мог держать под ружьем единую команду, не говоря уже о том, чтобы делать это в противостоянии юнкерам» (*Mehring*, 1975, 47).

представляло для Великого курфюрста «тонкую грань клинка» (edge of the wedge),[315] которая затем была использована во время Северной войны 1655–1660 годов. Мы уже рассматривали эту войну в качестве момента, когда военная роль Швеции на Балтике достигла своей высшей точки. Швеция тогда разгромила Польшу и Данию, остановила продвижение русских и получила Сканию, а вместе с ней один из берегов Зунда.

В какой момент в эти события включается Бранденбург? До 1657 года он был союзником Швеции против Польши, а затем перешел на другую сторону — при голландской поддержке. Соответственно, это предотвратило поглощение Швецией Польши или, по меньшей мере, ее побережья, а Бранденбург приобрел полный суверенитет над Пруссией. Тем самым Бранденбург служил голландцам (а также англичанам), устанавливая пределы мощи Швеции. Бранденбург был единственным государством, способным на это в рассматриваемое время, поскольку у него была армия, созданная благодаря налогам, полученным в результате соглашения 1653 года. В самом Бранденбурге Великий курфюрст мог обратить этот геополитический успех в свое непосредственное преимущество — именно поэтому Карстен полагает, что поворотной точкой в росте государственной мощи Бранденбурга была Северная война, а не договор 1653 года.[316] Рассмотрение деталей последующих успешных политических маневров Великого курфюрста (различные встречи парламентов разных территорий, те или иные декреты, сокрушение бюргерского мятежа в Кёнигсберге в 1674 году) менее важно, чем анализ того, что изменилось к концу его правления, которое завершилось в 1688 году, накануне Славной революции и Девятилетней войны*.[317]

Великий курфюрст реорганизовал тайный совет в качестве органа центральной администрации и создал для внедрения централизованных решений три типа бюрократии — финансовую, военную и судебную.[318] Эти бюрократии, хотя и универсальные по своему охвату, были «удивительно малы»[319] по размеру и останутся таковыми в XVIII веке. Возросший доход государства (3,3 миллиона талеров в 1688 году в сравнении с 1

---

[315] *Carsten* (1950, 188).

[316] *Carsten* (1954, 189): «По сути дела, <...> непохоже, что Фридрих Вильгельм в этот поворотный момент имел какой-либо план по превращению в абсолютного монарха и правлению против воли парламента. Пойти этим путем его в гораздо большей степени заставили обстоятельства, прежде всего влияние международных дел на внутренние события».

[317] Детальное рассмотрение этой политической истории можно найти в: *Carsten* (1954, ч. III).

[318] См. *Dorwart* (1953, 17); *Braun* (1975, 134–140). Отто Гинце говорит о «поразительной аналогии между тем процессом, который создал административную структуру французского *Ancien régime* [старого порядка — *фр.*], и появлением прусского комиссариата. <...> [Провинциальные] интенданты занимали то же место в административной системе старой Франции, что и управления войны и поместий в старой Пруссии» (*Hintze*, 1975b, 275).

[319] *Dorn* (1932, 261). «Во всем королевстве было не более 14 тысяч чиновников каждой категории. В то время, как во Франции старого порядка постоянные жалобы

миллионом в 1640 году)[320] был потрачен главным образом на поддержание оплачиваемой волонтерской армии, частично состоявшей из иностранцев. В 1653 году постоянное войско составляло 4 тысячи человек, в 1688 году — уже 30 тысяч.[321] Однако власть бюрократии кончалась у ворот юнкерских поместий, внутри которых верховной властью обладал *ландрат* (управляющий графства), избранный его сотоварищами-юнкерами.[322] Но у государства Бранденбурга-Пруссии имелся один рычаг против владельцев поместий, которого не было у правителей Польши, Австрии, Дании и Швеции, — тот факт, что в Бранденбурге было мало *крупно*масштабных поместий. Это обстоятельство в сочетании с тяжелыми временами,[323] масштабным военным опустошением[324] и недостаточными естественными ресурсами почв[325] означало, что «работа на короля Пруссии в большей степени могла удовлетворять материальные амбиции. <...> В условиях XVII–XVIII веков это был один из лучших и кратчайших путей либо стать богатым, либо приумножить свое богатство».[326] Поскольку в стране не было владельцев *громадных* поместий, это был не просто «лучший и кратчайший путь» — это был фактически единственный путь.

народа заключалась в том, что чиновников было слишком много, в Пруссии жаловались на то, что их недостаточно. Прусский король не мог позволить себе трудоустройство избыточных чиновников». Дорн имеет в виду ту масштабную бюрократическую структуру, которая уже существовала в XVIII веке — а применительно ко времени Великого курфюрста это *a fortiori* [тем более — *лат.*] верно. Аналогичным образом Джеффри Барраклу, также указывая на XVIII век, утверждает, что «отличительными признаками прусской администрации были бережливость, жесткая экономия на издержках и тщательное управление, дававшее этот результат» (*Barraclough*, 1962, 400).

[320] См. *Finer* (1975, 140). О сборе налогов см. *Rachel* (1911, 507–508), *Rosenberg* (1958, 49–50) и *Braun* (1975, 271–273). Карстен утверждает, что городской акцизный налог был настолько кривобоким по своим последствиям, что «стал барьером для экономического развития городов» (*Carsten*, 1954, 198).

[321] См. *Finer* (1975, 139). Фридрих Вильгельм I (1713–1740) увеличил постоянную армию до 80 тысяч человек ((наполовину иностранцев) и сделал ее «несравненной в Европе по муштре и дисциплине» (*E. Barker*, 1966, 42).

[322] См. *Craig* (1955, 16) и *Braun* (1975, 273).

[323] «Безрадостный экономический климат конца XVII века представил землевладельческому классу еще один стимул сплотиться вокруг политического сооружения королевской власти, которое теперь воздвигалось в землях Гогенцоллернов» (P. Anderson , 1974a, 243).

[324] «Прежде всего, Пруссия была ужасно опустошена [в ходе Северной войны] перемещениями плохо дисциплинированных войск, грабежом, поджогами и иностранным вторжением» (*Carsten*, 1954, 208). Разумеется, Бранденбург и Клеве были опустошены еще и во время Тридцатилетней войны.

[325] Меринг говорит о «зыбком наследстве в Марке и Померании», указывая, что для юнкеров «каждое новое предприятие было столь же хорошо, как и новое поместье», потому что это «даже без мошенничества» давало им годовой доход в несколько тысяч талеров (*Mehring*, 1975, 54).

[326] *Rosenberg* (1958, 102). Меринг отмечает, каким образом армия, созданная Великим курфюрстом, решала проблемы бродячего люмпен-пролетариата, порожденного Тридцатилетней войной, и бедной знати, известной под термином

Соответственно, юнкеры усердно работали в своих поместьях[327] и в то же время желали усиления государственной бюрократии Бранденбурга-Пруссии в качестве необходимого места своего трудоустройства.[328] Это, в свою очередь, открывало для государства возможность создания бюрократии модерного типа без сколько-нибудь существенного использования дорогостоящей промежуточной формы — продажи должностей.[329] Данное обстоятельство делало возможным удержание определенной закрытости[330] рядов знати (то, чего не могла сделать Франция), и в то же время сохранялся бережливый и эффективный государственный аппарат. В этот период Бранденбург-Пруссия, как и любое европейское государство этого периода, продвинулся по пути как сокращения «феодальных» прав аристократов над крестьянами, так и включения аристократов в государственную бюрократию. Однако, поскольку юнкерские поместья в лучшем случае имели лишь средние размеры, государственная структура[331] последовательно становилась все более мощной — сначала как военная сила, а затем и как сила, действующая в мире-экономике. Так что уже к началу XVIII века Пруссия стала полупериферийным государством.

Krippenreiter («рыцари на деревянных лошадях»). Представители данных групп стали, соответственно, солдатами и офицерами (*Mehring*, 1975, 48–49). См. тж. *Craig* (1955, 11). Розенберг указывает, что роль армии в социальном продвижении бедной знати была прервана в правление Фридриха I (1688–1733) в результате возведения в чиновничий ранг гугенотов и германских простолюдинов, но возобновилась при «короле-солдате» Фридрихе-Вильгельме I. Последний «методично нейтрализовал политическое беспокойство, успокаивал страхи и примирил большинство представителей юнкерского класса с ростом автократической центральной власти, призвав "резервную армию" аристократии вновь занять безопасное и высокочтимое положение в обществе путем приобретения статуса профессиональной служилой знати» (*Rosenberg*, 1958, 59–60).

[327] А.Дж.П. Тейлор утверждает, что эффективность и упорный труд «были добродетелями, которыми обладали именно юнкеры, а не немецкие бюргеры XVIII века» (*A.J.P. Taylor*, 1946, 29). П. Андерсон делает такое же заключение: «Прусские юнкеры конца XVII — начала XVIII веков были <...> компактным социальным классом небольшой страны с грубыми деревенскими традициями ведения дел» (*P. Anderson*, 1974a, 263). Упорный труд в своих поместьях, кроме того, вполне отвечал потребностям армии. «Торговлю пшеницей предопределяли быстрорастущая группа потребителей, военный спрос, увеличивающиеся производственные издержки и торговые наценки. Фридрих Вильгельм I в это богатое на проекты время установил тесную связь между политикой в торговле пшеницей, снабжением армии, поместной экономикой и реформой армии» (*Treue*, 1955, 423).

[328] «Уверенного и быстрого перехода от старых, укоренившихся *officiers* [чиновников — *фр.*] к выходящим на сцену "комиссарам" не было, в особенности в сфере персонального подбора кадров. Изначально те, кто слился с новой администрацией, были выходцами из потревоженной армии чиновников *Ständestaat* [сословного государства — *нем.*]» (*Rosenberg*, 1958, 56).

[329] См. *Rosenberg* (1958, 79, 83). С учетом экономического положения юнкеров у них было немного денег, чтобы покупать должности.

[330] Эта замкнутость не означала, что буржуа не могли становиться землевладельцами. Как отмечает Тройе, «в Померании, Мекленбурге, Бранденбурге, Богемии, Нижней Саксонии и Вестфалии многие полковники и генералы, богатевшие в каче-

Австрия в ряде моментов, конечно, обладала гораздо лучшим положением для того, чтобы играть роль, к которой стремилась Пруссия. В начале XVII века Австрия была крупной военной державой. Габсбурги были олицетворением Контрреформации и к середине XVII века добились возврата к католицизму Австрии, Чехии и большей части Венгрии. После битвы при Белой Горе в 1620 году Габсбурги сокрушили Богемское государство и «низвели [его] до статуса провинции».[332] Восстание превратило богемскую аристократию из независимого земельного класса в придворную знать и ликвидировало национальную буржуазию.[333] Кроме того, Габсбурги были способны рекрутировать офицерский корпус, не связанный с аристократией, как в Бранденбурге-Пруссии.[334] Однако Габсбурги никогда не могли трансформировать свои владения в связное интегрированное государство,

---

стве предпринимателей в своих полках и дивизиях, становились членами землевладельческого класса, покупая землю у аристократов, оказавшихся в долгах» (*Treue*, 1955, 414).

[331] Розенберг указывает, что во Франции после Фронды *noblesse de race* [потомственное дворянство — *фр.*] было фактически исключено из государственного аппарата на два поколения, а в Богемии и Моравии вместе с победой католической Контрреформации поднялась целая новая аристократическая группа. Однако в Пруссии сопротивление знати монархической власти «не разгорелось в организованный мятеж и кровавую гражданскую войну. Три великих Гогенцоллерна никогда не выталкивали юнкеров слишком далеко» (*Rosenberg*, 1958, 44). См. тж. по поводу сравнения с Францией в: *Carsten* (1954, 273). В Пруссии Фридрих Вильгельм I придал этому механизму новый поворот. Он открыл гражданскую бюрократию для простолюдинов (создавая «возможности для продвижения, не имевшие в прусской государственной службе ничего сопоставимого вплоть до 1920-х годов, когда прусское государство было твердыней социал-демократов»), при этом превращая армию в «тесно связанный корпус аристократов» (*Rosenberg*, 1958, 67, 70). Таким образом, две эти группы сдерживали друг друга, но имели основание быть довольными государством.

[332] *Kavke* (1964, 59).

[333] См. *Kavke* (1964, 55, 57). Конечно, положение аристократии некоторым образом восстановилось. Уильям Райт говорит о ее переходе «от надира 1627 года к зениту 1740 года» (*Wright*, 1966, 25) — а после 1740 года явились Мария Терезия и новая централизация. Однако не следует преувеличивать. Сам Райт пишет: «По мере того, как расходы Габсбургов росли [во второй половине XVII–XVIII веках], их налоговые требования становились все более значительными и настоятельными, а налоговое бремя для крепостных усиливалось. Когда крестьянин стал ослабевать под тяжестью налогов, государство заинтересовалось в нем как в производителе своего дохода и стало вмешиваться в ситуацию в его пользу — в пику хозяевам, которые, казалось, крестьянина уничтожат» (*Wright*, 1966, 21). Так, за крестьянским мятежом в Богемии 1679 года последовал так называемый *Robotpatent* [трудовой патент] 1680 года, который ограничивал барщину (*robota*) тремя днями в неделю. Полишенский рассматривает 1680 год как «водораздел» (*Polišenský*, 1978, 200). Кроме того, аналогичные документы были изданы в 1717 и 1738 годах. Данная схема на деле не отличается от той, что была в Бранденбурге-Пруссии. См. *Špiesz* (1969, 33–34); *von Hippel* (1971, 293–295); *Slicher van Bath* (1977, 117).

[334] См. *Kann* (1973, 9) и ср. с *T.M. Barker* (1978).

которое могло адекватно функционировать внутри межгосударственной системы. В капиталистическом мире-экономике могла процветать лишь относительно однородная государственная структура,[335] а австрийские Габсбурги испытывали те же проблемы, с которыми в большем масштабе столкнулся их предок Карл V.

Ключевым сдерживающим фактором для достижения подобной интеграции габсбургских владений была военная мощь турок. XVII век был столетием австрийской борьбы с османами, кульминацией которой стал *Türkenjahr* — [«турецкий»] 1683 год, когда Габсбурги успешно противостояли второй осаде Вены.[336] Габсбурги вышли из этой истории триумфаторами, однако победа имела свою цену в виде сделанных в этот период уступок венгерской знати, всегда готовой разыграть турецкую карту и тем самым предъявить требования на автономные права в пределах габсбургских владений.[337] Турецкая угроза с ее прямыми экономическими воздействиями и косвенными последствиями для структуры государства заставила Габсбургов, «возможно, больше других правителей»[338] XVII века страдать от неспособности раздобыть достаточно денег для своей казны, что делало их «отчетливо недообеспеченными».[339] К правлению Карла VI (1711–1740) Австрия могла содержать на базе собственных доходов армию размером только в половину французской и фактически лишь ненамного превосходящую прусскую.[340] Следовательно, в плане эффективности своих меркантилистских устремлений Австрия с вдвое большей армией и гораздо большим богатством и населением могла достичь немногим больше Пруссии.

Нужно четко уяснить различие между меркантилизмом центральных держав, таких как Англия и Франция, и меркантилизмом полупериферийных держав. Вильгельм Тройе обозначает это различие так:

---

[335] Бранденбург, по контрасту, трансформировал изначально очень разнородное население (см. *Treue*, 1955, 355) в этнически весьма однородную державу уже к началу современной эпохи. См. *Carsten* (1941, 75 и 1947, 147).

[336] См. детальное рассмотрение этого в: *T.M. Barker* (1967).

[337] П. Андерсон называет Венгрию «непреодолимым препятствием к военному монархическому государству», а «близость турецкой военной мощи <...> — решающей объективной помехой к распространению на Венгрию централизованного австрийского абсолютизма» (*P. Anderson*, 1974a, 314–315).

[338] *Bérenger* (1973, 657), в данной статье разбирается последовавшая за этим зависимость от государственных займов. Жан Беранжер отмечает, что эти займы были действительно доступны, в связи с чем финансовое положение императора Леопольда I (1657–1705) «было не таким отчаянным, как обычно полагают и как любил заявлять сам император» (p. 669). Однако долгосрочные последствия зависимости от частных финансистов не способствовали усилению государственного аппарата. Вместе с тем следует отметить, что войны с Турцией имели положительное воздействие на сельское хозяйство (и тем самым, очевидно, на налогооблагаемую базу), поскольку оно становилось необходимым для снабжения войск. Ингомар Бог (*Bog*, 1971) придает войнам роль главного фактора в восстановлении всех германских земель после Тридцатилетней войны, которая не выполнила данную функцию из-за военных опустошений. Однако не воздействовали ли военные опустошения на сельское хозяйство и в ходе Турецких войн? См. *T.M. Barker* (1967, 282–284).

[340] См. *Wangermann* (1973, 14).

> «В то время, как в основе своей и среди великих держав [меркантилизм] соответствует экономической политике агрессии и экспансии, в Германии он был связан с оборонительной задачей самоутверждения — нужно было в большей степени закрепиться на рынках, чем захватить их, скорее отразить господство других, в особенности западных, соседей, чем претендовать на то, чтобы доминировать самому». [341]

Весь промежуток от Тридцатилетней войны до окончания Наполеоновской эпохи был временем меркантилизма (камерализма) во всех германских землях, а фактически и во всей Центральной Европе.[342] Меркантилистская политика Габсбургов восходит примерно к 1660 году.[343] Гогенцоллерны, начиная с Великого курфюрста, сделали ее центральной в своей управленческой практике.[344] Подлинный вопрос заключается в том, что именно было достигнуто этими меркантилистскими мерами. С одной стороны, возможно, и правда, что результаты государственного поощрения мануфактур в промежутке 1650–1750 годов нигде не оказались «слишком удовлетворительными».[345] В самом деле, Якоб ван Клаверен утверждает, что в отсталых странах меркантилизм был «*псевдо*меркантилизмом», подлинной целью которого было «обогащение местных сановников», и что «никто в действительности не ожидал, что меркантилизм будет успешен».[346] Не сказать ни слова больше (хотя это в некоторой степени и верно) — значит проигнорировать различие между полупериферийными странами, которые могли быть, по меньшей мере, псевдомеркантилистскими, и периферийными, которые были неспособны даже на это.

---

[341] *Treue* (1974, 106–107). В качестве свидетельства, что меркантилизм никогда не является полностью оборонительным средством, см. рассмотрение у Рейнгольда Дорварта того, почему в Германии вновь была продемонстрирована толерантность по отношению к евреям. Дорварт говорит о «почти безрассудной вербовке евреев германскими князьями для поддержания восстановления коммерции из руин, в которых она оказалась после Тридцатилетней войны» (*Dorwart*, 1971, 212). Как именно помог допуск евреев в экономику, понятно из описания Дорвартом решения Великого курфюрста в 1650 году позволить евреям вернуться в Бранденбург из Польши: «В ситуации, когда устье Одера находилось в руках шведов, возобновление прямой торговли с Польшей могло быть полезной функцией еврейских купцов» (*Dorwart*, 1971, 122). Мнение, что меркантилизм с точки зрения социально-экономической структуры страны был «естественным» во Франции, но не в Бранденбурге-Пруссии, см. в: *Kruger* (1958, 65). Позиция Крюгера — это часть полемики против того, что он называет «легендой Гогенцоллернов» о «социальной монархии», которую пропагандировали немецкие буржуазные историки со времен Шмоллера (*Kruger*, 1958, 13).

[342] См. *Lütge* (1966, 321–322); *Bog* (1961, 134–135, 139); *Klima and Macůrek* (1960, 98).

[343] См. *Tremel* (1961, 176); *Klima* (1965, 107); *Zollner* (1970, 283).

[344] См. *von Braun* (1959, 611-614) и *Kisch* (1968, 4).

[345] *Kulischer* (1931, 13).

[346] *Van Klaveren* (1969b, 149-150). Дейон указывает, что «меркантилистские проекты были универсальными», но «часто это были просто импульсы, полностью формальные решения, рекомендации, полностью лишенные эффективности» (*Deyon*, 1978a, 208).

В равной степени ясно, что меркантилизм полупериферийных стран в ходе этого длительного промежутка спада заложил основы[347] существенного развития мануфактурных видов деятельности в период новой экспансии мира-экономики после приблизительно 1750 года. Поэтому следует пристально посмотреть на события в первой половине XVIII века, когда Швеция была, так сказать, выбита из соревнования, а Пруссия и Австрия на деле соперничали за то, кто будет той силой в Центральной Европе, которая может завладеть преимуществом в дальнейшей европейской экспансии. В 1711 году на габсбургский трон взошел Карл VI, а в 1713 году на прусский престол вступил Фридрих Вильгельм I. В 1713–1714 годах Утрехтский и Раштаттский договоры завершили войну за Испанское наследство. Австрия приобрела Испанские (теперь ставшие Австрийскими) Нидерланды, Милан, Неаполь и Сардинию (которую в 1720 году обменяла у Савойи на Сицилию). В 1718 году Австрия получила от османов по Пожаревацкому миру Сербию, Банат* и Малую Валахию (уже приобретя до этого Венгрию и Трансильванию по Карловацкому миру 1699 года). Чтобы зарабатывать на новых возможностях балканской торговли, Австрия воссоздала свою *Wiener orientalisch Handelscompagnie* [Венскую восточную торговую компанию] (первая потерпела крах в 1683 году). В 1719 году Карл VI наконец оказался в состоянии объявить Триест и Фиуме** свободными портами — эта идея впервые была выдвинута еще в 1675 году.[348]

Поэтому 1719 год был поворотной точкой в австрийском "Drang Nach Meer" [натиск в направлении моря — *нем.*]. Теперь Австрия имела доступ и к Атлантике (в Остенде), и к Средиземноморью (в Триесте) и могла претендовать на то, чтобы конкурировать с Венецией и Гамбургом.[349] Казалось, Австрия наконец стала великой державой,[350] как вдруг она оказалась «одновременно не в ладах»[351] с Англией, Голландией, Францией и Испанией, поскольку всем им угрожали новые торговые претензии Австрии. Пруссия, конечно, в это время также значительно усиливалась. По Стокгольмскому договору 1719 года*** она приобрела последние шведские владения в Германии и теперь в военном отношении была сильнее Швеции, а к правлению Фридриха Великого унаследует «репутацию военной доблести в Европе», которая до смерти Карла XII принадлежала Швеции[352] Но еще в 1713 году Пруссия оставалась

[347] *Klima* (1965, 119). Йозеф Кулишер задается вопросом, был бы после середины XVIII века «достигнут быстрый рост промышленности во Франции, Пруссии, Австрии, Рейнланде и России, если бы он не был подготовлен в предшествующую эпоху, то есть в период кольбертизма» (*Kulischer*, 1931, 13–14).

[348] См. *Hassinger* (1942, 36–37).

[349] См. *Kaltenstadler* (1969, 489–498) и тж. *Kaltenstadler* (1972). Этот доступ к морю, в свою очередь, объясняет быстрый рост промышленного производства товаров из шерсти в Богемии, Моравии и Силезии в этот период. См. *Freudenberger* (1960b, 389–393).

[350] Дж.У. Стойес одобрением приводит заголовок книги О. Реддиха об Австрии между 1700 и 1740 годами — «Развитие великой державы» (см. *Stoye*, 1970a, 598).

[351] *Macartney* (1966, 397).

[352] *Samuelsson* (1968, 69).

«главным образом сельскохозяйственной страной»,[353] ресурсы которой были «ничтожно малы».[354] Тем не менее, к середине XVIII века роль Австрии будет ограничена функцией мировой державы второго плана, каковой она и останется вплоть до 1918 года, в то время как Пруссия была на пути к превращению в настоящую мировую державу. Мы уже рассмотрели ту специфическую внутреннюю структуру Пруссии, которая сделала это возможным,[355] однако перевес прусско-австрийского соперничества в пользу Пруссии невозможно объяснить без принятия в расчет хода англо-французского соперничества, которое мы обсудим в следующей главе.

Джеффри Барраклу считает, что два соперника в это время «стремились нейтрализовать друг друга».[356] Однако это не вполне верно. Пруссия привыкла уравновешивать Австрию и получила в качестве вознаграждения Силезию, которая имела политическую, экономическую и стратегическую ценность. Борьба за Силезию шла начиная еще с X века, и в XVII–XVIII веках она была тем предметом, который поглощал внимание большинства дипломатов Бранденбурга.[357] Силезия была «настоящей восточной промышленной территорией, <...> "драгоценным камнем" [австрийских] наследных земель».[358] Конечно, покупателями силезских тканей были английские,

[353] *Bruford* (1966, 293). «Прежде чем Пруссия смогла считаться действительно независимой европейской державой, ей необходимо было превозмочь серьезные трудности, которые были следствием географического расположения ее провинций, низкого уровня их экономического развития и нехватки в них людских ресурсов».

[354] *A.J.P. Taylor* (1946, 27). Тейлор добавляет к этому: «Ни промышленных зон, ни важных городов, ни выхода к морю, земля пустынна и невозделанна, знать бедна и невежественна, культурная жизнь фактически отсутствует».

[355] Превосходство Пруссии над Австрией в это время с точки зрения структуры государства становится очевидным из описаний Бетти Беренс и Ханса Розенберга. Беренс утверждает, что «при вступлении на престол Марии Терезии в 1740 году во владениях Габсбургов не было ничего напоминающего центральную администрацию, не говоря уже о нации. Центральная администрация стала появляться только после 1748 года, и то лишь в так называемых наследных германских землях Австрии и Богемии» (Behrens, 1977, 551). А в Пруссии одна только административная унификация относится к правлению Фридриха Вильгельма I, то есть за 30 лет раньше (см. *Behrens*, 1977, 557). Однако «в основном направлении развития при Старом порядке Пруссия Гогенцоллернов двигалась в ногу с другими абсолютистскими государствами Европы. Возможно, ее наиболее отличительной характеристикой было то, что <...> многие политические новшества, административные реформы и налоговые меры были доведены до крайностей ее не в меру ретивыми лидерами» (*Rosenberg*, 1958, 23).

[356] *Barraclough* (1962, 386).

[357] *Leszczyński* (1970, 104).

[358] *Tremel* (1961, 177). «Силезские полотняные ткани нашли экспортный рынок в Голландии и Англии, Польше и России. Голландским купцам они требовались для Испании, Португалии и Леванта. Силезский *Schleier* [вуаль — *нем.*] [легкий прозрачный женский головной убор, сделанный из полотняной ткани или полотнообразного хлопка — *И.В.*] экспортировался в Африку, Кюрасао и Индонезию. Силезская шерсть играла доминирующую роль на соответствующем рынке». Еще одной причиной, почему Силезия была «драгоценным камнем», заключалась в ключевой роли ее столицы Бреслау в наземных перевозках в восточном направлении, в

голландские и гамбургские купцы, поэтому можно сказать, что Силезия была отражением «классической модели колониального проникновения».[359] Однако производство было местным. Оно получило особенное развитие после Тридцатилетней войны в форме *Kaufsystem* на деревенском уровне — сельские торговцы затем продавали продукцию более крупным купцасельские торговцы затем продавали продукцию более крупным купцам, участвовавшим в централизованном контроле за качеством.[360] Во многих случаях мануфактуры располагались в поместьях с землевладельцем-предпринимателем и крепостными, работавшими за заработную плату.[361] Широкий размах этих промышленных видов деятельности может объяснять то, что из трех богемских земель Габсбургов — Богемии, Моравии и Силезии — последняя была известна «относительно мягкими договоренностями между хозяевами и крепостными».[362] Получив Силезию в качестве приза в войне за Австрийское наследство в 1748 году, Пруссия тем самым приобрела «самую процветающую и индустриализированную провинцию»[363] в габсбургских владениях.

Для Австрии это был «ошеломляющий удар» — не только из-за промышленного производства Силезии, но и потому, что эта территория была «главным торговым посредником» между Габсбургской монархией и внешним миром.[364] Последствия утраты Силезии достигли также Богемии и Моравии, поскольку вплоть до 1742 года моравские вязальщики и ткачи продавали свои изделия силезским торговцам. Если бы это продолжалось и дальше, что позволял мирный договор, то эти преимущества оказались бы «экономически зависимыми от прихотей Пруссии».[365]

Австрия была вынуждена вернуться к прежним условиям. Тем самым приобретение Пруссией Силезии оказалось главным событием, которое существенно поддержало индустриализацию XIX века.[366] Это стало возможным благодаря созданию прусской армии и государства вкупе с потребностями англичан (а также голландцев) в сдерживании шведов, а затем в срыве планов Австрии; причем возможность создания прусской армии и государства появилась благодаря свойственной Пруссии слабости земельной знати в сравнении с другими периферийными государствами. Это было

которых она приобрела монопольное положение (*Wolański*, 1971, 126). См. тж. *Hroch* (1971, 22).

[359] *Kisch* (1959, 544). Растущая значимость роли Гамбурга в XVIII веке за счет голландцев рассмотрена в: *Liebel* (1965b, 210–216).

[360] См. *Klíma* (1959, 37–38).

[361] См. *Aubin* (1942, 169) и *Klíma* (1957, 92).

[362] *Wright* (1966, 20). Несмотря на эту мягкость, в конце XVII–XVIII веках произошло несколько крестьянских восстаний, подавленных военной силой. См. *Kisch* (1959, 549), ср. *Michalkjewicz* (1958) и *Tapié* (1971, 121).

[363] *P. Anderson* (1974a, 317). О значимости приобретения Пруссией Силезии см. тж. *von Braun* (1959, 614–616).

[364] *Freudenberger* (1960b, 184).

[365] *Freudenberger* (1960a, 351).

[366] См. *Kula* (1965, 221).

следствием стечения обстоятельств в ходе столетия — обстоятельств, которые позволили Бранденбургу, крайне незначительной периферийной территории, стать к 1750 году полупериферийной европейской державой с огромнейшим потенциалом трансформации своей роли в мире-экономике.

Последняя полупериферийная зона, созданная в эту эпоху и весьма отличавшаяся от других, включала Новую Англию и центральноатлантические колонии британской Северной Америки. Колонизация этих территорий началась только в 1620 году, и за исключением, возможно, Нового Амстердама как стратегического торгового форпоста голландской мировой сети, данные территории до 1660 года не были даже частью капиталистического мира-экономики.[367] А Нью-Джерси, Пенсильвания и Делавэр в действительности были колонизированы англичанами лишь в период Реставрации.[368] Именно 1660 год был поворотным моментом для Северной Америки, поскольку это был поворотный момент для Англии. Он был отмечен институционализацией меркантилистской доктрины, согласно которой «интересы колоний [следовало подчинять] благу нации».[369] Различные английские навигационные акты 1660-х годов заметно влияли на производителей Вест-Индии и Чесапикской долины, превращая наиболее важную колониальную продукцию — сахар, табак, красильное дерево и т.д. — в «пронумерованные» товары', которые данный статус предписывал перевозить на английских кораблях и продавать английским покупателям. Первоначально упомянутые акты едва ли имели негативное воздействие на северные колонии, отчасти потому, что последние в малой степени подвергались принуждению, отчасти — поскольку колонии не производили много «пронумерованной» продукции.[370] В действительности же это воздействие можно назвать позитивным в том смысле, что навигационные

[367] См. описание Новой Англии в 1660 году у Уэсли Крэйвена: «Ее хозяйство <...> было в своей основе аграрным. <...> Типичный город Новой Англии был фермерской деревней. <...> Однако за пределами Бостона, на тот момент города с населением, возможно, в 3000 душ, натуральное сельское хозяйство настолько превосходило любые иные виды деятельности, что даже пастора временами приходилось искать в поле» (*Craven*, 1968, 18).

[368] См. *Craven* (1968, 68–103) о «Реставрации колоний», которые также включали обе Каролины и Нью-Йорк, захваченный у голландцев в 1664 году.

[369] *Bailyn* (1955, 112–113). *Институционализация* — это ключевой термин. Кромвель тоже был меркантилистом, но «английские колонисты пытались использовать Гражданскую войну в качестве благоприятной возможности установить определенную меру независимости, и республика терпимо относилась ко многим подобным претензиям, пока дело не касалось лояльности Стюартам. <...> Завершающий период [противостояния английского правительства и колоний] <...> был временем реставрации Стюартов, а не кромвелевских республиканцев» (*Rich*, 1961, 330–331).

[370] Крэйвен утверждает, что они не испытывали «неблагоприятных воздействий» (*Craven*, 1968, 39). Кёртис Неттельс говорит, что между 1685 и 1720 годами Новой Англии и Нью-Йорку «мало что было экспортировать в Англию» (*Nettels*, 1933, 326). Бернард Бейлин отмечает, что постановление 1673 года, которое требовало двойного налогообложения купцов Новой Англии (в порту разгрузки и в порту ввоза), но оставляло только однократное обложение для английских купцов, вызвало протест как «масштабная дискриминация» (*Bailyn*, 1955, 151). Как полагает Майкл Кэммен, в конце 1670-х годов

акты стимулировали в этих колониях кораблестроение, вытесняя из Северной Америки голландцев «прежде, чем английское мореплавание смогло полностью удовлетворить нужды колоний».[371]

В XVII веке эти колонии производили мало полезного для продажи в Англии и были слишком малы, чтобы обеспечивать бóльшую часть рынка для английских товаров, однако они конкурировали в морской торговле и тем самым представлялись чуть ли не препятствием для Англии. В некоторой степени это было превентивное удержание: Англия держалась за эти колонии отчасти из страха, что их приберет к рукам Франция.[372] Стюарты пошли на отмену привилегий и добились наиболее эффективного контроля над своими проблемными дочерними колониями путем создания в 1684 году доминиона Новая Англия. Эти территории могли быть эффективно превращены в периферию, если бы не сопротивление Новой Англии политике Стюартов, совпавшее с внутренним мятежом в Англии, кульминацией которого стала Славная революция, «покончившая с угрозой для колонистов или, по меньшей мере, отложившая ее».[373] Таким образом, это произошло благодаря «неумышленному пренебрежению колониями» (Элеанор Лорд). Однако лучше говорить о внутренних трудностях осуществления великого английского меркантилистского проекта — уже к 1700 году Новая Англия и купцы Средней Атлантики «сделали огромные успехи» не только как кораблестроители, но и как торговые посредники.[374]

Эти купцы были вовлечены в так называемую трехстороннюю торговлю, у которой в действительности существовало много вариантов. В треугольнике, включавшем Африку и Вест-Индию, вест-индская патока направлялась в северные колонии, откуда ром и безделушки шли в Африку, а африканские рабы — в Вест-Индию. В треугольнике с Англией и Вест-Индией из северных колоний в Вест-Индию направлялась провизия и бревна, сахар и табак из Вест-Индии шли в Англию, а английские мануфактурные товары — в северные колонии (либо приходивший оттуда корабль продавался в Англии). В третьем, с меньшим периметром треугольнике с Южной Европой и Англией пшеница,[375] рыба и пиломатериалы из северных колоний направлялись в Южную Европу, южноевропейские вина, соль и фрукты шли в Англию, и вновь английские мануфактурные товары уходили в северные колонии.

Следует подчеркнуть два момента, связанных с этими знаменитыми треугольниками. Прежде всего, это в значительной степени теоретические

жители Нφвой Англии начали осознавать , что они были «особым кругом, отличным от других соперничающих групп в Лондоне» (*Kammen*, 1970, 37).

[371] *Nettels* (1952, 109, см. тж. 1931b, 9–10).

[372] См. рассмотрение этого в: *Beer* (1912, I, 51–53).

[373] *Barrow* (1967, 34–35). См. тж. *Bailyn* (1953, 386) и *Craven* (1968, 246).

[374] *Lord* (1898, 105).

[375] Слихер ван Бат даже заявляет, что во второй половине XVII и первой половине XVIII веков «лишь крупные [европейские] землевладельцы могли выращивать зерновые достаточно дешево, чтобы конкурировать с зерном из Пенсильвании» (*Slicher van Bath*, 1963a, 220).

конструкции: они в гораздо большей степени представляют собой движение товаров, нежели реальные перемещения кораблей. Корабли из северных колоний были сосредоточены на челночном маршруте в Вест-Индию и обратно, лишь в незначительной степени совершая плавания через Атлантику в Англию и совсем немного походов в Африку.[376]

Во-вторых, англичане давили на северные колонии с целью поддержания неблагоприятного баланса прямой торговли, и это означало, что колониям приходилось обеспечивать себя монетой, если они хотели приобретать мануфактурные товары. Поскольку трехсторонняя торговля не приносила необходимого количества драгоценных металлов, колонии должны были либо расширять собственные мануфактуры (и, соответственно, сокращать импорт из Англии), либо искать какой-либо крупный рынок.[377] В первой половине XVIII века политическая борьба североамериканских колоний с Англией сосредоточилась вокруг того, какая из данных альтернатив будет реализована. В XVII веке северные колонисты постепенно стали конкурировать с английскими производителями как кораблестроители, флотоводцы и поставщики провианта в Вест-Индию и Европу. Согласно меркантилистской доктрине, они были «скорее конкурентами, <...> [чем] активом», и тем самым имели «наименьшую ценность среди британских владений».[378] После 1689 года англичане сделали сознательное усилие[379] по исправлению положения — они попытались расширить функции колоний в качестве рынка для английских мануфактур путем

---

[376] *Walton* (1968b, 365–371). Причина этого носила экономический характер. Знакомство между купцом и его агентами значительно сокращало риски, и это вело к специализации маршрутов. Экипажам кораблей на трехсторонних маршрутах платили, когда корабль находился в порту, в отличие от экипажей кораблей на челночных маршрутах (*Walton*, 1968b, 386–389). Джилман М. Острандер идет еще дальше, сомневаясь в подлинности данной конструкции, поскольку в действительности корабли не совершали путешествий по трехсторонним маршрутам. Он приписывает само понятие трехсторонней торговли идеологическим потребностям XIX века (*Ostrander*, 1973, 642).

[377] *Lord* (1898, 124–125).

[378] *Barrow* (1967, 8). Неттельс полагает, что подобное рассуждение отрицает «невидимые доходы» Англии от северных колоний, а именно потоки монеты и драгоценных металлов, плоды пиратства, «приобретение» услуг короны и даже кораблестроение для английских покупателей. Однако эти невидимые доходы именно такими — менее заметными — и были, а значит, они могли быть не в состоянии существенно изменить представление англичан о ценности северных колоний (см. *Nettels*, 1933, 344–347).

[379] Каким бы сознательным ни было усилие по увеличению ценности северных колоний для Англии, нет сомнения, что в сравнении с отношением англичан к колониям большого Карибского бассейна это было пренебрежительное отношение. А.Г. Франк полагает, что подобное пренебрежение, объясняемое «сравнительной *бедностью* земли и климата, а в равной степени и <...> отсутствием рудников», было приятным сюрпризом для этих колоний, поскольку позволяло им развиваться отличным образом от тропических и субтропических колоний (*Frank*, 1979b, 60). Томас Барроу рассматривает «политику "спасительного прене-

поощрения производства новых базовых товаров (корабельных материалов) и удушения зарождающегося индустриального производства.[380] Как «создать» рынок на отдельно взятой территории? — путем вовлечения ее населения в производство для мира-экономики, а если там не хватает людей с достаточно высоким уровнем дохода, то стимулировать «поселение» на этой территории. Англичане взяли именно последний курс, и это существенно отличало их от французов, голландцев и даже испанцев и португальцев на Американском континенте.[381]

В действительности между 1713 и 1739 годами имел место особенно значительный поток мигрантов, прежде всего в среднеатлантические штаты. Поскольку англичане не желали массово эмигрировать, Англия в это время осуществляла данный процесс путем открытия британской

брежения"» под другим углом. Он указывает, что, по меньшей мере, в XVIII веке «поддержание удовлетворенности колонистов [британской Северной Америки] требовало политики умиротворения, а не принуждения. Следовательно, Уолпол и его последователи стали руководствоваться принципом "не до жиру — быть бы живу". Тем самым политической максимой Уолпола в управлении колониями стала фраза *Quieta non movere* [успокаивать, а не беспокоить — *лат.*]» (*Barrow*, 1967, 116, 134).

[380] См. *Nettels* (1931a, 233). Что касается хронологии, то Неттельс ссылается на точку зрения Дж.Л. Биэра, согласно которой североатлантические колонии стали рассматриваться как рынок лишь после 1745 года. Неттельс утверждает, что данное представление неверно и что эти колонии воспринимались подобным образом уже в конце XVII века (см. *Nettels*, 1931a, 230–231). Кэммен утверждает, что после 1713 года «все колониальные ресурсы [включая ресурсы северных колоний] рассматривались [англичанами] как важные с точки зрения вклада в создание самодостаточной империи» (*Kammen*, 1970, 46). Однако Стюарт Бручи считает, что это произошло «в более поздний колониальный период» (*Bruchey*, 1966, 8). Наиболее раннюю дату приводит Коулмен — по его утверждению, «североамериканские колонии Англии демонстрировали наиболее поразительный чистый прирост спроса уже после 1650 года. Тем самым открывался эксклюзивный рынок для английской индустриальной продукции в тот самый момент, когда внутриевропейская торговля сжималась, а конкуренция усиливалась» (*Coleman*, 1977, 197–198).

Возможно здесь перед нами намерение (возникшее в 1690-х годах), переходящее в стадию реализации (к середине XVIII века). Совокупные данные Д.А. Фарни по американским колониям показывают, что принадлежавшая им доля рынка английских товаров выросла с 10% в 1701–1705 годах до 23% в 1766–1770 годах, а доля колониального импорта в Англию — с 19 до 34%. Роль континентальных колоний (включая северные и южные) впервые превзошла роль Вест-Индии в 1726–1730 годах. Фарни предполагает, что результатом этой «американизации» (термин заимствован у Вернера Шлоте) английской внешней торговли стала «фактическая сверхзависимость», объясняющая английские экономические трудности во второй половине XVIII века (*Farnie*, 1962, 214). На меня это производит впечатление очень сомнительного утверждения — фактически речь идет о меркантилистской идеологии, доведенной до крайности. Скорее суть дела, как мы увидим далее, в том, что Англия была не в состоянии удержать северные колонии от превращения в полупериферийную зону (и в этом смысле Англия создавала некоторые из их будущих трудностей) — а если не от этого, то от чего-либо другого.

[381] См. *Nettels* (1933, 322).

Северной Америки для неангличан: шотландцев, ольстерцев и так называемых «голландцев» (которые на деле были немцами и швейцарцами).[382] Англичане надеялись, что эти новые мигранты будут задействованы в производстве нового «главного» товара — корабельных материалов. Это сулило Англии не только экономическое, но и военное превосходство. Корабельные материалы долго были «серьезным дефектом»[383] английской колониальной торговли, и в течение XVII века «постоянной целью»[384] английской политики было исправление этой ситуации. Данный недостаток оказался еще более острым, когда в 1689 году разразилась Девятилетняя война. Почти все производство или транзит английских корабельных материалов были в руках шведов, которые соблюдали нейтралитет, но находились на французской стороне, и это было «постоянной причиной для беспокойства».[385] Очевидным альтернативным источником были северные колонии (а также Ирландия). В 1696 году Англия создала Бюро (Министерство) торговли и плантаций, одной из первых задач которого стало освобождение от зависимости от Швеции. Бюро попыталось создать монополию на реализацию этой задачи, но подобный подход вызвал значительное сопротивление.[386]

Война за Испанское наследство вновь обострила эту проблему, причем ситуация дополнилась созданием монопольной Стокгольмской смоляной компании. Это привело к принятию Акта о корабельных товарах 1705 года, когда было решено полагаться на правительственные премии как стимул для производства в северных колониях.[387] Освобождение Англии от зависимости от Швеции определенно было не единственным мотивом для этого акта. Неттельс приводит три довода в пользу того, что его главной целью и даже исходным мотивом было создание рынков в северных колониях. Во-первых, зависимость Англии от Швеции имела место фактически только по двум статьям — смоле и дегтю, в то время как Акт о корабельных товарах предоставлял премии в равной степени для камеди, скипидара, пеньки и корабельных пиломатериалов, — все это можно было получать из многих стран. Во-вторых, чиновников военно-морского флота эта зависимость, похоже, в целом не заботила, что бросает тень сомнения на проблему нехватки данных товаров — более того, флотские чиновники последовательно

---

[382] См. *M.L. Hansen* (1945, 48–150).

[383] *McLahlan* (1940, 4)

[384] *Åström* (1962, 15).

[385] *Åström* (1962, 20). Из товаров, которые импортировались в Англию в 1699-1700 годах — конопли, льна, смолы, дегтя, железа, поташа, 48% происходили напрямую из Швеции, 26,4% шли из России, 24,1% с Балтики и только 1,5% из Дании-Норвегии. Однако российские товары шли транзитом через Нарву, которая была в руках Швеции, а прибалтийские товары — через Ригу, которая также принадлежала шведам (см. *Åström*, 1962, 99).

[386] Это сопротивление было трояким. Против были торговцы в северных колониях и военно-морской флот, главной заботой которого было получение лучших и наиболее дешевых корабельных товаров, а английское общественное мнение стало подозрительным к монополиям. См. *Lord* (1898, 38–39).

[387] См. *Lord* (1898, 56) и *Nettels* (1931a, 247).

противостояли поставкам смолы и дегтя из колоний из-за их плохого качества. (Однако Неттельс напоминает, что чиновники Бюро торговли обвиняли своих коллег из военно-морского ведомства в заинтересованном сговоре с балтийскими купцами). В-третьих, Торговое бюро *не* было заинтересовано в получении смолы и дегтя из обеих Каролин, даже несмотря на то, что качество этих товаров было выше, чем в северных колониях (при этом обе Каролины, конечно, уже производили продукцию основного спроса).

Далее Неттельс утверждает, что наиболее последовательными поставщиками по программе закупок корабельных товаров были именно те английские купцы, которые торговали с северными колониями.[388] В любом случае северные колонисты оставались более заинтересованными в производстве дерева, чем в производстве смолы и дегтя,[389] а древесина не только шла в Англию, но и использовалась ими в собственном кораблестроении.[390] Дело в том, что развитие этой отрасли промышленности играло для расширения рынка для английских товаров, по меньшей мере, такую же роль, как это сделала бы успешная программа по производству корабельных материалов. Именно это могло быть фундаментальной причиной того, что при режиме навигационных актов «в наиболее практичных целях» корабли, которыми владели колонисты, никогда не лишались привилегий для судов, которыми владели британцы.[391] По этой причине появился экономический смысл строить корабли в северных колониях, где заработки были высоки, но стоимость дерева была более чем низка, что компенсировало этот фактор.[392] Данное сравнительное преимущество было усилено постоянным ростом производительности американского колониального мореплавания в период с 1675 по 1775 годы.[393] В результате к 1775 году около трети всех

[388] См. *Nettels* (1931a, 255–264). Дж.Ф. Риз предоставляет свидетельство, что поводом для этого было освобождение от зависимости от Швеции. Рид сообщает, что, несмотря на длительное противостояние английских производителей железа производству мягкой стали и металлических изделий в Северной Америке, когда в 1717 году из-за напряженных отношений с Швецией взлетела цена на железо, было «предложено найти новый источник поставок путем включения железа в брусках и чушках в список товаров, производство которых следовало поощрять в колониях под титулом корабельных материалов» (*Rees*, 1929, 586). Однако закон не вступил в силу из-за смерти шведского короля Карла XII и последующего улучшения англо-шведских отношений.

[389] Неттельс утверждает, что они не производили «наиболее востребованные товары» (1931a, 269, см. тж. 1952, 112). Однако Острём относит конец шведской монополии в смоле и дегте примерно к 1728 году и объясняет это возросшим производством данных товаров в североамериканских колониях (*Åström*, 1962, 111; 1973, 101).

[390] См. *Lord* (1898, 101–123) о настойчивой способности колонистов избегать ограничительные законы.

[391] *Harper* (1939a, 9).

[392] См. *K.G. Davies* (1974, 193).

[393] Рассмотрение различных факторов, которые вели к повышению производительности, см. в: *Walton* (1967 и 1968a).

кораблей, зарегистрированных в Британии как принадлежащие британцам, были построены в северных колониях — и это был «важный источник процветания колоний».[394]

Что касается иных колониальных мануфактур, помимо кораблестроения, англичане и в самом деле пытались им мешать — впрочем, бессистемно. В 1699 году англичане приняли Шерстяной акт, запрещавший отгрузки шерсти за пределы колоний. В 1732 году был принят Акт о шляпах с похожими ограничениями. Акт о патоке 1733 года преследовал целью ограничить производство рома. Акт о железе 1750 года запретил строительство новых металлургических заводов.[395] В основном все эти акты не были претворены в жизнь.[396] С одной стороны, англичан гораздо больше заботила конкуренция с голландцами, немцами и французами, чем с колониальными мануфактурами.[397] Кроме того, как утверждает Бручи, в качестве «естественного» ограничителя в северных колониях выступали «нехватка квалифицированной рабочей силы, а также скудность и предпочтительное размещение капитальных фондов».[398] Естественные или нет, данные факторы действительно вносили свою лепту в низкую интенсивность принуждения колоний со стороны англичан — по крайней мере, до начала новой эпохи после 1763 года. Как же можно обобщить опыт северных колоний? Им втройне повезло. Они были обделены природными ресурсами, однако это были колонии восходящей мировой промышленной и торговой державы, при этом расположенные на достаточном географическом расстоянии, чтобы эксплуатация единственного их главного ресурса, древесины для кораблестроительной промышленности, стала экономически высокоприбыльной. Кораблестроение было началом, причем принципиальным. Были созданы условия, благодаря которым в изменившейся ситуации второй половины XVIII века смогла произойти Американская революция, а в XIX веке состоялся подъем крупной индустриальной державы.

Промежуток 1600–1750 годов прошел под знаком преобладания усилий Англии и Франции, намеревавшихся сперва уничтожить голландскую гегемонию, а затем унаследовать место на вершине. В этот длительный период относительной стагнации (относительной в сравнении с выраженной экономической экспансией «долгого» XVI века) периферийные территории сильно страдали от разоряющей прямых производителей эксплуатации и

---

[394] *Dickerson* (1951, 32).

[395] См. *Bruchey* (1966, 9) и *Ostrander* (1956, 77–79). Наибольший протест вызвал Акт о патоке. «Патока и ром <...> были жизненно важными факторами колониальной экономики» (*Harper*, 1942, 11). Главной целью этого акта представлялась поддержка производителей Вест-Индии.

[396] См. *Dickerson* (1951, 46–47). Дикерсон отмечает, что в лучшем случае это имело определенное воздействие на производство шляп. Об Акте о патоке см. *Ostrander* (1956, 77).

[397] См. *Harper* (1942, 6–8).

[398] См. *Bruchey* (1965, 69).

уменьшившихся преимуществ местных эксплуатирующих групп, которые сокращались в сравнении с аналогичными стратами в государствах центра. С полупериферийными странами дело было гораздо сложнее. Государства центра стремились сделать их посредниками в отношениях с периферией, приводными ремнями прибавочной стоимости. В этом они значительно преуспели, однако в ситуации соперничества внутри самого центра некоторые зоны смогли улучшить свое относительное положение. Именно таков был случай сначала Швеции, а затем Бранденбурга-Пруссии, в меньшей степени это было также верно относительно северных колоний британской Северной Америки.

6

БОРЬБА В ЦЕНТРЕ — ФАЗА II: 1689–1763

«Схема Южных морей», Уильям Хогарт (1697–1764), изображение и гравюра 1721 года. На изображении могут быть опознаны ратуша, лондонский Монумент*, и собор Св. Павла. Колесо Фортуны представлено как карусель, пассажиров которой крутят директора Компании Южных морей. Среди пассажиров — подписчики компании, проститутка и священник. Дьявол отрезает куски от тела Фортуны, в то время как священник играет в кости. Вся сцена представляет, согласно надписи Хогарта под гравюрой, аллегории Своекорыстия и Подлости, превосходящие Благородство и Честь

Исследование социальных явлений невозможно без их ограничения в пространстве и времени. Центральной осью исследования в этой книге стало представление о пространственных границах, однако что можно сказать о времени и об извечном вопросе периодизации, который разделяет столь многих историков? Мы утверждали, что значимой для этой книги, покрывающей ее настоящий том единицей времени является промежуток приблизительно 1600–1750 годов. Он рассматривается как период, в ходе которого европейский мир-экономика прошел через длительную сравнительную стагнацию общего объема производства в системе в целом. (Стагнация, соответственно, постулировалась как относительная стабильность общего роста населения, физического расширения мира-экономики и скорости транзакций, а также как глобальная дефляция цен). Чтобы подкрепить данное утверждение, на протяжении этой книги были представлены те свидетельства, которыми мы располагаем.[1] В ходе изложения мы разделили рассмотрение соперничества в центре мира-экономики на две фазы — с 1651 по 1689 годы и с 1689 по 1763 годы. Подобная периодизация не полностью совпадает с указанным выше периодом 1600–1750 годов — реальный мир, увы, не состоит из четко прочерченных разделяющих линий, которые служат любым целям. Промежутки 1651–1689 и 1689–1763 годов, отражая меняющуюся экономическую ситуацию в мире, в то же время подчеркивают политические последствия этих изменений.

В первом периоде (1651–1689), как мы уже отмечали, голландской гегемонии успешно бросили вызов англичане и французы, к 1672 году придя к

[1] Конечно, для европейского мира-экономики эти даты являются предметом бесконечного спора. Пьер Шоню, с одной стороны, утверждает, что «с 1580 по 1760 годы не происходило фундаментального изменения» отношений между человеком и землей (*Chaunu*, 1966a, 242). Но он же говорит, что «именно отрезком между 1680 и 1690 годами следует датировать начало длительной фазы экспансии XVIII века и в Маниле, и в Америке, а кроме того, в голландской Ост-Индии. Затем подъем, который расчищает путь для примерно 40 лет длительно отсроченного роста континентальной Европы» (*Chaunu*, 1960a, 213). Пьер Губер и Пьер Вилар датируют этот подъем начиная с 1733 года (*Goubert*, 1970g; *Vilar*, 1962b, **I**, 708), однако Вилар также заявляет: «Экономически так называемое великое ускорение (élan) XVIII века началось, как широко признается, в 1733 году, однако резкий подъем происходит лишь после 1760 года и продолжается до 1817 года» (*Vilar*, 1962a, 11). Аналогично К-Э. Лабрусс усматривает медленный подъем с 1726 по 1763 годы, и только после этого — «ускорение» (*Labrousse*, 1970, 388).

пониманию того, что голландское государство больше не является неоспоримым гигантом, каким оно было раньше. Я уверен, что к 1689 году с этим согласились даже сами голландцы. Поэтому обоснованной переломной точкой выглядит восшествие на английский престол Вильгельма Оранского и Марии Стюарт.[2] Из этого следует, что промежуток с 1689 по 1763 годы избран потому, что он очерчивает период непрерывного англо-французского соперничества. 1763 год можно рассматривать как момент определенного триумфа Англии по завершению так называемой «второй Столетней войны», даже если французы и не были готовы признать свое поражение до самого 1815 года.[3] Но уже в 1689 году было безусловно понятно, что Англия намерена добиться успеха в своей борьбе с Францией. У последней было население, вчетверо превосходящее английское, и гораздо более значительная армия. Франция была богата природными ресурсами и имела превосходные порты и военно-морские базы. Кроме того, ее промышленное производство росло, в то время как «в Англии после Гражданской войны темп роста замедлился».[4] Поэтому не так уж бессмысленно утверждать, как это делает Чарльз Уилсон, что «начиная с 1689 года [Англия] столкнулась с враждебной державой [Францией], гораздо более опасной, чем когда-либо были Испания или Голландия».[5] Это соперничество казалось круговоротом почти нескончаемых войн из-за земель, союзников и рынков в Европе, а

[2] Как утверждает Кристофер Хилл, «революция 1688 года была для экономической истории Англии не менее переломным моментом, чем для истории политической и конституционной. Еще за неделю до бегства Иакова II Королевская Африканская компания выпускала в штатном режиме поручения, разрешающие арест контрабандистов, нарушивших хартию 1672 года. Далее без какого-либо письменного решения компания отказалась от этой претензии на внедрение своей монополии принудительными мерами. Формально свободная торговля была установлена позже парламентским актом, однако реальное изменение было признано имевшим место вместе с падением Иакова II» (*Hill*, 1961a, 262). Хекшер также берет 1688 год как переломную точку — великий момент расхождения между Англией (либеральной) и Францией (кольбертистской) (*Heckscher*, 1935, I, 262–263), однако я уже обозначал свое скептическое отношение к подобной интерпретации.

[3] См. *Sheridan* (1969, 13). См. тж. *Seeley* (1971, 64). Бродель датирует английскую победу над Францией «самое раннее Утрехтским миром 1713 года», однако говорит, что английский «триумф состоялся только в 1815 году» (*Braudel*, 1977, 102).

[4] *Nef* (1968, 149). См. тж. *Goubert* (1970b, 21). Губер говорит, что «количественная сила — демографическое первенство — была характерной чертой *Ancien Régime*». С другой стороны, Фред Коттрелл утверждает, что у Англии было преимущество «энергии»: «Именно в Англии парусный корабль произвел полную революцию, на которую он только был способен. Островная Англия имела определенные преимущества перед континентальными державами. Ее главная защита состояла в использовании вместо армии парусного корабля, который сам по себе является производителем прибавочного продукта [энергии]. Прибавочный продукт, необходимый для защиты от вторжения, у Англии был меньше, чем требовался ее соседям, так что энергию можно было использовать в производстве большего числа ее преобразователей без угрозы для выживания страны. Континентальные же армии были постоянным каналом утечки прибавочного продукта» (*Cottrell*, 1955, 69–70).

[5] *Wilson* (1965, 282).

также за ресурсы (рабов, тропические и субтропические продукты наподобие сахара, меха и корабельных материалов) на периферии и во внешней сфере (обе Америки, Западная Африка, Индия).[6]

В 1689 году Вильгельм Оранский стал Вильгельмом III, королем Англии, Шотландии и Ирландии.[7] Тем самым франко-голландская война, начавшаяся в ноябре 1688 года, стала франко-английской.[8] Для Англии это означало возобновление «внешней политики кромвелевского толка».[9] Это стало единственно возможным благодаря политическому урегулированию в ходе Славной революции, которое еще больше укоренилось в эпоху Уолпола и вигов. В борьбе против Франции английским военным были необходимы бóльшие суммы, чем им предоставлялись ранее. Это требовало санкции парламента — в конечном итоге, в виде гарантии публичных займов. Примирение 1689 года, завершив антагонистические отношения короны и парламента, сделало возможным необходимое сотрудничество между ними. Где следует прилагать главное военное усилие — на суше или на море? — эта дилемма в 1689 году станет для Англии вопросом, который сохранит свое значение на протяжении всего XVIII века. Это был спор между двумя доктринами — морской и континентальной (или военной). Изучая стратегию, их сторонники спорили о том, усилит ли английские позиции вступление на континент с наземной армией во время войны (поскольку это поддержит союзников Англии) либо ослабит их (поскольку английские армии изначально были слишком слабыми, чтобы одержать победу над французскими, но английский флот был более чем достойным соперником французского).

За спором о стратегии скрывается спор об экономике. Поскольку морская доктрина рассматривала войну в первую очередь как борьбу за новые рынки и устранение конкурентов, ее представители утверждали, что войны следовало вести на морях и на периферии. Они считали, что наземная война ведет к слишком высокому налогообложению, косвенно наносящему ущерб торговле. Континентальная доктрина утверждала, что если англичане не займутся войной в Европе, то французы вовлекут другие европейские государства (а также их колонии) в свою орбиту и тем самым окажутся в состоянии исключить Англию из континентальной тарифной

[6] См. *Andrews* (1915, 546).

[7] Иногда это событие датируется 1688-м годом. Эта аномалия связана с тем, что до 1752 года Англия продолжала использовать юлианский календарь. Поэтому Новый год 1689 года в Англии начался 25 марта. 7 января Вильгельм стал «администратором», а 23 февраля 1689 года совместно с Марией принял корону и Декларацию прав'. Соответственно, Славная революция относится либо к 1688, либо к 1689 году. См. *Murray* (1961, 162) и *de Beer* (1970, 206–208).

[8] Теоретически это была война, объявленная с одной стороны. Несмотря на то, что Вильгельм в качестве короля Англии, Шотландии и Ирландии 17 мая 1689 года объявил войну Франции, последняя никогда не объявляла войну Англии. До 1697 года и Рисвикского мира Людовик XIV продолжал считать законным королем Иакова II. См. *Clark* (1970, 226, n. 2).

[9] C. *Hill* (1961a, 257).

системы.[10] Экономический спор отразился и в социально-политической дискуссии. Виги были наследниками тех, кто совершил Славную революцию, и одним из их догматов был лозунг «нет регулярной армии». Однако к 1694 году виги прекратили его декларировать, фактически став поборниками впечатляющего увеличения армии (которая выросла с 10 тысяч человек в 1689 году до, по меньшей мере, 70 тысяч к 1711 году).[11] «Как это странно для вигов! — утверждает Дж.Г. Пламб. — С [1694 года] они стали глубоко консервативны в своих конституционных принципах. <...> Они хотели овладеть государственной машиной и управлять ею. <...> Они считали, что с учетом полного королевского покровительства они смогут заставить государство работать и в национальных интересах, и в их собственных».[12]

На то, что контролируемые вигами парламенты не разрешали открыто, они со временем будут смотреть, по меньшей мере, сквозь пальцы. Во время англо-французских войн армия и флот стали избегать парламентских лимитов путем нехитрых уловок. Армия задерживала выплаты и отвлекала предназначенные на это суммы на другие цели, представляя парламенту *post hoc* [после этого — *лат.*] дефицит бюджета, который тот был вынужден удовлетворять. Флот быстро наращивал долги за товары, услуги и провизию и также представлял это парламенту *fait accomplis* [как свершившийся факт — *фр.*]. «Примечательно, что парламент должен был терпеть подобные практики, но терпел ведь», — не без лицемерия говорит об этой системе Генри Роузвер.[13] Раннему приятию данной системы способствовал сдвиг социальной структуры. После 1689 года силы вигов представляли собой коалицию крупных землевладельцев, растущей бюрократии и торговых классов, направленную в первую очередь против «сельской партии» мелких джентри, враждебно относящихся к налогам, постоянной армии и «коррумпированному» правительству. В растущей армии продавались офицерские чины, и те, у кого имелись деньги на их покупку, были по большей части младшими сыновьями семей вигов. Тем самым армия «оказалась под управлением и командованием отпрысков тех же самых семей, которые контролировали парламент».[14]

Однако суть дела не в том, что Англия создавала большую армию, а в том, что в ходе Девятилетней войны, этого «национального испытания»[15] для

[10] См. рассмотрение этого в Fayle (1923, 285). Фейл указывает, что континентальная доктрина поэтому предвидела как предложение герцога Шуазёля* испанцам в 1762 году, так и наполеоновскую Континентальную блокаду.

[11] См. *Plumb* (1967, 120, 134).

[12] *Plumb* (1967, 135).

[13] *Roseveare* (1969, 93). См. тж. *Barnett* (1974, 166), где говорится о *ежегодном* обновлении «гвардий и гарнизонов» в георгианской Британии: «О подразумеваемой врéменной основе подобных сил в мирное время внимательно заботились, и каждый год марциальный закон" (mutiny bill) предоставлял возможность консервативным членам парламента требовать сокращения или уничтожения того, что они с ужасом называли "регулярной армией". Лишь в 1755 году, когда будут опубликованы первые постоянные армейские списки, "армия" будет признана официально».

[14] *Finer* (1975, 123–124). См. тж. *Barnett* (1974, 148): Тори были "морской" партией, а виги — "континентальной"».

Англии, и в армии, и на флоте произошла качественная трансформация.[16] Конечно, на флоте она была даже больше, чем в армии, поскольку европейские государственные деятели теперь понимали, что, в отличие от суши, где был возможен баланс сил, «море одно на всех».[17] И море, как мы увидим, стало английским. Однако в 1689 году французский военно-морской флот был столь же силен, как английский или голландский, и увеличивался более быстрыми темпами. В предшествующие 20 лет Кольбер создал его «фактически *ex nihilo* [из ничего — *лат.*]»,[18] построив сеть военно-морских баз на Атлантике (главная из них находилась в Бресте) и в Средиземноморье (главная — в Тулоне) и разделив флот на две эскадры для каждой из этих зон.[19] Кроме того, в техническом отношении французский флот был в это время более передовым, чем английский или голландский. Корабли несли более крупные и тяжелые орудия и при этом меньше весили, были быстрее и маневреннее. Французы разработали новый, усовершенствованный корабль — бомбовый кеч, небольшое судно, удобное для бомбардировки прибрежных городов и крепостей, хорошо послужившее Людовику XIV уже при нападении на Алжир в 1682 году*.

Даже несмотря на то, что при Стюартах английский флот пребывал в небрежении, а голландский обветшал,[20] в принципиальном сражении при Барфлёре в 1692 году** французский флот оказался в меньшинстве (44 французских линейных корабля против 99 англо-голландских), уступив по количеству пушек (3240 против 6756)[21] и маневренности кораблей.[22] Как пишет

---

[15] *J.R. Jones* (1966, 85).

[16] Джеральд Грэхэм утверждает, что «до XVIII века британские военно-морские операции редко выходили за пределы европейского театра военных действий. <…> Едва ли не худшими врагами были болезни и бури. <…> Однако к концу XVII века усовершенствования в конструкции военных судов и [в] технике навигации, равно как и [в] методах профилактики и охраны здоровья, позволили кораблям находиться в море более длительное время и на более значительных расстояниях от своих домашних портов» (*Graham*, 1948, 95).

[17] «Когда более сильный флот обеспечивал контроль над морскими коммуникациями, он приобретал нечто равносильное исключительной монополии» (*Graham*, 1958, viii).

[18] *Symcox* (1974, 1).

[19] См. *Symcox* (1974, 43, 49).

[20] См. *Symcox* (1974, 37–40). Однако Элис Картер Картер утверждает, что «Вильгельм [Оранский] в 1686 году получил одно значительное преимущество в результате лучших взаимоотношений, преобладавших между ним и его внутренними оппонентами. Это обеспечило возможность перестройки голландского флота, осуществленной благодаря решению оформить некоторые голландские таможенные пошлины и с указанной целью выплатить монарху вырученные доходы, а это была не самая мелкая сумма. Поэтому к 1688 году военно-морские силы Голландской республики были сравнительно сильны» (*Carter*, 1975a, 24–25).

[21] См. *Ehrman* (1953, 395).

[22] Как указывает Джеффри Симкокс, несмотря на то, что главной военно-морской тактикой в этой и предшествующих битвах были «взаимные обстрелы» между «линейными кораблями», разработанными именно для этой цели, «корабельные пушки были вопиюще неточными». Поэтому морская битва была «неуклюжим и плохо скоординированным делом». В подобной ситуации победа зависела от «позиционного преимущества и направления ветра» (*Symcox*, 1974, 56, 60–61, 64, 67).

адмирал Мэхэн в своем саркастическом сочинении, французский флот «сморщился, как лист в огне».[23] Это был переломный момент не только в этой войне, но и в войнах наступающего столетия: «Одним ударом господство на море перешло к союзникам — в особенности к Англии»[24] — и можно догадаться, почему. Симкокс предполагает, что аграрный кризис 1693 года и ослабление французской заморской торговли вели к фискальному кризису во французском государстве, что сделало для французов невозможным «сохранение некоего подобия паритета с союзниками».[25] Часть флота пришлось вывести из строя, чтобы сэкономить деньги для армии. Это отсылает к той же проблеме, которую пыталась разрешить Англия в споре между морской и континентальной доктринами: ни Англия, ни Франция в эту эпоху всемирной экономической стагнации не могли вынести издержек военных приготовлений по всем фронтам сразу. Нужно было делать выбор, и для Англии было естественным склониться в сторону флота, а для Франции — в сторону армии.

Территория Франции расползалась при относительной нехватке внутренней интеграции как в политическом, так и в экономическом аспекте. С учетом этого обстоятельства у Франции, похоже, был небольшой выбор,[26] даже несмотря на то, что контроль над морями в капиталистическом мире-экономике был постоянным «центральным звеном [в] цепи обмена, при помощи которого накапливается богатство».[27] Каким бы ни было объяснение этого великого морского разгрома, он изменил военно-морскую тактику Франции от *guerre d'escadre* [битвы между флотами — *фр.*] к *guerre de course* [корсарской войне — *фр.*]. Главными целями больше не были разгром вражеского флота и получение контроля над морями — теперь фокус сместился в направлении захвата и уничтожения вражеских торговых кораблей и причинения неудобств вражеской торговле, причем для этой цели использовались как военные суда, так и корабли каперов. Подобная тактика была известна и

---

[23] Mahan (1889, 225).

[24] *Ehrman* (1953, 398). Дж. Бромли и А. Райан указывают, что «голландцы, которые в 1689 году оспаривали английское командование в объединенных военно-морских силах, в 1714 году с трудом собрали вместе восемь кораблей для эскорта королю Георгу I» (*Bromley and Ryan*, 1970, 790).

[25] *Symcox* (1974, 147).

[26] Зачастую объяснение этому дается в разрезе экономической стагнации Франции в промежутке 1683–1717 годов, предположительно, вызванной эмиграцией гугенотов после отмены Нантского эдикта. Как указывает Сковилл, это хороший пример ошибки *post hoc propter hoc* [после этого, значит, вследствие этого — *лат.*]. Конечно, отмена Нантского эдикта «не помогла делу» (*Scoville*, 1960, 218–219), однако в действительности многие протестанты остались в качестве новообращенных. В самом деле, «вместо ослабления и снижения их энергии религиозное преследование, похоже, усилило их решимость» (*Scoville*, 1960, 252). Сковилл представляет свидетельства этого во всех сферах — мануфактурах, торговле, кораблестроении, сельском хозяйстве. Об экономическом кризисе Франции в этот период см. тж. *Léon* (1956, 152).

[27] *Mahan* (1889, 226). Мэхэн утверждает, что именно в союзе великого флота и преуспевающей торговли «Англия добилась превращения в морскую державу, стоящую над всеми прочими государствами и вне их досягаемости» (p. 225).

до 1694 года, но теперь она стала основной.[28] «В морской войне уничтожение торговли, — утверждает Дж.Н. Кларк, — является естественным оружием более слабой стороны».[29] Естественное оружие — да, но это второй из лучших вариантов выбора, поскольку координировать действия кораблей под командованием частных лиц было трудно. Симкокс в целом оценивает усилия французов как «лишь ограниченный успех», указывая на лежащее в основе этой методы противоречие: «Если правительство не может платить музыканту, ему не дадут заказывать музыку».[30] Кроме того, в игру мог включаться и второй участник. Например, во время войны за Испанское наследство каперы с островов в Английском Канале действовали настолько эффективно, что «доставили серьезное беспокойство французам [и] были способны нанести ущерб прежде всего французской межпортовой торговле».[31]

Рисвикский мир 1697 года, завершивший Девятилетнюю войну, означал лишь передышку. Его важность заключалась в том, что это был «первый шаг назад, предпринятый Францией» со времен Ришелье.[32] Франция была вынуждена признать Вильгельма III королем Англии, Шотландии и Ирландии, а Анну Стюарт — его наследницей. Это признание было главной военной целью Вильгельма III. Кроме того, подлежали возврату все земли, приобретенные Францией с момента Неймегенского мира, (за исключением Страсбурга и эльзасских «присоединений»*). Тем самым Франция уступила территории на всех своих границах — частично или полностью во Фландрии, Люксембурге, Лотарингии, Рейнланде, Пинероло** и Каталонии.[33] Согласно дополнительным пунктам мирного договора относительно заморских территорий, Франция возвращала форт Олбани*** Компании Гудзонова залива и вновь получала Пондишери**** и Новую Шотландию*****, тем самым восстанавливалось *status quo ante bellum* [довоенное положение — *лат.*]. Голландцы также получили то, что хотели — благоприятный торговый договор с Францией, который восстанавливал французский тариф 1664 года, и признание французами так называемого Нидерландского барьера.

---

[28] См. *Symcox* (1974, 5–6, 187–220).

[29] *Clark* (1960, 123–124). См. тж. *Symcox* (1974, 68–69). Кларк продолжает: «Сторона, обладавшая более сильным флотом, окажется способной закрыть моря для торговли своих врагов, однако ее собственные купцы навлекут на себя нападения со стороны корсаров под быстрыми парусами, которые ускользали от бдительности флотилий. Чем больше объем национальной торговли, тем более она благоприятствует подобным нападениям. По этой причине каперство достигло во Франции значительных размеров».

[30] *Symcox* (1974, 222–223).

[31] *Bromley* (1950, 465).

[32] *Henri Martin*, History of France (*Boston*, 1865), **II**, 167, цит. по: *Morgan* (1968, 174). Морган отмечает: «Рисвик был знаком начала конца Людовика XIV. Рисвик стал зачатием его краха, а Утрехт — рождением» (p. 195). Хазард говорит об этом договоре: «Как, должно быть, была унижена гордость *Grand Monarque* [великого монарха — *фр.*]!» (*Hazard*, 1964, 84).

[33] Бромли утверждает, что, удерживая Эльзас и Страсбург, Людовик «сохранял <...> стратегический ключ к своему королевству, тогда как франко-имперские отношения привычно находились в центре его расчетов» (*Bromley*, 1970, 26).

Представление о военном барьере между Соединенными Провинциями и Францией имеет долгую историю. Оно возникло, возможно, еще в 1635 году в виде идеи о том, что Южные (Испанские) Нидерланды должны представлять собой *scheidingszone*, или буферное государство. Однако по Неймегенскому миру 1678 года 16 крепостей в Южных Нидерландах были переданы Франции, хотя на прилегающих территориях было дозволено размещаться небольшим контингентам голландских войск. К 1684 году французы захватили Люксембург, и по Регенсбургскому миру голландцы были вынуждены признать это положение дел. Все изменилось в результате Девятилетней войны, и в Рисвикском трактате идея барьера приняла новую четкую форму: голландцы получают право ввести войска в ряд крепостей, которые возвращают французы.[34] Девятилетняя война подтвердила новую конфигурацию сил в Европе. После Вестфальского мира 1648 года война между государствами, в сущности, была трехсторонней — между Соединенными Провинциями, Англией и Францией. Однако теперь три стороны, с учетом всех возможных воздействий и целей, сократились до двух, причем голландцы стали более или менее постоянным союзником англичан, а на деле — их младшим партнером.

Дж.Р. Джоунс относит «отказ [голландцев] от статуса великой державы»[35] уже к маю 1689 года, когда Вильгельм III распорядился, что голландский флот будет подчиняться английскому. Нельзя сказать, что голландцев не раздражала эта новая роль, — голландско-английский альянс был «изначально непростым партнерством».[36] С одной стороны, голландцы не хотели, чтобы сам факт союза с Англией нарушал их торговые отношения с Францией, — особенно потому, что их прибыльная балтийская торговля «зависела от продолжения поставок французских товаров».[37] В течение XVII века голландцы последовательно утверждали, что не следует вмешиваться в морскую торговлю нейтральных государств (каковым Голландия зачастую являлась). Их лозунг звучал как «свободные корабли, свободные товары», в то время как англичане сохраняли за собой право обыскивать нейтральные корабли, а французы даже говорили о праве конфискации нейтрального корабля, который перевозил товары для их врага.[38] Война была для голландцев последним, причем нежелательным выходом. Когда в 1702 году она возобновилась уже как война за Испанское наследство, именно голландцы постоянно подталкивали англичан к заключению мира с тем условием, что голландцы смогут удержать Нидерландский барьер.[39] И англичане в конечном итоге возжелали поддержать это стремление голландцев (даже несмотря на то, что барьер предполагал для англичан торговые риски) в качестве необходимого *quid pro quo* [одно вместо другого — *лат.*] — в обмен на голландскую

[34] См. *Carter* (1975a, 25–26).

[35] *J.R. Jones* (1972, 329).

[36] *Stork-Penning* (1967, 113).

[37] *J.R. Jones* (1966, 93).

[38] См. *Clark* (1923, 4–6, 121).

[39] См. *Stork-Penning* (1967, 113–114). Как утверждает Уилсон, отношение голландцев представляло собой «практичный, эгоистичный и ограниченный пацифизм» (*Wilson*, 1968, 165).

гарантию английского протестантского наследства — той проблемы, которая нависала над английской (а также шотландской) политикой.[40]

Именно в середине войны за Испанское наследство подошел к критической точке и был разрешен кризис в англо-шотландских отношениях. По соглашению 1688 года Франция фактически утратила возможность вмешиваться во внутреннюю политику Англии, а в соответствии с так называемой Унией парламентов 1707 года[41] она потеряет и аналогичную возможность относительно Шотландии. Политические соглашения и маневры, связанные с окончательным урегулированием 1707 года, были сложны,[42] однако действительный сюжет здесь — о том, как соперничество в центре мира-экономики создало давление на Шотландию, которое привело к Унии парламентов. Для Шотландии (как и для других периферийных зон) вся вторая половина XVII века была длительным периодом «экономической стагнации, обостренной кризисом и упадком».[43] Главным торговым партнером Шотландии была Англия, но едва ли наоборот, и по мере продолжения стагнации Шотландия двигалась в направлении еще большей зависимости от Англии.[44] Шотландцы, как и прочие, пробовали использовать меркантилистские меры сопротивления. В 1681 году герцог Йоркский** в качестве королевского представителя в Шотландии созвал различных купцов для консультаций с ним и комитетом по торговле, созданным герцогом при Тайном совете, чтобы обсудить модели шотландской внешней торговли (с Англией, Норвегией, Францией и Балтикой), внутреннюю торговлю, мореходство, а также стремление шотландцев иметь собственную карибскую колонию. Затем шотландский парламент ввел различные протекционистские меры, и вскоре после этого была создана текстильная мануфактура «Нью Миллз»***, что в том же году привело к принятию парламентом Акта о стимулировании торговли. Под защитой этого документа компания получила возможность процветания — вплоть до Акта об унии.[45]

---

[40] См. *Carter* (1975a, 30–31).

[41] Р.К. Мюррей указывает, что общепринятая оценка личной унии 1603 года, усиленной Унией парламентов, «может быть хороша как некий казус, но сомнительна в правовом отношении». Юридически корректно, как полагает Мюррей, следующее утверждение: «Наследование короны каждого из двух королевств продолжало зависеть от законов конкретного королевства. Шотландское и английское законодательства о наследовании различались, хотя и ненамного, и если бы произошли определенные случайности, то две короны могли разъединиться вновь и каждая следовала бы собственному порядку наследования. <...> Совмещение английской и шотландской корон продолжалось (не считая кромвелевского междуцарствия) до 1707 года, когда вступил в силу Акт об унии. До этого времени "союз корон" был временной ассоциацией, а не постоянным союзом. Именно законодательство об унии 1707 года, создало, по существу, нерасторжимый союз корон» (*Murray*, 1961, 162), и именно в результате унии 1707 года Англия и Шотландия стали Великобританией. Х.Р. Тревор-Роупер указывает, что в действительности уния 1652 года* была более тесной, чем уния 1707 года, но она, конечно, не была долгой (*Trevor-Roper*, 1964, 79).

[42] Детальную политическую историю этого см. в: *Brown* (1914).

[43] *Smout* (1963, 256). См. тж. *Trevor-Roper* (1964, 78).

[44] См. *Smout* (1963, 29, 238).

[45] См. *Insh* (1952, 32–37, 51–55). «Однако когда торговые барьеры, которые в это время охраняли производителей ткани от конкуренции англичан, были сняты Актом об

В 1695 году парламент принял акт для Торговой компании в Африке и Индиях, которым была создана Шотландская компания. Последняя представляла собой пересечение трех интересов: купцов Эдинбурга, которые стремились участвовать в африканской торговле; купцов из Глазго, надеявшихся найти рынок для своего полотна в новой карибской колонии; некоторых лондонских купцов, которые жаждали обойти монополию английской Ост-Индской компании.[46] Создание этой новой компании, которая стала известна как Компания Дарьена*, возможно, значительно поспособствовало возникновению тех трудностей, что привели к унии 1707 года. С одной стороны, стало ясно, что «независимая Шотландия угрожала всей [английской меркантилистской] системе».[47] Реальными были и риски якобитских претензий Старого претендента**.[48] Кроме того, на кону стояла не только Шотландия, но в равной степени и Ирландия.[49] Поэтому в том, чтобы продавить унию, у Англии были долгосрочные интересы.

унии, первая шотландская компания постепенно пришла в упадок. 16 февраля 1713 года было продано помещение в Эдинбурге, где складировалась ее продукция. Месяц спустя то же самое случилось с ее техникой и оставшимися запасами материалов» (p. 55).

[46] См. *Insh* (1952, 69–71). Т. Кейт указывает, что акт 1695 года «вызвал определенную тревогу [в Англии]. Там боялись, что <…> шотландцы постепенно поглотят все большую долю американской торговли, где им уже и так принадлежала значительная незаконная часть» (*T. Keith*, 1909, 54). См. тж. *H. Hamilton* (1963, 249), где говорится о «быстро растущей значимости» Глазго в атлантической торговле второй половины XVII века. Действительно, Т.К. Смаут объясняет противостояние купцов Глазго унии исходя из тех же оснований: «Именно потому, что Глазго уже демонстрировал прогресс [в заморской торговле, там] ощущали, что будут преуспевать без унии» (*T.C. Smout*, 1960, 211–212).

[47] *T. Keith* (1909, 60). Инш утверждает, что «осенью 1706 года давлению обстоятельств в Европе суждено было вновь оказать свое всемогущее воздействие на положение дел в англо-шотландских отношениях» (*Insh*, 1952, 80). Союзники Англии, Голландия и Австрия, ссорились из-за контроля над Южными Нидерландами, вновь отнятыми у Франции. Шведский король Карл XII только что разгромил Петра Великого, завоевал Польшу, оккупировал Саксонию и угрожал Богемии. Людовик XIV пытался убедить его ударить на юг по Австрии. «Между тем в ситуации, когда тучи настолько сгустились и на Западе, и на Востоке, было важно, чтобы рассерженной и потенциально независимой Шотландии, способной создавать угрозу якобитских интриг и давать базу для франко-якобитских кампаний, больше не существовало» (*Insh*, 1952, 81).

[48] «Старый претендент», Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, шевалье де Сен-Жорж, вел активные боевые действия на французской стороне, предъявив свои претензии на трон и Шотландии, и Англии. Несомненно, что он довольствовался бы и одной Шотландией, если бы был в состоянии ее получить. Дж.Г. Джоунс утверждает, что «именно благодаря поведению якобитов в шотландском парламенте уния Англии и Шотландии стала столь настоятельным делом, <…> не терпящим отлагательств перед чем-либо иным, <…> [Акт шотландского парламента 1704 года] предполагал, что наследник королевы Анны должен быть потомком королевской линии Шотландии, но *не* той же персоной, которая будет наследовать ей в Англии <…> Если погасить возможность [унаследования Шотландии якобитами] могла только уния, то она должна была состояться, причем быстро» (*G.H. Jones*, 1954, 73).

[49] В Ирландии дело якобитов было еще более популярным, чем в Шотландии. В Шотландии «религия Иакова II (VII) была постоянным предметом поношений, [но] ир-

И хотя с другой — шотландской — стороны настроения были очень разноплановыми, Дарьенская схема в результате обернулась фиаско. Шотландская компания стремилась открыть главный перевалочный пункт мировой торговли на Дарьенском перешейке (расположенном там, где сейчас находится Панамский канал). Планировалось, что это будет не просто гавань для посредников, — компания намеревалась создать наземный путь (его безопасность обеспечивала бы колония под названием Каледония), который стал бы заменой пути через мыс Доброй Надежды (предвосхищая функцию Панамского канала). Амбициозная схема рухнула, поскольку ни амстердамские, ни гамбургские купцы не инвестировали бы в это необходимый капитал, и состоявшиеся в 1698–1700 годах экспедиции прекратились.[50] Брюс Ленмэн утверждает, что шотландцы замахнулись слишком высоко:

> «У Шотландии не было мощи защищать империю монопольной торговли или поселения от враждебных европейских держав, каждая из которых была хищнической, а большинство из них были еще и гораздо больше Шотландии. В колониальной сфере единственной достойной целью для Шотландии были колонисты других наций. Торговля с ними была осуществима и могла быть настолько прибыльной, что покрывала бы незначительный риск ее формальной незаконности [т.е. то обстоятельство, что законные претензии на Дарьен имела Испания — *И.В.*]. В конце XVII века Глазго процветал отчасти благодаря оживленной нелегальной торговле с Английской империей, и если бы та часть капитала, что была выброшена на ветер в Дарьене, была использована

ландцы естественным образом любили его больше за то, что он принадлежал к римско-католической церкви» (*Petrie*, 1958, 100). Во время королевского изгнания 1689–1691 годов англичане с трудом осуществили высадку ирландской экспедиции* (см. *Petrie*, 1958, 100-135), однако одержали победу, и немалую. «Лимерикский договор** означал конец старой Ирландии так же, как Аппотомакс*** означал конец старого Юга» (*James*, 1973, 17).

Последовавшие Карательные законы, исключавшие католиков из числа чиновников и землевладельцев, были столь «ошеломляющими», что ирландцы даже не поднялись на восстание во время якобитских мятежей 1715 и 1745 годов. Петри отмечает: «В двух других королевствах оппонентам [Славной] революции не досталось такого же карательного обращения, и после Лимерикского предательства [условий сдавшейся стороны] ирландцы имели столько же надежд на успешное противостояние своим завоевателям, сколь в недавние времена евреи могли надеяться на свержение мало чем отличавшейся тирании Гитлера» (*Petrie*, 1958, 133). Описание Карательных законов см. в: *James* (1973, 22–25). С учетом того, что до Утрехтского мира 1713 года восемь или девять ирландских полков воевали в составе французской армии, англичане должны были опасаться, что любой успех дела якобитов в Шотландии вновь вскроет эту проблему в Ирландии.

[50] См. *Insh* (1952, 74–77). «Потери и неприятности этих экспедиций к Дарьенскому перешейку вели к тому требованию свободы торговли и доступа к английским колониальным рынкам, который был для Шотландии сильнейшим стимулом в пользу принятия условий поглощающей ее унии 1707 года» (p. 50). Однако Ленмэн резко возражает против значимости доступа к английским колониям в шотландском вопросе (см. *Lenman*, 1977, 55). Кроме того, в 1696 и 1699 годах в Шотландии имел место масштабный голод**** — часть «семи больных лет короля Вильгельма», по выражению якобитов (см. *Lenman*, 1977, 45–52).

для добросовестной контрабанды в полунезависимых американских колониях, то это принесло бы солидные дивиденды».[51]

Еще раз повторим: мы рассматриваем меркантилизм как оружие, которое в эпоху стагнации мог успешно применить только достаточно сильный.

Возможно, уния 1707 года и правда, как утверждает П.У.Дж. Райли, была «напрямую [обязана] английской, а не шотландской политике»,[52] однако Англия не была бы в состоянии выиграть этот приз без существенных уступок со стороны шотландцев. Откуда они взялись? Уния пользовалась сильной поддержкой со стороны того значительного сегмента шотландской аристократии, который принадлежал к епископальной церкви*, или же тех шотландцев, которые участвовали в Славной революции и были анти-якобитами, или тех, кто имел земельные интересы в Англии и кому угрожал английский Акт о чужеземцах** 1705 года. Другой, еще большей шотландской группой поддержки были купцы самоуправляемых городов (burghs). Английским правительством была разработана памфлетная кампания (которую вел Даниэль Дефо) с целью убедить их в том, что Англия продолжала и будет оставаться главным рынком для шотландского экспорта, а путь к процветанию лежит через увеличение экспорта в Англию шотландских скота и полотна (а потенциально — зерна, шерсти и соли), поскольку в таком случае баланс торговли с Англией окажется положительным. В 1704 году шотландский парламент принял Акт о безопасности, установивший прекращение по умолчанию объединенной монархии после смерти королевы Анны. В отместку английский парламент принял Акт о чужеземцах, который постановил, что если шотландцы не аннулируют этот документ, то весь их экспорт будет устранен из Англии.[53] Но история никогда не проверяла готовность англичан на этот шаг.[54]

---

[51] *Lenman* (1977, 51). См. тж. *Smout* (1963, 252): «Великая держава, предположительно, смогла бы справиться с [Дарьенской] попыткой, если бы у нее были достаточные ресурсы храбрости, опыта, денег, людей и морской мощи. Шотландцы же обладали только храбростью: все остальное, включая знание границ собственных возможностей, у них прискорбно отсутствовало». Далее Смаут утверждает, что провал Дарьенской авантюры был лишь одним из четырех бедствий 1690-х годов. Другие три — негативное воздействие англо-французских войн, четыре года голода и жестокие тарифные войны, которые повсеместно влияли на торговлю — в Англии, Соединенных Провинциях, Франции, Северной Америке и Норвегии (см. pp. 244–253).

[52] *Riley* (1969, 498). А.М. Карстэйрз полагает иначе, утверждая, что с точки зрения очень длительной перспективы стимул к унии шел с английской стороны, но в краткосрочном аспекте «экономические интересы дают убедительное объяснение согласию, в конечном итоге полученному от шотландцев относительно унии, которой они веками противостояли с оружием в руках» (*Carstairs*, 1955, 65). Смаут делает различие между английскими политическими соображениями и шотландскими экономическими (см. *Smout*, 1964b, 462).

[53] См. *R.W. Harris* (1963, 68–70).

[54] Ленмэн разделяет мой скептицизм: «Требовались более сильная воля и более крепкие нервы, чем те, которыми обладали лидеры шотландцев, чтобы переждать кризис и увидеть, достаточно ли было ума у англичан для рискованной войны на своих северных рубежах в момент, когда Англия глубоко увязла в европейском конфликте» (Lenman, 1977, 57).

Среди самоуправляемых городов существовал вполне предсказуемый раскол между теми городами, чьи торговые интересы лежали в первую очередь в сфере торговли с Англией, и теми, которые осуществляли значительные объемы торговли за пределами Англии и ее колоний; ремесленные гильдии, конечно, ощущали угрозу со стороны английской конкуренции. Смаут призывает не забывать о том, что растущее число землевладельцев, особенно знатных, в действительности были «торговцами», которые участвовали в экспортных операциях. Как мы видели уже много раз, черта между аристократией и буржуазией была более размытой, нежели мы привыкли думать — так было и в Шотландии того времени. «То совпадение, что для значительного числа аристократов было важно расширение торговли с Англией, а когда дело дошло до голосования, 70% знати были за унию с Англией, слишком разительно, чтобы его не замечать».[55]

Каковы были подлинные экономические условия Акта об унии и *cui bono* [кому это было выгодно — *лат.*]? Акт содержал два экономических положения, которые давали преимущества Шотландии. Во-первых, доли акционеров Шотландской компании подлежали выкупу английским парламентом по номинальной стоимости плюс проценты в обмен на упразднение самой компании, что, конечно же, стимулировало возрождение деловой активности в местах, затронутых предшествующей потерей инвестиций в Дарьенской схеме, особенно в Эдинбурге. Во-вторых, для шотландцев была впервые легально открыта так называемая плантационная торговля, что особенно благоприятствовало купцам из Глазго и других мест по течению реки Клайд на западе страны. Кроме того, предположительно, в качестве логичного продолжения унии, парламент в 1727 году создал Совет попечителей рыбных угодий и мануфактур, который содействовал экспансии шотландской полотняной промышленности.[56] Было ли все это для Шотландии горькой чашей или благоприятной возможностью? — по данному вопросу по-прежнему идет горячая полемика. Но в любом случае уния состоялась, и новое государство Великобритания приблизилось к победе в войне за Испанское наследство. Война, конечно, шла за то, кто будет править в Испании, но в более фундаментальном смысле — за то, что произойдет с торговлей Испанской империи. В 1701 году король Испании передал асьенто (монополию на работорговлю в Испанской

[55] *Smout* (1963, 273).

[56] См. *Insh* (1952, 84–89) и *Lenman* (1977, 58–60). Карстэйрз скептически относится к тому, что эти преимущества были настолько уж непосредственными. Он утверждает, что расширение торговли в Северной Америке и Вест-Индии произошло лишь после 1750 года, а уния *не* объясняет экспансию полотняной промышленности, поскольку до середины столетия главными импортерами в американские колонии были полотняные мануфактуры Германии и Австрии, причем этот импорт проходил через Англию посредством «возвратных пошлин» (drawbacks) [т.е. скидок с налога на реэкспортированные товары]. Только после 1742 года, с созданием системы государственных экспортных премий, шотландская экспортная торговля полотном стала расширяться (см. *Carstairs*, 1955, 69–70). Ленмэн идет на компромисс: он согласен с Карстэйрзом, что поначалу у шотландцев было совсем немного преимуществ от унии, но рассматривает 1727 год как поворотный момент, «демонстрирующий появление нескольких первых ласточек этого своеобразного расцвета» (*Lenman*, 1977, 66).

Америке) Французской Гвинейской компании, долями которой владели короли Франции и Испании, а также ведущие французские капиталисты. Ранее держателем асьенто являлась португальская компания. Именно этот акт в большей степени, чем любой другой, возмутил английских и голландских купцов и привел к возобновлению войны.[57]

Утрехтский мир передал Испанское наследство Бурбонам, но асьенто досталось британцам.[58] Компания Южных морей получила на 30 лет ежегодное право продажи 4800 ввозимых в Испанскую Америку рабов. Кроме того, компания могла ежегодно отправлять одно судно и 500 тонн товаров для продажи в Испанской Америке. Что касается голландцев, то они получили свой барьер, пусть даже австрийский император смог приобрести Испанские Нидерланды. Согласно договору, голландские войска предполагалось разместить во всех районах, которые Франция возвращала Австрийскому дому — Намюре, Турне, Менене, Фурне, Варнетоне, Ипре, Кнокке и Дендермонде* (причем подразумевалось, что 60% гарнизонных расходов понесут австрийцы). Это соглашение не только обезопасило голландцев, но и «выступало прикрытием для голландского проникновения на рынки Южных Нидерландов».[59] Таким образом, каждая из морских держав получила свой кусок испанского пирога — теперь им оставалось только заработать на этом. Но в последующие 25 лет относительного мира победоносные англичане не были уверены, что этот мир служит их интересам. Как указывает Пламб,

> «с 1713 по 1739 годы был мир — мир, ставший для многих распадом, мир, сделавший Британию жертвой обмана Франции, которая под личиной дружбы неуклонно восстанавливала свою морскую и промышленную мощь для неизбежного столкновения. Значительная часть торговой общественности взывала к войне».[60]

И война действительно пришла — война за Австрийское наследство между Пруссией, союзной Франции, и Австрией, которая фактически была

---

[57] «Никогда еще французские проекты так не угрожали Англии и Соединенным Провинциям, как сразу после принятия Людовиком XIV наследства Карла II Испанского. <...> Суждено ли было громадному рынку Испанской империи стать частными охотничьими угодьями французских купцов?» (*Deyon*, 1978b, 235). Губер отмечает, насколько быстрым был ответ англичан и голландцев: «Всего через несколько дней после передачи асьенто последовал Великий Гаагский альянс. В Гааге император и морские державы собрались вместе всеми силами и дали Людовику XIV два месяца на уступки. И если он ответит отказом, то начнется война за то, чтобы отменить Испанское наследство, закрыть Нидерланды для французов, установить контроль над Италией и Средиземноморьем, дать союзникам выход в испанские колонии и одновременно удержать на расстоянии французскую торговлю» (*Goubert*, 1970a, 237–238).

[58] Детали различных соглашений изложены в: *A. W. Ward* (1908, 440–450).

[59] *Carter* (1975a, 26).

[60] *Plumb* (1966, 29). Выше Пламб утверждает: «Значительное число войн, которые англичане вели в XVIII веке, были <...> прекрасной возможностью разорить их соседей, захватить сокровища мира и продемонстрировать презрение нации к этим ведомым папой, обжорам, тщедушным, рабам в деревянных башмаках — а именно к французам» (p. 14). См. тж. *Sutherland* (1956, 56–57).

союзницей Британии и Нидерландов. Когда в 1748 году она окончилась Ахенским миром, «примирение совершилось на условиях, очень близких к возвращению к *status quo ante bellum* [положение дел до войны — *лат.*]».[61] Однако эта бесплодная война отлично служила английским торговым интересам. Темперли даже осмеливается утверждать, что это была «первая из английских войн, в которых абсолютно преобладали торговые интересы и война велась единственным образом ради баланса торговли, а не баланса силы».[62] Об этом можно судить по многим аспектам. Несмотря на свой альянс, британцы и голландцы продолжали распрю за Южные (теперь Австрийские) Нидерланды. Австрийцы устали платить за Нидерландский барьер и за то, что им не позволялось распространять собственную торговлю за его пределы — в Британию и Нидерланды. Действительно, Британии грозила отмена возвратных пошлин*, на основании которых силезское полотно (а Силезия все еще была австрийской) разрешалось продавать в Вест-Индии через Британию. Кроме того, фламандские купцы устали от политических ограничений своей конкуренции с голландскими купцами.[63]

Что касается Испании, то она устала от громадного объема британской контрабандной торговли в своих колониях — такова «подлинная тайна испанского гнева, направленного против английских судов»,[64] в то время как британское правительство с подозрением относилось к возрождению активного альянса Бурбонов Испании и Франции.[65] С другой стороны, Компания Южных морей мощно и тщательно защищала собственные интересы, выступая в качестве доблестной группы влияния в Британии.[66] Но не только эта компания получала выгоду от агрессивной политики. Сахарные плантаторы британской Вест-Индии обнаружили, что вместе с войной завершился острый спад на

---

[61] *Thomson* (1966, 436).

[62] *Temperley* (1909b, 197). Подобные воззрения разделяет Дж. Сили: «Принципиальной особенностью этого этапа английской истории представляется то, что Англия была одновременно торговой и воинственной» (*Seeley*, 1971, 88).

[63] См. *Dickson* (1973, 83, 107): «Несопоставимость торгового положения австрийцев и англо-голландцев [в 1739 году] очевидна. Англичане и голландцы желали удержать Австрийские Нидерланды в положении экономической колонии, частично защищаемой голландскими гарнизонами, которые оплачивала Австрия, — такое положение было достигнуто в результате договора о барьере 1715 года. <...> В экономическом отношении Англия [в 1746 году] стремилась сохранить свои предшествующие тарифные преимущества и благоприятный торговый баланс с Нидерландами, которые, как считалось, зависят от Англии. К фламандским претензиям на снижение английских пошлин или на прямой вход в ост-индскую торговлю Англия относилась с замиранием сердца».

[64] *Temperley* (1909b, 204). См. *V.L. Brown* (1928, 179): «Контрабандная торговля была составной частью каждой фазы операций Компании Южных морей». См. тж. *Nelson* (1945, 55).

[65] Темперли замечает, что на протяжении XVIII века Испания была «порой пассивным зрителем, чаще — активным врагом, но никогда не другом Англии». Однако в 1739 году правительство считало, что «направлять Испанию в объятья Франции — значит поставить под угрозу будущее английского могущества в Новом Свете» (*Temperley*, 1909b, 198).

[66] Снова см. у Темперли: «Изучение документов не подтверждает популярную точку зрения, что желание англичан поддерживать контрабандную торговлю по-

рынке сахара 1730-х годов,[67] а английские морские страховые компании «страховали французские суда от захвата в море британским военным флотом».[68] Действительно, торговые интересы для политики британского правительства были настолько приоритетны, что на протяжении всей войны применялась конвойная система, причем «безопасность конвоя должна была стать первым соображением» сопровождающих судов.[69] Если французы и пруссаки в это время превосходили британцев и австрийцев на суше,[70] то британский флот был вдвое больше французского. Испанский флот вкупе с французским были того же размера, что и британский, но если добавить к последнему голландские корабли, то эта пара имела небольшое количественное преимущество и, что более важно, единое командование. Война вновь подтвердила, что Британия правит морем, несмотря на начавшуюся с 1713 года модернизацию французского флота. В этой войне Франция потеряла половину своих линейных кораблей и более тысячи торговых. «Морское могущество Франции было разрушено до основания».[71]

Мир вновь стал вре́менной передышкой, и война опять разразилась — в 1754 году в обеих Америках, а в 1756-м — в Европе. Продолжающийся торговый конфликт Британии и Франции на Американском континенте «почти неощутимо, но, тем не менее, определенно переходил»[72] в кульминационную фазу, которой стала Семилетняя война. Голландцы пытались сохранять нейтралитет, но британская сила вынудила их ограничить торговлю с Францией.[73] У испанцев было искушение присоединиться к Франции с целью отменить наконец британские привилегии,[74] но это не было хорошо для Франции.

средников и частных лиц имело большое значение для кабинета министров. Его покровительство было закреплено за Компанией Южных морей — структурой, столь тесно связанной с правительством финансовыми узами, что правительству пришлось отплатить Уолполу за ее спасение в 1720 году его сокрушением в 1739-м» (*Temperley*, 1909b, 222).

[67] См. *K.G. Davies* (1960, 109): «В целом я склонен думать, что если не брать Американскую войну за независимость, то атлантические войны между Британией и Францией принесли британскому плантатору больше добра, чем зла, хотя следует признать и значительное число исключений». В этом отношении Дэвис выделяет войны 1739–1748 и 1689–1713 годов.

[68] Viner (1969, 84). «После затяжных дебатов парламент отказался признать данную практику незаконной».

[69] *Fayle* (1923, 288). Конечно, французы пошли еще дальше «и свели эскорт к жестко оборонительной функции. <...> Что еще более удивительно, <...> французские военные корабли в действительности сдавались в аренду купцам <...> за комиссионный процент с тех ценных грузов, которые они перевозили в безопасности».

[70] Эмиль-Ж. Леонард приводит следующие данные по численности армии в 1740 году: Франция — 160 000 человек, Пруссия — 84 000, Австрия — 107 000, Англия (включая ганноверцев) — 59 000 (*Léonard*, 1958, 192).

[71] *Richmond* (1928, 173).

[72] *Andrews* (1915, 780).

[73] См. *Carter* (1963, 820–821).

[74] См. *Christelow* (1946, 24, 29). Однако со стороны испанцев это было ошибкой. «Неблагоразумное вступление испанцев в Семилетнюю войну позволило англичанам к

Парижский мир 1763 года стал знаком того, что в столетней борьбе с Францией Британия определенно достигла превосходства. «В Европе Франции предстоял долгий болезненный период, сопоставимый с аналогичным периодом в Испании».[75] Тем самым британцы выиграли вековую борьбу за подлинное унаследование голландской гегемонии середины XVII века. Эту победу, достигнутую при помощи британского государства определенными группами мировой буржуазии, укорененными в Англии, можно адекватно объяснить лишь путем анализа того, каким образом британское государство оказалось политически способным создать и увеличить те социально-экономические преимущества, которые британские предприниматели имели над конкурирующими силами, обосновавшимися во Франции.

Начнем с демографического обзора. Проблема здесь заключается в том, что огромная дискуссия бушует вокруг не только причин демографических сдвигов, но и тех данных, которые следует объяснить. Одни уверены, что темп роста населения Англии с 1600 по 1750 годы был медленным,[76] а некоторые даже верят, что население было «практически неизменным»;[77] другие же утверждают, что оно за этот период выросло на 50%.[78] Относительно же Франции, похоже, присутствует общее мнение, что ее население оставалось более или менее стабильным с 1500 до 1750 года,[79] причем более чем в три раза превышало население Англии и более чем вдвое — население Великобритании. Для Франции некоторые исследователи усматривают нижнюю демографическую точку в 1700 году, а между 1700 и 1750 году — небольшой подъем.[80] Другие же видят во всем промежутке между 1700 и 1750 годами «аномально низкие»[81] показатели для Англии. Предполагаемый для Франции рост между 1700 и 1750 годами тем более удивителен, что в 1693–1694 годах Франция (в отличие от Англии, но подобно другим странам Европы) испытала очень суровый голод,[82] а еще один голод имел место

концу конфликта консолидировать те преимущества, которых они достигли в предшествующие годы и открыть новые широкие пути приближения к богатствам испанского колониального мира» (*Brown*, 1928, 186).

[75] *Dehio* (1962, 117).

[76] *Darby* (1973, 304).

[77] *Tucker* (1963, 214).

[78] См. *Wilson* (1977b, 116).

[79] См. *Goubert* (1965, 473).

[80] См. *Goubert* (1965, 473), *Henry* (1965, 455) и *C.E. Labrousse* (1953, 22).

[81] *Tucker* (1963, 214).

[82] См. *Flinn* (1974, 301): «Возможно, в Европе никогда больше не было столь жестокого и широко распространившегося голода, как в 1690-х годах». Англия, отмечает Флинн, была исключением. Однако во Франции «огромное большинство населения <...> находилось под угрозой голода, страдало от него или действительно умерло» (*Goubert*, 1970a, 216). Пентлэнд предлагает комплексное объяснение случая Англии. Население Англии росло высокими темпами с 1690 по 1710 годы — в период высоких цен на продукцию сельского хозяйства (предположительно из-за общеевропейского голода). По этой причине, а также потому, что молодые взрослые в этот момент были редкой категорией населения (в силу предшествующих низких темпов демографическо-

в 1709–1710 годах.[83] Кроме того, в 1720 году Марсель пережил последнюю в Европе крупную эпидемию чумы.[84] Однако к 1740 году демографические показатели во Франции и Англии (а фактически и в большей части Европы) вполне определенно пошли вверх.[85]

Как утверждает Олвен Хафтон, ключевым фактором был общий объем предложения продуктов питания. «Голодающее население, вообще говоря, не способно к воспроизводству: истощенные не утруждают себя этим делом».[86] Откуда же берется рост продуктового предложения? Он не был результатом изменения климата или, по меньшей мере, был не только результатом этого. Поскольку весь промежуток от середины XVI до середины XIX века известен как «малый ледниковый период»,[87] непохоже, что около 1750 года случилось какое-либо значительное улучшение климата. Более вероятно, что ключевым элементом картины были усовершенствования в системе сельскохозяйственного производства в Англии и Франции (северной и юго-восточной). В некоторых исследованиях дается большой кредит картофелю — а именно в тех, где утверждается, что демографический рост XVIII века варьировался «в соответствии с распределением и потреблением [этого продукта]».[88] Другие рассматривают

го роста), возможности для трудоустройства на фермах приводили к ранним бракам и высокому уровню рождаемости, что, в свою очередь, вело к сокращению этих возможностей и спаду после 1705–1710 годов. Вместе с падением цен после 1720 года росла смертность, что объясняет масштабные эпидемии 1720-х годов — «логичное следствие десятилетиями ухудшавшихся условий, возникших от избытка (а не недостатка) сельскохозяйственной продукции относительно спроса и одновременного избытка (а не нехватки) людских ресурсов» (*Pentland*, 1972, 174).

[83] См. *Goubert* (1970d, 60) и *Jacquart* (1975, 187).

[84] См. *Rambert* (1954, 606–617). По мнению Рейнара и Арменго, последняя великая чума произошла в 1668 году, после чего ее эпидемии стали «редкостью» (*Reinhard and Armengaud*, 1961, 131), однако они же упоминают еще одну эпидемию в Испании (р. 143). Несмотря на упомянутую марсельскую чуму, Ле Руа Ладюри говорит о демографическом рывке во Франции между 1720 и 1737 годами (*Le Roy Ladurie*, 1975a, 364).

[85] П. Депре называет 1740 год «великим переломным моментом в демографической истории Европы» (*Deprez*, 1965, 626). Обычно это объясняется окончанием эпидемий чумы и голода. См. *Le Roy Ladurie* (1975a, 388) и *Helleiner* (1967, 95). Хеллайнер говорит об отсутствии катастрофы.

[86] *Hufton* (1974, 15).

[87] *Jacquart* (1975, 187). Однако Губер связывает окончание голода во Франции с улучшением климата, теперь более теплого и с меньшим количеством дождей (см. *Goubert*, 1970d, 63). Ле Руа Ладюри подчеркивает в качестве ключевого фактора в целом влажный, но не холодный климат — по крайней мере, во Франции (см. *Le Roy Ladurie*, 1967, 281). Та же точка зрения содержится в: *Reinhard and Armengaud* (1961, 115).

[88] *Vanderbroeke* (1971, 38). Данный аргумент заключается в том, что в сравнении с зерновыми картофель более чем удвоил калорийность питания в душевом расчете. Если калорийность картофеля составляет примерно пятую часть от калорийности зерновых на квинтал, то его урожайность выше в десять раз. «Более того, картофель — летняя культура и поэтому меньше зависит от погоды. Выращивание зерновых всегда было рискованным предприятием, поскольку слишком зависело от погодных условий». Однако Редклифф Саламан (*Salaman*, 1949, 455–456) утверждает, что картофель не был распространен в рационе английских бедняков вплоть до последней четверти XVIII века, хотя

картофель лишь как один из элементов в целом улучшившегося рациона. Чай приходил на смену алкоголю, большее употребление получали рис и прежде всего сахар, причем сахар — в виде фруктов, варений и десертов, которые помогали разнообразить рацион, особенно зимой.[89] Мы уже описали социальный контекст улучшений в сельском хозяйстве — нараставшую концентрацию сельскохозяйственных земель путем вытеснения неуспешных производителей.[90] Огораживания — важный прием, известный еще до 1750 года,[91] — стали возможны благодаря отчасти законодательству, отчасти эффективности и доходам землевладельцев.[92] Какого рода эффективность могли обеспечивать крупные землевладельцы? С одной стороны, шло усовершенствование сельскохозяйственного инвентаря, в первую очередь благодаря использованию железа вместо дерева.[93] Кроме того, временные луга и фураж оказались особенно полезны для владельцев стад, которые также стремились стать более крупными фермерами.[94]

Однако центральным моментом в этой устойчивой тенденции к концентрации была долгосрочно низкая стоимость зерновых.[95] В течение всего промежутка 1600–1750 годов у зерна было очень немного удачных годов.[96] Утверждалось, что этот неудачный фактор низких цен в действительности

два предшествующих столетия его употребление постоянно увеличивалось. Саламан полагает, что около 1775 года картофель в первую очередь использовался как корм для скота: «Прежде чем картофель смог сыграть роль "фуража" для бедных, необходимо было, чтобы он доказал свою ценность как еда для свиней».

[89] См. *C. Hill* (1969, 256).

[90] См. тж. *Coleman* (1977, 125), *Mingay* (1963, 81–82) и *Lavrovsky* (1960, 354–355). Мингей отмечает значительное сокращение численности мелких землевладельцев между 1660 и 1750 годами (*Mingay*, 1968, 31).

[91] «Очевидно, что к 1750 году порядочная часть Англии уже была огорожена» (*Holderness*, 1976, 52).

[92] «Даже в деревнях, которые на протяжении [XVIII] века оставались неогороженными, часто существовала сильная тенденция в направлении меньшего количества наделов и более крупного их размера» (*Mingay*, 1962, 480). Похоже, именно это и произошло в Англии, несмотря на то, что «высокая урожайность картофеля сделала возможным добывать пропитание даже на очень маленьких участках земли» (*Vanderbrocke*, 1971, 38). Это может означать, что производство зерновых было ключевым фактором в финансовом отношении.

[93] Кто мог позволить себе это? Предположительно, те, кто уже имел более высокий общий доход. Байрох утверждает (возможно, идя по кругу в доказательстве), что способность платить за новые инструменты была результатом роста сельскохозяйственной производительности (см. *Bairoch*, 1966, 16).

[94] «Без помощи репы простое сохранение стада зимой и весной было непростой проблемой» (*Ernle*, 1912, 176). К 1720 году в Англии была хорошо известна не только репа, но и клевер, люцерна, трилистник, люцерна хмелевидная, райграс (см. *Holderness*, 1976, 65).

[95] «Происходило следующее: мелкий фермер, в хорошие годы производивший лишь небольшой прибавочный продукт для рынка, в плохие годы терял денежный доход, но его утрата оборачивалась выгодой для крупных фермеров, которые пользовались этой неожиданной дополнительной удачей — выпадением из конкуренции мелких производителей» (*Gould*, 1962, 321).

[96] *Ernle* (1912, 168–169), *Gould* (1962, 323) и *Hartwell* (1969, 25).

был успехом для Англии, поскольку данная ценовая конъюнктура вела к инновациям в сельском хозяйстве.[97] Спрашивается, почему это должно быть верно только или главным образом в отношении Англии, ведь низкие цены на зерно были в этот период общеевропейской константой? Однако примечательно то, что именно в момент, когда цены были на самой низкой отметке, то есть в первой половине XVIII века, Британия стала ведущим экспортером зерна в Европе. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что Акт о зерновых экспортных премиях, утвержденный британским правительством в 1688 году для поощрения экспорта зерна,[98] создал «в целом благоприятные»[99] условия для расширения сельского хозяйства. Не приходится сомневаться, что упомянутые привилегии вели к росту производства зерновых в Англии, и это могло внести свою лепту в дальнейшее падение внутренних цен на зерно, создавая вынужденно большее количество доступного зерна на домашнем рынке, нежели в ином случае.[100] Очевидным намерением данного шага было помочь британскому сельскохозяйственному предпринимателю увеличить свою норму прибыли.

Каким был рынок для возросшего предложения британского зерна? Выход заключался в производстве джина и пивоварении, а рынком для этой продукции была городская рабочая сила, которая в период вековой стагнации ощутила рост реальных заработных плат.[101] Элизабет Джилбой, например,

[97] *John* (1969, 171). См. тж. *Wilson* (1965, 245) и *Holderness* (1976, 74–75).

[98] См. *R. Ashton* (1969, 49–50).

[99] *Mingay* (1960, 337). Между 1700 и 1750 годами доля зерна в английском экспорте выросла с 3,7 до 19,6%. См. *T.S. Ashton* (1960, 12). Слихер ван Бат утверждает, что между 1690 и 1720 годами «средневзвешенное соотношение цен между сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукцией» временно развернулось в сторону первой в границах в целом неблагоприятного для нее соотношения в период с 1620 по 1740 годы (*Slicher van Bath*, 1963a, 211).

[100] См. *Gould* (1962, 331–332).

[101] «Увеличение [реальных заработных плат в Англии] между 1660 и 1760 годами было существенным, хотя и не ярко выраженным. <...> К 1750 году положение дел было, тем не менее, заметно лучше, чем в 1600 году. Меньший темп инфляции цен после 1670 года, замедление демографического роста до 1750 года, накопление сельскохозяйственных (особенно продовольственных) излишков и оживление экономической деятельности, особенно в трудозатратных видах торговли, — все это вносило вклад в увеличение реальных заработных плат в период до 1750 года» (*Holderness*, 1976, 204).

Даже если реальные заработки росли, не было ли при этом роста безработицы? Да, он был, но компенсировался — по крайней мере, частично — альтернативной занятостью, присущей подобным периодам. Рабочие становились контрабандистами и разбойниками. Женщины брались за прялку. Происходил рост рыболовства («одного из последних прибежищ бедняков»), поскольку люди были более склонны принимать трудности жизни на утлых лодках в море. Росла численность странствующих торговцев. Даже строительство, похоже, процветало, изменяясь практически в обратной зависимости от успехов экспорта (см. *T.S. Ashton*, 1959, 138). Однако, вопреки росту реальных заработков в этот период, качество городской жизни едва ли было тем фактором, который увел бы рабочих из таверн. «Посреди элегантности и роскоши изобиловали грязь и болезни. В правление Георга I и в начале царствования Георга II

отмечает, что в Лондоне этот рост был истрачен на, так сказать, «джиновую эпидемию».[102] Это было столь же верно применительно к Нидерландам, где импорт британского зерна рос в особенности за счет солода и ячменя, которые использовали голландские владельцы винокурен и пивовары.[103] Британские экспортные премии вели к еще большему экспорту в Голландию,[104] которая, в свою очередь, требовала больше британской продукции благодаря росту зерновых цен в Нидерландах с 1700 по 1720 годы.[105] Британцы оказались в состоянии вытеснить балтийских производителей с голландского рынка,[106] поскольку могли продавать зерно по более низкой цене. Это происходило не только в силу более низких для британцев транспортных издержек (которые, в конечном итоге, существовали и раньше), но и благодаря экспортным премиям, дававшим примерно 16,5% реальной стоимости зерновых,

---

Лондон был вонючим, грязным, забрызганным отбросами метрополисом, кишевшим трущобами» (*Plumb*, 1966, 17).

[102] *Gilboy* (1930, 613). Этот процесс носил, конечно, циклический характер. Более высокие реальные заработки вели к росту производства джина, что требовало увеличения предложения зерна. Если по какой-либо причине запасы зерна были слишком велики, эту проблему могла разрешить последующая продажа джина. См. *Chambers* (1957, 44): «Эпоха джина [представляла собой] нечто большее, чем необъяснимое расстройство опьяненного лондонского люда. <...> Череда хороших урожаев увеличивала запасы зерна, в то время как серия эпидемий сокращала численность тех, кто должен был их потребить. Когда в 1739 году началась война за Австрийское наследство и экспорт зерна упал, более удаленный рынок сбыта зерна частично закрылся. <...> На помощь фермерам средней руки, страдающим от крайностей изобилия, приходила самоубийственная гонка в Лондоне. Излишки, на которые жаловались производители, были частично устранены излишествами Переулка джина*».

Однако фермеры центральных графств Англии платили среднесрочную цену за краткосрочные выгоды. Лондонская винокуренная и пивоваренная промышленность развили параллельную деятельность по использованию отходов производства в качестве корма для крупного рогатого скота и свиней, и это стало широко распространенным явлением. По мере того, как лондонцы получали все больше и больше мяса и молока от домашних свиней и дойных коров, которых в XVIII веке выращивали в городской черте Лондона, фермеры прилегающих графств испытывали острую конкуренцию со стороны того, что «теперь было "капиталистическим" мясным производством систематического типа» (*Mathias*, 1952, 254).

[103] См. *Ormrod* (1975, 39–40). Экспортная премия выплачивалась за крупные объемы. Ячмень можно было «раздуть»**, что стимулировало его экспорт в сравнении с другими зерновыми. В Голландии также была своя эпоха джина. См. *John* (1976, 53).

[104] «Возможно, голландцы были уязвимы из-за того, что сидели на крючке импорта [английского зерна], однако можно в равной степени сидеть на крючке и дешевого, или дотационного, зерна, и недотационного» (*de Vries*, 1975, 55). Голландия была не единственным экспортным рынком — важным вторичным рынком была Португалия. См. *Fisher* (1971, 64).

[105] См. *Slicher van Bath* (1963a, 212). Если цены снова падали с 1720 по 1740 годы, не было ли это отчасти причиной возросшего британского производства?

[106] А. Джон приводит впечатляющие данные о среднем ежегодном экспорте зерна из Великобритании и Балтики. С 1650 по 1699 годы балтийская зона экспортировала 58 800 ластов (в одном ласте приблизительно 10,5 квартеров***), а Великобритания

отгружавшихся за границу.[107] Лондонский памфлет об этих премиях, написанный в 1768 году, объяснял это следующим образом: «Мы взяли на себя соперничество с поляками в их роли пахарей для голландцев. <...> И в то же время мы подобным же образом позволили нашим братьям-ирландцам соперничать с датчанами за их прерогативу быть скотоводами для голландцев».[108] В этот период высокого уровня экспорта возросшее единообразие цен на пшеницу в Британии демонстрирует, что экспортные премии были в целом эффективны, а их влияние ощущалось во всех зонах британского сельскохозяйственного производства.[109]

Поэтому британское государство стремилось захватить голландский зерновой рынок для своих предпринимателей как в качестве поддержки других возможностей для извлечения прибыли (в эпоху, когда подобные возможности были ограниченны), так и в виде пути обеспечения прибыли через эффекты взаимосвязи отраслей. Например, британцы вытесняли голландцев из перевалочной торговли зерном, что было результатом выдавливания балтийских производителей.[110] Другие, конечно, тоже стремились поступать подобным образом. Действительно, полстолетия, с 1650 по 1700 годы, Южные Нидерланды и Франция наращивали свой экспорт в Голландию, а голландцы увеличивали собственное производство.[111] Однако с 1700 по 1750 годы эти производители потеряли почву под ногами из-за английских экспортных премий, поскольку последние давали возможность торговать дешевле, чем они.[112] Таким образом, Британия обезопасила свое положение, используя мировой рынок зерна ради собственной выгоды, что в некоторой степени представляло собой *faute de mieux* [нечто за неимением лучшего варианта — *фр.*], и внесла свой вклад в повсеместное в Европе между 1700 и 1750 годами восстановление *ager*

экспортировала 2 500 ластов; между 1700 и 1749 годами балтийский экспорт сократился до 31 000 ластов, а британский вырос до 42 000. Совокупный объем британского и балтийского экспорта вырос с 58 300 до 73 000 ластов (см. *John*, 1976, 56, таблица 6). См. тж. *Lipson* (1956, **II**, 460), *Jeannin* (1964, 332) и *Ormrod* (1975, 38).

[107] *John* (1976, 59).

[108] Considerations on the Effects which Bounties Granted on Export Corn, Malt and Flour have on the Manufactures of this Kingdom [Соображения о воздействиях, которое премии, пожалованные на экспорт зерна, солода и муки, произвели на мануфактуры в нашем королевстве] (London, 1768, 61–62, примечание), цит. по: *John* (1976, 56).

[109] «Недогматичным образом, как и подобает действовать в сложной и неопределенной сфере, <...> мы стремимся показать, что применительно, по меньшей мере, к пшенице автономия рынков может быть серьезно переоценена» (*Granger and Elliott*, 1967, 262).

[110] См. *Ormrod* (1975, 40).

[111] См. *J. de Vries* (1974, 171).

[112] См. *Abel* (1973, 265). Абель отмечает, что с 1711 по 1740 годы английский экспорт закрывал мировой рынок для французских и германских производителей. Й.С.Г.М. Янсен указывает, что в промежутке 1680–1740 годов сельскохозяйственные производители южного Лимбурга, столкнувшись со значительным падением цен на обычные злаки (*kortkoren* [«короткое зерно» — *голл.*] и полбу), обратились к «дорогой пшенице» (а также к выращиванию овса), «чтобы компенсировать падение цен на зерновые» (*J.C.G.M. Jansen*, 1971, 255).

[пашни — *лат.*] против *saltus* [пастбища — *лат.*].[113] Однако, поскольку в целом мир-экономика был слаб, это быстро привело к перепроизводству зерновых и еще одной сельскохозяйственной депрессии между 1730 и 1750 годами.[114] В ходе общемирового подъема после 1750 года Британия вновь снизит свою роль мирового производителя зерновых в пользу более существенной специализации в индустриальном производстве.[115]

Как уже было сказано, во Франции картина отличалась от Англии в меньшей степени, чем мы думаем. Исследуя изменения, случившиеся в эпоху после 1690 года, мы прежде всего задаемся вопросом, почему французы не устанавливали экспортные премии. Франция могла не иметь в них нужды, потому что она была значительно больше Англии. Войны 1688–1713 годов прервали тот импорт зерновых, который Франция осуществляла прежде, «создав ситуацию, благоприятную для выращивания зерновых в южной части страны».[116] Кроме того, когда войны повергли в разруху Испанию и тем самым отсекли испанский рынок для французской животноводческой и винной продукции, а блокада отрезала английский и голландский рынки льна, производители в юго-западной Франции явно вернулись к производству пшеницы.[117] Начиная с этого периода и до середины XVIII века происходила постоянная концентрация земли — территория средних Пиренеев стала «зоной зерновой монокультуры, производящей на экспорт в Средиземноморье».[118] Тем временем в Лангедоке благодаря транспортной революции (в 1680 году был открыт Канал дю Миди*, а начиная с 1725 года строились новые дороги) процветало сельское хозяйство. Улучшения в транспортной сфере давали возможность доставлять зерновую продукцию в Марсель по ценам достаточно низким, чтобы конкурировать на средиземноморском рынке.[119] Таким образом, рост производства зерновых во Франции происходил параллельно с ростом производства пшеницы в Англии и в общем приближении имел аналогичное воздействие с точки зрения социальной структуры деревни и значения этого роста для мира-экономики. Иными словами, в эпоху всеобщей стагнации центральные зоны осваивали прибыльные «периферийные» производственные задачи.

В свете вышесказанного уместен вопрос: почему же в историографии широко распространено мнение, что примерно в 1650–1750 годах сельскохозяйственная революция произошла в Англии, а во Франции, наоборот, она не произошла? Чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть, что

---

[113] См. *Chaunu* (1966a, 242). *Ager* — это земли, которые обрабатываются, в отличие от *saltus* — земель, покрытых естественной растительностью (*Chaunu*, 1966a, 640).

[114] См. *Mingay* (1956, 324, 336).

[115] См. *T.S. Ashton* (1969, 50) о второй половине XVIII века: «Перехода от экспортных излишков к импортным едва ли можно было избежать в то время, когда население быстро росло и Англия поворачивалась от сельского хозяйства к мануфактуре».

[116] См. *Slicher van Bath* (1977, 75).

[117] См. *Enjalbert* (1950, 116) и *Braudel* (1951, 71).

[118] *Frêche* (1974, 835).

[119] *См. Le Roy Ladurie* (1975a, 397–400).

происходило в несельскохозяйственных производствах. После 1700 года металлургия и текстильная промышленность в Англии демонстрировали «общую тенденцию к восстановлению, но еще не определенный рост».[120] Ценовой тренд в мануфактурных производствах, как и в сельском хозяйстве, до 1750 года останется «несколько понижательным» при «слегка восходящем тренде в реальных заработных платах и рыночном спросе».[121] Этот возраставший спрос был прежде всего экспортным, в особенности колониальным, — последний, как мы утверждали выше, выступал одной из главных целей британской политики в северных штатах британской Северной Америки. Он также отражал и внутренний спрос как результат роста благосостояния в сельском хозяйстве в данный период.[122] Крупные землевладельцы были среди первых, кто заработает на росте спроса на свою же продукцию. Между 1700 и 1750 годами привычно низкие земельные ренты были компенсированы ростом других источников поместных доходов — продажи леса и сдачи земли в аренду для добычи угля и других добывающих промыслов, равно как для добычи камня, металлургии и обжига извести.[123]

Расширение сельскохозяйственного производства было главным импульсом для металлургической промышленности[124] а другим значимым стимулом были постоянные войны с Францией.[125] Войны создавали спрос на металл для производства вооружений, затрудняя импорт (по крайней мере, во время войны), и истощали запасы древесины благодаря расширявшемуся кораблестроению. Возросший уровень внутреннего спроса вел к увеличению объемов

---

[120] *Kellenbenz* (1977a, 547): «Здесь, вопреки экономическим сдвигам в направлении России, богатой железом и лесами, по-прежнему существовало очень много преимуществ, в особенности в металлургии». См. *East* (1951, 512, курсив добавлен): «Как в угле, так и в металлургии, крупномасштабные предприятия, которые оставят свой след на карте, ждали своего часа в XIX веке».

[121] *Coleman* (1977, 151). Коулмен утверждает, что промежуток с 1650 по 1750 годы в английской промышленности «был эпохой инвестиций и предпринимательства, не выразившихся в каких-либо впечатляющих изменениях, как в следующем столетии, но жизненно важных для обеспечения более сильных и более гибких оснований, с которых могла стартовать более поздняя революция».

[122] См. *Wilson* (1977a, 8).

[123] См. *Mingay* (1960, 373).

[124] Байрох (*Bairoch*, 1966) детально анализирует это с точки зрения использования железа при изготовлении орудий труда и увеличения их количества. Он также делает акцент на возросшем числе лошадей и новом способе их подковки. Байрох рассматривает промежуток 1720–1760 годов как ключевой в этом отношении период для Англии, а 1760–1790 или даже 1790–1820 годы — как ключевой период для Франции. См. тж. *Chambers* (1957, 36). Чемберс усматривает троякий вклад в промышленность со стороны сельского хозяйства Англии XVII–XVIII веков: обеспечение капитала и лидерства в развитии производства железа, свинца и угля; потребление индустриальной продукции; продвижение транспортных изменений, в особенности платных дорог.

[125] Джон утверждает, что эти факторы «ускорили поиск методов использования угля в целях выплавки металлов», что вело к изобретению отражательной печи между 1688 и 1698 годами. Он также напоминает, что «между 1714 и 1763 годами чис-

строительства, что стимулировало производство свинца, однако цены на него оставались низкими, и это может означать, что в действительности его выпуск рос слишком быстро для медленно растущего спроса.[126] Гулд предполагает, что подлинное значение низких цен на продовольствие в промежутке с 1600 по 1750 годы следует искать в сфере снижения издержек текстильного производства.[127] Здесь, как и в случае с экспортом пшеницы, ключевым элементом расширения производства было вмешательство государства в мировой рынок. Британское правительство инициировало то, что сегодня было бы названо политикой «импортозамещения».[128] Еще в 1675 году в парламенте обсуждалась конкуренция, которую английские ткачи ощущали со стороны торговли с Индией, и ситцевые ткани были обложены определенными пошлинами.

Своеобразный экономический кризис 1690-х годов вел к так называемому ситцевому противостоянию 1696–1700 годов, кульминацией которого стал акт 1700 года, запрещавший импорт печатных ситцев из Персии, Индии и Китая. Это было сделано, несмотря на противостояние Ост-Индской компании и тех, кто продавал или обрабатывал индийские товары для английского рынка. Однако это не помогло владельцам шерстяных мануфактур, поскольку ситцы могли печататься в Англии. Восстания ткачей в 1719 году, ставшие следствием безработицы, вели к закону о регулировании расходов 1720 года, запрещавшему использовать и носить печатные ситцы (с немногочисленными исключениями). Конечно, эффективность его внедрения была ограниченной. Поскольку по-прежнему можно было импортировать муслин, многие ситцы ввозились именно под его видом, а индийский набивной коленкор доставлялся контрабандой. Манчестерский акт 1735 года стал отступлением от прежних правил и специально исключил из упомянутых законов печатные текстильные изделия из льняной пряжи и хлопковой ваты, произведенных в Великобритании. В результате хлопковые и полотняные ткани получили наконец *droit de cité* [право гражданства — *фр.*] при условии, если они производились

ленность военно-морского флота Англии удвоилась» (*John*, 1955, 330, 333). Келленбенц указывает, что, как только в процессе выплавки железа произошла замена древесного угля каменным, дисбаланс между производством железа и плотностью населения исчез. Это, как утверждает Келленбенц, и объясняет примечательное перемещение производства железа из Швеции в Англию (см. *Kellenbenz*, 1974, 206–207).

[126] См. *Burt* (1969, 266).

[127] *Gould* (1962, 320). Напротив, Гулд отвергает в качестве «рискованной» (p. 319) любую попытку разглядеть прямую и постоянную значимость колебаний урожайности для состояния хозяйственной деятельности — он указывает на противоположные эффекты, которые могут причинить подобные колебания. Уилсон не столь убежден в справедливости такой точки зрения: «Однако остается неразрешенной проблемой, насколько распространение мануфактур в годы между Реставрацией и индустриализацией конца XVIII века обязано снижению и даже падению общего уровня цен на необходимые товары» (*Wilson*, 1977a, 13).

[128] См. *Ormrod* (1975, 40). «Великий запрет» 1678 года, направленный в первую очередь на Францию, в то время рассматривался как переломный момент (*Ashley*, 1897, 338).

в Великобритании.[129] Общее воздействие этих законов было таково, что они «стимулировали мануфактурное производство заменителей ситца»[130] в пределах Англии.

Однако мы все еще не добрались до эпохи хлопка, потому что до 1773 года так называемые английские хлопковые ткани в действительности были тканями, в которых хлопковый уток, или поперечная нить структуры ткани, сочетался с полотняной основой, или продольной нитью.[131] Полотно продолжали в основном импортировать, в первую очередь из Германии, Ирландии и Шотландии.[132] Германские полотняные ткани в течение XVIII века постепенно уступали место шотландскому и ирландскому полотну, и вновь это было результатом государственной политики, которая стартовала в 1660 году и затем постоянно ужесточалась.[133] Конечно, после 1707 года, когда Шотландия стала частью Великобритании, основным результатом унии оказалось то, что английская шерсть вытеснила шотландскую (за исключением наиболее простой галантереи), однако взамен шотландскому полотну было позволено процветать в Англии.[134] Насколько это было благоприятно для шотландских

---

[129] См. *J.P. Thomas* (1963, 68, 101, 125, 139, 150, 163–164). Несмотря на это, на протяжении XVIII века производство шерсти оставалось главной отраслью английской мануфактурной промышленности, пережившей период «заметного роста» с 1700 по 1740–1750 годы (*Deane*, 1957, 207).

[130] *Smelser* (1959, 53). Хекшер утверждает, что разница между французской и английской меркантилистской политикой была в том, что Англия поощряла импортозамещение. Он также считает необходимым добавить, что, «возможно, наиболее важным» было то, что в действительности Англия свои запреты на импорт не внедряла строго, в то время как Франция поступала именно так (*Heckscher*, 1935, I, 174–175). Есть ли у нас свидетельства этого, или же это просто либеральный (антифранцузский) предрассудок?

[131] См. *Warden* (1864, 373).

[132] Степень, в которой Англия полагалась на импорт полотна, представляет собой предмет спора. Как утверждает Харт, «возможно, <...> в XVIII веке в самой Англии полотна для внутреннего потребления производилось больше, чем импортировалось из Шотландии и Ирландии вместе взятых» (*Harte*, 1973, 107). Может быть, так и было, но все же из внешних источников вместе взятых импортировалось больше полотна, чем производилось на месте, а шотландское и ирландское полотно играли возрастающую роль.

[133] *Harte* (1973, 76). См. тж. *Davies* (1962, 287–288). «После 1690 года пошлины на большинство видов полотна <...> номинально удваивались примерно дважды в столетие» (*Harte*, 1973, 78). Харт утверждает, что по французскому полотну наносился удар из соображений прямой конкуренции, в то время как германское, фламандское и голландское полотно попадали под удар «из чисто фискальных соображений» (p. 97). В этом нет сомнения, но, как признает сам Харт, «побочный эффект от этих потребностей национальных финансов и растущей нужды в поступлениях, чтобы платить за ведение войны» (p. 76), был почти столь же велик, как запретительные пошлины для французов.

[134] См. *Gulvin* (1971), *H. Hamilton* (1963, 255) и *Durie* (1973, 47). Как утверждает Р.Х. Кэмпбелл, «с экономической точки зрения, будет достаточно обоснованным утверждение, что уния 1707 года обеспечила то, что, когда прочие вещи шли должным образом, экономика Шотландии [специализировалась] на тех направлениях, где благодаря английской аннексии был гарантирован рынок для ее продукции» (*Campbell*, 1964, 477).

предпринимателей-землевладельцев,[135] долго было предметом дискуссии. Ситуация в Ирландии была более однозначной. Вильямитская война 1689–1691 годов завершилась Лимерикским трактатом, в котором утверждалось, что власть короля над Ирландией была такой же, как и над колониями.[136] Воздействие этого на ирландское производство было незамедлительным. Уже в период Реставрации предпринимались меры с целью сокращения выпуска ирландской промышленности путем запрета большинства прямых торговых сношений с американскими колониями.[137] «Великий Акт» о скоте 1666 года, не допускавший ирландскую продукцию на английский рынок, заставил ирландцев сосредоточиться на экспорте в Англию шерсти.[138]

В период после Славной революции британцы пошли гораздо дальше. Они уничтожили ирландские шерстяные мануфактуры посредством Ирландского шерстяного акта 1699 года.[139] Этот документ подталкивал ирландцев к производству полотна методом надомной промышленности с крайне низким уровнем заработной платы.[140] Джеймс заявляет, что это было не так плохо для Ирландии, поскольку ее жителям в XVIII веке, как и шотландцам, было разрешено экспортировать свою продукцию в Англию *и* британские колонии, причем главным рынком для ирландских поставок становилась Вест-Индия.[141] Однако это не учитывает тот факт, что основными получателями выгоды от данной экспортной торговли были крупные *английские* землевладельцы в Ирландии. Более

---

[135] На подобной формулировке настаивает Смаут, указывая, что Шотландия дает «ироничный поворот» тому «старомодному упрощению», что Промышленная революция была триумфом буржуазии над аристократией. «[Шотландские] землевладельцы XVIII века боролись рука об руку вместе со средними классами за развитие нового типа динамичной экономики, <...> и когда им это удалось, то сорвать с себя ореол собственных привилегий и лидерства оказалось для них гибельным» (*Smout*, 1964a, 234).

[136] См. *James* (1973, 227). Джеймс предполагает, что Ирландия была колонией даже в большей степени, чем американские колонии, поскольку «ирландское правительство держалось на завоевании и не могло с легкостью уйти от своего военного происхождения» (p. 290). Каллен называет роль Ирландии в английской системе «в некоторых отношениях колониальной» уже в XVII веке и говорит о «растущей зависимости от Англии» в следующем столетии (*Cullen*, 1968, 2, 46).

[137] См. *James* (1973, 191–192).

[138] См. *Cullen* (1968, 53).

[139] См. *Kearny* (1959). Л.М. Каллен полагает, что Акт о шерсти был менее серьезен по своим последствиям, хотя и более печально известен, чем Акт о скоте и различные навигационные акты, — лишь потому, что, в отличие от последних, которые представляли собой английские акты, регулирующие английскую торговлю, Акт о шерсти влиял на ирландский экспорт и был «вопиющим примером претензий британского парламента устанавливать законы для Ирландии» (*Cullen*, 1967, 2).

[140] См. *Kellenbenz* (1965, 385–386), *Gill* (1925, 31) и *Warden* (1864, 393).

[141] «Вместо продажи скота английским перекупщикам ирландцы теперь продавали говядину, свинину и масло покупателям по всему свету» (*James*, 1963, 576). См. тж. *James* (1973, 190–217). Однако Каллен указывает на важное побочное негативное воздействие навигационных актов: «Отсутствие прямой колониальной торговли и реэкспортной торговли сокращало потребность в тонких финансовых институтах» (*Cullen*, 1977, 171).

резонным представляется утверждение Хилла: «После чернокожих рабов Ирландия была главной жертвой навигационной системы, которая дала Англии ее мировую гегемонию».[142] То, что мы увидим в дальнейшем, представляет собой модель, в рамках которой британское правительство активно применяло меркантилистские меры между 1650 и 1750 годами (а особенно после 1689 года), чтобы увеличить долю Британии в мировом металлургическом и текстильном производстве.[143] Шерсть и хлопок остались за Англией, но Шотландии и Ирландии было позволено участвовать в производстве полотна.[144] Остается вопрос: как сравнивать этот несомненный рост британского индустриального производства с тем, что происходило во Франции?

По мнению Жана Имбера, в три последние столетия *Ancien Régime* [старого порядка — *фр.*] французский промышленный капитал, безусловно, прогрессировал, однако это был меньший прогресс, чем тот, которого достиг английский промышленный капитал.[145] Но на старте Франция была впереди, и Мендельс полагает, что с 1700 по 1750 годы она все еще была первой в мире индустриальной державой.[146] Леон указывает, что, хотя относительная доля французского экспорта мануфактурных товаров в течение XVIII века оставалась неизменной, абсолютное их количество увеличилось вчетверо, причем эта экспортно ориентированная промышленность была в технологическом отношении наиболее передовым сектором.[147] Неф утверждает, что объем французского производства рос более быстрым темпом между 1640 и 1740 годами, чем в промежутке 1540–1640 годов, а в Англии темп роста замедлился вместе с Гражданской войной и вновь восстановился лишь в 1750-х годах. Тем самым Неф дает понять, что темпы экономического роста обеих стран сближались.[148] Имеющаяся

---

[142] *Hill* (1969, 164).

[143] Ральф Дэвис утверждает, что начало английского протекционизма пришлось на 1690-е годы, «к 1722 году индустриальный протекционизм уже определенно появился и был признан», а за последующие полвека расширился (*R. Davis*, 1966, 306, 313, 317).

[144] Даже в таком случае промежуток 1740–1790 годов для английского полотняного производства был «примечательным периодом экспансии» (*Harte*, 1973, 107). Однако Алестер Дьюри указывает, что на *экспортном* рынке английское полотно в этот момент не было конкурентом шотландского (*Durie*, 1973, 37).

[145] *J. Imbert* (1965, 385).

[146] См. *Mendels* (1972, 258–259), срв. *Markovitch* (1968b, 579). Однако Леон усматривает отставание Франции от Англии с точки зрения *процентной доли* промышленной продукции — одна пятая против одной четвертой в XVIII веке (*Léon*, 1970c, 528). Хекшер, великий поклонник Англии в сравнении с Францией, признает, что английское превосходство являлось не количественным, а «технологическим». Почему не количественным? — Потому, что «даже в Англии индустриализация в начале Французской революции еще едва вышла из начальной стадии, а инновации были скорее потенциальными, чем действительными» (*Heckscher*, 1935, I, 202–203).

[147] См. *Léon* (1970b, 229–230). *C.E. Labrousse* (1970, 704): «В этой гонке полностью созревший капитализм XVIII века легко выбил из игры феодальный сектор и его традиционные доходы».

[148] *Nef* (1968, 149). Крузе согласен с этим в отношении промежутка 1700–1750 годов, но обнаруживает, что с 1750 по 1800 годы англо-французское соотношение развернулось в обратную сторону (*Crouzet*, 1966, 268).

статистическая база слаба, поэтому ученые противоречат друг другу, вследствие чего мы должны действовать с осторожностью. Возможно, лучше всего будет сделать качественное или структурное сравнение английского и французского производства в периоды после Реставрации в Англии и после Кольбера во Франции. Подобное сравнение еще в 1892 году сделал Каннингем:

> «В течение большей части [промежутка 1689–1776 годов] [в Англии] действовала весьма примечательная политика [система экспортных премий — *И.В.*] в отношении экспорта и импорта зерновых. <...> Этот мастерский политический росчерк привлекает огромный интерес, поскольку представляется, что именно он вызвал значительное продвижение в усовершенствовании сельского хозяйства, происходившем, пока проводилась данная политика. <...> Это выглядело одним из моментов зародившейся в Англии программы, известной как Меркантилистская Система. Французы поощряли промышленность, а голландцы — мореплавание. Англичане же взяли курс на развитие сельского хозяйства. <...> В XVIII веке эта мера оказалась краеугольным камнем процветания Англии».[149]

Здесь возникают два вопроса. Корректно ли рассматривать различие между политикой английского и французского правительств в этот период как различие в акценте, соответственно, на сельское хозяйство и промышленность? Объясняет ли это большее процветание Англии в дальнейшем? Тихомир Маркович, обращаясь в своем недавнем исследовании к рассмотрению условий торговли в сельском хозяйстве и промышленности в обеих странах в XVIII веке, склоняется к подтверждению вывода Каннингема. Маркович обнаруживает, что во Франции цены на промышленную продукцию в соотношении с сельскохозяйственными ценами были высоки, а в Англии все было с точностью до наоборот.[150] Почему должно было происходить именно так? Возможно, потому, что подобного положения дел желали правительства обеих стран, и если так, то не действовал ли здесь фактор размера этих стран в контексте долговременной стагнации мировой экономики? Ни внутренний рынок Англии, ни внутренний рынок пяти больших откупов Франции не были достаточно велики, чтобы обеспечить масштабный сдвиг в сторону механизации промышленности. Но для Англии это означало завоевание внешних рынков, а для Франции — достижение экономической интеграции государства.[151]

---

[149] *Cunningham* (1892, **II**, 371–372).

[150] *Markovitch* (1968b, 578).

[151] См. *Richard Roehl* (1976, 272): «В Англии внутренний рынок был слишком мал, уровень совокупного спроса, формируемого внутри страны, был недостаточен, чтобы произвольно породить и поддерживать Промышленную революцию. Франция была гораздо более крупной страной. Внутренний спрос там был достаточен для потребностей Промышленной революции, и Франции не требовалось существенной опоры на мировой рынок для восполнения совокупного спроса. Англия же была вынуждена использовать вместо этого международный спрос как приложение к тому, чем был ее внутренний рынок (если бы он оставался сам по себе), слишком маленький для поддержания широкого движения в сторону индустриализации».

Учитывая застой мирового спроса в этот период, экспорт именно зерна, а не мануфактурных товаров мог представляться англичанам более верным путем для получения доступа к главным внешним рынкам и полного их контроля. Поэтому правительство делало акцент на зерновых экспортных премиях, хотя не исключались и другие тактики. Ситуация во Франции была иной. Порядочная доля французской промышленности размещалась в регионе Понант — территории за пределами пяти больших откупов, имевшей теснейшие торговые связи с Американским континентом. Предпринимателям Понанта было легче продавать свои товары в Голландии, чем в остальной части Франции. Для сохранения торговых связей с Голландией они стали отказываться от таких отраслей промышленности, как производство сахара, и продавать неочищенный сахар из голландской Вест-Индии в обмен на печатные хлопковые ткани и металлические изделия.[152] Благодаря этому Понант начал занимать в отношении Голландии положение, аналогичное положению Португалии в отношении Англии.

Политика Кольбера по «инкорпорации» Понанта не увенчалась успехом, но спасла Францию от судьбы Португалии, сконцентрировав в других регионах те отрасли промышленности, которые шли на спад в Понанте. В начале XVII века это был богатый регион тканей и полотна, но при Кольбере такое положение дел стало меняться, и промышленность росла как на северо-востоке (в рамках пяти Больших откупов), так и в Лангедоке.[153] Между 1700 и 1750 годами 55% французской шерсти производилось на северо-востоке страны, 28% — на юге, а доля запада снизилась до 4%.[154] Французский акцент на промышленности был ответом на острую необходимость и в длительной перспективе оказался успешен. Когда в Наполеоновскую эпоху политика Кольбера была наконец полностью внедрена, оказалось, что индустриальная база, необходимая для ее осуществления, была сохранена. А лозунг "*laissez-faire, laissez-passer*" [не вмешивайтесь, дайте дорогу — *фр.*] исходно относился к идее отмены барьеров *внутри меркантилистской* Франции.[155]

Может ли больший упор Британии на сельскохозяйственный экспорт в промежутке 1700–1750 годов быть объяснением ее экономических триумфов

---

[152] См. *Boulle* (1975, 73). Голландцы, в свою очередь, помогли купцам из Нанта в работорговле (см. *Boulle*, 1972, 76–80). Уэтц де Лам отмечает то же самое применительно к купцам Бордо. «Экономическая жизнь Бордо, возможно, никогда так не зависела от голландцев» (*Huetz de Lemps*, 1975, 614). Морино говорит о ключевой роли французской Басконии (в частности, Байонны) как легальной и контрабандной станции на пути голландской торговли с Испанией (*Morineau*, 1969a, 326).

[153] См. *Léon* (1970c, 525–526) и тж. *Le Roy Ladurie* (1974a, 155). Конечно, Лангедок, как и Понант, находился за пределами пяти Больших откупов, но его экспортным рынком было в первую очередь Средиземноморье, где Франция в силу географических причин лучше могла конкурировать с Британией и Нидерландами. Шарль Карьер говорит о симбиозе между Лангедоком и Марселем после 1689 года (*Carrière*, 1974, 169).

[154] См. *Markovitch* (1968b, 556).

[155] См. *Bosher* (1964, 66–69).

в последующем столетии?[156] Возможно, да, но лишь косвенным образом. Именно акцент на внешней торговле (которая в тот момент оказывалась по большей части торговлей зерном) вел к упору Британии на военный флот и колонии, что, в свою очередь, обеспечило ее военные триумфы в долгой борьбе с Францией. Пока французское государство напряженно преодолевало свои внутренние барьеры, британское государство оказалось более маневренным. Далеко не являя собой триумф либерализма, оно демонстрировало триумф сильного государства, сила которого, впрочем, была результатом необходимости. Производственную мощь Британии и Франции можно лучше всего оценивать в сравнении с прежней державой-гегемоном — Голландской Республикой. На протяжении XVII века издержки производства для голландцев росли относительно издержек Англии и Франции, и к 1700 году разница стала отчетливо заметна.[157] Рост издержек был результатом двух моментов, которые обычно сопровождают гегемонию: растущих налогов[158] и растущего уровня заработных плат,[159] причем последний процесс особенно затрагивает трудоемкий сектор экономики (в данном случае текстиль, кораблестроение, пивоварни).[160] Но, несмотря на то, что голландская продукция становилась все менее конкурентоспособной на мировом рынке, голландский капитализм все еще мог жить за счет доходов от иностранных инвестиций. Поэтому упадок Голландии был не абсолютным, но лишь относительным по сравнению с Англией и Францией.[161]

---

[156] Подлинное богатство британской нации можно оценить в соответствии с утверждением Дж.Х. Пламба о положении дел в начале XVIII века: «В 1714 году Англия была страной маленьких городов и рассредоточенного населения, богатство ее людей было несопоставимо с состоянием французов или голландцев» (*Plumb*, 1966, 28).

[157] См. *Wilson* (1968, 236): «Около 1700 года англичане стали жаловаться на стоимость и качество голландских товаров». Х.К. Рёссинг относит упадок голландских табачных мануфактур по отношению к английским примерно к 1720 году (*Roessingh*, 1976, 501–502). Боксер утверждает, что к 1730-м годам английские кораблестроители обучались у голландцев усовершенствованным технологиям (*Boxer*, 1964, 149). Карьер заявляет, что рост производства в южной Франции около 1700 года — то обратная сторона сокращения голландского (а также английского) присутствия в Средиземноморье (*Carrière*, 1974, 172).

[158] См. *Barkhausen* (1974, 246). См. тж. *Wilson* (1969b, 120). Уилсон демонстрирует, что голландцы в этот период платили, грубо говоря, втрое больше налогов, чем англичане и французы.

[159] См. *Swart* (1975, 47) и *J. de Vries* (1975, 56). Как отмечает де Ври, «масштабное снисходительное освобождение от налогов в Голландской республике, обеспечивая минимальный уровень заработной платы за определенные виды работ, [давало возможность] для одновременного существования безработицы и нехватки рабочих рук».

[160] *Kossmann* (1975a, 53). К этому добавлялись природные катаклизмы — корабельные черви (*T. Navalis*), которые разрушали волокна дамб, и загрязнение вод, вынуждавшее производителей готовых тканей ввозить чистую воду для их окраски. См. *Knoppers* (1975b), *Carter* (1975a, 67) и *Van Veen* (1950, 73). После 1731 года голландцы инвестировали в каменные защитные сооружения, но это было весьма недешевым удовольствием.

[161] См. *Morineau* (1965, 170) и *Klein* (1970, 33). Красочное описание этого дает Пол Хазард: «Голландия процветала, Голландия была могущественной. Если в сфере торгов-

Медленное изменение производственных моделей Британии и Франции (при продолжающемся относительном упадке Нидерландов, не говоря уже об Испании и Португалии) вело к формированию новых торговых моделей либо, по меньшей мере, к усилению некоторых прежних тенденций. В промежутке с 1660 по 1700 годы Англия стала главным перевалочным пунктом для реэкспорта колониальной продукции, хотя морская торговля в мире-экономике по-прежнему носила «преимущественно европейский характер» и все еще находилась в руках голландцев. Однако направление экономической экспансии, особенно после 1700 года, было уже выраженно западным — в сторону новой колониальной торговли, и на этом пути Англия стремилась к успеху в вытеснении голландцев.[162] Период англо-французских войн (1689–1713) был ознаменован возникновением в Англии открытой дискуссии о выгодах меркантилистской политики для торговли. С одной стороны, английский Навигационный акт 1696 года и основание Бюро (Министерства) торговли* означали, что государственное управление торговым процессом вышло на новый, более серьезный уровень.[163] С другой стороны, были предъявлены запросы на более свободную торговлю и изменение меркантилистских мер.[164] Ни одна из этих точек зрения не была достаточно сильной, чтобы превалировать над другой, и это отражало как раз тот факт, что Англия становилась сильнее в масштабах мира-экономики, но все еще была далека от гегемонии.[165]

В ориентированной на Запад торговле на первом месте в первой половине XVIII века стоял сахар,[166] а на втором — рабы, благодаря которым становилось возможным его производство.[167] В 1700 году в мировой торговле

ли она имела соперника в лице Англии, если после 1688 года она стала выглядеть как прогулочная шлюпка на фоне большого корабля, если она постепенно проигрывала эту борьбу, теряла дух приключений, который сделал ее великой морской и колониальной державой, не следует предполагать, что ее разорили изменившиеся обстоятельства. Голландия была богата и вкушала сладости своего богатства» (*Hazard*, 1964, 96).

[162] *Wilson* (1957b, 27–28). «Главным динамическим элементом английской экспортной торговли на протяжении нескольких десятилетий середины XVIII века была <...> колониальная торговля» (*Davis*, 1962, 290).

[163] См. *Clark* (1923, 135–137), *Andrews* (1929, 285), *Ogg* (1970, 261) и *Hoffenden* (1970, 490–491).

[164] См. *Cherry* (1953, 119).

[165] Нерешительная политическая позиция британских правительственных кругов, несомненно, отражала соответствующие экономические реалии. «Возможно, что большинство довольно скромных достижений [в мировой торговле] в первой половине XVIII века имели место в первые 20–25 лет, и эти шаги вперед были затем примерно на 20 лет сдержаны в преддверии гораздо более сильной, многосторонней волны экспансии, которая началась в 1740-х годах и подхватила нарастающий импульс в течение последующих десятилетий» (*Deane and Cole*, 1962, 61).

[166] Мануэль Морено Фражинальс называет сахар «главным из основных мировых продуктов, то есть товаром, который занимал первое место в рамках общей стоимости сделок в международной торговле» (*Moreno Fraginals*, 1978, I, 22).

[167] «Важность работорговли для Европы и Америки заключается не в ее аномальной прибыльности, которая, возможно, была мифом, а в том, что она оказывала необходимую поддержку тропическому хозяйству Карибского бассейна» (*Davis*, 1978b, 137).

сахаром определенно доминировала Британия, но к 1750 году ее первенство перешло к Франции.[168] Возможно, наилучшим объяснением этого изменения будет сопоставление производства на Ямайке, где происходил рост издержек из-за истощения прибрежных зон, и на контролируемых французами относительно новых производственных площадках.[169] Значит ли это, что Франция обыгрывала Британию в конкуренции? Не совсем, поскольку, как отмечает Вилар, пока французская внешняя торговля в XVIII веке «американизировалась», британская — «глобализировалась».[170] То, что Британия упустила в сахарной торговле, она наверстала в другом — прежде всего в торговле рабами. В XVII веке в схватке за африканскую работорговлю самым могущественным соперником изначально были голландцы,[171] как и подобало их тогдашней роли. Ключевым рынком были испанские колонии, а значит, конкуренция шла за *асьенто* — институт, возрожденный в 1662 году.[172]

В Англии начиная с 1663 года монополию на работорговлю имела Королевская Африканская компания.[173] Сначала ее доходы были низкими из-за спада на мировом сахарном рынке, однако ситуация изменилась в результате войны 1689 года.[174] Данная английская компания обладала монополией на продажу рабов в английских колониях, а также находилась вне юрисдикции Навигационного акта, что позволяло ей продавать рабов в английских портах Карибского бассейна испанским покупателям (испанские порты были

---

[168] «Между 1701 и 1725 годами прогресс [Франции] быль настолько быстрым, что <...> французы не только снабжали свою страну, но и торговали по более низким ценам, чем англичане, на континентальном рынке, в частности, в Гамбурге, Фландрии, Голландии и Испании, а также в [Балтийских] проливах; [французы, наряду с] Португалией, обеспечивали Левант сахаром из Бразилии» (*Andrews*, 1915, 550). Английский реэкспорт сахара последовательно шел на спад. Он составлял 37,5% от всего реэкспорта в 1698–1700 годах и упал до 4,2% в 1733–1737 годах (см. *Sheridan*, 1957, 64). Тем временем это был «наиболее динамичный сектор экономики во Франции» (*Boulle*, 1972, 71). См. тж. *Moreno Fraginals* (1978, I, 27) и *Léon and Carrière* (1970, 197).

[169] Морено Фражинальс датирует переломный момент в этих «экономических и технических» факторах примерно 1730-м годом (*Moreno Fraginals*, 1978, **I**, 32–34), что хорошо согласуется с отмеченным Чарльзом М. Эндрюсом знаковым поворотом в британской политике в 1731 году, когда в парламенте не прошел билль о запрете импорта в Британию или ее колонии небританского сахара (*Andrews*, 1915, 772). Жалобы Л.П. Мэя на медленное ослабление французского протекционизма на Мартинике между 1673 и 1757 годом могут быть признаком силы сахара (*L.P. May*, 1930, 163).

[170] *Vilar* (1974, 323). Однако в абсолютных показателях французская торговля расширялась. Руджеро Романо говорит об «устойчивых и благоприятных в структурном отношении условиях французской коммерческой жизни» в XVIII веке — за исключением периодов войн (*Romano*, 1957, **II**, 1278).

[171] *K.G. Davies* (1957, 2). Другими соперниками были Португалия, Франция, Англия, Швеция, Дания, Бранденбург и Шотландия.

[172] См. *K.G. Davies* (1957, 13).

[173] Эта монополия принадлежала Компании королевских предпринимателей торгующих с Африкой, которой Королевская Африканская компания наследовала в 1672 году (см. *Dunn*, 1972, 20).

[174] См. *K.G. Davies* (1957, 335–343).

закрыты для английских работорговцев), которые увозили купленное на испанских кораблях. Это делало компанию открытой для нападок со стороны английских плантаторов, которые рассматривали продажу рабов испанцам как фактор повышения цен и роста испанской конкурентоспособности.[175] Плантаторы требовали свободной торговли рабами, и монополия компании фактически прекратилась в 1698 году, несмотря на ее заявление, что работорговля была заложена в природу общественного блага.[176] Однако доходы от работорговли (равно как и от выращивания сахара) по-прежнему представлялись британскому правительству правым делом, достойным защиты. Единственным способом, которым правительство могло удовлетворить обе стороны, было обеспечение «отдельного контракта на поставку рабов в Испанскую Америку»[177] — короче говоря, асьенто, что, как мы видели, и было достигнуто в 1713 году.

Английские плантаторы получили свою свободную работорговлю, но и английские работорговцы получили свой испанский рынок. Плантаторы ощущали, что этот компромисс склонялся в сторону рабовладельцев.[178] Кроме того,

---

[175] См. *Parry* (1961, 175).

[176] *Waddell* (1960, 9).

[177] *Parry* (1961, 176).

[178] См. *Rich* (1967, 356). Рич цитирует высказывание Малахии Постлетуэйта по поводу статей об асьенто в Утрехтском договоре: «Едва ли можно было выдумать договор с такой малой выгодой для нации». Следует помнить, что плантаторы получили то, чего хотели — отмену монополии, — еще в 1648 году, в то время как работорговцы получили асьенто лишь в 1713-м. В промежутке между этими датами ввоз рабов на Ямайку утроился, а ее совокупное население удвоилось. «Поэтому, когда Утрехтский мир завершил Французские войны, Ямайка наконец предстала "сахарным" обществом с его классической структурой, в которой полностью доминировали крупные плантаторы» (*Dunn*, 1972, 165). В связи с этим им требовалось лишь защищать свою позицию силы.

[179] Асьенто «вмешивалось в торговлю, которую [Ямайка] рассматривала как собственную привилегию» (*Donnan*, 1930, 442). Доннан цитирует выпущенную в 1731 году в Лондоне книгу под названием «Важность британских плантаций в Америке для нашего королевства»: «Остров Ямайка процветал до 1716 года; велась значительная торговля, примерно столь же значимая по стоимости, как и раньше, и от 12 до 15 сотен человек участвовали в этой торговле, каковая была великой защитой от оказий, равно как и выгодой, выпавшей на их долю со стороны столь многих людей, тратящих свои деньги здесь. И в самом деле, немалое количество этих людей были собственно обитателями острова, либо женившимися, либо родившимися здесь. Но в году 1716-м, когда посредники асьенто поселились в Вест-Индиях, эта торговля, которая была столь чудесным преимуществом для того острова, и благодаря которой они могли получать от 25 до 30 процентов в месяц, и которая в целом позволяла получать от трех до четырех сотен тысяч пистолей в год, была не то чтобы совсем уничтожена, но описанное так на нее подействовало, что она оказалась очень незначительной и более рискованной. Так что в настоящее время думают, что благодаря Компании асьенто и частным торговцам вместе взятым сейчас в этом деле не занято и половины людей, что раньше. Болезненные последствия этого для острова Ямайка очевидны и ощутимы».

Помимо обеспечения выгоды для тех лиц на Ямайке, которые легально участвовали в работорговле, асьенто также мешало доходам каперов: «Поскольку их про-

все те, кто получал на Ямайке выгоду от того, что этот остров был перевалочным пунктом для рабов, теперь сожалели о прямом доступе Компании Южных морей в испанские порты.[179] Асьенто также серьезно подкосило французскую контрабандную торговлю в обеих Америках, и французы были вынуждены вернуться к предшествующему, менее прибыльному способу торговли с Испанской Америкой — поставке продукции на комиссионных условиях купцам в Испании, которые реэкспортировали ее на испанских судах.[180] Напротив, у англичан было три разных способа перехвата испанской торговли. Как и французы, они торговали через Испанию, но они также вели торговлю посредством ежегодного «разрешенного» корабля Компании Южных морей и контрабандную, но полузащищенную торговлю через Ямайку.[181] Испанский торговый флот прекращал свое существование,[182] а там, где ему удавалось выжить, англичане теперь зарабатывали на невидимой статье бодмерейных займов**.[183]

питание зависело от возможности захватывать испанские корабли, каперы с тревогой смотрели на рост защищенной и полулегальной [рабо]торговли между ямайцами и испанцами» (*Nettels*, 1931b, 6). Поэтому они объединили силы с плантаторами для противостояния «асьентистам». Как отмечает Ричард Пэйрс, это недовольство каперов имело серьезные последствия: «В целом признано, что безработица среди каперов вызвала почти всемирный всплеск пиратства после Вильямитской войны* и войны за Испанское наследство. Более того, после Утрехтского мира английских и испанских моряков попросили забыть не просто традицию двух долгих войн, но и вековую традицию стычек и мародерства. В действительности примечательно не то, что они должны были еще какое-то время продолжать боевые действия и грабежи, к которым они привыкли, но то, что в конечном итоге они вообще были подавлены» (*Pares*, 1963, 17).

[180] См. *Penson* (1929, 45). В любом случае французы не слишком преуспели в контрабандной торговле. См. *Pares* (1960, 132): Возможно, относительная неудача французов в контрабандной торговле лучше всего объясняется предположением, что голландцы и англичане торговали дешевле, чем они. <...> Речь идет не столько о любви к сверхприбылям, сколько о высоких накладных расходах, которые мешали французскому конкуренту. Французское мореплавание представляется не таким дешевым, как английское, и если <...> французские корабли в этой торговле несли на себе больше вооружения и людей, то разницу в пользу Англии нужно подчеркнуть еще больше, особенно в связи с тем, что англичан от сопоставимых рисков со стороны *Guarda-Costas* [береговой охраны — *исп.*] иногда охраняли конвои. Высокие издержки французского мореплавания оставались сдерживающим фактором на всем протяжении XVIII века. Джейк Нопперс отмечает, что в 1785 году «французские купцы, обеспечив себе контракт на поставку леса для французского военного флота, основали новую компанию — *Compagnie francaise du Nord* [Французскую Северную компанию]. Однако националистические соображения не смогли преодолеть то обстоятельство, что нефранцузские перевозчики предлагали гораздо меньшие ставки фрахта. В 1786 году французский военный флот аннулировал контракт с компанией и предоставил его голландским перевозчикам» (*Knoppers*, 1977b, 1).

[181] См. *H.E.S. Fisher* (1963, 219).

[182] *См. Haring* (1947, 335–347).

[183] См. *John* (1953, 14). Некоторые по-прежнему полагают, что данные коммерческие преимущества были преувеличены, — Джин МакЛахлан даже называет их иллюзией (*McLahlan*, 1940, 28). Однако, если бы дело обстояло так, то сложно понять, почему испанцев столь регулярно беспокоили достижения Компании Южных морей. См. *Hildner* (1938, 322–323). Более того, как только асьенто было отменено после мирных

В начале XVII века Франция играла в средиземноморской торговле бóльшую роль, чем Англия (Пол Массон вообще называет эту роль доминирующей).[184] Участие в ней Англии на протяжении столетия постепенно нарастало,[185] но пошло на спад в период войн 1689–1713 годов. С одной стороны, имела место успешная французская дипломатия. В 1690 году Франция подписала договор с Алжиром, исключивший нападения на французские торговые суда берберских корсаров, которые при этом продолжали угрожать торговле других европейских держав.[186] Франция также приобрела привилегированное положение в Египте (которое она утратила, когда Людовик XIV подписал Рисвикский договор без консультаций со своими турецкими союзниками).[187] В целом происходило очевидное восстановление французского участия в левантийской торговле.[188] Основной причиной этого представляется высокое качество французских тканей или, по меньшей мере, более высокое их качество в сравнении с английским текстилем среднего уровня, который в это время предлагался в Леванте.[189] Французская торговля была монополизирована — формально и фактически — Марселем,[190] который тем самым смог стать и центром для реэкспорта различной продукции из Леванта и Северной Африки.[191] Несмотря на это, Османская империя по-прежнему оставалась в основном внешней сферой мира-экономики,[192] и поэтому доля ее торговли в совокупной коммерческой деятельности Франции (а фактически и Западной Европы) уменьшалась, а не становилась более значимой.[193]

В конце XVII века в азиатской торговле с Европой стал происходить медленный сдвиг от перца и пряностей в сторону других предметов роскоши: индийских тканей, китайских, бенгальских и персидских шелков, китайских безделушек

договоров в Ахене (1748) и Мадриде (1750), англичане, похоже, сохранили эти выгоды благодаря устоявшимся к тому времени торговым преимуществам (см. *Scelle*, 1910, 658).

[184] *Masson* (1967a, 522).

[185] См. *Cernovodeanu* (1967, 457).

[186] См. *Bono* (1964, 51–61). Французы также заключили договор с Триполи в 1687 году.

[187] См. *Paris* (1957, 91). Дипломатические отношения между Францией и Высокой Портой в последующем столетии шли то на подъем, то на спад (см. *Paris*, 1957, 91–100).

[188] Траян Стоянович говорит о «сжатии английской торговли в Алеппо с 1680–1720 годов» (*Stoianovich*, 1974, 80). Массон называет это «самым неожиданным поворотом событий, который удивил даже французов» (*Masson*, 1967b, 367).

[189] См. *Stoianovich* (1974, 86, 100), *Masson* (1967b, 370) и *Paris* (1957, 100).

[190] См. *Paris* (1957, 12–15, 30–36).

[191] См. *Paris* (1957, 5–6).

[192] С. Негуев относит дату включения этой территории в мир-экономику лишь начиная с конца XVIII века (*Neguev*, 1975, 11). Робер Пари указывает, что до этого «европейские купцы жестко зависели от Порты, а тем самым и от ее отношений с их правителями» (*Paris*, 1957, 80).

[193] Если в начале XVII века на Левант приходилось 50% французской внешней торговли, то к 1789 году этот показатель был равен 5%. В 1750 году он был значительно ниже, чем торговля с обеими Америками и Испанией, хотя и примерно равным показателям торговли с Голландией (см. *Masson*, 1967b, 429).

(глазурь, фарфор и др.),[194] а также чая и кофе, которые первоначально тоже были предметами роскоши.[195] Эта растущая торговля по-прежнему сама по себе не периферизировала зону Индийского океана. С одной стороны, рост текстильного производства не «сопровождался какими-либо существенными изменениями в технологии мануфактурного производства»[196] или вследствие этого — сколько-нибудь значимым изменением в социальных производственных отношениях (на тот момент). Конечно, европейские державы постепенно переходили к форсированию изменений. В 1674 году британская Ост-Индская компания вступила в союз с маратхами, а в 1684 году укрепила Бомбей, положив конец политике «неогороженных факторий» (факторий в смысле торговых постов). По утверждению Люси Сазерленд, это была «тонкая грань большого клинка».[197] Этот возросший интерес европейцев к Азии вел к росту внутриевропейской конкуренции, принявшей воинственную форму после 1746 года вместе с отвоеванием французами Мадраса у англичан*. После этого, несмотря на кратковременный мир в Европе, скрытый конфликт продолжался,[198] завершившись определенным превосходством Британии лишь после Парижского договора 1763 года.

Тем не менее, несмотря на растущий европейский интерес к азиатской торговле,[199] Азия оставалась внешней сферой европейского мира-экономики. Все государства его центра шаг за шагом медленно превращались в колониальные или полуколониальные державы в обширных регионах мира с 1600 по 1750 годы. В отношении Северной Америки (где они были способны расширять свои рынки через поселенческие колонии)[200] и Вест-Индии (где можно было получать прибыльные

---

[194] См. *Boxer* (1965, 199), *Vilar* (1974, 345) и *Glamann* (1974, 447 слл.). Вилар говорит об односторонней торговле примерно до 1765 года (см. pp. 354, 354).

[195] См. *Boxer* (1965, 174–178) и *Glamann* (1958, 14). По мере того, как эти вещи стали популярны в Европе, здесь началось производство их более дешевых копий: дельфтской керамики в середине XVII века, мейсенского фарфора в 1709 году и ситцев в Англии XVIII века. Хотя чай и кофе нельзя было выращивать в Европе, с 1734 года начинается чайный бум, а несколько позже и кофейный.

[196] *Boxer* (1965, 197). Количественный рост, тем не менее, стал импульсом. С одной стороны, этот рост активно стимулировался британской Ост-Индской компанией, которая в 1696 и 1699 годах подверглась за это в парламенте резким нападкам английских шерстяных и шелковых мануфактурщиков (см. *P.J. Thomas*, 1963, 39). Поль Лёильо указывает на последствия этого импульса: «Появление в Европе индийского хлопка и муслина сначала спровоцировало протекционистскую реакцию (запрет во Франции в 1686 году, в Венеции и Фландрии — в 1700 году, в Англии — в 1701 году, а также запрет на печатные ситцы в 1721-м и примерно в это же время — в Пруссии), но в то же время стимулировало хлопковую промышленность и повлияло на колонизацию Нового Света, привязанную к африканской работорговле. Случаи подобного копирования индийской продукции более или менее одновременно участились в Англии, Германии, Нидерландах и Франции» (*Leuilliot*, 1970, 260).

[197] *Sutherland* (1952, 3).

[198] *Sutherland* (1952, 48).

[199] Мне кажется, что Леон переоценивает реальное положение дел, утверждая, что в промежутке с 1650 по 1750 годы «центр интереса крупномасштабной [европейской] торговли перемещался в Азию» (*Léon*, 1970a, 128).

[200] Однако североамериканские зоны торговли пушниной, главным образом Канаду, я бы отнес к внешней сфере мира-экономики. В частности, Лоусон говорит о мехе как о то-

поставки сахара) государства центра не имели сомнений, но в то же время испытывали наибольшее сопротивление в зоне Индийского океана, на побережье Африки и в мусульманском Средиземноморье. Но даже в этих территориях в ситуацию время от времени вмешивалась прямая европейская политическая власть — обычно с целью предупредить притязание или угрозу соперника. Понемногу продукты обмена стали, с европейской точки зрения, в меньшей степени представлять собой предметы роскоши. Однако подлинная периферизация не начнется до всемирного экономического подъема середины XVIII века, и даже тогда это впервые произойдет в таких экономически многообещающих территориях, как Индия и Индонезия.[201] Конец торговой гегемонии Голландии в мире-экономике в период после 1689 года наиболее отчетливо заметен в торговле на Балтике и Белом море. Конечно, положение голландцев ухудшалось и в других местах — в Карибском бассейне и в целом в Атлантике, а также в азиатской торговле.[202] Однако северная торговля была для Голландии «материнской», и именно здесь английское и французское соперничество поразило Голландию больше всего.

Торговля с Россией, как и торговля с Индией, становилась все более интенсивной, но пока без периферизации России.[203] Торговля товарами большого объема (такими, как зерно, пенька и поташ) в это время отличалась нерегулярностью — в частности, зерно импортировалось в Западную Европу только через Архангельск, когда цены на европейском рынке были особенно высоки. Однако такие предметы роскоши, как воск, икра и меха, «в продажной цене которых стоимость транспорта была незначительна», доставлялись регулярно.[204] Голландцы,

---

варе «престижного спроса» (*Lawson*, 1943, 2). См. тж. *Glenday* (1975, особенно 24–35). Однако К.Дж.Дэвис утверждает, что изначально было именно так, но видит в бобровых шапках «демократизирующий мех», то есть попадающий в ценовую категорию, доступную для буржуа (*K.G. Davies*, 1974, 168). Меховая «струйка» 1600 года стала, по его словам, «потоком» в 1650-м и «наводнением» в 1700-м (p. 174). Рич вообще усматривает перепроизводство меха к 1696 году (*Rich*, 1966, 26). Однако нужно иметь в виду точку зрения Коббета' в британском парламенте XVIII века. Коббет заметил, что военные расходы в 800 тысяч фунтов были произведены для борьбы с Францией за сохранение торговли в 50 тысяч фунтов: «Допустим, что вся пушная торговля утонет в море — в чем будет убыток для для нашей страны?» (цит. в: *Innis*, 1943, xx).

[201] «Европейская экономика в Индийском океане становится колониальной в подлинном смысле <...> лишь после 1750 года. Под этим мы подразумеваем момент, когда она начинает реэкспортировать в Европу предпринимательские доходы» (*Chaunu*, 1966b, 893). «Необходимо подчеркнуть, что, хотя голландская Ост-Индская компания [в XVII–XVIII веках] стала территориальной державой на Яве, Цейлоне и Молуккских островах, она всегда оставалась инородным телом даже в тех регионах, где правила напрямую» (*Boxer*, 1965, 194).

[202] Об англо-голландском соперничестве в текстильном импорте из Азии Гламанн говорит, что после 1700 года «английской торговле удалось обойти голландского конкурента» (*Glamann*, 1977, 251).

[203] Шоню относит этот переломный момент к середине XVIII века, после чего рассматривает Россию как часть европейской политики (*Chaunu*, 1966a, 639).

[204] *Ohberg* (1955, 131–133). Однако навалочные грузы, производившиеся в непосредственной близости от Архангельска, — смола, деготь и кожа, а также ворвань, являвшуюся монопольной статьей, тоже поставлялись регулярно.

конечно, удерживали значительную долю торговли с Россией,[205] но после 1700 года их функции понемногу перехватили англичане,[206] особенно роль импортера мачтового леса.[207] Англичане также стали доминировать в импорте шведского железа.[208] Франция в это время нарастила свою торговлю на севере — в меньшей степени, чем Англия, но, опять же, за счет Голландии.[209] Уилсон утверждает, что «практически монопольное положение» Голландии в европейском транспорте и торговле «оставалось неприкосновенным почти до 1730 года»,[210] и лишь после 1740 года голландская функция перевалочного пункта подверглась серьезному нападению.[211]

Возможно, Уилсон прав, но имеются два обстоятельства, которые могут заставить нас отнести конец этой фактической монополии к еще более раннему моменту. Во-первых, если в XVII веке английские товары принимались оптом в Амстердаме и Роттердаме и продавались на условиях комиссионного вознаграждения, то к XVIII веку ситуация стала противоположной: перевалочным пунктом стал Лондон, а голландское полотно принималось в Англии только на комиссионных условиях.[212] Во-вторых, очевидно, что догадливые англичане XVIII века больше не считали Голландию гегемоном — с нашей точки зрения, они были правы, рассматривая более серьезным конкурентом Англии французов, а не голландцев.[213] В финансовой сфере лидерство, конечно, по-прежнему принадлежало голландцам, но даже здесь в положении англичан и французов в действительности произошли разительные перемены. «Вторая Столетняя

---

[205] Действительно, Нопперс рассматривает промежуток с 1716–1717 до начала 1740-х годов как высшую точку, после чего произошел быстрый спад (*Knoppers*, 1977b, 12).

[206] См. *Åström* (1963, 188, 196–198).

[207] См. *Bamford* (1956, 141) и *W.S. Unger* (1959). Унгер также отмечает рост импорта железа.

[208] См. *Birch* (1955).

[209] Морино утверждает, что французский экспорт на север сравнялся с голландским в 1742 году (*Morineau*, 1965, 206). При этом Пьер Жаннен указывает, что «прямая торговля Франции с севером в XVIII веке получала прибыль от роста, отчасти бывшего следствием сокращения посреднической роли голландцев. Но если на смену Амстердаму в большей или меньшей степени пришел Гамбург, было ли это изменение столь уж важным с точки зрения французских купцов?» (*Jeannin*, 1975, 71).

[210] *Wilson* (1954, 254).

[211] См. *Wilson* (1941, 137).

[212] Как указывает Дэвид Ормрод, «это означало, что голландский купец, по сути дела, платил пошлины и нес все риски, а его капитал при этом был связан до фактической продажи полотна. Английский купец получал свои 2% [комиссионных] без какого-либо риска, а его капитал был свободен для других, более прибыльных задач» (*Ormrod*, 1975, 72).

[213] См. *Andrews* (1915, 545–546, n. 18): «Современное представление относительно эффективности голландского соперничества можно вывести из того факта, что в 1713 году некто Джон Уизерс счел необходимым написать письмо "от горожанина сельскому джентльмену" под заголовком "Голландцы лучшие друзья, чем французы". В этом письме он оспаривал преобладающую точку зрения, что голландцы были "нашими соперниками в торговле и подрывали нашу коммерцию и что если бы эти англичане были однажды сокрушены, то мировая торговля стала бы наша." <...> Уизерс стремился показать, что в действительности главным соперником Англии были французы, а голландцы являлись друзьями англичан».

война», которая началась в 1689 году, создала огромные финансовые проблемы и тем, и другим — французам в особенности.[214] В качестве «континентальной» державы Франции приходилось предоставлять бесконечные транши на поддержание своей наемной армии и дипломатии по всей Европе. Сначала французское государство стремилось компенсировать эти растущие издержки серией девальваций,[215] осуществленных между 1690 и 1725 годами.[216] В краткосрочной перспективе[217] они в ряде аспектов поддерживали государство, но

Признание голландцами факта утраты своего торгового преимущества и их реакция на это обнаруживаются в их отходе на максимально возможную нейтральную позицию в англо-французских войнах. Любопытно, что объяснения этого внутренне противоречивы, см., например, работы Элис Картер и Дэвида Хорна. Как утверждает Картер, голландский нейтралитет в XVIII веке «был обязан отчасти конституционным формам и политической системе, которая фактически делала невозможными быстрые решения, но, тем не менее, объективно хорошо служила голландским интересам» (*Carter*, 1963, 818). «Внезапное исчезновение Соединенных Провинций со сцены в качестве великой державы после Утрехтского мира необходимо отнести не только к краху их экономического могущества, но и к параличу воли. <...> Невмешательство, уловки нейтралитета и хитрости пусть и сделали голландцев непопулярными у обеих сторон конфликта, но, по меньшей мере, отложили день окончательной расплаты» (*Horn*, 1967, 24, 88). Оба эти автора предлагают чисто политические объяснения (конституционные формы, паралич воли) и в конечном итоге приходят к признанию того, что политика нейтралитета была экономически выгодной. В ситуации роста относительных издержек на производство своей продукции голландцы сохраняли конкурентоспособность, сокращая «охранные издержки».

[214] По поводу первых войн в этой серии конфликтов Пьер Губер отмечает, что «кормить армию и снаряжать 200 000 человек и два флота на протяжении девяти лет на четырех главных фронтах и на многих отдаленных театрах военных действий, противостоять почти всей Европе, Банку Амстердама, а вскоре (в 1694 году) еще и Банку Англии — это было гигантской задачей, стоимость которой в денежном эквиваленте оказывалась буквально запредельной» (*Goubert*, 1970a, 205).

[215] То, что мы сегодня называем девальвацией в смысле уменьшения стоимости бумажных денег (счетных денег) в переводе на металлические деньги, в эпоху раннего Модерна рассматривалось как «прибавление денег» (*augmentation des espèces*). Под этим имелось в виду, что металлические деньги теперь стоили больше в эквиваленте счетных денег, поскольку в этот период приоритет в отношении монеты к другим видам денег был принципиально на стороне монеты. Относительно Франции см. *Lüthy* (1959, 99), относительно Англии см. *T.S. Ashton* (1959, 106).

[216] См. *Lüthy* (1959, 114–120).

[217] Герберт Люты отмечает три преимущества для государства: налоговые доходы (*droit de seigneurage*) от чеканки новых монет, сокращение государственного долга и контроль над большим количеством монеты, поскольку государство на самом деле направляло в оборот меньше монет, чем получало при каждой подобной операции (*Lüthy*, 1959, 101). Р. Бенье добавляет четвертое преимущество — тот факт, что французское государство сочетало масштабные девальвации с постоянными мелкими ревальвациями, следствием которых было давление на тех, кто придерживал монету, с тем чтобы они отдавали ее взаймы государству: «Например, в 1703 году Шамильяр объявил несколько последовательных ревальваций и тем самым вынудил *rentiers* [рантье — *фр.*] принять конвертацию их долговых бумаг (*titres*) по сниженной процентной ставке, поскольку им грозило возмещение в монете, сокращение стоимости которой — предвестник ее обесценивания — было неизбежным» (*Besnier*, 1961, 83).

в среднесрочной перспективе[218] их цена была высока, поскольку номинальный рост цен сглаживался острыми циклическими кризисами, общим сокращением производства и ростом налогообложения.[219]

Англичане лучше могли пережить финансовое давление, вызванное этими войнами, — отчасти потому, что их чисто военные расходы были ниже, а отчасти потому, что у них было более благоприятное положение дел с драгоценными металлами. В конце XVII века вся Европа остро переживала серебряный кризис. Англию этот процесс, конечно, не миновал, и в 1690-х годах был установлен частичный запрет на экспорт серебра, исключения при этом допускались для торговли с Ост-Индией и Балтикой.[220] Мы уже утверждали, что, поскольку французская продукция в основном продавалась на французском же рынке и требовала платежных средств, используемых во внутренней торговле (т.е. серебра), а Англия (в силу своих размеров) значительным образом ориентировалась на экспортный рынок, что требовало платежных средств для международных расчетов (золота), то Англия двигалась в сторону сторону фактического золотого монометаллизма, а Франция — в сторону серебряного.[221] Подобное положение дел стимулировалось самой природой взаимосвязей в торговле драгоценными металлами: Франция получала через Испанию серебро из Мексики, в то время как Англия монополизирует золото,

[218] Итогом каждой девальвации становилось «кровопускание металлических денег во вред Франции» (*Lüthy*, 1959, 118). Люты утверждает, что «французское казначейство в конечном итоге дорого заплатило за иллюзию отсутствия необходимости платить» (p. 120). Бродель и Спунер, обозревая данный период с точки зрения 1750 года, утверждают, что «по всей Европе в 1750 году девальвации в ретроспективе оказываются особенно суровыми в трех огромных политических системах — Польше, Турции и Франции» (*Braudel and Spooner*, 1967, 382). К XIX веку Польша прекратила свое существование, Турция была «европейским больным», а Франция? Однако у девальваций была и обратная сторона: в долгосрочной перспективе они ослабляли сеньоров. «Каждое ослабление счетных денег было шагом в той тысячелетней эволюции, которая пожирала наследные платежи (*charges*) и в конечном итоге их извела» (*Lüthy*, 1959, 101).

[219] См. *Jacquart* (1975, 211). См. тж. скептическую точку зрения Дени Рише на состояние французской экономики с 1690 по 1720 годы. Рише сомневается, что после сжатия кольберовской эпохи (1660–1690) наступил подъем. В эквиваленте счетных денег цены на зерновые быстро росли, как и цены на вино и оливковое масло, но в металлическом эквиваленте они продолжали быть низкими. «Это был "номинальный" рост, искусственно вызванный обесцениванием монеты — признак бедности, а не симптом процветания» (*Richet*, 1968, 762).

[220] См. *Wilson* (1951, 240–241). Сперлинг объясняет эти исключения с точки зрения прибыльности. «Серебро шло на восток не потому, что торговля зависела от него в каком-либо абсолютном смысле, но потому, что это было прибыльным» (*Sperling*, 1962, 62). Причиной этого была разница в соотношении серебра к золоту в различных частях мира: 17:1 в Испанской Америке, 15:1 в Европе, 12:1 в Индии, 9:1 в Японии. Рудольф Блиц приводит аналогичные соотношения: 16:1 в Испании, 15:1 в Англии, 9/10:1 на Востоке (*Blitz*, 1967, 53).

[221] Жак Э. Мертенс (*Mertens*, 1944, 56) обнаруживает истоки английского золотого стандарта в острой нехватке серебра в XVII веке, однако как такое может быть, если затем аналогичную логику применить к Франции?

прибывающее из Бразилии через Португалию.[222] Период войн 1689–1714 годов Англия использовала, чтобы обеспечить себе золотой запас.[223] Поэтому серебряный кризис повлиял на нее менее резко, чем на Францию. В тот момент, когда Франция ослабляла свою государственную структуру путем манипуляций с перенасыщенным серебряным запасом, Англия усиливала свою государственную структуру через коммерческий контроль над растущим запасом золота.

Несомненно, значимость драгоценных металлов была не имманентным фактором, но являлась отражением слабости цен на другие товары.[224] Однако в рассматриваемую эпоху именно контроль над достаточным запасом драгоценных металлов был, тем не менее, ключевым фактором в борьбе между державами центра. И Англия, и Франция стремились создать для своих государственных финансов более прочную основу. В обеих странах происходил рост специализированных институтов, расширение налогообложения, подъем бумажных денег, рост публичных займов.[225] Однако к 1715 году войны 1689–1714 годов привели к «невероятному хаосу»[226] во французских государственных финансах и относительной платежеспособности в английских. В чем состояла разница? Ван дер Вее утверждает, что французский меркантилизм «был слишком сильно поставлен на службу политики *военной* экспансии в период *politique de grandeur* [великой политики — *фр.*] Людовика XIV», в то время как английский меркантилизм «был настроен на систематическую поддержку экономической *экспансии*».[227] Таким образом, ван дер Вее противопоставляет

---

[222] См. *Bouvier* (1970, 308–309).

[223] См. *Vilar* (1974, 278–279). См. тж. *Wilson* (1941, 8): «Следствием англо-португальского договора 1703 года <...> было перенаправление потока золота из Бразилии в Лондон». Перенаправление в данном случае означает уход золота с его предшествующего пути в Амстердам. В 1713 году золото составляло 60% бразильских грузов (см. *Morineau*, 1978h, 32). В XVIII веке Бразилия экспортировала примерно 800 тонн чистого золота (p. 24).

[224] Вилар пишет: «Мы всегда должны помнить, что время очень низких цен на все товары есть время высокой покупательной способности драгоценных металлов, а значит, и стимул для их поиска» (*Vilar*, 1974, 247). С другой стороны, как отмечает Морино, это преимущество исчезает, когда экономика восстанавливается: «Коммерческая значимость [золота], достигнув своего зенита в 1730 году, необычайно снизилась на рубеже XIX века. Можно привести лишь один пример: килограмм чистого золота, который в 1740 году "стоил" в Лиссабоне 12¼ ящиков сахара (около 7200 кг), в 1778 году стоил меньше семи ящиков (3900 кг), а в 1796 году — меньше 3½ (1950 кг). Кто бы поверил, что в соотношении между золотом и сахаром именно золото испытает большее ценовое сжатие?» (*Morineau*, 1978h, 40).

[225] См. *Mousnier* (1951, 1–8). Тем не менее, Мунье настаивает, что различий между Англией и Францией больше, чем сходств. Однако он предлагает меньше доказательств, чем априорных идеологических аргументов: Англия — «более капиталистическая, более буржуазная» (p. 8), а «Франция в 1713 году имела диктаторское по своей природе правительство с тоталитарными тенденциями. У Англии же было плутократическое правительство с либеральными тенденциями» (pp. 13–14).

[226] *van der Wee* (1977, 378).

[227] *van der Wee* (1977, 391–392).

военную экспансию (безусловно непродуктивное использование государственных фондов) и экономическую экспансию (более достойную похвалы). Это обычная точка зрения, но она не объясняет, почему должно существовать именно такое различие.

Как уже было сказано, различные географические условия Франции и Англии вынуждали Францию предпринимать затратные усилия в сухопутной экономической экспансии — прежде всего речь идет об эффективной экономической унификации самой Франции. При этом относительный успех Франции как сухопутной державы следует измерять сопоставлением не с Англией, а с Австрией. Несмотря на то, что в начале XVIII века австрийская монархия обладала территориями столь же обширными и почти столь же же плотно заселенными, как территории французского королевства, австрийские налоговые доходы были впятеро меньше.[228] Не только от Франции, но и от Англии тоже требовалось жить не по средствам, что всегда возможно в рамках капиталистической системы при условии, если господствует доверие. Последнее же главным образом отражает экономическую реальность. Успех рождает успех, а неудача рождает неудачу. Французское государство, как мы видели, использовало девальвации в качестве механизма долгового финансирования. Что еще более важно, французское государство развивало форму заимствований под будущие налоговые доходы. В конце 1690-х годов купцы-банкиры стали продавать дисконтные обязательства, основанные на ожиданиях казначейства относительно будущих налоговых доходов. Но на деле, по мере расширения этого процесса, оказалось, что купцы-банкиры выпускают нечто вроде фидуциарного платежного средства*, основанного на необеспеченных правительственных обещаниях военного времени. Коллапс этого кредитного сооружения наступил в 1709 году, когда государство установило мораторий на рефинансирование купцам-банкирам. Как утверждает Люты, «в действительности государство предоставило мораторий самому себе».[229]

Тем временем центральным механизмом увеличения королевских доходов становился *affermage*, или откуп налогов, дававший половину от их общей суммы начиная от времен Кольбера до Французской революции.[230] С точки зрения государства, это был дорогостоящий механизм. Леон утверждает, что без *financiers* [финансистов — *фр.*], недешевого корпуса посредников, нельзя было обойтись в слаборазвитом государстве, где прямое обращение за публичными займами «представлялось трудным, если не невозможным делом».[231] В Англии события в это время развивались совсем иначе. Действительно, в

---

[228] *Ardant* (1975, 200).

[229] *Lüthy* (1959, 112). Ср. *van der Wee* (1977, 378) и *Harsin* (1970, 272–273).

[230] См. *Y. Durand* (1976, 21).

[231] *Léon* (1970d, 623). Леон утверждает, что в промежутке с 1685 по 1715 годы «"владычество" финансов во Франции было абсолютным». В этот период под термином *financiers* [финансисты — *фр.*] мы подразумеваем *traitants* [откупщиков — *фр.*], которые были как королевскими бюрократами, так и банкирами, предоставляющими займы государству, однако их возможности по извлечению доходов были по-прежнему ограничены. «Эти люди, казавшиеся всемогущими, оставались жалкими и зависимыми от власть предержащих, — последние, безусловно, "контролировались" ими, но и "контролировали" их»

предшествующий период здесь были похожие проблемы в государственном финансировании — Джон Клэпхэм говорит о «скудных финансах позднестюартовского периода».[232] Однако в период войн, с 1689 по 1714 годы, который в Англии пришелся на время правления Вильгельма Оранского и Марии Стюарт, а затем королевы Анны, англичане предприняли решительный шаг по созданию системы долгосрочных публичных займов и тем самым — системы государственного долга, что возвело государство на безопасное финансовое основание за сравнительно небольшую плату. В 1694 году был основан Банк Англии; кроме того, в этот период происходит основание реорганизованной Объединенной Ост-Индской компании и вновь созданной Компании Южных морей. Все эти три компании были наделены собственными привилегиями в обмен на долгосрочные займы государству.[233] Займы этих трех корпораций «сыграли главную роль <...> в переходе от плавающего национального долга к консолидированному».[234]

Конечно, данные займы были хорошим способом распределения сил и средств. Для властей займы были вечными, хотя и подлежали оплате, для держателей же долга процентные ставки были благоприятны, а их доли могли расти в цене. Все это по-прежнему требовало определенного доверия. Картер утверждает, что после прихода к власти Вильгельма и Марии финансовые круги почувствовали, что могут доверять правительству — «для финансового развития это имело впечатляющие последствия».[235] Кем были эти инвесторы? Помимо горожан (и даже определенных сельских элементов), Картер говорит об участии в этом процессе иностранцев, сефардов и гугенотов.[236] При ближайшем рассмотрении представляется вполне понятным, что ключевым моментом доверия,

---

(*Léon*, 1970d, 624). В течение XVIII века *traitants* уступили *fermiers-généraux*' [генеральным откупщикам — *фр.*], которые действовали более стабильно и менее спекулятивным образом. Они больше не могли делать шальные деньги, но в вековой перспективе оказались способны снять больше пенки прибыли». См. *Léon* (1970d, 628–630) и *Y. Durand* (1976, 13–16).

[232] *Clapham* (1944, 25).

[233] См. *Clapham* (1944, 1–2) и *van der Wee* (1977, 352, 387).

[234] *Van der Wee* (1977, 388). Дейон и Жакар предлагают использовать следующий эмпирический показатель для оценки преимущества нового английского способа финансирования государства над французской системой: «Войны [1689–1713 годов] потребовали от Англии и Франции сопоставимых финансовых усилий. Налоги, особенно косвенные, и объемы заимствований росли в обеих странах аналогичными темпами. Тем не менее, в момент подписания утрехтских соглашений французский национальный долг был примерно в пять или шесть раз больше, чем английский» (*Deyon and Jacquart*, 1978, 500).

[235] *Carter* (1955, 21). См. тж. *Roseveare* (1969, 69): «Парламентская революция освободила Сити от тех беспокойств, которые он традиционно испытывал в отношении предоставления крупных займов правительству, и финансовое сообщество во главе с королем и королевой без колебаний подписало [в 1694 году] 1,2 миллиона фунтов капитала, необходимых для выполнения требований к созданию корпорации [Банка Англии]». Но не все были полны таких надежд. Об оппозиции определенных землевладельческих кругов, которые рассматривали Банк Англии как структуру, обеспечивающую источник доходов, независимый от парламента, см. *Rubini* (1970, 697–701).

[236] *Carter* (1955, 22, 30, 39–41, см. тж. 1959).

на котором мог быть построен английский национальный долг, было доверие голландских банкиров и их финансовых союзников, включая тех, кто составлял так называемый гугенотский интернационал.[237] Понятно, почему сразу после отмены Нантского эдикта гугеноты предпочитали держать деньги в Англии, а не во Франции,[238] а также почему голландцы, бывшие союзниками Англии против Франции во время войн, предпочли тот же вариант. Но почему бы не инвестировать деньги в Голландию? После 1689 года англичане могли взять на себя риск жить не по средствам путем заимствований, и, возможно, верно, как утверждает Чарльз Уилсон, что «вместе с заимствованными у голландского золотого века доходами Британия разыграла свое имперское будущее, и разыграла успешно».[239] Однако и сами голландцы должны были хотеть давать взаймы.

Если в XVIII веке голландские банки демонстрировали «особенно живой»[240] интерес к английскому национальному долгу, этому должна быть причина, и я полагаю, что она в меньшей степени имеет отношение к Англии, чем к Голландии.[241] Начнем с двух фактов. В XVIII веке английский национальный долг в основном принадлежал иностранцам,[242] а после 1689 года Англия

---

[237] См. *Monter* (1969, 298) о швейцарских инвестициях в Англию — втором по значимости источнике иностранного капитала после Голландии: «Если среди швейцарских инвесторов в основном были женевцы, а среди последних преобладали гугеноты (и если в начале XVIII века другие инвесторы в английские активы также в основном были гугенотами), тогда реальный вопрос, который нужно раскрыть и, по возможности, количественно зафиксировать, — это деятельность "гугенотского интернационала" на Лондонской бирже в начале XVIII века». Монтер указывает, что берлинские и гамбургские инвесторы в Англию были «почти до единого гугенотами». О гугенотском интернационале см. тж. *Bouvier* (1970, 312). П. Марре указывает, что эмиграция гугенотов создала «деловую и клиентскую сеть для промышленной продукции Лангедока. Те из их собратьев, кто оставался в Лангедоке, будучи удалены с государственной службы, приняли эстафету в некоторых наиболее процветающих отраслях промышленности, наиболее заметно — в текстильном производстве» (*Marrès*, 1966, 152–153). См. тж. *Lüthy* (1959, 424).

[238] Позднее, после смерти Людовика XIV, гугеноты вновь вернутся к инвестициям во Францию, в особенности во французскую внешнюю торговлю (см. *Bouvier*, 1970, 312–313). «Определенно это было больше, чем простое совпадение, что финансовая революция последовала за появлением голландского монарха и его советников, имеющих опыт в проведении фискальных и финансовых операций (в особенности долгосрочных правительственных займов) и связанных с голландскими банковскими кругами» (*Braun*, 1975, 292).

[239] *Wilson* (1949, 161). Одним из свидетельств в пользу успеха Банка Англии как ключевого института было следующее. Несмотря на то, что де-юре его расписки не были легальным платежным средством до 1833 года, де факто «еще в начале XVIII века расписки Банка Англии стали приниматься повсеместно при окончательном урегулировании задолженностей», то есть в качестве денег (*Horsefield*, 1977, 131).

[240] *Van der Wee* (1977, 389).

[241] «Похоже, что голландский капитал, за исключением, возможно, нескольких лет войны, нашел себе применение в английских фондах в большей степени из-за отсутствия инвестиционных возможностей у себя дома, нежели из-за английской потребности в капитале» (*John*, 1953, 158).

[242] *Wilson* (1941, 72–73). В частности, голландцы держали три седьмых государственного долга (*Wilson*, 1941, 78, 190). Однако Картер утверждает, что свидетельства в пользу это-

превратилась в «предпочтительное поле для инвестиций амстердамского капитала».[243] Чистым итогом меркантилистской политики Англии и Франции в XVII веке было устранение голландского преимущества во всех сферах производства и в значительной степени даже в сфере торговли. У голландцев выросли издержки на оплату труда, их технологическое лидерство исчезло, а ставки государственных налогов были исключительно высоки, отчасти из-за высокой стоимости обслуживания долга.[244] Низкая процентная ставка, бывшая следствием сильной позиции голландцев в мире-экономике, теперь, похоже, поддерживалась «чахнущим деловым климатом, который оправдывал перенос фондов в иностранные активы».[245] При том, что процентная ставка в Соединенных Провинциях упала с 6¼% в начале XVII века до 2½% в середине XVIII столетия, те 6%, которые предлагал Банк Англии (и 5% в аннуитетах и колониальных залоговых бумагах), представлялись голландским инвесторам очень привлекательными.[246]

Короче говоря, реального выбора не существовало. Размещать свои деньги в Англии голландцев вынуждали не «феодальная деловая ментальность» и не отсутствие патриотизма. «Сравнительные издержки, сравнительный возврат на капитал и фискальная политика — все это благоприятствовало [голландским] инвестициям в рентные активы дома и за рубежом, а не в промышленность».[247] Зомбарт исследовал этот сдвиг в качестве свидетельства того, что буржуазия всегда «дегенерирует», однако голландский либеральный историк А.Н. Кляйн спорит с этим «дискуссионным» высказыванием Зомбарта, предпочитая ему объяснение Маркса, что каждый капиталист является «Fanatiker der Verwertung des Werts» — фанатиком повышения цены (valorization), или самовозрастания капитала. Кляйн утверждает, что данная характеристика отлично соответствует голландскому случаю:

> «Голландский купец XVII века и его потомок-рантье в следующем столетии соответствуют этой концепции, если учесть, что экономические возможности последнего были ограничены куда менее очевидным полем финансовых инвестиций. Если один фанатик добивается своих целей быстрее и эффективнее

го «крайне сомнительны» (*Carter*, 1953a, 159). Из бухгалтерских записей она заключает, что голландские интересы охватывали лишь одну восьмую — одну шестую часть долга (p. 161). Тем не менее, Элис Картер признает, что непосредственно перед войной за Австрийское наследство голландские инвестиции в английском государственном долге стали представлять собой «существенно значимую в отношении целого долю» (*Carter*, 1953b, 338).

[243] *Barbour* (1963, 125).

[244] Петер Кляйн указывает, что наиболее быстрый рост государственного долга Соединенных Провинций происходил в XVII веке, что было ожидаемо, учитывая их гегемонию. Соединенные Провинции пытались удержать ставки налогообложения на низком уровне — отчасти потому, что одним из идеологических мотивов их войны с Испанией было восстание против налогов; однако на деле издержки приходилось возмещать. «Рассуждая подобным образом, можно утверждать, что голландская свобода XVI века была куплена едва ли не ценой будущих поколений» (*Klein*, 1969, 19).

[245] *Morineau* (1974, 775). См. тж. *Carter* (1971, 131–135).

[246] *Wilson* (1954, 2631–264).

[247] *Wilson* (1960b, 439).

другого, то это происходит, возможно, в силу более значительных возможностей, но определенно не благодаря его большей решимости».[248]

Это изменение в голландской финансовой сфере не было внезапным или тотальным — скорее это был постепенный процесс. Голландские банки оставались все тем же консервативным местом, куда другие могли помещать свои драгоценные металлы,[249] а темп чеканки монеты в XVIII веке продолжал расти.[250]

Европейское доверие Амстердаму как финансовому центру мира не будет поколеблено до 1763 года,[251] но уже в начале XVIII века голландцы переводили свои деньги туда, где за них можно было получить наибольшее вознаграждение, и таким местом была Англия. Это было «ясное деловое соглашение»,[252] в котором высокий возврат на капитал голландских инвесторов помогал английскому государству снижать для себя стоимость займов. В конечном итоге, англичане могли получать свои деньги внутри страны, как это делали французы, но голландские инвестиции «позволили Англии вести [свои] войны с минимальной трудностью для экономики».[253] Симбиотическое соглашение между бывшей державой-гегемоном и новой восходящей звездой обеспечило для первой приятное выходное пособие, а для второй — первоначальный импульс против своего соперника. Подобная модель была воспроизведена позднее, в промежутке с 1873 по 1945 годы, когда Великобритания выполняла прежнюю голландскую роль, а Соединенные Штаты — английскую.

После Утрехта французы предприняли мощную попытку устранить возникающее преимущество Англии в мировых финансах. Проблемы Франции слегка касается Поль Арсен, утверждая, что «наиболее серьезной лакуной во французской финансовой системе было отсутствие настоящего публичного кредита вплоть до 1715 года».[254] Восполнить ее был намерен «частный» банк Джона Лоу,[255] попытавшегося вновь создать кредит французского государства путем основания

---

[248] *Klein* (1970, 34). То, что это было намеренное решение, можно увидеть в самом факте, что голландцы были первопроходцами в финансовой инновации XVIII века — инвестиционных трастах. Эта идея не достигнет Англии вплоть до 1870-х годов, когда Англия дойдет до той стадии, на которой Соединенные Провинции находились еще в 1689 году (см. *Klein*, 1969, 12).

[249] См. *van Dillen* (1926, 199–200).

[250] См. *Morineau* (1972, 4).

[251] См. *Wilson* (1954, 264–265).

[252] *Carter* (1953b, 323).

[253] *John* (1955, 343).

[254] *Harsin* (1970, 276).

[255] Из-за возражений различных кругов на предложение Лоу о создании государственного банка последний, «чтобы получить уполномоченный статус, был вынужден камуфлироваться под видом частного банка» (*Harsin*, 1970, 277–278). О попытке Лоу учредить национальный банк Франции см. *E.J. Hamilton* (1969, 140–149). Хэмилтон называет исходный план Лоу, представленный в 1702 году, «одним из самых лучших планов для национальных банков, которые можно было найти в какой-либо стране на тот момент» (p. 143). О том, что частная природа банка была прикрытием, свидетельствует следующее обстоятельство: когда 4 декабря 1718 года он окончательно стал формально Королевским банком, «все акции, выпущенные в обращение, уже были тайно приобретены правительством» (p. 145).

банка, который получал бы государственные доходы; на этом основании банк выпускал бы действительные платежные свидетельства, конвертируемые в золото. Долгосрочными целями этого были обеспечение финансовой стабильности, увеличение ликвидных платежных средств, снижение процентной ставки, улучшение обменного курса иностранных валют и — возможно, прежде всего — сокращение государственных расходов (в плане как государственного долга, так и продолжающейся утечки государственных доходов в руки бюрократических групп-посредников). Все это сделало бы возможной программу значительной морской и колониальной экспансии. Для достижения этих целей Лоу первоначально предложил две вещи: расширение платежных средств в бумажной форме и фискальную реформу.[256] Это было похоже на попытку завершить работу Кольбера — впечатляющий рывок, который мог восстановить безусловное лидерство Франции в ее борьбе с Англией. Но проект обернулся ужасным провалом. Получив первоначальный капитал, банк Лоу создал *Compagnie d'Occident* [Западную компанию — *фр.*] для исследования и эксплуатации долины Миссисипи (известной как Луизиана) с использованием государственной монополии. Банк также приступил к поглощению других торговых компаний (*Sénégal, Indes orientales, Chine* [Сенегальской, Восточной Индии, Китайской — *фр.*]) и к созданию в 1719 году *Compagnie des Indes* [Индийской компании — *фр.*].

В то же самое время банк Лоу принял на себя выплату публичных долгов в ущерб погашению налоговых векселей*. Лоу также стремился реорганизовать и рационализировать налоговую систему, но так и не смог осуществить эту программу в условиях той масштабной спекулятивной лихорадки, которую вызвала инфляция ценных бумаг и бумажных денег. Внезапно наступил кризис доверия. Попытки снизить цену на бумаги вызвали обратный эффект, и система схлопнулась в так называемом пузыре Миссисипи. Почему произошло именно так? Дейон и Жакар утверждают, что, несмотря на «восхищение», вызванное «масштабом проекта», Лоу не обладал «искусством исполнения, терпеливым господством над временем, от которого зависит успех даже самых блестящих стратегий».[257] Арсен полагает, что Лоу сконструировал систему, которая была «крепкой, [но,] возможно, преждевременной», и в конечном счете она рухнула из-за «дерзости его инициатив и слишком быстрого их внедрения, а не от отсутствия в ней логики и не от рук коалиции его врагов».[258] Однако, по мнению Макса Вебера, крах Лоу был неизбежен просто потому, что «ни Луизиана, ни торговля с Китаем или

---

[256] Данное описание намерений Лоу приводится по: *Harsin* (1970, 279). Как утверждает Джон Карсуэлл (*Carswell*, 1960, 78–79), «идея национальной бумажной валюты, которая получила бы всеобщее признание благодаря опоре на авторитет государства и контролировалась бы через сеть местных инстанций, была ядром плана Лоу по увеличению мирового богатства. Он был настолько уверен, что такая валюта будет предпочтительнее металлической, что в исходной модели своего проекта полагал необходимым установить лимит на прибавку к номиналу, которая должна полагаться бумаге в отношении к золоту и серебру, и сделать так, чтобы долг в 100 единиц не должен превышать 110 единиц в золоте при его погашении».

[257] *Deyon and Jacquart* (1978, 502).

[258] *Harsin* (1970, 280).

Ост-Индией не приносили достаточно доходов, чтобы выплачивать проценты даже на часть его капитала».[259]

Возможно, мы сумеем лучше оценить крах системы Лоу, если рассмотрим одновременную спекулятивную схему в Англии, которая привела к похожему кризису, известному как пузырь Южных морей. (Отметим при этом, что спекуляции не ограничивались Англией и Францией, но активно стимулировались банкирами и инвесторами в Женеве, Соединенных Провинциях, Гамбурге и северной Италии.)[260] «Системой» Джона Лоу предполагалось собрать воедино три государственные монополии: эмиссионный банк (*Banque Royale* [Королевский банк — *фр.*]), торговую компанию (*Compagnie des Indes* [Индийская компания — *фр.*]) и централизованное ведомство косвенных налогов (*Ferme générale des impôts* [Генеральные откупщики налогов — *фр.*]). В октябре 1719 года, когда Лоу предложил рефинансировать остающийся национальный долг в 1,5 миллиарда франков, спрос на ценные бумаги как в Англии, так и во Франции был более чем ожидаем. Поэтому англичане скопировали его схему, используя уже существовавшую Компанию Южных морей.[261] В Англии спрос также превосходил ожидания. В обоих случаях ключевым элементом было то, что индивидуальный кредитор был понуждаем (но не принуждаем) приобретать ценные бумаги.[262] Однако во Франции после такого побуждения под давлением правила игры изменились, и стоимость банкнот в переводе на счетные деньги была снижена на 50%. Как отмечает Хэмилтон,

> «ввиду того, что и Лоу, и регент*** торжественно и неоднократно обещали, что курс банковских расписок к счетным деньгам никогда не изменится, воцарилась

---

[259] *Weber* (1950, 288). Вебер дает идентичное объяснение «пузырю Южных морей»: «Здесь банкротство также было неизбежным, потому что торговля в Южных морях была недостаточной для выплаты процентов по авансированным суммам».

[260] См. *Åkerman* (1957, **II**, Pt. I, 254–255); *Harsin* (1970, 294); *Kindelberger* (1978, 120–122). Т.С. Эштон добавляет Данию, Испанию и Португалию (*T.S. Ashton*, 1959, 120). О Женеве см. *Sayous* (1937). Окерман называет кризис 1720 года «первым международным кризисом» (p. 255). Вебер считает эту пару пузырей «первым великим спекулятивным кризисом», отличая его от великой тюльпановой лихорадки в Голландии 1630-х годов (*Weber*, 1950, 286). Джеффри Паркер использует практически такую же формулировку: «первый финансовый кризис современной эпохи» (*Parker*, 1974a, 582).

[261] Первоначальное использование Компании Южных морей для рефинансирования краткосрочных облигаций в 1711 году* было крайне успешным. «Этот осмысленный шаг позволил Англии выйти из Утрехтского мира 1713 года с фактически незапятнанной репутацией, даже несмотря на то, что ее публичный долг был огромен» (*Parker*, 1974a, 581). М. Флинн (*Flinn*, 1960) более скептически относится успешности данного начинания. Однако Б.У. Хилл утверждает, что это было политически важное действие — даже более, чем экономически: «Парламент, где преобладали тори, удалось склонить к поддержке национального долга, а контролируемый вигами Сити смог вновь обрести роль кредитора нации. И в политическом, и в финансовом отношении это были события, важные для будущего. В политическом отношении — потому, что они устраняли страх гибели публичного кредита в результате смены правительства [в 1710 году власть перешла от вигов к тори**]. В финансовом — потому, что организационная форма, разработанная "денежными кругами" начиная с революции [т.е. Банк Англии], была признана и даже защищаема каби-

паника. Поскольку один росчерк пера, воздержаться от которого для короны было делом чести, унес половину номинальной стоимости банковских расписок, их держатели стремились потратить или инвестировать их прежде, чем будет допущен второй такой жест».[263]

«Великий крах» распространился из Парижа в Лондон. Однако несомненно не только то, что он «представлял собой наглядную демонстрацию хрупкости нового финансового сооружения», но и то, что он показал «эластичность новых финансовых техник».[264] После этого и Англия, и Франция вступили в период долгосрочной финансовой стабильности, который продолжался вплоть до Французской революции.[265] В этом смысле исход дела был удачным. Тем не менее, попытка Франции использовать систему Джона Лоу, чтобы преодолеть растущий разрыв в финансовом могуществе двух стран, дала результаты, обратные желаемым. Англия, заблаговременно создавшая центральный банк, пережила пузырь Южных морей, однако аналогичная структура во Франции привела к пузырю Миссисипи и поэтому умерла вместе с ним. «Крайне короткое правление Лоу потрясло все, не достигнув ничего».[266] В Англии же парламент поддержал обанкротившуюся Компанию Южных морей, «сохранил приличия» и тем самым спас английскую репутацию.[267] Однако во Франции это было невозможно политически. Прямые негативные последствия системы Джона Лоу были сильно преувеличены,[268] к тому же она имела даже положительные эффекты.[269] Подлинно негативным моментом было то, что Франции не удалось добиться успеха, а значит, обернуть вспять отставание от Англии.

На протяжении XVIII века Англия в финансовом отношении занимала все более центральное положение в мире-экономике, в то время как во Франции шел обратный процесс,[270] поскольку французское государство было не таким сильным, как английское. Тогда перед нами возникает вопрос о том, каким образом английское государство стало настолько сильнее французского. Для тех, кто измеряет силу государства тем, в какой степени личность в нем защищена от произвольных решений государства, или размером публичного государственного аппарата, это может показаться абсурдным вопросом. Однако мы уже изложили нашу

нетом министров, который представлял главных критиков Сити — земельных джентри» (*B.W. Hill*, 1971, 411).

[262] См. *Parker* (1974a, 583).

[263] *E.J. Hamilton* (1969, 147).

[264] *Parker* (1974a, 586).

[265] Об Англии см. *Vilar* (1974, 285), о Франции см. *Lüthy* (1961, 31) и *Bouvier* (1970, 307).

[266] *Lüthy* (1959, 414).

[267] *Harsin* (1970, 279). Пламб выдвигает еще более решительную точку зрения на действия правительства. Уолпол, утверждает Пламб, «спас двор» (*Plumb*, 1950, 59) и поэтому два года спустя стал премьер-министром.

[268] См. *Poisson* (1974, 266).

[269] Ж. Имбер говорит о благотворном «ударе кнута по французской экономике между 1718 и 1721 годами» (*Imbert*, 1965, 354). Э.Дж. Хэмилтон отмечает, что система Лоу вывела Францию из торгового кризиса, пусть и не «бесплатно» (*E.J. Hamilton*, 1969, 147–148).

[270] Об упадке Лиона как финансового центра после 1720 года см. *Lüthy* (1959, 55).

позицию, что государство является сильным в той степени, в которой власть предержащие могут сделать свою волю преобладающей над волей других — вне или внутри государства. Используя данный критерий, можно убедиться, что к началу XVIII века английское государство определенно опережало французское. Подлинно сильному государству редко нужно демонстрировать свой железный кулак. Харольд Темперли отмечает, что если эпоха Уолпола была «временем мирным [и] бессобытийным», то это случилось благодаря прошлой доблести: «Метуэнский договор с Португалией в 1703 году и торговые статьи Утрехтского мира 1713 года всеми рассматривались как уступки английской торговле, которые можно было вырвать только оружием или угрозой его применения».[271] Силы оружия было недостаточно — требовалась также эффективность управления. Пламб утверждает, что «к 1714 году Британия, возможно, располагала наиболее эффективными правительственными механизмами в Европе».[272]

Мы заняли позицию, в соответствии с которой социальные компромиссы, достигнутые в конце XVII века в Англии и Франции, различались меньше, нежели порой предполагается, причем в обоих случаях их результатом стала относительная внутренняя стабильность во время англо-французских войн 1689–1763 годов. XVIII век был «эпохой примирения между монархией и знатью во всей Европе»,[273] и это примирение базировалось на сильной государственной поддержке доходов земельных классов. И если последнее общепризнано в отношении Франции, то не была ли Англия обителью триумфального торгового капитала? Несомненно, была, но был ли этот капитал отделён от земельных доходов?[274] Далеко не совпадая с этими кругами персонально, правительства, с одной стороны, поддерживали торговые, промышленные и финансовые предприятия всеми способами, которые мы уже описали, и одновременно позволяли земельным классам присваивать обширную долю

[271] *Temperley* (1909a, 40, 49). Вместе с силой пришел консерватизм. «Политика [Уолпола] была исключительно проста — избегать войны, поощрять торговлю, сокращать налоги, а во всем прочем — статус-кво, никаких новшеств (innovations). Как он верно сказал, "я не святой, не спартанец, не реформист"» (*Plumb*, 1966, 78–79).

[272] *Plumb* (1967, 13). Эффективность более важна, чем цифры, но стоит заметить, что цифрами в Англии не пренебрегали. «Численность работающих в правительстве с 1689 по 1715 годы росла быстрее, чем в любой другой период английской истории» (p. 112) — до XIX века. См. тж. *Aylmer* (1974, 24): «С точки зрения резкого роста правительства, ключевыми промежутками <...> представляются 1642–1652 и 1689–1697 годы (а также, возможно, 1702–1713)». Сравним описание Пламба с той оценкой, которую Патрис Бержер дает предполагаемому быстрому росту французской административной эффективности после 1689 года: «Изучение голода 1693 года [и того, как французское правительство разбиралось с этим вопросом] не оставляет ощущения того великого административного нахрапа, которыйтеоретически должен быть вызван военными нуждами»(*Berger*, 1978, 120).

[273] *P. Anderson* (1974a, 232).

[274] Об Англии и земельном богатстве см. *Habakkuk* (1967b, 9): «Нет основания сомневаться, что обстоятельства были более благоприятны к земельным доходам в столетие после 1715 года, нежели в промежутке 1640–1715 годов» См. тж. *Plumb* (1967, 8): «Земельное дворянство все больше вплеталось в новую экономическую ткань общества; торговля, спекуляция [и] капиталистические авантюры наконец перестали быть чуждыми для него». О

прибавочного продукта. Опять же, применительно к Франции это признают все. Знать, не платившая налоги, и приобретаемое *noblesse de robe* [дворянство мантии — *фр.*] — таковы ключевые элементы в нашем образе *Ancien Régime*,[275] но так ли это не было известно в Англии? Каким был эффект от уолполовской стабильности в эту «эпоху огромного поместья» с «аристократической монополией на землю»?[276] Э.П. Томпсон делает издевательское предположение:

> «Политическая жизнь Англии 1720-х годов имела нечто от болезненных свойств "банановой республики." <...> Каждый политик посредством непотизма, личного интереса и подкупа собирал вокруг себя лояльную ему клиентелу последователей. Цель этого состояла в том, чтобы вознаградить их неким постом, находясь на котором, они могли бы выдаивать часть общественного дохода — армейские финансы, церковь, акцизы. <...> Крупные джентри, спекулянты и политики были людьми огромного богатства, чьи доходы громоздились как Анды над влажными лесами бедности простых людей».[277]

Так ли заметно английская версия «государственного бандитизма»[278] разнилась по своим последствиям для землевладельцев с его слегка отличавшейся французской версией? Здесь необходимо вернуться к вопросу о том, что именно делало английское государство сильнее французского. Возможно, наиболее простой ответ состоит в том, что это был результат военных возможностей англичан по сдерживанию Франции в войнах 1689–1714 годов. А их способность выиграть эти войны была результатом англо-голландского альянса — причем в меньшей степени это было военное содействие голландцев (хотя и этим нельзя пренебрегать), в отличие от той финансовой поддержки, которую голландские инвестиции дали английскому государству. Голландские интересы сформировали такой уровень доверия, который сделал возможным создание Банка Англии и обусловил то, что этот институт пережил пузырь Южных морей. Прежде всего, в уолполовском однопартийном государстве стало наконец возможным устранить раскол в английских правящих классах, который начался в период первых Стюартов и продолжился в иной форме в ходе острой борьбы партий тори и вигов в 1689–1715 годах.[279] Английское государство становилось сильным,

---

Франции и купеческом капитале см. *McManners* (1967, 26): «Деньги — вот ключ к пониманию французского общества в XVIII веке. Имея за своей спиной власть денег, плутократия проникала в ряды аристократии». См. тж. *Grassby* (1960) о некоторых путях в обход *dérogation* [лишение дворянства — *фр.*], а значит, было невозможно сохранять те строгие барьеры между знатью и купцами, которые эта доктрина была призвана обеспечить.

[275] Дж.В. Тейлор называет это «придворным капитализмом»: «Нобили, финансисты, банкиры и профессиональные спекулянты впутали правительство в сомнительные спекулятивные операции и использовали свое влияние, чтобы обеспечивать официальные решения, которые повышали или снижали цены или освобождали спекулянтов от невыгодных будущих обязательств» (*G.V. Taylor*, 1964, 488).

[276] *Mingay* (1963, 15, 26).

[277] *E.P. Thompson* (1975, 197–198).

[278] Формулировка в: *E.P. Thompson* (1975, 294).

[279] Голландская финансовая роль в английской политике, конечно, опосредовалась лондонским Сити. Сазерленд называет поддержку Сити — как прямую, так и через

а английский предприниматель продолжал завоевывать экономический мир не потому, что Англия была более демократичной,[280] чем Франция, но потому, что в некотором смысле Англия была менее демократичной. Внезапно климат изменился — от политического насилия к политической стабильности.[281]

Политические примирение верхних страт, эта ткань английской стабильности XVIII века, во Франции было завершено лишь частично. В точности как в Англии, более новые сегменты верхних страт добились *droit de cité* [права гражданства — *фр.*] в политической структуре и перестали быть оппозиционной силой[282] — во Франции так произошло с сопоставимой группой *noblesse de robe*.[283] Тем не менее, в отличие от Англии, исполнительная власть никогда не переходила под тотальный контроль государства. «Трещина между теорией и практикой [абсолютизма] оставалась необычайно широкой».[284] Чтобы объяснить незавершенность примирения верхних страт во Франции, необходимо вернуться к вопросу о гугенотах после отмены Нантского эдикта. «Протестантская партия» в XVI веке пользовалась поддержкой половины французской знати, особенно ее средней и нижней части. Любопытным следствием этого было то, что мелкая знать, испытывая

связанную с ним Ост-Индскую компанию — одним из четырех оснований системы Уолпола (см. *Sutherland*, 1952, 18–23).

[280] Пламб убедительно доказывает, что 1715 год был отмечен окончательным замирением того выступления масс, свидетельницей которого Англия была начиная с 1640 года. «Фригольдеры в Англии XVII века стали политическим субъектом. <...> К середине XVIII века бóльшая часть этого права первородства была утрачена» (*Plumb*, 1969, 115–116). После 1715 года, утверждает Пламб, английская стабильность была производной от «трех главных факторов: однопартийного правительства, законодательства под твердым контролем исполнительной власти и ощущения общей идентичности среди тех, кто обладал экономической, социальной и политической властью» (*Plumb*, 1967, xviii).

[281] «*Среди правящего класса* существовала восходящая к норманнам традиция заговора, бунта, интриги и мятежа. К 1685 году насилие в политике было правом первородства англичанина» (*Plumb*, 1967, 19, курсив добавлен). «Наступающая политическая стабильность часто возникает в обществе довольно быстро — столь же внезапно, как вода становится льдом» (p. xvii). У Кристофера Хилла есть похожий образ, однако он относит переломный момент 1688-му, а не 1715 году: «Всей Европе Англия была печально известна насильственным характером своей политики. <...> После 1688 года ее героический период закончился. За жестокими колебаниями предшествующих 50 лет последовало относительное спокойствие» (*C. Hill*, 1969, 119, 213).

[282] «[Виги —(The Junto) и Уолпол] отделяли идеологию вигов от радикализма. <...> Партия сплавляла воедино интересы аристократии, высших финансовых кругов и исполнительной власти — Уолпол расширил этот процесс, дабы охватить основную массу земельных джентри» (*Plumb*, 1967, 187).

[283] Франклин Форд отмечает, что если на заседании Генеральных Штатов в 1614 году верхушка *noblesse de robe* по-прежнему фигурировала среди простолюдинов, то «в 1715 году наиболее важным фактом относительно высшего дворянства мантии было то, что с правовой точки зрения больше не было никаких сомнений в их дворянстве» (*Ford*, 1953, 59). Действительно, продолжает Форд, «в 1715 году высшее дворянство мантии, уверенное в своем дворянском статусе и обладающее восстановленными политическими правами, было наиболее могущественной силой среди аристократии» (p. 188).

При этом не всех, кто по-прежнему формально оставался *roturiers* [простолюдинами — *фр.*], негативно коснулась так называемая феодальная реакция. Элинор Барбер

давление со стороны королевских чиновников, прибегла к «относительной, но все равно парадоксальной толерантности в отношении своих крестьян». Однако когда политический компромисс 1598 года обернулся королевской победой в 1629 году*, социальные последствия этого были громадны: «Поражение протестантской партии было прежде всего поражением знати».[285] Знать отказывалась от протестантизма — после 1598 года медленно, а после 1630 года стремительно, и именно это сделало возможным отмену Нантского эдикта в 1685 году.[286]

А вместе с его отменой произошло рассеивание гугенотов — в основном городских буржуазных элементов.[287] Однако последние составляли лишь до 10% французских протестантов, многие другие обратились в католичество[288] — кто же остался?

> ««Таким образом, королевская власть сурово уничтожила тот централизованный, институциональный, клерикальный и буржуазный протестантизм, который на протяжении XVII века был шире протестантизма Реформации. Но в годину невзгод последний был воссоздан — сначала без пасторов, ему следовали простые миряне, проповедники. <...> Это произошло благодаря тем аристократам и крестьянам [*ruraux*], которые были главной силой реформированных церквей в XVI веке. Когда отмена Нантского эдикта заставила вновь искать способы противостояния, их первым инстинктом был бунт».[289]

Ключевыми чертами этой восстановленной протестантской церкви были «конгрегационализм*****, федерализм, секуляризм, парламентаризм и эгалитаризм».[290] Эгалитарный и мятежный! Французское государство оказалось перед лицом потенциального классового восстания средних страт — бедных дворян и богатых крестьян, и это было серьезно. Франция оказалась в подобном затруднении из-за исторических дилемм, поставленных перед ней в XVI веке

указывает, что если для «средней» буржуазии карьерные пути были заблокированы, то «крупная» буржуазия, использовавшая свое богатство, была «затронута этим гораздо меньше» (*Barber*, 1955, 143).

[284] *Bromley* (1957, 135). «Освобождение государства от исторических пут было медленным процессом, часто прерывавшимся и никогда не завершенным» (p. 137).

[285] *Chaunu* (1965b, 26–27).

[286] «При внимательном рассмотрении обращение в католичество [маршала-генерала] Тюренна** [в 1668 году] было более важным событием, чем отмена Нантского эдикта. Без этого шага был бы немыслим эдикт Фонтенбло — король не смог бы вынудить к этому половину своих дворян, прояви они решительность. Полтора столетия спустя, 23 июня 1789 года, Лафайет, Ларошфуко-Лианкур*** и 90 прочих либеральных дворян сделали для успеха третьего сословия больше, чем речи Мирабо» (*Chaunu*, 1965b, 27).

[287] Между 1680 и 1720 годами Францию покинули около 200 000 гугенотов, отправившись в первую очередь в Англию, Соединенные Провинции, Женеву и германские земли (см. *Scoville*, 1952, 409–410).

[288] См. *Scoville* (1960, 3–5, 118). Некоторые из обращенных в действительности сделали это притворно, став «новыми марранами» (см. *Léonard*, 1948, 177–178).

[289] *Léonard* (1948, 178). Отсюда и война камизаров, Антуан Кур и синод пустынников в Басс-Севенне**** в 1715 году.

[290] *Léonard* (1948, 179).

размером страны, который был слишком велик и экономически несоизмерим, чтобы обеспечить быстрое создание сильной государственной структуры.

Те сферы, которые могли вызвать восстание, приходилось успокаивать и сдерживать, и это происходило — отчасти путем снижения крестьянских налогов после 1720 года,[291] а отчасти путем распространения начального школьного образования в сельских территориях в качестве способа аккультурации со стороны триумфальной Контрреформации.[292] Однако снижение налогов попросту увеличивало уже растущий разрыв в силе английского и французского государств.[293] Но образовательной и религиозной эволюции (несмотря на то, что в сельской Франции XVIII века она могла сдерживать «радикализм» и «криминализацию»)[294] было явно недостаточно для того, чтобы устранить ощущение исключенности из политического процесса у крупных фермеров — той группы, которую в Англии именовали джентри, или, по меньшей мере, мелкими джентри. Государство было неспособно стать подлинно сильным без включения этой группы в политику.[295] Внутренняя борьба во Франции была не вполне безотносительна созданию основополагающего англо-голландского альянса. В середине XVII века никоим образом не было очевидно, что в следующем столетии голландцы предпочтут союзу с Францией именно Англию: англичане были их главным коммерческим соперником, в то время как с Францией голландцы имели много связей. Действительно, как мы видели, голландцы превращали Понант в свой экономический приводной ремень, похожий на тот, которым становились Португалия и Испания.

Однако собственные внутренние противоречия подталкивали Францию к положению сухопутно ориентированной военной экспансионистской державы, подавлявшей собственных протестантов. Поэтому для голландских держателей капитала (будь то республиканцы или роялисты) дела с Англией должны были представляться менее дезориентирующими, чем с Францией.

---

[291] См. *Le Roy Ladurie* (1975c, 35–37).

[292] См. *Le Roy Ladurie* (1975a, 528). XVIII век, в отличие от XVII столетия, был «великой эпохой крестьянского школьного образования» (p. 538).

[293] См. данные Мунье о сравнительным поступлениям от таможен, акцизов, почт и марок в промежутке с 1690 по 1715 годы. В то время как французский доход от *Fermes-Unies* [объединенных откупов — *фр.*] сократился с примерно 70 миллионов турских ливров в 1690 году до 47 миллионов в 1715 году, английский доход вырос с 20,5 миллиона в 1700 году до 59,5 миллиона в 1713 году (*Mousnier*, 1951, 18). В течение столетия этот разрыв постоянно ухудшался. Питер Матиас и Патрик О'Брайен, тщательно сравнив налоговое бремя обеих стран на протяжении всего XVIII века, утверждают, что «во Франции оно было ниже, чем в Англии» (*Mathias and O'Brien*, 1976, 634). Они указывают, что «это, возможно, не просто совпадение», — размер английских налогов превосходил только Соединенные Провинции, единственную страну, «где внутренние рынки были еще более тесно связанными между собой, чем в Британии» (p. 640).

[294] *Le Roy Ladurie* (1975a, 550, 552).

[295] Ле Руа Ладюри противопоставляет политические коалиции сельской Англии и сельской Франции в XVIII веке: сеньоры и богатые фермеры (*gros fermiers*) в Англии, в отличие от французского «исторически сложившегося блока» бедных, средних и даже зажиточных крестьян против *féodalité* [феодализма — *фр.*] (*Le Roy Ladurie*, 1975a, 584–585).

Франция угрожала поглотить Голландию и удушить ее — англичане же предлагали медленную диффузию (osmosis) двух капиталистических страт, и вступление на английский престол Оранского дома лишь подтвердило, что голландцы предпочитают англичан. Таким образом, как это часто бывает, сила порождала силу, а слабость — слабость. Сложности XVI века в создании государственной структуры разрывали Францию на части, терзали ее и в конечном итоге воплотились в неполной интеграции Франции XVIII века. Англия XVI века была компактным государством. Беспорядки Гражданской войны форсировали воссоздание единого правящего класса, и Англия оказалась способной поглотить и инкорпорировать свои кельтские окраины, а также привлечь достаточно голландского капитала, который поддержал создание стабильного уолполовского однопартийного государства в XVIII веке. Способность Англии решительно опередить Францию в промежутке 1750–1815 годов и объясняется именно этим постоянным ростом относительной силы английского государства, а не значимыми различиями в том, как было организовано французское и английское производство с 1600 по 1750 годы, или различиями в ценностных системах.

На протяжении этого тома мы подчеркивали черты сходства в организации производственной деятельности в Англии и во Франции. Что же касается технологических и интеллектуальных новшеств, то здесь все зависит от того, какие книги по истории вы читаете. Буржуазные, капиталистические ценности, несомненно, стали пронизывать Соединенные Провинции и Англию, однако не следует забывать классическое утверждение Пола Хазарда, что идеи Просвещения стали господствовать во Франции не вместе с Революцией и даже не с энциклопедистами, а в промежутке с 1680 по 1715 годы.[296] Как утверждает Лабрусс, «XVIII век [во Франции] мыслил буржуазно»,[297] причем это было верно не только для Франции. Несмотря на то, что в европейском мире-экономике по-прежнему возвышались идеологические фасады прежнего мира, все больше и больше групп изначально и окончательно стремились действовать в духе буржуа и пролетариев, проводя свои интересы и защищая свои ставки в капиталистической системе — вот подлинная суть того, о чем шла речь в этом томе. Ни буржуазная, ни пролетарская культура еще не возникли — но буржуазные и пролетарские практики уже формировали основные рамки социального действия.

[296] «Никогда не было такого огромного контраста, никогда не было более внезапного перехода, чем этот. <...> В одночасье французский народ, почти как один человек, стал думать как Боссюэ*. Еще через день <...> — как Вольтер. Это было не обычное колебание маятника — это была революция» (*Hazard*, 1964, 7).

[297] *C.E. Labrousse* (1970, 716).

КОММЕНТАРИИ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 2011 ГОДА

К стр. xviii: * — *Koppelwirtschaft* — немецкая технология севооборота, при которой поле сначала используется для выращивания зерновых культур, а затем несколько лет стоит под паром в качестве луга или пастбища.

К стр. xxvi: * — *сэр Джордж Даунинг* (1623–1684) — английский государственный деятель, посол в Голландии при Кромвеле и Карле II. Один из главных идеологов английского торгового протекционизма (навигационных актов), в качестве секретаря английского казначейства начал крупную реформу государственных финансов.

ВВЕДЕНИЕ. А БЫЛ ЛИ КРИЗИС СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА?

К стр. 2: * — *Иоб Адрианс Беркхейде* (1630–1693) — голландский живописец, мастер городского пейзажа, работал в Харлеме. Картина «Старая биржа в Амстердаме» написана в 1669 году, находится в музее Бойманса — ван Бёнингена в Роттердаме.

К стр. 2: ** — *Шарль-Луи Пёльниц* (Карл-Людвиг фон Пёльниц) (1692–1775) — немецкий барон, путешественник и писатель. Мемуары, написанные им на французском языке, посвящены жизни европейских дворов первой половины XVIII века.

К стр. 6 * — *значимый разрыв происходит вместе с Промышленной революцией* — Вопреки устоявшейся в русской традиции формулировке «промышленный переворот», мы используем в переводе термин «Промышленная революция» (в оригинале Industrial revolution). В данном случае следует учитывать контекст осмысления данного процесса в западной историографии: эпоха Промышленной революции традиционно рассматривается как одновременная и имеющая общую природу с эпохой буржуазных революций (прежде всего Великой Французской). Впрочем, далее, в первой главе третьего тома, Валлерстайн показывает, что с точки зрения мир-системного анализа понятия «Промышленная революция» и «буржуазная революция» в их устоявшемся смысле несостоятельны. Также в настоящем и последующих томах Великая Французская революция вслед за

Валлерстайном именуется просто Французской революцией (French revolution).

К стр. 6, сн. 18: ** — *«История технологий» (A History of Technology)* — капитальный семитомник оксфордского издательства «Кларендон Пресс», выходивший в 1954–59 годах (тома 1–5) и 1978 году (тома 6–7).

К стр. 6, сн. 20: *** — *примерно как король Леопольд в Бельгии* — речь идет о Леопольде II (1835–1909), бельгийском короле с 1865 года, которого называли «коронованным маклером», а Ленин охарактеризовал его как «делягу, авантюриста, финансиста». Наиболее крупным коммерческим предприятием Леопольда стала колонизация Конго, которое с 1885 по 1908 годы было личным владением короля («Свободное государство Конго»).

К стр. 7, сн. 20: * — *Благодатного паломничества и восстания северных графов* — Восстание, получившее название Благодатного паломничества (The Pilgrimage of Grace), началось в Линкольншире в 1536 году и вскоре распространилось по Йоркширу. В восстании участвовали самые разные слои населения: католики, требовавшие возвращения монастырей и святых мест, крестьяне, недовольные огораживаниями, приграничные йомены, настаивавшие на своих правах на аренду земель, мелкое дворянство, которому на руку были огораживания, но недовольное законами канцлера Томаса Кромвеля и т.д. Восстание в Линкольншире было подавлено через две недели после его начала, но в Йоркшире оно оказалось гораздо более опасным. Его возглавил юрист Роберт Аск, собравший к концу октября 40 тысяч человек и взявший под свою власть Йоркшир: ему сдались Гуль (Халл) и королевский замок Понтефракт. В декабре «пилигримы» представили свою программу королю: они настаивали на уничтожении книг Уиклифа, Лютера и Тиндейла, на частичном восстановлении монастырей и святынь и на признании духовной власти папы римского, на восстановлении прав принцессы Марии на наследование трона, отставке государственного секретаря Томаса Кромвеля, приостановлении новых законов, отмене огораживаний и созыве парламента на севере. Мятежникам обещали прощение и созыв парламента, после чего они разошлись по домам. Далее Генрих VIII предпринял усилия, чтобы посеять вражду между восставшими, что привело еще к одному восстанию в 1537 году. Это второе восстание дало королю шанс нарушить данные им обещания и расправиться с предводителями восстания.

К стр. 7: ** — *Бёрк*, Эдмунд (1729–1797) — английский политический деятель и публицист, родоначальник британского консерватизма.

К стр. 7: *** — *Уоррен Хейстингс* (Гастингс) (173–1818) — первый английский генерал-губернатор Индии (1773–1785).

К стр. 8: * — *от Джотто до Тьеполо — Джотто* ди Бондоне (ок. 1267–1337) — итальянский художник и архитектор, с чьим именем, наряду с Данте, ассоциируется начало эпохи Возрождения в итальянском искусстве. *Тьеполо*, Джованни Баттиста (1696–1770) — итальянский живописец и график, крупнейший художник итальянского рококо и последний крупный представитель венецианской школы живописи, возникшей

еще в XV веке.

ГЛАВА I. ФАЗА B

К стр. 17, сн. 11: * — *Шверин… Халлвиль — Шверин* — город на севере Германии, ныне административный центр земли Мекленбург — Передняя Померания. *Форарльберг* — крайний западный регион Австрии, граничащий с Германией и Швейцарией, с центром в г. Брегенц. *Альгой* — регион в германских Альпах в юго-западной части Баварии. *Брегенцервальд* — одна из коммун на территории земли Форарльберг. *Пеи-д'Эно* (букв. «нагорье») — регион в французской части Швейцарии в кантоне Во, к востоку от Женевского озера. *Эммменталь* — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн, известная своим сыром. *Грюйер* — коммуна в западной Швейцарии, в регионе Фрибур, также известна как центр сыроделия. *Пеи д'Эрве* — регион в западной части Бельгии. *Тьераш* — местность на северо-западе Франции, граничащая с Бельгией, часть региона Пикардия, один из центров французского сыроделия. *Пеи д'Ож* — местность в северной Нормандии, родина кальвадоса (по одноименному названию города). *Бессен* — часть региона Нормандия, главный город — Байё. *Котентен* — полуостровная часть региона Нормандии, где расположен город Шербур. *Мидлендс* — совокупное название графств центральной части Англии, границы этого региона в целом совпадают с территорией раннесредневекового королевства Мерсия. *Ланды* — приморская область на юго-западе Франции, между устьем Гаронны и Байонной, рядом с регионом Бордо. *Перигор* — исторический регион на юго-западе Франции, на территории нынешнего департамента Дордонь. *Сет* — местность и город на средиземноморском побережье Франции к югу от Монпелье. *Во* — франкоязычный кантон на юго-западе Швейцарии, центр — г. Лозанна. *Халлвиль* — местность в кантоне Ааргау на севере Швейцарии.

К стр. 17: ** — *Марена, вайда* — технические культуры, используемые в изготовлении красителей (соответственно, ярко-красного и синего цветов).

К стр. 18: * — *Триаж* (triage) — во Франции обычай и право, согласно которым сеньор мог требовать выделения ему части (как правило, *треть*) общинных угодий (другой вариант происхождения понятия: от фр. *trier* — отделять, отбирать). Отменен Великой Французской революцией в конце XVIII века.

К стр. 19, сн. 26: * — *Мен* — французское графство, расположенное к западу от Парижа, с главным городом Ман (современный Ле-Ман).

К стр. 20, сн. 35: * — *Турский ливр* — основная денежная единица Франции со времен Филиппа IV Красивого (конец XIII – начало XIV века) до 1803 года.

К стр. 20, сн. 35: ** — *ставить под сомнение эталон метра в виде куска иридия* — любопытно, что к 1964 году, когда вышла цитируемая работа Ле Руа Ладюри, от эталона метра, сделанного в 1889 году из платино-иридиевого сплава, уже отказались. С 1960 года был введен другой стандарт системы СИ, определяющий метр через длину волны излучения криптона, а с 1983 года — через скорость света.

К стр. 23: * — *купцы имели представление об "условиях [внешней] торговли"* — словосочетание terms of trade в английском языке имеет в том числе идиоматическое значение соотношения индексов импортных и экспортных цен.

К стр. 24, сн. 48: * — «*Сомнения в росте, 1580–1740*» — Название второго тома «Экономической истории социального мира» под редакцией Пьера

Леона (Париж, 1978), где была опубликована цитируемая статья Мишеля Морино.

К стр. 29: * — *тезиса О.Л. Вайнштейна* — имеется в виду советский историк О.Л. Вайнштейн, автор монографии «Россия и Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. Очерки из истории внешней политики Московского государства в первой половине XVII в.» (Л.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1947).

К стр. 30: * — *сепаратный мир [Соединенных Провинций с Испанией в январе 1648 года] был… триумфом Голландии над принцем Оранским* — Мир, подписанный между Испанией и Соединенными Провинциями, завершил так называемую Восьмидесятипятилетнюю войну Северных Нидерландов за независимость и стал составной частью Вестфальского мира. По этому договору Голландская Республика была де-юре признана в качестве независимого государства и сохранила контроль над территориями, завоеванными на поздних этапах Тридцатилетней войны (Венло, Рурмонд, Маастрихт). По заключении мира штатгальтер (статхаудер) Вильгельм II не распустил войска и попытался ограничить могущественную аристократическую партию, опираясь на содействие Генеральных Штатов Соединённых Провинций. Но аристократам во главе с великим пенсионарием провинции Голландия Яном де Виттом удалось отстоять Амстердам и после внезапной смерти 24-летнего Вильгельма в 1650 году упразднить пост штатгальтера на 22 года (т.н. первый бесстатхаудерный период).

К стр. 30: ** — *городской олигархии, которую Мориц Оранский подавил тридцатью годами ранее* — Во время так называемого Двенадцатилетнего перемирия с Испанией (1609–1621) в Голландии возникли две фракции, разнонаправленные политически и религиозно. На одной стороне находились арминиане, среди видных сторонников которых были проповедник Ян ван Олденбарневельт и философ Гуго Гроций. Арминиане являлись, как правило, зажиточными торговцами, которые приняли более строгое толкование Библии, чем классические кальвинисты. Они оппонировали более радикальным гомаристам, в 1610 году открыто провозгласившим свою верность штатгальтеру Голландии принцу Морицу. В 1617 году произошла эскалация конфликта, когда республиканцы провели резолюцию, позволяющую городам принимать меры в отношении гомаристов. Мориц обвинил Олденбарневельта в государственной измене, после чего тот был арестован, а в 1619 году казнен. Валлерстайн подробно анализирует этот сюжет в главе 2 настоящего тома.

К стр. 30: *** — *Голландский период войны* — в 1621 году, по окончанию Двенадцатилетнего перемирия, война Испании с Соединенными Провинциями возобновилась. Ключевым эпизодом войны стал захват испанцами крепости Бреда в Северном Брабанте (1625), этому событию посвящена известная картина Д. Веласкеса. Одновременно Католическая лига одержала победу над протестантами в Пфальце, что привело к вступлению в войну Дании и началу так называемого Датского периода Тридцатилетней войны.

К стр. 36: * — *от 100 акров в IX веке до 20-30 акров в XIII веке* — т.е. от 40 га до 8–12 га.

К стр. 37, сн. 106: * — *двух известных книг Перри Андерсона* — имеются в виду работы Андерсона, вышедшие в 1974 году: «Переходы от античности к

феодализму» (рус. изд.: М., Территория будущего, 2006) и «Родословная абсолютистского государства» (М., Территория будущего, 2010). В настоящем издании перевод выдержек из этих книг осуществляется по цитируемым Валлерстайном оригиналам.

К стр. 38: * — *(самая неудачная формулировка из всех возможных) «капиталистическими» государствами* — в логике мир-системного анализа к XX веку, когда появилось известное противопоставление «капиталистических» и «социалистических» стран, капиталистическая мир-система уже распространилась на весь земной шар, поэтому любая страна мира автоматически оказывается «капиталистической».

ГЛАВА II. ГОЛЛАНДСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ В МИРЕ-ЭКОНОМИКЕ

К стр. 45, сн. 5: * — *французский исследователь Жан Лузак* (1746—1807), ученый и журналист, выходец из семьи гугенотов, эмигрировавшей в Голландию. Издавал «Лейденскую газету», один из наиболее влиятельных европейских печатных органов в преддверии Великой Французской революции.

К стр. 46, сн. 12:* — *Данбар* — город в Шотландии в провинции Восточный Лотиан.

К стр. 46, сн. 12:** — *Ярмут* — город и порт в восточной Англии в графстве Норфолк.

К стр. 47, сн. 16:* — *Каннингем*, Уильям (1849–1919) — английский экономист, представитель исторической школы, противник фритредерства и один из первых критиков неоклассической экономической теории.

К стр. 47: ** — *Кларендон*, Эдуард Хайд (1609–1674), первый граф Кларендон, лорд-канцлер Великобритании в 1658–1667 годах.

К стр. 48: * — *Эндрю Марвелл* (1621–1678) — английский поэт и публицист. Памфлет «Характер Голландии» был написан им в период обострения англо-голландских отношений, приведших в 1653 году к началу войны, и содержал расхожие стереотипы о голландцах, которых англичане считали «пьяницами и профанами».

К стр. 50, сн. 35: * — *конкуренции с Тилбургом, Вервье и Буа-ле-Дюком — Тилбург* — город в Нидерландах в провинции Северный Брабант. *Вервье* — город в восточной Бельгии (Валлония) в провинции Льеж. *Буа-ле-Дюк* — французское название города Хертогенбос, центра провинции Северный Брабант в Нидерландах.

К стр. 55: * — *Ян Питерзон Коен* (1587–1629) — один из первых руководителей Ост-Индской компании, происходил из кальвинистской семьи. В 1607 и 1612 годах совершил путешествия в Индонезию, в 1613 году назначен главным бухгалтером представительств Ост-Индской компании и президентом ее головного офиса в Бантаме. С 1617 года генерал-губернатор голландских Ост-Индий.

К стр. 55: ** — *Корнелис де Хутман (1565–1599)* — голландский мореплаватель. В 1592 году был отправлен группой голландских купцов в Лиссабон для сбора информации об Островах пряностей (Молуккских островах). По возвращению в Амстердам вместе с Яном Гюйгеном ван Линсхотеном организовал так называемую Компанию дальних расстояний и в 1595 году отплыл в сторону Индонезии, не заходя в Индию; был убит в стычке с местным населением.

К стр. 58, сн. 75: * — *«Кофейные приставы»* — Практика надзора комендантами голландских торговых постов в Индонезии за выращиванием экспортной продукции для Ост-Индской компании известна с 1681 года. В XVIII веке на смену военно-полицейским функциям этих лиц пришли гражданские, и они стали известны как надсмотрщики (*Opziener*), или «кофейные приставы». Начиная с 1704 года вокруг торговых постов компании стали селить закончивших службу солдат, которые присматривали за тем, как местные жители выращивают различную продукцию (индиго, гвоздику, перец, корицу, кофе); постепенно эта практика стала всеобщей. См. *J.S. Furnivall.* Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1939), 37.

К стр. 58, сн. 76: ** — *Тернате, Тидоре, Мачан и Бачан — Тернате и Тидоре* — небольшие острова у северо-западного побережья острова Хальмахера (Молуккский архипелаг), центры одноименных султанатов. Султанат *Тернате* — старейшее мусульманское королевство Индонезии, основанное в 1257 году. В 1510 году Тернате достигли португальцы, которым султан предоставил монопольные права на торговлю специями в обмен на военную поддержку. Аналогичное соглашение позже подписал с испанцами султан Тидоре. *Мачан* — неизвестный топоним. *Бачан* (голл. Батйан) — группа островов к юго-западу от острова Хальмахера, в начале XVI века бывшая вассальным султанатом Тернате.

К стр. 59, сн. 78: * — *Консул в Сирии, Палестине, Кипре и Египте был впервые упомянут в 1611 году* — первым послом Голландской Республики в Османской империи стал Корнелиус Хага (1578–1654). В 1612 году он получил от султана Ахмеда I так называемую капитуляцию (*ахдиаме*), или соглашение о торговле на территории империи под собственной юрисдикцией. Султан также пожаловал голландцам различные привилегии включая освобождение от некоторых налогов и ограниченное самоуправление внутри империи. Хага оставался послом до 1639 года и за это время основал голландские консульские пункты в наиболее важных торговых узлах Османской империи (Патры, Фессалоники, Афины, Галлиполи, Измир, Алеппо, Тунис, Алжир и др.).

К стр. 61: * — *Ремонстранты* (от лат. *remonstratia* — представление) — последователи учения Якоба Арминия (ок. 1560–1609). В 1610 году 46 пасторов реформатской церкви, главным образом голландской, выработали согласованную позицию в поддержку тезиса Арминия о способности человека самостоятельно выбрать через веру во Христа божественную благодать. Тем самым подвергалась пересмотру кальвинистская доктрина изначального предопределения к спасению только избранных Богом. Отказ от этой доктрины был аргументирован в пяти положениях т. н. «Ремонстрации». После осуждения данного учения на состоявшемся в 1618–1619 годах реформатском синоде в Дордрехте арминиане были отстранены от церковных должностей и подверглись репрессиям.

К стр. 61, сн. 83: ** — *на кону стояло само существование государства (а стало быть, и его торговли), как в 1672 году* — в 1672 году французские войска вторглись в Южные Нидерланды и Голландию, но потерпели поражение

от голландских войск во главе с Вильгельмом III Оранским. Этот эпизод в истории Нидерландов известен как «год бедствий».

К стр. 61: *** — *Гомаристы* — сторонники Франциска (Франсуа) Гомара (1563–1641), голландского реформатского богослова, профессора в Лейдене и Гронингене. Гомар был главным оппонентом Арминия, защищавшим ортодоксальную кальвинистскую концепцию предопределения; в борьбе с арминианами (ремонстрантами) гомаристы одержали победу на Дордрехтском синоде (1618–19).

К стр. 62: * — *Они основали Новый Амстердам, завоевали северо-восток Бразилии — Новый Амстердам*, голландская колония на острове Манхэттен, основан в 1625 году, окончательно уступлен англичанам в 1674 году. В 1624 году голландцы захватили португальскую колонию Баия в Бразилии и 6 близлежащих капитанств с целью контроля над производством сахарного тростника и кофе. В 1654 году португальцы отвоевали бразильские территории, но в руках голландцев в Южной Америке остались карибский остров Кюрасао и колония Гайана на побережье Карибского моря.

К стр. 62: ** — *Эльмина* (Сан Жорже да Мина) — португальская крепость на африканском Золотом берегу, основана в 1482 году. В 1638 году захвачена голландской Ост-Индской компанией и использовалась в качестве одного из крупнейших центров работорговли. Крепость оставалась голландской до 1872 года, когда была продана англичанам.

К стр. 62: *** — *Луанда* (нынешняя столица Анголы) принадлежала голландцам в 1641–1648 годах.

К стр. 62: **** — *Вторая англо-голландская война* велась в 1664–1667 годах, началась с захвата англичанами Нового Амстердама, который по итогам войны достался Англии в обмен на Суринам (Голландскую Гвиану).

К стр. 62: ***** — *Барбадос* открыт испанцами в 1536 году, освоение англичанами началось в 1627 году.

К стр. 62: ****** — *Королевская Африканская компания* — основана Карлом II в 1660 году в качестве привилегированной компании, обладавшей монополией на работорговлю. Первоначально именовалась Компанией королевских предпринимателей, торгующих с Африкой (Company of Royal Adventurers Trading to Africa). Владела факториями на западном берегу африканского континента. Основной источник доходов — трехсторонняя работорговля. Начиная с 1731 года занималась добычей слоновой кости и золота (по местности приисков в Гвинее получила свое название английская золотая монета — гинея).

К стр. 63: * — *Восточная компания*, или Балтийская компания (Eastland Company) — английская торговая компания, основанная в 1579 году для торговли с Польшей, Прибалтикой и Скандинавией. Как и в случае с Московской компанией, негласной задачей её деятельности была борьба с Ганзой за лидерство в европейской торговле.

К стр. 63: ** — *Kipper- und Wipperzeit* — немецкая идиома для обозначения финансового кризиса начала Тридцатилетней войны, которую можно приблизительно перевести как «время фальшивомонетчиков» (в современном немецком языке слова *Kipper* и *Wipper* имеют значение «фальшивомонтчик»). Кризис возник в тот момент, когда в условиях увеличения

военных расходов и роста спроса на деньги в чеканке монет стали принимать участие многие немецкие государства. При этом качество серебряных монет все более ухудшалось, поскольку при посредничестве скупщиков полноценные деньги отделялись (нем. *kippen*) с помощью весов (нем. *Wippe*) и оплачивались чеканенными из них низкопробными деньгами. Эти деньги перестали принимать чиновники и наёмные войска в качестве жалования, что вело к бунтам. Первыми после начала Тридцатилетней войны, когда резко возросла потребность в деньгах, к сокращению доли серебра в монете прибегли Богемия и Моравия, в 1621 году — Австрия. Пик кризиса наступил в 1622 году, когда император Фердинанд II передал право на всю чеканку монеты в Богемии, Моравии и Нижней Австрии группе откупщиков в обмен на ежегодную ренту в 6 млн гульденов, после чего произошло резкое ухудшение качества монеты. Стоимость талера упала с исходных 1 гульдена 8 крейцеров до 11 гульденов 15 крейцеров. Год спустя Фердинанд объявил об изъятии и обмене низкокачественных монет (кипперов) в эквиваленте 100 талеров кипперов против 13,3 талеров имперских монет.

К стр. 63: *** — *риксдальдер* (rijksdaalder), или серебряный дукат — одна из монет Соединенных Провинций, выпускавшаяся в конце XVI–XVII веках; составляла 50 стёйверов (основная монета — серебряный гульден — насчитывала 20 стёйверов) и чеканилась по стандарту саксонского рейхсталера — 448 гранов серебра 885 пробы.

К стр. 63: **** — *грош* (грошен) — разменная немецкая монета, которая вскоре после начала чеканки талера в 1570 году была приравнена к 1/24 талера, при этом на монете стали чеканить число 24. Упомянутый выше монетный кризис в Германии, достигший апогея в годы Тридцатилетней войны, привел к резкой девальвации гроша. По окончании войны путем строгих запретов и закрытия незаконных монетных дворов крупные немецкие государства добились стабилизации своей монетной системы, но талер равнялся уже 90 грошей.

К стр. 64: ˚ — *торф изначально добывался для рынков Антверпена и Брабанта* — Сведения о добыче торфа в Голландии появляются еще в XII веке. Например, в документах Утрехтского епископства есть письма (1113 и 1264 годы), предписывающие монахиням вести резку торфа и употреблять его в качестве топлива, а также разъяснения, как надлежит поступать с подпочвой торфяных залежей. В XVI веке разработки торфа велись в местах, близких к морю, а по окончанию выемки торфа подпочва подготовлялась к использованию в сельскохозяйственных целях. В 1658 году в Гронингене вышла первая в мире книга о торфе на латинском языке (Мартин Шок, «Трактат о торфе»).

К стр. 65, сн. 101: ˚ — *16 мая 1795 года* после занятия французскими войсками Нидерландов была провозглашена Батавская республика, которая полностью зависела от наполеоновской Франции.

К стр. 68: ˚ — *консигнация* (от лат. *consignatio* — письменное доказательство) — комиссионная продажа товаров в форме их передачи владельцем товара (консигнантом) комиссионеру (консигнатору) для продажи со склада комиссионера, играющего роль посредника. При консигнации право собственности на товар вплоть до его продажи

остается за поставщиком товара. Хранение товара на складе и предпродажная подготовка осуществляются за счет владельца, однако забота о продаже товаров осуществляется консигнатором за его счет. Расчет с консигнантом производится за проданный товар, иногда консигнация предусматривает обязательный, но отложенный платеж.

К стр. 68, сн. 122: ** — *Амстердам в 1610 году запустил «примечательную и амбициозную схему концентрического расширения»* — В 1610 году в Амстердаме началась реализация плана генеральной реконструкции города, в ходе которой были прорыты полукольцевые и радиальные каналы, а также план предполагал строительство прилегающего к ожерелью каналов района для бедняков под названием Йордаан.

К стр. 70: * — *Обменный банк Амстердама* — муниципальный расчетный банк, созданный в 1609 году постановлением городского совета с целью воспрепятствовать обращению монет низкого качества. Участники рынка депонировали в банке полновесные монеты, оплате через банк также подлежали все векселя с номиналом свыше 600 флоринов. Безналичные расчеты через Обменный банк служили средством урегулирования коммерческих обязательств включая кредиты. В результате кредиторы имели устойчивую денежную меру стоимости, а также гарантии сохранения металлического содержания своих активов. В свою очередь, заемщики потеряли стимул снижать качество монет, поскольку должники несли потери в форме дисконта, депонируя в банке легковесные монеты. Клиенты банка не имели законной возможности изымать депозиты из банка, а ценность обязательств банка поддерживалась за счет торговли депозитными расписками на рынках золота и серебра. Амстердамский пример вдохновил на создание государственных банков другие города Северной Европы — Дельфт, Гамбург, Миддельбург, Нюрнберг, Роттердам и Стокгольм.

К стр. 71: * — *Negotiepenningen*, или «торговые деньги», в отличие от «денег для внутреннего употребления» (*standpenningen*), использовались голландцами во внешнеторговых операциях в тех регионах, где их сальдо торговли было отрицательным (Дальний Восток, Россия, Левант). Эти деньги чеканились из монет, предоставляемых из фондов Обменного банка Амстердама.

К стр. 71: ** — *reales de ocho* — песо, или монета в 8 реалов, была введена декретом Фердинанда и Изабеллы 13 июня 1497 года и содержала 25,56 граммов серебра. В XVI–XVII веках была одной из самых твердых валют мира, в том числе широко использовалась в английских колониях и была известна как *piece of eight* или под названием «пиастра». Песо из восьми реалов породило знак доллара — перечеркнутую восьмерку, в дальнейшем $.

К стр. 72, сн. 140: * — *Хэтфилд-Чейз* — обширная низменность (3 м ниже уровня моря) в графстве Южный Йоркшир. Работы, которые осуществлял Корнелиус Вермёйден в 1626–1628 годах, стоили 400 тысяч фунтов стерлингов.

К стр. 74: * — *в книге Гроция, вышедшей в год Двенадцатилетнего перемирия* — Памфлет Гуго Гроция *Mare Liberum* (*лат.* «свободное море»), изданный в 1609 году, представлял собой XII главу его трактата *De Indis*

(*лат.* «Об Индиях»). Трактат никогда не был опубликован полностью во время жизни Гроция, рукопись была обнаружена в его имуществе и опубликована только в 1864 году под названием *De Jure Praedae commentarius* (*лат.* «Комментарий о праве добычи»). В *Mare Liberum* Гроций сформулировал новый принцип, согласно которому море — это международная территория, и все народы свободно могут использовать его для торговли. Принципы, которые Гроций развил в этой работе, были положены в основу его зрелого трактата по международному праву *De jure belli ac pacis* (*лат.* «О праве войны и мира») 1625 года.

К стр. 74, сн. 150: * — *Метла на мачте* — традицию привязывать метлу к мачте в знак победы над врагом установил, как считается, голландский адмирал Мартен Тромп, в 1652 году разгромивший флот британского адмирала Роберта Блейка.

К стр. 75: * — *Оверэйсел* (*Overijssel*) — провинция на востоке Нидерландов; столица — город Зволле, крупнейший город — Энсхеде.

К стр. 75: ** — *бесстатхаудерные периоды* — промежутки 1650–1672 годов, когда в малолетство Вильгельма III во главе Соединенных Провинций стояли Генеральные Штаты и великий пенсионарий Ян де Витт, и 1702–1722 годов, в перерыве между правлением Вильгельмов III и IV, когда государство возглавлял Антоний Хейнзиус (1641–1720).

К стр. 76: * — *левестейнеры* — имеются в виду противники Оранской династии; термин происходит от замка Левестейн в Гельдерне, который был тюрьмой для политических заключенных. Самым известным из них был Гуго Гроций, бывший пенсионарием Соединенных Провинций и заключенный в Левестейн после разгрома арминиан (ремонстрантов) гомаристами (контрремонстрантами), к которым примкнул статхаудер Мориц Оранский. Однако через два года заключения (в 1621 году) Гроцию удалось бежать во Францию.

К стр. 78: * — *адмирал Мэхэн* — Альфред Тайер Мэхэн (1840–1914), американский теоретик геополитики, известный как «Клаузевиц морей», один из идейных вдохновителей экспансионистской политики президента США Теодора Рузвельта.

К стр. 80: * — *Локк искал в Голландии убежище от ярости Иакова II до той счастливой поры, когда на английском троне оказался голландец* — В 1683 году Джон Локк вслед за своим покровителем, лордом Шефтсбери, эмигрирует в Голландию, где участвует в подготовке переворота 1688 года (Славной революции), находясь в тесном контакте с Вильгельмом Оранским и оказывая на него большое идейное влияние. В начале 1689 года Локк возвращается на родину.

К стр. 80: ** — *Коменский, Журьё, Бейль* — *Коменский*, Ян Амос (1592–1670) — основатель современной педагогики, переехал в Амстердам из Венгрии в конце 1650-х годов. *Журьё*, Пьер (1637–1713) — французский богослов, один из лидеров гугенотов. В 1681 году после ряда преследований переехал в Голландию и до конца жизни оставался пастором валлонской церкви Роттердама. *Бейль*, Пьер (1647–1706) — французский философ-скептик и богослов, эмигрировал в Голландию в 1683 году, хотя и там подвергался нападкам; в итоге был лишен должности на кафедре философии в Роттердаме и права частного преподавания.

К стр. 81: * — *социниане* — представители рационалистического направления в польской Реформации конца XVI — первой половины XVII веков. Названы по имени одного из основателей — итальянца Социна (1539–1604), переселившегося в 1579 году в Польшу. Социниане отвергали догматы о Троице и первородном грехе, считали Христа не богом, а человеком, но наделённым божественными свойствами. Постановлением сейма 1658 года были изгнаны из Речи Посполитой и эмигрировали преимущественно в Голландию.

К стр. 81: ** — *Первая арминианская дискуссия* началась после того, как Якоб Арминий опубликовал в 1591 году «Диссертацию об истинном смысле 7 главы Послания к Римлянам», где доказывалось, что ап. Павел, говоря о благодати Божьей, не отрицал роли человеческой свободы. Тем самым Арминий стремился смягчить доктрину Кальвина о предопределении. Кальвинисты утверждали, что человек, описанный в Рим. 7:14–24, — это возрожденный человек. Арминий же выражал мнение, что это должен быть грешник, иначе сила Бога недейственна. Такой взгляд подвергся резкому осуждению критики, которую возглавил Петр Планций. На встрече проповедников в январе 1592 года он обвинил Арминия в том, что тот учит пелагианству, слишком полагается на ранних отцов церкви, отступает от Бельгийского исповедания и Гейдельбергского катехизиса (символы веры, которые в те времена пользовались влиянием в реформатской церкви) и неправильно представляет себе предопределение и совершенство человека при жизни. Дискуссии не были плодотворными, и в конце концов в них включились городские власти, несмотря на возражения церковного суда. Арминий утверждал, что не выходит за рамки символов веры. Городские власти поддержали его и призвали критиков к терпению, по крайней мере, пока спорный вопрос не будет рассмотрен на общем церковном совете Нидерландов.

К стр. 81: *** — *позитивная репробация* (от лат. *reprobatio* — «осуждение, порицание»). В христианской доктрине различаются позитивная и негативная репробация, следующие из идеи предопределения. Негативная репробация предполагает, что для некоторых людей Бог не предопределил вечное блаженство, или же что Бог исключил их из числа спасенных на небесах. Такой точки зрения придерживались Августин, Фома Аквинский и его последователи. Кальвин выдвинул доктрину позитивной репробации, которая состоит в том, что Бог безусловно («позитивно») приговорил определенных людей гореть в аду. При этом саму идею предопределения Кальвин трактовал так же, как и католическая церковь.

К стр. 82, сн. 185: * — *полемикой молинистов и янсенистов* — *Молинисты* — последователи испанского иезуита Луиса Молины (1535–1600), который в 1588 году опубликовал книгу о согласии свободной воли с дарами благодати и с божественным предопределением, где пытался согласовать вероучение Фомы Аквинского с мнениями иезуитов. В этом сочинении не только отвергалось безусловное предопределение, но и до крайности ослаблялось действие благодати. Для разрешения спора между сторонниками и противниками Молины папа Климент VIII назначил в 1598 году специальную конгрегацию, в 1607 году упраздненную Павлом V до разрешения вопроса. *Янсенисты* — последователи голландского теолога Корнелия Янсения (1585–1638), стро́го

придерживавшегося учения Бл. Августина, — подвергали представления молинистов о свободе воли ожесточенной критике, настаивая на возвращении к учению блаженного Августина о предопределении и первородном грехе. Однако после того как янсенизм был осужден иезуитами как ересь в 1660-х годах, его лидеры — Антуан Арно и Пьер Николь — бежали в Голландию.

К стр. 82, сн. 186: ** — *Сэмюэл Костер* (1579–1665) — голландский драматург, один из создателей литературы на голландском языке; расцвет творчества Костера пришелся на пик борьбы арминиан и гомаристов, после разгрома арминиан практически не публиковался.

К стр. 83: * — *Вторая арминианская дискуссия* началась в сентябре 1602 года, когда сторонники Арминия стали добиваться его назначения на место профессора богословия Лейденского университета. Их противников возглавил профессор богословия Франциск (Франсуа) Гомар. 8 мая 1603 года власти Лейдена назначили Арминия профессором богословия, вскоре после этого ему была присвоена докторская степень. В центре дискуссии был вопрос о предопределении. Гомар и его последователи считали, что Бог сначала предопределил, кто конкретно будет спасен, а кто проклят, и только потом организовал грехопадение как шаг, необходимый, чтобы это было возможно. Арминий же полагал, что все кальвинисты в итоге считают грех обязательным и приписывают его создание Богу, а также что избрание к спасению было избранием верующих, то есть оно обусловлено верой. Свои коррективы в полемику внесла продолжавшаяся война с Испанией. Упорные кальвинисты склонялись на сторону принца Морица Оранского, приверженца военных действий, и надеялись добиться большей власти для церкви, свободной от какой бы то ни было ответственности перед правительством. Партию, ратовавшую за мир, возглавлял Ян ван Олденбарнвельт, олицетворявший и осуществлявший гражданскую власть в Голландии; ее сторонники (в том числе Арминий) считали, что гражданские власти должны некоторым образом контролировать церковных деятелей. В 1608 году Арминий и Гомар предстали перед Верховным судом. По этому случаю Арминий написал свое «Заявление мнений», где провозгласил, что Бог использует избрание, чтобы спасти тех грешников, которые покаялись и поверили в Христа. Решение спасти или осудить конкретных людей основано на предведении Бога, поверят ли они в Него. Гомар же заявил, что Арминий виновен в ошибочных взглядах на предопределение, первородный грех и т.д., но правительство не поверило обвинениям Гомара. Полемика быстро охватила всю страну, но дальнейшую эскалацию конфликта отложила смерть Арминия 19 октября 1609 года.

К стр. 83: ** — *Якоб де Витт* (1589–1674) — бургомистр Дордрехта, сын купца, отец Яна де Витта.

ГЛАВА III. БОРЬБА В ЦЕНТРЕ. ФАЗА I: 1651–1689

К стр. 90: * — *депрессия 1622 года вдохновила сэра Томаса Мана* — Томас Ман (1571–1641) с 1615 года был членом правления Ост-Индской компании. Первая книга Мана «Рассуждения о торговле Англии с Ост-Индией» была написана в 1621 году, в разгар монетного кризиса начала Тридцатилетней войны, известного также как *Kipper- und Wipperzeit* (см. главу 2), и посвящалась обоснованию торговой политики Ост-Индской компании. В ходе монетного кризиса компанию обвиняли в подрыве экономики Британии, поскольку она экспортировала большие объемы серебра для закупок товаров в Азии. В 1622 году, когда Англия столкнулась с нехваткой серебра, Ман был приглашен в состав постоянного комитета по торговле. Упоминаемый далее памфлет Мана был опубликован лишь в 1664 году.

К стр. 91: * — *меркантилизм не был для Англии чем-то новым. У.Д. Грэмп относит его возникновение к 1500 году* — Аналогичной точки зрения придерживается известный норвежский экономист Эрик Райнерт, называющий «отцом» политики британского протекционизма короля Генриха VII Тюдора (см. *Райнерт, Эрик.* «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными». М., 2011, 107–112).

К стр. 91: ** — *дебатов о свободной торговле в английском парламенте в 1604 году* — В 1604 году Палата общин приняла пакет законов, утверждавших свободу торговли и отменявших торговые ограничения, которые были введены во второй половине XVI века для защиты английской промышленности.

К стр. 91: *** — *Навигационный акт 1651 года* устанавливал, что товары из Азии, Африки и Америки могли ввозиться в Англию только на судах, которые принадлежат ее подданным, а их экипажы должны состоять, по меньшей мере, на три четверти из британских подданных. Из Европы товары могли ввозиться на британских судах или на судах той страны, в которой произведены товары или в гаванях которой они впервые могли быть погружены на корабль. Ввоз соленой рыбы в Англию и ее колонии разрешался только в том случае, если она поймана на британских судах. Каботажное плавание предоставлялось исключительно английским судам. Принятие акта немедленно привело к Первой англо-голландской войне (1652–1654). Акт действовал до 1854 года.

К стр. 91: **** — *В 1649 году в Англии была провозглашена республика («Содружество»)* — точное название республиканского периода истории Англии (1649–1660) — Содружество Англии (Commonwealth of England), позднее — Содружество Англии, Шотландии и Ирландии (Commonwealth of England, Scotland and Ireland).

К стр. 92: * — *в 1650 году последовал Выкупной договор* — Неточность Валлерстайна: так называемый Выкупной договор (*Redemptionstraktaten*) был заключен между Голландией и Данией годом ранее. Согласно этому трактату, Голландия, с судов которой собиралась бóльшая часть зундских пошлин, добилась освобождения от них для своих кораблей и ввозимых ими товаров в обмен на уплату Дании 350 тысяч гульденов ежегодно.

К стр. 92: ** — *7 апреля 1652 года Ян ван Рибек основал первый голландский форпост на мысе Доброй Надежды* — имеется в виду основание Капской

колонии (будущего Кейптауна) в Столовой бухте близ мыса Доброй Надежды под руководством голландской Ост-Индской компании.

К стр. 94: * — *Бредское соглашение 1667 года* — договор, подписанный в голландском городе Бреда 21 (31) июля 1667 года Англией, Голландской республикой, Францией и Данией. Соглашение привело к завершению Второй Англо-Голландской войны (1665–1667). Это было типичное соглашение, основанное на принципе *uti possidentis* (стороны могут владеть тем, что захватили в ходе войны). В частности, было подтверждено завоевание англичанами Новых Нидерландов в Северной Америке, что послужило созданию колоний Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Делавэр; взамен голландцы получили сахарные плантации Суринама, захваченные в ходе войны. В Ост-Индии голландцы добились мировой монополии на торговлю мускатным орехом, принудив Англию отказаться от притязаний на Пуло Рун, один из островов архипелага Банда в Индонезии, где находилась английская торговая база. Английский Навигационный акт 1651 года был смягчен тем, что голландцам теперь было дозволено поставлять на рынки Англии немецкие товары, вывозимые по Рейну.

К стр. 95: * — *французское вторжение в Испанские Нидерланды в 1667 году* — эпизод Деволюционной войны 1667–1668 годов, начатой Францией на основании так называемого деволюционного права, которое предписывало передачу земельного наследства в случае второй женитьбы отца детям от первого брака. После смерти в 1665 году испанского короля Филиппа IV, дочерью которого от первого брака была жена французского короля Людовика XIV Мария Терезия, Франция получила возможность притязать на ряд территорий в Испанских Нидерландах. В мае 1667 года армия Людовика XIV вторглась в Южные Нидерланды и вскоре заняла часть Фландрии и Геннегау; другая французская армия в феврале 1668 года заняла Франш-Конте. Голландия, Англия и Швеция, обеспокоенные успехами французских войск, заключили в Гааге союз (январь 1668 года) и предложили свое посредничество в заключении мира. По Ахенскому миру (2 мая 1668 года) Франция сохранила 11 занятых ею в Испанских Нидерландах городов (в том числе Дуэ и Лилль), но возвратила Испании Франш-Конте.

К стр. 95: ** — *вопроса о символическом салюте* — Согласно Вестминстерскому миру, заключенному 19 февраля 1674 года, за Англией было признано право считать все водное пространство между мысом Финистер (крайняя западная точка Бретани) и Норвегией своими внутренними водами, где голландский флот должен был салютовать флагом даже самому маленькому английскому военному кораблю.

К стр. 95: *** — *Неймегенский мир 1678 года* — серия мирных договоров в голландском городе Неймеген (Нимвеген), захваченном французами еще в 1672 году. 10 августа 1678 года был заключен мирный договор между Францией и Соединенными Провинциями, которым возвращались все их земли, включая Маастрихт, и урегулировались торговые взаимоотношения на равных началах. За ним 17 сентября последовал франко-испанский договор, согласно которому Испания уступала Франции Камбрези, Франш-Конте, Валансьенн и Мобеж, Ипр, Кассель, Эр, Сент-Омер, в обмен

Франция возвращала захваченные во время войны Шарлеруа, Ауденарде, Куртре, Гент.

К стр. 96, сн. 49: * — *франко-голландская война стала знаком победы Лувуа над Кольбером* — Франсуа Мишель Летелье, маркиз де *Лувуа* (1641–1691), французский политический деятель, с 1668 года военный министр. Провел крупные военные реформы, превратившие французскую армию в регулярную и послужившие образцом для европейских стран; имел большое влияние на завоевательную политику Людовика XIV. Победа Лувуа над Кольбером означала, что во французской военной стратегии приоритет был отдан наземной армии, а не флоту, развитию которого Кольбер отдал немало сил.

К стр. 97, сн. 49: * — *работу Кэмпбелла «Биографии адмиралов»* — книга Джона Кэмпбелла «Биографии британских адмиралов» впервые была опубликована в 1742 году.

К стр. 97: ** — *пять «Больших откупов»* (*cinq grosses fermes*) — Исходно — пять крупных территорий Франции, в рамках которых производился откуп налогов по собственным правилам. В 1598 году министр финансов Генриха IV Максимильен Сюлли установил общие правила откупа для всей Франции, соединив по группам схожие предметы откупа, которые стали отдавать откупщикам с торгов. Сбор налогов был централизован, а единый налоговый откуп получил название «пять Больших откупов». При Кольбере этот термин распространился и на таможенную сферу после того, как были проведены унификация тарифов и укрупнение внутренних таможенных областей до пяти. Несмотря на то, что Кольберу не удалось добиться отмены внутренних таможен, на тот момент это была крупнейшая в Европе налоговая территория с единым тарифом.

К стр. 101, сн. 69: * — *акт 1673 года инициировал зерновые премии* — Акт английского парламента 1673 года разрешал экспорт ячменя, ржи и пшеницы при условии, если их цена на внутреннем рынке не превышает 24, 32 и 48 шиллингов за квартер соответственно. При этом фермеры получали право на экспортную субсидию правительства в том случае, если цена на зерно не превышала данный уровень. В результате, если в 1663 году, когда парламентским актом были установлены высокие пошлины на ввозное зерно, общая стоимость всех видов зерна, вывезенного за границу из Лондона, составляла всего 4315 фунтов стерлингов, то с 1699 по 1705 годы — уже 201 141 фунтов стерлингов в год. Сумма правительственной премии с 1689 по 1698 годы составила 122 042 фунта стерлингов, а с 1698 по 1705 годы — 289 670 фунтов стерлингов (см. English Historical Documents. / Ed. by D. Douglas and G. Greensway. Vol. 6. L., 1957; *Gras N. S.* The Evolution of the English Corn Market From 12th to 18th centuries. Cambridge, 1915).

К стр. 103: * — *ренты с капитала (rentes constituées), которые могли передаваться наследникам, в отличие от рент с недвижимого имущества (rentes foncières)* — В средние века договор ренты был известен в двух разновидностях и в зависимости от ее источника — рента с недвижимого имущества (*fonciere*) и рента с капитала (*constituée*).

К стр. 104, , сн. 79: * — *цензива* (*фр.* censive, *позднелат.* censiva) — недворянское (преимущественно крестьянское) наследственное земельное держание в феодальной Франции. Цензитарий (держатель цензивы) ежегодно

выплачивал сеньору ценз — денежную, реже натуральную ренту (оброк).

К стр. 113: * — *Джосия Чайльд* (1630–1699) — английский купец, политик и экономист, видный теоретик меркантилизма. В качестве государственного деятеля проявил себя в должности директора Ост-Индской компании в конце 1670-х годов; назначению Чайлда на этот пост способствовала популярность его сочинений по экономическим вопросам.

К стр. 114: * — *Эльбеф* — город в департаменте Нижняя Сена, в Руанском округе, на левом берегу реки Сены.

К стр. 115, сн. 127: * — *неудача созданных Кольбером компаний... и налог Фуке в 50 су на тонну для иностранных судов* — Эдикт французского суперинтенданта финансов Николя Фуке (1615–1680), изданный в июне 1659 года, облагал налогом в 50 су за тонну груза любое иностранное судно, входящее и выходящее из французских портов. Эта мера была направлена против голландцев, поскольку большинство судов, задействованных во французской торговле, были именно голландскими. Кроме того, Фуке инициировал создание Северной компании, получившей исключительное право на ввоз во Францию китового жира и китовой кости, и планировал, что такая же компания появится и для торговли с Вест-Индией с целью перехватить этот маршрут у голландцев. Однако в сентябре 1661 года Фуке был арестован по подозрению в многочисленных злоупотреблениях, и при его преемнике Жане-Батисте Кольбере в 1662 году было заключено 25-летнее соглашение о том, что голландские корабли уплачивали налог на тоннаж только по отбытию; монополия Северной компании была подтверждена.

К стр. 119, сн. 149: * — *«временное затишье на Севере»* — первая крупная война на Балтике после подписания Вестфальского мира 1648 года началась в 1655 году между Швецией и Польшей. В европейской историографии это событие известно как Первая Северная война или просто Северная война, в отличие от Великой Северной войны 1700–1721 года, которая в российской традиции, в свою очередь, именуется Северной войной.

К стр. 120, сн. 153: * — *Королевское общество* — устоявшееся название академии наук Великобритании. Полное название — The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge (Лондонское Королевское общество для усовершенствования естественных знаний).

К стр. 120, сн. 153: ** — *Джон Ивлин* (1620–1706) — английский писатель, садовод и мемуарист, коллекционер. Один из основателей Лондонского Королевского общества.

К стр. 129, сн. 187: * — *Льюис Робертс* (1596–1640) — английский купец и экономист, некоторое время был директором Ост-Индской компании.

К стр. 130, сн. 192: * — *Коромандель*, или Коромандельский берег — восточное побережье полуострова Индостан к югу от дельты реки Кришна до мыса Коморин. Омывается Бенгальским заливом Индийского океана, имеет длину около 700 км и ширину 80–100 км. В настоящее время территория Коромандельского берега относится к штатам Андхра-Прадеш и Тамилнад, а также союзной территории Пудучерри, крупнейший город — Ченнаи (Мадрас).

К стр. 131, сн. 198: * — *для капитуляций следует применять единые условия* — под

капитуляциями в данном случае имеются в виду торговые соглашения, позволявшие европейским купцам торговать на территории Османской империи и ее вассальных территорий под собственной юрисдикцией.

К стр. 134: * — *эффект Дрейка... эффект Блейка* — имеются в виду знаменитые английские флотоводцы Фрэнсис *Дрейк* (1540–1596) и Роберт *Блейк* (1599–1657). Дрейк в ходе совершенного им в 1577–1580 годах второго кругосветного плавания прославился захватами испанских портов в Южной Америке и кораблей с золотом — по некоторым оценкам, его путешествие дало доход в 4700%, или около 500 тысяч фунтов стерлингов. Блейк, командуя английским флотом в ходе англо-испанской войны 1655–1659 годов, 3 апреля 1657 года одержал победу над испанцами в гавани Санта-Крус (остров Тенерифе), захватив груженные серебром галеоны; незадолго до этого его вице-адмирал Монтегю перехватил испанский «серебряный флот».

К стр. 134: ** — *уничтожил испанскую Карьеру* — имеется в виду т.н. *Carrera de Indias* — совокупность торговых путей, которые связывали Испанию с ее колониями в Америке (Ост-Индии).

К стр. 142, сн. 237: * — *«кольберовское лобби», представлявшее financiers, которые с 1663 по 1687 год занимали la Ferme générale* — До Кольбера во Франции существовало четыре группы отдававшихся на откуп доходов государства: таможни (*cinq grosses fermes*, или пять Больших откупов), акциз на напитки (*aides*), соляной налог (*gabelles*) в большей части Франции и соляной налог в Лангедоке; также существовало еще 18 небольших местных статей откупа. Кольбер в 1681 году завершил реформу откупов, передав права, раньше принадлежавшие отдельным откупщикам, обществу из 40 финансистов за ежегодную сумму в 56,67 млн ливров.

К стр 144, сн. 247: * — *кольберовской системы морского призыва* — Кольбер считается создателем французского военного флота — при нем численность морских судов выросла с 18 в 1661 году до 276 в 1683 году. Им была создана и первая специальная организация морского призыва. Уволенные в запас флота по окончании срока службы оставались в списках команд кораблей, а одна треть команд состояла из солдат, завербованных судовыми командирами. Комплектация рядового состава стала производиться путем ссылки на галеры за различные правонарушения («матросская повинность»). Кольбер также учредил корпус гардемаринов из 200 учащихся и старался переводить во флот сухопутных офицеров для поднятия его воинского духа. Однако в последние годы правления Людовика XIV созданные при Кольбере флот и военно-морские базы пришли в упадок.

К стр. 145, сн. 249: * — *Джеймс Харрингтон* (1611–1677) — английский политический мыслитель, поэт и писатель, автор утопии и политической аллегории «Республика Океания» (The Commonwealth of Oceana, 1656).

К стр. 145, сн. 251: ** — *для которых мир оказался вывихнут* — аллюзия на знаменитую реплику Гамлета *The time is out of joint. O, cursed spite / That ever I was born to set it right.* Буквальный перевод: «Время вывихнуто. О, мой проклятый удел был родиться, чтобы вправить его на место». В переводе А. Радловой: «Век вывихнут. О злобный жребий мой! Век вправить должен я своей рукой». Эта фраза Шекспира

считается своего рода диагнозом, который современники дали «долгому» XVI веку с его войнами, религиозными конфликтами, народными восстаниями, инфляцией цен и прочими симптомами радикальной смены эпох.

К стр. 147: * — *тема возвращения конфискованных земель* — Первоначально английское правительство эпохи Реставрации обещало сохранить собственность новых землевладельцев, полученную в ходе революции. В дальнейшем часть конфискованных земель была возвращена их прежним владельцам — лордам и англиканской церкви, но восстановление всей прежней собственности оказалось для правительства непосильной задачей. Громадное количество земель было распродано знатью, которую во время революции принуждали к уплате денежных штрафов (так называемых композиций), причем эта распродажа производилась с соблюдением всех юридических формальностей и за наличный расчет. Вернуть такие земли было совершенно невозможно, тем более что большинство их за время республики и протектората Кромвеля успело по нескольку раз переменить своих владельцев. Попытки вернуть конфискованные земли приводили к бесконечной судебной волоките, вызывая в то же время раздражение значительных кругов дворянства. В конце концов аристократии пришлось удовольствоваться компромиссом. Некоторые земли (в том числе поместья Кромвеля) были ей возвращены, другие остались у новых собственников при условии, что последние частично возместят убытки прежним владельцам. Сам король не получил обратно своих поместий; в качестве компенсации за конфискованные коронные земли рассматривался так называемый цивильный лист (годовое содержание).

К стр. 148: * — *революционных соглашений (Revolution Settlement)* — имеется в виду пакет законов, принятых английским парламентом в 1689–1701 годах и направленных на ограничение личной власти короля. В частности, устанавливалась невозможность вводить новые налоги и начинать войну без одобрения парламента, оговаривалось отсутствие постоянной армии, вводился запрет для католиков занимать английский престол и т.д. Ключевым законом в этом пакете был Билль о правах 1689 года.

К стр. 148: ** — *знатные люди и сквайры наподобие тори Дэнби и Сеймура или вигов Девоншира и Шрусбери* — Томас Осборн, первый граф *Дэнби* (1631–1712) — член парламента с 1665 года, министр (секретарь) военно-морского флота (1671) и лорд казначейства (1673). В 1678 году его затянувшиеся переговоры с Людовиком XIV о займе для Карла II были расценены парламентом как коррупция, его осудили, и до 1684 года Дэнби просидел в тюрьме. В 1688 году он был первым в списке «бессмертной семерки», подписавшей послание принцу Оранскому (будущему Вильгельму III) с просьбой прибыть в Англию и занять престол. Тем самым Дэнби вернулся в высшие круги английской элиты, получил должность лорда-председателя Тайного совета и титул герцога Лидского, однако столкнулся с новыми обвинениями в коррупции и после 1695 года полностью отошел от политики. Эдуард *Сеймур* (1632/1633–1708) — английский политик, в период Славной революции был членом парламента от графства Эксетер, одним из первых обратился к

Вильгельму Оранскому с предложением занять английский престол. В дальнейшем выступал против унии с Шотландией; ему принадлежит фраза «Шотландия — нищенка, а кто женится на нищенке, тому в приданое достаются вши». Уильям Кавендиш, первый герцог *Девоншир* (1640–1707), лидер вигов в Палате общин, также входил в число подписавших воззвание Вильгельму Оранскому; титул герцога получил в 1694 году в знак признания короны. Чарльз Тэлбот, граф *Шрусбери* (1660–1718) по прозвищу «Король сердец», при Иакове II был назначен камергером и полковником, однако по религиозным убеждениям отказался от этих должностей и в числе семи авторов вышеуказанного манифеста поддержал Вильгельма Оранского, который сделал его государственным секретарем. В 1710 году был назначен лордом-камергером, затем послом во Францию (1712), наместником Ирландии (1713) и обер-канцлером короны.

К стр. 150: * — *Приходские священники, столь готовые к конфронтации во времена [Католической] лиги и Фронды* — Католическая лига, организованная в 1576 году герцогом Генрихом Гизом (существовала до 1594 года), выступала не только против гугенотов, но и за ограничение централизованной королевской власти феодальной знатью; поддержку этой партии оказывали римский папа и король Испании Филипп II. Во время Фронды местное духовенство поддерживало движение против центральной власти во главе с кардиналом-итальянцем Джулио Мазарини.

ГЛАВА IV. ПОЛУПЕРИФЕРИИ В ЭПОХУ МЕДЛЕННОГО РОСТА

К стр. 154: * — *Джон Эсквемелин* — европейский авантюрист, чье происхождение и настоящее имя доподлинно неизвестны. В 1678 году под этим именем в типографии Хорна в Амстердаме была издана книга «Пираты Америки», быстро переведенная на основные европейские языки.

К стр. 158: * — *Голландские купцы требовали от гданьских принимать часть оплаты «слабыми» деньгами (например, лёвенталерами) вместе с более твердыми дукатами и талерами* — В XVII веке циркулировали следующие голландские серебряные монеты: *риксдальдер* (состоявший из 48–50 стёйверов), серебряный флорин (28 стёйверов), дальдер (30 стёйверов), *лёвенталер* (36–42 стёйвера), серебряный *дукат* (48 стёйверов) и дукатон (60 стёйверов). Если дукаты и риксдальдеры содержали 448 гран серебра 885 пробы, то лёвенталеры — 427,16 гран серебра 750 пробы. Название монеты происходит от изображения льва, что отразилось в названиях ряда современных европейских денежных единиц (болгарский лев, румынская лея и албанский лек).

К стр. 161: * — *шведское вторжение в Польшу (1655–1660)* более известно как Северная война, начатая Швецией против Польши, ослабленной восстанием Богдана Хмельницкого. Шведам быстро удалось захватить почти всю территорию Польши (этот эпизод в польской истории известен как Потоп), однако крестьянское сопротивление в

Краковском Подгорье в декабре 1655 года положило начало изгнанию захватчиков. В дальнейшем на стороне Польши в войну вступили Дания, Бранденбург (в обмен на отказ Речи Посполитой от сюзеренитета над Восточной Пруссией) и Австрия, а также Нидерланды, и шведам пришлось покинуть польские территории. По условиям Оливского мира, Швеция закрепила за собой Эстляндию с островом Эзель (Сааремаа) и почти всю Лифляндию.

К стр. 161: ** — *Пятнадцатилетняя война (1591–1606)* велась «Священной лигой» в составе Священной Римской империи (а также Венгрии как составной части государства Габсбургов), Молдавии, Валахии и Трансильвании против Турции. Согласно мирному договору, подписанному 11 ноября 1606 года в Житватороке, Габсбурги оставляли за собой малые территории, завоеванные в самом начале войны, а туркам отдавали крепости Эгер и Канижу. Вместо ежегодной дани император выплачивал туркам только одноразовую компенсацию в размере 200 тысяч флоринов и признавался во всех отношениях равным султану. Султан также отказался от своих претензий на всю территорию Венгрии.

К стр. 161: *** — *Война за независимость Ракоци (1703–1711)* — антигабсбургское восстание в Венгерском королевстве, возглавленное трансильванским князем Ференцем II Ракоци (1676–1735). К концу 1703 года почти вся территория Венгерского королевства находилась под контролем повстанцев — куруцев, которые в следующие два года освободили от габсбургских войск Трансильванию и Задунайский край. К движению примкнула значительная часть дворянства, стремившаяся придать ему исключительно антигабсбургскую направленность. В сентябре 1705 года сословное Государственное собрание в Сечени отказалось признать венгерским королём императора Иосифа I и провозгласило создание так называемой конфедерации во главе с Ракоци. Были созданы органы исполнительной власти — Сенат и Экономический совет, венгерская регулярная армия. В июне 1707 года Государственное собрание в Оноде утвердило закон о низложении Габсбургов с венгерского престола. Однако вслед за этим крестьянство, убедившись, что его основные требования остаются неудовлетворёнными, стало отходить от движения, несмотря на принятие Государственным собранием в декабре 1708 года закона об освобождении от крепостной зависимости участников освободительной войны. После ряда поражений армия куруцев капитулировала 1 мая 1711 года.

К стр. 161: **** — *Датско-шведская война 1643–1645 годов,* являющаяся частью Тридцатилетней войны, завершилась победой Швеции и подписанием мира в Брёмсебру 13 августа 1645 года. По этому договору Дания уступила Швеции острова Готланд и Эзель, а также две провинции на норвежской границе — Ёмтланд и Херьедален. Помимо этого, шведские суда были освобождены от таможенных пошлин при прохождении через Зунд. Гарантией этих договоренностей была передача Швеции сроком на 30 лет прилегающей к Зунду (пролив Каттегат) провинции Халланд.

К стр. 162, сн. 31: * — *Халупники* — категория крестьян на Украине и в Белоруссии XVI–XIX веков, не имевших полевой земли, а нередко и огорода. Имущество халупников состояло чаще всего из хаты, или халупы, и

небольшого количества мелкого скота. Они обычно не отрабатывали панщину и не платили оброка, но ежегодно платили феодалу, на земле которого жили, так называемые посединки.

К стр. 163, сн. 35: * — *Эльблонг* — город на северо-востоке Польши, центр древнепрусской области Помезания, сегодня расположен в непосредственной близости от границы с Калининградской областью.

К стр. 168: * — *Великая Польша* — историческая область в западной части современной Польши, в бассейне реки Варта, крупнейший город — Познань; историческое ядро ранней польской государственности.

К стр. 168: ** — *Куявия* — историческая область на севере Польши, в междуречье рек Висла и Нотеч, к западу от Мазовии и северу от Великой Польши.

К стр. 168, сн. 59 : *** — *adscriptus glebae* — Наименование крестьян эпохи Римской империи, приписанных к земельным участкам, с которых они не могли уйти, как бы эти участки ни были малы и убыточны. В средние века термин был распространен также на крепостных крестьян, находившихся в феодальной зависимости от владельца земли, к которой крепостной был приписан.

К стр. 169: * — *Пропинация* (от лат. *propinare* — пить за чье-либо здоровье) — исключительное право изготовления и продажи крепких напитков на землях того или иного владельца. В средневековой Европе первоначально устанавливалось на основании специальных актов королей, жаловавших это право отдельным лицам в награду за какие-либо особые заслуги, однако в дальнейшем вместе с другими повинностями становится одним из естественных элементов права собственности. В таком виде пропинационное право сохранилось до последних дней Речи Посполитой, пережив введение в герцогстве Варшавском Наполеоновского кодекса, и затем перешло в законодательство Царства Польского.

К стр. 171: * — *Венгрия была разделена на три части, две из которых были под иностранным владычеством* — После битвы при Мохаче 1526 года на территории южной части Венгрии был сформирован так называемый Будинский пашалык с центром в Буде, на землях северной и восточной Венгрии появились зависимые от Османской империи княжества Верхняя Венгрия и Трансильвания, а северо-западная часть Венгрии и Хорватия стали владениями австрийских Габсбургов.

К стр. 171: ** — *Бетлен Габор, Зриньи и Ференц Ракоци II* — *Бетлен Габор* (1580–1629) — руководитель антигабсбургского движения в Венгерском королевстве, князь Трансильвании в 1613–1629 годах, король Венгрии в 1620–1621 годах. Пришел к власти при поддержке турок, свергнув проавстрийского князя Трансильвании Габора Батори. Создал постоянную армию, участвовал в Тридцатилетней войне на стороне антиавстрийской коалиции и первоначально достиг существенных успехов. Заняв значительную часть той территории Венгерского королевства, которая находилась под властью Габсбургов, был избран 25 августа 1620 года королём Венгрии, но после поражения антиавстрийской коалиции при Белой Горе лишился короны. По условию Микуловского (Никольсбургского) договора 31 декабря 1621 года с

Фердинандом II Габсбургом за отказ от венгерской короны Бетлен Габор получил большую часть территории Словакии. *Зриньи Миклош* (1620–1664) — венгерский поэт, государственный деятель и полководец. С 1647 года бан (правитель) Хорватии. Во время австро-турецкой войны 1660–1664 годов возглавляемое им войско нанесло ряд сильных ударов по турецкой армии (под Берзенче, Бабоча, Сигетваром, Печем). Выступил с планом, согласно которому народы Венгерского королевства своими силами без помощи Габсбургской империи должны изгнать турок, чтобы страна целиком не подпала под гнёт Габсбургов. Матерью Ференца Ракоци II (подробно о нем см. выше, прим. к с. 249) была Илона Зриньи, племянница Миклоша Зриньи, также активно участвовавшая в борьбе Венгрии за независимость от Габсбургов.

К стр. 172, сн. 70: * — *Штумсдо́рфский мир* был заключён 12 сентября 1635 года между Швецией и Речью Посполитой сроком на 26,5 лет. Речи Посполитой возвращались территории, утерянные в ходе польско-шведских войн 1600–1629 годов. Швеция временно удерживала Ливонию к северу от Даугавы с Ригой, но должна была гарантировать свободу вероисповедания для католиков. Швеция также отказывалась от завоеваний Густава II Адольфа в королевской и герцогской Пруссии, передавала право на сбор пошлин с балтийских портов и захваченные ею в предыдущие годы корабли при условии, что Польша не будет поддерживать врагов Швеции. Польский король Владислав IV официально отказывался от претензий на шведский престол.

К стр. 172, сн. 72: ** — *Сатмарский мир* 30 апреля 1711 года завершил национально-освободительную войну под руководством Ференца Ракоци II. Договор объявлял амнистию и предоставлял право свободного владения своими имениями венгерским магнатам — участникам войны при условии полной капитуляции армии куруцев и признания верховной власти Габсбургов над Венгерским королевством. Договор формально гарантировал соблюдение венгерских законов и свободу протестантского вероисповедания и подтвердил венгерскую сословную дворянскую конституцию.

К стр. 173, сн. 75: * — *Войцех Деболецкий* (около 1575 – между 1645 и 1647) — францисканский монах, один из ведущих идеологов «сарматской теории».

К стр. 174, сн. 80: * — *рутенский язык*, или западнорусский язык — письменно-литературный (XIV–XVIII века) и официальный язык Великого княжества Литовского. Также известен под названиями старобелорусский литературный язык, западнорусский литературно-письменный язык, западнорусский письменный язык, литовско-русский язык и др. Представлял собой язык, который развился на базе древнерусских диалектов со сравнительно небольшим влиянием (по сравнению со старорусским) церковнославянского, а также польского языка, с элементами ряда других языковых систем. В так называемом Третьем статуте Великого княжества Литовского от 1588 года за ним был закреплён статус официального языка, сохранявшийся до 1696 года.

К стр. 174, сн. 81: ** — *хронист Хановер* — Натан бен Моисей Хановер (Ганновер) (1610–1683) — еврейский религиозный деятель, историк, писатель, раввин в Яссах. Наиболее известное произведение — «Пучина

бездонная» — посвящено восстанию под руководством Богдана Хмельницкого в 1648 году.

К стр. 175, сн. 82: * — *помимо крестьянского восстания 1651 года* — известно также как восстание шляхтича Костки Наперского (настоящая фамилия Бзовский). Началось в июне в Подгалье (район Прикарпатья) под влиянием успехов войск Богдана Хмельницкого, но в течение нескольких недель было подавлено войсками, собранными краковским епископом П. Гембицким.

К стр. 175, сн. 82: ** — *Подляшье* — историко-географическая область на востоке Польши между Холмщиной (на юге) и рекой Нарев (на севере); крупнейший город — Дрогичин.

К стр. 176, сн. 92: * — *в рудниках Альмадена* — Альмаден — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Центр производства ртути (до 80% всего объема мирового производства).

К стр. 176: ** — *крестьянских мятежах в Неаполе 1647–1648 годов* — В июле 1647 года в Неаполе началось восстание во главе с рыбаком Томазо Аньелло (Мазаньелло). Восстание распространилось на Калабрию и Апулию, народная армия разбила испанские и немецкие отряды. После убийства Мазаньелло восставшие объявили войну Испании и отменили феодальные повинности, в октябре в Неаполе была провозглашена республика во главе с Дженнаро Анезе. Однако 6 апреля 1648 года испанская армия взяла Неаполь и жестоко расправилась с восставшими.

К стр. 177, сн. 97: * — *Сесмария … донатарияи* — Сесмария (*порт. sesmaria*, от *sesmar* — делить землю на участки) в средневековой Португалии и Бразилии земельное пожалование, предоставляемое короной частному лицу или религиозному ордену при условии обязательной обработки земли. В Бразилии колонисты португальского происхождения получали сесмарии, с которых платили налоги, от *донатариев* — крупнейших земельных собственников, которые получали от короны в наследственное владение огромные земельные угодья — капитанства. В них донатарии обладали широкими административными и юридическими полномочиями, могли организовывать собственную администрацию, учреждать суды, обращать в рабство индейцев, живущих на этой территории. В то же время значительная часть сесмарий превратилась в плантации сахарного тростника, став основой для возникновения земельных латифундий.

К стр. 178: * — *государство маркизов де Валье,* или маркизат долины реки Оахака (*Marquesado del Valle de Oaxaca*) — сеньориальное государство в центральной Мексике, пожалованное Карлом V Эрнану Кортесу в 1529 году вместе с наследственным титулом маркиза, который принадлежал его потомкам до 1814 года.

К стр. 179: * — *падение Картахены в 1586 году* — В 1586 году Картахену — важнейший перевалочный пункт испанцев в Карибском бассейне (ныне город в Колумбии) — захватил Френсис Дрейк, получив выкуп в размере 107 тысяч реалов (по современной оценке, примерно 200 млн долларов).

К стр. 181, сн. 112: * — *алькабала* — важнейший налог в Испании и испанских колониях, которым облагались все торговые сделки по ставке 10%. Алькабала приносила наибольший доход королевской казне Кастилии. *Мильонес* — косвенный налог на продовольствие (первоначально — на вино, мясо, оливковое масло и винный уксус) в Испании конца XVI–XVII веков.

К стр. 181: ** — *биллоны* – низкопробная разменная монета, чеканившаяся из серебра с примесью меди. *Хурос* — процентные государственные облигации, выпускавшиеся испанским правительством для покрытия долга. При отсутствии денег для выплаты процента по этим бумагам зачастую выпускались новые хурос, что ускоряло инфляцию.

К стр. 182: * — *аверия*, или конвойный налог, составлял примерно 2% стоимости перевозимых грузов.

К стр. 183, сн. 119:* — *серебро из Сакатекаса перевозили буквально в любом направлении на возвращающихся обратно повозках и мулах, которые добирались с оплатой за зерно до Салтильо на севере и Пуэблы на юге* — *Сакатекас* — город в центральной части Мексики, столица одноименного штата. К концу XVI века приобрел второе по значимости место после Мехико благодаря месторождениям свинца и серебра. *Сальтильо* — город в северной Мексике, административный центр штата Коауила. *Пуэбла*— город и муниципалитет в южной Мексике, столица одноименного штата. Современное расстояние от Сакатекса до Салтильо составляет 371 км, от Сакатекаса до Пуэблы — 720 км.

К стр. 184, сн. 126: * — *Уанкавелика* — город в центральной части Перу, административный центр одноимённого региона. Расположен на восточном склоне Анд, на берегах реки Ичу, на высоте 3 676 м над уровнем моря.

К стр. 185: * — *коррехидор* (*исп. corregidor* — букв. исправник, от *corregir* — исправлять, корректировать) — административная и судебная должность в городах и провинциях Испании, а также в её колониях. Коррехидоры назначались испанским монархом и осуществляли в основном функции надзора за местной администрацией и судьями. В XVI веке, после захвата Испанией Центральной и Южной Америки, в районах с преобладанием индейского населения стали создаваться особые округа (*коррехимьенто*), ведавшие организацией принудительного труда индейцев, сбором налогов и пр.

К стр. 188, сн. 140: * — *obrajes* — См. *Ф. Бродель.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. (М., Весь мир, 2006), Т. 2, с. 297: «Там, где сохранилось индейское общество, продолжали еще активно действовать ремесленники — прядильщики, ткачи, гончары и те рабочие, что способны были построить церкви и монастыри — колоссальные сооружения, еще предстающие нашим взорам как в Мексике, так и в Перу. [Испанский] захватчик даже воспользовался этим, чтобы создавать *obrajes* — мастерские, где подневольная рабочая сила обрабатывала шерсть, хлопок, лен, шелк».

К стр. 188, сн. 140: ** — *Торговый трибунал Лимы* — Торговый трибунал (*консуладо*), созданный в Лиме указами 1613–1631 годов, первое время действовал как арбитражная инстанция по торговым спорам и регулированию местных цен. Вскоре он стал выполнять административные функции,

важнейшей среди которых был сбор экспортных пошлин на вывоз серебра и золота. Уже к концу XVII века лимское консуладо прекратилось в мощное кредитное и сберегательное учреждение, установив вместе с севильскими купцами двойной контроль над испано-американской торговлей. Лимские торговцы прославились массовой покупкой знатных титулов и получили доступ к главным рычагам управления Перу; королевская аудиенсия Лимы была лишена права контроля над деятельностью консуладо, представлявшего к концу XVIII века интересы более 300 крупных торговцев.

К стр. 192: * — *наряду с Рэли, Гилбертом и Хаклюйтом — Рэли*, Уолтер (1552/1554–1618) — знаменитый английский государственный деятель, путешественник и поэт. В 1584 году исследовал земли вдоль реки Роанок в Северной Америке и назвал их Виргинией (Вирджинией) в честь «королевы-девственницы» Елизаветы I. После ее смерти пытался совершить государственный переворот, был приговорен к смертной казни, но в дальнейшем отпущен на свободу. Последняя экспедиция Рэли в поисках легендарного Эльдорадо кончилась неудачей, за что он был казнен по приказу короля Иакова I. *Гилберт*, Хамфри (1539–1583) — английский путешественник, военный и государственный деятель, участник колонизации Ирландии и Северной Америки сводный брат Уолтера Рэли. *Хаклюйт*, Ричард (1552/1553–1616) — идеолог английской колонизации Северной Америки, подытоживший вклад англичан в Великие географические открытия объёмистым сборником «Книга путешествий» (1589, расширенное издание — 1598–1600).

К стр. 192: ** — *Порт-Ройял* — город на острове Ямайка, столица одноимённой английской колонии с 1656 по 1692 годы, в настоящее время город покинут жителями и практически полностью затоплен Карибским морем.

К стр. 194: * — *асьенто* (*исп. reale asiento* — «королевское согласие») — монопольное право на ввоз в испанские колонии рабов из Африки, предоставлявшееся испанской монархией частным лицам и компаниям с 1543 по 1834 годы. Конкурентную борьбу за асьенто вели португальцы и голландцы, к которым позднее присоединились французы и англичане. В начале XVIII века родство испанских монархов с Людовиком XIV привело к тому, что за счёт асьенто обогащались французы, однако по итогам войны за Испанское наследство право асьенто было предоставлено Великобритании. В то же время испанцы были недовольны тем, что британцы превышают предельные объёмы торговли, оговоренные при заключении мира в 1713 году, что в 1739 году вылилось в англо-испанскую войну за асьенто, которая в англоязычной литературе фигурирует под названием «война за ухо Дженкинса».

К стр. 196: * — *мятеж в Пернамбуку 1645 года — Пернамбуку* — штат в восточной части Бразилии, на побережье Атлантического океана; главный город — Ресифи. В 1630–1654 годах был оккупирован голландцами. В 1644 году в Бразилию был назначен новый португальский губернатор Антонио Теллеш да Силва, который для освобождения колонии от голландских захватчиков создал в джунглях сеть военных лагерей, где готовились и вооружались отряды для нападения на территорию Голландской Бразилии. Эти отряды по 20–30 человек нападали на

голландские посты, сжигали запасы сахара, отравляли колодцы, убивали голландских сторонников. Эти события совпали с решением правления голландской Вест-Индской компании взыскать недоимки за 1635–1642 годы, что привело к восстанию в Пернамбуку в 1645 году. Но отвоевать Ресифи португальцам удалось только к 1654 году.

К стр. 198: * — *Чёсапикская долина* расположена в окрестностях эстуария (крупнейшего в США) реки Саскуэханна, впадающей в Атлантический океан между штатами Вирджиния и Мэриленд.

К стр. 201: * — *Фалмут* — город на крайнем юго-западе Англии, на южном побережье графства Корнуолл, в округе Каррик.

К стр. 204: * — *Акт о патоке 1733 года* (также известен как Акт о мелассе) устанавливал налог на импорт патоки (мелассы) из небританских колоний в размере 6 пенсов на галлон. Парламент принял этот акт главным образом по настоянию владельцев крупных плантаций в британской Вест-Индии.

К стр. 209, сн. 219: * — *между Заговорами слуг 1667 года и табачными мятежами 1682 года случилось десять мятежей простонародья и работников, решающим из которых было восстание Бэкона* — Первое значительное восстание работников табачных плантаций Вирджинии произошло еще в 1661 году по причине отсутствия нормального питания. Организаторам мятежа удалось избежать наказания, но уже в 1662 году был принят закон, запрещавший работникам под угрозой строгого наказания проводить «незаконные» собрания. В результате принятых английским парламентом в 1660–1663 годах навигационных актов табачные плантаторы Вирджинии не могли больше продавать свою продукцию во Францию, а голландским кораблям было запрещено торговать с Вирджинией; на протяжении 1660-х годов цены на табак резко упали. В 1676 году движение фермеров Вирджинской колонии против чрезмерных налогов и политических притеснений возглавил мелкий плантатор Натаниэль *Бэкон* (1642/1647–1676). Его отряд захватил и сжёг город Джеймстаун, заставив губернатора покинуть колонию, но вскоре Бэкон умер от дизентерии, после чего восстание было подавлено английскими войсками. В 1682 году в Виргинии началось еще одно восстание, которое было спровоцировано падением цен на табак в Лондоне. Реакцией работников на это стало масштабное уничтожение посевов табака. Для подавления восстания потребовалось несколько месяцев, шестеро организаторов были казнены, а в 1684 году было принято постановление, согласно которому уничтожение посевов табака признавалось деянием, караемым смертной казнью. Для предотвращения негативных эффектов от падения цен на табак ввозные пошлины на него были повышены более чем на 300%.

К стр. 210: * — *Таино* — собирательное обозначение ряда аравакских племён, населявших к моменту открытия Америки острова Гаити, Пуэрто-Рико, Куба, Ямайка, Багамские острова и ряд северных Малых Антильских островов до острова Гваделупа на юго-востоке архипелага.

ГЛАВА V. ПОЛУПЕРИФЕРИИ НА ПЕРЕПУТЬЕ

К стр. 216: * — *1596 год* — время второго банкротства Филиппа II — пришлось на момент, когда Испания одновременно вела войну с Францией, Англией и Соединенными Провинциями, и постоянно растущие налоги не могли покрыть военные расходы. В 1598 году, незадолго до своей смерти, Филипп II, заключил мир с Францией, отведя испанские войска с французских территорий и прекратив финансирование Католической лиги, а также признав Генриха IV законным королём Франции после его перехода в католичество.

К стр. 216, сн. 2: ** — *Битва при Рокруа* — сражение, состоявшееся 19 мая 1643 года в ходе Тридцатилетней войны между французами и испанцами в окрестностях французского города Рокруа в Шампани. Окончилось полным поражением испанской армии. Это сражение многие историки признают началом заката Испанской империи Габсбургов.

К стр. 217, сн. 9: * — *Ме́ста* — чрезвычайно влиятельное объединение испанских дворян-овцеводов, существовавшее с 1273 по 1836 года. Члены Месты обладали исключительным правом прогона овец через виноградники, луга и поля, на которых запрещалось возводить изгороди.

К стр. 217, сн. 9: ** — *рост Мадрида* — перенос испанской столицы в Мадрид из Вальядолида произошел в 1561 году, на тот момент город насчитывал 30 тысяч жителей. Уже к концу XVI века население Мадрида оценивалось в 50-60 тысяч человек. Толедо, находящийся в 70 км от Мадрида, сохранил свое значение только как религиозный центр.

К стр. 218, сн. 13: * — *Союз оружия* — программа реформ Оливареса, направленная на ликвидацию традиционных прав, вольностей и привилегий территорий, составлявших основу испанской короны. Стала одним из главных факторов, которые спровоцировали перечисляемые Валлерстайном восстания.

К стр. 218: ** — *в Опорту и Сантарене — Опорту* (Порту) – наиболее крупный город на севере Португалии. *Сантарен* – город в центральной части Португалии, центр провинции Рибатежу.

К стр. 219: * — *поражение португальцев от марокканцев при Эль-Ксар-эль-Кебире* — в сражении на севере Марокко близ города Эль-Ксар-эль-Кебир, между Танжером и Фесом, 4 августа 1578 года погибли португальский король Себастьян I и два претендента на марокканский престол, в поддержку одного из которых выступили португальцы. Полный разгром португальского войска и гибель бездетного короля привели к тому, что права на Португалию предъявила Испания (Себастьян был внуком Карла V по женской линии).

К стр. 223: * — *маркиза Фронтейры и герцога Эрисейры, государственных секретарей в 1675–1690 годах* — имеются в виду Жуан де Маскареньяш, первый маркиз *Фронтейра* (1633–1681), и Луиш де Менезеш, третий граф *Эрисейра* (1632–1690).

К стр. 224, сн. 53: * — *Фуншал* — крупнейший город на острове Мадейра.

К стр. 224, сн. 56: ** — *Война короля Вильгельма* (по имени правившего в Англии короля Вильгельма III Оранского) (1689–1697) — боевые действия в Северной Америке во время войны Аугсбургской лиги, первый из франко-английских конфликтов в Северной Америке.

К стр. 225: * — *Метуэнские соглашения* (Метуэнский договор) 1703 года получили название по имени подписавшего их английского посланника в Португалии лорда Джона Метуэна (ок. 1650–1706). По этим соглашениям Великобритании было разрешено ввозить в Португалию свои шерстяные изделия, импорт которых всем государствам, в том числе и Великобритании, в 1677 году был запрещен португальским правительством. При этом Португалия получила право ввозить в Великобританию на льготных условиях свои вина. Предоставленные Великобритании преимущества позволили ей в короткий срок занять господствующее положение во внешней торговле Португалии и подавить развитие местной промышленности, что усилило зависимость Португалии от Великобритании. В 1836 году договор был формально отменен, однако зависимость Португалии от Великобритании сохранилась и в дальнейшем. Этот документ стал базой для теории сравнительных преимуществ Дэвида Рикардо.

К стр. 225, сн. 59: ** — *Алту-Дору* — португальский винодельческий регион, в котором производится классический портвейн.

К стр. 226, сн. 64: * — *английские купцы были против договоров 1698 и 1700 годов о расчленении империи* — В 1698 году Англия и Франция подписали Гаагское соглашение, по которому признали наследником испанского престола баварского принца Иосифа Фердинанда, связанного с Габсбургами по женской линии. При этом владения Испании в Италии и Нидерландах предполагалось разделить между Францией и Австрией. Это решение было принято без согласования с испанцами, которые были против раздела своей империи. Испанский король Карл II при подписании Гаагского соглашения согласился назвать баварского принца своим преемником, но назначил ему наследством всю Испанскую империю, а не те части, которые выбрали для него Англия и Франция. Однако баварский принц внезапно скончался от оспы в ночь с 5 на 6 февраля 1699 года, что вновь подняло вопрос об Испанском наследстве. В 1700 году Англия и Франция ратифицировали Лондонское соглашение, по которому отдали испанский трон эрцгерцогу Карлу, младшему сыну императора Леопольда I. Итальянские территории по этому соглашению переходили к Франции, а эрцгерцог оставлял за собой все остальные владения Испанской империи. Однако испанский король Карл II завещал свой трон герцогу Филиппу Анжуйскому из династии Бурбонов, вскоре после коронации которого в ноябре 1700 года началась война за Испанское наследство.

К стр. 227: * — *захватившим каталонскую территорию по Пиренейскому договору в 1659 году* — По условиям Пиренейского договора, завершившего тянувшуюся с 1635 года испано-французскую войну, среди земель, которые Испания уступала французскому королю Людовику XIV, были графство Русильон, графство Конфлан, часть области Сердань и все каталонские деревни к северу от Пиренеев.

К стр. 228: * — *декретов Нуэва Планта* — три королевских указа, которыми были ликвидированы политические структуры Каталонии (1716), Валенсии и Арагона (1707), Балеарских островов (1715), не соответствовавшие модели более централизованной Кастилии. Фактически система «совместного суверенитета» центральной королевской власти и

местных органов самоуправления была заменена на централизованную модель по примеру Франции, откуда происходила испанская ветвь Бурбонов. Каталаноязычные территории более не имели права осуществлять экономический, фискальный и юридический контроль, был наложен запрет на чеканку собственных денег. Каталанские территории декретами были разделены на провинции, которыми управляли назначенные из Мадрида губернаторы, для управления экономикой и финансами создавались специальные провинциальные органы под руководством интендантов.

К стр. 228: ** — *Фуры Валенсии были отменены еще в 1707 году* — свод законов (фур) Валенсии был провозглашен королем Арагона Хайме Завоевателем в 1261 году, который стал также королем Валенсии.

К стр. 230: * — *Война из-за уха Дженкинса* — колониальная война между Англией и Испанией, длившаяся с 1739 по 1742. Ироническое название было дано англичанами по отрезанному уху капитана торгового судна Роберта Дженкинса, которое тот в 1738 году преподнёс английскому парламенту в качестве доказательства насильственных действий испанцев против английских мореплавателей, что и послужило формальным поводом к войне. В Испании этот конфликт известен как Война за асьенто, что более точно указывает на главную причину столкновения двух морских держав — борьбу за торговое господство в Новом Свете. Начавшись как колониальная война в Карибском бассейне, конфликт вскоре был поглощён более крупным противостоянием — Войной за Австрийское наследство, к которой война за ухо Дженкинса стала своеобразным прологом.

К стр. 238, сн. 136: * — *Жан де (Ян ван) Бруховен,* граф Бергейк (ум. 1725) был министром финансов Испанских Нидерландов в 1697–1706 годах.

К стр. 239, сн. 136: * — *Анжуйский режим* — Название периода правления в Испанских Нидерландах Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV, который в 1700 году взошел на испанский престол под именем Филиппа V. В 1701 году французские войска вошли в Брюссель, после чего были провозглашены амнистия участникам мятежа 1699 года и начало экономических реформ. Но разгром французов при Рамильи 23 мая 1706 года заставил сторонников Филиппа во главе с губернатором, курфюрстом Баварии Максимилианом II Эммануилом, покинуть Брюссель, после чего в город вошли англо-голландские войска.

К стр. 240: * — *включение Милана в Австрийскую империю, де факто случившееся в 1706 году* — В 1706 году в ходе войны за Испанское наследство Милан, с 1535 года управлявшийся испанскими губернаторами, заняли австрийские войска. С этого момента Милан оставался частью Австро-Венгерской империи вплоть до 1859 года.

К стр. 242, сн. 155: * — *Крефельд* — крупный город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.

К стр. 245: * — *низложен Сигизмунд Ваза* — Сигизмунд III Ваза (1566–1632), король польский и великий князь литовский с 1587 года, стал королем Швеции в 1592 году, объединив Польшу и Швецию под личной унией. Однако, поскольку Сигизмунд постоянно находился в Польше, ему пришлось назначить регентом Швеции своего дядю Карла, герцога

Зюдерманландского. В 1599 году Сигизмунд был отстранён от шведского престола, а Карл был объявлен королём Швеции на сейме в Норчёпинге в 1604 году под именем Карла IX. Сигизмунд не хотел отказываться от своих прав на шведский престол и вовлёк Польшу в 60-летние неудачные для неё войны со Швецией.

К стр. 246, сн. 178: * — *рассмотрение «опрокидывающего механизма» в первом томе настоящей работы* — см. соответствующий фрагмент в главе 7 первого тома «Мир-системы Модерна»: «В процессе становления государственной машины неминуемы переломные ситуации двух типов. С одной стороны, это может быть момент, когда исходная сила государства создает еще большую силу. Налоговые поступления позволяют государству содержать более многочисленную и более эффективную бюрократию и армию, что, в свою очередь, ведет к еще большей собираемости налогов, — далее этот процесс развивается по спирали. Но аналогичный механизм действует и в обратном направлении: слабость ведет к еще большей слабости».

К стр. 246: ** — *в 1617 году после длительных переговоров в riksdagsordning [акте о риксдаге — шв.] наконец были зафиксированы соглашения относительно его палат* — Первая организация шведского риксдага относится к 1617 году, когда он был разделен на четыре палаты, соответствовавшие четырем сословиям: дворянскую, или так называемую рыцарскую (право представительства в которой имели все дворянские роды и к которой долго принадлежали и высшие военные чины), духовенства, бюргеров и крестьян.

К стр. 247: * — *так называемые прусские лицензии* — В 1626 году в ходе так называемой Прусской войны между Швецией и Польшей шведская армия захватила Пруссию, перекрыв полякам доступ к Балтийскому морю. Канцлер Аксель Оксеншерна, в 1626–1631 годах бывший генерал-губернатором Пруссии, организовал в прусских портах сбор пошлин, что дало Швеции необходимые средства для ведения дальнейших войн.

К стр. 247, сн. 183: ** — *Виллем ван Вейк* — голландец, получивший от герцога Зюдерманландского Карла (будущего короля Карла IX) право на организацию в Швеции мануфактуры по производству брускового железа. Затем, уже под покровительством короля Юхана III, ван Вейк организовал в 1580 году металлургическое производство в Даннеморе (провинция Упсала), где железная руда считалась самой чистой в Швеции.

К стр. 247: *** — *герцог Лерма* — Франсиско Гомес де Сандоваль-и-Рохас, первый герцог Лерма (1552/1553–1625) — испанский государственный деятель, фаворит («валидо») короля Филиппа III, поручившего ему ведение всех государственных дел. Правление Лермы, имевшего даже право ставить королевскую подпись на документах, ознаменовало начало экономического и внешнеполитического кризиса Испании.

К стр. 248, сн. 187: * — *Коппарберг* — лен (провинция) в южной части центральной Швеции, главный город — Фалун; с 1997 года эта территория носит название Даларна.

К стр. 249, сн. 194: * — *Трипы* — голландская предпринимательская семья, тесно связанная с де Геерами. Основатель шведской ветви династии Якоб Трип (1575–1661) был женат на Маргарите де Геер, сестре Луи де Геера. Их

дети Луис (1605–1684) и Хендрик (1607–1666) основали в Амстердаме фирму, торговавшую оружием и амуницией, в то время как их дядя Луи де Геер делал значительные успехи в Швеции. В 1662 году Луис и Хендрик Трипы перебрались в Швецию, где их потомство существовало до 1796 года. А двоюродная сестра Луи де Геера Мария (1574–1609) была женой Элиаса Трипа (1569–1636), купца из Дордрехта, который в 1615 году возглавил Голландскую Ост-Индскую компанию в Амстердаме. В дальнейшем члены двух семейств неоднократно сочетались браком. *Де Гееры (De Geer)* — известный род брабантского происхождения, представители которого прославились в истории промышленного, политического и торгового развития Швеции. Луи де Геер (1587–1652) сначала стоял во главе банкирской конторы в Амстердаме. Густав-Адольф, бывший его должником на значительную сумму, предоставил ему в залог один из шведских металлургических заводов. Де Геер, переселившись в Швецию, предпринял ряд улучшений в разработке железной руды, построил еще несколько чугунолитейных заводов. По замыслу де Геера в 1649 году была основана шведская Африканская торговая компания с складской конторой на Гвинейском берегу. Еще одна заслуга де Геера перед Швецией — снаряжение им на собственные средства целого военного флота из 21 или, по другим известиям, из 30 кораблей. Благодаря этой помощи шведы одержали над датчанами блестящую морскую победу при Фемеро (1644).

К стр. 251: * — *Альтмаркское перемирие* было заключено между Швецией и Речью Посполитой 26 сентября 1629 года сроком на 6 лет. Швеция сохраняла часть Лифляндии с Ригой и большинство портов в Восточной и Западной Пруссии, за исключением Кенигсберга, Гданьска и Пуцка, и получала большую часть пошлин с польской торговли, проходившей через порт Гданьска. При этом Речь Посполитая утратила право строить и иметь военный флот в Гданьске.

К стр. 251: ** — *Штумсдорфский договор* был заключён между Швецией и Речью Посполитой 12 сентября 1635 года сроком на 26,5 лет. Швеция, занятая участием в Тридцатилетней войне, согласилась вернуть Речи Посполитой территории, утерянные ею в ходе польско-шведских войн 1600–1629 годов. Это позволило Швеции и её союзникам по Тридцатилетней войне (Франции, Англии и Нидерландам) сконцентрироваться на боевых действиях против Священной Римской империи без опасений по поводу возможного конфликта с Речью Посполитой. Швеция также отказывалась от завоеваний Густава Адольфа в королевской и герцогской Пруссии, передавала право на сбор пошлин с балтийских портов и захваченные ею в предыдущие годы корабли при условии, что Польша не будет поддерживать врагов Швеции. Польский король Владислав IV официально отказывался от претензий на шведский престол.

К стр. 252: * — *Вермланд* — провинция на юге центральной части Швеции, граничащая с Норвегией. Центр — город Карлстад на северном берегу озера Венерн.

К стр. 252: ** — *Упланд* (швед. *Uppland*, буквально «верхняя земля») — историческая провинция на восточном побережье Швеции, непосредственно к северу от Стокгольма.

К стр. 255: * — *Роскилльский мир* — заключён между Данией и Швецией 26 февраля 1658 года в городе Роскилле; завершил датско-шведскую войну 1657–1658 годов, начатую королем Дании и Норвегии Фредериком III. Дания, потерпев поражение от войск шведского короля Карла X Густава, согласилась на огромные территориальные уступки, а Швеция освобождалась от пошлин за проход торговых судов через пролив Эресунн (Зунд). Дания также обязалась препятствовать проходу через проливы в Балтийское море флотов всех стран, враждебных Швеции.

К стр. 255: ** — *Кексгольм* — ныне город Приозёрск в Карелии на берегу Ладожского озера, с XIV века до 1611 года известен под названием Корела; входил в состав Новгородской земли и затем Российского государства.

К стр. 255: *** — *Халланд* — провинция на юго-западе Швеции, на берегу пролива Каттегат. Центральный город — Хальмстад. *Ёмтланд* — провинция в северной части центральной Швеции, на границе с Норвегией. Изначально принадлежала Норвегии, затем Дании, которая в 1645 году уступила её по миру в Брёмсебру Швеции.

К стр. 256: * — *процесс отчуждения коронных земель и доходов от земель в свободном держании в пользу знати путем продажи и пожалования в обмен на гражданскую и военную службу* — Из-за плохого состояния финансов и настоятельной нужды в деньгах шведским монархам приходилось проводить политику дарений и распродажи государственного земельного фонда, особенно в середине XVII века, после достижения совершеннолетия королевой Кристиной (самостоятельно правила в 1643–1654 годах). Пожалования, закладывание и продажа коронных земель и доходов с них приумножали и влиятельность дворянства, которое получало право собирать на этих землях налоги и подати.

К стр. 257, сн. 230: * — *Скания* — исторический регион на юге Швеции, состоящий из трёх бывших датских так называемых Восточных провинций — Сконе, Халланд и Блекинге. В состав Скании иногда включается остров Борнхольм, также отошедший к Швеции по Роскилльскому миру 1658 года, но позднее возвращённый Дании. В языковом отношении Скания заметно отличается от остальной Швеции, поскольку в ней говорят на сканском наречии, более близком к датскому языку, чем к шведскому.

К стр. 258: * — *сейм в Норчёпинге* 1604 года провозгласил королем Швеции герцога Зюдерманландского Карла (под именем Карла IX), который пришел к власти в результате конфликта со своим племянником Сигизмундом III, отстраненным от шведского престола в 1599 году (см. выше, прим. к с. 245).

К стр. 259: * — *между 1637 и 1679 годами на смену им пришли так называемые французские субсидии* — возможно, фактическая ошибка Валлерстайна. Впервые «французские субсидии» для Швеции упоминаются в январе 1631 года, когда в померанском Бервальде был подписан франко-шведский договор. Согласно его условиям, Франция обязалась ежегодно выплачивать Швеции на протяжении пяти лет миллион ливров субсидий в обмен на постоянное пребывание в Германии в течение этого срока 30-тысячной шведской армии и уважение католического вероисповедания во всех районах дислокации шведов.

Бервальдский мир со Швецией был очередной победой «дипломатии пистолей», практиковавшейся Ришелье в 1624–1635 годах — со времени его прихода к власти и до вступления Франции в войну против Габсбургов.

К стр. 260, сн. 244: ˙ — *Поражение под Фербеллином* произошло на территории Бранденбурга 28 июня 1675 года. По настоянию Людовика XIV, боявшегося прусского вторжения в Эльзас, Швеция объявила курфюрсту Бранденбурга Фридриху Вильгельму войну, и фельдмаршал Врангель в начале 1675 года вступил со шведским войском в Пруссию. Шведы взяли Гавельберг, обложили Шпандау, разоряли страну во всех направлениях. Фридрих Вильгельм поспешил из Франконии на родину, чтобы дать отпор шведам. Шведы узнали о его прибытии и решили соединиться у Фербеллина. Шведское войско насчитывало около 11 тысяч человек, у курфюрста было, по сведениям Фридриха Великого, 6,5 тысячи. Фридрих Вильгельм лично предводительствовал своей армией, напавшей на шведов, которые после отчаянного сопротивления бежали, потеряв около 2,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Непосредственными результатами битвы было почти полное исчезновение всей действовавшей в Германии шведской армии и захват курфюрстом и его союзниками-датчанами владений Швеции в Германии, хотя Людовик XIV своими победами на западе Германии снова поправил шведские дела. Моральное значение Фербеллинской битвы было велико: она заставила Европу впервые обратить серьезное внимание на Пруссию как на военную силу. Репутации шведской армии был нанесен тяжелый удар; в этом смысле Фербеллинская битва может считаться прямой предшественницей Полтавского сражения.

К стр. 260, сн. 245: ¨ — *Крёйцы* — финско-шведский род, известный с конца XV века; происходил из знати из региона Усимаа в южной Финляндии. Первым подтверждение аристократических привилегий фамилии получил в 1569 году морской командир Мартен Матссон. *Флеминги* (Лоухисаари) — аристократическая финская семья. Основатель династии Педер Кларссон (умер после 1406 года) прибыл в Швецию из Дании.

К стр. 261: ˙ — *Frälse* — этимологически это шведское слово, родственное немецкому frei и английскому free, означает «свободный».

К стр. 262, сн. 253: ˙ — *Indelningsverk* (от *шв. indela* — делить, распределять (налоги)) — новая система комплектования шведской армии, которую в 1680-х годах начал внедрять король Карл XI после того, как кровопролитные войны с Данией подорвали мощь шведского государства. Дорогостоящие иностранные наемники или насильно рекрутируемые, неохотно шедшие на войну шведские и финские крестьяне, которых ставили под ружье во время шведских завоевательных войн, заменялись солдатами, которых содержало население (так называемыми *indelta soldater*). Эти солдаты получали от короны небольшой дом и надел земли, работая на котором, они могли прокормить себя и свою семью. В результате солдатами стали тысячи молодых людей, у которых никогда не хватило бы средств на свой двор и маленький домик. Крестьянские дворы (обычно 2–4) составляли группы, так называемые роты. Каждая такая группа должна была обеспечить одного солдата,

предоставить ему дом и землю, дрова, зерно для помола, посевной материал, дополнительную рождественскую еду и прочее. Именно так набиралась основная часть шведской пехоты, а также матросы и боцманы на флот. Зажиточные крестьяне экипировали всадника с конем для кавалерии. Содержащие солдат крестьяне могли не опасаться, что их сыновья будут насильно призваны в армию. Крестьяне, выставляющие также и конника, получали от короля освобождение от налогов, что оказалось весьма выгодным. Офицерам предоставлялись дома с участками земли, размеры которых зависели от офицерского чина. Кроме того, налоги, взимаемые с определенного числа крестьянских дворов, шли на жалованье офицерам. По предложению Карла XI в 1682 году риксдаг ратифицировал введение этой системы.

К стр. 264: * — *В 1695 году царь Петр I (Петр Великий) принял бразды правления в России* — явная фактическая ошибка Валлерстайна. Самостоятельное правление Петра I началось в 1689 году после свержения его сестры, царевны Софьи Алексеевны, хотя формальным соправителем с того момента Петра был его слабоумный брат Иван, умерший в начале 1696 года.

К стр. 266, сн. 268: * — *Урбих* — Иоганн Кристоф фон Урбих (1653–1715) — русский дипломат немецкого происхождения, барон, близкий друг Лейбница. Служил датским послом в ранге министра при венском дворе в 1691–1703 годах, затем по приглашению Петра I перешел на российскую дипломатическую службу. В 1707–1712 годах был русским послом в Вене.

К стр. 266: ** — *Ингрия* (Ингерманландия, или Ижора) — регион, расположенный по берегам Невы, ограниченный Финским заливом, рекой Нарвой, Чудским озером на западе и Ладожским озером с прилегающими к нему равнинами на востоке. Исторической границей с финской Карелией считается река Сестра.

К стр. 266 сн. 272: *** — *в ходе запутанной истории с наследованием престола* — После смерти Карла XII единственным представителем шведской королевской семьи (ветвь Пфальц-Цвейбрюккенской династии, которая, в свою очередь, принадлежит к баварским Виттельсбахам) осталась его младшая сестра Ульрика Элеонора (1688–1741). Во время созыва риксдага 15 декабря 1718 года она объявила о своём желании упразднить самодержавную власть и вернуть государство к старому образу правления. После отказа Ульрики Элеоноры от наследственных прав на престол она была провозглашена королевой 23 января 1719 года с оговоркой, что впоследствии подпишет форму правления, которую намеревались составить сословия. 19 февраля Ульрика Элеонора поставила свою подпись под формой правления, которая отдавала бóльшую часть власти в руки риксдага, и 17 марта 1719 года в Упсале состоялась коронация. Однако королева желала разделить правление со своим супругом, Фридрихом Гессен-Кассельским (1676–1751), но из-за упорного сопротивления дворянства была вынуждена отказаться от своего намерения. Когда Ульрика Элеонора, всё ещё питая надежду на совместное правление, подала сословиям ходатайство об этом, её предложение и в этот раз было встречено неодобрением. Самовластие королевы, неумение приспособиться к новой конституции, а также сильное влияние, оказываемое на неё супругом,

постепенно привели государственных чинов к мысли о смене монарха. В новом послании от 29 февраля 1720 года королева отреклась от престола в пользу своего супруга с той оговоркой, что в случае его смерти она вновь примет корону. 24 марта 1720 года Фридрих Гессен-Кассельский был провозглашён королём Швеции под именем Фредерика I. Королевская чета не оставила потомства, и после смерти Фредерика шведский престол перешел к Гольштейн-Готорпской ветви Ольденбургской династии, которая также вскоре воцарилась и в России в лице Петра III и его потомков.

К стр. 267: * — *Арвид Горн* (1664–1742) — потомственный военный, генерал-лейтенант, граф, начал политическую карьеру в 1705 году, будучи назначенным королевским советником; до этого участвовал в Северной войне. После смерти Карла XII активно выступал за ограничение королевской власти в пользу риксдага. В 1719 году подал в отставку с поста президента Канцли-коллегии, но на риксдаге 1720 года был избран сословиями ландмаршалом. После восшествия на престол Фредерика I вновь получил должность президента Канцли-коллегии. Выступал за окончание войны с Россией и восстановление экономики страны. В 1724 году заключил оборонительный союз с Россией. Проводил политику меркантилизма. На риксдаге 1738–1739 годов его сторонники потерпели поражение, и к власти пришла партия «шляп», жаждавшая реванша за поражение в Северной войне. Горн был вынужден подать в отставку и удалился в своё имение, где жил до смерти.

К стр. 267, сн. 273: ** — *Флёри,* Андре Эркюль де (1653–1743), французский церковный и государственный деятель. Член Французской академии (1717), в 1698–1714 годах епископ Фрежюса, в 1715–23 годах воспитатель Людовика XV, с 1723 года член Государственного совета, с 1726 года кардинал и фактически первый министр. Провёл ряд финансовых реформ (снижение тальи, упорядочение монетного обращения и др.), ввёл тяжёлую дорожную повинность — «королевскую барщину».

К стр. 268, сн. 278: * — *Продуктплакат (Produktplakatet)* 1724 года — закон, запрещавший иностранным кораблям ввозить в Швецию какие-либо товары, кроме продуктов собственной страны.

К стр. 269: * — *Дания в 1660 году установила абсолютную монархию* — благодаря благоприятному исходу войны со Швецией датский король Фредерик III стал самым популярным человеком в королевстве. Используя это обстоятельство, в 1660 году он осуществил государственный переворот. 16 октября была уничтожена связывавшая его избирательная «капитуляция», 14 ноября королю присягнули как наследственному, а не избираемому монарху, и 10 января 1661 года сословия утвердили за ним неограниченную верховную власть.

К стр. 270: * — *При заключении мира в Кристианопле в 1645 году* — имеется в виду мирный договор, завершивший датско-шведскую войну 1643–1645 годов. В литературе этот трактат более известен как Брёмсебрукский мир; при его подписании датская делегация остановилась в городе Кристианопль на юго-востоке Швеции (в нынешней провинции Блекинге), а сам договор был заключен деревне Брёмсебру на границе провинций Блекинге и Смоланд. Дания была вынуждена уступить Швеции острова Готланд и Сааремаа, провинцию Халланд и норвежские земли Ёмтланд и Харьедален.

К стр. 271, сн. 290: * — *Датский успех уже был обеспечен при отправке голландского флота 29 октября 1658 года, чтобы вовлечь в сражение шведский флот в Зундском проливе, и, несмотря на тактическую затяжку, датчане стратегически триумфально вступили в Копенгаген* — После заключения Роскилльского мира шведский король Карл X, желая стереть Данию с карты Европы, возобновил военные действия. Поскольку шведская армия не покинула Данию после подписания мира, вся датская территория за исключением Копенгагена практически сразу оказалась оккупированной. Потерпев неудачу при попытке взятия города приступом, шведы начали осаду, надеясь принудить его к сдаче голодом. Голландцы, опасаясь угрозы для своих торговых позиций на Балтике в случае, если Балтийское море превратится в «шведское озеро», отправили флот на помощь датчанам. Решающее сражение состоялось 29 октября (8 ноября) 1658 года в проливе Эресунн севернее Копенгагена, когда нидерландский флот одержал победу над шведским и вынудил его снять блокаду Копенгагена. Попытка штурма города шведами завершилась неудачей, а весной 1659 года пришёл второй голландский флот под командованием адмирала де Рюйтера, который перерезал шведские линии снабжения, в результате чего шведам пришлось снять осаду. В 1660 году Швеция и Датско-Норвежское королевство подписали Копенгагенский мир, по условиям которого между Норвегией, Швецией и Данией были установлены границы, сохраняющиеся по сей день.

К стр. 271, сн. 290: ** — *де Вит — тот же адмирал, который форсировал Зунд против [датского короля] Кристиана IV в 1645 году* — Командовавший нидерландским авангардом вице-адмирал Витте *де Вит* (1699–1658) погиб в сражении в проливе Эресунн. В 1644 и 1645 годах эскадра де Вита сопровождала флотилию из 702 торговых кораблей, которая пересекала Зундский пролив; поддержка военных кораблей была необходима, поскольку датчане пытались установить высокие таможенные пошлины.

К стр. 272, сн. 298: * — *Клеве* — историческая область по нижнему Рейну (ныне ее большая часть входит в состав германской земли Северный Рейн-Вестфалия). Первоначально графство в составе Священной Римской империи, в 1368 году объединилось с графством Марк, с 1417 года герцогство, в 1511 году герцог Клеве присоединил к своим владениям герцогства Юлих и Берг. Борьба между германскими князьями за юлих-клевское наследство, разгоревшаяся после прекращения в 1609 году рода герцогов Клеве, окончилась переходом в 1614 году (окончательно в 1666 году) Клеве и ряда других территорий к Бранденбургу.

К стр. 277: * — *«Великое соглашение»* 1653 года завершило общий ландтаг прусских сословий, собравшийся в 1652 году, когда курфюрст Фридрих Вильгельм достиг компромисса с провинциями Бранденбурга, дав особые экономические и социальные привилегии юнкерам в обмен на обязательный налог, за счет которого собиралась армия. Курфюрст объявил, что только юнкеры имеют право владеть землей, только они могут свободно высылать крестьян (которые были все обязаны служить) со своих земель, юнкеры также были освобождены от налогов. С другой стороны, курфюрст несколько сократил политические

привилегии юнкеров в Бранденбурге, а когда сроки действия налога на армию закончились, он сохранил право собирать его и вскоре ввел аналогичный налог в городах без согласия провинций.

К стр. 278: * — *Девятилетняя война,* или война Аугсбургской лиги, велась Францией против коалиции европейских государств в 1688-1697 годах. По Рисвикскому миру, завершившему войну, Франции пришлось отказаться от большей части территорий, ранее захваченных ей в Европе.

К стр. 284: * — *Банáт* — историческая область, ныне разделённая между Сербией, Румынией и Венгрией. С трёх сторон границы Баната определяются реками: на севере Мурешом, на западе Тисой и на юге Дунаем. Восточную границу образуют Карпатские горы.

К стр. 284: ** — *Фиуме* — итальянское название города Риека в северо-западной Хорватии, на берегу залива Кварнер.

К стр. 284: *** — *По Стокгольмскому договору 1719 года она приобрела последние шведские владения в Германии* — небольшая неточность: договор между Швецией и Пруссией был подписан 21 января 1720 года в Стокгольме. В соответствии с этим соглашением к Пруссии перешли земли шведской Померании, расположенные южнее реки Пеене и восточнее канала Пеенештром, включая острова Узедом и Волин, а также города Штетин, Дамм и Голльнов. Ранее, 9 ноября 1719 года, в Стокгольме был подписан договор между Швецией и курфюршеством Ганноверским, в соответствии с которым Швеция уступила Ганноверу Бремен-Верден. Оставшаяся часть Шведской Померании была на тот момент оккупирована Данией.

К стр. 287: * — *Пронумерованные» товары* (Enumerated Commodities) — колониальная продукция, которую разрешалось ввозить в ограниченное число мест, включая британские колонии, Англию, Ирландию, Уэльс и (после 1707 года) Шотландию. Первым из таких товаров в 1621 году стал табак; начиная с 1660 года парламент регулярно расширял соответствующий список.

ГЛАВА VI. БОРЬБА В ЦЕНТРЕ — ФАЗА II: 1689–1763

К стр. 296: * — *Монумент* — памятник в центре Лондона в виде римской дорической колонны высотой 61,57 метра. Построен в 1671–1677 годах в память о Великом лондонском пожаре 1666 года архитектором Кристофером Реном и помогавшим ему в восстановлении Лондона после пожара учёным Робертом Гуком. Представляет собой самую высокую в мире свободно стоящую колонну.

К стр. 299, сн. 7: * — *принял корону и Декларацию прав* — Декларация прав, представленная Вильгельму и Марии так называемым переходным парламентом, стала прообразом принятого в форме законодательного акта 16 декабря 1689 года Билля о правах — итогового документа Английской революции.

К стр. 300, сн. 10: * — *предложение герцога Шуазёля испанцам в 1762 году* — речь, судя по всему, идет о «семейном пакте», который 15 августа 1761 года подписали французский король Людовик XV и испанский король Карл III при активном участии министра иностранных дел

Франции Этьена Франсуа *Шуазёля* (1719–1785). По этому договору, в котором участвовали все члены Бурбонской династии, с присоединением Австрии образовалась своего рода «латинская уния», направленная против Англии. Впоследствии этот документ стал основанием для присоединения Испании к коалиции против революционной Франции.

К стр. 300, сн. 13: ** — *марциальный закон* — под марциальными законами, или актами о мятежах, понимается ряд ежегодных актов, которые парламент Англии (а затем Великобритании) принимал начиная с 1689 года для управления армией. Поводом для принятия первого подобного акта стал отказ шотландских войск подчиняться приказам нового короля Вильгельма Оранского. В англосаксонском праве мятеж не квалифицировался как преступление, и к шотландцам было невозможно применить какие-либо правовые санкции. Поэтому в 1689 году парламент принял специальный акт, который признавал дезертирство, мятеж и подстрекательство к нему преступлениями, подлежащими рассмотрению трибунала и караемыми смертью. Поскольку Билль о правах наложил вето на постоянную армию без согласия парламента, каждый из актов о мятеже был ограничен одним годом. В результате парламент был вынужден ежегодно принимать новый подобный документ вплоть до 1879 года.

К стр. 301: * — *нападение на Алжир в 1682 году* — Идея строительства небольших двухмачтовых бомбардирских судов впервые была выдвинута и реализована французским инженером-кораблестроителем Бертраном Рено д'Элисагарэ. Первое применение бомбардирских судов (галиотов) отмечено при бомбардировке Алжира в августе 1682 года. Специально для этой цели было построено 5 кораблей длиной 75 футов и шириной 25 футов, каждый из них нес на себе 2 мортиры. Однако за три недели с 20 августа по 12 сентября 1682 года, несмотря на произведенные значительные разрушения в городе, Алжир так и не выполнил требования французов о выдаче невольников; из-за недостатка снарядов и позднего времени года адмиралу Дю-Кену пришлось вернуться в Тулон. Неудачной оказалась и аналогичная экспедиция следующего года.

К стр. 301: ** — *Сражение при Барфлёре* 29 мая — 4 июня 1692 года состоялось в проливе Ла-Манш во время войны Аугсбургской лиги между французским флотом Турвиля и численно превосходящим объединенным англо-голландским флотом под общим командованием Эдварда Рассела. Сражение не принесло победы ни одной стороне, но привело к другому сражению — при Ла-Хоге близ Шербура, где французы были разбиты. Часто оба эти сражения объединяют в одно.

К стр. 303: * — *эльзасских «присоединений»* — речь идет о политике, которую Франция проводила в отношении Эльзаса в 1679–1684 годах вопреки условиям Вестфальского мира. В 1679 году французы заняли 10 эльзасских имперских городов и отменили их конституции. В 1681 году, когда Людовик XIV придвинул войско к стенам Страсбурга, городской совет поспешил принести присягу на верность королю и отказаться от своей конституции. Людовик сохранил городу его протестантский университет, гимназию, цеховой строй, доходы, а также элементы муниципального устройства, но юрисдикция города была

значительно сужена, в административном отношении Страсбург был объединен с остальным Эльзасом.

К стр. 303: ** — *Пинероло* — город и коммуна в Пьемонте, в 37 км к юго-западу от Турина на реке Кизоне. С 1631 по 1696 года принадлежал Франции; в местной крепости Людовик XIV держал своих врагов, среди которых наиболее известны так называемый «человек в железной маске» и суперинтендант финансов Фуке.

К стр. 303: *** — *форт Олбани* — один из трех торговых постов Компании Гудзонова залива в устье одноименной реки при ее впадении в залив Джеймса озера Онтарио. Основан англичанами около 1675 года, в 1686 году захвачен французами, в том же году рядом с фортом французский флот разгромил английский. В 1693 году англичане отвоевали форт и удерживали его до Рисвикского мира.

К стр. 303: **** — *Пондишери* — французское губернаторство в Индии на Коромандельском берегу Бенгальского залива. Первоначально селение париев, куплено Францией в 1683 году и быстро стало крупным центром торговли. Пондишери выступал одним из главных предметов столкновений англичан и французов в Индии и несколько раз переходил из рук в руки, пока не был возвращен Франции в 1816–1817 годах с условием не возводить там никаких укреплений.

К стр. 303: ***** — *Новую Шотландию* — провинция на востоке Канады, крупнейший город — Галифакс. Первоначально открыта французами. В 1621 году шотландец Уильям Александер по указу короля Иакова I получил в баронетство территорию между Новой Англией и Ньюфаундлендом и назвал ее Nova Scotia, или Новая Шотландия.

К стр. 304: * — *К 1684 году французы захватили Люксембург, и это положение дел голландцы были вынуждены признать по Регенсбургскому миру* — Регенсбургский мирный договор, подписанный 15 августа 1684 года сроком на 20 лет, завершил так называемую «войну присоединений», которую Франция вела с Испанией и ее союзниками в 1683–1684 годах. Император и испанский король в условиях наступления Османской империи на австрийские владения Габсбургов были вынуждены признать за французским королём занятые Францией в 1679–1684 годах территории (Люксембург, Страсбург и др.), однако перемирие было прервано войной 1688–1697 годов между Францией и Аугсбургской лигой.

К стр. 305, сн. 41: * — *уния 1652 года была более тесной* — в 1652 году при Кромвеле Шотландия была насильственно присоединена к Англии.

К стр. 305: ** — *герцог Йоркский* — будущий король Англии Иаков II Стюарт носил этот титул с 1644 года.

К стр. 305: *** — *мануфактура «Нью Миллз»* была расположена в городе Хаддингтон в области Восточный Лотиан к западу от Эдинбурга. Впервые эта мануфактура была учреждена во время Гражданской войны после принятия шотландским парламентом акта о стимулировании производства тонких тканей, но сильно пострадала от боевых действий.

К стр. 306: * — *Компания Дарьена* — речь идет о неудачной попытке Шотландии основать собственную колонию в Центральной Америке в заливе Дарьен (ныне территория Панамы) в конце 1690-х годов. Провал этого проекта стал одной из причин финансового краха Шотландии, что способствовало шотландско-британской унии в 1707 году.

К стр. 306: ** — *Риски якобитских претензий Старого претендента* — имеется в виду Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт (1688–1766), известный также под именем шевалье де Сен-Жорж, единственный сын Иакова II и Марии Моденской, претендовавший на английский престол под именем Иакова III и на шотландский под именем Иакова VIII. После смерти Иакова II в 1701 году Франция, Испания, папа и герцоги Пармы и Модены открыто признали 13-летнего принца Уэльского королём, а английский парламент объявил его государственным изменником. Во время войны за Испанское наследство Иаков надеялся захватить с помощью Людовика XIV утраченный отцом престол, но по Утрехтскому миру (1713) Франция должна была признать протестантскую династию в Англии и вследствие этого удалить претендента. После восшествия на престол Георга I в Шотландии вспыхнуло якобитское восстание, которое потерпело поражение. Претендент почти без свиты появился в Шотландии, где 27 января 1716 года был коронован под именем Иакова VIII, но вскоре вынужден был бежать на континент, поселился в Риме и оставил попытки овладеть троном. Во время последней попытки реставрации Стюартов в ходе Второго якобитского восстания (1745–1746) вождем заговорщиков был уже не состарившийся Иаков, а его сын Карл Эдуард.

К стр. 307, сн. 49: * — *Англичане с трудом осуществили высадку ирландской экспедиции во время королевского изгнания 1689–1691 годов* — После того, как в ноябре 1688 года Вильгельм Оранский высадился в Англии, Иаков II бежал во Францию, где Людовик XIV предоставил в его распоряжение Сен-Жерменский дворец. В 1689 году Иаков прибыл в Ирландию и стал во главе заговорщиков, поддержанных французскими войсками, но был в 1690 году разбит близ города Дрохеда на реке Бойн — это было решающее сражение в ходе Славной революции. После этого якобиты оставили Дублин без боя, пересекли реку Шаннон и укрепились в Лимерике, где были осаждены. Несмотря на хорошее состояние войска, Иаков II покинул своих сторонников и уехал в изгнание во Францию, где прожил до своей смерти в 1701 году. Ирландцы были очень разочарованы его бегством, и в народной среде у него до сих пор сохранилось прозвище *Seamus a' chaca* («Джеймс дерьмо»).

К стр. 307, сн. 49: ** — *Лимерикский договор* был подписан 3 октября 1691 года после победы Вильгельма III Оранского над участниками ирландского восстания 1688–1691 годов. Упорное сопротивление повстанцев заставило англичан пойти на заключение договора на сравнительно льготных для ирландцев условиях. Договор состоял из двух документов. Согласно военным статьям, сдавшимся ирландским солдатам разрешалось либо оставить Ирландию и поступить на французскую военную службу (чем многие воспользовались), либо разойтись по домам. Главным пунктом гражданских статей было обещание ирландским католикам (составлявшим большинство населения), если они присягнут в верности Вильгельму III, гарантировать не меньшую религиозную терпимость, чем та, которой они пользовались при Стюартах. Повстанцам была гарантирована амнистия, соблюдение имущественных и политических прав. Договор не был утвержден дублинским протестантским парламентом, и вскоре в Ирландии были проведены новые широкие

конфискации земель и введены так называемые «карательные законы» против католиков.

К стр. 307, сн. 49: *** — *Аппотомакс* — имеется в виду капитуляция армии южан при Аппотомаксе в ходе Гражданской войны в США 9 апреля 1865 года.

К стр. 307 сн. 50: **** — *в 1696 и 1699 годах в Шотландии имел место масштабный голод* — в последнее десятилетие XVII столетия голод уничтожил почти 15% населения Шотландии, что стало одним из поводов для организации Дарьенской экспедиции с целью основания колонии для эмиграции избыточного населения.

К стр. 308: * — *сегмента шотландской аристократии, который принадлежал к епископальной церкви* — Шотландская епископальная церковь — христианская церковь в Шотландии, состоящая из семи диоцезов и являющаяся членом Англиканского сообщества. С XVII века называется епископальной для отличия от пресвитерианской Церкви Шотландии. Как член Англиканской церкви Шотландская епископальная церковь признает первенство архиепископа Кентерберийского, который, впрочем, не имеет какой-либо юрисдикции в Шотландии.

К стр. 308: ** — *Акт о чужеземцах 1705 года* стал ответом на шотландский Акт о безопасности (см. ниже) и предусматривал, что лица шотландской национальности в Англии должны рассматриваться как иностранцы, а земельная собственность, которой владели шотландцы, — как иностранная собственность, что делало ее наследование неопределенным. Санкции также включали запрет на импорт в Англию и ее колонии шотландской продукции, что составляло половину шотландской торговли (ткани, скот, уголь). В акте содержалась оговорка, что все данные ограничения будут приостановлены, если шотландцы вступят в переговоры об унии с Англией.

К стр. 310: * — *Намюр ... Дендермонде — Намюр* — город в 65 км к юго-востоку от Брюсселя, столица региона Валлония (с 1986 года). *Турне* — франкоязычный город на реке Шельде, в провинции Эно, в 85 км к юго-западу от Брюсселя. *Менен* — город и коммуна в бельгийской провинции Западная Фландрия, на реке Лис. *Фурне* (Верне) — город в Бельгии в провинции Западная Фландрия. *Варнетон* — франкоязычный муниципалитет в бельгийской провинции Эно (Валлония). *Ипр* — город на северо-западе Бельгии в провинции Западная Фландрия, близ границы с Францией. *Кнокке* — город на крайнем севере Бельгии на границе с нидерландской провинцией Зеландия, морской курорт. *Дендермонде* — город в Бельгии в провинции Восточная Фландрия, при впадении реки Дандр в Шельду.

К стр. 311: * — *«возвратных пошлин» (drawbacks)* сумма импортных пошлин, подлежащая возврату плательщику при вывозе готовой продукции, полученной в результате обработки или переработки ранее ввезенных товаров; используется как средство повышения конкурентоспособности экспортных товаров.

К стр. 312, сн. 66: * — *правительству пришлось отплатить Уолполу за ее спасение в 1720 году его сокрушением в 1739-м* — Роберт Уолпол стал премьер-министром в момент, когда Англия была охвачена последствиями краха финансовой пирамиды, организованной Компанией Южных морей (сам Уолпол обогатился на этой авантюре). Чтобы унять гнев потерявших

сбережения лиц, Уолпол отстранил от дел главу казначейства и сам занял этот пост. Компания Южных морей была реструктурирована и продолжала существование вплоть до окончательного закрытия в 1850 году. В 1739 году, после инцидента с «ухом Дженкинса», Уолпол решительно сопротивлялся требованиям объявить войну Испании, но в итоге был вынужден сдаться. Сначала Британия начала войну против Испании, а в 1740 году вспыхнула война за Австрийское наследство. Уолпол сохранял пост премьер-министра до 1742, но былой власти уже не имел.

К стр. 317, сн. 102: * — *«Переулок джина»* — гравюра Уильяма Хогарта 1751 года, изображающая плачевные последствия массового алкоголизма в Лондоне середины XVIII века.

К стр. 317, сн. 103: ** — *Ячмень можно было «раздуть»* — имеется в виду набухание ячменя при его проращивании с целью получения солода.

К стр. 317, сн. 106: *** — *в одном ласте приблизительно 10,5 квартеров* — английский квартер равен 290,789 литров.

К стр. 319: * — *Канал дю Миди* (Лангедокский канал, или Южный канал) длиной 240 км соединяет Тулузу со средиземноморским городом Сет, который был основан, чтобы служить восточным терминалом канала. Канал был прорыт в 1666–1681 годах, его строительство стало одним из самых крупных проектов правительства Кольбера.

К стр. 320, сн. 125: * — *Отражательная печь* — промышленная плавильная печь, в которой тепло передаётся материалу излучением от газообразных продуктов сгорания топлива, а также от раскалённой внутренней поверхности огнеупорной кладки печи. Такие печи применяются для получения металлов и полупродуктов в цветной металлургии, варки стекла, а также для расплавления чёрных и цветных металлов и сплавов в литейном производстве.

К стр. 328: * — *основание Министерства торговли* относится к 1696 году, когда Вильгельм Оранский назначил восемь лордов-комиссионеров торговли и иностранных плантаций (лордов торговли). Если ранее подобные комиссии формировались в рамках Тайного совета, то теперь это было фактически отдельное ведомство.

К стр. 330, сн. 178: * — *Малахия Постлетуэйт* (ок. 1707–1767) — английский публицист, в молодости работал на Королевскую Африканскую компанию. Наиболее известное произведение — «Универсальный словарь торговли и коммерции» (1757), который представлял собой адаптированный перевод «Экономического словаря» Жака Савари де Брюлона, генерального инспектора французских Королевских мануфактур.

К стр. 331, сн. 179: * — *Вильямитская война 1689–1691 годов* — упомянутый выше военный конфликт в Ирландии между Вильгельмом III и Иаковом II; в ирландской историографии известна Война двух королей.

К стр. 331: ** — *В бодмерейном займе* заимодатель становится участником в риске мореплавания и в случае гибели судна в пути теряет право на возмещение отданных им заемщику средств. Имея страховой интерес в бодмерейном займе, заимодатель имеет право на его страхование.

К стр. 333: * — *вместе с взятием французами Мадраса у англичан* — Мадрас (ныне Ченнаи) в 1746 году был захвачен французским губернатором Маврикия генералом Бурдонне. Однако уже в 1749 году

Мадрас был возвращён Великобритании согласно заключённому англо-французскому соглашению, после чего форт был значительно укреплён для защиты от французов и майсурского султана.

К стр. 334, сн. 200: * — *Коббет*, Уильям (1762–1835) — английский публицист и историк.

К стр. 336, сн. 217: * — *Шамильяр*, Мишель (1652–1721) — французский государственный деятель, в 1699–1707 годах занимал пост военного министра, а также заведовал финансами. Осуществил ряд непопулярных мер, которые обосновывались расходами на ведение войны за Испанское наследство, — восстановление подушной подати, новые выпуски ренты, досрочный сбор податей, создание и продажа бесчисленных должностей, понижение ценности монеты, лотереи и ассигнации с принудительным курсом.

К стр.339 * — *Фидуциарное платежное средство* (от лат. *fiducia* — доверие) — средства обращения, не имеющие внутренней стоимости, в частности, бумажные деньги, не обеспеченные запасом благородных металлов.

К стр. 340, сн. 231: * — *Генеральные откупщики (fermiers généraux)* поставили под контроль все косвенные налоги в 1728 году, когда была учреждена Компания Генеральных откупщиков (*Finance générale*). После этого в число откупщиков не мог входить никто, помимо тех, кто имел грамоту короля на звание генерального откупщика. В 1755 году число генеральных откупщиков было доведено до 60, а в 1780 году понижено до 40. Торги на право откупа налогов проводились каждые 6 лет, цена откупа с 1738 до 1774 годов возросла с 91 до 162 млн ливров. Доходы генеральных откупщиков выросли с 1728 по 1789 годы с 80 до 138 млн ливров, хотя в 1789 году все генеральные откупщики внесли в казну всего 46 млн ливров. Неэффективность этой системы и недовольство населения привели к тому, что сразу после начала революции система генеральных откупщиков была упразднена.

К стр. 343, сн. 248: * — *Инвестиционный траст* — компания, инвестирующая средства своих акционеров в портфель ценных бумаг, которые обычно котируются на фондовой бирже.

К стр. 344: * — *банк Лоу принял на себя выплату публичных долгов в ущерб погашению налоговых векселей* — Круг деятельности банка Лоу включал дисконтирование векселей (т.е. взимание банковской комиссии при выкупе векселя у его держателя), приём вкладов и выдачу билетов на предъявителя. Считается, что успех банка Лоу более всего обязан тому, что надёжные векселя дисконтировались по ставке 6%, в то время как обычная ставка в те времена достигла 20-30%.

К стр. 345: * — *Регент* — Филипп II, герцог Орлеанский (1674–1723) — регент Французского королевства при малолетнем короле Людовике XV с 1715 по 1723 годы, племянник Людовика XIV.

К стр. 345, сн. 261: ** — *Первоначальное использование Компании Южных морей для рефинансирования краткосрочных облигаций в 1711 году* — Компанию Южных морей, обладавшую монополией на торговлю с портами в Южной Америке, в 1711 году основал лорд-казначей герцог Роберт Харли. В обмен на предоставление монополии компания должна была помочь Англии выплачивать государственный долг, возникший во время войны за Испанское наследство. Долг Англии достиг к 1710 году 50 млн фунтов при годовом доходе в 4 млн. Первоначально

государственные обязательства держателей долга на сумму около 9 млн фунтов стерлингов были обменяны на акции Компании Южных морей. В 1718 году, когда англо-испанская война возобновилась, компания предложила обменять весь государственный долг на свои акции по курсу 100-фунтовая акция за 125-130 фунтов (каждая облигация государства имела номинал 100 фунтов). Благодаря активному муссированию в прессе информации, что парламентом будет принят закон об обмене ценных бумаг на акции, последние смогли сильно вырасти в цене. После того, как такой закон был принят, компания начала искусственно завышать цены на свои акции и объявила подписку на новую эмиссию, причем акция стоила уже 300 фунтов. Было собрано 2 млн фунтов, после чего был сделан следующий выпуск по цене 400 фунтов за акцию. В итоге, когда цена за акцию достигла 1000 фунтов, началось ее неуправляемое снижение до исходного номинала в 100 фунтов. Банк Англии отказался выплачивать средства, но часть денег руководство компании акционерам все-таки выплатило по 30 фунтов за 100-фунтовую акцию.

К стр. 345, сн. 261: *** — *в 1710 году власть перешла от вигов к тори* — смена английского правительства во многом стала результатом катастрофического роста национального долга; герцог Роберт Харли, запустивший пирамиду Компании Южных морей, в тот момент был лидером тори. Крах компании привел к новой смене партии у власти — в 1721 году кабинет возглавил виг Роберт Уолпол.

К стр. 350: ' — *политический компромисс 1598 года обернулся королевской победой в 1629 году* — имеется в виду так называемый «Эдикт милости», изданный кардиналом Ришелье 28 июня 1629 года от имени короля Людовика XIII вслед за подписанием мира в Але, которым закончилась война между французским правительством и гугенотами (1621-29). Гугеноты потерпели поражение, однако правительство, вопреки требованиям папства и деятелей французской Контрреформации, еще не могло целиком отменить Нантский эдикт 1598 года. Эдикт милости подтвердил его основные статьи: гугенотам была оставлена свобода вероисповедания и право на богослужение, сохранены налоговые и некоторые другие привилегии гугенотской буржуазии. Но были отменены дополнительные статьи Нантского эдикта: все гугенотские крепости и городские укрепления подлежали срытию, гарнизоны были распущены. Таким образом, гугенотское государство в государстве было ликвидировано, что явилось дальнейшим шагом на пути укрепления абсолютизма.

К стр. 350, сн. 286: ** — *Тюренн* — Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт *де Тюренн* (1611–1675) — знаменитый французский полководец, маршал Франции (1643) и главный маршал Франции (1660), протестант. Ему принадлежит заслуга побед королевской Франции в 1650-х годах в ходе Фронды над армией принца Конде и в войне с Испанией. В 1668 году перешел в католичество.

К стр. 350, сн. 286: *** — *23 июня 1789 года,* два дня спустя после созыва Национального Собрания, король Людовик XVI запретил представителям сословий заседать совместно, обещав при этом некоторые реформы — равенство перед налогами, отмену тяжёлых работ и королевских указов об изгнании без суда и следствия. После отъезда короля церемониймейстер

маркиз Дро-Брезе напомнил депутатам королевский указ, на что получил ответ графа Мирабо: «Скажите тем, кто вас послал, что мы здесь волей народа и оставим свои места только под угрозой штыков». Король капитулировал и 27 июня 1789 года приказал депутатам привилегированных сословий присоединиться к депутатам третьего сословия в единственной палате. *Ларошфуко-Лианкур,* Луи Александр (1743–1792) — французский политический деятель, один из депутатов Учредительного собрания 1789 года. Его отец Александр Фредерик (1747–1827), по легенде, после получения известия о штурме Бастилии на вопрос Людовика XVI: «Это бунт?», ответил: «Нет, ваше величество, это революция».

К стр. 350, сн. 289: **** — *война камизаров* — камизарами (*camisard*, от лангедокского слова *camiso* — «крестьянская рубашка») называли себя протестантские крестьяне Севенн (горный массив на юге Франции), в 1702 году поднявшие восстание против французского правительства во время войны за Испанское наследство. Было подавлено к 1704 году, но отдельные вспышки противостояния продолжались до 1715 года. *Антуан Кур* (1696–1760) — религиозный деятель, восстановивший реформатскую церковь Франции. Под постоянным страхом казни Кур собрал рассеянных членов церкви, реорганизовал её и от мистицизма камизаров вернул её к умеренной «религии отцов». *Синод пустынников в Басс-Севенне* — встреча четырех светских представителей и пяти проповедников во главе с Антуаном Куром, состоявшаяся 24 августа 1715 года в севеннской деревне Монтезе.

К стр. 350, сн. 289: ***** — *Конгрегационализм* — форма организации управления христианской церковью, в основу которой положен принцип независимости каждой поместной общины верующих (конгрегации) от светских или церковных властей и полная их самостоятельность.

К стр. 352, сн. 296: * — *Боссюэ,* Жак Бенинь (1627–1704) — французский писатель, епископ, отстаивавший под сильным влиянием Августина идеи провиденциализма: Бог непосредственно управляет судьбами народов и налагает свою печать на каждую эпоху их развития. Несостоятельность теорий Боссюэ доказывали французские просветители, в особенности Вольтер.

БИБЛИОГРАФИЯ

Aalbers, J. Holland's Financial Problems (1713–1733) and the Wars against Louis XIV // Britain and the Netherlands, VI: War and Society / A.C. Duke & C.A. Tamse, eds. The Hague : Martinus Nijhoff, 1977, 79–93.

Abel, Wilhelm. Die Drei Epochen der deutschen Agrargeschichte, 2nd ed., Schriftenreihe für Landliche Sozialfrâgen, XXXVII. Hannover: Verlag M. & H. Schaper, 1964.

Abel, Wilhelm. Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom fruhen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, 2nd rev. ed. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1967.

Abel, Wilhelm. Massenarmut und Hungerkrisen in vorindustriellen Deutschland. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972.

Abel, Wilhelm. Crises agraires en Europe (Xllle–XXe siècle), traduit de la 2ème édition allemande, revue et augmentée. Paris: Flammarion, 1973.

Aberg, Alf. The Swedish Army, from Lützen to Narva // Sweden's Âge of Greatness, 1632–1718 / M. Roberts, ed. New York: St. Martin's Press, 1973, 265–287.

Achilles, Walter. Getreidepreise und Getreidehandelsbeziehungen europäischer Raume im 16. und 17 // Jahrhundert, Zietschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, VII, 1, 1959, 32–55.

Adams, Geoffrey. Myths and Misconceptions: The Philosophie View of the Hugenots in the Âge of Louis XV // Historical Reflections, I, 1, June 1974, 59–79.

Âgren, Kurt. Breadwinners and Dependents: An Economic Crisis in the Swedish Aristocrary during the 1600's? // Aristocrats, Farmers, Proletarians, Studia Historica Uppsaliensia XLVII / K. Âgren et al. Uppsala: Almquist & Wiksell, 1973, 9–27. (a)

Agren, Kurt. The reduction // Sweden's Age of Greatness, 1632–1718 / M. Roberts, ed. New York: St. Martin's Press, 1973, 237–264. (b)

Agren, Kurt. Rise and Decline of an Aristocracy // Scandinavian Journal of History, I, 1–2, 1976, 55–80.

Akerman, Johan. Structure et cycles économiques, 2 vols. Paris: Presses Univ. de France, 1957.

Allen, Theodore. "...They Would Have Destroyed Me": Slavery and the Origins of Racism // Radical America, IX, 3, May-June 1975, 41–64.

Anderson, M.S. Russia Under Peter the Great and the Changed Relations of East and West // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 716–740.

Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books, 1974.

Anderson, Perry. Passages from Antiquity to Feudalism. London: New Left Books, 1974.

Andrews, Charles M. Anglo-French Commercial Rivalry, 1700–1750: The Western Phase // American Historical Review, Part I: XX, 3, Apr. 1915, 539–556: Part II: XX, 4, July 1915, 761–780.

Andrews, Charles M. The Acts of Trade // Cambridge History of the British Empire / J. Holland Rose et al., eds. Cambridge: University Press, 1929, I, 268–299.

Anes Alvarez, Gonzalo, & le Flem, Jean-Paul. Las crisis del siglo XVII: Produccion agricola, precios e ingresos en tierras de Segovia // Moneda y Credito, No. 93, junio 1965, 3–55.

Appleby, Andrew B. Agrarian Capitalism or Seigneurial Reaction? The Northwest of England, 1500–1700 // American Historical Review, LXXX, 3, June 1975, 574–594.

Ardant, Gabriel. Financial Policy and Economic Infrastructure of Modern States and Nations // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly, ed. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 164–242.

Ariès, Philippe. Nationalisme d'hier et nationalisme d'aujourd'hui // La table ronde, No. 147, mars 1960, 46–51.

Asher, Eugene L. The Resistance to the Maritime Classes: The Survival of Feudalism in the France of Colbert. Berkeley & Los Angeles: Univ. of California Press, 1960.

Ashley, M.P. Financial and Commercial Policy under the Cromwellian Protectorate. London & New York: Oxford Univ. Press, 1934.

Ashley, W.J. The Tory Origin of Free Trade Policy // Quarterly Journal of Economics, XI, 4 July 1897, 335–371.

Ashton, Robert. Cavaliers and Capitalists // Renaissance and Modern Studies, V, 1961, 149–175.

Ashton, Robert. Puritanism and Progress // Economic History Review, 2nd ser., XVIII, 3, April, 1965, 579–587.

Ashton, Robert. The Parliamentary Agitation for Free Trade in the Opening Years of the Reign of James I // Past and Present, No. 38, 1967, 40–55.

Ashton, Robert. Jacobean Free Trade Again // Past and Present, No. 43, 1969, 151–157.

Ashton, T.S. Economic Fluctuations in England, 1700–1800. Oxford: Clarendon Press, 1959.

Ashton, T.S. Introduction to Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics 1697–1808. Oxford: Clarendon Press, 1960, 1–14.

Ashton, T.S. An Economic History of England: The 18th Century. London: Methuen, 1969, (reprinted with minor corrections).

Aspvall, G. The Sale of Crown Land in Sweden: The Introductory Epoch, 1701–1723 // Economy and History, IX, 1966, 3–28.

Åström, Sven-Erik. The English Navigation Laws and the Baltic Trade, 1660–1700 // Scandinavian Economic History Review, VIII, 1, 1960, 3–18.

Åström, Sven-Erik. From Stockholm to St. Petersburg // Studia Historica, II. Helsinki: Finnish Historical Society, 1962.

Åström, Sven-Erik. From Cloth to Iron: The Anglo-Baltic Trade in the Late 17th Century, Part I: The Growth, Structure and Organization of the Trade // Commentationes Humanum Litterarum, XXIII, I, 1963, 1–260.

Åström, Sven-Erik. From Cloth to Iron: The Anglo-Baltic Trade in the Late 17th Century, Part II: The Customs Accounts as Sources for the Study of Trade // Commentationes Humanum Litterarum, XXXVII, 3, 1965, 1–86.

Åström, Sven-Erik. The Swedish Economy and Sweden's Role as a Great Power, 1632–1697 // Sweden's Age of Greatness, 1632–1718 / M. Roberts, ed. New York: St. Martin's Press, 1973, 58–101.

Attman, Artur. The Russian and Polish Markets in International Trade, 1500–1650 // Publications of the Institute of Economic History of Gothenburg University, No. 26, Göteborg, 1973.

Aubin, Hermann. Die Anfänge der grossen schlesischen Leineweberei und -handlung // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XXXV, 2, 1942, 105–178.

Aylmer, Gerald E. Office-holding, Wealth and Social Structure in England, c1580–c1720, paper at Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato, 30 apr. 1974.

Aymard, Maurice. Commerce et production de la soie sicilienne, aux XVIe–XVIIe siècles // Mélanges d'archéologie et d'histoire, LXXVII, 1965, 609–640.

Aymard, Maurice. Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Paris: S.E.V.P.E.N., 1966.

Aymard, Maurice. Une croissance sélective: la population sicilienne au XVIIe siècle // Mélanges de la Casa de Velázguez, IV, 1968, 203–227.

Aymard, Maurice. Production, commerce et consommation des draps de laine // Revue Historique, No. 499, juil.-sept. 1971, 5–12.

Aymard, Maurice. In Sicilia: Sviluppo demografico e sue difierenzatione geografiche, 1500–1800 // Quaderni storici, No. 17, magg.-agosto, 1971, 417–446.

Aymard, Maurice. Economie rurale, économie marchande // Commerce de gros, commerce de detail dans les pays méditerranéens (XVIe – XlXe siècles), Actes des Journées d'Etudes Bendor, 25–26 avr. 1975. Univ. de Nice: Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, 1976, 131–144.

Baehrel, René. Economie et histoire à propos des prix // Éventail de L'histoire Vivante: Hommage À Lucien Febvre. Paris: Lib. Armand Colin, 1953, I, 287–310.

Baehrel, René. Histoire statistique et prix italiens // Annales E.S.C., IX, 2, avr.-juin 1954, 213–226.

Baehrel, René. Une croissance: La Basse-Provence rurale (fin du XVIe siècle – 1789). Paris: S.E.V.P.E.N., 1961.

Baetens, R. The Organization and Effects of Flemish Privateering the Seventeenth Century //Acta Historiae Neerlandicae, IX, 1976, 48–75.

Bailyn, Bernard. Communications and Trade: The Atlantic in the Seventeenth Century // Journal of Economic History, XIII, 4, Fall 1953, 378–387.

Bailyn, Bernard. The New England Merchants in the Seventeenth Century. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1955.

Bairoch, Paul. Le rôle de l'agriculture dans la création de la sidérurgie moderne // Revue d'historie économique et sociale, XLIV, 1, 1966, 5–23.

Bairoch, Paul. Le rôle du secteur tertiaire dans l'attenuation des fluctuations économiques // Revue d'économie politique, No. 1, 1968, 31–49.

Bairoch, Paul. Agriculture and the Industrial Revolution, 1700–1914 // The Fontana Economic History of Europe, III: The Industrial Revolution / C.M. Cipolla, ed. London: Collins, 1973, 452–506.

Baker, Dennis. The Marketing of Corn in the First Half of the Eighteenth Century: North-East Kent // Agricultural History Review, XVIII, 2, 1970, 126–150.

Baker, Norman. Changing Attitudes towards Government in Eighteenth-Century Britain // Statesmen, Scholars and Merchants / A. Whiteman, J.S. Bromley, & P.G.M. Dickson, eds. Oxford: Clarendon Press, 1973, 202–219.

Bakewell, P.J. Silver Mining and Society in Colonial Mexico: Zacatecas, 1546–1700. Cambridge: University Press, 1971.

Bakewell, P.J. Zacatecas: An Economic and Social Outline of a Silver Mining District, 1547–1700 // Provinces of Early Mexico / Ida Altman & James Lockhart, eds. Los Angeles: UCLA Latin American Center Publication, 1976, 199–229.

Balibar, Etienne. Sur les concepts fondamentaux du matérialisme historique // Lire Le Capital / Louis Althusser & Etienne Balibar (nouv. éd. entièrement refondue). Paris: Maspéro, 1968, II, 79–226.

Bamford, Paul Waiden. French Shipping in Northern European Trade, 1660–1789 // Journal of Modern History, XXVI, 3, Sept. 1954, 207–219.

Bamford, Paul Waiden. Forests and French Sea Power, 1660–1789. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1956.

Bamford, Paul Waiden. Entrepreneurship in Seventeenth- and Eighteenth-Century France // Explorations in Entrepreneurial History, IX, 4, Apr. 1957, 204–213.

Bangs, Carl. Dutch Theology, Trade and War: 1590–1610 // Church History, XXXIX, 4, Dec. 1970, 470–482.

Baranowski, B. et al. Histoire de l'économie rurale en Pologne jusqu'à 1864. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Poskiej Akademii Nauk, 1966.

Barber, Elinor G. The Bourgeoisie in 18th Century France. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1955.

Barbour, Violet. Marine Risks and Insurance in the Seventeenth Century // Journal of Economic and Business History, I, 1929, 561–596.

Barbour, Violet. Dutch and English Merchant Shipping in the Seventeenth Century // Essays in Economic History, I / E.M. Carus-Wilson, ed. London: Edw. Arnold, 1954, 227–253. (Originally in Economic History Review, II, 2, 1930).

Barbour, Violet. Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, Ann Arbor Paperbacks, 1963.

Bargalló, Modesto, La minería y la metallúrgica en la América Española durante la época colonial. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1955.

Barker, Ernest. The Development of Public Services in Western Europe, 1660–1930. Hamden, Conn.: Archon Books, 1966.

Barker, Thomas M. Double Eagle and Crescent. Albany: State Univ. of New York Press, 1967.

Barker Thomas M. Military Entrepreneurship and Absolutism: Habsburg Models // Journal of European Studies, IV, 1, 1974, 19–42.

Barker, Thomas M. Armed Service and Nobility in the Holy Roman Empire: General Aspects and Habsburg Particulars // Armed Forces and Society, IV, 3, May 1978, 449–500.

Barkhausen, Max. Government Control and Free Enterprise in Western Germany and the Low Countries in the Eighteenth Century // Essays in European Economy History, 1500–1800 / Peter Earle, ed. Oxford: Clarendon Press, 1974, 212–273. (Translated from Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1958).

Barnett, Correlli. Britain and Her Army, 1509–1970. London: Pelican, 1974.

Baron, Salo W. A Social and Religious History of the Jews, XV, Late Middle Âges and Era of European Expansion (1200–1650): Resettlement and Exploration. New York: Columbia Univ. Press, 1973.

Barraclough, Geoffrey. The Origins of Modern Germany. Oxford: Basil Blackwell, 1962.

Barral, Pierre. Note historique sur l'emploi du terme 'paysan' // Études rurales, No. 21, avr-juin 1966, 72–80.

Barrett, Elinore M. Enconiendas, Mercedes, and Haciendas in the Tierra Caliente of Michoacán // Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, X, 1973, 71–111.

Barrett, Ward. Caribbean Sugar Production Standards in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Merchants and Scholars. Essays in the History of Exploration and Trade / J. Parker, ed. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1965, 145–170.

Barrow, Thomas C. Trade and Empire: The British Customs Service in Colonial America, 1660–1775. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1967.

Bassett, D.K. Early English Trade and Settlement in Asia, 1602–1690 //, Britain and the Netherlands in Europe and Asia / J.S. Bromley and E.H. Kossmann, eds. London: Macmillan, 1968, 83–109.

Batie, Robert Carlyle. Why Sugar? Economic Cycles and the Changing of Staples in the English and French Antilles, 1624–54 // Journal of Caribbean History, VIII, 1, Nov. 1976, 3–41.

Baynes, John. The Jacobite Rising of 1715. London: Cassell, 1970.

Bazant, Jan. Feudalismo y capitalismo en la historia económica de México // Trimestre económico, XVII, 1, enero-marzo 1950, 84–98.

Bazant, Jan. Evolution of the Textile Industry of Puebla: 1544–1845 // Comparative Studies in Society and History, VII, 1, Oct. 1964, 56–69.

Beaujon, A. History of the Dutch Sea Fisheries: Their Progress, Decline and Revival. London: William Clowes & Sons, 1884.

Beer, George Louis. The Old Colonial System 1660–1754, Part 1: The Establishment of the System, 1660–1668, 2 vols. New York: Macmillan, 1912.

Behrens, Betty. Government and Society, Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1977, 549–620.

Beiguelman, Paula. A destruçáo do escravismo capitalista // Revista da História, XXIV, 69, 1967, 149–160.

Bérenger, Jean. Public Loans and Austrian Policy in the Second Half of the Seventeenth Century // Journal of European Economic History, II, 3, Winter 1973, 657–669.

Berengo, Marimo, & Diaz, Furio. Noblesse et administration dans l'Italie de la Renaissance: la formation de la bureaucratie moderne, paper at XIII International Congress of Historica Sciences, Moscow, Apr. 16–23, 1970.

Berger, Patrice. French Administration in the Famine of 1693 // European Studies Review, VIII, 1, Jan. 1978, 101–127.

Bergier, Jean-François. Il XVI secolo segnò l'inizio di una nuova concezione del safari // Revista storica italiana, LXXVIII, 2, 1966, 431–438.

Bernard, Léon. French Society and Popular Uprisings under Louis XIV // French Historical Studies, III, 4, Fall 1964, 454–474.

Berthe, Jean-Pierre. Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle // Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, III, 1966, 88–117.

Berthold, Rudolf. Wachstumprobleme der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Spätfeudalismus (zirka 1500 bis 1800) // Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, II–III, 1964, 5–23.

Besnier, R. Histoire des faits économiques: La fin de la croissance et les prodromes d'une révolution économique en Europe au XVIIe siècle. Cours de Doctorat, 1960–1961. Paris: Les Cours de Droit, polyc., 1961.

Beutin, Ludwig. Nordwestdeutschland und die Niederlande seit dem Dressigjährigen Krieg // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XXXII, 2, 1939, 105–147.

Birch, Alan. Foreign Observers of the British Iron Industry During the Eighteenth Century // Journal of Economic History, XV, 1, 1955, 23–33.

Blanchard, Marcel. Le sel de France en Savoie (XVIIe et XVIIIe siècles) // Annales d'histoire économique et sociale, IX, 47, sept. 1937, 417–428.

Blaschke, Karlheinz. Das Bauernlegen in Sachsen // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLII, 2, 1955, 97–116.

Blitz, Rudolph C. Mercantilist Policies and the Pattern of World Trade, 1500–1750 // Journal of Economic History, XXVII, 1, Mar. 1967, 39–55.

Bloch, Marc. La lutte pour d'individualisme agraire dans la France du XVIIIe siècle // Annales d'histoire économique et social, II, 7, juil. 1930, 329–383; II, 8, oct. 1930, 511–556.

Bloch, Marc. French Rural History. Berkeley: University of California Press, 1966.

Bluche, François. L'origine sociale des Secrétaires d'État de Louis XIV (1661–1715), XVIIe siècle, Nos. 42–43, 1er trimestre 1959, 8–22.

Bodmer, Walter. Tendenzen der Wirtschaftspolitik der eidgenossischen Orte in Zeitalter des Merkantilismus // Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 1, 4, 1951, 562–598.

Boelcke, Willi. Zur Geschichte der Gutscherrschaft und der zweiten Leibeigenschaft in der Oberlausitz // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, IV, 6, 1956, 1223–1232.

Boëthius, B. Swedish Iron and Steel, 1600–1955 // Scandinavian Economic History Review, VI, 2, 1958, 144–175.

Bog, Ingomar. Der Reichsmerkantilismus. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1959.

Bog, Ingomar. Der Merkantilismus in Deutschland // Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik, CLXXIII, 2, Mai 1961, 125–145.

Bog, Ingomar. Türkenkrieg und Agrarwirtschaft // Die Wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, I / O. Pickl, her. Graz: 1971, 13–26.

Bogucka, Maria. Merchants' Profits in Gdansk Foreign Trade in the First Half of the 17th Century // Acta Poloniae Historica, No. 23, 1971, 73–90.

Bogucka, Maria. Le marché monétaire de Gdansk et les problèmes de crédit public au cours de la première moitié du XVIIe siècle, Quarta settimana di studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato, 20 apr. 1972.

Bogucka, Maria. Amsterdam and the Baltic in the First Half of the Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XXVI, 3, Aug. 1973, 433–447.

Bogucka, Maria. The Monetary Crisis of the XVIIth Century and its Social and Psychological Consequences in Poland // Journal of European Economic History, VI, 1, Spring 1975, 137–152.

Boissonade, P. Le socialisme d'étal: L'industrie et les classes industrielles pendant les deux premieres siècles de l'ère moderne (1453–1661). Paris: Lib. Ancienne Honoré Champion, 1927.

Bonney, Richard J. The French Civil War, 1649–53 // European Studies Review, VIII, 1, Jan. 1978, 71–100.

Bono, Salvatore. I corsari barbareschi. Torino: Ed. Rai, 1964.

Borelli, Giorgio. Un patriazato della terraferma veneta tra XVII e XVIII secolo. Milano: Dott. A. Giuffrè-Ed., 1974.

Bosher, J.F. The Single Duty Project: A Study of the Movement for a French Customs Union in Eighteenth Century. London: Athlone Press, 1964.

Boswell, A. Bruce. Poland // The European Nobility in the Eighteenth Century / A. Goodwin, ed. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1967, 154–171.

Boulle, Pierre H. Slave Trade, Commercial Organization, and Industrial Growth in Eighteenth-Century Nantes // Revue française d'histoire d'outre-mer, LIX, 214, 1er trimestre 1972, 70–112.

Boulle, Pierre H. 'Failed Transition', Lombardy and France: General Comments // Failed Transitions to Modem Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 72–74.

Bourde, André-J. Louis XIV et l'Angleterre, XVIIe siècle, Nos. 46–47, 1-2e trimestres 1960, 54–83.

Bouvier, Jean. Vers le capitalisme bancaire: l'expansion du crédit après Law // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 301–321.

Bouwsma, William J. The Secularization of Society in the Seventeenth Century, paper delivered at XII International Congress of Historical Sciences, Moscow, Aug. 16–23, 1970. Moscow: Nauka, 1970.

Bowman, Francis, J. Dutch Diplomacy and the Baltic Grain Trade, 1600–1660 // Pacific Historical Review, V, 4, 1936, 337–348.

Boxer, C.R. Salvador de Sá and the Struggle for Brazil and Angola. London: Athlone Press, 1952.

Boxer, C.R. Vicissitudes of the Anglo-Portuguese Alliance, 1600–1700 // Revista da faculdade de letras (Univ. de Lisboa), ser. 3, 1958, 15–46.

Boxer, C.R. Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415–1825. Johannesburg: Witswatersrand Univ. Press, 1961. (Reprinted by Univ. of California Press, 1969).

Boxer, C.R. Sedentary Workers and Seafaring Folk in the Dutch Republic // Britain and the Netherlands, II / S. Bromley & E.H. Kossman, eds. Groningen: J.B. Wolters, 1964, 148–168.

Boxer, C.R. The Dutch Seaborne Empire, 1600–1800. New York: Knopf, 1965.

Boxer, C.R. Brazilian Gold and British Traders in the First Half of the Eighteenth Century // Hispanic American Historical Review, XLIX, 3, Aug. 1969, 454–472.

Boxer, C.R. The Golden Age of Brazil, 1695–1750. Berkeley: Univ. of California Press, 1969.

Boxer, C.R. The Portuguese Seaborne Empire, 1415–1825. New York: Knopf, 1969.

Boyer, Richard. Mexico in the Seventeenth Century: Transition of Colonial Society // Hispanic American Historical Review, LVII, 3, Aug. 1977, 455–478.

Brading, D.A. & Cross, Harry E. Colonial Silver Mining: Mexico and Peru // Hispanic American Historical Review, LII, 2, Nov. 1972, 545–579.

Braudel, Fernand. L'économie française au XVIIe siècle // Annales E.S.C., VI, 1, janv.-mars 1951, 65–71.

Braudel, Fernand. L'économie de la Méditerranée au XVIIe siècle // Cahiers de Tunisie, IV, No. 14, 2e trimestre 1956, 175–197.

Braudel, Fernand. L'histoire des civilisations: le passé explique le présent // Ecrits sur l'histoire. Paris: Flammarion, 1969, 255–314. (Originally chap. V: Le Monde en devenir [Histoire, évolution, prospective] // Encyclopédie française, XX, 1959).

Braudel, Fernand. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Âge of Philip II, 2 vol. New York: Harper & Row, 1973.

Braudel, Fernand. Discorso inaugurale // La Lána come materia prima, Atti délia "Prima Settimana di Studio" (18–24 aprile 1969). Firenze: Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Prato, 1974, 5–8.

Braudel, Fernand. Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1977.

Braudel, Fernand. The Expansion of Europe and the "Longue Durée" // Expansion and Reaction: Essays on European Expansion and Reaction in Asia and Africa / H.L. Wesseling, ed. Leiden: Leiden Univ. Press, 1978, 1–27.

Braudel, Fernand, Jeannin, Pierre, Meuvret, Jean, & Romano, Ruggiero. Le déclin de Venise au XVIIe siècle, Aspetti e cause délia decandenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del Convegno 27 giugno-2 luglio 1957. Venezia-Roma: Istituto per la Collaborazione Culturale, 1961, 23–86.

Braudel, Fernand & Spooner, Frank. Prices in Europe from 1450 to 1750 // The Cambridge Economic History of Europe, IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1967, 374–480.

Braun, Rudolf. Taxation, Sociopolitical Structure, and State-Building: Great Britain and Braudenburg-Prussia // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly, ed. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 243–327.

Braure, Maurice. Quelques aspects des relations commerciales entre la France et l'Angleterre au XVIII' siècle // Annales du Midi, LXV, 21, janv. 1953, 67–89.

Breen, T.H. A Changing Labor Force and Race Relations in Virginia, 1660–1710 // Journal of Social History, VII, 1, Fall 1973, 3–25.

Brenner, Robert. The Social Basis of English Commercial Expansion, 1550–1650 // Journal of Economic History, XXXII, 1, Mar. 1972, 361–384.

Brenner, Robert. England, Eastern Europe, and France: Socio-Historical versus "Economic" Interpretation: General Conclusions // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 68–71.

Brenner, Robert. Agrarian Class Structure and Economic Development // Pre-Industrial Europe, Past and Present, No. 70, Feb. 1976, 30–75.

Briggs, Martin S. Building Construction // A History of Technology, III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, c1500–c1700 / C. Singer, et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 245–268.

Bromley, J.S. The Channel Island Privateers in the War of the Spanish Succession // La Société Guernésiaise, Report and Transactions for the Year 1949, XIV, 4, 1950, 444–478.

Bromley, J.S. The Decline of Absolute Monarchy (1638–1774) // France: Government and Society / M. Wallace-Hadrill & John McManners, eds. London: Methuen, 1957, 134–160.

Bromley, J.S. The French Privateering War, 1702–1713 // Historical Essays 1600–1750 presented to David Ogg / H.E. Bell & R.L. Ollard, eds. London: Adam & Charles Black, 1964, 203–231.

Bromley, J.S. Introduction // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725. Cambridge: University Press, 1970, 1–36.

Bromley, J.S. & Ryan, A.N. Armies and Navies: (3) Navies // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 790–833.

Brown, P. Hume. The Legislative Union of England and Scotland. Oxford: Clarendon Press, 1914.

Brown, Vera Lee, Contraband Trade as a Factor in the Decline of Spain's Empire in America // Hispanic American Historical Review, VIII, 2, May 1928, 178–189.

Bruchey, Stuart, The Roots of American Economic Growth, 1607–1861. New York: Harper & Row, 1965.

Bruchey, Stuart, ed. The Colonial Merchant. Sources and Readings. New York: Harcourt, Brace & World, 1966.

Bruford, W.H. The Organisation and Rise of Prussia // New Cambridge Modern History, VII: The Old Regime, 1713–63 / O. Lindsay, ed. Cambridge: University Press, 1966, 292–317.

Brulez, W. Anvers de 1585 à 1650 // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Hy 1, 1967, 75–99.

Bulferetti, Luigi. L'oro, la terra e la società: una interpretazione del nostro Seicento // Archivio storico lombardo, 8th ser., IV, 1953, 5–66.

Bulferetti, Luigi & Constantini, Claudio. Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento (1700–1860). Milano: Banca Commerciale Italiana, 1966.

Burckhardt, Jacob. Fragments historiques. Geneve: Lib. Droz, 1965.

Bürgin, Alfred. The Growth of the Swiss National Economy // The State and Economic Growth / Hugh G.T. Aitken, ed. New York: Social Science Research Council, 1959, 213–236.

Burke, Peter. Venice and Amsterdam: A Study of Seventeenth-Century Elites. London: Temple Smith 1974.

Burt, Roger. Lead Production in England and Wales, 1700–1770 // Economic History Review 2nd ser., XXII, 2, Aug. 1969, 249–267.

Busquet, Raoul, Bourrilly, V.-L., & Agulhon, M. Histoire de la Provence. Paris: Presses Univ. de France, 1972.

Caizzi, Bruno. Industria, commercio e banca in Lombardia nel XVIII secolo. Milano: Banca Commerciale Italiana, 1968.

Campbell, R.H. Anglo-Scottish Union of 1717: the Economic Consequences // Economic History Review, 2d ser., XVI, 3, Apr. 1964, 468–477.

Cancilo, Orazio. I dazi sull'esportazione dei cereali e il commercio dei grani nel Regno di Sicilia // Nuovi quaderni del meridione, No. 28, ott.-dic. 1969, 1–36.

Cardozo, Manoel. The Brazilian Gold Rush // The Americas, III, 2, oct. 1946, 137–160.

Carlsson, Sten. The Dissolution of the Swedish Estates, 1700–1865 // Journal of European Economic History, I, 3, Winter 1972, 574–624.

Carmagnani, Marcello. Les mécanismes de la vie économique dans une société coloniale: Le Chili (1680–1830). Paris: S.E.V.P.E.N., 1973.

Carmona, Maurice. Aspects du capitalisme toscan au XVIe et XVIIe siècles // Revue d'histoire moderne et contemporaine, XI, 2, avr.–juin 1964, 81–108.

Carr, Raymond. Two Swedish Financiers: Louis e Geer and Joel Gripenstierna // HistoricalEssays 1600–1750 presented to David Ogg / H.E. Bell & R.L. Ollard, eds. London: Adam & Charles Black, 1964, 18–34.

Carrière, Charles. La draperie languedocienne dans la seconde moitié du XVIII siècle (contribution à l'étude de la conjoncture levantine) // Conjoncture économique, structures sociales: Hommage à Ernest Labrousse. Paris & La Haye: Mouton, 1974, 157–172.

Carstairs, A.M. Some Economic Aspects of the Union of Parliaments // Scottish Journal of Political Economy, II, 1, Feb. 1955, 64–72.

Carsten, F.L. Slaves in North-Eastern Germany // Economic History Review, kl, 1, 1941,61–76.

Carsten, F.L. The Origins of the Junkers // English Historical Review, LXII, No. 243, Apr. 1947, 145–178.

Carsten, F.L. The Great Elector and the Foundation of the Hohenzollern Despotism // English Historical Review, LXV, No. 255, Apr. 1950, 175–202.

Carsten, F.L. The Origins of Prussia. Oxford: Clarendon Press, 1954.

Carsten, F.L. Was There an Economic Decline in Germany Before the 30 Years War? // English Historical Review, LXXI, No. 279, Apr. 1956, 240–247.

Carsten, F.L. Princes and Parliaments in Germany, from the Fifteenth to the Eighteenth Century. Oxford: Clarendon Press, 1959.

Carsten, F.L. Introduction: The Age of Louix XIV // The New Cambridge Modern History, V: The Ascendancy of France, 1648–88 / F.L. Carsten, ed. Cambridge: University Press, 1961. 1–18.

Carsten, F.L. The Rise of Brandenburg // The New Cambridge Modern History, V: The Ascendancy of France, 1648–88 / F.L. Carsten, ed. Cambridge: University Press, 1969, 543– 558.

Carswell, John. The South Sea Bubble. Stanford: Stanford Univ. Press, 1960.

Carswell, John. The Descent on England. New York: John Day, 1969.

Carter, Alice C. The Dutch and the English Public Debt in 1777 // Economica, n.s., XX, No. 78, May, 1953, 159–161.

Carter, Alice C. Dutch Foreign Investment, 1738–1800 // Economica, n.s., XX, nov., 1953, 322–340.

Carter, Alice C. The Huguenot Contribution to the Early Years of the Funded Debt, 1694–1714 // Proceedings of the Huguenot Society of London, XIX, 3, 1955, 21–41.

Carter, Alice C. Financial Activities of the Huguenots in London and Amsterdam in the Mid-Eighteenth Century // Proceedings of the Huguenot Society of London, XIX, 6, 1959, 313– 333.

Carter, Alice C. Note on A Note on Yardsticks // Economic History Review, 2nd. ser., XII, 3, Apr. 1960, 440–444.

Carter, Alice C. The Dutch as Neutrals in the Seven Years War // International and Comparative Law Quarterly, XII, 3, July 1963, 818–834.

Carter, Alice C. Britain as a European Power from her Glorious Revolution to the French Revolutionary War // Britain and the Netherlands in Europe and Asia / J.S. Bromley & E.H. Kossmann, eds. London: Macmillan, 1968, 110–137.

Carter, Alice C. The Dutch Republic in the Seven Years War. Coral Gables, Fla.: Univ. of Miami Press, 1971.

Carter, Alice C., ed. Survey of Recent Dutch Historiography // Acta Historiae Neerlandica, VI, 1973, 175–200.

Carter, Alice C. Neutrality or Commitment: The Evolution of Dutch Foreign Policy, 1667–1795. London: Edw. Arnold, 1975.

Carter, Alice C. Getting, Spending and Investing in Early Modern Times. Assen, Netherlands: Van Gorcum & Comp B.V., 1975.

Castillo, Alvaro. Dans la monarchie espagnole du XVIIe siècle: Les banouiers portugais et le circuit d'Amsterdam // Annales E.S.C., XIX, 2, mars-|avr. 1964, 311–316.

Castillo, Alvaro. La coyuntura de la economia valenciana en los siglos XVI y XVII // Anuano de historia economica y social, II, 2, enero-dic. 1969, 239–288.

Cavignac, Jean. Carrières et carriers du Bourgeois au XVIIIe siècle // Carrières, mines et métallurgie de 1610 à nos jours, Actes du 98e Congrès National des Sociétés Savantes, Saint-Etienne, 1973, Section d'histoire moderne et contemporaine, I. Paris: Bibliothèque Nationale, 1975, 205–226.

Cernovodeanu, Paul. The General Condition of English Trade in the Second Half of the 17th Century and at the Beginning of the 18th Century // Revue des études du sud-est européen. V, 3–4, 1967, 447–460.

Cernovodeanu, Paul. England's Trade Policy in the Levant, 1660–1714. Bibliotheca Historica Romaniae, Economic History Section Studies, 41(2). Bucharest: Publishing House of the Academy of the Socialist Rep. of Romania, 1972.

Céspedes del Castillo, Guillermo. Lima y Buenos Aires. Repercusiones econômicas y politicas de la creación del Virreinato de La Plata. Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, XXIV. Sevilla, 1947.

Chambers, J.D. The Vale of Trent, 1670–1800 // Economic History Review Supplements, No. 3. Cambridge: University Press, 1957.

Chambers, J.D. Industrialization as a Factor in Economic Growth in England, 1700–1900 // First International Conference of Economic History, Stockholm, Aug. 1960. Paris & La Haye: Mouton, 1960, 205–215.

Chambers, J.D. The Rural Domestic Industries during the Period of Transition to the Factory System, with Special Reference to the Midland Counties of England // Second International Conference of Economic History, Aix-en-Provence, 1968, II: Middle Ages and Modern Tim Paris & La Haye: Mouton, 1965, 429-455.

Chandler, David G. Armies and Navies, I: The Act of War on Land // New Cambridge Modern History, IV: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 741–762.

Chaudhuri, K.N. The East India Company and the Export of Treasure in the Early Seventeenth Century // Economic History Review, 2d ser., XVI, 1, Aug 1963, 23–38.

Chaudhuri, K.N. Treasure and Trade Balances: the East India Company's Export Trade 1660–1720 // Economic History Review, XXI, 3, Dec. 1968, 480–502.

Chaunu, Huguette & Pierre. Autour de 1640: politiques et économies atlantiques // Annale E.S.C., IX, 1, janv.-mars 1954, 44–54.

Chaunu, Pierre. Seville et l'Atlantique, VIII (2 bis): La conjoncture (1593–1650). Paris S.E.V.P.E.N., 1959.

Chaunu, Pierre. Les échanges entre l'Amérique espagnole et les anciens mondes aux XVIe XVIIe, et XVIIIe siècles // Information historique. No. 5, nov.-déc. 1960, 207–216.

Chaunu, Pierre. Les Philippines et le Pacific des Ibériques (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles). Paris, S.E.V.P.E.N., 1960.

Chaunu, Pierre. Brésil et l'Atlantique au XVIIe siècle // Annales E.S.C., XVII, 6, nov.-déc. 1961, 1176–1207.

Chaunu, Pierre. Jansénisme et frontière de catholicité (XVIIe et XVII le siècles): A propos du Jansénisme lorrain // Revue historique, 86e année, CCXXVII, 1, fasc. 461, 1er trimestre 1962, 115–138.

Chaunu, Pierre. Le renversement de la tendance majeure des prix et des activités au XVIIe siècle // Studi in onore di Amintore Fanfani, IV: Evo moderno. Milano: Don. A. Giuffrè-Ed., 1962, 219–255.

Chaunu, Pierre. Manille et Macao, face ä la conjoncture des XVIe et XVIIe siècles // Annales E.S.C., XVII, 3, mai-juin 1962, 555–580.

Chaunu, Pierre. Las Casas el la première crise structurelle de la colonisation espagnole (1515–1523) // Revue historique, 87e année, CCXXIX, 1, fasc. 465, 1er trimestre 1963, 59–102.

Chaunu, Pierre. Le XVIIe siècle. Problèmes de conjoncture. Conjoncture globale et conjonctures rurales françaises // Mélanges d'histoire économique et social en Hommage au professeur Antony Babel à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire. Genève. La Tribune, 1963, I, 337–355.

Chanu, Pierre. Notes sur l'Espagne de Philippe V (1700–1746) // Revue d'histoire économique et social, XLI, 4, 1963, 448–470.

Chaunu, Pierre. Les 'Cristãos Novos' et l'effondrement de l'empire portugais dans l'Océan Indien au début du XVIIe siècle // Revue des études juives, 4e ser., II (CXXII), fasc. 1–2, janv.-juin 1963, 188–190.

Chaunu, Pierre. L'Amérique et les Amériques. Paris: Lib. Armand Colin, 1964.

Chaunu, Pierre. La population de l'Amérique indienne // Revue historique, CCXXXII, 1, juil-sept. 1964, 111–118.

Chaunu, Pierre, Les crises au XVIIe siècle de l'Europe reformée // Revue historique, CCXXXIII, 1, janv.-mars 1965, 23–60.

Chaunu, Pierre. Une histoire religieuse sérielle: A propos du diocese de La Rochelle (1648–1724) et sur quelques exemples normands // Revue d'histoire moderne et contemporaine, XII, 1965, 5–34.

Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique. Paris: Arthaud, 1966.

Chaunu, Pierre. Le rythme trentenaire de l'expansion européenne // Annales E.S.C., XXI, juil.-août 1966, 886–893.

Chaunu, Pierre. Reflexions sur le tournant des années 1630–1650 // Cahiers d'histoire, XII, 3, 1967, 249–268.

Chaunu, Pierre. A partir du Languedoc, De la peste noire à Malthus. Cinq siècles d'histoire sérielle // Revue historique, CCXXXVII, 2, fasc. 482, avr.-juin 1967, 359–380.

Checkland, S.G. Finance for the West Indies, 1780–1815 // Economic History Review, 2d ser., X, 3, 1958, 461–469.

Cherepnin, L.V., Russian Seventeenth-Century Baltic Trade in Soviet Historiography // Slavonic and East European Review, XLIII, No. 100, Dec. 1964, 1–22.

Cherry, George L. The Development of the English Free-Trade Movement in Parliament, 1689–1702 // Journal of Modern History, XXV, 2, June 1953, 103–119.

Chevalier, François. Pour l'histoire du travail en Nouvelle Espagne: Une oeuvre fundamentale // Annales E.S.C., III, 4, oct.-déc. 1948, 484–487.

Chevalier, François. Land and Society in Cobnial Mexico. Berkeley: Univ. of California Press, 1970.

Christelow, Allen. French Interest in the Spanish Empire during the Ministry of the Duc de Choiseul, 1759–1771 // Hispanic American Historical Review. XXI, 4, Nov. 1941, 515–537.

Christelow, Allen. Contraband Trade between Jamaica and the Spanish Main, and the Free Port Act of 1766 // Hispanic American Historical Review, XXII, 2, May 1942, 309–343.

Christelow, Allen. Economic Background of the Anglo-Spanish War of 1762 // Journal of Modern History, XVIII, 1, Mar. 1946, 22–36.

Cipolla, Carlo M. Aspetti e problemi nell'economia milanese e lombarda nei secoli XVI e XVII // Storia di Milano, XI. II decline spagnolo (1630–1706), 1st ed. Milano: Fond. Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1958, 377–399.

Cipolla, Carlo M. The Economic History of World Population, rev. ed. Baltimore: Penguin Books, 1964.

Cipolla, Carlo M. Guns, Sails and Empires. New York: Pantheon, 1966.

Cipolla, Carlo M. Introduction // The Fontana Economic History of Europe, IV: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Glasgow: Collins, 1974, 7–13.

Clapham, (Sir) John. The Growth of an Agrarian Proletariat, 1688–1832: A Statistical Note // The Cambridge Historical Journal, I, 1, 1923, 92–95.

Clapham, Sir John, The Bank of England, I: 1694–1797. Cambridge: University Press, 1944.

Clark, G.N. The Dutch Alliance & the War Against French Trade, 1688–1697. Univ. of Manchester Historical Series No. 42. Manchester, England: University Press, 1923.

Clark, G.N. War, Trade and Trade War, 1701–13 // Economic History Review, I, 2, Jan. 1928, 262–280.

Clark, G.N. Early Capitalism and Invention // Economic History Review, VI, 2, Apr. 1936, 143–156.

Clark, G.N. The Seventeenth Century. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1960.

Clark, G.N. The Nine Years War, 1688–1697 // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 223–253.

Coats, A.W. Changing Attitudes to Labour in the Mid-Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XI, 1, Aug. 1958, 35–51.

Cohen, Jacob. The Element of Lottery in British Government Bonds, 1684–1919 // Economica, n.s., XX, No. 79, Aug. 1953, 237–246.

Coleman, D.C. Labour in the English Economy of the Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., VIII, 3, Apr. 1956, 280–295.

Coleman, D.C. Eli Heckscher and the Idea of Mercantilism // Scandinavian Economic History Review, V, 1, 1957, 3–25.

Coleman, D.C. Technology and Economic History, 1500–1750 // Economic History Review, 2d ser., XI, 3, 1959, 506–514.

Coleman, D.C. Revisions in Mercantilism. London: Methuen, 1969.

Coleman, D.C. The Economy of England, 1450–1750. London & New York: Oxford Univ. Press, 1977.

Cook, Sherburne F., & Borah, Woodrow. Essays in Population History, I: Mexico and the Carih bean. Berkeley: Univ. of California Press, 1971.

Cooper, J.P. Sea Power // The New Cambridge Modern History, IV: The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609–48/59 / J.P. Cooper, ed. Cambridge: University Press, 1970, 226–238.

Coornaert, F.L. European Economic Institutions and the New World: the Chartered Companies // Cambridge Economic History of Europe, IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth id Seventeenth Centuries / E.F. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1967, 220–274.

Corvisier, André. Les généraux de Louis XIV et leur origine sociale, XVIIe siècle, Nos. 42–43, 1er trimestre 1959, 23–53.

Cornell, Fred. Energy and Society. New York: McGraw-Hill, 1955.

Craeybeckx, Jan. Les industries d'exportation dans les villes flamandes au XVIIe siècle particulièrement à Gand et à Bruges, Studi in onore di Amintore Fanfani, IV: Evo moderno. Milano: Doit. A. Giuffrè-Ed., 1962, 41 1–468.

Craig, Gordon A. The Politics of the Prussian Army, 1640–1945. Oxford. Clarendon Press, 1955.

Craven, Wesley Frank. The Colonies in Transition, 1660–1713. New York: Harper Sc Row, 1968.

Croft, Pauline. Free Trade and the House of Commons, 1605–6 // Economic History Review, 2nd. ser., XXVIII, 1, Feb. 1975, 17–27.

Croot, Patricia & Parker, David. Agrarian Class Structure and Economic Development // Past and Present. No. 78, Feb. 1968, 37–47.

Crosby, Alfred W. Conquistador y Pestilencia: The First New World Pandemic and the Fall of the Great Indian Empires // Hispanic American Historical Review, XLVII, 3, Aug. 1967, 321–337.

Crouzet, François. Angleterre et France au XVIII siècle. Essai d'analyse comparée de deux croissances économiques // Annales E.S.C., XXI, 2, mars-avr. 1966, 254–291.

Crouzet, François. The Economic History of Modem Europe // Journal of Economic History, XXXI, 1, Mar. 1971, 135–152.

Crouzet, François. England and France in the Eighteenth Century / Marc Ferro, ed. // Social Historians in Contemporary France. New York: Harper & Row, 1972, 59–86. (Translated from Annales E.S.C., 1966.)

Cullen, L.M. Problems in the Interpretation and Revision of Eighteenth-Century Irish Economic History // Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., XVII, 1967, 1–22.

Cullen, L.M. Anglo-Irish Trade, 1660–1800. Manchester, England: Manchester Univ. Press, 1968.

Cullen, L.M. Merchant Communities Overseas, the Navigation Acts and Irish and Scotish Responses / L.M. Cullen & T.C. Smout, eds. // Comparative Aspects of Scottish and Irish Economic and Social History, 1600–1900. Edinburgh: John Donald Publ., 1977, 165–176.

Cunningham, W. The Growth of English Industry & Commerce in Modern Times, 2 vol. Cambridge: University Press, 1892.

Cunningham, W. Alien Immigrants to England. London: Swan Sonnenschein, 1897.

Curtin, Philip D. Epidemology and the Slave Trade // Political Science Quarterly, LXXXIH, June 1968, 190–216.

Curtin, Philip D. The Atlantic Slave Trade: A Census. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1969.

Curtin, Philip D. The Atlantic Slave Trade, 1600–1800 / F.A. Ajayi & M. Crowder, eds. // History of West Africa. London: Longmans, 1971, I, 240–268.

Dahlgren, Stellan. Estates and Classes / M. Roberts, ed. // Sweden's Age of Greatness, 1632–1718. New York: St. Martin's Press, 1973, 102–131.

Dahlgren, Stellan. Charles X and the Constitution / M. Roberts, ed. // Sweden's Age of Greatness, 1632–1718. New York: St. Martin's Press, 1973, 174–202.

Dales, J.H. The Discoveries and Mercantilism: An Essay in History and Theory // Canadian Journal of Economics and Political Science, XXI, 2, May 1955, 141–153.

Darby, H.C. The Age of the Improver: 1600–1800 / H.C. Darby, ed. // A New Historical Geography of England. Cambridge: University Press, 1973, 302–388.

Darby, H. C. & Fullard, Harold, eds. Atlas, Vol. XIV // New Cambridge Modern History. Cambridge: University Press, 1970.

Da Silva, José-Gentil. Au XVIIe siècle: la stratégie du capital florentin // Annales E.S.C., XIX, 3, mai-juin 1964, 480–491.

Da Silva, José-Gentil. Degradazione economica e ristagno secolare. Linee di sviluppo dell'economia spagnola dopo il secolo XVI // Studi storici, V, 2, 1964, 241–261.

Da Silva, José-Gentil. En Espagne: développement économique, subsistance, déclin. Paris & La Haye: Mouton, 1965.

Da Silva, José-Gentil. Les sociétés commerciales, la fructification du capital et la dynamique sociale, XVI–XVIIIe siècles // Anuario de historia economica y social, II, 2, enero-dic. 1969, 117–190.

Davies, C.S.L. Peasant Revolt in France and England: A Comparison // Agricultural History Review, XXI, 2, 1973, 122–134.

Davies, K.G. Joint-Stock Investment in the Later Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., IV, 3, 1952, 283–301.

Davies, K.G. The Origin of the Commission System in the West India Trade // Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., II, 1952, 89–107.

Davies, K.G. The Royal African Company. London: Longmans, Green & Co., 1957.

Davies, K.G. Empire and Capital // Economic History Review, 2nd ser., XIII, I, Aug. 1960, 105–110.

Davies, K.G. The North Atlantic World in the Seventeenth Century. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1974.

Davis, Ralph. English Foreign Trade, 1660–1700 // Economic History Review, 2nd ser., VII, 2, Dec. 1954, 150–166.

Davis, Ralph. Merchant Shipping in the Economy of the Late Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., IX, 1, Aug. 1956, 59–73.

Davis, Ralph. Earnings of Capital in the English Shipping Industry, 1670–1730 // Journal of Economic History, XVII, 3, 1957, 409–425.

Davis, Ralph. England and the Mediterranean, 1570–1670 // Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England / F.J. Fisher, ed.Cambridge: University Press, 1961, 117–137.

Davis, Ralph. English Foreign Trade, 1700–1774 // Economic History Review, 2nd ser., XV, 2, Dec. 1962, 285–303.

Davis, Ralph. The Rise of Protection in England, 1669–1786 // Economic History Review, 2nd ser., XIX, 2, Aug. 1966, 306–317.

Davis, Ralph. Review of Pierre Jeannin, L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVII et XVIII siècles (Paris: Presses Univ. de France, 1969) // Economic History Review, XXIII, 2, Aug. 1970, 387–388.

Davis, Ralph. English Overseas Trade, 1500–1700 // Studies in Economic History. London: Macmillan, 1973.

Davis, Ralph. The Rise of the Atlantic Economies. London: Weidenfeld & Nicolson, 1973.

Davis, Ralph. English Merchant Shipping and Anglo-Dutch Rivalry in the Seventeenth Century. London: H.M.S.O., National Maritime Museum, 1975.

Deane, Phyllis. The Output of the British Woollen Industry in the Eighteenth Century // Journal of Economic History, XVII, 2, 1957, 207-223.

Deane, Phyllis & Cole, W.A. British Economic Growth, 1688–1959. Cambridge: University Press, 1962.

De Beer, E. S. The English Revolution // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 193–222.

Debien, Gabriel. Le peuplement des Antilles françaises au XVIIe siècle: Les engagés partis de La Rochelle (1683–1715), Notes d'histoire coloniale, II. Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1942.

De Castro, Antonio Barros. The Hands and Feet of the Planter: The Dynamics of Colonial Slavery, unpubl. ms., c. 1976.

Dechêne, Louise, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle. Paris, Pion, 1974.

Dehio, Ludwig. The Precarious Balance. New York: Vintage, 1962.

Delille, Gerard. Review of M. Morineau, Les faux semblemts d'un démarrâge économique // Journal of European Economie History, I, 3, Winter 1972, 809–812.

Delumeau, Jean. Le commerce extérieur français au XVIIe siècle, XVIIe siècle, No. 70–71 1966, 81–105.

De Maddalena, Aldo. Rural Europe, 1500–1750 / C.M. Cipolla, ed. // The Fontana Economic History of Europe, II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Glasgow: Collins, 1974, 273–353.

De Maddalena, Aldo. Prezzi e mercedi a Milano dal 1701 al 1860. Milano: Banco Commerciale Italiano, 1974.

Dent, Julian. An Aspect of the Crisis of the Seventeenth Century: The Collapse of the Financial Administration of the French Monarchy (1653–61) // Economic History Review, 2nd ser., XX, 2, Aug. 1967, 241–256.

Deprez, P. The Demographic Development of Flanders in the Eighteenth Century / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. // Population in History. London: Edw. Arnold, 1965, 608–630.

Dermigny, Louis. Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles // Revue historique, No. 204, oct.-déc. 1950, 234–239.

Dermigny, Louis. Circuits de l'argent et milieux d'affaires au XVIIIe siècle // Revue historique, 78e année, No. 212, oct.-déc. 1954, 239–277.

Dermigny, Louis. Le fonctionnement des Compagnies des Indes, I: L'organisation et le rôle des Compagnies / M. Mollat, réd. // Sociétés et compagnies en Orient et dans l'Océan Indien. Paris: S.E.V.P.E.N., 1970, 443–451.

Dermigny, Louis. Le fonctionnement des Compagnies des Indes, II. East India Company et Compagnie des Indes / M. Mollat, réd. // Sociétés et compagnies en Orient et dans l'Océan Indien. Paris: S.E.V.P.E.N., 1970, 453–466.

Dermigny, Louis. Gênes et le capitalisme financier // Revue d'histoire économique et social, LII, 4, 1974, 547–567.

De Roover, Raymond. L'évolution de la lettre de change, XIVe–XVIIIe siècles. Paris: Lib. Armand Colin, 1953.

De Roover, Raymond. What is Dry Exchange? A Contribution to the Study of English Mercantilism / Julius Kirshner, ed. // Business, Banking and Economic Thought

in Late and Early Modern Europe: Selected Studies of Raymond de Roover. Chicago, Illinois: Univ. of Chicago Press, 1974, 183–199. (Originally in Journal of Political Economics, LII, 3, 1944, 250–266.)

De Roover, Raymond. New Interpretations in the History of Banking // Business, Banking, and Economic Thought in Late Medieval and Early Modern Europe. Chicago, Illinois: Univ. of Chicago Press, 1974, 200–238. (Originally in Journal of World History, II, 1954, 38–76.)

Deschamps, Hubert. Pirates et flibustiers // Que sais-je?, No. 554. Paris: Presses Univ. de France, 1973.

Desdevises du Dézert, G. Les institutions de l'Espagne // Revue hispanique, LXX, 1927, 1–556.

Dessert, Daniel & Journet, Jean-Louis. Le lobby Colbert: Un royaume, ou une affaire de famille? // Annales E.S.C., XXX, 6, nov.-déc. 1975, 1303–1336.

Devine, T.M. Colonial Commerce and the Scottish Economy, c1730–1815 / L.M. Cullen & T.C. Smout, eds. // Comparative Aspects of Scottish and Irish Economic and Social History, 1600–1900. Edinburgh: John Donald Publ., 1977, 177–190.

De Vries, Jan. On the Modernity of the Dutch Republic // Journal of Economic History, XXXIII, 1, Mar. 1973, 191–202.

De Vries. Jan. The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500–1700. New Haven, Connecticut: Yale Univ. Press, 1974.

De Vries, Jan. Holland: Commentary / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 55–57.

De Vries, Jan. The Economy of Europe in an Âge of Crisis, 1600–1750. Cambridge: University Press, 1976.

De Vries, Jan. Barges and Capitalism: Passenger Transportation // The Dutch Economy, 1632–1839 // A.A.C. Bijdragen, No. 21, 1978, 33–398.

De Vries, Philip. L'animosité anglo-hollandaise au XVIIe siècle // Annales E.S.C., V, 1, janv.-mars 1950, 42–47.

Deyon, Pierre. Variations de la production textile aux XVIe et XVIIe siècles: sources et premiers résultats // Annales E.S.C., XVIII, 5, sept.-oct. 1963, 939–955.

Deyon, Pierre. A propos des rapports entre la noblesse française et la monarchie absolue pendant la première moitié du XVIIe siècle // Revue historique, CCXXI, 2, fasc. 470, avr.-juin 1964, 341–356.

Deyon, Pierre. La production manufacturière en France au XVIIe siècle et ses problèmes, XVIIe siècle, Nos. 70–71, 1966, 47–63.

Deyon, Pierre. Amiens, capitale provinciale. Paris & La Haye: Mouton, 1967.

Deyon, Pierre. Le mercantilisme // Questions d'histoire, 11. Paris: Flammarion, 1969.

Deyon, Pierre. La concurrence internationale des manufactures lainières aux XVIe et XVIIe siècles // Annate E.S.C., XXVII, 1, janv.-févr. 1972, 20–32.

Deyon, Pierre. Théorie et pratique de mercantilisme / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 197–218.

Deyon, Pierre. Compétitions commerciales et coloniales / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 219–247.

Deyon, Pierre. Le role animateur des marchands / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 263–289.

Deyon, Pierre. La production manufacturière / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 263–289.

Deyon, Pierre. Les sociétés urbaines / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 291–316.

Deyon, Pierre & Jacquart, Jean. L'Europe: gagnants et perdants / Pierre Deyon & Jean Jacquart, réd. // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 497–519.

De Zeeuw, J.W. Peat and the Dutch Golden Age: The Historical Meaning of Energy Attainability // A.A.G. Bijdragen, No. 21, 1978, 3–31.

Dickens, A.G. Preface // The Anglo-Dutch Contribution to the Civilization of Early Modern Society. London & New York: Published for The British Academy by Oxford Univ. Press, 1976, 8–10.

Dickerson, Oliver M. The Navigation Acts and the American Revolution. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1951.

Dickson, P.G.M. The Financial Revolution in England: A Study in the Development of Public Credit, 1688–1756. London: Macmillan, 1967.

Dickson, P.G.M. English Commercial Negotiations with Austria, 1737–1752 / A. Whiteman, J.S. Bromley, & P.G.M. Dickson, eds. // Statesmen, Scholars and Merchants Oxford: Clarendon Press, 1973, 81–112.

Disney, A.R. The First Portuguese India Company, 1628–33 // Economic History Review, 2nd ser., XXX, May 1977, 242–258.

Dobb, Maurice H. The English Revolution, II // Labour Monthly, XXIII, 2, Feb. 1941, 92–93.

Dobb, Maurice H. Studies in the Development of Capitalism. London: Routledge & Kegan Paul, 1946.

Dobb, Maurice H. A Reply / Rodney Hilton, ed. // The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books, 1976, 57–67. (Originally in Science and Society, Spring 1958.)

Dobyns, Henry F. An Outline of Andean Epidemic History to 1720 // Bulletin of the H Medicine, XXXVII, 6, Nov.-Dec. 1963, 493–515.

Dominguez Ortiz, Antonio. La sociedad espanola en el siglo XVII, Monografias historico-sociales, I. Madrid: Instituto Balmes de Sociologia, Depto. de Historia Social, 1955.

Dominguez Ortiz, Antonio. The Golden Age of Spain, 1516–1659. New York: Basic Books 1971.

Donnan, Elizabeth. The Early Days of the South Sea Company, 1711–1718 // Journal Economic and Business History, II, 3, May 1930, 419–450.

Dorn, Walter L. The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century // Political Science Quarterly, XLVI, 3, Sept. 1931, 403–423: XLVII, 1, Mar. 1932, 75–94; XLVII, 2 June 1932, 259–273.

Dorwart, Reinhold A. The Administrative Reforms of Frederick William I of Prussia. Cambridge Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1953.

Dorwart, Reinhold A. The Prussian Welfare State before 1740. Cambridge, Massachusetts Harvard Univ. Press, 1971.

Duckham, Baron F. A History of the Scottish Coal Industry, I: 1700–1815. Newton Abbot: David & Charles, 1970.

Duncan, T. Bentley. Atlantic Islands: Madeira, the Azores and the Cape Verdes in Seventeenth-Century Commerce and Navigation. Chicago, Illinois: Univ. of Chicago Press, 1972.

Duncan, T. Bentley. Neils Steensgaard and the Europe-Asia Trade of the Early Seventeenth Century // Journal of Modern History, XLVII, 3, Sept. 1975, 512–518.

Dunn, Richard S. Sugar and Slaves. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1972.

Dunsdorfs, Edgars. Merchant Shipping in the Baltic During the 17th Century, Contributions of Baltic University, No. 40, Pinneberg, 1947.

Dunsdorfs, Edgars. Der grosse schwedische Kataster in Livland, 1681–1710, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 72. Stockholm: Wahlstrom Widstrand, 1950.

Dupâquier, J. (Sc Jacquart, J.). Les rapports sociaux dans les campagnes français au siècle: quelques exemples / in D. Roche, réd. // Ordres et classes, Colloque d lustoir Saint-Cloud, 24–25 mai 1967. Paris Se La Haye: Mouton, 1973, 167–179.

Dupuy, Alex. Spanish Colonialism and the Origin of Underdevelopment in Haiti // Latin American Perspectives, III, 2, Spring 1976, 5–29.

Durand, Georges. Vin, vigne et vignerons en Lyonnais et Beaujolais (XVIe–XVIIIe siècles) // Cahiers d'histoire, XXII, 2, 1977, 123–133.

Durand, Yves. Finance et mécénat: Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris: Lib. Hachette, 1976.

Durie, Alastair J. The Markets for Scottish Linen, 1730–1775, Scottish Historical Review, LII. Nos. 153–154, 1973, 30–49.

Dworzaczek, Włodzimierz, La mobilité sociale de la noblesse polonaise aux siècles // Acta Poloniae Historica, No. 36, 1977, 147–161. Sweden.

Eagly, Robert V. Monetary Policy and Politics in Mid-Eighteenth Century // Journal of Economic History, XXIX, 4, Dec. 1969, 739–757.

Eagly, Robert V. Monetary Policy and Politics in Mid-Eighteenth Century Sweden: A Reply // Journal of Economic History, XXX, 3, Sept. 1970, 655–656.

*Eagly, Robert V. I*ntroductory Essay // The Swedish Bullionist Controversy: P.N. Christiernin's lectures on the High Price of Foreign Exchange in Sweden (1761). Philadelphia, Pennsylvania: mer. Philosophical Soc., 1971, 1–37.

East, W.G. England in the Eighteenth Century / H.C. Darby // Historical Geography of England before A.D. 1800. Cambridge: University Press, 1951, 465–528.

Edel, Matthew. The Brazilian Sugar Cycle of the Seventeenth Century and the Rise of West Indian Competition // Caribbean Studies, IX, 1, Apr. 1969, 24–44.

Ehrman, John. The Navy in the War of William III, 1689–1697. Cambridge: University Press, 1953.

Elliott, J.H. The Revolt of the Catalans. Cambridge: University Press, 1963.

Elliott, J. H. Imperial Spain, 1469–1716. New York: Mentor Books, 1966.

Elliott, J.H. Revolution and Continuity in Early Modern Europe // Past and Present, No. 42, I Feb. 1969, 35–56.

Elliott, J.H. Self-Perception and Decline in Early Seventeenth-Century Spain // Past and I Present, No. 74, Feb. 1977, 41–61.

Emmanuel, Arghiri. Unequal Exchange. New York: Monthly Review Press, 1972.

Emmer, Pieter C. The History of the Dutch Slave Trade: A Bibliographical Survey // Journal of Economic History, XXXII, 3, Sept. 1972, 728–747.

Endelman, Todd M. The Jews of Georgian England, 1714–1830. Philadelphia, Pennsylvania: Jewish Publ. Soc. of America, 1979.

Endrei, Walter G. English Kersey in Eastern Europe with special reference to Hungary // Textile History, V, 1974, 90–99.

Enjalbert, Henry. Le commerce de Bordeaux et la vie économique dans le Bassin Aquitaine au XVIIe siècle // Annales du Midi, LXII, 9, janv. 1950, 21–35.

Ernle, Lord (Prothero, Rowland E.). English Farming // Past and Present. London: Longmans, Green & Co., 1912.

Everitt, Alan. The Food Market of the English Town, 1660–1760 // Third International Conference of Economic History, I, Munich, 1956. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 57–71.

Eversley, D.C.E. Demography and Economics: A Summary Report // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, Demography and Economy. Paris & La Haye: Mouton, 1972, 15–35.

Faber. J.A. Cattle-Plague in the Netherlands During the Eighteenth Century // Mededelingen van de Landbouwgeschool te Wageningen, LXII, 11, 1962, 1–7.

Faber. J.A. The Decline of the Baltic Grain Trade in the Second Half of the Seventeenth // Acta Historiae Neerlandica, I, 1966, 108–131.

Faber. J.A. Diedericks, H.A., & Hart, S. Urbanization, Industrialization, and Pollution in Netherlands, 1500–1800, paper prepared for VIth International Congress on Economic History, Copenhâgen, 1974, 21 p., mimeographed. Published in Dutch // A.A.G. Bijdragen, No. 18, 1973, 251–271.

Faber. J.A. Roessingh, H.K., Slicher Van Bath, B.H., Van der Woude, A.M., & Van Xanten, H.J. Population Changes & Economic Developments in the Netherlands, A Historical Surway // A.A.G. Bijdragen, No. 12, 1965, 47–114.

Fairlie, Susan. Dyestuffs in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XVII, 3 Apr., 1965, 488–510.

Fanfani, Amintore. Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII. 2a ed. accresc. ed. illus., Vol. III // Storia del lavoro in Italia / A. Fanfani, ed. Milano: Dott. A. Guiffrè-Ed., 1959.

Farnell, J.E. Navigation Act of 1651, the First Dutch War, and the London Merchant Community // Economic History Review, 2nd ser., XVI, 3, Apr. 1964, 439–454.

Farnie, D.A. The Commercial Empire of the Atlantic, 1607–1783 // Economie History Review, 2d ser., XV, 2, Dec. 1962, 205–218.

Fayle, C. Ernest. The Deflection of Strategy by Commerce in the Eighteenth Century // Journal of the Royal United Service Institution, LXVIII, 1923, 281–290.

Febvre, Lucien. De l'histoire-tableau: Essais de critique constructive // Annales d'histoire économique et sociale, V, No. 21, 31 mai 1933, 267–281.

Fedorowicz, Jan K. Anglo-Polish Commercial Relations in the First Half of the Seventeenth Century // Journal of European Economic History, V, 2, Fall 1976, 359–378.

Fernández de Pinedo, Emiliano. Crecimiento económico y transformaciones sociales del pais vasco (1100–1850). Madrid, Siglo XXI de España, 1974.

F[ield], P[eter]. England's Revolution, review of Christopher Hill, ed., The English Révolution, 1640 // Labour Monthly, XXII, 10, Oct. 1940, 558–559.

F[ield], P[eter]. The English Revolution, 1640: II. A Rejoinder // Labour Monthly, XXII, Dec. 1940, 653–655.

Finer, Samuel E. State and Nation-Building in Europe: The Role of the Military // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly, ed. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 84–163.

Fischer, Wolfram & Lundgreen, Peter. The Recruitment and Training of Administrative and Technical Personnel // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly, ed. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 456–561.

Fisher, F.J. London's Export Trade in the Early Seventeenth Century // Economic History Review, 2d ser., Ill, 2, 1950, 151–161.

Fisher, F.J. Tawney's Century // Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England / F.J. Fisher, ed. London & New York: Cambridge Univ. Press, 1961, 1–14.

Fisher, Sir Godfrey. Barbary Legend: War, Trade and Piracy in North Africa, 1475–1830. Oxford: Clarendon Press, 1957.

Fisher, H.E.S. Anglo-Portuguese Trade, 1700–1770 // Economic History Review, 2d ser., XVI, 2, 1963, 219–233.

Fisher, H.E.S. The Portugal Trade: A Study of Anglo-Portuguese Commerce, 1700–1770. London: Methuen, 1971.

Flinn, M.W. The Growth of the English Iron Industry, 1660–1760 // Economic History Review, XI, 1, Aug. 1958, 144–153.

Flinn, M.W. Sir Ambrose Crowley and the South Sea Scheme of 1711 // Journal of Economic History, XX, I, Mar. 1960, 51–66.

Flinn, M.W. Agricultural Productivity and Economic Growth in England, 1700–1760: A Comment // Journal of Economic History, XXVI, 1, Mar. 1966, 93–98.

Flinn, M.W. The Stabilisation of Mortality in Pre-industrial Western Europe // Journal of European Economic History, III, 2, Fall 1974, 285–318.

Florescano, Enrique. Precios del maizy crisis agrkolas en Mexico (1708–1810). México: El Colegio de México, 1969.

Floyd, Troy S. The Anglo-Spanish Struggle for Mosquita. Albuquerque: Univ. of New Mexico Press, 1967.

Forbes, R.J. Food and Drink // A History of Technology. Ill: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–cl700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 1–26.

Ford, Franklin L. Robe and Sword: The Regrouping of the French Aristocracy After Louis XI, Harvard Historical Studies, Vol. XXIV. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1953.

Forster, Robert. Obstacles to Argicultural Growth in Eighteenth-Century France // American Historkal Review, LXXV, 6, Oct. 1970, 1600–1615.

Forster, Robert & Litchfield, R. Burr. Four Nobilities of the Old Regime (review article) // Comparative Studies in Society and History, VII, 3, Apr. 1965, 324–332.

Fourastié, Jean & Grandarny, René. Remarques sur les prix salariaux des céréales et la productivité du travailleur agricole en Europe du XVe et XVIe siècles // Third International Conference of Economic History, I, Munich, 1965. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 647–656.

Francis, A.D. The Methuens and Portugal, 1691–1708. Cambridge: University Press, 1966.

Francis, A.D. The Wine Trade. Edinburgh: T. & A. Constable, 1972.

Frank, André Gunder. Mexican Agriculture: Transformation of Mode of Production, 1521–1630. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979.

Frank, André Gunder. Dependent Accumulation and Underdevelopment. New York: Monthly Review Press, 1979.

Franken, M.A.M. The General Tendencies and Structural Aspects of the Foreign Policy and Diplomacy of the Dutch Republic in the Latter Half of the 17th Century, Acta Historiae Neerlandica, III, 1968, 1–42.

Frèche, Georges. Toulouse et ta région, Midi-Pyrénées au siècle des lumières vers 1670-1789. Mayenne: Ed. Cujas, 1974.

Freudenberger, Herman. Industrialization in Bohemia and Moravia in the Eighteenth Century // Journal of Central European Affairs, XIX, 4, Jan. 1960, 347–356.

Freudenberger, Herman. The Woolen-Goods Industry of the Habsburg Monarchy in the Eighteenth Century // Journal of Economic History, XX, 3, Sept. 1960, 383–406.

Friedrichs, Christopher R. Capitalism, Mobility and Class Formation in the Early Modern German City // Past and Present, No. 69, Nov. 1975, 24–49.

Furniss, Edgar S. The Position of the Labourer in a System of Nationalism. New York: Kelley & Millman, 1957. (Original publication, Boston, 1920.)

Furtado, Celso. The Economic Growth of Brazil. Berkeley: Univ. of California Press, 1963.

Fussell, G.E. Low Countries: Influence on English Farming // English Historical Review, LXXIV, No. 293, Oct. 1959, 611–622.

Fussell, G.E. Dairy Farming, 1600–1900 // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, II: Production et productivité agricoles. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 31–36.

Gaastra, F. Summary of paper delivered at Nederlands Historisch Genootschap, 24–25 Oct., title translated as The Dutch East India Company in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: the Growth of the Concern; Money for Goods; A Structural Change in Dutch-Asian Trading Relations // Newsletter, Centre for the Study of European Expansion, I, 3, 18–19.

Galenson, David. The Slave Trade to the English West Indies, 1673–1724 // Economic History Review, 2nd ser., XXXII, 2, May 1979, 241–249.

Galloway, J.H. Northeast Brazil, 1700–50: The Agricultural Crisis Re-examined // Journal of Historical Geography, I, l, Jan. 1975, 21–38.

Carman, Douglas. The English Revolution, 1640: 1, A Reply to P.F. // Labour Monthly, XXII, 12, Dec. 1940, 651–653.

Gately, Michael O., Moote, A. Lloyd, & Wills, John E., Jr., Seventeenth-Century Peasant 'Furies': Some Problems of Comparative History // Past and Present, No. 51, May 1971, 63–80.

George, C.H. The Making of the English Bourgeoisie, 1500–1750 // Science and Society, XXXV, 4, Winter 1971, 385–414.

George, Dorothy. England in Transition. London: Penguin, 1953, published with additions.

Georgelin, J. Ordres et classes à Venise aux XVIIe et XVIIIe siècles // Ordres et classes, Colloque d'histoire sociale / D. Roche, réd. Saint-Cloud, 24–25 mai 1967. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 193–197.

Geremek, Bronisław. Review of Jerzy Topolski, O tak zwanym kryzysic gospodarczym w. w Europie (Sur la prétendu crise économique du XVIIe siècle en Europe), Kwartalnik Historyczny, LXIX, 2, 1962, 364–379 // Annales E.S.C., XVIII, 6, nov.-déc. 1963, 1206–1207.

Geremek, Bronisław. La populazione marginale tra il medioevo e lera moderna // Studi storici, IX, 3–4, lugl.-dic. 1968, 623–640.

Geyl Pieter. The Netherlands in the Seventeenth Century, Part One: 1609–1648. London: Ernest Benn, 1961.

Geyl, Pieter. The Netherlands in the Seventeenth Century, Part Two: 1648–1715. London: Ernest, Benn, 1964.

Gibbs, F.W. Invention in Chemical Industries // A History of Technology. From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–cl700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 676–708.

Gierowski, Józef, Les recherches sur l'histoire de Pologne du XVIe au XVIIIe siècle au cours de 1945–1965 // La Pologne au Xlle Congrès International des Sciences Historiques à Vienne Warszawa: PWN, 1965, 229–263.

Giesey, Ralph E. National Stability and Flereditary Transmission of Political and Economic Power, paper delivered at XIV International Congress of Flistorical Sciences, San Francisco, Aug. 22–29, 1975, 19 pp.

Gieysztorowa, Irena. Guerre et régression en Masovie aux XVI et XVIIIe siècles // Annales E.S.C., XIII, 4, oct.-déc. 1958, 651–668.

Gilboy, Elizabeth Waterman. Wages in Eighteenth-Century England // Journal of Economic and Business History, II, 1930, 603–629.

Gill, Conrad. The Rise of the Irish Linen Industry. Oxford: Clarendon Press, 1925.

Glamann, Kristof. Dutch-Asiatic Trade 1620–1740. Copenhâgen, Denmark: Danish Science Press, 1958.

Glamann, Kristof. European Trade 1500–1750 // The Fontana Economic History of Europe, II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries, C.M. Cipolla, ed. Glasgow: Collins, 1974, 427–526.

Glamann, Kristof. The Changing Patterns of Trade // Cambridge Economic History of Europe, V: The Ecmomic Organization of Early. Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977, 185–289.

Glass, D.V. Two Papers on Gregory King // Population in History / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. London: Edw. Arnold, 1965, 159–220.

Glenday, Daniel G. Trench Mercantilism and the Atlantic Colonies (With Specific Reference to New France), 1494–1672, unpubl. M.A. thesis, McGill University, January 1975.

Godinho, Vitorino Magalhães. Le commerce anglais et l'Amérique espagnole au XVIIIe siècle // Annales E.S.C., III, 4, oct.-déc. 1948, 551–554.

Godinho, Vitorino Magalhães. Création et dynamisme économique du monde atlantique (1420–1670) // Annales E.S.C., V, l, janv.-mars 1950, 32–36.

Godinho, Vitorino Magalhães. Le Portugal, les flottes du sucre et les flottes de l'or (1670–1770) // Annales E.S.C., V, 2. avr.-juin 1950, 184–197.

Godinho, Vitorino Magalhães. Portugal, as frôlas do açùcar e as frotas do ouro 1670–1770 // Revista de história, XV, 1953, 69–88.

Godinho, Vitorino Magalhães. L'émigration portugaise du XV siècle à nos jours: Histoire d'une constante structurale // Conjoncture économique, structures sociales, Hommage à Ernest Labrousse. Paris & La Haye: Mouton, 1974.

Gongora, Mario. Vagabondâge et société pastorale en Amérique latine (spécialement au Chili central) // Annales E.S.C., XXI, 1, janv.-févr. 1966, 159–177.

Goodwin, Albert. The Social Structure and Economic and Political Attitudes of the French Nobility in the Eighteenth Century // XIIe Congrès International des Sciences Historiques: Rapports, I: Grands thèmes. Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne, 1975, 356–368.

Görlitz, Walter. Die Junker: Adel und Bauer in deutschen Osten. Glücksburg/Ostsee: Verlag von C.A. Starke, 1956.

Goslinga, Cornelis Ch. The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast, 1580–1680. Gainesville, Florida: Univ. of Florida Press, 1971.

Goubert, Pierre. Les officiers royaux des Présidiaux, Bailliages et Elections dans la société française du XVIIe siècle, XVIIe siècle, Nos. 42–43, 1er trimestre 1959, 54–75.

Goubert, Pierre. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, 2 vols. Paris: S.E.V.P.E.N., 1960.

Goubert, Pierre. Recent Theories and Research in French Population Between 1500 and 1700 // Population in History / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. London: Edw. Arnold 1965, 457–473.

Goubert, Pierre. Louis XIV and Twenty Million Frenchmen. New York: Pantheon, 1970.

Goubert, Pierre. La force du nombre // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France 1970, 9–21.

Goubert, Pierre. Le régime démographique français au temps de Louis XIV // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux

préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 23–54.

Goubert, Pierre. Révolution démographique au XVIIie siècle? // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 55–84.

Goubert, Pierre. Les cadres de la vie rurale // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 87–118.

Goubert, Pierre. Le paysan et la terre: seigneurie, tenure, exploitation // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 119–158.

Goubert, Pierre. Le tragique XVIIe siècle / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789). Paris: Presses Univ. de France, 1970, 329–365.

Goubert, Pierre. Remarques sur le vocabulaire social de l'Ancien Régime / D. Roche, red. // Ordres et classes, Colloque d'histoire sociale, Saint-Cloud, 24–25 mai 1967. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 135–140.

Goubert, Pierre. Sociétés rurales françaises du XVIII siècle: vingt paysanneries contrastées, quelques problèmes // Conjoncture économique, structures sociales, Hommage à Ernest Labrousse. Paris & La Haye: Mouton, 1974.

Gould, J.D. The Trade Depression of the Early 1620's // Economic History Review, 2nd ser., VII, 1, Aug. 1954, 81–90.

Gould, J.D. The Date of England's Treasure by Forraign Trade // Journal of Economic History, XV, 2, 1955, 160–161.

Gould, J.D. The Trade Crisis of the Early 1620's and English Economic Thought // Journal of Economic History, XV, 2, 1955, 121–133.

Gould, J.D. Agricultural Fluctuations and the English Economy in the Eighteenth Century // Journal of Economic History, XXII, 3, Sept. 1962, 313–333.

Goyhenetche, Manex. Histoire de la colonisation française au pays basque. Bayonne, France: Ed. E.L.K.A.R., 1975.

Graham, Gerald S. The Naval Defense of British North America, 1739–1763 // Transactions of the Royal Historical Society, 4th ser., XXX, 1948, 95–110.

Graham, Gerald S. Empire of the North Atlantic: The Maritime Struggle for North America, 2nd ed. London & New York: Oxford Univ. Press, 1958.

Grampp, W.D. The Liberal Elements in English Mercantilism // Quarterly Journal of Economics, LXVI, 4, Nov. 1952, 465–501.

Granger, C.W. J. & Elliott, C.M. A Fresh Look at Wheat Prices and Markets in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XX, 2, Aug. 1967, 257–265.

Grantham, G. in Holland: Participant's Discussion / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 64–66.

Grassby, R.B. Social Status and Commercial Enterprise under Louis XIV // Economic History Review, 2nd ser., XIII, I, 1960, 19–38.

Gray, Stanley & Wyckoff, V.J. The International Tobacco Trade in the Seventeenth Century // Southern Economic Journal, VII, l, July 1940, 1–26.

Grycz, Marian. Handelsbeziehungen der Stadt Poznan bis Ende des XVII Jahrhunderts // Studia Historiae Economicae, II, 1967, 43–55.

Grycz, Marian. Die Rolle der Stadt Poznan im Innen- und Aussenhandel bis Ende des XVII Jahrhunderts / Ingomar Bog, her. // Der Aussenhandel OstmiUeleuropas 1450–1650. Köln- Wien: Böhlau Verlag, 1971, 105–119.

Guerrero B. Andres La hacienda précapitaliste en Amérique latine // Etudes rurales, No. 62 avr.-juin 1976, 5–38.

Gulvin, G. The Union and the Scottish Woollen Industry // Scottish Historical Review, L, Nos. 149–150, 1971, 121–137.

Guthrie, Chester L. Colonial Economy, Trade, Industry and Labor in Seventeenth Century Mexico City // Revista de historia de America, No. 7, die. 1939, 103–134.

Habakkuk, H. John. The English Land Market in the Eighteenth Century / J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds. // Britain and the Netherlands. London: Chatto and Windus, 1960, 154–173.

Habbakkuk, H. John. La disparition du paysan anglais // Annales E.S.C., XX, 4, juil.-août 1965, 649–663.

Habakkuk, H. John. The Economic History of Modem Britain / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. // Population in History. London: Edw. Arnold, 1965, 147–158. (Originally in Journal of Economic History, 1958.

Habakkuk, H. John. Land-owners and the Civil War // Economic History Review, 2nd ser., XVIII, 1, Aug. 1965, 130–151.

Habakkuk, H. John. Economic Functions of English Landowners in the Seventeenth and Eighteenth Centuries / Hugh G.J. Aitken, ed. // Explorations in Enterprise. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1965, 327–340. (Originally in Explorations in Entrepreneurial History, 1953.)

Habakkuk, H. John. England / Albert Goodwin, ed. // The European Nobility in the Eighteenth Century. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1967, 1–21.

Haley. K.H.D. The Anglo-Dutch Rapprochement of 1677 // English Historical Review, LXXIII, 1958, 614–648.

Haley, K.H.D. The Dutch in the Seventeenth Century. London: Thames & Hudson, 1972.

Haley, K.H.D. Holland: Commentary / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth-Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 58–60.

Hall, A. Rupert. Military Technology / C. Singer et al. // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–cl700. Oxford: Clarendon Press, 1957, 347–376.

Hall, A. Rupert. The Rise of the West / C. Singer et al. // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–c1700. Oxford: Clarendon Press, 1957, 709–721.

Hall, A. Rupert. Scientific Method and the Progress of Techniques / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. // Cambridge Economic History of Europe, IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge: University Press, 1967, 96–154.

Hall, Douglas. Slaves and Slavery in the British West Indies // Social and Economic Studies, XI, 4, Dec. 1962, 305–318.

Hamann, Manfred. Archivfunde zur Geschichte der zweiten Leibeigenschaft // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, II, 3, 1954, 476–480.

Hamilton, Earl J. The Mercantilism of Geronimo de Uztariz: A Reexamination / Norman E. Hines, ed. // Economics, Sociology and the Modern World. Cambridge, Massachusetts' Harvard Univ. Press, 1935, 111–129.

Hamilton, Earl J. Prices and Wages in Southern France under John Law's System // Economic History, III, 12, Feb. 1937, 441–461.

Hamilton, Earl J. Money and Economic Recovery in Spain under the First Bourbon, 1701–1746 // Journal of Modern History, XV, 3, Sept. 1943, 192–206.

Hamilton, Earl J. War and Prices in Spain, 1651–1800. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1947.

Hamilton, Earl J. The Role of Monopoly in the Overseas Expansion and Colonial Trade of Europe before 1800 // American Economic Review, Proceedings, XXXVIII, 2, May 1948, 33–53.

Hamilton, Earl J. Plans for a National Bank in Spain, 1701–83 // Journal of Political Economy, LVII, 4, Aug. 1949, 315–336.

Hamilton, Earl J. The History of Prices before 1750 // International Congress of Historical Sciences, Stockholm, 1960, Rapports, I: Methodologie, histoire des universités, histoire des prix avant 1750. Göteborg, Sweden: Almqvist Sc Wiksell, 1960, 144–164.

Hamilton, Earl J. The Political Economy of France at the Time of John Law // History of Political Economy, I, 1, Spring 1969, 123–149.

Hamilton, Earl J. The Role of War in Modern Inflation // Journal of Economic History, XXXVII, 1, Mar. 1977, 13–19.

Hamilton, Henry. An Economic History of Scotland in the Eighteenth Century. Oxford: Clarendon Press, 1963.

Hansen, Marcus Lee. The Atlantic Migration, 1607–1860. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1945.

Hansen, S.A. Changes in the Wealth and the Demographic Characteristics of the Danish Aristocracy, 1470–1720 // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, IV: Demography and History / J.E.C. Eversley, ed. Paris & La Haye: Mouton, 1972, 91–122.

Harkness, D.A.E. The Opposition to the 8th and 9th Articles of the Commercial Treaty of Utrecht // Scottish Historical Review, XXI, No. 83, Apr. 1924, 219–226.

Haring, Clarence Henry. The Spanish Empire in America. London & New York: Oxford Univ. Press, 1947.

Haring, Clarence Henry. Trade and Navigation Between Spain and the Indies // Time of the Hapsburgs. Gloucester, Massachusetts: Peter Smith, 1964. (Original publication, 1918.)

Harlow, Vincent T. A History of Barbados, 1625–1685. Oxford: Clarendon Press, 1926.

Harnisch, Helmut. Die Herrschaft Boitzenburg: Untersuchungen zur Entwicklung der sozialökonomischen Struktur ländlicher Cebiete in der Mark Brandenburg vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1968.

Harper, Lawrence A. The Effect of the Navigation Acts on the Thirteen Colonies // The Era of the American Revolution / Richard B. Morris, ed. New York: Columbia Univ. Press, 1939, 3–39.

Harper, Lawrence A. The English Navigation Laws. New York: Columbia Univ. Press, 1939.

Harper, Lawrence A. Mercantilism and the American Revolution // Canadian Historical Review, XXIII, 1, Mar. 1942, 1–15.

Harris, L.E. Land Drainâge and Reclamation // A History of Technology, III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, c1500–cl750 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 300–323.

Harris, R.W. *England in the Eighteenth Century—1689–1793: A Balanced Constitution and* New Horizons. London: Blandford Press, 1963.

Harsin, Paul. La finance et l'état jusqu'au système de Law // in Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse, dir. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 267–299.

Harte N.B. The Rise of Protection and the English Linen Trade, 1690–1790 // Textile History and Economic History. Manchester, England / N.B. Harte & K.G. Ponting, eds. Manchester Univ. Press, 1973, 74–112.

Hartwell, Richard M. Economic Growth in England Before the Industrial Revolution: Some Methodological Issues // Journal of Economic History, XXIX, 1, Mar. 1969, 13–31.

Haskell, Francis. The Market for Italian Art in the 17th Century // Past and Present, No. 15 Apr. 1959, 48–59.

Hasquin, Herve'. Une mutation: Le Pays de Charleroi aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bruxelles: Ed. de l'Institut de Sociologie, 1971.

Hassinger, Herbert. Die erste Wiener orientalische Handelskompanie, 1667–1683, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte, XXXV, 1, 1942, 1–53.

Hatton, Ragnhild M. Scandinavia and the Baltic // New Cambridge Modern History, VII: The Old Regime, 1713–1763 / J.O. Lindsay, ed. Cambridge: University Press, 1966, 339–364.

Hatton, Ragnhild M. Gratifications and Foreign Policy: Anglo-French Rivalry in Sweden During the Nine Years War // William III and Louis XIV, Essays 1680–1720, by and for M.A. Thomson / R. Hatton & J.S. Bromley, eds. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1968, 68–94.

Hatton, Ragnhild M. Charles XII of Sweden. London: Weidenfeld & Nicolson, 1968.

Hatton, Ragnhild M. Charles XII and the Great Northern War // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 648–680.

Hatton, Ragnhild M. Charles XII. London: The Flistorical Association, 1974.

Haudricourt, André G. & Delamarre, Mariel Jean-Brunhes. L'homme et la charrue à travers le monde. Paris: Gallimard, 1955, 3rd ed.

Hauser, H. Réfiections sur l'histoire des banques à l'époque moderne de la fin du XVe siècle à la fin du XVII le siècle // Annales d'histoire économique et sociale, Ier année. No. 3, 15 juil. 1929, 335–351.

Havinden, M.A. Agricultural Progress in Open-Field Oxfordshire // Agriculture and Economie Growth in England, 1650–1815 / E.L. Jones, ed. London: Methuen, 1967, 66–79. (Originally in Agricultural History Review, 1961.)

Hazard, Paul. The European Mind, 1680–1715. London: Penguin, 1964.

Heaton, Herbert. Heckscher on Mercantilism // Journal of Political Economy, XLV, 3, June 1937, 370–393.

Heckscher, Eli F. Un grand chapitre de l'histoire du fer: le monopole suédois // Annales d'histoire économique et sociale, IV, 14, 31 mars 1932, 127–139; 15, 31 mai 1932, 225–241.

Heckscher, Eli F. Mercantilism, 2 vol. London: Geo. Allen & Unwin, 1935.

Heckscher, Eli F. Mercantilism // Economic History Review, VII, 1, Nov. 1936, 44–54.

Heckscher, Eli F. Multilateralism, Baltic Trade, and the Mercantilists // Economic History Review, 2d. ser., Ill, 2, 1950, 219–228.

Heckscher, Eli F. An Economic History of Sweden. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1954.

Heitz, Gerhard. Review of Johannes Nichtweiss, Das Bauernlegen in Mecklenburg // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 11, 4, 1955, 643–649.

Heitz, Gerhard. Zur Diskussion über Gutsherrschaft und Bauernlegen in Mecklenburg // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, V, 2, 1957, 278–296.

Helleiner, Karl F. The Population of Europe from the Black Death to the Eve of the Vital Revolution // The Cambridge Economic History of Europe. IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / E.G. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1967, 1–95.

Helmer, Marie. Economie et société au XVIIe siècle: Un Cargador de Indias // Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, IV, 1967, 399–409.

Henry, Louis. The Population of France in the Eighteenth Century // Population in History / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. London: Edw. Arnold, 1965, 434–456.

Herlihy, David. Population, Plague and Social Change in Rural Pistoia, 1201–1430 // Economic History Review, 2nd ser., XVIII, 2, Aug. 1965, 225–244.

Hildebrand, Karl-Gustaf. Salt and Cloth in Swedish Economic History // Scandinavian Economic History Review, II, 2, 1954, 74–102.

Hildebrand, Karl-Gustaf. Foreign Markets for Swedish Iron in the 18th Century // Scandinavian Economic History Review, VI, 1, 1958, 3–52.

Hildner, Ernest G. Jr. The Role of the South Sea Company in the Diplomacy Leading to the War of Jenkins' Ear, 1729–1739 // Hispanic American Historical Review, XVIII, 3, Aug. 1938 322–341.

Hill, B.W. The Change of Government and the 'Loss of the City', 1710–1711 // Economic History Review, 2nd ser., XXIV, 3, Aug. 1971, 395–413.

Hill, Charles E. The Danish Sound Dues and the Command of the Baltic. Durham, North Carolina: Duke Univ. Press, 1926.

Hill, Christopher. The English Civil War Interpreted by Marx and Engels // Science and Society, XII, 1, Winter 1948, 130–156.

Hill, Christopher. Land in the English Revolution // Science and Society, XIII, I, Winter 1948–1949, 22–49.

Hill, Christopher. The Century of Revolution, 1603–1714. New York: W.W. Norton, 1961.

Hill, Christopher. Protestantism and the Rise of Capitalism // Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England / F.J. Fisher, ed. Cambridge: University Press, 1961, 15–39.

Hill, Christopher. 1530–1780, Reformation to Industrial Revolution, Vol. 2 // The Pelican Economic History of Britain. Baltimore: Penguin, 1969, published with revisions.

Hill, Christopher. Conclusion, in Change and Continuity in Seventeenth-Century England. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1975, 278–284.

Hill, Christopher. The Many-Headed Monster // Change and Continuity in Seventeenth-Century England. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1975, 181–204. (Originally in C.H. Carter, ed., From the Renaissance to the Counter-Reformation: Essays in Honor of Garrett Mattingly New York, 1965.)

Hilton, R.H. Capitalism. What's in a Name? // Past and Present, No. I, 1952, 32–43.

Hinton, R.W.K. The Mercantile System in the Time of Thomas Mun // Economic History Review, 2nd ser., VII, 3, Apr. 1955, 277–290.

Hinton, R.W.K. The Eastland Trade and the Common Weal in the Seventeenth Century. Cambridge: University Press, 1959.

Hintze, Otto. The Hohenzollern and the Nobility // Historical Essays. London and New York: Oxford Univ. Press, 1975, 33–63. (Translated from Historische Zeitschrift, 1914.)

Hintze, Otto. The Commissary and His Significance in General Administrative History: A Comparative Study // Historical Essays. London & New York: Oxford Univ. Press, 1975, 267–301. (Originally published in 1919.)

Hobsbawm, E.J. Seventeenth Century Revolutions, a discussion with others // Past and Present, No. 13, Apr. 1958, 63–72.

Hobsbawm, E.J. The Seventeenth Century in the Development of Capitalism // Science and Society, XXIV, 2, Spring 1960, 97–112.

Hobsbawm, E.J. The Crisis of the Seventeenth Century // Crisis in Europe, 1560–1660 / Trevor Aston, ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1965, 5–58. (Originally in Past and Present, 1954.)

Hoffenden, Philip S. France and England in North America, 1689–1713 // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 480–508.

Hoffman, Alfred. Wirtschaftsgeschichte des Undes Oberösterreich, I: Werden, Wachsen, Reifen von der Frühzeit bis zum Jahre 1848. Salzburg: Otto Müller Verlag, & Linz: Verlag F. Wintersehe Buchlandlung H. Fürstelberger, 1952.

Hoffman, Alfred. Die Grundherrschaft als Unternehmen // Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, VI, 2, 1958, 123–131.

Holderness, B.A. Pre-Industrial England: Economy and Society, 1500–1750. London: J.M. Dent & Sons, 1976.

Homer, Sidney. A History of Interest Rates. New Brunswick, New Jersey: Rutgers Univ. Press, 1963.

Horn, David Bayne. Great Britain and Europe in the Eighteenth Century. Oxford: Clarendon Press, 1967.

Horner, John. The Linen Trade of Europe during the Spinning Wheel Period. Belfast: McCaw Stevenson & Orr, 1920.

Horsefield, J. Keith. The Beginnings of Paper Money in England // Journal of European Economic History, VI, 1, Spring 1977, 117–132.

Hoskins, W.G. English Agriculture in the 17th and 18th Centuries // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma 4–11 settembre 1955, Relazioni, IV: Storia moderna. Firenze: G.C. Sansoni-Ed. 1955, 205–226.

Hoskins, W.G. Harvest Fluctuations and English Economic History, 1620–1759 // Agricultural History Review, XVI, 1, 1968, 15–31.

Hovde, B.J. The Scandinavian Countries, 1720–1865, I: The Rise of the Middle Classes. Ithaca, New York: Cornell Univ. Press, 1948.

Howard, Michael. War in European History. London & New York: Oxford Univ. Press, 1976.

Hroch, Miroslav. Der Dreissigjährige Krieg und die europäischen Handelsbeziehungen // Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, XII, 5/6, 1963, 533–543.

Hroch, Miroslav. Die Rolle des zentraleuropäischen Handels im Ausgleich der Handelsbilanz Zwischen Ost- und Westeuropa, 1550–1650 // Der Außenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650 / Ingomar Bog, her. Köln-Wein: Böhlau Verlag, 1971, 1–27.

Hubert, Eugene. Joseph II // Cambridge Modern History, VI: The Eighteenth Century / A.W. Ward et al., eds. Cambridge: University Press, 1909, 626–656.

Huetz de Lemps, Christian. Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV. Paris & La Haye: Mouton, 1975.

Hufton, Olwen H. The Poor of Eighteenth-Century France. Oxford: Clarendon Press, 1974.

Hughes, Edward. North Country Life in the Eighteenth Century. The North-East, 1700–1750. London & New York: Oxford Univ. Press, 1952.

Hutchison, E.P. The Population Debate. Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin, 1967.

Hymer, Stephen & Resnick, Stephen. A Model of an Agrarian Economy with Non-agricultural Activities // American Economic Review, LIX, 3, Sept. 1969, 493–506.

Imbert, Gaston. Des mouvements de longue durée Kondratieff. Aix-en-Provence: La Pensée Universitaire, 1959.

Imbert, Jean. Histoire économique (des origines à 1789), Collection Thémis. Paris: Presses Univ. de France, 1965.

Imhof, Arthur E. Der Arbeitszwang für das landwirtschaftliche Dientsvolk in den nordischen Ländern im 18. Jahrhundert // Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, XXII, 1. 1974, 59–74.

Innis, H.A. Preface to M.G. Lawson, Fur: A Study in English Mercantilism, 1700–1775. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1943, vii-xx.

Insh, George Pratt. The Scottish Jacobite Movement: A Study in Economic and Social Forces. London: Moray Press, 1952.

Israel, J.I. Mexico and the 'General Crisis' of the Seventeenth Century // Past and Present, No. 63, May 1974, 33–57.

Israel, J.I. The Portuguese in Seventeenth-Century Mexico // Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, XI, 1974, 12–32.

Israel, J.I. A Conflict of Empires: Spain and the Netherlands. 1618–1648 // Past and Present, No. 76, Aug. 1977, 34–74.

Issawi, Charles. The Ottoman Empire in the European Economy, 1600–1914. Some Observa tions and Many Questions // The Ottoman State and Its Place in World History / Kemal H. Karpat, ed. Leiden: E.J. Brill, 1974, 107–117.

Jacquart, Jean. La production agricole dans la France du XVIIe siècle, XVIIe siècle Nos 70–71,1966, 21–46.

Jacquart, Jean. La productivité agricole dans la France due Nord du XVIe et XVIIe siècles // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, II. Production et productivité agricole. Paris & LaHaye: Mouton, 1968, 65–74.

Jacquart, Jean (& Dupâquier, J.). 1-es rapports sociaux dans les campagnes françaises au XVIIe siècle: quelques exemples // Ordres et classes, Colloque d'histoire sociale / D. Roche, réd., Saint-Cloud, 24–25 mai 1967. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 167–179.

Jacquart, Jean. French Agriculture in the Seventeenth Century // Essays in European Economie History, 1500–1800 / Peter Earle, ed. Oxford: Clarendon Press, 1974. (Translated from XVII siècle, 1966.)

Jacquart, Jean. Immobilisme et catastrophes // L'âge classique des paysans de 1340 à 1789, Vol. II of Histoire de la France rurale / Emmanuel Le Roy Ladurie, réd. Paris: Seuil, 1975, 185–353.

Jacquart, Jean. Les inerties terriennes // Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Vol. II: Les hésitations de la croissance, 1580–1740 / Pierre Deyon & Jean Jacquart. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 345–388.

Jacquart, Jean. L'offensive des dominants // Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Vol. II: Les hésitations de la croissance, 1580–1740 / Pierre Deyon & Jean Jacquart. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 389–430.

Jacquart, Jean. Des sociétés en crise // Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Vol. II: Les hésitations de la croissance, 1580–1740 / Pierre Deyon & Jean Jacquart. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 455–494.

Jago, Charles. The Influence of Debt on the Relations between Crown and Aristocracy in Seventeenth-Century Castile // Economic History Review, 2nd ser., XXVI, 2, May 1973, 218–236.

James, Francis Godwin. Irish Colonial Trade in the Eighteenth Century // William and Mary Quarterly, 3rd ser., XX, 4, Oct. 1963, 574–582.

James, Francis Godwin. Ireland in the Empire, 1688–1770. Cambridge, Massachusettes: Harvard Univ. Press, 1973.

Jansen, H.P.H. Holland's Advance // Acta Historiae Neerlandicae, X, 1978, 1–19.

Jansen, J.C.G.M. Agrarian Development and Exploitation in South Limburg in the Years 1650–1850 // Acta Historiae Neerlandica, V, 1971, 243–270.

Jeannin, Pierre. Les comptes du Sund comme source pour la construction d'indices généraux de l'activité économique en Europe (XVIe–XVIIIe siècles) // Revue historique, 88e année, No. 231, 1er partie, janv.-mars 1964, 55–102; 2e partie, avr.-juin 1964, 307–340.

Jeannin, Pierre. L'Europe du Nord-Ouest et du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles // Nouvelle Clio 34. Paris: Presses Univ. de France, 1969.

Jeannin, Pierre. Preis-, Kosten- und Gewinnunterschiede im Handel mit Ostseegetriede (1550–1650) // Wirtschaftliche und soziale Strukturen im saekularen Wandel, II: Die vorindustrielle Zeit: Ausseragrarische Probleme / Ingomar Bog et al., her. Hannover: Verlag M. & H. Schaper, 1974, 494–518.

Jeannin, Pierre. Les marché du Nord dans le commerce français au XVIIIe siècle / Pierre Léon, rèd. // Aires et structures du commerce français au XVIIIe siècle, Colloque national de 1 Association Française des Historiens Economistes, Paris, CNRS, 4–6 oct. 1973. Lyon: Centre d'histoire économique et social de la region lyonnaise, 1975, 47–73.

Jensch, Georg. Der Handel Rigas im 17. Jarhundert // Mitteilungen aus der livländischen, XXIV, 2, 1930.

Jensen, Einar. Danish Agriculture: Its Economic Development. Copenhagen: J.H. Schultz Forlag, 1937.

John, A.H. Insurance Investment and the Land on Money Market of the 18th Century // Economica, n.s., XX, No. 78, May 1953, 137–158.

John, A.H. War and the English Economy, 1700–1763 // Economic History Review, 2d ser., VII 3, Apr. 1955, 329–344.

John, A.H. Agricultural Productivity and Economic Growth in England // Journal of Economic History, XXV, 1, Mar. 1965, 19–34.

John, A.H. Aspects of English Economic Growth in the First Half of the Eighteenth Century // The Growth of English Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries / W.E. Minchinton, ed. London: Methuen, 1969, 164–183. (Originally in Economica, 1961.)

John, A.H. English Agricultural Improvement and Grain Exports, 1660–1765 // Trade, Government and Economy in Pre-industrial England / D.C. Coleman & A.H. John, eds. London: Weidenfeld & Nicolson, 1976, 45–67.

Johnsen, Oscar Albert. Norwegische Wirtschaftsgeschichte. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1939.

Jones, E.L. Agriculture and Economic Growth in England, 1660–1750: Agricultural Change // Journal of Economic History, XXV, 1, Mar. 1965, 1–18.

Jones, E.L. Editors Introduction // Agriculture and Economic Growth in England, 1650–1815. London: Methuen, 1967, 1–48.

Jones, E.L. Afterword // European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History / William N. Parker & Eric L. Jones, eds. Princeton. New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 327–360.

Jones, E.L. & Woolf, S.J. Agrarian Change and Economic Development: The Historical Problems. London: Methuen, 1969.

Jones, George Hilton. The Main Stream offacobitism. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1954.

Jones, Sir Harold Spencer. The Calendar // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–c1700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 558–581.

Jones, J.R. Britain and Europe in the Seventeenth Century. London: Edw. Arnold, 1966.

Jones, J.R. English Attitudes to Europe in the Seventeenth Century // Britain and the Netherlands in Europe and Asia / J.S. Bromley & E.H. Kossmann, eds. London: Macmillan, 1968, 37–55.

Jones, J.R. The Revolution of 1688 in England. London: Weidenfeld & Nicolson, 1972.

Jørgensen, Johan. Denmark's Relations with Lübeck and Hamburg in the Seventeenth Century // Scandinavian Economic History Review, IX, 2, 1963, 73–116.

Joslin, D.M. London Private Bankers, 1720–1785 // Economic History Review, 2nd ser., VII, 2, 1954, 167–186.

Judges, A.V. The Idea of a Mercantile State // Revisions in Mercantilism / D.C. Coleman, ed. London: Methuen, 1969, 35–60. (Originally in Transactions of the Royal Historical Society, 1939.)

Jutikkala, Eino. The Great Fitinish Famine in 1696–97 // Scandinavian Economic History Review, III, 1, 1955, 48–63.

Jutikkala, Eino. Large Scale Farming in Scandinavia in the Seventeenth Century // Scandinavian Economic History Review, XXIII, 2, 1975, 159–166.

Kaltenstadler, Wilhelm. Der österreichisch Seehandel über Triest im 18. Jahrhundert // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, LV, 4, Marz 1969, 481–500; LVI, 1, Juni 1969, 1–104.

Kaltenstadler, Wilhelm. European Economic History in Recent German Historiography // Journal of European Economic History, I, 1, Spring 1972, 193–218.

Kamen, Henry. The Decline of Castile: The Last Crisis // Economic History Review, 2nd ser., XVII, 1, Aug. 1964, 63–76.

Kamen, Henry. The Economic and Social Consequences of the Thirty Years' War // Past and Present, No. 39, Apr. 1968, 44–61.

Kamen, Henry. The War of Succession in Spain, 1700–15. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1969.

Kamen, Henry, The Iron Century: Social Change in Europe, 1550–1660. New York: Praeger, 1972.

Kamen, Henry. Public Authority and Popular Crime: Banditry in Valencia, 1660–1714 // Journal of European Economic History, III, 3, Winter 1974, 654–687.

Kamen, Henry. The Decline of Spain: A Historical Myth? // Past and Present, No. 81, Nov. 1978, 24–50.

Kammen, Michael. Empire and Interest: The American Colonies and the Politics of Mercantilism. Philadelphia, Pennsylvania: J.B. Lippincott, 1970.

Kann, Robert A. Aristocracy in the Eighteenth Century Habsburg Empire // East European Quarterly, VII, 1, 1973, 1–13.

Kavke, Frantisek. Die habsburger und der böhmische Staat bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts // Historica, VIII, 1964, 35–64.

Kearney, H.F. The Political Background to English Mercantilism, 1695–1700 // Economic History Review, 2nd ser., XI, 3, Apr. 1959, 484–496.

Kearney, H.F. Puritanism, Capitalism and the Scientific Revolution // Past and Present, No. 28, July 1964, 81–101.

Keith, Robert G. Encomienda, Hacienda and Corregiiniento in Spanish America: A Structural Analysis // Hispanic American Historical Review, LI, 3, Aug. 1971, 431–446.

Keith, Theodora. The Economic Causes for the Scottish Union // English Historical Review, XXIV, No. 93, Jan. 1909, 44–60.

Kellenbenz, Hermann. Sephardim an der unteren Elbe. Ihre wirtschaftliche und politische Bedeutung vom Ende des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihefte 40. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1958.

Kellenbenz, Hermann. Händliches Gewerbe und bäuerliches Unternehmertum in Westeuropa von Spätmittelalter bis ins XVIII. Jahrhundert // Second International Conference of Economic History, Aix-en-Provence, 1962. II: Middle Ages and Modern Times. Paris & La Haye: Mouton, 1965, 377–427.

Kellenbenz, Hermann. Les industries rurales en Occident de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle // Annales E.S.C.. LXIII, 5, sept.-oct. 1963, 833–882.

Kellenbenz, Hermann. The Economic Significance of the Archangel Route (from the late 16th to the late 18th century) // Journal of European Economic History, II, 3, Winter 1973, 541–581.

Kellenbenz, Hermann. Technology in the Âge of the Scientific Revolution, 1500–1700 // The Fontana History of Europe, II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries / C.M. Cipolla, ed. Glasgow: Collins, 1974, 177–272.

Kellenbenz, Hermann. The Rise of the European Economy. London: Weidenfeld & Nicolson, 1976.

Kellenbenz, Hermann. The Organization of Industrial Production // Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977, 462–548.

Kellenbenz, Hermann. Europaisches Kupfer, Ende 15. bis Mitte 17. Jahrhundert. Ergebnisse eines Kolloquiums // Schwerpunkte der Kupferproduktion und des Kupferhandels in Europa, 1500–1650 / H. Kellenbenz, her. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1977, 290–351.

Kemp Tom. Structural Factors in the Retardation of French Economic Growth // Kyklos, XV, 2, 1962, 325–350.

Kent H.S.K. The Anglo-Norwegian Timber Trade in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., VIII, 1, Aug. 1955, 62–74.

Kent, H.S.K. War and Trade in Northern Seas. Cambridge: University Press, 1973.

Kepler, J.S. Fiscal Aspects of the English Carrying Trade during the Thirty Years' War // Economic History Review, 2nd ser., XXV, 2, May 1972, 261–283.

Kerridge, Eric. Agrarian Problems in the Sixteenth Century and After. London: Geo. Allen & Unwin, Ltd., 1969.

Kerridge, Eric. The Farmers of Old England. London: Geo. Allen & Unwin, 1973.

Kersten, Adam. Les magnats-élite de la société nobiliaire // Acta Poloniae Historica, No. 36 1977, 119–133.

Kindleberger, Charles P. Commercial Expansion and the Industrial Revolution // Journal of European Economic History, IV, 3, Winter 1975, 613–654.

Kindleberger, Charles P. Manias, Panics, and Crashes. New York: Basic Books, 1978.

Kirchner, Walther. Emigration: Some Eighteenth Century Considerations // Comparative Studies in Society and History, V, 3, Apr. 1963, 346–356.

Kirilly, Zs. Examen au point de vue de rendement de la production du blé des serfs / Mme. Zs. Kirilly et al. Production et productivité agricoles en Hongrie à l'époque du féodalisme tardif, (1550–1850) // Nouvelles études historiques, publiées à l'occasion du XI le Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Budapest: Akademiai Kiado, 1965, 615–622.

Kirilly, Zs. & Kiss, I.N. Production de céréales et exploitations paysannes: En Hongrie aux XVIe et XVIIe siècles // Annales E.S.C., XXIII, 6, nov.-déc. 1968, 1211–1236.

Kisch, Herbert. The Textile Industries in Silesia and the Rhineland: A Comparative Study in Industrialization // Journal of Economic History, XIX, 4, Dec. 1959, 541–564.

Kisch, Herbert. Growth Deterrents of a Medieval Heritage: The Aachen-area Woolen Trades before 1790 // Journal of Economic History, XXIV, 4, Dec. 1964, 517–537.

Kisch, Herbert. Prussian Mercantilism and the Rise of the Krefeld Silk Industry: Variations upon an Eighteenth-Century Theme // Transactions of the American Philosophical Society, LVIII, Pt. 7, 1968. Philadelphia, Pennsylvania: Amer. Phil. Soc., 1968.

Kiss, Istvan. Die Rolle der Magnaten-Gutswirtschaft im Grosshandel Ungarns im 17. Jahrhundert // Der Aussenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650 / Ingomar Bog, red. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1971, 450–482.

Klein, Peter W. The Trip Family in the 17th Century: A Study of the Behavior of the Entrepreneur on the Dutch Staple Market // Acta Hisloriae Neerlandica, I, 1966, 187–211.

Klein, Peter W. Entrepreneurial Behavior and the Economic Rise and Decline of the Netherlands in the 17th and 18th Centuries // Annales cisalpines d'histoire sociale, I, 1, 1969, 7–19.

Klein, Peter W. Stagnation économique et emploi du capital dans la Hollande des XVIIIe et XIXe siècles // Revue du Nord, LII, No. 204, janv.-mars 1970, 33–41.

Klíma, Arnošt. Industrial Development in Bohemia, 1648–1781 // Past and Present, No. 11, Apr. 1957, 87–99.

Klíma, Arnošt. English Merchant Capital in Bohemia in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XII, 1, Aug. 1959, 34–48.

Klíma, Arnošt. Mercantilism in the Habsburg Monarchy — with special reference to the Bohemian Lands // Historica, XI, 1965, 95–119.

Klíma, Arnošt & Macùrek, J. La question de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe centrale (16e–18e siècles) // International Congress of Historical Sciences, Stockholm, 1960, IV: Histoire moderne. Göteborg, Sweden: Almqvist & Wikseil, 1960, 84–105.

Knoppers, Jake. A Quantitative Study of Dutch Shipping from Russia in the Eighteenth Century, paper presented to Canadian Historical Association, Edmonton, June 7, 1975.

Knoppers, Jake. Discussion // Failed Transitions to Modern Industrial Soriety: Renaissance Italy and Seventeenth Century Hollan / F. Krantz & P.M. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 65.

Knoppers, Jake. Patterns in Dutch Trade with Russia from the Nine Years' War to the End of the Republic, paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies, Univ. of New Brunswick, Fredericton, 28–29 May 1977.

Knoppers, Jake. Ships and Shipping Towards the End of the Eighteenth Century: Trends and Developments in Europe, paper presented at Annual Meeting of the Canadian Historical Association, Univ. of New Brunswick, Fredericton, 2–6 June 1977.

Koeningsberger, H.G. English Merchants in Naples and Sicily in the Seventeenth Century // English Historical Review, LXII, No. 244, July 1947, 304–326.

Kossmann, E.H. Discussion of H. R. Trevor-Roper: The General Crisis of the Seventeenth Century // Past and Present, No. 18, Nov. 1960, 8–11.

Kossmann, E.H. The Low Countries // New Cambridge Modem History, IV: The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609–48/59 / J.P. Cooper, ed. Cambridge: University Press, 1970, 359–384.

Kossmann, E.H. Some Meditations on Dutch Eighteenth-Century Decline // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 49–54.

Kossmann, E.H. Some Late 17th-Century Dutch Writings on Raison d'Etat // Staatsräson: Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs / R. Schnur, her. Berlin: Duncker & Humblot, 1975, 497–504.

Kossmann, E.H. The Singularity of Absolutism // Louis XIV and Absolutism / R. Hatton, ed. Columbus: Ohio State Univ. Press, 1976, 3–17.

Kowecki, Jerzy. Les transformations de la structure sociale en Pologne au XVIIIe siècle: La noblesse et la bourgeoisie // Acta Poloniae Historica, No. 26, 1972, 5–30.

Kriedte, Peter, Medick, Hans, & Schlumbohm, Jürgen. Industrialisierung vor der Industrialisierung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977.

Kruger, Horst. Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preussen, Vol. III of Schrittenreihe des Institut für allgemeine Geschichte an der Humboldt Universität Berlin / Gerhard Schilfert, ed. Berlin: Rütten & Loening, 1958.

Kuczynski, Jürgen. Zum Aufsatz von Johannes Nichtweiss über die zweite Leibeigenschaft // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, II, 3, 1954, 467–471.

Kula, Witold. L'histoire économique de la Pologne du dix-huitième Siècle // Acta Poloniae Historica, No. 4, 1961, 133–146.

Kula, Witold. La métrologie historique et la lutte des classes: Exemple de la Pologne au XVIIIe siècle // Studi in orwre di Amintore Fanfani, V: Evi moderno e contemporaneo. Milano: Dott. A. Giuffrè-Ed., 1962, 273–288.

Kula, Witold. Gli studi sulla formazione del capitalismo in Polonia // Problemi storici délia industrializzazione e dello sviluppo / A. Caracciolo, red. Urbino, Italy: Argalia Ed., 1965, VI, 205–228.

Kula, Witold. Theorie économique du systeme féodal. Paris & La Haye: Mouton, 1970.

Kulischer (Koulischer), Joseph. La grande industrie aux XVIIe et XVIIIe siècles: France, Allemagne, Russie // Annales d'histoire économique et sociale, III, 9, janv. 1931, 11–46.

Kulischer, Joseph. Liebeigenschaft in Russland und die Agrarverfassung Preussens in 18. Jahrhundert: Eine vergleichende Studie // Jahrbucher für Nationalökonomie und Statistik, 3rd ser., LXXXII, 1, 1932, 1–62.

Kuske, Bruno. Gewerbe, Handel und Verkehr // Geschichte des Rheinlandes von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, II: Kulturgeschichte / H. Aubin et al., her. Essen: G.D. Baedeker, Verlagsbuchhandlung, 1922, 149–248.

Kuske, Bruno. Die wirtschaftliche und soziale Verflechtung zwischen Deutschland und den Niederlanden bis zum 18. Jahrhundert, // Köln, Der Rhein und das Reich. Köln-Graz- Böhlau-Verlag, 1956, 200–256. (Originally in Deutsches Archiv für Landes- und Volksforschung 1937.)

Labrousse, C.-E. Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle. Paris: Lib. Dalloz, 1932, 2 vol.

Labrousse, C.-E. La révolution démographique du premier tiers du XVIIIe siècle, Bulletin semestriel // Association pour l'histoire de la civilisation, Association Marc Bloch, Toulouse, séance du 17 mai 1953, 21–23.

Labrousse, C.-E. Les 'bons prix' agricoles du XVIIIe siècle // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Fernand Braudel & Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 367–416.

Labrousse, Elisabeth. Le refuge hollandais: Bayle et Jurieu, XVIIe siècle, No. 76–77, 1967, 75–93.

La Force, J. Clayburn. Royal Textile Factories in Spain, 1700–1800 // Journal of Economic History, XXIV, 3, Sept. 1964, 337–363.

Land, Aubrey C. Economic Base and Social Structure: The Northern Chesapeake in the Eighteenth Century // Journal of Economic History, XXV, 4, Dec. 1965, 639–654.

Land, Aubrey C. The Tobacco Staple and the Planter's Problems: Technology, Labor and Craps // Agricultural History, XLIII, 1 Jan. 1969, 69–81.

Lane, Frederic C. Oceanic Expansion: Force and Enterprise in the Creation of Oceanic Commerce // Journal of Economic History, X, Supplement, 1950, 19–39.

Lane, Frederic C. Venice: A Maritime Republic. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Univ. Press, 1973.

Lang, James. Conquest and Commerce: Spain and England in the Americas. New York: Academic Press, 1975.

Lang, M.F. New Spain's Mining Depression and the Supply of Quicksilver from Peru // American Historical Review, XLVIII, 4. Nov. 1968, 632–641.

Langton, John. Coal Output in South-West Lancashire, 1590–1799 // Economic History Review, 2nd ser., XXV, I, Feb. 1972, 28–54.

Larquié, Cl. Les esclaves de Madrid à l'époque de la décadence (1650–1700) // Revue historique, CCXLIV, 1, juil.-sept. 1970, 41–74.

Larraz, José. La época del mercantilismo en Castilla (1500–1700). 2nd ed. Madrid: Atlas, 1943.

Laslett, Peter. John Locke, the Great Recoinâge, and the Origins of the Board of Trade: 1695–1698 // William and Mary Quarterly, XIV, 3, July 1957, 370–402.

Lavrovsky, V.M. Expropriation of the English Peasantry in the Eighteenth Century // Economic History Review, n.s., IX, 2, Aug. 1957, 271–282.

Lavrosky, V.M. The Great Estate in England from the 16th to the 18th Centuries // First International Conference of Economic History, Stockholm, August 1960, Paris & La Haye: Mouton, 1960, 353–365.

Lawson, Murray G. Fur: A Study in English Mercantilism, 1700–1775 // Univ. of Toronto Studies, History and Economics Series, Vol. IX. Toronto: Univ. of Toronto Press, 1943.

Lenman, Bruce. An Economic History of Modern Scotland, 1660–1976. Hamden, Connetticut: Archon Books, 1977.

Léon, Pierre. La crise de l'économie française à la fin du règne de Louis XIV (1685–1715) // Information historique. XVIII, 4, sept.-oct. 1956, 127–137.

Léon, Pierre. Points de vue sur le monde ouvrier dans la France du XVIIIe siècle // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965. I. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 181–185.

Léon, Pierre. Economies et sociétés préindustrielles, II: 1650–1780: Les origines d'une accélération de l'histoire. Paris: Lib. Armand Colin, 1970.

Léon, Pierre. La réponse de l'industrie / Fernand Braudel & Ernest Labrousse, dir. // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Ernest Labrousse, et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 217–266.

Léon, Pierre. L'élan industriel et commercial / Fernand Braudel & Ernest Labrousse, dir. // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 499–528.

Léon, Pierre. Les nouvelles élites / Fernand Braudel & Ernest Labrousse, dir. // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial

aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 601–649.

Léon, Pierre. Morcellement et émergence du monde ouvrier / Fernand Braudel & Ernest Labrousse, dir. // Histoire économique et social de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 651–689.

Léon, Pierre. Structures du commerce extérieur et évolution industrielle de la France à la fin du XVIII siècle // Conjonture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse. Paris & La Haye: Mouton, 1974.

Léon, Pierre & Carrière, Charles. L'appel des marchés / Fernand Braudel Sc Ernest Labrousse, dir. // Histoire économique et sociale de la France, II: Des derniers temps de l'âge seigneurial aux préludes de l'âge industriel (1660–1789) / Ernest Labrousse et al. Paris: Presses Univ. de France, 1970, 161–215.

Léonard, Emile-G. Economie et religion. Les protestants français au XVIIIe siècle // Annales d'histoire sociale, II, 1 janv. 1940, 5–20.

Léonard, Emile-G. Le protestantisme français au XVIIe siècle // Revue historique, CC, 2, oct.-dec. 1948, 153–179.

Léonard, Emile-G. L'Armée et ses problèmes au XVIIIe siècle. Paris: Lib. Pion, 1958.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Climat et récoltes aux XVIIe et XVIIIe siècles // Annales E.S.C., XV, 3, mai-juin 1960, 434–465.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Histoire du Languedoc. Paris: Presses Univ. de France, 1962.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Voies nouvelles pour l'histoire rurale (XVIe–XVIIIe siècles) // Etudes rurales, No. 13–14, avr.-sept., 1964, 79–95.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Histoire du climat depuis l'an mil. Paris: Flammarion, 1967.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Les rendements du blé en Languedoc // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, II. Production et productivité agricole. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 75–84.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. L'amenorhée de famine (XVIIe–XXe siècles) // Annales E.S.C., XXIV, 6, nov.-dec. 1969, 1589–1601.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Les insurgés de l'impôt // Le Nouvel Observateur, 28 juin 1971, 26–28.

Le Roy Laduire, Emmanuel. Sur quelques types de revenus réels (16e–18e siècles) // Fourth International Conference of Economic History, Bloomington, 1968. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 419–435.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. A Long Agrarian Cycle: Languedoc, 1500–1700 // Essays in European Economic History, 1500–1800 / Peter Earle, ed. Oxford: Clarendon Press, 1974. (Translated from Les Paysans de Languedoc, 1969.)

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Pour un modèle de l'économie rurale française au XVIII siècle // Cahiers d'histoire, XIV, 1, 1974, 5–27.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Révoltes et contestations rurales en France de 1675 à 1788 // Annales E.S.C., XXIX, 1, janv.-févr. 1974, 6–22.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. De la crise ultime à la vraie croissance // L'âge classique des paysans de 1340 à 1789, Vol. II of Histoire de la France rurale / Emmanuel Le Roy Ladurie, réd. Paris: Seuil, 1975, 359–591.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Un 'modele septentrional': Les campagnes parisiennes (XVIe–XVIIe siècles) // Annales E.S.C., XXX, 6, nov.-dec. 1975, 1397–1413.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Un cas de méthodologie dans l'histoire rurale: Les grandes monographies des révoltes et des contestations rurales en France de 1675 à 1788 // Metodologia de la historia moderna: economta y demografia, Actas de las I

Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, Univ. de Santiago de Compostala. Segovia: Artes Graficas Galicia, III, 1975, 33–50.

Le Roy Ladurie, Emmanuel. Motionless History, Social Science History, I, 2, Winter 1977, 115–136. (Translated from Annales E.S.C., 1974.)

Leskiewicz, Janina. Sur le niveau et les composantes du revenu foncier en Pologne du XVIe siècle au XVIIIe siècle // First International Conference of Economic History, Stockholm, August, 1960, Contributions. Paris & La Haye: Mouton, 1960, 409–414.

Leśnodorski, Bogusław. Les Partâges de la Pologne. Analyse des causes et essai d'une théorie // Acta Poloniae Historica, No. 8, 1963, 7–30.

Leszczyński, Józef. La Silésie dans la politique européenne au XVIe–XVIIIe siècles // Acta Poloniae Historica, No. 22, 1970, 90–107.

Leuilliot, Paul. Influence du commerce oriental sur l'économie occidentale, // Sociétés et compagnies en Orient et dans l'Océan Indien / M. Mollat, réd. Paris: S.E.V.P.E.N., 1970, 611–627.

Lichtheim, George. Imperialism. London: Penguin, 1974.

Liebel, Helen P. The Bourgeoisie in Southwestern Germany, 1500–1789: A Rising Class? // International Review of Social History, X, 2, 1965, 283–307.

Liebel, Helen P. Laissez-faire vs. Mercantilism: The Rise of Hamburg and the Hamburg Bourgeoisie vs. Frederick the Great in the Crisis of 1763 // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte, LII, 2, 1965, 206–238.

Liiv, Otto. Die wirtschaftliche Lage des estnischen Gebietes am Ausgang des XVII Jahrhunderts // Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, XXVII, 1935, 1–336.

Lipsori, Ephraim. The Economic History of England, Vols. II–III: The Age of Mercantilism, 6th ed. London: Adam & Charles Black, 1956.

Lira, Andrés & Muro, Luis. El siglo de la integraciön, in Centro de Estudios Históricos // Historia General de Mexico, II. Mexico: El Colegio de Mexico, 1976, 83–181.

Litchfield, R. Burr. Les investissements commerciaux des patriciens florentins au XVIIIe siècle // Annales E.S.C., XXIV, 3, mai-juin 1969, 685–721.

Lockhart, James. Encomienda and Hacienda: The Evolution of the Great Estate in the Spanish Indies // Hispanic American Historical Review, LXIX, 3, Aug. 1969, 411–429.

Lom, František. Die Arbeitsproduktivität in der Geschichte der tschechoslowakischen Landwirtschaft // Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, XIX, 1, Apr. 1971, 1–25.

Lopez, Adalberto. The Economics of Yerba Mate in Seventeenth-Century South America // Agricultural History, XLVIII, 4, Oct. 1974, 493–509.

Lord, Eleanor Louisa. Industrial Experiments in the British Colonies of North America. Studies in History and Political Science, XVII, Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Univ., 1898.

Lunde, Johs. Handelshuset bak Garman & Worse: Jacob Kielland & Son. Bergen: Universitetsforlâget, 1963.

Lundkvist, Sven. The Experience of Empire: Sweden as a Great Power // Sweden's Age of Greatness, 1632–1718 / M. Roberts, ed. New York: St. Martin's Press, 1973, 20–57.

Lütge, Friedrich. Strukturelle und konjunkturelle Wandlungen in der deutschen Wirtschaft vor Ausbruch des Dreissigjährigen Krieges // Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.- Hist. Kl., Sitzungsberichte, No. 5, 1958.

Lütge, Freidrich. Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1963.

Lütge, Friedrich. Grundherrschaft und Gutsherrschaft, Handwörterbuch des Sozialwissenschaften. Stuttgart: Gustav Fischer; Tubingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); Göttineen Van denhoeck & Ruprecht, 1965, IV, 682–688.

Lütge, Friedrich. Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 3rd enlarged and improved ed Berlin: Springer-Verlag, 1966.

Lüthy, Herbert. La Banque Protestante en France de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution I: Dispersion et regroupement (1685–1730). Paris: S.E.V.P.E.N., 1959.

Lüthy, Herbert. La Banque Protestante en France de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution II: De la Banque aux Finances (1730–1794). Paris: S.E.V.P.E.N., 1961.

Luzac, Elie. La richesse de la Hollande. London: aux dépens de la Compagnie, 1778, 2 vol.

Luzzatto, Gino. Per una storia economica d'italia, 2nd ed. Bari, Italy: Ed. Laterza, 1974.

Lynch, John. Spain Under the Habsburgs. II: Spain and America: 1598–1700. Oxford: Basil Blackwell, 1969.

Macartney, C.A. The Habsburg Dominions, in New Cambridge Modern History, VII: The Old Regime, 1713–63 / J.O. Lindsay, ed. Cambridge: University Press, 1966, 391–415.

Macartney, C.A. Hungary // The European Nobility in the Eighteenth Century / A. Goodwin, ed. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1967, 118–135.

Macedo, Jorge Borges de. O Tratado de Methuen // Diciondrio de histöria de Portugal, II / edited by Joël Serrào. Lisboa: 1963.

Macedo, Jorge Borges de. Problemas de Historia da Industria Portuguesa no Século XVIII. Lisboa: Assoc. Industrial Portuguesa, Estudos de Economia Aplicada, 1963.

Macéra, Pablo. Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas // Acta Historica (Acta Universitatis Szegediensis de Attila Josef Nominatae), XXXV, 1971, 3–43.

MacLeod, Murdo J. Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520–1720. Berkeley: Univ. of California Press, 1973.

Mączak, Antoni. Export of Grain and the Problem of Distribution of National Income in the Years 1550–1650 // Acta Poloniae Historica, No. 18, 1968, 75–98.

Mączak, Antoni. The Balance of Polish Sea Trade with the West, 1565–1646 // Scandinavian Economic History Review, XVIII, 2, 1970, 107–142.

Mączak, Antoni. Agricultural and Livestock Production in Poland: Internal and Foreign Markets // Journal of European Economic History, I, 3, Winter 1972, 671–680.

Mączak, Antoni. Review of A. Attman, The Russian and Polish Markets in International Trade, 1500–1650 // Journal of European Economic History, III, 2, Fall 1974, 505–508.

Mączak, Antoni. Money and Society in Poland-Lithuania of the 16th–17th Centuries, Settima Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, 15 apr. 1975.

Mączak, Antoni. Money and Society in Poland and Lithuania in the 16th and 17th Centuries // Journal of European Economic History, V, 1, Spring 1976, 69–104.

Mączak, Antoni. State Revenues and National Income: Poland in the Crisis of the Seventeenth Century, Ottava Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato, 8 magg. 1976.

Mączak, Antoni & Samsonowicz, Henry K. La zone baltique; l'un des éléments du marché européen // Acta Poloniae Historica, No. 11, 1965, 71–99.

Mahan, A.T. Influence of Sea Power Upon History, 1600–1783. London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1889.

Makkai, László. Die Hauptzuge der wirtschaftlichsozialen Entwicklung Ungarns im 15–17. Jh. // Studia Historica, No. 53. Budapest: Akademiai Kiado, 1963, 27–46.

Makkai, László. Der Ungarische Viehhandel, 1550–1650 // Der Aussenhandel Ostmitteleuropas. 1450–1650 / Ingomar Bog, her. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1971, 483–506.

Makkai, László. La structure et la productivité de l'économie agraire de la Hongrie au milieu du XVIIe siècle / S. Herbst et al., eds. // Spoleczenstwo Gospodarka Kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej. Warszawa: PWN, 1974 197–209.

Makkai, László. Neo-Serfdom: Its Origin and Nature in East Central Europe // Slavic Review XXXIV, 2, June 1975, 225–238.

Mafecki, Jan M. Le rôle de Cracovie dans l'économie polonaise aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles // Acta Poloniae Historica, No. 21, 1970, 108–122.

Małecki, Jan M. Die Wandlungen im Krakauer und polnischen Handel zur Zeit der Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts / O. Pickl, her. // Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, I. Graz: 1971, 145–151.

Małowist, Marian. The Economic and Social Development of the Baltic Countries from the 15th to the 17th Centuries // Economic History Review, 2nd ser., XII, 2, 1959, 177–189.

Małowist, Marian. L'évolution industrielle en Pologne du XIVe au XVIIe siècle, in Croissance et regression en Europe, XIVe–XVIIe siècles // Cahiers des Annales, 34. Paris: Lib. Armand Colin, 1972, 191–215.

Małowist, Marian. Problems of the Growth of the National Economy of Central-Eastern Europe in the Late Middle Ages // Journal of European Economic History, III, 2, Fall 1974, 319–357.

Małowist, Marian. Quelques remarques sur le déclin des états de l'Europe de l'est au XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, paper delivered at Seminar of Fernand Braudel, Paris, 4 mars 1976.

Mandrou, Robert. Le baroque européen: mentalité pathétique et révolution sociale // Annales E.S.C., XV, 5, sept.-oct. 1960, 898–914.

Mandrou, Robert. L'agriculture hors du développement capitaliste: Le cas des Fugger // Studi storici, IX, 3/4, lugl.-dic. 1968, 784–793.

Marino, John A. La crisi di Venezia e la New Economic History // Studi storici, XIX, 1, genn.-marzo 1978, 79–107.

Markovitch, Tihomir J. L'industrie française au XVIIIe siècle: l'industrie lainière à la fin du regne de Louis XIV et sous la Régence // Economies et sociétés, Cahiers de l'I.S.E.A., II, 8, août 1517–1697.

Markovitch, Tihomir J. L'industrie lainière française au début du XVIIIe siècle // Revue d'histoire économique et sociale, XLVI, 4, 1968, 550–579.

Marques, A.H. de Oliveira. History of Portugal, 2nd ed. New York: Columbia Univ. Press, 1976.

Marrès, P. Le Languedoc méditerranéen aux XVIIe et XVIIIe siècles // Annales de l'Institut d'Etudes Occitanes, 4e ser., No. 2, aut. 1966, 151–156.

Martin Saint-Léon, Etienne. Histoire des corporations de métiers. Genève: Slatkine-Megariotis Reprints, 1976. (Originally published, Paris, 1922).

Marx, Karl. Secret Diplomatie History of the Eighteenth Century. New York: International Publ., 1969.

Masefield, G.B. Crops and Livestock // Cambridge Economic History of Europe, IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / E.F. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1967, 275–301.

Masselman, George. Dutch Colonial Policy in the Seventeenth Century // Journal of Economic History, XXI, 4, Dec. 1961, 455–468.

Masselman, George. The Cradle of Colonialism. New Haven, Connecticut: Yale Univ. Press, 1963.

Masson, Paul. Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècle. New York: Burt Franklin, 1967. (Originally published, Paris, 1911).

Masson, Paul. Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle. New York: Burt Franklin. 1967. (Originally published, Paris 1896.)

Mata, Eugénia & Valério, Nuno. Alguns dados e notas sobre o comércio europeu e mundial nos finais do século XVII // Revista de historia economica e social, No. 2, julho-dez. de 1978, 105–122.

Matejek, Frantisek. La production agricole dans les pays tchécoslovaques a partir du XVIe siècle jusqu'à la première guerre mondiale // Troisième Conference Internationale d'Histoire Economique, Munich, 1965, II. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 205–219.

Mathias, Peter. Agriculture and the Brewing and Distilling Industries in the Eighteenth Century // Economic History Review, n.s., V, 2, Aug. 1952, 249–257.

Mathias, Peter & O'Brien, Patrick. Taxation in Britain and France, 1715–1810. A Comparison of the Social and Economic Incidence of Taxes Collected by the Central Government // Journal of European Economic History, V, 3, Winter 1976, 601–650.

Mathiex, Jean. Trafic et prix de l'homme en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles // Annales E.S.C., IX, 2, avr.-juin 1954, 157–164.

Mauro, Frédéric. Pour une théorie du capitalisme commercial // Vierteljahrschriftfur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLII, 2, 1955, 117–131.

Mauro, Frédéric. Sur la 'crise' du XVIIe siècle // Annales E.S.C., XIV, 1, janv.-mars 1959, 181–185.

Mauro, Frédéric. Le Portugal et l'Atlantique au XVIIe siècle (1570–1670) // Etude économique. Paris: S.E.V.P.E.N., 1960.

Mauro, Frédéric. Toward an 'Intercontinental Model': European Overseas Expansion between 1500 and 1800 // Economic History Review, 2nd ser., XIV, I 1961, 1–17.

Mauro, Frédéric. L'empire portugais et le commerce franco-portugais au milieu du XVIIIe siècle // Adas do Congresso International de Historia dos Descobrimentos, V. Lisboa: 1961, 1–16.

Mauro, Frédéric. Marchands et marchands-banquiers portugais au XVIIe siècle // Revista portuguesa de historia, IX, 1961, 5–20.

Mauro, Frédéric. La bourgeoisie portugaise au XVIIe siècle // Etudes économiques sur l'expansion portugaise (1500–1900). Paris: Fund. Calouste Gulbenkian, 1970, 15–35. (Originally in Le XVIIe siècle, 1958.)

Mauro, Frédéric. Existence et persistance d'un régime féodal ou seigneurial au Brésil, in L'abolition de la féodalité dans le monde occidental // Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. du C.N.R.S., I, 1971, 385–391.

Mauro, Frédéric. Conjoncture économique et structure sociale en Amérique latine depuis l'époque coloniale // Conjoncture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse. Paris & La Haye: Mouton, 1974, 237–251.

Mauro, Frédéric. Le rôle de la monnaie dans les décollages manqués de l'économie

portugaise du XVe au XVIIIe siècles. Paper presented at VII Settimana di Studio, Prato, 17 apr. 1975.

Maxwell, Kenneth. Pombaland the Nationalization of the Luso-Brazilian Economy // Hispanic American Historical Review, XLVIII, 4, Nov. 1968, 608–631.

May, Louis-Philippe. Histoire économique de la Martinique (1635–1763). Paris: Les Presses Modernes, 1930.

McLachlan, Jean O. Trade and Peace with Old Spain, 1667–1750. Cambridge: University Press, 1940.

McManners, J. France // The European Nobility in the Eighteenth Century / Albert Goodwin, ed. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1967, 22–42.

McNeill, William H. The Shape of European History. London & New York: Oxford Univ. Press, 1975.

Medick, Hans. The Proto-Industrial Family Economy: The Structural Function of Household and Family during the Transition from Peasant Society to Industrial Capitalism // Social History, No. 3, Oct. 1976, 291–315.

Mehring, Franz. Absolutism and Revolution in Germany, 1525–1848. London: New Park Publ., 1975. (Originally published in 1892, 1897, 1910.)

Meilink-Roelofsz, M.A.P. Aspects of Dutch Colonial Development in Asia in the Seventeenth Century // Britain and the Netherlands in Europe and Asia / J.S. Bromley & E.H. Kossmann, eds. London: Macmillan, 1968, 56–82.

Mejdricka, Kveta. L'état du régime féodal à la veille de son abolition et les conditions de sasu pression en Bohème // L'abolition de la féodalité dans le monde occidental. Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. du C.N.R.S., I, 1971, 393–409.

Mellafe, Rolando. La introducciôn de la esclavitud negra en Chile: trdficos y nitas // Estudios de Historia Economica Americana: Trabajo y Salario en el Periodo Colonial, II. Santiago: Univ. de Chile, 1959.

Menard, Russell R. Secular Trends in the Chesapeake Tobacco Industry // Working Papers from the Regional Economic History Research Center, I, 3, 1978, 1–34.

Menashe, Louis. Historians Define the Baroque: Notes on a Problem of Art and Social History // Comparative Studies in Society and History, VII, 3, Apr. 1965, 333–342.

Mendels, Franklin F. Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process // Journal of Economic History, XXXII, 1, Mar. 1972, 241–261.

Mendels, Franklin F. Agriculture and Peasant Industry in Eighteenth-Century Flanders // European Peasants and Their Markets / William N. Parker & Eric L. Jones, eds. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975. 179–204.

Merrington, John. Town and Country in the Transition to Capitalism // The Transition from Feudalism to Capitalism / Rodney Hilton, ed. London: New Left Books, 1976, 170–195. (Originally in New Left Review, 1975.)

Mertens, Jacques E. La naissance et le développement de l'étalon-or, 1692–1922, Univ. de Louvain, Collection de l'Ecole des Sciences Politiques et Sociales, No. 131. Louvain: Ed. Em. Warny, 1944.

Meuvret, Jean. Les mouvements des prix de 1661 à 1715 et leurs répercussions // Journal de la Société de Statistique de Paris, LXXXV, 5–6, mai-juin 1944, 109–119.

Meuvret, Jean. Circulation monétaire et utilisation économique de la monnaie dans la France du XVIe et du XVIIe siècles // Etudes d'histoire moderne et contemporaine, I, 1947, 15–18.

Meuvret, Jean. La géographie des prix des céréales et les anciennes économies européennes: Prix méditerranéens, prix continentaux, prix atlantiques à la fin du XVIIe siècle // Revista de economia, IV, 2, 1951, 63–69.

Meuvret, Jean. Conjoncture et crise au XVIIe siècle: L'exemple des prix milanais // Annales E.S.C., VII, 2, avr.-juin 1953, 215–219.

Meuvret, Jean. L'agriculture en Europe au XVIIe et XVIIIe siècles // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma, 4–11 sett. 1955, Relazioni, IV: Storia modema. Firenze: G.C. Sansoni-Ed., 1955, 139–168.

Meuvret, Jean. Circuits d'échange et travail rural dans la France du XVIIe siècle // Studi in onore di Armando Sapori. Milano: Istituto Edit. Cisalpino, II, 1957, 1127–1142.

Meuvret, Jean. Domaines ou ensembles territoriaux? // First International Conference of Economic History, Stockholm, August 1960. Paris & La Haye: Mouton, 1960, 343–352.

Meuvret, Jean. Production et productivité agricoles // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, II: Production et productivités agricoles. Paris & La Haye: Mouton, 1968, 11–22.

Meuvret, Jean. La France au temps de Louis XIV: des temps difficiles // Etudes d'histoire économique. Paris: Lib. Armand Colin, 1971, 17–37. (Originally in La France au temps de Louis XIV, 1965.)

Meuvret, Jean. Les oscillations des prix de céréales aux XVIIe et XVIIIe siècles en Angleterre et dans les pays du bassin parisien // Etudes d'histoire économique. Paris: Lib. Armand Colin, 1971, 113–124. (Originally in Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1969.)

Michalkjewicz, Stanislas. Einige Episoden der Geschichte der schleisischen Bauernkämpfer, im 17. und 18, Jh. // Beitrâge zur Geschichte Schlesiens / Eva Maleczyriska, her. Berlin: Rütten & Loening, 1958, 356–400.

Michell, A.R. The European Fisheries // Early Modern History, in Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1977, 134–184.

Mika, Alois. On the Economic Status of Czech Towns in the Period of Late Feudalism, Economic History, II, published on the occasion of the VI Ith International Economic History Congress in Edinburgh, 1978. Prague: Institute of Czechoslovak and World History of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1978, 225–256.

Mims, Stewart L. Colbert's West India Policy. New Haven, Connecticut: Yale Univ. Press, 1912.

Minchinton, Walter. Patterns and Structure of Demand 1500–1750 / C. M. Cipolla, ed. // The Fontana Economic History of Europe, II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Glasgow: Collins, 1974, 82–176.

Mingay, G.E. The Agricultural Depression, 1730–1750 // Economic History Review, 2nd ser., VIII, 3, 1956, 323–338.

Mingay, G.E. The Large Estate in Eighteenth-Century England // First International Conference of Economic History, Stockholm, August 1960. Paris & La Haye: Mouton, 1960, 367–383.

Mingay, G.E. The Size of Farms in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XIV, 3, Apr. 1962, 469–488.

Mingay, G.E. English Landed Society in the Eighteenth Century. London: Routledge & Kegan Paul, 1963.

Mingay, G.E. The Land Tax Assessments and the Small Landowner // Economic History Review, 2nd ser., XVII, 2, Dec. 1964, 381–388.

Mingay, G.E. Enclosure and the Small Farmer in the Age of the Industrial Revolution. London: Macmillan, 1968.

Mintz, Sidney W. Currency Problems in Eighteenth Century Jamaica and Gresham's Law // Process and Pattern in Culture / Robert A. Manners, ed. Chicago, Illinois: Aldine, 1964, 248–265.

Mintz, Sidney W. & Wolf, Eric R. Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles // Social and Economic Studies, VI, 3, Sept. 1957, 380–412.

Molenda, Danuta. Investments in Ore Mining in Poland from the 13th to the 17th Centuries // Journal of European Economic History, V, 1, Spring 1976, 151–169.

Mollat, Michel, réd. Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l'Océan Indien // Actes du Huitième Colloque International d'Histoire Maritime, Beyrouth, 5–10 sept. 1966. Paris: S.E.V.P.E.N., 1970.

Molnar, Erik. Les fondements économiques et sociaux de l'absolutisme // XII Congres International des Sciences Historiques, Rapports, IV. Methodologie et histoire contemporaine. Wien: Verlag Ferdinand Berge & Söhne, 1965, 155–169.

Mols, Roger, S.J. Population in Europe 1500–1700 / C.M. Cipolla, ed. // The Fontana Economic History of Europe, II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. Glasgow: Collins, 1974, 15–82.

Monter, E. William. Swiss Investment in England, 1697–1720 // Revue internationale d'histoire de la banque, II, 1969, 285–298.

Moreno Fraginals, Manuel. El Ingenio, 3 vol. La Habana: Ed. de Ciencias Sociales, 1978.

Morgan, W.T. Economic Aspects of the Negotiations at Ryswick // Essays in Modern History / Ian R. Christie, ed. London: Macmillan, 1968, 172–195. (Originally in Transactions of the Royal Historical Society, read 14 May 1931.)

Morineau, Michel. Le balance du commerce franco-néerlandais et le resserrement économique des Provinces-Unies au XVIIIe siècle // Economisch-Historisch Jaarboek, XXX, 4, 1965, 170–233.

Morineau, Michel. Y a-t-il eu une révolution agricole en France au XVIIIe siècle? // Revue historique, CCXXXIX, 1, avr.-juin 1968, 299–326.

Morineau, Michel. Gazettes hollandais et trésors américains // Anuario de historia economica y social, II, 2, enero-dic. 1969, 289–361.

Morineau, Michel. Histoire sans frontières: prix et 'révolution agricole' // Annales E.S.C., XXIV, 2, mars-avr. 1969, 403–423.

Morineau, Michel. En Hollande au XVIIe siècle // Pour une histoire de l'alimentation, Cahiers des Annales, 28 / Jean-Jacques Hemardinquier, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1970, 107–114. (Originally in Annales E.S.C., 1963.)

Morineau, Michel. Post-scriptum. De la Hollande à la France / Jean-Jacques Hémardinquier, réd. // Pour une histoire de l'alimentation, Cahiers des Annales, 28. Paris: Lib. Armand Colin, 1970, 115–125.

Morineau, Michel. Flottes de commerce et trafics français en Méditerranée au XVIIe siècle (jusqu'en 1669), XVIIe siècle, No. 86–87, 1970, 135–171.

Morineau, Michel. Bayonne et Saint-Jean-de-Lux, relais du commerce néerlandais vers l'Espagne au début du XVIIe siècle // Actes du Quatre-Vingt-Quatorzieme Congrès National des Sociétés Savantes, Pau 1969, II, Section d'histoire moderne et contemporaine. Paris. Bibliothèque Nationale, 1971, 309–330.

Morineau, Michel. Quelques remarques touchant le financement de l'économie des Provinces-Unies au XVIIe et au XVIIIe siècle, paper at Cuarta Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini , Prato, 16 apr. 1972.

Morineau, Michel. Quelques remarques sur l'abondance monétaire aux Provinces-Unies // Annales E.S.C., XXIX, 3, mai-juin 1974, 767–776.

Morineau, Michel. Quelques recherches relatives à la balance du commerce extérieur français au XVIIIe siècle: ou cette fois un égale deux, in Pierre Léon, réd., Aires et structures du commerce français au XVIIIe siècle // Colloque National de

l'Association Française des Historiens Economistes, Paris, C.N.R.S., 4–6 oct. 1973. Lyon: Centre d'Histoire Economique et Social de la Region Lyonnaise, 1975, 1–45.

Morineau, Michel. La terre / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 11–39.

Morineau, Michel. Le siècle / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 63–106.

Morineau, Michel. Un siècle après la conquête: Les empires ibériques / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 109–138.

Morineau, Michel. Les mancenilliers de l'Europe / Pierre Deyon & Jean Jacquart, Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 139–162.

Morineau, Michel. La 'substitution' aux Indes Orientales / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 163–176.

Morineau, Michel. Jeune Amérique et vieille Afrique / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique et sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 521–546.

Morineau, Michel. Le challenge Europe-Asie / Pierre Deyon & Jean Jacquart // Les hésitations de la croissance, 1580–1740, Vol. II: Histoire économique de sociale du monde / Pierre Léon, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1978, 547–579.

Morineau, Michel. Or brésilien et gazettes hollandaises // Revue d'histoire moderne et contemporaine, XXV, 1, janv.-mars, 1978, 3–60.

Mörner, Magnus. The Spanish American Hacienda: A Survey of Recent Research and Debate // Hispanic American Historical Review, LIII, 2, May 1973, 183–216.

Mousnier, Roland. L'évolution des finances publiques en France et en Angleterre pendant les guerres de la Ligue d'Augsbourg et de la Succession d'Espagne // Revue historique, XLIV, No. 205, janv.-mars 1951, 1–23.

Mousnier, Roland. Les XVIe et XVIIe siècles, 5e ed., revue, corrigée et augmentée. Vol. IV: Histoire Générale des Civilisations / Maurice Crouzet, rèd. Paris: Presses Univ. de France, 1967.

Mukherjee, Ramkrishna. The Rise and Fall of the East India Company. New York: Monthly Review Press, 1974.

Munck, Thomas. The Economic and Social Position of Peasant Freeholders in Late Seventeenth-Century Denmark // Scandinavian Economic History Review, XXV, 1, 1977, 37–61.

Munktell, Henrik. Bergsmans- och Bruksförlag intill 1748 drs. Förlags-Förordning. Uppsala, Sweden: Almqvist & Wiksells, 1934.

Murray, R.K. The Anglo-Scottish Union // Scots Law Times, Nov. 4, 1961, 161–164.

Myska, Milan. Pre-Industrial Iron-Making in the Czech Lands // Past and Present, No. 82, Feb. 1979, 44–72.

Nadal, J. & Cirait, E. La population catalane de 1553 à 1717. Paris: S.E.V.P.E.N., 1960.

Naish, G.P.B. Ships and Shipbuilding // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, c1500–c1700 / C. Singer, et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 471–500.

Nef, John U. War and Human Progress: An Essay on the Rise of Industrial Civilisation. New York: W. W. Norton, 1968.

Nef, John U. Impact of War on Science and Technology // Fourth International Conference on Economic History, Bloomington, 1968. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 237–243.

Neguev, S. Le Proche-Orient précapitaliste // Khamsin, No. 2, 1975, 7–14.

Nelson, George H. Contraband Trade under the Asiento, 1730–1739 // American Historical Review, LI, 1, Oct. 1945, 55–67.

Neto, Paulo Elpidio de Menezes. Patrimonialisme rural et structure de domination au Brésil, à l'époque coloniale // Revista de ciências sociais, IV, 1, 1973, 93–107.

Nettels, Curtis P. The Manace of Colonial Manufacturing // New England Quarterly, IV, 2, Apr. 1931, 230–269.

Nettels, Curtis P. England and the Spanish American Trade, 1670–1775 // Journal of Modern History, III, 1, Mar. 1931, 1–32.

Nettels, Curtis P. England's Trade with New England and New York, 1685–1720 // Publications of the Colonial Society of Massachusetts, XXVIII, Feb. 1933, 322–350.

Nettels, Curtis P. British Mercantilism and the Economic Development of the Thirteen Colonies // Journal of Economic History, XII, 2, Spring 1952, 105–114.

Nichtweiss, Johannes. Zur Frâge des zweiten Liebeigenschaft und des sogennanten preus- sischen Weges der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft Ostdeutschlands // Zeitschrift für Geschichtswissenshaft, I, 5, 1953, 687–717.

Nichtweiss, Johannes. Antwort an Jürgen Kuczynski, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, II, 3, 1954, 471–476.

Nichtweiss, Johannes. Zu strittigen Frâgen der sogenannten zweiten Leibeigenschaft in Mitteleuropa: Zusammenfassung eines Artikels von Benedykt Zientara // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, IV, 4, 1956, 750–754.

Nichtweiss, Johannes. Einige Bemerkungen zum Artikel von G. Heitz 'Zur Diskussion über Gutscherrschaft und Bauernlegen in Mecklenburg' // Zeitschrift für Wirtschaftgeschichte, V, 4, 1957, 804–817.

Nielsen, Axel. Dänische Wirtschaftsgeschichte. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1933.

Nordmann, Claude J. Monnaies et finances suédoises au XVIIe siècle // Revue du Nord, XLVI, No. 183, oct.-déc. 1964, 469–488.

Nordmann, Claude J. Grandeur et liberté de la Suède (1660–1792). Paris: Béatrice-Nauwelaerts, 1971.

Nordmann, Claude J. L'armée suédoise au XVIIe siècle // Revue du nord, LIV, No. 213, avr.-juin 1972, 133–147.

North, Douglass C. Innovation and Diffusion of Technology. A Theoretical Framework // Fourth International Conference on Economic History, Bloomington 1968. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 223–231.

North Douglas C. & Thomas, Robert Paul. The Rise of the Western World. Cambridge: University Press, 1973.

Oberem, U. Zur Geschichte des Lateinamerikanschen Landarbeiters: Conciertos und Huasipungueros in Ecuador // Anthropos, LXII, 5/6, 1967, 759–788.

Ochmanski, Jerzy. La situation économico-sociale et la lutte de classes des paysans dans les domaines royaux (Ekonomie) de Kobryn dans la deuxième moitié du XVI-ème et dans la première moitié du XVII-ème siècle // Roczniki dziejôw spo-tecznych igospodarczych, XIX, 1957, 89–90.

O'Farrell, Patrick. Ireland's English Question. New York: Schocken, 1971.

Ogg, David. The Emergence of Great Britain as a World Power // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 254–283.

Öhberg, Arne. Russia and the World Market in the Seventeenth Century // Scandinavian Economic History Review, III, 2, 1955, 123–162.

Ónody, Oliver. Quelques aspects historiques de l'économie de l'or brésilien // Revue internationale d'histoire de la banque, IV, 1971, 173–316.

Ormrod, David. Dutch Commercial and Industrial Decline and British Growth in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 36–43.

Ortiz, Fernando. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. New York: Knopf, 1947.

Osborn, Wayne S. Indian Land Retention in Colonial Metztiükn // Hispanic American Historical Review, LIII, 2, May 1973, 217–238.

Østerud, Øyvind. Configurations of Scandinavian Absolutism: The 17th Century in Comparative Perspective, paper given at the ISSC/MSH Symposium on Capitalism and the Rise of the National State in Europe, 16th–18th Centuries, Bellagio, Oct. 14–16, 1976.

Østerud, Øyvind. Agrarian Structures, Urban Networks and Political Development: The Cases of Early Modern Scandinavia, paper at IX World Congress of Sociology, Uppsala, August 14–19, 1978.

Ostrander, Gilman M. The Colonial Molasses Trade // Agricultural History, XXX, 2, Apr. 1956, 77–84.

Ostrander, Gilman M. The Making of the Triangular Trade Myth // William and Mary Quarterly, XXX, 4, Oct. 1973, 635–644.

Pach, Zsigmond Pál. Uber einige Probleme der Gutswirtschaft in Ungarn in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts // Second International Conference of Economic History, Aix-en-Provence, 1962. Paris & La Haye: Mouton, 1965, 222–235.

Pach, Zsigmond Pál. The Shifting of International Trade Routes in the 15th–17th Centuries // Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, XIV, 1968, 287–321.

Pach, Zsigmond Pál. Diminishing Share of East-Central Europe in the 17th Century International Trade // Acta Historica Academiae Scientarum Hungaricae, XVI, 1970, 289–306.

Pach, Zsigmond Pâl, The Role of East-Central Europe in International Trade (16th and 17th Centuries) // Etudes historiques 1970. I, Budapest: Akademiai Kiado, 1970, 217–264.

Pach, Zsigmond Pál. Favourable and Unfavourable Conditions for Capitalist Growth: The Shift of International Trade Routes in the 15th to 17th Centuries / F.C. Lane, ed. // Fourth International Conference on Economic History, Bloomington, 1968. Paris & La Haye: Mouton, 1973, 53–68.

Palmer, R.R. Questions de féodalité aux Etats-Unis // L'abolition de la féodalité dans le monde occidental. Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. du C.N.R.S., I, 1971, 348–356.

Pantaleão, Olga. A penetraçâo comercial da Inglaterra na América Espanhola de 1713 a 1783. São Paulo: n.p., 1946.

Pares, Richard. The Fxonomic Factors in the History of the Empire // Economic History Review VII, 2, May 1937, 119–144.

Pares, Richard. Yankees and Creoles: The Trade between North America and the West Indies before the American Revolution. London: Longmans, Green & Co., 1956.

Pares, Richard. Merchants and Planters // Economic History Review Supplement No. 4. Cambridge: University Press, 1960.

Pares, Richard. War and Trade in the West Indies, 1739–63. London: Frank Cass, 1963. (Original publication, 1936.)

Paris, Robert. Histoire du commerce de Marseille, V: De 1600 à 1789, Le Levant, gen. ed., Gaston Rambert. Paris: Lib. Pion, 1957.

Parker, Geoffrey. The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567–1659. Cambridge: University Press, 1972.

Parker, Geoffrey. The Emergence of Modern Finance in Europe // The Fontana History of Europe. II: The Sixteenth and Seventeenth Centuries. / C.M. Cipolla, ed. Glasgow: Collins, 1974, 527–594.

Parker, Geoffrey. War and Economic Change: The Economic Costs of the Dutch Revolt, paper at Sesta Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato, 3 magg. 1974.

Parker, Geoffrey. Why Did the Dutch Revolt Last Eighty Years? // Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., XXVI, 1976, 53–72.

Parker, Geoffrey. The 'Military Revolution,' 1560–1660 — A Myth? // Journal of Modern History, XLVIII, 2, June 1976, 195–214.

Parry, J.H. The Establishment of the European Hegemony: 1415–1715. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1961.

Parry, J.H. Transport and Trade Routes / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. // Cambridge Economic History of Europe. IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge: University Press, 1967, 155–219.

Patterson, R. Spinning and Weaving // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–cl700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 151–180.

Penson, Lillian M. The West Indies and the Spanish American Trade, 1713–1748 // Cambridge History of the British Empire, I / J. Holland Rose et al., eds. Cambridge: University Press, 1929, 330–345.

Pentland, H.C. Population and Labour Growth in Britain in the Eighteenth Century // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, IV: Demography and History / J.E.C. Eversley, ed. Paris & La Haye: Mouton, 1972, 157–189.

Perjés, G. Army Provisioning, Logistics and Strategy in the Second Half of the 17th Century // Acta Historica Academiae Scientarum Hungaricae, XVI, 1–2, 1970, 1–52.

Perrot, Jean-Claude. Genèse d'une ville moderne: Caen au XVIIIe siècle. Lille: Service de reproduction des thèses, Univ. de Lille III, 2 vol. 1974.

Petersen, E. Ladewig. The Crisis of the Danish Nobility, 1580–1660. Odense, Denmark: Odense Univ. Press, 1967.

Petersen, E. Ladewig. La crise de noblesse danoise entre 1580 et 1660 // Annales E.S.C., XXIII, 6, nov.-déc. 1968, 1237–1261.

Petersen, E. Ladewig. The Danish Cattle Trade During the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Scandinavian Economic History Review, XVIII, 1, 1970, 69–85.

Peterson, Mendel. The Funnel of Gold. Boston: Little-Brown, 1975.

Petraccone, Claudia. Napoli dal 1500 all'800: problemi di storia demografica e sociale. Napoli: Guida Ed., 1974.

Petrie, Sir Charles. The Jacobite Movement, 3rd ed., revised one volume. London: Eyre & Spottiswoode, 1958.

Phelan, John L. Free Versus Compulsory Labor. Mexico and the Philippines 1540–1648 // Comparative Studies in Society and History, I, 2, 1959, 189–201.

Phelan, John L. The Hispanization of the Philippines: Spanish Aims and Filipino Responses, 1565–1700. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1967.

Phelan, John L. Review of John Lynch, Spain Under the Habsburgs. II: Spain and America, 1598–1700 // Journal of Latin American Studies, II, 2, Nov. 1970, 211–213.

Piel, Jean. Capitalisme agraire au Pérou. I: Originalité de la société agraire péruvienne au XIXe siècle. Paris: Ed. Anthropos, 1975.

Pillorget, René. Les problèmes monétaires français de 1602 à 1689, XVIIe siècle, No. 70–71, 1966, 107–130.

Pillorget, René, Les mouvements insurrectionnels de Provence entre 1596 et 1715. Paris: Ed. A, Pedone, 1975.

Pinkham, Lucille. William of Orange: Prime Mover of the Revolution // The Revolution of 1688: Whig Triumph or Palace Revolution? / Gerald M. Straka, ed. Boston: D.C. Heath, 1963, 77–85. (Originally in William III and the Respectable Revolution, 1954.)

Pirenne, Henri. Histoire de Belgique, Vols. IV, V. Bruxelles: Henri Lamertin, Libr.-Ed., 1920.

Pitt, H.G. The Pacification of Utrecht // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1715125 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 446–479.

Piuz, Anne-Marie. Politique économique à Geneve et doctrine mercantiliste (vers 1690–1740), paper delivered at V International Congress of Economic History, Leningrad, 10–14 Aug. 1970.

Piuz, Anne-Marie. Alimentation populaire et sous-alimentation au XVIIe siècle: Le cas de Genève et sa région // Pour une histoire de l'alimentation / Jean-Jacques Hémardinquier, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1970, 129–145. (Originally in Revue suisse d'histoire, 1968.)

Plumb, J.H. England in the Eighteenth Century (1714–1815), Vol. 7 // The Pelican History of England. London: Penguin, 1950.

Plumb, J.H. Introduction // The Dutch Seaborne Empire, 1600–1800 / C.R. Boxer. New York: Knopf, 1965, xiii–xxvi.

Plumb, J.H. The First Four Georges. Glasgow: Fontana Collins, 1966.

Plumb, J.H. The Origins of Political Stability: England, 1675–1725. Boston: Massachusetts: Houghton Mifflin, 1967.

Plumb, J.H. The Growth of the Electorate in England from 1600 to 1715 // Past and Present, No. 45, Nov. 1969, 90–116.

Pohl, Hans. Das Textilgewerbe in Hispanoamerika während der Kolonialzeit // Vierteljahrschriftfür Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, LVI, 4, Dez. 1969, 438–477.

Poisson, Jean-Paul. Introduction à une étude quantitative des effects socio-économiques du système de Law // Journal de la Société de Statistique de Paris, 115e annee. No. 3, 3e trimestre 1974, 260–280.

Poitrineau, Abel. L'alimentation populaire en Auvergne au XVIIIe siècle // Pour une histoire de l'alimentation / Jean-Jacques Hémandinquier, réd. Paris: Lib. Armand Colin, 1970, 146–193. (Originally in Annales E.S.C., 1962.)

Polisensky, J.V. The Thirty Years' War // Past and Present, No. 6, Nov. 1954, 31–43.

Polisensky, J.V. The Thirty Years' War and the Crises and Revolutions of Seventeenth- Century Europe // Past and Present, No. 39, Apr. 1968, 34–43.

Polisensky, J.V. The Thirty Years' War. Berkeley: Univ. of California Press, 1971.

Polisensky, J.V. War and Society in Europe, 1618–1648. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978.

Poni, Carlo. All'origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell'Italia settentrionale (sec. XVII–XVIII) // Rivista storica italiana, LXXXVIII, 3, 1976, 444–497.

Ponsot, Pierre. En Andalousie occidentale: Les fluctuations de la production du blé sous l'Ancien Régime // Etudes rurales, No. 34, avr.-juin 1969, 97–112.

Postel-Vinay, Gilles. La rente foncière dans le capitalisme agricole. Paris: Maspéro, 1974.

Price, Derek J. The Manufacture of Scientific Instruments from cl500–cl700 // A History of Technology. III: From the Renaissame to the Industrial Revolution, cl500–cl700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1957, 620–647.

Price, Jacob M. The Rise of Glasgow in the Chesapeake Tobacco Trade, 1707–1775 // William and Mary Quarterly, 3rd ser., XI, 2, Apr. 1954, 179–199.

Price, Jacob M. Multilateralism and/or Bilateralism: The Settlement of British Trade Balances with 'The North', cl700 // Economic History Review, 2nd ser., XIV, 2, 1961, 254–274.

Price, Jacob M. The Tobacco Adventure to Russia: Enterprise, Politics and Diplomacy in the Quest for a Northern Market for English Colonial Tobacco, 1676–1722 // Transactions of the American Philosophical Society, n.s., LI, I, Mar. 1961.

Price, Jacob M. The Economic Growth of the Chesapeake and the European Market, 1697–1775 // Journal of Economic History, XXIV, 4, Dec. 1964, 496–511.

Prickler, Harald. Das Volumen des westlichen ungarischen Aussenhandels vom 16. Jahrhundert bis 1700 / O. Pickl, her. // Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege, Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, I. Graz: 1971, 131–144.

Priestley, Margaret. Anglo-French Trade and the 'Unfavorable Balance' Controversy, 1600–1685 // Economic History Review, 2nd ser., IV, 1, 1951, 37–52.

Procacci, Giulio. Italy: Commentary / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth-Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 27–28.

Quencez, G. Vocabulurum geographicum. Bruxelles: Presses Académiques Européennes, 1968.

Rabb, Theodore K. Puritanism and the Rise of Experimental Science in England, review article // Cahiers d'histoire mondiale, VII, 1, 1962, 46–67.

Rabb, Theodore K. The Effects of the Thirty Years' War on the German Economy // Journal of Modern History, XXXIV, 1, Mar. 1962, 40–51.

Rabb, Theodore K. Sir Edwin Sandys and the Parliament of 1604 // American Historical Review, LXIX, 3, Apr. 1964, 646–670.

Rabb, Theodore K. Free Trade and the Gentry in the Parliament of 1604 // Past and Present, No. 40, 1968, 165–173.

Rabb, Theodore K. The Struggle for Stability in Early Modern Europe. London & New York: Oxford Univ. Press, 1975.

Rabe, Hannah. Aktienkapital und Handelsinvestitionen im Überseehandeides 17. Jahrhunderts // Viertelfahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLIX, 3, 1962, 320–368.

Rachel, Hugo. Die Handels-, Zoll- und Akzisepolitik Brandenburg-Preussens bis 1713 // Acta Borussia. Die einzelnen gebilte des Verwaltung. Handels-, Zoll- und Akzisepolitik, I, Berlin: P. Parey, 1911.

Rambert, Gaston. De 1660 à 1789 // Histoire du commerce de Marseille, IV: De 1599 à 1789, Gaston Rambert, gen. ed. Paris: Lib. Pion, 1954, 193–683.

Rambert, Gaston. Préface to Robert Paris // Histoire du commerce de Marseille, V: De 1660 á 1789, Le Levant. Paris: Lib. Pion, 1957, i-vi.

Rambert, Gaston. La France et la politique de l'Espagne au XVIIIe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine, VI, oct.-déc. 1959, 269–288.

Rapp, Richard Tilden. The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial Revolution // Journal of Economic History, XXXV, 3, Sept. 1975, 499–525.

Rapp, Richard Tilden. Industry and Economic Decline in Seventeenth-Century Venice. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1976.

Raychaudhuri, Tapan. Jan Company in Coromandel, 1605–1690. A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economics, Verhandelingen van

het Koninglijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 38. 's-Gravenhâge: Martinus Nijhoff, 1962.

Reddaway, W.F. The Scandinavian North // Cambridge Modern History, IV: The Thirty Years' War / A.W. Ward et al., eds. Cambridge: University Press, 1906, 560–591.

Redlich, Fritz. Entrepreneurship in the Initial Stages of Industrialization // Weltwirtschaftliches Archiv, LXXV, 1955, 59–106.

Redlich, Fritz. Contributions in the Thirty Years' War // Economic History Review, 2nd ser., XIX, 2, 1959, 247–254.

Reed, Clyde G. Transactions Costs and Differential Growth in Seventeenth-Century Western Europe // Journal of Economic History, XXXIII, 1, Mar. 1973, 177–190.

Rees, J.F. The Phases of British Commercial Policy in the Eighteenth Century // Economica, V, No. 14, June 1925, 130–150.

Rees, J.F. Mercantilism and the Colonies // Cambridge History of the British Empire, I / J. Holland Rose et al. Cambridge: University Press, 1929, 561–602.

Reinhard, Marcel R. & Armengaud, Armand. Histoire générale de la population mondiale. Paris: Ed. Montchrestien, 1961.

Renier, G.J. The Dutch Nation: An Historical Study. London: Geo. Allen & Unwin, 1944.

Revah, I.S. Les marranes // Revue des études juives, 3e ser., I (CXVIII), 1959–1960, 29–77.

Rich, E.E. The First Earl of Shaftsbury's Colonial Policy // Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser., VII, 1957, 47–70.

Rich, E.E. Europe and North America // New Cambridge Modern History, V: The Ascendancy of France, 1648–88 / F.L. Carsten, ed. Cambridge: University Press, 1961, 330–368.

Rich, E.E. Montreal and the Fur Trade. Montreal: McGill Univ. Press, 1966.

Rich, E.E. Colonial Settlement and Its Labour Problems / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. // The Cambridge Economic History of Europe. IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Cambridge: University Press, 1967, 308–373.

Richet, Denis. Croissance et blocâges en France du XVe au XVIIIe siècle // Annales E.S.C., XXIII, 4, juil.-août 1968, 759–787.

Richet, Denis. Economic Growth and its Setbacks in France from the Fifteenth to the Eighteenth Century / Marc Ferro, ed. // Social Historians in Contemporary France. New York: Harper & Row, 1972, 180–21 1. (Translated from Annales E.S.C., 1968)

Richmond, Vice-Admiral Sir H. National Policy and Naval Strength and Other Essays. London: Longmans, Green & Co., 1928.

Riemersma, Jelle C. Government Influence on Company Organization in Holland and England (1550–1650) // Journal of Economic History, Supplement X, 1950, 31–39.

Riley, P.W.J. The Union of 1707 as an Episode in English Politics // English Historical Review, LXXXIV, No. 332, July 1969, 498–527.

Ringrose, D.R. European Economic Growth: Comments on the North-Thomas Theory // Economic History Review, 2nd ser., XXVI, 2, May 1973, 285–292.

Robert, Daniel. Louis XIV et les protestants, XVIIe siècle, No. 76–77, 1967, 39–52.

Roberts, Michael. Gustavus Adolphus, 2 vol. London: Longmans, Green, & Co., 1953, 1958.

Roberts, Michael. Cromwell and the Baltic // English Historical Review, LXXVI, No. 300, July 1961, 402–446.

Roberts, Michael. Queen Christina and the General Crisis of the Seventeenth Century // Past and Present, No. 22. July 1962, 36–59.

Roberts, Michael. Charles XI // Essays in Swedish History. London: Weidenfeld & Nicolson, 1967, 226–268. (Originally in History, 1965.)

Roberts, Michael. Sweden and the Baltic, 1611–54 // New Cambridge Modern History, IV: The Decline of Spain and the Thirty Years' War, 1609–49/59, J.P. Cooper, ed. Cambridge: University Press, 1970, 385–410.

Roberts, Michael. Introduction, in M. Roberts, ed., Sweden's Age of Greatness 1632–1718 New York: St. Martin's Press, 1973, 1–19.

Roberts, Michael. The Swedish Church / M. Roberts, ed. // Sweden's Age of Greatness 1632–1718. New York: St. Martin's Press, 1973, 132–173.

Roebuck, P. Absentee Landownership in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries: A Neglected Factor in English Agrarian History // Agricultural History Review, XXI 1 1973, 1–17.

Roehl, Richard. French Industrialization: A Reconsideration, Explorations // Economic History XIII, 3, July 1976, 233–281.

Roessingh, H.K. Inland Tobacco: Expansion and Contraction of a Cash Crop in the 17th and 18th Centuries in the Netherlands, A.A.G. Bijdragen, No. 20, 1976, 498–503.

Romano, Ruggiero. Documenti e prime considerazioni intorno alla 'Balance du commerce' della Francia dal 1716 al 1780 // Studi in onore di Armando Sapori II. Milano: Istituto Edit. Cisalpino, 1957, 1265–1300.

Romano, Ruggiero. Une économie coloniale: le Chili au XVIIIe siècle // Annales E.S.C., XV, 2, mars-avr. 1960, 259–285.

Romano, Ruggiero. Tra XVIe XVII secolo, una crisi economica: 1619–1622 // Rivista storica italiana, LXXIV, 3, 1962, 480–531.

Romano, Ruggiero. L'Italia nella crisi del secolo XVII // Studi storici, IX, 3–4, lugl.-dic. 1968, 723–741.

Romano, Ruggiero. Sens et limites de T'industrie' minière en Amérique espagnole du XVIe au XVIIIe siècle // Journal de la Société des Américanistes, LIX, 1970, 129–143.

Romano, Ruggiero. L'Italia nella crisi del secolo XVII // Tra due crisi: L'Italia del Rinascimento. Torino: Piccola Bibl. Einaudi, 1971, 186–206. (Originally in Studi storici, 1968.)

Romano, Ruggiero. Italy in the Crisis of the Seventeenth Century // Essays in European Economic History 1500–1800 / Peter Earle, ed. Oxford: Clarendon Press, 1974, 185–198. (Translated from Studi storici, 1968.)

Romero de Solís, Pedro. La poblacion espanola en los siglos XVIII y XIX. Madrid: Siglo XXI de Espana, 1973.

Roorda, D.J. The Ruling Classes in Holland in the Seventeenth Century // Britain and the Netherlands, II / J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds. Groningen: J.B. Wolters, 1964, 109–132.

Roorda, D.J. Party and Faction // Acta Historiae Neerlandica, II, 1967, 188–221.

Roos, Hans-Edvard. Origin of Swedish Capitalism // Economy and History, XIX, 1, 1976, 49–65.

Rosén, Jerker. Scandinavia and the Baltic // New Cambridge Modern History. V: The Ascendancy of France, 1648–88 / F.L. Carsten, ed. Cambridge: University Press, 1961, 519–42.

Rosenberg, Hans. Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience, 1660–1815. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1958.

Roseveare, Henry. The Treasury: The Evolution of a British Instititon. New York: Columbia Univ. Press, 1969.

Roseveare, Henry. Government Financial Policy and the Market in Late Seventeenth-Century England, Ottava VIII. Settimana di Studio, Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini, Prato, 8 magg. 1976.

Rostworowski, Emanuel. The Crisis of Sovereignty (1697–1763) / A. Gieysztor et al. // History of Poland. Warszawa: PWN, 1968, 313–337.

Rowen, Herbert. The Revolution That Wasn't: The Coup d'Etat of 1650 in Holland // European Studies Review, IV, 2, Oct. 1974, 99–117.

Rubini, Dennis. Politics and the Battle for the Banks, 1688–1697 // English Historical Review, LXXXV, No. 337, Oct. 1970, 693–714.

Ruiz Martin, Felipe. La banca en Espana hasta 1782 // El banco de Espana: Una historia economica / F. Ruiz Martin et al. Madrid: Banco de Espana, 1970, 1–196.

Rule John C. Louis XIV, Roi-Bureaucrate // Louis XIV and the Craft of Kingship / John C. Rule, ed. Columbus: Ohio State Univ. Press, 1969, 3–101.

Rusche, G. and Otto Kirchheimer. Punishment and Social Structure. New York: Columbia Univ. Press, 1939.

Rusiński, Władysław. Hauptprobleme der Fronwirtschaft im 16. bis 18, Jhd. in Polen und den Nachbarländern // First International Conference of Economic History, Stockholm, August 1960. Contributions. Paris & La Haye: Mouton, 1960,415–423.

Rusiński, Władysław. Strukturwandlungen der bäuerlichen Bevölkerung Polens im 16.–18. Jahrhundert // Studio Historiae Oeconomicae, VII, 1972, 99–119.

Rusiński, Władysław. Über die Entwicklungsetappen der Fronwirtschaft in Mittel- und Osteuropa // Studio Historiae Oeconomicae, IX, 1974, 27–45.

Rutkowski, Jan. Le régime agraire en Pologne au XVIIIe siècle // Revue d'histoire économique et social, XIV, 4, 1926, 473–505: XV, 1, 1927, 66–103.

Rutkowski, Jan. Histoire économique de la Pologne avant les partages. Paris: H. Champion, 1927.

Ruwet, Joseph. Prix, production et bénéfices agricoles. Le pays de Liège au XVIII siècle // Cahiers d'histoire des prix, II, 1957, 69–108.

Saalfeld, Diedrich. Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustriellen Zeit. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1960.

Sagnac, Philippe. Le crédit de l'Etat et les banquiers à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle // Revue d'histoire moderne et contemporaine, X, No. 4–5, juin-juil. 1908, 257–272.

Salaman, Redcliffe N. The History and Social Influence of the Potato. Cambridge: University Press, 1949.

Salin, Edgar. European Entrepreneurship // Economic History Review, 2nd ser., XII, 4, Fall 1952, 366–377.

Salmon, J.H.M. Venality of Office and Popular Sedition in Seventeenth-Century France // Past and Present, No. 37, July 1967, 21–43.

Samuelsson, Kurt. From Great Power to Welfare State. London: Geo. Allen & Unwin, 1968.

Sandberg, Lars S. Monetary Policy and Politics in Mid-Eighteenth Century Sweden: A Comment // Journal of Economic History, XXX, 3, Sept. 1970, 653–654.

Sayous, André-E. L'affaire de Law et les Génevois // Zeitschrift für schweizerische Geschichte, XVII, 3, 1937, 310–340.

Scammell, G.V. Shipowning in the Economy and Politics of Early Modern England // Historical Journal, XV, 3, 1972, 385–407.

Scelle, Georges. The Slave-Trade in the Spanish Colonies of America: the Assiento // American Journal of International Law, IV, 3, July 1910, 612–661.

Schmoller, Gustav. The Mercantile System and its Historical Significance. New York: MacMillan, 1897. (Reprinted Augustus M. Kelley Publ., 1967)

Schöffer, Ivo. Did Holland's Golden Age Coincide With a Period of Crisis? // Acta Historiae Neerlandica, I, 1966, 82–107.

Schöffer, Ivo. A Short History of the Netherlands. 2nd rev. ed. Amsterdam: Allert de Lange bv, 1973.

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism, and Democracy. London: Geo. Allen & Unwin, 1943.

Schwartz, Stuart B. The Mocambo: Slave Resistance in Colonial Bahia // Journal of Social History, III, 4, Summer 1970, 313–333.

Schwartz, Stuart B. Free Labor in a Slave Economy: The Lavradores de Cana of Colonial Bahia // Colonial Roots of Modern Brazil / Dauril Alden, ed. Berkeley: Univ. of California Press, 1973, 147–197.

Schwartz, Stuart B. The Manumission of Slaves in Colonial Brazil: Bahia, 1684–1745 // Hispanic American Historical Review, LVII, 4, Nov. 1974, 603–635.

Scoville, Warren C. The Huguenots and the Diffusion of Technology // Journal of Political Economy, LX, 4, Aug. 1952, 294–311; LX, 5, Oct. 1952, 392–411.

Scoville, Warren C. The Persecution of Huguenots and French Economic Development, 1680–1720. Berkeley: Univ. of California Press, 1960.

See, Henri. Remarques sur le caractère de l'industrie rurale en France et les causes de son extension au XVIIIe siècle // Revue historique, CXLII, I, janv.-févr. 1923, 47–53.

Seeley, J.A. The Expansion of England / by John Gross, ed. Chicago, Illinois: Univ. of Chicago Press, 1971. (Originally published in 1883.)

Sella, Domenico. The Rise and Fall of the Venetian Woollen Industry // Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / Brian Pullan, ed. London-Methuen, 1968, 106–126.

Sella, Domenico. Industrial Production in Seventeenth-Century Italy: A Reappraisal, Explorations in Entrepreneurial History, VI, 3, Spring-Summer 1969, 235–253.

Sella, Domenico. European Industries, 1500–1700 / C.M. Cipolla, ed. // The Sixteenth and Seventeenth Centuries, II, Glasgow: Collins, 1974, 354–412.

Sella, Domenico. The Two Faces of the Lombard Economy in the Seventeenth Century / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitims to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth-Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, I 1–15.

Semo, Enrique, Historia del capitalismo en México: Los orígenes/ 1521–1763. Mexico City: Ed. Era, 1973.

Sereni, Emilio. Storia del paesaggio agraria italiano. Bari, Italy: Laterza, 1961.

Sheridan, Richard B. The Molasses Act and the Market Strategy of the British Sugar Planters // Journal of Economic History, XVII, 1, 1957, 62–83.

Sheridan, Richard B. The Wealth of Jamaica in the Eighteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XVIII, 2, Aug. 1965, 292–311.

Sheridan, Richard B. The Wealth of Jamaica in the Eighteenth Century: A Rejoinder // Economic History Review, 2nd ser., XXI, I, Apr. 1968, 46–61.

Sheridan, Richard B. The Plantation Revolution and the Industrial Revolution, 1625–1775 // Caribbean Studies, IX, 3, Oct. 1969, 5–25.

Sideri, S. Trade and Power: Informal Colonialism in Anglo-Portuguese Relations. Rotterdam: Rotterdam Univ. Press, 1970.

Silbert, Albert. Un carrefour de l'Atlantique: Madère (1640–1820), Economias e Finanças, ser. 2, XXII, 1954, 389–443.

Simiand, François. Les fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale. Paris: Lib. Felix Alcan, 1932.

Simiand, François. Recherches anciennes et nouvelles sur te mouvement général des prix du 16e au 19e siècle. Paris: Ed. Domat-Montchrestien, 1932.

Simpson, Leslie Boyd. Mexico's Forgotten Century // Pacific Historical Review, XXII, 2, May 1953, 113–121.

Singh, O.P. Sural and its Trade in the Second Half of the 17th Century. Delhi: Univ. of Delhi, 1977.

Skazkine, S. Sur la genèse du capitalisme dans l'agriculture de l'Europe occidentale // Recherches internationales à la lumière du marxisme. No. 37, Le féodalisme, mai-juin 1963, 191–202.

Slicher van Bath, B.H. Agriculture in the Low Countries (ca. 1600–1800) // X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma, 4–11 settembre 1955. Relazioni, IV: Storia Moderna. Firenze: G.C. Sansoni-Ed., 1955, 169–203.

Slicher van Bath, B.H. The Rise of Intensive Husbandry in the Low Countries / J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds. // Britain and the Netherlands. London: Chatto & Windus, 1960, 130–153.

Slicher van Bath, B.H. The Agrarian History of Western Europe, A.D. 500–1850. London: Edw. Arnold, 1963.

Slicher van Bath, B.H. Yield Ratios, 810–1820 // A.A.G. Bijdragen, No. 10, 1963.

Slicher van Bath, B.H. Les problèmes fondamentaux de la société préindustrielle en Europe occidentale: Une orientation et un programme // A.A.G. Bijdragen, No. 12, 1965, 3–46.

Slicher van Bath, B.H. Die europäischen Agrarverhältnisse im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, A.A.G. Bijdragen, No. 13, 1965, 134–148.

Slicher van Bath, B.H. Eighteenth-Century Agriculture on the Continent of Europe: Evolution or Revolution? // Agricultural History, XLIII, 1 Jan. 1969, 169–179.

Slicher van Bath, B.H. Agriculture in the Vital Revolution, in Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1977, 42–132.

Sluiter, Engel. Dutch-Spanish Rivalry in the Caribbean Area, 1594–1609 // Hispanic American Historical Review, XXVIII, 2, May 1948, 165–196.

Smelser, Neil J. Social Change in the Industrial Revolution. London: Routledge & Kegan Paul, 1959.

Smit, J.W. The Netherlands and Europe in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Britain and the Netherlands in Europe and Asia / J.S. Bromley & E.H. Kossmann, eds. London: Macmillan, 1968, 13–36.

Smit, J.W. Holland: Commentary // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland / Frederick Krantz & Paul W. Hohenberg, eds. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 61–63.

Smith, C.T. An Historical Geography of Western Europe Before 1800. London: Longmans, 1967.

Smout, T.C. The Development and Enterprise of Glasgow, 1556–1707 // Scottish Journal of Political Economy, VII, 3, 1960, 194–212.

Smout, T.C. Scottish Trade on the Eve of the Union, 1660–1707. Edinburgh: Oliver & Boyd, 1963.

Smout, T.C. Scottish Landowners and Economic Growth, 1650–1850 // Scottish Journal of Political Economy, XI, 1, Feb. 1964, 218–234.

Smout, T.C. The Anglo-Scottish Union of 1707. I: The Economic Background // Economic History Review, 2nd ser., XVI, 3, Apr. 1964, 455–467.

Smout, T.C. & Alexander Fenton. Scottish Agriculture Before the Improvers — An Exploration // Agricultural History Review, XIII, 2, 1965, 73–93.

Sombart, Werner. Hausindustrie, Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2nd ed. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1900, IV, 1138–1169.

Soom, Arnold. Der Kampf der baltischen Städte gegen das Fremdkapital im 17. Jahrhundert // Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLIX, 4, 1962, 433–458.

Spengler, Joseph, J. Mercantilist and Physiocratic Growth Theory // Theories of Economic Growth / Bert F. Hoselitz, ed. New York: Free Press, 1960, 3–64.

Sperling, J. The International Payments Mechanism in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Economic History Review, 2d ser., XIV, 3, 1962, 446–468.

Špiesz, Anton. Czechoslovakia's Place in the Agrarian Development of Middle and East Europe of Modern Times // Studia Historica Slovaca, VI, 1969, 7–62.

Spooner, Frank C. L'économie mondiale et les frappes monétaires en France, 1493–1680. Paris: Lib. Armand Colin, 1956.

Spooner, Frank C. The European Economy, 1609–50 // New Cambridge Modem History. IV: The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609–48/59 / J.P. Cooper, ed.Cambridge: University Press, 1970, 67–103.

Stark, Werner. Die Abhängigkeitsverhältnisse der gutsherrlichen Bauern Böhmens im 17. und 18. Jahrhundert // Jahrbucher für Nationalökonomie und Statistik, CLXIV, 4, Juli 1952, 270–92: 5, Sept. 1952, 348–374.

Steensgaard, Niels. The Economic and Political Crisis of the Seventeenth Century, paper delivered at XIII International Congress of Historical Sciences, Moscow, Aug. 16–23, 1970.

Stefanescu, St., Mioc, D. & Chirca, H. L'évolution de la rente féodale en travail en Valachie et en Moldavie aux XIVe–XVIIIe siècles // Revue roumaine d'histoire, I, 1, 1962, 39–60.

Stoianovich, Traian. Pour un modèle du commerce du Levant: Economie concurrentielle économie de bazar, 1500–1800 // Bulletin de l'Association Internationale d'Etudes du Sud F Européen, XII, 2, 1974, 61–120.

Stols, E. The Southern Netherlands and the Foundation of the Dutch East and West India Companies // Acta Historiae Neerlandica, IX, 1976, 30–47

Stone, Lawrence. Social Mobility in England, 1500–1700 // Past and Present, No. 33, Apr 1966, 16–55.

Stone, Lawrence. Literacy & Education in England, 1640–1900 // Past and Present, No. 42, feb. 1969, 69–139.

Stone, Lawrence. The Causes of the English Revolution, 1529–1642. London: Routledge & Kegan Paul, 1972.

Stork-Penning, J.G. The Ordeal of the States — Some Remarks on Dutch Politics During the War of the Spanish Succession // Acta Historiae Neelandica, II, 1967, 107–141.

Stoye, J.W. The Austrian Habsburgs // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 572–607.

Stoye, J.W. Armies and Navies. 2. Soldiers and Civilians // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1725 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 762–790.

Stradling, R.A. Seventeenth Century Spain: Decline or Survival? // European Studies Review, IX, 2, Apr. 1979, 157–194.

Strong, Frank. The Causes of Cromwell's West Indian Expedition // American Historical Review, IV, 2, Jan. 1899, 228–245.

Supple, Barry E. Thoman Mun and the Commercial Crisis, 1623 // Bulletin of the Institute of Historical Research, XXVII, No. 75, May 1954, 91–94.

Supple, Barry E. Currency and Commerce in the Early Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., X, 2, 1957, 239–255.

Supple, Barry E. Commercial Crisis and Change in England 1600–42. Cambridge: University Press, 1959.

Supple, Barry E. The State and the Industrial Revolution // The Fontana Economic History of Europe, III. The Industrial Revolution / C.M. Cipolla, ed. Glasgow: Collins, 1973, 301–357.

Supple, Barry E. The Nature of Enterprise // Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1977, 394–461.

Sutherland, Lucy S. The East India Company in Eighteenth Century Politics. Oxford: Clarendon Press, 1952.

Sutherland, Lucy S. The City of London in Eighteenth-Century Politics // Essays Presented to Sir Lewis Namier / Richard Pares & A.J.P. Taylor, eds. London: Macmillan, 1956, 49–74.

Swart, K.W. Holland's Bourgeoisie and the Retarded Industrialization of the Netherlands / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies. 1975, 44–48.

Sweezy, Paul. Karl Marx and the Industrial Revolution // Modern Capitalism and Other Essays. New York: Monthly Review Press, 1972, 127–146. (Originally in Robert V. Eagly, ed. Events, Ideology and Economic Theory, 1968.)

Sweezy, Paul. Marx and the Proletariat // Modern Capitalism and Other Essays. New York: Monthly Review Press, 1972, 147–165. (Originally in Monthly Review, 1967.)

Symcox, Geoffrey. The Crisis of the French Sea Power 1688–1697. From the Guerre d'Escadre to the Guerre de Course. The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.

Szczygielski, Wojciech. Le rendement de la production agricole en Pologne du XVIe au XVIIe siècle sur le fond européen // Ergon. V, supplement to Kwartalnik historii kultury materialnej, XIV, 4, 1966, 745–803.

Szczygielski, Wojciech. Die ökonomische Aktivität des polnischen Adels im 16.–18. Jahrhundert // Studia Historiae Economicae, II, 1967, 83–101.

Takahashi, H.K. The Transition from Feudalism to Capitalism, A Contribution to the Sweezy-Dobb Controversy // Science and Society, XVI, 4, Fall 1952, 313–345.

Tapie, Victor-Lucien. Les officiers seigneuriaux dans la société française du XVIIe siècle, XVIIe siècle, Nos. 42–43, 1er trimestre 1959, 118–140.

Tapié, Victor-Lucien. Quelques aspects généraux de la politique étrangère de Louis XIV, XVIIe siècle, Nos. 46–47, 1-2e trimestres 1960, 1–28.

Tapié, Victor-Lucien. The Rise and Fall of the Habsburg Monarchy. New York: Praeger, 1971.

Tawney, R.H. A History of Capitalism, review of M.H. Dobb, Studies in the Development of Capitalism // Economie History Review, 2nd ser., II, 3, 1950, 307–316.

Taylor. A.J.P. The Course of German History. New York: Coward-McCann, 1946.

Taylor, George V. Types of Capitalism in Eighteenth-Century France // English Historical Review, LXXIX, No. 312, July 1964, 478–497.

Taylor, Harland. Trade. Neutrality and the 'English Road', 1630–1648 // Economic History Review, 2nd ser., XXV, 2, May 1972, 236–260.

Tazbir, Janusz. Recherches sur la conscience nationale en Pologne au XVIe siècle // Acta Poloniae Historica, No. 14, 1966, 5–22.

Tazbir, Janusz. The Commonwealth at the Turning Point (1586–1648) / A. Gieysztor et al. // History of Poland. Warszawa: PWN, 1968, 208–241.

Tazbir, Janusz. The Commonwealth in the Years of Crisis (1648–1696) / A. Gieysztor et al. // History of Poland. Warszawa: PWN, 1968, 242–312.

Temperley, Harold W.V. The Âge of Walpole and the Pelhams // Cambridge Modem History. VI: The Eighteenth Century. Cambridge: University Press, 1909, 40–89.

Temperley, Harold W.V. The Causes of the War of Jenkins' Ear, 1739 // Transactions of the Royal Historical Society, 3rd ser., III, 1909, 197–236. (Reprinted in Ian R. Christie, ed., Essays in Modern History, 1968.)

Temperley, Harold W.V. Foreword to Jean O. McLachlan, Trade and Peace with Old Spain, 1667–1750. Cambridge: University Press, 1940, ix–xi.

Teuteberg, H.J. The General Relationship between Diet and Industrialization // European Diet from Pre-Industrial to Modern Times / Elborg & Robert Forster, eds. New York: Harper & Row (Torchbooks), 1975, 61–109.

Thirsk, Joan. The Restoration Land Settlement // Journal of Modern History, XXVI, 4, Dec. 1954, 315–328.

Thirsk, Joan. Industries in the Countryside // Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England / F.J. Fisher, ed. Cambridge: University Press, 1961, 70–88.

Thirsk, Joan. Seventeenth-Century Agriculture and Social Change // Agricultural History Review, XVIII, 1970, Supplement: Joan Thirsk, ed. // Land, Church and People, 148–177.

Thirsk, Joan. New Crops and Their Diffusion: Tobacco-growing in Seventeenth-century England // Rural Change and Urban Growth. 1500–1800 / C.W. Chalklin & M.A. Havinden, eds. London: Longmans, 1974, 76–103.

Thirsk, Joan. The Restoration. London: Longmans, 1976.

Thomas, P.J. Mercantilism and the East India Trade. London: Frank Cass, 1963.

Thomas, Robert Paul. The Sugar Colonies of the Old Empire: Profit or Loss for Great Britain? // Economic History Review, 2nd ser., XXI, 1, Apr. 1968, 30–45.

Thompson, E.P. Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism // Past and Present, No. 38, Dec 1967, 56–97.

Thompson, E.P. Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act. New York: Pantheon, 1975.

Thompson, F.M.L. The Social Distribution of Landed Property since the Sixteenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XIX, 3, Dec. 1966, 505–517.

Thomson, Mark A. The War of the Austrian Succession // New Cambridge Modern History, VII: The Old Regime, 1713–1763 / J.O. Lindsay, ed. Cambridge: University Press, 1966. 416–439.

Tilly, Charles. Reflections on the History of European State-Making // The Formation of National States in Western Europe / Charles Tilly, ed. Princeton, New Jersey: Princeton Univ. Press, 1975, 3–83.

Tomkiewicz, Władysław. Varsovie au XVIIes siècle // Acta Poloniae Historica, No. 15, 1967, 39–64.

Tonnesson, Kàre D. Les pays scandinaves // L'abolition de la féodalité dans le monde occidental. Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. Du N.R.S., I, 1971, 303–313 (plus Discussion, II, 719–721).

Topolska, Maria Barbara. Peculiarities of the Economic Structure of Eastern White Russia in the Sixteenth-Eighteenth Centuries // Studia Historiae Oeconomicae, VI, 1971, 37–49.

Topolski, Jerzy. Les tendances de l'évolution agraire de l'Europe Centrale et Orientale aux XVIe–XVIIIe siècles // Rivista di storia dell'agncoltura, VII, 2, giug. 1967, 107–119.

Topolski, Jerzy. L'économie rurale dans les biens de l'archèvèché de Gniezno depuis le 16e jusqu'au 18e siècle // Recherches internationales à la lumiere du marxisme, No. 63–64, 2e et 3e trimestre, 1970, 86–98.

Topolski, Jerzy. La reféodalisation dans l'économie des grands domaines en Europe centrale et orientale (XVIe–XVIIIe ss.) // Studia Historiae Oeconomicae, VI, 1971, 51–63.

Topolski, Jerzy. Economic Decline in Poland from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries // Essays in European Economic History, 1500–1800 / Peter M. Earle, ed. Oxford: Clarendon Press, 1974, 127–142. (Translated from Acta Poloniae Historica, 1962.)

Topolski, Jerzy. The Manorial Serf Economy in Central and Eastern Europe in the 16th and 17th Centuries, Agricultural History, XLVIII, 3, July 1974, 341–352.

Topolski, Jerzy. Commerce des denrées agricoles et croissance économique de la zone baltique aux XVIe et XVIIe siècles // Annales E.S.C., XXIX, 2, mars-avr. 1974, 425–436.

Torr, Dona. The English Revolution, I, Labour Monthly, XXIII, 2, Feb. 1941, 90–92.

Tremel, Ferdinand. Die österreichische Wirtschaft zwischen 1620 und 1740 // Österreich in Geschichte und Literatur, 1961, V, 166–181.

Treue, Wilhelm. Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Bruno Gebhardt, her. // Handbuch der deutschen Geschichte. II: Von der Reformation bis zum Ende des Absolutismus, 8th rev. ed. Stuttgart: Union Verlag, 1955, 366–436.

Treue, Wilhelm. Das Verhältnis von Fürst, Staat und Unternehmer in der Zeit des Merkantilismus // Vieteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XLIV, 1, 1957, 26–56.

Treue, Wilhelm. Wirtschaft, Gesellschaft und Technik in Deutschland von 16. bis zum 18. Jahrhundert. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1974.

Trevelyan, George Macauley. The Revolution as a Movement for Democratic Unification / Gerald M. Straka, ed. The Revolution of 1688: Whig Triumph or Palace Revolution? Boston: C. Heath, 1963, 43–49. (Originally in The English Revolution, 1688–1689, 1938.)

Trevor-Roper, Hugh R. The General Crisis of the 17th Century // Past and Present, No. 16, Nov. 1959, 31–66.

Trevor-Roper, Hugh R. Scotland and the Puritan Revolution / H.E. Bell & R.L. Ollard, eds. // Historical Essays 1600–1750 presented to David Ogg. London: Adam & Charles Black, 1964, 78–130.

Trevor-Roper, Hugh R. The Union of Britain in the 17th Century, in Homenaje a Jaime Vicens Vives. Barcelona: Facultad de Filosofia y Letras, 1967, II, 703–715.

Tucker, G.S.L. English Pre-Industrial Population Trends // Economic History Review, 2nd ser., XVI, 2, Dec. 1963, 205–218.

Unger, Richard W. Dutch Shipbuilding Before 1800. Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1978.

Unger, W.S. Trade Through the Sound in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Economic History Review, 2nd ser., XII, 2, Dec. 1959, 206–221.

Unwin, George. Industrial Organization in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Oxford: Clarendon Press, 1904.

Usherbbott Payson. The History of the Gram Trade in France, 1400–1710 // Harvard Economic Studies, Vol. IX. Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 1913.

Usher, Abbott Pavson. The Growth of English Shipping, 1572–1922 // Quarterly Journal of Economics, XLII, 3, May 1928, 465–478.

Usher, Abbott Payson. Machines and Mechanisms // A History of Technology. III: From the Renaissance to the Industrial Revolution, cl500–c1700 / C. Singer et al. Oxford: Clarendon Press, 1959, 324–346.

Uttelström, Gustav. An Outline of Some Population Changes in Sweden ca. 1660–1750 and a Discussion of Some Current Issues // Population in History / D.V. Glass & D.E.C. Eversley, eds. London: Edw. Arnold, 1965, 536–548.

Vandenbroeke, Chr. Cultivation and Consumption of the Potato in the 17th and 18th Century // Acta Historiae Neerlandica, V, 1971, 15–39.

Van der Wee, H. Introduction — The Agricultural Development of the Low Countries as Revealed by the Tithe and Rent Statistics, 1250–1800 / H. van der Wee & E. van Cauwenberghe, eds. // Productivity of Land and Agricultural Innovation in the Low Countries (1250–1800). Leuven: Leuven Univ. Press, 1978, 1–23.

Van der Woude, A.M. Discussion // Third International Conference of Economic History, Munich, 1965, IV: Demography and History / J.E.C. Eversley, ed. Paris & La Haye: Mouton, 1972, 232–234.

Van der Woude, A.M. The A.A.G. Bijdragen and the Study of Dutch Rural History // Journal of European Economic History, IV, 1, Spring 1975, 215–241.

Van der Woude, A.M. & Mentink, G.J. La population de Rotterdam au XVIIe et au XVIIIe siècle // Population, XXI, 6. Nov.-Dec. 1966, 1165–1190.

Van Dijk, H. & Roorda, D.J. Social Mobility under the Regents of the Republic // Acta Historiae Neerlandica, IX, 1976, 76–102.

Van Dillen, J.G. Stukken betreffende den Amsterdamschen graanhandel omstreeks het jaar 1681 // Economisch-Historisch Jaarhoek, III, 1917, 70–106.

Van Dillen, J.G. Eenige stukken aangaande den Amsterdamschen graanhandel in de tweede helfte der zeventiende eeuw // Economisch-Historisch Jaarhoek, IX, 1923, 221–230.

Van Dillen, J.G. Amsterdam, marché mondial des métaux précieux au XVIIe et au XVIIIe siècle // Revue historique, 51' annee, CLII, 2, juil.-août 1926, 194–201.

Van Dillen, J.G. Amsterdam's Role in Seventeenth-Century Dutch Politics and its Economic Background / J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds., Britain and the Netherlands, II. Cironingen: J.B. Wolters, 1964, 133–147.

Van Dillen, J.G. Economic Fluctuations and Trade in the Netherlands, 1650–1750 / Peter Earle, ed. // Essays in European Economic History. 1500–1800. Oxford: Clarendon Press, 1974. 199–211. (Translated from Van rijkdom en regenten: handboek tot de economische en sociale geschiedenes van nederland tijdens de republiek, 1970.)

Van Dillen, J.G. La banque de changes et les banquiers privés à Amsterdam aux XVIIe et XVIIIe siècles // Third International Conference of Economie History. Munich, 1965, Paris: Mouton, V, 1974, 177–185.

Van Hoboken, W.J. The Dutch West India Company: The Political Background of its Rise and Decline / J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds. // Britain and the Netherlands. London: Chatto & Windus, 1960, 41–61.

Van Houue, Jean A. Déclin et survivance d'Anvers (1550–1700) // Studi in onore di Amintore Fanfani, V: Evi moderno e contemporaneo. Milano: Doit. A. Giuffrè-Ed., 1962, 703–726.

Van Klaveren, Jacob. General Economic History, 100–1760. München: Gerhard Kieckens, 1969.

Van Klaveren, Jacob. Fiscalism, Mercantilism and Corruption // Revisions in Mercantilism / D.C. Coleman, ed. London: Methuen, 1969, 140–161. (Translated from Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1960.)

Van Veen, Joh., Dredge, Drain. Reclaim. The Hague: Martinus Nijhoff, 1950.

Várkonyi, Agnes R. Historical Personality, Crisis and Progress in 17th Century Hungary // Etudes historiques, 1970, publiées à l'occasion du Ville Congrès International

des Sciences Historiques par la Commission National des Historiens Hongrois. Budapest: Akademiai Kiado, 1970, 295–299.

Veenendaal, A.J. The War of the Spanish Succession in Europe // New Cambridge Modern History, VI: The Rise of Great Britain and Russia, 1688–1715/25 / J.S. Bromley, ed. Cambridge: University Press, 1970, 410–445,

Ventura, Angelo. Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII // Studi storici, IX, 3–4, lugl.-dic. 1968, 674–722.

Verlinden, Charles. Schiavitù ed economia nel mezzogiorno agli inizi dell'età moderna // Annali del mezziogiorno, III, 1963, 11–38.

Verlinden, Charles. Amsterdam // Città mercanti doctrine nell'economia europea dal IV al XVIII secolo / Amintore Fanfani, red. Milano: Dott. A. Giuffrè-Ed., 1964, 321–340.

Verlinden, Charles. Les conditions de l'introduction et de l'abolition du régime féodal dans les deux Amériques // L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. du C.N.R.S., I, 1971, 341–348.

Verlinden, Charles. Dal Mediterraneo all'Atlantico // Contributi per la storia economica. Prato: Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 1975, 27–51.

Viana, Luis Filho. O trabalho do engenho e a reacção do Indio—Estabelecimento de escravatura africans // Congresso do Mundo Portugues, X, Lisboa: Publicações Lisboa, 1940, 11–29.

Vicens Vives. Jaime, Approaches to the History of Spain, 2nd ed. Berkeley: Univ. of California Press, 1970.

Vignols, Léon. L'ancien concept monopole et la contrebande universelle, 1. Le 'commerce interlope' français, à la mer du sud, aux débuts du XVIIIe siècle, type de ce contrebande. Et textes inédits sur ce sujet // Revue d'histoire économique et social, XIII, 3, 1925, 239–299.

Vigo, Giovanni. Real Wages of the Working Class in Italy: Building Workers' Wages (14th to 18th Century) // Journal of European Economic History, III, 2, Fall 1974, 378–399.

Vilar, Pierre M. Problems of the Formation of Capitalism // Past and Present, No. 10, Nov. 1956, 15–38.

Vilar, Pierre M. Remarques sur l'histoire des prix // Annales E.S.C., XVI, 1, janv.-févr. 1961, 110–115.

Vilar, Pierre M. Le Manuel de la Companya Nova de Gibraltar, 1709–1723 // Affaires et Gens d'Affaires, XXVI. Paris: S.E.V.P.E.N., 1962.

Vilar, Pierre M. La Catalogne dans l'Espagne moderne, 3 vol. Paris: S.E.V.P.E.N., 1962.

Vilar, Pierre M. Or et monnaie dans l'histoire, 1450–1920. Paris: Flammarion, 1974.

Villani, Pasquale. Feudalità, riforme, capitalisme agrario. Bari: Ed. Laterza, 1968.

Villani, Pasquale. Note sullo sviluppo economico-sociale del Regno di Napoli nel settecento // Rassegna economica, XXXVI, 1, 1972, 29–55.

Villari, Rosario. Baronaggio e finanza a Napoli alla vigilia délia rivoluzione del 1647–48 // Studi storici, III, 2, apr.-giug. 1962, 259–306.

Villari, Rosario. Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia délia rivoluzione di Masaniello, Studi storici, IV, 4. ott.-dic. 1963, 637–668; VI, 2, apr.-giug. 1965, 295–328. Continued as Cogiura aristocratica e rivoluzione popolare // Studi storici, VII, 1, genn.-marzo 1967, 37–112.

Villari, Rosario. Rivolte e coscienza rivoluzionaria nel secolo XVII, Studi storici, XII, 2, apr.-giug. 1971, 235–264.

Viner, Jacob. Power versus Plenty as Objectives of Foreign Policy in the Seventeenth and Eighteenth Centuries // Revisions in Mercantilism / D.C. Coleman, ed. London: Methuen, 1969, 61–91. (Originally in World Politics, 1948.)

Visconti, Alessandro. L'Italia nell'epoca della controriforma dal 1576 al 1773, Vol. VI // Storni d'Italia. Milano: Arnoldo Mondadori Ed., 1958.

Vivanti, Corrado. La storia politica e sociale: Dall'avvento delle signoi ie all'Italia spagnola / R. Romano & C. Vivanti, coordinators // Storia d'Italia, II, Part 1, 277–427. Torino: Einaudi, 1974.

Vlachovic, Jozef. Produktion und Handel mit ungarischen Kupfer im 16. und im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts / Ingomar Bog, her. // Der Aussenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1971, 600–627.

Von Braun, Joachim Freiherr. Die ostdeutsche Wirtschaft in ihrer vorindustriellen Entwicklung // Göttinger Arbeitskreis, Das östliche Deutschland: Ein Handbuch. Würzburg: Holzner Verlag, 1959, 603–639.

Von Hippel, W. Le régime féodal en Allemagne au XVIIIe siècle et sa dissolution // L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse 12–16 nov. 1968. Paris: Ed. du C.N.R.S., I, 1971, 289–301.

Waddell, David A.G. Queen Anne's Government and the Slave Trade // Caribbean Quarterly, VI, 1, I960, 7–10.

Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System. New York: Academic Press, 1974.

Walton, Gary M. Sources of Productivity Change in American Colonial Shipping, 1675–1775 // Economic History Review, 2nd ser., XX, 1, Apr. 1967, 67–78.

Walton, Gary M. A Measure of Productivity Change in Colonial Shipping // Economic History Review, 2nd ser., XX, 2, Aug. 1968, 268–282.

Walton, Gary M. New Evidence on Colonial Commerce // Journal of Economie History, XXVIII, 3, Sept. 1968, 363–389.

Walzer, Michael. Puritanism as a Revolutionary Ideology, History and Theory, III, 1964, 75–90.

Wangermann, Ernst. The Austrian Achievement, 1700–1800. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich, 1973.

Wansink, N. Holland and Six Allies: The Republic of the Seven United Provinces / in J.S. Bromley & E.H. Kossman, eds. // Britain and the Netherlands, IV: Metropolis, Dominion and Province. The Hague: Nijhoff, 1971, 133–155.

Ward, A.W. The War of the Spanish Succession. The Peace of Utrecht and the Supplementary Pacifications // Cambridge Modern History, V: The Age of Louis XIV. Cambridge: University Press, 1908, 437–459.

Ward, J.R. The Profitability of Sugar Planting in the British West Indies, 1650–1834 // Economic History Review, 2nd ser., XXXI, 2, May 1978, 197–209.

Warden, Alexander J. The Linen Trade Ancient and Modern. London: Longmans, Green & Co., 1864. (Reprinted New York: Augustus Kelley, 1968.)

Wątjen, Hermann. Zür statistik der Holländischen Heringsfischerei im 17. und 18. Jahrhundert, Hansische Geschichtsblatter, XVI, 1910, 129–185.

Weber, Max. General Economic History. Glencoe, Illinois: Free Press, 1950.

Weinryb, Bernard D. The Jews of Poland. Philadelphia, Pennsylvania: Jewish Publ. Society of America, 1973.

Weis, Eberhard. Ergebnisse eines Vergleichs der grundherrschaftlichen Strukturen Deutschlands und Frankreichs vom 13. bis Zum Ausgang des 18. Jahrhundert // Vierteljahrschriftfür Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, LVII, 1, 1970, 1–14.

Weise, Heinz. Der Rinderhandel in nordwesteuropäischen Küstengebeit vom 15. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts / H. Wiese & J. Bölts // Rinderhandel und

Rinderhaltung im nordwesteuropäischen Küstengeibiet vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1966, 1–129.

Wiese, Heinz. Die Fleischversorgung der nordwesteuropäischen Grossstädte unter besonderer Berücksichtigung des interterritorialen Rinderhandels // Third International Conference of Economic History, Munich 1965, Paris & La Haye: Mouton, 1974, V, 453–458.

Weisser, Michael. The Decline of Toledo Revisited: The Case of Toledo // Journal of European Economic History, II, 3, Winter 1973, 614–640.

Westergaard, Waldemar. The Danish West Indies under Company Rule (1671–1754). New York: Macmillan, 1917.

Wiles, Richard C. The Theory of Wages in Later English Mercantilism // Economic Histon Review, 2nd ser., XXI, I, Apr. 1968, 113–126.

Williamson, J.A. The Colonies after the Restoration, 1660–1713 // The Cambridge History of the British Empire, I: The Old Empirefrom the Beginnings to 1763 / J. Holland Rose et al., eds. Cambridge: University Press, 1929, 239–267.

Wilson, Charles Henry. Anglo-Dutch Commerce and Finance in the Eighteenth Century. Cambridge: University Press, 1941.

Wilson, Charles Henry. Treasure and Trade Balances: The Mercantilist Problem // Economic History Review, 2nd ser., II, 2, 1949, 152–161.

Wilson, Charles Henry. Treasure and Trade Balances: Further Evidence // Economic History Review, 2nd ser., IV, 2, 1951, 231–242.

Wilson, Charles Henry. The Economic Decline of the Netherlands / E.M. Carus-Wilson ed. // Essays in Economic History, I. London: Edw. Arnold, 1954, 254–269. (Originally in Economic History Review, 1939.)

Wilson, Charles Henry. Profit and Power: A Study of England and the Dutch Wars. London: Longmans, Green & Co., 1957.

Wilson, Charles Henry. The Growth of Overseas Commerce and European Manufacture // New Cambridge Modern History, VII: The Old Regime, 1713–63 / J.O. Lindsay, ed. Cambridge: University Press, 1957, 27–49.

Wilson, Charles Henry. Cloth Production and International Competition in the Seventeenth Century // Economic History Review, 2nd ser., XIII, 2, Dec. 1960, 209–221.

Wilson, Charles Henry. Dutch Investment in Eighteenth Century England. A Note on Yardsticks // Economic History Review, 2nd ser., XII, 3, Apr. 1960, 434–439.

Wilson, Charles Henry. England's Apprenticeship, 1603–1763. London: Longmans, 1965.

Wilson, Charles Henry. Trade, Society and the State // Cambridge Economic History of Europe, IV: The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1967, 487–575.

Wilson, Charles Henry. The Dutch Republic and the Civilisation of the Seventeenth Century, World University Library. London: Weidenfeld Sc Nicolson, 1968.

Wilson, Charles Henry. The Other Face of Mercantilism / D.C. Coleman, ed. // Revisions in Mercantilism. London: Methuen, 1969, 118–139. (Originally in Transactions of the Royal Historical Society, 1959.)

Wilson, Charles Henry. Taxation and the Decline of Empires, an Unfashionable Theme // Economic History and the Historian. London: Weidenfeld & Nicolson, 1969, 114–127. (Originally in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1963.)

Wilson, Charles Henry. Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands. Berkeley: Univ. of California Press, 1970.

Wilson, Charles Henry. Transport as a Factor in the History of Economic Development // Journal of European Economic History, II, 2, Fall 1973, 320–337.

Wilson, Charles Henry. The Historical Study of Economic Growth and Decline in Early Modern History // Cambridge Economic History of Europe, V: The Economic Organization of Early Modern Europe / E.E. Rich & C.H. Wilson, eds. Cambridge: University Press, 1977, 1–41.

Wilson, Charles Henry. The British Isles / Charles Wilson & Geoffrey Parker, eds. // An Introduction to the Sources of European Economic History, 1500–1800, Vol. I: Western Europe. London: Weidenfeld & Nicolson, 1977, 115–154.

Wittman, T. Apuntes sobre los métodos de investigaciön de la decadencia castellana (siglos XVI–XVII) // Nouvelles études historiques, publiées à l'occasion du XIIe Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale des Historiens Hongrois, I. Budapest: Akadémiai Kiadô, 1965, 243–250.

Wolański, Marian. Zwiazki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII Wieku. Wydawnictwa Wrooławskiego Towarzystwa Naukowego, No. 77, 1961. Germany summary, pp. 303–309: Die Handelbeziehungen Schlesiens mit dem Königreich Polen im XVII. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Wroclaw.

Wolański, Marian. Schlesiens Stellung im Osthandel vom 15. bis zum 17. Jahrhundert / Ingomar Bog, her. // Der Aussenhandel Ostmittelemopas, 1450–1650. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1971, 120–138.

Wolf, Siegmund A. Das Entstehen von Wüstungen durch Bauernlegen // Zeitschrift für Wirtschaftsgeschichte, V, 2, 1957, 319–324.

Wolfe, Martin. French Views on Wealth and Taxes from the Middle Ages to the Old Regime // Journal of Economic Hütory, XXVI, 4, Dec. 1966, 466–483.

Woolf, Stuart J. Economic Problems of the Nobility in the Early Modern Period: The Example of Piedmont // Economic History Review, 2nd ser., XVII, 2, Dec. 1964, 267–283.

Woolf, Stuart J. The Aristocracy in Transition: A Continental Comparison // Economic History Review, 2nd ser., XXIII, 3, Dec. 1970, 520–531.

Wright, William E. Serf, Seigneur and Sovereign: Agrarian Reform in Eighteenth Century Bohemia. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1966.

Wrigley, E.A. Family Limitation in Pre-Industrial England // Economic History Review, 2nd ser., XIX, 1, Apr. 1966, 82–109.

Wrigley, E.A. A Simple Model of London's Importance in Changing English Society and Economy, 1650–1750 // Past and Present, No. 37, July 1967, 44–70.

Wyczanski, Andrzej. Le niveau de la récolte des céréales en Pologne du XVIe au XVIIe siècle // First International Conference of Economic History, Stockholm, August 1960. Contributions. Paris & La Haye: Mouton, 1960, 585–590.

Wyczanski, Andrzej. La campagne polonaise dans le cadre des transformations du marché des XVIe–XVIIe siècles. L'économie de la Starostie de Korczyh, 1500–1600, Studia Historiae Oeconomicae, II, 1967, 57–81.

Wyrobisz, Andrzej. Mining in Medieval and Modem Poland // Journal of European Economic History, V, 3, Winter 1976, 757–762.

Yates, Frances A. Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century. London: Routledge & Kegan Paul, 1975.

Yernaux, Jean. La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siècle. Liège: Georges Thone, 1939.

Zagorin, Perez. The Social Interpretation of the French Revolution // Journal of Economic History, XIX, 3, Sept. 1959, 376–401.

Závala, Silvio. The Evolving Labor System / John Francis Bannon, ed., Indian Labor in the Spanish Indies. Boston: D.C. Heath, 1966, 76–81. (Originally in New Viewpoints on the Spanish Colonization of America, 1943.)

Zhukov, E.M. The Periodization of World History, in International Congress of,Historical Sciences, Stockholm, 1960, Rapports, I: Methodologie, histoire des prix avant 1750. Göteborg, Sweden: Almqvist & Wikseil, 1960, 74–88.

Zientara, Benedykt. Eisenproduktion und Eisenhandel in Polen im 16. und 17. Jahrhundert / Ingomar Bog, her., // Der Aussenhandel Ostmitteleuropas, 1450–1650. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1971, 270–285.

Zimańyi, Vera. Mouvements des prix hongrois et l'évolution européenne (XVIe–XVIIe s.) // Acta Historica Academiae Scientarum Hungaricae, XIX, 1973, 305–333.

Zollner, Erich. Geschichte Österreichs, 4th ed. München: R. Oldenbourg Verlag, 1970.

Żytkowicz, Leonid. An Investigation into Agricultural Production in Masovia in the First Half of the Seventeenth Century // Acta Poloniae Historica, No. 18, 1968, 99–118.

Żytkowicz, Leonid. Grain Yields in Poland, Bohemia, Hungary, and Slovakia in the 16th to 18th Centuries // Acta Poloniae Historica, No. 24, 1971, 51–72.

Żytkowicz, Leonid. The Peasant's Farm and the Landlord's Farm in Poland from the 16th to the Middle of the 18th Century // Journal of European Economic History, I, 1, 1972, 135–154.

Żytkowicz, Leonid. review of A. Piatkowski, Agricultural Estates Belonging to the Town of Elblag in the XVIIth and XVIIIth Centuries // Journal of European Economic History, III, 1, Spring 1974 249–251.

"Failed Transitions": Concluding Participants' Discussions" / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth-Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 81–84.

Holland: Participants' Discussion / Frederick Krantz & Paul M. Hohenberg, eds. // Failed Transitions to Modern Industrial Society: Renaissance Italy and Seventeenth-Century Holland. Montreal: Interuniversity Centre for European Studies, 1975, 64–66.

L'abolition de la féodalité dans le monde occidental, II: Discussion des rapports. Colloques internationaux du C.N.R.S., Toulouse, 12–16 nov. 1968. Paris: Editions du C.N.R.S., 1971.

Seventeenth-Century Revolutions, a discussion // Past and Present, No. 13, 1958, 63–72.

Summary of the Discussion: Population Change in Relation to the Economy, Third International Conference of Economic History, Munich 1965, IV: Demography and History. Paris & La Haye: Mouton, 1972, 227–235.

Zur Ostdeutschen Agrargeschichte: Ein Kolloquium, Vol. XVI of Ostdeutsche Beitrâge: Aus dem Göttinger Arbeitskreis. Würzburg: Holzner-Verlag, 1960.

УКАЗАТЕЛЬ

Использование настоящего указателя осложняется тем обстоятельством, что одни и те же термины часто использовались для обозначения несколько различных феноменов в феодальной и капиталистической системах. Эта неспособность терминологии следовать за институциональным изменением является предметом рассмотрения в книге, поэтому, прежде чем пользоваться указателем, желательно сначала ее прочесть. В качестве общего правила мы постарались обозначить разные институты отдельными терминами, например, маноры / поместья (капиталистические).

Также отметим три других общих принципа, использованных при создании указателя. Временны́е периоды, такие как Средневековье или XVI век, не включены в список, за исключением тех случаев, когда речь идет о специфическом режиме (например, монархия Тюдоров).

Все названия народов включены под соответствующим названием страны, за исключением тех случаев, когда таковое название отсутствует (например, славяне), или, по меньшей мере, когда такой страны не существовало в рассматриваемые временные промежутки (например, турки).

Каждый упоминаемый продукт мануфактурного производства может быть отмечен четырьмя способами: как сырой материал, как продукция, как отрасль промышленности, как направление торговли. Например: шерсть; ткани, шерстяные; промышленность, текстильная; торговля мануфактурой.

А

Абель, Вильгельм — 4, 20, 27, 34, 35, 38, 159, 160, 318
Абсентеизм, тип владения — 103, 203, 205, 206
Абсолютизм, *см.* Государство, абсолютизм
Август II, король Польши — 173, 265
Австрийские Нидерланды,
см. Нидерланды, Южные
Австрия — xxvii, 27, 85, 165, 225, 240, 272–277, 279, 281–286, 306, 309-310, 312, 339
— война за Австрийское наследство — 311, 317, 342
— наследные земли — 285
Автаркия — 189
Аграрно-индустриальный производственный комплекс — 45, 53, 65, 73, 79, 95, 97, 110, 193
Агрономия, *см.* Сельское хозяйство, агрономия
Адамс, Джеффри — 150
Административная унификация,
см. Государство, сила
Адмиралтейские коллегии, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 75
Адриатическое море (Адриатика) — 240
Азия — xxiii, 11, 21, 22, 56, 58, 117, 118, 129, 130, 132, 190, 191, 221, 333, 334
Азорские острова — 224
Аймар, Морис — ix, 175, 176
Аквила — 176
Акерман, Йохан — 345
Акт о железе (1750 год) — 293
Акт о корабельных товарах (1705 год) — 291
Акт о патоке (1732 год) — 204, 293
Акт о шляпах (1732 год) — 293
Акт об унии, *см.* Великобритания, Уния парламентов (1707 года)
Акции — 343, 395, 396
Алеппо — 332, 358
Алжир — 301, 332, 358, 390
Алкогольные напитки, *см. тж.* Бренди; Вино; Виски; Джин; Дистилляты; Пиво; Портвейн; Ром; Таверны — 19, 52, 169, 170, 315
Аллен, Теодор — 209
Аллодиальное землевладение, *см.* Землевладение, аллодиальное

Альберс, Дж. — 76
Альгой — 17
Алькабала — 181
Альмаден — 176
Альпы — 114
Альтмаркский мир (1629 год) — 251
Америка (обе Америки, Американский континент) — xvii, 11, 21, 59, 62, 90, 123, 124, 132, 154, 157, 174, 176, 178, 182, 184, 189, 190, 200, 222, 224, 226, 290, 297, 299, 312, 326, 328, 330–332
— Испанская 40, 123, 131, 177, 179, 182–184, 188–189, 193–196, 202, 209, 220, 222–223, 227, 230, 239, 310, 331, 337
— Северная, *см. тж.* Колонии Средней Атлантики; Новая Англия — 56, 99, 117, 121, 123, 124, 189, 204, 207, 209, 215, 235, 263, 287, 292, 294, 308–309, 320, 333, 377
— южные колонии 223, 359, 369, 371, 395, 189, 207
— Средняя, *см.* Америка, Центральная
— тропическая, *см. тж.* Америка, Испанская; Бразилия;
Карибский бассейн — 21, 22
— умеренного пояса,
см. Америка, Северная — 21, 22
— Центральная — 5, 179, 181, 183–186, 191
Американская революция, *см.* Революция, Американская
Американские индейцы — 134, 180, 183–189, 191, 195, 209–211
Амстердам — 7, 26, 30, 51–56, 60–62, 64, 66–77, 80, 82–84, 94, 116, 129, 131, 139, 170, 244, 248–249, 253, 269, 287, 335, 338, 343, 353
— Обменный банк Амстердама (*De Wisselbank van Amsterdam*) — 70–71, 336
Амьен — 109
Анархизм — 138
Английская Ост-Индская компания, *см.* Великобритания, Англия, Ост-Индская компания
Англия, *см.* Великобритания, Англия
Англо-голландские войны — 61–63, 85, 94–95, 121
Англо-испанский договор — (1670 год) 192
Англо-португальские соглашения — 223, 338
Англо-французские войны — 224, 300, 308, 328, 336, 347
Ангола — 62, 223
Андалусия — 175, 222
Андерсон, М. С. — 265–266
Андерсон, Перри— ix, 15, 35–39, 77, 85, 173–175, 238, 246–247, 255, 267, 275–276, 279–280, 282, 286, 347
Анды (регион) — 184, 348
Анес Алварес, Гонсало — 217
Анжальбер, Анри — 319
Анна Стюарт, королева Англии — 303, 306, 308, 340
Анри, Луи — 313
Антверпен — 53, 55, 64–65, 239
Антильские острова, *см.* Карибский бассейн
Аппотомакс — 307
Араваки — 210
Арагон — 228
Ардан, Габриэль — 339
Арденны — 115
Арендаторы, *см. тж.* Фермеры (хозяева), арендаторы — xix, 18, 102–108, 162, 164, 168, 174, 242, 257, 262, 273
Аристократия, *см. тж.* Дворянство (знать); Землевладельцы (лендлорды); Классы, высшие; Сеньоры; Юнкеры — 29, 67, 76, 80, 84–85, 113–114, 136, 144–145, 149–150, 152, 159, 164, 166–167, 170–173, 175, 178, 219, 228, 242, 246–247, 254–262, 264, 266, 271, 275–277, 280–281, 308–309, 323, 347, 349–350
— «аристократизация» 76, 82, 143, 145
Арменго, Андре — 22, 90, 314
Арминий, Якоб (арминиане) — 81–84, 249
Армия, *см. тж.* Военно-морской флот; Война — xv, xxiv, xxvi, 32, 77, 78, 96, 111, 138–139, 151, 171, 216, 219, 250–251, 258–259, 261–263, 265, 270, 276–282, 286, 298–301, 307, 312, 336
— наемники 32, 69, 114, 235, 240, 250, 272, 336
— офицерские чины 144, 150, 262, 266, 279, 281, 300
— поставщики, *см. тж.* Купцы (торговцы) — 92, 240
— снабжение — 280, 282
— частные армии — 170
Арсен, Поль — 339, 343–346
Архангельск — 334–335
Артиллерия, *см.* Вооружение
Аскен, Эрве — 239
Аспвалл, Дж. — 261
Асьенда, *см. тж.* Поместья — 177–178, 183–184, 186–189, 191, 195
Асьенто 195, — 226–229, 310, 329–331
— Компания асьенто — 330
Атлантика (мир) — 29, 78, 123–124, 134, 181, 190, 196, 215, 221, 284, 288–289, 301, 334
Аугсбург — 238
Африка — xxvii, 11, 21–22, 55, 74, 207, 254, 285, 288–289, 306, 329, 334
— Западная —60, 62, 190–191, 299
— побережье, *см.* Африка, Западная
— Северная, *см. тж.* Средиземноморье —332
Ахен — 241, 366
Ахенский договор (1748 год) — 311, 332
Ахиллес, Вальтер — 34, 165

Б

Бавария — 28
Базан, Жан — 182
Баия — 198

Байонна — 326
Байрох, Пауль — 101, 122–123, 315, 320
Балибар, Этьен — 6, 8
Балканы, турецкие — 11, 284
Балтика (Прибалтика) (регион), *см. тж.* Торговля, балтийская — 25–27, 29, 47–48, 52, 63–64, 69, 71, 76, 92–93, 117, 119–122, 128–129, 132, 157–158, 160, 235, 249, 255–256, 259–260, 263–266, 268–271, 276–277, 291, 305, 318, 328, 334, 337
Банановая республика — 348
Банат — 284
Бандитизм, *см. тж.* Государство, государственный бандитизм; Пиратство — 222
Банковское дело, *см. тж.* Деньги; Займы; Купцы (торговцы); Финансисты — 36, 45, 70–71, 113, 135–136, 164, 219–220, 244, 339–341, 343–346, 348
— государственное — 70, 336, 340-343
— частное — 220, 244, 339, 341, 343, 344
Банкротство, *см.* Государство, финансы
Барановский Б. — 161
Барбадос — 62, 196–197, 205, 208, 229
Барбария — 119
Барбер, Элинор Дж. — 349
Барбур, Виолетта — 51–52, 57, 66–67, 70–72, 342
Баргальо, Модесто 189
Баркер, Т. М. — 243, 281–282
Баркер, Эрнесто — 85, 143, 146, 196, 279
Баркхаузен, Макс — 327
Барнетт, Коррелли — 96, 300
Барон, Сало — 93
Барраклу, Джеффри — 274, 278, 285
Барроу, Томас С. — 288–290
Барселона — 227
Барфлёр, сражение (1694 год) — 301
Барщинный труд, *см. тж.* Принудительный труд (на рынок) — 159, 162, 164, 166–169, 175
Барэл, Вильям — 83
Басс-Прованс — 101
Басс-Севенны — 350
Бассетт, Д. К. — 117
Батавия — 55
Батавская республика — 75
Батраки — 18, 159, 186
Бачан — 58
Баэрель, Рене — 4, 20, 27, 134
Бедность, *см.* Бедные (бедняки)
Бедные (бедняки), *см. тж.* Классы, низшие — 10, 18, 34–35, 46, 58, 77, 104, 107, 111, 113, 147, 151–152, 162, 169–170, 181, 191, 194, 208, 219, 221, 232, 234, 236, 247, 257, 279, 285, 315, 317, 337, 348, 350–351
Беженцы — 241
Безделушки — 288, 333
Бейлин, Бернард — 287–288
Бейль, Пьер — 80
Белая гора, битва (1620 год) — 167, 281
Белое море — 334
Белоруссия — 372
Бельгия, *см.* Нидерланды, Южные
Бельтрами, Даниэле — 242
Бенгалия — 333, 368
Бенье, Р. — 336
Беранжер, Жан — 282
Беренс, Бетти — 285
Бержер, Патрис — 347
Беркхейде, Адиэнс Иоб — 2
Берлин — 272
Берт, Жан-Пьер — 179, 195
Бессен — 17
Бетлен Габор — 171
Бёйтин, Людвиг — 54, 81, 238
Бёльцки, Вили — 274
Бёрк, Питер — 75, 76
Бёрк, Эдмунд — 7
Бёрт, Роджер — 321
Бёрч, Алан — 335
Биллон, *см. тж.* Деньги, металлические; Медь, медные монеты — 181–182, 221–222, 228, 247–248
Биржа, *см.* Торговля
— Старая биржа (Амстердам) — 2
Бискайя — 218
Биэр, Джордж Льюис — 200, 224, 288, 290
Благодатное паломничество — 7
Благотворительность — 54
Блашке, Карлхайнц — 243
Блейк, Роберт, адмирал — 94, 134
Блитц, Рудольф — 128, 337
Блок, Марк — 99, 102
Блуш, Франсуа — 150
Бовези — 27
Бог, Ингомар — 282–283
Богемия, *см. тж.* Чехия; Чехословакия — 16, 25, 30, 159, 162, 165–167, 235, 274–275, 280–281, 284–286, 306
Богуцка, Мария — 62, 71, 158, 164–165, 174
Бодмер, Вальтер — 241
Божон, А. — 45, 73
Бойер, Ричард — 188
Боксер, Ч. Р. — 57, 64, 66, 76–77, 83, 190–191, 196, 201, 210, 221, 223–224, 231–232, 327, 333–334
Болар, М. — 35
Бомбардирное судно (кеч) — 301
Бомбей — 223, 333
Боно, Сальваторе — 332

Бора, Вудроу — 188
Бордо — 326, 355
Борелли, Джорджио — 237, 241–242
Борнхольм (остров) — 270, 383
Борьба — xxii, xxiv, xxvi, 10, 28, 43, 50, 61, 73–74, 76, 91, 111, 137, 144-146, 148–149, 155, 162, 174–175, 179, 184, 190, 216, 219, 232, 248, 254, 256, 259, 265, 282, 285, 289, 298–299, 313, 327, 334, 338, 344, 348, 351
— социальная, *см. тж.* Классы, классовая
Боссюэ, Жак-Бенинь — 352
Бостон — 287
Босуэлл, А. Брюс — 172
Ботнический залив — 259–260
Боумен, Фрэнсис Л. — 55, 251
Бохуслен — 270
Бошер, Дж. Ф. — 326
Боэтиус, Б. 254, — 268
Брабант, *см. тж.* Нидерланды, Южные — 65, 241
Бразилия, *см. тж.* Америка, Пиренейская — 27, 62, 124, 136, 177, 189–191, 194–197, 201–202, 212, 220–221, 223–224, 230–232, 328, 338
Бранденбург (Бранденбург-Пруссия), *см.* Пруссия
Браун, Вера Ли — 229–230, 305, 311, 313
Браун, Рудольф— 278–279, 341
Брегенцервальд— 17
Бреда, мирный договор (1667 год) — 94–95
Брейдинг, Д. А. — 182, 211
Бремен-Верден — 255
Бренди — 225
Бреннер, Роберт — 107–108
Бреслау — 286
Брест — 301
Брёмсебру, мирный договор (1657 год) — 270
Бриджтаун — 204
Брин, Т. Х. — 200, 207
Бристоль — 139
Британия (*см.* Великобритания)
Бродель, Фернан — xix, 3, 8, 10, 24–26, 34–35, 175–176, 221, 233, 298, 319
Бродяги — 236
Бромли, Дж. С. — 302–303, 349
Бронза — 189, 248, 252
Бруфорд, У. Х. — 285
Бручи, Стюарт — ix, 290, 293
Брюгге — 233, 239
Брюле, Вильфред — 239
Буа-ле-Дюк— 50
Бувсма, Вильям — 5, 40, 143
Бувье, Жан — 337, 341, 346
Буканьеры, *см. тж.* Пиратство — 154, 189, 191–192, 194–195
Буль, Пьер А. — 326, 328
Бульферетти, Луиджи — 32, 234, 240–241, 244
Бум, экономический, периоды, *см.* Циклы, экономические, фазы А
Бурбоны, Испанские — 226–230, 267, 277, 310–311
Бурги, *см.* Города
Бургундия — 16–17
Бурд, Андре Ж. — 140
Буржуазия, *см. тж.* Бюргеры; Джентри; Капитализм; Купцы (торговцы); Промышленники; Фермеры (хозяева), капиталистические; Финансисты — xxi, 6–7, 29, 78, 82–83, 92, 108, 136, 138, 141, 144–147, 150–152, 158, 169–170, 173, 175, 177, 202–203, 212, 218–221, 227–228, 231, 240, 261, 266, 269, 280–281, 283, 309, 313, 323, 334, 338, 342, 349–350, 352
— буржуазная революция — 6–7, 25, 105, 145, 149, 166
— иностранная 28
— мануфактурная, *см.* Промышленники
— торговая (коммерческая) — 188
Буркхардт, Якоб — 138
Буске, Рауль — 151
Бусс — 46
Буэнос-Айрес — 193, 220, 229
Бэйквелл, П. Дж. — 178–180, 183, 186–188, 211
Бэйти, Роберт Карлайл — 195–197
Бэкон, Фрэнсис — 40
Бэкона восстание (1676 год) — 209
Бэмфорд, Пол Уолден — 120–121, 259, 335
Бэнгс, Карл — 83
Бюргерский мятеж (1674 год) — 278
Бюргеры, *см. тж.* Буржуазия; Города; Патрициат — 80, 84, 119, 143, 174, 256, 264, 280
Бюргин, Альфред — 240–241

В

Вайда (злак) — 17
Вайнер, Джейкоб — 312
Вайнштейн, О. Л. — 29
Вайс, Эберхард — 242
Вайссер, Михаэль — 217
Валансьенн — 114, 367
Валахия — 284, 371
Валенсия — 175–176, 220, 222, 228
Валерио, Нуно — 21
Валлерстайн, Иммануил — 19–20, 22, 30, 35–37, 39, 56, 58, 62, 126, 149, 157, 195, 202, 216, 246, 273
Валлоны, *см. тж.* Брабант; Фландрия — 54, 253
Валюта, *см.* Деньги
ван Веен, Й. — 44, 47, 79, 327
ван Вейк, Виллем — 247, 249, 253

ван Дейк, Х. — 76
ван дер Вее, Херманн — 48–49, 69, 71, 130, 239, 244, 248, 338–341
ван Диллен, Й. Г. — 71–73, 76, 343
ван Клаверен, Якоб — 51, 283
ван Олденбарневельт, Йохан — 83–84, 249
ван Рибек, Ян — 92
ван Хобокен, В. Й. — 61, 75
ван Хоутте, Ян А. — 53
Вангерманн, Эрнст — 282
Ванденбрёке, Хр. — 315
Вансинк, Н. — 61, 75
Варенья — 315
Варконьи, Агнес Р. — 161, 171–172, 175
Варнетон — 310, 393
Вассал, *см.* Феодализм
Вебер, Макс — xx, 344–345
Вейнриб, Бернард Д. — 174–175
Великое соглашение (1653 год) — 276, 388
Великая Северная война (1700-1721 годы) — 255, 262, 265, 267, 277–279
«Великий акт» о скоте (1666 год) — 323
«Великий крах» — 346
Великий курфюрст, *см.* Фридрих Вильгельм I
Великий пенсионарий — 75–76
Великобритания — xxiv, xxvi, 97, 149, 203, 228, 305, 310, 313, 318, 321–322, 343
— Англия xxiii–xxiv, xxvii, 6–7, 25–27, 32, 34, 37, 39, 44, 47–51, 53–55, 60, 62, 64, 67, 70–73, 75, 78–80, 84–85, 89–127, 129–130, 135–136, 138–142, 144–152, 166, 169–170, 177, 192–195, 198, 200–204, 208, 215, 221, 223–227, 229–232, 235, 237, 239, 244, 255, 259, 263–264, 266–268, 282, 284–285, 287–292, 298–317, 319–329, 331–333, 335-352
— Акт о зерновых премиях — 316
— Акт о чужеземцах — 308
— Банк Англии — 336, 340–342, 345, 348
— Бюро торговли и плантаций (Министерство торговли) — 291, 292, 328
— Гражданская война — 55, 85, 92, 196, 287, 298, 324, 352
— Долгий парламент — 92
— комитет по торговле — (при Тайном совете) — 305
— монета (монеты), *см. тж.* Монеты — 92, 130, 201, 289
— навигационные акты — 52, 91–94, 109, 115–116, 123, 141, 204, 224, 268, 287, 292, 323, 328–329
— национальный долг — 340–341, 345
— Оранский дом — 84, 351
— Ост-Индская компания — 93, 117–118, 129, 306, 321, 333, 340, 348
— Славная революция — 116, 145, 148–149, 173, 192, 195, 266, 278, 288, 299–300, 307–308, 323
— Содружество (республика) — 91–92
— Тайный совет — 305
— Хартия 1672 года — 298
— Уния корон (1603 год) — 305
— Уния парламентов (1707 год) — 305
— Уэльс — 97, 388
— Шотландия — 19, 46, 80, 97, 100, 112, 149, 160, 204, 206, 232, 299, 303, 305–309, 322–324, 329, 357, 365, 370, 388, 391–393
— Акт для Торговой компании в Африке и Индиях — 306
— Акт о безопасности — 308
— горцы — 149
— равнинные шотландцы — 149
— Совет попечителей рыбных промыслов и мануфактур — 309
— сословия — 145
Вена— 34, 49, 158, 265, 282, 284
Венгрия — 159–161, 165–167, 169–172, 175, 248, 263, 274, 281–282, 284
Венесуэла — 193
Венеция — 60, 84, 234, 236–237, 240–242, 284, 333
Вентура, Анжело — 245
Вервье — 50
Верлинден, Шарль — 54, 176–177
Вермёйден, Корнелиус — 72
Вермланд 252
Вест-Индская компания, *см.* Голландская Вест-Индская компания
Вестминстер — 115
Вестфалия — xxvi, 19, 54, 238, 280
Вестфальский мир (1648 год) — xx, 276, 304
Ветряные мельницы — 232
Виана, Луис Фильо — 210
Виванти, Коррадо — 177
Виги, *см. тж.* Великобритания — 81, 96, 113, 138, 148, 225, 299–300, 345, 348–349
Виго, Джованни — 19
Визе, Хайнц — 160
Виктор Амадей II, герцог Савойский — 242
Вилар, Пьер М. — 4, 20, 23–24, 26–27, 69–70, 81, 133–136, 201, 218–219, 223–224, 226–227, 297, 329, 333, 338, 346
Вильгельм II Оранский, штаттальтер Голландии — 73
Вильгельм III Оранский, король Англии, Шотландии и Ирландии — 139, 298–299, 301, 303–304, 308, 340
Виллари, Розарио — 177
Вильямитские войны, *см.* Война короля Вильгельма
Вильяни, Паскуале — 244

Виноградарство — xvi, 17, 31, 98, 183, 225
Винокурни, *см. тж.* Алкогольные напитки — 15, 317
Виньольс, Леон — 222
Вирджиния — 377–378
Висенс Вивес, Хайме — 218, 222, 227–228
Виски — 169
Висконти, Алессандро — 84
Владислав IV, король Польши — 172
Влахович, Йозеф — 161
Внешняя сфера (мира-экономики) — 21, 56, 60, 71, 118, 131–132, 191, 266, 299, 332–334
Во — 17
Водка — 169
Военно-морской флот, *см. тж.* Армия — 92, 94, 201, 252, 256, 291, 300–301, 312, 320, 327, 331
Воинский призыв, *см.* Армия
Война, *см. тж.* Вооружение — xvi, xxv-xxvi, 3, 16, 27, 29–30, 32, 40, 53, 61–62, 74, 78, 83–85, 91, 93–97, 110, 120–121, 139–141, 149, 157, 161–162, 166, 168, 171–172, 174, 190, 192–193, 196, 198, 201, 219, 222, 224, 226–227, 230, 238, 250–251, 258–260, 263–264, 269–270, 278, 282, 286, 291, 298–300, 302–304, 308–312, 317, 319, 321–322, 328–330, 332, 336–338, 340–343, 347–348, 350
— военная тактика — 302
— военные корабли — 51, 172, 194, 201, 229, 303, 312, 366, 387
— гражданские войны, *см. тж.* Великобритания, Англия, Гражданская война — 55, 76, 85, 92, 150, 196, 281, 287, 298, 324, 352
— между баронами — 32
— Холодная война — 91
— экономические аспекты — 28, 83, 91, 110, 119, 121, 139, 157, 160, 161, 166, 190. 192, 196, 198, 201, 222, 229, 247, 250, 251
— *guerre de course* — 302
— *guerre d'escadre* — 302
Война Алой и Белой розы — 7
Война за ухо Дженкинса — 229
Война короля Вильгельма — 224, 323, 330
Воланьский, Мариан — 286
Вольтер, Франсуа-Мари Аруэ — 352
Вольф, Зигмунд А. — 274
Вооружение, *см. тж.* Армия; Военно-морской флот; Война — 57, 96, 175, 321, 331
Ворвань — 46
Воск — 121, 334
Восстания (Мятежи), *см. тж.* Крестьянство, крестьянские восстания; Рабство, восстания рабов; Революция — xvi, 7, 63, 151, 175, 209, 218–219, 281, 286, 307, 342, 350, 353–354
Восстания ткачей (1719 год) — 321
Восток, *см. тж.* Китай; Япония — xiv, 15, 57, 61, 69, 100, 129–131, 306, 337
Восточная Англия — 43
Восточное Полабье, *см.* Германия, Восточная
Восьмидесятилетняя война, *см.* Нидерланды, Нидерландская революция
Вреде, Карл Теодор, князь — 260
Вулф, Стюарт Дж. — 242, 244
Выборг — 121
Высокая Порта, *см.* Империя, Османская
Выцкофф, В. Й. — 199
Вычаньский, Анджей — 159
Вюртемберг — 240
Вяленье (соление) рыбы — 45–46, 224–225

Г

Гаага — 64, 75–76, 310
— Гаагский концерт — 270
Габсбурги, *см.* Империя, Габсбургская
Гаити, *см.* Эспаньола
Галвин, Дж. — 322
Галенсон, Дэвид — 209
Гамбург — 220, 248–249, 271, 284, 286, 328, 335, 345
Ганзейцы — 60, 95, 254
Гармен, Дуглас — 6
Гарц — 17
Гасконь — 200
Гастингс (Хейстингс), Уоррен — 7
Гастра, Ф. — 58
Гатри, Честер Ф. — 187
Гвадалкивир — 190
Гватемала — 210
Гвинейский залив — 223
Гданьск (Данциг) — 119, 121, 159, 172, 251, 256
Гегемония — xi, xxii-xxvii, 10, 44–45, 137, 327, 329
— английская — xxiii, 324
— голландская — xxiii–xxiv, 41–86, 89, 92, 135, 250, 255, 293, 297, 313, 334, 342
— испанская — 91
— французская — 227
Гейер, Эрик Густав — 252
Гейл, Питер — xxvii, 43, 57, 74, 82–84, 89, 93
Гельдерн (Гелдерланд) — 75
Генеральные Штаты, *см.* Нидерланды, Генеральные Штаты
Генрих IV, король Франции — 140
Гент — 233, 367
Генуя — 69–70, 234, 240–241, 244
Георг I, король Англии — 302, 317
Герар, Николя — 14
Геремек, Бронислав —25
Германия (Германские государства) — xxiii, 7, 25–28, 30, 32, 34, 90, 122, 166, 227, 235, 238, 241, 245–246, 248, 252, 266, 269–271, 273, 282–284, 309, 322, 333

— восточная (восточное Полабье) 119, 166, 274–275
— Германская демократическая республика (ГДР) — 274
— западная — 37, 141, 242–243
— северная — 165
— северо-западная — 28, 54
— юго-западная — 25, 215, 232, 238, 242
— южная — xviii, 160
Гётеборг — 387
Гиеровский, Йозеф — 162
Гиейшторова, Ирена — 161
Гилберт, Хамфри, сэр — 192
Гильдебранд, Бруно — 34
Гильдии — xiii, 52, 73, 111, 233–234, 236, 241, 245, 309
Гинце, Отто — 273, 278
Гитлер, Адольф — xxiv, 307
Гламанн, Кристоф 15–16, 20, 49–50, 55–58, 67–68, 70, 73–74, 80, 110, 117, 129, 139, 160, 194, 245, 247–249, 252, 270, 333–334
Глендей, Дэниел Дж. — 334
Глочестершир — 200
Гнезно — 162
Гоббс, Томас — 40
Гобелены (Королевская мануфактура гобеленов) — 88, 113
Говард, Майкл — 276
Говядина, *см.* Мясо
Гогенцоллерны — 273, 276, 279, 281, 283, 285
Год бедствий, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 75, 95
Год чуда, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 95
Годинью, Виторину Магальяэш — 186, 221, 223–225, 230
Гойэнече, Манеш — 150
Голландия, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 25–26, 29–30, 32–33, 43–54, 60, 62, 64–69, 71–72, 74–76, 79–84, 91, 93–95, 109–112, 115–116, 119, 125, 129–130, 132, 134–135, 139, 160, 222, 227, 235, 238, 241, 244, 248–249, 253, 255, 259, 270, 284–285, 298, 304, 306, 317–318, 326–328, 332, 334–335, 341, 345, 351, 356
— Штаты (Генеральные Штаты) — 75–76, 82
«Голландрии», *см. тж.* Польдеринг — 79
Голландская Вест-Индская компания — 61–62, 73, 197
Голландская война за независимость, *см.* Нидерланды, Нидерландская революция
«Голландская золотая жила», *см.* Сельдь
Голландская Ост-Индская компания (*VOC*) — ii, 55, 57, 249
Голландская республика, *см.* Нидерланды (Северные)
Голод, *см.* Продовольствие, нехватка
Гомар, Франсуа (гомаристы) — 81–83
Гондурасский залив — 194
Горлиц, Вальтер 275
Горн, Арвид, граф — 266–267
Горное хозяйство — 241
Горное дело, *см.* Промышленность, горное дело
Города — xiv–xv, xviii, 18, 26, 28, 30, 36–37, 49, 53–54, 65, 73, 75–76, 80, 82–83, 101, 110–112, 138, 146, 149, 151, 160, 169–170, 174, 177, 182, 184–186, 191, 194, 203, 217, 219, 233, 235–238, 241, 245, 248–249, 268, 276–277, 279, 285, 287, 301, 308–309, 317, 326, 350
Городская промышленность, *см.* Промышленность (индустрия), городская
Городские явления, *см.* Города
Гослинга, Корнелис К. — 61, 74, 195
Государственная служба, *см.* Государство, бюрократия
Государство — xv–xvi, xix–xx, xxii, xxvi, 7, 11, 16, 25, 31–32, 44–45, 52, 54, 61, 70, 73, 76–78, 81–82, 85, 90, 92–93, 101, 114–115, 125, 136–138, 143, 148–150, 171, 173–174, 177, 179, 181–182, 190, 192, 202, 215, 219, 222, 228, 230, 232, 235–236, 241–242, 244, 246, 248, 251–255, 259–262, 264, 265–266, 270–273, 276–277, 280–283, 285–286, 294, 299–302, 304, 309, 321–322, 325, 328, 333–334, 336, 338–339, 341, 347, 349–350, 352
— абсолютизм — xx, 39–40, 138, 146, 152, 228, 260, 266, 268, 271, 276, 282, 285, 349
— аристократическое 32
— банки, *см.* Банковское дело, государственное
— бюрократия, *см. тж.* Откупа налогов — xv, xx, 107, 113, 137, 143, 150, 177, 182, 185, 187, 190, 235, 267, 271, 276–281, 300, 344
— продажа должностей — xx, 103, 114, 235, 251, 280
— государственный аппарат 11, 39, 44, 137–138, 146, 171–172, 215, 254–256, 262–263, 267, 270, 280, 282, 346
— государственный бандитизм — 192, 348
— «капиталистическое» — 9, 38
— либерализм— 74, 79–80, 84, 102, 113, 138, 169, 327
— межгосударственная система— xx, xxii, 215, 256, 272, 281
— монополии — 199, 344–345
— налогообложение — 200, 257, 342
— сила — 39, 136–138, 140, 143–144, 151, 160, 169, 172, 264, 278, 327, 346, 348, 350–351
— таможни (тарифы), *см.* Меркантилизм
— универсальная монархия, *см. тж.* Империя, мир-империя — 138
— феодальное — 7
— финансы — 69, 72, 75, 110, 127, 131, 135, 137, 141–142, 201, 230, 241, 245–246, 256, 258–260, 265–266–267, 269, 271, 278, 282, 336, 338–344

Государство маркизов де Валье — 178
Грабеж — 58, 134, 151, 182, 192, 194–195, 197, 222, 260, 279, 331
Гравёры — 14, 79
Грамши, Антонио — 137
Грассби, Р. Б. — 152, 347
Графства вокруг Лондона — 43, 317
Грей, Стэнли — 199–200
Гречиха — 17
Гронинген — 48, 75
Грох, Мирослав — 29, 129, 286
Гроций, Гуго — 74, 84
Грыч, Мартин — 166
Грэмп, У. Д. — 91
Грэнджер, С. У. — 318
Грэнтхэм, Дж. — 69
Грэхэм, Джеральд С. — 301
Грюйер — 17
Губер, Пьер — 68, 95–96, 98, 101–104, 106, 109, 111, 115, 142, 150, 297–298, 310, 313–314, 336
Гугеноты — 54, 80, 89, 91, 124, 150, 235, 279, 302, 340, 349–350
— международная сеть («гугенотский интернационал») — 341
Гулд, Дж. Д. — 91, 157, 316, 321
Гуманизм — 341 29, 40, 82
Гумус, *см.* Сельское хозяйство, удобрения
Густав Адольф, король Швеции — 341 247–253, 255–256, 259–260
Густав Ваза, король Швеции — 341 245–247

Д

Да Силва, Хосе Хентиль — 175, 216–217, 245
Дакхем, Бэрон Ф. — 112
Дальгрен, Стеллан— 257–258, 260–262
Дальний Восток, *см.* Восток
Данбар — 46
Дания — 27, 79, 161, 166–167, 255, 260, 267–272, 277, 279, 291, 329, 345
Данн, Ричард — 190, 194–198, 203, 208–209, 329–330
Данциг, *см.* Гданьск
Дань — 180, 371
Дарьен, перешеек — 307–308
Дарьенская компания — 306–309
Даунинг, Джордж — xxvii, 47, 74, 95, 143
Дворецкие — 103
Дворжачек, Влодимеж — 162
Дворянство (знать), *см. тж.* Аристократия; Землевладельцы (лендлорды); Классы, высшие;
Сеньоры — xv, xvi, 28, 32, 36, 37, 39, 75, 82, 89, 119, 144-146, 148, 150, 158, 162, 165, 170-174, 218, 228, 256-262, 266, 267, 269, 271, 272, 277, 279-282, 285, 286, 309, 347, 349, 350
— высшее — 349
— мелкое — 172, 257, 353
— оброк — 168, 170
— среднее — 172
Дворянство мантии — 144, 172, 347–349
де Бруховен, Жан (Ян ван Бруховен) — 238
де Витт, Ян — 75, 95
де Витт, Якоб — 83
де Ври, Филип — 93
де Ври, Жан — 22, 48–49, 54, 65, 77, 99, 111, 238, 241–242, 248, 317–318, 327
де Геер, Луи — 252–253
де Дезер, Г. — 216
де Зеув — 65
де Кастро, Антонио Баррос — 196
де Маддалена, Альдо — ix, 17–18, 24, 47, 141, 240
де Монкада, Санчо — 190
Деболецкий, Войцех — 173, 374
Дебьен, Габриэль — 208
Девоншир, Уильям Кавендиш, герцог — 148
Девятилетняя война — 278, 291, 300, 303–304
Деготь — 121, 254–255, 264, 266, 291–292, 335
Дейлз, Дж. Х. — 129
Дейон, Пьер — 50, 52, 54, 70, 73–74, 91, 109–110, 115, 130, 134, 152, 255, 283, 310, 340, 344
Декарт, Рене 9, 40, 80, 84
Декларация прав (1689 год) — 299
Деламар, Даниель Жан Брюн — 106
Дельфтская керамика — 241, 333
Делюмо, Жан — 116, 140, 222
Демография, *см.* Население
Демократия — 7, 334, 348–349
Дендермонд — 310
Деньги — xxiv, 21, 32, 36, 58, 63, 70–72, 77, 92, 96, 102, 112, 120, 130–135, 141, 158, 169, 180, 187, 201, 203, 218, 220, 228, 236, 245, 247, 260, 273, 280, 282, 300, 302, 308, 330, 340–343, 347
— бумажные — 31, 336, 338, 344
— девальвация — 36, 63–64, 136, 179, 247, 336–337, 339
— денежная экономика — 211
— денежный рынок, *см.* Деньги, финансовые центры
— кредит — 21, 31, 45, 68–71, 97, 127, 141, 197, 205–206, 233–234, 254, 271, 339, 343, 345
— металлические, *см. тж.* Биллон; Драгоценные (Благородные) металлы; Золото; Медь, медные монеты; Серебро — 31, 63, 127, 180, 336–337, 344
— менялы, *см.* Банковское дело
— накопление — xix, 24, 45, 60, 132, 135, 164–165, 184, 192, 203, 206
— переводные векселя — 70–71, 128, 131–132, 205

— подъем монетных систем 157
— процент — 68, 70–72, 103, 135, 145, 309, 312, 337, 340, 342, 344
— стабильность (финансовая) — 20–21, 40, 69, 71, 96, 146, 157–158, 344, 346
— счетные деньги — 20, 336–337, 345
— финансовые центры — 69–70, 72, 103, 131, 164, 343, 346
Депекорация, *см.* Мясо, нехватка
Депре, П. — 314
Депрессия, экономическая, *см.* Циклы, экономические, фазы B
Депрессия 1622 года — 90
Дерево (древесина) — 51, 120–121, 254, 287, 292–293, 315, 321
Дерминьи, Луи — 93, 209, 244
Десерты — 195, 315
Дессер, Даниэль — 142
Дефляция, *см.* Цены, спад
Дефо, Даниэль — 55, 308
Дехайо, Людвиг — 124, 313
Дешам, Юбер — 191, 194
Джайзи, Ральф Э. — 103
Джентри, *см. тж.* Фермеры (хозяева), капиталистические — 103, 120, 144–145, 149, 151, 158, 172, 175, 300, 345, 348–349, 351
Джилбой, Элизабет Уотермен — 317
Джин — 169, 316–317
— «Эпоха джина» — 317
Джон, А. Х. — 316–318, 320, 331, 341, 343
Джордж, Дороти — 111
Джотто ди Бондоне — 8
Джоунс, Дж.Р. — 43, 61, 92, 95, 138, 149, 151, 301, 304
Джоунс, Э. Л. — 47, 98, 101, 106, 234
Дикерсон, Оливер М. — 293
Дин, Филлис — 322, 328
Дипломатия — 91–92, 131, 192, 260, 272, 285, 332, 336
Добб, Морис — 7, 36
Добинс, Генри Ф. — 184
Добыча камня — 320
Договор о Нидерландском барьере (1715 год) — 304, 311
Долгий парламент, *см.* Великобритания, Англия
Долговой пеонаж, *см. тж. Gañanes, Naborios* — 186, 202, 209–210, 249
Долговые бумаги, *см.* Государство, финансы
Долина Миссисипи, *см.* Луизиана
Домингес Ортис, Антонио — 228
Домохозяйства — 135, 232, 250
Доннан, Элизабет 330
Дорварт, Рейнгольд А. — 278, 283
Дордрехтский синод — 82–84, 249
Дорн, Уолтер Л. — 278
Доходых — iii, xv–xvi, xx, 18–19, 23, 34–35, 37–38, 45, 58, 61, 70, 77, 92, 98, 100, 102, 104, 107–109, 113–114, 117, 125, 137, 141–142, 156–157, 161, 164, 166, 168–172, 174, 177–182, 184–190, 195, 201–203, 205–207, 220, 224, 229, 231, 233–236, 243–244, 249–250, 256–266, 268–270, 273, 277–279, 281–282, 289–290, 301, 315–316, 320, 324, 327, 329–330, 334, 336, 339–341, 343–344, 347–348, 351
Драгоценные (благородные) металлы, *см. тж.* Деньги; Золото; Монеты; Серебро; Цены, в драгоценных (благородных) металлах — 21, 44, 57–60, 69–71, 92, 125, 128–135, 157, 164, 180–182, 184, 201, 216, 223–225, 231–232, 289, 337–338, 343, 395
Древесный уголь — 122, 253, 320
Дрезден — 173
Дрейк, Фрэнсис — 134
Дуб — 51, 254
Дувр — 92
Дункан, Т. Бентли — 56, 224
Дунсдорфс, Эдгарс — 63, 162, 256
Духовенство, *см.* Христианство, духовенство
Дуэро (Дору) — 225, 231
Дьюри, Аластер Дж. — 322, 324
Дэвис, К.Дж. — 123–124, 200, 205, 208, 292, 312, 329, 334
Дэвис, Ральф — 4, 24, 48, 57, 60, 68, 93, 116–118, 123, 126, 179–181, 186, 189, 192, 194, 196, 198, 207–209, 322, 324, 328
Дэвис, С. С. Л. — 151
Дэнби, граф (Томас Осборн Лидс) — 148
Дюби, Жорж — 15
Дюпакье, Ж. — 104–107
Дюпюи, Алекс — 210
Дюран, Жорж — 107
Дюран, Ив — 339–340

E

Евреи — 93, 174–175, 220, 235, 283, 307
— немецкие 54–55, 235
— обращенные (*conversos*), *см.* Марраны
— сефарды 80, 93
Европа, *см. тж.* Средиземноморье (регион) *passim*
— Восточная — xvii, xix, 11, 22, 25, 37, 100, 119, 157–162, 165–166, 168, 170–175, 177, 182, 184, 187, 190, 202, 245–246, 251, 255, 259, 263, 268–269, 271, 273–275
— Западная — 15, 17, 37, 63, 65, 105, 125, 132, 160, 255, 259, 264–265, 332, 334
— Северная — 26, 50, 60, 63, 65, 117, 119–120, 197, 271
— Северо-Западная — xvii–xviii, 43, 55, 58, 159, 189, 222, 232, 251
— Центральная — xvii, 25–26, 165, 174, 235, 243, 248, 253, 259, 272, 283–284
— экспансия — xv, 8

— Южная — xvii, 15, 50, 90, 160, 174, 177, 190, 202, 288
«Европейский больной», *см.* Империя, Османская
Египет — 59, 332,
Екатерина Брагансская — 223
Елизавета Тюдор, королева Англии — 6

Ё

Ёмтланд — 255

Ж

Жакар, Жан — 4, 16–18, 97, 101–102, 104–108, 111, 142, 151, 314, 337, 340, 344
Жаннен, Пьер — 23, 53–54, 73, 81–82, 125, 159–160, 239, 242, 251, 256, 259, 318, 335
Железо — 106, 120, 122–123, 189, 191, 233, 236, 247–248, 251–255, 264, 266, 268, 291–292, 315, 320–321, 335
Женева — 345, 350
Животноводство — xviii, 15, 18, 48–49, 98, 100–102, 105, 160, 178, 183, 187, 191, 319
Животные, *см.* Животноводство
Жиманьи, Вера — 158, 161
Жир — xxv, 204, 335
Жиральт, Э. — 176
Жуков, Е.М. — 8–9
Журне, Жан-Луи — 142
Журьё, Пьер — 80, 362
Жыткович, Леонид — 159, 161, 163, 170

З

Забастовки — 112
Займы, *см. тж.* Банковское дело; Деньги; Финансисты — 69, 71–72, 135, 142, 203, 241, 245, 249, 282, 299, 331, 338–341, 343
Закон о занесении дворянства в матрикул — 257
Законодательство о социальном благосостоянии, *см.* Законы о бедных
Закрытая экономика, *см.* Меркантилизм
Занятость, *см. тж.* Рабочие 20, 92, 103, 111–113, 120, 155, 235, 237, 240, 316
Запад, *см.* Европа, Западная
Западная компания — 344
Западное полушарие, *см.* Америка
Заработная плата (заработок) — xiii, xix, 15, 50, 57, 66, 68, 90, 111–113, 141, 164, 168, 186, 211, 234, 236, 241, 244, 268, 286, 292, 323
— наемные работники, *см.* Работники
— натуральная 112
— негибкость 19
— реальная — xiii, xvi, 11, 19, 20, 31, 34–35, 77, 155, 169, 316–317, 320
— рост — 20, 111, 113, 316–317, 327
— снижение — 31, 34
Зеландия, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 43, 73, 75
Землевладельцы (лендлорды), *см. тж.* Аристократия; Джентри; Знать (дворянство); Поместья, владельцы; Сеньоры; Фермеры (хозяева), капиталистические — xiv–xvii, xix, 17, 102–108, 119–120, 141, 145, 149, 159, 161–162, 164–165, 169–170, 174–175, 177, 184, 186–187, 202, 212, 242–244, 246, 260, 262–263, 266, 269, 273, 275, 279–280, 286, 288, 300, 307, 309, 315, 320, 323, 340, 348
Землевладение — xiii–xiv, xx, 101–102, 105, 107, 177, 243
— аллодиальное — 258
Земледелие — xiv, 17, 32, 100, 107, 166, 257
Земледельцы, *см.* Фермеры (хозяева)
Земля — xiii–xix, 5, 7, 16–18, 31, 36, 38, 48, 67, 72, 80, 98–99, 101–109, 121, 141–142, 145, 147, 155, 159–161, 163–167, 169–173, 175, 177–178, 184, 186–187, 192, 194, 197–199, 203, 207–209, 211, 217, 234, 236–237, 242–246, 248, 256–262, 265–266, 269–277, 280, 283, 285, 289, 297–298, 303, 308, 315, 319–320, 347–348, 350
— необрабатываемая — 101, 319
— обрабатываемая — xiv–xv, 16, 47–48, 98, 108, 161–162, 172, 319,
— рекультивация (мелиорация) — 16, 31–32
Земский адвокат Голландии, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 75, 83
Зерно, *см.* Пшеница
Зильберт, Альберт — 224
Зинтара, Бенедикт — 166
Злаки (зерновые), *см. тж.* Гречиха; Овес; Пища (Продовольствие); Просо; Пшеница; Рожь; Сорго; Хлеб; Ячмень — xiii–xiv, xvi, 15–17, 19–20, 28, 31, 47, 54, 59, 65, 67, 89, 92, 98, 100–101, 104–105, 107, 109, 119–120, 158, 160–161, 167, 182, 194, 200, 202, 217, 245, 254, 269, 289, 315–319, 325–326, 337
— нехватка, *см.* Пища (продовольствие), нехватка
Золото, *см. тж.* Благородные (драгоценные) металлы; Деньги (металлические) — 21, 42, 62, 71, 77, 128–133, 135–136, 141, 180–181, 201–202, 221–222, 224–225, 231–232, 247, 337–338, 343–344
— золотой стандарт — xxvi, 337
Золотой берег — 197
Зомбарт, Вернер — 55, 235, 342
Зоны, экономические, *см.* Труд, разделение
Зриньи, Миклош — 171
Зунд — 29, 78, 255, 270, 277

И

Иаков I, король Англии — 51, 91, 121
Иаков II, корольАнглии — 80, 149, 298–299, 307

Иаков VII, король Шотландии (Джеймс Френсис Эдуард, шевалье де Сен-Жорж) — 307
Ивлин, Джон — 120
Игли, Роберт В. — 267
Иезуиты — 239,
Издольщина, *см. тж. Métayers, Mezzadria* — 242
Израэль, Дж. И. — 50, 59, 78, 181, 184–185, 219–220
Икра — 334
Имбер, Гастон — 5–6
Имбер, Жан — 98, 324, 346
Иммиграция, *см.* Миграция
Империя — 58, 74, 180–181, 190, 193–194, 204, 216, 219–222, 225–227, 229, 256, 258, 263, 265, 290, 307–308, 310
— Австрийская — 240, 273
— Великих Моголов — 118
— Габсбургская — 171, 244, 273, 274, 282, 285, 286
— мир-империя, *см. тж.* Государство, универсальная монархия — xiii, xxii, xxiv, xxvii, 44, 56, 77, 266
— Османская, *см. тж.* Балканы, турецкие — 118, 332
Имхоф, Артур Э. — 272
Инвестиции — xxiv, 32, 45, 62, 72, 102–103, 107–108, 110, 114, 116, 134, 173, 184, 186, 188, 197, 202–203, 205, 208, 243–244, 249, 252–253, 260, 309, 320, 327, 341–343
Инволюция, *см. тж.* Циклы, экономические, фазы B — 156, 165, 202, 218, 236–237
Ингрия — 255, 266
Индиго — 110, 181, 358
«Индии» — ii, 56–57, 130, 179, 190, 219, 221, 226–227, 238, 306
— Вест-Индия, *см.* Карибский бассейн
— Ост-Индия — xxvii, 55–56, 59–60, 62, 65, 71, 74, 84, 92, 94, 117, 129–133, 207, 297, 337, 344
Индийская компания — 344–345
Индийский океан (зоны) — 27, 56, 58–60, 333–334
«Индийское зерно», *см.* Кукуруза
Индия — 55, 118, 129–131, 239, 299, 321, 334, 344
Индонезия — 55, 285, 334
Индустриализм — 9, 112, 114
Инженерия — 96
Инки — 132
Инкорпорация (включение), *см.* Мир-экономика
Иннис, Х. А. — 334
Инструменты — 7, 18, 33, 49, 51, 71–78, 81, 106, 131, 136, 194, 203, 251, 258–259, 315
Интенданты, *см.* Государство, бюрократия
Инфляция, *см.* Цены, рост
Инш, Джордж Пратт — 306–307, 309
Ипр — 310
Ирландия — 17, 19, 120, 149, 204, 291, 299, 303, 307, 322–324
Ирландский Акт о шерсти 1699 года — 323
«Исключительные провинции» — 228
Ислам, *см. тж.* Средиземноморье, исламское; Мориски — xiv, 11, 176, 334
Исландия — 46
Испания — 17, 24–26, 29–30, 37, 50, 54–56, 59, 62–63, 70–71, 74, 77–78, 84, 90–92, 94, 110, 117, 122, 129–130, 133–134, 136, 157, 170, 174–177, 181–182, 184–195, 197–198, 202, 204, 210–211, 215–223, 225–230, 238–240, 244, 247, 249, 255, 259–260, 263, 267, 277, 284–285, 290, 298, 300, 308, 310–314, 319, 326, 328–332, 337–338, 342, 345, 351
— война за Испанское наследство — 225–228, 239, 265, 267, 284, 291, 303–305, 310, 330
— Испанская Америка, *см.* Америка, Испанская
— Испанские Бурбоны, *см.* Бурбоны, Испанские
— Испанские Нидерланды, *см.* Нидерланды, Южные
— южная — 176
Иссави, Чарльз — 118–119
Ист, У. Г. — 320
Италия — 25–26, 35, 79, 118, 166, 219, 229, 237, 310
— северная — xviii, 27, 37, 59–60, 90, 99, 125, 215, 232, 235–237, 239, 242, 244–245, 253, 345
— южная — 176–177, 202

Й

Йенсен, Эйнар — 271–272
Йенш, Георг — 256
Йерно, Жан — 253
Йоденбреестраат, *см. тж.* Амстердам — 80
Йомены, *см.* Фермеры (хозяева), йомены
Йонсен, Оскар Альберт — 167
Йоргенсен, Йохан — 161, 270–272
Йордаан, *см. тж.* Амстердам — 54, 361
Йорк, Фредерик, герцог — 305
Йоркшир — 46, 353–354

К

Кавалерия, *см.* Армия
Кавке, Франтишек — 167, 281
Кадис — 134, 193, 226, 230
Казаки — 175, 259
Казначейство, *см. тж.* Великобритания, Англия —72, 143, 282
Каицци, Бруно — 240
Кайндлбергер, Чарльз П. — 51, 345
Кайру — 198
Какао — 199
Каледония — 307
Каллен, Л. — 323–324
Калории, *см. тж.* Пища (продовольствие) — 66, 315

Кальвинизм, *см. тж.* Христианство — 61, 64, 81, 83, 138, 151
Кальтенштадлер, Вильгельм — 284
Камаму — 198
Камбрэ — 114
Каменщик — 34
Камерализм, *см.* Меркантилизм
Камизары — 350
Камлотовые ткани — 50, 110
Кампанья — 17
Канада — 121, 123–124, 177, 209, 334
Канал дю Миди — 319,
Каналы, *см.* Транспорт, каналы
Канн, Роберт А. — 281
Каннингем, У. — 47, 72, 325
Канчило, Орасио — 175
Каперы, *см.* Пиратство
Капитал — xvi, xix, xxv, xxvii, 19, 24, 36, 39, 59–61, 65, 67–72, 81, 103, 105, 110, 115–116, 121, 129, 133–135, 145, 152, 173, 182, 184, 187, 197, 199, 202–203, 206–207, 211, 230, 234, 243–245, 247, 249, 253–254, 256, 264, 307–308, 320, 324, 335, 340–344, 347, 351–352
Капитализм, *см. тж.* Буржуазия; Деньги; Компании; Мир-экономика; Промышленность; Сельское хозяйство, капиталистическое; Торговля — xi–xii, xix–xxi, xxvii–xxviii, 7–11, 21, 23–24, 29, 31–34, 37–40, 43–44, 54–58, 69–70, 77–78, 85, 102, 105, 107–109, 111, 113–114, 118, 131–132, 136, 138, 141–142, 144, 149, 155–156, 161, 165–166, 171, 177–178, 183, 188, 205, 215, 243–244, 274, 281, 287, 302, 317, 324, 327, 338–339, 352
— капиталистическое сельское хозяйство, *см.* Сельское хозяйство, капиталистическое
— купеческий (торговый) капитал 39, 202, 235–236
— монополии — xix, xxi, 55, 58–59, 61, 67, 73–74, 76, 147, 169, 186, 199, 226, 230, 246–247, 249, 253, 264, 266, 291–292, 298, 301, 306, 310, 329–330, 332, 335, 338, 344–345, 348
— переход от феодализма к капитализму — 3, 6–7, 9, 38–39
— предприниматели, *см. тж.* Буржуазия; Джентри; Купцы (торговцы); Плантаторы; Промышленники; Финансисты — 57, 103, 113, 144, 165, 177
— придворный капитализм — 348
Капиталисты, *см.* Земельная буржуазия; Фермеры (хозяева), капиталистические
Кардосо, Мануэль — 224
Карелия — 266
Карибский бассейн — xix, 11, 55, 74, 78, 124, 136, 176–177, 189, 191, 194–195, 198, 202, 207, 209, 212, 289, 328–329, 334
Карл I, король Англии — 72, 92, 149
Карл II, король Англии — 94, 100, 147, 192, 223
Карл II, король Испании — 226–229, 310
Карл V, король Испании, император Священной Римской империи — 39, 44, 138, 265, 281
Карл VI, император Священной Римской империи — 282, 284
Карл IX, король Швеции — 245, 252
Карл X, король Швеции — 258, 270
Карл XI, король Швеции — 259–261, 263, 265
Карл XII, король Швеции — 245, 261–263, 265–266, 284, 292, 306
Карл Эммануил II, герцог Савойский — 242
Карловацкий мир (1699 года) — 284
Карлссон, Стен — 257, 262
Карманьяни, Марчелло — 183
Кармона, Морис — 245
Каролина, Северная и Южная, американские колонии — 287, 292
Каролингская эпоха — xiii, 15
Карр, Реймонд — 256
Карьера, *см. тж.* Торговля, атлантическая — 134, 190
Карстен, Ф. Л. — 27–28, 69, 274–279, 281
Карстэйрз, А. М. — 308–310
Карсуэлл, Джон — 139, 344
Картахена — 179, 375
Картер, Эллис С. — 76, 94, 139, 301, 304–305, 310, 313, 327, 336, 340–343
Картографы — ii, 79
Картофель — 99, 314–315
Карьер, Шарль — 119, 121, 125–126, 140, 326–328
Кастилия — 17, 26, 131, 175, 216–219, 222, 226–227, 247, 265
Кастильо, Альваро — 70, 175–176, 220
Каталония — 17, 218–222, 225, 227–228, 232, 303
— каталонский мятеж — 219, 226
— каталонское движение — 227
Като-Камбрези, мирный договор (1559 год) — 85
Католическая церковь, *см. тж.* Контрреформация; Христианство — 77, 82–84, 150–151, 280–281, 307, 350
Кеймен, Генри — 28, 30, 216, 222, 225–229, 253
Кейт, Роберт Дж. — 187
Кейт, Теодора — 306
Кексгольм — 255, 259
Кельтские территории — xiv, 352
Кент, Х. С. К. — 272
Кеплер, В. С. — 92
Керридж, Эрик — 104
Кёнигсберг — 121, 256, 278
Кёртин, Филипп Д. — 124, 209–210
Кингстон — 204
Кипр — 59
Кириль, Ж. — 161, 167
Кирни, Х. Ф. — 323
Кирпич — 15, 52, 67, 194

Кирххаймер, Отто — 112
Китай, *см. тж.* Восток — xxii–xxiii, 57–58, 118
Китайская компания — 344
Китайские товары — 333
Киш, Герберт — 238, 241, 283, 286
Кишш, Иштван — 167
Клайд (река) — 309
Кларендон, граф (Эдуард Хайд) — 47, 74
Кларк, Дж. Н. — 7–8, 47, 54, 80, 98, 109, 226–229, 303–304, 328
Классицизм — 40
Классы — xxvi, 10–11, 23, 29, 83–84, 102, 138–142, 144–149, 170, 185, 202, 210, 221, 226, 256, 262, 280–281, 347
— высшие, землевладельческие, правящие *см. тж.* Аристократия; Дворянство (знать); Сеньоры; Юнкеры — 149, 151–152, 161, 173, 219, 237, 263, 275, 277, 279–280, 348–349, 352
— классовая борьба — 85, 137, 169, 174, 176, 350
— крестьянские, *см.* Крестьянство
— низшие, трудящиеся — 20, 34–35, 152, 187, 209
— средние, мануфактурные, торговые (купеческие), *см. тж.* Буржуазия; Государство, бюрократия; Купцы (торговцы) — 7, 39, 76, 81–82, 84, 149, 202, 228, 271, 300, 323
Клеве — 272, 276, 279
Клевер— 98–100, 315
Клима, Арност — 50, 167, 234–236, 283, 286
Климат — xvi, 16, 35, 98–99, 124, 195, 197, 199, 224, 246, 289, 314
Клэпхэм, Джон — 340
Кляйн, Петер В. — 52, 58, 67, 71–72, 77, 116, 327, 342–343
Кнапп, Г. Н.— 274–275
Кнокке — 310
Коатс, А. У. — 113
Коббетт, Уильям — 334
Ковецкий, Ежи — 170
Коен, Ян Питерзон — 55–57
Кожа — 50, 52, 125, 335
Колонии — xiv, xxvii, 25, 52, 55–56, 61–62, 74, 122–126, 147, 175, 177–178, 182–184, 188–193, 195, 197–198, 200, 202–205, 207, 210, 215, 218, 220–224, 227, 229–232, 245, 252, 254–255, 285, 287–294, 299, 305–311, 313, 320, 323–324, 327–329, 333–334, 342, 344, 353
— колониальная продукция — 50, 58, 73, 123, 217, 287, 328,
— поселенцы — 57, 62, 123–124, 134, 183, 185, 190, 194, 227, 290, 307, 334
— Центральной Атлантики — 215
«Колпаки» (политическая партия в Швеции) — 267–268
Колумб, Христофор 7
Кольбер, Жан-Батист 52, 88, 96, 101, 109, 114–115, 120, 136, 140–144, 149–150, 238, 301, 325–326, 339, 344
Колчестер — 80
Коменский, Ян Амос — 80
Комиссионные агенты, *см. тж.* Купцы (торговцы) — 67, 204–206
Комменда — 245
Коммерция, *см.* Торговля
Коммерческая аристократия, *см.* Купцы (торговцы)
Коммерческие культуры, *см.* Сельское хозяйство-капиталистическое
Коммерческое первенство, *см.* Торговля, коммерческое первенство
Компании, *см. тж.* Акции; Система партнерств — 32, 55, 57, 61–63, 92, 115–118, 120, 129–130, 135, 147, 197, 207, 220, 223, 249, 260, 284, 291, 306–307, 309–310, 312, 321, 330–331, 333, 340, 344–345, 348
Компания Восточной Индии — 344
Компания Гудзонова залива — 303
Компания королевских предпринимателей, торгующих с Африкой — 329
Компания Остенде — 238
Компания Южных морей — 229, 296, 310–312, 331, 340, 345–346
Конде, принц — 88
Конопля — 17, 48–49, 256, 264, 291
Константини, Клаудио— 234, 240–241
Континентальная блокада — 300
Континентальная (военная) доктрина — 299–300, 302
Контрабанда — 94, 123, 179, 182, 184, 191–195, 201, 204, 221–222, 229, 232, 237, 298, 308, 311–312, 316, 321, 326, 331
Контрремонстранты, *см.* Гомар, Франсуа
Контрреформация, *см. тж.* Католическая церковь — 85, 91, 174, 280–281, 351
Копенгаген — 193, 270
Копигольдеры — 103–104, 151
Коппарберг, *см. тж.* Промышленность, медная — 247
Кораблестроение, *см.* Промышленность (индустрия), кораблестроение
Корабельные товары (материалы), *см. тж.* Деготь; Канифоль; Пенька; Скипидар; Смола — 51, 73, 120, 122, 125, 254, 263, 290-292, 299
Кораблестроители — 65–66, 288–289, 327
Корвизье, Андре — 150
Корнарт, Э. Л. Й. — 55, 58
Коровы, *см.* Скот
Королевская Африканская компания — 62, 298, 329
Королевский банк (*Banque Royale*), *см. тж.* Банковское дело, государственное — 343, 345
Королевский совет, *см. тж.* Франция — 101, 267
Коромандель (Коромандельское побережье) — 130
Корона, *см.* Государство
Корпорации, мультинациональные, *см.* Компании
Коррехидоры — 185–186

Корсарские флотилии, *см.* Пиратство
Косминский, Е.А. — 36
Коссманн, Э.Х. — ix, 53, 75–76, 83, 143, 327
Костер, Сэмюэл — 82
Котентен — 17
Коттрелл, Фред — 298
Коул, У.А. — 328
Коулмен, Д.С. — 6, 43, 290, 315, 320
Кофе — 60, 199, 333
«Кофейные приставы» — 56
Кочевничество — 100
Кошениль — 110
Крайбекс, Ян — 233, 239
Крайстлоу, Ален — 93, 222, 229–231, 313
Краков 166, — 174–175
Красители, *см. тж.* Индиго; Кошениль; Марена; Пастель; Рапс — 51, 222
Красное море — 56
Кредит, *см.* Деньги, кредит
Крейвен, Уэсли Фрэнк — 287–288
Крейг, Гордон А. — 279
Креолы — 182, 185–186, 191
Крепостной труд, *см.* Крепостные
Крепостные — xiv–xvi, xix, 32, 37, 112, 161, 168, 172, 175, 268, 273–275, 277, 281, 286
— «второе крепостное право», *см.* Принудительный труд на рынок
— крепостничество в рудниках — 166
— освобождение — 175
Крестьянство, *см. тж.* Батраки; Труженики (трудящиеся); Фермеры (хозяева) — xv, 14, 17–18, 36–37, 39, 48, 100, 102, 105–108, 141–142, 151, 158–170, 172, 174–175, 177, 187, 198, 202, 218–219, 226, 234, 242–243, 246, 250, 253, 256–259, 261–262, 268–269, 271–275, 277, 280–281, 349–351, 353
— бегство крестьян — 168–169, 274
— зажиточное, *см.* Фермеры (хозяева), йомены
— крестьянская палата, *см.* Швеция, сословия / палаты риксдага
— крестьянские восстания — xvi, 7, 122, 151, 174–176, 281, 286
— экспроприация — 108
Крефельд — 241
Крёйц, Филипп, граф — 260
Кридте, Петер — 234–236
«Кризис», *см. тж.* Циклы, экономические, фаза B — xi, xvi, 3–4, 9, 12, 15, 18, 22–25, 40, 255
Кристиан IV, король Дании — 270
Кристианопльский мир (1645 год) — 270
Кромвель, Оливер — 92–94, 192, 251, 287, 354, 357, 370, 391
Кронштадт, Карл Йохан — 214
Кросби, Альфред У. — 184
Кросс, Гарри Э. — 182, 210
Кружева — 49
Крузе, Франсуа — 5, 116, 143, 324
Крупные помещики (сквайры) — 105
Крут, Патрисия — 107–108
Крюгер, Хорст — 283
Куба — 189
Кук, Шербурн Ф. — 184
Кукуруза (маис) — 99, 182–183, 217, 245
Кулишер, Йозеф — 116, 234, 274–275, 283–284
Культура — xiii, xv–xvii, xxi, xxvii, 5, 10–11, 40, 43, 76, 78–81, 84, 156, 173, 211, 218–219, 222, 227, 245, 285, 352
Куля, Витольд — ix, 158, 163–166, 168–169, 286
Кун, Вальтер — 274
Купер, Дж.П. — 78
Купцы (торговцы), *см. тж.* Буржуазия; Торговля (мировая) — 2, 23, 28, 47, 56–59, 61–62, 64, 67, 70–71, 73, 83–84, 91–93, 105, 107–108, 115–117, 127, 134, 139, 147, 149, 158, 169, 177, 182, 188, 193–194, 201–207, 220, 223–224, 226, 231, 233–236, 239, 248, 254, 262, 267, 269–270, 283, 285–289, 29–1292, 303, 305–312, 317, 326, 330–332, 335, 339, 342, 347
Курляндия — 235, 251
Курпский регион — 175
Кур, Антуан — 350
Куске, Бруно — 54, 65, 238
Кучинский, Юрген — 274
Куэнка — 217
Куэнсес, Г. — 106
Куявия — 168
Кэмпбелл, Р.Х. — 97, 322
Кюрасао — 78, 192, 285

Л

Ла Манш — 99
Ла Рошель — 200
Ла Форс, Дж. Клейбёрн — 228
Лабрусс, С.Э. — 104, 111, 145, 297, 313, 324, 352
Лабрусс, Элизабет — 80
Лавровский, В.М. — 105, 315
Ладожское озеро — 259–260, 383, 386
Лангедок — 100–102, 114, 176, 319, 326, 341
Ланды — 17
Ларкье, Кл. — 176
Ларошфуко-Лианкур, Франсуа Александр Фредерик, герцог — 350
Ларрас, Хосе — 105, 181, 190, 222
Латвия — 159
Латифундия, *см. тж.* Поместья — 169, 172–173, 178, 186, 242
Лафайет, маркиз (Мари Жозеф Жильбер дю Мотье) — 350
Ле Брюн, Шарль — 88

Ле Руа Ладюри, Эммануэль — 4, 6, 20, 35, 90, 98–102, 104–105, 107, 142, 150–151, 166, 314, 319, 326, 350–351
Ле Флем, Жан-Поль— 217
Левант, *см. тж.* Средиземноморье (регион) — 56, 59–60, 65, 71, 118–119, 129, 285, 328, 332
Левестейнеры — 76
Легрель, Арсен — 226
Лейбниц, Г. В. — 9, 265
Лейден — 50, 53–54, 241
Лейн, Фредерик С. — 240
Лейпциг — 34
Ленмэн, Брюс — 307–310
Леон, Пьер — 20, 109, 111–112, 114, 119, 121–123, 125–126, 140, 150–152, 302, 324, 326, 328, 333, 339–340, 355
Леонард, Эмиль-Ж. — 150, 312, 350
Леопольд I, император Священной Римской империи — 49, 282
Леопольд II, королЬБельгии — 6
Лерма, герцог (Франсиско Гомес де Сандоваль и Рохас) — 247
Лес (лесоматериалы), *см.* Дерево (древесина)
Лешкевич, Янина — 170
Лешнодорский, Богуслав — 159
Лёильо, Поль — 333
Лён — 15, 17
Либел, Хелен П. — 238, 240, 286
Либерализм, *см.* Государство, либерализм
Ливония — 162, 251, 255–256, 265–266
Ливорно — 60
Лизгольдеры, *см.* Фермеры (хозяева), арендаторы
Лима — 188, 193
Лимбург — 101
— южный — 319
Лимерикский договор — 307
Линч, Джон — 134, 178–179, 181–184, 217
Лион — 109, 125, 244, 346
Липсон, Эфраим — 55, 101, 109, 112–113, 318
Лира, Андрес — 187
Лиссабон — 55, 201, 223, 227, 230, 338
Лист, Фридрих — 238
Литва — 172–174
Лифляндия — 260
Лихтхайм, Джордж — 92
Локк, Джон — 9, 80, 84
Локхарт, Джеймс — 186–187
Лом, Франтишек — 162
Ломбардия — 237, 240
Лондон — 43, 66, 70, 90, 92–94, 102, 115, 120, 127, 134–135, 200, 203–207, 232, 288, 306, 317–318, 330, 335, 338, 341, 346, 348
Лондонский Монумент — 296
Лопес, Адальберто — 181
Лорд, Элеонора Луиза — 288–289, 292
Лотарингия — 303
Лоу (Ло), Джон — 343–346
Лошади — 106–107, 183, 199, 279, 320
Луара
— долина 102
— река — 99
Лувуа, Франсуа Мишель Летелье, маркиз — 96
Лузак, Эли — 45
Лузация — 165
Луизиана — 123, 344
Лундгрен, Петер — 96
Лунде, Йос — 193
Лундквист, Свен — 256, 263, 265–266
Луццатто, Джино — 242
Лэнг, М. Ф. — 180, 184
Лэнгтон, Джон — 121
Любек — 271
Людовик XIV, король Франции — 39, 88, 95–96, 124, 136, 138, 140, 142, 149–151, 226–227, 259–260, 299, 301, 303, 306, 310, 332, 338, 341
Люксембург — 303–304
Люмпен-пролетариат — 279
Лютге, Фридрих — 27, 166, 243, 273–275, 283
Люты, Герберт — 130–131, 135–136, 142, 150, 336–337, 339, 341, 346
Люцерна — 100, 315
Люцерна хмелевидная — 315

М

Маас — 48
Магдебург — 272
Магистраты — 208
Магнаты, *см. тж.* Аристократия; Землевладельцы (лендлорды); Сеньоры — 74, 162–165, 169–170, 172–174, 275–276
Мадейра — 224
Мадрас — 333
Мадрид — 188, 217, 220, 227
Мадридский договор (1750 год) — 332
Мазовия — 161, 174
Майлинк-Рёлофс, М. А. П. — 56, 74
Макартни, К. А. — 173, 284
Макиавелли, Никколо — 7
Маккаи, Ласло — 160–161, 166, 169–170, 243
МакЛахлан, Джин О. — 222, 226, 291, 331
МакЛеод, Мёрдо Дж. — 5, 179, 181–182, 184–187, 191, 194
МакМэннерс, Дж. — 347
Максвелл, Кеннет — 230
Максимилиан Эммануил, герцог Баварский — 238
Малага, побережье — 225
Малецкий, Ян М. — 166
Маловист, Мариан — 162, 167, 169–170, 263–264

Малый ледниковый период — 314
Мальборо, Джон Черчилль, герцог — 238
Ман, Томас, сэр — 128
Манила — 297
Мануфактуры — 8, 27, 49–50, 52, 68, 81, 88, 91, 111–114, 116, 118–119, 122, 124–126, 142, 152, 169, 176, 188, 202–204, 217, 222, 224–225, 230–232, 234, 236–237, 240–242, 253, 267–268, 283–284, 286, 288–289, 293, 302, 306, 309, 318–325, 327, 333
Манчестерский акт 1735 года — 321
Маратхи — 333
Марвелл, Эндрю — 47
Марена — 17, 355
Марино, Джон А. — 237
Мария-Анна Нейбургская, королева Испании — 227
Мария Терезия, императрица австрийская — 281, 285
Марк, графство — 272, 276, 279
Маркеш, А. Х. де Оливейра — 219
Маркович, Тихомир Й. — 324–326
Маркс, Карл — iv, 6–8, 72, 342
Марксизм — 5–9, 138, 148
Марокко — 219
Марраны, *см. тж.* Евреи, сефарды — 70, 220, 350
Марре, П. — 341
Марсель — 26, 125, 314, 319, 326, 332
Мартен, Анри — 303
Мартен Сен-Леон, Этьенн — 112
Мартиника — 124, 204, 329
Мартинс, Х. П. Оливейра — 231
Маршалл, Альфред — 128
Маседу, Жорже Боржеш де — 225, 230–231
Масло, *см.* Молочные продукты
Массельман, Джордж — 55–59
Массон, Поль — 332
Мата, Евгения — 21
Мате — 181
Матейек, Франтишек — 158
Математики — 79
Матиас, Петер — 317, 351
Мацурек, Й. — 234–236, 283
Мачан — 58
Медик, Ханс — ix, 235–236
Медь 131, 135–136, 160–161, 171, 247–249, 251–253
— медные монеты, *см. тж.* Биллон; Деньги, Металлические — 136, 157, 247–248
Мей, Л. П. — 329
Мейдрицка, Квета — 162, 165
Мейсенский фарфор — 333
Мекленбург — 274, 276, 280
Мексика, *см.* Новая Испания
Мексиканский залив — 194
Мелиорация земель, *см.* Рекультивация земель
Мельяфе, Роландо — 179, 184, 210
Мен (Франция) — 19
Менард, Рассел Р. — 209
Мендельс, Франклин Ф. — 234–236, 241, 324
Менен — 310
Меннониты — 235
Ментинк, Г. Й. — 90
Мергель, *см.* Сельское хозяйство, удобрения
Меринг, Франц — 276–277, 279
Меркантилизм — 6, 43–44, 51, 70, 72–74, 90–91, 94–95, 109–113, 115, 117–118, 125–128, 132, 137, 140–142, 169, 173, 190, 198, 204, 223–227, 229, 237–238, 240–241, 247, 255, 258, 267–268, 272, 282–283, 287–290, 305–306, 308, 322, 324–326, 328, 338, 341
Мертенс, Жак Э. — 337
Ме́ста — 217
Металлические изделиях — iv, 169, 189, 292, 326
Металлы, *см. тж.* Железо; Медь — 20–21, 44, 57–60, 69–71, 92, 122, 125, 127–135, 157, 164, 169, 180–182, 184, 201, 216, 222–225, 230–233, 247, 249, 268, 289, 320–321, 337–338, 343
Метисы — 183–184, 187–188, 191, 209
Метуэнский договор 1703 года — 225, 230, 346
Меха — 56, 299, 334
Мехико — 184
Мёвре, Жан — 5, 18, 100, 103–105, 115–116, 143, 240
Мёд — 195
Мёрнер, Магнус — 183, 188
Миграция — 53, 80–81, 84, 124, 176, 244, 302, 341
Миди — 26
Мидлендс — 17
Мика, Алоис — 235
Милан — 236, 240, 284
Мильонес — 181
Минас Жерайс — 230
Мингей, Дж. Э. — 103–106, 145, 315–316, 319–320, 348
Минден — 272
Минц, Сидней У. — 183, 211
Минчинтон, Уолтер — 32, 35, 55, 122, 141
Мир-империя, *см.* Империя, мир-империя
Мир-система (Модерна) — iv, xi, xx–xxiii, xxv, xxvii, 9, 37, 84, 131, 215, 264
Мир-экономика, *см. тж.* Капитализм; Периферия; Платежи, система; Полупериферия; Труд, разделение; Центр — xi, xxii, 10, 31, 33–34, 38, 44, 56, 77, 86, 100, 118, 131–132, 155, 157, 161, 189, 264, 297, 319, 332
Мирабо, граф (Оноре Габриель Рикети) — 350
Мировой рынок, *см.* Торговля (мировая)
Миссисипи — 124, 344
Мита — 180, 210
Михалкевич, Станислав — 286
Мичелл, А. Р. — 46–47, 51, 63, 73, 94
Мозель — 17

Моленда, Данута — 169
Молинисты — 82, 363–364
Молоко, *см.* Молочные продукты
«Молот Востока» — 255, 276
Молочные продукты — 241, 317
Молуккские острова (Острова пряностей) — 56, 334
Мольс, Роджер — 22, 53
Монархия, *см.* Государство
Монета (монеты), *см.* Великобритания, Англия, монета; Государство, финансы; Драгоценные (благородные) металлы Монополии, *см.* Капитализм, монополии; Торговля, монополии
Монпелье — 17
Монтер, Э. Уильям — 341
Мончак, Антони — 26, 129, 158–160, 162, 164, 166, 169–170, 172
Моравия, *см. тж.* Чехия; Чехословакия — 162, 165, 275, 280, 284, 286
Мораль (нравы) — 33, 84, 94, 102, 172
Морган, Генри — 192
Морган, У. Т. — 303
Морено Фражинальс, Мануэль — 328–329
Морино, Мишель 4–5, 24, 56, 59, 63, 66, 70–71, 99, 100, 102, 117, 125, 133–134, 181, 232, 326–327, 335, 338, 342–343, 355
Мориц, принц Нассауский (Оранский) — 78, 250
Мориски — 176, 217
Моро, Фредерик — 21–22, 177–178, 196, 220–221, 223
Морская доктрина — 299, 302
Морские перевозки, *см.* Транспорт, морской
Моряки — 66, 143, 262, 330
Мука — 318
Мулаты — 183, 191, 211
Мунк, Томас — 272
Мунктелл, Хенрик — 254
Мунье, Ролан — 3, 20, 140, 338, 351
Муро, Луис — 187
Муслин — 321, 333
Мусульмане, *см.* Ислам
Мухерджи, Рамкришна — 118
Мыс Доброй Надежды (маршрут) — 56, 92, 307
Мышка, Милан — 236
Мэйсфилд, Дж. Б. — 196, 207
Мэриленд — 198, 201–202, 377
Мэхэн, Альфред Тайер, адмирал — 78, 93, 96–97, 302
Мюнстер — 19
Мюррей, Р. К. — 305
Мясо, *см. тж.* Пища (продовольствие); Скот — 35, 160, 191, 317

Н

Наварра — 228
Навигационные акты, *см.* Великобритания, Англия, Навигационные акты
Навоз, *см.* Сельское хозяйство, удобрения
Надаль, Х. — 176
Наемные армии, *см.* Армия, наемники
Налоги, *см.* Государство, финансы
Намюр — 310
Нант — 326
Нантский эдикт — 150, 220
— отмена — 124, 150–151, 302, 341, 349–350
Наполеон — xxiv–xxv, 8, 138, 283
Нарва — 121, 256, 291
Население — xii, xv, 16, 18, 22, 39, 47–48, 53, 58, 76–77, 80, 82, 90, 97, 99, 106–107, 111, 123, 129, 139, 155, 158, 162, 167–169, 172, 174, 177, 180, 182, 191, 208, 210–211, 217, 219, 224, 234, 258, 263, 277, 281, 287, 290, 298, 313–314, 320, 326
— сокращение (депопуляция), *см. тж.* Эпидемии — xv–xvii, xxvi, 50, 90, 176, 184, 186, 191, 210, 217, 236, 264, 266
— увеличение — xiv–xv, 19, 22, 31, 49, 89–90, 155, 175, 204, 297, 313–314, 319, 330
Наследование — 36, 103, 219, 266, 305–306, 313
Наследование по мужской линии — 103
Наследственные платежи, *см.* Феодализм, феодальные повинности
Национализм — 175, 331
— экономический, *см.* Меркантилизм
Национальная экономика, *см.* Торговля, национальные рынки
Неаполь — 26, 176, 236, 284
Негры (чернокожие) — 183, 186, 197, 207–208, 323
Негуев, С. — 332
Нейтралитет — 240–241, 291, 313
Нейш, Дж. П. Б. — 51
Нельсон, Джордж Х. — 229–230, 311
Неравный обмен — 60, 232
Неттельс, Кёртис П. — 195, 287–292, 330
Неф, Джон У. — 112, 114–115, 121, 199, 298, 324
Нидерланды (Северные), *см. тж.* Батавская республика; Голландия; Зеландия; Нидерланды (исторические); Торговля, голландская — xviii, 9, 17, 25, 29–30, 44, 47–49, 52–54, 58, 67–68, 70, 72–76, 80, 99, 115, 229, 247, 249, 264, 270, 310–311, 317, 326, 328, 333
— Австрийские — 284, 311
— Война за независимость, *см.* Нидерланды, Нидерландская революция
— Генеральные Штаты — 45, 55, 73, 75–76, 93, 249, 271, 349
— Испанские — 27, 95, 199, 232, 238–239, 284, 304, 310
— Нидерландская революция — 7, 29, 50, 53, 64, 151, 181, 253
— Нидерландский барьер — 304–305, 311
— Южные, *см. тж.* Брабант; Фландрия — 61, 83–84, 236, 238–239, 242, 253, 304, 306, 310–311, 318

Неймегенский мирный договор (1678 год) — 95, 115, 195, 260, 303, 304
Нильсен, Аксель — 167
Нихтвайсс, Йоханнес — 274
Ништадский мир (1721 год) — 255, 265
Новая Англия — 215, 224, 287–288
Новая Испания — 178–179, 184–185, 188, 210, 219
Новая Шотландия — 303, 391
«Новые христиане» — xvi, 220
Новый Амстердам, *см. тж.* Нью-Йорк — 62, 94, 287
Новый Свет — 183, 312, 333
Нопперс, Джейк — 70, 327, 331, 335
Норвегия — 129, 131, 167, 193, 254, 260, 270, 291, 305, 308
Норвич — 80, 139
Нордманн, Клод Ж. — 248, 250–251, 253, 259, 265–266
Норманны — 349
Норт, Дуглас С. — 52–53, 67, 72, 109, 127
Норчёпингский сейм — 258, 260
Нью-Джерси — 287
Нью-Йорк, *см. тж.* Новый Амстердам — 77, 287
Нью Миллс, текстильная мануфактура — 306
Ньютон, Исаак — 9, 112
Нюрнберг — 233, 238

О

О'Брайен, Патрик — 351
Обен, Херманн — 286
Оберем, У. — 211
Обменный банк Амстердама, *см. тж.* Банковское Дело — 70, 71
Образование — 80, 351
Общинная собственность, экспроприация, *см.* Сельское хозяйство, консолидация
Объединенная Ост-Индская компания, *см.* Великобритания, Англия, Ост-Индская компания
Оверэйсел — 75
Овес — 17, 217, 319
Огг, Дэвид — 328
Огораживания, *см.* Сельское хозяйство, огораживания
Огрен, Курт — 256, 258, 260–263
Оден, Биргитта — ix, 253
Одер — 283
Одрикур, Андре Г. — 106
Озер, Анри — 216
Оксеншерна, Аксель — 248
Олбани, форт — 303
Оливарес, Гаспарде Гусман, граф Оливарес, герцог Санлукарде Баррамеда — 218–219, 222
Оливковое масло — 337
Ольстер — 290
Омер, Сидни — 69–71
Оноди, Оливер — 180
ОПЕК — 255
Оранжисты, *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 61, 64, 76, 82–84
Оркнейские острова — 46
Ормрод, Дэвид — 317–318, 321, 335
Ортис, Фернандо — 199, 228
Оружие, *см.* Вооружение
Осборн, Уэйн С. — 187
Освобождение рабов, *см.* Рабство, освобождение
Османская империя, *см.* Империя, Османская Ост-Индия, *см.* «Индии», Ост-Индия
Остенде — 238, 284
Остеруд, Ойвинд — 260–261, 268–270
Острандер, Гилман М. — 289, 293
Острём, Свен-Эрик — ix, 50, 116, 119, 121–122, 129–130, 251, 254–255, 258–260, 263–266, 291–292, 335
Откуп налогов, *см. тж.* Государство, бюрократия — xx, 142, 199, 245, 247, 256, 258, 339
Оуэн, Роберт — 8
Охберг, Арне — 264, 335

П

Палестина — 59
Панама, панамский канал — 307
Панталеу, Ольга — 222–223
Паны, *см. тж.* Сеньоры — 172
Парагвай — 181
Париж — 26, 35, 90, 99, 113, 127, 346
Парижский мир (1763 год) — 313, 333
Паркер, Джеффри — 21, 29, 53, 69–70, 84, 96, 127, 141, 345–346
Паркер, Дэвид — 107–108
Парри, Дж.Х. — 46, 55–57, 59–60, 62, 66, 119, 123, 134, 330
Пастбища, *см.* Сельское хозяйство, пастбища
Пастбищное хозяйство — xviii, 17, 100, 202
Пастухи (ковбои) — 191
Патока (меласса) — 203–204, 293
Патриархальное общество — 177
Патриции, *см. тж.* Бюргеры — 29, 82–83
Пауперизм, *см.* Бедные (Бедняки)
Пацифизм — 304
Пацх, Жигмонд Пал — 58, 158–161, 163, 165, 169
Пеи д'Ож — 17
Пеи д'Эно — 17
Пеи д'Эрве — 17
Пенсильвания — 287, 289
Пенсон, Лилиан М. — 331
Пентлэнд, Х. С. — 89, 314
Перемирие 1609 года, *см. тж.* Нидерланды, Нидерландская революция — 53, 59, 70, 74, 78, 83
Перемирие 1621 года, *см. тж.* Нидерланды, Нидерландская революция — 50, 78
Перец, *см. тж.* Пряности (Специи) — 16, 56–58, 332
Перигор — 17

Периферия (периферизация) — xvii–xxi, xxvi, 10–11, 21, 28, 56, 58, 60, 71, 74, 79, 86, 100, 118, 132, 149, 155–158, 161, 165–166, 170–171, 174, 176–177, 182, 189–191, 193, 195, 202–204, 212, 215–219, 223, 235, 246–247, 253, 263–264, 266, 268, 270, 272, 274–275, 277, 283, 286–288, 293–294, 299, 305, 319, 333–334
Пернамбуку — 196–197
Персидский залив — 56
Персия — 321
Перу — 105, 181–184, 186–188, 210–211
Перхес Г. — 139
Петерсен, Э. Ладевиг — 269–270
Петерсон, Мендель — 192
Петр Великий (Петр I) — 251, 264–265, 306
Петракконе, Клаудия — 176
Петри, Чарльз, сэр — 307
Пехота, *см.* Армия
Печатники — 79
Печи для обжига извести — 320
Пёльниц, Шарль-Луи — 2
Пиво, *см. тж.* Солод — 15, 19, 52, 54, 169, 316–317, 327
Пивовары — 317
Пиллорже, Рене — 136, 150–151
Пиль, Жан — 178, 184, 187–188
Пинероло — 303
Пинкхэм, Люсиль — 148–149
Пиратство, *см. тж.* Бандитизм — 61, 110, 154, 189, 192–194, 289, 330
Пиренейская уния — 219
Пиренейский договор (1659 год) — 227
Пиренейский полуостров, *см. тж.* Испания, Португалия — xiv, 192, 219–220, 222, 227, 245
Пиренн, Анри — 238–239
Пистойя — 36
Питт, Уильям (старший) — 89
Пиус, Анна-Мария — 241
Пища (продовольствие), *см. тж.* Зерновые (злаки); Мясо; Основные продукты питания; Рыба — 15–16, 19, 31, 35, 45–46, 89, 129, 161, 176, 178, 182, 189, 191, 195–196, 199–200, 211, 244, 252, 316, 321
— нехватка — 16, 90, 105
Пламб, Дж. Х. — 89, 115, 138, 144, 146, 300, 310–311, 317, 326, 346–349
Плановая экономика — 6
Плантаторы — 149, 194–195, 198, 202–209, 211, 312, 329–331
Плантации, *см. тж.* Поместье — xviii, 62, 178, 183, 194, 197–199, 202–203, 205, 207, 209, 211, 291, 309, 330
Платежи — 21, 69–70, 102, 127–128, 130–132, 134, 205, 230, 251, 273, 300, 337–339, 341, 343–344
— платежный баланс, *см. тж.* Государство, финансы; Деньги — 72, 128, 223
— система платежей, *см. тж.* Мир-экономика — 262
Плохое питание, *см.* Продовольствие, нехватка-Плуг — 106
Подмастерья, *см.* Ремесленники
Подгалье — 175
Познань — 166
Пожаревацкий мир (1717 год) — 284
Политика открытых дверей, *см.* Государство, либерализм
Политики, *см. тж.* Государство — 348
Полишенский, Й. В. — 5, 28–30, 78–79, 248, 281
Полотно — 49, 114, 189, 217, 233, 238, 240–241, 285, 306, 308–309, 311, 321–324, 326, 335
Полтава — 265
Полупериферия — xix–xx, 10–11, 32, 78, 85–86, 100, 122, 155–156, 166, 182, 190, 206, 213–294
Полупролетариат — 165
Полуфабрикаты, *см. тж.* Торговля — 49
Поль, Ханс — 189
Польдеринг, *см. тж.* «Голландрии» — 47
Польская война (1655 год) — 258
Польша — 16, 25, 27, 74, 79, 100, 119, 157–163, 165–174, 251, 254, 259, 263–264, 269, 273–279, 283, 285, 306, 337
— восточная (юго-восточная) — 174
— первый раздел — 272
— полонизация — 173–174
— северная («Великая Польша») — 168
Померания — 255, 272, 274, 276, 279–280
Поместная экономика — 280
Поместье (домен, манор) — xiii, xx, 7, 37, 103, 105, 108, 159, 161–164, 168–170, 174–175, 177–178, 186–187, 196, 205, 228, 243–244, 256, 260–262, 269, 273–275, 279–280, 286, 348
— собственники, *см. тж.* Землевладельцы (лендлорды) — 67, 102, 104–105, 136–138, 140, 145, 179, 185, 203
Понант, *см.* Франция, западная
Пондишери — 303
Пони, Карло — 242
Понсо, Пьер — 175
Порт-Ройял — 192
Порт — 47, 55, 66, 73, 93, 121, 125, 163, 168, 194, 203, 206, 240, 247, 251, 259, 264, 269, 284, 287, 289, 298, 301, 329, 331
Португалия, *см. тж.* Пиренеи — 25–26, 54–55, 117, 136, 190–191, 193, 201–202, 215–216, 218–225, 229–232, 263, 285, 317, 326, 328–329, 338, 345–346, 351
Португальская Ост-Индская компания — 220
Поршнев, Борис — 218
Поселенцы, *см.* Колонии, поселенцы
Постель-Винэ, Жиль — 5
Постлетуэйт, Малахия — 330
Поташ — 121, 264, 291, 334
Потоси — 132, 180, 183

Потрошители рыбы — 46
Почвенные условия — 36, 246, 250
Прайс, Джейкоб М. — 128, 200–201, 205–206
Предметы роскоши, *см. тж.* Торговля, предметами роскоши — 50, 58, 60, 113–114, 125, 129–130, 132, 158, 176, 195, 332–334
Предприниматели, *см.* Капитализм, предприниматели
Премии, *см. тж.* Великобритания, Акт о зерновых премиях — 101, 186, 291, 309, 316–319, 325–326
Прибавочная стоимость — 203, 235, 251, 294
Прибавочный продукт — 11, 36–37, 39, 101, 137, 159, 163, 167, 169, 178, 184, 194, 210, 298, 316, 347
Приборостроители — 79
Прибыль — xiv, xviii–xix, xxvi, 23, 27, 32, 43–44, 48–49, 51, 54, 56–64, 67, 70–72, 76–77, 81, 84–85, 98–99, 101, 110, 117, 123, 125, 130–131, 134, 142, 155–156, 158, 165, 168, 170–171, 178, 180–181, 183, 185, 189, 195, 198, 200, 202, 205–207, 224, 235–236, 239, 243–244, 257, 269, 293, 304, 307, 316, 318–319, 328, 331, 334–335, 337, 340
Привилегированные компании, *см.* Компании
Придворные, *см.* Аристократия
Прикладная наука — 36, 79
Приклер, Харальд — 160
Принудительный труд, *см. тж.* Барщинный труд; Рабство — 124, 159, 162, 176, 180, 210
— на рынок — xix, 161, 210–212
Принудительный труд на рынок, *см.* Принудительный труд, на рынок
Пристли, Маргарет — 115
Прованс — 101, 151
Продажа должностей, *см.* Государства, бюрократия, продажа должностей
Продуктплакат 1724 года — 268, 386
Продукты основного потребления — 245
Проект олдермена Кокейна — 51, 91, 250
Произведения искусства — 242
Производство — xiii–xiv, xvi–xix, xxiii–xxv, 7, 15–17, 19, 29, 31, 36, 39, 44–47, 49–54, 57–58, 62–64, 66, 68–69, 78, 81, 93, 96–98, 100–102, 104, 106, 113–114, 119, 122, 124, 127–128, 132–134, 137, 139, 149, 155–157, 159, 161–162, 164–165, 169, 173, 178–185, 187–189, 191, 194–195, 198, 200, 202, 204, 206–207, 211, 217, 219, 224, 232–237, 239, 242–243, 245, 252–255, 268–269, 273–274, 280, 286, 289–292, 297–298, 317–321, 323–325, 327, 329, 333, 336–337, 342, 352
— производительные силы — 7, 9, 29
— производственные отношения — 7, 29, 165, 167, 175, 210, 212, 333
— способ производства, *см. тж.* Капитализм; Феодализм — 6–7, 9–10, 35, 37–38, 165, 210
Производители, сельскохозяйственные, *см.* Крестьяне; Фермеры (Хозяева)
Прокаччи, Джулио — 237
Пролетариат, *см.* Рабочие
Пролетаризация — xxi, 10, 18, 162, 235
Проливы — 255, 270, 328
Промышленная (индустриальная) революция — 6–8, 33, 35, 115, 127–128, 323, 325
Промышленники, *см. тж.* Капитализм, предприниматели — 121, 151, 267
Промышленность (индустрия) — xiii–xvi, xviii, 8, 10–11, 15, 18–21, 33–34, 39, 45–54, 59–60, 65, 68, 73, 79–80, 95, 97, 109–114, 118, 122, 142, 144, 147, 152, 169, 193, 211, 217, 223, 229, 231–237, 240–241, 244–245, 250–254, 263, 268–269, 275–277, 283–286, 290, 292–293, 298, 310, 319–320, 322–326, 341–342, 347
— горное дело — 36, 152, 178, 180, 188, 211, 249, 251
— городская 31, 65, 169, 233, 239, 241
— депрессия, *см.* Циклы, экономические, фазы B
— кораблестроение — 19, 34, 47, 51–52, 54, 66–67, 72–73, 110, 120, 140, 217, 264, 287, 289, 293, 302, 321, 327
— медная — 248–249
— протоиндустриализация — xviii, 235–236
— раздаточная система (*Verlagssystem*) — 233–235, 241
— сельская — xviii, 19
— текстильная — 15, 19, 49, 50, 52, 54, 63, 109–110, 114–116, 119–120, 122, 188–189, 217, 224, 230, 233, 254, 267, 306, 320–321, 324, 333, 341
Пропинация — 169–170
Проповедники, *см. тж.* Христианство, духовенство — 82, 84, 350
Просвещение — 5, 80, 352
Просо — 217
Протекционизм, *см.* Меркантилизм
Протестантизм, *см. тж.* Реформация; Христианство — xxvii, 29, 81–83, 92, 150, 302, 305, 349–351
— французский — 150, 350
Протестантская этика — 68, 236
Процентные ставки, *см.* Деньги, процент
Пруссия — xxvii, 79, 85–86, 171, 175, 215, 242, 247, 264, 266, 268, 272–276, 278–286, 294, 311–312, 333
— Восточная — 163, 168, 272
— герцогство — 175
— Западная — 272
— прусские лицензии — 247, 251, 258–259
Прядильщики, *см.* Ткачи
Пряности (специи), *см. тж.* Перец — 55–56, 58–59, 62, 125, 128, 130–131, 190, 332
Пуассон, Жан-Поль — 346
Публичные займы, *см.* Государство, финансы
«Пузырь Миссисипи» — 344, 346
«Пузырь Южных морей» — 344–346, 348
Пуло Рун — 94
Пуритане — 80, 82, 84–85, 92
Пуэбла — 183

Пуэрто дель Принсипе — 155
Пуэрто-Рико — 189
Пшеница — xiii–xiv, xvi, 15, 17–18, 34, 54, 64, 104, 134, 157, 159–161, 166, 174–175, 182, 195–196, 217, 219, 224–225, 254, 264, 280, 288, 318–319, 321
Пьемонт — 242, 244
Пэйрс, Ричард — 111, 191–193, 196–200, 202–209, 330–331
Пятнадцатилетняя война — 161
Пять Больших откупов, *см.* Франция, пять Больших откупов

Р

Рабе, Ханна — 55
Работники (обычные) — 11, 18–20, 36, 77, 102, 105, 110–113, 141, 151, 155, 162, 166, 168–169, 182–187, 195, 211, 234–236, 244, 254
— городские, *см.* Рабочие
— законтрактованные — 203, 208–209
Рабочие (наемные) (трудящиеся), *см. тж.* Классы, низшие; Работники — xix, 18, 34–35, 46, 53, 77, 107, 111–113, 141, 208–210, 233–234, 240, 254, 316–317, 327
— квалифицированные — 293
Рабство, *см. тж.* Принудительный труд — xix, xxvi, 61, 112–113, 124, 176, 186, 190, 195–199, 201, 204–205, 207–212, 223, 227, 258, 288, 299, 310, 329–331
— восстания (мятежи) рабов — 207
— освобождение — 211
— работорговля, *см.* Торговля, работорговля
Равенсбург — 272, 276
Рагуза — 26
Разбойники, *см.* Бандитизм
Раздаточная система, *см.* Промышленность, раздаточная система (*Verlagssystem*)
«Разрушительной войны», школа — 27
Райграс — 315
Райли, Р. У. Й. — 308
Райт, Уильям Э. — 167, 281, 286
Ракоци, Ференц II, король Венгрии — 161, 175
Рамбер, Гастон — 222, 226, 229, 314
Рамильи — 238
«Раннего упадка», школа — 27
Рантье — 68, 261, 337, 342
Ранчо — 191
Рапс — 17
Ратуша — 296
Рахель, Уго — 279
Раштаттский мир (1714 год) — 284
Ревах, И. С. — 220
Революция — xxv, 5, 9, 29, 33, 40, 76, 96, 116, 121, 127, 136, 143, 148, 151, 220, 298, 319–320, 340, 345, 352
— Американская — 293
— Английская, *см.* Великобритания, Англия, Гражданская война
— буржуазная, *см.* Буржуазия, буржуазная революция
— Голландская, *см.* Нидерланды, Нидерландская революция
— мальтузианская — 33
— Промышленная (индустриальная) — 6–8, 33, 35, 115, 127–128, 253, 323, 325
— Русская, *см.* Россия, Русская революция
— сельскохозяйственная, *см.* Сельское хозяйство, сельскохозяйственная революция
— Славная (революция 1688 года), *см.* Великобритания, Англия, Славная революция
— финансовая — 127, 142, 341
Регенты Амстердама — 81–84, 143, 170
Регионализм — 174
Реддих, О. — 284
Реддэвей, У. Э. — 270–271
Редлих, Фриц — 236
Резервы — 67–68, 72, 78, 105, 144, 162, 166, 168, 279
Реймс — 109
Рейн — 49, 65, 276
Рейнар, Марсель Р. — 22, 90, 314
Рейнланд (Рейнская область) — 160, 235, 238, 242, 276, 283–284, 303
Религия, *см. тж.* Евреи; Ислам; Христианство — xiii, xvi, xxi, xxvi, 3, 61, 74, 78, 80, 82–83, 91–92, 124, 148, 173, 302, 307, 351
Рембрандт ван Рейн — 42
Ремесла, *см.* Ремесленники
Ремесленники — 18, 52–54, 80, 112, 119, 169–170, 233–234, 236, 240, 243, 250, 262, 269, 309
Ремонстранты, *см. тж.* Арминий, Якоб — 61, 76, 82
Ренессанс (Возрождение) — 5
Ренты — xiii–xiv, xvi, 5, 15, 32, 36–37, 39, 90, 102–104, 106, 108, 141, 166, 168, 170, 243, 257, 269, 273, 320, 342
— оброк, *см.* Дворянство, оброк
Реньер, Г. Й. — 75–76, 82–83
Репа — 98, 315
Репартимьенто — 185–187, 195, 210
Ресифи — 197
Ресник, Стефен — 53
Республиканцы — 147, 287, 351
Реформация, *см. тж.* Протестантизм — 5, 7, 40, 91, 246, 350
Рецессия, *см.* Циклы, экономические, В-фазы
Речь Посполитая — 171, 173–174
Рёль, Рихард — 99, 325
Рёссинг, Х. К. — 200, 327
Рига — 121, 255–256, 259, 291
Ригли, Э. А. — 90, 99–100, 127
Рид, Клайд Дж. — 72, 126–127, 292
Риз, Дж. Ф. — 292
Рикардо, Давид — 225

Римерсма, Йелле К. — 76
Рингроуз, Д. Р. — 72
Рио-де-ла-Плата — 220, 227
Рис — 175, 245, 315
Рисвикский мир (1697 год) — 192, 225, 299, 303–304, 332
Рич, Э. Э. — 56, 58, 62, 287, 330, 334
Ричмонд, Х., вице-адмирал, сэр — 312
Рише, Дени — 116, 337
Ришелье, Арман-Жан дю Плесси, кардинал — 89, 109, 114–115, 303
Робертс, Льюис — 129
Робертс, Майкл — 78, 92, 247–248, 251–252, 255–256, 258, 262
Рожь — xiv, 17, 160, 217
Розен, Йеркер — 259–261, 270–272, 279–280
Розенберг, Ханс — 285
Роккан, Стайн — 77
Рокруа — 216
Ром — 203, 288, 293
Романо, Руджеро — 17–19, 24–25, 30, 32, 49, 59, 110, 180–181, 183–184, 186, 210, 236–237, 242, 245, 329
Ромейн, Ян С. — 111
Ромеро де Солис, Педро — 228
Роос, Ханс-Эдвард — 246, 254
Рорда, Д. Й. — 76, 82–84, 143
Роскилльский договор (1658 год) — 255, 270
Россия —xxvi, 9, 11, 70, 121–122, 129, 131–132, 159, 167, 173, 235, 259, 264–266, 268, 277, 284–285, 291, 320, 334–335
— Русская революция — 7
Ростворовский, Эммануэль — 169–170, 173–174
Ростоу, У. У. — 24
Роттердам — 80, 335
Ротшильды 8
Роузвер, Хенри — 143, 300, 340
Роялисты, *см. тж.* Великобритания — 81, 149–150, 351
Ртуть — 180, 182, 184
Рубенс, Петер Пауль — 43
Рубини, Деннис — 340
Рувет, Йозеф — 67, 242
Ружья, *см.* Вооружение
Руис Мартин, Фелипе — 112, 131, 216, 247
Рул, Джон Дж. — 96, 142
Русильон — 219
Русиньский, Владислав — 162, 167–168
Рутения — 174–175
Рутковский, Ян — 162, 166, 168–170, 172, 275
Руше, Г. — 112
Рыба, *см. тж.* Пища (продовольствие) — 45–47, 63, 194, 222, 224–225, 288, 309
Рыбаки — 46, 73
Рыбацкие суда, *см.* Транспорт, морской
Рыбные промыслы — 45–47, 51, 316
Рынок — xiv, xix, xxii–xxiii, 16, 30–31, 39, 46, 49–51, 55–58, 62–65, 67–69, 72, 74, 77, 79, 85, 98–99, 102–103, 108, 110, 113, 116, 118–119, 123–127, 129, 131, 135, 137, 145, 148, 156–157, 159, 161–168, 172, 175, 182–184, 186–189, 195, 198, 200, 202, 204, 206, 210–212, 217, 219, 222–224, 233, 235, 237, 240–241, 243, 248–249, 254, 264, 273–274, 282, 285–286, 288–292, 298–299, 306–308, 310, 312, 316–329, 331, 334, 337, 351
— капиталистический, *см.* Мир-экономика
— мировой, *см.* Торговля (мировая)
— рыночная экономика, *см.* Деньги, денежная экономика
Рэбб, Теодор К. — 27–28, 40, 91, 146
Рэли, Уолтер, сэр — 192
Рэпп, Ричард Тилден60, — 118, 237, 240–241, 244

С

Сааремаа — 260
Савала, Сильвио — 186
Савойя — 17, 284
Сагорин, Перес — 147
Сазерленд, Люси С. — 311, 333
Сайюс, Андре-Э. — 345
Сакатекас — 183, 211
Саксония — 19, 160, 165, 170, 173, 243–244, 265, 272, 306
— Нижняя — 273, 280
Саламан, Редклифф Н. — 315
Саламанка — 17
Салерно — 176
Салтильо — 183
Самсонович, Хенрик — 26
Самуэльссон, Курт — 252–255, 257, 263, 266–268, 284
Санкт-Петербург — 264
Сантарен — 218
Санто-Доминго (Сан-Доминго) — 192, 198
Саппл, Барри Э. — 5, 51–52, 63–64, 68, 91, 111, 125, 129, 132–133, 148, 152
Сардиния — 284
«Сарматы», «сарматский миф» — 172–174
Сатмарский мир (1711 год) 172
Сахар — 52, 61, 123–124, 177–178, 183, 189–190, 192, 194–199, 201–207, 209–212, 220, 223–225, 287–288, 299, 312, 315, 326, 328–330, 334, 338
— мельницы — 195, 212
— рафинадное производство — 52, 54
— свекла — 99
Сахарный тростник, *см.* Сахар
Свинец — 169, 320–321
Свиньи, *см.* Скот
Святого Лаврентия (река) — 121
Северное море — 46, 235
Сеговия — 217
Седан — 114
Сейм, *см. тж.* Польша — xx, 74, 172, 258, 260–261, 266
Сеймур, Чарльз, герцог Сомерсет — 148

Селла, Доменико — 16, 19, 24, 51, 67, 234, 237
Селль, Джордж — 332
Сельдь — 45–47, 67, 73, 192
Сельская местность (в противопоставлении городу или двору) — xvi, 36, 105, 110–112, 148, 189, 191, 219, 233–234, 237, 239, 241–242, 254, 277, 351
Сельское хозяйство — xii–xiv, xix, 4, 6, 11, 15–20, 32, 47–49, 54, 60, 72–73, 79, 83, 89, 97–101, 103, 105–107, 109, 111, 113, 118, 123, 144, 157–159, 162, 165, 169–170, 177, 179, 183, 185–188, 198–200, 202, 210–211, 216, 218, 232–234, 237, 239, 243–244, 246, 257, 261, 268–269, 271, 273, 275, 282, 284, 302, 314–316, 318–320, 325–326
— агрономия (земледелие) — 17, 32, 100, 107, 157,
— выращивание фруктов (плодоводство) — 48
— инновации (новшества) — 18, 98, 100, 244, 316
— капиталистическое, *см. тж.* Принудительный труд; Работники; Рабство; Фермеры (хозяева) — 245
— консолидация (концентрация) — 16, 102, 103, 105, 107, 108, 141, 161-163, 166, 170, 175, 177, 198, 203, 207, 209, 261, 269, 274, 175, 315, 319
— монокультура — 271, 319
— натуральное (самообеспечивающее) — 165, 178, 217, 236, 239, 287
— огораживания — xvi–xvii, 102, 147, 315
— пастбища — xiii–xiv, xvi, xviii, 17, 31, 48, 100, 102, 105, 183, 202, 319
— пахотное производство — xiv, xvii–xviii, 48, 98, 100, 234, 243
— расширение обрабатываемых площадей — 16
— ротация культур — 175, 217
— садоводство — 48–49
— сельскохозяйственная революция — 6, 99, 320
— смешанная система хозяйства — 98
— сокращение обрабатываемых площадей — xvi
— технические культуры — 17, 48–49
— товарное, *см.* Сельское хозяйство, капиталистическое
— тропическое — 207
— удобренияxiv, xvi, 17, 49
— урожайность — 16–17, 31, 99 –100, 158–159, 161, 315, 321
— фураж, *см. тж.* Травы — 17, 49, 98–99, 259, 315
Семейнс, Мейнерт — 45
Семилетняя война — 85, 230, 268, 313
«Семнадцать джентльменов», *см.* Голландская Ост-Индская компания
Семо, Энрике — 185
Семья — 103, 114, 145, 174, 249, 253, 260
Сен-Мало — 226
Сенегальская компания — 344
Сеньоры, *см. тж.* Аристократия; Землевладельцы; Знать (Дворянство); Классы, высшие; Юнкеры — xv–xvi, xx, 102–103, 142, 161–162, 164, 166–170, 172, 177, 228, 274, 337, 351
— сеньориальная реакция — 37
— сеньориальные повинности — 104
— сеньориальный доход — xvi, 37, 108, 125
Сербия — 284
Серебро, *см. тж.* Драгоценные (Благородные) металлы; Деньги, металлические; Цены, в драгоценных металлах — 20–21, 25, 40, 61–64, 69, 71, 74, 128–133, 135–136, 178–183, 185–186, 188–189, 194–196, 223, 225, 228, 231, 247–248, 261, 337–338, 344
Серени, Эмилио — 176–177, 242, 244–245
Сеспедес дель Кастильо, Гильермо — 211
Сет — 17
Сжатие, экономическое, *см.* Циклы, экономические, фаза B
Сигизмунд Ваза, король Швеции — 245
Сидери, С. — 223–225, 230–232
Сиена 26
Силезия — 19, 160, 165, 167, 174, 275, 284–286, 311
Сили, Дж. А. — 298, 311
Симиан, Франсуа — 3–4, 8, 10
Симкокс, Джеффри — 301–303
Синод пустынников (1715 год) — 350
Сирия — 59
Система партнерств, *см. тж.* Компании — 67
Ситец — 58, 60, 118, 131, 321–322, 333
Сицилия — 175–176, 202, 284
Скандинавия, *см.* Балтика (Прибалтика) (регион)
Скания — 255, 257, 264, 270, 277
Скипидар — 291
Сковилл, Уоррен С. — 124, 302, 350
Скот, *см. тж.* Животноводство; Молочные продукты; Мясо; Сельское хозяйство, пастбищное хозяйство — 18, 49, 99, 157–160, 166, 182, 187, 189, 191–192, 194–195, 217, 242, 268, 271, 308, 315, 317–318, 323
Скупка земель — 108, 274
Скэммелл, Дж. В. — 67
Слёйтер, Энгель — 62
Слихер ван Бат, Б. Х. — 4, 6, 15–19, 23, 26–27, 35, 47–49, 90, 99, 103–104, 159, 170, 174, 274–275, 281, 288–289, 316–317, 319
Словакия, *см. тж.* Чехословакия — 159, 165
Слуги, *см. тж.* Работники — 124, 168, 176, 186, 209, 256, 262, 275
Смаут, Т. С. — 100, 160, 305–306, 308–309, 323
Смелсер, Нейл Дж. — 322
Смит, Адам — 8, 93, 104, 202
Смит, Я. В. — 64, 110, 139, 143
Смола — 121, 264, 266, 291–292, 335
Собирательство — 45
Собор св. Павла — 296

Содружество шляхты — 171-173
Соединенные Провинции, *см.* Нидерланды (Северные)
Солод, *см. тж.* Пиво — 317–318
Соль — 46–47, 50, 67, 192, 194, 241, 247, 225, 241, 288, 308
Соляной бунт (1632 год) — 218
Сомма — 99
Соом, Арнольд — 256
Сорго — 217
Сословия — 145, 275, 277
— посредники — 36, 191
— третье сословие, *см.* Франция, третье сословие
— шведские, *см.* Швеция, сословия / палаты парламента
Социал-демократы — 281
Социальная безопасность, *см.* Благотворительность
Социальная борьба, *см.* Борьба, социальная
Социальная система — 8–10
Социальная структура — xiii, xvii, 11, 31, 36, 38, 148, 242, 269, 283, 300, 319
Социальные группы — 83, 105, 107, 119, 145, 163, 184
Социниане — 81
Союз оружия — 218
Спекулянты, спекуляция — 54, 57–58, 67–68, 71, 158, 177, 345, 347–348
Сперлинг, Дж. — 128–129, 131–132, 337
Спиноза, Бенедикт — 8–9, 40, 80, 84
Способ производства, *см.* Производство, способ
Спунер, Фрэнк С. — 3, 21, 25–26, 32, 34–35, 62, 136, 337
Средиземноморье (регион), *см. тж.* Африка, Северная; Европа, Южная; Левант; Торговля, средиземноморская — 25–27, 29, 55–57, 59–60, 64–65, 78, 117–119, 125, 176, 199, 226, 284, 310, 319, 326–327,
— исламское, *см. тж.* Ислам — xiv, 11, 334
— христианское, *см. тж.* Христианство — 11, 118, 174
Средневековье — xi–xii, xvii–xx, 5–8, 15, 19, 23, 25, 32–33, 35–36, 58, 128, 143, 147, 170, 178, 201, 218, 233, 245, 261
Стагнация, экономическая, *см.* Циклы, экономические, фазы B
Сталь — 114–115, 249, 252, 292
«Становой хребет» Европы — xviii, 90, 135, 215, 232, 236, 241, 244
«Старая Франция» — 106, 278
«Старый претендент», *см.* Иаков VII
Старый Юг, *см.* Америка, Северная, южные колонии
Статхаудер (штатгальтер), *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 75, 83, 84, 91
Стекло — 169
Стефанеску, Ст. — 167
Стоимость жизни — 20, 50
Стойе, Дж. У. — 262, 284
Стокгольм — 8, 121, 245, 254, 257, 259, 284, 361
Стокгольмская смоляная компания — 291
Столетняя война, «вторая» — 298, 336
Столз, Э. — 73, 239
Сторк-Пеннинг, Дж. Дж. — 304
Стоун, Лоуренс — 104–105, 135, 147
Стоянович, Траян — 332
Страна басков 150, 228
Страсбург 34, 303
Стратификация, способы — 37–38, 174
Страхование — 45, 65–67, 69
Стронг, Фрэнк — 192
Стрэдлинг, Р. А. — 216
Стюарты — 146, 287–288, 298, 301, 303, 306, 348,
«Судно-фабрика» — 46
Суизи, Пол — 8
Сукновалы, *см. тж.* Ткачи — 238
Суорт, К. У. — 143, 327
Сураз (поместье) — 175
Суринам — 94
США — xxiii–xxiv, xxvi–xxvii, 44, 343
Сыр, *см.* молочные продукты
Сюлли, герцог — 105

T

Табак — 15, 61, 100, 123–124, 189, 195–196, 198–202, 205–207, 209, 223–225, 287–288
Таверны, *см. тж.* Алкогольные напитки — 243, 317
Тазбир, Януш — 172–175
Таино — 210
Такер, Дж. С. Л. — 313
Танжер — 223
Тапье, Виктор-Люсьен — 103, 140, 274, 286
Твенте — 19, 241
Тейлор, А. Дж. П. — 274, 280, 285
Тейлор, Джордж В. — 348
Тейлор, Харленд — 91–92
Текстиль (Ткани), *см. тж.* Камлотовые ткани; Муслин; Набивной коленкор; Полотно; Промышленность, текстильная; Ситец; Текстильщики; Торговля, текстильная; Хлопок; Шерсть — xiv, xviii, 15, 19, 49–52, 54–55, 58–60, 63, 94, 109–110, 114–116, 118–120, 122, 134, 169, 188–189, 217, 222–225, 230–231, 233, 236, 238, 241, 246, 254, 267, 285, 306, 320–322, 324, 326–327, 332–334, 341
— «новые ткани» — 50, 80, 110
— шерстяные ткани — 50, 110, 114, 241
Темперли, Харольд У. В. — 226, 311–312, 346–347
Темпл, Уильям, сэр — 53
Тернате — 58
Терраферма (венецианская) — 220, 237, 242
Технические культуры, *см.* Сельское хозяйство, технические культуры

Технология (технологии) — xiii–xiv, xvi, xxi, 6, 10, 32, 46, 48–49, 51, 56, 65–66, 72, 79, 96, 98–99, 110, 127, 133, 181, 197, 211, 240, 252, 324, 327, 333, 342, 352
Тидоре — 58
Тилбург — 50
Тироль — 165, 248
Тирск, Джоан — 98, 105, 147–148, 200, 234
Ткачество — 58, 240
Ткачи — 234–235, 238, 286, 321
Товарищество — 67, 203
Тойтеберг, Х. Й. — 35
Толедо — 150, 217
Томас, П. Дж. — 117–118, 322, 333
Томас, Роберт Пол — 52–53, 67, 72, 127
Томкевич, Владислав — 173
Томпсон, Ф. М. Л. — 102
Томпсон, Э. П. — 112, 348
Тони, Р. Г. — 145
Тонкое сукно, *см.* Текстиль (ткани), шерстяные ткани
Тоннессон, Каре Д. — 167, 257
Топольский, Ежи — 23–25, 158–160, 162
Торговля (мировая), *см. тж.* Буржуазия; Купцы (торговцы); Мир-экономика — xiii, 2, 11, 18, 21, 23, 27–28, 30, 36, 44–45, 48, 52–65, 69, 71, 73–74, 76, 78, 81, 83, 89, 91–93, 96–97, 111, 116–117, 127–128, 131–132, 134–135, 143–144, 147, 152, 157–158, 175, 179–180, 182–183, 184, 187–188, 191, 193–196, 201–202, 204, 219–220, 222, 225–227, 232, 234–237, 239–241, 246, 254, 256, 263, 270, 283–284, 288–289, 291, 299, 302–313, 316, 323–324, 328, 331–332, 335–336, 342, 347
— «администрируемая» — 56–57
— азиатская, *см.* Торговля, Индийский океан
— арабская — 58
— атлантическая, *см. тж.* Каррера; Торговля, «трехсторонняя» — 60, 65, 93, 123, 126, 189, 192–194, 221, 230, 306, 334
— африканская — 221, 306
— балтийская — 47, 49–50, 55, 58, 60, 62–63, 66, 76, 93, 116–117, 119, 121–122, 129, 132, 158, 249, 259, 304, 334
— «богатая», *см.* Торговля, предметами роскоши
— в Белом море — 334
— в Индийском океане — ii, 55, 57, 59, 117–118, 129–131, 179, 190, 238, 311, 321, 333–334, 337, 344
— вином — 224, 231
— внешняя сфера — 23, 56, 102, 125–126, 158, 172, 227, 290, 305, 327, 329, 332, 341
— внутренняя — 64, 125–127, 135, 147, 179, 305, 337
— внутриазиатская — 58, 130
— внутриевропейская — 11, 21, 123, 125, 290
— голландская — 45, 58–59, 66–67, 95, 228, 241, 326
— драгоценными металлами — 127, 132, 232, 338
— зерном — 15, 31, 67–68, 101, 120, 160, 247, 269, 280, 318, 327, 334
— карибская, *см.* Торговля, атлантическая
— китайская — 344
— левантийская, *см. тж.* Торговля, средиземноморская
— лесом — 67
— «материнская», *см.* Торговля, балтийская
— медью — 171
— межрегиональная — 90–91
— мехами — 334
— монополии — 73, 123, 188, 192, 307
— национальные рынки — 220
— незаконная, *см.* Контрабанда
— объемными (массивными) товарами — 47, 334
— османская, *см.* Торговля, левантийская
— перевалочный пункт — 45, 64, 67–68, 71–72, 93, 116, 120, 123, 238, 307, 313, 328, 331, 335
— плантационная — 205, 309
— предметами роскоши — xiv, 11, 56–57, 60, 125, 332
— пряностями — 56, 125, 190, 332
— рабами (работорговля) — 62, 176, 190, 223, 229, 310, 326, 328–331, 333
— реэкспортная — 56, 64, 73, 118, 120, 123–124, 126, 130, 200–201, 204, 249, 309, 324, 328, 331–332, 334
— российская — 129, 334–335
— сахаром — 190, 329
— свободная — 57, 64, 91, 101, 298, 307, 328, 330
— сельдью — 47, 67
— скотом — 160
— солью — 47, 50, 67, 247
— средиземноморская — 59–60, 64, 76, 118–119, 332
— текстильная — 50–51
— торговая война, *см.* Война, экономические аспекты
— торговое первенство, *см. тж.* Гегемония — 45
— торговые компании — 55, 147, 223, 249, 260, 284, 306, 344–345
— трансконтинентальная — 21–22, 166
— «трёхсторонняя», *см. тж.* Торговля, атлантическая — 61, 126, 223, 288–289
— упадок — 63, 160
— условия — 15, 23, 31, 118, 131, 158, 163, 263, 325
Торговые корабли, *см.* Военно-морской флот
Торговые посты — 287, 333
Торговый капитализм, *см.* Капитализм, торговый (купеческий) капитал
Торговый флот, *см.* Транспорт, морской
Тори, *см. тж.* Великобритания, Англия — 148, 225, 345, 348
Торр, Дона — 7

Тортуга — 189
Тоскана — 17, 240, 245
Тоталитаризм — 338
Травы, *см.* Клевер; Люцерна; Райграс
Трилистник — xviii, 49
Трансильвания — 284
Транспорт — xv, 33–34, 45, 65–66, 122, 126, 163, 169, 197, 200, 259, 318–319, 320, 335
— каналы 34, 54, 65, 126, 128, 203
— морской, *см. тж.* Бусс, *Ventjagers* — 126, 239
— наземный — 126, 286
Тревельян, Джордж Маколей — 148
Тревор-Роупер, Хью Р. — 149, 170, 305
Тремель, Фердинанд — 283, 285
Триаж — 18
Тридцатилетняя война — xvii, xxiii, xxv–xxvi, 27–30, 32, 34, 52, 63, 85, 89–91, 94, 119, 139, 160, 166–167, 181, 218, 222, 240, 247–248, 251, 259, 269–270, 274–277, 279, 282–283, 286
Триест — 284
Трилистник — 315
Тринидад — 189
Трип, Элиас — 249
Триполи — 332
Тройе, Вильгельм — 235, 248, 274, 280–283
Тройственный альянс — 95
Тронхейм — 270
Тропическое хозяйство — 124, 199, 200, 207, 328
Труд — xiv, xvi, xviii–xix, 10–11, 17–20, 31–32, 35, 37, 49–54, 77, 107, 110–113, 121, 124, 155, 164, 166–168, 176–177, 180, 184–186, 195–196, 200, 203, 207–212, 236, 244, 253, 269, 275, 280, 320, 342
— рабочая сила (*см.* рабочие)
— разделение труда, *см. тж.* Капитализм; Мир-экономика; Периферия; Полупериферия Центр — xii–xv, xxi–xxii, 50, 215, 225, 236, 256, 268
— способы контроля, *см. тж.* Принудительный труд; Работники; Рабство; Фермеры (хозяева), арендаторы — xix, 161
Трущобы — 54, 317
Тулон — 301
Тунис — 119
Туристы — 171, 242
Турне — 310, 351
Турция, *см.* Империя, Османская
Тьеполо, Джованни Батиста — 80
Тьераш — 17
Тюльпаны — 345
Тюренн, Анри, виконт, маршал-генерал — 350
Тюрингия — 165, 248
Тюрьмы — 275

У

Уайлз, Ричард С. — 113
Уанкавелика — 184
Уатт, Джеймс — 8
Уголь — 65, 112–113, 115, 121–123, 194, 320
— плавка с использованием угля —320
Удобрения, *см.* Сельское хозяйство, удобрения
Уизерс, Джон — 335–336
Уилсон, Чарльз Генри —ix, 33–34, 45, 47–53, 55, 61, 64–68, 72, 76–77, 79–81, 91–92, 94–96, 98, 100, 110–111, 113, 115–118, 120, 122–123, 125–129, 132, 135, 139–141, 145, 147, 181, 298, 304, 313, 316, 320–321, 327–328, 335, 337–338, 341–343
Уильямсон, Дж.А. — 94
Уиттмен, Т. — 175
Уиттрок, Дж. — 258
Уйтенбогарт, Ян — 42
Украина — 167, 172, 174–175, 265
Ульм — 238
Ульрика Элеонора, королева Швеции — 266
Унвин, Джордж — 91
Унгер, У.С. — 62, 335
Унгер, Рихард У. — 46, 51, 57, 65–66, 73, 110, 335
Уодделл, Дэвид А.Дж. — 330
Уолпол, Роберт — 200, 266, 290, 299, 312, 346–349
Уолтон, Гари М. — 289, 292
Уорд, А.У. — 228, 310
Уорд, Дж.Р. — 206
Уорден, Александр Дж. — 217, 322–323
Упадок (Испании), эпоха (*decadencia*) — 175, 216, 230
Урбих, Йоханн Христиан — 265
Утрехт — 48, 75, 227–229, 284, 298, 303, 307, 310, 330, 336, 343, 345–346,
Утрехтская уния (1579 год), *см. тж.* Нидерланды (Северные) — 75
Уэтц, Кристиан де Лам — 326

Ф

Фабер, Ж. — А. 50, 52, 63, 110, 160
Фабричная система — 235–236
Файнер, Сэмюэл Э. — 96, 139, 279, 300
Фалмут — 201, 377
Фалун — 247, 381
Фанфани, Аминторе — 35, 235, 244
Фарнелл, Дж.Э. — 93
Фарни, Д.А. — 94, 194, 199, 209, 290
Фарфор — 241, 333
Февр, Люсьен — 141
Федорович, Ян К. — 263
Фейл, Эрнест С. — 300, 312
Фентон, Александр — 100, 160
Феодализм — xi, xiii, xv, xvii–xviii, xx–xxi, 3, 6–7, 9–10, 29, 31–39, 102, 113, 144, 148, 152, 161, 177–178, 228, 250, 258, 260, 273–274, 280, 324, 342, 349, 351

— кризис — xi, 22–23, 35, 37
— феодальные повинности — 147
Фербеллен, сражение (1675 год) — 259
Фердинанд (Католик), король Испании — 218
Фермеры (хозяева), *см. тж.* Джентри; Землевладельцы (лендлорды); Крестьянство — xvi, 49, 104–105, 107, 203, 225, 256, 261, 269, 281, 286, 315–317, 351
— арендаторы — 18, 104–107, 168
— джентльмены — 335
— йомены — 104, 106
— капиталистические, *см. тж.* Сельское хозяйство, капиталистическое; Юнкеры — 144
— мелкие — 18, 104, 106, 206, 316
Фермы, *см.* Сельское хозяйство
Фернандес де Пинедо, Эмилиано — ix, 218
Фёрнисс, Эдгар С. — 53, 111–112
Филан, Джон Л. — 184, 186, 188, 208
Филд, Питер — 6–7
Филипп II, король Испании — 216, 220
Филипп III, король Испании — 84, 181, 247
Филипп V, король Испании — 227–229, 238
Филиппины — 130, 179, 184
Финансисты, *см. тж.* Банковское дело; Деньги; Откупщики (*Traitants*) — 142, 149, 254, 282, 339, 348
Финансовая революция, *см.* Революция, финансовая
Финляндия — 121, 253, 255–256, 258–260, 264, 268
Фирмы, *см. тж.* Компании — 206, 249
Фиуме — 284
Фишер, Вольфрам — 96
Фишер, Ф. Дж. — 60–61, 100, 125
Фишер, Х. Э. С. 230–231, 317, 331
Фландрия, *см. тж.* Нидерланды, Южные — 19, 49, 64, 90, 92, 99, 215, 241, 303, 328, 333
Флеминг, Клас — 260
Флёри, Андре Эркюль, кардинал — 266
Флинн, М. У. — 122, 314, 345
Флинт, Джон — 254
Флойд, Трой С. — 194
Флоренция — 236
Флорескано, Энрике — 183
Флотилии, *см.* Военно-морской флот
Фольварк — 161
фон Браун, Йоахим Фрайхерр — 273, 283, 286
фон Хиппель, В. — 281
Фондовая биржа — 59, 68
Фонтенбло — 350
Форарльберг — 17
Форбс, Р. Дж. — 196
Форд, Франклин — 349
Франк, Андре Гундер — ix, 178, 180, 186, 289
Франкфурт — 238
Франция — xxiii, xxvii, 19–20, 25–27, 30, 37, 39, 48, 54, 58, 60, 62–63, 69, 71, 73, 75, 78–80, 84–85, 89, 91–92, 95–116, 118–127, 132, 135–136, 139–146, 149–152, 154, 166, 170, 177, 189–190, 192–194, 198, 200–202, 205–206, 208, 218, 222–231, 235, 237–238, 240–244, 248, 251, 255, 258–261, 263, 265, 267–270, 276, 278, 280–285, 288, 290–291, 293, 297–308, 310–314, 318–322, 324–341, 343–352
— (Великая) Французская революция — 8–9, 69, 84, 145, 250, 346
— восточная — 106
— западная — 43, 90
— казначейство — 337, 339
— королевские мануфактуры — 113–114
— пять Больших откупов — 97, 126, 245, 325–326
— северная — 43, 49, 90, 100–101, 105–109, 170
— третье сословие — 350
— Французская Канада, *см.* Канада
— юго-восточная — 314
— южная — 66, 100, 106, 166, 176, 217,
Французская Северная компания — 331
Франш-Конте — 122, 241
Фрельсовые крестьяне (*frälsebönder*), *см. тж.* Крестьянство — 257, 261
Фреш, Жорж — 319
Фригольдеры, *см. тж.* Фермеры (хозяева), йомены — 103–104, 348
Фридрих I, король Пруссии — 279
Фридрих II Великий, король Пруссии — 284
Фридрих-Вильгельм, Великий курфюрст Бранденбурга — 242, 251, 276, 278–281, 284–285
Фридрихс, Кристофер Р. — 233–234
Фрисландия — 46, 48, 75, 241
Фройденбергер, Херманн — 284, 286
Фронда — 111, 140, 145–146, 149–151, 280,
Фронтейра, маркиз — 223
Фрукты — 48, 199, 288, 315
Фрэнкен, М. А. М. — 61, 76, 78, 83, 91, 95, 101, 116
Фрэнсис, А. Д. — 223–225, 231–232
Фуггеры — 7
Фуке, Николя — 115
Фуллард, Харольд — 270, 273
Фуншал — 224
Фураж, *см.* Сельское хозяйство, фураж
Фуражные (кормовые) культуры, *см.* Сельское хозяйство, фураж
Фуртаду, Сельсу — 197
Фуры Валенсии — 228

X

Хабаккук, Хротгар Джон — 90, 98, 103, 105–106, 145, 347
Хазард, Пол — 52, 303, 327, 352
Хаймер, Стефен — 53
Хайтц, Герхард — 274

Хаклюйт, Ричард — 192
Халланд — 255, 257, 270
Халлвиль — 17
Халупники, *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие — 162
Хальберштадт — 272
Хаманн, Манфред — 274
Хановер — 174
Хансен, Маркус Ли — 291
Хансен, С. А. — 271
Харлем — 2, 238, 241
Харниш, Хельмут — 274
Харпер, Лоуренс А. — 93, 116, 141, 292–293
Харрингтон, Джеймс — 145
Харрис, Л. Э. — 72, 309
Харт, Н. Б. — 322, 324
Хартуэлл, Ричард М. — 316
Хаскелл, Фрэнсис — 242
Хассингер, Герберт — 284
Хатчисон, Э. П. — 90
Хафтон, Оливер Х. — 314
Хейли, К. Х. Д. — 76, 81, 84, 94
Хейринг, Кларенс Генри — 191, 193–194, 331
Хекшер, Эли Ф. — 67, 74, 113–114, 122, 127–129, 143, 248, 254, 261, 268, 298, 322, 324
Хеллайнер, Карл Ф. — 53, 314
Хелмер, Мари — 221
Херлихи, Дэвид — 36
Хесслер, Г. А. — 260
Хилл, Б. У. — 345
Хилл, Кристофер— 6–7, 92, 96, 112, 138, 145, 147–149, 151, 298–299, 315, 324, 349
Хилл, Чарльз Э. — 269–270
Хилтон Р. Г. — 36
Хильдебранд, Карл Густав — 246, 268
Хильднер, Эрнест Г., мл. — 331
Хинтон, Р. У. К. 63–64, 68, 91–95, 110, 119–120, 129, 141
Хлеб, *см. тж.* Зерновые (злаки) — 15, 19–20, 28, 34–36, 48, 60, 67, 76, 105, 109, 160, 187, 217, 255
Хлебные законы — 109
Хмель — 17, 48
Хобсбаум, Эрик Дж. — 3, 8, 19, 25, 33, 139–140
Ховде, Б. Й. — 267
Хогарт, Уильям — 296
Холдернесс, Б. А. — 315–316
Холл, А. Руперт — 96
Холл, Дуглас — 211
Хорн (город) — 46
Хорн, Дэвид Бейн — 96, 336
Хорсфилд, Дж. Кейт — 341
Хоскинс, У. Дж. — 99–100, 102
Хутман, Корнелиус де — 55
Хоффенден, Филип С. — 328
Хоффманн, Адольф — 243
Христианство, *см. тж.* Кальвинизм; Католическая церковь; Протестантизм; Средиземно-морье, христианское — xiv, xvi, 11, 59, 65, 81, 85, 93, 173–174
— духовенство — 267, 371, 381
— «новые» христиане, *см.* Марраны
Хэмилтон, Генри — 306, 322
Хэмилтон, Эрл Дж. — 181, 216–217, 228, 230, 343, 345–346
Хэттон, Рагнхильд М. — 257, 261–262, 264–268
Хэтфилд-Чейз — 72

Ц

Цейлон — 334
Ценз (в Польше), *см.* Ренты, оброк
Ценные бумаги — 344–345
Центр (государства/державы центра) — xiii, xvi–xxi, xxvi–xxvii, 10, 17, 21, 32, 39, 43–45, 47, 50, 52, 54, 58, 70–71, 74, 76–79, 84, 90, 97–98, 100–102, 111–113, 115, 117, 120, 128, 131, 139, 141, 143–144, 149–150, 155–156, 160, 165, 172–173, 182, 189–190, 192–193, 195, 202–203, 216, 222, 232, 235, 240, 245, 255, 263–264, 266, 270, 272, 277, 282, 294, 319, 333–334, 338, 346
— борьба (соперничество) в центре — 87–152, 295–352
Центральные Пиренеи — 319
Цены — xii–xiii, xvi–xviii, 3–4, 16–21, 24–27, 30, 34–35, 40, 48, 56, 59, 63–64, 66–68, 84, 90–92, 100–101, 104–105, 112, 121, 129, 132, 134–135, 137, 142, 158, 160–161, 163–165, 168, 171, 175, 180, 184–185, 187, 193, 195, 200, 210, 224, 232–233, 268–269, 297, 314, 316–319, 321, 325, 334, 338, 340
— в драгоценных металлах, *см. тж.* Драгоценные (благородные) металлы — 20, 25–27, 63, 134, 180–181
— в серебре, *см.* Цены, в драгоценных металлах
— «металлические» — 20, 26
— номинальные — 20, 25–26, 31, 155
— рост — xiii, 5, 15, 23, 28, 36, 158, 161, 181, 185, 200, 204, 209, 223, 230–231, 248, 259, 292, 317, 330, 337, 342, 348
— сельскохозяйственные — 37, 47, 89, 157
— снижение — xiii, 15, 19, 23, 48, 89, 98, 103, 118–120, 134, 157–158, 164, 166, 174, 181, 187, 198–199, 201, 205–206, 236–237, 259, 261–262, 314, 317, 319, 321, 344, 348
— соотношение серебра и золота — 130–131, 337
Церноводяну, Поль — 332
Цивилизации — xiii, xv, xvii, xx, 9, 29, 33, 38, 79, 199, 254
Циклы, экономические — xiv, xxvi–xxvii, 3, 10, 35, 39, 179
— фазы А — xii, xvii–xviii, xx–xxi, 3–5, 10, 22, 38, 178, 220
— фазы В, *см. тж.* Кризис — xii, xvii–xviii, xx–xxi, 3–5, 10, 22, 24, 38, 178, 220

Циркуляция (оборот), *см.* Торговля
Цолльнер, Эрих — 283
Цюрих — 17, 241

Ч

Чай — 58, 60, 62, 199, 315, 333
Чайльд, Джосия — 113
Чартисты — 151
Часовое дело — 112, 240–241
Чеканка денег, *см.* Деньги
Чемберс, Дж. Д. — 98, 317, 320
Чендлер, Дэвид Дж. — 265
Черепнин Л. В. — 264
«Черная смерть», *см.* Эпидемии
Чернокожие, *см.* Негры
Черри, Джордж Л. — 328
Чесапикская долина — 199–200, 206, 287
Чехия, *см. тж.* Богемия; Моравия; Чехословакия — 90, 158, 162, 165, 234, 236, 281
Чехословакия, *см. тж.* Богемия; Моравия; Словакия; Чехия — 159
Чили — 161, 179, 183–184, 210
Чиновники, *см.* Государство, бюрократия
Чиполла, Карло М. — 4, 6, 25, 240
Чодхури, К. Н. — 118, 129–130

Ш

Шамильяр, Мишель де — 336
Шахтеры — 112
Швабия — 238
Шварц, Стюарт Б. — 198, 210–212
Шведская торговая компания — 249
Швейцария — 30, 235, 240–241, 250, 291, 341
Шверин — 17, 354
Швеция, *см. тж.* Балтика (Прибалтика) (регион) — 71, 85, 95, 122, 129, 132, 161, 166, 172–174, 214–215, 245–272, 276–279, 284, 291–292, 294, 321, 329, 335
— сословия / палаты парламента (*Stånd*) — 246, 263
Шевалье, Франсуа — 64, 84, 238
Шеридан, Ричард Б. — 193, 196–198, 204–205, 207, 298, 328
Шерсть, *см. тж.* Текстиль (ткани) — 15, 50–51, 109–110, 114, 189, 231, 238, 240–241, 244, 284, 286, 293, 308, 321–324, 326, 333
Шерстяной акт (1699 год) — 293
Шестидесятилетнее пленение — 219
Шетландские острова — 46
Шёлк — 49, 109, 118–119, 125, 175, 217, 237, 241–242, 245, 333
— мануфактуры — 109, 237, 241, 242, 333
Шёффер, Иво — 4–5, 16, 25, 31, 40, 44, 46, 58, 64, 75, 130
Шлезингер, Вальтер — 273–274
Шлифовщики линз — 79
Шлоте, Вернер — 290
Шлюмбом, Юрген — 235
«Шляпы» (политическая партия в Швеции) — 267–268
Шмоллер, Густав — 74, 93, 238
Шоню, Пьер — 4, 8, 16, 24–25, 27, 31–33, 61, 81–83, 89–90, 100–101, 130, 179, 184, 190, 196, 220–221, 227, 297, 319, 334, 350
Шоню, Югетта — 220
Шотландия *см.* Великобритания, Шотландия
Шотландская компания — 306–307, 309
Шпис, Антон — 162, 165, 275, 281
Шпицберген — 46
Шрусбери, Чарльз Талбот, герцог — 148
Штумсдорфский мир — 172, 251
Шуазёль, Этьен-Франсуа, герцог — 231, 300
Шумпетер, Йозеф — 152

Щ

Щигельский, Войцех — 159, 169

Э

Эверитт, Алан — 102
Эдель, Мэттью — 197
Эдинбург — 306, 309, 391
Эдуард I, король Англии — 93
Эй (река) — 65
Эйлмер, Джеральд Э.— 347
Эквадор — 211
Экологическое истощение, *см.* Почвенные условия
Эксетер — 6
Экспансия (расширение), *см.* Население, увеличение (демографическая экспансия); Сельское хозяйство, расширение обрабатываемых площадей; Циклы, экономические, фазы А
Эксплуатация — xix, 34, 36–37, 57–58, 149, 157, 159, 183, 195, 201, 203, 210, 212, 218, 234, 236, 242, 244, 274–275, 293, 344
Эллиотт, Дж. Х. — 32, 216–222, 226, 228, 247
Эллиотт, С. М. — 318
Эльба — 242–243, 273–274
Эльбёф — 114
Эльблонг — 163
Эльдорадо — 198
Эльзас — 17, 303
Эль-Ксар-эль-Кебир — 219
Эльмина — 62
Эммануэль, Аргири — 113
Эмменталь — 17
Эммер, Питер К. — 62
Энгельс, Фридрих — 7, 34, 38
Энгиенский, герцог — 88
Эндельман, Тодд М. — 93
Эндрюс, Чарльз М. — 45, 78, 224, 299, 313, 328–329, 335

Энкомьенда — 185–187
Энциклопедисты — 352
Эон — 115
Эпидемии — xvi, 16, 50, 59, 89–90, 136, 157, 176, 184, 219, 270, 314, 317
Эрик XIV, король Швеции — 246
Эрисейра, граф — 223–225
Эрман, Джон — 301–302
Эрнл, лорд (Протеро, Роуленд Э.) — 315, 316
Эрфурт — 17
Эсквемелин, Джон — 154
Эспаньола — 189, 192, 210
Эстляндия — 260
Эстония — 159, 255–256, 260, 266
Этнические группы — 175
Эттмэн, Артур Эттмэн, Артур — 129
Эшер, Юджин Л. — 144
Эшли, М.П. — 92, 142, 321
Эштон, Р. — 91, 138, 316
Эштон Т.С. — 108, 126, 316–317, 319, 336, 345

Ю

Юбер, Эжен — 64
Ювелирные изделия — 132, 164
Юлианский календарь — 299
Юнкеры, *см. тж.* Аристократия; Землевладельцы (лендлорды); Классы, высшие; Сеньоры; Фермеры (хозяева), капиталистические — 274–277, 279–281
Юра — 17
Юриспруденция — 102
Ютиккала, Эйно — 257–258, 264, 269, 272

Я

Ява — 334
Якобитство — 149, 306–308
Ямайка — 189, 192–194, 198, 204, 207, 211, 229, 329–331
Янг, Дж. — 231
Янсен, Й.К.Г.М. — 319
Янсен, Х.П.Х. — 46, 50, 101
Янсенисты — 80, 82, 150
Япония — xxiii, xxvii, 130–131, 161, 248–249, 337
Ярмут — 46
Ятс, Френсис А. — 39
Ячмень — 17, 54, 217, 317

A

Adscriptusglebae [крестьяне, прикрепленные (приписанные) к земле — *лат.*], *см.* Крепостные
Ager [поле — *лат.*], *см.* Земля, обрабатываемая
Affermage [откуп налогов — *фр.*], *см.* Налоговые откупы
Alhóndiga [*альондига*, муниципальные хлебные амбары в Испанской Америке — *исп.*] — 187
Allgemeines Landrecht [прусское земское право — *нем.*] — 272
Amodiateurs [арендодатели — *фр.*] — 105
Ancien Régime [Старый порядок, Старый режим — *фр.*] — 8, 10, 113, 278, 298, 324, 348
Appalti di gabelle [налоговые откупы — *ит.*], *см. тж.* Государство, финансы — 245
Araire [соха — *фр.*] — 106
Augmentation des espèces [«прибавление денег», одна из разновидностей девальвации — *фр.*], *см.* Деньги, девальвация (обесценивание)
Aviadores [розничные торговцы в Мексике — *исп.*] — 188
Avsöndring [«раздел имущества» короны и аристократии — *шв.*] — 256–257, 260

B

Bauernlegen [выселение крестьян с земли — *нем.*] — 274
Bauernschutz [защита крестьян — *нем.*] — 275

C

Cargadoras de Indias [отправители грузов в Индии — *исп.*] — 221
Cédulas [указы испанской короны — *исп.*] 187
Charrue [«великий северный струг» — *фр.*] — 106
Closiers [мелкие фермеры — *фр.*], *см.* Фермеры (хозяева), мелкие
Composición [сбор за установление права на пустые земли — *исп.*] — 187
Conciertos [лица, попавшие в долговое рабство — *исп.*] — 211
Contadini [сельские жители пригородов — *ит.*], *см.* Крестьянство

D

Dérogation [лишение дворянства — *фр.*] — 347
Derrama [дополнительный налог на индейцев — *исп.*], *см. тж.* Государство, финансы — 185
Dispositionshandel [торговый распорядитель (об Антверпене) — *нем.*] — 239
Dobla [натуральные отчисления работникам в рудниках Перу — *исп.*] — 186
Drobna szlachta [мелкая шляхта — *пол.*] — 172
Droit de seigneurage [налоговые доходы — *фр.*], *см.* Государство, финансы

E

Engagés [контрактные работники — *фр.*], *см.* Работники, законтрактованные
Estancia [*эстансия*, поместье в Испанской Америке — *исп.*] — 187

F

Féodalité [феодализм — *фр.*], *см. тж.* Классы, высшие 351

Fermages [земли, сдаваемые в аренду — *фр.*] — 18

Fermiers [фермеры — *фр.*], *см.* Фермеры (хозяева), арендаторы

Fermegénérale des impôts [централизованное ведомство косвенных налогов во Франции — *фр.*], *см. тж.* Государство, Финансы — 345

Fermes-Unies [объединенные откупы — *фр.*] — 351

Fermiers-généraux [Генеральные откупщики — *фр.*] — 105, 340

Fjärdepartsräfsten [возврат бывших коронных земель — *шв.*] — 258

Fronarbeit [барщинный труд — *нем.*], *см. тж.* Барщинный труд — 167

Fronwirtschaft [«феодальная вассал-экономика» — *нем.*], *см. тж.* Феодализм

Fueros [*фуры*, своды законов провинций в Испании — *исп.*] — 228

G

Gañanes [*ганьяны*, батраки — *исп.*], *см. тж.* Долговой пеонаж — 186

Gesindezwangdienst [требование для детей крепостных служить прислугой у господ — *нем.*] — 274–275

Grundwirtschaft, grundherrschaft [немецкое земельное хозяйство феодального типа — *нем.*] — 243, 269, 273–275

Guarda-Costas [береговая охрана — *исп.*] — 331

Gutswirtschaft, gutsherrschaft [немецкое помещичье хозяйство капиталистического типа — *нем.*] — xviii–xix, 162, 243, 269, 273–274

H

Haricotiers [мелкие земледельцы — *фр.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие — 107

Haringbuis [*харингбёйс*, голландское рыболовецкое судно — *голл.*], *см.* Буссы

Häusler [безземельный крестьянин — *нем.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие 18

Heerengracht [Хееренграхт, один из трех главных каналов Амстердама], *см. тж.* Транспорт, каналы — 17

Högadel [высшее шведское дворянство — *шв.*], *см. тж.* Дворянство (знать), высшее — 260

I

Indelningsverk [система обеспечения армии в Швеции — *шв.*], *см. тж.* Государство, финансы — 262, 265

J

Judaizantes [«иудействующие» — *порт.*]

K

Kätner [бедный крестьянин — *нем.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие — 18

Kaufsystem [закупочная система — *нем.*] — 234–235, 286

Keisergracht [Кайзерграхт, один из трех главных каналов Амстердама], *см. тж.* Транспорт, каналы

Kleinbauern [мелкие крестьяне — *нем.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие 18

Knapar [мелкое шведское дворянство — *шв.*], *см. тж.* Дворянство (знать), мелкое — 257

Knechte [наемные работники у крестьянина — *нем.*], *см. тж.* Работники (простые) — 18

Komornicy [крестьяне-арендаторы — пол.], *см. тж.* Работники (простые) — 162

Kortkoren [короткозерновые злаки — *голл.*] — 319

Krippenreiter [«рыцари на деревянных лошадях», деклассированное немецкое дворянство — *нем.*], *см.* Дворянство (знать), мелкое

Kronobönder [коронные крестьяне — *шв.*], *см.* Крестьянство

L

Laboreurs [земледельцы средней рыки — *фр.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), йомены — 104–105

Laken [*лакен*, лейденская шерстяная ткань — *голл.*], *см. тж.* Ткани

Lavradores de cana [«труженики сахарного тростника»], *см. тж.* Фермеры (хозяева) , Арендаторы — 212

Leibeigen [крепостные крестьяне — *нем.*], *см. тж.* Крепостные — 277

Loewenthaler [*лёвенталер*, голландская монета с изображением льва — *голл.*], *см. тж.* Деньги

Lögadel [мелкая шведская знать — *шв.*], *см. тж.* Дворянство (знать), мелкое — 260

M

Magde [домашние работники — *нем.*], *см. тж.* Труженики (простые) — 18

Mare clausum, mare liberum [закрытое море, открытое море (мореплавание) — *лат.*] — xxvi–xxvii, 74

Métayers [издольщики в южной Франции — *фр.*], *см. тж.* Издольщина — 106

Mezzadria [издольщики в Италии — *ит.*], *см. тж.* Издольщина — 242

N

Naborías [индейцы-слуги — *исп.*], *см. тж.* Долговойпеонаж — 186

Negotiepenningen [голландская расчетная монета — *голл.*], *см. тж.* Деньги — 71
Noblesse de race [дворянство по крови, прирожденное дворянство — *фр.*] — 280
NuevaPlanta [*Нуэва Планта*, испанские декреты 1716 года] — 228

O

Obrajes [мастерские, разновидность мануфактур в Испанской Америке], *см. тж.* Текстиль (ткани) — 188–189

P

Pepena [натуральные отчисления работникам в рудниках Мексики — *исп.*] — 186
Prinsengracht [Принсенграхт, один из трех главных каналов Амстердама], *см. тж.* Транспорт, каналы

R

Realengas [принадлежащие королю земли в Испанской Америке — *исп.*] — 186
Reales de ocho [песо, монета в 8 реалов — *исп.*], *см. тж.* Деньги — 71
Redevances [крестьянские повинности], *см.* Сеньоры, сеньориальныеповинности
Régime anjouin [«анжуйский режим» в Южных Нидерландах — *фр.*] — 238
Rentengrundherrschaft [немецкое поместное хозяйство рентного типа — *нем.*], *см. Grundwirtschaft*
Rentes constituées [ренты с капитала — *фр.*] — 103, 368
Rentes foncières [ренты с недвижимого имущества — *фр.*] — 103, 368
Ridderhusordningen [шведский закон о занесении дворянства в матрикул], *см.* Закон о занесении дворянства в матрикул
Robota [барщина — *пол.*], *см.* Барщинный труд
Robotpatent (1680 год) [трудовой патент — *чеш.*] — 281
Roturiers [простолюдины — *фр.*] — 349
Ruraux [крестьяне — *фр.*], *см.* Крестьянство

S

Saltus [пастбище — *лат.*], *см.* Земля, обрабатываемая
Säteri [поместное домашнее хозяйство — *шв.*] — 261
Sententia Remonstrantium [«Пять пунктов» арминиан (ремонстрантов) — *лат.*] — 249
Sesmaria [*сесмария*, земельное пожалование в Бразилии — порт.] — 177
Skattebönder [шведские крестьяне-налогоплательщики — *шв.*], *см. тж.* Фригольдеры — 257
Sossons [мелкие земледельцы — *фр.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие — 107
Staatsloven [вице-королевский совет в Норвегии — *дат.*] — 193
Strögods [земли фрельсовых крестьян в Швеции — *шв.*], *см. тж.* Земля — 261
Szlachta czastkowa [средняя знать в Польше — *пол.*], *см. тж.* Дворянство (знать), мелкое — 172
Szlachta czynszowa [оброчная шляхта — *пол.*], *см. тж.* Дворянство (знать), Оброк — 172

T

Tierras baldias [пустые земли — *исп.*] — 186–187
Titoli pubblici [государственные обязательства — *ит.*] — 244
Traitants [Откущики — *фр.*], *см. тж.* Финансисты — 142, 339–340
Türkenjahr (1683) [«турецкий» год — *нем.*] 282

U

Ugedagsbønder [датские крестьяне, отбывавшие трудовую повинность — *дат.*], *см. тж.* Фермеры (хозяева), мелкие — 269
Untertan [вассал — *нем.*], *см. тж.* Крепостные — 275
Utarbetningstratt [шведский вариант раздаточной системы — *шв.*], *см. тж.* Промышленность (индустрия), раздаточная система — 254

V

Ventjager [*вентйагер*, тип голландского промыслового судна — *голл.*] — 46
Verlagssystem [раздаточная система — *нем.*], *см.* Промышленность (индустрия), раздаточная система
Verleger [купец-заказчик в рамках раздаточной системы — *нем.*], *см. тж.* Купцы (торговцы) — 233
Vincolismo [рестрикционизм — *ит.*] — 38
Wiener orientalicsch Handelscompagnie [Венская восточная торговая компания — *нем.*] — 284

W

Wirtschaftherrschaft [господское хозяйство капиталистического типа в Центральной Европе — *нем.*], *см. тж. Grundwirtschaft, Gutswirtschaft* — 165, 243, 273
Wüstungen [брошенные земли, пустоши — *нем.*] — xv, 274

КНИГИ, ИЗДАННЫЕ РУССКИМ ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

Более подробную информацию о наших книгах (аннотации, оглавления, отдельные главы) Вы можете найти на сайте: www.s-and-e.ru

ГЕОПОЛИТИКА, ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

1. *Валлерстайн Иммануил* Мир-система Модерна. Том I. Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке. *Immanuel Wallerstein* The Modern Word-System I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. Предисловие Дерлугьяна Г.М., пер. с английского, литер. редакт., комм. Проценко Н., Черняев А.
2. *Люттвак Эдвард Н.* Стратегия: логика войны и мира. Edward N. Luttwak The Strategy: Logic of War and Peace. Перевод с английского Коваль А.Н.
3. *Люттвак Эдвард Н.* Государственный переворот: практическое пособие. *Edward N. Luttwak* Coup d'Etat: Practical Handbook. Перевод с английского Платошкин Н.Н.
4. *Люттвак Эдвард Н.* Подъем Китая vs. логика стратегии. *Edward N. Luttwak* The Rise of China vs. the Logic of Strategy (*выйдет в 2015 году*)
5. Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света: Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова / отв. ред. О.В. Кудрявцева
6. *Кикнадзе В.Г.* Невидимый фронт войны на море. Морская радиоэлектронная разведка в перовой половине XX века
7. *Козлов Д.Ю.* Нарушение морских коммуникаций по опыту действий российского флота в Первой мировой войне (1914–1917)
8. *Котельников В.Р.* Отечественные авиационные поршневые моторы 1910–2009
9. *Степанов А.С.* Развитие Советской Авиации в Предвоенный Период (1938 – первая половина 1941 года)
10. *Свойский Ю.М.* Военнопленные Халкин-Гола. История бойцов и командиров РККА, прошедших через японский плен
11. *Садатоси Томиока* Политическая стратегия до начала войны. Точка зрения Императорского Флота (*выйдет в 2015 году*)
12. *Рашид Ахмед Талибан.* Перевод с английского Поваляев М.В.
13. Формирование территории Российского государства. XVI – начало XX в. (границы и геополитика) / отв. ред. Е.П. Кудрявцева

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

14. Хмурые будни холодной войны. Ее солдаты, прорабы и невольные участники / отв. ред. А.С. Степанов
15. *Мазов С. В.* Холодная война в сердце Африки. СССР и конголезский кризис, 1960–1964
16. *Симонов Н.С.* Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление
17. *Симонов Н.С.* Несостоявшаяся информационная революция. Условия и тенденции развития в СССР электронной промышленности и СМИ. 1940– 969 гг.
18. *Платошкин Н.Н.* Чили 1970 – 1973 гг. Прерванная модернизация
19. *Платошкин Н.Н.* Весна и осень Чешского социализма. Чехословакия: 1938–1968 гг. (*выйдет в 2015 году*)

20. Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений / отв. ред. Н.И. Егорова
21. *Улунян Ар.А.* Балканский щит социализма. Оборонная политика Албании, Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. – 1980 г.)

ИСТОРИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

22. *Исэров А. А.* США и борьба Латинской Америки за независимость, 1815– 830
23. *Платошкин Н.Н.* История Мексиканской революции. Том 1: Истоки и победа. 1810–1917 гг.
24. *Платошкин Н.Н.* История Мексиканской революции. Том 2: Выбор пути. 1817– 928 гг.
25. *Платошкин Н.Н.* История Мексиканской революции. Том 3: Время радикальных реформ. 1828–1940 гг.
26. *Платошкин Н.Н.* Чили 1970–1973 гг. Прерванная модернизация
27. *Платошкин Н.Н.* Интервенция США в Доминиканской республике 1965 года
28. *Платошкин Н.Н.* Сандинистская революция в Никарагуа. Предыстория и последствия

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

29. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Античные источники Том I / сост. А.В. Подосинов, под редакцией Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой
30. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Византийские источники. Том II / сост. М.В. Бибиков, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой
31. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Восточные источники. Том III / сост. И.Г. Коновалова, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой
32. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Западноевропейские источники. Том IV / сост. А.В. Назаренко, под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой
33. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Древнескандинавские источники. Том V / под ред. Г.В. Глазыриной, Т.Н. Джаксон, Е.А. Мельниковой
34. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под редакцией Е.А. Мельниковой
35. *Столярова Л.В., Каштанов С.М.* Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.)
36. *Назаренко А.В.* Древняя Русь и славяне. Из серии: Древнейшие государства Восточной Европы
37. Древнейшие государства Восточной Европы. Пространство и время в средневековых текстах / под ред. Г.В. Глазыриной
38. *Пашуто В.Т.* Русь. Прибалтика. Папство. Из серии: Древнейшие государства Восточной Европы
39. Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства / под ред. Е.А. Мельниковой
40. Древнейшие государства Восточной Европы. 2011 год: Устная традиция в письменном тексте / под редакцией Г.В. Глазыриной
41. *Мельникова Е.А.* Древняя Русь и Скандинавия
42. Самые забавные лживые саги: Сборник статей в честь Галины Васильевны Глазыриной / под редакцией Т.Н. Джаксон
43. Висы дружбы: Сборник статей в честь Т.Н. Джаксон / под редакцией Н.Ю. Гвоздецкой, И.Г. Коноваловой, Е.А. Мельниковой, А.В. Подосинова
44. *Лидов А.М., Евсеева Л.М., Чугреева Н.Н.* Спас Нерукотворный в русской иконе
45. *Евсеева Л.М.* Аналойные иконы в Византии и Древней Руси. Образ и литургия
46. *Гимон Т.В.* Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: Сравнительное исследование
47. *Пулькин М.В.* Самосожжения старообрядцев (середина XVII–XIX в.)
48. *Поливанова А.К.* Старославянский язык. Грамматика. Словари
49. *Каштанов С.М.* Московское царство и Запад
50. *Калинина Т.М.* Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников)

ЭТНОГРАФИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА

51. *Логинов К. К.* Обряды, обычаи и конфликты традиционного жизненного цикла русских Водлозерья
52. *Криничная Н. А.* Крестьянин и природная среда в свете мифологии. Былички, бывальщины и поверья Русского Севера: Исследования. Тексты. Комментарии
53. *Толстая С. М.* Образ мира в тексте и ритуале
54. *Иванова Л. И.* Персонажи карельской мифологической прозы
55. *Березович Е. Л.* Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция
56. *Лобанова Н. В.*, Филатова В. Ф. Археологические памятники в районе Онежских петроглифов
57. *Лобанова Н. В.* Петроглифы Онежского озера
58. *Ольговский С. Я.* Цветная металлообработка Северного Причерноморья VII—V вв. до н.э. По материалам Нижнего Побужья и Среднего Поднепровья

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

59. *Рахаев Д. Я.* Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII века
60. Немецкие хроники X—XI вв. и Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви
61. *Каштанов С. М.* Исследование о молдавской грамоте XV века
62. *Юлиана Нориджская:* Откровения Божественной Любви. Пер., вступ. ст., примеч., подгот. среднеангл. текста Ю. Дресвиной. *Julian of Norwich.* Revelations of Divine love / Edition, introduction, translation and commentaries by Juliana Dresvina
63. *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе
64. *Ауров О. В., Марей А. В.* Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст, Перевод, Исследование
65. *Афанасьева Т. И.* Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII—XVI вв. исследование и тексты
66. *Афанасьева Т. И.* Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого в славянской традиции (по служебникам XI—XV вв.)
67. *Генрих Хантингдонский:* История англов. Перевод с латинского, вступ. ст., примеч., библиография и указатели Мереминского С. Г.
68. *Долеман Р.* (Парсонс Роберт): Рассуждение о наследовании английского престола. 1594 г.. Перевод Серёгиной А. Ю.
69. *Агишев С. Ю.* Теодорик Монах и его История о древних норвежских королях
70. Святитель Хроматий Аквилейский. Проповеди. Вступительная статья и перевод Кима С. С.
71. *Ганина Н.* Мехтильда Магдебургская. Струящийся свет Божества. Перевод и исследования
72. Пётр II Петрович Негош и Россия (Русско-черногорские отношения в 1830—1850-е гг.). Документы. Составители: Анисимов М. Ю., Аншаков Ю. П., Распопович Р., Хитрова Н. И.

АНТИЧНОСТЬ И ВИЗАНТИНИСТИКА

73. *Позднев М. М.* Психология искусства. Учение Аристотеля
74. *Суриков И. Е.* Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических Афин
75. *Суриков И. Е.* Античный полис
76. *Суриков И. Е.* Античная Греция: политики в контексте эпохи. Година междоусобиц
77. *Суриков И. Е.* Античная Греция: политики в контексте эпохи. На пороге нового мира
78. *Суриков И. Е.* Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры
79. Gaudeamus Igitur: Сборник статей к 60-летию А. В. Подосинова. Под редакцией Джаксон Т. Н., Коноваловой И. Г., Цецхаладзе Г. Р.

80. *Ревзин Г.* Путешествие в Античность. Комплект фотографий и чертежей античных памятников с комментариями.
81. *Виноградов А. Ю.* Миновала уже зима языческого безумия. Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики
82. *Вальков Д. Б.* Генуэзская эпиграфика Крыма
83. *Файер В. В.* Александрийская филология и гомеровский гекзаметр
84. *Файер В. В.* Рождение филологии. Илиада в Александрийской библиотеке
85. Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год: Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства. Отв. ред. Подосинов А. В., Габелко О. Л.
86. *Ермолаева Е. Л.* Гомер. Илиада. XVIII песнь „Щит Ахилла"
87. *Гай Юлий Цезарь* (книга 1): Записки о войне с галлами. Введение и комментарии Соболевский С. И.
88. *Гай Юлий Цезарь* (книга 2—4): Записки о войне с галлами. Введение и комментарии Соболевский С. И.
89. *Жмудь Л. Я.* Пифагор и ранние пифагорейцы
90. *Кузьмин Ю. Н.* Аристократия Берои в эпоху эллинизма
91. *Смирнов С. В.* Государство Селевка I (политика, экономика, общество)
92. *Прокл Диадох:* Комментарий к первой книге „Начал" Евклида. Перевод Щетникова А. И.
93. *Завойкина Н. В.* Боспорские фиасы: между полисом и монархией
94. С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В.П. Толстикова / под ред. Д.В. Журавлева, О.Л. Габелко
95. *Кузьмин Ю. Н.* Аристократия Берои в эпоху эллинизма

ВИЗАНТИЯ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

96. *Люттвак Эдвард Н.* Стратегия Византийской империи. *Edward N. Luttwak* The Grand Strategy of the Byzantine Empire. Перевод с английского Коваль А.Н.
97. Хроника Симеона Магистра и Логофета. Перевод со среднегреческого Виноградова А.Ю., вступительная статья и комментарии Кузенкова П.В.
98. *Виноградов А.Ю.* Деяния Андрея и Матфия в городе людоедов: опыт прочтения одного апокрифа
99. *Золотарёв М.И., Коробков Д.Ю., Ушаков С.В., Макленнан Р., Оверман А., Оливье Дж., Эдвардс Д., Линстром Г. при участии Олениной Е.* Древняя синагога в Херсонесе Таврическом: материалы и исследования Причерноморского Проекта 1994—1998 гг. Херсон. Том I
100. *Сорочан С.Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина X вв.). Том II Часть I
101. *Сорочан С.Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина X вв.). Том II Часть II
102. *Сорочан С.Б.* Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина X вв.). Том II Часть III

ЖУРНАЛ АРИСТЕЙ

103. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №1
104. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №2
105. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №3
106. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №4
107. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №5
108. Аристей: Классическая филология и античная история, Журнал, выпуск №6
109. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №7
110. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №8
111. Аристей. Классическая филология и античная история. Журнал, выпуск №9
112. Аристей. Классическая филология и античная история, Журнал, выпуск №10
113. Аристей. Классическая филология и античная история, Журнал, выпуск №11

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

114. *Антонец Е. В.* Введение в римскую палеографию
115. Вопросы эпиграфики. Выпуск 1. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
116. Вопросы эпиграфики. Выпуск 2. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
117. Вопросы эпиграфики. Выпуск 3. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
118. Вопросы эпиграфики. Выпуск 4. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
119. Вопросы эпиграфики. Выпуск 5. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
120. Вопросы эпиграфики. Выпуск 6. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.
121. Вопросы эпиграфики. Выпуск 7. Сборник статей. Под редакцией Авдеева А. Г.

ВЕСТНИК УНИВЕРСИТЕТА ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

122. Вестник Университета Дмитрия Пожарского. Выпуск 1. Город: история и культура

ЕГИПТОЛОГИЯ

123. *Лаврентьева Н. В.* Мир ушедших. Дуат: Образ иного мира в искусстве Египта (Древнее и Среднее царства)
124. *Прусаков Д.Б.* Додинастический Египет. Лодка у истоков цивилизации
125. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 1. Сборник статей. Под редакцией Чегодаева М. А., Лаврентьевой Н. В.
126. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 2 Сборник статей. Под редакцией Чегодаева М. А., Лаврентьевой Н. В.
127. Aegyptiaca Rossica. Выпуск 3. Сборник статей / под ред. М.А. Чегодаева, Н.В. Лаврентьевой

БЕЗ СЕРИИ

128. *Лидов А.М.* Росписи монастыря Ахтала. История, иконография, мастера
129. *Фомин А.М.* Война с продолжением. Великобритания и Франция в борьбе за Османское наследство, 1918–1923
130. *Гайда Ф.А.* Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917)
131. Мария Фёдоровна, императрица, 1847–1928. Ксения Александровна, вел. кн., 1875–1960, Ольга Александровна, вел. кн., 1882–1960. Письма (1918–1940) к княгине А.А. Оболенской
132. *Менькова И.Г.* Блаженны кроткие... Священномученик Сергий Лебедев, последний духовник Московского Новодевичьего монастыря. Жизненный путь, проповеди, письма из ссылки
133. Именослов. История языка. История культуры. Сборник статей / отв. ред. Ф.Б. Успенский
134. *Волков С.В.* Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога
135. *Марей Е.С.* Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления о праве и правосудии

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Четыре тома избранных произведений О.А. Седаковой:

136. *Седакова О. А.* Четырехтомное издание избранных произведений: Стихи (1-й том)
137. *Седакова О. А.* Четырехтомное издание избранных произведений: Переводы (2-й том)
138. *Седакова О. А.* Четырехтомное издание избранных произведений: Poetica (3-й том)
139. *Седакова О. А.* Четырехтомное издание избранных произведений: Moralia (4-й том)
140. ДВА ВЕНКА: Посвящение Ольге Седаковой. Сборник статей

Собрание сочинений В.В. Бибихина:

141. *Бибихин В. В.* Слово и событие. Писатель и литература. Собрание сочинений. Том I
142. *Бибихин В. В.* Введение в философию права. Собрание сочинений. Том II
143. *Бибихин В. В.* Новый ренессанс. Собрание сочинений. Том III

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

144. *Смышляев А. Л.* История Древнего Рима от Ромула до Гракхов. Учебное пособие
145. *Зайков А. В.* Римское частное право в систематическом изложении. Учебник
146. *Рязановский А. Р.* Математика. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Арифметика, алгебра, начала математического анализа. Очерки по истории математики с древнейших времён

МЕСТА, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ

В офисе нашего издательства:
Москва, Комсомольский проспект, дом 23, кор. 2, с 14.00 по 18.00.
Тел.: + 7 (499) 242-37-24, + 7 (499) 245-21-51

1. Интернет-магазины:

www.biblion.ru	*www.setbook.ru,*	*www.arhe.com.ua,*
www.ozon.ru,	*www.urss.ru,*	*www.libroroom.ru*
www.sibran.ru,	*www.mybook.in.ua,*	

При оптовых закупках возможны скидки,
с вопросами обращайтесь к директору издательства Роману Порошину:
roland42@yandex.ru

Научное издание

Валлерстайн Иммануил

МИР-СИСТЕМА МОДЕРНА
Том II
Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики,
1600—1750 гг.

Печатается по решению
Ученого совета Университета Дмитрия Пожарского

Редакторы
А. В. Усачева
А. И. Золотухина

Дизайн макета и верстка
М. В. Григоренко

Верстка
А. А. Васильева

Дизайн обложки
Е. А. Горева

Подписано в печать 29.10.2015 г. Формат 70×100$^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Minion. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1734

Русский фонд содействия образованию и науке
119435, Москва, Малая Пироговская, д. 13, стр. 1
www.s-and-e.ru

Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6